



Куняев Станислав Юрьевич

КУНЯЕВ, СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ (р. 1932), русский поэт, литературный критик. Родился 27 ноября 1932 в Калуге, вышел из семьи потомственных служащих на военном и гражданском (чиновники, земские врачи) поприщах. Окончил филологический факультет МГУ (1952-1957). Печатал стихи с 1956, первый поэтический сборник "Землепроходцы" (1960), вышедший в Калуге, принес Куняеву определенную известность (в т.ч. стихотворение Добро должно быть с кулаками). В 1961 публикует цикл "Казахстанская тетрадь", в духе и стиле тогдашней комсомольско-молодежной пропагандистской лирики повествующий о юношах и девушках, с энтузиазмом осваивающих целинные земли. Многочисленные последующие книги стихов Куняева ("Звено", 1962; "Вечная спутница", 1973; "Свиток", 1976; "Рукопись", 1977; "Глубокий день", 1978; "Свободная стихия", 1979; "Отблеск", "Солнечные ночи", обе 1981; "Путь", 1982; "Озеро Безымянное", 1983; "Пространство и время", 1985; "Огонь, мерцающий в сосуде", 1986; "Мать сыра земля", 1988, и др.) характеризуют их автора как поэта-публициста, в советское время с явным привкусом 'официоза', в перестроечной России - непримиримо-оппозиционного. Декларировав себя, наряду с Н.М.Рубцовым, Ю.П.Кузнецовым, А.К.Передревым и др., в качестве продолжателя 'почвеннической' традиции в русской поэзии второй пол. 20 в., Куняев, с одной стороны, насытил свое творчество космическими образами, планетарными размышлениями и глобальными обобщениями, а с другой - обнаружил определенную скудость, 'заштампованность' поэтического языка, нередко сочетающуюся с банальностью мысли (поэт - 'очевидец неба и земли, / свидетель дождя и полнолуны...', который 'никогда не может / или не хочет жить оседло', а в его душе борются 'жажда странствий' и 'жажда покоя'; в природе - 'и родина, и смерть, / и жизнь, и вечность - воедино').

Российская действительность 1990-х годов дала новый стимул политизированной поэзии Куняева, пронизав ее обличительным пафосом ненавистника 'антинародных' реформ (сборники "Русские сны", 1990; "Высшая воля: Стихи смутного времени." 1988-1992, 1992; "Сквозь слезы на глазах", 1996, где главной темой становится бичевание врагов русской нации: 'Несчастный век! Несчастливая Россия! / Все те же бесы выползли на свет!' - стихотворение "Окаменели лица депутатов..."; "Споили нас!... 'Сгноили нас!...' 'Растлили нас!' - "Три голоса"). Предчувствуя, не без тайной угрозы, что 'русские дороги... / К Полю Куликову приведут ("Вся душа аж пропиталась болью...") и 'грешный Минин чугуной ладонью / Указует единственный путь, / По которому прах самозванца / Был исторгнут из жерла в пространство' ("Лезли бесы в Кремлевскую стену..."), поэт в то же время страшится гражданских междоусобиц и надеется на 'высшую волю' Творца, на православие, должное возродить Россию - не без помощи, однако, русских солдат, в виде 'гранитных монументов' двинувшихся в Россию из не так давно освобожденной от фашизма, а ныне глумящейся над родиной Европы ("Последний парад").

С осени 1989 Куняев - главный редактор 'новопочвеннического' журнала 'Наш современник'. Опубликовал ряд сборников литературно-критических статей, посвященных т.н. крестьянским поэтам, прозаикам-'деревенщикам', общему состоянию современной литературы. Автор десяти беллетризованных биографий в серии 'ЖЗЛ' ('Жизнь замечательных людей'), многочисленных переводов из украинской, грузинской, абхазской (в т.ч. Л.Мушни, Д.Гулиа), киргизской (в т.ч. Токтогул), бурятской, литовской (в т.ч. Э.Межелайтис) поэзии (также перевода с латинского оригинала "Песни зубра" Н.Гуссовского - первой эпической поэмы о белорусах).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. М.Горького. Некоторые произведения Куняева переведены на болгарский, чешский и словацкий языки.

Станислав Куняев

Поэзия. Судьба, Россия

Книга 1

Русский человек

"НАШ СОВРЕМЕННОК"

Москва

2001

ББК 63.3(2)-3(2Рос-Рус) К91

К91

Куняев С.Ю.

Поэзия. Судьба. Россия: Кн. 1. Русский человек.— М.: Наш современник, 2001.— 456 с, ил.

ISBN 5-901483-02-2 (т.1.)

ISBN 5-901483-04-9

ББК 63.3(2)-3(2Рос-Рус)

Двухтомник русского поэта Станислава Куняева объемлет более шестидесяти лет сегодняшней истории России.

На его страницах читатели встретятся со многими знаменитыми людьми эпохи, вместе с которыми прожил свою жизнь автор «Воспоминаний и размышлений». Среди них поэты — Николай Рубцов, Борис Слуцкий, Анатолий Передрев, Евгений Евтушенко, Александр Межиров, композитор Георгий Свиридов, историк и критик Вадим Кожин, прозаики Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов и другие...

Но «Поэзия. Судьба. Россия» — книга не только и не столько об «элите», сколько о тайнах русской судьбы с ее героическими взлетами и трагическими падениями.

Книга обильно насыщена письмами, дневниками, фотографиями, впервые публикуемыми из личного архива автора.

ISBN 5-901483-02-2 (т. 1.)

ISBN 5-901483-04-9

© Куняев С.Ю., 2001

Чему, чему свидетели мы были!

А. Пушкин

На берегах Оки и Волги

Пишите воспоминания! Детство. Родословная. Семья. Деревня Лихуны и Карамзинская больница. Довоенное время. Жизнь в эвакуации. Пыщугская библиотека и Георгиевская церковь. Детские страсти. Записки советского врача

Я имею честь принадлежать к той породе русских людей, о которых Аллен Даллес, изложивший в конце Второй мировой войны программу планомерного уничтожения России и русского народа, с высокомерием писал: "И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способы оболгать и объявить отбросами общества". И комплимент и приговор одновременно...

Да, многое нынче у нас на родине вершится согласно этому плану. Но я все-таки не верю, что адский замысел — "грандиозная по своим масштабам трагедия самого непокорного на земле народа" — успешно осуществится, к радости мировой элиты. Во-первых, потому, что людей, понимающих, "что происходит" на самом деле, у нас немало. Иные из них, с которыми я прожил бок о бок чуть ли не полжизни — Николай Рубцов, Анатолий Передрев, Георгий Свиридов, Юрий

Селезнев, — уже совершили все, что должно было им совершить. С другими — Валентином Распутиным, Василием Беловым, Вадимом Кожиновым, Юрием Кузнецовым — я встречаюсь и по сей день и вижу в их глазах столь понятные мне и боль, и раздумье, и свет надежды. Не может быть того, что предсказал Даллес. Не только потому, что нас много, а еще и потому, что "все позволено", как говорил Достоевский, лишь при одном условии: "если Бога нет"...

В сущности книгу этих воспоминаний и размышлений можно было назвать обычно и просто: "Русский человек", если бы я писал только о них. Ведь для чего-то, подчиняясь какому-то неясному для самого себя инстинкту, я сохранял их письма ко мне, делал какие-то записи в дневниках и блокнотах, не утрачивал и не терял фотографии, книги с дарственными надписями... Может быть, судьба выбрала меня для осмысления дела, которое мы начинали в далекие времена. Книги воспоминаний всегда подводят итог эпохам. Как бы велика и гениальна ни была проза и поэзия XIX века — его полноту невозможно понять без герценовской эпопеи "Былое и думы". Книга Ильи Эренбурга "Люди. Годы. Жизнь" определила в 60—70-е годы читательское понимание 20—30-х годов. И мне бесконечно жаль, что мы понимали эту эпоху "по Эренбургу", поскольку ни Михаил Шолохов, ни Леонид Леонов, ни Алексей Толстой, ни Лев Гумилев не оставили после себя своих мемуаров!

Наши оппоненты знают силу и влияние мемуарной литературы и не жалеют времени и усилий на создание подобных книг. Как по своеобразному социальному заказу, написаны книги воспоминаний В. Шкловского и В. Катаева, А. Борщаговского и К. Симонова, Л. Разгона и А. Рыбакова. И так может случиться, что о нашем времени будущий читатель станет судить по ним, потому что у нас нет воспоминаний об эпохе ни А. Твардовского, ни Я. Смелякова, ни Ф. Абрамова. Мемуары Ваншенкина и Бакланова лежат на прилавках, а где Юрий Бондарев? Михаил Алексеев? Уже изданы мемуарные книги Е. Евтушенко и А. Вознесенского, но как не хватает нам книг того же жанра, созданных Валентином Распутиным, Василием Беловым, Вадимом Кожиновым, Михаилом Лобановым.

* * *

Составляя в последние годы книгу своих избранных стихотворений, раздумывая над каждой главой своих

4

воспоминаний и размышлений, я часто в сомненьях отодвигал бумаги и откладывал ручку. Оставлять то или иное стихотворенье? Упомянуть тот или иной факт? Публиковать ли какое-то личное письмо — свое или ко мне? Нет, не потому, что мне стыдно за какие-то стихи или письма. К власти я за все сорок лет своей, как говорят, творческой жизни не подлаживался, идеологию не обслуживал, никаких масок на лицо не напяливал. Был верен завету, который сформулировал для себя еще в 1963 году:

Пишу не чью-нибудь судьбу,
свою от точки и до точки,
пускай я буду в каждой строчке
подвластен вашему суду.

.....
А все же кто-нибудь поймет,
где грохот времени, где проза,
где боль, где страсть, где просто поза,
а где — свобода и полет!

Перечитываю стихи, письма, дневники и начинаю подозревать, что я счастливый человек, потому что всегда был свободен и независим как поэт. Потому что свободу я понимал не как политическое разгильдяйство и не как

кухонный набор прав человека, а как меру полноты бытия, полноты ответственности, в коих я сам жил и понимал свое время.

Многие люди, с которыми я пребывал бок о бок в своей эпохе, так называемые шестидесятники, всю жизнь положившие на борьбу с идеологией и государством, никогда не были внутренне близки мне. Я всегда сторонился их, как вечно несовершеннолетних женихов революции — Пенелопы.

Кто там шумит: гражданские права!
Кто ратует за всякие "свободы"?
Ведь сказано "слова, слова, слова..."
Ах, мне бы ваши жалкие заботы!

Это стихи 1975 года, когда в моей душе окончательно сложилось неприятие "мировой демократии". Но я инстинктивно не принимал ее и раньше. Стихия жизни для меня была глубже, бесконечнее, прельстительней любого самоутверждения, любой идеологии, любой политики. Те, кто был не в силах объять или хотя бы полюбить стихию жизни, на моих глазах неизбежно становились борцами, протестантами, диссидентами. Они лишь на время могли притвориться гонимыми творцами.

Я мог понять и оправдать эмиграцию Бунина, спасавшего

5

от великой революции великий мир своих чувств, своего таланта и своей души. Вот он идет по осенней аллее провинциального французского городка:

Ветер в полыни шуршит,
вост в пустынной аллее:
"Тяжко без Родины жить,
а без души — тяжелее
(1975)

Остаться на родине или спасти душу. Выбор нелегкий, но я с Буниным.

Однако, когда началась третья эмиграция, я, повинувшись не менее искреннему чувству, обязан был написать:

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вытряхнуть, память отринуть
и любовь позабыть и войну.
(1968)

Помню, как в один из послевоенных дней, когда мне исполнилось уже лет четырнадцать-пятнадцать, я вдруг услышал впервые песню на слова Михаила Исаковского "Летят перелетные птицы"... Она поразила меня, я запомнил ее сразу, уходя в школу—а дорога тянулась чуть ли не через всю Калугу, пел ее про себя, повторял, бормотал. Отчетливо помню, как в один из осенних вечеров, глядя в холодное небо над Окой, в котором кружились перед отлетом на юг грачиные стаи, я вдруг выдохнул в осеннее пространство: "Желанья свои и надежды связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой". Да с таким чувством выдохнул, что горло перехватило и слезы на глаза навернулись.

Наверное, мое неприятие "ихней" эмиграции по сравнению с бунинской заключалось в том, что ничего великого за душой у них не было: ни "Темных аллей", ни "Деревни", ни "Жизни Арсеньева", а только шумные акции в защиту прав человека да забытые ныне романы-однодневки, выходившие из-под перья гладылиных, аксеновых, синявских. И все-таки я старался понять этих людей

тоже:

И вас без нас и нас без вас убудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу: что быть должно — да будет.
Вам есть где жить, а нам — где умирать.
(1974)

6

Стихотворение, видимо, навеянное пушкинскими строками об "отеческих гробах". Помню, я послал его в один из ленинградских журналов, там произошел в это время какой-то скандал. Секретарь обкома, член Политбюро Романов затребовал верстку очередного номера, наткнулся на мое стихотворение и возмутился: "Как! Этим эмигрантам с израильской визой "есть где жить", а нам, кто никуда не уезжает, только умирать остается?"

Сознавая неполноценность людей, бросающих родину в новую эпоху, я тем не менее не мог избавиться от предчувствия трагедии, которое, начиная с середины шестидесятых годов, все неизбежней нарастало в душе. Как бы я ни отмахивался от этого предчувствия, как бы ни гнал его из ума и сердца, оно возвращалось и воплощалось в какие-то строки. Это было предчувствием трагедии не только личной, но и нашей общей, народной, национальной, мировой. Скорее всего, оно диктовалось не какими-то событиями и катаклизмами, а странным напряжением, жившим в народе и в каждом из нас.

Иногда эта трагедия давала о себе знать, как мысль о незаконченности русской истории, о незавершенных, неразвязанных ее узелках, источающих свои разрушительные напряжения в жизнь. И тогда наша вечная российская неуспокоенность, наша охота к перемене мест начинала казаться мне болезненной судорогой:

Не хватает нам постоянства,
потому что версты летят,
непрожеванные пространства,
самоедство и святотатство
у России в горле сидят.
(1963)

Иногда эта трагедия вдруг, как призрак, возникала в суздальском пейзаже, где в алый морозный закат свою краску вплетал язык пламени от коровы, облитой бензином и подоженной во время съемок фильма Тарковского "Андрей Рублев".

Слишком много в России чудес:
иней на куполах золоченых,
почерневший от времени лес,
воплощенье идей отвлеченных...
.....
И в полнеба кровавый закат,
и снега, как при жизни Рублева.
(1965)

7

Тогдашняя критика оскорбилась за Тарковского, не понимая того, что "воплощенье идей отвлеченных" — в качестве последней жертвы — потребовало еще и жизнь несчастной буренки, что Тарковский в этой эпохальной драме был всего лишь навсегда одним из ее актеров и жрецов.

Часто русская неизжитая трагедия предстала предо мной в виде обычного безымянного, живущего рядом человека.

Как много печального люда
в суровой отчизне моей!
Откуда он взялся, откуда,
с каких деревень и полей?

Вглядишься в усталые лица,
в одно и другое лицо.
И вспомнишь — войны колесница!
И ахнешь — времен колесо!
(1972)

Многие поэты, жившие рядом со мной, всю жизнь жаловались на цензуру, на то, что "притесняют", "не пушают", не дают сказать правду. Мне цензура и редакторы, за исключением двух-трех случаев, почти не мешали, потому что, когда ты владеешь всей полнотой жизненной картины, всякого рода неприемлемые для идеологии и цензуры мысли, чувства и строки становятся естественными и необходимыми, а не утрированными деталями твоего поэтического мира. (Цензоры и редакторы ужасались лишь в тех случаях, когда подобные строки торчали как шило в мешке.) Потому-то в те времена читатель мог прочитать в моих стихах многое, что, будучи вырванным из контекста, казалось крамольным и недопустимым.

Мчатся кони НКВД...
(1964)

Я один, как призрак коммунизма,
по пустынной площади брожу.
(1966)

Церковь около обкома
приютилась незаконно..
(1964)

В 1973 году, побывав в Карабахе, я понял, что там будет война. Ко мне, жившему в палатке возле озера Карагель, приходили то азербайджанские, то армянские вооруженные

8

пастухи и конокрады и просили одного, чтобы в следующий раз я привез им патроны. Я впервые увидел тогда раздираемый противоречиями мир, готовящийся к войне мир,

где луч полуночной звезды
сверлит пустынные просторы,
а отзвук племенной вражды
еще волнует нарсуды
и проникает в приговоры...

Предчувствие близкой трагедии все росло и росло, заполняя мою душу, чтобы наконец выразиться в строчках из моей любимой "Калужской хроники". Однажды, гуляя в городском парке, я в который раз поглядел на гипсовую полуразрушенную скульптуру и вздрогнул: это нелепое сочетание слабого материала гипса и могучей, но ржавой арматуры как бы явило передо мной всю внутреннюю сущность нашего, готовящегося к катастрофе времени:

Взирая из калужской мглы

на вехи мировой культуры,
я вам скажу, что мне милы
шедевры гипсовой скульптуры.
Я вам напомню — два вождя
сидят в провинциальном парке.
И лебедь, темный от дождя,
плывет, уплыл, уже на свалке.
Я вам напомню: тяжкий бюст
дважды героя из Калуги...
И столько возникает чувств
под ропот среднерусской вьюги.
А пионер, трубящий в горн,
вновь побеленный к Первомаю?!
Гляжу на них и всем нутром
свою эпоху понимаю.
Да будет вечен этот гипс,
его могучая фактура...
Вот дискобол — плечо и диск,
а между ними арматура...
(1968)

Помню, как я обрадовался этому точному образу и как ужаснулся своей роковой находке! На фоне этих трагических открытий мои личные трагедии, выраженные в стихах, отзвуки которых читатель найдет в книге, могут показаться прикладными, дополнительными, незначительными по сравнению с великой катастрофой, которую я предчувствовал и которая произошла.

Но видит Бог, я боролся с ее приближением всеми силами души! Я видел еще кровоточащий, где-то заживший, а где-то еще гноившийся зазор между прошлой русской историей и советской эпохой. Я понимал, что полноценного национального будущего у нас без возвращения всего вечно живого, что было создано до революции, быть не может. Но как начать это возвращение, чтобы оно не разрушило реальную историческую жизнь последнего семидесятилетия?! Как примирить красных с белыми? Бунина с Есениным? Шолохова с Солженицыным? Русское с советским? При первом удобном случае, при любом "дуновении вдохновения" я пытался остановить эту еще сочившуюся кровь, вытереть гной, продезинфицировать рану...

Помню послевоенные церкви. Пустые, угрюмые, таинственные, величественные в своем поругании. Бог поруган не бывает... Мы с моим другом Аликом Мончинским любили лазить по их полуразрушенным сводам, разглядывать росписи на куполах, озирая городские зеленые кварталы с высоты обесчещенных колоколен. Но, право, в калужских церквях, униженных, заросших травами и кустарниками, была своеобразная страдальческая святость, которой мне не хватает в нынешних благополучных приходах с батюшками, строящими для себя особняки, с "новыми русскими", которые, переправив очередную порцию валюты за рубеж или оплатив заказное убийство, со скорбными, гладко выбритыми лицами, благоухая одеколоном, склоняют коротко стриженные затылки перед ликом Николая Угодника... Глядя на разрушенные интернационалистами первого призыва церкви родного города, я шептал, не желая быть участником приближающегося реванша:

Реставрировать церкви не надо:
пусть стоят, как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада,
в наготе и в разрухе своей.

Я страстно жаждал верить, что время почти засыпало эту трещину, что трава забвенья поросла на могилах уничтожавших когда-то друг друга русских людей, что не хватит жизненных сил у семян возмездия выбросить свежие ростки и пробиться сквозь почву, утоптанную после кровопролития уже двумя поколениями.

Все равно на просторах раздольных
ни единый из нас не поймет,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поет...

(1975)

10

Пусть лучше все забудут и ничего не понимают!

То, что цензура легко пропускала эти стихи, успокаивало меня: вот и у них там тоже трава забвенья шумит, мягкость нравов, никакого кровожадного тоталитаризма... Все нормально, все обойдется... Так хотелось думать. Но то, что в последнюю строку залетело пассионарное слово "угрюмо" — не давало мне покоя. Хотел было как-то заменить его — не получилось, стих сопротивлялся, жил собственной жизнью, а слово это как бы призывало к действию, а действие это неизбежно должно было стать возмездием. Но я не сдавался без боя своим собственным предчувствиям и в других стихах настойчиво искал пути мирного исхода исторической драмы.

"Здравствуй, русско-советский пейзаж!" — восклицал я с надеждой:

здравствуй, родина, многая лета!
В годы мира и в годы войны
ты всегда остаешься собою,
и, как дети, надеемся мы,
что играем твоею судьбою...

Как дети — и русские и советские, "играющие" в войну и ранящие тело матери-родины. Я понимал, что другого выхода нет, кроме как:

Чтоб в зоне вечной мерзлоты,
выдерживая перегрузки,
жить по-советски и по-русски
и пить и петь до хрипоты.

Всю жизнь я старался быть посредником, послом, глашатаем этого примирения во имя торжества великой общерусской идеи. Иногда мне казалось, что оно произошло, и тогда я с облегчением писал:

А недруги, что отворяли жилы
для этой крови?
Но река времен
все унесла. Мы выжили. Мы живы.
И вспоминать не будем их имен.
А наша кровь густая, молодая
свернулась, извернулась, запеклась,
и, раны полусмертные латая,
мы поняли, что нагулялись всласть.
Что надо вспомнить о родимом доме,
что серый пепел мировых костров
ушел на дно, растаял в Тихом Доне...

Я как бы хотел сказать: будем помнить все, но уже исторической памятью, а не той, что призывает к реваншу, разрушению и возмездию.

Однако время показало, что я преувеличивал созидательные силы и своего народа, и свои собственные. Из тлеющих угольков провокаторский ветер нового мирового порядка и перестройки снова раздул "пламя мирового костра". Первый акт трагедии завершился. И доживать нам придется в ней.

Хотелось бы надеяться, что мой опыт, выраженный в книге воспоминаний и размышлений, будет востребован новым временем. Если такое случится, моя душа обретет хотя бы относительный покой от сознания исполненного перед Россией

* * *

Я родился в Калуге, где прожил до двадцати лет, куда часто приезжаю и по сию пору. По материнской линии моя родня происходит из калужских деревень Лихуны и Железняки. Дед был сапожником, а бабка — крестьянкой. Она и растила меня до войны (покамест мать с отцом учились и работали в разных концах нашей земли) то в деревенской избе на высоком зеленом берегу Лихунки, то в калужской квартире — в тихом, заросшем липами уголке старого города недалеко от Загородного Сада, где жил когда-то у губернаторши Смирновой-Россет Николай Гоголь, недалеко от скромного домика, замыкавшего возле Оки мощенную бульжником Коровинскую улицу... Домика, ныне знаменитого тем, что в нем жил и работал Циолковский.

Я помню, кажется, первую годовщину со дня его смерти. Калужане толпами шли на Загородный Сад к могиле ученого. В осеннем ясном небе над крутым откосом, сбегавшим к черному бору, кружил тупоносый дирижабль, из которого, как разноцветные куклы, высыпались парашютисты...

По вечерам моя неграмотная бабка рассказывала мне сказки, а иногда и запевала песни, которые, видно, знала со времен молодости.

Выгоняйте-ка скотину
На широкую долину,
На попову луговину...
Гонют девки, гонют бабы,
Гонют малые ребята...
Гонют стары старички,
Мироеды-мужички.

Не знаю, как нынешние старухи—рассказывают они своим внукам сказки или нет, а от своей Дарьи Захарьевны несколько сказок и песен я успел услышать...

Когда были живы бабушка, матушка и тетя Дуся, я часто приезжал в Калугу, и долгими зимними вечерами мы сидели на кухне, гоняли чай и толковали о житье-бытье, о минувших временах, о деревенской жизни, о войне, а чаще всего о судьбе их старшей сестры тети Поли, семнадцать лет прожившей на Колыме.

— Иду ночью с дежурства, — рассказывает тетя Дуся, — луна светит. Тепло. Июнь. Смотрю, на каменном мосту навстречу Польшка в темной юбке и в белой шелковой блузке. Я ей: "Поль, ты куда?" А она мне: "Молчи!" — и тут же вижу: за ней двое в штатском.

Утром прихожу на работу, а мне говорят: "Ты уже уволена". На другой день муж Поли, выдвигенец, неграмотный, ничего не умеющий, но партийный, выступил по радио с отречением от жены, бывшего директора фабрики, врага народа. Я Юрку сразу к себе и взяла—отчим его выгнал. Он приходит в школу, ему сообщают: "Ты исключен из комсомола. Откажись от матери". Он возвращается и рассказывает мне обо всем. Я говорю, — Юра, от матери отказываться нельзя. На том и : порешили.

Ходила я к Поле в тюрьму. Выходила в три-четыре часа ночи, чтобы очередь занять для передачи — узелок с едой, записка в узелке, на узелке бирка — фамилия, номер камеры... Их столько забрали, что кормить нечем было, потому и передачи разрешили... Идешь ночью, луна светит. Тишина. Только такие же, как ты, с узелками. Молча все идут. Возле тюрьмы рассвет встретишь и стоишь в очереди до двенадцати часов, пока пройдешь. Народу! Давка. Плач. Никто ничего не знает. (Я смутно вспоминаю, как тетя Дуся однажды взяла меня с собой — помню какую-то белую стену, ворота, народ и зеленую лужайку, на которой я сидел, пока тетя Дуся стояла в очереди.) А на работу придешь — смотришь — нет того, нет этого. За год четыре начальника дороги сменились.

— А вернулся кто-нибудь из арестованных?

— В тридцать восьмом году один вернулся. Сидели они в подвалах под управлением железной дороги. Однажды мы с Клавкой стоим возле управления, вдруг ворота открываются и выводят их — смотрю, все наши. Мы так и обалдели, пока они мимо шли. Охранники подходят к нам: "Что смотрите? Какие знаки делаете?" Мы говорим: "Ничего!" — "Как ничего?" Забрали, увели к себе и восемь часов держали.

13

В разговор вступает матушка.

— В сороковом году я уже после финской приехала в Москву хлопотать за Полю. Пришла во двор, вроде бы где нынешний Моссовет, дождалась очереди, вошла. Сидит следователь. Я говорю так и так, Полина Железнякова за что сидит, какова ее судьба? Он порылся в папках и говорит: "Нечего приезжать было. Сестра враг народа. Она затоваривала фабрику продукцией".

— А чем там затоваривать? — сказала я. — Шьют они ватники да стеганные брюки! Подумаешь, продукция! — Как он вскочил, как хлопнул по столу: "Не разговаривать!". Входит солдат. "Заберите!" Ведут в какую-то комнату и закрывают. Ну, думаю, все... Хорошо, с собою пачка папирос была. Вечером слышу — отпирают. Входит солдат, выводит меня по коридору во двор и говорит: "Идите и больше никогда здесь не появляйтесь..."

Мать замолкает, а Дуся копается в памяти и вытаскивает из нее всяческие большие и малые подробности.

— Увезли Полю зимой. Я успела ей теплых вещей передать. Платок. Пальто. Кофту. Ночью погрузили в вагоны — вагон по ветке прямо к тюрьме подавали. Три дня на Фаянсовой вагон стоял — ждали другой из Киева, в котором везли жен Постышева, Косиора и всякого украинского начальства... Те были одеты полетному, Поля в дороге с ними делилась теплыми вещами — я много ей передала, знала, что собрать, другие бабы как курицы растерялись: что передавать? когда увезут? — а я знала, что надо...

Матушка машет рукой:

— А как в Лихуне раскулачивали Барановых да Сидоровых — какие они кулаки? Работали всей семьей от мала до велика с утра до вечера... Дом, говорят, у них был кирпичный... Так я сама помню, как Танька, бывало, глину для кирпичей месит — ноги все аж до крови растрескиваются.

Моя бабка глуховата, в 1918 году переболела тифом, но время от времени порой не к месту, но вступает в разговор:

— Ты, Шурка, советскую власть не ругай, ты при ей два института кончила!

Мать действительно после рабфака кончила сначала Московский институт физкультуры (была какой-то чемпионкой по прыжкам в высоту с места!), а потом медицинский институт, чем неграмотная бабка очень гордилась.

— Мать, но я слышал, что тетя Поля сама тоже раскулачивала.

— Она в нашу деревню не ездила, — с неохотой вспоми-

14

нает матушка, — она чаще бывала в Доможирове, в Каменке. Да, раскулачивала, ну ее тоже заставляли, она же партийная была. За ней мужики как-то с кольями гнались, — а она на лошади, едва-едва убежала.

Мы долго молчим, и я думаю о том, что судьба жестока, но, в конечном счете, и справедлива. Наверно, по тетиполиной милости не одна крестьянская семья была выслана куда-нибудь в Нарым или еще дальше. С детьми и стариками. А потом и до нее очередь дошла. "Какой мерой вы судили, такой и вам отмерится..." Так что ли было сказано две тысячи лет тому назад?

А послали тетю Полю в лагерь по делу секретаря Калужского горкома Трейваса — латышского еврея. Он был в свое время активным сторонником Троцкого, коих в партии после изгнания их вождя оставалось еще немало, что совершенно естественно для постреволюционных времен. Сталин, добивавшийся перед войной полной идеологической и организационной монолитности общества, взял курс на жестокое искоренение из партийного аппарата всех тайных и явных сторонников своего врага. Черед дошел и до Трейваса, а вместе с ним и до городского партийного бюро, членом которого была моя тетка—в молодости калужская крестьянка, потом выдвиженка, и в 1937 году директорша швейной фабрики. Откуда ей было знать, что, сделав партийную карьеру, придется заплатить свободой за грехи неизвестных ей троцкистов. Лес рубят — щепки летят.

— А наша семья, — снова начинает разговор тетя Дуся, — нянька с детьми, три коровы держали, две лошади, овечки, куры. Мужиков в доме не было, одни бабы.

Разговор становится веселее, переходит на деда, на бабу, на жизнь в родовой деревне Лихуны.

— Дед твой легкий на подъем был человек. Работать умел. Хотел всех выучить. Хотел в Америку уехать, да бабка как гиря висела на ногах. Одевать любил нас в магазине и обувал из магазина, хотя сам был сапожник известный. Как-то Серегу-брата повел в магазин, купил ему мерлушковую шапку с красным верхом, синюю поддевку, лакированные сапоги. А Поле какое приданое дал: серебряный самовар, двенадцать серебряных рюмок, дюжину серебряных ложек столовых, дюжину чайных... А помнишь, Шура, нашу бабку Евдоху? Шестеро детей у ней было. Все разные. Степан и нянька — черные, цыганистые, Федор — другой. Бабка как две капли воды похожа на соседку Баранову, как близнецы, даже родинка на щеке в том же самом месте. Как пойдут в ночное лошадей

15

пасти, так и не поймешь — кто потом от кого. А кто же согрешил? Да конечно, бабка Евгенья. Бойкая была. С шестью детьми за церковного старосту вышла. После революции одна осталась с детьми. Приедет в город в башлыке каленом от мороза—как в буденовке, за что ее и звали Буденный,—дрова привезет, да нам картошки, да бутылку молока, молоко теплое — за пазухой всегда возила. Одна всю землю обрабатывала, что ей досталась от этого старосты. А у няньки муж был, работал пекарем в Москве. Ну красавец — белокурый, чистый Есенин.

Няньку—бабкину сестру, вырастившую и мою мать и тетю Дусю, я видел в семидесятых годах, когда она жила в городе у своей внучки. Шел ей тогда девяносто третий год, но волосы еще были черные с проседью, а чистое лицо, обрамленное беленьким платочком, еще хранило приметы византийской иконописной красоты. Только была согнута она в пояснице и не разгибалась. Помню ее разговоры о колхозной жизни:

— Земли у меня было сорок соток. А налогу — сто рублей в год, да пятьдесят кило мяса, да триста литров молока, да шестнадцать мешков картошки. Самообложение двадцать рублей седьмого ноября сдавали, а потом еще и облигации — хошь не хошь бери. А как мяса сдать пятьдесят кило? Бывало, едем

на рынок бригадой, покупаем корову и сдаем. Ненавижу я и Сталина и Ленина вашего... — И вдруг ни с того ни с сего тетя Маша с той же ненавистью вспоминала своих соседей-кулаков Барановых, Муриных, Сидоровых: — В кирпичных домах жили, мироеды!

А ведь глину-то для кирпичей кулацкие дочери месили ногами, пока кожа до крови не трескалась. Тетя Маша... Я стихи о ней когда-то написал:

А какая была молодлица,
византийские брови дугой...
Тете Маше ночами не спится,
все мерещится вечный покой...

Ну откуда было знать неграмотной тете Маше о том, что ее жизнь и судьба, ее самообложение и ее налоги были определены и запрограммированы на самом высшем этаже власти, обсуждены на самом высоком партийном уровне? Ведь именно о ее тяжелой доле говорил Сталин на пленуме ЦК в апреле 1929 года: "Кроме обычных налогов, прямых и косвенных, которые платит крестьянство государству, оно дает еще некий сверхналог в виде переплат на промтовары и в виде недополучек по линии цен на сельскохозяйственные продукты..."

16

Можем ли мы сейчас уничтожить это сверхналог? К сожалению, не можем. Мы должны его уничтожить при первой возможности в ближайшие годы. Но мы его сейчас не можем уничтожить... Это есть "нечто вроде дани" за нашу отсталость. Этот сверхналог нужен для того, чтобы двинуть вперед развитие индустрии и покончить с нашей отсталостью... Посилен ли этот добавочный налог для крестьянства? Да, посилен. Почему? ...У крестьянина есть свое личное хозяйство, доходы от которого дают ему возможность платить добавочный налог, чего нельзя сказать о рабочем, у которого нет личного хозяйства и который, несмотря на это, отдает все свои силы на дело индустриализации".

И еще неграмотная тетя Маша не знала знаменитых слов Сталина, сказанных в то же время: "Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут". Одно утешение, что ее мясо и молоко, картошка и шерсть, ее пот и слезы легли в фундамент Магнитки и Кузнецка, а не в обрамление особняков на Канарах и вилл на Лазурном берегу... Земля ей пухом и вечная память...

А матушка все продолжает свои воспоминания о дореволюционном еще детстве...

— Приедем в ночное, бабка в тулуп, а меня лошадой пасти, чтоб овсы или рожь не потоптали. А когда дрова продавать в Калугу ездила — так обыденкой, чтобы к вечеру вернуться. У Святого Колодца всегда останавливалась напиться. Почему Святой Колодец? А когда хоронили, то кресты с покойников снимали и на деревянный крест, что у колодца стоял, вешали. Кресты в могилу не клали. Вода была хорошая, ключевая.

— А где же этот Святой Колодец?

— Да под Азаровом, где церковь Георгия на поляне. Там и твой дед похоронен. Да ты должен помнить: от деревни как через речку перейдешь — и на горе. Церковь-то до сих пор стоит....

На другой день я поехал разыскивать Святой Колодец, поляну и могилу моего деда, Никиты, помершего от тифа в тысяча девятьсот двадцатом году.

Долго я плутал по промышленной окраине Калуги, крутился в лабиринтах заводских бетонных заборов, подъездных тупиков, глотая выхлопной газ от самосвалов и цементную пыль. Наконец по раскаленной бетонке миновал переезд и выехал на старую дорогу к поселку Северному, от которого мне надо было

искать кладбище. А где могила—даже мать не помнит. Вдоль пустынного когда-то большака,

17

вымощенного булыжником, ангары, подстанции, складские помещения, железные ворота. Все горячее, пыльное, раскаленное... Я миновал бетонный завод с его корпусами, конвейерами, самосвалами, разбитой дорогой, с выбоинами, наполненными тестообразной цементной массой, с обнаженными до пояса коричневыми солдатами из строительного батальона, выехал к какому-то кафе, вышел спросить дорогу. В кафе вино продавалось в разлив. Парень в рабочем синем халате нес в руках два стакана "Солнечной осени", его толкнул кто-то из компании, встоячку привалившейся к столику, граненый стакан грохнулся об пол, выложенный выщербленными плитками, и разлетелся вдребезги. Запахло сладким спиртным...

Я проскочил территорию завода, съехал с горы и, сообразив, что церковь осталась где-то сзади, расстроился, но увидел мостик и речушку, быстро бегущую в ивовых зарослях. Да это же родная Лихунка! Не найду кладбища — хоть освежусь в родной воде, подумал я и свернул с бетонки на глинистый проселок, подъехал к реке, вылез из машины и вдруг увидел перед собой на горе, с которой я только что съехал, в зеленых кущах деревьев два просвечивавшихся насквозь купола. Вот он храм Георгия на поляне! Просто он не виден с той пыльной застроенной дачно-бетонной стороны, а отсюда, от речки, с низины, словно бы выплыл из зеленого облака и завис над ним. Его погнутые кресты были отпечатаны в синем июньском небе.

Я успокоился и решил искупаться в водах, где купался в детстве. Не может быть, чтобы они не помогли мне и не вернули хотя бы маленькую искорку той жизненной силы, которую я когда-то черпал из этой воды целыми пригоршнями. А коли частица той свежести осталась во мне — она должна почувствовать связь с водой, с землей, откуда вышла, чтобы воплотиться в мое существо... Я вошел в ручей. Он был мне едва по колено — но песчаное дно и холодная вода успокоили меня. Я лег в воду на грудь, потом на спину и долго лежал, пока струи не сняли с меня цементную пыль и усталость, остудившись, вылез на берег, заросший сурепкой, тысячелистником и полынью. По тропинке бежало трое ребятишек. Один из них размахивал копьём, вырезанным из орешника. "Да это же я!" — пронеслось в моей голове.

А ноги-то отвыкли от засохшей глины, от травы-муравы, от земли-матушки... Неуверенно по ней ступают. Бывал я в Риме, бродил по Колизею, но, ей-Богу, говорю не лукавя, развалины этой сельской церкви были для меня более вели-

18

чественны и волнующи. Когда-то церковь действительно была на поляне, но сейчас обросла кустами и деревьями, даже внутри церкви росли мощные вязы. Одна стена, где, видимо, находился главный вход, была сломана, ворота и двери разбиты — от них осталась лишь кирпичная кладка — косяки, и церковь, вернее, остов ее, стоит — видимо, местные жители выбирали из нее кирпичи — на нескольких мощных останках кирпичных стен, как Эйфелева башня на подпорках, оттого она стала воздушной и кажется чудом зодчества. Однако под куполом во всех четырех углах, несмотря на ветры, снега и дожди, которые хозяйничают в каждой ее щели вот уже несколько десятилетий, сохранились силуэты святых, а над головами их еще кое-где догорает золото венценосного сияния. Но сквозь кирпичи, пройдя мощную кладку, свисают тонкие волокнистые корни берез, растущих уже не на земле, а в каменном теле. Мощные решетки еще стоят в окнах второго и третьего ярусов. На пяти-шестиметровой высоте сохранились остатки штукатурки и росписей. Четыре золотых сияния над головами. Птицы шуршат в листве деревьев, что растут на месте, где был алтарь и

царские врата. В первом ярусе решетки выломаны из стен. Одна стена, соединяющая колокольню и алтарь, разобрана. На стенах надписи: "здесь были...", "Игорь", "Васек", "Зураб". На колокольне, если задрать голову, под куполом еще видны металлические и деревянные перекрытия, на которых висели колокола. Пол выломан. Видимо, плиты нужны были. В земле громадные ямы — копали, искали чего-то, клад какой-нибудь. Все заросло крапивой, бузиной... А рядом кладбище, где лежат те, кто строил эту церковь, и те, кто ее ломал, и где хоронят их потомков... Где тут найдешь могилу деда? Все заросло. Давно уж и крест над ним, наверное, повалился и сгнил. Новые могилы навалились на старые. Где-то рядом урчат комбайны, грохочет бетонный завод, и только река Лихунка еще бежит по тенистой влажной низине, холодная, святая, ничем пока что не тронутая, и Георгий на поляне виден только с ее берега.

Кирпич разложился, выкрошился, вот-вот горловина под куполом обломится, но железный купол с каждым годом тоже ветшает, становится легче, ржавчина осыпается с него, сдуваемая ветрами, метелями, смываемая дождями, крест и полумесяц под ним истоньшаются, тяги, идущие от креста к куполу, тоже тоньшеют, но все это еще держится, словно вычерченное черной тушью на выцветшей сини июньского неба. Один купол из железных обручей, другой еще покрыт черным полуистлевшим листовым железом. А поляна заросла клевером, пижмой, тимофеевкой, таволгой, зверобоем. Со всех

19

сторон к церкви подступают молодые дубки и кусты бузины. И сколько я ни бродил в их зарослях, нигде не мог обнаружить никаких следов Святого Колодца.

С юга потянуло теплым ветром, и березы, растущие высоко в небе, на кирпичных карнизах, зашелестели молодой листвой.

Не найдя ни могилы деда, ни Святого Колодца, я решил пройтись по родовой деревне. Спустился в овраг и по петляющим выбитым стежкам поднялся, минуя огороды, к избам.

Вот он и знаменитый кирпичный дом кулаков Сидоровых. Наверное, какие-нибудь потомки здесь живут в летнее время, огород держат.

— Вам кого, молодой человек? — Меня окликнула еще крепкая старуха, и я решил рассказать ей, кто я такой и почему брожу по деревне.

Минуты три она слушала, потом всплеснула руками.

— Да помню я тебя мальчиком белобрысым. Из города тебя бабка на лето к няньке привозила. Ну пойдем, хоть чайком угощу...

За чаем она рассказала мне о многом, чего я уже не знал. Оказывается, у бабки было три брата — Иван, Степан и Михаил. Иван воевал на гражданской, а когда напивался, доставал саблю и бегал по деревне. "Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня". Да нет, Сергей Александрович, много чести. В русской деревне столько крику стояло в те годы, что никто бы на лишний крик и не обернулся. В доме Марьи Васильевны Сидоровой резной буфет, дубовый шкаф, комод, старинный барометр, круглые старинные часы. Дом каменный, построен на две семьи. Одна половина на пять окон, другая на шесть. Держит корову и двух собак. Дети живут в городе.

— А войну-то помните?

— Ну как не помнить, я ведь старше твоей матери на два года. Фронт-то со Смоленска разошелся. Идут по нашей деревне трое, у одного нога клеенкой перевязана. Зашли поесть, он и говорит: "Я коммунист, и послушай меня: дойдет до вас немец, режьте скотину". Куда там!..

А твоей бабушки брата немец ранил на пороге избы, избу сожгли. Он немца обозвал сволочью, когда тот лукошко яиц у них забрал из сарая. Хотел немец его дострелить, да нянька — его сестра — на руках у немца повисла. Мы всего-то два месяца под немцем были. Велели нам старосту выбрать. Ну, мы выбрали

прежнего председателя, старика Ивана Михайловича. Он мужик умный, на Соловках побывал. И народ не давал

20

обижать. А наши пришли: кто был старостой? — забрали. Так и не вернулся.

Она проводила меня до речки Лихунки. Какая речка — ручеек! — а когда-то в ней были омута, где однажды я чуть было не утонул — взрослые ребята спасли. Нахлебался. Тропинка через овраг прошла, на Доможирово, и на развилке мы попрощались. У развилки из-под камня пробивался ручей и песчинки плясали, поддерживаемые стружкой воды, бьющей из какого-то чистейшего водоносного слоя.

— Ну, попей, попей родимой водицы, у нас вода святая, ничем не тронутая...

— Марья Васильевна, а я помню, на том склоне до войны еще какие-то развалины стояли.

— Там имение было с еловыми аллеями. Сожгли в революцию.

— А зачем сожгли?

— Да чтоб помещику не досталось...

Я иду к машине по дну влажного оврага. Кругом таволга, иван-да-марья, лещина... Аж голова кружится от этого сырого дурмана. Надо еще водицы попить, пока от ручья не ушел.

Сколько всего исчезло с моей родной земли — нет ни дедовской могилы, ни еловых аллей, ни Святого Колодца, ни церкви Георгия на поляне, и поляны скоро не будет...

Одна святая вода осталась...

Однако воспоминание о деде-сапожнике вдруг вернулось ко мне самым неожиданным образом в 1992 году, когда я уже работал в "Нашем современнике".

Покойная мать рассказала мне однажды о том, как в 1918 году, когда ей было одиннадцать лет, поздно вечером в дверь кирпичного флигеля, где они жили и где у деда была в одной из комнат сапожная мастерская, раздался стук... Бабка отворила дверь. На пороге стоял офицер, снимавший в доме напротив квартиру. (Сейчас на стене того дома висит мемориальная доска, свидетельствующая, что он принадлежал отцу Наталии Николаевны Пушкиной — Николаю Гончарову, владельцу Полотняного Завода.) Офицер настоятельно попросил деда срочно, за несколько часов, стачать ему яловые сапоги за хорошие деньги... Он вошел с отроком-сыном и с громадной овчаркой в мастерскую, дед снял с него мерку, раскроил кожу и принялся тачать союзки. Мать с братом и сестрами с любопытством время от времени разглядывали в неплотно прикрытую дверь и усатого офицера, и красавицу собаку, и офицерского сына, который, видимо, впервые в жизни видел, как шьют сапоги...

21

Рано утром офицер с сыном и собакой исчезли из Калуги. Новые сапоги, наверное, были нужны нашему соседу, чтобы уйти куда подальше из советских областей, на Дон или на Украину... А донашивал он их где-нибудь в Турции или Сербии...

Но это не все. Весной 1992 года в редакции раздался телефонный звонок.

— Скажите, вы, Станислав Юрьевич, калужанин?

— Да...

— Я ваш земляк, живу в Америке, зовут меня Игорь Леонидович Новосильцев. Мне бы хотелось встретиться с вами.

...Через час благообразный, подвижный, ухоженный старик сидел в моем кабинете, мы пили чай, и он рассказывал о своей жизни.

— А до революции мы в Калуге жили в так называемом доме Гончаровых, возле Георгиевской церкви.

— Как интересно, в том же дворе жила и наша семья, дед, бабка, мать с отцом

и сестрами.

— А где они жили?

— Во флигеле из красного кирпича.

— Ну, я прекрасно помню этот флигель, и жильцов его помню, и детей... Наверное, я и с вашей матушкой встречался... Какого она года рожденья? Девятьсот седьмого? Ну, я немного старше...

Слово за слово, и через несколько минут я убедился, что офицер, которому мой дед шил сапоги перед бегством из Калуги — отец Игоря Леонидовича, а мальчик, сидевший в мастерской деда и при колеблющемся свете керосиновой лампы наблюдавший, как на его глазах мастер-сапожник тачает сапоги, — он сам...

Старик прослезился, обнял меня с таким чувством, как будто встретил родного человека, с которым не виделся семьдесят с лишним лет...

— Ну знаете — это перст судьбы! Я создал в Америке общество "Сеятель". Мы зарабатываем деньги, собираем пожертвования, покупаем семена и привозим их в Россию — фермерам, колхозам, монастырям. Всем, кто в них нуждается. Вот и сейчас я везу семена в Оптину пустынь и Шамординский монастырь. Мы, русские, живущие в Америке, любим ваш журнал, выписываем, читаем. Перед отъездом читатели журнала собрали две тысячи долларов, чтобы поддержать "Наш современник" в такое трудное для патриотов время.

Тут я чуть не прослезился... Цены росли на глазах, сотрудники журнала, получавшие копеечную зарплату, были разорены гайдаровской реформой — и вдруг такая помощь!

22

Поистине ничего не пропадает даром. Мой дед за ночь сшил отцу Игоря Леонидовича яловые сапоги на глазах сына, а сын через семьдесят четыре года как бы возвращает долг внуку сапожника... Русские люди, земляки, снова встретились. Разорванный круг истории сомкнулся...

Мы обнялись и, не стыдясь своих слез, расцеловались.

* * *

Отцовская же родня — три или четыре поколения были в основном офицерами, земскими учителями, мелкими чиновниками государственной службы в Петрозаводске. Брат деда Алексей, работая учителем в Олонецкой губернии, писал стихи народнического, "надсоновского" толка ("Впервые здесь мы о свободе держали речь и о борьбе, о нашем загнанном народе, который жизнь влачит во тьме") и вместе с ссыльными революционерами занимался просветительской работой среди крестьян в окрестностях Петрозаводска. В 1919 году Олонецкий губернский отдел народного образования издал книгу "Стихотворений народного учителя Алексея Николаевича Куняева". Петрозаводские газеты в 70-е годы в материалах, посвященных истории края, не раз вспоминали его имя. Другой брат деда Евгений воевал солдатом в первой мировой войне, стал полным георгиевским кавалером и был произведен в офицеры. Погиб на Великой Отечественной в звании майора. Еще один брат Борис ушел с белыми в эмиграцию. А мой дед Аркадий учился в Петербургской Военно-медицинской академии, из которой после участия в студенческих волнениях 1905 года был исключен и закончил медицинское образование в Киеве. Во многих отношениях он был человеком незаурядным. Блестящий хирург, педагог, общественный деятель, — дед в 1913 году построил на пожертвования нижегородцев больницу, которой заведовал вплоть до 1919 года. В этой же больнице работала врачом моя бабка — Наталья Алексеевна Покровская. Когда во время гражданской войны в Поволжье вспыхнули очаги тифа, дед стал одним из главных организаторов борьбы с эпидемией, в конце концов заразился сам и умер, как врач, на посту. Незадолго до его смерти от тифа умерла и моя бабушка.

В 60—70-е годы горьковские газеты в связи с юбилеями всякого рода медицинских учреждений несколько раз печатали портреты деда и воспоминания о нем, земском враче, профессоре медицины, потомственном русском интеллигенте, председателе суда чести врачей в Нижегородской губернии.

23

В 1957 году, когда я закончил филологический факультет МГУ, диплом в деканате мне выписал седенький старичок Алексей Петрович. Почерк у него был каллиграфический, дореволюционный, писал он тушью, там где надо — с жирным нажимом, а где — тончайшей, волосяной линией. Его и держали при деканате за это искусство. Выдавая мне диплом, он спросил: — А доктор Куняев из Нижнего Новгорода не ваш ли родственник? — Это мой дед! — с удивлением ответил я.

— Так вот, ваш дед сделал мне в 1915 году редчайшую операцию. У меня был остеомиелит лучевой кости. Кость гноилась. Руку уже хотели ампутировать. Но ваш дедушка выпилил у меня часть ребра и заменил им омертвевшую костную ткань руки. Вот этой рукой, — Алексей Петрович засучил рукав пиджака и показал мне едва заметные шрамы на коже, — я вам, молодой человек, с благодарностью выписываю диплом.

Оба они, дед и бабушка, были похоронены, как известные нижегородские врачи, с траурными торжествами. Некрологи, появившиеся в нижегородских газетах, стоят того, чтобы процитировать их. Студенты медицинского факультета Нижегородского университета писали об Аркадии Николаевиче самым что ни на есть "высоким стилем", объединившим гимназические навыки студентов с трогательной риторикой революционной эпохи:

"Пройдут года, и на месте убогого домика нашего теперешнего анатомического института будет выситься прекрасное грандиозное здание, оборудованное по последнему слову науки, и в нем будут учиться толпы пролетарской молодежи, прокладывая путь к знанию и искать средства спасения человечества от потрясающих его жизнь болезней и эпидемий... У открытой могилы, готовой взять дорогого нам человека, с тяжелым от скорби сердцем и глазами, полными слез, нам слышатся вещие слова Аркадия Николаевича, мертвое тело которого есть первый камень, но камень редкой благородной красоты в фундаменте дивного храма науки и жизни, которому благородные последователи дадут его имя..." ("Нижегородская коммуна", 17 авг. 1920 г.)

О смерти бабушки газеты сообщали стилем не менее возвышенным:

"Образ Натальи Алексеевны глубоко запечатлен в нашей памяти, и взвешивая ее деятельность как врача и оценивая ее как человека, с грустью, искренне скажешь о ней теплыми словами Надсона: "Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает, пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть арфа слома-

24

на — аккорд еще рыдает". ("Нижегородский листок", 6 дек. 1917 г)

За гробом деда шел эскадрон красных кавалеристов, два оркестра сопровождали траурную процессию, когда опускали в могилу гроб, то воинский караул произвел три прощальных залпа. Могила их находилась в почетном месте возле стен Печерского монастыря на откосе, возле слияния Оки и Волги... До 1930 года больница, основанная дедом, называлась "Больница имени доктора А. Н. Куняева", но в 1931 году это было расценено как самоуправство местных властей, мемориальную доску со стены больницы сняли, а когда в том же году закрывали монастырь, то разорили монастырское кладбище, и я никогда уже не узнаю, где покоятся кости деда и бабушки.

Однако весной 1978 года в моей московской квартире раздался звонок из Горького — звонила Альбертина Васильевна Кессель—работник городского Общества охраны памятников:

— Станислав Юрьевич, приезжайте на открытие мемориальной доски вашему деду!

На красивейшей набережной города, застроенной купеческими ампирами особняками, откуда простирается вид на Волгу и заречные дали, во дворе уютной больницы, огороженной старинной чугунной оградой, состоялся небольшой митинг, на который пришли писатели, журналисты, врачи города, согбенные годами медсестры — некоторые из них помнили и деда и бабу, принесли с собой старые фотографии, и наконец-то с мемориальной доски сползло белое покрывало, и я с волнением прочитал слова, вырезанные на мраморе:

*В этом здании
с 1913 по 1919 год
работал организатор больницы
Красного Креста
А. Н. Куняев*

Дело сделано, справедливость восторжествовала. Я подумал о том, что моим внукам и правнукам легче будет сохранять в жизни честь и достоинство русского интеллигента, зная о существовании этой мраморной доски на кирпичном фасаде старенькой нижегородской больницы.

Однако имя деда в 1990-е годы было увековечено еще в одном месте... В 1995 году со всеми своими тремя внуками я совершил путешествие в Арзамасский уезд. Сначала в Дивеевский монастырь, а потом в земскую карамзинскую больницу, в арзамасский край, в места, благословенные

²⁵
Серафимом Саровским. Пройдя за световой день 700 километров, автобус к ночи привез нас из Москвы к стенам Дивеевского монастыря.

Темной дождливой ночью, скользя и опираясь друг на друга, мы добрались по глинистым размытым тропам к монастырской гостинице, стоявшей в чистом поле за пределами села. Несмотря на страшную осеннюю грязь и нашествие паломников, в гостинице было тихо и чисто. Молоденькие молчаливые послушницы в белых платочках непрерывно сновали по коридорам с ведрами и тряпками, протирали полы, встречали паломников, приказывали им снимать облепленную глиной обувь в прихожей, наливали воду в бочки и умывальники, разводили нас по комнатам. В каждой из комнат на двухэтажных железных кроватях умещалось по двадцать человек. Мы с младшим внуком залезли на второй этаж, уронили свои тела и головы на серо-зеленые, но чистые солдатские простыни и наволочки и тут же заснули...

Утром я огляделся. Молодые ребята сидели у своих тумбочек, пили чай, ели постную пищу и вполголоса, чтобы не мешать спать другим, разговаривали. На тумбочках возле их кроватей лежала святоотеческая литература, на стенах висели иконки и сюжеты из Священного писания. В воздухе витал дух смирения и добровольного аскетизма. Каждое утро они встают чуть свет, читают молитвы, завтракают и уходят на целый день. Большинство из них работает на восстановлении монастыря...

Мы с внуками умылись, пошли к монастырю, приложились к мощам Святого Серафима, отстояли утреннюю службу и вышли на площадь, куда вскоре должна была подойти машина, чтобы отвезти нас в карамзинскую больницу, километров за сорок от монастыря. В этом-то, собственно, заключалась главная и тайная цель нашего путешествия.

Карамзинскую больницу в середине прошлого века построил старший сын великого историка Александр, который, выйдя в отставку, покинул блистательный Петербург, отказался от светской карьеры и уехал с молодой женой Натальей Васильевной Оболенской в свои наследственные заволжские

угодья, чтобы посвятить вторую половину жизни земскому обустройству в этих глухих русско-мордовских местах. Благодаря его стараниям на окраине села Рогожка вскоре вырос каменный двухэтажный корпус земской больницы, родильный дом, хозяйственные постройки, была открыта целая система прудов и разбит прекрасный парк с липовыми аллеями, благородными кустарниками, экзотическими для этих мест лиственницами и кедрами.

26

Вскоре после смерти Карамзина и Оболенской — а их похоронили в склепе посреди парка — заведовать больницей приехал молодой врач с молодой женой. Случилось это в 1905 году. Через семь лет деда с бабкой, как толковых врачей и организаторов земской медицины, перевели в Нижний Новгород, а местное земство постановило, чтобы его портрет работы знаменитого нижегородского фотографа Дмитриева "вечно висел в кабинете главного врача карамзинской больницы". Я знал, что он висит здесь вот уже восемьдесят пять лет, что на стене больницы открыта мраморная доска, повествующая о заслугах деда, и очень хотел, чтобы мои внуки прикоснулись душой, зрением, памятью к истории нашего рода...

Вскоре нынешний главный врач Олег Михайлович Бахарев после моего утреннего телефонного звонка подъехал на санитарной машине в Дивеево, и мы отправились в легендарную карамзинскую больницу. Олег Михайлович вместе с женой Мариной Владимировной (тоже врачом — сильны-таки традиции земской медицины!) заведует больницей вот уже лет двадцать. Полноватый, с поседевшими висками, бородкой и в очках, он похож и на типичного чеховского доктора, и на моего деда со старинных коричневатых фотографий, у него доброжелательная печальная улыбка и приветливые жесты рук. Сам сидит за рулем и рассказывает по дороге о нынешней "больничной жизни".

— Зарплату в этом году получали дважды — по 200 тысяч. Тесть недавно умер, а его военной пенсией мы оплатили расходы сына на учебу: учится на врача в Нижегородском университете. Платили один миллион в год. Как теперь учить будем—не знаю. Люди в поселке и их семьи живут впроголодь только на пенсионные деньги, заработать негде. Совхоз развалился. А ведь раньше давал 600 тонн мяса ежегодно! Распустили согласно немцовским реформам, отрезали каждому работнику несколько гектаров земли, которая за три года заросла кустарником и подлеском. Нам, врачам и медсестрам, тоже дали по восемь гектаров. А что с ними делать? Нам людей лечить надо!

По моей просьбе он притормозил у придорожного ларька. Я взял бутылку водки. Олег Михайлович смутился, покраснел, отвел глаза. Ему было неудобно, потому что у него, хозяина, не было десяти тысяч, чтобы купить спиртное к обеду и выпить по чарке за встречу.

Перед самой больницей, когда уже показались ровные липовые линии знаменитого парка, он заканчивал свой невеселый рассказ:

27

— Больница умирает, При вашем деде она была на сто коек. Сейчас осталось пятнадцать. Больше класть не можем, нет денег на содержание больных. Нет лекарств. Чтобы зря не выписывать рецепты, прямо спрашиваем: "Деньги есть?" Больные, как правило, мотают головами. Обучаемся лечить травами. На бинты собираем старые простыни, дезинфицируем. В округе снова появился сифилис, с которым ваш дед справился в начале века. Котельная в аварийном состоянии. Выйдет из строя — больница замерзнет. Гвозди рубим из проволоки. Штат врачей, медсестер и санитарок сократили вдвое. А можно и втрое. Ну, посудите — в начале перестройки у нас рождалось 45—50 младенцев ежегодно. Сейчас 8—10...

...Мы вышли в парк. Между вековых лип и лиственниц еще угадывались не до

конца заросшие березняком, рябиной и жимолостью аллеи, на которых фотографировались местные земские врачи, приезжавшие в гости к деду и бабке. В сером ноябрьском небе над парком кружила пара воронов.

— Сколько им лет — никто не знает. Даже местные старухи помнят это семейство с молодых лет. Вполне возможно, что они еще при Аркадии Николаевиче здесь кружили. А парк — один из лучших на Новгородчине был. Александр Карамзин паркового архитектора и садовника содержал...

Мы прошли в сырую, пахучую черно-золотую глубь парка, дошли до холма, где когда-то стоял склеп Карамзина — Оболенской.

— Во время революции разорили, золото искали. А недавно мы обнаружили под школьными порогами в земле надгробную плиту черного гранита с именами Карамзина и Оболенской. На берегу пруда — я вам покажу — поставили крест, плиту положили... Правда, одна ее сторона сильно побита. Несколько поколений школьников стальными подшипниками ее долбили, отскакивали здорово, высоко... Вот так и живем: плиту и крест поставили, мемориальную доску вашему деду открыли, а больница умирает. Лет пять тому назад столько надежд было, столько планов! А автобус купили, хотели по "Золотому кольцу" — Карамзинская больница — Арзамас — Дивеево — Темниковский монастырь — туристов возить, водолечебницу наладили, авторемонтный завод шефствовал над нами... А чем все кончилось? Завод лежит на боку, водолечебницу, как ненужную роскошь, прикрыли, гвозди из проволоки рубим. И вообще, мы, местные врачи, чувствуем: у губернаторской администрации появилось страстное желание избавиться от всех подобных "земских" больниц, построенных и в прошлом

28

веке, и в советское время. Нам прямо говорят: дорого вы стоите, народные больницы, крестьянам достаточно фельдшеров и "повивальных бабок"...

Перед отъездом хозяйка пригласила нас поужинать. Поставила на стол по тарелке супа и по котлете. Извиняется:

— Холодильник открыть стыдно. А помните, как мы принимали вас в девяностом, даже в девяносто втором году? Стол ломился! Чего только не было: и мясо, и рыба, и варенья, и соленья, и пироги...

Мы проглотили по стопке водки и обнялись на прощанье. Вышли на улицу. Выгрузили коробки с книгами, которые я привез для больничной библиотеки, сели в машину.

— Погодите, — забыли детям показать портрет их пращура и дом, где он жил!

В кабинете главврача мои внуки с почтением поглядели на портрет, окаймленный коричневой дубовой рамкой с медной табличкой, привинченной к дереву, потом вышли к почерневшему от времени рубленому дому о шести комнатах со светелкой, стоявшему на берегу пруда. В светелке компания окрестных врачей частенько собиралась на чаепитие за медным самоваром. Моя бабушка садилась за рояль, врач Капустин брал в руки скрипку, дед декламировал модные в то время среди прогрессивной интеллигенции стихи:

Каменщик, каменщик в фартуке белом,

Что ты там строишь? Кому?

— Эй, не мешай, мы заняты делом,

строим мы, строим тюрьму...

Играли Чайковского, читали вслух "Капитал" Маркса, влюблялись друг в друга, баловались вольномыслием, ругали церковь, обожали Льва Толстого. В этом доме родились и прожили свое детство мой отец и дядя. Стекла выбиты, ветер качает перекосившуюся, повисшую на одной петле раму... Средний внук

Алексей хмур и возмущен:

— Это же наш наследственный дом! Стану бизнесменом, заработаю денег и отремонтирую все — и дом и больницу, здесь жить буду!

Марина Владимировна улыбается и, чуть не плача, обнимает его:

— Дай тебе Бог! Только вот нас уже в живых не будет. На прощанье Олег Михайлович со счастливой улыбкой выносит из дома книгу в обветшалом кожаном переплете, открывает пожелтевшую титульную страницу. С трудом я разбираю надпись, сделанную выцветшими чернилами:

29

"26 августа 1879 поднесено моей милой Таше с покорнейшей просьбой не дарить другим. А. Карамзин".

Том "Истории государства Российского" 1851 года издания, подарок Александра Карамзина своей жене Наталье Оболенской, Таше!

— Откуда это у вас, Олег Михайлович?!

— Недавно старушка одна принесла. Сохранилась в ее семье еще со времен революции, когда склеп разорjali, дом барский рушили, библиотеку растаскивали... Возьмите себе на память от Карамзина, от вашего деда, от меня...

Мы обнялись на прощанье.

— А больницу спасать надо! — сдавленным голосом шепнул Олег Михайлович, горячо дыша мне в ухо...

Когда мы отъезжали от Рогожки, высоко в небе кружил ворон, хозяин здешних мест, помнящий все времена: и расцвета и разорения жизни...

* * *

Может быть, гены, как оказалось, живущие в этом роду, сделали свое дело, когда я впервые, как сказал поэт, "с рифмою схлестнулся". Было это в эвакуации в северном селе Пыщуг, затерявшемся в лесах на стыке Горьковской, Костромской и Вологодской областей, куда нас с матерью и сестрой занесло ветром войны. Сюда мы эвакуировались из Ленинграда, где оставили отца, который, будучи белобилетником по зрению, обучал ополченцев при институте физкультуры имени Лесгафта и умер голодной смертью в феврале 1942 года.

В Пыщуге я окончил четыре класса начальной школы, и помнится, что первое стихотворенье мое было "опубликовано" в школьной газете. Оно было о войне, и от него в памяти осталась только одна строчка: "чаша народного гнева полна"... С нежностью вспоминаю деревянную крашеную школу в окружении почерневших от времени берез.

Недавно я побывал на родине Рубцова в селе Николе и аж взволновался, увидев, насколько эти края похожи на мои пыщугские.

Школа моя деревянная,
Время придет уезжать,
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать, —

30

да это же — о моей пыщугской школе, со двора которой тянулись необъятные для глаза просторы глухого леса, болотистая кочковатая низина, пересеченная чистой холодной рекой, где мы купались и ловили бельевой корзиной юрких пескарей...

Вспоминаю школьных товарищей — деревенских ребят — Боборыкиных, Бессоновых, Хариновых. Сначала у нас, эвакуированных, с ними были жестокие стычки, но потом мы подружились. Они учили нас, как делать крестьянскую работу в поле, добывать в лесу грибы и ягоды, ловить рыбу, а мы помогали им решать задачи по арифметике, писать изложения и рассказывали, где и как мы успели увидеть войну. В летние дни все вместе мы то окучивали колхозную картошку, то собирали в лесу мох сфагнум для госпиталей, где не хватало ваты, то черные угольки спорыньи с ржаных колосьев, нужной в тех же госпиталях как

кровоостанавливающее средство... А вообще — росли как трава в поле...

Там, в тихом северном селе, куда одна за другой к нам пришли похоронки о смерти отца в осажденном Ленинграде, о гибели материнного младшего брата, летчика дяди Сережи, именно там я мог видеть и понять детским сердцем, что такое горе... Одну сцену из той жизни я запомнил навсегда. Однажды после звонка я помчался в школьную раздевалку, отыскал в куче рваных заношенных пальтишек свою одежду и вышел на крыльцо деревянной школы, окруженной старыми березами. Школа стояла рядом с церковью, переделанной под клуб, в центре села. Мать работала главврачом в деревенской больнице. Врачей было мало, больных много, и я не видел ее целыми днями. Она часто уезжала в дальние деревушки на санях, чтобы добыть для больницы мешок муки, кастрюлю масла или куль картошки, потому что еды в ту зиму не хватало всем — и больным, и здоровым. В редкие вечера, когда я, вернувшись в избу из школы, заставал мать дома, она каждый раз заставляла меня снимать рубаху, выворачивала фитиль в керосиновой лампе, чтобы она светила поярче, и начинала искать в складках рубахи крупных платяных вшей, которые с хрустом лопались под ее ногтями.

Потом я подставлял матери стриженую голову, и она очищала ее от насекомых при помощи рук и гребешка...

Тепло, струящееся от русской печки, нежные прикосновения материнских рук навевали на меня сонливость, и я, уронив голову на колени матери, иногда погружался в сладкую дремоту...

Но сегодня утром мать сказала, что уезжает на два дня в

31

деревню Бобры, дала мне синенький клочок бумаги с печатью, по которому я должен пойти в столовую, где эвакуированным детям иногда давали дополнительное питание — тарелку щей, миску пшенной каши, по стакану сладкого чаю или компота. Дверь школы с шумом распахнулась, и на крыльцо вывалилась толпа моих одноклассников — в отцовских пиджаках по колено, в лаптях и валенках, кто с домоткаными дерюжными, кто с противогазными сумками через плечо. Мелькали руки, головы, шапки слетали с голов. Увлекая за собой меня, груда тел скатилась со школьного крыльца. Я почувствовал, как кто-то ударил меня сумкой по голове, сделал усилие, чтобы выбраться из-под Саньки Харинова, но Санька сам был придавлен сверху сыном начальника милиции Дрожниковым, заварившим, как всегда, эту потасовку между местными и эвакуированными. На помощь Саньке скатились с крыльца брата-близнецы Бессоновы, и когда я, разъяренный тем, что пришлось, барахтаясь, набрать снега в валенки, в рукава, за шиворот и надышаться кислым запахом деревенской лопотины, наконец-то, как щенок, выкарабкался из орущей кучи, то, войдя в раж, затолкал в кучу Володьку Червякова, а заодно, ловко сделав ей подножку, и Антонину Боборыкину, которая не успела прошмыгнуть мимо нас и вскоре очутилась, слабенькая и беспомощная, в самом низу.

— Что тут творится! — раздался визгливый голос учительницы Нонны Петровны. Она была хромоножка и, входя в класс, смешно переваливалась, припадая на одну сторону, как утка, и про нее была сложена насмешливая песенка:

Нонна Петровна
Поехала по бревнам,
Зацепилась за пенек,
Просидела весь денек...

— Что творится! Дрожников! Харинов! Куняев! А ну, ко мне! Антонина! Как тебе не стыдно, а еще девочка!

Раскрасневшиеся, мы, тяжело дыша, выстроились перед крыльцом, ожидая наказания.

— Останетесь после уроков пилить дрова. А ты, Антонина, иди домой...

Но Антонина сидела на снегу, не в силах вылезти из сугроба. Ее заплатанное пальтишко, даже не пальтишко, а рванинка какая-то, было распахнуто настежь — пуговицы во время давки отлетели, и было видно, что на ее худеньком тельце надета всего лишь одна длинная замызганная холщовая рубаха, которая задралась выше посиневших коленок. Ее тонкие

32

детские ноги были обернуты серыми портянками, перетянуты онучами, и небольшие, ладно сплетенные детские лапотки торчали из-под снега. Коричневый платок во время свалки слетел на снег, обнажив стриженную после тифа голову, и на истощенном темном лице были видны одни широко раскрытые глаза, в которых я увидел застывшие слезы. Я протянул девочке руку.

— Ну че ты, Тонь, вставай, мы ведь не нарочно... Девочка поднялась, отряхнулась от снега, подняла платок,

повязала голову и стала копаться в сугробе красными от холода руками, разыскивая тетрадку и книги...

Мы шли по узкой протоптанной среди снежных заносов тропинке. Ранние синие сумерки быстро окутывали деревню. В редких избах кое-где зажигались огоньки, потому что люди берегли керосин и насколько возможно пытались жить в темноте.

Сумерки уже поглотили и растворили в себе далекую черную кромку леса, смягчили очертания каменной церкви, слились с дымками, тянущимися из черных труб к тускнеющему небу.

— Ну че ты, Тонь, не плачь, я не нарочно!

— Я ись хочу! — не поворачивая головы, тихим голосом сказала Тоня и повернула с тропинки к своей темной избе.

Я дошел до столовой, перестроенной из высокого поповского дома, и, не раздеваясь, сел за стол. Женщина в белом халате подошла ко мне, взяла талончик с печатью и принесла из кухни щи и не пшенную, как всегда, кашу, а тарелку картошки с мясом и стакан компота.

Я сдернул шапку, сел за желтый выскобленный стол и, чувствуя, как слюна заполняет рот, жадно опорожнил тарелку щей с серым хлебом, передохнул и взялся за горячее мясное варево, как вдруг почувствовал, что кто-то сел за стол напротив меня. Я поднял глаза. Передо мной сидел человек со слипшимися всклокоченными волосами, обросший жуткой бородой. Его лицо, казалось, все состояло из впадин. Две впадины вместо щек, впадина рта и, самое страшное,— глубоко провалившиеся в лицевых костях глазницы, в глубине которых горели глаза. Он глядел на меня так пристально, что мне расхотелось есть, и я отодвинул от себя тарелку. Тут же из-под края стола бесшумно выползла коричневая костистая рука незнакомца и придвинула тарелку к себе. Вслед за тарелкой мужчина схватил деревянную ложку, недоеденный мною кусок хлеба и, боязливо поглядывая то на меня, то на дощатую перегородку, за которой копошилась повариха, начал, безостановочно работая ложкой, заглатывать

33

остатки еды. Я, как замороженный, не в силах оторвать от него глаз, молча провожал взглядом каждый кусок, который незнакомец проглатывал, почти не разжевывая. Было видно, как вздувается его горло и какие усилия он делает, чтобы побыстрее проглотить пищу.

— А, ты опять тут! Поесть людям не даст! — повариха выскочила из-за перегородки, но мужчина втянул голову в плечи и замер, обхватив миску обеими руками.

— Ты, милоч, не бойсь его. Он припадочный — его и на войну не взяли. С дочкой живет, с Тонькой Боборыкиной. Мать-то у них осенью померла от тифа. Он тихий, ты его не бойсь...

Дверь скрипнула, в щель ворвалась струя морозного воздуха, а вместе с ней в столовую, как тень, прошмыгнула девочка. Громко стуча лапотками по деревянным половицам, она подошла к отцу и дернула его за рукав:

— Пошли в избу! Я печку растопила...

Мужчина оторвался от чисто вылизанной миски и молча вылез из-за стола. И тут я увидел, как они похожи друг на друга — отец и дочь — темными худыми лицами и огромными круглыми глазами.

Сумерки окончательно опустились с низких северных небес на землю. В редких избах зажглись окна. Кое-где во дворах, услышав отдаленный волчий вой, зашлись лаем собаки. Заскрипели полозья, раздалось конское ржанье, и по дороге пронеслись сани, запряженные парой громадных лошадей. В санях, застегнутый с головы до ног в черный тулуп, сидел военком, уезжавший в дальнюю лесную деревню за мужиками, которых пора отправлять на войну.

Я шел, поскрипывая подшитыми валенками, по обочине накатанной санями дороги и думать не думал о том, что проживу целую долгую жизнь, что множество лиц и взоров встретятся мне, что они будут излучать любовь, ненависть, восхищение, страх, восторг, — все равно я забуду их. Но эти два изможденных лика отца и дочери, эти два пронзительных взгляда не забуду никогда, потому что в них светилось то, что без пощады, словно бы ножом освобождает нашу душу из ее утробной оболочки, — горе человеческое...

* * *

В годы эвакуации, когда я учился в начальных классах школы села Пыщуг, во мне проснулась жажда чтения. А в библиотеке я засиживался еще и потому, что книги там

34

выдавала Галя Сухарева. Гладко причесанная, с овальным лицом девушка из эвакуированных, бывшая лет на пять старше меня. Библиотека в селе была богатая, я очень хорошо помню, что в третьем-четвертом классе я прочитал, кроме нескольких романов Жюль Верна и Джека Лондона, все четыре тома "Войны и мира", "Записки охотника" и "Пошехонскую старину". Даже "Наполеона" Тарле осилил. И не скучно было — до сих пор помню радость от этого чтения. Много ли может прочитать за десять-двенадцать лет мальчик-отрок-юноша, покамест не станет взрослым мужчиной? Да если книг пятьдесят из мировой классики прочтет — вполне будет достаточно. Достоевский читал своим семилетним детям Шиллера, русские былины, кавказские поэмы Лермонтова, "Тараса Бульбу", Алексея Толстого, Вальтера Скотта, Диккенса. Потом "Историю" Карамзина. А если вспомнить Свифта, "Дон-Кихота", "Песнь о Гайавате", Чехова, Виктора Гюго, Горького, сказки-легенды и эпические сказания народов! Да что там — не более ста книг наберется из золотого фонда человеческой культуры! Даже их дитя человеческое не успеет прочитать до своего возмужания... Да, кстати, в те же годы эвакуации в деревенской рубленой избе при свете коптилки я читаю "Маугли" и наслаждаюсь вольной и высокой фантазией автора, сказочным человеко-звериным миром джунглей, начинаю любить наших "меньших братьев" любовью старшего. Грустно мне стало, когда недавно открыл собрание сочинений Маршака, изданное в 1971 году, и прочитал следующее: "Кипплинговские "джунгли" это, конечно, не сказка. Главный стержень повести, как и почти всей западной беллетристики — это закон зверя-охотника, "закон джунглей". Упрощенная в своей законченности философия хищника суживает, а не расширяет мир. Сказке здесь делать нечего".

Неужели ничего больше нельзя сказать об этом бессмертном шедевре, полном

истинной поэзии? Вот что тот же автор пишет о трогательной и тоже прочитанной мною в годы войны повести Неверова "Ташкент — город хлебный":

"Странно перечитывать теперь даже такую талантливую и связанную с реальностью книгу... Сколько в ней народнического "горя горького", сколько ругани, кряхтения, "чвоканья"! А какое изобилие натуралистических подробностей! Тут и засаленные лохмотья, и вши, и гниды, и дерьмо. На протяжении всей повести тащится из Бузулука в Ташкент облепленный умирающими мужиками поезд". Какое интеллигентское еврейско-высокомерное отношение к народу выразилось, выключилось из нутра якобы великого детского писателя!

35

А вот мне в годы войны не странно было ее перечитывать. Она была близка военной жизни, с ее эшелонами, эвакуопунктами, "горем горьким", тифом, вшами, необходимостью терпеть все, что ни пошлет судьба.

* * *

Зима 1944 года в Калуге выдалась холодной, и для того чтобы натопить комнату, где было четыре больших окна, затянутых толстым слоем желтоватого льда, требовалась охапка дров и два-три ведра каменного угля. В комнате были две печки: голландка и буржуйка. Голландка растапливалась из маленького чуланчика и нагревала кафельную стенку, выходившую в комнату. Я очень любил, прибежав с мороза, прижаться щекой, покрасневшими ладошками, всем замерзшим тельцем к глянцевым горячим изразцам, на которых синей лазурью были изображены ветвистые цветы, похожие на ландыши.

Другая печка — круглая чугунная буржуйка — стояла прямо в комнате. От нее изгибом шла жестяная ржавая труба, которую печник, выломав один изразец, вправил в кафельную стенку и замазал изломы в кафеле глиной. Когда надо было срочно согреть комнату, тогда топили буржуйку, но она так же быстро накалялась, как и остывала, и для того, чтобы тепло сохранялось до утра и чтобы хоть немного оттаяли окна, надо было с вечера растапливать голландскую печку.

Кованой кочергой бабушка выгребала из нее золу и остатки угля, из которых она, не жалея рук, отбирала самые крупные, не до конца прогоревшие куски, смачивала их водой и снова засыпала в топку на сухие полешки. Приоткрыв чугунную дверцу топки, я любил смотреть, как сначала желтым пламенем занимаются дрова, как постепенно докрасна раскаляются глыбы спекшегося старого угля и как, наконец, пламя начинает мелкими синими язычками пробиваться сквозь слой свежего блестящего антрацита.

Обеспечивать голландку и буржуйку каменным углем было моей обязанностью, и однажды, вернувшись из школы, я привязал к санкам старую бельевую корзинку и отправился к "Дому матери и ребенка", чтобы под покровом сгустившихся зимних сумерек отодвинуть доску в заборе и, оглядываясь по сторонам, подобраться к запорошенной снегом куче угля, нагрести его в корзину и так же бесшумно исчезнуть через свой лаз, волоча за собой отяжелевшие санки.

Я торопился, потому что вечером должен был во что бы то

36

ни стало побывать в церкви, чтобы повидаться там с девочкой в белой пуховой шапке.

Проводить время в Георгиевской церкви меня научил Витка Волчок, который как-то, заглянув туда погреться, сообразил, что у каждой старухи, пришедшей в храм Божий, в кармане старомодного салопы или потрепанной кацавейки лежит скомканная денежная бумажка, приготовленная или на помин чьей-нибудь души, или на свечу восковую, или просто на нужды храма. Подростки шныряли в плотной толпе народа, среди старух, осенявших себя крестами и припадавших лбами к выщербленным плитам. Когда от влажного

жара и спертого человеческого дыханья, от сладкого духа ладана и горелого воска у меня начинала кружиться голова, я протискивался к зарешеченному окну, откуда в церковь тянуло свежим воздухом с улицы, и разглядывал икону, на которой светоликий кудрявый юноша на белом коне поражал копьём корчащегося под копытами дракона с открытой пастью и длинным красным языком...

Набрав за час-другой горсть мелких денежных бумажек, мы выбирались из церкви, сопровождаемые иногда негодующими, но приглушенными голосами, и мчались на рынок, где брали кринку топленого молока, или миску студня, или пирожков с золотистой хрустящей корочкой, начиненных мясом...

Как-то на Пасху, когда старухи сошлись на церковный двор с белыми узелками святить куличи, Витька Волчок, подойдя к паперти, толкнул меня в бок.

— Глянь, бабка!

Маленькая старушка, облокотившись на перила, держала в одной руке кулич, а в другой — старую кожаную сумку с металлической защелкой. Глаза у бабки были закрыты, — должно быть, она дремала от усталости.

— Сука буду, у ней в сумке гроши! — зашептал Волчок. — Давай, ты вырви сумку, а я тебя подожду у забора — и ходом ко мне, мы через забор и аникеевским двором слиняем...

Слыша, как у меня бьется сердце, я подошел к бабке, огляделся и, улучив мгновенье, вырвал из морщинистой руки сумку и бросился было бежать, но меня догнал истошный крик:

— Мальчик, милый, отдай, там паспорт мой!

И, должно быть, такое отчаянье было в этом крике, что, не отдавая себе отчета, зачем это делаю, я на бегу обернулся, швырнул обратно сумку и тут же взлетел на забор, за которым только что исчез мой напарник. Ну и попало мне тогда от Волчка!

37

Но сегодняшним морозным вечером я шел в церковь один, не для того, чтобы чистить старушечьи карманы, а чтобы повидать девочку, с которой недавно познакомился во время всенощной. В тот вечер я толкался среди старух, исподлобья поглядывая на их лица и пытаюсь поближе пристроиться к тем, что особенно страстно крестились, отбивали поклоны, шептали молитвы и слабыми голосами, вторя церковному хору, подпевали: "Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми-и-и-лу-у-у-й!" Они не замечали ничего вокруг себя, лишь время от времени вытирали платочками, скомканными в руках, сочащиеся из глаз слезы и тяжело вздыхали, бормоча старческими губами ведомые только им имена.

Я пристроился к одной из таких бабок и уже стал потихоньку нащупывать широкий карман ее вытертого пальтишка, как вдруг увидел, что рядом со старухой стоит девочка моих лет, курносая, с тонким личиком, в белой пуховой шапочке, связанной так, что на ее голове возвышались как бы два маленьких мягких рожка.

— Смотри, рогатик! — шепнул мне Витька. — Она на Смоленке живет, я знаю где. Ее Ирка-рогатик зовут... Пошли на рынок... Хватит... А то гляди, как вон та тетка на нас зыркает...

— Тише вы, анчутки, прости меня, Господи, — раздался свистящий шепот за нашими спинами. — Чай, не в кино пришли! — И жесткие костяшки чьих-то пальцев ткнулись мне в лопатку...

Но сегодня я шел в церковь без Витьки, потому что смутно понимал, что Витька не нужен. Я поднялся по чугунной лестнице на паперть, где сидели знакомые нищие — юродивый Порфиша и бабка Аксиныя, и протиснулся в храм, переполненный народом. Сначала я пролез к приделу, где светилась икона с юношей на коне, поражающим красноязыкого змея, но девочки там не было, и я боком стал продираться сквозь тулупы и кацавейки поближе к алтарю, на котором

стоял седовласый батюшка в златотканой одежде... Дьякон прохаживался перед алтарем, помахивая кадилом, и дым ладана синеватыми струйками плыл над обнаженными головами стариков, над коричневыми в полоску старушечьими платками.

— Господи, даруй победу воинству российскому право-сла-а-вному-у-у! — голос раскатывался по всем углам храма и уходил в темный купол, отражаясь от колеблющегося паникадила, от тускло поблескивающего иконостаса, от застекленной иконы с ликом Богоматери, в котором, подрагивая, плясали язычки свечей.

38

— Аллилу-у-я-ааа!.. — Толпа опустила на колени, и я вдруг увидел белую шапочку с двумя пушистыми рожками. Ввинчивая свое худенькое тело в людскую массу, я протиснулся к девочке и остановился вплотную к ней. Чтобы не привлекать ничего внимания, я стал делать все, что делала она — крестился, опускался на колени, снова подымался на ноги и все время скашивал глаза, разглядывая тонкую линию лица, по которому пробегали волны света, оттого что пламя свечей, горевших перед нами на медной подставке, все время подрагивало от сквозняков и людских вздохов. Я видел рядом со своим лицом ее длинные ресницы, чуть припухшую верхнюю губу, на которой сверкали капельки пота. Она, видимо, недавно вошла в церковь, потому что на белой шапочке и на завитках волос, выбивавшихся из-под нее, еще не успели обсохнуть капли растаявшего снега.

Девочка повернула голову ко мне, и в ее темных глазах я увидел отблески свечей, печаль, недоумение, любопытство, сердце мое учащенно забилось, и я вдруг, чувствуя, что краснею от внутреннего жара, понял, что мы стоим прижатые друг к другу и что никто нас не видит — все растворены в тусклом сиянье, в клубах кадильного дыма, в пенье, несущемся откуда-то сверху.

И тогда я, затаив дыханье, вдруг нащупал рукой маленькую ладошку девочки в белой шапке и, замерев от восторга, почувствовал, как та ладошка покорно и согласно легла мне в руку. Так мы простояли до конца службы, уже не глядя друг на друга, переговариваясь между собой кончиками влажных пальцев и прикосновением горячих ладоней...

А потом этот мальчик вырос, стал мужчиной, мужем, отцом. Не раз душа его, как и положено земной душе, изнемогала под бременем страстей человеческих. Но никогда более он не испытывал чувства, подобного тому, которое посетило его в древней церкви маленького русского города лютой снежной зимой, в разгар Великой войны.

* * *

Весной 1975 года моя мать тяжело заболела, я положил ее в одну из московских клиник, а чтобы ей было чем занять себя в тягостной атмосфере больничной жизни, попросил, чтобы она написала нечто вроде воспоминаний о том, как мы жили до войны, во время эвакуации и в послевоенные годы... Словом, обо всем, что я сам помню детской памятью отрывочно или смутно.

39

Потом я забыл о своей просьбе и лишь весной 2000 года, через пятнадцать лет после смерти матери, нашел эту тетрадь с бледно-зеленой обложкой, заполненную летучим, волевым материнским почерком, который кое-где начал портиться и меняться из-за ее болезни. Я публикую ее записи лишь для того, чтобы будущие люди, которые, надеюсь, когда-нибудь без злобы и лжи спокойно изучат советскую жизнь с ее неприхотливым бытом и будничным героизмом, с ее скромными надеждами и аскетической привычкой к сверхчеловеческим испытаниям, воздали бы должное человеку той эпохи, которая была мобилизационной по воле истории.

Итак, перед вами рукопись простой русской женщины Александры Никитичны Железняковой (1907—1985).

* * *

"В 1939 году, после окончания Ленинградского мединститута имени Павлова я была направлена специализироваться по хирургии в Новгород на Волхове на шесть месяцев. Когда я, переночевав на вокзале, утром явилась в больницу, главврач Шатунов очень обрадовался и распорядился, чтобы я немедленно готовилась к операции. Я ему сказала, что самостоятельно еще не оперировала, а он в ответ засмеялся и велел операционной сестре во всем мне помогать, а сам ушел в горсовет на прием, так как был депутатом.

Обливаясь потом, я стала оперировать под одобрительные реплики операционной сестры, которая все время повторяла, что у меня диплом с отличием и что я буду хорошим хирургом. После удачно законченной операции я пошла звонить твоему отцу в Ленинград. Юра в это время был уже преподавателем истории в Институте имени Лесгафта, он велел мне больше читать и чаще оперировать. Я даже не стала в Новгороде искать себе комнату, а жила в дежурке для врачей и потому участвовала во всех операциях.

Вскоре началась Финская война. Меня чуть не забрали на передовую, но тут, на мое счастье, вышел приказ Ворошилова, чтобы медработников, у которых есть дети до 8 лет, использовать только в тыловых госпиталях. В Новгородский госпиталь из Ленинграда прибыли хорошие клинические специалисты, и у нас создался дружный рабочий коллектив. По выходным дням мы ходили в Софийский собор, на старые городища, в Юрьевский монастырь, лишь иногда сильные морозы, стоявшие в ту зиму, удерживали нас от этих прогулок.

40

Хорошо запомнилось мне, что в Софийском соборе на ночь для охраны ценных икон запирались сторожевые собаки.

В это же время, осенью и зимой 1939 года, в городе велись раскопки древнего Великого Новгорода. Улицы все были перекопаны траншеями и устланы деревянными досками.

После окончания войны я поехала с твоим отцом за тобой в Калугу, где встретила с братом Сергеем — кадровым летчиком. Он уже был награжден орденом Красного Знамени за Финскую войну. Когда мы с ним разговаривали о завтрашнем дне, он сказал мне, что скоро будет война более страшная, чем эта. Потом мы забрали тебя и вместе с Сергеем поехали в Ленинград. Летняя часть дяди Сережи располагалась в Сольцах, недалеко от Ленинграда. Почти каждый выходной день он приезжал к нам в Ленинград, твой отец водил нас по городу и рассказывал о его истории. Мы с тобой уже жили в 60—70 километрах от Ленинграда в Губаницкой больнице, недалеко от Кингисеппа, куда меня направили на работу. Нас там было трое врачей, все наши мужья работали в Ленинграде, летом они в отпуске приезжали к нам, зимой мы с тобой каждый выходной ездили в Ленинград. Юра всегда брал для тебя билеты в ТЮЗ, что на Невском проспекте, где мы смотрели "Снежную королеву", "Волшебную лампу Аладдина" и другие сказки. Это днем. А вечером мы с отцом уходили в Мариинский театр, а ты оставался дома с нашими соседями по квартире. В понедельник рано утром с Балтийского вокзала Юра провожал нас в нашу Губаницкую больницу.

В летнее время мы, когда я не была занята на работе, отправлялись гулять к заколоченным хуторам, где в садах собирали малину и яблоки. В этих хуторах до Финской войны жили чухна и финны, а после войны их куда-то переселили, подальше от границы. Было как-то страшно видеть заросшие сады, забитые окна домов, каменные колодцы, хорошо уложенные камнем дворы, одичавших кошек. Весь низший медперсонал нашей больницы были финны или эстонцы...

* * *

Вот так, счастливо и спокойно, мы прожили до июня 1941 года. Рано утром 22 июня мы были разбужены страшным грохотом: рядом с нашей больницей были расположены аэродромы, и немцы в первую очередь стали бомбить их. Мне сразу же велели немедленно явиться в военкомат, начался медосмотр

41

мобилизованных мужчин. Я взяла тебя с собой, так как боялась оставить одного, а сама уже находилась в декретном отпуске. Приехав в Волосовский военкомат, я увидела тысячную толпу людей, пришедших проводить мобилизованных. На станцию Волосово один за другим совершались налеты немецких бомбардировщиков. От дыма и пыли порой солнца не было видно. Мы с тобой остались ночевать в военкомате, а народу скапливалось все больше и больше, и я предложила военкому перевести всю медкомиссию в ближайший лесок, потому что на станции мы были открыты для налетов немецкой авиации. В середине дня такой массированный налет повторился с особой силой. Немцы на бреющем полете строчили по толпе из пулеметов. Каким чудом мы с тобой уцелели, не знаю. Я со своим беременным животом низко приседала в картофельном поле и закрывала тебя полою халата. Во время этого обстрела весь мобилизационный пункт разбежался, мы пешком добрались до Гатчины, и только я хотела привести тебя и себя в порядок, отмыть грязь с одежды, рук и лица, как вновь раздался вой сирен и на Гатчину обрушился бомбовый град. Я с тобой прижалась к стене дома и уже не пыталась прятаться, а по улицам мимо нас как лавина бежали наши отступающие войска. Потом все стихло. Мы вышли с тобой к железнодорожным путям, по которым двигались открытые платформы с солдатами и орудиями — на запад, другие, с людьми для оборонных земляных работ, — к Ленинграду. Какой-то мужчина, завидев нас, подхватил тебя и посадил на платформу, а потом помог сесть и мне. К вечеру мы приехали в Ленинград. Юра был дома и пришел в ужас от нашего вида, а самое замечательное, что я, вся испачканная, измученная, в руках держала авоську с вареной курицей, которую захватила с собой из Волосова...

В Ленинграде все было спокойно. Юра начал хлопотать о нашей эвакуации в Горький к своему брату. Люди из райсовета и районо предлагали нам отправить тебя с каким-либо детским учреждением в тыл, но я решительно отказалась и сказала, что поеду только с тобой. Через месяц, в сентябре, мы эвакуировались в Горький к дяде Коле, папа провожал нас на Московском вокзале и очень огорчился, что мы не могли взять теплые вещи: ты был еще мал, чтобы таскать чемоданы, а я готовилась к родам и захватила лишь простыню, спички, огарок свечи и кружку для питья. На станции Вишера мы опять попали под бомбежку. Целый день наш поезд маневрировал в разные стороны, и только ночью мы выехали на нужный нам путь. Ты, сынок, у меня был на редкость выдержанным парнем и,

42

глядя на мое лицо, не задавал лишних вопросов. Еда у нас была, а воду пили из бачка в вагоне. Дня через 3—4 мы добрались до Горького.

* * *

В Горьком в начале сентября было тихо, но дядя Коля и его жена — врач, жили на казарменном положении у себя на работе. Потом начались налеты на город. В Горький понаехало много людей из Москвы, и мне с большим трудом удавалось не отпускать тебя от себя надолго, ты все время интересовался городом и уходил незнамо куда. А я решила, что мы с тобой ни в какие бомбоубежища не будем прятаться, а будем сидеть во время налетов на крыльце нашего дома. В бомбоубежищах было всегда много народа, душно и темно, и я тебя то и дело теряла в этой толпе.

Деньги наши с тобой кончились, окружение Ленинграда, по-видимому, было завершено, так как от папы перестали поступать письма и переводы. Я тогда пошла в облздравотдел, предъявила свой врачебный диплом, сказала, что скоро жду второго ребенка, и мне дали направление в Пыщугский район заведовать районной больницей. И вот мы с тобой в товарном вагоне на охапке сена в углу — поехали. С питанием в пути было трудно. Хорошо, что, живя в Горьком, я засушила черных сухарей и засолила несколько кусочков сала. Единственная мысль была скорее доехать до Пыщуга, так как я боялась, что рожу в дороге и меня снимут с поезда в ближайшем населенном пункте, а тебя отправят в какой-нибудь детдом.

Ехали мы с тобой недели две. В какой-то деревне недалеко от станции Шарья я позвонила в Пыщуг, чтобы за мною прислали лошадей, так как нам еще предстояло от станции ехать 120 километров. В этой же деревне нас накормили горячей картошкой с молоком, и там же мы познакомились с каким-то ответственным работником. Он ехал с женой и сыном твоего возраста.

Узнав, что мы из Ленинграда, он угостил нас колбасой и предложил перевезти на другой берег реки Ветлуги в своей машине. Но я почему-то отказалась, и мы вышли их провожать на паром... И ты не можешь себе представить весь мой ужас: когда их машина с крутого берега стала подъезжать к парому, последний, почему-то оторвавшись от берега, поплыл по течению, а машина со всей семьей и шофером как-то сразу нырнула в воду и — все... Я загородила от тебя эту жуткую картину и, выбежав на горку, увела тебя в деревню. Деревен-

43

ские уже бежали к реке с веревками и баграми на место катастрофы, но никого не спасли.

На другой день за нами пришла подвода, и мы с тобой, стоя на пароме, переехали реку, а дальше три дня тряслись на телеге по лесной дороге.

* * *

Приехав в Пыщуг, я стала сразу знакомиться с работой. Оказалось, что больница обслуживает десять сельсоветов, которые разбросаны далеко друг от друга. Имеется одно здание стационара, одно — амбулатории и недостроенный родильный дом. Сарай. При больнице одна лошадь и две коровы, небольшой участок земли во дворе. В райцентре начальная школа, райком партии, райисполком, милиция, церковь, превращенная в клуб. Тротуары из досок. Есть своя электростанция, которая работает до 12 часов ночи и дает электроэнергию для больницы.

Мы жили в обыкновенной деревенской избе на территории больницы. Но, как все дома на Севере, эта изба была высотой в двухэтажный дом. Внизу двор для скотины, овец и кур. Вход в это помещение был и с улицы, и из избы, и называлось оно "голбец". Вообще на Севере существовал свой язык. Прошлый год люди называли "лонись", одежду — "оболочка" или "лопотина". Я долго не могла привыкнуть к этому языку.

И вот 16 ноября 1941 года я с завхозом поехала в ближайший колхоз выбирать телку для больницы, и там у меня начались схватки. Едва успев вернуться и добежав до роддома, я очень быстро родила Наталью. Акушерка — девчонка Нюра, только что окончившая медшколу, слушая мои указания, принимала роды. К вечеру я попросила Нюру привести тебя к нам в палату, боясь, что тебе одному будет страшно ночью. Так ты и прожил в роддоме с нами три дня, а на четвертый я уже пошла в райисполком на совещание просить дрова для больницы. Вероятно, у меня был далеко не блестящий вид, когда, едва держась на ногах, я поднималась на второй этаж, в кабинет предрайисполкома Крохичева. За мной шел секретарь райкома партии Андреев. Узнав, что я только что из роддома,

он приказал Крохичеву наш больничный вопрос решить первым, после чего дал мне сопровождающего, и я с трудом дотащила до дома. Потом, не отдохнув ни одного дня, я взялась за экстренное оборудование старого сарая под инфекционное отделение, потому что в районе начался сыпной тиф. Вместе с санитарками и сестрами мы сделали завалинку

44

вокруг сарая, настелили пол, поставили перегородки — получилось 4 палаты, и в каждой из них сложили из кирпича печки. Среди нас работал только один мужчина — старик-конюх. Гвозди, стекло я выпросила через райком в сельпо. А эпидемия сыпняка все разрасталась. Мыла не было, эвакуированные прибывали, люди скапливались по несколько семейств в одной избе, появилась сыпная вошь, и стоило в избе заболеть одному человеку, как заражались другие, особенно слабые и истощенные. Мне, хирургу, пришлось вспомнить все инфекционные болезни, и я стала настоящим земским врачом. Разъезжая по деревням, я сталкивалась с такой завшивленностью, что волосы шевелились на голове. В некоторых избах вши обитали не только на людях, но даже в пакле, которой были проконопачены бревна. Мы с сестрами и санитарками сбились с ног, борясь со вшами, но почти две зимы сыпняк не покидал нашу больницу. А одновременно с ним свирепствовала скарлатина, дифтерия, дизентерия, коклюш.

Когда я лежала в роддоме, то позвонила на почту, чтобы послать "молнию" в Ленинград о рождении Наташи и нашем с тобой благополучии. Начальница почты долго мне доказывала, что это бессмысленно, что с Ленинградом нет связи. Но все же я ее убедила принять телеграмму. Ты отнес текст и деньги на почту, и мы с тобой через неделю получили радостное сообщение: "Целую всех троих. Юра". Это была последняя весточка от него. Больше мы уже ничего не получали.

* * *

Потянулись жутко морозные дни. Мне приходилось работать буквально сутками. А по ночам Наташа очень плакала, и все время приходилось носить ее на руках. Утром без сна, с красными глазами я шла на работу. Хорошо еще, что кормить грудью я могла забегая домой в любое время. Наталья росла толстой здоровой девочкой, и я, невзирая на морозы, ежедневно вывозила ее на улицу гулять. Когда ты возвращался из школы, я тотчас осматривала твою одежду — нет ли на ней вшей. Каким-то чудом ни я, ни ты не заболели сыпняком.

Я впервые в жизни видела рецидив сыпняка, когда у больного после кризиса вновь подскочила температура со вторичным высыпанием сыпи. Ты этого больного должен помнить, это был фотограф — инвалид Бессонов. И все же мне удалось его спасти, а его жена Шура за это согласилась работать няней в инфекционном бараке.

45

Ты часто уходил на самодельных лыжах в лес, а я обычно беспокоилась, так как в наши леса, спасаясь от войны, набежало много всякого зверья, да и охотиться на них было некому. Помню, как белки шли тучами по деревьям, которые росли на больничном участке, а по ночам к окнам нашей избы подходили лоси, и я первое время не понимала, что это за громадные ветви раскачиваются у нас под окнами. Ты спал, нянька Маруся спала, а я ходила по ночам с Наташкой на руках и все это видела.

* * *

Наступила весна 1942 года. Нам, для больницы, распорядились отдать землю под посевы овса, и вот мы с завхозом Хихлухой сделали двухметровую "шагалку" и по колено в грязи стали мерить землю. Промучились все воскресенье, но ничего из наших измерений не вышло. В понедельник я пошла в райком, там посмеялись, но дали мне землемера. Сеяли овес в сырую землю силами работников больницы.

Этой же весной я, слава Богу, избавилась от прежнего завхоза Скворцовой из

Москвы. Она эвакуировалась в Пыщуг с ребенком, матерью и сестрой. Мы жили в одной избе — в разных половинах, — и я часто видела, как они жарят котлеты, пекут пироги и т. п. Оказалось, что она хорошее мясо из больничной кладовки брала себе, брала пшеничную муку и манку, а заменяла их плохим мясом, купленным на рынке, и овсяной мукой. Когда это выяснилось, секретарь райкома Андреев снял ее с работы, а вместо нее мне дали Проню Карповну Хихлуху из Конотопа. Она была очень честным работником. Часто вечерами приходила на нашу половину, мы пили чай, и она все время любовалась на Наташу, которая в распашонке ползала по кровати.

У Хихлухи в первые же дни войны погибли муж и сын, и она была вся седая. Возможно, что одиночество и привязало ее к нам.

Весной я кое-как заказала тебе сапоги и сшила сама куртку и кепку. А мне в местной мастерской из казенного одеяла пошили пальто, Наташа росла в марлевых распашонках. А зимой на чердаке нашей избы я нашла какое-то тряпье и скроила ей платье и фланелевое пальто на вате и себе сделала из холщовой юбки, которую купила у одной старухи, вполне приличное платье.

С бельем и одеждой было трудно, но меня угнетало другое: мысли о том, что Юра погибает от голода в Ленинграде,

46

сводили мне судорогой глотку, как говорится, кусок хлеба застревал в горле, и до того я была тощая, что все поражались, глядя на меня: откуда бралась энергия у этой истощенной особы. Но я знала, что надо только так работать в тылу, чтобы победить врага. Каждую ночь, нося Наташу на руках, я слушала сводки по радио, а вот ты, слава Богу, их не слыхал и спал себе спокойно. Но после того, как немцев отогнали от Москвы, мне стало полегче.

Той же весной мы с Проней Карповной развели огород, посадили картошку, лук, огурцы, морковку. В Пыщуге не было ни яблонь, ни слив или вишен. Но зато в лесу и на болотах росла дикая смородина, клюква, малина, брусника. Вот этих ягод ты за лето, бывало, наносишь столько, что нам хватало на всю зиму, особенно брусники и клюквы. А белые грибы ты порой собирал прямо на территории больницы, где росли елки.

Мои больные ко мне относились хорошо: кто принесет пару луковиц, кто яицек, кто меду. А иногда — за удачное лечение — и живую курицу. Я вначале возмущалась и не брала, так они сами заходили в сенцы нашей избы и там все оставляли. Они знали, что в больнице кроме хлеба и тарелки супа я ничего не получаю. Изредка в сельпо нам давали молоко, и, как ни странно, там на полках стояли ряды банок с крабами. Я их покупала, а ты с большим удовольствием ел.

Так что наша жизнь в Пыщуге протекала довольно сносно. Одно меня огорчало, когда я должна была с Проней Карповной ездить "побираться" по колхозам, то есть собирать продукты для больницы. На это обычно уходило воскресенье. Твердой разнарядки на продукты у нас не было, и мы довольствовались добровольными пожертвованиями, кто что мог, то и давал. А я ведь кормила Наташу грудью, и мне приходилось где-нибудь в деревенской избе сцеживать молоко, грудные железы набухали, и мне было больно поднять руки. Деревенские бабы обступали меня, жалели, сочувствовали, обмазывали мне грудь и заклинали, чтобы я не простудилась, иначе начнется грудница. Такая же история повторялась, когда мне целыми днями приходилось работать в военкомате, но сюда нянька приносила Наташу, и, устроившись где-нибудь за шкафом, я кормила ее грудью, а у самой от боли лились слезы, так как молока было много и Наташа не могла все молоко высосать. Кормила я ее грудью целый год. Потом с нами подружился директор молокозавода Макар Виноградов. Он страдал эпилепсией и был белобилетником, у него была жена — очень добрая женщина, и двое детей. И когда я начала Наташу отнимать от груди, он иногда

посылал для нее сливки.

47

А летом сорок второго он даже продал мне по государственной цене поросенка. Я отказывалась, потому что не знала, чем буду его кормить, а он назвал меня дурой и велел каждый день нашей няньке приходить на маслозавод за сывороткой, которая стоила 30 копеек ведро.

Мы с нянькой Марусей довольствовались скромными больничными обедами. В общем, не голодали. Плохо было лишь с мылом. Если я доставала кусочек, то берегла его для Наташи, а мы с тобой мылись щелоком, и белье Маруся стирала тоже щелоком.

Стасик, ты, наверное, помнишь, как ты однажды в "черной бане", думая ополоснуться в теплой воде, залез в бочку со щелоком и заорал благим матом. Я сразу вытащила тебя из бочки и начала обливать холодной водой, и все кончилось благополучно. Каждую субботу одна моя больная приглашала нас с тобой в "черную баню", после которой мы шли к ней пить чай с медом и ржаными лепешками. Их называли "пряженниками". Это было целое пиршество. Алексей Бессонов и его жена Шура за то, что я спасла его от сыпного тифа, иногда приносили нам жареную щуку—он сам рыбачил. Шура почти насильно затаскивала меня к себе и угощала, чем могла, охала, что я такая тощая, потому что много работаю. Милые, добрые люди! Как они старались мне помочь и скрасить нашу убогую жизнь!

И хотя ты все пыщугские зимы отходил в легком самодельном пальтишке, в стареньких катанках, на которые в весеннюю распутицу надевал вместо галош мои белые теннисные туфли, мы с тобой за три года тамошней жизни ни разу ничем не болели.

А помнишь, как любовались северным сиянием?

Бывало, сидим на своем крыльце — дом стоял на горе, а внизу простиралась болотистая равнина, переходящая в лес, — и как зачарованные смотрим на белые столбы на небе, которые переливаются голубым и зеленым светом, и в моей голове каждый раз мелькала мысль, что если немцы появятся в Пыщуге, то мы укроемся в этом лесу.

* * *

На вторую зиму в Пыщуг приехал первый секретарь Горьковского обкома партии Родионов.

Пришел познакомиться в больницу. Когда за мной прибежала санитарка, я моментально надела свой тяжелый пиджак на собачьем меху, подшитые громадные валенки —

48

дредноуты, которые нашла летом на чердаке, и побежала, но какие-то двое в штатском остановили меня в дверях и не пропускают, хотя я им показала круглую печать и назвалась главврачом. В это время из палаты вышел Родионов и, глядя на меня, ахнул: такой смешной был у меня вид, не соответствующий виду главного врача. Мы с ним прошли в мой кабинет и, несмотря на вечернее время он по телефону вызвал секретаря райкома Андреева и председателя райисполкома Крохичева. Те быстро пришли, и Родионов в моем присутствии начал их распекать за то, что я получаю только 400 граммов хлеба при том, что кормлю грудного ребенка. Он кричал на них, что в райкоме есть 10 литерных пайков, что какая-то машинистка получает паек, а тут человек, оберегающий здоровье людей в округности 100 километров!

Мои начальники только кряхтели и молчали, а когда Родионов увидел, что я сворачиваю из махорки "козью ножку", он совсем вышел из себя. Как ни уговаривали его Андреев и Крохичев, он не пошел ночевать к ним, а остался ночевать в моем служебном кабинете.

Через несколько дней после его отъезда меня вызвали в райком, дали какие-то талоны, и я пришла домой с папиросами, белой мукой, манной крупой, сахаром и с мануфактурой на всех трех человек.

С тех пор жизнь наша стала много легче. Я сама пошла тебе рубашку и штаны, а Наташе платьице. У нас появилось мыло. И только мысль о том, что в Ленинграде погибает Юра, не давала мне покоя ни днем, ни ночью.

Почти каждую ночь, уложив Наташу спать, я уходила на кухню, садилась на порог и плакала, пока сон не одолевал меня...

* * *

Помимо больницы мне часто приходилось работать в военкомате председателем врачебной комиссии. Однажды меня туда вызвали неожиданно, хотя там постоянно работали два местных врача. Но оказалось, что они все время давали отсрочку от призыва мужу Анфисы Бессоновой—заведующей райздравотделом. А тут Андреев заподозрил что-то неладное и вызвал меня. Я освидетельствовала призывника и дала заключение, что он годен к строевой службе. После этого начались многие мои беды. Анфиса Бессонова чуть ли не каждую неделю стала ревизовать хозяйство больницы, придираться к каждому пустяку, но так как я ничего больнич-

49

ного не брала, то ее ревизии не давали никакого результата. Однако меня так издергали ее придирки, что я пришла к секретарю райкома и попросила освободить меня от заведования больницей. Он резко отказал мне, Анфису вызвали на бюро, и она прекратила все свои ревизии. Жизнь снова пошла нормально.

Работая в больнице, я стала подбирать себе персонал из эвакуированных, особенно как-то хорошо относилась к ленинградцам. Не имея близких родных, я считала их своими родными.

Так, я устроила одну женщину на кухню. У нее был мальчик шести лет, и благодаря кухонной работе они не голодали. Счетоводом у меня тоже работала ленинградка Аня, к которой с фронта приехал на свидание муж — на одну неделю — и очень мне не понравился своим хвастовством. Также к нам в больницу приезжал контр-адмирал Фокин, к своей сестре врачу Фокиной, и все меня утешали, что скоро освободят Ленинград и что я увижу Юру. Но я этому не верила, так как все чаще в больницу поступали дистрофики. От них я узнавала об ужасах, которые пережил город в первые месяцы окружения. Многие из них погибали от истощения, несмотря на назначенное им усиленное питание.

Единственно, за что я себя ругаю — это за то, что у меня не было пункта переливания крови. Доноров я бы нашла, но определять группу крови в больнице не было возможности. А мне казалось, что если бы я это сделала, многие из них могли бы выжить. Это были живые скелеты с потухшими глазами, ничего не желавшие, впавшие в апатию, но со светлой памятью... Весной 1942 года мы с тобою узнали из письма дяди Коли, что Юра умер в своем институте, в своем кабинете. Он был непрактичный человек, верящий во все, что ему скажут, потому он не запасся продуктами на первые, самые тяжелые месяцы блокады. А последующие были полегче, после того как открылась "Дорога жизни".

В одном из писем мой брат Сергей обещал мне, что на парашюте спустится в Ленинград, чтобы спасти Юру. Но Сергей тоже погиб, сгорел на самолете вместе с пилотом и радистом. Он был штурманом эскадрильи авиации дальнего действия, мастером ночных полетов, бомбил Берлин и Кенигсберг, был за это в октябре 1941 года награжден орденом Боевого Красного Знамени.... Пытались они на горящем самолете дотянуть до своего подмосковного аэродрома, но врезались в землю. Их целый день откапывали друзья-летчики и похоронили на воинском кладбище возле станции Щербинка.

Не забывай, Стасик, эту могилу. И к отцу в Ленинград на Пискаревское кладбище наведывайся...

У Сережи от перегрузок во время ночных полетов на Германию началась желтуха, его хотели перевести в штаб, но он категорически отказался. И писал мне, что будет бить немцев и освободить родину, несмотря ни на какие болезни. Он был настоящий летчик. Вечная память ему и слава*.

В 1943 году в Пыщуге появилась Нюшка Углова, которая сразу же напомнила мне персонаж из рассказа Лавренева — атаманшу Лёльку. Углова была одновременно и судьей, и исполнителем приговоров. Любимое ее дело было делать налеты на сельпо, детский садик, магазин, столовую, школу, мельницу, и, заподозрив какую-либо недостачу, она сразу арестовывала подозреваемое лицо и, не вдаваясь в судебную волокиту, выносила приговор, как правило, с конфискацией имущества, а самого подсудимого отправляла по этапу в ближайший лагерь.

Однажды к нам вечером прибежала заведующая яслями, бывшая учительница, муж которой был на фронте, и умоляла меня взять ее одеяла и подушки, так как завтра у нее конфискуют все личные вещи, а ее отправят в Гороховецкий лагерь. Я, конечно же, отказалась что-либо брать, и Проня Карповна мне отсоветовала... Однако в скором времени в Пыщуге открылась какая-то аукционная лавка, где продавались конфискованные вещи.

Нюшка Углова объявляла начальную цену, стучала револьвером по столу до трех, и вещи переходили к новым владельцам. Я категорически запретила тебе к этой лавке подходить.

Углова ходила по деревянным тротуарам села, похлопывала рукой по кобуре, а люди молча с испугом глядели на нее и уступали ей дорогу.

* * *

Второй год жизни в Пыщуге был легче. Я уже знала, что моя сестра Дуся вернулась из Сибири, где была в эвакуации, в Калугу, и она обещала мне прислать вызов на право проезда.

* Имя майора авиации Железнякова С. Н. включено в Книгу памяти Калужской области.

Наташа уже ходила, ты учился во втором классе, летом пропадал с ребятами на речке или в лесу, а зимой вечерами мы много читали. Библиотека в селе была хорошая. Вызов пришел ко мне осенью 1943 года, и под новый сорок четвертый год мы выехали на двух санях на станцию Шарья.

Персонал больницы и больные провожали нас очень сердечно. На проводы пришли десятки бывших больных, которых я спасла, кого от сыпняка, кого от скарлатины, кого от гнойного аппендицита... Да не счесть было за три года больных, кому я помогла и кого вернула к жизни. Думаю, что многие из них до сих пор поминают меня добрым словом.

К нашему счастью, в Пыщуге был в отпуске после ранения солдат, часть которого стояла в Калуге. Из Пыщуга, чтобы посадить нас на поезд, поехал сам начальник милиции, у которого были ключи от вагонов. Проехав за трое суток 120 километров по морозным, занесенным снегом дорогам (вы были с головой укрыты тулупами), мы остановились в Шарье в какой-то избе недалеко от вокзала. Спали не раздеваясь в ожидании поезда. На второй или третий день в четыре утра нас разбудили, и мы пошли по темным улицам к вокзалу. Наташка у меня на руках, а ты схватился за мое пальто. Мужчины несли вещи и продукты. Начальник милиции открыл первую попавшуюся дверь, впихнул нас с вещами в тамбур, сунул мне в руки проездные документы, и поезд тут же тронулся. До Москвы мы ехали три дня.

В Калуге нас с машиной встретил Дусин муж.

Поселились мы у моей матери, твоей бабушки, — жили все пятеро в одной комнате без электричества, без водопровода, без уборной, на первом этаже. Один угол в комнате всегда промерзал и был в инее. Сердобольные знакомые дали нам чугунную буржуйку, и жилье стало теплее.

2 января 1944 года я начала работать хирургом в эвакогоспитале "14-19". Уходила в 8 утра, а возвращалась в 12 ночи. Ты рос как в поле трава, и потому однажды случилась с тобой беда. Мне позвонили и сказали, что Стасик попал под машину. Оказывается, ты катался на коньках по улице, держась за бампер автомобиля, а когда тот подпрыгнул, тебе бампером раздробило переносицу, и хорошо, рядом был венерический госпиталь для военных — тебя сразу оттащили туда, остановили кровотечение, но несколько дней ты был без сознания. Мы боялись, что у тебя перелом основания черепа, но обошлось...

После операции, которую сделал лучший калужский хирург Осокин, я в течение 10 суток держала у тебя на голове пузырь

52

со снегом... Какой-то молодой лейтенант выгнал из палаты в коридор самых шумных венериков и стал помогать мне: ходил на улицу, приносил свежий снег... После выписки кости на лбу и переносице гноились у тебя еще несколько месяцев, но потом гниющие осколки постепенно вышли один за другим, и все зажило... Нет слов благодарности моим коллегам по госпиталю — пока я самое трудное время ухаживала за тобой, они взяли на себя все заботы о моих пациентах.

* * *

Вскоре меня назначили начальником отделения тяжелораненых. Начальник госпиталя Гладырь поглядел на меня и, узнав, что у меня в отделении 3 операционных дня в неделю, а раненых — 200 человек, предложил мне сдать все мои и ваши продуктовые карточки в госпиталь, чтобы мне там питаться, и распорядился, чтобы вам с Наташей на кухне отпускали обед и давали хлеб по детским карточкам.

Так мы прожили последний год войны. Ты и Наташа были сыты, а самое главное, больше не болели. Работать мне было тяжело, но, на счастье, средний и младший персонал моего отделения был очень хорошим. И вот, наконец, пришел день Победы. Все радовались окончанию войны, а я сидела в своей ординаторской комнатухе и горько плакала. Это была реакция на все пережитое мною во время войны.

Вскоре госпитали были расформированы, и я получила направление заведовать железнодорожной больницей в городе Конотопе, где жила моя подруга по эвакуации Проня Карповна Хихлуха.

Больница была недалеко от вокзала, и в нее часто поступали раненые военнослужащие, возвращавшиеся с Запада домой. Многие из них были ранены бендеровцами, которые даже осенью сорок пятого еще нападали на наши поезда... Да и на вокзале мы часто слышали стрельбу, в городе было много бандитов, и наутро иногда к нам привозили и раненых, и убитых.

Почти весь персонал больницы — врачи, сестры, санитарки — работали у немцев во время оккупации Конотопа в течение трех лет. Каждое утро, приходя в свой кабинет, я находила кучу писем, доносов, которые друг на друга писали хохлы. Мне было очень трудно работать в такой двуличной атмосфере. Я в Пыщуге и в Калуге привыкла к честной работе и доверяла своему персоналу. А тут — доносы. Вначале я их читала, но потом, когда в моей голове все перепуталось — кто

53

прав, кто виноват, я решительно собрала всю эту подметную литературу, отнесла

ее в НКВД и приказала персоналу больше не приносить мне пакостную писанину, чтобы я могла спокойно выполнять свои непосредственные обязанности.

В это же время в больницу вернулись хорошие врачи И. И. Пепловский и Т. А. Макунина. Но Пепловский с ранеными попал как-то в плен, и начали его, бедного, таскать ежевечерне на допросы. У него от нервного напряжения открылась язва, и пришлось мне идти в некое учреждение и просить, чтобы его оставили в покое. А с тобой все получилось неладно. Ты каждый день приходил из школы взбешенный плохими отметками, которые тебе ставили по украинскому языку и литературе.

И вот из-за этой украинской школы я все-таки решила снова вернуться в Калугу. Проня Карповна, пришедшая к нам в гости, когда я ей рассказала о персонале, о доносах, о твоей школе, тоже посоветовала мне возвращаться на родину. Да и жизнь в Конотопе была еще очень тревожной. Однажды в мое дежурство в больницу ввалились четыре летчика. Двое тащили товарища в летной форме лет двадцати. Он не мог переставлять ноги. А третий вел под пистолетом парня, который кричал: "братья, рятуйте, мэнэ вбивають!" Оказывается, эти летчики из авиагородка имени Осипенко были на базаре, и шулер в шинели при них обыгрывал в "веревочку" доверчивых людей. Летчики сообразили, в чем дело, вырвали у него веревочку, наподдали ему, повернулись и стали уходить, и тут негодяй выстрелил одному из них в спину. Пуля попала в позвоночник самому младшему, у него сразу отнялись ноги, и он упал.

Двое летчиков бросились к жулику, схватили и притащили его и раненого товарища в больницу. Я осмотрела раненого, красивого молодого парня, у которого отнялись ноги, и сразу поняла, что пуля перебила спинной мозг, наложила повязку, вернулась в кабинет, где на диване сидели летчики и с вынутыми револьверами стерегли негодяя. Я сказала, что их товарищ в очень тяжелом состоянии и его надо срочно на самолете доставить в нейрохирургический госпиталь в Харьков. Они мне назвали номер телефона санчасти авиагородка, и когда я стала объяснять по телефону, в чем дело, базарный аферист соскочил с дивана, юркнул за спинку моего кресла и стал крутить меня, закрываясь мной и креслом, как щитом... Я в панике закричала, чтобы летчики не стреляли, но один из них, ловко перегнувшись через стол, схватил-таки мерзавца за рукав. Они выволокли его через коридор в больничные сады и тут же пристрелили на моих глазах...

54

* * *

В 1947 году я все-таки вернулась в Калугу, где, чтобы выучить вас, стала работать сразу на трех работах: хирургом в железнодорожной больнице, по совместительству в поликлинике и в физкультурном диспансере. Я ведь до медицинского окончила в начале тридцатых годов еще один институт — физкультуры.

Ставка врача после войны была 850 рублей, а мешок картошки на рынке стоил 550 — 600. А если еще вспомнить о вычетах на Госзаем, да профсоюзы, да подоходный налог...

Вот и приходилось совмещать, чтобы заработать две, а то и три ставки. Тем более что ты уже в институт поступил, и тебе каждый месяц надо было посылать 150 рублей, а Наташа кроме школы училась за плату английскому языку и музыке. В конце сороковых — начале пятидесятых я не знала годами ни выходных, ни праздничных дней. Брала дежурства, где только было можно, оперировала до поздней ночи, а к 9 утра бежала в поликлинику, потом домой перекусить на ходу, потом в физкультурный диспансер или в фармацевтический техникум. Не понимаю одного до сих пор — как я могла выносить такие нагрузки! Но меня в Калуге как врача любили и знали.

Помню, как летом 1953-го после ворошиловской амнистии ко мне в железнодорожную больницу пришел главарь какой-то базарной шайки Иван, фамилию не помню, попросил, чтобы именно я его прооперировала. Рука у него была пробита пулей, которая засела в области таза. Слепое ранение. И рана уже нагнаивалась. Друзжки ждали его в приемной. Я занялась им, но пулю никак не могла найти, так как у меня в это время не было рентгенолога: дело было в майские праздники. Ванька быстро затемпературил. И вот я сказала его дружкам: может начаться заражение крови, срочно нужен пенициллин, который в то время был большой редкостью, но они принесли мне через час коробку пенициллина. Температура быстро упала, и из гноящейся раны во время одной из перевязок мне удалось извлечь пулю. Иван выписался. А я после этого в городе была окружена особой заботой. У меня ничего из карманов не вытаскивали, портфель с зарплатой не резали, каждое дежурство я находила на столе букет цветов или флакон духов. А однажды, когда я шла на очередное дежурство, в скверике Мира мне повстречался Иван и стал спрашивать, сколько я получаю. Когда мы распрощались с ним, придя в ординаторскую, я открыла портфель, а из него посыпались сторублевки — целых пять штук. Это, конечно, было делом

55

его рук, он сидел рядом со мной, сворачивал трубочкой каждую бумажку и засовывал в мой портфель. Сделано это было артистически. Я ничего не заметила... До сих пор с благодарностью вспоминаю о нем, потому что он понял, как тяжело было мне зарабатывать на жизнь... Я ведь до той поры, как ушла на пенсию в 1962 году, ни в одном доме отдыха, ни в одном санатории ни разу не была..."

* * *

На этом рукопись заканчивается. Но, может быть, подобные воспоминания хранятся во многих русских семьях. Может быть, прочитав эти бесхитростные записи, кто-либо из моих читателей вспомнит о своей жизни и о жизни своих отцов и матерей. Нам нечего надеяться на официальных историков и продажных летописцев рыночной демократии, на прикормленную в различных "институтах" и "фондах" образованщину с академическими и докторскими званиями. Будем осмысливать свою историю и великую советскую цивилизацию сами.

На закате великой эпохи

**Школа сталинских времен. Университет. Студенты и ...
профессора. Похороны вождя. Раздвоенность
мировоззрения. "Права человека" и ход истории.
Оттепель. Ее герои и жертвы. Путевка в жизнь**

Летом 1952 года на Моховой, в левом крыле старинного университетского здания я влился в толпу юношей и девушек, приехавших со всех концов нашей страны поступать в храм науки.

Надо сказать, что те сталинские годы были временем расцвета и могущества советской школьной системы. В нашей калужской обычной школе-десятилетке, нас, оказывается, подготовили к дальнейшей учебе настолько добросовестно, что из 20 выпускников моего класса 17 или 18 провинциальных юношей, у большинства из которых не было отцов, погибших на войне, а матери работали врачами, мелкими служащими, продавцами, почтальонами и даже уборщицами, выдержали конкуренцию с детьми московской элиты и с первого раза поступили в лучшие вузы страны.

Алик Мончинский и Борис Фомин поступили в Энергетический институт, Виктор Алексеев, Стасик Лысобык и Юра Ряжнов в Институт железнодорожного

транспорта, Витя Баранов и Алик Боровков в Институт стали, Вадим Багдасарьян — в медицинский, Юра Андрианов — в Ленинградское высшее мореходное училище, Юра Никольский в Менделеевский химический институт, Борис Горелов в пушно-меховой, ну а я, после того, как полгода проучился в авиационном, по второму разу бесстрашно принял решение поступать на филологический факультет МГУ. И добился своего. Никуда

57

не поступили из нашего класса лишь два-три человека, и то потому, что не захотели уезжать из дома, от родителей, и стали строить свою судьбу в родной Калуге.

Возможно ли сейчас, чтобы школьники из дальней глубинки, из поселков или даже деревень российских, из простых государственных школ, а не каких-нибудь частных, привилегированных "колледжей" смогли повторить наш путь?

А тогда на чугунных лестницах и в коридорах филфака я встретил сотни провинциальных десятиклассников, уверенно ворвавшихся в святая святых советской науки...

Аркадий Баландин из мордовской деревни, Геннадий Калиничев — тоже из провинции, кажется, из Куйбышевской области, Виктор Коржев из лесного костромского села Павино, Володька Гамалей из дагестанского города Хасавюрта... Да разве всех перечислишь! По моим предположениям, более половины студентов и студенток тех сталинских лет были высокообразованными, хорошо подготовленными детьми рабочих, крестьян, скромных служащих, солдатских и офицерских вдов, учителей, врачей, а весьма часто и воспитанниками детских домов, потерявшими родителей во время войны... Именно люди этого поколения, этой системы образования через десять лет создали базу и условия для прорыва нашей страны в космос. После чего, глядя на нас и подражая нам, даже спесивые американцы вынуждены были усовершенствовать систему своего школьного образования.

Я думаю, что эта необыкновенная воля к осуществлению любых целей, выносливость и жажда успеха в любом деле, за которое мы брались, определялась самим воздухом победы, в котором мы жили и которым мы дышали в первые послевоенные годы... Мы были не просто несчастными детьми войны, но детьми великой победы. Может быть, поэтому мы не унывали, хотя жили бедно. Обычной едой в те годы в нашей семье была пшенная каша да толченая картошка с молоком. Прохудившиеся кастрюли и ведра мы не выбрасывали, я чинил их, вдохновенно орудуя паяльником, оловом и соляной кислотой. О велосипеде, о часах или о коньках многие из нас могли только мечтать. Чтобы одеть, прокормить и выучить нас с сестрой, мать работала на двух, а то и на трех работах. Уходила рано утром и возвращалась к полуночи. Вся свою многотрудную жизнь мать — хирург высокой квалификации! — гордившаяся тем, что заработала себе приличную пенсию (120 рублей!), благодаря которой может быть на старости лет независимой ни от подруг, ни от детей, прожила сводя концы с концами. Шить она умела и любила с детства. Но занималась,

58

как правило, бедным шитьем: что-либо переделать, из бросовой вещи сотворить нечто сносное, перекроить старое пальто на куртку сыну или внуку, украсить стареньким, но дорогим в ее глазах кружевцом крепдешинный ("такого материала теперь не достать!") воротничок. Не жалея пальцев, без наперстка ("мешает только!") она с помощью плоскогубцев чинила цигейки, кожаные куртки, туфли, зимние сапоги, протаскивая туда-сюда толстую иголку сквозь задубевшую кожу.

После ее смерти я нашел в гардеробе несколько коробок с пуговицами, когда-то отрезанными с различных одежек и тщательно рассортированными по

размерам и расцветкам. Среди этой груды пластмассы, цветного металла и перламутра, я уверен, были пуговицы, которыми я застегивался в холодную зиму сорок первого года, и пуговицы от пальтишек моей покойной сестренки, и от гимнастерки погибшего брата-летчика...

Эта бережливость и привычка "по одежке протягивать ножки" перешла по наследству и ко мне.

До сих пор я испытываю бережную нежность к недоношенным вещам, к недоеденному куску, ко всякой ерундовой вещице, в которую вложен труд человеческий. "Хлеб наш насущный даждь нам днесь" — эти горестные слова молитвы всегда трогают и размягчают мою душу. У меня непроизвольно сжимается сердце, когда я вижу мужиков-охранников везде — в поликлинике, в школе, в театре, в магазине (сколько их по всей России — сотни тысяч!), или когда утром вытаскиваю из почтового ящика груды цветной глянцевой рекламной макулатуры, которую тут же отправляю в мусоропровод, или когда вижу доверчивых дебилов, жаждущих выиграть большие деньги в телевизионной игре "О, счастличик!", или (даже смешно признаться!), когда мне продавщица подает буханку хлеба, булку или ватрушку, обязательно упакованную в целлофановый пакетик. И я думаю: десятки миллионов этих пакетиков ежедневно засоряют наши луга и леса, нашу небогатую землю.

Не может, не должна моя не легкая для жизни во все времена, исповедовавшая правило разумного достатка, а порой и аскетического самоограничения, Родина долго выдерживать такое навязанное ей расточительство... Дождемся очередного дефолта, как наказания за то, что не удержались от соблазна.

Невозможно выдержать подобных бессмысленных нагрузок и затрат, которые навязываются нам обществом потребления. "Так нельзя. Это путь к медленной смерти", — говорит мне тихо и печально голос всей моей прошлой жизни и голос совести.

Вот, видимо, почему в 1959 году мою душу тронули стихи Бориса Слуцкого о XX веке:

59

Он одел меня в парусиновое,
в ватно-стеганое одел,
лампой слабою, керосинового
осветил, озарил мой удел.
Если я из ватника вылез
и одел костюм выходной,
значит, общий уровень вырос
приблизительно вместе со мной.
Вот иду я двадцатилетний,
средний, может быть, нижесредний
во своей, так сказать, красе.
Кто тут крайний? Кто тут последний?
Я желаю стоять, как все.

Это мировоззрение, перекликающееся с древней народной мудростью, живущей в поговорке "о суме и тюрьме", было и до сих пор остается заповедью моей жизни.

Я вплоть до десятого класса ходил во всем перешитом и перелицованном, и первый костюм мне справили только в университете, да и то лишь потому, что в 1954 году к нам приехала в отпуск из Магадана сестра матери тетя Поля, которая подарила мне ко дню рождения отрез серого коверкота. Я ждал, когда мне сошьют этот костюм, с чувствами не меньшими, нежели чувства героя из повести

Гоголя "Шинель". Кстати, тетя Поля, отсидев свои пять лет, остальные двенадцать работала в Магадане на швейной фабрике как вольнонаемная и вернулась в 1956 году в Калугу весьма богатой по тем временам женщиной. Но как бы трудно ни жилось нам в те годы, мы были уверены в своем будущем.

Мы ходили в школу пешком за несколько километров, жили в тесных коммуналках, где трудно было учить уроки, а потому образованием занимались в читальных залах и городских библиотеках, где сидели не только над школьными учебниками, но готовили вне всяких программ доклады по теории относительности Эйнштейна и по "Слову о полку Игореве"... Из репродукторов для нас пели Лемешев и Обухова, Козловский и Русланова. У нас были такие фанатичные учителя, как учитель физики и математики Сергей Васильевич Инютин, который выставлял нам переводную отметку в следующий класс лишь тогда, когда каждый из нас приносил ему сделанные своими руками электромотор, паровую машину и детекторный приемник... Ах, какая красивая паровая машина была у меня: выточенный из медной трубки блестящий цилиндр, отлитый из баббита поршень, блестящие штоки, точно просверленные отверстия для пара, котел из консервной банки... Совершенно настоящая, тщательно смазанная, сверкающая и подрагивающая во время работы, с легким

60

шумом, она работала всего-навсего от свечки, подогревавшей воду в котле... Никакие учебники физики не могли дать больше знаний, нежели полученные нами во время, когда мы паяли, вытачивали, крепили и запускали в дело все эти волшебные механизмы.

В январе 2000 года мы похоронили в Калуге на Пятницком кладбище нашего любимого учителя литературы и русского языка Григория Ивановича Блинова. Вот уж кто умелой и железной рукой научил нас любить великую русскую литературу и сделал грамотными людьми. Именно при нем мы в 9-й железнодорожной школе начали выпускать рукописный литературный журнал, в котором я напечатал первые свои стихотворения. Именно Григорий Иванович в восьмом классе в первый же день знакомства с нами приказал нам написать домашнее сочинение по "Слову о полку Игореве". Через несколько дней, проверив тетради, он изрек: — Станислав Куняев! — Я встал. — Тройка! — Я огорчился, но учитель продолжил: — Всем остальным двойки!

А увлечение спортом? Всем нам, как бы в противовес испытаниям, перегрузкам и полуголодному существованию, выпавшим на нашу долю, хотелось быть сильными, здоровыми, ловкими. Мы не думали о международных турнирах и состязаниях. Нет, наши мечты были проще и скромнее — научиться хорошо плавать, бегать, прыгать, драться, чтобы отстаивать свое достоинство в уличных схватках. А когда стали постарше, то, конечно, приглашали девочек из женской школы на волейбольные яростные бои в парк культуры, на стадион "Локомотив", где каждый из нас в присутствии желанной подруги делал все, чтобы первому разорвать ленточку на финише или приземлиться в яме для прыжков на черте, не доступной для соперников...

Целой артелью — тогда жили и дружили даже не домами, а улицами — через весь город (общественного транспорта в Калуге тогда почти не было) мы бегали три раза в неделю зимой и летом к единственному спортивному залу в дальней 10-й школе, накачивали на брусках бицепсы, крутили "солнышко", отрабатывали на коврах всяческие перевороты и сальто...

Иногда до сих пор мне снится, как я выпрыгиваю, несмотря на свой невысокий рост, над волейбольной сеткой и с четвертого номера, минуя блок, с поворотом кисти, посылаю тугий кожаный мяч, да не по первому или пятому номеру — это каждый дурак сумеет, а в центр площадки по шестому, или хорошо набежав на планку — мощно отталкиваюсь и лечу под гул стадиона над ямой для

прыжков в длину, продолжая в

61

воздухе бег, словно бы стригу его ножницами, чтобы вынести таз перед приземлением вперед и выбросить ноги в шиповках на заветную семиметровую отметку, до которой мне всего недоставало каких-то полметра!

* * *

Одна из первых встреч, запомнившихся мне осенью 1952 года, когда я, счастливый студент 1-го курса, вошел в Коммунистическую аудиторию, была встреча с легендарным профессором тех лет Сергеем Михайловичем Бонди. Седовласый старик оглядел разномастный, в основном, скромно и даже бедновато одетый первый курс и высоким голосом задал вопрос, озадачивший нас:

— Ну вот вы, молодые люди, решили стать филологами. А думаете, это просто? Нет, не просто. Вот разгадайте одну филологическую загадку. Вы "Капитанскую дочку" читали?

— Читали!!! — с некоторым чуть ли не возмущением выдохнула студенческая масса, и в этом выдохе слышалось: — Как можно такие вопросы задавать! Мы тут все золотые или серебряные медалисты, или набравшие 20 баллов из двадцати — и конкурс прошедшие, в котором было пятнадцать человек на место!

Но хитрый Бонди, как бы не замечая недовольства, продолжал дразнить нас.

— Как вы думаете, Пугачев — патриот?

— Патриот! — хором рявкнули мы.

— А капитан Миронов — патриот?

— Патриот! — не так громко и убежденно, но все-таки выдохнула аудитория.

— А теперь объясните мне: почему один патриот повесил другого патриота? — и, поглядывая на притихших и недоумевающих вчерашних десятиклассников с коварной улыбкой, Сергей Михайлович закончил: — Вот когда вы сумеете ответить на этот вопрос, — тогда вы станете настоящими филологами.

Эту сцену я запомнил на всю жизнь, поскольку, став литератором, всю жизнь пытаюсь ответить именно на этот вопрос, ставший для меня в ряд с другими знаменитыми вопросами: "кто виноват?" и "что делать?"

Через несколько месяцев после нашего триумфального поступления в МГУ случилось великое событие, повергшее страну и народ в смятение. 5 марта 1953 года умер Сталин.

Я, поскольку мне не дали общежития на Стромынке, снимал тогда угол в старом доме на Рождественском бульваре

62

и платил 150 рублей в месяц (стипендия была 290) старому еврею Максиму Семеновичу (на самом деле его звали Мордух Стихович), бывшему коммивояжеру нэповского универмага "Мюр и Мерилиз"... Маленький, лысый, красноносый старичок в пенсне, чем-то похожий на телеведущего программы "Поле чудес", живший в одной из комнат громадной многосемейной коммуналки, в первый же день похвастался мне своим гардеробом: несколькими чесучовыми костюмами—тройками палевого, песочного, голубого цветов, которые сохранились у него с нэповских времен вместе с двумя десятками галстуков немислимых расцветок, с тростью из черного дерева, увенчанной серебряным набалдашником, и целой кучей всяческих флакончиков для духов, маникюрных приборов и шляп, возвышающихся на гардеробе в картонных коробках.

— Я ведь в Москве живу с 1903 года, — хвастался мне Мордух Стихович. — Нам, евреям, никакая черта оседлости не была страшна, с полицмейстером всегда можно было договориться! — При этом он победно разглаживал рыжие усы, и его выцветшие голубые глаза весело сверкали из-под золотого пенсне... Иногда раза два в месяц он просил меня не возвращаться домой раньше 11 часов вечера, и

злаязычные соседки как-то объяснили мне, что в эти дни к Мордехаю приходят знакомые проститутки, племя которых, по словам тех же соседей, в районе Трубной площади, славившейся когда-то своими публичными домами, до сих пор по традиции живет и промышляет в облюбованном издавна ареале.

Так вот, 9 марта 1953 года, решив проститься со Сталиным, я вышел из нашего подъезда и повернул к Трубной площади, чтобы через Неглинку добраться до Пушкинской улицы, а по ней до Колонного Зала, где лежало тело вождя. Людской поток, текущий вниз от Сретенки, сразу подхватил меня и властно потащил к Трубной, над которой стоял густой туман, то ли от вечернего влажного воздуха, то ли от дыхания толпы, которое я слышал все сильнее по мере приближения к площади... Водоворот человеческих тел вытолкнул меня на Трубную и, когда я, хорошо подготовленный спортсмен — легкоатлет, гимнаст, пловец — попробовал было пробиться к Неглинке, то с ужасом почувствовал, что не владею ни своим телом, ни маршрутом, ни судьбою. Зажатый со всех сторон такими же беспомощными существами, я с ужасом слышал вокруг себя стоны, сопение, сдавленные крики тех, кто уже не мог сопротивляться сверхчеловеческой силе, давящей на каждого из нас со всех сторон. (То же самое происходило через тридцать шесть лет на площади в Тбилиси, и я хорошо понимал, отчего

63

погибли несколько грузинских женщин и что Собчак врет, будто бы их зарубили саперными лопатками.)

Локти вперед! В стороны! Лишь бы ребра не раздавили, побольше воздуха в грудь набрать надо, ведь у меня легкие почти шесть тысяч кубиков! Не может быть, чтобы я не выбрался из этой мясорубки! Отчаянно протискиваясь к Неглинке мимо запрокинутых голов, посиневших лиц, наполненных ужасом глаз, колыхаясь в толпе туда-сюда, я преодолел, может быть, за полчаса или за час несколько десятков метров и уже выполз было на угол площади и Неглинки, как вдруг толпа медленно, словно океанская волна, приподняла меня и еще нескольких бедолаг и прижала к громадному окну угловой аптеки... Ни ограждение, ни толстое стекло не выдержали — лопнули вдребезги. Каким-то чудом я, бывший в надежной куртке, избежал порезов и влетел внутрь аптеки, вскочил на ноги, перебежал к двери, выходящей на Неглинку. Под напором нескольких таких же уцелевших авантюристов, как я, засовы и замки хрустнули, дверь распахнулась, и мы вывалились на Неглинку. К нам бросились было солдаты, но мы уже нырнули под грузовики, и вскоре, преодолев какие-то дворы, стены и заборы, вырвались на Пушкинскую улицу — в самый конец очереди, медленно движущейся от Столешникова к Колонному Залу.

Очередь шла по тротуару, минуя кордон за кордоном из солдат и милиционеров. Но когда я уже был совсем близко от Колонного зала, то услышал за собой шум и крики и, оглянувшись, увидел, как какой-то большой чин в серой шинели, серой смушковой папахе и брюках с лампасами бежит что есть сил вниз по Пушкинской, и за ним катится толпа, где-то наверху не по своей воле, а из-за напора прибывающих людских волн прорвавшая двойную цепочку охраны... Однако в течение нескольких секунд как из-под земли возникшие чекисты бросились наперерез толпе — приняли на себя ее натиск, образовали плотину в несколько рядов и удержали поток, мчащийся во всю ширину Пушкинской, вернули его в тротуарное русло, и властно, с криком, матом, рукоприкладством закрыли своего генерала от обезумевшей стихии.

В Колонном Зале людской поток превратился в тихий, безмолвный, благоговейный ручеек, обтекавший возвышение, на котором, утопая в цветах, лежал вчерашний владыка полумира, игумен, тридцать лет правивший великим монастырем—Россией.

Эти всемирно-исторические дни похорон Сталина я вспоминаю и осмысливаю всю жизнь.

64

Ворота хрустнули. Скорей
под крышу, на карниз...
Я жил во времена царей,
во времена гробниц.
(1969)

То с одной, то с другой стороны в последующие годы я разглядывал и его фигуру, и народ — толпу, и человека, которого неодолимая сила волокла попрощаться с вождем.

Когда удушье или страх
берут тебя за горло —
ты локоть сам поставишь так,
что хрустнут чьи-то ребра,
тогда ты вспоминать не рад
о совести и чести...
В толпе никто ее виноват
и все виновны имеете.
(1976)

Но в те дни я написал стихотворение о его смерти, где были строки о Зое Космодемьянской, вспомнившей Сталина перед смертью, о героях Краснодона и о наших солдатах, чертивших своими штыками его имя на руинах Рейхстага. Стихи были очень высокопарными, риторическими, но искренними...

К фигуре Сталина я обращался не раз, можно сказать, на каждом крутом повороте истории (как писал Борис Слуцкий: "О Сталине я думал всяко-разное, еще не скоро подведу итог"). Доклад Хрущева на XX съезде потряс меня, и я попытался несколько иначе определить свое отношение к Сталину.

Помню длинное стихотворение, в котором мне хотелось выразить и его величие, и его трагедию.

В окружении каменных стен,
полных преданности и измен,
ночью бродит он одинок,
вся страна у старческих ног.
(1956)

Далее поэтическая мысль развивалась по шаблону: мрачному, величественному и недоступному диктатору противопоставлялся человечный и демократический Ленин, свой парень, чуть ли не персонаж из студенческой среды:

Кепка сжата, рука за жилет,
вождь, оратор, интеллигент.

65

Однако жизнь делала необходимые поправки к такого рода шаблонам. Однажды, уже после того, как Сталина вынесли из Мавзолея, я приехал в Калугу и за вечерним чаем с баранками и постным сахаром, которые я всегда привозил бабке, сразу влез в спор о Сталине, начавшийся между матерью и бабкой. Бабка в ответ на материнские нападки на Сталина резонно возражала ей, одновременно обращаясь ко мне:

— А про Сталина, золотка, все болтают! В Лихуне у Демидихи муж помер.

Девять человек детей мал мала меньше остались. Приходят к ней противоналог брать (так бабки называли продналог), а брать-то нечего — одна корова. Демидиха на рога легла и кричит: "Не отдам!" Сняли, в сторону положили, увели корову. А Демидиху Васька Длинный научил в Москву написать. Так, золотка, и корову ей воротили и девять тыщ ей Сталин на детей дал! Когда Сашка и Юрка начнут что про Сталина говорить — и такой он, и сякой, у меня один ответ: "Выучились вы по сталинскому приказу, а то раньше одни поповские да дворянские дети учились!" Плюнут и пойдут: "Ничего ты, мать, не понимаешь!" А Сережа мой сказывал, что когда он учился в летном училище, вся Расея была генералами разделена, и граница была назначена в Москве — только в ночь всех поарестовали — и ни слуху ни духу! Вот как Сталин делал. Если бы не он — давно бы у нас германская власть была. Вон соседей-то наших знаешь? Когда фронт со Смоленска разошелся, Женюшка, что за стеной живет, мне и говорит: "Э, бабка, гитлеровская власть сильнее сталинской!" А брата его, Вальку, помнишь? Так он в управу пошел работать, помощником бурмистра стал. Я-то, когда немец к Калуге подошел, говорю девкам — уезжайте, а я в деревню пойду, все равно вы все ко мне вернетесь. А потом при немцах уже из деревни пошла в Калугу за керосином, встретила Наталью Егоровну — мать Женькину и Валькину, она самовар поставила, сахар достала, хлеба белого... Вдруг, смотрю, немец в дом заходит. Я испугалась, говорю: "Наталья Егоровна, немец!" А она мне: "Да ты не бойся! Это наши немцы, хорошие..." А я думаю: какие они могут быть хорошие? Так мне не по себе стало, ну, думаю, не нужен мне твой чай-сахар, и ушла потихоньку. Как же Сталину со всеми хорошим быть, когда народ-то разный! Вон в деревне у нас, когда немец подходил, бригадир Федя говорит: "Надо всю колхозную скотину резать". А бабы кричат: "Придет германец — и скотинку нам отдаст! Не будем резать!" Федька с Лукерьей только и успели трех подвинков зарезать. А пришел германец и все поел — и колхозное и наше... Вся эта жизнь, золотка, при

66

мне делалась, и законов много правильных было. Бросили дитенки мать-старуху, побирается, заберут ее, спросят, детей в суд вызовут, пенсию ей назначут... Плохо только, что не все по Сталину делали. Про Демидиху-то я тебе сказывала? Так рази корову у нее по его приказу со двора увели? А теперь, говорят, Сталина из мавзолея выкинули? Чего ж теперь его судить! Лежит он, и воины его лежат... И мой Сережа с ними...

Интерес к Сталину еще подогревался и тем, что частенько на чугунных узорчатых лестницах и переходах филфака на Моховой я встречал рыжеватую, хрупкую женщину, некрасивую, но какую-то ладную, с быстрой походкой и внимательным, сосредоточенным взглядом. Голоса ее я не помню, скорее всего потому, что Светлана Сталина была молчаливой и всегда одинокой. Она приходила на факультет, вела какие-то занятия со студентами, никогда я не видел ее окруженной друзьями или преподавателями, смеющейся и оживленной. Но что хочу засвидетельствовать: даже при жизни отца никогда она не приезжала на Моховую ни на каких машинах, не было рядом с ней никакой охраны, и любой из нас мог подыматься по чугунным лестницам рядом с нею, сидеть за одним столом в библиотеке, стоять в очереди к буфету... А кто из вас видел "вживе" какую-либо из дочерей Ельцина, кто сталкивался в общественном транспорте с сыном Лужкова или дочерью Березовского? Вот вам и материал к размышлению об "открытом обществе", о нравах при диктатуре и при демократии.

Однако стихи я писал, конечно же, не только о Сталине или о жизни в военных лагерях, мои студенческие тетради и блокноты были буквально переполнены любовными посланиями, вздохами об уходящей молодости, рифмованными мелодрамами, приступами юношеского пессимизма, переме-

жающимися с ницшеанской гордыней и пророчествами о своем высоком призвании.

Да иначе и быть не могло, если вспомнить, что шедеврами любовной лирики в школьные годы я считал строчки из песенки, исполняемой Петром Лещенко, "Упали косы, душистые, густые, свою головку ты склонила мне на грудь" и "Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая"...

Добром все это кончиться не могло, и к концу первого учебного года меня, единодушно избранного в начале учебы секретарем комсомольской организации (умел я внушать какое-то доверие к себе и товарищам и начальству!) за богемную жизнь на Стромынке выгнали с моей весомой, почетной по тем временам должности с большим скандалом. Но я не унывал. Нет худа без добра! Мои блокноты тех лет непрерывно

67

пополнялись всякого рода сюжетами, крамольными размышлениями, житейскими историями (я стал уже "замахиваться" и на прозу!). Вот одна из них, отражающая ворошиловскую амнистию и атмосферу "холодного лета 1953-го..." Записано в поезде Калуга—Москва двумя годами позже.

* * *

В последнем купе раздавались тихие звуки гитары, заглушаемые ходом поезда. Я заглянул — там сидел маленький сухой старичок с острым носом и густыми седовато-черными волосами.

— Интересуетесь? — он кивнул на гитару. — Да, люблю послушать.

— Значит, любитель. Вот так и надо. Любишь — подойди, посиди в компании, послушай. — Старик вдруг заговорил со злостью, возбужденно размахивая руками: — А то подходит ко мне один дурак и говорит: "Друг, пойдем к нам в купе, поиграешь!" А что я — клоун? Я — артист, я себя уважаю.

Старик, помолчав, взял несколько аккордов, начал было какую-то плавную плясовую и, внезапно оборвав игру, повернулся ко мне:

— О, как мы играли на гастролях в Калуге! Наш цыганский струнный ансамбль! Приехали — до начала три часа, а публика валит валом! Пришлось продавать на одно место два билета, да. А потом все в "Оку", выпили хорошо. — Он понизил голос и пахнул перегаром: — Компанию составить не желаете?

— Нет, с удовольствием бы, но не могу, врачи запрещают, язва, — быстро придумал я, не желая ни пить, ни терять собеседника.

— Мда-а, жаль, у меня тоже язва и пью, как не пью — хуже!

Он был одет в старый, потертый костюм, на ногах фетровые боты, засаленный галстук неряшливо съехал с шеи.

Я решил совершить благое дело и увести артиста со скользкого пути.

— А у вас, видно, старинная гитара.

— Да, гитара хороша, — он самодовольно погладил ее, как животное, и с грустью добавил: — У меня их две, одну продать придется, денег нет. Любительская, семиструнная, одно слово — инструмент! Ведь в гитаре главное плавность, напев. Шестиструнка — что! — старик презрительно махнул рукой, — это ж испанская классическая, на ней трень-брень — ни аккордов, ни сочности, ни напева. Иванов-Крамской с Володькой Поляковым все спорят: у Володьки семиструнка,

68

так он говорит, я все твоё на моей сыграю, а ты не сыграешь на своей. И все играет, сукин сын, все!

...Вошел парень из моего купе. Черноволосый, широкоплечий, лихо сплясал, но цыган нам скоро надоел, и мы вернулись в свое купе. Я предложил собеседнику поужинать, он отказался:

— Не хочу, отвык, бывало, по восемь суток не ел. Оказалось, он двенадцати

лет убежал от матери на

Дальний Восток на рыболовные суда, по пути встретил вора — Васю Римского, и тот уговорил пацана уйти с ним в Западную Германию. Оттуда перешли в Венгрию, Чехословакию, Польшу. Там ограбили ювелирный магазин, попались. Залезли через трубу. Как попались? Пили в ресторане, не хватило денег, пошел продать золото, тут и взяли. Судил военный трибунал. Пять лет. Исправительно-трудовые лагеря. Работал в Совгавани, Нордвике, Магадане, Тайшетлаге.

— Я воров не был. Воровал? Не всякий, кто ворует — вор. Вор тот, кто живет по воровским законам. Законы? Всякие. Коль ты вор — должен знать других. Всегда об этом спросят. С кем воровал, где. Не знаешь — не вор, значит, и тебя никто не знает, а за то, что назвался, зарежут или по хоботу.

Вора всегда признаешь, войдет в камеру, два слова скажет, и сразу узнают, вор или нет. Кто кричит на каждом слове — я вор, — бей того в морду, это не вор, а шпана, руб на базаре украл, "тафтовый вор". Вор не грабитель, этих сук я бы сам передошил, часы снимают! Ты укради, да по воровским законам живи.

Раз сидел я в Минске. Вхожу в камеру, сажусь на нары, подходит один: "У тебя, друг, пальтишко хорошее, дай мне. Я скоро по этапу пойду".

— На, возьми!

Другой подходит: "У тебя брючата хорошие, дай мне". Ну я ему: "Заменить-то что есть?" — "Есть". Отдал брюки. Сам все смотрю. Третий встал: "У тебя кепка новая, возьми мою".

Бросил кепку, встал, схватил лавку — одного по морде, другого, третий лавку вырвал, — я его бачком с водой — все лицо в кровь. Кричу ребятам: "Бери, что хошь!"

Вечером по кружке в соседнюю камеру говорю: так-то и так-то. Ночью приходит один, спрашивает, кто я, где был, кого знаю. Я говорю, в Польше был, в Венгрии... Васю Римского знаю, Ваню Лысого. Послушал, ясно, говорит. Этот пальтишко снимал? Ножом поронул и вытащил за дверь.

А кто по воровским не живет законам — тех зовут суками. Выдал за то, чтоб срок меньше дали, — значит, ты сука. И всякий вор тебя должен резать. Война самая настоящая. Раз

69

мы попали в сучий лагерь. 38 человек. Заперли нас в барак, отобрали ножи, у нас лом и топор. Лезут! Ну одного топором, другого ломом — а их сколько! Идут по бараку, подходят ко мне: "Вор?" — отрекешься — свои зарежут. "Вор!" — раз! — в руку, в плечо, в живот, я и сел. Два месяца лежал. А из тридцати восьми двадцать насмерть, и один только не раненый.

Есть еще в лагерях "прокуроры", это кто за спекуляцию, за аферы, за подделку, чечня, эти за 10 рублей зарежут...

Я воров не был, воровские законы знал, жил по ним; сколько раз мне говорили: назовись воровом! а я не хотел. "Я, — говорю им, — всю жизнь воровом не буду, отсижу — работать пойду, погулял по глупости и хватит".

Натерпелся, сколько другому на всю жизнь. В 20 лет — инвалид второй группы, легкое отбито, из желудка и из кишки 12 квадратных сантиметров вырезали, черный хлеб есть не могу, да и есть-то не хочется, отвык в лагерях. Раз восемь суток не кормили, сволочи. Разве так исправляют! Ходишь — голова в тумане, руками водишь. Упадешь, поднимут — встанешь, не поднимут — подохнешь. Я-то раньше думал, что в лагерях водку пьют и в карты играют. А там работают. Лес пилат. В снегу по пояс. Не выполнишь — не пожрешь, а жрать — пайка хлеба, 800 грамм, утром баланда, днем баланда и овсянка, вечером баланда. Вода мутная и две крупинки. Убежишь — два года прибавят и в штрафные лагеря, все как в общих, только кормят два раза, утром не кормят. А

если в закрытую тюрьму (это за убийство или за побег), то там сидят в одиночках, на пять лет сажают. Там с ума сходят. Лучшие уж 25 в общих. Пили мы лак (я в столярных мастерских работал), через ватку процедишь и пьешь.

Сами мучились, а работягам помогали. Работяги? Ну это кто случайно попал, раз украл, да неудачно. Выйти скорей они хотят, а выполнишь норму на 120 процентов — день за три. Помогали им, денег пришлют с воли — купишь маргарину, хлеба, поедят. Жалко работяг. Им посылки, приходили. Раз прихожу голодный, смотрю — в тумбочке сахар, сало. Кто положил? Я, я! Ребят, не надо, ну давайте вместе! Бригадиром я был, а коль ты бригадир—умри, а чтоб зачет был у бригады 120 процентов. Если нет, не приходи в барак. Дрался счётами в бухгалтерии, чтоб зачет был, в изоляторе сидел — стены в инее, рядом человек помирал, ничем не мог помочь, снял с покойника бушлат, чтоб самому не замерзнуть. А утром прибегают бухгалтер в изолятор (я ему счётами голову разбил): "Буду,— говорит, — 120 процентов ставить".

70

Вор по человечности как коммунист. Вот ты мне поесть предложил, заснешь — твой чемодан сторожить буду.

Много я повидал. Бежали двое — вечером идем с работы — лежат под соломкой и снежок припорошил. Начальник лагеря выстроил: "Так, — говорит, — с каждым будет, кто побежит".

Немцев видал, работал со мной в столярной личный шофер Гитлера. Их домой отправляли — приказ вышел: кто немца фашистом назовет — год прибавят. Двое получили.

Самая тяжелая жизнь воровская. Врагу заклятому не пожелаю. В 1953 году по амнистии вышел. К матери приехал в Москву. Не прописывают. Участковый приходит каждый день, жить спокойно не дают.

Двадцать лет, а повидал — не видать бы больше. Инвалид! Начну кашлять — на полчаса. Ну что ж, пожито, похожено по белу свету, а когда и попито. Приезжаю к матери — принимай сына; помирились, да мы с нею и не ругались... Хорошая у меня мать, только вот сын непутевый...

Так что когда спустя много лет я смотрел фильм Шукшина "Калина красная", то вспоминал эту встречу и этот разговор, и тюремные судьбы многих своих друзей.

Хотя мы жили весьма напряженной культурной жизнью — часто ходили в Третьяковку, в Консерваторию, были завсегдатаями Большого театра (куда билеты стоили всего лишь по 2 рубля при нашей стипендии 290 рублей!) — словом, пользовались на полную катушку официальным лозунгом "Искусство принадлежит народу", — но одно дело пользоваться всеобщими возможностями — другое вырабатывать личный вкус, избегая соблазнов всеядности и дополняя эстетику идеологии, окружавшую нас со всех сторон, опытом собственной судьбы.

Я подражал, как это ни смешно, двум своим кумирам сразу: Маяковскому и Есенину. Мы даже устраивали с моим сокурсником Аркадием Баландиным соревнования — кто из нас знает наизусть больше стихотворений — он читал стихотворение Есенина, я отвечал — Маяковским, проигрывал тот, кто первым сознавался, что выдохся... Турниры, как правило, проходили на улицах Москвы, мы бродили по Моховой, спускались к Александровскому саду, поворачивали на набережную и, конечно же, производили странное впечатление на прохожих, оглашая стихами площади и улицы Москвы.

Особенно я любил раннего Маяковского — "Флейту-позвоночник", "Люблю", "Про это", сочинял курсовую по его лирике у входившего тогда в моду литературоведа Виктора Дмитриевича Дувакина. Будущий диссидент Дувакин хвалил меня и гордился моей работой, впрочем, как и замечательный

педагог, выпивоха и, по-моему, тайный русский националист Николай Иванович Либан, у которого на первом курсе я писал сочинение об оде Гавриила Державина "На смерть князя Мещерского"... "Глагол времен, металл звон". Мы с Баландиным, а чаще с Геннадием Калиничевым или Далем Орловым бродили по Москве, я не выпускал из рук блокнота, куда записывал уличные сценки, необычные рифмы, наброски стихотворений, экспромты курсовым красавицам, в которых на ходу и ненадолго влюблялся... Мы забредали в букинистические магазины — ими была напичкана Москва тех лет, копались в книжных развалах, слушали разговоры книжников-знатоков. Именно в 1953 году в одном из букинистических на Сретенке я впервые узнал о Бунине из разговора двух стариков о его судьбе, о переписке с Телешовым, о его смерти. Они разговаривали со вкусом, подробно, ярко.

— Ну как же, конечно, он до восьмидесяти дожил. Я же помню, когда мы ему в день рождения шестьдесят пять свечей зажигали!

А я стоял, как зачарованный, и слушал, слушал.

Правильно развивать вкус в те годы было трудно—усилия наших лучших профессоров Радцига, Либана, Гудзия, Бонди были обращены к прошлому и не могли совладать с программой современной советской литературы, в которой, естественно, не было ни Ивана Бунина, ни Михаила Булгакова, ни Андрея Платонова, ни Осипа Мандельштама с Павлом Васильевым, ни настоящего Сергея Есенина.

О Николае Клюеве или Анне Ахматовой, естественно, и слыхом не слыхивали, а что уж говорить про Михаила Бахтина, Алексея Лосева, про Марину Цветаеву или Владислава Ходасевича...

Зато программы были просто перенасыщены именами и произведениями Александра Фадеева, Федора Панферова, Константина Симонова, Ильи Эренбурга, скучнейшего Константина Федина и так далее вплоть до Веры Пановой или даже Антонины Коптяевой... Роман "Далеко от Москвы" Василия Ажаева считался чуть ли не современной классикой.

Более или менее сообразительных и неглупых студентов, конечно, выручало то, что можно было изучать Шолохова в семинаре Льва Якименко, писать курсовые и дипломы по Горькому или на худой конец по Алексею Толстому... Но если где и существовала жесткая система идеологии и эстетики социалистического реализма, то, конечно, в первую очередь это соблюдалось на нашем филологическом факультете... Но меня спасало еще то обстоятельство, что я постоянно бывал

72

на сборищах нашего литературного объединения, которое вел старик Павел Григорьевич Антокольский. Мне даже доверяли встречать его у входа на факультет — смуглого, с живыми карими глазами, со щеточкой усов, в столь необычном для тех времен черном берете, с кожаной полевой сумкой через плечо и с отполированным посохом в руке...

— Хорошее время наступает, — восторженно вещал Павел Григорьевич, — многие неизвестные имена писателей и поэтов вам, молодые люди, в ближайшее время предстоит для себя открыть — Исаака Бабеля, Осипа Мандельштама, Бруно Ясенского, Марину Цветаеву... А из молодых читайте Александра Межирова и Семена Гудзенко!

А тут еще в общежитии у кого-то появился альманах "Литературная Москва", который стал переходить из рук в руки. Еще бы! "Рычаги" Александра Яшина, статьи Марка Щеглова, стихи Марины Цветаевой с предисловием самого Эренбурга.

Поэзия Цветаевой, конечно же, была для нас крупнейшим открытием тех лет.

Со временем, правда, до меня дошло, что она представляла собой редкий тип русского поэта, миры которого видоизменялись в зависимости от страстей и убеждений, сменявших друг друга в её экзальтированной натуре. Ее стихи свидетельствуют, что она могла быть сегодня страстной юдофилкой, а завтра антисемиткой, во время гражданской войны вдруг ощутить себя "белой монархисткой", а через десять лет, восхитившись подвигом челюскинцев, переродиться в советскую патриотку. И любую новую роль Марина Цветаева играла самозабвенно и талантливо. Но я предполагаю, что Антокольский и Эренбург вспомнили в 1956 году в первую очередь о Цветаевой еще и потому, что знали одно ее до сих пор мало известное стихотворение 1916 года.

Евреям

Израиль! Приближается второе
Владычество твое. За все гроши
Вы кровью заплатили нам: Герои!
Предатели! — Пророки! — Торгаши!

В любом из вас — хоть в том, что при огарке
Считает золотые в узелке,
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матфее, Иоанне и Луке.

По всей земле — от края и до края —
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа...

73

Чего в этом стихотворении больше — преклонения перед Ветхим Заветом или отвержения Завета Нового — трудно сказать... Во всяком случае русские поклонники поэзии Марины Ивановны, особенно православные, должны знать его.

В 1956 году произошло еще одно неожиданное литературное событие. В одном из осенних номеров "Нового мира" была опубликована повесть никому не известного писателя Владимира Дудинцева "Не хлебом единым".

Это было, как взрыв бомбы. Журнал зачитывали до дыр, передавали друг другу на ночь, общежития на Стрмынке и Ленгорах гудели, Дудинцев в две недели стал кумиром студенческой молодежи...

Повесть сейчас заслуженно забыта, как многие злободневные произведения той эпохи: "Оттепель" Эренбурга, или любой из романов Всеволода Кочетова, или "Здравствуй, Университет!" Свирского, или "Студенты" Трифонова. Но тогда!

В центре повести стоял честный изобретатель Лопаткин, которому партийно-научная бюрократия, олицетворением которой был некий Дроздов, во имя своего спокойствия и своей якобы монополии на истину не давала внедрить в жизнь какое-то изобретение, касающееся, кажется, то ли отливки труб, то ли чего-то еще. Словом, это был тот же самый производственный роман, каких штамповалось много, но в отличие от тьмы "благополучных" исходов завершившийся драматически.

Никаких духовных открытий в романе не было, и стилистика его была достаточно примитивной — всего лишь "антибубенновской" или "антикочетовской", но нам, жаждавшим в то время свежего воздуха общественных перемен, и того было достаточно. Ровно через тридцать лет подобную же роль катализатора общественного мнения сыграл, пожалуй что, ныне так же заслуженно забытый роман Анатолия Рыбакова "Дети Арбата"...

Филологический факультет волновался, все ждали обсуждения романа в писательской среде, назначенной на 26 октября, были среди нас и такие счастливцы, которые всеми правдами и неправдами достали приглашения в Дом литераторов. У нас с Геннадием Калиничевым приглашений не было, и мы, чтобы помочь прогрессу и честным людям в борьбе с бюрократией, сели за статью о романе Дудинцева. Несколько дней и ночей мы буквально жили ею, спорили, кляли культ личности, присягали на верность Ленину, ругались, мирились, переписывали один черновик за другим, но наконец-то к началу октября статья, до небес возносящая Дудинцева, была готова,

74

и мы понесли свое живое, теплое детище в журнал "Октябрь". Через несколько дней заведующая отделом критики журнала Лидия Фоменко сказала нам, что статья ей понравилась и она предложит ее в один из ближайших номеров. Называлась статья весьма многозначительно "Чем люди живы". В ней был, конечно же, весь джентльменский набор либеральных "духовных ценностей" той эпохи: возвращение к ленинским идеалам, осуждение обывательской философии жизни — "бойтесь равнодушных!", разоблачение бюрократов и карьеристов, живущих в неприступной крепости, которая в романе называлась то "скифским городищем", то "градом Китежем".

Сегодня я понимаю, каким кощунством со стороны автора было использование самой светлой поэтической русской легенды о граде Китеже: под пером Владимира Дудинцева понятие "град Китеж" стало восприниматься как пристанище безнравственных негодяев и интриганов, как обитель социального и политического зла.

Но восторгу двух наивных студентов-дипломников с филфака не было предела.

Вот он, воздух перемен, наша грудь дышит и наслаждается им!

Восторг еще более усилился, когда мы узнали о том, как триумфально прошло обсуждение романа в Доме литераторов. Помню, как мы с Калиничевым стояли у входа в ЦДЛ, куда с улицы Воровского валом валил народ с билетами, надеясь на чудо — а вдруг и мы проскочим как-нибудь в заветный дубовый зал. Не проскочили, но терпеливо слонялись по улице несколько часов, чтобы узнать у первых выходящих счастливчиков — кто и что сказал о романе. А говорили о нем, до небес вознося Дудинцева, такие гиганты художественной мысли, как Всеволод Иванов, Константин Паустовский, Валентин Овечкин, Владимир Тендряков... Особенной популярностью пользовалась речь Константина Паустовского. Ее размножали, передавали из рук в руки, восхищались смелостью популярного прозаика. Я нашел сейчас в своем архиве, перечитал эти два пожелтевших от времени листочка и был поражен, как мы в то время верили любому демократическому красноречию! Впрочем, мне только сейчас открылось, почему эта речь стала тогда манифестом московской интеллигенции. Паустовский вспоминал в ней, как летом 1956 года он был в туристическом круизе на теплоходе "Победа". Вокруг него якобы была тьма высокопоставленных бюрократов-дроздовых, и одна фраза в речи стала ключевой,

75

обеспечившей Паустовскому неожиданную славу и популярность: *"Эти циники и мракобесы, совершенно не стесняясь и не боясь ничего на той же "Победе", открыто вели погромные, антисемитские речи"*... Но тогда я не обратил внимания на подобную мелочь, поскольку еврейский вопрос совершенно не волновал меня. Разве что однажды я столкнулся с ним во время крайне забавной сценки. Воспроизвожу эту запись из блокнота 1956 года:

"Еду в метро. Напротив меня сидит молодой офицер с женщиной — по внешнему виду еврейкой. Входит пожилой священник. Офицер встал, чтобы

уступить ему место. Женщина раздосадованно и громко выговаривает своему спутнику: "Тьфу! Попу место уступать!" И вдруг поп, обращаясь даже не к ней, а куда-то в пространство, спокойным голосом произносит:

— А меня с детства учили, что попов надо называть священниками, а жидов — евреями!"

...Маленькая "литературная оттепель", спровоцированная романом Дудинцева, продлилась всего лишь три месяца. В январе 1957 года "Литературная газета" вышла с отчетом об очередном писательском партийном собрании, на котором многие из тех, кто восхвалял роман в октябре, почуяв послевенгерские январские заморозки, заговорили по-другому.

Тон, естественно, задавали партийные функционеры с еврейскими фамилиями, вроде критика Александра Исбаха: "Роман Дудинцева следует настоящей большевистской традиции", — фрондировал Исбах в октябре, а в январе, выполняя 'новый социальный заказ, уже давал задний ход: "фрондерство, нигилистические нотки, результат незнания жизни".

Словом, вернули нам наш вдохновенный трактат из "Октября" безо всяких объяснений, да мы и сами уже понимали, что после венгерской трагедии время всяческой оттепели и слякоти миновало, и надолго.

— Стаська! — сказал тогда Калинин, принимая рукопись из рук Фоменко. — Первый блин комом!

Я до сих пор с нежным чувством — нет-нет да и вспомню своего друга по Стромынке, с которым пять лет бок о бок учились в одной группе — в первой немецкой. Русского провинциального юношу, из семьи учителей, тщедушного, насмешливого, одаренного. Он, в отличие от меня, не менял от курса к курсу научных руководителей, не шарахался от Державина к Маяковскому, от Маяковского к Алексею Толстому... Он с первого года взялся за "Тихий Дон" и под руководством добросовестного Льва Григорьевича Якименко

76

все пять лет осмысливал и комментировал великий роман и мне открывал глаза на многие его загадки. Когда мы после окончания университета разъехались — я в Тайшет, а он в куйбышевскую молодежную газету, Геннадий постоянно поддерживал меня в моем сибирском одиночестве письмами, советами, планами, он был из той породы русских идеалистов, без которых жить было бы скучно.

Из его письма от 27 октября 1957 года:

"А у меня, Стаська, в творческом смысле трудностей до черта. Главное, сейчас нужно, чтобы сердце глодала хорошая тоска по чему-то несделанному, недостигнутому, и у тебя эта тоска есть. И отлично. Творческий потолок, смерть наступает, по-моему, тогда, когда человек начинает "устраивать" себе дачку, знакомство с заведующим ателье, часами болтает по вечерам с соседями у подъезда на скамеечке о том, кто красивее — Стриженов или Рыбников... Одним словом, все в порядке, Станислав Юрьевич! Жизнь еще только начинается".

Но воли продолжать ее у Геннадия не хватило. Он стал пить, переезжать в поисках газетной работы из города в город, и в 1966 году я узнал, что он, работая в какой-то районной газете Новосибирской области, в зимние морозы заснул по пьяному делу на улице и не проснулся...

Далеко в земле сибирской,
в захолустном городке
умер мой товарищ близкий,
и сегодня я в тоске.
Пишут, что прилег с похмелья
отогреться у земли —

и сибирские метели
юношу не пожалели,
белым снегом замели.
Говорят, что много пил,
только в этом ли причина?
Песню русскую любил:
— Догорай, моя лучина.
(1966)

Гром венгерского восстания заглушил на время все остальные звуки политической жизни. Думаю, что до сих пор историки еще не написали объективную картину этого мятежа, поскольку, как свидетельствовали многие очевидцы, неизвестно, каких больше лозунгов и призывов было в Будапеште в конце октября 1956 года: антисоветских или антисемитских...

Венгерский еврей Матиаш Ракоши и его окружение стали

77

главной ненавистной мишенью венгерского студенчества, в среде которого всегда жил дух национализма. А для меня буквально через несколько лет венгерские события обрели совершенно неожиданное продолжение. В начале 60-х годов я поехал из Москвы в Киргизию по литературным делам.

Мой друг Суюнбай Эралиев устроил мне путешествие к озеру Иссык-Куль. По дороге мы проезжали какой-то районный центр, кажется, Токмак. И я вдруг увидел среди пыльных и невзрачных домов поселка хороший особняк, окруженный высоким забором, за которым росла пышная растительность — деревья, кустарники, цветы...

— А кто же здесь живет в таком богатом и необычном доме? — спросил я у молодого чиновника, сопровождавшего нас. Тот помялся, помолчал и все-таки решился ответить:

— Ракоши, бывший генсек Венгерской компартии. На его место пришел Янош Кадар, у которого при Ракоши в тюрьме ногти вырвали... Ну, после такого Ракоши в Москве держать было неудобно, вот его и поселили в наших краях...

По истечении десятилетий все-таки становится ясным, что тип человека "оттепели" на самом деле был весьма усложнен и идеализирован писателями, журналистами и политиками той эпохи. На самом же деле в основном эта прослойка, особенно в российской провинции, состояла, как правило, из тщеславных молодых людей, полужурналистов, полуактеров, полуписателей, как правило, неудачников из местной богемы, питавшихся речами Паустовского, повестями Дудинцева и Эренбурга, стихами Евтушенко и Рождественского... Они ощущали себя будущей политической элитой России, властителями дум, а на самом деле, как правило, были кухонными заговорщиками, бесталанными протестантами, людьми тогда еще не сформировавшегося в политическую силу (поскольку не было подпитки от Запада) диссидентского движения.

Литературное объединение "Факел", возникшее в те времена в моей родной Калуге при комсомольской областной газете "Молодой ленинец", состояло в основном из подобных молодых людей. В него помимо поэтов, журналистов и художников входил и мой школьный товарищ Борис Усов, сын калужской писательницы Надежды Усовой. "Факел", просуществовавший год-полтора, был вскоре за изготовление антисоветских листовок разгромлен... Чтобы не попасть под статью, Усов, бывший в числе "авторитетов" "Факела", симулировал психическую болезнь, полгода отлежал в дурдоме, а когда вышел на волю, то на тридцать лет погрузился в полупьяную разговорчивую жизнь, которую ему постоянно

78

обеспечивали женщины, имевшие на него серьезные виды. Парнем он был

видным, обаятельным, артистичным. Местные обыватели частенько видели его на улицах города, обвешанного всякого рода фототехникой. Он мечтал стать выдающимся хроникером-фотохудожником эпохи, и основания к тому у него были.

Однажды в середине 80-х годов я навестил его.

Мы сидели в его комнатухе, набитой радиотехникой, иконами, картинами местных художников, пустыми бутылками, западными журналами, медными крестами и складнями, увешанной фотографиями знаменитых людей, заезжавших в наш городок.

— А ты читал у академика Тураева о том, что скрижали судеб и появления богов находятся в созвездье Вега? Пока еще, извини за выражение, Иисуса Христа не было, вавилоняне молились на звезду из созвездия Вега. О друг Горацио! Нет пути человеку, нет возможности! Мог быть писателем, историком, дипломатом — стал фотографом! — на глазах у него блеснули слезы, и он постарался, чтобы я их заметил.

Он быстро запьянел, стал кричать, размахивать руками, стащил с себя синюю спортивную рубашу. Потом устало сказал:

— Вчера заночевал у одной Наташи. — Сделал паузу: — Однако с женой уже мир. Она женщина хорошая, но, — мотнул головой, — не понимает меня и воли мне не дает! Жить невозможно! Гибнет русский человек от излишней талантливости. Как я в пединституте учился! Ничего не учил, а сдавал только на пятерки!

...Странно, что при таком образе жизни он выглядел молодо. Скульптурное красивое лицо. Уверенная походка с косолапкой.

— Жду, когда начнется действие закона об индивидуальной трудовой деятельности. Посмотрим, как и что. Кто-то прогорит, надо будет подумать — почему... У меня вторая группа инвалидности, налогов мне платить не надо. Я вообще могу подать в суд на наше правительство: двадцать лет я со своими способностями вынужден был прозябать... У меня отняли мою молодость! Вон ветераны вьетнамской войны устраивают демонстрации возле Белого Дома, требуют моральной и материальной компенсации за отнятую государством юность. Я имею право на такой же протест... Но мне нужно такое дело, чтобы давало не меньше трех тысяч в месяц... Думаю, ломаю голову, не тороплюсь... Может быть, сувенирную мастерскую, может, фотоателье суперкласса, может быть, контору по торговле иконами и всяческой стариной... Но с уголовным кодексом считаться надо... А главный архитектор наш, видел, поставил бетонную бабу на площади Победы? — Лауреат

79

госпремии. За что?! Баба-то краденая, такие во всех городах стоят! Полуголый, с черными прокуренными зубами, грудь волосатая, на животе фигурный шов — недавно вырезали половину желудка, из-под брюк торчат кальсоны, в одних носках — ботинки жена спрятала, чтобы не ушел из дому...

Умер он в полном забвении несколько лет тому назад. Я хорошо знал его, считал чрезвычайно колоритным, но совершенно бесполезным для русской истории человеком и думаю, что по-другому прожить свою жизнь это дитя "оттепели" просто не могло.

Трещина, образовавшаяся в наших душах после 1956 года, осталась с нами на всю жизнь. Многие из нас своей молодой интуицией понимали историческую неизбежность всего пути советской эпохи и старались, как могли, соответствовать ей мыслями и поступками. Я же помню, как, когда начался суэцкий кризис и западные державы были на грани войны с пытающимся освободиться от колониальной зависимости Египтом, мы с моим товарищем по университетской спортивной жизни студентом-физиком Николаем Киселевым пошли в военкомат, чтобы нас зачислили добровольцами для защиты дружественного Советскому

Союзу Египта. А ведь я уже учился на пятом курсе филфака и был женат. Мы ждали ребенка. О другом бы надо было думать! Коля же Киселев — душа-парень, блистательный спортсмен, воспитанник белорусского детдома, человек, образцами для которого были Рахметов и Корчагин, записывал в те времена в своем дневнике (мы время от времени обменивались дневниками):

"Все-таки самая правильная политика построения социализма — наша политика. Железный порядок, единопартийная система, армия и, если надо, репрессии — это оправдало себя. Путь полной демократизации в наше время невозможен. Народ не настолько сознателен, чтобы воспользоваться им правильно. И Сталин во многом был прав. Отказ от диктатуры, многопартийная система, "полная демократия" — все это в настоящий момент привело Венгрию к катастрофе. А мы не можем вмешаться. Объявили на XX съезде политику невмешательства. Американцы — те вмешиваются. Дать полную демократию мелкобуржуазному народу, лишь десять лет, с ошибками и заблуждениями, строящему новую жизнь! Смешно, если бы мы это сделали в 1927 году, в самый разгар битвы с троцкистами. Смерть была бы всем завоеваниям социализма. В ближайшее время мы должны подкрутить гайки, иначе по морде будут нас бить все чаще и чаще. Но есть и другая сторона: мы доросли до

80

понимания того, что не дать дорогу демократии — тоже похоже на смерть. Нужен выход. Может быть, я не прав. Эти страны нельзя равнять с нашими, их народ с нашим. Они гораздо меньше получили от революции, нежели мы "...

Вот в каких противоречиях металась душа этого мускулистого интеллектуала, в котором, честно говоря, я видел будущего любимца масс, крупного государственного деятеля, образованного, мыслящего, волевого... А как иначе мог размышлять круглый сирота, выросший в провинциальном не то гомельском, не то моголевском детдоме, которому наше общество и государство дало все, о чем мог мечтать одинокий, как перст, юноша? Московский университет, стипендию, стадионы, великие библиотеки, профессию, обеспеченное будущее. Вот еще одна характерная запись из его дневника, сделанная после вселения в общежитие на Ленинских горах.

"Я в отдельной комнате! Изумительные условия — душ, стол письменный с прибором и настольной лампой, стол для еды с посудой, шкафы, секретер, вентилятор и радио — все что надо. И за это за все — с меня требуется только учеба и пятнадцать рублей! Просто нет слов!" (Мы с молодой женой жили в таких же условиях, которые могут показаться сказкой для студентов сегодняшней демократической эпохи.)

Конечно же, Коля Киселев был за социализм, но не как сынок какого-нибудь "ответственного работника", генеральский или кагебешный отпрыск, а как сирота, для которого государство и общество заменили отца и мать. Сегодня путь в будущее для таких талантливых, но одиноких и обездоленных людей, как Коля Киселев, закрыт наглухо.

Помню наше посещение с ним военкомата, когда мы хотели записаться добровольцами на суэцкий фронт. Запись из моего блокнота тех дней:

"В военкомате офицеры все худые, больные, нестроевые. Позвал нас к себе язвенного вида майор, предложил сесть и стал расспрашивать про семейное и социальное положение... Записал все наши ответы в карточку и сказал, что если нужда будет — нам сообщат. Мы вышли на улицу, и Коля с каким-то почти счастливым лицом признался: — Ну вот, все данные наши записаны, приятно, что я не мошка какая-то, а человек... Без вести и без следа уже не пропаду, сразу беспокоятся..." Все важные, как мне казалось, вехи судьбы я в то время помечал в блокнотах, полных размышлениями, картинками жизни, поразившими меня

разговорами и, конечно же, черновиками и набросками стихотворений.

Летом 1956 года я два месяца провел в военных лагерях на

81

Волге под Калинином. Лагеря были серьезными. Нас, видимо, хотели сделать настоящими, а не бумажными младшими лейтенантами, а потому спуска не давали... Строжайшая дисциплина, железный режим, суровые и бесцеремонные старшины и сержанты, пятидесятикилометровые марш-броски, изнурительная строевая подготовка, караулы и дежурства на кухнях, беспощадные за каждое нарушение наряды и гауптвахты — все это в первый месяц, пока мы не обвыкли — крушило наши студенческие, заболевшие либеральным вирусом души, изнуряло плоть, ломало убеждения. Тех, кто пытался сопротивляться, протестовать, качать права — наказывали вдвойне и деваться было некуда. Без успешного окончания сборов, без лейтенантского звания и присяги — ни один из нас не мог закончить университет и получить диплом... Душа моя металась в противоречиях между естественным сопротивлением военной машине и долгом.

Из писем жене:

"Ненавижу армию. Если б ты знала, как эта организация не считается с человеком, с его привычками, настроениями, способностями, как она обстругивает каждого из нас. Есть в армии команда, очень частая: "не пререкаться!" Так вот, обычно мы на марше поем — "Тачанку", или "Гремя огнем, сверкая блеском стали" (правда, вместо Сталина произносим "Жуков"), а когда и под Киплинга маршируем — "День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке", но вот недавно нам не хотелось петь по приказу комвзвода, шли на огневую подготовку. "Не поете? — разозлился он. — Бегом!" Сто метров в сапогах с автоматами пробежали. Опять команда: "С песней марш!" А нас зло взяло — молчим. Опять команда: "Одеть противогазы! Ползком!" А знаешь, до чего противная штука противогаз! Индивидуальная душегубка. Мы не пели и километров пять то ползли, то бежали в противогазах. Потом поняли, что наш бунт бесполезен, и сдались. Запели "Если ранят тебя в ногу, отделенному скажи..."

Но эти два месяца были для всех нас и для меня хорошей школой. В сущности, лишь летом 1956 года я почувствовал, что нащупал какое-то необходимое понимание хода истории.

А началось это со стихотворения "Марш-бросок", которое я до сих пор включаю во все свои итоговые сборники и которое читал осенью на вечере нашего литобъединения, когда к нам приехали никому еще не известные молодые поэты Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина.

82

Рот пересох,
шаг невысок,
черные сосны
да желтый песок.
Даже пилотка
от пота набрякла.
Высохла глотка
и песня иссякла.
Раз! Два!
Час... Два.

Стихи были станковой колее, которую "словно чешуйчатую змею" мы топчем солдатскими сапогами, об аскетической неизбежности службы и долга, и вся картина стихотворения входила в какое-то страшное противоречие с радужными надеждами, розовыми иллюзиями и гуманизмом, рожденными в наших душах воздухом XX съезда.

Ни сладкого сна,
чтоб кругом тишина,
ни отдыха праздного,
ни легкого хлеба,
ни солнца красного,
ни синего неба —
нету!
Все защитного цвету...

Поэзия, как ни странно, боролась в моей душе с прекраснодоушной гражданственностью и побеждала, заставляла понимать себя не только дитем "оттепели", но и сыном тысячелетней России.

Вот запись, которую я сделал ночью в караулке тем же летом 1956-го.

"Напряженной, фантастической жизнью, скрытой за обыденностью службы, живет армия. Страна, увязанная цепью секретных армейских телефонов, по которым летят сигналы и приказы, шифрованные сводки и донесения, и, послушный всему этому потоку воли, качается и пульсирует гигантский организм... Чьей воле подвластна военная машина? Откуда такая сила, правящая миллионами? Где корни этой фаталистической необходимости?"

Но задавая эти вопросы самому себе, я одновременно проклинал армию, ее режим, ее бесчеловечность в негодующих письмах матери, молодой жене, друзьям, плакал и вздыхал о свободе личности, о том, что позднее стало называться "права человека", а вернувшись после службы домой в Калугу, с жадностью записывал рассказы тети Поли, только что возвратившейся из Магадана после 17 лет тюремной и ссыльной жизни.

83

— Прошел слух в Америке, что Магадан город заключенных. Вызывает начальник Дальстроя меня: Полина Никитична, завтра у нас будет американская делегация. На один день нужно сделать так, чтобы наша швейная фабрика была свободной. Вы ручаетесь за своих людей?

— За бытовиков нет. Они нас контрой называют. За "58-ю" ручаюсь. Там все почти коммунисты.

— Бывшие коммунисты. Бушлат, шапку-ушанку, серую юбку, бутсы — на завтра отменить. Пусть каждый приходит, в чем хочет, хоть в туфлях лакированных...

Пошла посоветовалась, собрала партактив. Ну что решим, бабы? Будем хоть на день свободными — нам начальство приказывает. На другой день девчата проволоку скатали, столбы из мерзлой земли выкопали и пришли, кто в чем мог. Американцы прошлись по цеху, спросили, кто сколько зарабатывает. Попросили показать квартиры. Девчата повели их к вольнонаемникам. Американцы видят одну кровать — почему? Вас же двое? — А мы по разным сменам работаем и не видим друг друга. Так и прошло. Всем по году сбавили. А мужики засыпались. Ох и неприспособленный народ мужчины! Иной доктор наук, пять языков знает, а костер не разожжет, куба дров за смену не заготовит. На лесопункте, бывало, размышляют:

— Анна Павловна, интересно, в какую сторону сосна упадет?

— Наверно, вон туда. Ветерок с севера и ветви у нее с той стороны погуще.

Я подойду к своим девкам.

— Ну что, балаболки, у вас же норма полтора куба, надо сделать.

А они похохатывают:

— Так ведь интересно с ними, Полина Никитична!

В результате никаким цельным мировоззрением ни моя душа, ни души моих

сверстников жить не могли...

Коле Киселеву было легче. Он был сиротой, потерявшим всех родных во время войны, детдомовцем — обязанным государству всем спасительным и хорошим, что было в его судьбе.

Но в то же время я, хотя и справедливо, но несколько высокомерно недолюбливавший многих своих сокурсников из студенческого окружения за их московский снобизм, за откровенно карьеристские замашки и планы, вытекавшие, видимо, из благополучной, обеспеченной атмосферы семей, в которых они росли и жили, вдруг неожиданно для себя, когда на второй месяц сборов мне дали командовать отделением солдат, увидел, насколько лучше, надежнее, интереснее эти

84

простые рабоче-крестьянские ребята детей партийных и государственных чиновников, отпрысков генералов и дипломатов, которые тоже учились со мною на одном курсе все пять лет.

Вот короткая запись из летнего дневника того же 1956 года:

"А все-таки мои солдаты не винтики, они достойны лучшего, нежели политбеседы.

Семенов — головастый, белобрысый, курносый парень. Умница, но играет полушутя, иногда любуясь своей игрой. С Платоновым вполне можно разговаривать серьезно и откровенно. Судаков простоват, но очень добрый.

Вчера я целые сутки провел с ними в карауле. Наговорился вдоволь. Душевные ребята! Как им хочется работать на гражданке, с каким чувством и пониманием дела они толковали о клевере, картошке, ржи, когда мы шли через колхозные поля. Их язык приводит меня в восторг, живой, сочный, правда, и солоноват и матерком пересыпан чересчур. Но, наслушавшись их разговоров, уже никогда не удовлетворишься бледными, надуманными интеллектуальными диалогами. И при всем том в ребятах много детского. Возятся друг с другом, как щенки, грубо друг над другом подшучивают, отчаянно и заразительно смеются.

Место, где стоит наш караул, называется Желтиковым полем. Склады снарядов и патронов помещаются в подвалах полуразрушенного древнего монастыря. Я прошелся по монастырскому двору. Груды кирпича, смешанного с известью, могильные плиты с сентиментальными, но трогаящими сердце надписями, могила Голеницевой-Кутузовой, урожденной Глинки. Занималась поэзией, переводила, основала Всероссийское общество добротной копейки для бедных. Словом, примерная гражданка. Как изменилось понятие "гражданина" за какие-то 80 лет!

А ветер клонит лютики, гогочут неокрепшими голосами в заросшем прудике молодые гусята. Зной. На развалинах монастыря трепещут березки в рост человека. И странно видеть на этих руинах нас, людей XX века... И мы умрем, но как утешение, призывающее наслаждаться зноем, запахами полыни и лопуха, шершавым теплом старинной кладки, вспоминаю гениальные строки Есенина:

*Все мы, все мы в этом мире тленны,
тихо льется с кленов листьев медь.
Будь же ты вовек благословенно,
что пришло процветать и умереть".*

85

"За доблесть в труде и за честность"

Люди права и люди долга. Путь на Восток. Я — журналист районного масштаба. Две правды. Первая выволочка в райкоме КПСС. Воздух воли и юности в

Университетская жизнь завершалась, и на горизонте замаячило суровое слово "распределение". Нынешние молодые люди, наверное, уже не знают, что в те времена каждый закончивший учебу студент должен был поехать туда, где государство и общество нуждалось в нем. Сейчас это правило считается у идеологов демократии бесчеловечным изобретением тоталитарной системы, но, по моему глубокому убеждению, оно выражало не только советскую, но вековую сущность российской истории, по крайней мере от петровских времен, истории, замешенной не столько на идеях права, сколько на осознании долга. Вот где проходил и до сих пор проходит главный водораздел между нами и людьми Запада. То, что при советской власти судьбой каждого молодого человека, получившего образование за казенный счет, распоряжалось государство и посылало его своей волей туда, где не хватало агрономов, инженеров, учителей, лесоустроителей, врачей, было всего лишь навсего естественной необходимостью, а не какой-то сверхчеловеческой злой волей. А разве Петр Первый не обязывал тех же дворянских сыновей учиться в Европе, а потом осваивать рудники Урала, строить корабли, ткацкие и парусные мануфактуры, открывать морские пути и новые земли для процветания государства Российского?

86

Энергия этого долга была сильна в обществе еще в середине прошлого века, несмотря на все либеральные и прогрессивные веяния, постепенно разлагавшие ее.

Неисправимый либерал-демократ Тарас Григорьевич Шевченко, живший после освобождения из ссылки в Нижнем Новгороде, в своем дневнике от 18 февраля 1858 года сделал любопытную запись:

"Проездом из Киева в Иркутск посетили меня земляки мои — Волконский и Милюга. Они едут в звании медиков заслуживать казне за воспитание. Какая нелепость посылать молодых медиков в такую даль от центра просвещения!.. Варварство".

Лишенный государственного инстинкта (что было и всегда будет свойственно малороссийской образованной элите) украинец Шевченко не понимал, что без этой направляющей воли бесконечные русские просторы невозможно ни обжить, ни освоить, ни цивилизовать, ни "обустроить". Первой по-настоящему, пожалуй, поняла эту тяжкую закономерность русская церковь, которая уже со времен монгольского ига стала посылать своих миссионеров и подвижников в пространства Северо-Запада и Северо-Востока, на Валаам и Соловки, на берега Печоры и Сухоны возводить монастыри, возделывать пашни, просвещать евангельским светом души людские, кто бы они ни были по крови — русские, вепсы, пермяки, коми...

Да что говорить! В начале двадцатого века мои дед и бабка, закончившие Санкт-Петербургскую Военно-медицинскую академию, государственной волей были направлены на работу за тысячу километров от родных онежских берегов в глухую русско-мордовскую деревню Нижегородской губернии, поскольку надо было кому-то бороться с трахомой, сифилисом и туберкулезом, которые сейчас снова возрождаются там. Сентиментальный аскетизм, которым буквально пропитано все массовое искусство тридцатых годов нашего века, был не просто антуражем, но сутью той эпохи. Клавдия Шульженко, создавая образ женщины-товарища, мужественно прощалась с возлюбленным: "Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года!"

Леонид Утесов в популярнейшей песне о двух друзьях, которых вызвал командир и приказал: "На Север поедет один из вас, на Дальний Восток — другой" — демонстрировал, как надо скрывать свои чувства, чтобы не

расплакаться при расставании: "Ты мне надоел, — сказал один. — И ты мне, — сказал другой"... "Дан приказ — ему на Запад, ей—в другую сторону..."

"На долгие года", "врозь", во имя высшей целесообразности, во имя аскетической идеи общественного служения, во имя пронзающей все общество, от члена

87

Политбюро до рядового рабочего и солдата, идеи Долга. Поистине, как в петровские времена, в тридцатые годы все стали слугами государства.

Лишь через пятьдесят лет после Петра Екатерина Великая освободила дворян от обязательного служения, издав "Указ о вольности дворянства..." Указа "О вольности парտработника" у нас не было. Но фактически эта "вольность" разлилась в воздухе к концу 60-х годов, когда партия уже перестала в приказном порядке бросать свои кадры на укрепление колхозов, на подъем целины, на стройки Сибири. И такое положение дел, в сущности, стало началом ее естественного перерождения...

А в тридцатые годы мои отец и мать жили врозь три четверти своей совместной жизни. Потому что аскетическое суровое время приказывало всем без исключения: "На Север поедет один из вас, на Дальний Восток — другой". Потому я и вырос на руках у бабки, о чем совершенно не жалею. Кстати, во второй половине пятидесятых годов система распределения стала уже достаточно мягкой, избавилась от "мобилизационных", полувоенных форм, и каждому из нас уже предлагали на выбор — одно место где-нибудь в Сибири, другое в одной из советских республик, третье в европейской части России. Я не знаю, как сейчас устраиваются на работу молодые специалисты, но мы, подписавшие согласие распределиться куда-либо, твердо знали: нас ждет гарантированная работа, обязательное и скорое — в течение нескольких месяцев — получение государственного жилья и "подъемные деньги" в размере двух-трех окладов, на которые можно было свободно доехать до места распределения и даже кое-чем обзавестись на первых порах новой жизни. Но три года, как минимум, надо было отработать. Не так уж это было все плохо...

Впрочем, я мог бы устроиться на работу и в Москве, основания к тому были: жена только что родила сына и серьезно заболела, но я искал для себя другую судьбу. Ни Москва, ни родная Калуга, куда мне было попасть легче легкого, не манили меня. Я написал письма в несколько сибирских газет — в иркутскую "Советскую молодежь", в братскую многотиражку "Огни Ангары", в ангарскую газету со страстными просьбами прислать на меня запрос на филологический факультет и взять на работу. Жутко хотелось посмотреть Сибирь, побывать на сибирских стройках, испытать себя в неведомой, но властно зовущей самостоятельной жизни. Спасибо молодой жене — она печально, но спокойно выслушала меня и сказала: "Ну, если так хочешь — поезжай. А я выздоровлю и к тебе с сыном приеду..."

О том, какими мыслями и чувствами жили мы в то время,

88

лучше всего, пожалуй, скажет письмо университетского друга Геннадия Калиничева, который к тому времени уже работал в куйбышевской газете, но был недоволен тем, что вокруг слишком много цивилизации, и тоже рвался в Сибирь:

"Живу пока в гостинице... С квартирами здесь туго. Да плевать на все. Найду какую-нибудь мансарду, да и ладно! Как было бы замечательно, если бы мы с тобой двинулись в могучие матерые края России. Я даже в снах вижу, как мы плывем по сибирским рекам, добираемся на попутках до древних деревень, до берегов Ангары, до строительных площадок... Станислав Юрьевич! Жизнь только начинается, нам бы только и бродить по земле Русской..."

В сентябре 1957 года, получив из Иркутска подъемные, я, как сто лет тому

назад земляки Тараса Шевченко, приехал в столицу Восточной Сибири. Но все мои отчаянные попытки рвануть из Иркутска в Братск или Ангарск были пресечены железной волей заведующей сектором печати обкома КПСС Елены Ивановны Яковлевой.

— Что вы все, москвичи, по Братску с ума сходите, — затягиваясь "беломориной", сурово сказала Яковлева. — Партия нуждается в подъеме сельского хозяйства. Поезжай-ка в Тайшет, поработай годик-другой, покажи себя, а там поглядим... К тому ж есть у партии план — построить в следующей пятилетке недалеко от Тайшета металлургический комбинат. Проектные работы уже ведутся.

Несколько воодушевленный сведениями о комбинате, я вышел на улицу Карла Маркса, главную улицу Иркутска. Погода стояла дивная, желтые листья из синевы медленно осыпались на тротуар. Солнце освещало изукрашенный кирпичной кладкой особняк "Восточно-сибирской правды". Напротив, чуть наискосок я увидел вывеску "Советская молодежь", вспомнил, что еще летом получил ответ от главного редактора Алексея Кривеля, который писал, что, хотя в его газете вакансий пока нет, но *"Вы правильно решили поехать на работу к нам в Иркутскую область. Здесь есть где развернуться. Место всегда найдется"*.

— Надо поблагодарить его за добрые слова, — подумал я и открыл парадную дверь в редакцию, прошелся по коридору, заглянул в первый попавшийся кабинет. Худенький скуластый юноша, чья голова, как мне показалось, как-то высоко сидела на длинной шее над белым воротничком рубашки, поднял на меня круглые и блестящие, как вишни, глаза. Я спросил его, где найти главного редактора, он мне что-то ответил... Много позже я понял, что это был никому тогда еще не известный Валентин Распутин...

89

Ну что ж, Тайшет, так Тайшет... Вот как я стал заведующим сельхозотделом с окладом в 900 рублей. Газета называлась "Сталинский путь". Через год ее переименовали в "Заветы Ленина".

Я сел на поезд, шедший на запад, и спустя сутки сошел на небольшой станции, где увидел деревянный вокзал, выкрашенный облупившейся желтой краской, дощатый перрон, в сквере возле вокзала памятник — две гипсовых фигуры, покрашенные серебрянкой — сидящий на скамейке Ленин и над ним Сталин во весь рост, сверху вниз глядит на Ильича.

А к северу от Тайшета, вдоль ветки, уходящей к Лене, раскинулись бараки знаменитого Озёрлага, наполовину опустевшего после недавних политических потрясений, амнистий и реабилитаций 1956 года.

Я поселился в шестиместном номере двухэтажной деревянной гостиницы, где моими соседями были геодезисты, снабженцы и заготовители древесины из южных республик. А через два-три дня поехал в свою первую командировку в поселок Юрты к знаменитому на весь район председателю колхоза Михаилу Шевченко.

Он принял меня вечером в колхозной столовой, где, впрочем, кроме нас уже никого не было. Румяная повариха поставила на дощатый стол две громадных отбивных с жареной картошкой, бутылку водки, хлеб и два граненых стакана. Не то чтобы я в университетской жизни не пил — но стаканами? Впрочем, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и вскоре председатель, быстро захмелевший с устатку, стал жаловаться захмелевшему не меньше его молодому журналисту на жизнь, на порядки, на свою полную несвободу.

— Ну, посуди сам, вот сейчас идут хлебозаготовки. У меня до зернышка выгребают все фуражное зерно, хорошо еще, что в тайге есть две-три неучтенных заимки. А в марте, когда мы начнем скоту хвою запаривать, я все пороги в обкоме обобью, чтобы хоть малую часть этого моего зерна мне же в виде комбикорма

вернули! Ну зачем его возить осенью из наших амбаров в Иркутск, а весной обратно! Все равно ить не позволят мне колхозных коров на мясо сдать, да и какое с них весной мясо!..

Я удивлялся, сочувствовал, охал, запоминал цифры, факты, фамилии и радовался тому, что мне во время моего первого редакционного задания попался такой откровенный и смелый собеседник.

На другой день, дождавшись, пока мои снабженцы и заготовители дрючка разойдутся по делам, я засел в гостинице и настроил целую полосу о Шевченко, о всех его мытарствах и страданиях в дни хлебозаготовок. Когда я сдавал репортаж в

90

типографию, мой главный редактор Александр Иосифович Москвитин был то ли в легком запое, то ли в отъезде, никто моего сочинения не прочитал и наутро я, счастливый начинающий репортер, держал в руках свежую газету.

— Вот Елена Ивановна Яковлева будет рада, — первое, что подумалось тогда мне. Однако на другой день в редакции раздался звонок из райкома партии. Звонил секретарь райкома.

— Это ты у нас молодой специалист из Москвы? Заходи ко мне. Поговорить надо.

В секретарском кабинете я увидел моего юртинского собеседника. Шевченко сидел с газетой в руках и дочитывал репортаж. Лицо его было скорбным. А сам Шишков — худой, светловолосый язвенного вида человек, затянутый в общепринятую форму сибирских партийных секретарей — в темно-синюю гимнастерку, в галифе и фетровые бурки — нервно ходил по кабинету, дымя папирсой.

— А! Садись, садись! Ну, рассказывай, как вы оба решились посягнуть на святая святых — на хлебозаготовки! Из Иркутска Яковлева уже мне звонила!

Шевченко отложил газету и посмотрел на меня взглядом, полным укоризны и отчаяния:

— А я ничего подобного журналисту не говорил. Не знаю, зачем и почему он все эти глупости выдумал...

Я открыл рот, чтобы возразить, но, еще раз взглянув на сокрушенного председателя, понял, что всю вину надо брать на себя, и пробормотал какие-то жалкие слова о том, что, видимо, выпил лишнего и все перепутал, и что слушал собеседника невнимательно, да и писал репортаж второпях и что, действительно, кое-что, может быть, досочинил без злого умысла и вложил в уста председателя свои собственные соображения...

В конце разговора секретарь райкома сурово поглядел на меня и на прощанье сказал: "Был бы ты членом партии — не миновать бы строгого выговора с занесением в личное дело... Надо тебя в партию принимать, чтобы ответственность чувствовал..."

А выгонять меня из редакции надо было за другое. Дело в том, что мы получали все районные газеты, выходившие в области, и свою газетку рассылали по редакциям районных газет. Однажды, просматривая то ли тулунскую, то ли алзайскую районку, я наткнулся на заметку, напечатанную под рубрикой "В мире интересного", где сообщалось о том, что "на болотах африканских прерий растут огромные деревья, которые питаются кровью и мясом". Их якобы называют "луатомвао" что на языке какого-то племени означает "дерево-людоед".

91

Дальше в заметке шла речь о том, как какой-то бельгийский офицер, отстав от своих солдат, подстрелил фазана, его собака рванулась за фазаном в чащу и вдруг завизжала. Офицер бросился за ней, и вдруг его обхватили какие-то ветви, похожие на хоботы слонов, и стали душить его, он закричал и выстрелил в воздух,

прибежавшие солдаты едва успели освободить его от черных, гибких, как змеи, ветвей "луатомвао"... "А вскоре окружающие услышали треск собачьих костей, и ветви-пиявки выбросили непригодные остатки в кустарник. Потрясенный командир приказал сжечь страшное дерево, которое при горении стало источать смрад сожженного мяса"...

Я ночью сдавал номер, в котором у меня было на четвертой полосе пустое место, и рассказ о дереве-людоеде спешно заполнил его. Утром перечитал газету и ужаснулся: Боже мой, что я натворил, вот теперь-то меня точно уволят... Но ни из обкома, ни из райкома не позвонили. Ни Яковлевой, ни Шишкову не было никакого дела до газетных глупостей такого рода. Вот хлебозаготовки — это да.

А ближе к зиме по легкому морозцу в яркий солнечный день мы с Шишковым поехали на райкомовском "газике" в село Старый Акульшет, где он вручал переходящее Красное Знамя и отрезки на платье лучшим дояркам района. Потом прямо на ферме в красном уголке хозяева спроворили немудреный банкет для доярок с песнями и плясками, уже затемно мы пришли на ночевку к председателю колхоза и у него продолжили застолье. Председатель, руководивший колхозом со дня его основания аж четверть века, стал вспоминать дела давно минувших дней:

— У нас во время коллективизации как бывало? Вызывает уполномоченный единоличника: "Садись. Пиши заявление в колхоз". Тот отказывается. "Не хочешь?" Берет телефонную трубку, набирает номер. "Москва? Мне Михал Иваныча Калинина! Михал Иваныч? Вот тут в Старом Акульшете сидит рядом со мной один сукин сын и разговоры ведет против Советской власти, в колхоз идти не хочет... Что? Плохо слышу, Михал Иваныч! Выслать? Добре, Михал Иваныч, добре. До свиданья! Ну, слышал, что Калинин говорит?" А мужик уже дрожащими пальцами тычет ручку в чернильницу, заявление пишет...

Шишков расхохотался, но потом начал шпынять старика за недостачу хлеба и вдруг растерянно развел руками:

— План выполнить не сможем. А если выполним, то оставим колхозников без семян и без фуража. Общественное животноводство хоть сейчас пускай с торгов!

92

Я осмелел и напомнил ему о конфузе с Шевченко. Шишков вспылил:

— Да я ли не знаю, что он прав и что он тебе все рассказал так, как ты написал... Но что делать, коль там наверху, — он ткнул пальцем в потолок, — нас и слушать не хотят...

...Чтобы там сегодня ни говорили "о льготах и привилегиях" партийных и советских чиновников — свидетельствую: на районном уровне в конце пятидесятых годов большинство из них были людьми самоотверженными, не щадившими ради дела ни своего времени, ни здоровья, ни личной жизни. В погоду-непогоду, в ночь-полночь они бороздили необъятные земли таежного района, убеждали, ругались, просили, награждали, наказывали, лишь бы лишние машины с сосновыми и лиственничными хлыстами доползли по разбитым дорогам до нижнего склада, лишь бы зерно в вагонах текло на запад и восток к элеваторам, лишь бы до наступления холодов успеть утеплить вагончики для рабочих строительно-монтажного поезда № 288, приехавших строить трассу Тайшет—Абакан. Думая о тех временах, о людях аскетического склада, людях долга, а не права, я часто вспоминаю честные и восторженные стихи Николая Рубцова:

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность
И лучшую жницу, как знамя, в руках пронесил!

Как все точно сказано и изображено в этой строфе! Именно "плясал, выбиваясь из сил", именно "требовал выпить", и не за что-нибудь, а "за доблесть в труде и за честность", и "проносил на руках", именно "как знамя"...

Это все-таки были люди общинных устоев и семейных традиций, а не какие-то винтики административно-бюрократической системы. Николай Рубцов не какой-нибудь Юрий Черниченко или Анатолий Стреляный, он не врал и не фальшивил, когда писал о праздничной скромности крестьянского бытия.

Лучшими доярками в колхозах, как правило, были литовки, лучшими трактористами и комбайнерами — немцы, лучшими животноводами — западные украинцы. Все — ссыльные военных и послевоенных лет. Дома у них были крепкие, просторные, огороды — ухоженные, скотины в стайках всегда было много, в горницах царили чистота и порядок. К таким хозяевам обычно определяли меня на постой председатели и бригадиры, когда я на редакционном мотоцикле, либо на

93

попутках, либо даже па лыжах добирался из Тайшета до их таежных сел. А по весенней распутице на полевые станы или дальние заимки я особенно любил добираться верхом — сибирская малорослая лошадка упорно одолевает версту за верстой по лесной дороге, от вешнего духа тающей земли, смешанного с резким запахом лошадиного пота, покруживается голова, в черемуховом распадке свистят рябчики. И стихи сами собой слагаются в голове.

Ах, по Сибири, по белому снегу
лайка следит соболиный побег,
а по России, по белому свету
ищет себя молодой человек.

Однажды несколько дней я жил в Байроновке у старика с Западной Украины. Чернобородого, длинноусого, с большими печальными глазами.

Вечером, выпив медовухи, мы разговорились о прошлой жизни.

— Та, хлопчик, такого мы навидались и хорошего и поганого — счету нема. И под поляками, и под немцами, и под русскими. Сына бандиты вбили. Ночью пришли и вбили. Придут: "Давай исты!" Как не дашь? А утром советские солдаты в дверь стучат: "Кому еду давал?" А я оружие давал, не человеку. Устал от такой жизни, потому, когда в Сибирь ссылали за помощь бандитам, с легким сердцем поехал. Здесь жить спокойнее...

Свидетельствую: понимая, что и немцы, и литовцы, и западно-украинцы ссыльные, местные власти всегда старались выделять, хвалить и награждать за трудовые успехи в первую очередь их, и советовали мне не жалеть добрых слов о немцах-трактористах, доярках-литовках. Я не жалел. О русских с их способностью сегодня совершить трудовой подвиг, а завтра натворить такое, что хоть святых выноси, с их фаталистическим терпением и покорностью всему, что Господь ни пошлет, писать было труднее.

В Енисейке — древнейшей деревне района — я ночевал в избе у старухи. Утром проснулся и увидел на полу белоголовую девочку лет шести. Она играла с толстым кудлатым щенком, который потешно повизгивал и валился вдруг на спину, кверху белым тугим брюхом.

Оказалось, что это бабушкина внучка. Отец ее — сын старухи погиб на границе в пятидесятом году. Мать бросила дочку на воспитание бабке и пошла на стройку в райцентр.

— А где сын-то погиб?

94

— А кто ее знает. В извещении город какой-то прописан, да я забыла...

Я с жадностью и безотказно отправлялся в дальние заимки и лесопункты, в палаточные городки, которые встречали меня гулом тракторов, ползущих по размокшим, рыжим глинистым дорогам, тротуарами, сбитыми из свежих досок, сверкающих золотыми натеками смолы, выцветшим брезентовым полотнищем полевой столовой, где под пологом за грубо сколоченными столами и на длинных лавках сидели девушки и парни, наворачивая за обе щеки, конечно же, борщ и вечную тушенку с макаронами, запивая, конечно же, компотом или мутным кофе.

А тут еще в какой-то газете прочитал стихи Смелякова, побывавшего в Братске, совсем неподалеку от Тайшета—всего в каких-то семистах верстах:

Люблю рабочие столовки,
весь их бесхитростный уют,
где руки сильные неловко
из пиджака или спецовки
рублю и трешки достают.

Тут взяв, что надо, из окошка,
отнюдь не кушают — едят,
и гнутся слабенькие ложки
в руках окраинных девчат.

Я танцевал с этими бетонщицами вальс "Память цветов" в клубе-временке. Клубящийся пар молодого жаркого дыхания вырывался через распахнутую дверь в морозное небо, на дощатой сцене лежали груды валенок и ватников, в которых сюда прибегали девушки из вагончиков, чтобы тут же переобуться в туфли. В клубе пахло креозотом, смолой, дешевыми духами, а в самом звенящем воздухе было вдоволь и кислорода, и морозной свежести, и выхлопной гари, и чего-то неведомого, что можно было назвать запахом юности, счастья и отчаянной веры в свою судьбу.

А по вечерам, воротившись со стройки в Тайшет, я шел к станции, подымался по скрипучим ступеням на виадук и со сладкой тоской глядел вслед поездам на запад, куда уходило за черную гряду леса вечернее солнце.

Я выходил на виадук,
вставал над гранью небосклона
и погружался в перестук
колес ночного эшелона.

95

Зари вечерней полоса
затягивалась синевою,
и стрелочников голоса
перекликались подо мною.
Но разом вспыхивала мгла
и отступала с косогоров,
когда вдоль насыпи плыла
струя сверкающих вагонов.
И паровозные свистки,
и запах дерева и дыма,
и ветер, лижущий виски —
все было так неповторимо!

...В дождливый ветренный день августа пятьдесят восьмого на станцию Саранчет приехал из Калужской области отец погибшей Нади Зайцевой. Ее задавил тяжелый самосвал, который перевозил бетонный раствор.

Когда мы пришли в женское общежитие, маленький усатый старик, сидевший

на табуретке возле закрытого гроба, быстро встал, протянул каждому из нас сухую мозолистую ладонь и сдавленным голосом отчеканил:

— Прокоп Филиппович Зайцев! И опять сел. И добавил:

— Коль похоронили бы ее до меня — мне было бы легче. Если бы хоть больная была...

Начальник строительства Иван Лукич Чабан обнял его за плечи:

— Открывать гроб не будем. Лучше не смотреть на нее, Прокоп Филиппович!

— Да, да, не будем открывать, — прерывистым, клокочущим голосом подтвердил отец и вдруг резко пошел к двери. Подружки Нади бросились следом успокаивать его.

— Хоронить сегодня будем, Прокоп Филиппович?

— Сегодня. Чего ее держать. Мать плакала, не пускала ее в Сибирь. А Надежда говорила ей: "Все едут, а я комсомолка, и я поеду". Что я приеду, что скажу старухе? Мол, от болезни Надюшка померла. Сердце у старухи больное...

* * *

К середине зимы местная власть предоставила мне казенное жилье — половину деревянного дома с одной комнаткой и маленькой кухней. Возвращаясь из поездок домой, я первым делом растапливал печку, и пока еловые дрова, разгораясь, трещали и пламя, просвечиваясь сквозь щели между железной дверцей и кирпичами, плясало на половицах, вскрывал банку

96

китайской тушенки, чистил картошку и с тихой радостью думал о том, кто сегодня вечером будет моим собеседником: может быть, Пушкин, чей коричневый академический десятитомник я привез из Москвы, а может быть, любимый и зачитанный однотомник Сергея Есенина, или Александр Блок из "Большой библиотеки поэта", или маленькая книжечка в темно-сиреновом переплете Николая Заболоцкого, которую я недавно купил в привокзальном киоске... А может быть, когда печка протопится, и медленное, растекающееся по комнате тепло дойдет до заиндевевших углов, я закрою трубу и, слушая шорохи и завыванье вьюги, скребущейся в ставни, потихоньку вытащу из стола свои заветные листочки и начну колдовать над ними, нашептывая рифмы и наощупь отыскивая слова. А вдруг сегодня у меня все сложится и я перепису набело черновики, которые с самой осени не дают мне покоя. В Тайшете — что и говорить! — я первый поэт. Я печатаюсь в "Заветах Ленина", когда моей душе угодно, я руковожу литературным объединением, в котором и наш ответственный секретарь Александр Петров — автор книги о бирюсинских партизанах, и заведующий промышленным отделом Владимир Быковский, и рабочий из геологической партии Виктор Куренной, и техник-рентгенолог из поселка Суетиха Адольф Чернявский. Недавно он был у меня дома, рассказывал про свою жизнь. Сам из Воронежа. Пробыл в Тайшетлаге на поселении 18 лет... В Воронеже работал в областной газете, куда иногда заходил какой-то ссыльный, как говорит Чернявский, замечательный поэт Осип Мандельштам. Он даже на память мне его стихи читал. Но какие-то они темные, туманные. Не то, что у Заболоцкого...

На последнее занятие литобъединения к нам пришел высокий смуглолицый человек, он с трудом передвигался, опираясь на палку.

— Бывший военный летчик Виктор Бабонаков! — отрапортовал он мне. — Стихи пишу с 1939 года, жил в Москве, был знаком с Константином Симоновым, с Михаилом Лукониным... Но выше всех поэтов ценю Сергея Есенина.

Раненный незадолго до конца войны в позвоночник, он долгое время был парализованным, потом кое-как стал ходить, уехал на родину в Сибирь, где жизнь тоже не сложилась, и в конце концов осел старший лейтенант в Тайшетском доме, инвалидов.

А еще мне рассказали старожилы из местной интеллигенции, что незадолго до моего приезда в Тайшет они похоронили писателя Муравьева, тоже недавно освободив-

97

шегося из лагеря... Пил сильно, и однажды рвота у него началась, ею он и захлебнулся.

А известен Муравьев был еще тем, что якобы о нем Александр Твардовский в поэме "За далью даль" написал, как встретился с ним, с другом своей смоленской юности, на тайшетском перроне:

Стояли наш и встречный поезд
В тайге на станции Тайшет.

Помню, с каким щемящим чувством боли и восторга, как будто это происходило не с Твардовским, а со мной, я перечитывал вечерами стихи о встрече поэта с освобожденным из неволи другом и поражался бесстрашию его взгляда и слова.

Я не ошибся, хоть и годы,
И эта стеганка на нем.
Он!
И меня узнал он, с ходу
Ко мне работает плечом.

Это волшебное, народное *"с ходу ко мне работает плечом"* восхищало меня, как и многое другое: *"Зубов казенных блеск унылый"*, *"хоть непривычно без конвоя, но так ли, сяк ли, пассажир"*, *"но что еще без папиросы могли мы делать до свистка"*... Все, что я видел и слышал в тайшетской постлагерной жизни, — разговоры, "казенные зубы", "стеганки", люди, похожие на отсидевшего свой срок Василия Тёркина, с отчаянными надеждами на будущую жизнь — все каким-то образом сплавилось в одно целое с тайшетскими картинками из поэмы Твардовского, вникая в которую я естественным и незаметным образом обучался и русскому языку, и нравственному чувству, и стихосложению.

...А литературное объединение мое постепенно разрасталось, появился в нем Лева Шварц, тоже из реабилитированных, остроглазый, рыжий, веселый еврей, он у нас в редакции ремонт делал. Смотрю — в коридоре плавно машет кистью и поет: "Ты со сцены мне кинула сердце, как мячик"... Спрашиваю, откуда он в Тайшете (как почувствовал, что стихи пишет). "Я, — говорит, — был еще в "Синей блузе", вот тогда комсомольцы были не то, что сегодня у вас..." Любил поговорить о том, что он хороший мастер и не позволяет себе плохо исполнять никакую работу. "Но у вас здесь никакого гешефта у меня не будет, потому что я уважаю редакцию". Вскоре он признался мне, что отсидел четырнадцать лет, как фальшивомонетчик...

98

— Однако и в той сфере я работал классно! — с гордостью сказал Шварц на прощанье. К Новому году в Тайшет наконец-то приехала моя жена, хотя и без сына. Но об этом я лучше и точнее рассказал в маленькой поэме "Хроника пятидесятых годов".

Потом приехала она.
Он бормотал слова при встрече,
и видела одна луна,
как обнимал ее за плечи,
как иней на ресницах цвел,

как шубка при луне сверкала,
когда ее он к дому вел
по узкой тропке от вокзала.
Они гуляли по ночам,
метель гуляла по застрехам,
прислушиваясь к их речам...
Глаза и губы пахли снегом.
В полночь город вымирал,
как бы в средневековье раннем.
Он руки ей отогревал
своим прерывистым дыханьем.
Сияли окна в блесках льда,
сверкали звезды над Тайшетом.
Он счастлив был. Но вся беда,
что не подозревал об этом.

Жена стала работать в редакции вместе со мной, а вскоре ее уговорили по утрам вести короткие передачи на местном радио. Зимой ей приходилось вставать рано и затемно бежать по безлюдным, горбатым от снежных заносов улочкам к радиокомитету. И никого, и ничего мы не боялись в те времена в городе печально знаменитом своими лагерями...

Вечерами, закончив хозяйственные дела, Галя иногда под свист метели медленно запевала что-нибудь издавна любимое нами: "Утро туманное", "Вот кто-то с горочки спустился", "Клен ты мой опавший"...

Я вступал вторым голосом, но часто фальшивил, давал "петуха", портил песню... Слух у меня скверный. Жена сердилась и по нескольку раз порой заставляла меня повторять мелодию, пока в конце концов она не начинала звучать в лад с ее голосом.

Мои стихи между тем уже печатались в иркутской молодежной газете и в солидной "Восточно-Сибирской правде". А в начале 1959 года я получил письмо из журнала "Сибирские огни". Известная сибирская поэтесса Елизавета Стюарт писала мне, что стихи, которые я послал в журнал, ей понравились, и что весной они будут напечатаны в старейшем и знаменитейшем журнале Сибири.

А тут еще пришло приглашение из Иркутска на совещание

⁹⁹

молодых писателей, где будут многие мои иркутские ровесники, имена которых уже были известны мне — Валентин Распутин, Вячеслав Шугаев, Александр Вампилов, Юрий Скоп, Анатолий Преловский...

На этом совещании я с успехом читал своим новым друзьям стихи из Тайшетской тетради. С Шугаевым мы как-то сразу легко подружались и даже выбрались на утиную охоту. А с Юрием Скопом в составе веселой студенческой компании поднялись то ли на пик Черского, то ли на вершины Хамар Дабана, где провели весеннюю ночь возле костра под крупнозвездным байкальским небом, пили дешевое вино, толковали о будущем, где Юра читал мне стихи неизвестного поэта Бориса Слуцкого...

А упоительные богемные вечера на иркутских квартирах у Пети Реутского, у Жени Суворова, у Алика Стукова! Молодой, обаятельный Саня Вампилов, склонив курчавую голову к гитаре, с особым отрешенным от страстей жизни изяществом исполняет романсы на слова Федора Тютчева, Аполлона Григорьева и, конечно же, к всеобщему восторгу, свое заветное: "Когда еще я не пил слез из чаши бытия, зачем тогда в венке из роз к теням не отбыл я"... Ну разве такую жизнь найдешь в Тайшете?

А завтра меня обещали познакомить с Леонидом Кокоулиным, который работает прорабом на Иркутской ГЭС, пишет замечательные рассказы, Юру

Скопа берет за поясной ремень и выжимает над головой одной рукою. Но главная легенда о нем гласит, будто бы Кокоулину после войны за его заслуги командир дивизии подарил трофейную автомашину, которая одновременно была и плавучей амфибией. Недавно хмельной Кокоулин посадил в нее кордебалет музыкального театра и, нарушая все правила движения, стал катать актрис по городу. А когда за ним погнались машины и мотоциклы ГАИ и прижали его к Ангаре, то будто бы он, под негодующие крики гаишников и к восторгу обывателей, махнул с визжащими от сладкого ужаса балеринами с берега в ангарскую пучину, как раз в том месте, где когда-то был расстрелян адмирал Колчак, и выплыл на другой берег аж к устью Иркутска... Только его и видели!

Нет, надобно мне переезжать в Иркутск...

Не зря я живу в Тайшете, но тесно мне здесь, уже первая книжка сложилась, и название хорошее — "Землепроходцы". Издаваться надо, пора поближе к цивилизации. Ну, сколько можно в литобъединении обсуждать стихи местных поэтов. Вот вчера целый вечер погубили на разговоры о стихах местного заслуженного графомана Николая Чуркина. И человек

100

он хороший, и поэзию любит, и не писать стихи не может, но как прочитал:

Дан стране компас, как кораблю:
пятилетка — радость боевая.
Жизнь светла. Я родину люблю.
Партию родную понимаю,

так мы с Чернявским и повалились на столы от смеха. А Чуркин и многие другие обиделись: мол, вы не поняли поэтического пафоса стихов... Надоело уже мне все это. Надо переезжать в Иркутск!

Но в Иркутске мне осесть не удалось. Не было там для меня ни работы, ни жилья. И я окончательно решил, коли так, если уже что и завоевывать — то сразу Москву...

Холодной снежной осенью 1959 года я провел последнее заседание литобъединения. За полночь мы вышли на улицу. Низенькие крыши домов, присыпанные свежим снегом, сияли под круглой луной. Над крышами, словно продолжение ночных труб, стояли неподвижные изваяния дыма, стаи бродячих собак с урчаньем проносились по улицам.

Я обнялся с Адольфом Чернявским, рассказавшим мне о Мандельштаме. Маленький, сухонький рентгенолог в черных фетровых ботах поспешил на последний автобус, чтобы успеть домой в поселок Суетиха, где его ждала семья, которую он успел завести в Тайшете на старости лет.

Бывший военный летчик Бабонаков, гулко стуча толстым можжевелевым посохом о деревянный тротуар, заковылял в свой дом инвалидов, тихо радуясь тому, что во внутреннем кармане его телогрейки приятно прилегает к сердцу плоская фляжка с коньяком.

Старый синемлузник Лева Шварц распрощался со мной и трусцой побежал куда-то на окраину города, где снимал угол для жилья.

Прощайте, друзья! — мысленно говорил я им вслед. Спасибо за кусочек жизни, прожитый вместе с вами, за вечерние разговоры, за бескорыстную любовь к стихам...

Но перед тем, как распрощаться с Сибирью, надо было обязательно навестить город моей неосуществившейся мечты Братск... Александр Твардовский не написал бы своей знаменитой поэмы, если бы не побывал на Ангаре...

А другой мой кумир Ярослав Смеляков: *"В районе большого порога сурово шумит Ангара", "на фоне тайги и метели два слова: "Даешь Ангару!", "Устав от*

тряски, перепутий, совсем недавно, в сентябре, я ехал в маленькой каюте из Братска вверх по Ангаре " — стихотворение о том,

101

как пошлая патефонная песенка о ландышах, шлягер тех лет, возмутила душу гражданского поэта:

Поэзия! Моя отрада!
Та, что всего меня взяла
и что дешевою эстрадой
ни разу в жизни не была.

Еще бы! А разве не в этом же "Ангарском цикле" Ярослав Васильевич, глядя на Илимский острог, вспоминая свой интинский лагерь и аввакумовское заточение в местах недалеких от заточения собственного, написал одно из лучших своих стихотворений о мятежном протопопе:

Ведь он оставил русской речи
и прямоту и срамоту —
язык мятежного предтечи,
светящийся, как уголь, во рту...

Вот каким эхом откликнулась поездка поэта на Ангару и в Братск.

А недавно прочитанные мною стихи Владимира Соколова, тоже проехавшего мимо меня на Север к Братску: *"Я не ветром, а словом "ветер", как филолог какой, дышал"* (ну это почти обо мне), *"На улицах Старого Братска едва ль не последний апрель"*, *"Где пурга обнимает у края прорана лебединую шею портального крана"* — вот ведь как еще можно писать о Братске, о стройке, о будущем, о себе самом...

Братск и Ангара в те годы были, как сейчас принято говорить, знаковыми понятиями. После Твардовского, Смелякова, Владимира Соколова туда вскоре приехал Евтушенко за своей поэмой "Братская ГЭС", Анатолий Кузнецов за повестью "Продолжение легенды"... Так что и мне самой судьбой положено повернуть по пути из Иркутска в Москву на север от Тайшета, что я и сделал. И не напрасно. Именно в Братске чуть ли не в день приезда я встретился в многотиражке "Огни Ангары" со стройным пышноволосям молодым человеком, который, протянув мне руку, отрекомендовался с улыбкой:

— Анатолий Передреев...

Но рассказ о нем пойдет в следующей главе, а сейчас я вспомню лишь о том, что недели через две, когда я сел в вагон "Лена—Москва", вместе со мной в купе с рулонами этюдов поселились трое художников, несколько месяцев живших в Братске. Изю всех троих одна фамилия запомнилась на всю жизнь. Это был Виктор Попков. Я еще не знал, что вскоре он станет знаменитым художником. Поезд наш спустился на юг,

102

к Тайшету и повернул на запад, я поднялся во время стоянки на виадук, чтобы в последний раз попрощаться с городом.

...Городок, где я когда-то был
юным, опрометчивым, влюбленным,
медленно качнулся и проплыл,
словно призрак, за стеклом вагонным.

Покачнулись дряхлые дома,
покачнулись люди и составы,
словно покачнулась жизнь сама,

постепенно уплывая вправо...

Но дыханье тлена и весны
вновь плывет вдоль насыпи с рассветом,
дождь шумит, и молодые сны
до сих пор витают над Тайшетом.

* * *

Через 15 лет, в 1974 году, я возвращался с охоты из Ербогачена, с Иркутских северов, где мы были вместе с Вячеславом Шугаевым, и после короткого колебания сошел на знакомый деревянный перрон. Скульптурная композиция Ленина со Сталиным еще стояла перед вокзалом, никакого Тайшетского металлургического комбината в окрестностях, конечно, и в помине не было, но дорога Тайшет—Абакан спокойно и деловито принимала поезда, идущие на юг, в Хакасию. Я заглянул в редакцию, где меня еще помнили и старые журналисты, и корректор Роза Израилевна, и наборщик Павел Семенович. На другой день газета опубликовала мой портрет со стихами, к тому же два дня тому назад мы с Шугаевым выступали по Иркутскому телевидению, которое и в Тайшете смотрят. Поэтому, когда я шел по главной городской улице и ко мне подбежали две девушки, сердце мое встрепенулось: сейчас скажут: "Вы Станислав Куняев? Дайте, пожалуйста, автограф!"

Но девушки схватили меня за руки:

— Дяденька, во дворе водопровод чинили и яму вырыли, в нее пьяный провалился, сам никак не вылезет... Там один милиционер справиться не может с ним, просил кого-нибудь с улицы позвать...

— Ну вот, а ты все о славе мечтаешь, — горько усмехнулся я и вошел во двор.

103

* * *

Только я закончил свои размышления о тщете славы земной и о наших тщеславных мечтах стать когда-нибудь знаменитыми, как вдруг попалась мне на глаза одна книга, словно бы нечистая сила подсунула мне ее под руку.

Полистал, посмеялся, и (такова уж судьба, видно) решил написать две-три странички на тему, честно говоря, давно уже опостылевшую мне...

Дорогой читатель! Если Вас попросят назвать нескольких знаменитых англичан — кого Вы назовете?

Ну, наверное, Шекспира, Ньютона, Байрона, Черчилля, может быть, Джона Леннона.

А кто попадет в Ваш список знаменитых французов? Бьюсь об заклад, что среди прочих там могут быть Робеспьер с Наполеоном, Бальзак, Эдит Пиаф, де Голль...

А знаменитые немцы? Ну, конечно, многие вспомнят Гете, Бисмарка, Марлен Дитрих, Гитлера, Вагнера...

Знаменитый человек — это не самый лучший, не самый честный, не святой, не идеальный, не самый красивый, не самый храбрый или богатый—это всего лишь навсего широко известный долгое время, известный миру, ну по крайней мере той части землян, которая читает, поглощает информацию, живет не только узко личной или семейной жизнью и не только жизнью своего племени и своего народа... Знаменитый человек в известном смысле один из всемирных символов своей нации, ее визитная карточка.

А теперь скажите мне, являются ли знаменитостями в этом смысле слова люди, носившие в прежние времена или носящие сегодня следующие фамилии: М. Анилевич, В. Аллен, И. Башевич-Зингер, Берлин Ирвинг, Э. Визель, П. Гельман, Г. Грец, Н. Закс, Э. Канетти, Б. Кац, Л. Котляр, П. Эрлих, Х. Кребс, Р.

Леви-Монтальчини, Х. Риквер, М. Мидлер, Х. Сенеш, И. Фисанович, Ш. Калманович, К. Функ, Р. Хофман? Прочитали?.. Как вы думаете, чем, когда и в какой области стали знаменитыми эти люди? Если Вы не сообразили, то поможем Вам подсказкой. В этом перечне есть физико-химик, моряк-подводник, биохимик, адмирал, героиня и герой антифашистского сопротивления, биолог, разведчик, физиолог и биофизик, режиссер, бактериолог, еще один биохимик, спортсмен, историк, летчица, композитор и аж целых четыре писателя, и все четверо лауреаты Нобелевской премии. Да, в сущности, полсписка — это все "нобели". Теперь, я думаю, когда Вам известны фамилии и профессии знаменитостей, уже не стоит никакого труда вычислить, кто есть кто. Если не

104

получается, тогда как в телевизионной игре на деньги, которую проводит Дибров (кажется, она называется "О, счастличик!"), я еще раз подсказываю Вам: Б. Кац — кто он? из четырех вариантов один правильный: экономист? биохимик? физиолог? психиатр? Угадаете — 100 рублей Ваши. Вопрос легкий, игра только начинается. Что? И даже сейчас не угадали?

Странно. А ведь все вышеназванные фамилии взяты из книги, изданной недавно в Москве издательством "Внешсигма" и которая называется "Знаменитые евреи". Знаменитых евреев не знать! Это нехорошо.

Подзаголовок книги гласит: "165 мужчин и женщин. Краткие биографии. Издание второе, дополненное и исправленное".

Впрочем, я занимаюсь ерундой, предлагая вам поставить возле каждой фамилии профессию. Главное свойство знаменитых людей таково, что в добавлении к своим именам какой-то профессии они совершенно не нуждаются. Ведь недаром мы вспоминаем — Александр Пушкин, Кузьма Минин, Дмитрий Менделеев, Андрей Рублев, Юрий Гагарин, Георгий Жуков, Валерий Чкалов, Галина Уланова, и в голову нам не приходит уточнять, кто из них химик, кто поэт, кто космонавт, а кто балерина. Даже имен не нужно. Достаточно фамилий. Чем меньше нужно дополнительных пояснений, тем выше градус знаменитости. Помните в этом смысле дерзкую эпитафию, придуманную Державиным для надгробной плиты своего знаменитого современника: "Здесь лежит Суворов". Ведь никому в голову не придет, что речь идет о каком-нибудь однофамильце полководца, или об авторе "Ледокола" и "Аквариума". Впрочем, буду справедлив: люди такого градуса знаменитости в справочнике есть — Е. Азеф, Ф. Каплан, М. Бегин, А. Дрейфус, К. Маркс, Г. Гейне, Джордж Сорос, М. Ротшильд, Л. Троцкий, А. Эйнштейн, никому разъяснять не надо, кто из них политик, кто террорист, кто поэт, кто банкир, кто революционер, кто финансовый аферист.

Однако над большей частью фамилий, попавших в книгу "Знаменитые евреи", приходится голову поломать.

Каюсь, и я тоже сплеховал. Позвонил своему другу Вадиму, очень знающему человеку, я всегда его головой как справочным аппаратом или компьютером пользуюсь.

— Дима, — говорю, — не знаешь ли ты, что это за знаменитая поэтесса, лауреат Нобелевской премии Нелли Закс? Это не та ли, что к тебе в 70-е годы на литобъединение ходила? Нет? Ну, вот, а я-то думал, что ты все знаешь...

Будь моя воля, я бы все-таки сократил список сомнительных знаменитостей, перечисленных мною в начале, и

105

заменял бы их на куда более известных людей, почему-то не попавших в почетный словарь. Ну чем Мордка Богров, убийца Столыпина, менее известен миру, чем Фанни Каплан? А уж Хаим Юровский, выпустивший первую пулю в императора в Ипатьевском доме, герой нескольких фильмов и пьес о революции, за что не достоин чести быть среди знаменитых евреев? А ведь Хаим Юровский

был фигурой много крупнее, нежели несчастная полуслепая Фанни, промахнувшаяся в Ленина! Уж он-то, подобно Мордехаю Богрову, не промахнулся. А разве еще один знаменитый террорист Яков Блюмкин, убийца графа Мирбаха, не достоин быть в компании с Фанни Каплан? Увы. Какой-то Блюм есть, а Блюмкина нет.

Иона Якир законно присутствует в книге с портретом, две страницы биографии, а ведь рядом с ним должен быть его соратник по ленинской гвардии Генрих Ягода вместе с другими знаменитостями времен Великой Октябрьской социалистической революции — с Григорием Зиновьевым, Яковом Свердловым, Лазарем Кагановичем. А их как будто бы и не было в истории XX века!

Родной брат Свердлова, усыновленный Горьким, Зиновий Пешков почему-то попал в сонм бессмертных, хотя был всего лишь навсего французским генералом. Но что такое французский генерал по сравнению с Яковом Свердловым, главой первого ВЦИКа Советской России, чьим именем были названы улицы и площади любого мало-мальски приличного города нашей страны! Понимаю, что некоторые читатели, в том числе и евреи, вздрогнут, услышав имена Свердлова, Кагановича и Ягоды, но ведь, по-моему, сам Бен-Гурион, первый президент Израиля, сказал знаменитые слова: "Позвольте еврейскому народу иметь своих негодяев" (цитирую по памяти). А чем Парвус незнаменитее какого-нибудь Шаботая Калмановича, о котором сказано, что родился он в 1947 году в Каунасе, уехал в Израиль, был там в 1987 году осужден на 9 лет как советский шпион, вернулся в 1993 году в Россию, построил в Москве Тишинский и Щелковский торговые центры, а также серию аптечных киосков. И все. Разве можно сравнить размах "бизнесмена и филантропа" Калмановича с размахом Парвуса, финансировавшего чуть ли не всю русскую революцию?

Калманович среди знаменитых евреев есть, а Парвуса нету. Несправедливо. Так же несправедливо, как и отсутствие в книге первого мэра Москвы советской эпохи Льва Борисовича Каменева. Подумать только, Владимир Ресин, всего лишь навсего один из многих заместителей Лужкова, есть, а Каменева — нет! Да покойный Гриша Горин один намного знаменитей

106

нескольких вместе взятых драматургов, сценаристов и прочих "нобелей", чьих портреты украшают уникальную книгу. Искал я Григория на ее страницах и не нашел.

Проблема "знаменитостей" не так проста, как кажется. Так, например, создатель автомата Михаил Калашников, который вооружил весь мир, знаменит всемирно. Даже иные американские обыватели, которые слыхом не слыхивали о нобелевских лауреатах биохимике Функе или о писателе Визеле (оба жили и померли в Америке), знают слово "Калашников"... Сравниваю его славу с известностью другого выдающегося изобретателя оружия Александра Нудельмана. Составитель сборника считает, что Нудельман знаменит. Но известен ли он Вам, читатель? Нет, не спорю, пользы нашей родине он принес немало, во время войны его пушки работали, как надо, а после пушек были ракетные комплексы и танковое вооружение. Но не знаменит, поскольку жил и помер засекреченным. Кстати, он был дважды Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и пяти государственных, то бишь Сталинских премий. Столько государственных премий, сколько Нудельман, получил лишь кинорежиссер Михаил Ромм. Очень ценно, что в биографических справках есть информация о премиях, званиях и наградах советских евреев. А то ведь многое уже забывается. Ну кто, к примеру, помнит, что физик Лев Ландау, авиаконструктор Семен Лавочкин были не только Героями Социалистического Труда (Лавочкин дважды), но и четырежды лауреатами Ленинских и Сталинских премий. Их обогнал разве что Самуил Маршак, у которого этих премий было аж пять. Он их получал с 1942-

го по 1951 год. Каждые два-три года. Трижды лауреатами были актриса Фаина Раневская, оперный певец Марк Рейзен, историк Евгений Тарле. А физик Юлий Харитон стал трижды Героем Социалистического Труда. Такие же звезды того же труда носили на лацканах и Аркадий Райкин, и Майя Плисецкая, и Исаак Дунаевский. И все это совершалось в основном в 30— 50-е годы, когда в стране якобы господствовал "государственный антисемитизм". Представьте себе, сколько у них было бы премий и наград, если бы они жили и творили в другую, "неантисемитскую" эпоху! Самосвала бы не хватило...

А все же порой, листая уникальный справочник и задумываясь над некоторыми именами, нет-нет да и вспомнишь крылатую фразу одного из нобелевских лауреатов, попавших в книгу: "Быть знаменитым некрасиво...", особенно, когда ты безнадежно не знаменит или знаменит, как Гусинский или Бабицкий, которые живут, по словам Наума Коржавина, "не отличая славы от позора".

"Прощай, мой безнадежный друг"

Анатолий Передреев в Братске. Встреча с ним в Москве. Разговоры с Михаилом Светловым и Николаем Асеевым. Журнал "Знамя" начала 60-х годов. Литературное еврейство и псевдонимы. Знакомство с Ильей Сельвинским. Цереушник в нашем кругу. Визит к Ахматовой. Владимир Соколов и Андрей Битов в салоне Вадима Кожинова. Последние годы жизни Анатолия Передреева.

В конце 1959 года из Тайшета, где я работал в районной газете "Сталинский путь", я поехал на несколько дней поглядеть Братскую ГЭС. Я вообще мечтал после университета работать в Братске, быть очевидцем стройки века, но меня направили в Тайшет... Хоть и рядом, но все-таки за семьсот километров. И вот наконец-то я в Братске. Я с восторгом бродил по котловану будущего моря, утонувшему в клубах морозного пара, забредал в рабочие дощатые столовки, где хлебал горячие щи, засиживался в рабочих общежитиях, поднимался на выветренный гранитный утес под названием Пурсей и вглядывался с высоты в громадное чрево котлована, наполненное маревом, туманными огнями, урчанием железа и маленькими игрушечными фигурками людей, бормотал какие-то строчки, записывая их в блокнот замерзшими, негнущимися пальцами... Вечером одного из сумеречных декабрьских дней в коридорах многотиражки "Огни Ангары" я встретился по стройным, породистым парнем, ходившим, несмотря на ¹⁰⁸ морозы, нараспашку и без шапки, укрываясь есенинской копной светлых волос. Это был Анатолий Передреев, бок о бок с которым протекли последующие почти тридцать лет моей жизни. Много лет позже я так вспомнил нашу первую встречу в Братске:

Я помню деревянный дом,
где папиросный дым столбом,
за окнами собачий холод.
Вморожен в небо лунный круг,
но молод мой высокий друг
и я самозабвенно молод.

Нет, нам еще не вышел срок,
нас водка не сбивает с ног,
а только силы прибавляет.

Мы загуляли до утра,
нам дела нет, что Ангара
величественно прибывает.

Звезда над черною сосной,
фонарь на улице пустой,
сиянье в чреве котлована...
Вся эта жизнь уйдет на дно,
дыхание затруднено
волной морозного тумана.

Вся эта жизнь ушла на дно,
а вместе с нею заодно
и этот дом, и эти годы...
Над Братским морем тишь да гладь,
глядишь — и взглядом не объять
его искусственные воды.
(1967)

Сколько за эти годы у нас было душевных разговоров, размолвок, споров, восторгов — не припомнишь, — и все вокруг самого главного, чему в те романтические времена мы уже посвятили свои судьбы, — вокруг русской поэзии... Что она такое? Что значит быть русским поэтом? Что есть правда в поэзии?.. Как совместить поэзию и личную судьбу? На эти вопросы никто не мог ответить нам, кроме нас самих...

Передреев был одним из немногих поэтов моего поколения, кто каким-то чутьем ощущал, что есть правда и что есть неправда в стихотворении... Слух на правду (эстетическую, этическую, духовную — любую) у него был абсолютный, и поэтому я свои новые стихи читал ему первому, начиная с 1959-го и кончая 1986 годом, когда летом приехал к нему в его новую

109

квартиру на Хорошевском шоссе, чтобы прочитать написанную мной в тяжелейшем душевном состоянии поэму "Русские сны"... Я верил ему больше, чем себе, когда нам было по двадцать пять лет, и продолжал верить, когда нам стало по пятьдесят... А через год с лишним мне пришлось сказать последнее слово над его могилой...

Через несколько месяцев после нашей встречи на берегах Ангары в моей московской квартире раздался телефонный звонок: Анатолий Передреев и его грозненский друг Володя Дробышев прибыли завоевывать Москву. Вечером мы встретились у Центрального телеграфа, откуда я повел своих друзей в ресторан ВТО — надо же было показать "провинциалам" столицу! Именно там, когда ресторан уже закрывался и нас начали потихоньку выгонять из него, до нас дошло, что за соседним столиком сидит Михаил Светлов. Мы были молодыми и бесцеремонными поэтами и тут же перетащили мэтра к себе. Да он и не возражал, поскольку хотелось еще выпить, а было не на что. Передреев же с Дробышевым приехали из Сибири с деньгами...

— Босяки, — сказал нам Михаил Аркадьевич, — здесь нас не уважают, пойдемте-ка в "Националь"...

Мы шли по неоновой, сумеречной, летней Москве, бережно поддерживая с обеих сторон сухонького Михаила Аркадьевича.

— Да вы, ребята, гуманисты, — растроганно бормотал автор "Гренады". — Вы настоящие поэты, не то что те двое негодяев, которые недавно пришли ко мне домой и сразу начали антисемитские разговоры. Моему сыну боксеру пришлось спустить их с лестницы...

А мы тогда еще и знать не знали, что такое антисемитизм...

Я уже работал к тому времени в журнале "Знамя", Дробышев начал сдавать экзамены на истфак МГУ, Передреев в Литературный институт, и мы встречались друг с другом чуть ли не каждый день.

Наша журнальная комната, где кроме меня сидели два сотрудника отдела критики — Самуил Дмитриев и Лев Аннинский, была настоящим литературным клубом. Здесь засиживались за чаем, а то за кое-чем покрепче — Владимир Соколов, Игорь Шкляревский, Юз Алешковский, Вадим Кожинов, Дмитрий Стариков, Василий Белов, Николай Рубцов. Иногда, спускаясь со второго — начальственного — этажа, к нам заглядывали ветераны советской литературы, остроумцы, краснобаи 20—30-х годов. Шкловский открывал рот и мог часами, как заведенный, вспоминать о Маяковском, о том, как по его, Шкловского, приказу в моторы броневиков, должных

110

защищать Временное правительство, подсыпали песку, и это в немалой степени способствовало победе советской власти...

Виктор Ардов — седовласый красивый старик, заходил в нашу комнату, оглядывал свысока Мулю Дмитриева, Леву Аннинского, меня и, остановив взор на мне — незнакомом ему сотруднике журнала, однажды грозно спросил: "А вы, милейший, не полужидок?" Ошарашенный этим вопросом, я простодушно ответил Ардову: "Ну что вы, я русский и по отцу и по матери!" Но Ардов продолжал смотреть на меня с подозрением: как это сотрудник без примеси еврейской крови может работать в таком престижном журнале?! Вот отделом критики заведует "полужидок" Самуил Александрович Дмитриев, сын известной всей Москве Цили Дмитриевой, его помощник Лева Аннинский тоже полукровка, через коридор в отделе публицистики сидят Александр Кривицкий, Миша Рошин (Гимельман) и Нина Каданер — это все наши! Секретарь редакции — Фаня Левина, зам. гл. редактора Людмила Ивановна Скорино вроде бы украинка, но муж у нее Виктор Моисеевич Важдаев... О самом Кожевникове говорить не будем, он из Сибири. А первый его заместитель Сучков Борис Леонтьевич, русский, но отсидевший восемь лет в одиночке, он тише воды и ниже травы... А в прозе София Разумовская, а ее муж Даниил Данин — и вдруг какой-то чисто русский!

Вот что было написано на челе Виктора Ардова, как бы проверявшего — а кто нынче работает в журнале "Знамя"? Кстати, туда я попал в известной степени случайно. По возвращении из Сибири я несколько месяцев подвизался в журнале "Смена", которым руководил будущий знаменитый главный редактор "Молодой гвардии" Анатолий Васильевич Никонов... Его жена, писательница-фронтовичка Ольга Кожухова, заведовала отделом поэзии журнала "Знамя". Когда она надумала летом 1960 года уходить оттуда, то Никонов посоветовал ей рекомендовать на эту должность меня, так как я жил стихами и очеркистом в журнале "Смена" был никудышным...

А в грозном вопросе Виктора Ардова "Вы не полужидок"? — естественно, никакого антисемитизма не было, наоборот, видимо, ощущая себя человеком чистой крови и высшей расы, он с удовольствием демонстрировал свою дарованную свыше левитскую власть всяческим "получистым" — Муле Дмитриеву, Льву Аннинскому и прочим "сухим" и "полусухим" ветвям еврейского родословного древа... Но со мной, от свойственных такого склада людям пошлой гордыни и высокомерия, у него произошла ошибочка...

111

Впрочем, почти все советские классики еврейского происхождения, русскоязычные ассимилянты, ровесники века, с которыми мне приходилось встречаться в 60-е годы, — были людьми крайне тщеславными, напыщенными,

глубоко уверенными в том, что уж они навсегда вошли в пантеон русской литературы. Виктор Шкловский, Самуил Маршак, Илья Сельвинский, Семен Кирсанов, Виктор Ардов, Александр Безыменский, Вера Инбер, Илья Эренбург...

Впрочем, их можно было понять. Они чувствовали себя вне конкуренции (говоря сегодняшним языком), может быть, потому, что их русские ровесники Сергей Есенин, Сергей Клычков, Петр Орешин, Алексей Ганин, Николай Клюев, Иван Приблудный покоились в могилах, куда их уложили соплеменники одесситов Агранов с Ягодой. Русский конкурент Шкловского Бахтин влачил свои дни в неизвестности при Саранском пединституте. Другие же выжившие русские поэты—Николай Заболоцкий, Ярослав Смеляков, Сергей Марков, Леонид Мартынов, Борис Ручьев — в отличие от "ассимилянтов" хлебнули каждый свою долю лагерной и ссыльной баланды и были запуганы на всю оставшуюся жизнь, так же, как Твардовский и Ахматова, бывшие заложниками своих репрессированных родных и близких... Ну как было на этом трагическом, ущербном для русской поэзии фоне не разыгрывать из себя классиков Кирсанову, Багрицкому, Шкловскому, Сельвинскому, Безыменскому с их звучными псевдонимами? Поразительно глубоко и точно сказал о сущности псевдонимов русский религиозный философ Сергей Булгаков: "Переменить имя в действительности так же невозможно, как переменить свой пол, свою расу, возраст, происхождение и пр. Псевдоним есть воровство, как присвоение не своего имени, гримаса, ложь, обман и самообман. Последнее мы имеем в наиболее грубой форме в национальных переодеваниях посредством имени... Здесь есть двойное преступление: поругание матери — своего родного имени и давшего его народа, и желание обмануть других, если только не себя, присвоением чужого имени. Последствием псевдонимности для его носителя является все-таки дву- или многоименность: истинное имя неистребимо, оно сохраняет потаенную свою силу и бытие, обладатель его знает про себя, в глубине души, что есть его истинное, не ворованное имя, но в то же время он делает себя актером своего псевдонима, который ведет вампирическое существование, употребляя для себя жизненные соки другого имени. Не может быть здорового развития для псевдонима, ни истинного величия и глубины при

112

такой расхлябанности духовного его существа, денационализации, ворованности".

Кстати, эпоха псевдонимов в русской литературе — это XX век. В XIX веке ни одному крупному русскому писателю и в голову не приходило заменить свою простую русскую фамилию на какой-нибудь роскошный псевдоним...

Все "псевдонимы" ходили с гордо задранными подбородками, брезгливо-презрительным выражением на лице, чему способствовало строение рта: нижняя губа неестественно отвисает вперед и вниз (посмотрите, к примеру, на Бенедикта Сарнова, или Евгения Рейна, или на любой портрет великого Михоэлса); все они любили поучать и воспитывать нас, молодых русских поэтов, ничего тогда не подозревавших о том, почему и зачем наши наставники ведут с нами назидательные разговоры.

Когда у меня в 1960 году вышла в Калуге первая книжечка стихотворений "Землепроходцы", руководитель литературного объединения "Магистраль" Григорий Левин, друживший с Ильей Сельвинским, из каких-то своих соображений попросил меня, чтобы я подписал ее мэтру... Он же и передал мой опус Сельвинскому.

Вскоре я встретился с "классиком" в Переделкино. Не то чтобы он был моим кумиром, но все-таки имя, авторитет... Лестно было, что он, прочитав мою первые незрелые стихи, написал письмо и пригласил к себе на дачу. Я поднялся к нему по деревянной лестнице на второй этаж. Мэтр спрашивать почти ни о чем не спрашивал, больше говорил сам, как будто хотелось ему выложить молодому

поэту все о времени, о поэзии, что не удалось сказать в книгах. Запись этой беседы сохранилась у меня в блокноте. Я, как только вышел за ограду, обосновался, присел на лавочку и записал все почти стенографически... А разговор, как всегда, шел о главном: что останется в поэзии, что отомрет, развеется, забудется. Естественно, что говорил он, а я жадно слушал. Вот, к примеру, несколько записей из монолога маститого поэта: "Исаковский пишет: "впереди страна Болгария, позади река Дунай". Чтобы не спутали, о чем он пишет, ставит слова "страна" и "река". Это ориентация на самых отсталых из читательской массы! А "Василий Теркин" — вещь откровенно несовременная! Русофильская! Характер времен первой империалистической войны... Козьма Крючков!.."

А я сидел, слушал открыв рот и думал: как интересно, как смело мыслит! А может быть, в чем-то и прав! Не может быть, чтобы совсем был неправ... Ведь все-таки один из живых

113

классиков! Как это у Багрицкого сказано: "...на багровый Запад рвутся по стерням: Тихонов, Сельвинский, Пастернак..." Кстати, почему Багрицкий сказал "по стерням", ведь это слово не имеет множественного числа, надо бы "по стерне"?.. Впрочем, чего я придираюсь? Конечно, Багрицкий знал, как надо писать слово "стерня", но решил написать по-своему... В поэзии надо быть смелым, как Сельвинский, как Багрицкий... Потом седой грузный мэтр начал разговор о Кирсанове, о его новаторстве, смелости, мастерстве, виртуозности, которых не хватает Твардовскому и Исаковскому... Помню, что сравнивал Кирсанова с наездником-джигитом высочайшего класса и прочил ему поэтическое бессмертие...

— А что вы сейчас пишете? — робко спросил я в конце разговора.

Мастер приосанился:

— Я сейчас работаю над циклом стихотворных трагедий о времени. Но трудно пишется, а печатать будет еще труднее. В этих трагедиях будут действовать Ленин, Троцкий, Эйнштейн... Едва ли мои трагедии будут поняты сегодня... Это — работа для будущего...

Все мы думаем, что наша работа для будущего, а будущее приходит гораздо быстрее, чем мы предполагаем. Время неуклонно делает свою таинственную работу, и посмертные судьбы поэтов да будут нам уроком. Вроде бы одним временем и в одном времени жили, дышали и творили Ахматова, Сельвинский, Твардовский, Кирсанов, Смеляков, Безыменский, Заболоцкий, Уткин. Каждый из них был по-своему популярен, каждому критики предвещали славное будущее. Но не все предсказания оправдались. Смотришь сейчас — и как будто бы незаметно для глаза их посмертное значение пошло по разным железнодорожным веткам, постепенно удаляющимся друг от друга, словно бы стрелки кто-то перевел, а кто и когда — не зафиксируешь и точно не скажешь. Так что рискованное дело — прогнозы и предположения делать, да еще на несколько десятилетий вперед. Тут надо больше доверять истории, времени, а не своим злободневным страстям, не своему критическому темпераменту. Ведь недаром Александр Блок как-то сказал суровые слова о любителях поспешных пророчеств: "Есть немало критиков, которые придают огромное значение тому, что не доживет до завтрашнего дня".

С комплексом еврейского высокомерия в характере Сельвинского я столкнулся еще раз, когда, пользуясь своим знакомством с мэтром, послал ему письмо, в котором пригла-

114

шал его напечататься в "Знамени" и выражал свою готовность приехать к нему за стихами в Переделкино.

В ответном письме неожиданно для меня Сельвинский излил совершенно неизвестному тогда молодому поэту все свои обиды на Союз писателей, на литературную судьбу, на редакторов журналов... Каждая буква этого, как я сейчас вижу, жалкого и глуповатого письма кричала о том, что не ценят великого соратника Багрицкого, современника Маяковского, соперника Твардовского.

"Переделкино 8.IX.60 Милый тов. Куняев!

Меня можно навестить в любой час любого дня, но боюсь, что наша беседа не даст Вам того, на что Вы рассчитываете, т. к. я очень быстро утомляюсь, и мои родичи не дадут нам с Вами долго разговаривать (Сельвинскому тогда было всего 60 лет. — Ст. К.). Лично я буду Вам рад, т. к. я всегда любил молодость.

Что касается Вашего любезного приглашения печататься в "Знамени", то из этого ничего не выйдет, даже если Вы делаете мне это приглашение, согласовав его с главным редактором. Дело в том, что Ваша редакция очень хорошо ко мне относится, но так же дружно меня не печатает. Посудите сами: дал я Кожевникову трагедию "От Полтавы до Гангута" — ему она понравилась, но он ее не напечатал. Дал ему затем трагедию "Большой Кирилл" — не напечатал, дал роман в стихах "Арктика" — не напечатал. Поэмку об атомной бомбе не напечатал. Наконец, драматическую поэму о Ленине, которую он принял с восторгом (у меня есть свидетели) и, как обычно, не напечатал. Но, может быть, эти вещи недостойны печати? Дальнейшая их судьба показала, что совсем напротив: "От Полтавы до Гангута" напечатала "Звезда", затем пьеса была издана издательством "Искусство", издательством "Советский писатель", наконец, Гослитиздатом и вдобавок поставлена Воронежским театром. По этой вещи я располагаю прекрасной прессой. То же нужно сказать о "Большом Кирилле": напечатан в трех издательствах, поставлен театром им. Вахтангова, получил первую премию на фестивале в честь Октябрьской революции, переведен немецким поэтом Кубой на немецкий язык и ставится, как народное представление, под открытым небом в Германии. Роман "Арктика" издан "СП" и сейчас вышел в двухтомнике Гослитиздата. Кто же, по-Вашему, прав:

115

т. Кожевников или вся наша общественность, в том числе ЦК? Кстати: драматическая поэма о Ленине, которую я дал на отзыв в ЦК КПСС, получила высокую оценку как в политическом, так и в эстетическом отношении. Ее судьба еще впереди. Вы представляете, что если я с этими материалами выступлю с трибуны съезда или даже пленума? Это не принесет лавров Вашей редакции. Вспомнят при этом, пожалуй, мысль Хрущева о редакторах, которые считают себя умными потому, что ничего не печатают. Конечно, если б я принес Вам стандартные стихи, вам всем они бы не понравились, но из уважения к моим седидам вы бы их напечатали. Но я ненавижу стандарт и ничего в этом роде предложить Вам не могу.

Таково положение вещей. Сердечно вас приветствую

Ваш Илья Сельвинский

Это письмо, в котором Кожевников выглядит хитрым демагогом и циником, а Сельвинский тоже демагогом, но глупым человеком, который уже не понимает, в какую эпоху он живет, я публикую еще и потому, что оно весьма точно характеризует нравы литературной жизни хрущевского смутного времени...

Как бы то ни было, в 1961—1963 годах, за моим столом и на диване, что стоял в дальней половине нашей журнальной комнаты, сложился некий небольшой, но очень любопытный духовный центр того, что позже стало называться русской партией. Такие очаги были во многих уголках Москвы: при обществе Охраны памятников несколько позднее возник так называемый русский клуб, где витийствовали Петр Палиевский, Дмитрий Жуков, Олег Михайлов,

Сергей Семанов; при журнале "Октябрь" полукровка Дмитрий Стариков и еврей Юра Идашкин успешно представляли русские интересы — недаром "Октябрь" был первым журналом, где в 1964 году была опубликована первая в Москве подборка стихотворений Николая Рубцова; в журнале "Молодая гвардия" под крылом Никонова возрастали Владимир Цыбин и Виктор Чалмаев, Владимир Фирсов и Анатолий Поперечный...

Но нас не устраивал "молодогвардейский" или "октябрьский" кружки, поскольку и тот и другой находились под мощным присмотром государственной денационализированной идеологии — "Октябрь" опекался цековскими

116

чиновниками, а "Молодая гвардия" — комсомольской верхушкой, нам же хотелось жить в атмосфере чистого русского воздуха, полного свободы, и некоего лицейского царкосельского патриотического и поэтического содружества...

И вот тут-то явление Передреева и его поэзия прились всем нам как нельзя более кстати. Полная независимость и какая-то изначальная самостоятельность и естественность и его поэзии, и его жизненного поведения сразу же очаровали всех нас. В годы, когда вскипали споры эстрадных поэтов, когда в борьбе за монопольную любовь к родине-государству сходились на съездах и пленумах Евгений Евтушенко и Владимир Фирсов, вдруг зазвучал какой-то абсолютно естественный голос Анатолия Передреева, чурающийся любого публицистического разгильдяйства, любого политического подтекста, голос, стремящийся к одной цели — выразить простую русскую судьбу и русскую душу.

Я помню, как он читал нам на знаменском диванчике одно из самых заветных своих стихотворений тех лет:

МАТЬ

Уляжется ночь у порога,
Уставится в окна луна,
И вот перед образом Бога Она остается одна.

Туманный квадратик иконы,
Бумажного венчика тлен.
И долго роняет поклоны Она, не вставая с колен.

И пламя лампадки колышет,
Коледлет листочек огня.
Ночной ее вздох —
 не услышит
Никто его, кроме меня!

Лишь сердце мое шевельнется,
Сожмется во мраке больней...
Никто никогда не вернется
С кровавых и мертвых полей!

Не будет великого чуда,
Никто не услышит молитв...
Но сплю я спокойно, покуда
Она надо мною стоит.

(1961)

117

Семья Анатолия Передреева, спасаясь от голода 30-х годов, сбежала из поволжской деревни Старый Сокур на юг, где можно было прокормиться, в город Грозный.

Не лови меня на слове...
Не о том рассказ...
По рожденью и по крови
Я не твой,
Кавказ!

Я из той земли огромной,
Где такой простор,
Что легко затерян дом мой,
Позабыт мой двор.

Где во славу бури только
С вековых берез
Посшибало ветром столько,
Разметало гнезд.

У Передреева была большая семья — пятеро братьев и сестра. Три брата, за которых мать молилась по ночам, погибли на Отечественной войне. Четвертый вернулся без ног и работал в Грозном сапожником. После того, как в 1960 году Анатолий написал "Балладу о безногом сапожнике", которую напечатала "Лит. газета", Борис Слуцкий, опекавший в те годы всех нас, показал эти стихи Николаю Асееву. Тому стихотворение настолько понравилось, что он, решив, будто бы Передреев стихи написал о самом себе, однажды, после того как Ворошилов вручил ему очередной орден и задал формальный по тем временам вопрос: есть ли у вас какие-либо просьбы? — вдруг решился:

— Климент Ефремович, у меня есть знакомый молодой поэт, чрезвычайно талантливый, но без ног, ему нужно бы за счет государства изготовить хорошие протезы...

Вскоре Асееву позвонили из приемной Ворошилова и сообщили, что вопрос о протезах решен, но старый поэт уже выяснил, что Передреев прекрасно ходит по Москве на своих собственных ногах.

Надо сказать, что со стороны Асеева это было решительным поступком, поскольку за ним водилась репутация скуповатого и черствого человека, которую он не раз подтверждал.

Летом 1960 года наша троица — Передреев, Дробышев и я, поехали к Асееву на Николину гору, где у него была дача. Поблагодарить старика за протезные хлопоты, да и поглядеть на соратника Маяковского хотелось.

118

Асеев встретил нас на просторной солнечной веранде, усадил в плетеные кресла и сразу же начал читать какие-то глуповатые стихи о строительстве Бухтарминской ГЭС.

Главный эффект стихотворенья был, видимо, по его замыслу, в звукописи. Поэт взмахивал руками, рубил воздух и нелепо выкрикивал: — Бух! Бухтарма! — изображая падение воды с плотины. Мы переглядывались, с трудом стараясь не рассмеяться. Наверное, Асеев понял, что стихи нам не понравились, и в отместку, когда наступило обеденное время и его жена Оксана позвала Николая Николаевича к столу, сказал весьма проголодавшимся нам: "Вы посидите здесь, книжки посмотрите, а я пообедаю, и мы продолжим нашу беседу..." Словом, был он не то что Слуцкий, который и яичницей угощал, и рюмку мог налить в своей тесной квартирке в Балтийском переулке.

В моей записной книжке 1960 года сохранилось еще несколько записей того, что говорил нам Николай Асеев:

"Я больше не хочу участвовать в аванюре, называемой советская поэзия. Я не хочу работать в рекламном бюро, я ничего не понимаю и не могу напечатать

лучшую свою антивоенную поэму об испытании атомной бомбы".

"Слуцкий и Мартынов что придумали — перешагнуть Маяковского! Да его сначала понять нужно".

"Маяковского трижды в партию не принимали за мелкобуржуазность, вот почему он написал: "Я подыму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек". А когда он решил в РАПП войти, что ему говорили? "Мы Вас принимаем, но у Вас есть отрывки мелкобуржуазности". Он стоял, слушал, молчал, курил".

"Позднего Пастернака — не принимаю!"

"Шостакович был ничего, но стукнули ему по голове за "Леди Макбет" (тут Асеев неожиданно и сильно шлепнул себя по лысине), он и замолк..." Словом, Асеев и Сельвинский были два сапога пара, вечные "новаторы", уже не понимавшие, в каком времени они живут.

Анатолий Передреев до своего появления в Москве успел отслужить в армии, поработать в плавильном цехе и за баранкой самосвала, на Саратовском химическом заводе, и стихи написал естественные, предельно правдивые обо всех этапах своей трудовой жизни, но в этих стихах где-то между строк чувствовалось, что не для этой биографической правды он пришел в мир, а для чего-то большего, что на первых порах еще неясно было ему самому.

Помню, как в 1962 году, после первых своих летних

119

каникул, вернувшись из Грозного, он разыскал меня в "Знамени" и утащил в Дом литераторов, чтобы, не теряя ни одного дня, прочитать мне новые стихи. Пестрый зал ресторана был полупустой, мы уединились в углу, слава Богу, никто нам не мешал, и я слушал с наслаждением, как мой любимый друг, под обаянием которого я жил в те времена, читает мне, первому:

Заболев по родимым краям,
Из далеких вернусь путешествий,
Тишина... и струится заря,
И петух голосит на насесте.

Ничего не обещано мне,
Не завещано здесь ничего мне,
Никакое наследство не ждет,
Не вручается сызнова детство.

Простенькие рифмы, как бы спрятанные внутри строфы, придавали стихотворению дополнительную естественную изысканность и привели меня в восхищение!

Просто пахнет, как прежде, земля,
И высокий скворечник на месте...
И встает надо мною заря,
И петух голосит на насесте!

Стихи развивались как сама жизнь, обнаруживая какое-то ее скрытое величие, ее обыденную святость, это была поистине новая, еще никем так последовательно не осуществленная интонация в молодой русской поэзии 60-х годов.

Возвращаюсь к простым вещам,
К свету малому
В малом окошке,
Приобщаюсь к дымящимся щам,
Приручаюсь к домашней ложке!

Задеваю стол и кровать,
Как слепой, прикасаюсь тихо...
И гляжу на закате На мать —
Мать сидит на скамейке тихо...
Я не видел ее никогда!

"Не видел", то есть не понимал поистине святой правды и красоты этих родных русских лиц, внезапно открывшихся ему.

120 Я склоняюсь к моей старухе, —
Что глядит она так?
И куда?
Отчего так сложены руки?

С этих поразивших его чувство и сознание картин и началась подлинная поэтическая судьба Анатолия Передреева. Свой путь к родине он искал, отвращаясь как от спекулятивно-эстрадной, евтушенковской, так и от сусально-патриотической колеи.

Обниму тебя, березка,
Слышишь мой привет?
Я пришел не за разверткой
Ходовых примет.

Кто с отзывчивым талантом
Мчит на твой простор
Так, как будто эмигрантом
Был он до сих пор.

Много их, своих привычных,
Тяжких, как недуг.
Заповедных и столичных
Браконьеров душ.

А еще его выделяла изо всех нас какая-то монашеская, почти религиозная любовь к поэзии, жесточайшая требовательность не только к себе, не только к нам, грешным, но и к своим кумирам — Лермонтову, Есенину, Блоку. Мы подшучивали над Есениным и Блоком, как над людьми своего круга... Я читаю вслух одно из своих любимых стихотворений Сергея Есенина "Каждый труд благослови, удача", дохожу до строчек:

Хорошо лежать в траве зеленой
и, впиваясь в призрачную гладь,
чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
на себе, уставшем, вспоминать.

Передреев не упускает случая свысока заметить: "На себе, уставшем! — лежит на берегу, а сам вспоминает, как на него глядела какая-то женщина. Это — женщина должна вспоминать, как на нее Есенин глядел! Тоже мне Нарцисс!"

Читает нам Николай Рубцов свою знаменитую ныне "Прощальную песню":

Мы с тобою, как разные птицы,
что ж нам ждать на одном берегу,
может быть, я смогу возвратиться,

может быть, никогда не смогу.

121

Передреев тут как тут:

— Ты, Коля, все-таки перед тем как писать, реши: возвратишься или нет, не кокетничай.

А сам Передреев — высокий, статный, обладавший какой-то магнетической силой, в полную меру пользовался своим обаянием. Никто лучше его не мог в совершенно безнадежной очереди за вином улыбнуться всем страждущим и, уловив на их лицах ответные улыбки, а то и услышав: "Ну ладно, студент, бери, мы не против!" — протянуть через головы продавщице скромную купюру и принять в ладонь заветную бутылку. Помню, как Смеляков однажды в каком-то случайном застолье залюбовался Передреевым и сказал не о стихах, а о чем-то другом, не менее важном:

— Я ставлю на твою статью!

Яшин Александр, человек желчный и строгий, попавший под обаяние Передреева, в избытке нежных чувств при мне подарил ему со своей руки какие-то дорогие часы, чуть ли не золотые, потом Передреева уговорили вернуть дорогие часы владельцу, но Яшин рассердился и не принял их обратно.

Жили мы в те годы весело, рискованно, неосторожно. Но все сходило нам с рук. О том времени сейчас много лгут — о повальной слежке, о неизбежных наказаниях за знакомства с иностранцами, за любое вольномыслие. Недавно в передаче "Старая квартира", у Гурвича, некий "интеллектуал" — и в прошлом, что можно было понять из его воспоминаний о своей судьбе, обычный фарцовщик рассказал, будто бы его исключили из института за то, что он в начале 60-х годов взял автограф у иностранца... Но я помню, как в это же время наша компания познакомилась с американским филологом, который стажировался у нас в МГУ. Звали его Мартин Малиа. Мы все — Передреев, Рубцов, Кожин, я, Дима Стариков — ему понравились, он был человеком при деньгах, и несколько месяцев мы дружно пропивали их то в Доме литераторов, то в кафе "Марс" на Тверской, то на моей или кожиновской квартире, то в общаге Литинститута. Говорили обо всем — о поэзии, о политике, о деле Пастернака, о Есенине, о Хрущеве, о XX съезде... Наверняка органам госбезопасности все это было известно, но мы, ощущая себя русскими патриотами и государственниками, ничего не скрывали и не боялись ничего. Мартин Малиа снабжал нас литературой — книгами Бердяева, Библией, четырехтомником Пастернака вместе с "Доктором Живаго". Мы даже подозревали, что он цэрэушник (что потом подтвердилось), но и это не смущало нас: "Мы, поэты, люди свободные и родину свою никогда не продадим, а уж

122

встретаться будем с кем нам угодно!" — так мы думали и чувствовали в то время. И никто нас не преследовал, никто никуда не вызывал, разве что Володю Дробышева на годик то ли отчислили из Университета, найдя какой-то предлог, то ли перевели на заочное, да меня вычеркнули из списков на какую-то туристическую поездку в Африку. Может быть, в связи с цэрэушником Малиа, а может быть, по другим причинам. Я ничуть не огорчился и ничего не стал выяснять. Мы были выше мелочей такого рода.

Передреев вносил в нашу жизнь дуновение полной свободы поведения и независимости в суждениях обо всем. Он очень не любил, когда в его присутствии кто-нибудь спекулировал политическими понятиями, разговором о правах человека, о репрессиях, о гонениях... К фальши такого рода он был беспощаден. Помнится, как за его столик однажды подсел человек, видимо, желавший выпить, но решивший сначала вызвать сочувствие к себе. Он начал было с аффектом рассказывать о своих страданиях в сталинских лагерях, но

Передреев сразу же перебил его:

— А за что посадили-то? — И не дав пришельцу открыть рта, с жестокостью человека, не выносившего притворства и расчетливой фамильярности, вдруг неожиданно продолжил: — Небось украл чего-нибудь!

Потрясенный незнакомец завопил о том, что он политический, что невинно репрессирован, но Передреев не дал ему ни одного шанса:

— Политический? Ну, это еще хуже, такие, как ты, за собой десятки людей уводили... Пошли, Вадим, я за одним столом с ним сидеть даже не хочу!

Друзья, женщины, издатели — каждый по-своему в первые годы, пока Передреев был молод, обаятелен, красив, опекали его, спасали от безденежья, вызволяли из бытовых и скандальных неурядиц, подыскивали жилье, похмеляли, выручали едой и ночлегом. Он легко и естественно, с каким-то врожденным тактом мог быть в центре внимания в салоне Лили Брик и в общаге Литинститута, в квартире у Ермилова и в кабинете секретаря московского обкома Гоголева, в гостях у Бориса Слуцкого и в милицейском участке, куда мы с ним однажды попали после скандальной драки с иллюзионистом Игорем Кио и его помощником, нахамившими нам, как это показалось Передрееву, в ресторане Центрального Дома литераторов. Но порой благодаря этому стилю жизни мы попадали и в курьезные обстоятельства.

...Однажды мы вошли в коридор громадной московской

123

коммунальной квартиры. На стенах коридора висели пожелтевшие оцинкованные ванны, под ними стояли какие-то старые сундуки, из общей кухни тянуло запахом жареной рыбы.

В комнате, заставленной тяжелой мебелью, за столом у "неумытого окна" сидела грузная седоволосая женщина. Она пригласила нас присесть в кресла со стонущими пружинами и стала читать верстку с набором своих стихотворений — одно из них чрезвычайно нравилось мне:

Ворон криком прославил
Этот призрачный мир,
И на розвальнях правил
Великан кирасир!

Когда мой друг узнал, что я еду к Ахматовой, чтобы она подписала верстку стихотворений, которые должны были появиться в журнале, где я служил, он упросил меня взять его с собой.

Ахматова медленно просмотрела набор, расписалась по моей просьбе под стихами и поглядела на нас, давая нам понять, что аудиенция закончена. Я уже приподнялся с кресла, застонавшего всеми своими пружинами, и хотел сказать "до свидания", как мой молчаливый друг, по-моему, все время дремавший в углу, вдруг, к моему ужасу, произнес с обезоруживающей непосредственностью:

— Анна Андреевна! Я ни разу не слышал, как вы стихи читаете... Прочитайте нам что-нибудь свое любимое...

Величественная старуха взметнула брови, словно бы взглядываясь в представителя "младого и незнакомого племени", но вместо того чтобы указать нам на дверь, со странной улыбкой тяжело поднялась со стула, подошла к маленькому столику, стоявшему в углу, открыла крышку дешевого проигрывателя, поставила на диск пластинку и нажала кнопку. Пластинка зашипела, и в комнате, загроможденной пыльной и облезлой мебелью, вдруг зазвучала медленная, торжественная речь:

Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: "Иди сюда,

Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда".

.....
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

124

Когда диск остановился, Ахматова сняла пластинку и снова с молчаливым вопросом поглядела на нас, но ее молчаливое осуждение прошло мимо цели: Передреев безмятежно дремал в старом удобном кресле. Сгорая от стыда и ужаса, я разбудил его ударом локтя в бок.

Толкаясь и бормоча слова благодарности, мы вывалились в коридор, а потом по лестнице, пропахшей кошками, в шумную жизнь Садового кольца...

Я с негодованием набросился на друга:

— Ну что — получил? Послушал "что-нибудь любимое"? Но ему все было как с гуся вода:

— Зато смотри, как интересно получилось! Когда-нибудь вспомним!

Вот и вспомнилось... Но к стихам Ахматовой, надо сказать, он относился без особого интереса. Больше любил Заболоцкого, Ходасевича, иногда цитировал Мандельштама... Любил читать вслух Твардовского — "из записной потертой книжки две строчки о бойце-парнишке", стихотворенье Бориса Слуцкого, посвященное памяти Михаила Кульчицкого: "писатели вышли в писатели, а ты никуда не вышел, а ты никуда не вышел, ты просто порос травой, и я, как собака, вою над бедной твоей головой".

Я сам, видя передреевскую беспечность и безалаберность, считал своим радостным долгом в то время собрать все его стихи, составить из них книгу, перепечатать и отнести ее в издательство "Советский писатель" — на другую сторону Тверского бульвара. Я вручил рукопись Егору Исаеву с просьбой издать первую книгу моего друга как можно скорее. В 1964 году (через год с небольшим!) мы уже обмывали "Судьбу" в шашлычной "Эльбрус", помнится, что вместе с нами в тот вечер был и Владимир Соколов, и Вадим Кожинов... А годом раньше в "Знамени" вышла первая в его московской жизни большая подборка стихов.

К Соколову Передреев относился в первые годы своей жизни в Москве с почтением и даже любовью. Да и было за что. Именно тогда, находясь в "нашей ауре", Соколов написал несколько лучших своих стихотворений, за которые мы тут же приняли его в пантеон русской классики.

Помню, как Передреев пришел в "Знамя" с "Литературной газетой" и с горящими от восхищения глазами прочел вслух стихи Соколова:

Звезда полей, звезда полей над отчим домом,
и матери моей печальная рука.

125

Осколок песни той вчера за тихим Доном
из чуждых уст меня настиг издалика.

.....
Подруга, мать, земля, ты тленью не подвластна,
не плачь, что я молчу, возрастила, так прости,
нам не нужны слова, когда настолько ясно
все, что друг другу мы должны произнести.

Мы с молодой щедростью упивались свободой и душевной распахнутостью этого стихотворения, а позже много раз Передреев вспоминал и другие строки

Соколова, жившие в его душе всегда:

Я все тебе отдал: и тело
и душу до крайнего дня.
Послушай, куда же ты дела?
Куда же ты дела меня?

На узкие листья рябины,
шумя, налетает закат,
и тучи на нас, как руины
воздушного замка, летят.

Особенно приводили его в восторг "узкие листья рябины", "закат", который "налетает шумя", — и самое главное то, что мы тогда называли "лирическим жестом" — некое властное продолжение жизни в стихах, почти всегда неожиданное и потому неотразимое: "Послушай, куда же ты дела, куда же ты дела меня"...

В разгар нашей общей дружбы, на ее гребне, году в 1966— 1967-м, Передреев посвятил Соколову одно из, я бы сказал, программных стихотворений:

В атмосфере знакомого круга,
Где шумят об успехе своем,
Мы случайно заметим друг друга,
Не случайно сойдемся вдвоем.

В суматохе имен и фамилий
Мы посмотрим друг другу в глаза...
Хорошо, что в сегодняшнем мире
Среднерусская есть полоса.

Хорошо, удивительно, славно,
Что тебе вспоминается тут,
Как цветут лопухи в Лихославле,
Как деревья спокойно растут.

Не напрасно мы ищем союза,
Не напрасно проходят года...

126

Пусть же девочка русая — муза
Не изменит тебе никогда.

Да шумят тебе листья и травы,
Да хранят тебя Пушкин и Блок,
И не надо другой тебе славы,
Ты и с этой не столь одинок.

А Владимир Соколов, который так же, как и я, чувствовал, что Передреев нужен всем нам, посвятил ему в ответ одно из лучших своих стихотворений:

Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи
О твоём возвращенье в родительский дом.
У меня в Лихославле поют лопухи,
Там, где жил я, не зная, что будет потом.

Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи
О твоём возвращенье в родительский кров,
У меня в Лихославле цветут петухи

И вздымаются нежные очи коров.

Я вернусь, я вернусь, я подкину сенца,
Я под осень за хлеб выпью ковш до конца,
За платок до бровей, за ослепшую высь,
За твою, соловей, сумасшедшую жизнь.

И еще в память врезалась сцена, когда в нижнем буфете Дома литераторов, в полутемном углу, мы вчетвером уединились за столиком и Соколов читал нам (мне, Передреву и Кожину) одно из самых трагических и пророческих своих стихотворений:

Ничего от той жизни,
что бессмертной была,
не осталось в отчизне,
все сгорело дотла.

.....

Все в снегу, точно в пепле,
толпы зимних пальто,
как исчезли мы в пекле,
и не видел никто.

Мы с Передревым восхищались свободой и отвагой стихотворения, заставили Соколова прочитать его еще и еще раз, подымали тосты за его талант, но если и пьянели, то от избытка чувств и гордости за русскую поэзию.

Однако думаю, что дружба с нами Владимира Соколова была все-таки хотя и важным, но лишь эпизодом в его жизни.

127

Будучи старше нас на несколько лет, он молодость свою провел рядом с Евтушенко, Межировым, Ваншенкиным, и это ощущалось всегда. Но ему нравилась роль человека, которого признают "своим" оба лагеря, и иногда, пользуясь этим положением, он, как режиссер, ставил своеобразные спектакли. Однажды он пригласил на свой день рождения Передреву, меня и Кожину и одновременно Евгения Евтушенко с его новой английской женой, дочь, как говорили в литературных кругах, какого-то богатого английского еврея.

Быстро захмелев от шампанского, Евтушенко в застолье вспомнил о какой-то кожиновской статье и с наглой уверенностью обратился к Вадиму:

— Ты проиграл, Вадим. Ты так и не понял, что я великий русский поэт!

Кожин повспыл:

— Да какой ты русский поэт, ты всего лишь навега лакей мирового еврейства!

Англичанка взвизгнула от негодования:

— Но во мне есть еврейская кровь! Но Кожин уже закурил удила:

— Плевал я на твою еврейскую кровь!

День рождения развалился на глазах, гости один за другим покидали квартиру, а Соколов сидел с улыбкой. Спектакль, по его мнению, удался на славу.

Соколов, преподававший тогда в Литинституте, часто заходил в "Знамя", в отдел поэзии, отвести душу в остроумных разговорах, пошутить, поглядеть на всех нас своими печальными глазами. Однажды он привел с собой Юзика Алешковского, развлекаясь и паясничая, они между делом, пока я разговаривал с авторами и подымался на второй этаж к начальству, сочинили стихотворение, расписались и подарили мне на память. Поскольку авторов было двое, мне кажется, что оно нигде не публиковалось.

ПЕСНЯ

*"Себя смирял, становясь
на горло собственной песне"*

В. Маяковский

Жил на свете Есенин Сережа,
С горя горького горькую пил,
Но ни разу на горло Сережа
Песне собственной не наступил

128

Вся Россия была на подъеме,
Нэп катился отчаянно вспять.
Где же кроме, как не в Моссельпроме
Было водку ему покупать.

А великий поэт Маяковский
В это время в Акуловке жил,
И не то чтоб "Особой" московской —
Муравьиного спирта не пил.

Он считал, что эпохе подперло,
Без него не помрет капитал.
Песня плакала — он ей на горло
То и дело ногой наступал.

Это было и грубо и зримо,
Как сработанный водопровод,
Чтоб на той на трубе на любимой
Наш Сережа висел без забот.

Ну а песня, а песня, а песня,
Овдовевшая песня жива.
И поет ее Красная Пресня
И Акуловка вся и Москва.
Знать недаром — вскочив с катафалка,

Спел Сережа, развеяв печаль:
Вот себя мне нисколько не жалко,
А Владима Владимыча жаль.

Вот себя мне нисколько не жалко,
А Владима Владимыча жаль.

*Вл. Соколов и Юз Алешковский
10.11.65.*

И однако, любя Соколова-поэта, умный и проницательный Передреев видел всю человеческую слабость его натуры, предчувствовал, что Соколов, прислонившийся к нам от одиночества (в то время выбросилась из окна его жена-болгарка Буба, отдалился от Соколова делающий карьеру его институтский друг Евгений Евтушенко), рано или поздно отшатнется от нас, что через несколько лет и произошло, и все чаще и чаще в разговорах о Соколове из уст Передреева хотя и снисходительно и добродушно, но звучало слово "предатель". Я убедился в правоте Передреева много позже, когда, став редактором "Нашего современника", предложил Володе печататься у нас, и в ответ услышал нечто вроде того что, "как

можно у Вас печататься, рядом с экстремистами и черносотенцами".

129

— Это с кем же?

— С Шафаревичем, с Беловым, с Кожинным...

Я был поражен: ну, Шафаревич и Белов ладно, но Вадим, с которым несколько лет подряд Соколов был, как говорится, "не разлей вода", гитара, голос и романсы которого были частью нашей жизни, Вадим, к кому в самые тяжелые часы Соколов звонил и "в ночь-полночь" тот приезжал к нему, спасал от одиночества, хандры и отчаяния... А как Вадим исполнял романсы на слова Соколова — "Милая, Бог с тобой", "У сигареты сиреневый пепел"... Это стихотворение было посвящено Кожинному, да и сам Вадим был героем стихотворения.

У сигареты сиреневый пепел.
С другом я пил, а как будто и не пил,
Пил я Девятого мая с Вадимом,
неосторожным и необходимым.
Дима сказал, почитай-ка мне стансы,
а я спою золотые романсы,
Ведь отстояли Россию и мы,
наши заботы и наши умы.

То, что Соколов, по словам Передреева, "предатель", подтвердилось еще раз, когда в разгаре перестройки, году в 92-м, он, выступая по телевидению, читал стихотворение "У сигареты сиреневый пепел", умолчав о том, кому посвящено стихотворение и даже выбросив из него строфу, где речь шла о "друге" и "брате" Вадиме... Более того, вместо строки "Дима сказал, почитай-ка мне стансы" — Соколов прочитал: "Кто-то сказал"... Впрочем, я не виню его. Скорее всего, жена Соколова Марианна решила, что в наступившее время выгоднее быть в "том лагере". И по-своему она была права.

Вскоре Соколов получил из рук новой власти президентскую Пушкинскую премию, но поэтическая жизнь уже была прожита и ничего значительного из-под его пера в демократическую эпоху не появилось. А ведь в наше время он был другим человеком... Как-то я увидел по телевизору сидящих рядом его и ельцинского министра культуры Сидорова. Министр говорил поэту какие-то льстивые слова, Соколов с довольной улыбкой принимал их, одобрительно поглядывая на министра. Но я вспомнил, как этот посредственный конформистский критик 60—70-х годов, от писаний которого не осталось не то чтобы строчки, но даже буквы, однажды сидел в Доме литераторов за одним столиком со мной и Соколовым. Он только что женился на дочери главного редактора "Вечерней Москвы" Семена Индурского и, породнившись с еврейскими

130

кругами, начинал делать карьеру. Мы разговаривали с Володей, естественно, о поэзии, а Сидоров, в паузах, время от времени вставлял то словечко, то фразу — и все как-то не к месту, тупо, невпопад... Соколову это надоело, и он с удивительным выражением лица обратился к Сидорову: "А Вы, Евгений Абрамович..." — Сидоров вежливо поправил его: "Евгений Юрьевич!" — Через минуту Володя опять повторился: "А Вы, Евгений Абрамович!.." — "Володя, я же Евгений Юрьевич!" — с обидой взвизгнул Сидоров. Но когда Соколов еще через минуту с ядовитой, только ему свойственной интонацией в третий раз ошибся и снова назвал его "Евгений Абрамович", щеки будущего министра покрылись красными пятнами и он выскочил из-за стола. А в годы перестройки Соколов, как многие, стал другим человеком.

Однако история придумывает самые прихотливые и капризные варианты

возмездия за измену самому себе.

В середине 60-х годов, когда Соколов, после страшной гибели жены, остался с матерью и двумя детьми, раздавленный горем и своей вольной или невольной виной, он, я думаю, чтобы совсем не пропасть, не выпасть из жизни, не спиться окончательно, поступил на службу — секретарем так называемой секции поэтов при Московской писательской организации. А командовал им в это время Виктор Николаевич Ильин, бывший комиссар госбезопасности, отсидевший, как "человек Абакумова", несколько лет в одиночной камере, аппаратчик умный, но сталинского идеологического закала... И тогда-то закадычный друг Соколова Евтушенко, всегда способный ради красного словца не пожалеть ни мать, ни отца, заклеил своего несчастного друга жестоким словом:

Талант на службе у невежды,
привык ты молча слушать ложь,
ты раньше подавал надежды,
теперь одежды подаешь.

Думаю, что эти строки были дополнительной солью на тогдашние душевные раны Соколова...

А когда он умер, то, естественно, главным распорядителем и душеприказчиком на похоронах был Евгений Евтушенко.

Но время движется, "молодость уходит из-под ног", обаяние изнашивается, присяга совершенству становится невыносимой, друзья устают и стареют, похмелье начинается

131

длиться не часами, а неделями, вдохновение приходит все реже и реже... Но все-таки приходит.

Рядом с дымной полосой
Воспаленного шоссе
Лебедь летом и весной
Проплывает, как во сне.

Приусадебная заводь,
Досок выгнивший настил...
Кто сиять сюда и плавать
Лебедь белую пустил?!

Целый день звенят колеса,
Накаляясь от езды,
Щебень сыплется с откоса,
Доставая до воды.

Ничего она не слышит,
Что-то думает свое,
Жаркий воздух чуть колышет
Отражение ее.

То ли спит она под кущей
Ослепительного сна,
То ль дорогою ревущей
Навсегда оглушена.

То ль несет в краю блаженства
Белоснежное крыло,
Во владенья совершенства

Не пуская никого.

Стихотворение "Лебедь у дороги". Это о себе, о своей замкнутой душе, о попытке жить самодостаточной жизнью, о своем все более нарастающем одиночестве в мире, который с каждым годом становился для Передреева все более чужим и ненужным. О попытке "никого не пускать" в свои "владенья совершенства", окруженные жарким, тяжелым воздухом жизни, проносащихся машин, ревущей дорогой... Мысль о невозможности вжиться в этот мир становится навязчивой и постоянной, перетекает из одного стихотворения в другое. Он поистине все чаще сам ощущает себя беззащитным существом, вроде "лебедя у дороги".

В этом городе старом и новом
не найти ни начал, ни конца...
Нелегко поразить его словом,
удивить выраженьем лица.

132

В этом городе новом и старом,
озабоченном общей судьбой,
нелегко потеряться задаром,
нелегко оставаться собой!

И в потоке его многоликом,
в равномерном вращенье колес,
в равнодушном движенье великом
нелегко удержаться от слез...

Слезы все чаще и чаще стали появляться на его лице, все чаще и чаще, после песенного исполнения им и мной наших любимых стихов "Девушка пела в церковном хоре" и "В полдневный жар в долине Дагестана" (а пели мы их на какую-то стихийно сочиненную мелодию), он бессильно заглядывал мне в глаза, просил отчаянным голосом:

— Стась, давай напьемся!

Все чаще и чаще в его стихах появлялись строки о том, что ничего нет у него ни в будущем, ни в настоящем, а только в прошлом:

Вот она — для сердца и для взора —
Тихая земля...
Неужели вся моя опора —
молодость моя.

И остается незабвенной
лишь мать печальная одна;

В какую я впутался спешку,
В какие объятья попал,
И как я, под чью-то усмешку,
Душою еще не пропал?!

Это, может быть, самые последние его строки, написанные за год с лишним до смерти.

Все чаще и чаще его застолья в кругу уже совершенно новых людей (Рубцов умер, Соколов предал, Кожинов "завязал") кончались шумно и безобразно... Оставаясь в первые час-другой прежним Передреевым, умным, обаятельным,

вежливым, он, перейдя меру, становился вспыльчивым и жестоким, как бы мстя окружающим то ли за поэтическую немоту, которая одолевала его, то ли за так счастливо начавшуюся и так горестно завершающуюся судьбу... "Пошел вон!" — все чаще и чаще слышалось из-за столика, где сидел Передреев, когда он изгонял из своего окружения кого-то из недостойных, по его мнению, понимать и слушать стихи и вообще сидеть рядом с ним и дышать одним воздухом. В конце концов, как

133

правило, к ночи или к утру он оставался один. В такие ночи он иногда звонил мне по телефону и, тяжело дыша, горестным шепотом говорил то, что никогда не сказал бы на трезвую голову:

— Стасик! Это я, Толя. Я пропал... Ты понимаешь? Мне конец, Стасик...

Я утешал его как мог, говорил, что утро вечера мудренее, что это минутное ночное отчаяние, но в душе понимал, что он безутешен.

Мы встречались все реже и реже не потому, что я разлюбил его, а потому, что моя жизненная цель и его образ жизни никак не совмещались. Да не покажется то, что я сейчас скажу, смешным, но с конца шестидесятих годов я окончательно понял, что мое будущее — это борьба за Россию. Надо успеть понять ее, надо насытиться знанием о русской судьбе и русском человеке, надо понять себя как русского человека, надо освоить всю свою родословную, опереться в будущей борьбе, тяжесть и горечь которой я предчувствовал, на своих предков, на великих поэтов, на друзей, и старых и новых... Я начинал чувствовать себя человеком, которому судьба предназначила именно этот путь, путь долгой жизни и тяжелой борьбы. Поэтому меня стало тяготить упоительно-сладостное, гибельное времяпровождение с пением Блока и Лермонтова, с чтением Есенина, а Передреев читал его как никто точно, бледнее оттого, что есенинская судьба в эти мгновения для него сливалась с его судьбой.

Но озлобленное сердце
Никогда не заблудится,
Эту голову
С шеи сшибить нелегко...

Он тряс своей еще тяжелой копной волос, напрягал крепкую, жилистую шею и, заканчивая монолог Хлопуши, яростно молил мир о помощи, о понимании, о друге-спасителе:

Проведите,
проведите меня к нему,
я хочу видеть этого человека.

Но мне все больше и больше становились нужны не просто друзья-поэты, а соратники по борьбе, не пропивающие ума и воли единомышленники, люди слова и долга, готовые к черной работе и к самопожертвованию. Я чувствовал приближение грозных времен, и образ жизни Передреева на их фоне был непозволительной роскошью.

134

Однажды я сказал ему об этом. Сказал все. О том, что он был моей главной ставкой в мире поэзии, что я жил бок о бок с ним и в известной степени растил его для дела, а не для самоуничтожения, что есть еще время опомниться и начать все сначала. Но разговор был слишком невыносимым для него и закончился какой-то нелепой дракой, разрывом на долгие месяцы, отчуждением.

Помню только, как он с бессильным упреком, подводя итог этому разговору, сказал мне: "Ну как же ты, Стасик, так мог без меня распоряжаться мною!" И в

этой его горечи была своя правда, однако и моя правда была не менее значительной. Вскоре после этого я написал стихотворное прощание с ним.

Прощай, мой безнадежный друг,
нам не о чем вести беседу,
ты вожжи выпустил из рук,
и понесло тебя по свету.

В твоих глазах то гнев, то страх,
то отблеск истины, то фальши,
но каждый, кто себе не враг,
скорее от тебя подальше.

Спасать тебя — предать себя,
я лучше отступлю к порогу,
не плакальщик и не судья,
я уступлю тебе дорогу.

Коль ты не дорог сам себе,
так, значит, я тебе не дорог...
как желтых листьев в октябре,
шумит воспоминаний ворох,

о времени, когда гудел
январский лес в ночи морозной
и ты в глухую даль глядел
и наслаждался ширью звездной.

Храним призывьем и судьбой,
в грядущий день глядел без дрожи,
и были оба мы с тобой
друг друга лучше и моложе.

Мой тогдашний друг Игорь Шкляревский, прочитавший эти стихи, по легкомыслию почему-то решил, что написаны они о наших с ним отношениях, и сказал об этом при встрече Передрееву. Тот внимательно прочитал стихи, опечалился и ответил Игорю:

135

— Дурачок, неужели ты не понял, что Стасик со мной навсегда попрощался...

Бессильные драки все чаще происходили в последние годы его жизни. Как-то раз он сидел у Кожина, с ними был Андрей Битов, в те годы тянувшийся к нам. Естественно, выпили и, естественно, заспорили о литературе. Передреев к тому времени уже мучился от немоты, Битов это чувствовал и не преминул ужалить его в самое больное место:

— А у тебя, Передреев, — сказал он, — даже жила на шее напряглась оттого, что ты многое хочешь сказать, да не можешь.

— Дурачок ты! — отпарировал Передреев.

Он тоже знал о бессильно-ревностной жажде Битова написать что-то "классическое".

— У тебя ведь ни одной строчки, подобной ну хотя бы этой: "Я ехал на перекладных из Тифлиса" — нет!

И угадал же слабость Битова, его неспособность писать прозу простым и сильным языком!

Взбешенный Битов бросился на Передреева, пытаясь схватить его за шею. Кожинов едва-едва растащил их...

Кстати, самое время передать атмосферу в квартире нашего "генсека", как мы шутливо называли Вадима Кожина, и привести подаренное мне в 1973 году шутливое стихотворение поэта Олега Дмитриева.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН У КОЖИНОВА

Сошлись. Всё — светочи, предтечи..
Здесь льются пламенные речи
И струи красного вина,
Здесь слышен звук высокой лиры,
Здесь низвергаются кумиры,
Здесь создаются имена.

Здесь с выражением брезгливым
Сам Кожин дымит над пивом
И думает: "Напрасный труд..."
Но слушает благоговейно,
Как Соколов, хлебнув портвейна,
Читает свой последний труд.

На прочих, как на разгильдяев,
Взирает Станислав Куняев.
Чеканно речь его звучит —
Он говорит между глотками:
"Добро должно быть с кулаками!"
А с чем должно быть зло — молчит.

136

Настала пауза немая.
Но тут же, кулаки сжимая,
Встает Шкляревский Игорек.
"Ка-ак дам!" — он говорит со смехом,
Довольный собственным успехом:
Мысль гениальную изрек!

Бывает, Битов здесь бывает.
Его никто не убивает,
Но бьют, однако же, порой!
(Но, может быть, от славных бриттов
Пошла фамилия эта — Битов!)
Терпи, раз ты — такой герой!

Шугаев, эпик из Иркутска,
Не знает, где ему приткнуться —
Вконец затуркали, вконец!
И он от гнева корифея
Идет в объятия Морфея,
Пробормотав: "Спаси, Отец!"

Но тут, над разговором взреяв,
Блеснет, как сабля, Передреев,
Тотчас в руины превратив
Все то, что создал светлый гений —
От соколовских сочинений
До балашовских инвектив.

(Так поздно вспомнив Балашова —

Такого Ментора Большого,
Я промах совершил прямой.
Ну, ладно, Эдик, не ворчите,
Коль Соколова Вы учитель,
То, значит, Вы учитель мой...)

Какой восторг в глубинах зора
Горит у Самченко Егора!
(Хотя районный психиатр
В салоне выглядит, пожалуй,
Почти, как деревенский малый,
Пришедший в оперный театр.)

Над минеральной водой,
Тряся ученой бородою,
Безмолвствует Портнягин Эрнст.
Случайный баловень удачи,
Он размышляет чуть не плача:
"Сижу среди них один, как перст!"

Но, чтобы парень не сломался,
Звучит старинного романа
Очаровательный куплет,
И все уходят из салона

137

По лестнице — чуть-чуть наклонно —
В предчувствии Больших Побед.

И наступает перемена:
Посуду убирает Лена,
Вадим улегся на тахте...
Когда за окнами светает,
Вадим учеников считает
И горько думает:
"Не те".

Остроумное и правдивое стихотворение, весьма точно изображающее быт в "салоне Кожина" 60-х годов, а почти все его герои — персонажи моих воспоминаний.

На что-то надо было жить, свои стихи от беспредельной тяги к совершенству рождались все реже и реже, и Передреев все глубже погружался в переводческую деятельность, стал пропадать в Баку, в Сухуми, в Грозном, где зарабатывал на жизнь для себя и семьи и где медленно спивался от мысли, что становится строчкогоним-переводчиком, хотя переводил блестяще, но разве в этом было его призвание?!

Чтобы не вспоминать об этом много, я приведу несколько отрывков из его писем ко мне. В них — есть все: и его ум, и его вкус, и его одиночество, и его печальная самоирония, и атмосфера той жизни 60-х годов.

"Милый, милый... (это реминисценция из Есенина — "милый, милый, смешной дуралей". — Ст. К.).

Батум прекрасен, но делать там нечего. Корабли ушли в Константинополь, а полоумный старичина давно околел. Петуха съел, по-моему, Фридон Халваши. (Опять пересказ есенинского "Батума". — Ст. К.). В общем, никакого золотого руна. Упомянутый Халваши вел себя сообразно инструкции Межирова и твоей

депеши, однако выражение лица у него было такое, словно он Прометей, а я орел, клюющий его печень. Пару раз я его, конечно, клюнул хорошо.

Грузия с ее мелкопоместными душами и отвратительным самодовлеющим гостеприимством мне не приилась. Душа моя одинока, как леший.

В Батуме встретил единственного талантливого поэта Ладо Сеидишвили, и тот "Жамэ-Жамэ и плачет по-французски". Сейчас сижу в Грозном и никуда не хочу, читаю Библию. Паниковскому скажи (так он называл одного из наших друзей. — Ст. К.), что в притчах Соломоновых сказано: "Кто затыкает ухо свое от вопля неимущего, тот и сам будет вопить — и не будет услышан".

138

Тебе же советую: "Прогони коцунника, — и удалится раздор, и прекратится ссора и брань".

(Глава 22, книга притчей).

Аминь.

Напиши что-нибудь, скучаю. Обнимаю.

Толя. 5.IX. 64 г."

А это письмо написано мне из общежития Литинститута во Львов, где я в то время был на воинских сборах.

"Жизнь пустынна, бездомна, бездонна... Несмотря на это, я пью сегодня Мукузани один в своем логове жутком и пишу тебе. Эта бутылка должна быть последней.

Был недавно дома в Грозном, хотел припасть к крыльцу, околице. Но все умерло. Петухи отпевают... Дробышев настиг меня там. Узнал, что я в Грозном, собрал рюкзачок, перешагнул из Грузии через Казбек и — нашел. Что-то он мне не понравился. Суетлив и все больше похож на Паниковского, который никак не может найти себе Остапа Бендера. Впрочем, может, я ошибаюсь, и все это — желчь. Расстался я с ним хорошо. Жалко разрушать последнюю иллюзию бескорыстия и дружбы.

В Грозном мы читали с ним вдвоем твои стихи и нашли, что лучшее, пожалуй: "И прежним смехом рассмеюсь". Пушкинское, Боратынское.

Завтра я иду к врачу, и от анализа мочи будет зависеть вся моя последующая биография.

Обнимаю и целую.

Толя". (наверное, 1965 г.)

"Здравствуй, Стас!

Пишут мне, что ты костюм в Ателье
сшил себе по дорогой цене
и теперь не ходишь в ЦэДээЛе
в старомодном, ветхом шушуне!

И что вообще ты уже не Станислав Куняев вовсе, а Оскар Уайльд до заточения.

Помни, что ты мне дорог только в свитере домашней вязки. Как дела? Толкнул меня с чемоданами в машину и успокоился? А "Солярис" читал? Пришли, подлец, Межелайтиса. Все, что у меня было, я перевел. Пришли срочно,

139

пока охота есть. Перевожу, как машина (как ты). Написал несколько стихов. Что делает Соколов? Венчает "розу белую с черной жабой"? Как неоклассик Шкляревский и архилирик Рубцов? Сила нечистая... Пиши, как жив.

Толя".

Следующие письма написаны в 1966 году, когда я был составителем "Дня поэзии" и попросил Передреева прислать мне из Грозного стихи для альманаха.

"Дорогой Стасик!

Телеграмму твою получил с большим опозданием. Высылаю тебе два старых своих стихотворения. Если можешь, напечатай оба. По одному не надо. Одно я тебе предложу, когда напишу "Гренаду". Новые все черновые, и работать пока было некогда. Родилась дочка Леночка, и с этим у меня всяческие хлопоты и головокружение. Много пил и чуть не помер.

Предлагаю тебе еще двух оболтусов. Не бесталанных, как ты сам убедишься. Одного из них ты знаешь—Юра. Помнишь, у нас в гостях в Москве на дне рождения, что ли, он плясал с Шемой лезгинку. Но в стихах он сугубо русский и даже, по-моему, слишком. А в жизни он просто хороший, преданный спиртоносный мальчик.

Второй — Подунов, уникал г. Грозного. Человек, заслуживающий самого неотложного снисхождения. Они будут счастливы, а тебе, я думаю, ничего не стоит напечатать по одному-двум стихотворениям... Привет тебе от злого чечена, который "ползет на берег и точит свой кинжал".

"Стасик, дорогой!

Только что вернулся из Баку и обнаружил твою телеграмму и письмо.

Жалко, что ничего не могу послать тебе для "Дня поэзии", тем более, что это единственная богатая лавочка.

Стих есть, но в набросках. Одни существительные. Письмо твое мрачно. Жаль Соколова. Хотя он сделал все, чтобы слово "жаль" приобрело чисто пчелиное значение. Выбери подходящий момент и обними его за меня. И Вадима, конечно.

Неужели Шкляра никогда не пойдет дальше строчки Бальмонта: "Хочу быть смелым, хочу быть дерзким, хочу одежды с тебя сорвать"?

140

В Баку жил долго, переводил.

Окончательно убедился, что "Персидские мотивы" вовсе не результат вдохновения Есенина. Просто, наверное, на него надели по пьянке чадру, и он написал все это под ее покровом. А в общем, "изжил себя эпистолярный жанр..." 22.4.68 г."

Последняя строчка — из моего стихотворения. Насмешка над Шкляревским объясняется тем, что я в эти годы сблизился с последним. Я чувствовал, что мы с Передреевым удаляемся друг от друга, душа тосковала, боясь одиночества, и появление Игоря, яркого, молодого дарования, к которому можно было прислониться, как к младшему брагу, любясь им, помогая ему, ободряло и поддерживало меня... Я спорил с Передреевым, которому стихи Шкляревского, несмотря на внешний блеск, казались поверхностными и фальшивыми. Он был неправ, в них было своеобразное чувство жизни и слова, ощущение сиротской судьбы в шумном мире, молодое, порой яростное жизнелюбие, которое в то время уже покидало Передреева.

Мороз! На улицах темно.
Себя почувствуешь подростком,
Ударишь в конское дерьмо —
Звенит и катится по доскам.

Передреев слушал и морщился: "И чего ты в нем нашел, он ведь—такой маленький!"—и показывал при этом большим и указательным пальцем, насколько

мал Шкляревский.

Я не соглашался, но мой друг был пронзительнее меня. Я это понял, когда Шкляревский через несколько лет предал меня так, как не предавал никто... Но об этом разговор отдельный.

Горько было глядеть на Передреева в такие дни, когда в окружении ничтожных, жаждавших издаться в Москве азербайджанских, туркменских или чеченских поэтов он царил за богатым столом, окруженный их подобострастными улыбками, комплиментами, услугами.

Время от времени он взрывался, бросал им в лицо какую-нибудь оскорбительную правду, а то и затевал дебош, после которого, обессиленный, наливал стакан какого-нибудь редкостного напитка, привезенного ему в дар вместе с подстрочниками, и внезапно осознавая всю унижительную двусмысленность якобы дружеской встречи, ронял лицо в ладони и надолго замолкал. В эти минуты даже монолог Хлопуши с его любимым вскриком — "эту голову с шеи сшибить нелегко" — он не хотел вспоминать...

141

Однако даже тогда, когда он находился не в лучшем своем состоянии, с ним считались все, кто понимал, что такое поэзия.

Михаил Луконин и я мирно беседовали за столиком в кафе Дома литераторов, когда к нам подсел Передреев.

Я представил ему Луконина.

— Луконин! Так это вы написали: "лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой"? — глаза у Анатолия нехорошо заблестели. — А что вы знаете о человеке, который пришел с пустым рукавом? У вас-то, я вижу, обе руки целые... Мой брат без обеих ног вернулся с фронта. Вы бы ему эти стихи прочитали... Интересно, что он бы сказал: лучше с пустым рукавом или не лучше?

Он уже кричал на Луконина, бешено сощурился и размахивая руками.

Луконин с любопытством смотрел на него, известного своими скандалами, не возмущался, не уходил, только повторял время от времени:

— Ах, это вы Передреев? Так вот вы какой, оказывается. Ни обиды, ни ярости, ни негодования не было в его голосе — только любопытство и горечь...

Слова поэта — суть его дела. Так что не мог Передреев судить Луконина за несоответствие слов жизни. Но почему Луконин был так спокоен, грустен, почти мягок? Почему он не оскорблялся? Может быть, он чувствовал, что в страстных обвинениях его молодого хулителя есть какая-то правда?

«Может быть, он в глубине души сам стыдился того, что "слова поэта — суть его дела"»

Как будто занят пустяками
Средь дел суровых и больших,
И вроде стыдно жить стихами,
И жить уже нельзя без них, —

признавался себе Смеляков, один из самых самолюбивых поэтов, каких мне приходилось знать.

Но время от времени сознание личной обреченности порождало в Передрееве удивительную нежность к жизни, скорее даже не к жизни, а к воспоминаниям о ней, о ее тепле, о ее незащитности, о своем прощании с нею.

Наедине с печальной елью
Я наблюдал в вечерний час
За бесконечной каруселью
Созвездий, окружавших нас.

Но чем торжественней и строже
Вставало небо надо мной,
142 Тем беззащитней и дороже
Казался мир земли ночной,
Где ель в беспомощном величье (!)
Одна под звездами стоит,
Где царство трав и царство птичье,
К себе прислушиваясь, спит.
Где все по балкам и полянам,
И над мерцающим селом
Куруется медленным туманом,
Дымится трепетным теплом...

Однако в то время душа моя уже устала от разговоров о Блоке и Есенине, от застолий, которые хорошо начинались и плохо заканчивались, все неодоливей мне хотелось поехать по всей стране, побывать на Севере и на Юге, снова погрузиться в мир природы, которым я жил и дышал в отрочестве... Передреев иронизировал над моими чувствами такого рода, литература, поэзия, книги, богема, как ни странно, для него значили куда больше, нежели вольный ветер странствий. Как-то в 1961 году я соблазнил его отправиться в байдарочный поход на Ахтубу. Рыбалка, охота, августовский зной, камыши, соленое дыхание Каспия... Мы раскинули палатки на берегу протоки возле необъятного арбузного поля. Протока изобиловала судаками, жерехом, чехонью, а синий ночной воздух — комарами и москитами.

Через три дня Передреев исчез из лагеря. Ушел и не вернулся. Каким-то образом добрался до ближайшей станции и уехал в Москву. Но впечатление от этой поездки осталось в его памяти настолько сильным, что много лет спустя он произнес знаменательную фразу: "Не люблю я эту природу... Комары... Шема..."

Свою жену-чеченку Шему он привез из Грозного, может быть, только для того, как мне кажется, чтобы его роман походил на историю любви Печорина и Белы или чтобы написать стихи о Кавказе:

Первородная природа,
Хаоса хрусталь.
Поднебесная свобода,
Ледяная даль.
Что с сияньем этим грозным
Породило нас?
Как своим дышал я звездным
Воздухом, Кавказ!
И воды твоей напился,
Припадая — пью...
И нечаянно влюбился
В женщину твою.
143 И поставил все на карту
До последних дней, —
На крестовую дикарку
Из страны твоей...

Он как будто бы всю жизнь "подгонял" под поэзию, и потому во времена, когда вдохновение оставляло его, жизнь для Передреева, естественно, теряла смысл.

Шутить он умел и серьезно и грустно. Однажды в ответ на мои жалобы на усталость сел за стол и записал в мой блокнот несколько шуточных, но мастерски

написанных строчек.

Ст. Куняеву

Я устал от исканий и прений,
Я устал от взысканий и премий,
Я висками устал и устами,
Я всем телом устал и местами:
Ухом, горлом и всей головой,
И системой своей половой.

В его письмах я нашел два пожелтевших листка. Вспомнил: однажды Толя ночевал у меня, я утром куда-то ушел, а вернувшись вечером, нашел на своем столе несколько экспромтов и пародию на одно мое стихотворение. Делать ему было нечего целый день.

Все, все в душе похороню,
Пойду, смиренный и печальный...
Лишь перед чаем сохраню
Восторг души первоначальный!

Не тащи меня в печать —
на устах моих печать.

Я Анатолий Передреев!
Пускай узнает это всяк...
Я должен жить среди евреев,
Чтоб умереть у них в гостях.

А пародия была написана на мое стихотворенье, которое Толе очень нравилось и он знал его наизусть:

144 Не то чтобы жизнь надоела,
не то чтоб устал от нее,
но жалко веселое тело,
счастливое тело свое,

которое плакало, пело,
дышало, как в поле трава,
и делало все что хотело
и не понимало слова.

Любило до стога, до всхлипа,
до тяжести в сильной руке
плескаться, как белая рыба,
в холодной сибирской реке.

Любило простор и движенье,
да что там — не вспомнишь всего,
и смех, и озноб, и лишение —
все было во власти его.

Усталость и сладкая жажда,
и ветер, и снег, и зима,
а душу нисколько не жалко —
во всем виновата сама.

Передреев написал пародию в ерническом, барковском стиле, не пощадив ни мои стихи, ни себя, ни свою жену, красавицу чеченку Шему. Цитирую так, как написано у него—буква в букву:

Не то чтобы жизнь надоела,
И горек познания плод,
Не то чтобы жалко мне тело,
Но жалко мне крайнюю плоть.

Вставала она то и дело
На всякую Schliuchen sie Deitch
И делала все, что хотела,
И вот ей ничем не помочь.

Была она палка, как палка,
Но не понимала слова...
И Шему — нисколько не жалко,
Во всем виновата сама.

Одна из последних наших встреч была в том же пресловутом Доме литераторов. К нам подошел Олег Михайлов:

— Толя, я очень люблю твои стихи, хочешь вот сейчас десять стихотворений прочитаю на память.

Передреев сразу же протрезвел и перестал улыбаться:

— Не надо, Олег, — как бы через силу сказал он, — не надо, а то я заплачу...

В моей поэтической библиотеке сохранились всего лишь две его книжечки с дарственными надписями. На одной из них ("Равнине"), вышедшей в 1971 году, он написал:

145

"Стас! Не велик результат этих лет, но не весь тут "венец откровенья". С любовью.

Твой Толя".

Числа нет, а поэтические строчки — из одного моего стихотворения, чуть-чуть к месту перефразированные... Портрет его в этом сборнике прекрасен: молодое лицо русского парня, немного нагловатый, но обаятельный и смелый взгляд, копна светлых волос, падающая на лоб аж до бровей.

Породистое лицо...

На второй это же лицо и те же волосы до бровей, но взгляд, полный отчаяния и боли, смотрит прямо на тебя, скулы напряжены, от крыльев носа к уголкам рта чернеют глубокие морщины; поперек страницы размашистая надпись:

"Стасик! Спасибо, что ты есть! Как поэт и как человек. С любовью. 16.11.1987 г.

А. Передреев (Толя) "

Через восемь месяцев он умер у себя дома, на диване, с книжкой в руках, от инфаркта.

Молодость его прошла в городе Грозном, там похоронены его отец и мать. Именно там он написал в 1969 году кавказские стихи о своих земляках, чеченских поэтах:

Нас вовеки
не раздружит

никакой Коран,
не разнимет нас обиды
позапрошлый крик —
пересохла речка битвы.
Речка Валерик...
Пересохла речка крови...

Поэт Анатолий Передреев ошибся. Свежей кровью вскипели чеченские реки, вдребезги разбит его саманный дом на окраине Грозного, могилы отца и матери, саратовских крестьян из деревни Старый Сокур, забыты и не ухожены. Некому в городе Грозном думать о старых могилах, младший брат и сестра Передреева где-то затерялись на необъятных просторах России. Остались только стихи, да и то лишь в памяти тех, кто еще помнит его.

146

Не помню ни счастья, ни горя,
Всю жизнь забываю свою,
У края бескрайнего моря,
Как маленький мальчик, стою.

Как маленький мальчик, на свете,
Где снова поверить легко,
Что вечности медленный ветер
Мое овекает лицо.

Что волны безбрежные смыли
И скрыли в своей глубине
Те годы, которые были
И снились которые мне.

Те годы, в которые вышел
Я с опытом собственных сил.
И все-таки, кажется, выжил,
И, кажется, все же не жил.

Не помню ни счастья, ни горя...
Простор овекает чело.
И кроме бескрайнего моря,
В душе моей нет ничего.

Он любил Есенина, Блока, Заболоцкого. Но думаю, что втайне мечтал писать стихи, полные пророческого смысла, столь же легко и вдохновенно, как писал их Михаил Лермонтов. Дерзкий и величественный замысел, в жертву которому он принес всю свою жизнь.

Черновик некролога, написанного Вадимом Кожиновым, сохранился у меня. В нем говорилось: "Поэт Анатолий Передреев не имел шумной известности. Такой известности и не могло быть, ибо стихи его всей своей сутью устремлены от сердца к сердцу, не в гулкость пространства, способного породить громкий, внятный всем отзвук.

Поэзия Анатолия Передреева не вторгается в человеческие души, а ждет, когда они сами откроют ей себя. И те, кто открыл душу стихотворениям Анатолия Передреева, знают: мы прощаемся ныне с одним из самых истинных и глубоких поэтов нашего времени..."

Некролог был подписан Виктором Астафьевым, Василием Беловым, Татьяной Глушковой, Егором Исаевым, Вадимом Кожиновым, Юрием Кузнецовым, Станиславом Куняевым, Станиславом Лесневским, Валентином Распутиным,

Владимиром Соколовым... После смерти Передреева многие из них разошлись друг с другом навсегда, до конца жизни... Но в то мгновение его имя объединило всех нас. Похоронили мы его на Востряковском кладбище.

147

"Образ прекрасного мира"

Наше знакомство с Николаем Рубцовым. Его письма ко мне. Открытие памятника в Тотьме. Переписка с поклонницей Рубцова Нифонтовной. Драка в Доме литераторов. Рубцов прощен при помощи Слуцкого и Яшина. Слуцкий о Рубцове. Сегодняшние попытки оболгать Рубцова и его друзей. Мои письма Рубцову, найденные через 36 лет

I

Хлопотная работа—заведовать отделом поэзии в печатном органе: много людей пишут стихи, и каждый из них уверен, что именно его творения совершенны и неповторимы. На рукописи при определенных навыках отвечать просто. Но когда к тебе приходит живой человек и требует немедленной и, конечно же, благожелательной оценки своих виршей — что делать? Ежели не мобилизуешь всех знаний для убедительного ответа с привлечением цитат из Пушкина или Блока, из Есенина или Твардовского, то уходит разгневанный автор, прижимая к сердцу заветную тетрадку, любовно переплетенную, куда каллиграфическим почерком вписаны откровения души, и в пылающих глазах его явственно читаешь: "А ты сам кто такой?!"

Если это человек с профессией, как только что ушедший от меня доктор технических наук, приносивший поэму, где действуют Эйнштейн и Христос, Гражданин с Марса и князь Кропоткин, то, в общем, — ничего страшного. Человек при деле. Не пропадет... Но если пришел бедолага в пальтишке с

148

обтрепанными рукавами, открыл старенький фибровый чемоданчик, вытащил грудку измятых, несвежих рукописей и, обратив к тебе землистый лик, с последней крохотной надеждой смотрит на тебя, потому что во всех журналах столицы отклонены труды его несладкой жизни, то смутно становится на душе и не хочется ссылаться в разговоре ни на статью Маяковского "Как делать стихи", ни на книжку Исаковского "О поэтическом мастерстве"...

Вот приблизительно о чем думал я в один из жарких летних дней 1962 года, сидя за своим столом в редакции журнала "Знамя".

С Тверского бульвара в низкое окно врывались людские голоса, лязганье троллейбусных дуг, шум проносащихся к Никитским воротам машин. В Литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути в Дом Герцена заглядывали ко мне с надеждой на чудо. Человек по десять за день. Так что настроение у меня было скверное.

Критики Лев Аннинский и Самуил Дмитриев, сидевшие со мной в одной комнате, каждый раз, когда открывалась дверь, злорадно улыбались:

— К тебе!

Кстати, если не ошибаюсь, этим же летом в редакцию зашел рыжеволосый, нервный молодой человек, отрекомендовался — "Иосиф Бродский, из Ленинграда", пожаловался на гонения, которым он подвергается в родном городе, и попросил меня прочитать его стихи. Собственно говоря, это были не стихи, а длинная поэма. Мне кажется, что она называлась чуть ли не "Белые ночи"... Я при авторе прочитал ее, поскольку он торопился с отъездом, и сказал ему, что как версификатор он весьма поднаторел в сочинении стихов и с этой стороны у меня к нему нет никаких претензий, но поэма по интонации явно несамостоятельна —

подражание "Спекторскому" Бориса Пастернака настолько очевидно, что я не советую автору никогда публиковать ее.

Бродский ушел огорченный, но тем не менее я нигде, ни в одной из его книг, изданных и при жизни и посмертно, не видел, чтобы эта юношеская поэма была опубликована...

Настроение было скверным еще и потому, что передо мной лежала жалоба — коллективное письмо читателей, на которое по приказанию главного редактора мне предстояло дать дипломатичный ответ.

В последнем номере журнала мы опубликовали несколько стихотворений И. Сельвинского под общим заголовком "Гимн женщине", и вскоре в редакцию стали поступать гневные

149

письма. Стихи Сельвинского были не по душе мне самому, но письма читателей не нравились еще больше.

"Мы просто читатели. Прочитали в 6-м номере "Знамени" стихи Сельвинского и удивились. Как они попали на страницы советского журнала? Неужели пришла пора, когда дана "зеленая улица" на страницах СП СССР занимающимся словоблудием и оскорбляющим достоинство советского человека?"

Когда пред высокой стоишь красотой,
ощущаешь себя ничтожеством.

Это почему же советский человек, покоряющий космос, создающий своими руками прекрасные произведения искусства и полезные человеку вещи, должен чувствовать себя ничтожеством?"

Я перечитывал письмо, горя о своей судьбе, но не мог ничего "дипломатичного" придумать в ответ этим яростным читателям.

Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костистым лицом, на котором выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем была грязноватая белая рубашка, неглаженные брюки пузырились на коленях. Обут он был в дешевые сандалии. С первого взгляда видно было, что жизнь помотала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.

— Здравствуйте! — сказал он со стеснительным достоинством. — Я стихи хочу вам показать.

"Час от часу не легче!" — подумал я.

— Садитесь. Я сейчас письмо дочитаю...

Но стон твой горячий кровинкой вина
ее обожжет! В этом главное.
Иначе не женщиной будет она.
Обожаемая. Богоравная.

И чего они прицепились к этим стихам? Ну несколько высокопарные, и только...

"Да как у Вас, Сельвинский, язык повернулся сравнить наших прекрасных трудолюбивых женщин, строящих новую жизнь, с витающим в облаках несуществующим бездельником господом богом..."

Я в изнеможении отшвырнул письмо. Лучше уж с очередным графоманом поговорю. Все-таки живое дело...

— Давайте ваши стихи!

Молодой человек протянул мне странички, где на слепой

150

машинке были напечатаны одно за другим вплотную — опытные авторы так не

печатают—его вирши. Я начал читать.

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог.

Я сразу же забыл о Сельвинском, о письме пенсионеров, о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. Словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет: зашелестели номера журналов с несуществующими стихами, слетели со стола в проволочную корзину злобные письма и заготовленные на полгода вперед вороха поэтических подборок.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились. Его глубоко запавшие мохнатые глазки смотрели на меня пытливо и настороженно.

— Как вас зовут?

— Николай Михайлович Рубцов.

К концу рабочего дня в "Знамя" заглянул мой друг Анатолий Передреев. Я показал ему стихи. Он прочитал. Удивился.

— Смотри-ка! А я слышу — Рубцов, Рубцов, песни поет в общаге под гармошку... Ну, думаю, какой-нибудь юродивый...

С того дня и началось наше товарищество с Рубцовым вплоть до несчастного часа, когда январской ночью 1971 года меня разбудил звонок из Вологды.

— Станислав — ты? Это Василий Белов. — Он с трудом выговаривал слова. — Коли Рубцова... больше нет... Напиши срочно некролог в "Литературку"...

* * *

"18.XI.1964 г. Дорогой Стасик! Добрый день или вечер!" Письмо написано четким ученическим почерком. Видимо, с удовольствием и не торопясь сочинялось оно. С крестьянской обстоятельностью или с обстоятельностью человека, у которого много времени впереди — целый осенний вечер. А почерк ученический — таким я научился писать в эвакуации в деревне Пыщуг Шарьинского района, что недалеко от тотемских мест.

151

Да разучился уже давно, оттого что в последующей жизни пришлось слишком много написать суетного и торопливого. А Рубцов—сохранил свой школьный почерк, на котором лежит печать старательных уроков чистописания в сельской школе.

Первые же слова этого письма, некогда полученного мной назад из деревушки Николы Тотемского района, воскрешают в памяти облик Рубцова, его осторожные повадки, его недоверчивость к жизни и одновременно детскую незащищенность перед ней.

Я представляю, как он написал "Добрый день", и вдруг подумал: а почему день? Ведь письмо может прийти в любое время суток! И довольно, по-детски, хохотнув от неожиданной мысли, дописал "или вечер". Вообще в его понимании литературы было нечто непосредственное, иногда помогавшее ему неожиданно, по-новому взглянуть на какие-то репутации, стихи и даже строчки. Помню, как он вдруг услышал в словах широко известной песни некоторую комическую несуразность и с увлечением повторял:

— Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда!

Очень забавляло его то, что "среди упорной борьбы и труда" (сама неграмотность этой фразы — "среди труда", "среди борьбы" казалась ему почти трогательной) можно "петь и смеяться, как дети".

"18.XI.64...

Добрый день или вечер! Я опять пропадаю в своем унылом далеке, в селении Никольском, где я пропадаю целое лето. Это, как я тебе уже говорил, один из самых захолустных уголков Вологодской стороны, — в прелестях этого уголка я уже разочаровался, т. к. нахожусь здесь не уединение и покой, а одиночество и такое ощущение, будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной тоже. Все это я легко мог бы объяснить с психологической стороны не хуже Толстого (а что! В отдельных случаях этого дела многие, наверно, могут достигнуть Льва Толстого: и мелкие речки имеют глубокие места. Хотя в объеме достигнуть его, Толстого, глубины — почти немислимое дело), повторяю: мог бы и объяснил бы, если бы я не знал, кому пишу это письмо... "

Судьба не была ласкова к Николаю Рубцову. Она наложила на его характер печать замкнутости, угрюмства и недоверчивости, но его природная открытость все время боролась в нем с этими свойствами.

152

Тот, кто встречался с ним — не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности. Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачесанных с затылка на лоб, и, рванув мехи, начинал не петь, а выть, равномерно раскачиваясь:

По-о-тону-ула во мгле
Отдале-о-онная при-и-истань...

Вся жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России-матушке, с вечной бездомностью, с тоской по близкой и не встретившейся на житейских дорогах душе изливалась в этом вое под скрипучие звуки разбитой гармошки.

На меня надвигалась
Темнота закоулков.
И архангельский дождик
Надо мной моросил.

Но инстинктом истинного поэта Николай Рубцов знал, что в поэзию нельзя безнаказанно впускать все темное, озлобленное, измордованное и желчное, что порой овладевает человеком. Он знал главную истину: душа поэта на то и дана ему, чтобы высветлять и очищать жизнь, обнаруживая в ней духовный смысл и принимая на себя несовершенство мира. Потому-то, когда этот песенный вой достигал предела, Рубцов устало смягчал голос, грустно и спокойно заканчивая:

На болотной земле
В этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек.

Это было не исполнение, а самозабвение. Однако возвращаюсь к его письму.

"Мое здесь прозябание скрашивают кое-какие случайные радости, на которые я не только способен, но еще и люблю их, и иногда чувство самой

случайной радости вырастает до чувства самой полной успокоенности. Ну, например, в полутемной комнате топлю в холодный вечер маленькую печку, сижу возле нее — и очень доволен этим, и все забываю ".

Вспоминаются его стихи:

153

Со мною книги и гармонь
И друг поэзии нетленной —
В печи березовый огонь!

Но все равно каким-то крещенским холодом веет от этой идиллии! Много надо испытать лишений и надсады, чтобы в подобных мелочах жизни находить истинную радость.

"Я проклинаю этот Божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить?"

Дошел я до этого места в письме и вспомнил еще одно стихотворение Рубцова — он тоже пел его под гармошку. Рубцов мало рассказывал о своей прошлой жизни даже близким ему в Москве людям, и то, что у него в деревне остались жена и дочка, я впервые узнал из песни: "Я уеду из этой деревни..."

В первоначальном варианте стихотворенья содержало на одну строфу больше. Впоследствии поэт эту строфу выбросил, считая, по справедливости, ее лишней, но она кое-что объясняет в его тогдашнем состоянии:

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой настагающий топот
Все мне слышится, словно в бреду...
Топот его "черного человека".

Ко времени, когда мы сблизились с ним, психика поэта (а ему еще не было и тридцати) была уже весьма изношена. Угрюмое и молчаливое состояние, из которого он редко выходил лишь при встрече с понимающими его людьми, часто прерывалось вспышками внезапного гнева. Тогда маленький и тщедушный Рубцов мог послать куда-нибудь подальше какого-нибудь администратора, сделавшего ему обидное замечание, за что впоследствии клял и корил самого себя.

Вот так и жил он в свой "московский период" — то уезжал на Вологодчину, в Николу, то возвращался, гонимый тоской, одиночеством и безденежьем из милого, но опостылевшего захолустья в сверкающий столичный город, который никогда не верил, да и до сих пор "не верит слезам". Как писал в те

154

годы в одном из лучших своих стихотворений друг Рубцова Анатолий Передреев:

И в потоке его многоликом,
В равномерном вращенье колес,
В равнодушном движенье великом
Нелегко удержаться от слез...

Однажды — о чем до сих пор вспоминают старожилы Литинститута — с лестничных площадок общежития исчезли портреты Лермонтова, Некрасова, Пушкина. Сбившийся с ног в поисках комендант общежития случайно заглянул в комнату Рубцова и ахнул: тот сидел на стуле со стаканом в руке в компании

портретов, прислоненных к стене.

— Не с кем поговорить было, — оправдывался наутро Рубцов.

Цену себе как поэту он знал, и во всем его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смирение, что "паче гордыни".

Любил поэзию Владимира Соколова, правда, в минуты раздражения называл его "дачным" поэтом, ценил стихи Анатолия Передреева, Глеба Горбовского...

Еще в студенческие времена, забредя в букинистический магазин на улице Горького (сейчас на этом месте высится новое здание гостиницы "Националь"), я купил изящное старое издание стихотворений Тютчева в парчовом с золотым шитьем переплете.

Тютчев, а не Есенин (как казалось тогда многим) был любимым поэтом Рубцова. Знал он его наизусть и часто читал вслух. А стихотворенье "Брат, столько лет сопутствовавший мне" даже пел на свой протяжный мотив.

Как-то Рубцов уезжал из моего дома в ночь, и, глядя на него, уходящего в осеннюю тьму, мне захотелось принести ему какую-нибудь маленькую радость. Я подарил ему эту книжку, будучи уверен, что Рубцов, с его безбытностью, в скором времени обязательно потеряет ее. Но друзья из Вологды рассказывали, что книга всегда была с ним в последние годы, а после смерти ее нашли в его скудной библиотечке. Видимо, он дорожил ею. В январе 1996 года, когда мы праздновали открытие рубцовского музея в Николе, Виктор Коротаев торжественно вернул мне мой подарок, который я тут же передал в музей. Перед тем как окончательно расстаться с книгой, поглядел на титульную страницу, где было написано моей рукой: "Дорогому Николаю Рубцову от Стасика и Гали". Помню, как он по-детски радовался, как в ответ достал из

155

своего старенького чемоданчика только что вышедшую "Звезду полей" и написал на титульном листе рядом со своей фотографией, где он в берете и шарфике:

"Станиславу Куняеву, дорогому поэту и другу, на добрую память.

Н. Рубцов.

1.XII. 1968 г., г. Москва. Теплая зимняя погода".

Мы как-то понимали друг друга без лишних слов или с полуслова; несмотря на его тяжелый характер — ни разу не поссорились, и нам всегда было приятно встречаться после долгих расставаний.

Когда Рубцов получил в деревне мой сборник с этим стихотворением, посвященным ему, он ответил мне следующим письмом.

"Добрый день, Стасик! Письмо твое получил, повеселился над твоими веселыми стихами, и вот написал на них ответ.

Желаю тебе здоровья и всех радостей.

С приветом, Коля!"

Дальше шло его шутовское посланье.

* * *

Со дня нашего знакомства Рубцов стал для меня одним из необходимых поэтов. Ощущение того, что где-то живет и пишет Николай Рубцов, поддерживало меня — да и не только меня — в нерадостных порою раздумьях о судьбах нашей поэзии. Не раз он приглашал меня в свою деревню Николу, но, как всегда, не нашлось времени, и вместо того чтобы приехать к нему, в 1964 году я написал стихи, вошедшие в книгу "Метель заходит в город".

Если жизнь начать сначала,

В тот же день уеду я

С Ярославского вокзала

В вологодские края.

Перееду через реку,
Через тысячу ручьев
Прямо в гости к человеку
По фамилии Рубцов.

Если он еще не помер,
Он меня переживет,
Если он ума не пропил —
Значит, вовсе не пропьет.

Я скажу, мол, нет покою,
Разве что с тобой одним.
Я скажу, давай с тобою
Помолчим-поговорим...

С тихим светом на лице
Он меня приветит взглядом,
Сядем рядом на крыльце,
Полюбujemy закатом.

156

ОТВЕТ КУНЯЕВУ

(некоторые соображения на тему
"если жизнь начать сначала")

Если жизнь начать сначала,
Все равно напьюсь бухой
И отправлюсь от причала
Вологодчины лихой.
Знайте наших разгильдяев!
Ваших, так сказать, коллег!
—Где, — спрошу я, — человек
По фамилии Куняев?
И тотчас ответят хором:
—Он в Москве! Туда катись! —
И внушат, пугая взором:
— Там нельзя греметь запором
И шуметь по коридорам;
Он описывает жизнь! —
И еще меня с укором
Оглядят: — Опасный вид! —
Мол, начнет греметь запором
Да шуметь по коридорам,
То-то будет срам и стыд!..
Гнев во мне заговорит!
И, нагнувшись над забором,
Сам покрою их позором,
Перед тем спросив с задором:
Кто тут матом не покрыт?
Кроя наших краснобаев,
Всю их веру и родню,
Нужен мне, — скажу, — Куняев,
Вас не нужно — не ценю! —
Он меня приветит взглядом,
И с вопросом на лице
В цедээловском дворце
Помолчим... с буфетом рядом!

157

Я помню, как он жаловался на своих земляков-вологжан, которые, по его словам, ценят стихи Ольги Фокиной куда выше, нежели его... Впрочем, эту его обиду я уловил и в строках шутивного стихотворения, присланного мне в 1964 году:

Кроя наших краснобаев,
Всю их веру и родню,
— Нужен мне, — скажу, — Куняев,
Вас не нужно — не ценю.

Написано в шутейном, несколько ерническом стиле, присущем "раннему" Рубцову.

"18.XI.64

Стасик, а что у тебя нового?

Между прочим, это такой вопрос, от которого я нередко теряюсь и не знаю, что сказать. Знаю, что не только я один. Но каждый раз, если речь заходит о настоящих людях, мне любопытно знать, как они там где-то поживают, всегда хочется пожелать им всего хорошего, — вот поэтому и вопрос о них, или им, или ему (сейчас тебе) — что нового?

Тебя, наверное, уже утомило это болтливое письмо? Еще одно последнее сказанье... Хотелось бы мне узнать, решена ли судьба (пусть частично) тех моих стихов. Мне надо знать об этом, потому что, пока не знаю, я не могу распоряжаться ими, стихами, как хочу. Да и кое-какие из них я, кажется, немного улучшил, а некоторые, вообще, зачеркнул (в голове своей), а это тоже имеет значение, если стихи все-таки пройдут... Вот у меня пока все.

Передай, пожалуйста, привет и самые добрые пожелания Гале, Гале Корниловой, Толе, Игорю, а также, если встретишь их, Володе Соколову, Вадиму Кожиннову.

До свиданья!. С приветом и любовью Н. Рубцов.

Слякоть, осенний ледоход, снег, дождь. Надеюсь, что напишешь мне "

2

Теплоход "Александр Клубов" шел по Сухоне. Стояли солнечные чистые дни сентября 1985 года, и крутые берега врезались в синее небо тремя разноцветными ярусами деревьев — сначала у самой воды тянулась лента желтого ивняка, чуть повыше — зеленой ольхи, а на пабереге стояла белая стена берез...

158

Мы плыли на родину Николая Рубцова. Теплоход шел медленно, и навстречу ему так же неторопливо двигались по берегам редкие деревни, коровьи стада, копешки сена.

В Усть-Толшме мы пересели на автобус и вскоре прибыли в старинное село Никольское. Наконец-то! Через двадцать с лишним лет после нашей шутивной переписки...

Я шел по живой строящейся деревне и на каждом шагу радовался тому, что все здесь мне знакомо: куда бы я ни глянул — везде меня окружали образы и приметы рубцовского мира.

Школа моя деревянная,
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать...

И хотя в деревне — слава Богу! — новая каменная школа, но "речка туманная" все та же — вон она под угором вьется в зарослях ивняка. А за нею,

глазом не окинешь, до окоема — луга, пастбища, перелески, зубчатая кромка старого леса, словом, "тот же зеленый простор" — аж дух захватывает!

А вот и кладбище — кресты, ограды, венки... Видно, и Рубцов не раз глядел на него отсюда, прежде чем написать:

Село стоит на правом берегу,
А кладбище на левом берегу...

Вдоль косогора до самой Толшмы чернеют баньки, вьются узкие тропинки, тянутся изгороди, а на зеленом заливном лугу за рекой, словно бы возникшая из стихов Рубцова, пасется белая лошадь. "Лошадь белая в поле темном вскинет голову и заржет".

На краю села "купол церковной обители", который "яркой травой порос". Четыре мощные кирпичные опоры держат проломленный в центре купол, под сводами которого еще можно разглядеть фигуры евангелистов в синих хитонах. Однако с той поры, когда Рубцов писал эти строки, кое-что изменилось: уже не просто яркая трава растет на куполе, а настоящие молодые березки. К церкви пристроен придел из старого церковного кирпича, в приделе вкусно пахнет свежим хлебом, опарой, дрожжами — там пекарня. Две молодые девахи в белых фартуках и цветных косынках вытаскивают из печи одну за другой буханки горячего хлеба.

— Попробовать можно?

— Пожалуйста! — озорно блеснули белые зубы.

159

Я отломил от душистого хлеба румяную корочку, не торопясь разжевал ее, думая о том, что хлеб выпекается в бывшей церкви и потому сегодня при желании его можно считать поминальным...

А в Доме культуры между тем начался литературный вечер. Зал был полон народу—больше женщинами и детьми. Сердце радовалось, что детей было много, что они бойкие, розовощекие, хорошо одетые... Может быть, оклемаемся от всех эпохальных бед и разрух, подрастет подлесок, не даст пропасть народному корню на древних северных землях.

А с трибуны слышался глуховатый, взволнованный голос Василия Белова:

— В стихах Коли Рубцова много живой природы — и лес, и ветер, и болота, и поле, но чаще всего он вспоминает наши реки — Сухону, Тотьму, Двину, Толшму... Наши предки селились на реках и жизнь свою без них не мыслили. Пароход, пристань, паром, берег, река, лодка—любимые слова Николая Рубцова. "Много серой воды, много серого неба и немного пологой, родимой земли".

Но сейчас люди, равнодушные к нашей земле и нашим рекам, не знающие, как мы их любим и как без них жить не можем, разрабатывают всяческие проекты, чтобы повернуть северную светлую воду на юг. пойменные земли заболотятся, обжитые веками берега пропадут, оставшиеся деревни исчезнут, память о прошлой жизни выветрится, и станем мы и наши дети похожими на перекасти-поле... Давайте вспомним любовь Коли Рубцова к родным рекам, пусть она поможет нам в борьбе за их жизнь...

Белов говорил с народом не как пророк или проповедник, а как сельский учитель, как родной каждому сидящему в зале человек. А я вглядывался в румяные детские мордашки и думал о том, что лет через десять — пятнадцать из этих детей вырастут колхозники, агрономы, учителя, врачи, и святое дело делает Василий Белов, зароняя в детские души зерна тревоги за родную землю, семена истины и любви. Николай Рубцов делал, в сущности, то же самое, но по-своему.

Тина теперь да болотина

Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл...

Он писал стихи "неоскорбляемой частью души". Не потому ли в его поэзии нет ничего желчного, фельетонного, правдиво-крикливого, чем так грешат многие из нас. Он исповедовал

160

главную истину: душа поэта на то ему и дана, чтобы высветлять и очищать жизнь, принимать на себя несовершенство мира.

Не потому ли слово "душа" одно из самых любимых им слов:

"душа хранит", "душа свои не помнит годы, так по-младенчески чиста, как говорящие уста нас окружающей природы", "до конца, до смертного креста, пусть душа останется чиста..." Мысли мои вновь были прерваны голосом Белова, который продолжал с трибуны Никольского Дома культуры воспитание душ человеческих иными средствами, нежели его покойный друг.

— Коля Рубцов, как вы все знаете, вырос в детском доме. Но тогда шла война и сирот было много по понятным причинам. А сейчас почему у нас столь много детских домов? Дети при живых матерях-отцах живут сиротами. Сколько у нас лишенных родительских прав, сколько спившихся родителей, сколько детей, от которых матери уже в родильных домах отказываются. В стихах Коли Рубцова есть и горечь сиротская, и одиночество. Пусть же его поэзия помогает нам изживать искусственное сиротство, которого на Руси никогда ранее не было... Старухи, женщины и дети, затаив дыханье, слушали каждое слово своего знаменитого земляка, а я думал о том, что поэт всегда сын своего народа. Народ дал ему творческую волю, душу, понимание жизни, чувство народного идеала, а не просто один лишь язык. Язык, в конце концов, всегда можно выучить и оставаться писателем, чуждым народу, на языке которого пишешь. Но проходит время, и настоящий народный поэт — не по званию, а по сути — выплачивает сыновний долг народу, как выплачивал бы его престарелым родителям, своеобразной заботой и уходом за народной душой, высветляя ее и поддерживая в трудные времена, когда она шатается, болеет, теряет опору. Тогда приходит он и говорит:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь...

И какой-нибудь отрок вдруг содрогнется от поэтической искры; этих строк и тем самым сознательно и на всю жизнь обнаружит в себе ту же "самую жгучую", "самую смертную", которая до последнего часа будет жизнотворческой силой в его судьбе.

Между тем на эстраде возник неожиданный спор. Кто-то из выступавших искренне стал восхищаться: каким образом местная природа, скромная и невзрачная, "серенькая", родила такого яркого поэта...

161

— Это же чудо! — развел руками оратор.

Я услышал, как сидевший рядом Белов что-то буркнул в бороду, встрепенулся Анатолий Передреев и, дождавшись, когда оратор закончит свою речь, вышел к трибуне:

— Я всегда любовался вашей землей — ее долинами, реками, лесами. Почему, с чьей легкой руки ее называют "скромной", невзрачной? Наоборот, она яркая, многоцветная, ваша северная природа. Несколько раз в году она меняет

свой лик и свой наряд — не то что где-нибудь на юге, где круглый год стоит цветущее однообразие...

Если бы не Рубцов, и на Вологодчине мне не пришлось бы побывать. Раззадорил он меня рассказами о Сухоне, Тотме, Николе, и приехал я как-то в ваши края, и попал в деревню к Василию Белову. Давно это было. А стихи о той поездке я написал недавно...

Медленно отчеканивая каждое слово, Передреев начал читать:

Хоть много чего сохранить не смогла,
Но душу деревня свою сберегла.

Раз детская чья-то головка одна
С таким любопытством глядит из окна.

Раз может еще так глазами сиять
Анфиса Ивановна, Васина мать...

И сразу просторы исполнились смысла,
И небо иначе над ними нависло.

И дали, что с новой встречаются далью,
Уже не дышали такую печалью.

Все сделалось радостней, стало прочней —
Земля при деревне, и небо при ней!

Доколе копить ей в полях своих грусть,
Пора собирать деревенскую Русь!

Так думало поле, и речка, и лес,
И даль, что смыкается с далью небес...

А все, что в душе и в судьбе наболело, —
Привычное дело, привычное дело.

И так оно все случилось к месту и ко времени, что, когда поэт кончил читать, и зал, и президиум долго благодарили его, не жалея ладоней...

162

В фойе клуба был выставлен стенд с фотографиями Рубцова, сделанный приехавшими в Николу ленинградцами. Некоторые из них я увидел впервые, стал вглядываться — и маленькая тревога запала в душу. Почему в стихотворенье, ему посвященном, я написал о "тяжелом взгляде", об "угрюмстве", о "прищуре"? Да нет же! Вот он молодой, с друзьями в матросских робах, разламывает пополам гармошку, смеется; вот сидит с маленькой дочкой — и лицо светится; вот склонил голову, усталый, но все равно улыбается, хотя и грустно. У него высокий лоб, живой доверчивый взгляд... Нет в молодом Рубцове никакого угрюмства! Конечно же, от природы он был добрым, веселым и светлым человеком, с душой, распахнутой для жизни, любви и дружбы. И как бы судьба ни выколачивала из него эти свойства, он не сдавался ей.

Я по-прежнему добрый,
неплохой человек.

Разве что в Москве взгляд его тяжелел и свет в глазах прятался куда-то в самую их глубь. Но если бы я в те времена приехал в Николу, то, конечно,

запомнил бы его иным...

Уже смеркалось, когда мы выехали на автобусе обратно к теплоходу и по пути отвернули в сторону, чтобы поглядеть на старую дорогу, по которой Коля Рубцов, возвращаясь из странствий, ходил пешком от Усть-Толшмы до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, распадками, мимо заброшенных починков. Есть время подумать о многом. Сколько раз, пока дойдешь, присядешь то у заброшенного овина, то на лесной опушке, то возле древнего погоста. Я представляю его себе летним днем, усталого, с чемоданчиком, где немудреное бельишко, да сборник Тютчева, да ворох черновиков. Он идет, а вокруг "зной звенит во все звонки", цветут белые ромашки, и куда ни глянь, все волнует душу — и "филин властелин", и верховые, как три богатыря, проскакавшие где-то у горизонта, и тишина... Старая дорога...

Здесь каждый славен, мертвый и живой,
и потому, в любви своей не каюсь,
душа звенит, как лист, перекликаясь
со всей звенящей солнечной листвою.
Перекликаясь с теми, кто прошел,
перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел
и больше ничего не происходит!
Но этот дух пройдет через века...

163

Бывало, что редкий грузовик догонит студента, шофер высунется из кабины и спросит: далеко идешь?

Я шел, свои ноги калеча,
глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты?
— В деревню Предтеча.
— Откуда?
— Из Тотьмы самой!

Он садится в машину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая взглянуться в небо, надышаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зеленому простору. А потому, не доезжая несколько километров до родного села, просит удивленного шофера притормозить и выходит из кабины.

И где-то в зверином поле
сошел и пошел пешком.

Вот о чем мы разговариваем с Вадимом Кожиновым и Василием Беловым, когда стоим в сумерках на старой, уже позаросшей муравой дороге, пересыпанной строчками поэта, столько раз проходившего ее туда и обратно.

Вечером следующего дня на высоком берегу Сухоны в Тотьме открывался памятник Николаю Рубцову. Это событие как бы венчало трехдневные народные празднества в его честь. Не часто земляки балуют русских поэтов таким высоким образом. Вспомним хотя бы, что первый памятник Есенину в Рязани был воздвигнут лишь через полвека после его смерти. Как тут не поклониться вологжанам и тотьмичам!

Несмотря на дождь, людей собралось множество, и пока организаторы торжества заканчивали последние приготовления, море зонтиков, шалей, беретов сгрудилось вокруг монумента, затянутого белой простыней.

Когда настало время открытия, мы с Передревым вышли из толпы, я потянул

за шнур, покрывало медленно поползло вниз, обнажая голову и плечи уже не Коли Рубцова, а кого-то другого, отделившегося от нас и ушедшего в царство русской поэзии.... Он сидел на скамье, в пальтишке, накинутом на плечи, нога на ногу, руки со скрещенными пальцами покоились на колене...

Глубокие глазницы, высокий воротник грубого свитера, в котором часто ходил Рубцов, высокий лоб, задумчивый наклон головы — от всего образа веяло духом отрешенности от соблазнов мира сего, внутренней сосредоточенностью, чувст-

164

вом собственного достоинства и неуязвимости от внешних обстоятельств жизни.

В отдалении от холма, на котором стоял памятник, виднелись поставленные в свое время лихими тотемскими землепроходцами, возвращавшимися из рискованных походов, полуразрушенные церкви, как бы иллюстрируя пронзительные стихи Николая Рубцова:

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье меж этих померкших полей,
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей.

...В послевоенное время в моей зеленой полуразрушенной Калуге недалеко от нашего дома находилась скульптурная фабрика. Размещалась она в ограде бывшей церкви, и я по пути на реку, к золотым окским пляжам всегда останавливался возле нее. С чувством некоего таинственного приобщения к особому миру фигур, загромождавших церковный двор, я глядел на мощные торсы дискоболов, на гипсовые фигурки пионеров, на очень изящные, как мне тогда казалось, статуи женщин с веслами или с подойниками в каменных руках... Все они потом расселялись по районным центрам, вырастали в нашем Центральном парке культуры и отдыха, в маленьких городских скверах и на площадях небольшого города... Теперь я понимаю, что это, конечно же, были весьма аляповатые цементные временки, но, даже понимая это, я хочу сказать несколько слов в их защиту. Каждому времени — свои песни, свои книги и своя скульптура. В этих убогих стандартных фигурах жила помимо халтуры и однообразия и некая глубина и правда нашего времени, осознававшего свое величие и спешившего кое-как, наспех хотя бы, это величие зафиксировать. И вот сейчас, глядя на полуразрушенные скульптуры, установленные в те годы, на потемневшие подтеки на цементе и гипсе, на куски железной арматуры, торчащие из какой-нибудь культы, я думал: все-таки от этих рудиментарных и стандартных останков массового искусства той эпохи веет еще и аскетизмом, и бедностью, и целомудренностью, и неприхотливостью, и даже мысли о каких-то общественных идеалах, искаженных и не до конца осуществленных, возникают у меня при виде этих рассыпающихся от времени статуй. Нет ничего более вечного, чем временные сооружения. Я понимаю и условность и правду этого афоризма. Да, цемент разваливается. Но идеи, грубо воплощенные в нем, наверное, останутся вечными. Вот почему в начале 70-х годов я написал:

165

Да будет вечен этот гипс,
его могучая фактура!
Вот дискобол: плечо и диск,
а между ними арматура...

В те аскетические довоенные и послевоенные времена наша скульптура выражала как бы общие идеи и потому была столь однообразна. Тогда она играла

либо украшательско-прикладную роль, либо монументально-идеологическую. Мы не могли позволить себе — и средств не хватало да и самосознания такого еще не было, — чтобы какой-нибудь маленький городок решился бы поставить памятник своему знатному земляку, герою, воину, поэту, то есть украсить себя ликом или фигурой, присущими только этому городку, этой малой родине знаменитого человека. Такое время наступило лишь через несколько десятилетий, и лишь поэтому стало возможным создание памятника Николаю Рубцову в маленьком северном городке Тотьма на высоком берегу реки Сухоны...

У Николая Рубцова есть два пророчества: "Я умру в крещенские морозы" и "Мне поставят памятник на селе"... Оба они оправдались.

— Больше стало на Руси еще одним святым местом! — сказал, выступая у памятника, его создатель, скульптор Вячеслав Клыков.

Это было правдой, потому что вечером, во время литературного праздника учительница Тотемской средней школы, где учился Рубцов, рассказала, что в Тотьму и Николу уже много лет люди приезжают "к Рубцову", расспрашивают земляков о нем, записывают воспоминания, оставляют их в местном музее, пишут картины, снимают любительские кинофильмы о родине поэта.

А профессор Литературного института Михаил Павлович Еремин, у которого двадцать лет назад учился Рубцов, произнес такие слова, от которых зал загудел и взорвался рукоплесканиями:

— Думая о Рубцове, глядя на его памятник, побывав в его деревне, вспоминая его стихи, я сегодня испытываю чувство, которое давно уже не приходило ко мне, я горжусь, что я русский!

Поздно вечером под проливным дождем мы возвращались к теплоходу, чтобы отправиться обратно в Вологду.

Я нес в руках целую охапку цветов, подаренных школьниками, да еще друзья прибавили свои букеты, чтобы положить их к подножию монумента, мимо которого мы проходили на пути к пристани... В дождливой тьме, то и дело оступаясь в лужи, я прошел по дорожке, усыпанной песком, к Рубцову.

166

Огляделся. Под обрывом призрачным сиянием светилась река, над которой угадывалось движение темных дождевых облаков. На их фоне с трех сторон, окружая памятник, чернели силуэты церквей. Вокруг не было ни души... Увязая в мокром тяжелом песке, я поднялся на земляную насыпь к скульптуре и хотел было опустить цветы к подножию — на землю, но почему-то передумал, выпрямился, вложил их в холодные бронзовые руки и, почувствовав металлический холод, поднял взгляд: на меня из глубоких глазниц смотрел не Коля Рубцов, а кто-то иной, уже легендарный, от прикосновения к которому тревога затекала в душу. "Ну ладно тебе, — одернул я себя. — Это же не Медный Всадник, не Статуя Командора — это твой друг, он сам приглашал тебя двадцать с лишним лет тому назад на свою родину, вот ты и приехал..." — Здравствуй...

3

В конце 1971 года я получил письмо из далекого Барнаула от доселе неизвестной мне медицинской сестры Евгении Нифонтовны Кошелевой. Письмо положило начало нашей долгой переписке. Медсестра была, как я теперь понимаю, из той породы читателей, которая образовалась за два-три послевоенных десятилетия. Возникновение этой породы было чудом советской цивилизации. Размышляя о людях такого склада сегодня, я убеждаюсь, что ничего в нашей истории не прошло даром: ни культурная революция, ни коллективизация, ни строительство домн, комбинатов и городов, ни жертвы великой войны. Михаил Пришвин однажды проницательно заметил: "Наша поэзия происходит из недр природы, когда мы десятки тысячелетий в борьбе за

кусочек хлеба тесно сближались с ней. Поэзия эта вышла, как победа, когда стальной узел необходимости был развязан..." Вот и появление умного, наивного, страстного, ревнивого, живущего поэзией читателя было обусловлено тем, что после войны мы, в очередной раз перенапрягая народные силы, развязали "узел материальной необходимости". "Окрепла Русь. Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат".

Из первого письма Кошелевой — "Нифонтовны", — как она позднее стала называть себя в письмах.

"Я читательница, кстати, не просто придирчивая, но свирепая даже, если в поисках истинной поэзии натываюсь на бесцветные стихи или нерадиво оформленную книжку".

167

Какое слово нашла — "свирепая"! Именно такими — ревнивыми, взыскующими истину, влюбленными в нас, поэтов, но не прощающими нам ни малейшей лжи, слабости или фальши, были наши читатели 60—80-х годов. Они читали всё, что выходило из-под пера их кумиров, вступали в споры со злыми завистливыми критиками, поносившими нас, засыпали редакции газет и журналов письмами, протестами, восторгами, искали нам единомышленников на необъятных просторах страны, воодушевлялись нашими удачами и победами, печалились и скорбели во время наших болезней и житейских невзгод. Мы были их личной жизнью, чуть ли не собственностью, но зато обязаны были соответствовать идеалу, рожденному в их душах. Их любовь не только согревала, но могла обжечь или даже испепелить дотла.

Из письма Нифонтовны:

"А вот книжечка Вл. Соколова "Снег этого года" мне так и не попала, сколько я ее ни искала. Хирею, чахну без нее. Вы помните, как догорает свеча? Вот и я так же. Беру книжечку А. Передреева — посвящение Вл. Соколову. Волна нежности. Беру Вашу книгу — посвящение Вл. Соколову. Волна нежности. Утаскиваю ее к себе, уединяюсь с ней и... с тех пор тоска и тревога уже не отпускают меня. А тревога смутная, такого же свойства, что и раньше завладевала мной, как предчувствие беды для кого-нибудь из близких мне людей, даже если они были очень далеко от меня..."

Таких читателей (а их было много, с ними моя переписка длилась десятилетиями) не было в мировой истории ни в одну эпоху, ни в одной стране. Только в Советской России. Ну, подумайте: в руки Нифонтовны попадает моя книга "Ночное пространство". Она пишет мне письмо, наполненное строфами и отрывками из моих же стихотворений, поразивших ее, признается, что очень любит ночь, звездное небо, полночную тишину, и вдруг эта медицинская сестра из далекого провинциального Барнаула с Кооперативной улицы, как само собой разумеющееся, цитирует: "И только две вещи неизменно наполняют душу изумлением: ночное небо надо мной — и нравственный закон во мне". Иммануил Кант! А первое письмо от нее, пересланное мне из "Литературной газеты" (Нифонтовна не знала моего адреса), заканчивалось словами: "Где бы услышать старинную русскую песню, забытую накрепко: "Ты гори, гори, моя лучина, догори с тобой и я". Хорошо бы стих написать с такой вот интонацией, может, полегчает?"

Боже мой, как легко и свободно парила в ночном пространстве душа Нифонтовны — от великих слов Канта до

168

бессмертной русской песни! Какого читателя мы вырастили, какую жизнь с ним прожили и ...какого читателя мы потеряли! Мы лечили его душу, мы помогали ему жить в нашем суровом мире, а он ободрял нас, укреплял наш мятущийся дух, нашу веру в Россию, в добро, справедливость, красоту... Мы прощали ему его

свирепость, его порой невыносимо требовательную любовь, его безмерную ревность, а он писал нам письма, о которых Блок говорил, что "они помогают жить"...

...Однако сейчас, разбирая в заснеженной деревне папки с читательскими письмами, я погрузился в послания Нифонтовны лишь для того, чтобы разыскать в них страницы о Николае Рубцове. Они в то время поразили меня.

Он был любимым ее поэтом, и мне она написала лишь потому, что от кого-то узнала: у Станислава Куняева есть стихотворенье, посвященное Рубцову.

Из письма от 4 июля 1972 года:

"У Вас есть один стих, посвященный Рубцову, но мне он не встречался нигде. Если бы Вы могли мне его прислать. Просьба моя кажется дерзкая, наглая, но я серьезно давно уже — таю про себя такое страстное желание... Стихи Ваши в "Литгазете" встревожили меня упоминанием о хирургии и понтапоне и ...портрет Ваш. Что-то новое, непривычное в облике. Это тревожит. "Но в наши годы плакать невозможно, и каждый раз себя превозмогая, мы говорим: всё будет хорошо", это из "Осенних этюдов" Рубцова. — Напишите мне — как он погиб".

Не помню, что я ответил ей. К сожалению, в те годы, отвечая на письма, я обычно не оставлял никаких вторых экземпляров, потому что письма, как правило, писал от руки.

Я ни разу не встречался с Нифонтовной, не знаю, как сложилась ее жизнь. Лет через пять после первого письма наша переписка прекратилась. Сейчас я думаю, что, может быть, весь душевный накал ее писем, их предельная искренность и какая-то сверхчувствительность — свойство болезненной и экзальтированной натуры? Но откуда тогда удивительная эстетическая пронизательность, растворение в ткани и сущности стиха, искрящийся читательский талант, которого не хватало и не хватает многим модным критикам прошлых и нынешних времен?

Из письма Нифонтовны от 22 декабря 1973 года:

"И вдруг наткнулась на Ваше стихотворение "Памяти поэта". И с первых строк пока еще поверить не смела, что это о нем-таки, а ни о ком другом. Жар подыматься стал во мне, подкатываясь к горлу. Вообще — последнее время как-то

169

все горлом чувствую. Вся кровь приливает к горлу, и оно пылает огнем. Это лучший стих о Рубцове, ибо он изнутри написан. Лучший из всех ему посвященных стихов. Судьба мне дала единственную встречу с Рубцовым. Это было в 57-м году на Алтае. Дорога шла через сосновый бор. Он сидел на пригорке, на закате. Я вышла из лесу, увидела его и тотчас пошла прямо на него. Как увидела — так прямо и пошла. Свернула со своей дороги. Мне было 19, ему 21. Я по замыслу природы рыжая вся как есть, а в детстве меня за это преследовали, проходу не давали, что я чувствовала себя глубоко несчастной и даже не человеком вообще. Так ведь диавол подсказал мне в тот июль в жгуче-черный цвет волосы окрасить, то есть, вернее, даже сжечь их краской — они стали жгуче-черными. Вот я выскочила из лесу на опушку и сразу увидела черную маленькую фигурку на холме. Против закатных лучей она выглядела совершенно черной. И я тотчас свернула со своей дороги и пошла прямо на него, как черная ворона, а потом он пошел за мной. "Не в сторону, а напрямик". У него и тогда уже был "тяжелый" — тяжелый взгляд. Но нет, это не то слово. Это был взгляд неотступно сверлящий, пы-та-ющий. (От слова "пытка".) Он мне показался совсем черным. Волосы черные, брови прямые, глаза карие, золотистые на свету. Мамочки мои, золотистые! Но это уже в минуту относительного покоя. Все верно у вас о нем. Именно так: в момент относительного покоя, ибо никакого покоя с ним быть не

может. Он меня и после гибели не отпускает, держит словно мощным магнитом — оттуда! Под этим взглядом было в высшей степени неуютно. Может, он и стал со временем именно "тяжелый", но тогда в нем была еще страстная надежда на жизнь. Страстная! На-деж-да. На — жизнь.

Мы с ним встретились и не узнали друг друга, то есть не поняли, что нам надо непременно дружить. Не упускать друг друга из виду. Впрочем? он-то все же догадался, хотя и сказал с сомнением: "Но ты ведь не станешь со мной дружить! Я рабочий, а ты в институте учишься". "Почему это я не стану с рабочим дружить?!" — спросила я почти грозно. (Мне-то и в самом деле нужен был друг.) Но больше я его не увидела. Но я его не обманула. Я стала ему подругой уже после гибели его. И даже день его гибели чуяла на расстоянии. Я тогда жила в деревне на Псковщине... Да, я его забыла через три дня и на шестнадцать лет. И нынче все вспомнила. Меня все время тянуло на Запад. Всю жизнь. На Северо-Запад. Дело в том, что я никогда не любила детство свое и юность. Моя жизнь — только молодость и зрелые годы, и потому я активно забыла

170

все, что связано с Барнаулом. Только любимых учителей мединститута помнила тепло и с благодарностью. Все остальное вытеснила из своей памяти, и его заодно.

Уехала из Барнаула и десять лет скиталась на Западе Союза. И всё вокруг Вологодчины кружила, сама не отдавая в том отчета. Это земля моих дедов. Еще отец там жил в нищей деревишке глухоманной. Забыла все намертво, что связано с Барнаулом, так, что едва-едва с великим трудом его нынче вспомнила, встречу в сосновом бору на закате. Он говорил: "Я тебя пожалел, я не хотел тебя опозорить". Вот так сказал. Пожалел! "Когда заря смеркается и брезжит... мне жаль ее". Я же была черная, как ворона:

Увижу ворона
И в тот же миг
Пойду не в сторону,
А напрямик.

Возможно, возможно...

В его прищуре открывалась мне
Печаль по бесконечному раздолью.

Печаль? Эту Вашу строчку почему-то не воспринимаю. У него бунт в самой гармонии. Он шел к тихой ярости. У Лермонтова мысль в лоб высказана. У Рубцова нет мыслей "в лоб". Но бунт в самой гармонии. В звукописи.

"Крещенские морозы" его — изумительная звукопись, призванная к нагнетанию трагического.

"По безнадежно брошенной земле" — а вот это очень точно. Это я чувствую.

И не дышал его угрюмый стих
надеждою на них,
хоть самой малой.

Здесь Вы сказали очень точно! Потому-то он и стал гениальным поэтом. Ни одна женщина не окликала его для любви. Любимое слово мое "угрюмый". И звукопись в этом слове: сдвоенное "у-ю". Красно-фиолетовая нота. У-У-У!.. Ю-Ю-Ю! Любимые гласные.

Истоскую ночь глухую,
чую голос ветровой.
На беду его лихую
Кину жребий золотой!

171

У-У-Ю-Ю! Какая звукопись, Стасик! Какая звукопись! Это оке волчье завыванье!

Размер Вашего стиха "Памяти поэта" — ведь в нем дыханье Ваше. Это размер волновой, волнами: подъем — спад. Прилив — отлив. Кстати, занимательно, что единственный стих, написанный таким размером у Вас — это посвященный Николаю Рубцову.

19 января три года со дня его гибели. Хочу письмо от Рубцова... Я слушаю гармонию сфер и пытаюсь уловить, что дух Николая Рубцова мне внушает. И потом идеи эти рубцовские внушаю современникам живущим. Это вот и значит: быть ему подругой и после гибели его".

"...Потянуло опять к "Вечной спутнице" Вашей: "Он выглядел, как захудалый сын". Как точно! Помните его такого? В "Сосен шум" его портрет... Серенький, скромненький, как мышка... робкая надежда на жизнь еще теплится в нем. А вот портрет из "Зеленых цветов" — уже ничего человеческого. Он уже миру иному принадлежит. Это, вероятно, последний его портрет? А? Чем больше в поэте человеческого, тем меньше гения. Чем больше гения, тем опасней это, тем смертельней для жалкой земной оболочки его, в которой огонь священный горит. Таковы жестокие законы искусства. Рубцов та же кукушка. Крамольная птица. Гнезда не вьет. Детей не воспитывает. Но в голосе ее — все возможности поэзии".

И еще отрывок из последнего письма, помеченного декабрем семьдесят пятого года, после которого русская вещунья, сивилла, гадалка, кукушка, пророчица, ворожея, знахарка Нифонтовна навсегда исчезла из моей жизни:

"Я, конечно, понимаю, что плевать Вам на всех русских читателей Ваших, тем более провинциальных, тем более женского рода. Все это понятно. Вот выйдет из тюрьмы Людка Дербина — я ее заставлю писать стихи гениаль-ные-е... раз уж теперь нет Николая Рубцова. Книга Рубцова "Последний пароход" выпущена из рук вон паскудно, испохабили книгу нашего русского гения! Художественное оформление — это стилизация под народное, то есть пошлость, тираж: мизерный, словно Рубцов какой-то начинающий. Нет ему жизни и после гибели. Нет ему жизни в этом еврейском литературно-коммерческом мире... Во всей России не могу найти ни одного русского поэта... Словно вымерло все вокруг. Есть советские поэты, а русских нет. Пустынь, пустынь, как в мире дописьменном. Был единственный русский поэт, и того задушили..."

172

учтите, Стасик, следующая очередь, возможно, ваша.

От злости безмерной принялась за Вашу "Вечную спутницу" и попалась я, бедная, на крючок, как те простодушные форельки, которым Вы любите жабры вспарывать. (Садист Вы, конечно, Стасик, но это так, к слову.) Я Вас включила в генетическое ядро современной поэзии. Вы поэт русский были и есть. И я Вас живьем не выпущу с этого света.

*С Новым годом.
Нифонтовна".*

...Сижу перед заиндевелым окошком своей деревенской избы, подымаюсь из-за стола, иду по скрипучим, изъеденным шашелем половицам к печке, подбрасываю пару березовых полешек — береста с треском сворачивается,

занимается языками пламени, невольно вспоминаю рубцовское "и друг поэзии священной — в печи березовый огонь" — возвращаюсь к столу и, словно карты в пасьянсе, снова перебираю письма... Есть ли смысл ворошить прошлое, беседовать с теньями, осмысливать опыт, может быть, совершенно ненужный завтрашнему дню? По телевизору с утра до вечера празднуют шестидесятилетие Владимира Высоцкого. А вот, кстати, один из редких, сделанных под копирку моих ответов читателю Геннадию Ивановичу из Орла. Это 1981 год. В своем письме он приравнял судьбу Высоцкого к судьбе Рубцова — мол, оба были не поняты и гонимы и властью и обществом, оба продолжали список поэтов-изгоев русской истории—Лермонтова, Есенина, Гумилева, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака... Перечитываю через 16 лет с лишним мой ответ ему:

"Вы сравниваете две несравнимые судьбы. Одна — бешеная, пускай вначале полуподпольная, но потом во многом организованная слава, куча поклонников, театр, пресса, "мерседесы", сладкие, ядовитые блага массовой культуры, открытая виза, залы Франции и Америки, пляжи Таити, деньги, репортеры, поклонники, отравление даже не водкой, а наркотической славой — или просто наркотиками, толпы на Ваганьковском кладбище, эфросы, вознесенские, рязановы, любимовы, шемякины, влады — словом, весь могущественный клан людей западной ориентации, мировой антрепризы с деньгами, связями, влиянием аж до самого-самого верха...

И другая жизнь — сиротство, детдом, одиночество, бедность, тралфлот, Кировский завод, обшарпанная гармошка, маленький круг друзей (несколько человек!), бескорыстное, подвижническое, монашеское служение поэзии

173

("душа хранит"), три тощеньких книжонки, изданные при жизни, бездомность, последнее письмо к секретарю обкома с просьбой, чтобы хоть комнатку какую-нибудь дали. Нет, не звали его к себе "большие люди", чтоб он им пел "охоту на волков". Но и на могилу его на новом уютном вологодском кладбище к нему приходят только те, кто чужую могилу рядом не затопчет... И на надгробье у него не рекламно-пропагандистские лозунги Вознесенского ("О златоустом блатаре рыдай, Россия!"), а свои собственные, для своей души сказанные: "Россия, Русь, храни себя, храни!" Вот и всё. Совершенно разные жизни. Общее только одно — пили и умерли молодыми. Во всем остальном — ничто не объединяет этих поэтов. На том и стою.

Ваш Ст. Куняев

6.11.81 г."

...По телевидению закончились дни Высоцкого и началась неделя Бродского. Открылась она программой "Старая квартира", которую ведет некий Гурвич, очень похожий на бывшего партийного функционера, позже посла России в Израиле Александра Бовина. И ведущий, и все собравшиеся в зале поклонники Бродского стенают и плачут о том, в каких невыносимых условиях жил прекрасный Иосиф, высланный на полтора года в одну из архангельских деревень. Да Николай Рубцов в подобной же деревне Никола полжизни прожил, свои лучшие стихи об этой жизни написал, счастливым чувствовал себя не раз под своим северным небом на "тихой родине", на высоком берегу речушки Толшмы. Был я там в последний раз в январе 1996 года, когда, как сегодня у Высоцкого, у Рубцова праздновали шестидесятилетие. Собралось человек двести жителей Николы и соседних деревень, открыли музей Рубцова в деревянной школе, выпили, повспоминали. Ни одного человека ни с одной программы Центрального телевидения не было. И у Высоцкого и у Рубцова, как всё при жизни сложилось, так продолжается и после смерти.

Борис Слуцкий внимательно присматривался к творчеству молодых русских поэтов начала шестидесятых годов. Анатолия Передреева он уговорил поехать на Братскую ГЭС "изучать жизнь", сам вызвался быть редактором моей первой москов-

174

ской книги "Звено", высоко ценил поэзию ленинградского геолога Леонида Агеева, ратовал за прием в Союз писателей Юрия Кузнецова. Недаром же мы в нашем московском кругу звали его весьма дружелюбно: "Абрамыч".

Но недавно молодой исследователь Г. Агатов обнаружил в одном из архивов (РГАЛИ) неизвестное доселе письмо Николая Рубцова к Борису Слуцкому, рецензию Слуцкого на рукопись книги Рубцова "Звезда полей" и те его стихи, присланные Слуцкому вместе с письмом, в которых есть существенные различия по сравнению с известными всем каноническими текстами тех же стихотворений.

На моей памяти Борис Слуцкий еще раз принял участие в судьбе Николая Рубцова. Однажды в Центральном Доме литераторов встретились Николай Рубцов, Игорь Шкляревский и я. Рубцов после скромного застолья стал читать нам стихи, и вдруг его грубой репликой прервала одна околелитературная девица, сидевшая по соседству за столиком с поэтом Владимиром Моисеевичем Луговым. Рубцов был уже нетрезв и потому резок:

—А эта б...ь чего вмешивается в наш разговор! — произнес он на весь пестрый зал. Франтоватый вылощенный Луговой суетливо вскочил со стула и неожиданно для всех нас попытался защитить честь своей подруги какой-то полупощечиной Рубцову. Сразу же завязалась потасовка, в которую влез находившийся в зале администратор Дома литераторов. Рубцов замахнулся на администратора стулом, но на руках у него повисла официантка Таня, кто-то помог мне вытащить из зала Лугового вместе с его дамой, кто-то из сотрудников бросился к телефону вызывать милицию, что и оказалось самым скверным в тот вечер: не успели мы одеться и слинять, как к дверям нашего дворца подкатил "воронок"... Протокол, свидетели, короче говоря, всё, что было положено в этих случаях, произошло, а недели через две Коля показал мне повестку с вызовом в суд. Я позвонил Александру Яшину, Борису Слуцкому, рассказал им, как все произошло, и в день суда мы все встретились в казенных коридорах. Александр Яшин взял с собой на помощь известную поэтессу и еще, красивую женщину Веронику Тушнову, с которой у него в то время был роман. Николай Рубцов, кажется что в валенках, в замурзанной ушанке и стареньком пальто, битый час сидел в темном коридоре, пока мы вчетвером уговаривали судью простить, замять и отпустить. Уговорили. Яшин, Тушнова и Слуцкий распрощались с нами на Садовом кольце возле суда, а мы с Колей пошли в соседнюю забегаловку-стекляшку

175

отметить его освобождение, поскольку вход в Центральный Дом литераторов был закрыт ему надолго.

Слуцкий не случайно взялся помочь Николаю Рубцову. В июньском номере "Нашего современника" за 1999 год опубликовано единственное письмо Николая Рубцова Борису Слуцкому. Г. Агатов сделал к публикации небольшой комментарий:

"Письмо Рубцова с пятью приложенными к нему стихотворениями хранится в РГАЛИ, в фонде Б. А. Слуцкого. Писем Рубцова сохранилось немного, со времени его смерти опубликовано около 40, в их числе нет ни одного письма Слуцкому. Об отношениях Рубцова и Слуцкого мы вообще мало что знаем.

Известно, что Слуцкий хлопотал за Рубцова после скандала в ЦДЛ в декабре 1963 года, грозившего Рубцову большими неприятностями. Наталия Яшина, публикуя в "Нашем современнике" письма Рубцова к своему отцу, в связи с этим инцидентом писала: "Поэт Станислав Куняев позвонил Яшину и Слуцкому. Слуцкий лично Рубцова не знал, но слышал о нем от поэтов. Его позвали на помощь, надеясь на сильный характер и внушительно-важный вид" ("Наш современник", 1988, № 7, с. 183). Теперь выясняется, что к тому времени Слуцкий уже несколько знал Рубцова, по семинару Н. Сидоренко, быть может, ответил и на его письмо.

В фонде же Слуцкого в РГАЛИ находится и рецензия Слуцкого на сборник Рубцова "Звезда полей". Рецензия не закончена и никогда не публиковалась. Вот ее полный текст:

"Первая книга поэта*.

Это — стандартный заголовок, примелькавшийся, ничего не выражавший. Каждое из его слов надо мотивировать заново. Попробую сделать это в применении к первой книге поэта Николая Рубцова.

Первая книга часто бывает сборником юношеских упражнений, доказательством энергии автора и жалостливости редакторов.

Первая книга в подлинном смысле этих слов — обязательно пропущенная через ямбы и дольники судьба, новый человек, новая, доселе не бывшая живая душа.

Узколицый человек в берете и непонятном шарфе, глядящий на нас с приложенного к книге портрета — такую живую душу в поэзию принес.

*"Звезда полей" была вторым сборником Рубцова.

176

Вехи его недлинной биографии — детство, юность в северной деревне, матросская служба на северных же морях и реках, Москва с ее литературным институтом.

Особый строй души — элегическая грусть, сочетаемая с любовным приятием жизни. Особая манера письма, с первого взгляда связанная скорее с XIX веком нашей поэзии, чем с двадцатым, а по сути дела вполне современная, потому что и чувства и мысли нынешней периферии, глубинки, выражены Рубцовым совершенно точно.

Все это вместе и складывается в облик книги. Она называется "Звезда полей" — по одному из лучших стихотворению книги. Это название — неслучайное.

Критика сейчас хвалит почти все, и сказать о книге Рубцова, что это хорошая книга — значит ничего о ней не сказать.

Поэтому применю старинный способ сравнения: наряду с первой книгой С. Липкина, "Звезда полей" — одна из среди наиболее значительных книг последних лет" (РГАЛИ, ф. 3101, № 100, с. 57—58).

Но вот текст и самого письма:

"Дорогой Борис Абрамович!

Извините, пожалуйста, что беспокою.

Помните, Вы были в Лит. институте на семинаре у Н. Сидоренко? Это письмо пишет Вам один из участников этого семинара — Рубцов Николай.

У меня к Вам (снова прошу извинить меня) просьба.

Дело в том, что я заехал глубоко в Вологодскую область, в классическую, так сказать, русскую деревню. Все, как дикие, смотрят на меня, на городского, спрашивают. Я здесь пишу стихи и даже рассказы. (Некоторые стихи посылаю Вам — может быть, прочитаете?)

Но у меня полное материальное банкротство. Мне даже не на что выплыть

отсюда на пароходе и потом — уехать на поезде. Поскольку у меня не оказалось адресов друзей, которые могли бы помочь, я решил с этой просьбой обратиться именно к Вам, просто как к настоящему человеку и любимому мной (и, безусловно, многими) поэту. Я думаю, что Вы не сочтете это письмо дерзким, фамильярным. Пишу так по необходимости.

Мне нужно бы в долг рублей 20. В сентябре, примерно, я их верну Вам.

Борис Абрамович! А какие здесь хорошие люди! Может быть, я идеализирую. Природа здесь тоже особенно хорошая. И тишина хорошая. (Ближайшая пристань за 25 км отсюда.)

177

Только сейчас плохая погода, и она меняет всю картину. На небе всё время тучи.

Между прочим, я здесь первый раз увидел, как младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно. Бабки говорят, что в это время с ними играют ангелы...

До свиданья, Борис Абрамович.

От души, всего Вам доброго.

Буду теперь ждать от Вас ответа.

Мои стихи пока нигде не печатают. Постараюсь написать что-нибудь на всеобщие темы. Еще что-нибудь о скромных радостях.

Мой адрес: Вологодская область, Тотемский район,

Никольский сельсовет, село Никольское. Рубцову Николаю.

Салют Вашему дому!

5/VII—63г."

Николай Рубцов, конечно же, не случайно написал Слуцкому письмо с просьбой о помощи.

Бывая в нашем московском кругу, он не раз, видимо, слышал от меня, от Передреева, от Кожина, что Борис Слуцкий — безотказно и по-деловому относится и к просьбам

подобного рода.

Но в этих двух документах — в рецензии и письме — меня особенно заинтересовало одно обстоятельство: как ярко и выпукло отразились в них характеры обоих людей. Четкая и одновременно достаточно глубокая и содержательная манера Слуцкого. Не случайно сопоставление книги Рубцова с книгой Липкина: Слуцкий, словно стратег, по-хозяйски, двумя-тремя фразами как бы пытается освежить картину поэзии тех лет, выдвинуть сразу два имени, казалось бы, с противоположных флангов ее... Рецензия не дописана, но я помню свой короткий разговор со Слуцким о Рубцове. Я прочитал ему стихотворение "Журавли", он задумался. И хотя стихи (было видно) произвели на него впечатление, однако форма их показалась ему, воспитанному на Маяковском, Хлебникове, раннем Заболоцком> чересчур архаичной (недаром он любил говорить, что каждый поэт должен летать на самолете собственной

178

конструкции), Абрамыч произнес что-то о бальмонтовщине и есенинщине, о некой формальной "несовременности" стихотворенья... так что, думаю, Рубцова до конца он понять и не мог. Но, между прочим, и русские поэты, особенно земляки Рубцова, не сразу поняли и приняли его.

Я помню, как он жаловался на них, которые, по его словам, ценят стихи Ольги Фокиной куда выше, нежели его.

Помню свои горячие стычки с Сергеем Поделковым, уверявшим всех, что рубцовские "Журавли" — сплошное эпигонство, подражание братьям Жемчужниковым, известным по песне: "Здесь под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль..."

Помню, как непросто было нам убедить Егора Исаева, который тогда заведовал поэтической редакцией в издательстве "Советский писатель", что книга "Звезда полей" — событие, и что издать ее нужно как можно скорее.

Но вернусь к письму Рубцова Слуцкому. В нем есть несколько наивных, лукавых и одновременно дерзких интонаций, которые всегда были свойственны Рубцову, когда он попадал в круг неизвестных людей или обращался с чем-то личным к малознакомому человеку. Ситуация щепетильная. Он просит двадцать рублей в долг у человека, который почти не знает его. В письме есть застенчивые фразы, которые он писал, как бы борясь с самим собой. "Некоторые стихи посылаю Вам — может быть, прочитаете?" "Постараюсь написать что-нибудь на всеобщие темы. Еще что-нибудь о скромных радостях" (он, не будучи уверен, что его стихи понравятся Слуцкому, как бы обещает написать в будущем что-то более значительное). Одновременно, желая смягчить впечатление от своей "дерзкой" просьбы, он делится со Слуцким некоторыми тайными сторонами своего внутреннего душевного мира ("А какие здесь хорошие люди!" "Младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно"). Рубцов рискует, но все-таки надеется, что его поймут. А уж в конце письма он совершенно "дал петуха", выкликнув панибратское "Салют Вашему дому!" — видимо, устал от своей же собственной застенчивости и робости.

Такие переходы в настроении от целомудренной стеснительности до внезапных приступов дерзости мы замечали за Рубцовым не раз. Однажды небольшая компания, уже порядочно разогретая, но желавшая погулять еще, по предложению Вадима Кожина поехала к его армянским друзьям, жившим на Садовом Кольце. Вадим, чтобы заинтересовать хозяев в набеге, позвонил им и сказал, что с нами Рубцов, и что он будет петь.

179

Армянская семья жила по тем временам богато. Поэты вошли в просторную многокомнатную квартиру, где в гостиной на столе стояли дорогие коньяки, пол был покрыт толстым цветным ковром и в креслах сидели хозяева и гости, среди которых был какой-то немецкий ученый-филолог, жаждавший послушать песни Рубцова.

Николай, в своем заношенном костюмчике, в грязной рубашке, с обшарпанной гитарой в руках обалдел от этого великолепия и, видимо, от смущения сразу же выпил чуть ли не полный стакан коньяка, который ему поднесли тут же, с одновременной настойчивой просьбой что-либо "исполнить"... Но произошел неожиданный конфуз. Наверное, оттого, что гости уже приехали, мягко говоря, не совсем трезвыми, коньяк, судорожно проглоченный тщедушным поэтом, сразу же вырвался обратно из его чрева на роскошный, украшенный цветами восточный ковер... Все замерли в ужасе, хозяйка бросилась на кухню, вернулась с ведром и тряпкой и стала спасать ковер... Однако воспитанный немец бросился к ней, потребовал, чтобы тряпку отдали ему, и, наклонившись, стал вытирать блевотину... Был он, этот немец, невероятно толстым, зад его, с натянутыми на ягодицах брюками, колыхался перед нетвердо стоявшим на ногах Рубцовым, который от ужаса и смущения смог исторгнуть из себя лишь одну фразу: "Еще и жопу выставил, немчура проклятая!". Все от этой неожиданной фразы захохотали, и обстановка разрядилась, как воздух после удара молнии...

А в завершение хочу сказать лишь об одном: Николай Рубцов просит двадцать рублей у Бориса Слуцкого... Как горько мне сегодня думать об этом.

А летом 1998 года я побывал на открытии памятника Рубцову уже в самой Вологде, в центре города, на берегу реки. Друзья поэта подарили мне копию неизвестного доселе письма Николая Рубцова, написанного за четыре года до смерти.

"В Вологодский обком КПСС от члена вологодского отделения Союза писателей РСФСР

Рубцова Н. М. Заявление

Прошу Вашей помощи в предоставлении мне жилой площади в г. Вологде.

Родители мои проживали в Вологде. Я также родом здешний.

180

Жилья за последние несколько лет не имею абсолютно никакого. Большую часть времени нахожусь в Тотемском районе, в селе Никольском, где провел детство (в детском доме), но и там, кроме как у знакомых, пристанища не имею. Поскольку я являюсь студентом Литературного института им. Горького (студент-заочник последнего курса), то бываю и в Москве, но возможность проживать там имею только во время экзаменационных сессий, т. е. 1—2 месяца в год.

Все это значит, что у меня нет ни нормальных бытовых условий, ни нормальных условий для творческой работы.

Я автор двух поэтических книжек (книжка "Звезда полей" вышла в Москве, в издательстве "Советский писатель", "Лирика" — в Северо-Западном книжном издательстве), а также автор многочисленных публикаций в периодике, как в центральной, так и в областной.

В заключение хочется сказать, что меня вполне бы устраивала бы и радовала жизнь и работа в г. Вологда.

15.VII.67 г. *Н. Рубцов*".

Дали ему-таки комнатку, где он прожил последние три года жизни, а уж вечную прописку Николай Рубцов получил на вологодском кладбище, "в кругу берез любимых и печальных", где постепенно собрал вокруг себя своих друзей-земляков — Сергея Чухина, Виктора Коротаяева, Владимира Ширикова...

Но почему, почему после смерти Рубцова возник и продолжает жить до сих пор настоящий русский, трепетный культ его судьбы и его поэзии? Ведь никогда не был он модным, не стремился к известности, не рвался на эстрадные подмостки — ни на отечественные, ни на международные. Нет ни одной записи, ни одного кадра Рубцова на нашем телевидении, сохранилась лишь одна короткая радиозапись голоса, и все равно его поэзия каким-то чудом — естественно, постепенно и властно, без саморекламы, прессы, скандалов, конной милиции, антрепренеров, вопреки глобальной экспансии массовой культуры — выжила, укоренилась и проводит благодатную работу по просветлению душ человеческих... Почему? Да, видимо, потому, что, как бы ни соблазнялась человеческая натура потребительством, развлекаловкой, кайфом, — все равно ее лучшая часть, пусть иногда бессознательно, но жаждет идеала, гармонии, цельности, света. А ведь именно этими жизнерождающими стихиями живет поэзия Рубцова, и в этом его редчайшее значение для нашего времени, полного "тревог

181

великих и разбоя". Несмотря на свою тяжелую, полную лишений жизнь, он писал неоскорбляемой частью души и думал всегда о высоком. Его муза никогда не впадала, по словам Блока, в публицистическое разгильдяйство, не соблазнялась модными темами сиюминутной фельетонности, мертво громыхающей гражданственности, картинами социального и бытового распада. Он никогда не потрафлял низменным инстинктам публики, не ласкал ее потребительские страсти. Вглядываясь в свою душу, он пытался понять душу человеческую, душу русскую, с ее извечной добротой, широтой, милосердием, и несовременное слово "душа", вобравшее в себя как бы суть рубцовой поэзии, вдруг обратила к нему сердца и взоры современников. Иногда кажется, что цель иных современных поэтов — разложить душу и в буквальном и в переносном смысле слова. Для

Рубцова же душа, как бы ни давила на нее жизнь, как бы ни старалась превратить ее в "совмещенный санузел", цельна и неразложима.

Ну что ж? Моя грустная лира,
Я тоже простой человек,
Сей образ прекрасного мира
Мы тоже оставим навек.

Русский образ прекрасного мира, который мы создавали веками и который сегодня позволяем разрушать.

Как это перекликается с заветом Александра Блока: "Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен". Случайные черты никогда не затмевали для Рубцова красоту мира.

"Самоуважение нужно нам, а не самооплевание" — вот одна из последних записей Достоевского в дневнике. И, наверное, Николай Рубцов становится с каждым годом все дороже и нужнее нам, потому что растит в нас то самоуважение к себе, к русской земле, русской душе, русской истории, то самоуважение, без которого не может жить ни один великий народ...

Открывали мы в январе 1996 года в заснеженном вологодском селе Николе музей Николая Михайловича Рубцова, в заново отстроенной из желтых смолистых бревен школе-интернате, где он когда-то учился. Народу собралось в зимний морозный вечер под старый Новый год несколько сотен, видимо, из соседних деревень приехали... На стенках музея фотографии, автографы, документы из истории деревни, книжки Рубцова... Старики и бабки, довольные праздником, озираются, подойдешь к ним, спросишь чего-нибудь про Колю, хитро посмотрят и говорят что-то вроде того, что-"де, мы-то

182

его знали настоящего... Какой был! А не какой в книжках!..." Своя у них правда...

Р. С. Как это ни печально, но в последние несколько лет о Николае Рубцове, о его жизни и посмертной судьбе, о его друзьях и недругах написано много глупостей, продиктованных когда невежеством, а когда и прямой злобой. Профессор В. Новиков (литературовед со стажем) наконец-то через тридцать лет после смерти поэта додумался до того, что Николай Рубцов — это "Смердяков русской поэзии".

Недавно в Санкт-Петербурге вышла антология "100 русских поэтов" (издательство "Алетейя", 1997 г., составитель В. Ф. Марков). Профессор кафедры славянских языков и литературы Калифорнийского университета делает в антологии такое примечание к стихам Николая Рубцова: "Кумир "деревенщиков", Рубцов умер от того, что жена прокусила ему шейную артерию...". Просто сцена из американского фильма ужасов о вампирах.

Поэт Лев Котюков в своих мемуарах "Демоны и бесы Николая Рубцова" из кожи вон лезет, стараясь переписать прошлое. "Не надо Кожинову уверять публику, что он открыл нам поэта при жизни". А зачем Кожинову уверять публику? Та публика, которая помнит шестидесятые годы, и без всяких уверений знает, как Вадим Валерьянович ценил Рубцова и любил его поэзию при жизни поэта. Стоит лишь вспомнить его выступления тех лет, да заглянуть в его статьи.

А вот еще один домysel Льва Котюкова. Он пишет о Передрееве, который, пожалев для Рубцова рубль займа, мысленно произносит: "В арбатский дом, например, к Кожиновым, дальше прихожей тебе хода нет..." Я свидетельствую, что Рубцов не раз бывал и в кожиновском и в моем доме. Более того, однажды Передреев, Кожинов и Рубцов приехали за полчаса до наступления Нового года к отцу Кожинова. Были они уже в праздничном состоянии, и более всех Рубцов. Когда же отец Вадима сказал сыну: "Ну Передреев, Бог с ним, а этот чересчур

выпивший — нельзя ли без него? Кожинов поругался с отцом, хлопнул дверью, и вся компания поехала встречать Новый год в общагу.

Как снежный ком с каждым годом нарастает кампания по ревизии судьбы и жизни Рубцова. Вот и Виктор Астафьев к ней подключился и меня помянул недобрым словом в февральском номере "Нового мира" за 2000 год.

"Друзья, объявлявшиеся ныне во множестве у Николая Рубцова, в том числе выставляющий себя самым сердечным, самым близким другом поэта Станислав Куняев, не изволили

183

быть на скорбном прощании. Они как раз в это время боролись за народ, за Россию, и отвлекаться на посторонние дела им было недосуг".

Зря Виктор Петрович разбрызгивает свою желчь. Лучше бы написал о том, как он однажды Коле Рубцову не дал переступить порог своей квартиры и, больше того, "помог" ему с лестницы спуститься. Раньше Астафьев об этом охотно и со смехом рассказывал, что многие вологодские литераторы помнят. Сейчас, держа нос по модному ветру "культы Рубцова", помалкивает. Не буду подробно вспоминать, почему я не приехал в Вологду на похороны. Известие о смерти — дело всегда тяжелое, обессиливающее, надрывное. Не надо бы Астафьеву глумиться над моими чувствами тех печальных январских дней. Откуда ему было знать, что я думал и как переживал нашу общую утрату. Скажу только, что не "посторонними делами занимался", а некролог по просьбе Белова в "Литературную газету" писал. Собирал подписи друзей и добивался того, чтобы в номер его поставили. А что же касается ядовитой реплики Астафьева о друзьях, "объявившихся ныне во множестве", куда он и меня зачисляет, то добавлю только следующее. Недавно я, будучи в Вологде, с радостью обнаружил в вологодском архиве мои три письма Николаю Рубцову. А я-то думал, что они пропали. Нет, сберег их Николай Михайлович, несмотря на свою безбытную жизнь. Видимо, дорожил ими. Вот они, эти письма как свидетельство наших отношений.

"Здравствуй, дорогой Коля!

Как тебе живется в твоём прекрасном далеке? Скоро ли приедешь к нам, порадуешь нас?

Пишу тебе не только по велению души, но и по делу. Книжку твою я сдал уже давно в издательство "Молодая гвардия". Но пока ничего определенного они мне не говорят. В "Знамени" все стоит на месте. Я, видимо, заберу оттуда стихи и отнесу или в "Огонек", или в "Литературную Россию". Но я хочу, чтобы ты прислал мне еще стихов. Хотя бы из сборника "Душа хранит", чтобы у меня их было побольше.

Толя уехал в Грозный вместе с Шемой. Игорь завоевывает Москву.

Пиши. Привет тебе от Гали.

Пьем мало, ибо нет ни денег, ни настроения.

Твой Стасик".

184

"2 сентября 1964 г. —.....

Здравствуй, милый Коля!

Несказанно был рад твоему письму и спешу тебе ответить. Успокойся, никаких последствий наше поведение в ЦДЛ не имело, так как оно затмилось совершенно невероятным фактом: в тот же вечер какой-то крепкоголовый поэт разбил головой писсуар в уборной Дома литераторов. Так что ты остался студентом, и Передреев так оке цел. Со стихами в "Знамени" еще нет ясности. Как только она будет — я тебе напишу.*

Все мы живы-здоровы, чего и тебе желаем. Я даже сочинил несколько

стихов. Вот один из них (далее следовал текст стихотворения "Если жизнь начать сначала". — Ст. К.).

Обнимаю тебя.

Станислав".

"Здравствуй, милый мой отшельник! Поздравляю тебя с Новым годом. Рукопись на днях куда-нибудь отнесу. Она мне очень приглянулась по сердцу. Дай Бог тебе в Новом году новых радостей. Поклон от Гали. Обнимаю.

Стасик".

Все письма написаны Николаю Рубцову, еще неизвестному России поэту, в 1964 году. С Виктором Астафьевым он познакомился лишь через пять лет. Так что не следовало бы красноярскому классику язвить по поводу наших отношений. Лучше бы подумал о том, что в памяти вологжан еще живут слова Николая Рубцова о нем, об Астафьеве: "обкомовский прихвостень". Впрочем, в новомировских воспоминаниях есть немало точных и душевных размышлений о судьбе и поэзии Николая Рубцова, а также страстные монологи о Владимире Высоцком и нынешнем Останкино, под которыми я и сам готов подписаться. Но там же и столько глупостей наворочено о советской эпохе, о скульпторе Вячеславе Клыкове, который своего Сергея Радонежского "скоммуниздил у древних ваятелей", о "чудовищном государстве под звериным названием Эс Эс Эс Эр", о "нынешних коммуняках", что поневоле подумаешь: "Куда там Новодворской или Сванидзе до Виктора Петровича! Поистине "широк русский человек!"

* Речь шла о каком-то очередном скандале в ЦДЛ, в котором участвовали и Николай Рубцов, и я, и Анатолий Передреев.

185

Наш первый бунт

Русские патриоты и диссиденты. Еврейские откровения последних лет. Мои дневники семидесятых годов. Подготовка к дискуссии "Классика и мы". Мое выступление с трибуны. Жребий брошен. Зал и ораторы. Публичные схватки на сцене. Отзывы и легенды мировой прессы и дискуссия. ЦК и КГБ в ужасе. Меня изгоняют в отпуск

Многие функционеры идеологической и литературной жизни 60—80-х годов, которые всеми средствами боролись с нами в те времена, сегодня издали свои воспоминания. Читаешь Александра Борщаговского, Раису Лерт, Раису Орлову-Копелеву, Льва Копелева, Анатолия Рыбакова, Льва Разгона, Михаила Козакова (всех не перечислить, имя им легион), и у всех, когда речь заходит о нашем противостоянии, одно и то же: "антисемитизм, антисемитизм, антисемитизм".

Однако, восстанавливая в памяти атмосферу тех лет, вспоминая наши разговоры о Даниэле и Синявском, о Бродском, о Галиче, о "Метрополе", о Тарсисе, о бегстве Анатолия Кузнецова за рубеж, могу положить руку на сердце сказать: главная наша забота была не о том, кто из диссидентов еврей, а кто нет... Мы с той же недоверчивостью и отчужденностью относились к диссидентам-нееврейям: Виктору Некрасову, Владимиру Максиму, Андрею Синявскому, Александру Зиновьеву, Эдуарду Лимонову, генералу Григоренко, Анатолию Марченко.

186

Русские писатели отстранились от диссидентов и не принимали их лишь

потому, что чувствовали: воля и усилия этих незаурядных людей разрушают наше государство и нашу жизнь. Мы были стихийными, интуитивными государственниками, еще не читавшими Ивана Солоневича и Ивана Ильина, но уже тогда осознававшими, какие страшные жертвы понес русский народ за всю историю, и особенно в XX веке, строя и защищая свое государство; и как бы предчувствуя кровавый хаос, всегда возникающий на русской земле, когда рушится государство, как могли, боролись с вольными и невольными его разрушителями. И не наша вина, что авангард разрушителей состоял в основном из евреев, называвших себя борцами за права человека, социалистами с человеческим лицом, интернационалистами, демократами, либералами, рыночниками и т. д. Мы уже знали, что, когда им нужно защитить их общее дело, тогда их общественно-политические разногласия как по команде забываются, и еврей-коммунисты вдруг становятся сионистами, интернационалисты — еврейскими националистами, радетели "советской общности людей" эмигрируют в Израиль, надевают ермолку и ползут к Стене Плача.

Сегодня им скрывать нечего, и они во множестве своих мемуаров откровенно пишут о том, какими чувствами и мыслями жил в 60—80-е годы их круг, избравший своим гимном песенку Окуджавы "Возьмемся за руки, друзья..."

"Я принадлежал к довольно распространенной в художественных кругах России группе населения, — пишет в своих мемуарах актер Михаил Козаков. — Как ее определить — право, не знаю. Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм, Анатолий Эфрос... Фамилии и примеры позволительно множить вне зависимости от процента еврейской крови, вероисповедания или атеистического направления ума... Я не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, как и другие, ненавидел и презирал антисемитизм и антисемитов. Как и другие из нашего круга, спотыкался на юдофобии любимейших Чехова и Булгакова, гордился успехами Майи Плисецкой, Альфреда Шнитке или Иосифа Бродского..."

Сейчас люди вроде Михаила Козакова с удовольствием выбалтывают многие тайны и секреты жизни своего круга, тайны, тщательно скрываемые от мира в те времена.

А если кто-то из нас догадывался, какие страсти кипят в этом кругу "взятых за руки", и не дай Бог открыто говорил или писал об этом, какой ор, какой возмущенный вопль

187

исторгался из недр еврейской компашки! Всё сразу вспоминали их адвокаты — и то, что они советские, и то, что отцы были пламенными революционерами, и что дружба народов — святая святых нашего общества, и что нечего "разделять людей по национальному признаку".

А теперь что? Теперь можно обнародовать изнанку той жизни, и Михаил Козаков с удовольствием обнародует ее:

"В начале 70-х уезжал художник Лев Збарский. Было ему тогда около сорока. Талантливый театральный художник, востребованный книжный график, огромная мастерская в центре Москвы, деньги, машины, лучшие женщины, модный художник, модный человек. Я задал ему тогда сакраментальный вопрос: "Почему, Лева?" Он: "Да, все это у меня здесь есть, если не все, то многое из тобой перечисленного. Более того, не знаю, что ждет меня там. (Збарский уезжал в Израиль, потом уже переехал в Америку, где и живет по сей день. — Ст. К.) Но как бы тебе это поточнее... Понимаешь, это кино мне уже показывали. Остается только его досмотреть. А вот того я еще не знаю..."

Нет, молодец Александр Куприн. Хорошо он знал их натуру. Как эта история Збарского и людей, ему подобных, их отношение к России, похожа на историю, рассказанную Куприным в знаменитом и скандальном его письме к Ф. Ба-

тюшкову, написанном аж в 1909 году: "Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал "извините", побежал в угол мастерской и стал ссать на обои, и когда его клиент окоченел от изумления, Фигаро спокойно объяснил: — Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с.

Таким цирюльником во всех веках и во всех народах был жид, со своим грядущим Сионом..." Вот эти слова "все равно завтра переезжаем-с" глубоко запали мне в память. Лев Збарский, Лев Копелев, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин — все они в определенный момент начинали вести себя как цирюльник из купринского письма... Как будто из какого-то тайного центра прозвучал тайный приказ, и все они, как муравьи, послушно переменили взгляды, убеждения, чувства.

Мы так не умели и не могли. В этой способности коллективного лицедейского перевоплощения в зависимости от исторических обстоятельств была циничная сила людей подобного склада. Ведь почти все они дети пламенных революционеров, пропагандистов социализма, секретарей обкомов, певцов ГУЛАГа.

Отец Михаила Козакова, так же как отцы Натана Эйдельмана или Юрия Нагибина, славили Беломорканал, отец Льва

188

Збарского бальзамировал Ленина, сам Михаил Козаков с необыкновенной страстью и талантом всю жизнь играл Дзержинского... Э! Да что говорить! Плохо мы их знали в те годы...

Но, к сожалению, и с русскими националистами вроде Леонида Бородина и Владимира Осипова мы не могли окончательно породниться, потому что их "русское диссидентство" по-своему тоже было разрушительным, а мы стремились к другому: в рамках государства, не разрушая его основ, эволюционным путем изменить положение русского человека и русской культуры к лучшему, хоть как-то ограничить влияние еврейского политического и культурного "лобби" на нашу жизнь. Нам казалось, что шансы для такого развития событий у истории есть... И они были. Разрушать же государство по рецептам Бородина, Солженицына, Осипова, Вагина с розовой надеждой, что власть после разрушения перейдет в руки благородных русских националистов? Нет, на это мы не могли делать ставку. Слишком высока была цена, которую пришлось бы заплатить в случае поражения. Кстати, именно такую цену за совершившуюся антисоветскую авантюру наше общество и наш народ и платит сегодня.

А с русскими диссидентами нас разделяло то, что мы ни при каком развитии событий не могли и помыслить о том, что можем уйти в эмиграцию и покинуть нашу страну. Мы не могли, живя в СССР, позволить себе каприза печататься за границей. Это было чревато вынужденной или добровольной эмиграцией. Такой вариант судьбы мы отвергали сразу, и это резко отделяло нас от "русской национальной диссидентуры".

Мы хотели, чтобы наши взгляды распространялись на родине открыто, и раздвигали границы гласности у себя дома. Пути "подполья", по которым шли журнал "Вече" или ВСХСОН, казались нам сектантскими и в той или иной степени объективно смыкавшимися с путями правозащитных организаций, "хельсинкских групп", Солженицынского фонда и т. п.

А еврейское лобби, чувствуя все нарастающую поддержку "мирового сообщества", наглело все больше и больше. Я помню, в какое бешенство я пришел, прочитав исповедь какого-то полупоэта, полупублициста Б. Хазанова (Файбисовича), эмигрировавшего в начале 70-х в Европу. Он плакался об утрате России такими словами:

"Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы ее наследники, пусть оскуделые и

полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских".

189

И это говорилось с фарисейской ядовитой кротостью в годы, когда лучшие свои книги писали Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Юрий Казаков, Юрий Кузнецов, Николай Тряпкин! Поистине было отчего людям легковоспламеняющимся, вроде меня, прийти в ярость. Тем более что Хазанов в своей закомплексованной гордыне проговорился о многом, о чем мы лишь догадывались:

"Заполнив вакуум, образовавшийся после исчезновения старой русской интеллигенции (как мягко и обтекаемо сказано, как будто не было чекистских погромов этой интеллигенции в 20—30-е годы под руководством Троцкого, Ягоды, Френкеля, Ярославского, Агранова и т. д.! — Ст. К.), евреи сами стали этой интеллигенцией. При этом, однако, они остались евреями".

Нет, терпеть такие унижения было невозможно...

Для того, чтобы показать, как созревало мое национальное самосознание в 70-х годах, приведу выписки из дневника тех лет:

16.01.1971 г.

В сегодняшней "Правде" статья о Солженицыне. Дело идет к тому, что его вышлют на Запад. Как бы я ни ценил его талант — приходится признать, что он не в себе: не понимает, что обратного пути нет, что приходится жить в той России, которая есть и будет, думать о ее будущем, а не о прошлом...

История с Сахаровым и Солженицыным, которых наше могучее государство не может ни замолчать, ни посадить, ни выгнать за границу, ни убить, ни опубликовать — необыкновенно интересное свидетельство нынешнего нашего положения.

Хочется быть демократическим государством, а не можем. Не растет это дерево на русско-советской почве. У демократии, несмотря на все ее безобразия, есть свои правила игры, а мы хотим поиграть в нее, но не до конца, а до середины.

Впрочем, неизвестно, что лучше. Пока в обществе есть силы и ситуации, создающие напряженность духовной жизни, я, как художник, чувствую себя необходимым. Что толку, если я смогу говорить, что хочу, а меня слушать будет некому? Останется разве что детективы сочинять?

18.01.1974 г.

Рубцов похоронен, Передреев пьет и разрушается. Немота овладела им. Игорь болен, и не видно просвета в его болезнях.

190

Соколов слишком устал от своей жизни. Неужели мне придется в старости, если доживу до нее, залезть в нору, как последнему волку, и не высовываться до конца дней своих?

25.01.1974 г.

То, что Блок, будучи по существу антисемитом, ни разу в своем творчестве этого не обнаружил (а только в записных книжках и дневниках) — не случайно. Дело не в страхе. Блок ничего не боялся. Да и не стыдился он перед собою этого чувства. Но обнаруживать это чувство — значило скатываться к тем слоям общества, которых либеральная часть его души не принимала. Но нельзя забывать и о другом. Блок перед смертью пересмотрел тщательным образом все свои записные книжки и дневники. Все, что он не хотел оставлять для изучения потомков — уничтожил. Но антиеврейские страницы оставил. В этом

тоже есть какая-то тайна и какой-то завет.

26.01.1974 г.

Литература русская гибнет, с одной стороны, от постоянной административной обработки наших чиновников, чаще всего русских по происхождению. А с другой — от еврейской отравляющей воздух беллетристики, от многонациональной переводной болтушки для свиней, изготовленной по ихнему рецепту. Обе эти силы прекрасно знают о существовании и деятельности друг друга. Сферы их влияния поделены, и никогда они не подымут руку друг на друга.

Ворон ворону глаз не выклюет.

15.02.1974 г.

Читаю рукопись какого-то еврея-физика о России, о Советской власти, научно-техническом прогрессе, морали и т. д. (Витя Гофман подсунул, он в восторге). Главная идея такова: русское дворянство и народ никогда не сливались в одну нацию. В сущности это всегда были две нации. Немудреный подтекст: русским народом можно властвовать кому угодно — варягам, татарам, немцам, почему бы в новых условиях не евреям? Но за всеми доказательствами, силлогизмами, аналогиями слышится приглушенный вопль: "Не удалось превратить Россию в землю обетованную! Со-о-о-рвало-о-сь! Что-о-о же дела-а-ть?!"

191

29.02.1976 г.

Звонит Анатолий Клитко. Звонит раз в 5 лет: "Лица человеческого жажду. Коржеев приезжал — нет уже на нем лица. Надо встретиться. Книжку твою прочитал. Вспомнил Вазир Мухтара. Слом времени. Новые люди приходят. Нет им дела ни до чего старого".

...Звонки наших алкоголиков для меня дороже любых статей о моем творчестве.

9.08.1976 г.

Умер Михаил Луконин. Верченко на заседании похоронной комиссии упрекал директора Литфонда за то, что последний не гарантирует доставку гроба точно к 10.00.

— Хочу Вам еще раз напомнить, что похороны эти не простые, а государственные...

Одна строчка есть у Луконина по поводу того, о чем он не хотел думать: "Я падал вверх". .

15 мая 1977 г.

Недоумение Слуцкого по поводу того, откуда "антисемитизм Станислава" — от Достоевского или Палиевского — наивно: от русофобства 20—50 годов, от национального чувства, уязвленного массовой эмиграцией еврейства после 67 года, после арабо-израильской войны. А Достоевского я читал гораздо раньше, но одно дело читать, другое быть свидетелем исторических сдвигов.

В конце 1977 года произошло событие, властно повлиявшее на мои чувства. В Таджикистане погиб мой лучший друг, поэт и геолог Эрнст Портнягин, с которым я дружил более пятнадцати лет, бок о бок с которым провел несколько полевых сезонов в горах Тянь-Шаня. Он был русским по матери и евреем по отцу. Подчеркиваю это, чтобы еще раз показать: какая кровь текла в жилах моих друзей — не имело для меня значения. Эрик был русским поэтом, русским патриотом и

русским государственнымником.

Когда мы хоронили его в запаянном цинковом гробу на Хованском кладбище, я подумал: "Вот так и со мной может произойти. Несчастный случай—и все годы, которые ты готовил себя к большому делу, к борьбе за судьбу русской культуры и, может быть, за судьбу России, — все пойдет псу под хвост. Надо действовать, пока есть силы, пока не поздно". Потому в

192

конце 1977 года, когда Вадим Кожинов позвонил мне и предложил выступить в дискуссии, которая называлась коротко и емко: "Классика и мы", я решил бросить этой мафии в лицо все, что думаю о ней. Спасибо Кожинову, организовавшему наш бунт.

Мне ничего и не приходилось сочинять для этой дискуссии. Все дело в том, что незадолго до нее я прочитал книгу "Воспоминания о Багрицком", в которой авторы (Антокольский, Тарловский, Сельвинский, Колосов, Гинзбург и другие) без стыда и чувства меры сравнивали его с Пушкиным, Блоком, автором "Слова о полку Игореве", Ильей Муромцем, называя "гением", "классиком", "великим лириком", вошедшим в историю "советской и мировой литературы". Я подумал: нет худа без добра! Они, как всегда, зарвались и дали мне повод для открытого боя.

Я написал большую статью об этой книге воспоминаний, искреннюю, живую, доказательную, но, пойдя по журналам, обнаружил: все "русские" журналы боятся ее печатать. Я ткнулся в двери изданий среднелиберального характера, но и там мне дали от ворот поворот. И вот возникла возможность обнародовать все свои мысли с трибуны. Необычный сценарий увлек меня. Однако я колебался, чувствуя, что близок выбор, который определит дальнейшую судьбу.

То, что я, бывший тогда одним из рабочих секретарей Московской писательской организации, могу потерять свою должность, кресло, зарплату в триста рублей, некоторое влияние на литературно-издательскую жизнь, — меня не тревожило. Я, честно говоря, тяготился и рутинной работой и правилами игры, которые должен был соблюдать.

Да и попал в это кресло, как сейчас понимаю, случайно. Мой предшественник Михаил Львов ушел в "Новый мир" к своему другу Наровчатovu, надо было срочно кого-то сажать на рабочее место, и первый секретарь Московской писательской организации прозаик Сергей Смирнов, автор знаменитой тогда "Брестской крепости", будучи уже смертельно больным человеком, не долго думая предложил мне, в то время уже имевшему репутацию известного поэта и энергичного человека, эту номенклатурную должность... Я пошел туда ради интереса, поглядеть, что такое служба, но по душе и по природе оставался "вольным охотником", авантюристом и независимым человеком. "Так что Бог с ней, с этой работой, коль события примут крутой оборот", — подумал я и принял решение выступить на дискуссии.

193

Однако у меня был и второй вариант выступления. В нем я готов был высмеять и дискредитировать, насколько мне это удастся, практику неестественного создания руками мощного еврейского переводческого клана живых классиков из писателей национальных республик. Помню, как меня всегда коробила фотография в коридоре Союза писателей СССР, на которой были изображены два Героя Социалистического Труда— русский Михаил Алексеев и аварец Расул Гамзатов. Фотограф схватил тот момент, когда Алексеев выглядывает откуда-то, чуть ли не из подмышки Гамзатова, смотрит снизу вверх каким-то подобострастным взором, а над ним, как глыба, с толстомордой, обросшей короткой шерстью головой, с узенькими глазами-щелочками, возвышается Расул. Ну, прямо как будто только вчера произошла битва при

Калке, после которой русские пленные князья были раздавлены "задами тяжкими татар"!

Всем нам была известна механика энергичного и ловкого создания из порой беспомощных подстрочников переводных книг среднего версификационного уровня, за которые Гамзатов, Мирзо Турсун-Заде, Давид Кугультинов, Зульфия, Наби Хазри, Петрусь Бровка и прочие усилиями двух Яковов — Хелемского и Козловского, Юлии Нейман, Наума Гребнева, Давида Самойлова, Александра Межирова, Юнны Мориц, Семена Липкина и прочих деятелей из переводческого клана получали внеочередные издания, собрания сочинений, лауреатские медали, баснословные гонорары, звания академиков и секретарей, квартиры, дачи, автомашины и прочее и прочее. Замахнувшись на этих фанерных, наспех сколоченных классиков,—думал я,—можно нанести удар по переводческой мафии, можно перераспределить часть изданий и средств на нужды русских писателей, особенно провинциальных. Да по сравнению с "национальными классиками" многих замечательных русских писателей и поэтов 50—80-х годов — Заболоцкого, Мартынова, Смелякова, Сергея Маркова, Дмитрия Балашова власть держала все-таки "в черном теле". Я хорошо был подготовлен к этому восстанию. Одно только количество изданий дагестанских, калмыцких, таджикских, узбекских классиков должно было поразить слушателей — по . восемьдесят, по девяносто, а то и по сто книг за двадцать— тридцать лет литературной жизни... По 3—4 издания в год! Во много раз больше, нежели у Ахматовой, Заболоцкого, Мартынова...

На трибуну я поднимался, имея в руках текст двух выступлений, но в голове все время крутилась мысль: "Да,

194

восстание против гипертрофированного засилья "националов" дело необходимое, но... не самое главное.

Скандал будет большой, поскольку эти бонзы открывают дверь ногой в любой из кабинетов ЦК, а толку будет мало. Главные корни нынешней скрыто-руссофобской идеологии растут в другой почве и питаются другими соками..."

И когда с трибуны я оглядел зал, еще шумящий, волнующийся, негодующий или тайно радующийся — от возбуждения, которое вызвала расколовшая его пополам дерзкая речь Палиевского, когда я увидел на кромке сцены несколько работающих на историю магнитофонов, когда столкнулся глаза в глаза со взглядами, излучающими страх и ненависть, и просто физически ощутил энергию зала, давящую на меня, — я положил перед собой страницы своей главной речи.

Особенность дискуссии "Классика и мы" была в том, что наша сторона сама пригласила на поединок сильнейших противников из враждебного стана.

Вот передо мной их фамилии из списка, отпечатанного на пригласительном билете: А. Борщаговский, Е. Евтушенко, С. Машинский, П. Николаев, А. Эфрос, В. Шкловский. И председательствовал, и вел собрание их человек — Евгений Сидоров. Мы не боялись их, поскольку были уверены, что правда на нашей стороне и что в открытой дискуссии победа, несмотря на возможные издержки, останется за нами.

Соперники же наши в своих акциях поступали совершенно иначе: вспомним хотя бы историю с "Метрополем", в котором участвовали лишь свои и на страницах которого немислимы были ни дискуссии, ни выяснение истины. А мы действовали простодушно, открыто, по-русски, следуя завету князя Святослава, предупреждавшего своих врагов: "Иду на вы!".

Однако мне пора обратиться к магнитофонной записи:

"Е. Сидоров. *А сейчас слово имеет поэт Станислав Куняев. Приготовиться Анатолию Васильевичу Эфросу.*

Ст. Куняев. *Для того, чтобы мое выступление заняло меньше времени, я его*

написал, и к тому же мне придется много цитировать, я просто его прочитаю.

Я не раз задумывался о том, что такое связь сегодняшней литературы с классикой, как она обнаруживается и где ее искать. Наверное, я бы не стал выступать на нашей дискуссии, если бы однажды не прочитал объемистую книгу — "Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников". "Советский писатель", 1973.

Многое в этой книге мне показалось интересным, многое —

195

спорным, многие выводы надуманными. После ее прочтения я взял однотомник поэта, чтобы сопоставить то, что пишет он сам, и то, что пишут о нем. Подвигнуло меня к этому и то, что буквально в это же время в статье, посвященной 80-летию Багрицкого, "Литературная газета" писала:

"Мы для того, чтобы утвердить высокие категории на сегодня и на года вперед, признаем классиками лишь несколько советских поэтов, открывая список именами Маяковского, Блока, Есенина. В этом живом и почетном списке — Эдуард Багрицкий".

Книга "Воспоминания о Багрицком" подчинена той же цели — доказать, что его творчество продолжает классическую традицию русской поэзии в советскую эпоху. Приведу пока, чтобы не быть голословным, несколько цитат из этого издания. Дальше в своих рассуждениях я также не раз буду опираться на него.

"По живому чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, — Тургеневу, Фету, Бунину". "Пускай Незнакомка Багрицкого (речь идет о гимназистке из поэмы "Февраль") так же, как когда-то Незнакомка другого великого лирика (имеется в виду Блок. — Ст. К.), прозаически ударила о грубую, оскорбительную в своей низости землю" (Антокольский).

"Я считаю, что лучшее из того, что написал Багрицкий, есть поэма "Последняя ночь". Эту гениальную поэму оставил Багрицкий как памятник своему поколению" (Юрий Олеши).

"Был, впрочем, один поэт, которому очень сродни Багрицкий в своем подходе к животному миру... это был безымянный автор "Слова о полку Игореве" (Марк Тарловский).

"В поэзии Багрицкого тема Одессы настойчиво, неизменно вызывала образ Пушкина, Багрицкий преданно любил Пушкина — как подобает русскому поэту" (Лидия Гинзбург).

"Недавно я снова прочитал поэму "Человек предместья"... эта поэма, и с нею "Последняя ночь" и "Смерть пионерки", обставляющие как бы первую и последнюю ступени поэтической ракеты, была запущена в историю советской и мировой литературы..." (Марк Колосов).

На время прерву подобные цитаты. Похожих в этой книге очень много.

Я задумался после чтения всего этого вот о чем.

Одной из постоянных нравственных и эстетических традиций в мире русской поэзии было приятие всего, что поддерживает на земле основы жизни. Ежедневная работа по добыванию хлеба насущного, приятие относительно

196

устойчивых форм быта, сложившегося на просторах нашей земли, тучная материальная почва, на которой со временем произрастал громадный густой смешанный лес русской культуры. "Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь..." Не только крестьянин, но и Пушкин радуется зиме, дровням, мальчику, играющему в снежки, здоровью, праздничности первоснежья и работы.

А демонический Лермонтов? С каким вздохом облегчения спускается он на грешную землю:

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно...

А Сергей Есенин, приезжавший в родную деревню как иностранец — в английском костюме, в лайковых перчатках, в кепи или в цилиндре, вдруг преображался, чтобы выдохнуть из глубины души:

Каждый труд благослови, удача —
Рыбаку, чтоб с рыбой невода,
Пахарю, чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Словом, вот такой подход к этой теме — один из краеугольных камней поэтической традиции нашей классики. И, заново перечитав Багрицкого, я вдруг увидел, что именно этот взгляд странен и чужд его творчеству.

Вот в центре поэмы "Человек предместья", которая, по словам одного из мемуаристов, была запущена как ракета в историю советской и мировой литературы, маленький обыватель, заурядный человек, не значительнее чиновника Евгения из "Медного всадника", "станционного смотрителя" или какого-нибудь мещанина из рассказов Бунина, а то и Андрея Платонова или Ивана Африкановича из повести Белова. Но наши классики могли увидеть в этой заурядной человеческой особи всегда что-то значительное. И в этом — одна из гуманистических традиций русской литературы. Багрицкий же, как говорится, всеми фибрами души не принимал вчерашнего крестьянина за то, что тот, ушедший от земли, служа стрелочником на железной дороге, умудряется еще по старой памяти и пчел развести, и плотничать, и сена накосить корове, и молоко продать: "Жена расставляет отряды крынок — туда в больницу, сюда — на рынок". Самые

197

естественные и необходимые для жизни дела воспринимаются поэтом как нечто, требующее поголовного осуждения, гонения, уничтожения.

Недаром учили: клади на плечи,
За пазуху суй — к себе таща,
В закут овечий,
В дом человеческий,
В капустную благодать борща.

В другом программном стихотворении эта ненависть вообще приобретает фантастические формы, которые, к сожалению, нельзя списать за счет лирического героя.

Он вздыбился из гушины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.

Мемуаристы пишут, что по чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, от автора "Слова" до Фета и Бунина. Но ведь это не совсем так. Если перейти к школьной терминологии, то каждый

русский поэт всегда представлял нечто целое с природой, в которой он рос. Есенинские пейзажи Рязаничины или некрасовская Ярославщина были необходимой частью их поэтического мира. Эти пейзажи могли быть радостными или грустными, но враждебными — никогда. Багрицкому же природа, с ее деревьями, травами, зноем и дождем, в лучшем случае служила материалом для литературной ситуации, а вообще была совершенно чужда.

Вот цитирую просто подряд то, что можно, открыв книгу, выбрать: "Трава до оскомины зелена, дороги до скрежета белы ", "Пыль по ноздрям — лошади ржут ", "Кошкам на ужин в помойный ров заря разливает компотный сок ", "Под окошком двор в колючих кошках, в мертвой траве ", "Сад ерзал костями пустыми ", "Над миром, надтреснутым от нагрева, ни ветра, ни голоса петухов ".

У Афанасия Фета была та же болезнь, что у Багрицкого, — астма. Но физические страдания не заставили его ненавидеть "все, что душу облакает в плоть". Наоборот, обостренное чувство скоротечности жизни рождало и питало весь пантеизм Фета. Все его творчество как бы молитва прекрасному земному бытию и благодарность за радость жизни.

198

Не жизни жаль с томительным дыханьем
(имеется в виду астма. — Ст. К.), —
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Так что не в человеческих недугах суть, когда речь идет о поэзии. Дело в ощущении мира...

Стихотворение Багрицкого "Папиросный коробок, является, вернее, кончается завещанием поэта сыну:

Прими ж завещанье. Когда я уйду
От песен, от ветра, от родины —
Ты начисто вырубь сосны в саду,
Ты выкорчуй куст смородины!..

При чем тут сосны? Да при том, что прекрасные сосны в прекрасном ночном саду в воображении поэта ассоциируются с виселицами николаевской эпохи.

Боратынский, один из самых пессимистических русских поэтов, человек эсхатологического, что ли, склада души, когда писал стихи "На посев леса ", не мог себе представить, что ровно через век придет другой поэт и русским языком скажет своему сыну: "ты начисто вырубь сосны в саду". Боратынский в простом земном деянии находил утешение своей измученной раздумьями душе, не ожидая приветов от будущих поколений, сам посылая им привет:

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

Но вернемся к ключевой теме, с которой я начал свой разговор, — к "человеку предместья". Что же в своем горячем бреду поэт предлагает взамен мира, который он хотел разрушить? Он созывает своих друзей, "веселых людей своих стихов ".

Чекисты, механики, рыбоводы,
Взойдите на струганое крыльцо.
Настала пора — и мы снова вместе!
Опять горизонт в боевом дыму!
Смотри же сюда, человек предместий: —
Мы здесь! мы пируем в твоём доме!

Так и хочется спросить — а продукты откуда? Да, наверное, оттуда же, откуда у Иосифа Когана из "Думы про

199

Опанаса ", который ужинает в хате "житняком и медом ", отобранном у мужиков, и этих же самых мужиков смущает речами:

Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы?..

Кстати, какое-то почти мистическое, странное совпадение, что Зинаида Шишова в этой же книге "Багрицкий. Воспоминания современников", например, пишет: "Багрицкий пришел в революцию, как в родной дом. Бездомный бродяга и романтик, он пришел, сел, бросил кепку и спросил хлеба и сала. (Шум.) Это было самое прекрасное сердце, какое только билось для революции "

А поэт беседует в доме человека предместья со своими друзьями, у которых "пылью мира (но не пылью работы! — Ст. К.) покрылись походные сапоги". Прямо конквистадоры какие-то!

Вокруг них на пепелище, где когда-то жили обычные, не безгрешные люди, в поту добывающие хлеб насыщенный, воют романтические ветры, "в блеск половиц, в промытую содой и щелоком горницу (цитирую. — Ст. К.) врывается время сутуловатое, как я, презревшее отдых и вдохновением потрясено "

Дальше начинаются совершенно апокалипсические картины разрушения жизни: "Вперед ногами, мало-помалу, сползает на пол твоя жена!" Человек предместья, как некая нечисть под крик петуха из гоголевского "Вия ", бросается в окно. Лоб его "сиянием окровавит востока студеной полоса ", и он слышит, "как время славит наши солдатские голоса "

Вот что написано в одна тысяча девятьсот тридцать втором году одним из талантливых советских поэтов тех лет. Читая эти стихи сейчас, я думаю о том, как все-таки изменилась жизнь за три десятилетия или четыре. Как много надо переоценить, поставить в связь с сегодняшним днем. Поистине — большое видится на расстоянии.

Лев Славин в статье "Поэзия как страсть ", говоря об атмосфере южного города, где формировался яркий талант Багрицкого, пишет следующее в той же книге "Воспоминаний": "Под этим плотным, вечно синим небом жили чрезвычайно земные люди, которые для того, чтобы понять что-нибудь, должны были "это" оцупать, взять на зуб. Заезжие мистики из северных губерний вызывали здесь смех.

200

В Одессе никогда не увлекались Достоевским. Любили Толстого, но без его философии "

Мне не хочется доказывать разницу количественную и качественную масштабов жизнелюбия автора "Казаков" и "Хаджи-Мурата" и создателя поэмы "Февраль". Это поставило бы меня в неловкое положение. Но любопытно то, что Багрицкий, обладавший, по свидетельству современников, неисчерпаемым знанием мировой литературы, способный в любое время дня и

ночи прочитать на память страницы Стивенсона, Луи Буссенара, Киплинга и так далее, не любил Толстого.

Дальше цитирую: "И когда МХАТ поставил "Воскресение" Толстого, Багрицкий возмущался. Я спросил его: "Читал ли ты этот роман?" Он ответил: "Нет! И читать не стану!" Одно это название "Воскресение" в годы юности оттолкнуло Багрицкого". (Из воспоминаний М. Колосова.)

В стихотворении "ТВЦ" есть несколько формул, которые имеют прямое отношение к пониманию совести и нравственности, то есть проблемам, которыми всегда жила наша классика.

Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он (век имеется в виду. — Ст. К.)
скажет: "Солги", — солги.
Но если он скажет: "Убей", — убей.

Натуралистическая точность, в которую поэт облакает эти формулы, неотделима от жестокости. И в этом также сказался его полный разлад с русской поэзией. Рассуждения поэта о врагах больше похожи на речи обвинителя, чем на слова поэта.

Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы,
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.

Странно, что эти строки написаны, как мне кажется, чуть ли не с каким-то садистским удовольствием. Странно думать, что человек, приводящий приговор в исполнение, может ощущать плодотворную радость расправы, и что более всего странно — поэт вроде бы почти разделяет эту радость. (Шум. Аплодисменты.) Так бесконечно...

Е. Сидоров. Так, Станислав Юрьевич. Товарищи! Я не понимаю этого выступления. Мы не обсуждаем творчество

201

Багрицкого. (Аплодисменты.) И мне кажется, что Ваше выступление немножко не на тему сегодняшней дискуссии. (Шум. Аплодисменты.)

Ст. Куняев. Одну минуточку. Наша тема — "Классика и мы". А то, что в самом начале я говорил о понимании Багрицкого как классика, подразумевает и мое истолкование, и мое понимание этой проблемы. (Выкрики.) У меня осталось еще на пять минут.

Е. Сидоров. Пожалуйста, пожалуйста, Станислав Юрьевич! У нас дискуссия. Я тоже могу высказать свое мнение.

Ст. Куняев. Это все весьма далеко от пушкинского, что в "мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал". Можно вроде бы возразить: времена другие и понятия о добре и зле иные. И сдается, что не было места в те годы для пушкинского гуманизма. Так-то оно так, да не совсем. Разве не в те же годы творили Ахматова и Заболоцкий, во многом являющиеся для нас символами этической и эстетической связи с классикой? Разве не в то же суровое время Сергей Есенин, словно бы мимоходом, оброняет:

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам...

Кстати, недаром эти строки очень нравились Мандельштаму, который

вообще прохладно относился к творчеству Есенина. И потому уместно вспомнить, что в ту же эпоху неоклассик, как его иногда называют, Мандельштам, отстаивая за поэзией право на гуманизм, писал:

Мне на плечи бросается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первородной красе.

Поразительно, что совпадение текста у обоих поэтов почти буквальное. У Багрицкого — "век-часовой", у Мандельштама — "век-волкодав". У Багрицкого — "их нежные кости сосала грязь", у Мандельштама — "чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе". Как будто бы... (Выкрики. Аплодисменты.)

202

Е. Сидоров. *Товарищи! Нет-нет, нет ничего неожиданного. Пожалуйста, не надо!*

Ст. Куняев. *Будьте добры, аплодировать будете потом. Дайте мне договорить, пожалуйста!*

Е. Сидоров. *Я прошу...*

Ст. Куняев. *Как будто бы Мандельштам вслед за Есениным, спасая гуманистическую честь русской классики, сознательно полемизирует с автором поэмы "Февраль". Обратится же (вот сейчас я сниму те возражения, которые мне сделал наш председатель) — к нашим более близким временам, обратится к поэзии Ярослава Смелякова. Он не раз упоминал Багрицкого в числе своих учителей. Но в одной из последних книг "День России" опубликовал стихотворение "Сосед", которое написано как будто бы, как мне кажется, чтобы изложить свой взгляд на человека из предместья.*

Здравствуй, давний мой приятель,
гражданин преклонных лет,
неприметный обыватель,
поселковый мой сосед...

Тридцать лет. Целая эпоха прошла между этими произведениями. За эти годы человек из предместья выжил, заставил себя уважать, что очень хорошо понял Ярослав Смеляков.

Захожу я без оглядки
в твой дощатый малый дом.
Я люблю четыре грядки
и рябину под окном.

Смеляков внешне спокойно и добродушно, но с внутренней твердостью защищает этого человека. Недаром, говоря о своем соседе, он вдруг резко смешивает высокий и низкий стиль:

Персонаж для щелкоперов,
Мосэстрады анекдот,
жизни главная опора,

человечества оплот.

А поругивают его —уже не так страшно, как во времена Багрицкого. За что?

Пусть тебя за то ругают,
перестроиться веля,
что твоя не пропадает,
а шевелится земля.

203

Ругают — это просто по инерции, а по существу давным-давно стало понятно, что человек из предместья — это рядовой войны и жизни, который в меру своих сил защищает, строит ее для себя, для своих детей, а значит, и для будущего. А когда остается время, то и цветы посадит, и наличники вырежет, и дом украсит.

Это все весьма умело,
не спеша, поставил ты
для житейской пользы дела
и еще — для красоты.

Была у Багрицкого еще одна причина (кроме нездоровья) ненавидеть человека из предместья. Она, так сказать, мировоззренческая. Со страшной последовательностью и пафосом он отрекался не только от быта вообще, от быта, чуждого ему, но даже и от родной ему по происхождению местечковости. Он произнес по ее адресу такие проклятья, до которых, пожалуй, ни один мракобес бы не додумался.

Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Все бормотало мне:
—Подлец! Подлец!

Мещанство? Когда говорят о мещанстве, я вспоминаю рассказ Платонова "Фро", когда дочь жалуется отцу, что вроде боится она, что ее оставит жених, потому что она считает себя мещанкой. А отец послушал-послушал ее и говорит: "Мещанкой считают тебя? Да какая ты мещанка! Вот твоя мать была мещанка, с тебе до мещанки еще расти и расти надо". Поэт остался верен неприятию вечных форм жизни, с бесстрашием жестокости отрекаясь от своего происхождения.

Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.

Эта совершенно физиологическая злоба по отношению к близким удручающая. Она не просто не в традиции русской классики, но и вообще литературы. Как будто не было в мире трогательных и печальных героев Шолом-Алейхема, как будто

204

не у кого было поучиться поэту кровной любви и духовному чувству, роднящему нас с каждым, и в первую очередь с нашими близкими.

Уж на что Есенин поездил по всему миру, всего насмотрелся, а разве можно себе представить его порывающим со своим бедным, но дорогим сердцу бытом, с убогой крестьянской избой, не всегда радостными воспоминаниями о деревне и детстве. Наверное, потому в этом авангардистском бунте Багрицкого против своего родного быта нет ничего трагического, то есть очистительного, а есть только злорадия.

Родители? Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

Я покидаю старую кровать:
— Уйти? Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

Никакой боли не испытывает герой, уходя из отчего дома, как будто не здесь зачали его, вскормили материнским молоком, как будто подменили ему человеческое сердце волчьим. И уходит он с родного порога, огрызнувшись по-волчьи. Это не юношеский максимализм. "Происхождение" написано незадолго до смерти. Такого комплекса в русской поэзии не было и быть не могло.

Но во имя чего же поэт пошел на разрыв с этими великими традициями русской поэзии? Пожалуй, яснее всего об этом сказано в поэме "Февраль", являющейся, так сказать, его завещанием. Апологеты Багрицкого, говоря об этой поэме, отделиваются эпитетами — "гениальная, эпохальная", не раскрывая ее сути. В ней же повествование ведется от имени неуклюжего юноши, романтика, птицелова, ущемленного своим происхождением, тяготами военной службы, неразделенностью юношеского чувства к гимназистке. "Маленький мальчик", "ротный ловчила", на котором неуклюже сидит военная форма, которому неуютно в этом мире, который мечтает "о птицах с нерусскими именами, о людях с неизвестной планеты, мире, в котором играют в теннис, пьют оранжад и целуют женщин". Мир, полный романтического комфорта — вот что нужно ему, чтобы преодолеть свои комплексы.

205

Время помогает таким, как он, приходит Февральская революция. И сразу же: "кровью мужества наливается тело, ветер мужества обдувает рубашку". Он вступает во все организации, становится помощником комиссара. Появляется в окружении вооруженный до зубов, как ангел смерти, окруженный телохранителями. Его превращение из гадкого утенка в карающего орла революции поразительно.

Моя иудейская гордость цела,
Как струна, натянутая до отказа.
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне;
Над летящими фарами и штыками.

Поэма кончается тем, что при ликвидации публичного дома лирический герой встречает в числе проституток гимназистку, по которой вздыхал в свои юные годы, и жадно насилует ее.

Я беру тебя за то, что робок

Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков...

Мне думается, что эта фрейдистская, ключевая по сути в поэме, также ключевая для Багрицкого, ситуация никоим образом не соприкасается с пафосом русской классики. Это поистине авангардизм, но уже в нравственной сфере.

Е. Сидоров. Так. Все! Пять минут...

Ст. Куняев. Все! Последняя страница! (Шум.) Вот последняя страница! И больше не будет.

Я отдаю себе отчет, что мои мысли достаточно спорны. Размышляя на эту тему, мне все время приходилось помнить, что нельзя путать понятия — личности поэта и лирического героя. Я думаю, что Бабель, статья которого есть в книге "Воспоминания о Багрицком", имел полное право искренне написать следующее: "По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других. Я ловлю себя на мысли, что рай будущего, коммунистический рай, будет состоять из одесситов, похожих на Багрицкого, из верных, умных, веселых товарищей, лишенных корысти.

Какими легкими соседями будем тогда мы окружены, как неутомительна и плодотворна будет жизнь".

Но одно дело — оценка человека, другое — оценка творчества. Я могу понять Бабеля, но мне трудно согласиться,

206

допустим, с Любимовым, который пишет: "Поэзия Багрицкого отлично помнит свое родство с русской классической поэзией". Или с Сельвинским, безапелляционно заявившим в этих воспоминаниях: "Поэт Эдуард Багрицкий. Классик".

Сложность посмертной судьбы этого поэта в том, что легенду о нем как классике требуется все время обновлять и подтверждать. Но, как мне кажется, ни в одном из главных планов — гуманистический пафос, проблемы совести, героическое начало, осмысление русского национального характера, связь души человеческой со звеньями родословных, историей, природой — поэзия этого поэта не есть продолжение классической традиции.

Бессмысленно глядеть на его творчество через эту призму, что пытаются сделать многие наши критики, литературоведы, мемуаристы. Мало любить Пушкина, мало обладать даже таким большим талантом, какой был у Багрицкого. Традиции русской поэтической классики требуют большего. (Аплодисменты.)

Е. Сидоров. Я прошу у зала полномочий через пятнадцать минут, в независимости от содержания выступления, стаскивать человека с трибуны. (Шум.) Времени у нас мало. Мы ограничены условиями природными... Вот... (Смех.) Слово имеет Анатолий Васильевич Эфрос.

А. В. Эфрос. Товарищи, я очень волнуюсь, скажу вам, потому что я очень редко бываю в этой аудитории и совсем не знаю ее состава, не представляю, как товарищи относятся к театру, к моим спектаклям. Может быть, меня настолько терпеть не могут, что меня ошарашивают через три минуты, я попаду в глупое положение. Я очень вас прошу терпеливо выслушать то, что я скажу, хотя скажу я, может быть, не так гладко, сумбурно.

Хоть я пришел сюда, я стоял в списке, я подумал, что я выступать не буду, послушаю, кто что скажет. Но начиная с первого выступления меня начинает что-то трясти, и я не могу не выйти. (Аплодисменты.) Хотя должен вам сказать, что я всегда потом думаю, что совершаю глупость. (Смех.) Вы понимаете, мне кажется, что второе выступление есть прямое продолжение первого выступления. (С места: "Правильно!" Аплодисменты.) И если эту линию

немножечко не прервать, то третье будет выступление чудовищное. (Смех. Аплодисменты.)

Вы понимаете, извините меня, пожалуйста, за неизящное выражение, но тут приводится пример с Шукиным насчет

207

черта (об этом говорил Петр Палиевский. — Ст. К.). Так вот, кто эти черти? (Смех. Аплодисменты. С места: "Это вы!") Совсем не те, на кого намекает этот товарищ. (Аплодисменты.) А может быть, совсем в противоположной стороне стоящие. Вы понимаете, товарищи, я что хочу сказать. Опасно, опасно, опасно играть такими вещами. Я молюсь на наше время, что оно перестало играть такими вещами. Не начинайте сначала! (Аплодисменты.)

Скажите, пожалуйста, вот только один вопрос. Ну, не стану даже касаться такого вопроса — зачем вдруг сейчас с корабля современности сбрасывать Багрицкого? Или я не знаю... Я не понимаю. Ну, допустим, ладно. Скажите, пожалуйста, зачем нужно противопоставлять и стравливать давно ушедших Булгакова и Мейерхольда? (Оценка их творчества была в выступлении Палиевского. — Ст. К.) Скажите, пожалуйста, разве нам всем неизвестна судьба Мейерхольда? Что он сделал для искусства, что он сделал для будущего, и чем он закончил? Разве нам неизвестна судьба Булгакова? Они равны. (Выкрики.) Только один — деятель театра, он сделал для искусства театрального так много, как другой сделал для литературы. (С места: "Кто это сказал?")

Вы спрашиваете, кто это сказал? В данном случае сказал это я. Если вы со мной не согласны, это не значит, что вы правы.

Для меня, для театрального деятеля, для многих любителей искусства Мейерхольд — фигура удивительная. Зачем их стравливать?! (С места: "Их сравнивали".)

Зачем их сравнивать в том смысле, что один нуждается в одном, а другой — в другом? Ну а, допустим, Вишневский нуждался в Мейерхольде. Ну и что? А Мейерхольд нуждался в Вишневском. (Шум.) В данном случае Булгаков был воспитанник совсем другой школы, но почему говорить, что мы сосем кого-то, а нас, допустим, никто не сосет?! (Смех. Аплодисменты. С места: "Невкусно!")

Для вас невкусно, а для других — вкусно. Это реплика — невкусно, потому что... Грубо! (Шум.) Грубо!

Вы знаете, я хочу вот что сказать. Я не знаю, может быть, для вашей аудитории это вещи естественные. Не нужно враждебности! Мы, слава Богу, ее пережили! (Аплодисменты.) Ваша воинственность на чем-то замешана не очень хорошем. (С места: "На Багрицком", "А ваша воинственность?")

Е. Сидоров. Товарищи!..

А. Эфрос. А моя на том, что я работаю, ставлю

208

спектакли, но они почему-то подвергаются сомнению, говорят, что я сосу Тургенева.

Е. Сидоров. Анатолий Васильевич!.. Разрешите мне, пожалуйста!..

А. Эфрос. Между тем как это совсем не так. (Шум.)

Е. Сидоров. Анатолий Васильевич, подождите, я поговорю с залом.

А. Эфрос. Товарищи, я вас предупреждал...

Е. Сидоров. Перестаньте, я вас прошу, кричать! Будьте толерантны, уважайте себя! Слушайте оратора! Это же стыдно кричать, вести себя как на стадионе.

А. Эфрос. Теперь вы знаете...

Е. Сидоров. Здесь не "Спартак" играет, здесь происходит совершенно другое.

А. Эфрос. Ничего, все нормально.

Е. Сидоров. *Нет, я думаю, что ненормально! Дискуссия идет...*"

Ощущения, которые я испытал, стоя всего-то полчаса на трибуне, незабываемы. То мертвая тишина, когда сидящие в полутемном зале впадают в шок от моих слов и мыслей, совершенно неожиданных и радостных для одних и недопустимых и кошунственных для других. Но вдруг тишина взрывается рокотом возмущения, а через минуту возгласами отчаянного восторга. В какие-то секунды я просто физически чувствовал, как из темного зала, переполненного лицами, глазами, вздохами, вдруг густой струей прорывается и затекает на трибуну волна ненависти, сменяясь в следующее мгновение теплой волной восхищения. Главное тут каким-то особым инстинктом угадать реакцию зала на твои слова на несколько секунд вперед, подготовиться к ней и внутренне — полной мобилизацией, точным отзывом, и внешне — выражением лица, интонацией голоса, выверенным жестом, правильным междометием или даже ответом на какой-нибудь неожиданный выпад из зала, на который невозможно не ответить.

Всю школу ораторского искусства и поведения на трибуне, всю школу публичного взаимодействия с толпой мне пришлось освоить в экстремальных условиях за какие-нибудь полчаса... Что творилось в полутемном, набитом людьми зале, я, конечно, разглядеть не мог, но, чтобы представить его атмосферу, вспоминаю рассказ сына, как его сокурсница по университету, еврейка, зарыдала после моего жестокого и объективного приговора поэзии Багрицкого.

В перерыве—толпясь в переполненном фойе — одни люди отводили от меня глаза, другие стремились пожать руку, какая-

209

то пожилая седоволосая женщина подошла с березовым туеском в руках и, поклонившись, подарила его мне. Дома, открыв туесок, я обнаружил на дне записку со словами: "От русских художников за отвагу в неравном бою..." Записка эта до сих пор хранится у меня как медаль или орден.

Блестящую вступительную речь произнес Петр Палиевский. Он закончил ее под аплодисменты, пересказав сцену из фантастической сказки Василия Шукшина "До третьих петухов" о том, как черти, выгнав монахов из монастыря, предложили им переписать иконы и на месте святых изобразить новых хозяев монастыря — чертей. "Бей их!" — закричал вдруг один монах. При этих словах Палиевский демонстративно поглядел на интерпретатора русской классики Эфроса. Аплодисменты, которые ему достались, наверное, были слышны на улице...

Дискуссия уже не шла, к ужасу Феликса Кузнецова — руководителя московских писателей — она катилась под гору с грохотом, как взрывающийся автомобиль из американского боевика.

Попытавшись остановить катастрофу, он промямлил нечто умиротворяющее: "Мой коллега Станислав Куняев не должен был использовать эту трибуну для того, чтобы обнародовать свою статью", "почему необходимо с таким неистовством топтать Багрицкого? Мне это непонятно", "если идти таким путем, то мы должны полностью отказаться, скажем, от Мейерхольда. А куда мы денем Маяковского?"

На самом деле, хотя ход дискуссии был совершенно неожидан для Кузнецова, наш патриотический Талейран сразу понял, что происходит в зале и на сцене. Он только не понимал мотивов. Позже, в минуты откровенности, редкой для него, он признался: "Меня ведь только-только выбрали первым секретарем, и я подумал, грешным делом, что, взрывая ситуацию, вы с Кожинным и Палиевским копаете под меня..."

В перерыве за кулисами взбешенный то ли нашими выступлениями, то ли своей неудачной речью Эфрос с искаженным лицом закричал, обращаясь ко мне:

— Вы же поэт! Ну и пишете стихи, а в политику и в общественную жизнь не лезьте, не ваше это дело!

С неприсущими ему плачущими интонациями после перерыва на трибуну вылез Евгений Евтушенко и запел ту же песню: "Зачем же сейчас стравливать уже мертвых замечательных художников театра и слова?! Я не знаю, кто из них лучше, но оба они прекрасные поэты — и Мандельштам и Багрицкий, но зачем же Мандельштамом бить Багрицкого?"

210

Думаю, что сейчас Евтушенко многое бы отдал за то, чтобы эти его слова не сохранились в истории, а потом он вообще в горячечной запальчивости понес всякую чушь вроде того, что Шукшин любил Пастернака и Багрицкого, что "патриотизм — это последнее прибежище негодяев", ну и, конечно, про антисемитизм. Как же без этого!

Однако мы с Палиевским получили неожиданную поддержку... Серго Ломинадзе — человек, отец которого в 30-е годы застрелился, а в 40-е сам узнавший вкус лагерной баланды, вдруг резко выступил против Евтушенко, Борщаговского, Эфроса: "Линия Маяковского не может быть совместима в русской литературе с линией Есенина", "тезис о том, что без интерпретации Эфроса, Любимова и кого бы то ни было классика будет находиться в хрестоматийном небытии, вызывает у меня глубокое негодование". *{Выкрики.}* "Любимова мучит комплекс демиурга — он должен создавать, творить, быть исполнителем ему не по нутру... Но если он творец-режиссер, то он обязан подчиняться! А если он просто творец — пусть пишет сам". *{Шум, аплодисменты.}*

В середине дискуссии масла в огонь подлил Евгений Сидоров, который стал вслух перед всем залом извиняться за антисемитскую записку, полученную Эфросом. Он не должен был этого делать и доводить еврейскую часть зала до истерики, поскольку такие записки при такого рода атмосфере могут сочиняться кем угодно, в том числе и профессиональными провокаторами...

Прослушиваю магнитофонную запись нашей дискуссии и печалюсь: как изменило, как поломало время людей, как оно сбilo некоторых из них в стан с теми, кого они никогда не любили и не уважали... В годы перестройки ренегатская логика исторических событий объединила Евтушенко и Игоря Золотусского в один лагерь, а ведь на дискуссии нашей Золотусский нашел в себе смелость заявить: "Я верю в искренность Евтушенко, но он не имеет в моих глазах никакого морального кредита... после того, как он написал: "Моя фамилия—Россия, а Евтушенко — псевдоним..." Это не просто личное невежество поэта".

Потряс аудиторию своей бесстрашной и пророческой речью Юрий Селезнев, когда отчеканил: "Мы все ждем, когда будет или не будет третья мировая война, ведем борьбу за мир... Но третья мировая война идет давно, и мы не должны на это закрывать глаза. Третья мировая идет при помощи гораздо более страшного оружия, чем атомная или водородная бомба. Здесь есть свои идеологические нейтронные бомбы, свое

211

химическое и бактериологическое оружие... И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые разрушают наше сознание, гораздо более опасны, чем те, против которых мы боремся в открытую. Русская классическая литература сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается эта третья мировая идеологическая война... она должна стать нашей Великой Отечественной войной за наши души, за нашу совесть, за наше будущее, пока в этой войне мы не победим..."

Зал и президиум были совершенно опустошены и измотаны, когда к полуночи

на трибуну вышел Вадим Кожинов и заявил, что он, "если говорить об антисемитизме, с презрением отвергает истерику, которая здесь по этому поводу совершилась".

Из последних сил от страха и негодования за то, что вроде бы страсти от усталости улеглись, и вдруг опять в доме повешенного заговорили о веревке, Феликс Кузнецов и Евгений Сидоров запричитали, заскулили, заверещали: "Вадим Валерьянович! (Шум.) Во-первых, никто в этом зале истерики по поводу антисемитизма не поднимал! Этого не было!" (Выкрики, аплодисменты.)

"В. Кожинов: Нет, было! Нет, было! Более того, я склонен думать, что та записка, которая была здесь получена и зачем-то зачитана (шум), написана совершенно в провокационных целях... (Шум, аплодисменты.) Я не верю, я не верю тому, что это написал человек, который хотел выразить свою, так сказать, какую-то антисемитскую позицию..."

Дальше последовал то ли шекспировский, то ли гоголевский диалог, являющийся невольным образцом драматургического жанра:

"Ф. Кузнецов: Прошу...

В. Кожинов: Он именно хотел возбудить страсти.

Ф. Кузнецов: Я прошу вернуться к теме дискуссии.

В. Кожинов: Правильно, я о том же.

Ф. Кузнецов. И не нужно опускаться, я бы сказал, до мелких неразрешимых страстей.

В. Кожинов: Правильно, но я...

Ф. Кузнецов: Слава Богу, мы ушли от этого и перешли к нормальному профессиональному разговору...

В. Кожинов: Совершенно верно, Феликс, но не я оке...

Ф. Кузнецов: Зачем же возвращаться...

В. Кожинов: Не я оке эти страсти возбудил...

Ф. Кузнецов: Что значит "не я оке..."

В. Кожинов: Но я действительно свое...

212

Ф. Кузнецов: Я прошу перевести разговор в русло литературы. (Шум, выкрики.)

В. Кожинов: Все правильно, я про то и говорю.

Ф. Кузнецов: А ты свое...

В. Кожинов: А чего "свое"? (Шум, крики.) Ну знаешь, давно пора все выяснить... Это делает невозможным всякое серьезное обсуждение...

Ф. Кузнецов: Вот именно..."

Даже сейчас, спустя двадцать лет после дискуссии, перечитывать ее стенограмму невозможно без волнения. После двенадцати ночи нервы сдали у опытного аппаратчика Евгения Сидорова. Когда Кожинов сошел с трибуны, "Пупсик" Сидоров (как мы его звали) сорвался на фальцет:

— Товарищи, я прошу вести себя корректно, мы договорились об этом! Не разжигайте, пожалуйста, страсти!!! Я к вам обращаюсь...

Но страсти уже разжигать было некому. Все валились с ног от усталости. Напоследок я вышел с коротким заключительным словом и сказал, что не принимаю упрёки в том, что Багрицкий помер и ничего не может возразить Куняеву, а потому выступление Куняева неэтично.

— Но ведь Чехов тоже помер, — пошутил я, — и ничего не может возразить Эфросу по поводу постановки им "Вишневого сада" или "Трех сестер"...

Весьма достойно выступила Инна Бенционовна Роднянская. Но после дискуссии она призналась Вадиму Кожинову, что сказала не все, что хотела поговорить о "главном кровопийце", измывавшимся над классикой в 20—30-е годы, о Сергее Эйзенштейне, но атмосфера зала настолько напугала ее, что

пришлось от этой мысли отказаться.

После полуночи истерзанная переживаниями людская масса, как венозная кровь, вытекла из обескислороженного, душного зала. Шатаясь от усталости, я зашел в полутемный ресторан, где за столиком сидели Татьяна Глушкова и Александр Проханов.

— Волк! — бросилась ко мне навстречу Татьяна. — Вы живы? Я-то думала, что вы не устоите на трибуне, что вас сдует, такая волна ненависти неслась мимо меня прямо на вас...

Мы, все обессиленные, что-то выпили, о чем-то помолчали, и на прощанье Саша Проханов медленно произнес: "Прямое восстание бессмысленно, надо идти другим путем".

Мои карманы были набиты записками, которые я получил

213

за пять часов пребывания на сцене. Я высыпал их на стол. Взял первую попавшуюся, прочитал вслух: "Стасик! Обнимаю тебя, дорогой. Очень хорошо — сильно, ярко ты выступил о Багрицком — с каждым словом твоим согласен. Творчество Багрицкого враждебно русской поэзии — и классической и современной. 21—ХП—77 г. Анатолий Жигулин".

Ах, Толя, Толя! Через пятнадцать лет он полностью перейдет в ренегатский лагерь, напишет драматическую повесть "Черные камни", в которой оболжет своих "подельников", станет на какое-то время послушной игрушкой в руках кукловодов перестройки, которые используют его небольшое имя ради своих целей, свозят пару раз в Европу, а потом предадут нищете и забвению.

Мы расходились с дискуссии со смутным ощущением того, что произошло нечто необъяснимое и роковое, после чего жить по-старому будет невозможно. Моя жена, когда мы подъехали к дому по заснеженной улице, вылезая из машины, потеряла с пальца кольцо с изумрудом... Дурное предчувствие охватило меня, но рано утром я вышел на улицу и в затоптанном снегу — о счастье! — нашел желтое колечко с блеснувшим из белого снега зеленым камушком. Неужели мы победили?

Советская пресса отозвалась на дискуссию оглушительным молчанием. ЦК, дабы "не раскачивать лодку", запретил упоминать в печати о том, что произошло 21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов.

Однако многие европейские газеты опубликовали пространные отклики на нее.

Из белградской газеты "Политика" от 15.01.1978 года: "Одна часть публики рукоплескала Палиевскому и Куняеву, другая Эфросу. И нелегко было бы сказать, у кого из них больше сторонников".

"Литературный критик Александр Борщаговский (осужденный в 1949 году за "космополитизм") обвинил Палиевского в идеализации 30-х годов, бывших трагическими для нашей литературы. "Вы говорите, что "Тихий Дон" — лучший роман XX века, но кто это доказал, — спросил критик".

"Критик Юрий Селезнев энергично восстал против призыва к примирению. "Мы живем в мирное время, но не имеем права забывать годы, когда был учинен погром в русской литературе".

"Когда посторонний человек задается вопросом, почему разговор в ЦДЛ называют открытым, если состоялся он "в кругу семьи" и освещен в печати не был, то вместо ответа слышит вопрос: "А вы что, не знаете Россию?" Смысл этой

214

фразы заключается в том, что в России тайное всегда становится явным".

Парижская газета "Монд" опубликовала 9.02.1978 года статью Жака Амальрика под названием "Неосталинистское наступление в Союзе писателей".

"Собрание, организованное сторонниками "неосталинистской" фракции в

Союзе писателей, прошло под знаком откровенно антисемитских выступлений и прославления "подлинно русского" искусства сталинской эпохи".

"Последняя деталь, немало говорящая о смысле, который хотели придать своему собранию организаторы вечера 21 декабря: именно 21 декабря 1879 года в Гори родился некий Иосиф Виссарионович Джугашвили".

Израильский журнал "22" посвятил в 1980 году нашей дискуссии целый номер. Из статьи В. Богуславского "В защиту Куняева": "Главарями Октябрьской революции были авантюристы полуинтеллигенты, недоучившиеся студенты и "экстерны", духовный багаж которых состоял из набора пропагандистских брошюр марксистского толка. Их армией — "солдатами революции" — стало откровенное быдло... Новый класс — это его, правящего быдла, дети, окончившие спецшколы, университеты и аспирантуры...

Задача Куняева — отодвинуть случайного Багрицкого со столбовой дороги, "заменив" вполне законным национальным конкурентом Сергеем Есениным", "В России действительно выросла своя собственная, русско-советская интеллигенция, и новая аристократия не ощущает более нужды в жидовском (пардон — "сионистском") обслуживающем персонале. Катитесь! Игра окончена!.."

Из статьи Шимона Маркиша "Еще раз о ненависти к самому себе": его друг "хорошо знал Куняева, дружил с ним и всегда говорил о нем одно хорошее... вроде бы карьеры он не сделал, в начальники не пробился и не пролез. Значит, к его словам можно относиться серьезно. Это не лозунги, окупающиеся и оплачиваемые без промедления (как у хитрейшего ловкача Ильи Глазунова)".

"Мандельштам — это жидовский нарост на чистом теле тютчевской поэзии..." Слова приписываются Петру Палиевскому... Эта отчаянная ненависть, по-моему, менее оскорбительна для Мандельштама, чем снисходительное похлопывание по плечу, которого удостоивает его Куняев".

"Никто не убедит и не принудит меня отказаться от своей еврейской точки зрения, — пожертвовать своими, еврейскими

215

интересами ради универсальной идеи — будь то "пролетарский интернационализм", "великая Россия", "торжество христианства", "благо всего человечества" и т. п. И если нет другого выбора, кроме как: погромщик-антикоммунист или коммунист, спасающий еврейские жизни, — я (вместе с Багрицким) выбираю второго".

Комментарий М. Хейфица из "22" назывался так: "Эдуард Багрицкий — растлитель России. Дух погрома в статье Ст. Куняева". Хейфиц, надо отдать ему должное, откровенно и смело признался, что у евреев есть, как и у других народов, полное право иметь "своих негодяев". Автор даже, как это мне помнится, расширил круг негодяев, включив туда целую плеяду политиков, уничтоженных Сталиным, — от Троцкого до Ягоды... С такой откровенностью трудно было спорить, но я был удовлетворен, что вызвал своих соперников на открытый разговор*.

Не заставили себя ждать отклики по многочисленным "радиоголосам", появились и публикации искаженных стенограмм в "самиздатских" журналах, сопровождаемые статьями, не на шутку разгоряченные авторы которых обвиняли одних ораторов в "возрождении сталинизма", в "призыве к погромам", а других — в трусости и неумении дать достойный отпор "зарвавшимся черносотенцам" и сетовали, что власть недостаточно тверда, чтобы окоротить последних.

Помнится еще статья Наума Коржавина, в которой он приносил осторожное покаяние за преступления еврейских революционеров перед Россией, за что получил отповедь от Раисы Лерт в книге "На том стою", изданной лишь в 1991 году. "Покаянный пафос Коржавина или Хейфица мне непонятен. Сталинскую

коллективизацию в числе прочих и такими же методами проводили и евреи — однако, как еврейка, я так же не могу взять на себя ответственность за это, как любой порядочный русский человек не мог отвечать за кишиневский погром и за дело Бейлиса, хотя организовывали и проводили их русские люди".

А куда было деваться Хейфицу и Коржавину, знавшим, к примеру, о документе, опубликованном в свое время в позже запрещенной и изъятой из всех библиотек книге о строительстве Беломорско-Балтийского канала?

* Цитаты из зарубежной прессы любезно предоставлены мне С. Н. Семановым из его архива.

216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР
РАБОТНИКОВ,
ИНЖЕНЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА
имени тов. СТАЛИНА

Центральный исполнительный комитет Союза ССР, рассмотрев представление Совета народных комиссаров Союза ССР о награждении орденами Союза ССР наиболее отличившихся работников, инженеров и руководителей Беломорстроя, постановляет:

Наградить орденом Ленина:

1. ЯГОДУ Генриха Григорьевича — зам. председателя ОГПУ Союза ССР.
2. КОГАНА Лазаря Иосифовича — начальника Беломорстроя.
3. БЕРМАНА Матвея Давыдовича — начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
4. ФИРИНА Семена Григорьевича — начальника Беломорско-балтийского исправительно-трудового лагеря и зам. начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
6. ЖУКА Сергея Яковлевича — зам. главного инженера Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью обеспечившего качественное выполнение проектных работ.
7. ФРЕНКЕЛЯ Нафталия Ароновича — пом. начальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое время преступление против государства и амнистированного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обеспечившего правильную организацию производства работ, высокое качество сооружений и проявившего большое знание дела.
8. ВЕРЖБИЦКОГО Константина Андреевича — зам. главного инженера строительства (был осужден за вредительство

217

по статье 58-7 и освобожден досрочно в 1932 году), одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившегося к порученным ему работам.

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР

А. ЕНУКИДЗЕ

Москва, Кремль, 4 августа 1933 г.

Куда было им деваться, если эту стройку века, этот громадный ГУЛАГ, в 1934 году в вышеупомянутой книге прославили их соплеменники Виктор Шкловский, Евгений Габрилович, Вера Инбер, Бруно Ясенский, Семен Гехт,

Леопольд Авербах, Анна Берзинь, Лев Славин, Лев Никулин, Яков Рыкачев и многие другие вдохновенные романтики ГУЛАГа?

Ну как можно ответить на это бегство от ответственности за преступление против человечества? Германию и немцев, как нацию, к примеру, заставили в Нюрнберге отвечать за преступления ее сыновей. Недаром в Маутхаузене среди множества памятников, которые каждая нация поставила своим мученикам, есть особый памятник из белого камня: с неподвижным лицом, слепыми глазами, с прямой, как доска, спиной сидит пожилая немка, или даже старуха, немецкая мать. На стеле рядом с ней надпись: "О Германия, бледнолицая мать, что же сотворили твои сыновья? Что ты сидишь здесь, как насмешка среди других народов или как страх?"

Надо, конечно, было бы пристыдить в свое время Раису Лерт, что русские люди к кишиневскому погрому не имеют никакого отношения, да и дело Бейлиса, закончившееся для подсудимого оправданием, ставить на одну доску с гибелью миллионов русских и украинцев во время коллективизации — кощунственно, но Бог с ней. Тем более что несколько любопытных и даже пронизательных комментариев к дискуссии еврейская активистка сделала.

"Если бы Палиевский, Куняев, Кожин и прочие говорили вполне открытым текстом, они могли бы возразить мне примерно так:

"Вы говорите о статьях, литературных направлениях и т. п.

218

А мы говорим об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот эта традиция и прервалась в 1917 году — и прервала ее революция. И вся русская поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и все искусство 20-х годов полярно враждебно русской классике и русскому народу, ибо полярно враждебна им революция и влившиеся с ней в русскую культуру "инородцы".

"Куняев наиболее откровенно отбросил "литературные тонкости", которыми драпировались другие, — и в его выступлении наиболее "грубо, зримо" проявилась тенденция воинствующего национализма, национальной особенности — в противовес неосуществившемуся интернационализму 20-х годов".

Кое с чем из того, что здесь сказано, и можно было бы согласиться, хотя Раиса Лерт многое упрощает, а всей глубины и тонкости русско-еврейских отношений просто понять не смогла. Ума не хватило. Но что уж она сочинила от страха — так это миф о нашем тайном сотрудничестве с властью в 70-е годы:

"Но "инстанции" и "почвенники" очень хорошо друг друга понимают, и потому полуоткрытым текстом Куняеву и другим дозволяется говорить все, что угодно, — лишь бы они укрепляли русскую национальную идею. Ибо в глубине души "инстанции", как и Сталин в 1941 году, возлагают на нее больше надежд, чем на свою нормальную пропаганду "зрелого социализма" и "развитой советской демократии". И они по-своему правы". "Дискуссия в ЦДЛ была своего рода "разведка боем", пробой сил, черновым смотром жизнеспособности официальной и неофициальной идеологии".

"Группа эта отлично знает, что опирается на поддержку сверху и что власть в ней нуждается... вот в таких образованных, интеллигентных, способных выработать новую национальную идеологию".

А в это время, когда Лерт писала свою книгу, "образованные, способные, интеллигентные" русские националисты Владимир Осипов, Игорь Огурцов, Леонид Бородин уже тянули свои сроки, а новый шеф КГБ заявил, что западные диссиденты не страшны стране, что их, мол, всех "в одну ночь" взять можно, а вот русские националисты представляют из себя действительно серьезную опасность... Поистине у страха глаза велики.

Юнна Пейсаховна Мориц (в 1960—1970-х годах она числила себя по отчеству

"Петровной", как и Межиров, в годы

219

перестройки ставший "Пинхусовичем") в газете "Русское слово" (1990 г., 17 июля) почти через тринадцать лет после дискуссии вспоминала о ней так: "Первым мероприятием, на котором отметились фашиствующие группы, была дискуссия "Классика и мы"... На этой дискуссии Куняев впервые начал разоблачать Багрицкого".

Все наши выступления были для власти как гром среди ясного неба. К сожалению. Помню, как Феликс Кузнецов (кстати говоря, много сделавший в последующие годы для укрепления русских позиций в Московской писательской организации) передавал мне яростное недовольство цековских чиновников. Их скрежет зубовой слышался даже в его смягченном пересказе.

— С глаз долой! Пропадай куда-нибудь, Стасик, — заявил он мне. — Уходи в отпуск, хоть на два, хоть на три месяца.

Должен был я в те дни улетать в командировку на Кубу, но, естественно, меня тут же вычеркнули из списков делегации, и я поехал к матери, в родные калужские стены, писать стихи и бражничать с друзьями моей провинциальной юности.

Перед отъездом по каким-то делам зашел в кабинет Риммы Казаковой. Она поглядела на меня исподлобья:

— Слышала, слышала, как ты Багрицкого громил, кулацкие взгляды проповедовал.

В заключение сюжета хочу лишь сказать, что один из главных идеологов ельцинской эпохи, бывший министр культуры, а ныне чиновник от России в ЮНЕСКО, "Пупсик" Сидоров, дирижировавший нашей дискуссией, в своем вступительном слове рассказывал о том, "что мы возьмем с собой в коммунистическое далеко", утверждал, что "лучшие книги последних лет прямо включают нашу социалистическую действительность в контекст общечеловеческих духовных и нравственных исканий", требовал "не забывать о классовых критериях нашей культуры" (цитирую по стенограмме).

Реститутка она и есть реститутка. Хоть при советской власти, хоть при рыночной демократии.

Легенды о дискуссии стали возникать буквально на следующий день. Перепуганные еврейские активисты, явно преувеличивая наши коварные способности, утверждали, что мы якобы специально выбрали для дискуссии 21 декабря — день рождения Сталина...

Однако это глупости. Дискуссия должна была состояться совершенно в другие сроки, но из-за каких-то внутренних соображений руководители Дома литераторов Филиппов и Шапиро сами перенесли ее на двадцать первое.

220

По Москве поползли слухи, что я племянник члена Политбюро, секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева, потому-то и веду себя так нагло, что уверен в собственной безопасности.

Поэт Семен Сорин, автор ныне забытой поэмы о Дзержинском и ЧК, сочинил и пустил по Москве весьма остроумную и достаточно серьезную эпиграмму:

Свершив террористический налет,
Слиняли Палиевский и Куняев.
Ах, был бы Феликс, взял бы негодяев!
Но Феликс, к сожалению, не тот.

Да. И "Феликс" был уже не тот, и эпоха не та, о чем Семену Сорину, Эфросу, Евтушенко, Борщаговскому, Раисе Лерт и прочим "интернационалистам" можно было только пожалеть.

В конце 1977-го и в 1978 году я в связи с дискуссией "Классика и мы" сблизился с весьма умной и, что не менее важно, решительной женщиной, способной на поступки, Татьяной Михайловной Глушковой. Между нами завязалась обильная переписка. Однажды она упрекнула меня, что в моей борьбе с "победителями" не хватает "чаадаевской" прививки, "капли гамлетизма", что "победители", по словам Багрицкого, тоже дали многое русской культуре. Я ответил ей большим страстным письмом, отрывки из которого хочу привести здесь.

"...Чего-чего, а "презирать своих" (что Вы советуете) мы умеем, как никто. Допрезирались. Сто лет баловались "чаадаевщиной", столь милой Вам, и докатились до полного самоуничтожения. Отчаянно раздували угольки, в золе копались, пока не увидели — горим... Путь этот пройден до предела, до последнего шага. Второй раз начинать его по пепелищу?

О "победителях". На мой взгляд, "победители" делаются из материала несколько иного. Таковы были норманны для Британии, мавры для Испании, турки для Сербии, татары для России, русские для татар. Вот истинные победители, давшие взамен независимости побежденным приток молодой крови, свои мифы, свою религию, гены своей плоти и духа... Свои скулы и раскосые глаза, свою тоску по мировому господству, дворцы Толедо и Альпахары, государственность и Великую Хартию, завыванье ямщицкой песни и кодекс рыцарства. И подчинение таким победителям и сопротивление им — одинаково обогащало побежденных. К таким победителям я

221

отношусь, "как аттический солдат, в своего врага влюбленный"... А эти?! Тьфу, нечистая сила, как говорила моя бабка. Вы думаете, Блок не понимал нашего диалога? Понимал, потому-то и написал "Скифы", а не что-либо иное. Потому-то около двухсот отрывков из его записных книжек и дневников не опубликовано до сих пор. Победителям — страшно. Блок шутить не любил. А ведь у него-то чувство исторической связи, взаимооплодотворяемости было феноменальным. Однако он любил называть вещи своими именами. А этого "победители" боятся как черт ладана. Инстинкт слабых все время заставлял их скрывать свои победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился... Какое уж искусство может быть при этой жалкой анонимности, о каком плодотворном кровосмешительстве может идти речь... Все это стало достоянием гласности — не государственной (поскольку завоевание тоже было не гласным, скрытым, постепенным), а общественной лишь в последние годы. Если бы эта гласность приняла какие-то государственные формы, наш диалог был бы невозможен: я не стал бы в нем участвовать. Но слава Богу, видимо, государство не станет вмешиваться в эти дела. Да и инструментов для этого у него нет. Так что это наше дело. Внутреннее, постепенное, естественное. Как завоевание шло тайными путями, так же скрытно от глаз (чтобы не приобрести безобразные формы) должна идти и реконкиста...

На каплю "гамлетизма" согласиться можно было бы, но беда в том, что русский человек на капле не остановится".

"Я очень хорошо понимаю истоки и масштабы их ярости. Им было даже приятно, когда с ними воевал какой-нибудь Иван Шевцов или другой непроходимый вепс. На этом фоне они выглядели благородными, талантливыми, гонимыми, и, ей-Богу, в глубине души были благодарны своим глупым гонителям. Сейчас же каждый более менее не дурак из них отдает себе отчет, что Вы умны и талантливы. Над Вами не посмеешь. На меня они злы, потому что я нарушил правила игры, заключавшиеся в том, что человек, занимающий пост и обладающий властью, по традиции обязан поддерживать дух умеренной либеральности, чем я заниматься не стал.

Их ненависть — замешана на страхе и на слабости. Но она вездесуща. Выход есть, наверное, один. Относиться ко всему спокойно. С искренним добродушием, без ожесточения. Улыбаться. Словом, делать вид, — впрочем, это должно соответствовать внутреннему состоянию,—что ты выше злобы дня. Во имя справедливости. Ради Бога — нельзя впадать в отчаянье, в истерику. Нельзя показывать, что твои нервы на

222

пределе. Да их и в действительности нужно от этого предела оградить.

Я понимаю, что женщине следовать этим советам куда труднее, чем мужчине. "Нам только в битвах выпадает жребий"... Потому я не буду осуждать Вас ни в коем случае, как бы ни развивались последующие события. Не давайте только им повод торжествовать. Всем этим "порядочным людям". И "приличным" тоже. Когда Ластик (он же Лангуста) сказал мне ту же самую фразу, что и Вам: "Все приличные люди отвернутся от Вас", я ответил ему: "Дорогой А. П.* Ну, что Вы! Я же знаю, что Вы от меня никогда не отвернетесь". Он не понял юмора и даже сделал вид, что растрогался, забормотал, что знает наизусть десятки моих стихов, но кончил тем, что к Льву Толстому в Ясную Поляну приезжал один из последователей Ламброзо с одной целью: изучить необыкновенно уродливое строение черепа графа, как представителя вырождающегося рода, отягощенного всяческими душевными заболеваниями.

О Господи! Вызов брошен. Мятеж** состоялся. Со славой он закончится или без славы — нам знать не дано. Но одно я знаю точно: "все миновалось, молодость прошла". На нашу долю остался лишь голубой дымок поэзии да темная мгла идей, и если не бросить вызов (а долго ли жить-то осталось!), то последние годы придется коротать бок о бок со старыми калошами, енотами***, лангустами, ластиками, слушая их душевно-бытовую болтовню и грустно поддакивая им. Да при одной мысли об этом хочется пойти на кухню, законопатить окна и отвернуть все газовые камфорки".

Записи из дневника после дискуссии "Классика и мы"

25 декабря 1977 г.

На экстренном и чрезвычайном секретариате после дискуссии Феликс толковывал мне что-то о "ролевом сознании". Вадим уверяет меня, что мы победили. Евреи, сидящие в зале, по свидетельству близких мне очевидцев, говорили о погромных настроениях. Дураки. Они не понимают,

* А. П. Межиров.

** Речь шла о моем письме в ЦК КПСС.

***"Еноты" и "вепсы" — шуточные наши прозвища евреев и русских.

223

что, выговорившись, русский человек от сознания исполненного долга успокаивается и добреет. Он воюет с идеями, а не с людьми, и воюет для понимания, а не для победы любой ценой. Победивший русский никогда не пляшет на костях побежденных, а, наоборот, начинает жалеть их.

Звонил наш куратор из "Детского мира", стал расспрашивать, как прошел секретариат по итогам дискуссии. Я начал было излагать, но потом, чтобы не запутаться, сказал: "Я лучше Вам прочитаю свою речь на секретариате. Он буркнул: "Подождите", — и на минуту в трубке воцарилось молчание. Потом он снова подошел к телефону.*

— Что, запись наладили? — спросил я.

— Да! — грустным голосом ответил он.

— Но ведь есть же стенограмма! — Стенограмма есть, да времени нет. А мне завтра в 9.00

надо докладывать.

И я начал ему читать.

26.12.1977 г.

Пришла Мар. Ч.: "По Москве распространяются слухи, что Куняев еврей, и поскольку дело в широком смысле идет к погромам, то он заранее решил обезопасить себя".

27.12.1977 г.

С вечера взялся за Гейне и понял, что начало современных диссидентских форм жизни и сознания идет от него. Он первый, опьяненный воздухом посленаполеоновской свободы, явил миру требования сформировавшегося европейского еврейства, с его портативной родиной — "библией", как пишет он сам.

Все другие народы создавали родину мечом, плугом, трудом. Евреи — только религиозным чувством и словом. С такой "портативной родиной" можно жить где угодно. Гейне первый, кто это сформулировал и выдал миру, как откровение, подтвердив его своей судьбой. И, конечно же, правы немцы, которые, независимо от их политических убеждений, не считают Гейне немецким поэтом.

11.01.1978 г.

Написал я письмо в партком с просьбой пригласить на партком меня на Генриха Гофмана, Борщаговского и Марка

** Так мы называли КГБ.*

224

Галлая, которые на всяких собраниях клеветуют на меня, приписывают мне призывы к погромам и т. д. На другой день звонок от Феликса Кузнецова.*

— Стасик! Забери письмо из парткома. Я говорил полтора часа с Марковым. Везде одно мнение — никаких разговоров на эту тему, национальный вопрос — неприкасаемый.

— Но Феликс, на меня же клеветуют!

— А ты что думал?! Это — расплата. Вы позволили себе неслы-ханную роскошь — дискуссию такого рода. А за роскошь надо платить.

1 декабря 1980 г.

Наконец-то я свободен, и даже увенчан ореолом гонимого властью литератора.

Ездили осенью прошлого года с Феликсом на поле. Куликово. В машине я сказал ему, что рабочим секретарем оставаться не хочу, чтобы не осложнять ему жизнь, но в секретариате меня следует оставить. Он пообещал. Однако, когда перед конференцией начались всякие партгруппы и кадровая возня, когда горком и ЦК стала осаждать орда функционеров (Сахнин, Галлай, Морис, Евгений Сидоров, Елизар Мальцев) с требованием снять меня со всех постов, угрожая скандалами, то и Феликс и горкомовцы дрогнули. Заведующий отделом горкома КПСС Глинский вел партгруппу и трижды устраивал переголосование, дабы провалить предложение Михаила Алексева о том, чтобы я остался в секретариате. После всего я подошел к Глинскому и сказал:

— Поздравляю... Партия уступила мафии...

Но когда все кончилось, мы с Галей уехали на Мезень, на Сояну, жили в избушке возле заброшенного рыбзавода, я ловил хариусов, а по вечерам на Воздвиженской неделе мы садились на лавочку под березами и слушали, как лоси, занятые гоном, фырчали в соседнем овраге и как на черной ели возле ручья ухаёт филин.

** После публикации этой главы в 4-м номере "Нашего современника" за 1999 год я получил следующее любопытное письмо:*

Уважаемый господин Куняев!

С большим интересом я прочел три последних номера "Нашего современника", в частности,

Вашу публикацию "Поэзия. Судьба. Россия"...

Посылаю Вам выдержки из письма моего командира, писателя, заслуженного летчика-испытателя, инструктора первых космонавтов, Героя Советского Союза, чудесного человека Марка Лазаревича Галлая (из письма 1989 г.): "Выступал я на эту тему и в Московском горкоме партии. Результат был довольно частный: не рекомендовали (и не выбрали) в секретариат Московской писательской организации поэта Куняева, известного своими антисемитскими настроениями. Как говорится, пустячок, но приятно. Или — правильнее: приятно, но... пустячок".

А. Яковлев,
г. Херсон

225

"Я вычитал у Энгельса, я разузнал у Маркса"...

Первая встреча с Борисом Слуцким. Слуцкий открывает мне Москву поэтов и художников. Слуцкий — певец социализма. Раздвоенность Слуцкого. Русско-еврейский вопрос в его жизни. Банальная драма искреннего атеиста. Бессилие правового мышления.

Похороны Слуцкого и моя речь над его гробом

Осенью 1959 года то ли на берегу Ангары, то ли в котловане Братской ГЭС я познакомился с молодым поэтом Анатолием Передревым, который и рассказал мне о Борисе Абрамовиче Слуцком. Передрев, оказывается, приехал в Братск по "направлению Слуцкого" — Слуцкий послал своей комиссарской волей молодого провинциального поэта, навестившего его в Москве, на стройку коммунизма — "делать биографию", "изучать жизнь"...

Возвратившись из Сибири в Москву, я стал звонить нескольким поэтам, имена которых для меня что-то значили, — я искал поддержки на первых порах новой еще неведомой для меня литературной жизни.

Позвонил Василию Федорову: звонит, мол, молодой поэт, приехал из Сибири, хочу показать стихи...

В ответ слышу: "Простите, молодой человек, сейчас нет времени, уезжаю на родину в Марьевку, позвоните месяца через два..."

Стою у телефонной будки на улице Горького, копаюсь в записной книжке... Звоню Льву Ивановичу Ошанину...

226

— Да, Станислав, да, понимаю, но я через неделю уезжаю в туристическую поездку в Венгрию с женой. Давайте встретимся через месяц...

Вспоминаю о телефоне Слуцкого... "Молодой поэт? Сколько вам? Двадцать шесть? Немало. Откуда? Из Сибири? Что? От Передрева? Ну как он там? Стихи пишет? Встретиться со мной? — Хорошо! Где вы находитесь? Центральный телеграф знаете? Через час под часами на Центральном телеграфе..."

Слуцкий сразу же взял быка за рога. Тут же сводил меня в писательскую книжную лавку, где познакомил с Евгением Винокуровым, по дороге рассказав о литературной жизни в Москве, определяя, кто есть кто и кто чего стоит. Из лавки писателей мы в этот же день строевым шагом дошли до журнала "Знамя" — в проезд Станиславского, где Борис Абрамович собрал несколько сотрудников — Кожевникова, Сучкова, Скорино, и твердым голосом, не допуская возражений, приказал мне: "Читайте стихи!"

Тут же мы договорились, что в "Знамени" в очередном номере стихи будут напечатаны, и я выходил из редакции уже не провинциальным, а московским поэтом...

Слуцкий сразу взялся за мое образование и для начала стал таскать меня по мастерским "широко известных в узких кругах" скульпторов и художников. Сначала мы навели модную в те времена мастерскую Силиса, Сидура и

Лемпорта.

Борис Абрамович, как опытный искусствовед, по-хозяйски водил меня по просторной подвальной мастерской где-то возле церкви Николы в Хамовниках, объяснял смысл скульптурного дела, поглаживал гипсовые и мраморные головы, остановился возле своей головы из серого гранита, лукаво поглядел на меня, пошевелил усами, довольный моим удивлением.

Потом мы были с ним где-то на Сретенке в мастерской еще молодого тогда Эрнста Неизвестного, заставленной до предела головами, ногами, руками, туловищами... Все это было крупным, грубым, гипертрофированным и не произвело на меня никакого художественного впечатления, но Слуцкий все равно был доволен.

— Это, Станислав, новое искусство! Ему принадлежит будущее, хотя в творчестве Неизвестного слишком много литературщины! — изрекал он.

Он вообще был в своих пристрастиях полным новатором, как любили говорить тогда, и модернистом. Все, что было связано с традицией — не интересовало его и воспринималось им, как искусство второго сорта. Высшим достижением

227

Николая Заболоцкого Борис Абрамович считал его первую книгу "Столбцы" и весьма холодно отзывался о классическом позднем Заболоцком. Судя по всему, ему были чужды и Ахматова и Твардовский, но зато он ценил лианозовского художника Рабина, певца барачного быта, его кумиром был Леонид Мартынов, который для Слуцкого как бы продолжал футуристическую линию нашей поэзии, а из ровесников он почти молился (чего я никак не мог понять) на Николая Глазкова за то, что последний, по убеждению Слуцкого, был прямым продолжателем Велимира Хлебникова. При упоминании имен Давида Самойлова, Наума Коржавина, Александра Межирова Борис Абрамович скептически шевелил усами: они были для него чересчур традиционны. На когда он вспоминал Глазкова, в его голосе даже начинало звучать что-то похожее на нежность.

Запись в моем дневнике:

"Позвонил из психиатрической больницы Борис Слуцкий.

— Стасик, звоню Вам из дурдома. Правда ли, что умер Глазков? Скажите от меня на панихиде, что его считаю талантливейшим из моего поколения.

— Борис Абрамович! — желая хоть как-то успокоить его, ответил я в трубку. — Я выполню Вашу просьбу. Но хочу сказать Вам, что Вас к шестидесятилетию наградили орденом Красного Знамени. Может быть, мне приехать и вручить его Вам в больнице?

— Не надо. Я через две недели выпишусь и получу его сам. Вечером он еще раз позвонил, справился, произнес ли я его слова на панихиде".

Но это уже был усталый, сломленный своей болезнью и смертью жены Слуцкий. А в 1959 году, во время наших первых встреч, он был еще молодым, властным, уверенным в правоте советского дела, безо всяких еврейских комплексов. Разве что художники и скульпторы, по которым он водил меня, почти все как на подбор были евреями.

В первые же месяцы моего вхождения в московскую жизнь он успел еще сводить меня в мастерскую художника Вайсберга, познакомить с Николаем Асеевым и Юрием Трифоновым, а в своей комнатухе на Юго-Западе однажды заставил меня читать мои весьма наивные и несовершенностихи из первой книжки драматургу Александру Володину.

Сам же сидел, как "усатый нянь", самодовольно улыбаясь и гордясь своим новым воспитанником.

Позднее я понял, что Слуцкий, очень ценивший свое время,

228

не был просто филантропом, хотя он выручал меня, да и не только меня, деньгами, делами, советами. За все это он не грубо, но последовательно ждал послушания, групповой дисциплины, проведения в литературной жизни его линии—линии учителя. Он набирал учеников не от избытка чувств, а для дела... Противоречий и несогласий с собой не то чтобы не терпел, но не одобрял и сразу же отдалял от себя "инакомыслящих". Но что привлекало в Слуцком? Его умение четко сформулировать ответ на какую-то социально-политическую проблему. В тот временной отрезок он умел это делать быстрее и смелее других.

Позже, через несколько лет, я дорос до понимания того, что эти ответы были нередко поверхностны, односторонни, публицистичны, но когда тебе 26 лет и сразу хочется все понять, то именно такой подход к жизни наиболее привлекателен.

Подкупала простота и демократизм поэзии Слуцкого — мы ведь многое принимали на веру, на веру приняли и утверждение Эренбурга, что именно Слуцкий наследник некрасовского демократизма. Авторитеты в те времена значили много. А Эренбург был авторитетен.

Да, Слуцкий был демократичен. Он даже не пил коньяк, говоря, что народ пьет водку и поэт не должен отрываться от народа и в этом деле. Привлекала в творчестве Слуцкого насыщенность его поэзии прозой жизни. Проза жизни — ее картины, ее грубый реализм—вообще моя слабость. И соблазн освоить "эту прозу" в стихах был велик. Именно в этом ключе влияние Слуцкого на меня было самым сильным. Но потом, по-настоящему прочитав всю русскую классику, я понял, что проза в стихах не есть открытие Слуцкого — Пушкин, Некрасов, Ходасевич заложили краеугольные камни прозаической эстетики (недаром Слуцкий ценил Ходасевича и раннего Заболоцкого выше Мандельштама). Просто все дело в том, что, прежде чем по-настоящему прочитать Некрасова и Пушкина, мы сначала читали стихи Багрицкого, Светлова, Смелякова, искали кумиров и учителей среди своих современников...

А теперь несколько разрозненных мыслей, которые пришли ко мне, когда я читал последнее, может быть, самое значительное "Избранное" поэта.

* * *

Поэты умирают тогда, когда умирает их время. Помнится, как в начале 60-х годов Слуцкий написал стихи о гимне, о том, как после XX съезда партии срочно отремонтировали старый гимн Советского Союза, избавили его от сталинизмов и как

229

новый идеологический шаблон стал с трудом внедряться в массовое сознание "заместо гимна ложного". Слуцкий, видимо, считал нужной эту замену, но одновременно видел, что народу уже все "до феньки", и написал, собственно, об этом стихи... Но сегодняшнее время, когда пересмотрены основы не гимна Советского Союза, а постулаты партийного мирового гимна — "Интернационала", он бы не перенес.

Сколько раз он цитировал в своих стихах: "это есть наш последний и решительный бой!" А если бы он дожил до горбачевщины, когда глава коммунистической партии утром говорил о строительстве общеевропейского дома, а вечером на закрытии XXVIII съезда пел вместе со всем залом "весь мир насилья мы разрушим"... — Нет! Борис Абрамович не вынес бы такого лицемерия, такого раскола в своей душе.

Гимну Советского Союза он отдал лишь половину души. И после "косметического ремонта" текста все-таки выдержал удар судьбы. "Интернационалу" же, как и мировой революции, была отдана его душа целиком. Он умер вовремя.

* * *

Любить поэзию Слуцкого меня научил не кто-нибудь, а именно Анатолий Передреев.

В 1960—1961 годах я часто слышал, как он, пытаясь себе что-то объяснить, читает вслух и повторяет многие строчки Слуцкого, открывая в них для себя какую-то скрытую, внешне простую и даже угловатую красоту.

Я не жалею, что его убили,
жалею, что его убили рано,
не в третьей мировой, а во второй,
рожденный пасть на скалы океана,
он занесен континентальной пылью
и хмуро спит в своей глуши степной.

Из стихотворения "Памяти Кульчицкого". Особенно ему нравились некоторые эстетические находки Слуцкого — его повторы, его прозаизмы, его бедные рифмы. Помню, как много раз он с каким-то упоением повторял строки: "С ним рядом офицеры шли, шагали", или:

Так вот она середина
жизни, возраст успеха,
а мне наплевать, все едино,
а мне наплевать, не к спеху.
А мне ордена давали,
а мне приказы давали.

230

Когда я писал статью о поэтах-ифлийцах, я, конечно же, не раз вспоминал моего друга, который вслух читает стихи Слуцкого, вслушивается в них, но я понимал так же, что у Передреева в его годы была своя поэтическая причина любить эти стихи, а у меня своя историческая, подвигавшая меня относиться к ифлийцам, как к потомкам и продолжателям дела "комиссаров в пыльных шлемах", ломавших Россию через колено.

* * *

Евтушенко в предисловии к книге Слуцкого пишет: "Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени..."

Я любил и до сих пор люблю многие стихи Слуцкого. Всегда уважал его прямоту, верность слову, долгу, присяге. Но никогда не считал его великим поэтом, ибо великий поэт всегда выше, глубже, значительнее своего времени. А Слуцкий был во времени весь со всем своим честным догматизмом, ленинизмом, максимализмом, комиссарством и даже своеобразным сталинизмом. "Великий поэт—это воплощение своей эпохи", — пишет Евтушенко. А разве Багрицкий (кстати, один из любимых поэтов Слуцкого) не выразил как никто кровожадную идеологию классовой борьбы этой эпохи? Разве его формулы "Но если век скажет: "Солги!" — солги! Но если век скажет: "Убей!" — убей!" не были написаны на знаменах времени? Но можно ли такого поэта, абсолютно соответствующего главному пафосу времени, назвать великим?

Да, Слуцкий действительно был поэтом своей эпохи. Он и книги свои, как бы подчеркивая временность их существованья, называл демонстративно: "Время", "Сегодня и вчера", "Современные истории", "Продленный полдень", "Годовая стрелка", "Сроки"...

Слуцкий мужественно и самонадеянно принимал на себя, как гражданин и честный винтик эпохи, ответственность за все ее деяния даже в такой мере, в какой поэт не имеет права взваливать ее на свои плечи.

Государство должно государить,
Государство должно есть и пить,

и должно, если надо, ударить,
и должно, если надо, убить.

Понимаю, вхожу в положение,
и хотя я трижды не прав,
но как личное поражение
принимаю списки расправ.

231

По нынешним временам это хороший ответ и сыновьям административно-бюрократической системы, и их противникам из леворадикальной колонны, когда ни те, ни другие не принимают ответственности ни за деяния своих идеологических отцов, ни за свои собственные, прилаживая демократические маски на лица, чтобы не отвечать ни за что, ежели в будущем что-то получится не так. Слуцкий был убежден, что, несмотря ни на что,

кашу верно заварили.
А ежели она крута, что ж!
Мы в свои садились сани,
билеты покупали сами
и сами выбрали места.

Читая это, я горько усмехаюсь: наши леволиберальные поэты сейчас проклинают тоталитаризм. А ведь у каждого из них был мощный идеологический фундамент — поэма о Ленине. У Евтушенко "Казанский университет", у Вознесенского "Лонжюмо", у Рождественского "Двести десять шагов", у Сулейменова "Апрель", у Коротича "Ленин. Том 54"... Разве они не знали о ленинском тоталитаризме? Так что заваренную верно "кашу" они небезуспешно и небескорыстно доваривали еще в 60—70-е годы.

* * *

Раздвоенность мировоззрения Слуцкого была абсолютно тупиковой и безвыходной. С одной стороны, типичный ифлиец, фанатик мировой революции, верный солдат и политрук марксистско-ленинской тоталитарной системы, для которого высший гуманизм и высшая справедливость заключалась в словах и музыке "Интернационала" — "Привокзальный Ленин мне снится" (даже не сам Ленин, а его гипсовая халтурная ширпотребовская статуя), "Я вычитал у Энгельса, я разузнал у Маркса", "приучился я к терпкому вкусу правды, вычитанной из газет", "себя считал коммунистом и буду считать", "как правильно глаголем Маркс и я"...

А с другой — трогательные, человечные, полные сдержанной аскетической любви к маленькому человеку стихи, столь любимые мною, — "Старухи без стариков", "Расстреливали Ваньку взводного", "Сын негодяя", "Последнюю усталостью устав", стихи о пленном немце, которого расстреливают перед тем как отступить — "мне всех не жалко — одного лишь жалко, который на гармошке вальс

232

крутил...". Все-таки он был истинный поэт и от соблазна человечности, от сочувствия человеку-винтику жесткой эпохи уйти не мог, и этот ручеек человечности у Слуцкого упрямо пробивается из-под железобетонных блоков его коммунистическо-интернациональных убеждений... Но и эта человечность Слуцкого ущербна. Она связана с его органическим пороком — абсолютным атеизмом, о чем чуть ниже...

* * *

Евтушенко чересчур упрощает Слуцкого, считая его последовательным антисталинистом. Да, с годами он все дальше уходил от преклонения перед

Сталиным, но отход был мучительным. Никогда Слуцкий не позволял себе фельетонности, кощунства, мелкотравчатости, прикасаясь к этой трагедии. "Гигант и герой", "Как будем жить без Сталина", "Бог ехал в пяти машинах", "Он глянул жестоко-мудро своим всевидящим оком, всепроникающим взглядом", "А я всю жизнь работал на него, ложился поздно, поднимался рано. Любил его..."

Сталин не любил таких "сомневающих фанатиков", как Слуцкий. Но такие, как Слуцкий, любили Сталина. В их атеистической душе он занимал место Бога, так как свято место пусто не бывает. У Слуцкого, как у поэта, был именно не политический, не государственный, а поистине религиозный культ этой земной фигуры. Даже через много лет после 1956 года в стихах о Зое Космодемьянской, умершей с именем Сталина на виселице (стихи не включены Евгением Евтушенко в сборник!), Слуцкий писал:

О Сталине я думал всяко разное,
Еще не скоро подобью итог
(разрядка моя. — Ст. К.).
Но это слово, от страданья красное
за ним, я утаить его не мог.

И офицер, ныне осмеянный журналом "Огонек", в стихах Слуцкого не отказывается от Сталина, который был его "благодатью, славой, честью, гербом и флагом" — "и за это, — заключает поэт, — ему воздам".

Конечно, Слуцкий понимал правовую бесчеловечность сталинского социализма, но понимал его не как анекдот, а как историю дегуманизированной необходимости.

Я шел все дальше, дальше,
и предо мной предстали
его дворцы, заводы —
233
все, что воздвигнул Сталин:
высотных зданий башни,
квадраты площадей...
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

"Он был мне маяком и пристанью. И все. И больше ничего". Он верил в то, что в мире, выстроенном Сталиным, можно поселить людей. И все это несмотря на знание стихов Мандельштама о Сталине, на горечь от кампании против космополитов и врачей, от уничтожения Антифашистского комитета... Почему? Да потому, что Слуцкий был человеком присяги. Партийно-идеологической присяги социализму. И как бы он ни мучился от ее догм, как поэт он нес ее до тех пор, пока его от нее не освободило само время.

* * *

"Всем лозунгам я верил до конца"... Конечно же, Слуцкий был последовательным сыном своей эпохи. Вот как он описывает утверждение социализма в странах Восточной Европы.

Я помню осень на Балканах,
когда рассерженный народ
валил в канавы, словно пьяных,
весь мраморно-гранитный сброд,
своих фельдмаршалов надменных,
своих бездарных королей,
жестоких и высокомерных

хотел он свергнуть поскорей...

Не знаю, не знаю... Я бывал в этих странах и видел, как стоят там в неприкосновенности памятники польским королям и Пилсудскому, генералу Скобелеву и всем династиям венгерских королей и полководцев, чешским монархам и деятелям католической церкви в той же Речи Посполитой... А о Югославии — с ее патриотизмом — и говорить нечего. Видимо, поэту очень хотелось, чтобы революции в славянских странах проходили по той же схеме, что и в России... "До основанья..." Эта трактовка и эта мечта вступает в полное противоречие с нынешним пониманием того, как и по чьей воле насаждался интернациональный социализм в Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии. Так что здесь правы или Слуцкий со Сталиным, или кардинал Мидсенти с Лехом Валенсой. Одно из двух. Однако таких стихотворений, не просто об освобождении от фашизма, а одновременно с этим

234

о социалистических общенародных революциях в Восточной Европе конца войны, у Слуцкого очень много.

Евтушенко включил в "Избранное" лишь одно, понимая чутьем политика их неуместность сегодня. Но из песни слова не выкинешь.

Я тоже во многом сын этой же эпохи, но моя жизнь не целиком принадлежит ей, и у моего поколения есть шанс понять свободу несколько шире, нежели только как "осознанную необходимость". У поколения же Слуцкого таких шансов почти не было. Потому-то многие стихи, которые тридцать лет назад восхищали меня, сейчас я не могу читать без глубокого удручения.

Давайте денег бедным, ,
несите хлеб несатым,
а дружбу и любезность
куда-нибудь несите,
где весело и сытно,
где трижды в день еда,
несите Ваши чувства
куда-нибудь туда.

.....
Брезентовые туфли
стесняют шаг искусства,
на коммунальной кухне
не расцветают чувства.

Видимо, действительно многое изменилось в людском сознании со времен Самсона Вырина и Макара Девушкина, если поэт, назубок вроде бы знающий Пушкина и Достоевского, утверждает: "на коммунальной кухне не расцветают чувства". Какое материалистическое заблуждение, забывающее о том, что "Троицу" Рублев написал в эпоху разорения Руси! А если вспомнить Аввакума, нищего бездомного Есенина, обездоленную в 30-е годы Ахматову, изгоев Клюева и Мандельштама! Всю свою историю русская литература только и занималась тем, чтобы выяснить, почему и как расцветают чувства вроде бы в совершенно неподходящих условиях — в мебелирашках и в душных департаментах Петербурга, в острогах Сибири, в крепостных деревнях, в замоскворецких ночлежках. И даже в бараках ГУЛАГа. А тут всего-то-навсего — коммунальная кухня, не так уж и страшно. И все равно "не расцветают чувства"!

* * *

Да, он любил людей, но не христианской, а прагматической любовью строителя, который заботился о согражданах, нужных для осуществления общего

дела, любовью архитектора,

235

проектирующего "котлован". А о других — выломившихся из жизни — писал с каким-то отстраненным сочувствием, как будто провожая их из жизни, как бы понимая, что они — отработанный шлак и сор, и — все равно им не поможешь, и не лучше ли оставить энергию сердца для единомышленников, для фронтовых друзей, для рядовых измученных строителей социализма. Он как бы, говоря о неудачниках истории — немецких пленных, белых офицерах, цесаревиче Алексее, по его собственным словам, "экономил жалость" — "мне не хватало широты души, чтоб всех жалеть, я экономил жалость"... На такие размышления меня натолкнуло стихотворение о судьбе обреченных белых офицеров в 30-е годы, которое заканчивалось в такой моральной тональности: "с обязательной тенью гибели на лице, с постоянной памятью о скороспелом конце..." "старце офицеры старые сапоги осторожно донашивали, но доносить не успели, слушали ночами, как приближались шаги, и зубами скрипели, и терпели, терпели".

* * *

Русско-еврейский вопрос, в первую половину жизни и творчества Слуцкого для него не существовавший, с годами начал мучить поэта все больше и больше. Все чаще его денационализированный интернационализм ощущал свою непрочность перед натиском возрождавшегося в обществе национального еврейского чувства. Появляются стихи "А нам, евреям, повезло", "Отечество и отчество", "Про евреев", "Романы из школьной программы"...

Романы из школьной программы,
На ваших страницах гошу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.

Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу родню,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я все-таки в сердце храню.

Почти русофильские стихи, но с одной очень существенной оговоркой, о которую всегда цеплялось мое чувство при чтении этого стихотворенья, написанного резко, без полутонов, с внезапным для поэта пониманием неожиданно возникшей двусмысленности своего положения. "Не курский, не псковский, не тульский" — поэт еще не решается сказать "не

236

русский", потому что последняя линия обороны — язык, культура, поэзия — это за ним. Не в происхождении, которое он игнорирует, а в любви к русской литературе он видит свою "русскость". Так-то оно так. Но кроме русской литературы есть еще русская история, и сегодняшний пересмотр ее самого страшного периода — 20—30-х годов, когда произошел геноцид русского народа, — делает весьма уязвимой жесткую формулу Слуцкого: "Я все лагеря и погромы за эти романы прощу". Поскольку мы сейчас знаем, кто строил лагеря и кто руководил ими, знаем фамилии верховных теоретиков и практиков ГУЛАГа, основателей системы ОГПУ — НКВД, — Троцкого, Ягоду, Паукера, Френкеля, Бермана, Раппопорта, Агранова, Когана, Петерса, Заковского, Трилиссера, Фирина, Фриновского и т. д. — имя им легион, так что еще вопрос, кто кому должен "прощать лагеря".

Предвижу возражение: "Ну, опять началось перечисление фамилий, когда это кончится, опять евреи виноваты!" А почему бы не перечислить? Вот только что по телевизору Александр Галич с мстительной страстью спел: "Мы поименно

вспомним тех, кто поднял руку" — это о голосовании, когда исключали Пастернака из Союза писателей. Но сотни тысяч уничтоженных в лагерях — преступление посерьезнее, нежели исключение Пастернака. Так почему бы не "вспомнить поименно" фамилии владык ГУЛАГа?

Вспоминать — так уж всё.

И еще один комментарий. За величие и гуманизм русской литературы Слуцкий прощает ей не только лагеря, но и погромы. Поэт, видимо, от недостатка информации в те времена не знал, что главные погромы в Российской империи происходили где угодно (в польском Белостоке, в молдавском Кишиневе, в интернационально-греческой Одессе, на Украине), но только не на коренных русских землях "псковских, курских, тульских". Так что не надо нас прощать, говоря о всемирно известных погромах. Не за что.

Но это одна из редких исторических ошибок Слуцкого. Обычно он всегда был точен, поскольку был и образован, и начитан.

Но то, что ленинская идея ассимиляции еврейства, его окончательного "обрусения" не реализовались в СССР к середине XX века, нанесло ему тяжелейшую мировоззренческую травму.

А потому я уверен, что, время от времени ощущая в себе импульсы пробуждающегося еврейского самосознания, Слуцкий в конечном счете, как ни страдал от раздвоенности,

237

никогда не пожертвовал бы ради национальной ментальности своим интернационально-советским мироощущением. Хотя эта раздвоенность в эпоху "оттепели" вызывала недоумение у людей — читателей самой разной ориентации. Вспоминается злая, но точная эпиграмма не какого-нибудь "русофила", а поэта-авангардиста Всеволода Некрасова: "Ты еврейский или русский? — Я еврейский русский. — Ты советский или Слуцкий? — Я советский Слуцкий..." Начало 60-х годов.

Мужественный пессимизм, прямота и бесстрашие были одними из главных черт природы Слуцкого.

Евреи хлеба не сеют,
евреи в лавках торгуют,
евреи раньше лысеют,
евреи больше воруют...

Я помню, как в начале шестидесятых годов в одном из провинциальных городков в доме, где собралась еврейская либеральная интеллигенция, меня, приехавшего из столицы, попросили прочесть что-нибудь столичное, запрещенное, сенсационное. Я прочитал это стихотворенье Слуцкого. Помню, как слушатели втянули головы в плечи, как наступила в комнате недоуменная тишина, словно бы я, прочитав стихи о евреях, совершил какой-то неприличный поступок.

Не торговавший ни разу,
не воровавший ни разу,
ношу в себе, словно заразу,
эту особую расу.

— Это же Слуцкий!—недоумевая и озираясь вокруг, сказал я. Ответом было молчанье. Такой Слуцкий, нарушивший в то время своей уже не комиссарской, а пророческой ветхозаветной смелостью (было в нем нечто от ассимилированного древнего пророка и богоборца одновременно) табу и запреты на рискованную тему, был этой местечково-советской интеллигенции неприятен, даже опасен.

Возможно, что душевный кризис, поразивший Слуцкого, имел еще одну причину. Он, свято уверовавший в интернационал людей, в идеалистическую и совершенно утопическую теорию слияния всех племен в одно человечество, а потому поверивший и в ассимиляцию российского еврейства, вдруг однажды понял, что это все — химера, разваливающаяся, как карточный домик, перед напором реальной жизни.

238

* * *

В давние времена, даже тогда, когда Слуцкий, прочитав рукопись первой моей книги, предложил себя в редакторы (кроме моей книги "Звено", он был редактором еще одной книги молодого поэта — ленинградца Леонида Агеева), словом, в дни самых лучших наших отношений, со многими его идеями и оценками я не был согласен, о чем говорил ему открыто в глаза. Помню его утверждение о том, что "одни великие поэты (по мысли Энгельса!) выражают "разум нации", а другие — ее "предрассудки". Далее он продолжал, что Сергей Есенин, согласно этой марксистской точке зрения, выражал именно "предрассудки русской нации". Я смеялся и прямо говорил ему: "Борис Абрамович, да Вы Есенина просто не понимаете!" Слуцкий топорщил усы, фыркал, ворчал. Помню, как на мой вопрос, читал ли он замечательных русских философов Константина Леонтьева и Василия Розанова, Слуцкий отрезал: "Я русских фашистов не читаю и Вам не советую".

Именно такие и некоторые другие максимы Слуцкого с течением времени все больше и больше отдаляли нас друг от друга.

* * *

Много было написано в нашей критике о демократизме Слуцкого. Эренбург сравнивал его демократизм с некрасовской народностью. Евтушенко не соглашается с Эренбургом. Он считает, что в поэзии Слуцкого нет ничего крестьянского (и это правда), и говорит о "фронтном демократизме". Но я думаю, что демократизм Слуцкого времен войны — это все-таки особая демократичность политрука, комиссара, руководителя, уверенного в том, что все, что делается им, идет на благо народа, не всегда понимающего, в чем его собственное благо.

"Я говорил от имени России, ее уполномочен правотой", "Я был политработником", "И я напоминаю им про родину", "И тогда политрук, впрочем, что же я вам говорю, стих — хватает наган, бьет слова рукояткой по головам, сапогами бьет по ногам..." (поднимая в атаку)... Если это демократизм — то особый, юридический, идеологически-приказной, который просуществовал семьдесят лет и сегодня умирает на наших глазах... Слуцкий застал начало его смерти, понял, что процесс необратим, и тогда в его поздних стихах одновременно с,

239

простыми человеческими, почти сентиментальными прорывами появился глубокий скепсис человека, потерявшего идеологическую и мировоззренческую опору своей жизни. Да и вообще "демократизм" и "народность" — понятия весьма далекие друг от друга. Народность неотделима от национального мироощущения, а демократизм — это всего лишь признак "антикастового" понимания политической жизни.

* * *

Драма Слуцкого в том, что его человечность была безбожной или даже атеистичной, гуманизм — политизированным. Ему достаточно было того, что называется "правами человека", гарантиями политических свобод и экономического уравнительного достатка. Есть у него стихи о свободе совести, о том, что два тысячелетия христианства не сумели обеспечить ее, а потому надо

начинать заново, но уже не с "совести", а со "свободы". Но ведь это уже было в дохристианское время:

Маловато я думал о боге,
видно, так и разминемся с ним.

От безверия неизбежен путь в понятный по-человечески, но безвыходный скептицизм, столь губительный для людей несгибаемой породы, к которой принадлежал Слуцкий.

"Кончилось твое кино, песенка отпета. Абсолютно все равно, как опишут это", "Зарасти, как тропа, затеряться в толпе — вот и все, что советовать можно тебе", "Мировое труляля торжествует над всемирной бездной".

В предчувствии крушения идеи социалистического интернационализма (о мировой революции чего уж говорить!) для Слуцкого История становится бессмысленной и теряет, прекращает разумное "течение свое": "Горлопанили горлопаны, голосили свои лозунга — а потом куда-то пропали, словно их замела пурга"—и сменили их "горлопаны новейшей эры". Исторические деяния в итоге "сактированы и сожжены

дотла"; "Размол кладбища"; "Смывка киноплёнки"; "Селечка в Лету давно уплыла". В море атеистического пессимизма тонет муза Бориса Слуцкого последних лет его жизни. А поскольку для него и вскрытие святых мощей было вскрытием "нуля", как то доказывал главный палач православия Емельян Ярославский, то атеистический пафос жизнестроительства Слуцкого, когда иссякла сила, влился в море беспросветного

240

скепсиса, где на берегу моря, как пародия на вечность, как бы стоит пресловутая банька с пауками из воспаленных снов циника Свидригайлова. И мысли о будущем человечества стали пошлыми и неутешительными:

Наедятся от пуза, завалятся спать на столетье,
на два века, на тысячелетье.
Общим храпом закончится то лихолетье,
что донныне историей принято звать.

То ли это сказано о советском обывателе, то ли о стандартном человеке общества потребления. Как все это не похоже на молодое предвоенное кипенье, на "это есть наш последний"!.. К атеистическому скепсису сделан громадный шаг, а к Новому завету, к Вере, к Христианству ни на волосок не сдвинулась душа Слуцкого в отличие от души Пастернака, Заболоцкого или Ахматовой. Даже умирающий Пушкин у него живет в углу, где ни одной иконы — "лишь один Аполлон" (вспомним, что Александр Блок перед смертью разбил вдребезги кочергою бюст Аполлона). А потому и приходит расплата внутреннего опустошения:

Нет надежд внутри жизни, внутри
века, внутри настоящего времени.
Сможешь — засни, заморозься,
замри способом зернышка, малого семени.

Быстрое осознание того, что вся жизнь положена на алтарь безнадежного дела, все чаще и чаще навещало его, разъедавая оболочку убеждений, казалось бы, скроенных из нержавеющей стали. Нержавейка (как на скульптуре Мухиной) расплзлась, и из трещин ее время от времени слышались глухие признания: "Я строю на песке", "Сегодня я ничему не верю", "Но верен я строительной

программе"... Самое страшное заключалось в том, что драма была не духовной, а идеологической. Конструкции его внутреннего мира, скроенные из атеистического материализма, настолько окостенели, что никакие сомнения, разъедавшие внешнюю оболочку, не могли их нарушить. Внутренний мир его был как бы "слажен из одного куска", и когда поэт понял, что идея социальной справедливости неосуществима, то у него, в сущности, остались только два пути для исхода: смерть или помутнение рассудка... Судьба для начала предназначила ему второе...

А что касается его пессимизма последних лет, то о такого рода мировоззрении очень точно в свое время сказал русский философ Николай Бердяев, хотя он говорил не о еврейском, а

241

о немецком менталитете: "Германец менее всего способен к покаянию. Он может быть добродетельным, нравственным, совершенным, честным, но почти не может быть святым. Покаяние подменяется пессимизмом". Любопытно еще одно: скепсис Слуцкого очень родствен скепсису Иосифа Бродского, что говорит о глубинном родстве их менталитета.

* * *

Слуцкий был в своем мировоззрении последовательным прагматиком, уверенным в том, что важна лишь история, творящаяся сегодня, при его жизни, что все, что было и былшем поросло — уже не влияет на сегодняшнюю "злобу или доброту дня".

Бериевская амнистия — да, это живое время, 1956 год — то же, послевоенное перенапряжение сил — его эпоха, четыре года войны — главное в жизни, а все остальное уже как бы на том берегу Леты, уже отрезано навсегда, уже не будет ни сил, ни желания ворошить и пересматривать эти геологические пласты.

А все довоенное является ныне
доисторическим,
плюсквамперфектным, забытым и,
словно Филонов в Русском
музее, забитым в какие-то ящики...

Стихи, полные усталости и исторического пессимизма, в который переродился пафос социалистического строительства. Сегодня же вся история зашевелилась, словно бы sprysnutaя живой водой. Ожило время с красным и белым террором и геноцидом казачества, с расстрелом царской семьи и Соловками, с Беломорканалом, со съездами партии, с мемуарами изгнанников первой русской эмиграции. История кричит, митингует, жестикулирует, плещет в душе сегодняшнего человека, размывая все дамбы исторического материализма. Слуцкий не смог бы этого вынести.

* * *

У Слуцкого был дар исторического предвиденья. Два десятка лет тому назад он написал стихи о переименованиях городов, улиц, поселков в эпоху тридцатых годов.

242

Имя падало с грохотом
и забывалось не скоро,
хотя позабыть немедля
обязывал нас закон.
Оно звучало в памяти,
как эхо давнего спора,
и кто его знает, кончен
или не кончен он.

Сейчас уже совершенно ясно, что этот спор не кончен. Но мне трудно сказать, радовался бы Слуцкий нынешним обратным переименованиям Куйбышева в Самару, Калинина в Тверь, Горького в Нижний Новгород, Свердловска в Екатеринбург? А процесс уничтожения во всех городах вывесок с именами Урицкого, Володарского, Дзержинского и возвращения улицам имен Богоявленской, Покровской, Никольской (по названиям церквей)? Мне кажется, что Слуцкий предвидел и приветствовал лишь десталинизацию идеологии. Что же касается реставрации имен и названий начала социалистической эпохи... Нет! Это было бы для него невыносимо.

По словам Евтушенко, Борис Слуцкий, человек этически безупречный, допустил в жизни "одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его": он осудил Пастернака за публикацию на Западе романа "Доктор Живаго". Думаю, что Евтушенко здесь недооценивает цельности и твердости натуры Слуцкого. Да никто бы не смог заставить его осудить Пастернака, ежели бы он сам этого не хотел! А осудил он его как идеолог, как комиссар-политрук, как юрист советской школы, потому что эти понятия, всосанные им в тридцатые годы, как говорится, с молоком матери, были для Слуцкого святы и непогрешимы еще в конце пятидесятых годов. С их высоты он мог осудить не только Пастернака, нанесшего, по его мнению, некий моральный ущерб социалистическому отечеству. С их высоты он, юрист военного времени, вершил суд и справедливость в военных трибуналах, в особых отделах, в военной прокуратуре. О, ирония истории—которая заставила лично добрейшего человека порой надевать на себя чуть ли не мундир смершевца! Но он как поэт был настолько честен, что и не скрывал этого, и в его сталинистском подсознании на иррациональном уровне шла мучительная борьба, обессиливающая поэта.

"Я судил людей и знаю точно, что судить людей совсем не сложно", "В тылу стучал машинкой трибунал", "Кто я — дознаватель, офицер? Что дознаю? Как расследую? Допущу

243

его ходить по свету я? Или переправлю под прицел", "За три факта, за три анекдота вынут пулеметчика из дота, вытащат, рассудят и засудят..." Глухо, сквозь зубы, но с откровенной мужественной горечью.

Думаю, что воспоминания об этом периоде жизни мучили Слуцкого куда сильнее, нежели пропагандистская история с Пастернаком, в конечном счете лишь пролившая воду на мельницу мировой славы поэта.

* * *

Творчество и судьба Слуцкого — это драматическая попытка соединения несоединяющихся пластов мировоззрения. Всю жизнь он пытался, словно стекло с железом, "сварить" идеологию марксизма-ленинизма с человечностью, голый исторический материализм с мировой культурой, идеологию и практику "комиссарства" с гуманизмом, национальную культуру с осколками, остающимися после коммунистического "штурма небес", атеизм с милосердием и состраданием к простому человеку толпы. Поистине такое раздвоение было для него невыносимым до известных пределов. Но убеждение, с которым он шел по тупиковому пути, было искренним, последовательным, бескомпромиссным и высвечивало крупный характер, незаурядную натуру, вызывающую уважение и друзей и врагов.

Потому-то, когда пришел час прощаться с ним, к гробу пришли люди противоположных, можно сказать, враждующих позиций и мировоззрений: Вадим Кожин и Владимир Огнев, Анатолий Передреев и Давид Самойлов, Александр Межиров и Станислав Куняев.

Потому-то над его гробом, навсегда прощаясь с ним, я сказал приблизительно

следующее:

"Чем был дорог нам Борис Абрамович Слуцкий? Тем, что он был крупным талантом в нашей поэзии, тем, что он был человеком чести и слова, дорог своей прямоотой и своей заботливостью о тех, кто был рядом с ним, своим аскетизмом и, что, может быть, нужнее всего сегодня для каждого из нас, — своим бесстрашием перед жизнью и ее роковыми вопросами. С бесстрашием сильной природы и истинного поэта он ставил перед собой неразрешимые задачи — социальные, государственные, культурные, национальные. А для разрешения их у него был лишь один нежнейший инструмент — слово человеческое... И сколько в результате этой драматической

244

борьбы, происходившей в его душе, он оставил нам замечательных стихотворений!

Старух было много, стариков было мало,
то, что гнуло старух, — стариков ломало,
старики умирали, хватаясь за сердце,
а старухи, рванув гардеробные дверцы,
доставали костюм — дорогой, суконный,
покупали гроб — дорогой, дубовый,
и глядели в последний, как лежит их законный,
прижимая лацкан рукой пудовой...

Какая тяжелая музыка (вот он, настоящий металлический рок, тяжелый металл!) звучит в этом музыкальном ритме, казалось бы, самого немзыкального поэта своего поколения Бориса Слуцкого!

Уходит, вернее уже ушла эпоха, певцом, мучеником, подвижником и демиургом которой он был. Попрощаемся с этой эпохой. Попрощаемся со Слуцким".

И все, что я сегодня пишу о нем, — это и есть прощанье с ним. И разрыв, и благодарность, и признание, и забвенье. Все одновременно. Одна только забота — лишь бы проститься по-христиански. А напоследок — опять же слово ему.

А что ж! Раз эпоха была и сплыла —
и я вместе с ней сплыву неумело и смело.
Пускай меня крошкой смахнут вместе с ней со стола,
с доски мокрой тряпкой смахнут, наподобие мела.

И жалко, и закономерно, что он не смог своими словами повторить знаменитое: "Нет, весь я не умру..." или хотя бы нечто похожее на есенинское: "Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам". Под натиском мировых сил, сломавших "октябрь и май", хрустнула и его тяжелая лира.

1991 г.

Русский человек Степан Фарков

Вячеслав Шугаев и Александр Вампилов. Письма Шугаева ко мне. Жизнь в зимовье на Нижней Тунгуске. Ночные беседы со Степаном Романычем. "Репрессия потом пошла". С ружьем и собаками по тайге. Степан Фарков узник Маутхаузена. Добываю первого соболя. Ербогачёнские судьбы. Любовные страсти таежного села. Письма Степана Романыча. Смерть ястреба-тетеревиатника

* * *

В первый раз на берега Нижней Тунгуски я попал благодаря моему

сибирскому другу Вячеславу Шугаеву.

В 1965 году Шугаев и Вампилов приехали в Москву из Иркутска, чтобы завоевать столицу. Вампилов искал любви и понимания в театральных кругах, а Шугаев как-то сразу попал в "салон Вадима Кожинова", потом стал наезжать в гости ко мне и однажды попросил меня прочитать его повесть "Бегу и возвращаюсь". Повесть чрезвычайно пришлась мне по душе молодой волей к жизни, искренностью, талантливостью речи. К тому же она была о Сибири, откуда я недавно уехал...

Надо было помочь Шугаеву напечатать повесть в Москве, и я пошел к Василию Аксенову, любимцу главного редактора журнала "Юность", — и попросил прочитать повесть. У нас с Аксеновым тогда были вполне товарищеские отношения. Аксенову повесть понравилась, он ее отнес в "Юность", и через несколько месяцев счастливый Шугаев уже держал в руках заветный журнал. С этого и началась наша дружба, закреплен-

246

ная его приглашением съездить поохотиться на далекий Север Иркутской области в село Ербогачён, что мы вскоре и осуществили.

Много раз я приезжал к нему в его деревенский дом в деревне Добролет, неподалеку от Иркутска, вместе с ним и писателями-иркутянами мы открывали памятник на могиле Александра Вампилова, а уж сколько дней бок о бок прожили на берегах черных ербогачёнских рек, на таежных калтусах и в осенних, алых черемуховых наволоках — и не сосчитать... Именно ему, безвременно умершему в 1995 году, я посвятил одно из самых любимых своих стихотворений.

Ты заметил — сменились ветра,
первым холодом издали тянет,
и моя золотая пора
со дня на день серебряной станет.
Дунет ветер,
взметнется листва,
с нежным шелестом дрогнет рябина,
и сверкнет над хребтом синева —
даже глазу глядеть нестерпимо.
Милый мой,
попрощаемся что ль,
и, предчувствуя скорую вьюгу,
сдержим в сердце взаимную боль,
пожелаем удачи друг другу...
Даже рябчик
и тот, ошалев
от простора, что ветер очистил,
ослепленный, летит меж дерев
и, конечно же, прямо на выстрел...

Из писем Вячеслава Шугаева

"14.2.75

Стас, милый мой, не грусти. Впрочем, грусти, но больше всего об уходящей золотой поре, о затерявшихся в дали рассветах. А какие были рассветы! Тесно, жарко, счастливо, в полотняных занавесках бьется ранняя пчела, бесстыдно прекрасный запах молодого пота, первых, воистину сладких грехов. Воспоминания об этом, уверяю тебя, очень скрашивают неизбежное грядущее одиночество. Но, милый, сам сказал о душе: "во всем виновата сама", потому все же не печалься особенно. Представь, что будут еще утиные перелеты, лиственничная хвоя будет осыпаться в лывы, и Добролет еще стоит. Мир не

так уж плох, как нам бы хотелось.

247

Собираюсь на день оленевода в Ербогачен, в конце марта. Может быть, вырвешься? Какая-то неделя. Столько их уходит просто так — в дым, в чад, в смрад. Конечно, и в Ербогачене все просто так и все-таки все по другому.

Олени, солнце, белейший снег, тихие белые излучины, строганина среди хороших и естественных людей. А? По-моему, просто необходимо это сделать.

Обнимаю и жду. В. Шугаев".

Наезжая в Москву, он жил у одного своего приятеля на Николиной горе, часто встречался там с Твардовским...

"27 сентября 1975 года

Здравствуй, дорогой мой!

Над хребтом синева. Жаль, что ты нынче не приехал. Дни золотые, рябчиков тьма. Почти весь сентябрь просидел здесь. Выезжал только провести книжную лавку по телевидению. Знакомил публику с твоей книгой. Читал "А Курбский, а Герцен?"

Говорил, что пространство у тебя философская категория, что книга исполнена серьезного и смелого патриотизма. Книга, милый, замечательна, безоглядная, кровоточащая. Я ее тут каждый день листаю. Ты уже достиг той степени матерости, что можешь бить с плеча. Разбираться уже нечего. Все ясно.

Собираюсь в Ербогачен. Ухвачу до снега деньков пять и ладно. Хочу с собаками сходить на глухаря.

Пишу сейчас о Твардовском. Пишется медленно — собственная молодость, оказывается, нелегкий хлеб для воспоминаний. Перечитываю, разумеется, Твардовского — большие заблуждения испытывал наш национальный поэт.

Все время апеллировал ко времени, т. е. к свидетелю, а не к судье. Знал, что свидетель — существо безвольное и податливое, какие хочешь показания даст. И Родина в его стихах зачастую выглядит лучезарно-безлично. Но точила его боль, ох, как точила. Ладно, всего не напишешь.

Обнимаю. В. Шугаев".

"Стае, дорогой, спасибо за книгу. Люблю уже ее внимательнейшим образом. Книга — слава Богу. А от "мои золотые холмы " я очень и очень расчувствовался.

Жуть какая с Рубцовым-то, а? Поминали тут и пили не

248

приведи Бог. Я твои стихи все перечитывал "по фамилии Рубцов ". Что делается, что делается! Вот и уходим понемногу.

Целую тебя. В. Шугаев".

Последние годы его жизни в Москве были печальны и поучительны. Он вел популярную телевизионную программу, которая съедала его душу и его жизнь. Ничего не писал и, видимо, страдал оттого, что пережил надолго свою молодую писательскую судьбу. Умер как-то незаметно, как умирают люди в наше время. Как будто куда-то уехал и никому ничего не сказал. Даже о его смерти мы узнали лишь через несколько дней после кремации.

Но в моей памяти он навсегда останется таким, каким я его помню возле костра на берегу Нижней Тунгуски, молодым смуглолицым, с татарским разрезом глаз, с сигаретой во рту и двустволкой, облегающей его ладную фигуру в телогрейке, то и дело смеющимся от неизбежной жажды жизни. Благодаря ему я прожил несколько охотничьих сезонов на Угрюм-реке и написал записки о русском бытии и о русских людях на таких широтах и в таких условиях, где по представлениям цивилизованных европейцев и американцев жизнь невозможна.

Дед Степан недавно помер, после всей нелегкой жизни, войны, плена, раковой болезни в возрасте 89 лет, и похоронен на кладбище Ербогачена, старого

таежного села, в судьбе которого, как в капле воды, отразилась судьба России в двадцатом веке.

1

Часа в три ночи я проснулся от жажды, босыми ногами нащупал под нарами кеды, набросил на плечи меховую куртку, распахнул дверь зимовья и вышел на морозный воздух.

На востоке над заледеневшим озером, словно вырезанные из черной бумаги и наклеенные на небо, торчали вершины сосен. Полная луна в мерцающем кольце не то сиреневого, не то дымчатого облака заливала холодным светом округу.

Над западным берегом Тунгуски сверкал Марс. Карун — или услышав мои шаги, или что-то ему приснилось — жалобно повизгивал в конуре. От лабаза тянуло вонью, особенно различимой в морозном воздухе, — старик квасит мелко нарубленные тушки ондатры: приманку для соболя.

Я взял с лабаза железный ковш, разбил в ведре ледяную

249

корку, зачерпнул воды с мелкими льдинками и не торопясь, маленькими глотками, с наслажденьем напился.

Возвращаться сразу же в душное зимовье не хотелось, и по тропинке, проложенной сквозь заросли заиндевевшего кустарника, я подошел к речному обрыву.

От глубокого русла, наполненного тьмой и влажным дыханьем реки, исходило какое-то шуршанье, медленные хрусты, неясное шевеленье живой и тяжелой силы.

"Шуга образуется", догадался я, представив себе, как там, внизу, во тьме кромешной, соприкасаясь с ледяным воздухом, медленно сгущается черная тунгусская вода, превращаясь в иголочки, кристаллы, блески, как к ее сгустившимся, но еще не затвердевшим частицам прилипают снежинки и вся эта масса уже начинает издавать хлюпающие звуки, говорящие о том, что река вот-вот станет.

Я постоял несколько минут на берегу, пока ноги в резиновых кедах не закоченели, вернулся к зимовью, отворил дверь и, устраиваясь на нарах, громыхнул в темноте железным чайником.

— Славка! Чего бродишь — не спишь? Небось без шапки, гляди ознобишь голову...

Дед пошарил рукой по столу, нащупал спички, запалил керосиновую лампу.

— Да попить вышел.

— А мне тоже чтой-то не спится... Сны снятся всё про старое время. Как в Игарку плоты сплавляли. Ох, голова человеческая! Хитро устроена. Помнит всё! Людей вспомнил — давно уж покойники...

Степан Романыч свесил с нар ноги в армейских кальсонах, охая, подошел к железной печке, нащепал охотничьим ножом сухой лучины, разжег ее, сверху натолкал листовенных полешек, и через несколько минут зимовье наполнилось ровным шумом огня. Тепло волной поползло от печи. Я расправил на нарах шерстистую собачью парку и поудобнее улегся, чтобы послушать, как мой старик сплавлял плоты от своей маленькой деревушки Непы по Тунгуске и дальше по многоводному Енисею — аж до самого Ледовитого океана.

— Ну вот, Слава, как пришла на нашу деревню в тридцать первом году разверстка, так и стали мы валить лес по реке. Зимой валили... Какие бензопилы! Все руками — пила да топор... А как река вскрылась — плоты пошли вязать еловыми висами. А висы, Слава, так делали. Молодые елки нарубишь, на костре разогреешь — они и мягчеют... Тогда их вокруг дерева и закручивай. Обруч получается — им баланы и увязываешь, а

250

потом кольями затынешь... А не то — разнесет в щепки! Тунгуска, потом Енисей — вода гремучая! Потом две тыщи километров плыть-то надо было! Сдавали плоты в Туруханске, а потом гнали их в Игарку на пароходы. Как шас помню — "Ян Рудзутак" пароход и "Косиор"... Были вожди такие... Потом слышал я, что кончили их...

Трещат смолистые поленья в печке, колышется язычок пламени в керосиновой лампе, глаза Романыча, оживленные воспоминаниями молодости, сверкают в глубоких глазницах выдубленного жизнью, скуластого лица...

— Ну а обратный путь у нас до Красноярска был веселый! В Минусинске — расчет. Я в первый год получил триста восемьдесят рублей! Много или мало, спрашиваешь? Бутышка пшеничной стоила двадцать копеек, вот и считай! Калач — три копейки, такой, хоть надевай на голову! С Красноярска на Иркутск, оттуда до Усть-Кута на лошадях, с Усть-Кута по Лене до Киренска на шитиках, с Киренска до Чечуйска на лодке, а напоследок тридцать верст опять лошадьми на свою Угрюм-реку...

В зимовье уже настоящая баня, я почти не слышу, что говорит мой старик, глаза сами собой закрываются, и я бормочу:

— Поспим, что ли, еще, Степан Романыч...

— А время-то сколько, Слава? — Старик снимает часы с гвоздика. — Четыре... Рано мы с тобой раскуковались. Давай ишшо отдохнем.

Дед набрасывает в печку пару поленьев, зевает, охает, с шумом задувает лампу.

* * *

На рассвете мы разогрели вчерашнюю уху, напились крепкого чаю и каждый пошел в свою сторону — старик сел в шитик и поплыл трясти сети, а я забросил ружьишко за спину и побежал по заиндеветавшей хрустящей тропе на хребет за рябчиками.

Нет, наверное, более счастливых минут в жизни, чем те, в которые, осторожно разводя руками черные лапы елей и красные ветви черемухи, ты крадешься по запорошенной снегом траве к заветному можжевельниковому кусту, куда только что со сладостным для сердца трепетом крыльев, сбивая снег с рябиновых веток, сел вырвавшийся у тебя из-под ног рябчик. Шаг... Еще шаг... Теперь надо замереть: он совсем рядом — то ли в тени этой елки, то ли в корнях лиственницы, недавно

251

рухнувшей и взметнувшейся к небу гигантское корневище, облепленное белым ягелем и рыжей глиной. Ну конечно, человек терпеливее птицы. Она — любопытнее: не выдержала и дернула головой, обозначив себя. Ружье плавно взлетело к плечу — и сотня дробинок с грохотом вылетела из вороненого ствола...

Ну, теперь спешить некуда. Можно закурить, глядя, как краснобровый красавец лежит на желтой лиственничной хвое, вмерзшей в льдистую корку ручья. В воздухе еще кружатся несколько серых пушинок, и ноздри щекочет крепкий запах порохового дыма. Редкие снежинки падают с неба на красные листья черемухи, на прихваченные морозом горьковатые гроздья рябины, на безлистные кусты шиповника, усыпанные мясистыми переспелыми ягодами, с прохладной сладостью тающими во рту. Кормовитое, как его называет Романыч, озеро, где он добывает капканами ондатру, уже замерзло. Утренний ветерок сдул с него снежную крупку, и оно, окаймленное по берегам острыми, вмерзшими в лед стеблями осоки, тускло светится, как потемневшее от времени зеркало.

Я засунул еще теплого рябчика за отворот куртки и побрел через густой чапыжник по ручью к старой мельнице, возле которой было мое привычное кострище, припорошенное снегом. На мельницу эту я набрел еще в прошлом году. Она уже покосилась, нижние венцы от времени сгнили, однако когда я

пробрался через узкий лаз внутрь, то увидел там и хорошо сохранившийся желоб, и мотовило, и два отсыревших ларя, от которых, казалось, до сих пор пахнет затхлой мукой, молотой здесь в последний раз, наверное, лет сорок тому назад.

Я наломал сушняка, разжег костерок, вытащил из сумки закопченную консервную банку, набил ее свежим снегом и повесил на проволоке над огнем.

Молоденькая темно-бурая белка зацокала над головой — я оглянулся. Она взлетела с земли на сосенку и, подрагивая от любопытства, уселась в развилке, крутя мордочкой и цокая язычком: что это, мол, за существо и чего ему надо в моих владениях! Шерстка ее уже потемнела, из "горявки" белка превратилась в "подполь", так что, подумал я, быть скоро твоей шкурке на международном ленинградском аукционе или на шапке у иркутского вертолетчика.

С краю зеркального озера на колу, вмержшем в лед, сидела громадная круглоголовая полярная сова и, вращая глазами, удивленно глядела на меня. Потом мощно и бесшумно взмахнула метровыми в размахе крылами и понеслась надо льдом к дальнему берегу, откуда вдруг послышался жалобный

252

собачий лай. Непохоже, чтобы белку или соболя облаивал... Я шел прямо через озеро по льду, по мягкому тонкослойному снегу, вышел к зарослям в навалок и вдруг увидел незнакомую собаку — молодого кобеля, попавшего передней лапой в соболиный капкан. Я разжал пружину, и кобель, жалобно скуля, стал тереться о мои ноги, крутиться вокруг, благодарить... А день солнечный! Снег блестит, Тунгуска лежит перед глазами — слепящая, с черными лоскутами промоин. Мышь-землеройка копошится, роется в снегу возле зимовья. Я ее трогаю пальцем, а она настолько занята добыванием пищи, что не обращает на меня внимания. Пробежала мимо чужого, только что освобожденного из капкана кобеля, тот клацнул зубами, но, к счастью для землеройки, промахнулся, а та, ничего не слыша, копошится, топчется розовыми мохнатыми лапками по снегу.

* * *

Вечером, когда я вернулся с тремя рябчиками к зимовью, дед уже хлопотал у костра. На рожнах над угольями торчали запеченные хариусы и сижки, а чуть сбоку в котелке остывала утиная похлебка.

— Садись, Слава, поедим. Человека питание держит.

Я знаю, почему Романыч любит поговорить о питании. Два с лишним года судьба мотала его по немецким лагерям, и он хорошо знает горькую цену куску хлеба.

— Хуже всего, паря, голод, — рассуждал он как-то в один из долгих осенних вечеров. — В лагере, то ли "пятнадцать А", то ли "пятнадцать Б", лежишь, бывало, на нарах — и не шевелишься. Шинельку расстелешь — одну под себя, вдвоем лежим, чтобы теплее было, другой укроемся — и ждем, когда птюха покажется на горизонте. Птюха — это по-лагерному хлеб. А ежели какой вредный немец дежурит — придет, глянет, где параша, — не дай бог, кто обмочил вокруг: "Никс дисциплин! Никс брот!.." Значит, нет порядка — не будет хлеба.

Адреса где-то у меня до сей поры сохранились. Николая Иванова да Константина Бугрова. Москвичи обое были. Бугров тот хотел у немца ножичком сумку с хлебом срезать. Голоду совсем не мог терпеть. Так его отвели за барак и — тюк! — Романыч показал пальцем на висок. — Вот мне от него память! — Дед засучивает рукав. На запястье три наколки: "С. Р. Ф." — Степан Романыч Фарков — когда в "Бэ-семнадцатом" сидели, Костя мне наколол...

Да ить и в лагере по-всякому жили. Помню, рядом с нами

253

французский барак стоял, — они на простынях спали! Им Красный Крест помогал... В этот самый... — Дед замахал руками над головой. "В волейбол", — подсказал я. — Ну да, в волейбол играли... А мы в Красный Крест не входили...

После хариусов и сигов мы перешли к чаю. Каждый наломался за день, поту много вышло. Выпили по одной кружке, налили по второй. Старик разговорился про свою лагерную жизнь, от которой у него, видно, навсегда остались осунувшиеся щеки, впалые глаза и половина зубов во рту.

— Как-то приходит хороший австриец в барак, пальцем манит. Пошли потихоньку на поле, принесли два мешка. Ох, потом и прятали мы эту картошку! Найдут, докопаются, кто дал, и его же, австрийца, к стенке! Они, австрийцы, много душевней немцев. На заводе мы с имя вместе работали. Так глядишь, то хлеба кусочек тебе сует, то картошечку, то смальцем поделится. А сами на пайке жили. Когда война кончалась, австрийцы нам стали толковать: "Гитлер капут. Русс — лауфен", — мол, бежать надо, а то немцы порешат... так не оставят. Собралось нас девять человек. Мирошниченко Николай, моряк, все пел "Моя седая мать", Голованов — подполковник, Никишин — старшина, он еще в первую мировую в этом же бараке сидел... Надо было кому-то остаться и на работу не ходить — проволоку подрезать. Утром нас выстраивают на работу, а я говорю: "Кранке хабен", — мол, больной у нас есть. Мирошниченко больным сделался, а я, фельдшер, "арц" по-ихнему, с ним остался. наших увели. Мы с Мирошниченко проволоку быстро надкусили, чтобы ночью снять сразу... Ночью ушли, сбили колодки, цепи сняли, километра два отошли — слышим стрельбу: видно, за нами кто-то полез, да неудачно. Ну мы — кто в тапочках, кто в тряпках, лишь бы уйти подальше в горы. Первую ночь в лесу заночевали. Тепло! Апрель месяц... След табаком посыпали — специально табак собирали. А вторую ночь — усталые — в сарай забились, утром слышим: у ворот собаки дышат... Построили нас в лагере. Переводчик вышел, приговор объявляет. У меня окурочек. Закурил. Стою вторым. А Мирошниченко говорит: "Тридцать", — значит, дай курнуть, и ко мне становится так, что я с краю уже третий... Выходит гестаповец с черепом на фуражке, и переводчик переводит: каждого второго расстрелять — "шиссен!", и вместо меня — "ейнцвай!" — выводит Мирошниченко и еще трех. Тут же командует: "Лиген!" — ложись, значит, и из карабина в затылок...

Голос у деда прервался, он закрыл лицо, заскрипел зубами...

— Ох... Славка! Сколько раз друг другу говорили, кто

254

живым останется, остальных не забывай!.. А потом еще офицер прошел и каждому в висок из пистолета... — Дед смахивает слезу, тянет руку к бутылке, разливает спирт по железным кружкам, бормочет скороговоркой: — Ну, давай, Славк, до конца... Токо не оставляй...

Несколько минут мы сидим каждый в своей задумчивости.

— Американцы нас освободили. Накормили, обмундировали, подлечили кого надо, и вместе с имя мы на австрийские города пошли: на Сантенбах и Сенмартин. Они русских вперед пускали: мы, говорят, знаем — вам мстить надо! А когда наши пришли, союзники нас им передали... Капитан Дьяконов выстроил всех — и скомандовал: "Форму союзных армий снять!.." Сняли. Разделись. Аккуратно к ногам сложили. Стоим. — В голосе деда появляется воодушевление: — "Форму Советской Армии надеть!" Свое надели — друг друга не узнаем! Американцы на память каждому по ящичку дали — там курево, выпивка, одеколон. А когда демобилизовали, Мищенко, старшина, румынского коньяку принес, он ничего не стоил... Шесть звездочек! Там ему каждый год по звезде прибавляют!.. Перед демобилизацией последние дни-то покою не было. Ну, думаю, приеду—и бельчить в тайгу сразу, рябчика поджарю... Медсестра со мной ехала до Москвы в одном вагоне. Чистая женщина, красивая... Москвичка. Прямо сказать — сватала меня. Оставайся, мол... А я говорю: отца-мать повидать надо, лишь бы отбояриться... Хорошо у нас, Славк! Весной на калтусе уток сядешь караулить — ветерок с хребта подует, такой аромат — не надышишься. Пчелы

гудят, птицы поют... Мужики моторы выключат и плывут с песнями, выпившие... А раньше-то на берестянках ходили по шестьдесят да по семьдесят верст на веслах да на шестах, так пить-то некогда было!.. В лодке лягу, ветерок набежит, цветами пахнет... Ондатр на лодку залезет... Утки кричат... Дух идет такой, — дед делает рукой волнообразные движения, — тайга цветет, не надышишься! Сетку поставишь — карасей натрясешь — жирные, потрошистые!

* * *

Деда мобилизовали третьего июля.

— Прибежал Федька с почты: "Немцы напали!" На другой день посыльный всех обошел — в сельсовет явиться. Там сидит военный, вот как ты. "Степан Романыч, будьте наготове: две смены белья, ложка, кружка..." Сначала шли на лошадях верхами до Чечуйска, потом на лодках от Чечуйска до Киренска, потом на пароходе до Иркутска, потом эшелоном

255

до Мальты. В Мальте обучали нас... Ох, питание плохое было — чечевицу черную ели... Потом в эшелон — и на запад! В Красноярске стояли трое суток. Помню, парень один — сам из Красноярска — плакал: "Командир, пусти с матерью проститься!" — Дед поджимает губы — ему нравится, что он свидетель и участник великого дела, когда долг был превыше человеческих просьб, — поджимает губы, делает начальственное лицо и показывает жестом, как командир отказывает новобранцу — нельзя! Дед и солдату сочувствует, и командиром восхищается, что тот чувствам волю не дал!

— А дезертиры-то с ваших деревень были? — перебиваю я.

— Один был. Я его семью знаю. Он такой же, как отец, пройдоха, такой же ростом... — Дед пренебрежительно машет рукой. — Под Рязанью в лагере нам приказ, в лыжный отвлекающий батальон. Пошли к Москве. Стоим в лесу. Чуем — земля трясется. Политрук говорит: слышите — Москва сражается! Вошли в населенный пункт — трупы мерзлые лежат, лошади, машины разбитые, а мы голодные — кухни с нами нет. НЗ — кусок хлеба и половину горбуши соленой — съели... Вошли в избу — женщина с ребенком, котелок картошки на загнетке. Я говорю, дай нам поесть! Она: "Поешьте, токо не всю..." Как очистил я штук пять картох, да с солью!

А ночью поползли к оврагу — лыжи сбросили, немцы на той стороне. Со мной земляк рядом — из Бура—ну, на фронте, считай, как брат родной — с одного района. Я у их до войны борова вылаживал. Лежим в снегу, просит: "Роман, дай хлеба!" Я говорю: "Лежи, не подымай голову, убьют!" Отломил, протянул ему, слышу — ест. Потом спичек попросил. Прикуривать стал — и носом в снег, — дед сверху вниз машет рукой, — готов! Медальон я с него снял...

Потом на Калугу нас бросили — там бои были же-сто-okie! Двое суток за вокзал воевали. Взяли в плен двести пятьдесят ээсовцев. Тут же на путях и порешили. Некогда с имя было возиться... В Калуге, я помню, сказал ребятам: давайте обстрогаем доску да напишем, когда и кто за этот вокзал погиб, а кто жив остался, карандашом или финкой вырежем... Да, говорят, чего писать-то, сегодня жив, завтра нет...

Вспомнив про калужский вокзал, дед оживился:

— Прошлой зимой меня в Непу послали—остатки сымать — сено там разворовали. Ну, снял я, акт составил, в бригаде выступил... Ночевать где-то надо. Повели к леснику — новый, говорят, у нас лесник оформился, фронтовик, с Запада приехал. Ну, бутылку взяли, пришли. Сели за стол, разговорились... "Где воевал?" — "На Центральном фронте". — "А ты?" — "И я на

256

Центральном..." — "Какая армия?" — "Тридцать восьмая". — "Калугу брал?" — "Брал". — "А вокзал помнишь?" — "Ну как же, я чай там варил на вокзале!" —

"А не ты ли у нас котелок с кипятком опрокинул?" — "Я". — "Фарков?" — "Фарков!" Тут Остапенко обымает меня, целует и — по полной кружке за победу!

А когда полк держал оборону под Севастополем, то крымские татары только по известным им горным тропам вывели в тыл наш немецких егерей и после рукопашной схватки в окопах контуженый рядовой Степан Романыч Фарков очутился в плену.

— Что, Слава, о лагерях вспоминать. Всего я нагляделся. Видел, как люди хуже зверей становятся. Зверь хоть только с голоду на человека пойдет. А человек... — Романыч махнул рукой. — Горя видел много. В госпитале после ранения санитаром работал, выхожу раз в коридор — стонет раненый. Смотрю, у него нет одной руки до локтя, другой до кисти и ног нету выше колена. Просит что-то, губами тянет. Я понял: покурить... Дал ему затянуться. Сделал он две затяжки — смотрю, слеза по щеке покатила. Таких "самоварами" звали. Вроде был приказ Сталина усыплять их: да потом, говорят, отменили... Ну а немцев тоже скоко мог положил. Глаза-то хорошие были. Сейчас еще метров на пятьдесят по белке из малопульки не промахнусь. Помню, под Москвой немецкий пулеметчик нам пройти не давал. Приказ получили — ликвидировать без шума. Ну, скрадывать — дело привычное, охотничье. Поползли. Метров на десять подпустил сзади — не слышал. Бросился я к нему — он оглянулся, как закричит — и голову в плечи. Я его в шею охотничьим ножом... Смотрю — он в ботинках и соломенные валенки на ботинках. Они же в' Москву хотели до холодов пройтись. А мы под Москвой добро одевались: валенки, теплое белье, полушубки, шапки-ушанки, маскхалаты...

Тьма медленно сгущается, наплывает из елового наволока на берег, лесная тьма постепенно смешивается с речной. Птичьи голоса замолкают, лишь изредка еще свистнет в уреме какой-нибудь беспокойный рябчик да Карун вдруг с лаем бросится в кусты, почуяв мышшь или бурундука.

* * *

— А что за мельница стоит у ручья в распадке, Степан Романыч? — спросил я у старика, чтобы отвлечь его от невеселых лагерных воспоминаний.

257

— А ты, Слава, в прошлый раз, когда за глухарем бегал, видал поляну? Хлеб там раньше сеяли. Три избы стояло. Это сейчас бросили хлеб сеять по Тунгуске — все нам возят, и муку, и консервы, и масло. А раньше-то все свое было. Взять нашу семью — девять душ, семеро детей, а взрослых мужиков — двое: отец да брат старшой. Прокормить всех надо. Четыре коровы имели, четыре лошади, окромя жеребят. Пятнадцать овец. Пахали сохой. Плугом-то начали в двадцать шестом или седьмом году. Хлеб, масло, шерсть — все было свое. Бабы пряли, вязали носки да чулки шерстяные, лечились не порошками да таблетками, а только травами. Помню, Иннокентий Ильич ревматизмом заболел. С пятнадцати лет пахал, и ноги стали к двадцати годам отыматься. Так чем его старуха Игнатовна подняла? Велела березовых почек, когда они молодые, липкие, набрать мешок. Баб у него в избе было много — пятеро сестер. Набрали этих почек два мешка, русскую печь затопят, мешок на ночь на печь, и ноги в нем держи, сколько терпеть можно. Так и ожили ноги-то у него через месяц. До сих пор — а уже ему семьдесят лет — рыбачит.

Я тоже с тринадцати лет за соху встал. Ну и хлеб у нас был зато пшеничный! А бывало, бабы анису наберут, намелют и в муку добавят... Ох и хлеб! В тайгу возьмешь с собой два ярушника, ломоть от такой отпластаешь, домашнего масла с палец намажешь, чаю сварить — и бегай за соболями хоть до самой ночи!

...Над черным хребтом уже засверкало созвездие Большой Медведицы, белая луна выкатилась на верхушки елей в морозном сиреневом облаке, и мир осветился зыбким сиянием, которое вдруг отделило травы и деревья от их теней,

и наступила такая тишина, которую я давным-давно уже не слышал. Однако дед не дает мне впасть в сонливое созерцание.

— Да, репрессия потом пошла... Гавриила Ильича взяли, — дед загибает пальцы, — Иннокентия Ильича и Глеба Ильича... Три брата их было. Семья — двадцать пять человек. Сбруя вся блестела! Батраков не держали... Сами краси-ивые, труженики были! Свою стенгазету имели! Я у их две вёсны навоз возил... Вдруг слышали — коллективизация. Сразу они разделились — мужики всё умные! Потом окулачивание пошло. А у Иннокентия — золото было, ён торговал помаленьку. Не показал поперво он про золото. А потом его в район в нэкэвэдэ повезли, там покарали, он приехал и золото показал... А брат его — Гаврила — заплакал: "От кого ты таил золото, брат!" Потом их окулачили, потом простили, в колхоз приняли... Сыновья у их в Братске живут...

258

— А кто раскулачивал-то?

— Да кто — и полномочные приезжали, и свои... Ты Алешку Огонька видел — так вот он колхозы строил... Гулять любил, гармонист был знатный! Бывало, напьется, идет по деревне с гармошкой — и кричит: "Дайте волю Алешке Огоньку!"

...Алешку Огонька мы встретили несколько дней тому назад возле его зимовья. Подслеповатый старик, заросший седой щетиной, в замызганных ватных брюках, с трудом признал деда.

— Ты, что ли, Степа?

— Я, Алеша... что, не признал?

— Глаза слабые, видеть я стал плохо.

— Бражку пить надо для зренья, ты бражкой-то нас угостишь?

— Вчера всю выпили, а новую только утром затерли.

— Ну, расскажи москвичу, как колхозы строил.

— А кто москвич-то?

— Да он поэт.

— Поёт — ну это хорошо, коль поёт, я тоже петь любил, когда колхозы строил. А теперь ни голоса, ни волоса. Был Огонек, а стал пепелок...

Мы не зашли к нему в зимовье: грязно у него больно, сказал дед, и Алешка Огонек, сощутив больные глаза, долго провожал нас взглядом со своего угора. Старый, маленький, пьяноватый, заросший седой щетиной...

— Сын у него ушел в зимовье как-то и застрелился из мелкашки. Семь раз в себя выстрелил, — с ужасом и восхищением говорит дед. — Какую волю надо иметь! Себя мучил...

— А почему?

— Да жена у него была пьяница...

Возле зимовья тени. Полосы лунного света. Ночная синь. В паутине березовых ветвей мерцают крупные звезды. Ниже — стена черного леса. Еще ниже — белая долина Тунгуски. Снег. Сиянье.

Дед лежит на нарах, бормочет, закинув руки за голову:

— Наши милиционеры свои мужики-то, звери! Приказ придет: "Гражданин — вы арестованы! В дом не входить!" Жена плачет... Поись в дорогу чего собрать хочет, — "не смей, передачи запрещены!"

В голове у меня мелькает мысль: власть над людьми для таких простых людей все равно что водка для ранее не пивших народов.

259

— Все говорят: Сталин, Сталин! Да к ему Берия вошел в доверие. При Сталине порядка много больше было! Мы до чего дожили — кур завели, а чем кормить? Из Чечуйска два куля зерна Марусин брат прислал. Мы, старики, торговую базу сторожим — товару там скоко! — на молодых надёжи нету —

разворуют. Молодых взяли сторожей — так они пьют в сторожке, а склады-то центральные! Сигнализацию проводят... Две собаки у нас... Старики помрут—кто стеречь будет? Народ разбаловался. У Михаила в зимовье на той неделе хлеб, сахар да масло утащили... Раньше эвенк приходил неграмотный — ну, поест, лишнего ничего не тронет... А эти хлеб-то у Мишки взяли, поели и объедки на пол побросали! Белый хлеб — помню, на фронте поделишь по кусочку — он как мед в глотку катится, а теперича у меня его собаки не едят. Советская власть не то что людей — собак избаловала... Однако спать пора, Слава. Набегался ты с непривычки за целый день. Я уже и рыбу из сетей вытряс, распотрошил, засолил. Заплот починил, бересты с того берега привез — река станет, чулманы начну мастерить, — а тебя все нету... Ну, думаю, надо хлёбово варить — утку ощипал... Тут и Карун залаял. Идет мой москвич...

* * *

Утром, когда я открыл глаза, старика уже не было. Боясь, что вот-вот пойдет шуга, он поплыл на своем утлом шитике снимать сети.

Я вышел из зимовья, плеснул в лицо пригоршню ледяной воды, утерся.

День занимался хмурый. Тяжелые тучи, наполненные снегом, тянулись с северо-запада, едва не задевая за хребты. Знобящий холодок струился вдоль русла реки. От воды подымался пар. У того берега под кустами я увидел шитик. Старик снимал сети. Я представлял, каково ему сейчас распутывать их, выкорчевывать из ячей хариусов да щук. От ледяной воды деревенеют руки, а сетей целых пять. Старик знает, что надо торопиться: ночью, похоже, пойдет шуга. Ну, рыбы, слава богу, хватит и себе со старухой, и сыну. А у сына трое детей. Сын пьяница — сам себе добыть ничего не может. Да в Усолье брату надо на праздники рыбки послать, да сестре в Иркутск на именины. Да племяннице на свадьбу... Нахлебался мой старик в жизни всего — и лагерной баланды, и унижений, и смерть его к земле не раз пригибала, а душу живую не растерял, людей не разлюбил и мир не проклял. Верит в свои руки, в крестьянскую и охотничью хватку, сам себя кормит да

260

еще и другим помогает. Да и от мира не отгородился. Газет ему, правда, читать некогда, но чуть выпадет свободная минута, сядет рыбу чистить или "морды" латать, тут же транзистор с ним рядом. Дед с интересом слушает, что творится на беспокойной земле, и тут же, сверкая молодыми глазами, комментирует события:

— Никсона сняли... Вот империалисты!

Транзистор сообщает о том, что Луис Корвалан еще в тюрьме. Романыч сочувствует ему, словно соседу по нарам:

— Бедный! Что там от него осталось!

Посол чей-то приехал в Москву, и в его честь дается обед.

— Ой-ёй! Сколько в Москву народу приезжает! И все ись хотят! Всех накормить надо!

С той поры, как в сорок пятом году старик вернулся на свою Угрюм-реку, он только однажды съездил к брату в Усолье, а вернувшись, долго негодовал.

— Как вечер — садятся, ноги в тапочки домашние, и что делать? — телевизор смотреть. Целый вечер сидят. Да как же это можно высидеть? Погостил я три дня и говорю: прощайте!

Я рассказываю ему, что творится в Москве во время футбольных матчей.

— О господи, да я бы пешком убег!

Насмотрелся дед за годы войны и плена городов — от Иркутска до Вены и решил для себя, что жизнь эта ему не интересна. Не любит и не понимает он никакой праздности, безделья и развлечений.

— В Иркутске, когда на операцию ездил, я намучился. В трамвае висят на ремнях, качаются... Одни сходят, другие входят, друг на друга лезут, и бегут всё,

и бегут! А куды бечь-то? Идет одна старая, вся покрашенная. Старик-то у ей есть? Куда он смотрит? У нас в поселке тоже краситься стали. Так ведь Ербогачён не город, мы и так знаем, какая ты есть.

Я рассказываю ему о матери, которая, когда гостит у меня в Москве, не может спать от уличного шума ночных машин. Дед принимает ее страдания близко к сердцу.

— Бедная! Да ты ее отправь к нам, хоть тут отоспится... Тут действительно можно отоспаться под шум лиственниц, под шуршанье дождя, под тяжелое шевеленье тунгусской воды.

Я налаживаю удочку. Дед с любопытством ощупывает ее — из чего сделана.

Из стеклопластика, западногерманская... Романыч проверяет удилице на гибкость, на прочность. Оно нравится ему.

— Головастые мужики! Да все равно мы их побиили.

261

2

Поеживаясь от знойного хиуса, я оглядываю зимовье. Все в нем и внутри и снаружи сработано для ума и для дела. Сложено оно из сосновых бревен, обшито досками. Под потолком над каждой нарой — полка для патронов, фонарика, стреляных гильз, ножниц, лечебных снадобий. На столе керосиновая лампа, сахар, соль, чай, хлеб в целлофане. Главный хлеб — несколько буханок — висит в рюкзаке на воздухе под навесом, чтобы не плесневеть и не сохнуть. На дощатом полу чурбан, чтобы, сидя на нарах, ставить на него натруженные за день ноги. Под нарами сухие наколотые дрова — сразу встать морозной ночью и подтопить печку. Там же сапоги, опорки, маленькая скамеечка — старик ставит ее на нары, когда чинит сети, — так светлее и удобнее. На стенах изнутри несколько любопытных надписей о том, что случилось примечательного с зимовьем и с ним за последние годы.

"Зимовье рубили 22.8.1966. Фарков С. Р., Юрьев В. П."

"4.09.73. Был град".

"1974, 22 авг. 3 часа дня. Была гроза. Угадала в ель сухую расщепила бросила между зимовьем и лабазом. А меня волной к двери прижало. Вот так".

Записей немного, потому что и писать-то особенно негде: всего несколько светлых досок. Поэтому записи короткие, как на стенах лагерного барака.

"1974 г. 15 января. Температура была 10 градусов".

"16 января 1974 года 58 градусов". Видимо, такое резкое похолодание поразило старика, и он счел нужным запомнить его.

"13.1.73 г. было очень тепло". Вырезано ножом. Грамота у Романыча небольшая — кончил он всего два класса, и отец взял его из школы со словами: "Работать надо. Я неграмотный всю жизнь прожил".

" 1 января 1972 г. температура была ночью 23 градуса, днем 13 градусов". Думаю, что Романыч сделал эту запись, чтобы подчеркнуть, что, пока в поселке родные да знакомые пьянствуют да похмеляются по случаю Нового года, он делом занят — ловушки на соболя ставит, приваду меняет и не травит себя водкой, а дышит сухим и морозным воздухом.

—Я, Слава, праздников не люблю. Как можно день, другой, а то и третий без труда жить? Ну, приедешь, в баню сходишь, вечером выпьешь со старухой, а утром в лодку да к зимовью! Вот в ноябре мне шестьдесят пять стукнет — так я в зимовье буду. Пускай они там за мое здоровье выпивают. А мне зимние сети трясти надо — самый налим пойдет...

262

"18 сентября 1973 года. Была гроза".

Думаю, что была не просто гроза, а буря, стихия, ежели старик счел нужным упомянуть о ней...

Над железной печкой висят две палки на веревках — сушить портянки, носки, рубахи. Под печкой пол земляной, чтобы не загорелся. На гвозде, вбитом в стену у изголовья, висят большие карманные часы. Изнутри дверь обита старым одеялом, под которым уложен слой сухой травы.

Снаружи зимовье невзрачное — есть на этих берегах и получше. Но все сделано прочно и удобно. На двери надпись — углем: "Приходили к тебе два охотника. Не застали. Пинигин". Над дверью маленькое надкрылье — ружье, патронташ да куртку какую повесить от дождя. Дверь смотрит на восток. С северной стороны под самой стеной вырыта траншея. В ней стоят бочки с рыбой, укрытые клеенкой. Крыша с этой стороны удлинена, чтобы дождевая вода с досок не скатывалась в бочки. Пять бочек, и все уже полные. Под крышей на уровне груди длинная доска на проволочных петлях. На ней берестяной чулман с солью. В зимовье только одно окошко — на Тунгуску. Люди, если подойдут, только с этой стороны — от воды. На одной из бочек надпись: "Фосфат. Не допускается хранение в одном помещении с пищевыми продуктами. Осторожно—яд!" А бочка ладная, с металлической окантовкой. Чего добру пропадать. К зимовью с южной стороны прилепились собачьи будки. В одной живет Музгар — могучий белогрудый кобель. В другой — Карун — помоложе, рыжий, выхолощенный. Потому и далеко от зимовья не уходит. А Музгар нет-нет да и сбегает за сорок километров в поселок. Когда он возвращается — истасканный, с боевыми ранами на морде, дед ворчит и грозит, что наточит нож и на него. Перед дверью — лабаз: настил на четырех комлях, покрытый одревеневшим, жестким, как кровельное железо, еловым корьем. На лабазе в ведре киснет селитра, лежат рябчики в пере; желтоватые тушки лесных мышей с шелковистыми рыжими спинками, седыми брюшками и розовыми лапками — привада для соболя, для горноста.

Здесь же кастрюли, сковородки, капканы на ондатру и соболя. Ближе к кострищу еще один небольшой навес. Под ним всякая справа для разделки рыбы: низкий столик, скамейка с ведром, лоток с солью, сухая береста для растопки. Под крышей на сучках и гвоздиках кастрюльки, банки, бечевки, куски проволоки, — словом, все, что когда-нибудь да обязательно сгодится в хозяйстве Романыча. Под навесом, надежно схороненные от дождя, лежат напильник, молоток и
263
гвозди. Вдоль тропинки, ведущей к берегу, торчат несколько березовых шестов — сушить сети.

...Из-под обрыва показался мой старик с ведром, полным мелкой рыбы.

— Слава! Давай чай пить. Я сегодня поране встал, что-то заглодало: ну, думаю, снег пойдет, дай поскорее сети вытрясу да сниму. А ведь пойдет... Моторку слышал? Зять Александра Степаныча надумал сохатить. За двести верст, говорит, пойду. "Мороз хватит, — я ему говорю, — шуга тронется, что с мотором станет?" Семейный, а дурак. С утра выпивши. Народ какой-то шепутной пошел, Слава. Помню, сколько черемухи по берегам было! Муку из ягод мололи, пироги пекли. Чтобы кто срубил черемуху — старики проходу не дадут. Крючья делали — накинут на верхушку, согнут и обирают. А теперь поедет какой-нибудь пьяница, топором ахнет под корень, оберет ягоду, и всё тут. Живут одним часом!

* * *

Солнце. Синее небо. Снег слепит глаза. Неделя, как река стала. Вся в торосах. Лицо горит от плывущего навстречу потока остуженного воздуха. Черные хребты, исполинские листовенницы по берегам с корнями, торчащими из обрывов. Гроздь мороженой красной смородины. Алые восковые ягоды шиповника. Хрустящая на зубах голубика — сочная, привядшая, сладковатая, любимый корм тетеревов, рябчика, глухаря, соболя... Ощущение чистого, ничем не окисленного счастья.

Мы идем по заснеженному аргишу проверить капканы. На нас брюки из

шинельного сукна, телогрейки; дед в ичихах, я в анчурах из лосиного камуса — обувь легкая, теплая, удобная. Капканы у деда на земле под навесиками, чтобы снег не заваливал, привязаны к толстым палкам. К дереву привязывать нельзя: соболь, пытаясь освободиться, "изобьет" шкуру. Он должен таскать палку с капканом, пока не измажется... Собаки наши недовольно фырчат: соболь путает след, пересекает аргиш то вверх, то вниз, да и след ночной, не свежий. Музгар бежит свободно, а Каруна дед ведет на веревочке, его отпустят лишь тогда, когда выйдем на свежий следок, а то будет кружить, облаивать белку, птицу, сбивать с толку.

За спиной у деда поняга — дощечка с сыромятными ремешками, своеобразный эвенкийский рюкзак. Кобели волнуются, повизгивают, крутят мордами. Музгар натаскан, в

264

основном, на соболя, белку лает неохотно, не "вязко", на птицу тоже не отвлекается, и дед сразу спускает его с поводка: "Все ты хорош, токо ноги слабые, нежен больно..." Действительно, лодыжки у Музгара ободраны до сухожилий, время от времени он ложится на снег, зализывает ошметки кожи, обгрызает кровавые сосульки, торчащие между пальцев. Музгара дед снисходительно гладит по голове: "Остарел кобелишко... Ну ишшо год-два побегаает..."

Недавно мы лечили его. На собачьей свадьбе в поселке конкуренты разорвали кобелю щеку. Рана загноилась. Развели марганцовку, позвали из соседнего зимовья Михаила Сафьянникова — двоим не управиться, — повалили Музгара на снег. Кобель стал молча вырываться.

— Да ты, Степан Романыч, силу ему покажи, навались, морду веревкой замотай, да не жалеи! Животному — хоть лошадь возьми — силу показать надо, тогда слушать будет!

Сухонький дед едва-едва удерживал кобеля, навалившись на него всем телом, пока я высвечивал рану фонариком, а Михаил из спринцовки тугой струей промывал разорванную в клочья щеку... Кобель сначала подергался, потом затих и даже вытянул шею, чтобы нам было удобнее работать. Свежий снег под его мордой подтаял от собачьего тепла, крови и марганцовки.

...Собаки хватают ноздрями воздух и уходят от нас по аргишу. Мы бредем вслед за ними, не торопясь, с перекурами и разговорами о превратностях охотничьей судьбы.

— Белки в гойнах спят парочками, — рассуждает дед. — Увидишь гойно, стукнешь палкой — не вылезет, не-е-ет! Потихоньку поскресть надоть по дереву — она подумат: хищник какой или птица, колонок аль соболь, — выскочат обе и смотрят: в наволоке они гойна любят делать... Тут их и бьешь. Белка разная бывает. Губница, которая грибы сушит. Чует, что шишка не родится. Поест — три-четыре дня из гойна не выходит. А когда шишка родится — то белка лужбит ее каждый день, такая белка для охотника лучше. Да молодежь пьет сейчас помногу. А чего не охотиться? Как мы охотились! Какие охотники были — Михаил Алексеевич, Илья Степанович! По пятьсот белок добывали за зиму. Ондатров, соболишек сдавали...

Дед насторожился, замер, снял солдатскую ушанку, покрутил головой: "Однако кого-то лают..."

Я прислушался — ничего, кроме шуршащей морозной тишины. Открыл рот, напряг уши. Откуда-то издали уловил текучий, сливающийся в одно целое звон.

265

— На гряде лают! — оживился дед. Мы повернули лыжи и стали подниматься по мелколесью на гряде. Дед прибавил шаг, ему под семьдесят, а я едва поспеваю за ним. По пути он разглядывает цепочки соболиных следов, быстро

отличая свежий следок от вчерашнего. Собачий лай все явственней, уже различаешь голоса: грубая редкая лайка— матерый Музгар, высокая, звонкая, с подвываньем — молодой горячий Карун... Я уже взмок, а лай все ближе, дед почти бежит бегом, я стараюсь не отставать, выкатываемся к собакам в распадок — они беснуются под желтой лиственницей, на вершине которой застыл коричневый комочек — соболь! Увидев нас, собаки перешли на сплошной визг, оцетинив холки, бросились к дереву, уперлись в него передними лапами, а Карун, как мне показалось, чуть ли не сделал попытку влезть по чешуйчатому стволу.

— На, стреляй ты, Славка. — Дед, отдышавшись, снял с плеча мелкашку. — А я собак придержу, а то шкуру попортят!

Зверек распластался на ветке, наблюдая за нашими движениями. Я, привалившись плечом к березе, становлюсь поустойчивее, унимаю дрожь в теле, идущую от сердцебиения, ловлю на мушку круглую ушастую голову, но пуля обламывает ветку — и соболь, словно кошка, растопырив лапы и хвост, летит на снег. Собаки бросаются к нему, он, однако, успевает подскочить к дереву и снова взлетает на вершину. Я стреляю, но чувствую, как от волнения и усталости дрожат ноги. Дрожь передается через руку стволу, мажу, стреляю снова, соболь опять рушится вниз, пытаюсь уцепиться за ветки. Карун сбивает с ног деда, рвется к зверьку. Соболь, у которого отбита нижняя челюсть, завинчивается в снег, но дед с внезапной прытью опережает собаку, наваливается на соболя телом, ловит его руками. Соболь впивается предсмертной судорогой в суконную рукавицу, но челюсть у него разбита, зубы раскрошены пулей, глаза светятся зеленоватым, медленно тускнеющим светом...

Дед подымается и за яростную верную службу дает кобелям лизнуть окровавленную соболью морду. Собаки по очереди подходят, обнюхивают поверженного врага, лижут кровь, свирепо ворчат и, удовлетворенные, калачиком сворачиваются на снегу...

Конечно, соболь самый совершенный хищник животного царства. Куница и глухарь, заяц и хорь, белка и горноста́й, и даже мелкая косуля, — все трепещут его. Если бы наш соболь смог вырасти до размера льва и они бы встретились, я уверен, что от царя зверей и хвоста бы не осталось...

На обратном пути мы сворачиваем на реку проверить вентеря, дробим в квадратной проруби прозрачную ледовую корку, сплавляем крошево по течению под толстый лед,

266

вытаскиваем "морду", вытряхиваем из нее мелкоглазых черных налимов, синеватых хариусов, крупных брусчатых пескарей... Ерши сразу растопыряются всеми колючками, замерзая на льду. Последними окоченевают живучие налимы. Дед веткой глушит их по головам, "чтобы макса не "выбыгала", — оказывается, налим, если его не оглушить, на воздухе как-то продлевает свою жизнь за счет печени, и она уменьшается — "выбыгает" в размерах... Налимы молотят черными хвостами по льду, раздувают жабры, затихают...

Вечером дед в зимовье обдирал соболя. Драгоценный мех сползал с красного мускулистого тела, оплетенного сухожилиями, уснащенного белыми изогнутыми клыками и короткими лапами с веером стальных коготков. Облик хищной смерти, особенно когда тушка лежит на лабазе замороженная, оскаленная, с остекленевшими глазами и когтистыми лапами... Дед натянул шкуру на пяло, ссадил, прибил мелкими гвоздочками и любовно погладил блестящий ворс задубевшей ладонью:

— Тайга-матушка ишшо кормит...

* * *

Ночь. Звезды. Тишина. Тени на снегу. Синева. Призрачный густой свет. Трещат деревья. Вспыхивают метеориты. Сверкающая мгла плывет в русле

Тунгуски. В такие ночи зайцы носятся по своим вытоптаным тропам, обезумев от лунного сияния. Вот тогда-то они и попадают в проволочные петли, где задыхаются, по-детски крича. А коварный соболь в светлые ночи обходит ловушки. Надо ждать, когда месяц пойдет на ущерб. Торосы, наледи, наст — все искрится. Засветло я не успел выйти к зимовью, а сейчас не пойму, где сворачивать на тропу, чтобы не пробежать две березы на высоком берегу, за которыми стоит дедовская избушка. Ночное пространство заполнено светящимся туманом, обволакивающим предметы. Впереди по левому берегу замерцала какая-то искра. Напрягаю глаза — пропадает. Расслабляю — вроде бы видно снова. Чудится — нет ли? Иду минуту, другую. Искра становится устойчивее. Конечно, это соседнее зимовье наискосок от дедовского! Скоро пора на заберег, искать тропу... Я замедлил шаг, неуверенно повернул направо и почувствовал под ногами твердый, утопанный снег. Может быть, это зимовье какого-то приезжего татарина? Кто он, откуда—никто не знает. Приехал, поселился в брошенной, старой избушке, не охотится, только рыбу ловит. Стою, всматриваюсь в тьму, смешанную с мороз-

267

ным туманом, — деревья, берег, угоры — всё слилось в сплошное марево. И вдруг откуда-то сверху—рычание собаки и человеческий голос: "Кто тут блукает? Ты, что ли, москвич? Заходи, почаёвничаем!"

Слава богу, это наш сосед Володя Юрьев! Сидим в его просторном зимовье, пьем чай, разговариваем. Все о том же: сколько кому пришлось пережить на своем веку.

Володя мой ровесник. Вырос без отца, которого вместе с соседом по Ербогачёну посадили в тридцать седьмом за намеренье взорвать мост через Тунгуску. Когда Володя вырос, то узнал, что моста такого и в помине не было, а был донос. Сосед Иван Михайлович выжил, вернулся и рассказывал Володе, как в иркутской тюрьме Володин отец после трех допросов шепнул Ивану Михайловичу: "Четвертого допроса я не выдержу... Надо, Иван, сознаваться, а то живым не оставят..." "Сознались". Отправили их сначала в Ванино, а потом в Магадан.

— Письмо мы получили, и так вышло, что начальником ихнего лагеря был наш общий сродственник. Ну, родные собрались да написали сродственнику, мол, дядя твой у тебя в лагере, разыщи да помоги. А тот как помог—скорее отделаться чтобы, отправил моего отца в другой лагерь. Отец там оголодал, дизентерией заболел, на работу перестал выходить, а пайку давали только тому, кто норму выполнял. Отощал совсем и говорит: "Я тут на нарах помру. Лучше на работу выйду"; Вышел в котлован на земляные работы. Там, сказывают, и упал.

3

Утром мы с дедом идем ставить "пасти" на зайцев. По натоптанной тропе медленно уходим в тайгу, заснеженную и такую беззвучную, что даже слышно, как ворон, летящий высоко над вековыми лиственницами, машет крыльями — ф-р-р! ф-р-р-р!

По дороге продолжаем нашу извечную тему: какая жизнь была лучше — та, что раньше, или та, что сейчас.

— Что говорить, Славк! Сахар ели только по праздникам! А работали с темна до темна. Взять коноплю одну. Посей ее, собери — руками рвали! — обмолоти, потом осотью в вязки увяжи, потом мочи ее три недели, потом у прясла поставишь — чтоб до марта выбыгала, потом на мялке мнешь, чешешь. Потом бабы с лучиной красна ткут, веревки вьют, нитку на сети прядут, сети вяжут... А на рубахи да на портки холст — все из конопли ткали! Купить-то негде было да и не. на что! Чирки простые

268

сшить из сохатины аль из коровьей кожи — простое дело вроде, а ить пока эту кожу выдубишь, в мялке изомнешь — ох! — руки отвалятся! Но зато и чирки были! Легкие, прочные. А бабам покрасивше делали — чернили пылью из-под точила... Собаки наши заволновались — дед, прикрикнув на них, прибавил шагу:

— От он, красавец. Цыц, Музгар!

Мы разом остановились, с восторгом поглядывая друг на друга. Под сосной, свернувшись в окаменевший клубок, лежал черный соболь с капканом на передней лапе. Видно, долго метался, бедолага: мерзлая земля у корней дерева была вырыта его стальными коготками аж на полметра, но проволочная сталь, что удерживала капкан, оказалась прочнее когтей и зубов. Дед разомкнул пружину, вытащил зверька, поглядел на его оскаленную мордочку, дунул на ворс, бросил добычу в мешок.

Вечером в натопленном зимовье за распаренным чаем мы подробно продолжаем разговор о прошлой жизни.

— Я два класса кончил, чагой на бересте писал. Писать выучился — отец сказал: "Хватит" — и послал меня белочить. А сейчас: учись — не хочу! Я в интернате завхозом работал — так они там кашу рисовую не едят, конфеты шоколадные кидают. Три раза их в день кормят, да еще полдень какой-то дают... Ох, Славка, портится народ от хорошей жизни! Я ероплан-то в первый раз в тридцать шестом году увидел. Вышли мы на угор — дед Петрован, Николай Евлампич и я. Летит! Дед Петрован стал бородой в небо, перекрестился и сказал: "Ну, слава Богу, Еруслана сподобило увидеть..."

Конечно, лодочные моторы, сапоги резиновые теперь есть, зато пьяниц и бездельников стало больше, зато ружья стали хуже — помню, были гековские... А капканы нынешние... Двадцать штук новых ондатровых поставил — утром гляжу, на шести пружины полетели. Ну, правду сказать — все есть у нас: и хлеб, и мука, и сахар, и мануфактура, и забота есть о нас, фронтовиках. Тридцать лет Победы как душевно справили! По кисету каждому из ветеранов пионеры сшили, перед райкомом вроде бы кухню полевую сделали — ох и смех! — каждому из нас по миске каши дали, как на фронте. Да по сто грамм, а где сто, там и двести! — Дед смущенно заулыбался, замахал рукой, объятый сладостными воспоминаниями. Он вообще любит с людьми потереться, пошутить, потолковать где бы ни было — в клубе, в бане, в магазине. Намолчится в своем зимовье, и тянет его к разговору, к теплу. К товариществу, истоки которого то ли в мирской крестьянской жизни, то ли во фронтовом братстве.

269

— Телевизоры к нам привезли. Так Маруся не слезает — давай купим! А на что он мне? Включишь — да и смотри один, как филин. Я лучше в клуб схожу, в кино, там хоть народ рядом...

— Ну а народ-то стал лучше или хуже? — все вытягиваю я из деда какой-то исчерпывающий ответ, хотя сам прекрасно знаю, что такого быть не может. Но дед не теряет:

— Жизнь стала лучше, а народ хуже...

— А как же так быть может?

— А так и может! Жизнь-то совсем другая стала! Вот смекай сам: укрупнила колхозы, скоко деревень пропало — пальцев не хватит загигать. — Дед яростно загибает пальцы: — Потемино нету! Лужков нету! Гаженки нету! Логашино нету! Данилова нету! А ведь по сто коров дойного скота было в каждой! Хлеб сеяли; мясо-молоко сдавали, да и самим оставалось... Это я тебе токо по Тунгуске насчитал. А по Непе? Аяна — нету! Вольпана — нету! Далькана — нету! Все разъехались... Разве нынешнюю жись со вчерашней можно равнять? В деревне не дружно жить нельзя было. Там не то что в нашем поселке — всем известно, кто хороший человек, кто плохой. Хотя, конечно, и выпивали, но дружнее жили,

дружнее! Конечно, дурость-то в народе всегда есть. Вон Егор Кладовиков молодой был, влюбился в соседскую девку Матрену — да родители не сговорились. За другого ее выдали. Через сорок лет, после войны уже, узнал, что она овдовела, бросил семью, сел в лодку-берестянку, поплыл за пятьсот кило метров. Стал жить с нею. А она, видно, уже разбаловалась. Весной на Троице в лесу он ее с мужиком и приметил. Вернулась она домой, картошку стала чистить, а он ружье в горнице зарядил, подошел к ей, навел ружье и говорит: "Прощайся с жизнью!" — При этих словах глаза у деда засверкали — он показывает, как Егор наводит ружье, переживает, выставляет ногу вперед, воображаемое ружье прижато к плечу, дышит часто. — Матрена за ствол хватать, а он курок и спустил, пуля ногу ей пробила да о подоконник — и рикошетом в окно на ту сторону реки, где пахали на лошади, — в дугу ударила... Тогда она, видно, за печку бросилась да вокруг печки хотела обежать да в дверь, а ён с другой стороны ее ветрел, она упала—ён ей под затылок второй жакан — скрозь позвоночник прошел и в кофточке белой запутался. Когда ее подымали — глядят, что-то из кофточки упало, покатилося — жакан... Я слышу выстрелы — побежал к ихней калитке, отчаянный был, — соседи кричат: "Егор Трофимыч тетю Мотю убивает!" Я калитку рванул — гляжу, Егор навстречу мне

270

выходит из избы, шатается, увидел меня, ружье на себя наставил — и... — Дед махнул рукой, зажмурился и отвернулся. — А тут и брат Матренин прибежал, кричит: "Я его на куски разрублю". А я, — дед принимает официально строгий вид, как служитель закона, — ему говорю: "Трупа не трогать! Токо милиция труп имеет право трогать!" Подошли мы к Егору, а он руками вот так... — дед протянул перед собой ладони, стал то растопыривать, то сжимать пальцы.

А рядом с имя совсем другие люди жили: Агафья Ивановна да Иван Тихоныч. Двенадцать детей растили — одиннадцать сыновей да одну дочь. Дня им не хватало.— по ночам, бывало, сидит Агафья, ичиги чинит, лопатину шьет... Нажарят рыбы семейную сковороду — детей накормят, что останется — сами поедят. Когда умерла она в пятьдесят третьем году — одиннадцать сынов и дочь у гроба стояли. Сестра моя стала имя готовить, да шить, да обхаживать — колхоз ей полный трудодень платил...

Слушаю — ужасаюсь и радуюсь. Но ведь не может пройти даром, исчезнуть, следа в памяти двенадцати детей не оставить то, что сестра Степана Романыча не за трудодень, конечно, — какой там "полный трудодень" был в пятьдесят третьем году! — а по совести крестьянской и человеческой пошла в дом, где остался вдовец с двенадцатью детьми, и, хошь не хошь, стала им вместо матери? Не может быть, чтобы не помнили эти сейчас уже взрослые люди добро, чтобы не проросло оно в их душах, а если проросло — то не удержишь его в душе — в мир выпускать его надо... А коли так, то не должны быть сегодняшние люди хуже вчерашних...

— Однако заговорились мы с тобой. Славка! Завтра нам опять ловушки глядеть, сети сымать пора—кабы не примерзли. Да и в Ербогачён собираться будем, баня нас заждалася!

Дед шумно задувает лампу и бормоча погружается в сон, оставляя меня наедине с ярко-синей от мороза звездой, струящей свет в маленькое окошко зимовья, и неразрешимым раздумьем о том, какой же стала жизнь наша: хуже или лучше, лучше или хуже?..

Из писем Степана Романыча разных лет.

"Я Вас поджидал к открытию охоты, но не дождался. Пришлось прослушать по радио Ваши стихи о нашей встрече. После этих стихов все заходят — "Слышали, Степан Романыч, про Вас пропели стихи с Москвы". Очень, конечно,

благодарны и очень всем присутствующим понаравило. А поэтому, просим вас посетить наш район. Стретим, как брата".

"Наша жизнь идет помаленьку. Со мной случилось 22 мая, как раз пошла Угрюм-река. Ну, думаю через сутки лед пройдет и поеду в зимовье уток стрелять. И вдруг кольнуло в правый пах и я чуть сознание не потерял. Меня в больницу и в Иркутск. Спасибо был московский профессор и 27 мая я лег уже на стол. Ну думаю конец. Больше мне не жить. Но перенес. Операция тяжкая, Слава. В 1941 г. под Москвой меня ранило. Осколочное ранение. Большие осколки выпали, а два очень маленькие, их затянуло, и просидели глубоко 39 лет. Изнутри пошла злокачественная опухоль и вот, дай Бог этому врачу, сделал операцию и я пролежал в Иркутске два с половиной месяца, проходил облучение и вернулся домой... План пушнины в этом году, наверно, провалим: осень очень плохая была, дожди, а потом заморозило, собаки ноги ободрали. Вот так. Ну, дорогой, приезжай на день оленевода..."

"Жду тебя на свой юбилей — 70 лет, 14 октября. Ну пока. Еду к зимовью. Дома не могу жить. Тянет матушка-тайга".

"Наша жизнь идет по-старому. Стоят морозы с Нового года 52—62, дневные 45. Тяжело, но привыкли. Хожу по лоушкам, но за капкан иматся равносильно как за раскаленное железо. Новостей больших нет. Но наше поколение отмирает. Уже в январе в моих годах и постарше скончались трое. У Ивана Кладовикова скоропостижно скончался отец Митрофан Иванович. Приехал с охоты 5 января, зашел в дом, а старуха говорит, ой, что так долго, скучно стало, все передумала. А он отвечает: ничего, старуха, все хорошо. Там на нарте лежит два куля с рыбой, иди закинь. А она ему отвечает: У меня все нажарено, вчера тебе на встречу купила бутылку спирту. И сама вышла в огород. Ну она всего провела 3—4 минуты, вернулась, дверь открыта, а он лежит у дверей, где переобувался. Она схватила, закричала, народ прибежал, а он уже мертвый лежит. Хоронить приехали 5 сыновей и четыре дочери. Скончался семидесяти шести годов..."

"Жизнь идет потихоньку. Опять летал в Иркутск на проверку, сдавал анализы, врачи сказали, что пока анализы в хорошую сторону. В июле опять велят приехать. Что делать, придется ехать, жить охота, рыбачить, охотиться, и еще охота тебя увидит и за стречу выпить хорошо..."

272

4

После бани, краснолицые и благодные, мы сели к столу. Дед в майке, на предплечье у него наколота синей тушью грудастая женщина и под ней надпись: "Шура". Он перехватывает мой взгляд:

— Это первая жена. Сирота. В детдоме росла... Семь лет с нею жил. Она хотя и эвенка, так-то ее не забракуешь... Ушел на войну, пропал без вести, повестку она получила... Вернулся — живет с председателем. Уходи, говорю. Она: "Прости, Степа, война, все бывает..." — "Нет, уходи!" — Дед поджимает губы, и я вижу, что он может быть очень своенравным, — делает решительно взмах рукой по направлению дверей: — "Уходи!" Уехала... Бабы собрались, сестры, и говорят: "Рома, женись на Дусе из пекарни, женщина чистая, работающая. С дитем она — ну с кем не бывает? Обманули ее..."

Дуся гремит возле печки кастрюлями, разливает по мискам похлебку, но жадно слушает каждое наше слово и тут же вступает в разговор:

— Я могла трех человек переплясать. А петь любила! Всякую песню как услышу — тут же повторяю. Тата, когда помирал, просил: "Дуня, ты помнишь песни, которые я играл? Спой, говорит мне, напоследок..." А ить меня чуть не увез в двадцатом году Иннокентий Кузаков — офицер! Ехал в Гаженку на лошади

в мундире с погонями... Проезжал наш хутор, увидел меня и говорит отцу: "Павел Иваныч, а Павел Иваныч! Отдай мне девчонку, я ее с собой возьму... Я ее выучу..." А вить он в Китай ушел... — Голос Дуси звенит от восторга при воспоминании о том, какова могла быть ее жизнь. — Как сейчас помню: четверо их едут на конях! В погонах. Все вооруженные... Я красивая была, бойкая, из меня артистка могла выйти!

Дед, который слышал эту историю много и уже давно ненавидит своего вечно счастливого соперника, офицера Иннокентия Кузакова, хмурится и перебивает старуху:

— Сука, родине изменил!

Но Дуся, увлеченная несбывшейся сказкой, уже и не слышит его:

— Кузаков говорит отцу: "Павел Иннокентьевич, отдай дочку-то, я ее выучу", — а тата ему отвечает: "Авдотью я свою никому не отдам!" — Дуся делает яростные глаза, свирепо выпячивает челюсть, изображая отца, который не уступил дочку колчаковскому офицеру Иннокентию... Неожиданно на хмельных покрасневших глазках Евдокии появляются слезы: —

273

А я бы выучилась! Я такая была плясунья, такая певунья! Мне учиться хотелось! Богатые-то своих детей учили. А я подушку слезами омочила! Я бы артисткой стала! А голосище какой был. Степа, я ведь при тебе пела! Степа, дай спою. — Дуся затягивает хриплым старушечьим голоском:

Ох, бедна, бедна девица

На свет я рождена...

Дед, облокотившись на стол, снисходительно слушает Евдокию, которая старательно выговаривает каждое слово песни, строит неведомо кому глазки, улыбается беззубым ртом, худенькая, красноносая, обутая в громадные валенки, из которых торчат ее тонкие ножки, обтянутые зелеными рейтузами.

Не ветер занавесточкой

Тихонько шевелит,

Мой милый под окошечком

Секретно говорит.

Она покачивает плечиками и рассказывает песню так, как будто все, о чем говорится в песне, происходило или даже вот сейчас происходит не с кем-то, а с ней, с Евдокией.

Не плачь, не плачь, красавица,

Не лей горючих слез,

Наплачешься в неволюшке,

Тогда будешь моя.

Дуся поет с ошибками, как запомнила когда-то полсотни с лишним лет тому назад. Печка в доме прогорела, от двери тянет холодом, на дверном косяке сверкает иней. Усталый дед отвалился на никелированную кровать. Внезапно гаснет электричество, и слабым источником света становится синий прямоугольник окна, но Дуся не обращает внимания на тьму, начинает маршировать:

Раз! Два!

Чище ровняйся!

Грудью подайся!

Только не вешать голов!

На Тунгуске дымятся полыньи, дед уже похрапывает, я зажигаю керосиновую лампу, а Евдокия марширует, сбивая громадными валенками домотканые половики.

274

Он выкован железной кузницей,
Он сын свободного труда,
Глаза у его орлино-серые,
А сердце пламенно, как шлак.
Его заветы — это зна-а-мя!
Весь мир в Коммуну превратим!

— Дуся, да посиди, отдохни! Расскажи лучше, откуда ты эту песню знаешь. У вас ведь от деревни до деревни по триста верст!

— Ох я и петь люблю, Слава, вот слушаю телевизор и подпеваю. Ну, конечно, они слова исказиют! А ишшо мы про Ильича пели! — Дуся становится по стойке "смирно", выбрасывает руку в пионерском салюте ко лбу и опять вскидывает вверх тощие ножки в валенках:

Ты умир сигодня на славном посту,
Видя на борьбу миллио-о-ны-ы!
Ты умир, Ильич, над могилой твоей
Склоняем мы наши знамё-о-ны-ы!

Громадная тень от маленькой старушки мечется по стене, а Дуся хрипит, не уставая:

Ты долго, Ильич, пролетарской звездой
Горел пролетарской России!

Тяжело дыша, она опускается на табуретку:

— Четырнадцать лет мне было... В Гаженке по праздникам пели...

Я выхожу во двор. Ледяные звезды от холода чуть слышно потрескивают в небе. В курятнике ворочаются сонные куры. Струйка дыма тянется из трубы, никуда не отклоняясь, словно застыв на воздухе; из-за неплотно прикрытой двери долетают слова:

Он выкован
В железной кузнице.

Дед оторвал голову от подушки — видно, решил, что хватит, надо бы и свое спеть:

— Выпьем за Родину! Выпьем за Сталина!

— Да заткнись ты, только и знаешь "За Сталина!"

— Ты, ты Сталина не тронь, к нему Берия вошел в доверие. А меня не перебивай, меня люди уважают! На той неделе в столовой свадьба, — дед уже обращается ко мне, — дочь среднего брата замуж выходит, машину прислали, просят,

275

Иван Романыч, поехали. А я говорю — на что я вам, старый? Рюмку-другую выпью — и пьяный! На торжественное заседание в клуб приглашали — не пошел! Со старухой бутылку раздавили, телевизор включили и целый вечер просидели вдвоем, как молодые.

Дуся, видя внимание деда, начинает кокетничать, опять выходит, покачивая плечами, на середину комнаты:

Мине милый изменяет,
Я ему наоборот,
Меня новый провожает
Каждый вечер у ворот.

Дед машет рукой, бессильно хохочет, жмурится, а Евдокия входит в раж:

Сыпала, посыпала
Погодка сыроватая,
Сама девчонка ничего,
Любила треповатого.

Деду все это не по душе — молодое, легкомысленное, забытое. Он пытается перехватить инициативу, затягивает, напрягая тощую морщинистую шею:

Ой да ты, Сибирь, Сибирь моя родная...

Но с бабкой уже нет сладу:

Как же Степу не любить,
Степа чисто ходит,
У Степы чубчик на боку,
Дусю с ума сводит.

Видно, эти самые частушки она пела Степану Романычу сорок лет назад. Но дед не сдаётся, хватает Евдокию за фартук и тянет свое, старуха кричит на него: "Ты петь не умеешь! Всегда песню разбавляешь!" Но дед не слушает Евдокию и выводит протяжное, бесконечное:

— Пришла весна, я встретился с тобою...

— Степа, замолчи! Ты и так всю жизнь говоришь! Дай мне! У меня коса, сына, такая была — я садилась на нее. Как пойду — за мной табун всегда. А как плясала да пела! Конечно, мой талант пропал. Зачем за Степу пошла? — ни спеть, ни сплясать не давал. Здешние бабы спрашивают: где петь научилась — со Степой? А я им отвечаю: с этим иродом не сплясешь, а научилась с Ильей, от которого у меня Колька... Кадриль

276

играли. Как приду на вечерку, — все меня приглашают... Ты меня всю погубил, Степа! По голове пинал, а сам бегал, кобель, по девкам да по бабам. А нынче сама убилась. Пошла к печке — как меня леший бросит головой об угол... А за что бил? Я ему родить не могла, надорвалась, кули с мукой в пекарне таскала, гузёнка стала выпадать. Мать мне судьбу-то отдала. Ее отец тоже бил. Все петлю себе готовила, да я от нее ни на шаг. Бывало, веревку возьмет, а я тут как тут. "Ой, Дуска, — бывало, скажет, — ты мне покою не даешь". А в последний раз она меня омманула, говорит: "Доча, коровушка телится, сходи, погляди в стайку... Я сходила, вертаюсь, слышу, ногами колотит. Как закричала: "Тата! С мамой неладно!"

— А, твою мать, опять представляется! — едва успел вставить в сплошной поток Дусиных слов дед, но Дуся уже никого не слышит:

— Отравилась! Мы ей зубы разжать не могли, а Кеша маленький подползает и титьку сосет! — Последние слова Дуся договаривает сквозь слезы. — Потом его на фронте убили! — Она с плача переходит на крик и внезапно, утерев глаза, снова; переключается на деда: — Ну знала я, что ён к Анне Павловне — сестре моей — ходит. Ну зачем меня-то бить? Пришла из больницы, постель стелю, смотрю: труссы-то Нюркины. Я говорю мачехе: "Труссы-то Нюркины!" А мачеха

мне: "Молчи. Я их выстираю да носить буду..." Во какая мачеха у меня была...
Что пережито — конем не объехать.

Ой, впереди веду-у-т мата-а-ню,
Сзади выблядка-а несу-у-т.

Но дед не слушает ее излияний и тянет с кровати свое:

Прошла весна, краса моя увяла,
Ты разлюбил и сделался чужой...

Дуся потихоньку начинает вторить ему, потом с упреком глядит на деда: мол, разлюбил и сделался чужой — "ить про тебя это, ирод"...

Дед, понимая, что нужно совершить какое-то дело, чтобы избежать упреков в разбитой жизни, спускает ноги в кальсонах на пол и властно приказывает:

— Тащи бутылку!

Евдокия лезет в гардероб, достает заветную бутылку "Агдама" и, отмякнув после стопки, снова начинает вспоминать детство и девичество, уже не придираясь к деду:

— А тата петь любил "Ухаря купца": "Пей, пропивай, ишшо

277

наживем..." Тата по-хохляцки пел, по-русски говорил плохо. Бабушка деду дядю Александра и дядю Сергея привела. У нее они нажитые были. Сергея в армии убили. Потом другой Сергей родился. Ты не спорь! Я лучше знаю! Это другой Сергей! Как он на тальянке песни играл!

Молчанье... Только слышно, как на Тунгуске, ухая, опускается лед.

После усталого затишья разговор начинается снова — и все о том же:

— Кольку-то я нажила, а больше родить не могла. В пекарне работала, мешки таскала... Степа меня и взял с ребенком... А что?! У других по два, по три набеганы, и то замуж выходят! В Непе я жила одна. Руки отнялись в пекарне. Врач Петухова уколы делала. Хорошая женщина была, потом пить стала, с партии ее исключили. Я говорю: "Везите меня в Гаженку к родным. Руки, ноги не владеют, а мне пекарню принимать надо".— Дед чего-то поправляет Евдокию. Она кричит на него: — Не ври! Не мешайся, Рома! Я в сорок шестом туда приехала; булочки тебе стряпала! Руки, ноги отнялись. На холоде работала. Дорошенко меня на ручках носил, с ложечки кормил... Рассолу бочку навели и в бочку меня сажали, восемь ванн сделала...

— А сын-то его?

— Нет, от другого... Я за Степу вышла, а Дорошенко пишет и пишет родным: если, мол, Дуся не вышла замуж, сообщите, я приеду, — победоносно взглядывает на деда, как будто мифический Дорошенко, если она захочет, хоть завтра сможет приехать... — Ох, какой хорошей был мужчина, уважительный. Он меня на ручках носил. Не то что ты! — Глаза у Евдокии сверкнули, седые космы вылезли из-под платка, сухонькая ручонка взлетела к дедовскому подбородку. — Он мне не писал, родным писал, раз пришла к сестре — смотрю, письмо на лампе лежит...

Дед очнулся, поднял голову:

— Хватит тебе... Ты у меня как Польша! Дуся аж взвизгнула:

— У меня никого не было! Я одного нажила! А люди по два, по три наживают! И отец мой не поляк, а самый настоящий хохол! Тата за всех меня любил! — Евдокия начинает подвывать, вытирая слезы концами кашемирового платка.

Я, чтобы отвлечь ее от печальных воспоминаний, опять перевожу разговор на

песню:

— Дуся, давай мою любимую. — Стараюсь выводить красиво и правильно: "Позарастали стежки-дорожки..." Ну

278

конечно же, сейчас она вспомнит, подхватит, обмякнет голосом и сердцем, ведь пели же они эту вечную песню, сейчас вторить начнет; нет, слов не помнит! Дед в кальсонах, приподнявшись на кровати, из последних сил командует своей старухой:

— Да погоди ты, балаболка! Спой старинную песню, онкульскую, которую Лазарь Михайлович любил.

Евдокия не помнит онкульской песни, дед сбил ее с настроения и перехватил вожжи разговора на какое-то время в свои руки.

— Лазарь Михайлович, годок мой, утонул. Выпимши сел в лодку да по большой воде по верховке поплыл на тот берег — там у его на озерах сети. На берегу еще постоял и запел старинную онкульскую песню, — все ты забыла, старая, сел в лодку да и ушел за поворот... И с концами. Видать, лодка перевернулась, там кряжи, а вода — бешеная, верховая, на них и нанесло. Искали целую неделю, водолазов вызывали из Иркутска, а я сразу сказал — вода спадет, у Курьи искать надо. Так и вышло. Федька-моторист—месяц уже прошел—шпарит на моторе, глядь, у Курьи утопленник. Он и есть, Лазарь Михайлович, царство ему небесное, славный был мужик, фронтовик, но выпивать любил — ой любил! Всю Европу прошел, Чехословакию вызволял, Венгрию. Два ордена Славы! К третьему был представлен. Да по ранению в госпитале не нашли... Утоп... — Дед машет рукой, мол, жизнь — жистянка, поджимает губы. — Старинную онкульскую песню запел перед смертью, как в лодку сесть. Плохо дочери отца держали. Штаны оденет, грязи пулей не пробьешь. Не было ему никакого присмотру...

Дуся, чувствуя себя виноватой, что ничего не помнит — ни онкульской песни, ни "Стежки-дорожки", в конце концов заявляет нам, что одну старинную она знает. Опять выходит на середину избы, поправляет платок, вытягивает руки по швам.

Командир герой, герой отря-а-да-а,
Сам он ехал впереди-и!
Он командовал своим отрядом,
Веселил своих ребя-а-т!

Поет Дуся, закрыв глаза, а перед глазами, на пляшущей с ноги на ногу рыжей лошади то ли колчаковский офицер Иннокентий Кузаков с золотыми погонами, в ладном приталенном мундире, то ли — глаза слезами застит, не разберешь — безмянный красный командир в шапке-богатырке, в длинной шинели, — словом, кто бы он ни был — он тот, кто увезет ее куда-то далеко-далеко от угрюмого отца, копошащихся на печке братьев и сестер, от востроглазой мачехи...

279

Все ребята едут, веселятся,
Все спешат скорей домо-ой,
Но один боец был невеселым,
Был он круглым сирото-о-й!

...увезет далеко-далеко, где она плясунья, песельница из глухой сибирской заимки станет актрисой! Хватит ей подушку мочить слезами, хватит своим сиротством захлебываться. А он, тот, кто, то ли в офицерской фуражке, то ли в шлеме со звездой — тоже ведь сирота, как и она, словно брат ейный!

Знал бы я, да не-е поехал
Я на родину свою.
Лучше б, лучше б я сражался,
В чистом поле со враго-о-м!

— Сиротой он был, чего ему на родине делать, — печально комментирует Евдокия. А потом она опять в который раз заводит свою любимую: "Не сплю, лежу, все думаю, как милого забыть" — тут и офицер в мундире с погонями, который чуть не увез Дусю в Китай, и Зарукин, который "омманул", и Дорошенко, что на ручках носил и с ложечки кормил, и Степка, который бил "и стулом и поленом", но все равно Дуся ждала его на берегу, по целым ночам выстаивала. Так ей хочется приключения, интриги, бегства с милым, что, может быть, и не зря порой дед поколачивал плясунью и певунью.

— Да, сколько раз на меня с ружьем насакивал. Я бы тоже бегать могла, я по ночам работала, как квашонка подойдет — в пекарню ночью итти надоть, а Степка ревнует... Я вот ночью лежу дак и пою про себя, и сказываю. Осталась неграмотная, вышла за такого гада — не спой, не спляши. Прошлый год приехал с больницы, месяц тихий был, потом опять насакивает, я, мол, тут без него с армяном бегала и со строителем. — Дуся снова, как будто продолжая речь, переходит с разговора на песню:

Куда девался тот цветочек,
Котор долину украшал?
Куда девался тот дружочек,
Котор словами улещал.

Тяжелый храп прерывает ее — дед завалился на подушки, худая рука свисает с кровати, рот у деда открылся, и в нем тускло светятся стальные зубы, ко лбу приклеились остатки когда-то густого чубчика... Евдокия с нежностью смотрит на старика. "Он хоть и бегал от меня, хоть и бил, а изменять не изменял. Так вот мы с им и живем, со Степой-то".

280

Я, засыпая, слышу, как она поправляет ему подушки, укрывает одеялом, ворочается, устраиваясь рядом с ним на металлической кровати с панцирной сеткой и никелированными шарами...

* * *

На другую осень болотистой прибрежной тропой я добрался до соседнего зимовья, срубленного на Кучёме. Кучёму можно было перейти вброд. Но я знал, какая она бывает весной. Когда мужики после половодья приехали в зимовье, то увидели, что оно, крепко сбитое осенью из листвяков, все перекошилось, потому что мутная полая вода, вышедшая из берегов, приподняла зимовье, словно спичечный коробок, и, уходя обратно в русло, оставила их избушку совсем не там, где они рубили ее, а на другом конце поляны.

Услышав с реки звук мотора, я вышел по тропинке, протоптанной сквозь кусты жимолости и черемухи. Эвенкийское низкое небо нависало над берегом. Железная лодка, подняв коричневую волну, заскрежетала по гальке и аж на полкорпуса вылетела на глинистый берег.

Миша Сафьянников, темнолицый мужик, с разрезом глаз, выдававшим примесь эвенкийской крови, перескочил через борт. Волна накренила лодку, и я увидел с высокого берега, что она забита черно-белыми связями, длинноклювыми чирками, сверкающими селезнями.

— Штук двадцать, наверно!

Я с завистью поглядел на разноцветную, пушистую, окровавленную грудку крыльев, голов и хвостов.

— Давно надо было мне на дальние калтуса заглянуть! — Миша Сафьянников наклонился над лодкой и осторожно приподнял за концы крыльев крупную пестро-рыжую птицу. — Тетеревятник! Влет сшиб, когда к реке вышли!

Ястреб ворочал по сторонам головой, судорожно сучил лапами, но сделать ничего не мог, потому что Михаил держал его за оба крыла, заломленные кверху.

— Смотрю, с листвяка поднялся и пошел вдоль реки, ну я его влет и ударил.

Он бросил птицу в траву. Тетеревятник, царапая землю когтями, хотел было рвануться в сторону от людей, но, видно, его раны были тяжелы и движение не приносило ему пользы. Ястреб замер, с холодной ненавистью в круглых желтых глазах глядя на страшных существ, обступивших его.

281

— Зачем он тебе нужен был?—Я постарался, чтобы вопрос прозвучал равнодушно.

— Да ведь тетерок дерет, рябчиков... Ишь ты! — Михаил замахнулся на ощерившуюся птицу. — Из лодки все хотел выскочить, сапог когтями ободрал... Пришлось палкой

приглушить...

Из зимовья вышли трое подростков — сын Михаила, Володька, с двумя товарищами. Они уже втянулись в охотничье дело и кое-что понимали в нем. Вчера, засыпая на полатях, застланных жаркой медвежьей шкурой, я слышал, как ребята делились впечатлениями от вечерней зорьки. То ли под их разговор, то ли от выпитой водки, утиного супа и ровного жара, исходящего от смолистых стен зимовья, но спалось, может быть, самым крепким сном в жизни.

— Пап! А что с ним делать? — спросил Михаила сын и осторожно шевельнул забывшуюся птицу палкой. Тетеревятник вздрогнул, белесая пленка сползла с его глаз, он вцепился обеими лапами в сосновый сук, растопырил пестрые крылья и ощерил клюв, показав окровавленный острый язык.

— Все равно подойдет! Давай поглядим, кто из вас первый стрелок. Ну-ка, отнеси его на пень!

Мальчик поднял сук с ястребом, висевшим вниз головой, и пошел к замшелому еловому пню. Тетеревятник волочился по траве и зорко следил за каждым движением своего врага, словно бы выжидая, когда можно будет рвануть его лапой или ударить железным клювом. Но когда Володька поднес его к пню — он сделал короткое движение крыльями, вспрыгнул на пень, опустил перебитое крыло к земле, тряхнул взлохмаченной головой и неподвижно уставился желтыми зрачками на людей, стоявших метрах в двадцати от него.

— Принеси мелкашку! — сказал, Михаил сыну. — Стрелять будете только в голову.

От реки с полными ведрами поднялась жена Михаила, Ольга Ивановна, с краснощекой дочкой лет шести.

— Mam! Смотри, Вовка ястреба стреляет! — с восторгом и страхом закричала девочка.

— Пошли, доченька! Пошли! Нам картошку надо чистить, уху варить.

Ольга Ивановна взяла девочку за руку, и по лицу ее видно было, что не хочется ей смотреть, как ее сын будет сейчас стрелять в птицу, застывшую на пне, словно египетское изваяние. Ольга Ивановна была не из местных. Лет пятнадцать тому назад занесла ее судьба, молоденькую учительницу из Ленинграда, в таежное село, где в первую же весну закрутил

282

ей голову смуглолицый красавец, жестковолосый метис Михаил Сафьянников...

Мальчик поднял ружье. Долго выцеливался — не хотелось ему, видно, ударить лицом в грязь перед Михаилом. Мы напряженно и молча ждали выстрела. Выстрел грянул. Но пуля, должно быть, едва скользнула на волосок от головы

тетеревятника — он дернул головой, обожженной горячим воздухом, переступил с ноги на ногу и опять застыл, глядя на нас неподвижным желтым взором.

— Эх ты! — сказал Михаил. — Ну-ка отдай мелкашку Игорю.

Игорь тоже выцеливался долго, но выстрелил еще хуже, и ястреб ни единым движением не ответил на выстрел.

Третьим винтовку взял паренек в очках. Он был несколько косоглазым, потому и носил какие-то специальные очки. Но я знал, что именно этот хилый светловолосый подросток вчера вечером принес уток больше, чем его товарищи.

"Все равно ястреб подохнет!" — вспомнились слова Михаила, и я закурил сигарету, зная, что птицу сейчас убьют и что сделать что-либо уже невозможно и невозможно уйти, не досмотрев до конца, как это все произойдет.

"Ну зачем он поворачивает голову? Ведь так же в него попасть легче!"

В эту секунду щелкнул выстрел. Хищник слетел с пня, ребята наперегонки бросились к нему, и косоглазый мальчик с молчаливой гордостью приволок птицу к ногам Михаила. Пуля, потому что ястреб повернулся в профиль, прошла оба глаза, и птичья голова была раздроблена вдребезги...

На закате солнца, похлебав ухи из карасей, все уезжали в райцентр. А мне захотелось еще денек-другой побродить с ружьишкой по тайге, поглядеть на чахлые эвенкийские сосны, на темную воду Кучемы, поесть с кустов синие матовые ягоды горьковатой жимолости. В глубине души жила надежда нарваться на краснобрового глухаря, но я старался об этом не думать, чтобы не дразнить охотничье счастье.

Моторку, груженную дичью, скарбом и людьми, Михаил с трудом столкнул с берега и, чуть не набрав воды в высокие охотничьи сапоги, перевалился в лодку, рванул стартер и, махнув на прощанье рукой, дал газу...

Я постоял на берегу, докурил сигарету, потом раздвинул руками густую траву и поглядел на ястреба. Его раздробленную с засохшей кровью голову уже густо облепили зеленые мухи.

Я взял птицу за жесткое крыло, подошел к обрыву, размахнулся и бросил ястреба в черную воду. Плавное течение

283

сначала медленно развернуло распластанное на воде рыжее птичье тело, потом птицу понесло все быстрее и быстрее по коричневой струе в окружении желтой пены, потом она, делая круги, доплыла до поворота, чуть было задержавшись на перекате, вышла на стрежень и, следуя за поворотом реки, пропала из виду.

* * *

Утром за мной должна была прийти моторка. Я встал пораньше — пробежался по ельничку: глядишь, и повезет напоследок. Подходя к мельнице, подумал: надо потише. У ручья должен сидеть! И тут же, стряхнув с куста облачко снега, от ручья взлетел рябчик и как мишень сел на край замшелой мельничной крыши... Когда рыжий Карун, отставший от меня, подбежал к птице, обнюхал ее и поднял голову, я прочитал в его глазах одобрение за удачный выстрел, полез в сумку, достал ломоть хлеба и кусок сахара. Хлеб Карун проглотил, от сахара гордо отказался, подбежал к ручью, пробил лапой тонкий лед и, часто работая розовым языком, напился.

А снег, редкий и медленный, все сыплет, связывая небо с землей, укрывая мои следы, медленно перекрашивая черные ели, и золотистые от лиственничной хвои муравейники, и зеленые заросли медвежьей ягоды косицы, и алые лохмотья черемухи в белый цвет, еще непривычный для глаз. Потому-то они так щурятся во время снегопада, хотя вроде и солнца не видать, и мягкий белый сумрак разостлался по всему наволоку.

Пожевать напоследок хрустящей подмороженной рябины, сорвать с куста алую ягоду шиповника, чтобы во рту надолго остался вкус горечи и сладости...

1978—1998 гг.

Русско-еврейское Бородино

Провокация "Метрополя" и мое письмо в ЦК КПСС. Русский и еврейский фланг в советской культуре. Наши кровные шабесгои. На ковре у Альберта Беляева. Маковский воспитывает меня. Мифы о государственном антисемитизме. Моя "эмиграция". Простодушный народ и коварная элита. Мой "биологический" патриотизм. Судьба Мишани

Для тех, кто забыл, что такое "Метрополь", напомним, что это был альманах двадцати трех московских писателей, изданный ими за границей в 1979 году.

Организатором и вдохновителем альманаха стал В. Аксенов, сжигавший корабли и готовивший свой отъезд на Запад. Акция была продуманная и очень эффективная. Издание уже составленного альманаха его создатели подзадержали, чтобы не помешать получить Вознесенскому осенью 1978 года Государственную премию. Когда дело с премией прошло благополучно — козырная карта "Метрополя" была брошена на стол. События развивались прямо-таки по детективному сюжету: по Москве объявлялись слухи о пресс-конференциях редколлегии альманаха, места конференции переносились то на переделкинские дачи, то, в целях широкопропагандистских, в различные городские кафе, власти сбивались с ног, не успевая закрывать намеченные для подобных акций кафе на срочные "ремонт". Иностранцы журналисты, аккредитованные в Москве, с поразительной осведомленностью толпой появлялись у закрытых дверей "Лиры" или "Аэлиты" с табличкой

285

"Санитарный день" и тут же отстукивали в свои газеты информацию о гонениях на метропольцев. Отдел культуры ЦК и руководство Союза писателей сбивались с ног, не зная, что делать: уговаривали, грозили, сулили дополнительные блага — хватались то за кнут, то за пряник... А слухи, разговоры, репортажи в мировой прессе нарастали, как снежный ком, создавая невиданный ореол гонимому В. Аксенову, уже принявшему окончательное решение...

Листаю газеты тех жарких лет, дискуссии и стенограммы обсуждений и не вижу там в числе гонителей "Метрополя" никаких одиозных фамилий, "певцов застоя", "реакционеров", редакторов "антиперестроечных" журналов... Ни С. Викулов, ни М. Алексеев, ни В. Белов, ни В. Астафьев, ни П. Проскурин, ни Н. Грибачев, ни В. Кожин, ни Ю. Бондарев, ни М. Лобанов, ни Ан. Иванов, ни В. Чивилихин, ни Ю. Селезнев, ни В. Распутин ни слова не сказали в печати о "Метрополе"... В печати. В частных разговорах, да, помню, говорили приблизительно следующее, сходясь на одной мысли: этих метропольцев чиновники из ЦК КПСС и из руководства Союза опекали весьма усердно, многие из них из "загранки" не вылезали, никаких отказов им не было. Америка? — Америка! Япония? — Япония! Зал в Лужниках? — Получите! Телевидение? — Ради бога! "Избранное"? — Пожалуйста! Ну и пусть сами наши идеологи, создавшие такую элиту, несут ответственность за неприятности, которые причинила им элита со своим "Метрополем". А мы за это не отвечаем и просто безгугем заниматься грязным делом...

Так говорили писатели между собой и так игнорировали призывы чиновников из ЦК КПСС — Зимянина, Шауро, Беляева, Долгова и других — "пожурить" избалованных литературных инфантов... Дело все-таки было серьезным. И чтобы его "закрыть", надо было провести хоть какое-то формальное осуждение, хотя бы для спасения чести идеологии, ее брежневско-сусловского застойного лица, вдруг

исказившегося от пчелиного укула метропольского жала... Как ни крутились, а обсуждение альманаха пришлось устроить. Поговорили, видимо, с другими людьми, чего-то пообещали им, организовали ораторов. Кто же стали этими ораторами? Только не удивляйся, дорогой читатель: метропольцев, то есть будущих "прорабов перестройки", осудили другие будущие прорабы той же перестройки. И те и другие сейчас стоят в одном ряду и, забыв старые разногласия, печатаются в одних органах, нахваливают друг друга, и фотографии их в обнимку часто украшают страницы наших популярных изданий.

286

Но в 1979 году нынешние друзья "Метрополя" отзывались об альманахе так, как должно отзываться людям, живущим по принципу "чего изволите?". Я не сужу их: они такими родились— сегодня обслуживают одну идеологическую ситуацию, завтра— другую, послезавтра обслужат третью. Но назовем фамилии "гонителей и преследователей". Что говорил о "диссидентах" десять лет тому назад будущий главный редактор журнала "Знамя" и распорядитель фонда Сороса, нынешний патриарх либерально-еврейской интеллигенции Г. Бакланов?

"Не могу себе представить американского читателя, который бы по доброй воле прочел весь этот альманах. Я этого сделать не смог, так как художественный уровень большинства произведений оставляет желать лучшего. Я уж не говорю о рассказах, например, Ерофеева, которые вообще не имеют никакого отношения к литературе".

А вот отзыв будущей перестройщицы Р. Казаковой:

"Налицо невероятная безнравственность поведения. Это мусор, а не литература, что-то близкое к графомании. Здесь сексопатология. Это литература частного лавочника. Этого мы не должны допустить. Для этого надо ехать в Америку".

А вот что писал пропагандист творчества А. Вознесенского, Ф. Искандера, А. Битова, Б. Ахмадулиной и других метропольцев будущий министр культуры ельцинского правительства критик Евгений Сидоров: "Он ("Метрополь". — Ст. К.) заслуживает самого решительного морального, идейного осуждения, ибо писатели, в нем представленные, сыграли по шулерским, а не по джентльменским правилам".

Автор книг и статей о Н. И. Бухарине, о Н. И. Вавилове, известный прозаик перестроечной волны, ныне покойный и забытый В. Амлинский:

"Мутное щегольство словами" есть в этом альманахе, который в целом ряде сочинений составляет впечатление тягостное".

Член-корреспондент АН СССР П. Николаев, тот, который в своих литературоведческих интервью последнего десятилетия защищал любую свободу творчества и клял эпоху застоя с ее давлением на художников слова:

"Авторы сборника сделали нечто такое, что является задворками западноевропейской культуры... Конкретное содержание и форма материала сборника — вне вековых традиций нашей культуры и, по существу, враждебны ей... За серьезных, вернее, одаренных, писателей, принявших участие в этом сборнике, стыдно. Сама же идея подобного издания не

287

может не быть нравственно и профессионально осуждена". Один из самых боевых и прогрессивных критиков и ораторов последнего двадцатипятилетия, пострадавший во время гонений на "космополитов" А. Борщаговский: "У нашей литературы всегда был нравственный порог, которого достигала жизнь и за нею литература, нравственный порог, о котором забывать нельзя, ибо, если его утратить, это будет служить развращению подрастающего поколения и вносить в умы молодежи сумятицу. Грех "Метрополя" — в измене нравственному уровню, достигнутому советской литературой".

Популярный детский писатель, громко ратовавший против всякого рода остатков сталинизма и диктата над волей писателя, ныне живущий в Израиле А. Алексин: "Дело с альманахом достойно презрения, потому что замешено на лжи и подлежит всеобщему осуждению..."

Были в числе судей "Метрополя" и Б. Полевой, и С. Залыгин, и В. Карпов. Руководил кампанией первый секретарь Московской писательской организации Ф. Кузнецов. По должности и по приказу свыше, так сказать. Остальные "гонители" были "вольнорабочие". Все они страстно, убежденно, со знанием дела — что самое пикантное, на мой взгляд! — по существу справедливо критиковали альманах.

Одного только не рассчитали, что изменится время, "Метрополь" снова будет "прославлен" на гребне перестройки, а они, находящиеся на том же гребне, будут вынуждены сделать вид, что не имеют никакого отношения к судьбе альманаха, или, подмигнув метропольцам, должны будут намекнуть: "Оцените, какую неблагодарную, черную, но нужную работу мы сделали тогда, проработавая вас, мы фактически спасли вас от оргвыводов идеологии, сыграли роль громоотводов. А эти гордецы-консерваторы — всякие Алексеевы, Ивановы, Викуловы, Кожинины, Беловы, Чивилихины, — истинные-то ваши враги, не помогли вам в трудную минуту, не спустили щекотливое дело на тормозах, не вняли просьбам Большой Идеологии, в позу встали, консервативно-патриотическую, и до сих пор стоят в ней, за что и осуждала и осуждает их Большая Идеология и в метропольские времена, и в наши тоже... Ишь, чистенькими быть захотели в грязное время! Уже тогда они показали свою негибкость, свою якобы принципиальность, словом, свою неспособность к перестройке... А мы-то хоть и клевали вас, да все равно, как родных, любя клевали! Так что не обижайтесь! Кто старое вспомнит..."

Аз же, грешный, в те годы, видя растерянность наших

288

чиновников, вынужденных одной рукой наказывать метропольцев, а другой спасать их, решил воспользоваться ситуацией и написал свое размышление о "Метрополе", о сочинениях, помещенных в нем, о завуалированных и явных русофобских и сионистских мотивах альманаха, о двуличии и двоедушии цековеких чиновников — и пустил свое сочинение по белому свету.

Мысль моя в то время работала так: "Пользуясь или слабостью власти, или тайной ее благосклонностью, эти ребята крупно подставились. Еврейское лобби в ЦК растеряно, нельзя давать ему передышки. Надо или надолго лишить его инициативы, или..." О другом "или" думать не хотелось. Я верил: мои действия подвигнут русскую интеллигенцию на решительные шаги.

После выступления в конце 1977 года на дискуссии "Классика и мы", когда меня все-таки не смяли, мне было уже легче рисковать собой.

Я сел за стол, вооружился своими давними рабочими заготовками и за один день написал 12 страниц, которые озаглавил очень просто: "Письмо в ЦК КПСС по поводу альманаха "Метрополь".

Я процитирую несколько основных положений письма, но скажу предварительно лишь о том, что, сочиняя его, я не мог обойтись без некоторых штампов и разрешенных идеологией той эпохи формулировок. Слишком велик был риск: ведь если бы меня за это письмо тогда смяла партийная машина, я не смог бы в отличие от, допустим, Аксенова, Войновича, Гладилина уйти из-под ее давления на Запад, хотя бы потому, что бросал в письме вызов антирусской прозападной части партийной верхушки. На Западе мне житья не было бы.

Выступая против еврейского засилья в культуре и идеологии, я не мог говорить прямо: "еврейская воля к власти", "еврейское засилье", "агенты влияния", а потому мне приходилось использовать обкатанные штампы, в

которых основным термином было слово "сионизм". Но умные люди, конечно же, понимали, что смысл моего письма гораздо глубже и гораздо опаснее, нежели заключающийся в этом к тому времени уже истрепанном клише. И к тому же, дабы партийные церберы (а я знал, что попаду на проработки к ним) меня не сожрали, я не мог не упомянуть в письме знаковое имя "Ленин". "Пусть видит око, да зуб неймет"—так приблизительно думал я, сочиняя письмо. Кстати, всем нам, русским государственным, за годы перестройки за наши действия и слова 60—80-х годов все косточки перемяли. А моего письма всерьез

289

никто не коснулся. Лишь Аксенов один глухо, сквозь зубы упомянул о нем в "Огоньке" конца восьмидесятых, как о "политическом доносе", и молчок. Хотя борьба со мной, как с главным редактором "Нашего современника", велась на полное уничтожение. Ничем не брезговали. Подробно клеветали в прессе и по телевизору, что я чемоданы барахла из Америки привез, что был пойман рыбнадзором за "ловлю семги сетями на северной реке", что на какой-то тусовке хватал за груди Галину Волчек, что по происхождению я "татарский еврей" и т. д. Словом, все было мобилизовано. А о письме в ЦК, казалось бы, о главной улике — молчок. Значит, понимали, что этого касаться им невыгодно.

Конечно же (к чему лукавить!), мне не было дела до того, что печатают в "Метрополе" Белла Ахмадулина или Инна Лисянская, Арканов или Розовский, а тем более Попов с Ерофеевым. Но я решил, воспользовавшись их авантурным ходом, нарушившим правила игры и, возможно, задуманным ими как реванш за дискуссию "Классика и мы", ударить по высшим идеологическим чиновникам ЦК, которых вольно или невольно подставили их любимчики. Я рисковал, но надеялся: а вдруг мне на этот раз все-таки удастся раздвинуть границы нашей "культурной резервации", жизнью которой руководили Зимянин и Шауро, Беляев и Севрук, во имя наших русских национальных интересов? Конечно же, мое письмо было крупным актом борьбы за позиции в русско-еврейской борьбе. Сделав хотя бы часть этой борьбы гласной, я рассчитывал ошеломить недостижимых чиновников из ЦК, помочь нашему общему русскому делу в борьбе за влияние на их мозги, на их решения, на их политику. Я прекрасно сознавал, что в моем письме наряду с неопровержимыми фактами и исторической правдой были элементы рискованной политической игры, но я знал, с кем имею дело, и знал, что разговор именно на этом языке для людей такого рода, как Михаил Зимянин или Альберт Беляев, будет понятнее, чем на любом другом. Я хотел развить некоторый успех, которого год тому назад мы достигли на дискуссии "Классика и мы". А главное, я решил воспользоваться приемом наших врагов: сделать это письмо достоянием Самиздата, пустить его по рукам. А иначе они бы объявили его "доносом", "кагэбэшной акцией" и т. д. Никаких забот о личной карьере в голове у меня не было. Зачем она мне? Я любил свободу и жизнь поэта и вольного художника.

Вот несколько основных положений этого письма.

"В альманахе "Метрополь", кроме открытых антисоветчиков, диссидентов и полудиссидентов, выступили

290

весьма известные советские писатели — Аксенов, Искандер, Битов, Вознесенский, Ахмадулина, Липкин, Лисянская, Арканов, Розовский... Зададимся вопросом: а чем же вызвано их участие в альманахе, их, чьи книги издаются и переиздаются, чьи имена не обделены вниманием критики, кому предоставляются для выступлений самые громадные залы. Кто чаще других говорит, якобы от имени советской литературы, в зарубежных аудиториях".

"Семен Липкин опубликовал в "Метрополе" стихотворение "В пустыне", об очередном еврейском исходе.

*Идем туда, где мы когда-то были,
чтоб наши праотеческие были
преображали правнуки в мечты.
Нам кажется, что мы на месте бродим,
однако земли новые находим,
не думая достичь меты.*

Не думаю, чтобы удел "исхода" и смены родины соответствовал сущности советского патриотизма. Однако удивляться нечему, все логично, потому что Липкин еще десять лет назад опубликовал в советской прессе стихотворение "Союз И". Я хорошо помню его главный рефрен: "Человечество быть не сумеет без народа по имени "и"... Приведу выдержку из инструкции Министерства просвещения Израиля: "Педагогический секретариат. Отдел основного общественного воспитания: "Евреи в Советском Союзе и мы " (материал для общественного часа).

Вопрос: Что олицетворяет чувство принадлежности к еврейству? Ответ: Сборы у синагог... слушание передач "Голос Сиона" в диаспоре. Призыв к протестам, письмам... Урок заканчивается декламацией "Союза И. С. Липкина на иврите..."

Когда в конце прошлого года я выступал на вечере поэзии в Государственном музее Маяковского, мне пришло в форме записок от учителей средних школ несколько вопросов, среди них были и такие: "В свою прошлую поездку по Соединенным Штатам поэт А. Вознесенский с успехом выступал в организациях американской сионистской молодежи, за что даже получил звание почетного гражданина Лос-Анжелеса. Считаете ли вы этически возможным для советского поэта выступления в подобных аудиториях ". Андрей Вознесенский не раз декларировал суть искусства, независимую от отечества. В стихотворении "Васильки Шагала" он прямо пишет: "Родины разны, но небо едино. Небом единым жив

291

человек". В этом же стихотворении, обращаясь к Шагалу, Вознесенский, весьма двусмысленно играя словами, призывает художника: "Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет..." И словно бы услышав этот призыв, Шагал нарисовал "непобедимо синий завет " —расписал кнессет — парламент в Тель-Авиве.

Одним из авторов альманаха "Метрополь " является стихотворец Генрих Сапгир. Стихи его в начале шестидесятых годов широко были представлены в разного рода диссидентских "синтаксисах ", потом — и до сих пор — он регулярно печатался и печатается на Западе в откровенно антисоветских изданиях. А у нас этот литератор благополучно издает книги для детей в издательстве "Детская литература " и является одним из составителей "Букваря ", изданного миллионными тиражами, "Букваря ", уникального в том смысле, что в нем есть немало стихов Сатира и впервые в истории нашего школьного дела нет стихов Александра Пушкина. А ведь до войны были! Как же можно такому человеку доверять дело, с которого начинается познание родины и родной русской литературы!

Надо сказать, что за последнее время вообще немало исторических, литературоведческих и филологических изысканий выходит в свет с идеями, родными и близкими сионизму в самом широком смысле слова. Печально известны в этом смысле исторические "исследования " поэта Олжаса Сулейменова, с его постоянным определением еврейского народа, как "главного народа"... Это ли не льет воду на мельницу тех, кто говорит о мессианской роли

Израиля в судьбах человечества! Надо сказать, что Сулейменов последователен в пропаганде аналогичных взглядов. В одной книге его стихотворений есть поэма "От января до апреля", вроде бы о Ленине, хотя большая часть ее посвящена страданиям еврейского народа, несмотря на то, что в последние десятилетия после того, как сионизм показал свои зубы, разговор об этих страданиях становится бестактным по отношению к народу Палестины. Повествование ведется Сулейменовым на таком примитивном "литературно-историческом" уровне:

*Евреи злые, евреи знали,
что не евреи Христа распяли!
Скрывали хитрые, всё принимали,
всё понимая, миру давали
взамен Христа других богов,
а им за тех богов — Голгофу!*

292

Не буду говорить об этой поэме подробно — в ней много политически наивного и поэтически беспомощного, процитирую только отрывок, в котором речь идет о Ленине. Вот каким изображает Ленина Сулейменов:

*Его таким нарисовал Андреев —
его один бы бог не сотворил.
Арийцы принимали за еврея
его, когда с трибуны говорил.
Он знал, он видел, оставляя нас,
что мир курчавится, картавит и смуглеет(?)*

(Это что—мир становится семитским, что ли? — Ст. К.)

*Мир был совсем иным в последний час,
в последний час
короткой жизни Ленина.
Приходится порой простые мысли
доказывать всерьез, как теоремы.
Он, гладкое поглаживая темя,
смеется хитро, щуря глаз калмыцкий.
Разрез косой ему прибавил зренья,
он видел человечество евреев...*

Изобразить Ленина в образе вождя, поддерживающего сионистские идеи о "человечестве евреев" — это уж слишком! Нет, не таков был он, страстный борец против Бунда и всякого национализма, в том числе и еврейского, сторонник естественной исторической ассимиляции евреев в тех народах, где они живут.

В 1977 году в большой серии "Библиотеки поэта" — популярном издании вышла книга стихотворений Эренбурга. Эренбург — поэт сложный. Много раз менявший свои убеждения и написавший за свою долгую жизнь много всего разного. Не всё из того, что он написал, конечно, заслуживает переиздания. Особенно стихи, продиктованные поэту его сионистскими иллюзиями и убеждениями. Так зачем же в таком случае составителю Б. Сарнову надо было включать в книгу, а издательству издавать следующее стихотвореньё Эренбурга, написанное в 1922 г.?

*Когда замолкнет суесловье,
В босые тихие часы,
Ты подыми у изголовья
Свои библейские весы.*

*Запомни только, сын Давидов,
Филистимлян я не прощу.
Скорей свои цимбалы выдам,
Но не разящую пращу.*

293

*Ты стой и мерь глухие смеси,
Учи неистовству, пока
Не обозначит равновесья
Твоя державная рука...*

Стихи, полные сионистской фразеологии, сознания избранничества, гордыни и религиозного национализма, настолько близкого шовинизму, что их вполне можно, допустим, рекомендовать для чтения в частях нынешней израильской армии, "сыновей Давида", которые "учатся неистовству"!

А давайте заглянем в сборник "Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников", изданный Советским писателем в 1973 г. и щедро нафаршированный всякого рода размышлениями об "избранничестве". "Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актерская жизнь воображения, "интеллектуальное пиришество" фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно стали "управителями", "победителями", владельцами шестой части земли... Эдуард Багрицкий принадлежал к поколению и классу победителей" (А. Адалис). Странно, что классом победителей здесь названы нерабочие и крестьяне — а фармацевты и маклеры!

В этой же книге есть воспоминания Бабеля, в которых говорится следующее:

"Я ловлю себя на мысли, что рай будущего, коммунистический рай будет состоять из одесситов, похожих на Багрицкого. Из верных, умных, веселых товарищей, лишенных корысти. Какими легкими соседями будем мы тогда окружены, как неумотворна и плодотворна будет жизнь".

Неважно, что все эти весьма тенденциозные рассуждения написаны в тридцатые годы, — важно, что они переизданы в семидесятые, что это кому-то было нужно — рассуждения о "коммунистическом рае из одесситов" и о победе на шестой части земли "маклеров и фармацевтов". Нельзя в наше время в новых исторических условиях вытаскивать на свет эти уже обветшавшие идеи, так же, пожалуй, как нецелесообразно уже автоматически перепечатывать кое-что в книгах самого Багрицкого, отдавшего при всей своей революционности и таланте щедрую дань сионистским заблуждениям. Разве можно сейчас читать без недоумения следующие, допустим, строфы из поэмы "Февраль"?

*Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа...*

294

*Я много бы дал, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой седой стиралью
Спадают пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной,
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками.*

Не бескорыстной интернациональной радостью — за первые демократические победы революции, а хмельной националистической гордыней обуреваем герой этой поэмы, проповедующей насилие и буржуазный

истерический анархизм.

Поэму Багрицкого напечатали за полвека миллионными тиражами! Так оке как и его стихи, оправдывающие любой террор и в корне противоречащие гуманистической традиции русской классики: "Оглянешься — а кругом враги, руку протянешь — и нет друзей, но если век скажет: солги!—солги. Но если век скажет: убей! — убей".

Кстати, я написал статью об идейной борьбе в поэзии двадцатых годов, где поднимаю все вышеизложенные проблемы, — и вот уже несколько лет не могу ее опубликовать, так же как не могу опубликовать антиссионистские стихи, написанные после поездок на съезд писателей Палестины, в Ирак и в Египет".

"Да что говорить о нашей прессе, о наших издательствах, о наших статьях и стихах! Достоевского полного собрания сочинений издать не можем — дошли до семнадцатого тома несколько лет тому назад и остановились в недоумении перед "Дневником писателя", в котором гениальный Достоевский уже фактически сто лет тому назад разглядел цели и суть тогда еще нарождающегося сионизма и писал, глубоко проникая в тайну его могущества: "А безжалостность к низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатого бедным, — о, конечно, всё это было и прежде и всегда, но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало быть, не даром оке все-таки царят там повсеместно евреи на биржах, не даром они движут капиталами, не даром оке они властители кредита и не даром, повторю это, они оке и властители всей международной политики "...

"Издание собрания сочинений задержано, и нет особенной надежды, что возобновится, если принимать в расчет нашу уступчивость по отношению к сионизму в области литературы. А о собрании сочинений Блока — я уж и не

295

говорю. Все предыдущие собрания выходили с купюрами, там где Блок касался проблем еврейства и русофобства — купюр этих около полусотни. Совершенно уверен в том, что собрание сочинений, готовящееся к столетнему юбилею Блока, появится в том же обрезанном виде. А что же появляется у нас в необрезанном виде? Размышления Гейне, работающие на идею мессианства, на прославление "избранного" народа, на националистическое высокомерие. Вот несколько мыслей из Собрания сочинений (М., 1959 г.).

"Еврейство — Аристократия, единый бог сотворил мир и правит им, все люди — его дети, но евреи — его любимцы и их страна — его избранный удел. Он монарх, евреи его дворянство и Палестина экзархат божий".

Или: "Мне думается, если бы евреев не стало и если бы кто-нибудь узнал, что где-то находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку...". Или: "...В конце концов Израиль будет вознагражден за свои жертвы признанием во всем мире, славою и величием"... Что это такое— как не националистически религиозные заблуждения, издавая которые громадным тиражом без комментариев, мы фактически работаем на сионизм, проповедуемый устами Гейне—крупного поэта вообще, но в данном случае маленького обывателя, находящегося в шорах иудаизма. Издание классиков— тоже политика. Но почему в результате этой политики почти расистские откровения Гейне мы популяризируем, а пронциательные размышления Достоевского по этому поводу (мирового классика покрупнее, чем Гейне), которые работали бы в борьбе с сионизмом на нас, а не против нас, мы держим под спудом... Почему?

О многом еще можно было бы написать: о русофобстве, как о форме сионизма — примеров более чем достаточно, о том, что в самые сложные и трудные, казалось бы, капиталистические страны чаще всего наш Союз

писателей посылает людей, кокетничающих с диссидентством, что и подтвердилось фактом появления "Метрополя", о том, что эти люди заботятся не столько о пропаганде советской литературы — сколько о собственной рекламе, о собственных изданиях, о собственной популярности, а за всё это приходится платить уступками в самом главном — в сознании своего патриотического долга перед родиной.

Ст. Куняев, февраль 1979 г."

296

Надо сказать (о чем никто не знает), что это было уже второе мое письмо. Первое, более краткое и более мягкое, я сначала послал на имя Сулова. Но, прождав месяца два ответа и ничего не дождавшись, понял: цековские лицемеры ничего не ответят мне, сделают вид, что ничего не получали, подумают, что я сдался и больше не буду "поднимать волну"... Ах, так?! Нет, не на того напали! И я написал второй, окончательный, расширенный вариант и продумал, как сделать, чтобы письмо не кануло в небытие в глухих цековских архивах. Суловское ведомство не хочет отвечать мне — напишу на конверте просто "в ЦК КПСС", а что делать дальше — придумаю...

...Как сейчас помню: подъехал я к экспедиции ЦК КПСС в переулок возле Старой площади, постоял немножко, собираясь с духом, понимая, что как только девушка в приемном окошке возьмет у меня конверт, то корабли будут сожжены, Непрядва перейдена, и для меня начнется неведомая жизнь с неведомыми последствиями... Но вспомнил еще раз погибшего недавно моего друга Эрнста Портнягина, еще раз подумал: "а вдруг и со мной какой-нибудь несчастный случай!" — и... протянул письмо в окошко.

В этот же день мы вместе с Вячеславом Шугаевым уехали на электричке в Загорск, чтобы поискать в окрестных деревнях крестьянские дома, которые мы хотели каким-нибудь образом купить, чтобы жить рядом и обладать хоть какой-то долей независимости от опостылевшей нам обоим московской жизни. По дороге я читал ему второй экземпляр письма, мы выходили в заиндевевший тамбур, курили, мечтали, спорили, думали о последствиях моего шага, который он одобрял, но боялся, как бы со мной не расправились по-настоящему (Шугаев обмолвился, кстати, что он тоже пишет размышления на те же темы и называться они будут "Глазами голя"). Впрочем, за несколько дней до окончательного своего решения я уже предпринял кое-какие меры безопасности. Во-первых, я посетил нескольких директоров издательств, на книги которых ссылался в письме. Каждому из них я вручил по экземпляру письма. "Пусть знают — все буду делать гласно и открыто, это единственный путь, чтобы не попасть на Лубянку", — так думал я.

Помню весьма любопытное посещение председателя Российского Комитета по делам издательств Николая Васильевича Свиридова. Просидев битый час в его приемной, я все-таки дождался приема и, когда секретарша сказала мне: "Николай Васильевич ждет вас", вошел в кабинет и вместо того, чтобы попросить министра о включении в планы какой-

297

нибудь своей книги (что делали 99 из 100 посещавших его писателей), протянул ему письмо на 12 страницах и попросил прочитать при мне.

Надо было видеть испуг и смятение этого хорошего русского человека, прошедшего войну, награжденного орденами, участника Парада Победы. Когда он, прочитав письмо, после минуты молчания поднял глаза, в них была сплошная мука. Взгляд его говорил: "Ну зачем мне это знать! Зачем ты ко мне пришел! Я же тебя совсем не знаю. А вдруг ты — провокатор!" После долгого, становившегося просто неприличным, молчания министр выдал из себя только одну фразу: "Да, с сионизмом надо бороться..." Я поблагодарил его, вышел из кабинета,

убедившись, что у людей этого уровня поддержки не найти, что они боятся, а от страха смогут и осудить и предать... И лишь после этой мысли я понял: правильно сделал, оформив свое сочинение как письмо члена партии в родной Центральный Комитет, пусть все выглядит как моя забота о судьбе культуры, идеологии и государства, чтобы не "сгореть дотла", пусть оно выглядит официальным документом, а не как нелегальная листовка, пусть лучше меня проработают в ведомстве Зимянина, а не Андропова. А пока прорабатывают — пусть письмо расходуется по руслам и ручейкам патриотического Самиздата. Я уже знал, что в отличие от диссидентско-западного существовал и Самиздат такого рода.

В эти дни вдруг ко мне, секретарю московской писательской организации, зашел наш куратор из Комитета госбезопасности, он и раньше заглядывал в организацию, чаще к первому ее секретарю Феликсу Кузнецову или к Юрию Верченко, иногда заходил и к нам, рабочим секретарям, для того, чтобы выяснить настроения, узнать, кто что натворил, кто собирается уезжать. По многим признакам можно было понять, что это человек русский, государственный, не чуждый патриотических мыслей и чувств. Я, в частности, вспоминаю, как за год-полтора до моего письма, когда гроза нависла над Сергеем Семановым, тогда главным редактором журнала "Человек и закон", за хранение в служебных столах какой-то патриотической эмигрантской литературы, этот сотрудник как бы случайно на ходу встретился со мной и попросил передать Семанову, чтобы тот предпринял все возможные меры для своей защиты.

А в эту нашу встречу перед своим окончательным решением о передаче письма в ЦК я прямо спросил его — правильно ли я поступаю.

— Сколько экземпляров Вы уже раздали? — спросил он.

298

— Пять, — ответил я.

— Запомните: нельзя, чтобы было больше восьми. Это как бы для служебного пользования. А если копий будет больше восьми, то по нашим инструкциям Вы будете обвинены в распространении... Это уже другая статья, куда более опасная.

Я спросил его:

— Где будут со мной разговаривать после того, как письмо будет отправлено — в ЦК или КГБ?

— Видимо, в ЦК. Но если Вас будут вызывать на Лубянку, я постараюсь, чтобы Вы попали в русские, а не еврейские руки. (В октябре 1993 года я встретил этого человека в окруженном омовцами Верховном Совете. Он был одним из организаторов обороны.)

Мой начальник Феликс Кузнецов ничего не знал о моих коварных планах. Во-первых, поскольку я ему ничего не сказал, чтобы не подставлять его. А во-вторых, я понимал: покажу — он сделает все, чтобы я не отсылал письма, запретит. Срочно уйдет за границу. Что-нибудь пообещает, в чем я нуждаюсь. Соблазнит... В-третьих, все время, пока я работал с ним, меня точила мысль о том, что несколько абзацев из его статьи "Советская литература и духовные ценности", опубликованной в ноябрьском номере журнала "Нации и религии" за 1972 год, чуть ли не буквально были повторены в знаменитом русофобском сочинении А. Н. Яковлева "Против антиисторизма", появившемся в свет буквально в те же самые дни. Не хотелось думать, что Феликс участвовал в создании яковлевского документа, но "все же, все же, все же..." Нет, всю ответственность я должен взять на себя одного. Одному — легче...

Официальный гром грянуть не замедлил: такое неожиданное толкование и такое несанкционированное обсуждение "Метрополя" крайне раздражило чиновников из ЦК. К тому же вслед за моим письмом в русском Самиздате стало гулять по рукам письмо некоего Василия Рязанова (конечно, это был псевдоним), в котором автор пошел много дальше меня: *"Это происходит потому, — писал*

Рязанов, — что в аппарате ЦК КПСС существует могущественное сионистское лобби, покрывающее неблаговидную деятельность антисоветской агентуры и не позволяющее ее пресекать под тем благовидным предлогом, что это, дескать, вызовет обвинение в антисемитизме, отрицательную реакцию "мирового общественного мнения" и нанесет ущерб разрядке... Можно назвать и конкретных лиц в аппарате ЦК, прикрывающих деятельность сионистско-диссидентских групп, это прежде всего Севрук Владимир Николаевич, зам. зав. отделом

299

пропаганды ЦК, и Беляев Альберт Андреевич, зам. зав. отделом культуры... Чехословацкие события не должны повториться в нашей стране".

Письмо Рязанова пошло по рукам, стало широко известным, и этой "нелегалщины" наши цековские покровители вынести не смогли. Но они сделали паузу в два месяца, ожидая, видимо, откликнутся ли на мое письмо крупнейшие литературные вожди так называемой "русской партии" — Леонид Леонов, Анатолий Софронов, Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Владимир Чивилихин, Сергей Викулов, Анатолий Иванов, Петр Проскурин, Егор Исаев... Но из них не откликнулся никто.

Прочное литературное и общественное положение, менталитет патриотических генералов от литературы, сознание своего влияния и благополучия, опасение потерять немалые материальные возможности, просто житейская и человеческая осторожность, видимо, не позволили им открыто поддержать меня. Думаю, что когда во время перестройки их творчество, их имена, их репутации были безжалостно осмеяны и оболганы, многие из них пожалели о том, что в свое время не помогли мне. Как и мой прямой начальник Феликс Кузнецов, который сказал мне в те дни историческую, врезающуюся в мою память фразу: "Ты, Стасик, нарушил законы ролевого поведения, и за это придется заплатить". "Ролевого" — от слова "роль". Но я не играл. Это была борьба за жизнь, это было отчаянным шагом, поскольку я предчувствовал, что ежели мы не выиграем сражение сейчас, в выгодных для нас условиях, то впереди нас ждут худшие времена.

В литературно-идеологической жизни 60—70-х годов для характеристики скрытного русско-еврейского противостояния бытовал термин "групповщина". Так сложилось, что с одной стороны ее возглавляли "официально правые", с другой — "официально левые". Официально правыми считались, к примеру, Александр Прокофьев, Егор Исаев, Анатолий Иванов, Всеволод Кочетов, Анатолий Софронов, Николай Грибачев, Михаил Алексеев. Лагерь официально левых возглавляли Константин Симонов, Даниил Гранин, Александр Чаковский, Валентин Катаев, Борис Полевой, Андрей Дементьев...

Попасть в обойму "официальных" было почетно и денежно—гарантированные издания, премии, заграничные командировки, квартиры. Их не клевали, за редчайшими исключениями, критика, они были неприкасаемыми авторитетами, давшими

300

обязательство за все эти блага обеспечивать идеологическое равновесие в литературе. С годами к лагерю официально правых потянулись Владимир Фирсов, Валентин Сорокин, Владимир Чивилихин, а официально левые укрепили свои ряды именами Евтушенко, Вознесенского, Коротича.

Мы ясно ощущали и понимали такое положение дел, демонстративно сторонились официально левых, брезговали ими и не раз публично высказывали свое отношение к ним.

Официально правые были нам ближе — все-таки свои, русские! Но сближаться с ними окончательно означало потерять независимость своих оценок,

подчиниться своеобразной групповой дисциплине, и мы не желали этого.

Кто мы? Юрий Селезнев, Вадим Кожин, Анатолий Передреев, Петр Палиевский, Сергей Семанов, Анатолий Ланшиков, Михаил Лобанов... Объективный ход событий все больше и больше сближал нас с Беловым, Распутиным, с Юрием Кузнецовым.

Верхушку официально правых не случайно совершенно не тронула скандальная статья А. Яковлева "Против антиисторизма". Она была скорее направлена против "второго эшелона" русских писателей, то есть против нас. Грозным предупреждением для правых стали дела "русских националистов" Бородина — Огурцова и Осипова. Этими делами власть как бы поставила предел нам: эту границу переходить нельзя! Левым же граница их идеологических поисков была поставлена высылкой за границу Иосифа Бродского и процессом Даниэля и Синявского...

Помню, как по окончании одного из писательских съездов, во время банкета заведующий отделом культуры ЦК КПСС Василий Филимонович Шауро—худой, высокий, седоволосый старик, демонстрируя "единство партии и народа", пошел вдоль ряда столов, уставленных водкой и закусками. Писатели отмечали в Кремлевском Дворце окончание съезда. Он шел молча с бокалом в руках, кивками головы поздравлял писателей с успешным окончанием работы, прихлебывая время от времени из бокала за их здоровье, но не говоря никому ни слова, словно бы оправдывая прозвище, которое укрепилось за ним: "великий немой". И вдруг ни с того ни с сего остановился возле меня и Бориса Романова. Мы встали, чтобы чокнуться, и "великой немой" вдруг заговорил, обращаясь ко мне, но так, чтобы слышали все остальные:

— Политика партии в том, чтобы в разумных пределах поддерживать все группировки писателей. Мы не можем выделять особо ни одну из них. Качели не могут качаться в

301

одну сторону. Выдержать равновесие — вот наша задача с вами. За это и выпьем...

Мы выпили, и он пошел дальше, продолжая молчаливый обход писательских рядов.

Впрочем, интересы еврейского лобби в 60—80-е годы, к сожалению, обслуживала и целая прослойка функционеров-литераторов русского происхождения: Анатолий Ананьев, Вадим Кожевников, Сергей Наровчатов, Сергей Баруздин, Михаил Колосов, Савва Дангулов — главные редакторы крупнейших литературных изданий, видные чиновники. Скорее всего потому, что благодаря поддержке или в лучшем случае лояльности еврейских кругов можно было рассчитывать на то, что ЦК утвердит тебя на каком-либо значительном посту. А сколько было именитых литераторов, посвятивших свои перья службе этой касты! На сем славном поприще рьяно подвизались и нынешний академик-литературовед Петр Николаев, с лекцией которого в МГУ мы сбегали по причине их непроходимой бездарности и скуки, и другой академик Дмитрий Лихачев, и членкор Вас. Вас. Новиков, и редактор сегодняшнего "Знамени" Сергей Чупринин, да и цэкушник Альберт Беляев тоже ведь был писателем. Что говорить, если это "русское крыло" возглавлялось Георгием Марковым и Сергеем Михалковым, вскормившим целое войско "классиков детской литературы" — и ее критиков и никому не нужных исследователей. Но ничто не проходит бесследно. Как правило, русские люди, пошедшие в службу к еврейскому лобби, были или совершенно бесталанными литераторами, или очень быстро (Наровчатов, Михалков, Дудин, Луконин), истратив все свои способности в молодые годы, во вторую половину жизни становились всего лишь навсегда высокопоставленными представителями обслуживающего персонала, которых в душе презирали и

настоящие русские и умные евреи.

Да, эти шабесгой были при постах, при креслах, при лауреатских венках, заседали во всех президиумах. Но сущность такого рода высокопоставленных слуг еще в начале века очень точно определил Василий Васильевич Розанов:

"С евреями ведя дела, чувствуешь, что все "идет по маслу", все стало "на масло", и идет "ходко" и "легко", в высшей степени "приятно". (...) Едва вы начали "тереться" около него, и он "маслится" около вас. И все было бы хорошо, если бы не замечали (если успели вовремя), что все "по маслу" течет к нему, дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда наконец вы хотите остаться "в себе" и "один", остаться "без масла", — вы видите, что все уже вобрало в себя масло, все

302

унесло из вас и от вас, и вы в сущности высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо. Вы чувствуете себя бесталанным, обездушенным, одиноким и брошенным. С ужасом вы восстанавливаете связь с "маслом" и евреем, — и он охотно дает вам ее: досасывая остальное из вас — пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирно и повторяется везде — в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей с а м не только бесталанен, но — ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный: сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой — он пересасывает в себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без политической истории, без всякого чувства природы, без космогонии в себе, в сущности — безъяич-н ы й, он присасывается "пустым мешком себя" к вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренне и чистосердечно восхищен "удивительными сокровищами в вас", которых сам действительно не имеет: и начиная всему этому "имитировать", всему этому "подражать" — все искажает "пустым мешком в себе", своею космогоническою безъяич-н о с т ь ю и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию — поддельною поэзией, вашу философию — философической риторикой и пошлостью (...)

И так — везде.

И так — навечно".

(В. Розанов. "Опавшие листья". Ш короб. 21.11.1914.)

Беляевых, чуприниных, ананьевых, людей бесталанных, избравших такой путь — не жалко. Туда им и дорога. Жаль Виктора Астафьева, Михаила Ульянова, Андрея Битова, Владимира Соколова, Игоря Шкляревского, постепенно превращавшихся, говоря словами Розанова, в "высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо"... А еще хочется вспомнить слова Тараса Бульбы: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

Как это ни грустно признать, но не раз в нашей русской среде я сталкивался (даже в минуты роковых обстоятельств!) с равнодушием, апатией, трусливой осторожностью. Словом, "моя хата с краю". Помню, как в начале 80-х годов, когда андроповское КГБ начало охоту на русских националистов, внезапно был снят с должности главного редактора журнала "Человек и закон" мой товарищ Сергей Семанов. Его кабинет подвергся обыску, во время которого были найдены запрещенные книги и журналы...

303

Семанов остался без работы, без средств к существованию, без возможности каких-либо публикаций. Я знал, что в таких случаях делает еврейская общественность. Как она тайно и явно начинает защищать своих гонимых, составляет коллективные письма, собирает деньги на поддержку семьи и т. д. Я предложил друзьям Семанова воспользоваться тем же опытом. Первым, с кем я поделился своими соображениями, был старинный друг Семанова, один из

патриархов русского сопротивления Виктор Чалмаев. Но что вышло в итоге из моего плана, видно по письму, которое вскоре я был вынужден написать Виктору Чалмаеву.

"Виктор!

Ты мог спокойно отказаться от моего предложения помочь деньгами нашему другу — и я бы понял тебя: мало ли какие соображения — нет денег, не любишь ты его и т. д.

Ты мог бы сказать мне: Стасик, не стоит затевать это дружеское дело — вдруг узнают недоброжелатели, как бы нам не повредить тому, кому мы хотим помочь... И я бы тебя понял тоже. Но ты поступил совершенно непонятным образом. Согласившись участвовать в общем деле, стал на всех перекрестках разносить весть: что это задумал Куняев — собирать деньги по подписному листу, да ведь он окончательно погубит несчастного!

Несколько человек, повстречав меня, передали мне все это с ссылкой на тебя и отговаривая от всяческих действий.

В результате я понял, что вместо благородного дружеского дела получается сплошной позор и, конечно, от всего отказался. Но твои действия я понять не могу — как можно было, ответив согласием на мое предложение, вроде бы искренне заботясь о друге, тем не менее раззвонить обо всем на весь белый свет? Поставить меня в совершенно дурацкое положение? Ну да будет эта история мне наукой... Даже подписной лист ты выдумал — стыдись...

Станислав Куняев "

Вот почему мы проиграли нашу борьбу. Вернее, и поэтому тоже.

Правда, Василий Белов, которому я послал два своих "политических документа" — статью о Багрицком с просьбой помочь опубликовать в журнале "Север" и письмо в ЦК о "Метрополе", ответил мне умным и заботливым письмом:

304

"Дорогой Станислав!

Твоя статья превосходна, хотя, как я думаю, и не стоило на Багрицкого тратиться (у меня теория: мы сами воздаем честь и приподымаем всякую мразь, когда вступаем с нею в теоретический спор). Думаю, что Гусаров не опубликует эту статью — у него жена, по слухам, не русская.

Надо бы нажать на С. В. Викулова, пускай бы он собрал все свое небогатое мужество и напечатал. Это единственный шанс. Или напиши еще две таких по объему, чтобы получилась книжка. Теперь книжку легче пробить, чем журнальную публикацию.

Есть ли ответ на письмо? Не вздумай теперь горячиться или (упаси Боже) тянуть горькую. Я согласен с тобой во всем. Теперь, наверное, всем нам надо разделиться, чтобы объединиться. Надо сделать что-то такое, что сразу бы всех поставило на свои места и сразу бы стало ясно, кто есть кто. У нас вот приняли в СП графомана Хачатряна благодаря странной заинтересованности В. Астафьева.

Береги себя. Обнимаю. В. Белов. 12.10.79".

Вместе с письмом Василий Иванович прислал мне свою замечательную книгу "Лад". На титульном листе книги четким и стремительным беловским почерком было написано короткое стихотворение, которое чудесным образом выражало все мои чувства, тревоги и надежды тех дней:

*О, Родина, душа моя болит!
Она скорбит по вырубленным сечам,
По выкачанным недрам, по названиям
Засохших рек и выморочных сел.*

Болят душа... Как странен отголосок
Душевной боли — мой веселый смех
Среди друзей, среди живых и павших,
Сплоченных снова вражеским кольцом.

Тимониха.

В сущности из русских писателей ободрил меня в те дни лишь Василий Белов! На Анатолия Передреева, Вадима Кожина, Юрия Селезнева, Вячеслава Шугаева я и не рассчитывал: они были просто моими друзьями, с которыми власть могла совершенно не считаться. Я ходил в те дни на работу и чувствовал на себе настроенные взгляды людей, всегда радушно относившихся ко мне.

Осмысливая первые впечатления такого рода, я написал в те дни стихотворение и впоследствии посвятил его памяти

305

Юрия Селезнева, который, как Сергей Семанов или как я, был вскоре оставлен и даже предан в тяжелые для него минуты жизни многими друзьями:

Вызываю огонь на себя,
Потому что, уверен, друзья
Через час подойдут на подмогу,
Потому что, собираясь в дорогу,
Я об этом друзей попросил:
С адским пламенем трудно сражаться.
Вызываю друзей... Продержаться
До победы хватило бы сил.
Где друзья? Почему не спешат?
Неужели с похмелья лежат?
Сроки вышли, должны подойти...
Неужель заблудились в пути?
Плюнул. Выстоял. Дух закалил.
Затоптал адский пламень ногами...
Ну, маленько лицо опалил,
Словом, вышло "добро с кулаками".
Я иду, победитель огня,
Предвкушаю: дружина моя
От восторга и радости ахнет...
Но шарахнулась вдруг от меня,
Адским пламенем, шепчутся, пахнет!

Через два месяца после передачи письма я был приглашен "на ковер" в аппараты ЦК КПСС.

За час до визита мне позвонил мой знакомый из КГБ и попросил о свидании. Мы встретились минут за пятнадцать до того, как я вошел в ЦК, в сквере на Старой площади.

— Станислав Юрьевич, есть одна просьба. С Вами будут сегодня разговаривать Беляев с Севруком. Нам интересно все, что они скажут. Не возьмете ли Вы в свой портфель звукозаписывающее устройство? — Я внимательно поглядел в его честные голубые глаза и вежливо, но твердо отказался...

...В кабинете у Беляева кроме Севрука сидел Игорь Бугаев, секретарь Краснопресненского райкома партии, где я состоял на учете. За всю двух- или трехчасовую беседу он не произнес ни слова, время от времени делал какие-то записи. Я поглядел на него и понял: если беседа сложится для меня неблагоприятно— именно он будет исключать меня из партии.

Беляев сразу начал проработку.

— Письмо Ваше получено. Мы имеем поручение от Секретариата ЦК поговорить с Вами. Письмо, к сожалению, стало широко известным. Как Вы могли, не дождавшись ответа от ЦК, распространять его? Это — нарушение партийной дисциплины!

306

Я был готов к такому началу и спокойно, но твердо ответил, что ничего я не распространял, что копии письма я передал лишь директорам издательств, на книги которых ссылался, и председателю Государственного Комитета России по печати.

Но Беляев, у которого были сжаты желваки, а лицо покрыто красными пятнами, пронзил меня своими холодными голубыми глазами архангелогородского опричника:

— На основе Вашего письма сочинено еще одно, совершенно антипартийное и антисоветское, некоего Рязанова!

— Нет, не на основе моего письма, а по его поводу, — отпарировал я.

— Но как Вы смели обвинить Центральный Комитет в бездействии?! — сорвался на фальцет Беляев. — Мы издали антиссионистские книги Юрия Колесникова, Цезаря Солодаря, Льва Кулешова... В зарубежных поездках против сионизма выступали Чаковский, Кожевников, Юлиан Семенов...

В разговор с какими-то бумажками в руках вступил второй, "добрый следователь" — Владимир Севрук:

— Стихотворение о народе по имени "И" Семена Липкина осуждено нами, редактор, пропустивший его, уволен с работы. То, что в букваре нет стихов Пушкина, а есть стихи Сапгира — это безобразие, но вот мы издали новый букварь, — Севрук показал его мне, — где есть стихи и Михалкова, и Пушкина. А что касается Гейне — то я против подобных его рассуждений...

Да, Вы правы в своем письме, у нас действительно нет русофильской партии, но нет и сионистской, как нет казахской националистической или узбекской...

Севрук запнулся, что-то рассматривая в своих записях, и это позволило мне еще раз перебить его:

— "Литературная газета" Чаковского только и знает, что бороться с так называемыми пережитками русского национализма. А Вознесенский в это время, выступая в Америке, клеветает на Шолохова: "Один роман украл — не смог украсть другой". А его "непобедимо синий завет" — что, неужели непонятно, о чем идет речь? А то, что его, да Евтушенко, да Аксенова постоянно приглашают за рубеж, куда они то и дело ездят на народные деньги — разве это нормально?..

Альберт Беляев понял, что здесь надо согласиться со мной:

— Да, практика поездок по вызову порочна, но Вам лишь кажется, что Вы боретесь с сионизмом, на самом деле Вы помогаете ему, провоцируя сионистов на агрессивные действия.

В это время раздался телефонный звонок. Беляев схватил трубку:

307

— Да, Михаил Васильевич, мы как раз беседуем с автором письма. Да, конечно, передадим, объясним, не беспокойтесь... Он положил трубку: — Вот и Михаил Васильевич Зимянин просит передать Вам: в Московской писательской организации столько евреев, что необходимо работать на консолидацию, а не на разъединение.

В разговор опять вступил вкрадчивый Севрук:

— Собрание сочинений Гейне, как Вы помните, было издано в хрущевские гнилые времена... Тогда же издали 9-й антисоветский том Бунина с его "Алешкой третьим" и книгу белогвардейца Шульгина выпустили, фильм о нем сделали, генерала Слашова провозгласили чуть ли не народным героем. А о Бунине — лютом антисоветчике — монографий тогда написали больше, чем о Фурманове!

...Я видел, что люди, с которыми я говорил, по должности своей, по партийно-государственному инстинкту, которому они обязаны были следовать, должны понимать меня. Но они явно не хотели этого, и двусмысленность положения крайне их раздражала... Роли их были распределены. Беляев в этой проработке, видимо, должен был давить на меня эмоционально: он повышал тон, пересыпал свою речь недвусмысленными угрозами, а роль Севрука была в том, чтобы доказать содержательную и даже фактическую несостоятельность моего письма.

— Вот Вы обвиняете Багрицкого в том, что он отрешился от местечкового быта, от еврейского ешиботства, но они и были рассадником сионизма.

Я быстро нашелся:

— Да, Вы правы, отказался, но ради чего? Ради еврейской власти над всей Россией!

— Багрицкий революционный поэт! — сорвался на крик Беляев.

— Да, но поэма "Февраль" и революционная и сионистская одновременно.

— Опять двадцать пять! — уже завизжал Беляев, не привыкший, чтобы с ним спорили в стенах его кабинета.

Альберт Беляев был одним из самых подлых и мерзких партийных чиновников, которых я видел на своем веку. Хотя бы потому, что он был чистокровным русским северной закваски, со светлыми, чуть рыжеватыми волосами и голубыми глазами, с послужным списком, в котором значилась служба на Северном флоте, с книжонкой рассказов об этой службе, за которую его приняли в Союз писателей... А душа у него была карьеристская и насквозь лакейская.

308

Помню, как однажды я встретил его в коридорах Союза писателей на Поварской. Мы знали друг друга, и я решил обратиться к нему с какой-то незначительной просьбой.

— Альберт Андреевич! Можно Вас на минуту? Беляев зло посмотрел на меня и на ходу бросил:

— У меня нет времени!

— Да я по поводу своей статьи в "Литературной газете"... Беляев вдруг перешел на мелкий бег, его ножки в

начищенных ботинках замелькали над ковровой дорожкой, и он почти завизжал в истерике:

— Вы что, не видите, что я спешу? Василий Филимонович Шауро меня в кабинете Маркова ждет! — И столько было в лице этого морячка страха перед начальственным гневом, так исказилось его лицо от моей невинной попытки задержать его на минуту, такое отсутствие собственного достоинства продемонстрировала вся его суетливая, мчащаяся по коридору фигура, что я оторопел...

А в конце 80-х, когда ему, учившему меня бороться с сионизмом на благо советской власти, за заслуги в деле ее разрушения дали пост главного редактора газеты "Советская культура", он, всю жизнь учивший нас партийности и социализму, сразу сделал газету и антисоветской, и антикоммунистической, и еврейской, и бульварной.

Забавное продолжение истории с моим письмом в ЦК последовало через несколько месяцев, когда летом я уехал на Рижское взморье поработать в писательском Доме творчества. Рядом со мной на этаже жил главный редактор "Литературной газеты" Александр Чаковский. Он курил сигары, и вонючий запах, выползавший из-под двери его номера, означал, что в эти часы Чаковский трудится над очередным томом очередной эпопеи.

Однажды мы с ним встретились в коридоре, и он неожиданно предложил мне:

— Станислав Юрьевич, зайдите ко мне, надо поговорить. Оказывается,

Чаковский, занимавший в идеологической

иерархии при Брежневе приблизительно то же место, что Эренбург при Сталине, захотел объясниться со мною по поводу моего письма. Расспросив меня о моем национальном и социальном происхождении, он задумался, раскурил свою сигару и, усевшись в кресло, начал свой монолог.

— Я по натуре своей чекист. Хорошо, что мы с Вами беседуем вот в такой мирной обстановке. А то ведь могло бы случиться, что разговор у нас с Вами сложился бы приблизительно так: вы, гражданин Куняев, наслушались западного

309
радио о близкой смерти Брежнева, решили спровоцировать, когда это произойдет, еврейские погромы, чтобы на этой волне сделать себе карьеру. Уведите арестованного! Вот Вы пишете в письме, что боретесь с сионизмом. А на самом деле настоящий борец с сионизмом — это я. Я уже в 16—17 лет ездил организовывать в Поволжье колхозы и сражался в Саратове с сионистами. Они тогда уже начали уезжать в землю обетованную, пока Сталин гайки не закрутил. Но я был против их отъезда, я хотел, чтобы евреи строили свою социалистическую родину... Станислав, Вы не отдаете себе отчета, сколько пришлось пережить и перестрадать евреям.

Дальше я цитирую наш разговор по записи из моего дневника от 23.8.1979 г.

"Чаковский: Когда началась война, Сталин увидел, что все интернациональные идеи, все разговоры о солидарности с германским рабочим классом и международным пролетариатом — фикция. Он решил сделать ставку на единственно реальную карту — на национальное чувство русского народа. Постепенно из армии убрали всех евреев — политруков, пропаганда наша всячески стала использовать имена русских полководцев, верхи стали заигрывать с церковью, а после победы Сталин произнес знаменитый тост за русский народ. Но расплатиться с русским народом за его жертвы было нечем, оставалось лишь одно — объявить его самым великим, самым талантливым. И в угоду этому началась кампания против космополитов, дело врачей, разгон еврейского комитета. Что было! Люди бежали из больницы, натягивали на себя одеяла, когда к ним подходили врачи-евреи. А когда наступил 56-й год и пошли всяческие реабилитации, то среди этих реабилитаций не были реабилитированы евреи, пострадавшие в антисемитских кампаниях. А теперь объясните какому-нибудь рядовому Хаиму, почему этого не произошло. Он живет с обидой в душе и на эту обиду очень легко ложится всяческая сионистская пропаганда, и Хаим подает заявление на выезд в Израиль...

— Александр Борисович! — возразил я ему. — Если говорить о всякого рода реабилитациях, давайте отвлечемся от узко еврейской точки зрения. Что такое "дело врачей" или борьба с космополитизмом по сравнению с трагедией раскулачивания? Пустяк, ерунда суцая, не имеющая значения для жизни народа.

Раскулачивание, Соловки, Нарым, Волго-Балт, лесоповалы — вот что потрясло Россию до основания, подточило ее здоровье и устойчивую хозяйственную мощь.

310

А кто руководил этими процессами?

Вы же сами сказали мне, что в шестнадцать с половиной лет Вы, сын богатого еврейского нэпмана, в своей самарской губернии создавали колхозы. Что Вы могли в этом возрасте знать о жизни, которая здесь складывалась столетиями и которую Вы нещадно ломали?

Почему Вы не говорите о том, что нужно было бы реабилитировать несправедливо сосланных на Севера, закопанных на Волго-Балте, сгнивших на Соловках?

Почему в том же 1956 году им, кто остался в живых, или их потомкам не

объявить, что они были сосланы или уничтожены несправедливо, чтобы не было пятна осуждения на этих людях или их потомках. Я отвечу почему.

Во-первых, потому, что их судьбы Вас не интересуют, Вас тревожит лишь обида Хаима, сын которого не смог поступить в Институт международных отношений, а поступил всего лишь навсегда в пушно-меховой или мясомолочный.

А во-вторых, потому что надо было обнародовать имена всех ответственных за эти деяния руководителей ГУЛАГов больших и малых, что, действительно, могло бы привести к погромам.

Чаковский переменялся в лице: — Ах вот как Вы ставите вопрос!..

Но во гневе сдержался, решив не продолжать разговор на эту тему, перешел на литературу.

— Станислав! Будьте центристом! Я ничего не понимаю в поэзии, я политик. В политике мало быть правым, надо убедить всех в своей правоте. Мне нравится Ваш "Карл Двенадцатый", острая мысль о парадоксе власти. Но все эти ручейки, травки, березовые рожи — на этом имени не сделаете.

Вот Вы пишете о Бунине — "тяжко без родины жить, а без души тяжелее". Сказано афористично, но нельзя забывать о том, что Бунин был большой сволочью. А что Вы пишете о каких-то "евреях в Пентагоне"? Их там нет, они есть в Конгрессе. Не возражайте мне, что это, мол, условно, символически, обобщенно, такие политические формулировки должны быть точными.

Спорили мы с ним целый вечер, и ушел я от него, сопровождаемый заверениями, что он-то и есть настоящий борец с сионизмом".

Вечером на прогулке ко мне подошел прозаик Елизар Мальцев, известный шабесгой из русских. Он, видимо, уже узнал о моем разговоре с Чаковским.

— Мне Вас жалко, Станислав, Вас больше куда не

311

выберут! И вообще я натерпелся от русских куда больше, чем от евреев. Евреи мне всегда помогали, а сам я из раскольников, из семейских, сейчас пишу историю своего рода.

Но все же при советском еврее-государственнике Александре Чаковском невозможно было представить себе потоки зловонной русофобии, в которой стала просто купаться "послечаковская" "Литературная газета", на чьих страницах русская история стала изображаться так:

"облачившись в державный зипун и затолкав под лавку прокисшие портянки, объявить русский дух самым духовитым во всей вселенной", "дыша перегаром, державник начинает неторопливо разматывать портянки, сладострастно ожидая моменты, когда можно будет закричать: "Наших бьют!", "Казенного патриотизма, усердно поливавшего великодержавным дезодорантом пропотевший зипун общества, Россия нахлебалась вдоволь", "И петровские, и сталинские методы индустриализации России оказались на поверку бамбуковыми суррогатами" и т. д. и т. п... (Л.Г., № 28, 1995 г.) Это — журналист Б. Туманов, всю жизнь проработавший за границей и всю жизнь, видимо, "сладострастно" лелеявший в своей душонке ненависть к России. А я-то по наивности 20 лет тому назад думал, что худшего русофоба, нежели А. Чаковский, у нас найти невозможно. Однако в скором времени после разговора с ним мне попала в руки западная газета, в которой бывший сотрудник "Литературки", уехавший в Америку, писал о своем главном редакторе и нравах "Литгазеты":

"В "Литгазете" еврей был главным редактором (Чаковский) и ответственным секретарем (Гиндельман), отдел экономики возглавлял еврей Павел Вельтман (он же Волин), отдел науки — еврей Ривин (он же Михайлов), отделом искусств руководил еврей Галантер (он же Галанов), даже самый крупный раздел русской литературы возглавлял еврей Миша Синельников.

Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям, и я не мог не

радоваться этому чуду. Что значил этот загадочный филосемитизм?

...то, что я попал в самую умную, самую демократичную и самую еврейскую газету в стране, в моих глазах искупало все".

(В. Перельман. "...И снова иллюзии". "Русская мысль", 14 ноября 1974 г.)

Вот вам и государственный антисемитизм 70-х годов... Да что говорить о семидесятых!

"Государственный антисемитизм в СССР, — пишет, к примеру, историк Борис Фрезинский в "Русской мысли" от

312

2 апреля 1997 года — как раз в пору 1948—1953 годов достиг накала, чреватого "окончательным решением еврейского вопроса".

В 1952 году я поступил на филологический факультет Московского университета.

Последний год царствования Иосифа Сталина. Но что бы ни говорили об этой эпохе нынешние продажные борзописцы — свидетельствую: наше школьное образование было таким, что мы — дети врачей, учителей, итээровцев, послевоенных вдов и матерей-одиночек, и даже крестьян-колхозников из провинциальных областных и районных городков и сел России, приехав в Москву, "замахнувшись" на лучшие вузы страны, без всякого блата, без мохнатых рук, без взяток на равных выдерживали состязание за право учиться на Моховой, в МВТУ, в МАИ, в Энергетическом и Медицинском с сыновьями партийных работников, дипломатов, генералов, словом, с любыми отпрысками столичной элиты. Вот какие знания получали мы в любых, самых отдаленных от Москвы уголках, вот какую универсальную и справедливую мощь таила в себе поистине народная, демократическая школьная система советской эпохи. Но воспоминания мои — о другом. Я смотрю на громадное казенное фото нашего выпускного курса 1957 года, где каждый из нас в овальной рамочке, над нами несколько фотопортретов наших лучших преподавателей, в центре ректор МГУ Петровский, — смотрю, читаю фамилии, вглядываюсь в молодые студенческие лица и понимаю, что не менее сорока студентов из двухсот двадцати, поступивших на первый курс филфака, были нашими советскими евреями. И это — в период между 1949-м и 1953 годами, между кампанией против космополитов и "делом врачей"!

Судя по сегодняшним стенаниям борщаговских и Рыбаковых, в те годы государственный антисемитизм якобы достиг такого накала, что легче было верблюду пролезть в игольное ушко, нежели бедному еврейскому отпрыску войти под своды главного храма науки... А тут почти двадцать процентов — еврейские юноши и девушки! Эх вы, летописцы, мемуаристы, лжесвидетели...

А если вспомнить о сталинских тридцатых годах, то не обойтись без объективного свидетельства Эммы Герштейн (не самой большой русофилки), которая несколько лет тому назад писала в "Новом мире":

"Моя мать, совершенно неприспособленная к грубости и жестокости советской жизни, все же благословляла ее за отсутствие антисемитизма..."

313

А где же, по наблюдениям Эммы Герштейн, в те годы гнезвился антисемитизм? Оказывается, в буржуазной "цивилизованной" Латвии!

"Придя к Лене, я застала у нее поэта Ваню Приблудного. С собой он привел писателя, сына известного экономиста М. И. Туган-Барановского. Он жил в буржуазной Латвии... рассказывал о своей жизни в Риге. Он был женат на еврейке. На взморье были разные пляжи — для евреев и христиан. Он шокировал родню своей жены, показываясь на еврейском участке, а она выглядела белой вороной на христианском. Туган рассказывал об этом смеясь, а мне казалось, что я слушаю какие-то сказки о доисторических временах".

Да, далеко было нашему советскому "государственному антисемитизму" до антисемитизма западного, гуманного, культурного!

Беда патриотов — идеологов русской партии, да и моя беда, заключалась в том, что мы в борьбе с агрессивным внутри-советским еврейством взяли на вооружение официальный термин "сионизм" и ничтоже сумняшеся употребляли его часто не к месту, искажая и запутывая смысл происходящих процессов. А надо было говорить просто о засилье еврейства, о еврейской воле к власти, о мощном групповом инстинкте этой касты, о ее влиянии на партийную верхушку. Мы же, опасаясь прямых репрессий, прикрывали свои взгляды формулировкой из официального идеологического арсенала и попадали в ложное положение, а партийные чиновники типа Беляева и Севрука ловко пользовались нашей непоследовательностью. Но и они тоже были обескуражены.

Сионизм считался официальным врагом советской системы, с ним надо было бороться. Я — тоже поставил их в ложное положение. Им очень не нравилось содержание моего письма, но это раздражение приходилось изливать по поводу форм его обнародования.

— Надо быть умнее сионистов, — поучал меня Беляев, — и не давать им поводов для провокаций. Вы же действуете точно так, как Солженицын: пишете письмо якобы в ЦК, а на самом деле пускаете его по рукам!

Опытные партийные функционеры сразу же разгадали наивный план моих действий, но тем не менее ничего серьезного сделать со мной не могли. Я защищался достаточно умело, да и в письме было много неоспоримых фактов, с которыми соглашался Севрук:

— Да, поэма Сулейменова о Ленине — плохая поэма,

— Говенная! — добавил Беляев.

314

— И стихи Вознесенского — тоже плохие стихи, — продолжал Севрук, — слабые...

— Говенные! — в сердцах повторил Беляев. Несмотря на драматичность сцены, я не мог удержаться от смеха, а Севрук, видимо, обязанный "отмазать" свой отдел пропаганды и доказать, как он борется с антисоветчиками, — неодобрительно глянув на меня, высыпал целую грудку фактов, свидетельствующих о его бдительности:

— Журнал "Аврора" опубликовал монархические стихи, — мы редактора журнала сняли, редакцию укрепили, мы сняли главного редактора журнала "Простор" в Казахстане за политически сомнительный детектив. Мы убрали с должности нескольких цензоров.

Он перечислял свои заслуги с такой интонацией, как будто перед ним сидел не я, а Суслов или Зимянин, из чего я заключил, что разговор со мной — своеобразная репетиция для разговора с высшим начальством о принятых мерах. Прорабатывая меня, они оба как бы искали материалы и формулировки для своего спасения и для своей защиты. Им было за что меня ненавидеть. Я понял это и даже пожалел их, сказав на прощанье примирительным тоном:

— Я не шовинист, Альберт Андреевич, я перевел несколько книг лучших наших поэтов из республик. Может быть, в моем письме и во всем, что получилось вокруг него, есть какие-то неточности и сомнительные моменты, но я ведь вижу, что по существу вы согласны со мной!

Беляев открыл рот, пораженный моей наглостью, но сообразив, видимо, что дискуссия затянулась и что начинать все сначала смешно, просверлил меня своими ледяными глазами, и мы распрощались...

Когда на другой день я встретился с Феликсом Кузнецовым, он, уже знавший о разговоре, коротко сказал мне:

— Ну, получил ответ на свое письмо?

- Получил.
- А теперь уходи, Стасик, в отпуск.
- А можно месяца на два?
- Ты шутишь? Уходи на полгода...

Я с облегчением вздохнул и поехал рыбачить на Север, к берегам холодного Белого моря. Эмигрировал — в Россию.

Перед отъездом меня по какому-то пустяковому поводу пригласил к себе опытнейший чиновник, руководитель всего нашего Союза писателей Георгий Мокеевич Марков и в конце разговора, как бы случайно вспомнив нечто из своей жизни, сказал;

315

— Меня, Станислав, в свое время пригласили работать в Союз писателей секретарем парткома. Я был молодой, горячий, ну, как ты. Приехал в Москву, познакомился с писательской жизнью и стал подымать в разговорах те же проблемы, что и ты сегодня. Тогда Федин меня вызвал и говорит; "Ты, Гоша, землю копать умеешь?" — "Умею". — "Так вот, возьми лопату, выкопай яму поглубже, свали в нее все свои еврейские вопросы и землей засыпь. И сверху камень привали, чтобы не вылезали". Вы поняли, Станислав, что я Вам хочу сказать?..

А чего еще тут было понимать? Все и так яснее ясного...

А с режиссером всей этой проработки, секретарем ЦК Михаилом Васильевичем Зимяниным лицом к лицу я столкнулся через несколько лет на очередном съезде российских писателей.

По окончании съезда в необъятном банкетном зале Кремля происходил традиционный прием. За моим столом сидел Юван Шесталов, мансийский поэт. Рангом поменьше Гамзатова и Кугультинова, но все же "живой классик". Человек, любящий выпить. Но то ли водки было мало, то ли братья-писатели пили энергично, но напиток за нашим столом быстро кончился... Шесталов вознегодовал: "Пойдем к столу почетного президиума (он стоял на некотором возвышении), у них водки навалом!" Удержать его не было возможности, и мы оба рванулись к столу, во главе которого сидел Зимянин. Очутившись прямо напротив него, Шесталов, поддерживаемый мной, в отчаянье закричал, простирая пустой фужер к Зимянину:

— Михаил Васильевич! У рядовых писателей водка кончилась.

Официанты, проглядевшие наш маневр, бросились к Ювану, один наливал ему водку в фужер, другой разворачивал от стола, а маленький Зимянин, поглядев на меня глубоко запавшими глазками, устало сказал:

— А — это опять вы! И когда научитесь отличать евреев от сионистов?

— Я только этим и занимаюсь в последние годы, — печально отшутился я и, повернувшись, пошел за счастливым Юваном Шесталовым.

Несколько лет спустя обычно осторожный и хорошо информированный Александр Борщаговский — вечный партийный функционер еврейского лобби — на партийном собрании вспомнил о моем письме в ЦК:

"Мы ведь люди с исторической памятью (мы тоже. — Ст. К.). Во вновь избранном секретариате есть по крайней мере два человека, против которых я возражал бы настойчиво и по праву, если бы состоялась партгруппа. Пока Станислав

316

Куняев не откажется публично от грязного, печально известного письма в ЦК, пока он не откажется от враждебной интернационализму позиции, которую он, к слову сказать, подтвердил в публичной дискуссии "Классика и мы", нельзя за него голосовать как за одного из руководителей организации. Мы выбираем руководителей, и человек, не доросший до идей интернационализма, духа

социализма, человек, который не затрудняясь вытрет ноги о стихи Багрицкого, не годится в секретари Союза..." (9.04.1986 г. Цитирую по стенограмме).

Борщаговский не рассчитал, что время идет быстро, и "дал петуха", ибо через два-три года еврейское советское писательское лобби сдаст Багрицкого, а по старости утративший политическое чутье Борщаговский чуть запоздает и лишь еще через пару лет "сошьет" столь дорогой для его сердца "дух социализма" в книге "Обвиняется кровь".

Много я натерпелся от всякого рода борщаговских в те годы. Не раз мою фамилию склоняли они со всех партийно-писательских трибун. Иногда напускали на меня тяжелую артиллерию — Вениамина Каверина и Маргариту Алигер, которые должны были выступать со мной на вечере памяти Заболоцкого, но заявили цедеэловскому начальнику тех лет Михаилу Шапиро, что если, мол, Куняев придет в президиум, то они сейчас же покинут его. А бывало, что герои Советского Союза шли в атаку — два летчика Марк Галлай и Генрих Гофман. Гофману, который только о том и думал, как бы ему выпить и закусить, кто-то подсунил мою книжечку "Свиток", где было такое стихотворение:

Любовь и дружба... Вечная вражда
двух равных сил терзает наши души.
Настал октябрь. Холодная звезда
взошла из мглы и отразилась в луже.

Обоим чувствам отдавая дань,
я жил и не просил у них пощады,
но обе силы преступали грань
так, что сжималось сердце от надсады.

Настал октябрь. Черемуховый куст
ронял листву, а память вспоминала,
как из соцветья самых светлых чувств
так много темных дел произрастало.

Сброндивший Гофман забегал по чиновничьим кабинетам, по цедеэловским столикам, доказывал всем встречным-поперечным, что это стихи против Октябрьской революции ("Настал октябрь", "Звезда... отразилась в луже", "Темные

317

дела")- Пришлось мне поговорить с его неглупым сыном Витей, чтобы он успокоил своего невежественного отца, невесть как ставшего членом Союза писателей.

А Константин Симонов, которого я однажды попросил по долгу службы, как рабочий секретарь московской писательской организации, чтобы он провел вечер поэзии в Лужниках, вдруг придал своему холеному лицу надменное выражение и отчеканил:

— Я с людьми, которые топчут поэзию Багрицкого, дела иметь не хочу! — и победоносно поглядел на двух руководителей ЦДЛ — Филиппова и Шапиро, взиравших на него с благоговением, как еврейские Бобчинский и Добчинский на Хлестакова. Я за словом в карман не полез и жестко отрезал:

— Баба с возу — кобыле легче!

Пошел в кабинет, позвонил Анатолию Софронову, и мы прекрасно провели вечер в Лужниках... Словом, и смех и слезы... А что мне было делать, если родная партия серьезно прислушивалась к тому, что говорят Борщаговский, Гофман, Симонов?

Да, тот же самый Симонов, который в марте 1953 года, вскоре после смерти

Сталина написал Никите Хрущеву письмо с предложением очистить Союз писателей от бездарных еврейских литераторов, пролезших в Союз благодаря связям, ничего талантливого не создающих и живущих за счет литфондовых пособий.

...Совсем недавно, в 1998 году, в Третьяковской галерее собрались все старые работники отдела культуры ЦК — вспомнить прошлое, выпить по рюмке за своего бывшего шефа, полюбопытствовать, кто как живет в новой жизни. Среди собравшихся был мой друг, ныне мой заместитель по журналу, а в прошлом работник отдела Геннадий Михайлович Гусев... Белорус Шауро, с малолетства росший, насколько мне известно, как приемный сын в местечковой еврейской семье, в одном из залов Третьяковки внезапно отозвал Гусева для конфиденциального разговора один на один и сказал ему:

— Передайте Сергею Викулову и Станиславу Куняеву, что в борьбе, которую они вели в семидесятые годы, были правы они, а не я. Очень сожалею об этом...

Я уже писал о том, что после моего письма многие осторожные мои коллеги стали меня сторониться. Иные по причине того, чтобы держаться подальше от еврейского вопроса. Недавно мой давний товарищ критик Л. Л. показал мне страницы своего дневника за 1979 год и напомнил об одной почти комической истории, которую я позабыл и невольными

318

участниками которой мы с Ним стали. Цитирую по дневниковой записи Л. Л. от 2.06.1979 г.

"Письмо Куняева я читал на заседании секции поэтов. Потом мы втроем — Жигулин, Куняев и я — вышли в фойе, чтобы поговорить о письме. В этот момент мимо проходил Вознесенский, неожиданно заулыбался и подошел к нам. Протянул руку мне и Жигулину. "А тебе, наверно, не надо подавать руки?" — "Я ее и не пожму", — ответил Станислав. Тут же состоялся обмен колкостями и прямыми обвинениями. Вознесенский попрекал "доносительством" и "карьеризмом", Станислав говорил о его "продажности" и "делячестве". Жигулин стоял вплотную к нам троим и внимательно слушал разговор. Когда же я обратился к нему: — Ну, а ты что скажешь? — то последовал ответ: — А я глуховат и не все расслышал, о чем они говорили. Минут же за десять до этого на заседании секции Жигулин шептал мне в ухо, чтобы я голосовал против одного юмориста, и прекрасно расслышал мой ответный шепот, что я не имею права участвовать в голосовании", и дальше из дневника того же Л. Л., у которого я вскоре побывал дома:

"Сломленный человек, — сказал о Жигулине Станислав без всякой злобы. Я понял, конечно, что за этими словами. Восемь лет ссылки не могут укрепить в человеке оптимизма и доверия к ближним. Говорили мы со Станиславом о русской интеллигенции. Тут он говорил немало дельного. Сказал, что его письмо в ЦК — эксперимент на себе: уволют или нет. И еще, дескать, хочется избавить русских интеллигентов от пессимизма — слишком много безнадежных настроений".

И это правда. Ибо я убедился, что в памяти русских людей особенно старшего поколения с 20-х — 30-х годов жил страх перед еврейством почти на генетическом уровне. Я помню, как в 70-е годы я приезжал к матери в Калугу. Двумя этажами выше нас жил первый секретарь обкома КПСС, член ЦК КПСС Андрей Андреевич Кандрёнков. Таких, как он, властных чиновников в России было чуть более сотни. И однако, он жил в одном подъезде с учителями, врачами, работниками железной дороги, пенсионерами. У него была лишь одна льгота — его квартира состояла из двух соединенных квартир, он с женой и дочкой занимал пять комнат общей площадью не более 100 квадратных метров. (Да в такой квартире сейчас ни один уважающий себя новый русский жулик жить не будет!)

Впрочем, была еще одна льгота. В подъезде постоянно стоял милиционер, что было положено каждому члену ЦК КПСС. Жители подъезда были довольны: милиционер заодно охранял

319

их всех. Я уже был известным поэтом и Кандрёнков время от времени приглашал меня по вечерам погулять по Калуге, поговорить. Мы выходили из подъезда, милиционер следовал за нами. Выходили со двора на улицу, и помню, как однажды, оглядевшись по сторонам, убедившись что вокруг нет случайных прохожих Кандрёнков вдруг приказал милиционеру отстать на несколько шагов и, видимо, наслышанный о моем письме в ЦК, шепотом вдруг спросил:

— Ну, как там евреи в Москве? Лютуют? — и такой страх прозвучал в этом вопросе бывшего крестьянина, ставшего одним из крупнейших партийных чиновников страны.

* * *

В брежневские годы, когда ради общественного государственного спокойствия шла нешуточная борьба с живой "раскачивающей лодку" мыслью, под негласным, но крепким гнетом цензуры, партийно-государственных правил и инструкций, творческие натуры, не выносящие этого давления, эмигрировали, но в разные стороны: кто за границу, кто в самого себя, кто в пьянство, кто в иронию... Но были и такие, кто "эмигрировал" в свою страну, в ее глубины, в ее почву, куда не доходило обжигающее жизнь дыхание власти. Впрочем, в истории России такое было не раз — Гоголь "эмигрировал в Россию", проездился по ней, записывая на листочках "Выбранные места из переписки с друзьями"; Достоевский в Оптину пустынь, в стихию "Братьев Карамазовых"; Андрей Платонов — в фантазмагорический мир "Котлована" и "Чевенгура".

Разные есть пути эмиграции для русского интеллигента, и определяются они запасом патриотизма в его душе.

Итак, в застойные времена я время от времени "эмигрировал", но не куда-нибудь, а в свою страну. Подружился с геологами и несколько сезонов прожил в работе на Тянь-Шанских горах и в долинах Гиссара, среди вечных льдов, альпийских лугов, громокипящих голубых рек, среди поднебесных, сверкающих голубыми молниями гроз, рычащих бурых селевых потоков, среди бедных, но гордых и трогательных в своем нищем гостеприимстве жителей высокогорных кишлаков и пастбищ, среди орущей, мускулистой, загорелой, не жалеющей себя ни в гульбе, ни в работе геологической, студенческой, шоферской вольницы... Либо месяцами я пропадал в эвенкийской тайге, добираясь туда через маленькие дощатые сибирские аэропорты на "аннушках", на вертолетах,

320

разглядывая сверху дикие просторы — сопки, усеянные редколесной тайгой, распадки, черные реки, медленными змеями впадающие в Нижнюю Тунгуску, на берегу которой стояло зимовье рядом с двумя березами и овальным калтусом, затянутым в октябре сверкающим льдом.

Меня встречал дед — Роман Иванович, два кобеля, Рыжий и Музгар, мы обнимались — от деда терпко пахло ондатровыми шкурами, рыбой, солью... Он тащил меня в зимовье, где на столе уже дымилась уха, поблескивали мороженые сижки и хариусы да еще что-то тускло светилось в зеленоватой бутылке, и начинались разговоры о соседях, о внуках, о тайге, о звере... Каждый день с утра мы бороздили тайгу по путикам и аргишам, задыхаясь от азарта, мчались на лыжах к далеким лиственницам, куда наши собаки загоняли соболя или белку. А в иные дни красными, словно вареные раки, руками проверяли сети, вытряхивали на лед золотистых карасей и снова опускали снасти в лунки, наполненные темной озерной водой... А вечерами — долгими зимними вечерами при патриархальном свете керосиновой лампы текли нескончаемые наши разговоры о крестьянской

жизни в 20-е годы, о раскулачивании, о репрессиях, о войне, о плене, словом, обо всем мы толковали в нашем жарко натопленном зимовье с раскаленной печуркой, сваренной из железной бочки, под звонкие разрывы древесных стволов — от пятидесятиградусного мороза лопались у нашего зимовья березы...

А в другие времена я уезжал на черную ледниковую реку Мегру, шумно впадающую в Белое море, подымался с жителями бывшей старообрядческой деревни — Виктором Кулаковым либо Леонидом Хардаминовым — на карбасе к истокам реки, к необъятным Мегорским озерам ловить запрещенную семгу, неделями жить в палатках и зимовьях либо под громадными шатровыми непромокающими елями и опять же слушать бесконечные разговоры о том, как их предки добирались сюда по хребтам и рекам, как ставили в устьях поморские деревушки, рубили из листвяка церкви, как старухи уходили на шестах в глубь тайги, возводили там свои монастырские кельи, как в 30-е годы уполномоченные НКВД раскатывали и жгли их лиственничные церкви — ссылать отсюда, с края света, было некуда, — как добирались огепеушники и до старушечьих келий, а там, как на грех, незнакомые мужики, беглые, которыми наводнены были в те времена архангельские пристани, — ждали переправы на Соловки, а кто смел да удал—уходил из-под вохровских взглядов, бежал навстречу восходящему солнцу на восток, добредал

321

до деревень и до Мегры, где мужики советовали скитальцу: иди по реке в старушечьи скиты, там надежнее... Но и там их находили... А скиты рушили огнем, как во времена Аввакума.

Сидим на берегу Мегры, толкуем... Гуси, прорезая полосу северного сияния, летят с Канина Носа. Их рыдающий крик стелется над болотами и озерами, а самих птиц не видно, пока их извилистый клин не попадет в струю дрожащего зеленовато-лилового сполоха—северного сияния... Темные трехметровые обетные кресты, поставленные на берегу обрыва, под которым шумит вода, — словно врезаны в тусклое вечернее северное небо...

— Рыбу нам иметь не дают, — жалуется Виктор Кулаков, двухметровый потомственный помор, поигрывая на коленях кулаками, каждый из которых величиной со средний арбуз. — Деды и прадеды наши на этой рыбе выросли... А нам — запрет. Перегородят реку к июню, пригонят вертолет с цинковыми ящиками — да и давай семгу отбирать, что в ловушки зашла, какая покрупнее — начальству... Нас же и заставляют укладывать, солью пересыпать да грузить... Улетели, а с нами рыбнадзор остался. За каждую рыбину пойманную — штраф. Зато магазин у нас в Мегре полон ящиками с водкой да с бормотухой. А ишло что? Килька в томате да баба в халате... Школу— закрыли, медпункт закрыли, строиться не дают. Всех нас, вольных поморов, хотят в райцентр согнать, чтобы мы там бетон месили да бормотуху жрали... Кто послабее—тот уехал. А мы — лучше тут помрем...

А Мегра все шумит и шумит, а гуси все кричат и кричат в темном небе, то заходя в светлую полосу северного сияния, то исчезая из нее...

Да, как время обмануло нас! Жизнь, которая описана у меня строчкой выше, это жизнь семидесятых годов, мы были недовольны ею: фрондировали, осуждали, возмущались, не понимая того, что в наших условиях, на наших северных широтах, в стране, прижатой к Ледовитому океану, на земле, где снег сковывает поля и леса на семь месяцев в году, где на каждый килограмм возвращенного зерна или мяса нужно потратить втрое больше сил, нежели во Франции или Германии, человек, чтобы выжить, должен за короткое лето запасти на зиму дрова и сено, восстановить разорванные морозом за зиму дороги, постоянно расчищая их от метелей и снегопадов — руками, лопатами, грейдерами, тракторами, тратя на эту работу чуть ли не половину горючего, выкачанного из вечной мерзлоты Уренгоя

и Нижневартовска. Мы, обживая нашу сурозую землю, данную нам Богом, захотели жить так, как

322

живет теплая и уютная, омытая незамерзающими морями Мирового океана Европа или Америка... Мы бросились разрушать нашу аскетическую русскую жизнь, чтобы создать на ее руинах жизнь европейскую, и чем завершился этот утопический порыв на моем Беломорском Севере, я увидел в 1995 году, когда снова приехал, после нескольких лет отлучки, на берега Мегры... Но об этом чуть позже.

Да не было у нас никакой зависти к диссидентам и никакой особой ненависти лично к Аксенову или Гладилину, к Алешковскому или Синявскому. И "еврейство" или "нееврейство" здесь ни при чем. Дело в некоторых свойствах моей натуры.

Во мне всегда было некое объединительное, дружелюбное, спокойно-доброжелательное свойство, которое не отпугивало ни смуглых, ни узкоглазых, ни курчавых людей. Они как бы чувствовали, что я никогда не поставлю отношения между нами в прямую зависимость от того, сколько примеси и какой крови у кого в жилах; что для меня главное — ощущает ли себя носитель той или иной крови русским человеком или, в крайнем случае, лояльно ли относится к русской натуре и русской истории.

С университетских времен я помнил замечательные слова "полукровки" Александра Герцена о русских людях: "Мы выше зоологической щепетильности и совершенно безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не мешает нам быть вполне славянами.

Мы очень довольны, что в наших жилах есть финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные и братские отношения с теми расами-париями, о которых гуманная демократия Европы не может говорить иначе, как тоном оскорбительного презрения".

Наличию татарских, грузинских, армянских "примесей" в русских людях я вообще не придавал никакого значения. С еврейскими генами было сложнее. Я ощущал их особую силу и старался быть с их носителями внимательнее и осторожнее, доверяя в этих размышлениях не столько себе, сколько проницательным и честным мыслителям из самой еврейской среды:

"Они, еврейские ассимилянты, очень любят быть космополитами... они нигде и всюду дома. Они очень любят быть радикалами и самыми передовыми из передовых. Они очень любят быть нигилистами, обесценивателями и разрушителями... Они часто мутят источники чужой культуры, опошляя ее, хотя кажется, что они проникают все глубже... Поэтому — святая обязанность народов стоять на страже границ своей

323

национальной индивидуальности. Они вредны и тому народу, в который они хотят войти для властвования над ним" (из книги Якова Клацкина "Проблемы современного еврейства", изданной в 1930 году в догитлеровской Германии).

"Для властвования над ним"... стоит задуматься над этими словами сегодня, потому что не со слов Макашова началась вся наша русско-еврейская историческая распря, которая и впредь будет время от времени то затихать, то снова вспыхивать и разгораться. А потому, чтобы правильно действовать в этих условиях, надо правильно понимать цели и суть этой распри. Самое главное: ни в коем случае ее нельзя обсуждать в обычном плане так называемых "межнациональных отношений", "межнациональной розни", "разжигания межнациональных страстей". Президенты Шаймиев и Аушев, а также искренняя женщина Мизулина, осуждая Макашова, вписали возникший конфликт в межнациональный контекст, но это — тупиковый для понимания сути дела путь,

на котором вольно или невольно затушевывается особенность рокового противостояния.

Дело в том, что:

русско-еврейский вопрос сегодня — это не вопрос борьбы за гражданские права, чем, допустим, озабочены русские в Прибалтике или Казахстане (все евреи в России имеют равные права с русскими);

русско-еврейский вопрос сегодня — это не вопрос суверенитета, чем озабочены татары, якуты, дагестанцы, народы Севера в своих отношениях с Москвой (евреям не нужны ни суверенитет, ни разграничение полномочий и т. д.);

русско-еврейский вопрос—это тем более не вопрос каких-либо территориальных претензий, принадлежности нефтяных районов, пастбищ, шельфов, границ, чем, к примеру, обусловлена рознь между осетинами и ингушами, грузинами и абхазами, чеченцами и русскими Ставрополя (евреям не нужна в России ни своя территория, если только не считать за таковую Еврейскую АО, ни тем более отдельная государственность);

русско-еврейский вопрос лежит вне споров о защите культуры, о количестве национальных школ, о культурной автономии или ассимиляции, вне религиозных столкновений, вне борьбы за сохранение родного языка и т. д. (евреи в России обладают полной свободой—на каком языке говорить, в каких школах учиться, в какого Бога верить и т. д.).

Так в чем же суть ярости, предельного накала борьбы, готовности идти на крайние меры, что продемонстрировало еврейское лобби вкупе с подчиненными ему электронными СМИ во время психической атаки на Макашова, на компартию, на общественное мнение?

324

Дело в том, что еврейские ставки гораздо выше территориальных, культурных, правовых, религиозных проблем, в которых барахтаются другие национальности — русские, чеченцы, латыши, грузины или чукчи. Еврейская элита борется не за частные национальные привилегии, а за ВЛАСТЬ в самом глубоком и широком смысле слова.

Вопрос в этой борьбе стоит так: кому по главным параметрам властвовать в России — государствообразующему русскому народу или небольшой, но крепко организованной, политически и экономически мощной еврейской прослойке? Вопрос "о квотах" и "национальных представительствах" во власти только запутывает и маскирует суть дела. Поэтому русско-еврейский вопрос надо всегда выводить за скобки законопроектов о национальных отношениях, ибо такая постановка нарочито уравнивает евреев с чеченцами, татарами, якутами и лишь уводит от понимания главного — между русскими и евреями идет борьба за власть в России.

Я уважал Бориса Абрамовича Слуцкого за многое, но и не в последнюю очередь за то, что он в отличие от многих своих соплеменников хорошо понимал изъяны еврейской натуры:

Стало быть, получается вот как:

слишком часто мелькаете в сводках новостей,

слишком долгих рыданий
алчут перечни ваших страданий.

Надоели эмоции нации
вашей,

как и ее махинации.

Средствам массовой информации —

надоели им ваши сенсации.

Я до последних дней жизни Слуцкого дружил с ним. После всех моих писем в ЦК и речей о Багрицком и Мандельштаме, уже ослабевший и больной, он часто звонил мне, спрашивал, как дела, молчал в трубку, вздыхал, я как мог утешал его, одинокого и несчастного, навещал в психиатрической больнице...

Однажды, как мне помнится, мы приехали к нему с Игорем Шкляревским, вывели его из палаты на улицу, посидели с ним на лавочке, постарались развлечь всяческими пустяковыми разговорами. Когда прощались, он неожиданно сказал мне, что я один из самых умных людей моего поколения, которые встречались ему. Я удивился, но был, естественно, польщен и растроган. Позже понял: он сказал это, потому что я остался самим собой, несмотря на тотальный террор среды.

До последнего времени мы радушно встречались с Давидом

325

Самойловым, читали друг другу стихи, писали письма. Вот одно из его писем, полученных мною из Пярну, где он жил в последние годы.

"Дорогой Стасик!

Я думаю, что между нами ничего дурного не происходит и ничего дурного не произойдет. Просто по российской привычке все путать мы путаем мировоззрение и нравственность. Может быть нравственный обскурант и безнравственный либерал. Я это хорошо понимаю и в своих отношениях с людьми исхожу из нравственного, а не мировоззренческого. А нравственное, по-моему, состоит в неприятии крови. Слишком много ее пролилось за последние десятилетия. И ради чего угодно нельзя допустить новых кровопролитий. Кровь ничего не искупает. Свою единственную задачу я вижу именно в этом: утверждать терпимость, пускай я это делаю без должного таланта и понимания искусства.

Твой Д. Самойлов"

Чтобы подробно не спорить с мыслями этого письма, скажу только то, что Христос своей кровью искупил все грехи человечества.

Добрую рецензию на мою книгу "Метель заходит в город" написал Михаил Светлов, искренние письма об этой же книге, да и о других я получал от Владимира Лифшица и Григория Левина. Да что говорить! В молодости моими приятелями были Михаил Демин и Дмитрий Стариков, а одним из лучших друзей по жизни поэт Эрнст Портнягин. Все они были полукровками, но, видимо, чувствовали, что для меня это не имеет никакого значения. Уже обозначив все свои общественные позиции, я получал радужные письма от Юрия Трифонова, Сергея Иоффе, Яна Вассермана и многих других писателей и читателей — евреев или полукровок по рождению. Но... (Увы, без этого разделительного союза мне не обойтись.) Но мы инстинктом русских людей, чьи предки целое тысячелетие строили государство, понимали, что оно — результат тысячелетнего строительства — есть высшая ценность, фундамент нашей жизни и цивилизации, что без него не будет ни хлеба, ни песни, ни библиотеки в дальнем селе, ни газа в московской квартире... А потому мы не могли закрывать глаза на то, что у всех поэтов еврейского происхождения, даже тех, кого не без основания можно считать русскими поэтами, явственна любовь к русской

326

культуре и к русской природе, и даже к православию, но одновременно неизбежно неприятие русской - государственности, вне которой не могли в полной мере жить и развиваться ни культура, ни религия. У Давида Самойлова есть замечательные стихи о Пушкине и Державине, но одновременно он пишет уничижительные стихотворные инвективы в адрес Ивана Грозного. Наум

Коржавин преклоняется перед церковью Покрова на Нерли, но Иван Калита для него коварный и жестокий властитель. Даже Мандельштам, написавший пленительные стихи о Батюшкове и кремлевских соборах, в страхе опускал очи перед "миром державным" и "на гвардейцев глядел исподлобья", как бы втайне сопротивляясь Пушкину, который любил "пехотных ратей и коней однообразную красоту".

Так что, может быть, вопрос о государственности нашей и есть самый главный водораздел, определяющий степень "русскости" того или иного поэта. Ярчайший пример такого рода из новейшего времени — поэзия Иосифа Бродского с фрейдистской ненавистью к Риму, к маршалу Жукову, к имперским штандартам.

Но это я говорю о серьезных поэтах. К прямым же и откровенным диссидентам мы всегда относились настороженно, если не враждебно. Мы, которым в отличие от них некуда и незачем было уезжать, иначе и не могли относиться ко всем их деяниям, от которых исходил дух разрушения: история с Даниэлем и Синявским, провокация "Метрополя", правозащитная шумиха, эффектные отъезды на Запад Галича, Коржавина, Владимирова, бегство балерунов, балерин и дирижеров, пена вокруг Таганки. Все это было — не наше, все это было нам чуждо, противно, враждебно. "Бог терпел и нам велел". Мы лучше их знали, что такое наш народ и что такое русский человек. Но мы и сами виноваты тоже. Порой и мы, как попугаи, повторяли вслед за профессиональными провокаторами "тоталитаризм!", "тоталитаризм!", не понимая того, что загоняем сами себя в ловушку.

Что такое тоталитаризм? Это мобилизация всех сил. Это подчинение личной воли — народно-государственной необходимости, это табу на все излишества, варианты, версии, эксперименты в материальной и культурной жизни. Это ограничения права во имя долга. Вообще вся русская жизнь — это не жизнь права, а жизнь долга.

Поскольку великое русское государство рождалось и жило в экстремальных исторических условиях, на тех широтах, где невозможны великие цивилизации, возникло, как "пламя в

327

снегах", и его рождение и развитие потребовали от народа и его вождей столь нечеловеческого, тоталитарного, мобилизационного напряжения на протяжении сотен лет, а значит, такого рода постоянный "тоталитаризм" есть естественное состояние русской жизни и русской истории. И для нас сей термин не должен быть каким-то пугалом. Без "тоталитарной прививки" к нашему историческому древу мы не могли бы существовать. Отсюда и плановое хозяйство, и административная система, и власть центра со всеми их достоинствами и недостатками.

Но, как говорится, по одежке протягивай ножки, не жили богато — нечего начинать, помирать собрался, а рожь сей... Забыли мы эти народные истины. Забыли в жажде перемен, что Советская власть — это не только геронтологические старцы и не только тринадцать тысяч солдат, погибших в Афганистане... Это еще и поистине подвижнический труд нескольких поколений, обеспечивших нам к середине 70-х годов используемые не элитой, а всем народом простые, но необходимые для него блага, — без которых невозможно скромное и надежное благополучие народа и его воспроизводство: бесплатная вода, почти бесплатный газ, копеечное электричество, почти ничего не стоившие почта, телеграф, телефон, доступный каждому самому небогатому человеку поезд и самолет... А о бесплатной медицине, образовании, спорте, детсадах и яслях и говорить нечего... А бесплатное жилье, бесплатные шесть соток земли, почти дармовые книги, почти бесплатный хлеб.

— Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? — как

говорил один из героев фильма "Белое солнце пустыни".

Да разве можно было алчной части нашей и мировой элиты мириться с тем, что все эти богатства принадлежат не им?

Помню, в ту эпоху я часто работал зимой в домах творчества — в Дубултах, в Малеевке, в Ялте... Дома писателями не заполнялись, а потому отдыхать туда приезжали шахтеры, думаю, что в среднем они были не беднее писателей, ибо наши дома сотрясались от веселья и разгула этих денежных, крепких, умеющих работать и гулять людей...

Никогда ни один народ в истории не владел и уже никогда не будет владеть этими простейшими и необходимейшими благами цивилизации в той степени, в какой ими владел советский народ, работавший на себя и плохо понимавший, какими богатствами он располагает.

"Вот чего вы добились, вот чему мы не смогли помешать", —

328

подумал я через несколько лет разрушительной перестройки на своих уже ставших мне родными берегах русского Севера...

Широкий плес. Высокий песчаный берег. Обрыв, заросший брусникой, ягелем, мелким березняком. Внизу черно-синяя река, разделенная на два рукава островом с песчаными отмелями. Остров окаймлен желтыми кувшинками — яркой золотой лентой. Его огибают две шумящих струи, сливаются и в едином потоке текут дальше на север. Там — море. Высоко над нами кружит коршун — он, конечно же, видит море. Над морем облака сияют особым сияньем — розовым, колеблющимся, видимо, от потоков воздуха, что исходит от морского лона. Мы с внуком сидим на обрыве, не в силах сдвинуться с места... Запах травы, набирающей зеленую сочную плоть, мелкого березового листа, исторгнувшего из себя капельки горьковатого клея, иван-чая, буйно взошедшего на пепелищах и горях... Кукует кукушка.

Три недели тому назад сюда, в глубь беломорской тайги мы залетели попутным вертолетом из архангельского аэропорта Васьково. Аэропорт, откуда в прежние времена то и дело взмывали в бледное северное небо "аннушки", "Яки", "восьмерки", "четверки" то в Мезень, то в Долгощелье, то в Сояну, был выморожен и безмолвен. А какая жизнь кипела здесь всего-то семь-восемь лет тому назад! Яблоку негде было упасть. Рыбаки в заскорюзлых робах, геологи в штормовках, бородатые бичи с лицами кирпичного цвета, поморские женки с белобрысыми детенышами, старухи в бархатных довоенных кацавейках! Кто на лавках, кто на полу, кто в буфете. Ящики, груженные тушенкой и сгущенкой, картонные коробки с яйцами, охотничьи лайки, привязанные к вылинявшим рюкзакам, оцинкованные ведра, груды резиновых сапог — все это богатство двигалось, шуршало, звенело, грузилось, чтобы долететь до морских деревень, до рыбокооповских магазинов, до буровых точек с их вековыми деревянными бытовками и армейскими палатками. В воздухе непрерывно стоял рев моторов, от которого позвякивали и вздрагивали стекла.

А теперь тишина. Пустота. Чистый кафель. Буфет закрыт. Никаких очередей. Только в кассе зачем-то сидит, скучая, красавица, да охранники, покуривая, устроились на стульях возле сооружения, которое обнаруживает металлические предметы при выходе на летное поле. Но никто не выходит. Ни одного пассажира. Ни одного рейса. На табло горит саркастическая надпись: "Васьково—Нью-Йорк". У северян нет денег на дорогу. Дай Бог, если набирается пассажиров на один-два рейса в месяц! Как в допетровские времена, при-

329

брежные деревни отрезаны от России и снова учатся выживать по законам никоновской эпохи. В предвыборные дни 1996 года президент побывал в Архангельске и произнес, как пишут досужие местные журналисты, роковые

слова: "Север легче вывезти, нежели прокормить". Да и вообще контрольный пакет акций Североалмаза — бывшего хозяина здешних мест — уже принадлежит мировой компании "Де Бирс", которая решила, что разработка архангельских алмазов будет ей выгодна лишь лет через десять. Вот почему разрушаются и обезлюживаются некогда могучие поселки Амдерма, Варандей, Светлое, отвоеванные за десятилетия геологами и нефтяниками у тайги и тундры. Вот и по Мегре, куда я приезжал чуть ли не ежегодно в последние двадцать лет, за две недели, пока мы живем с внуком на берегу в палатке, не прошло ни одной моторки. У мужиков из деревни, что стоит в устье Мегры, нет денег ни на бензин, ни на запчасти к моторам. А ведь, бывало, за день две, три моторки обязательно промчатся вверх к озерам за щукой, за сигом, и обязательно то Витька Кулаков, то Ленька Хардаминов подымутся к нашему костру чайком побаловаться, водочкой согреться перед дальней дорогой по холодной реке...

Сидим с внуком, ждем лодку с друзьями-геологами — она должна придти за нами с озер. Все сроки прошли. У нас и хлеб кончился, и сахар. Одна рыба осталась, от которой внук Алешка уже воротит нос.

— Дед, погляди, что это там? — из-за поворота на Большом пороге показалась лодка, которую за бечеву тащил между камнями какой-то человек. Издалека не разглядишь кто. Он осторожно выбирал путь между округлых валунов, но, зайдя в протоку, остановился, не в силах протолкнуть тяжелую лодку против сильного течения.

— Пойдем поможем!

Минут через десять мы подошли к нему, подняли бродни, влезли в воду.

— Здорово! Как звать?

— Игорь!

Поднавалились втроем, сдвинули лодку с камней, вывели в чистую воду. Впрыгнули. Игорь рванул стартер, и через минуту-другую лодка ткнулась носом в подножье нашего горелого холма.

Сидим, как в прежние времена, у костра, пьем чай, Игорь вытащил из рюкзака хлеб, заварку, пироги с рыбой.

— До озер иду. Щуку надо запасти на зиму. А иначе помрем... — В его карбасе несколько бочек для рыбы, груда сеток, канистры с горючим (всю зиму на него деньги копил!). Сам он жилистый, скуластый, загорелый, в мокрой робе, в

330

заплатанных рыбацких штанах, поворачивается к огню то одним, то другим боком, сушится. До озер ему идти еще километров сто двадцать.

— Как деревня живет, Игорь?

— Какая жизнь! Я вот лесник, зарплата 200 тысяч, и ту не получал с октября прошлого года. Колхоз развалился, рыбооп развалился. Вся торговля в руках трех-четырех местных прохиндеев. Дерут с нас три шкуры. Буханка хлеба — шесть тысяч. Кило сахара — восемь, а то и десять. Бутылка водки, самой плохой, — двадцать... (цены лета 1997 г.)

А ведь еще 10 — 12 лет тому назад по всем зимовьюшкам вдоль Мегры на столах лежали пачки сахара, тюбики чая, мешочки с солью, на стенах висели кульки с крупами и вермишелью, сухарями. Заходи, живи... Игорь махнул рукой:

— Забудь о тех временах! Ну, мне пора. Вот банку сахара вам оставляю, хлеба две буханки, а то еще когда лодка за вами придет!

У Игоря двое малых детей. Хорошо еще, что жена поваром в интернате работает...

Мой тринадцатилетний внук с восхищением смотрит на Игоря. Впервые в жизни он видит человека, который делится с чужими, только что встретившимися ему людьми последним. Да и человек-то почти нищий. Сам этот сахар и этот хлеб в долг выпрашивает у местных "новых русских".

В молчанье сидим, прислушиваемся к шорохам жизни. Глухари и тетерева токуют. Всю ночь за болотом, там, где горит полоса тусклого сияния, несется к небу улюлюкающий стон тетеревиного токовища; длинноклювый бекас, хоркая, тянет вдоль бора; лебединые стаи белыми клиньями режут ослепительную синь — их путь на Канин Нос; все — и вода, и земля — прогревается солнцем, отходит от стужи, шуршит, дышит, скрипит, постанывает, переливаясь друг в друга. "Шлеп, шлеп, шлеп", — слышится где-то: оживают лягушки... Длинноклювые самцы-турухтаны, кто в белом, кто в темно-синем, кто в глянцевито-черном, кто в коричневом воротничке, слетаются на сухие травянистые угоры и начинают поединки в честь невзрачных серых самочек, равнодушно взирающих на то, как их будущие повелители, раздувая перышки и перебирая тонкими лапками, насакивают друг на друга. Ветер несет вдоль русла горьковатый дух черемухи. Она уже отцветает — и особенно сильные порывы ветра осыпают повянувший белый цвет на черную речную гладь. — Ну, мне пора! Игорь встал, opravил штормовку, погрел напоследок руки

331

над огнем. Пока он завязывал рюкзачок, я сбежал в палатку.

— Игорь! Не обижайся, возьми денег, вернешься в деревню — они тебе пригодятся.

Игорь деликатно отклонил мою руку.

— В тайге да на реке не пропаду, а денег не надо. Авось еще встретимся.

Он с шумом зашел в воду, оттолкнул лодку, перевалился через борт на мешки с сетями, внезапно обронил в воду шапку-ушанку, но ловко успел выхватить ее из воды и нахлобучить на жесткие черные волосы. По его лицу потекли струйки воды. Я сорвал с головы свою:

— Возьми сухую! А то на ходу в мокрой замерзнешь! Но Игорь помотал головой:

— На ветру быстрее просохнет!

...Лодка сначала медленно, потом все быстрее и быстрее пошла по черной промоине вдоль берега, вырвалась на плес, где Игорь прибавил газу и вскоре скрылся за мглистым поворотом.

Алешка с открытым ртом глядел ему вслед:

— Вот это настоящий супермен! Не какой-нибудь Шварценеггер ила Сталлоне. Я думаю, дед, они здесь, на Мегре, как мухи бы околели. Какой человек! У самого ничего нет, а он нам половину еды отдал и денег не взял!

С того дня прошло два года, но внук, растерянное дитя "страшных лет России", время от времени до сих пор вспоминает:

— Какой человек! Последнее отдал...

* * *

Будучи недавно в Китае на днях русской культуры, я встретился с главным редактором журнала "Знамя", моим давнишним знакомым по 60—80-м годам, Сергеем Чуприниным.

Когда-то он писал предисловие к однотомнику моих стихов (1979 г.), вполне патристичное и эмоциональное, потом постепенно перешел в лагерь будущих прорабов перестройки, возглавил журнал, где несколько лет подряд журналисты, писатели, политики разрушали наш Союз и наш образ жизни, и вдруг в Китае мрачно пожаловался мне, что все, мол, получилось не так, как предполагалось ему. Что журнал "Знамя" дышит на ладан, культура гибнет, писатели-демократы в отчаянье.

— На что жаловаться, Сережа, — ответил я ему. — Ваше положение хуже нашего. Мы честно боролись, но у нас не

332

хватило сил в борьбе за Россию. Мы — побежденные, а вы — обманутые. Вам

тяжелее, вас просто кинули. Как и положено на воровском рынке. Использовали и кинули...

А ведь целое десятилетие журнал "Знамя" героизировал и прославлял имена диссидентов 70—80-х годов — Галича и Аксенова, Ростроповича и Эрнста Неизвестного, Любимова и Бродского, Войновича и Алешковского. Помнится, как Майя Плисецкая, выступая по телевидению, в то время сказала о деятелях культуры третьей эмиграции:

— Они уехали потому, что им было плохо. Если бы им было хорошо, они бы не уехали.

А Рубцову хорошо было жить в нищете, сидеть свои последние дни в комнатке вологодской коммуналки, петь, склонясь над гармошкой: "Я в ту ночь полубил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ!"

А Шукшину легко было пробиваться со своими кровотокающими рассказами и фильмами сквозь строй чиновничьего равнодушия?

А Варламу Шаламову, отсидевшему в лагерном аду двадцать с лишним лет, легко было вспоминать Колыму и в своем убогом доме престарелых наносить на бумагу события и судьбы, от одного описания которых кровь застывает в жилах?

А покойному Владимиру Чивилихину, чью книгу "Земля в беде" рассыпала цензура — легко ли было?

А Михаилу Алексееву легко ли и хорошо ли было вспоминать, писать и печатать и проволакивать сквозь цензуру первую в нашей истории книгу о голоде 30-х годов, который пережил он, крестьянский мальчик, чтобы рассказать, как обезлюдело от геноцида русское Поволжье?

Барышникову, Макаровой, Нуриеву, Крамарову, Ал. Глезеру, Корчному было плохо... Почему? Их не учили танцевать? Или плохо выучили играть роли? Или не давали зарабатывать на жизнь бездарными переводами?

А зачем оставались на Западе наши дирижеры, фигуристы, виолончелисты, певицы, политики, дипломаты, летчики? Что, им тут, на родине, Бетховена играть не давали? Выступать в чемпионатах страны запрещали? Танцевать в Большом театре или в Мариинке отказывали? Петь арию Розины не позволяли? Нет, все гораздо проще и сложнее. Проще, потому что — будем глядеть правде в глаза — эти профессионалы высокого класса ценили себя гораздо дороже, нежели общество могло им платить. Так что причины для "плохо", будем откровенны, были. Они, много поездив по миру, поглядев на образ жизни

333

себе подобных, на машины, виллы, особняки великих артистов мира, справедливо сочтя себя не менее талантливыми и не менее заслуживающими не меньших благ, пришли к естественному выводу. Неопределенное понятие "им было плохо" отлилось в точную формулу: "Нам мало платят. Не по нашему таланту. Живя на Западе, мы можем в этом отношении стоять вровень с ними". И те, кто уехал, посвоему были справедливы в своих претензиях. Мы платили им мало. Что делать! Опять начнем скучные подсчеты: пять миллионов жертв в гражданской войне, два всенародных голода, репрессии Красного террора, геноцид, расказачивание, индустриализация, колхозы, Великая Отечественная, разруха, и снова в который раз возрождение жизни. Когда умерла моя мать — хирург высокой квалификации, всю жизнь работавшая на нескольких работах, на сберкнижке у нее были деньги лишь на похороны, (правда, была уже хорошая квартира и нормальная пенсия). Как мог советский зритель, вынырнувший из этого гигантского котла, перекипевший в нем всю войну, все послевоенное лихо, живший в растяжку жил человеческих, как мог этот средний советский человек, едва-едва обросший кожей с середины 60-х годов, платить за билет в какой-нибудь Большой или Мариинский театр, или в цирк, или Консерваторию, сумму, эквивалентную сотням долларов, а именно такова стоимость билетов на концерты актеров

подобного уровня на Западе, стоимость, лежащая в основе их банковских счетов, вилл, яхт, путешествий, стоимость, говорящая о том, что они едут туда обслуживать западную элиту.

Да, мы были бедны, чтобы оплачивать все амбиции и запросы талантов нашего времени. Мало они получали от бедного народа. И ясно видели, что больше в ближайшее время не получат. Оттого-то, по их словам, "им было плохо". Ибо они не могли взять больше, чем мы могли им дать. А мелкие подачки государства — компенсации в виде Государственных премий, орденов, званий — уже всерьез никого к концу 60-х годов не интересовали...

Значит, надо жить там, где хорошо. Но те современные русские писатели, которым было "плохо" здесь, но кому и в голову не приходила мысль, чтобы из-за этого куда-то эмигрировать, понимали и понимают призвание писателя — гражданское, по-пушкински, а не по-диссидентски ("но, клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество").

Кто-то уехал потому, что не мог в наших условиях удовлетворить жажду политической деятельности, и это

334

понятно. Кто-то, чтобы остаток жизни попить пиво в парижских бистро и всласть потреться с друзьями, наезжающими из Союза. Ей-богу, не могу осуждать за подобную слабость! Кто-то мир посмотреть, пошляться по городам. Кто-то вволю порусофобствовать... Но больше всего мне были смешны наши чиновники, ахавшие при этом: "Ну такому-то имярек чего надо было? И лауреат, и народный, и дача есть, и ордена, и почет! Чего же еще надо? Все у него было!" И не понимали своими мозгами наши администраторы, что это "все у него было" — лишь по нашим очень скромным масштабам. А там масштабы и счета другие. Вот он, идеал, тот самый, о котором как о коммунистическом будущем мечтал Евтушенко в романе "Ягодные места", когда изображал диалог сибирского лесоруба со своей женой:

— А что, Маш, не махнуть ли нам в отпуск на Гавай? В Швейцарии мы в прошлом году были, надоела Европа, давай на Гавай!

Вот такими картинками словоблуд со станции Зима соблазнял в те времена ныне забытых Богом и людьми сибирских лесорубов.

А что касается людей вроде Василия Белова, Валентина Распутина, Юрия Кузнецова, Дмитрия Балашова, то их несчастье (или счастье?) заключалось в том, что они были людьми такой породы, что и протоиерей отец Сергей Булгаков, который в автобиографических заметках писал:

"Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землею и со всем Божиим творением... Моя родина, носящая для меня имя Ливны, небольшой городок Орловской губернии, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его... Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Все мое оттуда..."

Вот где собака зарыта. Все очень просто. Там деньги и свобода. Здесь вера и любовь.

Ибо ни Бродский, ни кто-либо другой из третьей эмиграции ничего похожего тому, что сказал о себе С. Булгаков, сказать не мог. В его словах воплотилась глубинная суть русского патриотизма, запрещенного официальной идеологией уже в начале 20-х годов. Так чувствовали Бунин и Зайцев, Соколов-Микитов и Шмелев, Шаляпин и Цветаева. Такой же связью

335

родины и души жили Николай Рубцов, Владимир Солоухин, Анатолий Передреев, ею жили и живут многие сегодняшние русские писатели — Лихоносков, Личутин, Лобанов, Крупин... У их антиподов чувства иные. Погибла Россия или не погибла, пропадает или возрождается — это их мало интересует. Их не отягощают такие "предрассудки" сегодняшнего мироощущения, как патриотизм, ностальгия, лоно матери. Именно такой вывод можно сделать, читая книги этих писателей, изданные на Западе после "выезда".

Бунин, Куприн, Цветаева, Шалапин, Шульгин, Рахманинов покинули Россию потому, что, по их убеждению, в те времена их Россия — погибала и погибла. Они не примерялись заранее к такой судьбе, не налаживали во время "творческих командировок" связей, не подстилали соломки, не заключали предусмотрительно ради аванса (хоть что-нибудь урвать!) договоров в советских издательствах, не давали предварительных интервью всяческого рода западным корреспондентам, не надеялись на счета в швейцарском или иных банках, заранее открытые. Наши диссиденты долго торговались с идеологическим аппаратом — уезжать или не уезжать. И на каких условиях. Их уговаривали, удерживали, покупали... Но дать всего, что они просили, даже всемогущие, чиновники того времени не могли.

* * *

Однажды в конце 70-х годов, разговаривая с умным и достаточно ироничным человеком Сергеем Наровчатовым, я спросил его: "Почему наша идеологическая система, всячески заигрывая до определенного предела с деятелями культуры "западной ориентации", снимая их недовольство всяческими льготами, зарубежными поездками, тиражами, госпремиями, дачами, внеплановыми изданиями, — почему одновременно она как к чужим относится к людям патриотического склада?" (Как раз в то время громился роман Пикуля "У последней черты", партийная и литературная пресса разносила статьи и книги В. Крупина, В. Кожина, М. Лобанова, Ю. Ложица, "Коммунист" пером комсомольско-партийного карьериста Юрия Афанасьева осуждал издание беловского "Лада" и т. д.) Сергей Наровчатов посмотрел на меня мутными, когда-то голубыми глазами и без раздумья образно сформулировал суть идеологического парадокса: "К национально-патриотическому или к национально-государственному направлению власть относится, словно к верной жене: на нее и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль под горячую руку

336

подвернется: ей деваться некуда, куда она уйдет? Все равно в доме останется... Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая еще со связями прочными за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорешь — так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где, дорогой Станислав, собака зарыта!"

Но бывали в те времена и эмигрантские судьбы с неожиданными поворотами.

Я вернулся в Москву из Тайшета в 1960 году и начал работать в журнале "Смена". Там и познакомился с Мишей Деминим, Мишаней, — сутуловатым, рано полысевшим человеком, с замашками профессионального блатного, у которого за пазухой был целый ворох смешных, скабрёзных и печальных историй, связанных с воровской жизнью, с пересыльными пунктами Сибири и Востока, с Норильском и Тайшетлагом. Еще работая в Тайшете, я знал, что где-то в Абакане, на другом конце строящейся магистрали Тайшет — Абакан, живет поэт с загадочной и романтической судьбой: мы тогда уже начинали печататься в сибирской прессе, слышали друг о друге еще до встречи в Москве и встретились как старые знакомые в коридорах столичного журнала, куда устроился работать и Мишаня... Был он человеком открытым, контактным и бесцеремонным.

— Старичок, привет! Слыхал я о тебе в Абакане, ну, пошли куда-нибудь, за родную Сибирь-матушку примем по сто пятьдесят!

Мишаня приходился двоюродным братом известному писателю Юрию Трифонову — отцы их, донские казаки, были родными братьями, и оба, как весьма заметные военачальники времен гражданской войны, занимали высокие посты в сталинское время, оба женились на еврейках... В 1937 году одного расстреляли, другой умер от инфаркта.

Целеустремленный Юрий Трифонов в послевоенное время выбился в писатели, стал одним из самых молодых лауреатов Сталинской премии за роман "Студенты" — сын "врага народа"! — а бродяга и авантюрист Мишаня пошел по "блатной линии", но пристрастился в лагерях к стихотворчеству, и потому мы встретились в "Смене". Несколько лет подряд мы жили обычной жизнью провинциальных поэтов в Москве, самоутверждались, бражничали, дружили, словом, жили как люди... Но вдруг обнаружилось, что у Мишани то ли по казачьей, то ли по материнской линии кузина в Париже.

337

С помощью Юрия Трифонова, поручившегося за него, Мишаня съездил во Францию. Вернулся каким-то другим: обалдевшим, молчаливым, замкнутым. Через год-два поехал к кузине во второй раз... и не вернулся! Это, пожалуй, был первый "невозвращенец" из писательского клана. Его невозвращенство совпало с победоносной войной Израиля против арабов и с первой неожиданной для всех советских народов волной еврейской эмиграции. Я переживал утрату Мишани, как личную драму, и помню, что осенью 1968 года, возвращаясь, из Иркутска в Москву, остановился на несколько дней в Тайшете, где под грузом нахлынувших воспоминаний написал первое стихотворение на тему, впоследствии надолго вьевшуюся в меня.

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вытряхнуть, память отринуть,
все забыть — и любовь и войну.

Нет, не то чтобы я образцовый
гражданин, коммунист, патриот,
просто призрачный сад на Садовой,
темный берег, да сумрак лиловый,
да какой-нибудь шрам пустяковый —
это все лишь, со мною уйдет,

Все, что было отмечено сердцем,
ни за что не подвластно уму:
кто-то скажет — а Курбский? а Герцен?
Вам понятно, а я не пойму.

Я люблю эту странную участь,
от которой сжимается грудь:
даже здесь бессловесностью мучусь,
а не то чтобы там, где-нибудь.

Синий холод осеннего неба
столько раз растворялся в крови —
не оставил в ней места для гнева —
лишь для горечи и для любви.

Это стихотворение я писал со странным чувством, никого не осуждая,

разбираясь в своей собственной душе, отвечая самому себе на вопрос: почему для меня такой исход невозможен?

"Кто-то скажет: а Курбский? а Герцен?" — это было внутренней полемикой со стихотворением Олега Чухонцева о Курбском, напечатанным в те времена и вызвавшим на голову автора немало невзгод (Чухонцев оправдывал шаг Курбского, изображал его как Федора Раскольникову своей эпохи). Я ценил

338

поэзию Олега Чухонцева — но восхищаться ни Курбским, ни Раскольниковым не мог. Я любил прозу Герцена, но его эмигрантство всегда было занозой в моей душе. Много лет спустя жжение от этой занозы затихло, когда я прочитал у Достоевского, что "Герцен вовсе не стал эмигрантом, он просто им родился"...

"Вам понятно, а я не пойму" — вот главное, что я хотел сказать предавшему мои чувства Мишане. Не пойму — и все. Сердце у меня, что ли, другое? Ну как я без моей Оки, от которой поднимается тяжелый осенний пар перед заморозками, без древнего бора, где мне родная каждая тропка и каждая мочажина, без моих калужских таинственных переулков, в которых свистят февральские вьюги, а летом кружится тополиный пух? Без моего дальнего зимовья на черной ледниковой реке, возле которого я сижу два раза в году, слушаю шум прибывающей воды или ропот сосен, или пронзающий грудь нежный клетот гусиной стаи, идущей в сером небе от Канина Носа на юг? Или без могилы матери, где я стою неподвижно, что-то шепчу виноватое, а потом открываю ограду, сгребаю жухлые листья и опавшие ветки, зажигаю на дорожке маленький костерок и вдыхаю сладкий дым забвения, тлена и вечной памяти и оглядываюсь на соседние надгробья: бабушка Дарья Захарьевна, тетя Поля, тетя Дуся — все тут, все рядом... Может быть, и мне посчастливится когда-нибудь лечь рядом с ними. Старомодно? Сентиментально? Ну, что делать — иначе не могу. Те, кто могут, — они из какого-то другого, неведомого мне материала сделаны. Многие они могут, но вот только такую книгу, как "Последний поклон" или "Прощание с Матёрой", им написать не удастся. А я на том стою и стоять буду. На чувствах, подтверждение которым, когда я оскорблен и унижен системой, чиновниками, идеологией, всегда нахожу в письме Пушкина Чаадаеву: "Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, как литератора—меня раздражает, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал".

Сентиментальный Александр Сергеевич! Как вы старомодны!

А "сатирики" — не сентиментальны. Осмеять, вывернуть наизнанку, унижить — это у них получается само собой. Оно, конечно, легче, нежели мучиться, любить, страдать. Тут другой дар нужен. Да какой там дар — просто другое сердце и другая душа: русская... Диссиденты любили козырять именем Ахматовой, как козырной картой. А эта мужественная женщина

339

ведь даже на Бунина или Шаляпина как свысока посмотрела, вырезав словно алмазом но стеклу:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной!
Темна твоя дорога, странник,
Полыню пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

(1922)

Многих эмигрантов-писателей той эпохи уязвила она своей сверхчеловеческой гордыней — ничего не получив взамен от общества и системы за свой монолитный патриотизм, который в раздражении Роман Гуль даже назвал "надменным" ("но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас"). Ни строчки, начиная с двадцать третьего по 1940 год, не напечатала Анна Ахматова — черпая силу и веру в чувстве Отчизны, которое было настолько цельным, что тревожило совесть великой первой эмиграции:

В кругу кровавом день и ночь —
Долит жестокая истома.
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома.

За то, что город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду...

А уж как выглядели рядом с этим несокрушимым чувством литературно-бизнесменские импульсы последней волны диссидентства — говорить не приходится... Ошиблась Ахматова: хлеб Ростроповича и Аксенова пахнул не польнью, а пресс-конференциями, шампанским, черной икрой...

340

Но я отвлекся от первоначального сюжета.

В 1980 году, через тринадцать лет после расставания с Мишаней, я приехал туристом в Париж... Как-то получилось, что вся вторая половина дня была у нас свободной. Я вышел в холл гостиницы, не зная, чем заняться, и на глаза мне попала толстенная телефонная книга... "А нет ли в ней Миши Демина?!" — внезапно мелькнуло в моей голове. Я начал листать гроссбух и — о чудо! — смотрю, фамилия моего Мишани латинскими буквами напечатана. И телефон! Оглянувшись по сторонам, я набрал прямо из вестибюля номер. "Алло!" — раздался хриловатый, прокуренный, знакомый голос с вальяжной приклатненной интонацией.

— Мишаня! Ты, что ли!

— Ну я, а кому это я нужен?

Через полчаса, взяв такси, я уже ехал по адресу, а Мишаня вместе со своей женой-француженкой накрывал на стол...

Несколько часов за "Смирновской" и всяческой пикантной закуской ("Старичок, отведай—это печень кабана, а это паштет из оленины") мы просидели в маленькой однокомнатной квартирке Демина с уголком для сна, отгороженным ширмой, предаваясь воспоминаниям. Его жена — милая женщина, заведующая маленьким машинописным бюро, старательно обслуживала нас, почти ничего не понимая по-русски, разве что кроме крепких общенародных и

одновременно лагерных словосочетаний, которыми Миша по привычке расцвечивал свою речь.

Но перед тем как выпить последнюю рюмку, он попросил меня внимательно выслушать его:

— Старик! Ты же знаешь меня — никакой я не антисоветчик! На радиостанциях я не блядовал, приехал к кухне — ну, влюбился в бабу, промотал ее "бистро", выгнала она меня, ну, нахлебался я говна из параша! Я ведь не политик, а уголовник. И в привокзальных гостиницах мыкался, и блефовал, ну, в конце концов накропал два романа (представляю, как это нелегко было Мишане с его патологической ленью!), "Блатной" и "Перекрестки судеб" в двух частях, — Мишаня ослабилась во всю блестящую стальную гармошку зубов на смуглом лице, — одна часть "Тайна сибирских алмазов" и другая "Пять бутылок водки" — ты представляешь, как я об этом могу написать! Ну, давай за встречу! — Он опрокинул рюмку, закусил "мануфактурой" и продолжал: — Словом, из нужды я выбился без помощи всяких этих аксеновых, гладилиных, "континентов", сам себе издателей нашел, сам на ноги встал... Но не в этом дело. Слушай сюда.

Антисоветчиком

341

я никогда не был, и ваше КГБ знает это лучше нас с тобой. Просто мне захотелось по белу свету перед смертью пошляться! Ну, ты же меня понимаешь?! По бардакам походить, хорошей водочки попить, закусить тем, чего душа желает... Но родина! — Мишаня выпятил вперед и без того громоздкую челюсть и помотал головой. — Я вреда ей никакого не принес. Майку, жену мою московскую, обидел? Да! Кухину разорил? Да! Но родине жизнь моя убытка не принесла... А потому — ты же начальник, я слышал, — поговори сам знаешь с кем: вдруг разрешат Мишане вернуться на родину... Жизнь дожить и помереть там хочу, а не здесь...

Железный, закаленный на сибирских ветрах, Мишаня внезапно для нас обоих прослезился, мазнул ладонью по лицу и налил по "самой последней".

— Поговори, прошу тебя, с кем надо...

Вернувшись в Москву — а был это восьмидесятый год, — я выяснил, с кем надо поговорить, встретился с каким-то средним чином. Чин все выслушал, что-то записал и сказал мне, что они будут думать. Не знаю уж, что они там надумали, но года через три я встретил на улице Герцена прежнюю московскую жену Мишани Майку, перед которой он "был виноват", и она рассказала мне, что несколько дней тому назад раздался телефонный звонок из Парижа и какая-то женщина на смеси французского и русского языка сообщила, что Мишаня вчера сел на табуреточку, стал зашнуровывать ботинок, но вдруг ткнулся головой вперед, в пол, и не поднялся... Француженка просила Майю срочно приехать на похороны, не понимая, что простому человеку в три дня из нашего государства невозможно выехать ни под каким предлогом.

Помер Мишаня. И похоронен не там, где хотел бы лежать, и на могилку придти некому. Но если бы он не помер, у него хватило бы совести и своеобразного профессионального достоинства "вора в законе", вернувшись на родину (если бы он вернулся), не кричать о тяжести режима, выпихнувшего его во времена застоя за кордон, и не претендовать на роль разведчика перестройки, ее предтечи, вышедшего на борьбу слишком рано и оттого пострадавшего сверх меры. Он — бывший честный уголовник, я уверен, вел бы себя достойно. Зашел бы в Центральный Дом литераторов, заказал бы у стойки свои сто пятьдесят — чтобы забрало сразу... Увидев меня, подмигнул бы: "Ну что? За встречу!" А я бы, наверное, сказал ему: "Здравствуй, Мишаня!" И мы, ей-богу, искренне обнялись бы с ним...

1978—1998 гг.

"А каждый читатель, как тайна..."

Предчувствие катастрофы. Раскол в читательском мире. Мои бескорыстные читатели, фанатики Владимира Высоцкого. Моя полемика с Яном Вассерманом. Валентин Катаев двуликий Янус — юдофил и черносотенец. Осуждение повести Катаева еврейской средой. Наша встреча с Михаилом Горбачевым. Мое выступление. Девятый вал русско-еврейской полемики. Клевета и ложь о якобы готовящихся погромах. Властолюбцы идут ва-банк.
Развязка 1991 года. Поиски русской идеи

После 1982 года мною все чаще и чаще овладевали предчувствия какой-то грядущей катастрофы, должной случиться со страной и со всеми нами. ...Я с ужасом чувствовал, что устои нашего советского государства шатаются, слышал подземные толчки, глухой пока еще скрежет несущих конструкций и мучительно соображал, что делать, как и чем воспрепятствовать разрушению жизни. Скорее всего наше государство, наша идеология, — думал я, — возникли на двух опорах, покоятся на двух полюсах — на еврейской, мощно организованной воле к власти и на русском тяготении к всемирной справедливости. В самом начале обе силы делали одно дело — разрушали старую тысячелетнюю Россию, но со временем их векторы расходились все дальше и дальше друг от друга... Обе силы присутствуют в глубине жизни и сегодня. Но противоречия между ними нарастают, напряжения накапливаются, и землетрясения нам не миновать.

343

Когда я начал смутно понимать подобное положение вещей, то все события, которым раньше не было объяснения, как шахматные фигурки на доске, находили свое место: появление статьи партийного идеолога А. Н. Яковлева, странная игра в кошки-мышки с диссидентами, пена вокруг "Метрополя", реакция власти на дискуссию "Классика и мы"...

Догадки мои в те годы приблизительно строились так. Значит, раскол нашей жизни, крушение партийной идеологии и развод с еврейством неизбежны. Мы, русские, своей коммунистической партии, видимо, создать не успеем. История не даст нам для этого времени. Идея социализма на ближайшее время, по крайней мере, скомпрометирована антисоветской частью самой партийной верхушки. Инициативу можно перехватить, лишь опираясь на то, что условно называется "национальным самосознанием". Путь опасный, ибо он тоже на первом этапе разрушителен для многонационального государства. Однако другого пути нет: партийная верхушка сама разрушит партию, сама угробит социализм, сама предаст многомиллионную партийную массу — а пока есть время для организации сопротивления. И если уж идти в контратаку, то все силы надо направить на дискредитацию "детей XX съезда", ратующих за "ленинские нормы жизни", тайных наследников Троцкого и Бухарина, Каменева и Зиновьева. Надо убедить общественное мнение, что нынешние функционеры — яковлевы, арбатовы, бовины, фалины, бурлацкие, лацисы опасны, что диссиденты типа Литвинова, Якира, Копелева, Агурского и близкие к ним Окуджава, Аксенов, Шатров, Боннер — фанатичные потомки своих отцов, жаждущие исторического реванша. Подготовить для грядущего отступления окопы и траншеи национальной обороны, объяснить замороченным людям, что сталинская солдатско-принудительная система была исторически неизбежна для спасения страны, успеть доказать, что Россия в той степени, в какой это было ей нужно, сумела переварить социализм, приспособить его к народным нуждам и что лишь

поэтому он, социализм, получил смертный приговор, "вышку" от трибунала "мирового сообщества" и его агентов влияния, находящихся на вершинах власти в Кремле и на Старой площади...

А если уж у нас не хватит сил и времени русифицировать партию и сохранить советскую государственность, а может и не хватить! — наши враги пронизательнее и организованнее нас, — то единственный наш реванш, единственный плацдарм для будущей борьбы (может быть, уже не для нас, а для русских людей другого поколения) — это написать правду обо всем...

344

О вождях революции, о расказачивании, о русофобии двадцатых годов, о судьбах Есенина и Клюева... Надо издать антологию крестьянских поэтов, написать книгу в ЖЗЛ о Есенине, вырвать из исторического небытия имени Алексея Ганина, Пимена Карпова, Ивана Приблудного...

Осмыслив все это, я бросился в историю и публицистику. Сколько статей было написано за десятилетие с 1982-го по 1992 год, сколько копий сломано, сколько книг издано, сколько нервов потрачено, сколько читательских писем получено, сколько восторгов, похвал, оскорблений, наветов пришлось перенести — не счесть.

1982 год — "От великого до смешного" — статья о классике и о Высоцком, грандиозная дискуссия после нее... 1984 год — "Что тебе поют" — статья о массовой культуре, сотни полученных читательских откликов; 1986 год — "Пища? Лекарство? Отравы?" — яростная полемика с читателями, "pro — contra", открытый бой за русскую культуру с привлечением читателей-союзников; 1986 год — "Избранное" Николая Клюева в Архангельском издательстве (в Москве трудно было издать такую книгу); 1987 год — публикация в "Новом мире" великой клюевской "Погорельщины", издание антологии крестьянских поэтов "О Русь, взмахни крылами" с биографическими справками, в которых наше русское издательство "Современник", возглавляемое умеренным патриотом Леонидом Фроловым, запретило обнародовать, как и где большинство из них нашли свою смерть... А публикации целого цикла статей в "Молодой гвардии" и "Нашем современнике" — "Все начиналось с ярлыков", "Поэзия пророков и солдат", "Клевета все потрясает", "Палка о двух концах"... И, в конце концов, издание в Вологде однотомника Алексея Ганина, сестер которого я разыскал в Архангельске...

Боже мой, сейчас сам себе поверить не могу, как у меня на все хватало сил: писать, пробивать в издательствах книги, печатать, выдерживать яростную хулу со страниц "Огонька", "Литературки", "Московских новостей", "Знамени"... В 1990 году уже невозможно было все эти огнедышащие публикации издать под одной обложкой в Москве. Родные мне издательства были разорены и обнищали, в "демократические", неизвестно откуда получавшие средства, соваться было бесполезно, и я отослал рукопись в далекий Саратов, моему хорошему знакомому из саратовского издательства — Геннадию Сидоровнину. Она и вышла в 1990-м году книгой под названием "Не сотвори себе кумира".

Однако эта глава не о "себе любимом", а о нашем великом

345

читателе, которого мы потеряли вместе со страной. Я хочу как можно больше внимания уделить ему не потому, что лестно сердцу литератора перечитывать похвалы по поводу стихов и статей (проклинаящих меня и негодующих писем я тоже получал немало и также буду щедро цитировать их), а потому, что такого феномена, как вымирающий ныне на наших глазах читатель, второй раз в мировой истории уже не появится. Его исчезновение можно сравнить разве что с крушением цивилизации древних египтян или ацтеков, с погружением в воды Мирового океана Атлантиды, с вырождением античного человека Древней

Греции или сурового католического европейца времен раннего средневековья. Читатель этот представлял собой, как правило, тип русского человека советской эпохи, с его откровенностью и доверчивостью, требовательностью и верой во всемогущество слова, с нестяжательством и "вселенской отзывчивостью", с его славянской чувствительностью и русской истовой тягой к духовности.

Когда начались у русской литературы такие бескорыстные, почти родственные отношения с читателем? Когда читательская воля стала существенным и естественным продолжением писательских судеб? Ни при Пушкине, ни при Лермонтове, ни при Некрасове подобной связи еще не было. В их полных собраниях сочинений есть переписка с писателями, просто с друзьями, с людьми власти, с цензорами, с родными и близкими, но переписки с неведомыми читателями, в сущности, нету. Первый, кто понял всю серьезность этих отношений, кто стал ссылаться на читательские письма, спорить с ними, опираться на них, пользоваться ими как своеобразными результатами социологических опросов, включать их в свой "Дневник писателя", был Федор Михайлович Достоевский. Но он был скорее исключением, нежели правилом. Переписка с читателями Блока и Чехова — весьма скудна. Маяковский и Есенин также не придавали ей серьезного значения. К тому же в годы гражданской войны и разрухи обычным людям не до чтения было, не до писем. Да и книги выходили мизерными тиражами. Впрочем, не до личных библиотек было нам и в годы напряженного строительства, сверхчеловеческих усилий по созданию новой цивилизации, и в годы Отечественной войны, и не меньшего, нежели в тридцатые годы, напряжения всех народных сил послевоенных лет.

Не было в ту эпоху личного разнообразия и богатства жизни. Потому-то большой переписки с читателями не было ни у Ахматовой, ни у Твардовского, ни у Заболоцкого, ни у Смелякова. Однако эти поэты глубоко чувствовали и понимали

346

естественные отношения человека творящего и человека, питающегося творчеством. Вспомним полные уважения к читателю и сознания своего долга перед ним — при неизменном сохранении своего суверенитета — стихи Анны Ахматовой:

А каждый читатель, как тайна,
Как в землю закопанный клад.
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.

В этой таинственной, бессловесной, но всегда ощущаемой стихии главная надежда нашего бессмертия:

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят...
За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной...
Там исповедь льется немая,
Беседы блаженнейшей зной.

Золотые времена, одно воспоминание о которых вызывает столько чувств — и гордости, и горечи, и разочарования, и надежды... И все же нельзя терять веру в бессмертие живой читательской души, как бы она ни была сегодня затуркана житейскими тяготами и оголтелым господством циничной и бездуховной

культуры. Такое безверие — гибель для творца. Ахматова в самые тяжелые времена не теряла веры:

Наш век на земле быстротечен,
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

Не терял этой веры и Александр Твардовский, хотя знал цену читателю-современнику, — вспомним хотя бы суровые строки о том, что читатель бывает

И крайним слабостям потатчик,
И на расправу больно скор.

Но тот же Твардовский, думая о читательской любви к поэту, являющейся неким черновиком любви народной (хотя этот черновик не всегда переписывается временем набело), в итоге все-таки пишет с исповедальной страстью:

347

И ради той любви бесценной,
Забыв о горечи годов,
Готов трудиться ты и денно
И ночью —
Душу сжечь готов.

Свою, конечно же. Не читательскую.

Все эти строки написаны в суровые времена, когда если не молчали музы, то читатели уж точно молчали, потому что все еще не научились писать письма своим поэтам или потому, что у них еще не было сил и времени для размышлений и писем.

Отзывчивый и разговорчивый читательский пласт окончательно сложился в нашей стране лишь в первое десятилетие спокойной, уверенной, в основном материально обеспеченной жизни — где-то с 1955-го по 1965 год. Именно тогда люди стали собирать библиотеки, покупать хорошие и недорогие книги, выписывать множество журналов и газет, у них появилось время и силы для чтения, размышления и для разговора с Валентином Распутиным, с Василием Беловым, с Федором Абрамовым, с Юрием Бондаревым. Но буду справедливым — и с Евтушенко, Вознесенским, Окуджавой, Слуцким, Юрием Трифоновым. Читателей хватало на всех.

Иногда в те годы мне становилось даже страшно за то, что мои читатели так доверяют мне, просят советов, как жить и что делать. Ну разве это наше дело слушать исповеди, отпускать грехи, отвечать на мировые вопросы, становиться, не желая того, в позу учителей жизни? Но тем не менее я всегда чувствовал, что читатели хотят видеть меня в обликах то ли священника, то ли учителя, то ли борца за права человека, что мне они доверяют больше, нежели самим себе.

Помню, однажды, вернувшись из северного иркутского села Ербогачён, где был на охоте, я написал стихи, а потом и очерки о жизни таежных людей, об их нравах и судьбах, и вдруг получил письмо от Наташи Л. — инженера-программиста из Иркутска. Она просила у меня разрешения и помощи для того, чтобы проехать по "моим местам", встретиться с героями моих стихотворений, словом, как бы пожить частью моей поэтической жизни. Я, конечно, не дал благословения на этот сумасбродный шаг. Но у нас началась интереснейшая переписка, которая стала нужнее мне, нежели ей, потому что у Наташи обнаружился удивительный поэтический вкус — ну, как у обычных людей, не занимающихся музыкой, бывает абсолютный музыкальный слух, более

совершенный, нежели у иных композиторов. Размышляя о моих стихах, она открывала в них достоинства, о которых я не подозревал, и недостатки,

348

которых я не видел. Иные второстепенные для меня самого стихи после ее писем вдруг обретали иное значение, иную глубину. Ее суждения были столь же тактичны, сколь справедливы, и не раз я прислушивался к ним, поправлял и улучшал строки и строфы, казавшиеся мне ранее совершенными.

Из писем Наташи Л. 22.11.81 г.

"Первое стихотворение, которое привлекло мое внимание в Вашей новой книге, было:

*Одиночество — экое благо!
Никого, только ты и судьба.
Только темная ночь да бумага,
да фонарь на вершине столба.
Только тени, любимые тени—
словно ими наполнена мгла...
Я спешу на свидание с теми,
кто, закончив земные дела,
обживает летеиские роици (какая строка!),
где снежинки бесшумно парят
и откуда их светлые очи
в мою душу бесстрастно глядят.*

Оно как-то очень точно описывает мое состояние.

Вы знаете, в ту ночь, как я улетила в командировку, я пыталась переделать стихотворение так, как мне нужно было. Куда там! Слова вывертываются, и выскальзывают, и не хотят ложиться в это воистину прокрустово ложе (уж это-то Вам известно, наверное, гораздо лучше, чем мне)..."

"Ваши стихи постоянно окружают меня (если можно так сказать), одни приближаются, другие отдаляются — словно водят хоровод. Вот в Минусинске меня сопровождало одно Ваше стихотворение. В нем каждое слово и каждая строка удивительны.

*Дай руку, дай милую руку,
Пойми, что нельзя одному
Кружиться по вечному кругу,
Впадая из света во тьму.*

*Я руку твою поцелую,
Забуду в ладонях твоих,
Что мчимся мы напропалую
В кольце катастроф мировых.*

*Нет, вы представляете — "забуду в ладонях твоих!" — я слов не нахожу!
Если бы не слово "напропалую", которое*

349

огрубляет это очень нежное стихотворение, я могла бы считать его одним из лучших".

"Покая была в командировке, у меня как-то болела душа за Вас. Особенно во вторник и среду... У Вас там ничего не случилось?"

"10.03.83 г. Многие Ваши стихи помогают мне жить. (А я отвечал ей, что мне помогают жить ее письма. — Ст. К.) И чего я совершенно не выношу, так это пародий на Вас. Я даже как-то хотела написать А. Иванову, да и некогда, и стоит ли? С него ведь как с гуся вода!"

Александр Иванов, подписавший в октябре 93-го письмо с требованием репрессий против русских писателей-патриотов, недавно помер. Его начинают забывать, а может быть, и забыли уже навсегда. Его пародии, бывшие примитивным и грубым орудием телевизионной политической борьбы в годы перестройки, канули в небытие, как будто их и не было, как и популярной среди обывательской демократуры передачи "Вокруг смеха"...

В моей же памяти осталась лишь одна эпиграмма Анатолия Передреева на Александра Иванова, может быть, самая кратчайшая в мире: "Глист — пародист"... В нее как бы "вмонтировано" слово "паразит" (глисты ведь паразиты), вскрывающее всю несамостоятельную паразитическую сущность пародистов всех времен и народов...

Из письма Наташи Л. 20.07.86 г.

"Прочла грязную статью в "Юности" № 3 и сразу подумала о Вас. Мне хочется как-то утешить Вас и защитить. Я написала в "Юность" письмо, в котором удивлялась, как писания А. Мальгина увидели свет, т. к. там все неправда — передергивания, фальшь и хамство".

Этим письмом Наташа помогла мне в очень трудную минуту: спор между мной и "Юностью" разгорелся после того, как я опубликовал в "Нашем современнике" статью "Что тебе поют", где убедительно доказал, что фанатичные поклонники Высоцкого, устраивая сборища возле его могилы, затоптали находившуюся рядом могилу майора Петрова. У меня были фотографии затоптанной могилы и во время ее существования, и фотография этого места после ее исчезновения. Тем не менее "Юность" обвинила меня в клевете, в зависти к Высоцкому и даже в том, что чуть ли не я сам устроил инсценировку с могилой майора Петрова.

История эта имела весьма драматическое продолжение. Мой сокурсник по филфаку и соперник по литературной жизни

350

критик Станислав Рассадин глумливо повторил в той же "Юности", что я выдумал могилу майора Петрова. Шел 1992 год, когда мы, патриоты, уже были отрезаны от самых многотиражных газет, от телевидения и надо было искать эффективные и необычные формы сопротивления. Я написал в газету "Московский литератор" письмо, в котором потребовал от Рассадина извинений, в противном случае пообещал смыть оскорбление пощечиной. Он не извинился...

Через полгода я встретил клеветника у писательской поликлиники. Он шел мне навстречу. С упавшим сердцем я понял, что нужно исполнять обещанное, что другого случая не представится, и, когда мы поравнялись, моя ладонь звучно легла на его ланиту. Он отпрыгнул, как толстый кот, заверещал, зашипел на всю улицу нечто нечленораздельное, но было уже поздно. Возмездие совершилось. Я, чтобы поделиться опытом, как надо наказывать клеветников (а в то время оскорбления сыпались на нас с разных сторон), опубликовал информацию о приговоре, приведенном в исполнение, в газете "День" и вскоре получил из Ясной Поляны от читателя Сергея Романова письмо: "Я не поклонник Вашего поэтического таланта, но я в восторге от Вашей гусарской пощечины. Желаю Вам здоровья и мужества".

Так и Наташа Л. утешала меня, как могла:

"Не принимайте этого близко к сердцу, мало ли что где-то и кто-то о нас наговорит? Так ведь сплошное вранье... Собака лает — ветер носит. Да! Как-то видела Вас по телевиденью на вечере, посвященном Н. Рубцову, слушала Ваше выступление и радовалась, когда Вам преподнесли цветы — единственному, между прочим".

Из письма от 25.04.87 г.

"...достала пластинку, чтобы услышать Ваш голос и Ваши стихи:

*Родина встречает гололедом,
Нежной стужей, золотым народом...*

("Золотым"? Вы уверены? М-да!)

*Грубая правда и нежные сны —
Лишь бы в пристрастные руки.*

*И вновь подумала о том, как страшно выпускать книгу в мир и стоять
распятому перед толпой".*

351

Как раз в это время я напечатал статью "Пища? Лекарство? Отравы?" — о массовой культуре, о ее грязном тоталитарном шествии по миру и по России. Словом, вызвал огонь на себя, поскольку речь в статье шла о кумирах — о Высоцком, об Окуджаве, о Евтушенко, о Пугачевой. Натиск собратьев по перу, обслуживавших этот клан, и поток читательских писем, яростно защищавших своих кумиров, был таков, что поначалу я растерялся. Меня не могло утешить то, что значительная часть читателей встала на мою сторону. Я видел, что если общество так глубоко расколото, то ничего хорошего этот раскол не сулит ни писателям, ни государству, ни народу. Это был грозный и

зловещий симптом.

— Да бросьте упрекать меня в невежестве, в зависти к Высоцкому, в тщеславии, — хотелось мне прокричать в лицо многоликой, вернее, безликой силе, ополчившейся на меня. — Я сам увлекался блатными песнями этого талантливого юноши, я сам вырос в послевоенное время на волнующих русское сердце словах и сценах из нашего вечно бессмертного шлягера "Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая", я сам аж до тридцати с лишним лет не раз утешал душу блатными песнями знаменитого барда: "Их было восемь", "Только не порвите серебряные струны", "Протопи ты мне баньку по-белому"... Но нельзя же быть вечным недорослем, но ведь нельзя же так легкомысленно кощунствовать, как это делали в прессе тех лет апологеты Высоцкого:

"Диапазон его голоса, который кое-кто считает ограниченным, превышает две с половиной октавы — больше, чем у Шаляпина. Это немыслимо большой диапазон и при этом какая ровность и органичность звучания" (композитор В. Дашкевич, "Советская культура", 28.02.1987 г.).

"Высоцкий создавал такую магнитофонную культуру, структуру которой можно лишь сравнить со структурами, создаваемыми в свое время Пушкиным и Ломоносовым" (поэт А. Еременко, "Юность", № 4, 1987 г.).

"Мы отмечаем юбилей двух великих бунтарей человечества: Высоцкого 50-летие и Байрона 250-летие" ("Московский комсомолец", 20.01.1987 г.)

К этому можно лишь добавить афоризм Станислава Говорухина, опубликованный в те же дни: "Кто не понимает и не любит его — либо дебил, либо черносотенец".

Ну не будем смешными, надо и честь знать... Должна же быть хоть какая-то иерархия ценностей!

Вот в чем был смысл моего бунта, столь возмущившего всяческого рода карякиных, рассадиных, мальгиных и прочих

352

кукловодов и дрессировщиков наивной и доверчивой русской публики. Впрочем, в те времена я не знал всего о Высоцком, что узнал много позже. Я всем своим жизненным и эстетическим опытом понимал, что эмоциональное воздействие его песен на нормальных среднестатистических слушателей неестественно по своей силе, что в это исполнение введена некая неведомая потребителю компонента,

действующая на подкорку. Лишь позднее я узнал, из воспоминаний врача Леонида Сульповара, лечившего Высоцкого, о сути этой таинственной компоненты. Если говорить открыто, то суть ее — наркотическое состояние творца, его психики, его нервной системы и во время творчества, и особенно во время исполнения.

"От меня Володя долго это скрывал, — вспоминает Леонид Сульповар. — Я только в 1979 году догадался, сам понял, что дело тут не в алкоголе, а совсем в другом... И для меня это было очень грустным открытием — с наркотиками бороться куда трудней".

С Владимиром Высоцким я встретился лишь однажды в необычных обстоятельствах. Хоронили Твардовского. Гроб с телом поэта стоял на сцене Большого зала Центрального Дома литераторов.

Помню, как к гробу подошел Солженицын, цепко вгляделся в лицо покойника, перекрестил его, склонился, поцеловал... К гробу выстроилась медленная очередь желающих попрощаться с поэтом. Стоял в этой очереди и я... Вдруг что-то заставило меня оглянуться. Оглянулся и встретился взглядом — глаза в глаза — с молодым человеком, стоявшим за мной. Он был невысокого роста, с плотной скобкой волос, с острым внимательным взглядом, в желтой кожаной куртке. Секунду-другую мы почему-то внимательно глядели друг на друга. Позже я понял, что это был Владимир Высоцкий.

Лет через десять после его смерти я прочитал размышления Галины Вишневской о Высоцком и его поклонниках. Пусть их прочитают те люди, которых в свое время возмущали мои суждения о Высоцком, может быть, мнение знаменитой диссидентки будет для них более весомо, нежели мое...

"Естественным оказалось появление в 60-х годах Владимира Высоцкого с его песнями и блатным истерическим надрывом. Талантливый человек, сам алкоголик, он сразу стал идолом народа, потонувшего в дремучем пьянстве, одичавшего в бездуховности. И теперь, когда собирается компания друзей, будь то молодежь или убеленные сединами интеллигенты, они... потомки Пушкина, Достоевского, Толстого, не спорят о смысле жизни, а, выставив на стол бутылки водки, включают магнитофон с песнями Высоцкого:

353

Затопи ты мне баньку по-белому-у-у-у...

И, проливая пьяные слезы, они воют вместе с ним". Ей-богу, я, при всей своей жесткости, относился к творчеству Высоцкого и к его поклонникам куда более душевнее и человечней.

Но мне и этого не прощали. Однажды во время какого-то публичного выступления получил такую записку: "Андрей Мальгин в своей статье в "Юности" утверждает, что ко времени Вашей второй публикации о могиле Высоцкого Вы знали о том, что все написанное там — клевета. Если это так, то Ваше место на скамье подсудимых".

Андрея Мальгина перед тем, как он появился в Москве, исключили из Варшавского университета, как говорили в литературной среде, за гомосексуализм и фарцовку. Но откуда было наивному автору записки знать, что он верит на слово мелкому и грязному дельцу, выдававшему себя за критика и напаявшему на себя маску борца за демократию?

...Письма, осуждающие меня, были разными. Одни читатели были уверены, что партия одернет зарвавшегося литератора. Такие письма писались под копирку в ЦК КПСС, в "Правду", в "Литгазету", в Союз писателей:

"В статьях Куняева допущена целая цепочка ошибок, которые из литературно-полемических и морально-этических перерастают в политические".

"Служит ли это выполнению решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК

КПСС? "

"Автор забыл или не знает, что метод "приклеивания ярлыков " давно осужден нашей партией, нашим народом ".

"У нас в стране с такой высокой культурой и общественно-политической сознательностью масс С. Куняев обнаружил массовый культ и фанатизм ".

"Активность масс — это великое завоевание Октября, социализма, марксистско-ленинской политики нашей партии и принижать, а тем более называть фанатизмом и невежеством нельзя позволять никому. Убедительно прошу рассмотреть мое письмо и принять соответственные меры по поставленным вопросам.

Логвинов Валентин Иванович, 56 лет,
начальник лаборатории НИИ,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник,
мастер спорта по альпинизму,
пропагандист ".

354

Я не знаю, жив ли сейчас мой ровесник, сделал ли он карьеру при новой власти, расстался ли со своими марксистско-ленинскими убеждениями, но думаю, что он был одним из того племени кандидатов и завлабов, которое породило Шахрая, Гайдара, Бурбулиса, Старовойтову, ставших вершителями судеб великой страны и великого народа после августовского фарса. Таким людям я даже не отвечал. Отвечал наивным юношам и девушкам, невольным "хунвейбинам" приближающейся перестройки.

Из письма Володе Н. 1986 г.

"Уважаемый Володя! В своей статье "Что тебе поют " я писал не только о Высоцком. Ему (вернее, его почитателям) посвящены лишь две страницы из пятнадцати. Но остальное Вас и Ваших единомышленников не интересует. Вот это и есть слепота фанатичной любви. Ради Бога, отдайте своему кумиру всю душу, но смотрите, как бы это плохо не кончилось для Вас. Вспоминайте почаще библейскую истину: не сотвори себе кумира!

Вы с одобрением и восхищением пишете о том, что люди кончали с собой у могилы Есенина. Я люблю Есенина. Он великий поэт. Но культ, доводящий до самоубийства, отвратителен и безбожен. Насколько надо не ценить себя, вернее, не ценить в себе "образ Божий", чтобы в порыве фанатизма расстаться с жизнью, как с окурком сигареты.

Упрекая меня в том, что я не сохранил могилы майора Петрова, Вы сваливаете все с больной головы на здоровую. С одичавшим стадом поклонников бороться невозможно. Они затоптали могилу — пусть они и восстанавливают. Теперь о резкости моей статьи. Я имею право на резкость, поскольку пишу о делах литературных, а литературе я отдал 30 лет жизни. Вы же права на резкость еще не заработали, так что зря написали мне письмо в таком тоне... "

Вот одна из типичных моих встреч с молодыми людьми тех лет.

Настойчивый телефонный звонок. Это Альбина Максимова. Та, что из Алдана прислала мне письмо, где писала, что "кроме Высоцкого, ни одному поэту не верит". Оказывается, она уже переехала в Москву, работает телефонисткой и предлагает мне встретиться с ней и с ее друзьями. Поспорить. Потому что переписка по почте и телефонные разговоры — это "не то".

355

— Я и мои друзья хотим с вами встретиться лично. Мы надеемся, что докажем вам свою правоту, переубедим вас, уьем, так сказать, интеллектом!..

Ну, когда девушка вызывает мужчину на дуэль — отказываться неловко. Через несколько дней мы встретились. Я с любопытством вглядывался в лица

"младого", но немного знакомого племени. Десятиклассник, студент, телефонистка, рабочий, военнотружущий. Простые русские лица. Одни молчат. Другие бросаются в спор со мной, с художником Алексеем Артемьевым, прозаиком Юрием Доброскокиным, поэтом Олегом Кочетковым.

— Ну, хорошо, вы не согласны со мной, вам не нравится то, что я написал о вашем кумире. Но откуда такая ярость? Всего лишь одно мнение прозвучало за последние годы вразрез общему хору похвал: вы сами мне говорите — Высоцкого до небес возносят статьи Крымовой, Карякина, Лавлинского, стихи Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы. Неужто вам этого недостаточно? Да что там говорить! Мне один любитель прислал на семи страницах список рецензий, работ, интервью всяческих газет и журналов — центральных, областных, комсомольских о Высоцком, — так читайте их и радуйтесь. Одних этих материалов сто семьдесят пять! Вот поглядите, библиография со мной!

Деловой серьезный десятиклассник взял сколотый скрепкой список и небрежно пролистал его:

— Ну, в этой статье всего лишь несколько слов, в этой говорится о нем только как об актере, в этой о гастрольях Театра на Таганке... Мы все это знаем, читали...

— Альбина, вот вы написали мне, что, кроме как Высоцкому, ни одному другому поэту не верите. Неужели и Николаю Рубцову не верите — это один из самых искреннейших современных русских поэтов?

Молчание. Недоуменные выражения лиц. Мои собеседники переглядываются, как бы спрашивая друг друга — а кто такой этот Николай Рубцов?

— Неужели никто из вас не слышал о Рубцове? Нет, оказывается, никто из них не слышал о нем.

— Ну, хорошо, а кто из вас читал Василия Белова? Переглянулись. Пожали плечами. С досадой посмотрели

на меня. Но ни один из них не вспомнил ни одной книги Василия Белова.

— А что написал Виктор Астафьев? — я начинал уже задавать вопросы с плохо скрываемым раздражением. — Виктор Астафьев, крупнейший писатель военного поколения,

356

лауреат Государственной премии, чьи книги переведены на десятки языков мира!

Нет. Они ничего не слышали об Астафьеве.

— А Валентина Распутина знаете? Молчание.

— Юрия Кузнецова? Молчание.

— Федора Абрамова? Молчание.

— Владимира Соколова?

На этот раз молчание было нарушено самым темпераментным из спорщиков, рабочим парнем:

— Это тот самый Соколов, что стихи памяти Высоцкого написал?

Пришла пора недоумевать мне. Споря и перебивая друг друга, мы с трудом выяснили, что мой оппонент имел в виду не Владимира Соколова, а Владимира Солоухина, у которого вроде бы действительно есть стихи памяти Высоцкого.

— Ну а того же Солоухина — "Владимирские проселки", "Капля росы", "Черные доски", "Письма из Русского музея" — кто-нибудь читал?

Молчание...

— Почему же вы ничего не читаете?

— А нам не надо. Нам Высоцкий сказал все — всю правду, обо всех и для всех! — заявил один из них — десятиклассник, неулыбающийся юноша с холодным взглядом, с полным убеждением своей правоты, и в глазах остальных я читал полное согласие с его словами: да, сказал все, обо всех и для всех, и потому любое сомнение в этой истине — святотатство, кощунство, подлежащее

осуждению...

После статьи "Что тебе поют" мне вдруг позвонили из отдела культуры ЦК КПСС.

— Заведующий отделом Василий Филимонович Шауро прочитал Вашу статью и просит Вас придти к нему на беседу.

В громадном кабинете Шауро, куда редко когда попадали писатели (да еще по такому мелкому поводу, как публикация какой-то статьи!), я пил чай с конфетами и сушками и целый час выслушивал осторожные советы и поучения могущественного чиновника. Кстати, он был даже симпатичен в своих намеках на то, что он сам тоже недолюбливает эту массовую культуру, что ему куда больше по душе народная музыка.

— Я ведь, Станислав Юрьевич, когда баллотируюсь в Верховный Совет от Белоруссии, всегда еду на встречу со

357

своими земляками и всегда в сельских клубах слушаю ансамбли народных инструментов и знаколюсь с самодеятельностью... А наши столичные звезды — народ сложный. Вот недавно встречался с певцом Львом Лещенко. Неприятности у него были. Из-за границы возвращался — на таможне задержали, что-то незаконное хотел провезти. Ну, словом, запутали парня. Пришлось спасать...

Больше всего меня уязвляли письма, в которых разгневанные, но искренние молодые люди подозревали меня в том, что, затеяв эту свару, я рассчитываю сделать свое имя более известным, популярным, что мной движут зависть и ревность к более удачливым или более талантливым поэтам и бардам. Но мной двигало нечто другое. А что именно, наверное, будет понятно из моего письма Юрию Бондареву, написанному мной в отчаянье после публикации моей первой статьи в "Литературке", в которой я позволил себе не согласиться с общественным мнением.

"Дорогой Юрий Васильевич!

Я слышал, что Вы заинтересовались дискуссией в "ЛГ" и вроде бы собираетесь сказать свое слово. Было бы замечательно! Судя по Вашим выступлениям на съезде писателей, в "Комсомолке" и т. д., мне кажется, что Вы в какой-то степени поймете мой пафос и мою боль. Но моего имени не хватает, чтобы убедить людей.

С Вашим же авторитетом (нужно властное слово Шолохова, Леонова, Ваше), я думаю, можно хоть как-то отрезвить души, пораженные массовым психозом, что явствует из читательской почты (только на одну мою статью пришло около тысячи откликов). Я думал, что борюсь с дурным вкусом, а вышло, что замахнулся почти на религиозное чувство. Далеко мы зашли...

Впрочем, в почте есть и толковые, умные, трезвые письма. Посылаю Вам на всякий случай копии нескольких. Может быть, они натолкнут Вас на какую-нибудь мысль первоначальную и рука потянется к перу...

Юрий Васильевич! Леса и воды защищаем, а умы человеческие оставляем на произвол судьбы! И всяк, кому не лень, "соблазняет малых сих".

Впрочем, леса и воды тоже спасти не можем. Читал я решение о продовольственной программе, дошел до строчки о повороте северных рек, вспомнил Вашу речь на съезде, покойного негодяя академика Федорова и закручинился.

Повернем реки и поставим золотую статую, хорошо, если

358

Высоцкого, — а то Аллы Пугачевой, — вот все, что останется от эпохи зрелого социализма.

А разговор загорелся, трибуна есть, грешно упускать время — садитесь к столу письменному, Юрий Васильевич!

Ваш Ст. Куняев 25.7.1981"

Бондарев на мое донкихотское письмо не ответил и, может быть, по-своему был прав. Олимпийское спокойствие дороже. Помню, что в те дни я отозвался на его молчание таким стихотворением:

"Олимпиец, воспрянь ото сна!
Неужели не слышишь — война!
Неужели не видишь — враги!..
Олимпиец вздохнул: "Дураки!
Враждовать у подножья Олимпа?!
До меня не достанут враги,
моего не дотронутся нимба!
Всем известно, что я олимпиец,
всех времен и народов любимец!
Здесь цветет сладкодышащий лавр...
Чистый воздух... Хорошая пища...
Ну а кто из вас прав, кто не прав —
не хочу разбирать — скукотища!"
...Он заснул и дышал до утра
сверхъестественной горней прохладой.
Разбудил его стук топора.
Глянул — дом за колючей оградой.
Резервация...

Впрочем, его
так же вкусно до смерти кормили,
ну а если когда торжество,
то экскурсию к клетке водили,
где написано было, что здесь
доживает свой век олимпиец,
всех времен и народов любимец,
тот, которому слава и честь.

Что было делать? Разве что утешаться весточками от Наташи Л. из Иркутска:

"Получив множество агрессивных писем — я уверена! — Вы не впадаете ни в какие крайности, не заигрываете с читателем и не встаете таким обиженным, непонятым пророком над толпой, а проходите по самому лезвию... Где-то в начале этого года я перечитала "Мастера и Маргариту" и в отличие от юношеского прочтения была просто потрясена

359

этой вещью — и вдруг почти сразу же случайно попала на фильм "Фуэте", где на Гафте с ужасом узрела белый плащ с кровавым подбоем Понтия Пилата, и все это действо показалось мне настолько чудовищным и отвратительным, что я даже заболела".

Но в ее письмах проскальзывала порой и жесткая ирония:

"А что оке Вы ничего не написали о Вашей любви к читательским письмам? Помните? (Цитирую!) "Я люблю получать читательские письма. Держишь в руках конверт и гадаешь — что там?" Те благие времена, я думаю, для Вас уже давно канули в Лету, и, может быть, именно потому, что на отсутствие читательского внимания сейчас жаловаться не приходится.

И держите письма, и гадаете, и, наверное, думаете: а не выбросить ли к чертовой матери, не вскрывая? Каждое письмо, как затаившаяся бомба, которая может в клочки разнести с таким трудом обретаемое душевное спокойствие и равновесие".

В одной из своих статей я вспомнил стихи Бориса Пастернака, сцену его встречи с кумиром юности композитором Скрябиным, и вдруг получил от

Наташи гораздо более точное и глубокое толкование этой сцены:

"Строки Б. Пастернака "О, куда мне бежать от шагов моего божества!" давно уже сопровождают меня, но я трактую их не так прямолинейно, как Вы: "Поэт бежит не к нему, а от него ". Яне вижу убегающего поэта, а, скорее всего, застывшего человека, не верящего самому себе, что он слышит, наконец, шаги того, о ком все его помыслы. И мечутся, бегут, обгоняют и убегают — мысли, которые в эти моменты противоречивы и мучительны: боязнь того, что божеству не до тебя (а этого вынести невозможно — нельзя оставаться, но и уйти нет сил!), и того, что ты не сможешь, как надо, ответить, если к тебе обратятся (и опять не спать всю ночь, стыдиться и казниться из-за своего убожества), и беспокойство за обожаемого человека: как он? что он? и еще, и еще, и еще... " Вот блестящий анализ кусочка литературной и душевной жизни, сделавший бы честь любому литературному критику. Вот с какими читателями душа в душу мы прожили нашу жизнь.

360

Из писем Наташи Л.:

"Я думаю о том, что в сущности таким, как Вы, совершенно ни к чему читательский лепет одобрения или порицания.

В наших с Вами отношениях я иногда сама себе напоминаю того мужика (помните, о нем писал А. Твардовский), который сидит рядом с другим, колющим дрова. Этот колет, а тот сидит рядом и хекает в такт. И тоже вроде бы приближается к Делу. А вся работа достается колющему.

И я думаю — что Вам мои "хекающие" письма... У меня вдруг разом кончились все слова. А уже утро. Солнце и небо синее, какое бывает только весной.

Как бы мне этой синью зашить

Износившейся жизни прорехи.

Помогай Вам Бог

Нет, она была права. Ее письма помогли мне и выживать и жить. Мы не супермены и не святые. За пределами всего, что написано нами, выйдя из волшебного гоголевского мелового круга, мы становимся такими же ранимыми и беззащитными, как и наши читатели...

И такая переписка, длившаяся годами (не переписка, а целые эпистолярные романы!), как с Наташей Лебедь, была у меня с Маргаритой Жаворонковой — библиотекарем из Рязанской области, с медицинской сестрой Евгенией Кошелевой из Алтайского края, с учителем из Брянской области Дмитрием Гавриленко, с лаборантом Виктором Тимченко из Томска и со многими, многими другими. Я не знаю, живы ли они сейчас, но если кто-то из них прочитает эти строки, то пусть знает, что я был счастлив, получая их письма, что они были моими верными друзьями минувших лет, что я всегда буду помнить о них, как о людях ума, совести, доброты, природного вкуса и скромного русского величия. Придирчивый критик может заподозрить, что эти читатели были моими идейными единомышленниками. Да, были и такие, но большинство просто любили поэзию.

Ну а где еще, в какой стране, в какой литературе поэт может получить от читателя такое письмо?

"Спасибо за душевные стихи, помещенные в "ЛГ". Из всей рубрики от 11 июня только Ваши и вырезал. Мне 66 лет. Всю жизнь собираю стихи, но те, какие мне нравятся, я клеиваю

361

в спецтетрадочку. Внучка говорит: "Дедушка, ты умрешь — я возьму твою тетрадочку?" Стихи, как цветы, только они никогда не вянут и всегда они милы и дороги, но только такие... Ну, вроде тех, что писали Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин. Я парализован недавно, но немножечко хожу, не теряя интереса к жизни. Пришлите мне что-нибудь свое — другу-читателю...

*Борис Королев,
бывший историк, ветеран войны.
Тульская обл., Первомайский район,
деревня Телятинка.
12.06.75 г."*

На адресной стороне открытки надпись: "Москва, Цветной бульвар, 30. Передайте поэту Станиславу Куняеву. Очень прошу об этом. Печатаю левой рукой, оттого и ошибки..."

Из редакции "Литературной газеты" письмо мне переслали, тогда, при советской власти, этот порядок соблюдался неукоснительно.

Из письма геолога Степаниды Сергеевны Медовичевой.

16.01.86 г.

"К сожалению для себя, я открыла поэта Николая Рубцова всего лишь несколько лет назад, в основном, после 'телевизионного фильма о нем. После фильма я прочла, наверное, все, что было издано. Его стихи буквально пронзили мою душу и стали как бы частью моего существования..."ⁱ

Вот она, суть наших читателей: то, что мы писали, становилось как бы частью их существования. Как естественно и точно Степанида Сергеевна сказала именно те слова, которые я так и не смог найти, раздумывая о читательских душах:

"...Свое первое письмо я написала Вам, как отклик на Вашу статью "Что тебе поют", — писала долго и обстоятельно, пока не вышел 12-й номер "Нашего современника" с читательскими письмами — другие сказали многое из того, что хотела сказать я.

На многое Вы мне открыли глаза, а о чем-то я бы сказала даже резче... Писала я и о Высоцком.

После Вашей статьи я впервые из любопытства съездила

362

на Ваганьковское кладбище, так как к Высоцкому-барду (не актеру) я отношусь не просто равнодушно, а он меня раздражает своим криком-хрипом-пеньем.

Бравада какая-то для "узкого круга", который потом распространяет ее, как смелую критику наших недостатков.

Но пишу я Вам для того, чтобы по-христиански помянуть добрым словом Николая Михайловича Рубцова и сказать Вам спасибо за Ваши теплые воспоминания о нем..."

Ну, разве вот такое письмо из ныне другой страны, из Белоруссии, из села Новая Жизнь, от читателя Александра Аксенова не наполнило в те времена (начало 80-х годов, во время газетной травли) мою душу радостью и верой в правоту пути, который я выбрал?

"Зашел я однажды в один провинциальный крохотный книжный магазинчик и среди множества книг, наваленных в беспорядке на полках и под ними, отыскал Вашу — "В сентябре и в апреле". Открыл наугад — и:

*Облака плывут в Афганистан,
Туполанг течет к Афганистану...
Я еще от жизни не устал
и до самой смерти не устану...*

Кажется, простые слова, но очень душевно сказано. Купил я Ваш сборничек и выучил наизусть. До этого я любил стихи только Сергея Есенина, вторым моим любимым поэтом стали Вы ".

Где сейчас этот неведомый мне Аксенов? Молод ли он, стар? Жив ли? Если жив — низкий поклон ему за сердечное слово, поддержавшее меня много лет тому назад.

А вот еще глоток живой воды — письмо четвертьвековой давности, полученное от неизвестного мне москвича Алексея Дубинина.

"Не верьте никаким критикам с волчьими зубами. Когда Вам будет трудно или случится беда какая, вспомните, пожалуйста, обо мне, о том, что я Вам преданный читатель и люблю ту жизнь, которую Вы вдохнули в свои стихотворения.

*Гуляет ветер в камыше,
пылит разбитая дорога,
шумит река, и на душе
так хорошо и одиноко.*

363

Кто это сказал, Вы или я, потому что сказанное Вами сливается с моим личным? Я благодарю судьбу, что она свела меня с Вами. Если Вы писали, что я некоторым образом поддерживаю Вас, понимая Ваши стихи, то они еще большая поддержка для меня. Я тоже, стало быть, имею право смотреть на мир "сквозь слезы на глазах и сквозь туман души " (строчка из моего стихотворения. — Ст. К.), и Ваша поэзия оправдание для меня того, что и у меня, как у Вас, есть "мой невеликий мир, моя сентиментальность ".

Иные письма-отклики на мои стихи были настолько исповедально-драматичны, что читать их и отвечать на них было по-настоящему тяжело.

"Многое запомнилось наизусть. Но особо: "Привыкай к одиночеству, друг". Я уже много лет живу в горьком одиночестве и рыдала над Вашим стихотворением.

Вы как бы предупреждаете: каждый может оказаться в положении таком, когда придется ему слушать только бессвязное бормотание дождей и ветров. А вместе с тем, кто твердо и уверенно держится на ногах, тот вечно торопится, вечно куда-то бежит, вечно ему, по его словам, "некогда". "Некогда " — уже подменяет теперь постепенно все человеческие чувства.

Мария Романова, Москва ".

А время катилось все быстрее, письма становились все отчаяннее, люди все растеряннее и беспомощнее, судьбы разламывались на глазах, а вместе с ними хрустели в жерновах эпохи надежды и читателей и поэтов, шторм времени разносил нас в разные стороны, и мы с отчаяньем глядели вслед друг другу, понимая, что расстаемся навсегда. Но прежде чем расстаться с читателем, я бы хотел вспомнить еще один "эпистолярный роман", выпавший на мою долю.

В 1981 году я получил письмо из далекого Владивостока от поэта Яна Вассермана. Несмотря на громадные просторы страны, наша жизнь в советские времена была такова, что все мы, писатели, плохо или хорошо, но знали друг друга лично или понаслышке. Где-то встречались, либо читали стихи друг друга в наших тогда общих журналах, либо имели общих

364

друзей-товарищей, либо знакомились на обычных для тех времен совещаниях молодых, на всяческих семинарах и юбилеях. Да я сам, как помнится, раза два или три всю страну проехал с литературными выступлениями, организованными Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы и за его счет, и деньги кое-какие на семейную жизнь заработал.

Поэтому все мы знали, где кто живет, кто как пишет, а также и то, кто из нас

русский, кто бурят, а кто еврей. Поэтому, получив письмо от Вассермана, я, ни разу не встречавшийся с ним, вспомнил, что где-то на восточной окраине государства живет такой еврей сибирской породы, лихой парень, человек такого склада, которых Борис Слуцкий с уважительной иронией называл "иерусалимскими казаками". Я также знал, что в Иркутске всегда найду приют и понимание не только у Шугаева и Распутина, но и у Марка Сергеева или Сергея Иоффе, а в Красноярске у Зория Яхнина, бесталанного, но отчаянного любителя выпить и поговорить о поэзии, во Львове у Гриши Глазова, в Сталинграде у Изи Окунева. Да практически в каждом городе России, и не только России, я знал хоть одного веселого и общительного писателя-еврея. И вдруг вот такое письмо...

Впрочем, не вдруг... А после того, как я опубликовал в 1980 году стихотворение "Родная земля" — мои размышления о еврейской эмиграции.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

*Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно —
своею.*

Анна Ахматова

Когда-то племя бросило отчизну,
ее пустыни, реки и холмы,
чтобы о ней веками править тризну,
о ней глядеть несбыточные сны.

Но что же делать, если не хватило
у предков силы родину спасти
иль мужества со славой лечь в могилы,
иную жизнь в легендах обрести?

Кто виноват, что не ушли в подполье
в печальном приснопамятном году,
что, зубы стиснув, не перемололи,
как наша Русь, железную орду?

365

Кто виноват, что в грустных униженьях
как тяжкий сон тянулись времена,
что на изобретеньях и прозреньях
тень первородной слабости видна?

И нас без вас, и вас без нас убудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу: что быть должно — да будет,
вам есть где жить, а нам — где умирать...

Оно было написано в начале 70-х годов в поезде "Иркутск— Москва", когда я возвращался с охоты из иркутских северов, из милого Ербогачёна, но впервые напечатано в книге "Солнечные ночи" в 1980 году.

...По возвращении из Сибири я вскоре попал на день рождения поэта Вадима Кузнецова, где познакомился с тогдашним редактором "Комсомольской правды" Валерием Ганичевым. Под ним тогда земля горела, его убирала из "Комсомолки", по слухам, якобы за то, что где-то в бане во время застолья друзья подняли за него тост как за будущего генсека, а он благосклонно выслушал эти пожелания. Услышав во время нашей встречи несколько моих стихотворений, Ганичев срочно предложил мне напечатать их в "Комсомолке", что я и сделал. Подборка,

что и говорить, по тем временам получилась оглушительная, тем более что в ней тоже было стихотворение, нарушающее табу на русско-еврейский вопрос.

Для тебя территория, а для меня
это родина, сукин ты сын,
да исторгнет тебя,
как с похмелья, земля
с тяжким стоном берез и осин...

Я с тобою делил и надежду, и хлеб,
и плохую и добрую весть,
но последние главы из Книги Судеб
ты не дал мне до срока прочесть.

Что ж, я сам прозреваю, не требуя долг,
оставайся с отравой в крови.
В языке и в народе известно, что волк
смотрит в лес, как его ни корми.

Впрочем, волк — это серый и сказочный зверь,
защищающий волю свою.
Все давно мне понятно, но даже теперь
много чести тебе воздаю.

Гнев за гнев, коль не можешь любовь за любовь.
Так скитайся, как вечная тень,

366

ненадолго насытивший ветхую кровь
исчезающий оборотень.

Стихотворение "Разговор с покинувшим Родину" вызвало обильную почту, среди которой попадались весьма интересные письма от весьма проницательных читателей, умевших разглядывать и читать сквозь лупу не то что каждую строчку, но каждое слово, выходявшее из-под моего пера.

"Уважаемые товарищи!

В рубрике "Поэтические встречи" в номере от 12 октября с. г. "Комсомольская правда" опубликовала подборку стихов Станислава Куняева. Меня крайне удивило (и огорчило) стихотворение "Разговор с покинувшим Родину".

Стихотворение на такую острую и сложную тему опубликовано в молодежной газете (сама я, увы, уже комсомолка 40-х годов, но газету читает молодежь в нашей семье, а я люблю стихи), а начинается оно площадной руганью и весьма непоэтическими сравнениями. Ведь если автор делил с адресатом стихотворения "и надежду, и хлеб, и плохую и добрую весть", то, вероятно, знал и мать своего бывшего друга. Зачем оке оскорблять женщину, называя ее сукой? Стыдно! Ведь С. Куняев претендует на звание поэта. Впрочем, это становится сомнительным после чтения строк "Да исторгнет тебя, как с похмелья, земля с тяжким стоном берез и осин". Хотел С. Куняев уязвить своего бывшего друга, но оскорбил этими строками и землю, которую тот покинул, сравнив ее с пьяницей, страдающим от похмелья. Оскорбил и не заметил. Может быть, для автора это привычный образ?

А дальше еще хуже — автор пишет: "В языке и в народе известно, что волк смотрит в лес, как его ни корми". Что же "волчьего" было в бывшем друге С. Куняева? Его национальность? Это имел в виду автор, говоря "так скитайся, как вечная тень"? Ведь "в языке и в народе известно", что скитался "вечный жид

" — Агасфер. Это, что ли, имел в виду взбешенный автор? Понимает ли С. Куняев, что он оскорбил сравнением всех советских людей еврейской национальности и вооружил всех антисемитов? Ежели же этого не понял С. Куняев, то кажется странным, что ему не объяснил этого редактор, сдавший материал в набор.

Я написала письмо под свежим впечатлением, около месяца тому назад, не послала его сразу и раздумала было его посылать. Но вчера произошел такой эпизод. Возле дома, где живу, я, возвращаясь с работы, услышала отборный мат

367
пьяного гражданина, прогуливавшего свою овчарку. Направлен мат был по адресу рабочих аварийной машины. Невдалеке гуляли старушки-пенсионерки. Когда я попросила его прекратить ругань, он обозвал меня, в полном соответствии с "поэзией" С. Куняева, "старой сухой" и посоветовал "ехать в свой Израиль".

Я решила после этого все-таки послать это письмо и спросить у С. Куняева, хорошо ли он подумал, прежде чем разрешил печатать свой "Разговор".

Если я не получу ответа на свое письмо, то буду считать это молчание знаком согласия со всем, что написала.

С уважением

Авербух Бася Израилевна —

ветеран Великой Отечественной войны,

москвичка со дня рождения

и, надеюсь, до самой смерти, экономист, старший научный сотрудник".

Русско-еврейская тема с каждым годом все глубже, все сильнее, как клин, раздваивала общественное сознание, и все чаще и чаще я стал получать письма от читателей, негодующих на то, что поэт нарушает негласное табу и прикасается к взрывоопасному вопросу.

Многие из писем такого рода были неумными, хотя и искренними, не то что серьезное письмо (наконец-то я дошел до него!), полученное мной в 1981 году из Владивостока от Вассермана.

"Станислав Юрьевич!

Третий день сижу над Вашими "Солнечными ночами", книгой очень талантливой, лучшей из всего, что Вы написали. Впрочем, после первых же Ваших стихов я понял, что Вы настоящий поэт. Но разговор сейчас не только об этом. Я третий день перечитываю одно Ваше стихотворение, как будто растрываю рану. Причем, хочу предупредить, я не знаю, кто из нас прав. У меня есть, наверно, все, написанное Вами. Есть и "Свободная стихия". Поэтому я знаю, что рыбьей крови в полемике Вы не любите. Ну, и я ее не люблю, и поэтому можно вести разговор напрямую. Мне пятьдесят лет. До тридцати пяти я работал инструктором альпинизма в разных горных системах. С тех пор — профессиональный моряк, работаю в Дальневосточном пароходстве. Я —

368

представитель того "племени", которое "когда-то бросило отчизну". Хочу сказать, что строчкой "вам есть где жить, а нам — где умирать" Вы оскорбляете память моего отца, командира в бригаде Котовского, а в Отечественную зам. ком. 211 стр. дивизии, оскорбляете меня. Кто Вам дал право отнимать у всех, подобных мне, Родину? Ведь за кордон уезжают не только евреи. А. Кузнецов, А. Солженицын, В. Некрасов и С. Сталина евреями не были. Значит, есть причины социального, а не национального характера. Может быть, забвение этих причин привело к тенденции (и не только у Вас), когда понятием "русский" подменяется понятие "советский". Не думаю, что Ваши стихи являются выражением государственной политики.

Поэтому я решил ответить Вам стихами. Правда, аудитории у нас разные.

Вы говорите на весь Советский Союз, а я, в силу определенных причин, только с Вами. Но это меня не пугает. Потому что я говорю с настоящим поэтом".

К письму было приложено стихотворение, которое необходимо привести целиком.

ОТВЕТ СТ. КУНЯЕВУ

*И где найдешь еще такие
Березы, как в моем краю...
Я б сдох, как пес, от ностальгии
В любом кокосовом раю.*

Павел Коган

Да, я видел их резко и близко
На просторах родимой страны,
Тех, кто в кожу мне, словно редиску,
Сеял предощущенье вины.

Что, мол, держит тебя? Осторожность?
Ты чужой, ты нездешний листок,
Ты, конечно, лелеешь возможность
Гнать лошадок на Ближний Восток.

Мол, признайся, дружок мой сердечный,
Обнажив сокровенную нить:
Сможешь к звездочке пятиконечной
Дополнительный лучик пришить?

Ненавистны мне эти дебаты,
Я ответить по-русски хочу,
Ведь, как взрыв трехэтажного мата,
В переводе я не прозвучу.

369

Я снимаю рыбацкую робу,
Что под солнцем таскал, под луной,
И в ответ им свинцовую злобу
Вырываю из клетки грудной.

Ваши фразы меня не растлили,
Вашу хитрость видал я в гробу,
Мне не нужно во славу России
Дуть при всех в жестяную трубу.

Я рожден на Подоле картавом,
Я — от плоти родимой земли,
И под киевским, тихим каштаном
И отец мой, и мама легли.

Я прошел по волнам и по травам,
Я работал и дрался, как мог,
И в пролившемся море кровавом
Мой семейный течет ручеек.

Так что знайте, "дружки дорогие",
Очень четкое мнение мое:
Мне т а м не испытать ностальгии —

Здесь умру, не дождавшись ее...

Стихи слабые, но искренние и по-своему впечатляющие. Одна беда— последняя строчка, как показала жизнь, оказалась фальшива. Так же, как у Межирова — "я родился в России и умру здесь". Ян Вассерман умер не в России.

Мой ответ, естественно, не замедлил себя ждать, и между нами началась переписка, по-моему, не менее серьезная, нежели между Астафьевым и Эйдельманом.

"Здравствуйте, Ян!

Вот Вам первый вариант ответа на Ваше письмо: это стихотворение и строчка "Вам есть где жить, а нам — где умирать" имеет отношение только к тем, кто оставляет родину. Ни памяти Вашего отца, ни Вас лично она не касается. Так что излишне нагнетать страсти фразами, подобной: "кто Вам дал право отнимать у всех, подобных мне, родину? " Родину отнять никто ни у кого не может. Человек отнимает ее у себя сам. В крайнем случае, у него всегда есть выход — прочитайте еще раз эпиграф к моему стихотворению из Ахматовой ("и ложимся в нее и становимся ею — потому-то ее называем своею"). Кстати, в конкретных примерах, споря со мной, Вы не точны. Солженицын уехал не по своей воле, его "выдворили", как было сказано в официальном сообщении.

370

В своих выступлениях за границей он не раз подчеркивал эту разницу в своей судьбе по сравнению с теми, кто уехал по своей воле.

Настоящая фамилия Анатолия Кузнецова, кажется, Герчик. На этом можно было бы и закончить и еще раз повторить, что к евреям Вашего склада, ассимилировавшимся в русской стихии и культуре, мои стихи не имеют никакого отношения, так же как и стихи "Разговор с покинувшим родину", из той же книги.

Правда, есть у меня и второй, более сложный вариант ответа, но он для людей, желающих не только возмущаться, но и мыслить. Давайте подумаем вот о чем. Сколько евреев уехало из Союза?—Более чем 300 тысяч. Цифра официальная. На деле думаю, что больше. Почему бы Вам не обратить внимание на это обстоятельство, а потом уже на мое стихотворение? Материал для поэта, мыслителя, социолога — интереснейший! Я не сомневаюсь в Вашей искренности и в окончательном выборе Вами судьбы, но что значит Ваша личная судьба, Ваш единственный выбор перед феноменом еврейского духа, уникального в истории человечества, перед генами, постоянно зовущими от исхода к исходу, от одной родины к другой — и все это длится более двух тысячелетий, во время которых меняются десятки родин. Что же Вы думаете, за одно поколение, за одну жизнь человеческую этот дух растаял, развеялся, растворился? Рядом с ним на весах истории Ваша личная судьба, да и судьба Вашего отца — пылинки... За себя Вы ручаетесь, а за сына своего сможете поручиться? А за внука? Уверены ли Вы, что в них не проснется и не оживет все то, что двинуло в разные концы света 300 тысяч советских евреев? Что это — беда или вина? Многие говорят: антисемитизм, гонения и т. д. Но я вот недавно приехал из Болгарии, где никаких гонений не было и откуда в конце сороковых годов уехало 45 тыс. евреев, как только был создан Израиль (45 тысяч из 50-ти!). Вы говорите о славной судьбе отца, делавшего революцию, но разве мало их, отпрысков профессиональных революционеров, Литвиновых, якиров и пр. болтаются сейчас на Западе, плюнув на свою родину, которую строили их отцы и деды? Так что Ваш пример и опыт эмоционально понятен, но исторически необубедителен...

И еще одно "но"... Я могу осудить традиционную ненадежность части

еврейства, исторически подтвержденную, как патриот своей родины, но как философ, историк и поэт — я с интересом всматриваюсь в судьбу этого племени,

371

пытаясь понять его тайну. Почему же Вы отказываете мне в этом праве свободно мыслить и излагать свои мысли тем способом и с тем талантом, который мне свойственен? Почему я не должен думать и размышлять о трагических, величественных, низких, кровавых, светлых, темных и, может быть, безысходных путях, по которым идет человечество? Только потому, что Вы никуда не собираетесь уезжать и что Ваш отец воевал славно и достойно? Ваше письмо опять возвращает меня к мысли, что при всех достоинствах, которыми обладает еврейский национальный характер, ему недоступно одно: трезвое и беспощадное отношение к самому себе. Вспомним, как Иоанн Грозный осудил Курбского, как Тарас Бульба расстрелял Андрия, как Петр Алексея послал на смерть... А мне стоит лишь со многими печалью, сомнениями, оговорками затронуть тему патриотизма и предательства, как на меня сыплются письма (весьма стандартные), подобные Вашему. Табу! Об этом — не смей!

А русские смеют и осуждают себя, как никто. Не Чернышевский ли сказал о своем народе "сверху донизу все рабы"? А Пушкин — "не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный"... Может быть, в такой жесткости к себе больше правды, чем в бесконечных "табу", к которым и Вы, оказывается, привержены...

До свиданья.

Ст. Куняев".

Ян с большой охотой, как мне показалось, ответил мне немедленно страстным, противоречивым и даже наивным письмом, в котором совмещались и его советская искренность и еврейская политизированность, "злоба дневи сего", столь свойственная людям этого склада.

"Здравствуйте, Станислав.

Благодарю Вас за письмо. Боюсь быть навязчивым, но мне необходимо еще раз написать Вам. Вы сейчас доказали мне, что раздражительность — плохой советчик. Этот упрек полностью принимаю. Я ведь и раньше понимал, что Вы во многом правы. Во многом, но, надеюсь, не во всем. Да, не хватает у меня юмора, чтобы плясать на собственных похоронах. Может быть, с точки зрения вечности, моя судьба — пылинка. Но ведь это моя судьба и судьба моих детей, и ручаться за сына и внука я действительно не могу — здесь Вы снова правы. И правы насчет "тени первородной сла-

372

бости". Это я понимал и раньше. Но трудно мне принять эту правоту. Ведь инстинктивно ощущая эту тень, я рвался и в горы, и в моря, где и сейчас работаю. И в стихах своих всю жизнь пытался ее (тень) преодолеть. А вот насчет трезвого и беспощадного отношения к себе в национальном и личном плане — позвольте не согласиться. Я еврей. И ненавижу среди нас породу парикмахеров и продавцов, такие есть, даже если они доктора наук. Три самые страшные подлости в жизни мне сделали евреи. Но мне кажется, даже если я был бы русским, я бы не делал из этих фактов глобальных выводов., Вы доказываете отсутствие у евреев самокритичного отношения к себе, приводя Гоголя, Пушкина, Блока. А я бы мог привести Бабея — очень самокритичного в национальном плане. Или поэта Хаима Бялика, его строчки (во время погрома у еврея изнасиловали жену):

И он пойдет спросить раввина,
Достойно ли его святого чина,

*Чтоб с ним жила такая. Слышишь? С ним!
И все пойдет, как было.*

А теперь вернемся к понятию "Родина". Черт его знает, может, цифры и проценты, которые Вы приводите, имеют доказательную основу. Я сейчас хочу говорить не о массе, которая ищет, где жить. Я хочу говорить о патриотах. Ведь можно любить Родину и не любить несправедливость, если она в данное время свойственна твоей земле. Я почти не знал Кузнецова. Когда-то, в 60-е годы, когда я жил в Ялте, меня познакомил с ним Толя Приставкин. И я совершенно не предполагал, что его фамилия Герчик. Хрен с ним. Но Виктор Платонович Некрасов был для меня самым близким другом. И дело не только в его дырках и орденах, полученных под Сталинградом. Просто до сих пор я не встречал такого честного и порядочного человека, каким был он. Но и он тоже как-то на берегу Днепра в Киеве сказал мне: ты-то сможешь смотреть на Запад, опять же гены, а я вот не смогу. Ну, это подробность. Так вот, неужели Ваш гнев в стихах вызывает только арифметическое отношение уехавших евреев? У нас недавно проходили Фадеевские дни. Все было очень торжественно. А я не могу забыть судьбу Андрея Платонова.

*За Платоновых — отца и сына,
Нет тебе спасенья — нет и нет.
Как Иуду не спасла осина.
Так тебя — казенный пистолет.*

373

И поверьте мне, что если бы Фадеева звали трижды Герчик-Якир, я все равно написал бы эти строчки. Когда-то общественной совестью пытался быть Е. Евтушенко. Но ведь у него не было и 1/10 (простите за арифметику) той пронзительной искренности, которая есть у Вас. И неужели Вас, поэта, не волнует судьба пылинки, ведь это чья-то судьба? В общем, после Ваших стихов стало мне хреново. И потому что приходится оправдываться, и потому, что не нахожу пока контрдоводов. Может, действительно не хватает

*...мужества со славою лечь в могилы,
Иную жизнь в легендах обрести?*

Еще раз благодарю Вас за письмо. В Москве или во Владивостоке — очень хотел бы с Вами встретиться.

До свиданья.

Уважающий Вас Ян Вассерман 9/X-81 г."

...Переписка наша разрасталась как снежный ком. К, сожалению, не все письма Яна сохранились в моем архиве, так же, как и не все копии моих ответов к нему. (Чувствуя исторический характер этого "русско-еврейского" романа, я снимал копии со своих писем к Вассерману.)

Он сделал, к сожалению, ложный шаг, стал засыпать меня ' своими стихами, естественно, ожидая признания их достоинств. Но стихи были пронизаны неистребимым комплексом художественной неполноценности, отсутствием свободы, фельетонностью стиля, иногда эффектной, но чаще плоской иронией, грешили излишней рациональностью и неприемлемым для меня скептицизмом. Помню, что я назвал их в одном из писем "деревянными", а если и оценил — то словами "игра ума" — не более.

Это, конечно, даже не обидело, а сокрушило бедного Яна, и наша переписка стала носить все более мрачный характер. Он все чаще стал упрекать меня в том, что я вовлекаюсь в некие "националистические" или "черносотенные организации", являющиеся "инструментами нападения" и "морального террора"

для людей "свободной мысли", еврейство — все сильнее и сильнее стало проступать и в его письмах и в его стихах.

374

"Ассимиляционная оболочка" на моих глазах в течение года—полутора стала расплзаться и облезать клочьями.

СОПЛЕМЕННОКАМ

С боязнью городского
Всегда мои соплеменники
Пытались расправить спины,
Держа гениальные скрипки
В своих рахитичных лапках,
Держа огневые перья,
Писавшие буквы декретов,
В курчавых моих соплеменниках,
На синих снегах России
Осевших, как оседает
Пыль после взрыва бомбы,
В каждом моем соплеменнике
Живет холодный сапожник,
С изогнутой страхом спиною,
Рисуя на плотной бумаге
Логичные фразы доносов.
Но вдруг появился рядом
Злобный, усатый пристав,
И карликовыми березами
Они к земле прижимались.
Они чужие фамилии
Натягивали, как шубы,
Но гнулись, как знаки вопросов,
Испуганные их спины.
И это знал досконально
Мудрый усатый пристав,
По спинам их маршируя,
Его сапоги улыбались.
Всю жизнь я, как мог, боролся
Со слабостью первородства.
Всю жизнь я их ненавидел,
Всю жизнь убегал от клана,
И мне помогали в этом
Черные скалы Памира,
И мне помогали в этом
Волны всех океанов.
Всю жизнь я ношу на теле
Кривые, красные шрамы,
Они мое тело рвали
За то, что был непохожим,
Все это мне понятно,
Мне только одно непонятно:
Откуда из них появлялось
Так много детских поэтов,
Прекрасных детских поэтов
С пронзительными стихами,
И могут ли в норах змеиных
Гнездиться синие птицы?

375

И второе стихотворение, после которого я окончательно понял, что Вассерман не выдержал нагрузок и ожиданий, возложенных мною на него:

Я лишен национальной спеси,
Рос от той проблемы вдалеке.
Так случилось — ни стихов, ни песен
На родном не слышал языке.

Но бывает — будто издалече
Слышу я гортанный, древний крик,
Бронзою мерцает семисвечье,
И в ермолке горбится старик.

Мой народ — века он прожил в пленных,
Кровью истекал в любой грозе,
И ее теперь осталось в венах
Меньше, чем в колосьях и лозе.

Голос крови... Я не слышал зова.
Сколько нас осталось, знаешь ты?
На три дня древнегерманской злобы,
На пять лет расейской доброты.

"Здравствуйте, Ян!

В бумажных завалах обнаружил Ваше давнее письмо, на которое в свое время не ответил по разным причинам — просто забыл, честно говоря. Но поскольку не люблю, чтобы последнее слово оставалось за оппонентом, делаю это сейчас.

Грустно мне было читать о том, что Ваших соплеменников (Вы мне прислали стихотворение "Соплеменники" и еще одно — о голосе крови) всю жизнь угнетали российские городовые, "злые и усатые приставы"; а они, бедные, сгибали спины и писали прекрасные детские стихи.

Ненависть Ваша к городовым в стихотворении была выражена предельно эмоциональным языком...

Бедный Ян, в какое время ты жил? Рядом с мировой революцией, ГУЛАГом, раскулачивать и гибелью миллионов крестьян "злой и усатый пристав" — да это же просто Санта Клаус! Я предвижу ответ: Сталин! Нет, на Сталина все не спишешь... Хочешь знать, каковы были настоящие, а не сказочные городовые в 20—30-х годах? Посмотри список награжденных за строительство первого в мире лагеря-канала, где отретировалась вся будущая система геноцида. Изучи и список писателей, воспевавших это детище Нафталия Френкеля — "турецкого негоцианта", теоретика и основа-

376

теля всей будущей системы ГУЛАГа. Вот они, настоящие сталинисты! Что бы он делал без Ягоды (Иегуды), Бермана, Френкеля, Фирина, Раппопорта, Шкловского, Безыменского, Инбер, Авербаха, Багрицкого?! Копии сделаны с книги "Беломорканал имени Сталина". 1934 год. Очень поучительная книга, советую достать, почитать, сделать выводы... Вот настоящие городовые нашего времени, а не какой-то бутафорский жандарм из поэмы Багрицкого "Февраль", перекочевавший в твоё стихотворенье "Соплеменникам".*

Так что кроме "древнегерманской злобы и российской доброты" есть еще в мире кое-что пострашнее. Во всяком случае, нацисты изобрели свои лагеря после Глеба Бокия, Нафталия Френкеля, возможно, опираясь на их разработки. Много русских крестьян (задолго до 37 года!) сложили свои косточки на берегах канала

и на Соловках. А ты все кричишь: городовые! вместо того, чтобы каяться за своих "соплеменников" — организаторов всероссийского ГУЛАГа.

"И могут ли в норах змеиных гнездиться синие птицы?" — спрашиваешь ты.

Отвечаю: птицы — нет, а Френкели и берманы — да.

Всего доброго

Станислав Куняев".

Сегодня я отдаю себе отчет, что такой постановки вопроса в начале 1980-х годов сын комдива и героя гражданской войны выдержать не мог. Я сам вольно или невольно оттолкнул его от русской судьбы и русской стихии. Что делать? Судьба распорядилась и мною и бедным Яном. А потому мы, как в море корабли, ушли все дальше друг от друга.

"Здравствуйте, Станислав!

Благодарю, что вспомнили. Все получил. Красочная получается картинка. Возражать тут нечего. И не потому, чтобы не получилось: "Два сына соседних народов такой завели разговор..."** Исходя из присланного Вами, из своего знания, из теперешних наблюдений, я могу понять Ваше — и не только Ваше — отношение к определенному нацменьшинству. И оправдать его. Я имею в виду отношение оправдать. Правда, тогда придется поколебать еще кое-какие постулаты, носящие более интернациональный характер. Но разговор сейчас не об этом. Хочу Вам сообщить и надеюсь,

* Я послал ему ксерокопии из этой книги.

** Строчка из моего стихотворения.

377

что Вы поверите мне на слово: я — лично, я — Ян Вассерман, не проектировал концлагерей, не прославлял их, не пел во здравие душегубов и убийц, присущих культуре. Считаю, что для этого были использованы национальные черты еврейства, точнее, ставшие к тому времени национальными, созданными многовековым угнетением, в том числе и Россией, хотя это не оправдание. Вообще, я уверен, что никакую подлость анамнезом оправдать нельзя. Но простите мне мой эгоцентризм: как говорил один царь-трезвенник, у которого клялись придворные: "для непьющего человека я слишком часто стал страдать от пьянки". Евреи меня считают чужаком, и совершенно правильно считают. В морях и в горах я их не видел. Но я не хочу, чтобы другие ручки, которые давят меня, как поэта, проделывали это под лозунгом мести еврейству, так много принесшему зла русскому народу. Поздравляю Вас с Новым годом. Желаю Вам всего доброго и, конечно, новых талантливых стихов. Если Вас не затруднит и Вы вышлете мне новый "День поэзии", буду очень благодарен.

С уважением.

Посылаю Вам свою пародию на Вас.

Текст пародии был таков:

Ночь, Безлюдье. Скука. Дешевизна.

Этажи прижаты к этажу.

Я один, как призрак коммунизма.

По пустынной площади брожу.

Ст. Кунаев. "Швеция, Стокгольм..."

В Швеции не признан и не признан,

В рамочки валютные зажат,

Прохожу, как призрак коммунизма,
Пусть буржуи загодя дрожат.

Все мои попытки выпить — всеу,
Прохожу я трезвый, не косой,
Я им в перспективе нарисую
Давку за вареной колбасой.

Я их призываю рушить троны,
Начинать гражданскую войну
И платить по сто четыре кроны
За дерьмо, что стоило одну.

Это мое письмо Вассерману написано как ответ на его несохранившееся, в котором он обижался на меня за мои оценки его стихов, которые уязвили Яна.

378

"Здравствуйте, Ян!

Перестаньте кипятиться по пустякам. "Игра ума" (даже и фельетонная) в наше время на дороге не валяется. Так что считайте, что я Вам отдал должное. Она есть и у меня, Вы правы, но в куда меньшей степени, поскольку я этому свойству особенно не доверяю.

И перестаньте, пожалуйста, пугать себя и меня "организацией", которая является "инструментом нападения". Какое нападение, когда после каждого выступления Кожинова на него бросается целая свора продажных борзописцев — оскоцкие, николаевы, суровцевы — имя им легион. А перед ними открыты двери любой прессы. Вот о чем лучше подумайте.

"Наши лошади шли по цветам..." (Вы иронизируете: лошадей много, а цветов мало, и опять подтверждаете мою мысль о фельетонной игре ума.)

Стихи эти посвящены моему лучшему в жизни другу Эрнсту Портнягину. По отцу он Левин. Отец еврей, мать — русская. Я это пишу Вам для того, чтобы Вы не иронизировали по поводу "девичьих" фамилий Окуджавы и Кузнецова. Для меня не имеет значения, что по крови Портнягин еврей больше, чем Окуджава. Я воюю не с людьми, а с идеями и взглядами. У Портнягина же еврейская половина естественно и счастливо ассимилировалась русской (ленинский идеал разрешения еврейского вопроса. Поскольку Ваш отец-революционер был из ленинской гвардии, как я понимаю, Вам должно быть это близко и понятно). Если же Вам интересно, почему я любил этого человека Портнягина — прочитайте книгу моей критической и дневниковой прозы "Свободная стихия". Поглядите также книгу Эрнста, изданную мной после его смерти... В ней не только игра ума, но и свободная стихия жизни.

Что же касается Ваших рассуждений о Рубцове — то Вы правы, но мне всегда было мало только одной поэтической судьбы. Тем более что она, как правило, реализуется посмертно. Кстати, Вы пишете: "у Вас счастливая литературная судьба". Не завидуйте. Она вся вопрекор обстоятельствам, а не по их воле. Попробуйте жить так сами, и узнаете, что стоит это "счастье".

И еще. Будете мне писать — пишите, ради бога, более серьезные и умные письма. Вы же это умеете.

Всего доброго".

В ответ я получил серьезное, хотя и не очень умное письмо, из которого явствовало, что наш роман подходит к концу. Сын

379

профессионального революционера, увы, никак не мог "сдать" мне своих единомышленников — революционного поэта Багрицкого и комиссарского сына Окуджаву. Как не мог понять и крестьянского сына Сергея Викулова.

"Здравствуйте, Станислав!

Большое Вам спасибо за книгу хорошего человека Эрнста Портнягина. Я хотел Вам ответить сразу же, но меня срочно бросили в моря, там я по разным причинам дошел до состояния анабиоза (а может, я путаю?) — короче — до ручки, списался и в темпе поменял квартиру на Кишинев. Где и нахожусь сейчас в ожидании обменного ордера.

Ваша критическая книга была у меня задолго до Вашего письма. Я ее перечитывал несколько раз, после каждой статьи проводя бой с тенью по всем правилам профессионального бокса. Скажите, Станислав, Вам не кажется, что Вы зачастую судите поэтов не по законам, а по революционному правосознанию, и вот он Вам, родненький 17-й годочек? Например, Окуджаву? Я неуверен, что поэт может выносить приговор поэту на основании арифметического подсчета междометий, местоимений и т. д. Вы же отрываете от стихов мелодию, гитару, а зачем? Ведь это сплав, монолит. Вы не играете в преферанс? Там есть аналогичная ситуация: "Догнали попа, отобрали козырного туза и оставили без одной". Если бы из Ваших стихов убрать мысль, жесткий темперамент и не совсем (скажем так) мягкое отношение к человеку, оставив и размер, и рифму, Вы бы тоже стали очень уязвимы.

Прочел я сейчас и Ваши "Вольные мысли". И позвольте мне сказать, что Вы иногда ударные интонации делаете не по тому месту. В частности, о содружестве ворона с бойцом. Да, многие связывают ворона с выклеванными глазами, но вряд ли стоит поэту идти за установившимися представлениями. Вон веками чайку считают эталоном чистоты, символом и т. д. Считают. В основном, маринисты из Подмосковья. А Вы знаете, что моряки ненавидят чаек? Что чайки выклевают глаза у тех, кого несут волны, одетых в спасательные пояса? И не всегда они бывают мертвыми, иногда просто обессиленными. Мне приходилось с бота поднимать трупы с выклеванными чайками глазами. Строчки эти у Багрицкого неудачны без принципиальной подоплеки. А то, что он упоминает Тихонова, Сельвинского, Пастернака (без Твардовского), так они действительно были популярны. И Багрицкий не создавал им популярность, а отмечал факт. Да и часто

380

популярность и истинная поэтическая сила не совпадают. Тихонова и Пастернака я и сейчас люблю, Сельвинского местами, но все-таки: "Комиссарское сердце из боя возвратилось тяжелым, как гром, и по сердцу пятно голубое голубиным скользнуло крылом..." Такое я не забываю. Да и не только я. Вы сами пишете, что прогнозы в поэзии даже на 2—3 десятилетия — дело неблагодарное. А у этих поэтов, по-моему, как писал Поженян — "Есть прожитые жизни, у которых все, как это ни грустно, впереди". Между прочим, споря с Вами заочно, я многое у Вас относил за счет чисто писаревского отношения к литературе, за счет органичного писаревского дарования.

Я, Станислав, ловлю себя на том, что предъявляю Вам претензии за всю нашу литературу. Но ведь Вы сами ставите и пытаетесь решать вопросы глобального характера. И я еще не убедил себя, что Вы решаете их неправильно. Мне попал в руки номер "Поэзии", в которой Вы — член редколлегии. Со стихами Смелякова: "Эти Лили и эти Оси..." Я люблю стихи Смелякова. Безотносительно к любви я ему многим обязан. Он дал мне первую премию на Всесоюзном поэтическом конкурсе "Комсомолки" в 1963 году. В сборнике "Горсть огней" он написал обо мне хорошие слова. Он меня печатал в московских "Днях поэзии". Стихи "Эти Лили и эти Оси" очень сильные. "И, как вермут ночной, сосали золотистую кровь поэта..." Может, это все правда. Но я подумал о другом. Что сказал бы или что сделал бы Владимир Владимирович Ярославу Васильевичу, если бы ожил и прочитал. Он, который в последнем письме

правительству называл *брехобриков** своей семьей и любил ее всю жизнь. Кстати, вернемся к нашим воронам. В этом же номере — *вири Викулова*. Вы, наверно, читали этот *вири*. Как он (Викулов), защищая сельских женщин, стрелял в горбоносых, картавых ворон, которые клевали кур, застрелил одну ворону и сказал: "то-то".

Викулов меня не удивляет. Ему надо в клан, он хочет найти общность с кланом хотя бы по форме одежды. Потому что по стихам его можно принять только в клан, член которого писал в 1941 году в немецких листовках: "Бей жида, политрука, просит морда кирпича".

Но вот почему Вы его не тронули в своих "Вольных мыслях", для меня загадка. Если руководствоваться справедливостью для всех, а не справедливостью направленной. В поезде

* "Эти Лили и эти Оси", "брехобрики" — из стихотворения Я. Смелякова, посвященного Маяковскому.

381

из Владивостока одолжил "Литературку" и прочел Ваше стихотворение из будущего "Дня поэзии". Таким я Вас не знал. Такому добру кулаков не нужно. Рискую обратиться к Вам с просьбой. В Молдавии с русскими книгами невероятно трудно. Не согласитесь ли Вы прислать мне "День поэзии", когда он выйдет? так получилось, что в Москве мне сейчас не к кому обратиться. Ну, а если судьба занесет Вас в Кишинев, буду рад Вас увидеть. Всего Вам доброго. Буду рад получить от Вас письмо.

Ян Вассерман".

Окончательный разрыв между нами наступил сразу, осенью 1983-го, через два года после начала переписки.

Ян не выдержал моих требований ни к ассимилированному еврейству, ни к комиссарам, ни к его поэзии. Последнее письмо было написано, видимо, во хмелю, судя по плохой амикошонской лексике и по решительности выражений.

23.10.83

"Стас!

Когда-то давным-давно за год до моей смерти ты написал мне, что у меня деревянные мозги. Так вот, лучше быть с деревянными мозгами, как у Буратино, чем с мозгами, залитыми гудроном, по которым ты маршируешь в своих лакированных сапогах.

Посылаю тебе стихи, чтобы ты хоть что-нибудь понял. Хотя ты них... не поймешь. Потому что твой талант уже в третьем нокдауне от твоего благоприобретенного.

Verte!

А я знаю, что от честного поединка ты не откажешься.

Ян. И не носи ты кожюновское пальто. Оно тебе не идет".

Да, ни дать ни взять — лихой иерусалимский казак, сын комиссара! Когда я прочитал это письмо, то мне вспомнилась строчка из "Маскарада":

И этот гордый ум сегодня изнемог.

Во времена моей литературной молодости самым многотиражным и популярным считался, конечно, журнал "Юность". Его главный редактор Валентин Катаев — блистательный

382

стилист, умный и расчетливый человек, был кумиром левой молодежи. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Аксенов, Гладилин, Амлинский — без основания считали журнал своим домом, а Катаева отцом родным, называя

его уважительно и почти душевно: "Валюн"...

Но и я всегда читал его прозу с интересом, а иногда и с восхищением.

До сих пор помню героев его сурового рассказа "Сын полка", прочитанного еще подростком во время войны. А "Белеет парус одинокий" — как ни пересматривай ныне историю, по моему убеждению, одна из лучших повестей для юношества, как, впрочем, и "Школа" Аркадия Гайдара. И даже совершенно забытая ныне повесть "Шел солдат с фронта" до сих пор помнится мне яркими картинками, сильными характерами, увлекательным сюжетом. Что и говорить — талантливый был человек, под стать другому замечательному писателю-авантюристу Алексею Толстому. О них обоих, кстати, не зря была сочинена в 20-е или в 30-е годы хлесткая эпиграмма:

Я человек простой,
читаю негодяев,
таких, как А. Толстой
и Валентин Катаев.

Лично с Валюном я познакомился с 1967 году в Переделкино. Я тогда был составителем юбилейного (50 лет советской власти!) сборника "День поэзии" и, узнав, что Катаев всю жизнь пишет стихи, поехал к нему на дачу: чьи же еще стихи печатать в таком номере, как не одного из немногих свидетелей и участников революции! Кстати, недавно, перелистывая этот юбилейный номер, нашел в нем много забавного. Как лакейски-восторженно в тот год нынешние ренегаты от литературы воспевали власть Советов!

Ну что тебе гражданская война!
Отечественной, что ли, не хватило?
Но почему-то сызнова она
Кавалерийской лавой накатила.

Это тихий и вечно себе на уме Константин Ваншенкин, ныне осмелевший и всячески пинающий мертвого советского льва в своих недавно изданных мемуарах.

Эти гении рубок и митингов жарких,
комиссары далекой гражданской войны,
в сапогах из кирзы

383

и в скрипучих кожанках
наполняют мои беспокойные сны.

Это феноменально бездарный Владимир Савельев, в августе 1991 года первым запустивший в газеты лживую весть о том, будто бы Союз писателей СССР — осиное гнездо гэкачепистов, и сделавший себе на этом доносе карьеру при новом режиме. Римма Казакова, до сих пор жадно ищущая местечко в демократическо-тусовочном истеблишменте, в 1967 году славила во все горло "красное это пространство на карте".

Но Бог с ними, с мелкими ренегатами, речь не о них, речь
о человеке куда более крупном — о Валюне...

Он принял меня в Переделкино с радушием человека, привыкшего к восхищению молодых литераторов, но одновременно умеющего понимать молодость, подлаживаться к ней, подпитываться ее энергией.

— Ха-ха! Вспомнили, что Катаев начинал как поэт? А Катаев всю жизнь стихи пишет! Его Иван Алексеевич Бунин еще благословил на сей подвиг!

Он был в какой-то изысканной фланелевой рубашке, чисто выбритый, благоухающий дорогим одеколоном.

Его глаза озорно поблескивали, а крючковатый нос с хищно вырезанными ноздрями как будто принюхивался к новому посетителю. Как бы желая уяснить его сущность. И весь он излучал некое сияние лоска, комфорта, успеха. Победитель, да и только! Он пригласил меня за широкий письменный стол и, покопавшись в книжных полках, достал папку со стихами.

Стихи были написаны явно талантливой рукой и выгодно отличались от мертвой революционной риторики всяческих Безыменских и Антокольских, впоследствии напечатанных в том же "Дне поэзии".

Не Христово небесное воинство,
Возносящее трубы в бою,
Я набегу пою бронепоезда,
Стеньки Разина удаль пою.

Что мне Англия, Польша и Франция!
Пули, войте и, ветер, вей.
Надоело мотаться по станциям
В бронированной башне своей.

Что мне белое, синее, алое, —
Если ночью в несметных звездах
Пламена полноты небывалые
Голубеют в спиртовых снегах.

384

Ни крестом, ни рубахой фланелевой
Вам свободы моей не купить.
Надоело деревни расстреливать
И в упор водокачки громить.

(1920)

Мы с ним отобрали из папки несколько стихотворений для "Дня поэзии", и я уехал.

Главный редактор сборника Ярослав Смеляков, когда узнал что у нас есть стихи Катаева, удивился, но остался чрезвычайно доволен.

Второй раз мне пришлось поговорить с Валентином Петровичем через десять с лишним лет, когда он, один из секретарей Московской писательской организации, позвонил из Переделкино и, не найдя Феликса Кузнецова, с раздражением сорвал свою досаду на мне:

— Я не приеду на ваш секретариат и вообще моей ноги в Московской писательской организации не будет. Кого вы там принимаете в Союз писателей? Ивана Шевцова? Ваш секретариат войдет в историю, как исключивший из своих рядов Василия Аксенова и принявший Ивана Шевцова. Так и передайте мои слова вашему шефу!

Я не удивился, поскольку знал окружение Валюна, национальный состав сотрудников редакции "Юности" в его редакторскую бытность. Как было ему иначе откликнуться на прием в Союз писателей Ивана Шевцова? Только так. Недаром же Евтушенко в своих мемуарах пишет, что "Катаев был крестным отцом всех шестидесятников". Но каково было мое изумление, когда буквально через несколько месяцев в июньском номере "Нового мира" за 1980 год я прочитал трагическую катаевскую повесть "Уже написан Вертер".

Террор еврейского ЧК в Одессе, революционный палач Макс Маркин, местечковый вождь еще более крупного масштаба Наум Бесстрашный, бывший

террорист эсер Серафим Лось — он же Глузман, и целая армия безымянных исполнителей приговоров, расстрелы в гараже, юнкера, царские офицеры, красавицы гимназистки, которых заставили раздеться перед смертью — все это в 1980-м году, задолго до того, как мы прочитали "Щепку" В. Зазубрина или мельгуновский "Красный террор", буквально потрясло читающую и думающую Россию.

Как стыдливо вспоминает Анатолий Гладилин в статье к 100-летию Валюна: "Помнится, после "Уже написан Вертер" страсти опять разгорелись". Однако о том, что пожар вокруг

385

Катаева, нарушившего табу на "русско-еврейский вопрос", разгорелся нешуточный, свидетельствует письмо, пришедшее от читательницы на адрес Московской писательской организации летом 1980 года. Оно было обращено к Катаеву, но я не рискнул передать столь оскорбительное послание восьмидесятидвухлетнему старику. Письмо анонимное. Стиль и орфография — как в подлиннике.

"Пишу, прочтя книгу "Уже написан Вертер" и думаю, что это жгучая зависть, что Вы просто хороший советский писатель, но и только, а курчаво-шепеляво-слюнявые Эренбург, Пастернак, Гейне, гении, которые останутся в веках. Вообще я думаю, что такая ненависть может быть объяснена только завистью. Какое имеет значение, какие губы, какой нос! Главное это нутро человека, его душа и его дела. А дела Курчавого Маркса бессмертны и сейчас, преклоняясь перед ним, миллионы людей совсем не интересуют шепелявил он или картавил. И когда он писал свой великий лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", то он не думал, что его заменят на "Бей жидов, спасай Россию", а по вашему, по интеллигентному, как написано в вашем бреде сивой кобылы "Будьте Вы все прокляты". Троцкизм хоть и безусловно ошибочное течение, но в таком тоне о нем писать просто глупо и изображать евреев как гитлеровцев это значит быть им самому. Всем честным русским людям (Короленко, Горький, Маяковский, Толстой, Евтушенко) всегда был чужд и ненавистен антисемитизм и шовинизм, которым так и дышит Ваше писание. А как же быть с картавым Лениным? Ведь мать у него была Бланк, это потом она стала Ульяновой и подарила миру своих четырех таких прекрасных детей.*

Хотя сейчас в наше время Ленина бы не только не приняли в партию, его даже не взяли бы на работу в полурезжимное предприятие, ведь сейчас проверяют родство до третьего колена, как при Гитлере. Так что можете гордиться. Ваша так называемая повесть в духе времени.

Да сколько бы евреев не жгли, не резали, не убивали физически и духовно, они могут и должны идти с гордо поднятой головой. Этот народ дал миру таких гениев, как Эйнштейн, Бор, Маркс, Гейне, Фейхтвангер, Эренбург, Левитан, Пастернак, Мандельштам, Маршак и многие другие. И хоть у вас вполне арийское лицо, через 50—100 лет вы канете в вечность, а они, губастые, носастые, останутся в веках пока

* В предисловии к повести редакция объясняет факт ее публикации необходимостью борьбы с "охвостьями троцкизма".

386

будет существовать этот мир. Их имена будут стоять рядом с именами тысяч честных гениев всех национальностей. И никакие плевки подонков вроде вас не сотрут их с вековой летописи.

Я все думала, почему единственный отрицательный тип в повести — русская женщина (остальные все евреи), а потом поняла, как же аристократ может унизиться до того, чтобы лечь с жидовкой. А вы знаете Витте унижился, но он все равно останется Витте, а вы Катаевым.

*Жидовка с лошадиной-лосиной физиономией**.

Возмущенная читательница не знала, что жена "антисемита Катаева" была женщина с библейским ветхозаветным именем Эстер и что зятем Валюна является главный редактор журнала "Советише Хаймланд" Арон Вергелис. Да, да, тот самый Вергелис, который в 1949 году написал письмо в партийную организацию Союза писателей с требованием очистить литературные ряды от сионистов, буржуазных националистов и просто бездарных писателей еврейского происхождения. Не знала она, наверное, и то, что свою повесть Валюн назвал строчкой из Пастернака и что стихи Пастернака и Мандельштама в повести вспоминаются много раз...

Работая над этой главой в мае нынешнего года в родной Калуге, я решил перечитать повесть, чтобы освежить в памяти многое, по поводу чего негодовала в 1980 году анонимная поклонница Маркса и Ленина. Я пошел в областную библиотеку имени В. Г. Белинского, нашел в каталоге среди десятков изданий Валентина Катаева два, в которых была напечатана повесть, и спустился в абонементный зал.

Мы с женщиной, бывшей на выдаче книг, прошли в книгохранилище, нашли полку с изданиями Катаева, пересмотрели их все, однако ни одного, ни другого издания с повестью на полке не было.

— Книги пропадают, — с огорчением ответила библиотекарьша на мой вопрос.

Тогда я пошел в соседний читательский зал периодики и попросил выдать мне июньский номер "Нового мира" за 1980 год, но, открыв его, я ахнул. Страницы 122—158 журнала были аккуратно вырваны, что называется, под корешок.

Видя мое огорчение, сотрудница библиотеки пришла на помощь:

* Слова из катаевской повести, характеризующие одного из ее персонажей.

387

— У нас есть еще один контрольный экземпляр, который вообще-то не выдается, но раз Вам очень нужно...

Я сел за стол, перечитал повесть и выписал несколько отрывков из нее, которые и возмутили двадцать лет тому назад "жидовку с лошадиной-лосиной физиономией" и которые, наверное, послужили причиной того, что с библиотечных стеллажей исчезли две книги Катаева, а из "Нового мира" было вырвано 28 страниц.

О Науме Бесстрашном: "Стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденновский шлем с суконною звездой". О чекистах одесской "чрезвычайки": "Юноша носатый", "черно-курчавый, как овца". О бывшем эсере-террористе Серафиме Лосе: "Ему не нравилось, что Маркин назвал его Глуzmanом".

О главном чекисте: "У Маркина был неистребимый местечковый выговор. Некоторые буквы, особенно шипящие, свистящие и цокающие, он произносил одну вместо другой, как бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков — русского, еврейского, польского, немецкого".

"— У тебя сидит один юноша, — начал Лось.

— А ты откуда знаешь, что он у меня сидит? — перебил Маркин, произнося слово "знаешь", как "жнаишь", а слово "сидит", как "шидит".

— Ты просишь, чтобы я его выпустил? Он произнес "выпустиль".

— Я застрелю тебя на месте.

"На месте" он произнес как на "мешти".

О юнкере Диме, ненадолго вышедшем из ЧК, в то время как его фамилия уже была напечатана в списке расстрелянных: "Увидев его, квартирная хозяйка,

жгучая еврейка... вдруг затряслась, как безумная, замахала толстенькими ручками и закричала индюшачьим голосом: — Нет, нет, ради бога нет. Идите отсюда! Идите! Я вас не знаю! Я о вас не имею понятия! Вы расстреляны и теперь вас здесь больше не живет. Я вас не помню! Я не хочу из-за вас пострадать!"

Еще о Науме Бесстрашном: "Теперь его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию... У него, так же, как и у Макса Маркина, был резко выраженный местечковый выговор и курчавая голова, но лицо было еще юным, губастым, сальным, с несколькими прыщами".

И, наконец, о них всех предсмертная записка русской дворянки Ларисы Германовны, увидевшей в расстрельных списках имя своего сына юнкера Димы: "Будьте вы все прокляты".

388

...Да, не прост был Валюн, "крестный отец всех шестидесятников", бывший юнкер, из рода русских офицеров и учителей, дворянин по происхождению, участник первой мировой войны... Наверное, его настолько потрясли кровавые ужасы еврейско-чекистского террора, развернувшегося по воле Троцкого, Землячки (Залкинд) и Бела Куна, что всю оставшуюся жизнь, с одной стороны, он подлаживался к советской власти "страха ради иудейска", а с другой — тайно мечтал написать всю правду о кошмаре, свидетелем которого юный Катаев стал в 1920 году.

И можно было себе представить, как, лелея и воспитывая шестидесятников, демонстративно разыгрывая истерику против принятия в Союз писателей "антисемита Ивана Шевцова", соглашаясь с расхожим мнением критиков, что он, Катаев, является представителем знаменитой "одесской школы", вместе с бывшими чекистами Бабелем и Багрицким, вместе с Олешей и Львом Никулиным, как Валюн ждал своего часа, чтобы посчитаться со всей этой братией и сказать когда-нибудь (лучше перед самой смертью, чтобы у них не оставалось времени затравить его!) всю правду—как бы это ни ошеломило шестидесятников — всю правду об их местечковых дедах и отцах.

Но надо отдать должное и либералам-шестидесятникам: выдержка и партийная дисциплина у них, детей профессиональных революционеров, террористов и подпольщиков, оказалась на высочайшем уровне. Никто из них в том 1980 году не посмел разрушить в глазах читательской общественности образ своего вождя и вольнодумца Валюна: ни одной статьи, ни одной рецензии, ни одной речи на каком-нибудь партсобрании не появилось в те годы. Лишь далекие от партийной дисциплины читательницы с "лошадиными физиономиями" и местечковым акцентом, негодуя, посылали письма в редакции газет и журналов да в Союз писателей. Но письма эти складывались в архив. Утечки информации относительно взглядов Валюна не должно было быть!

То, что Катаев сознательно и продуманно осуществил план своего исторического реванша, что такого рода национальные соображения не были случайны для него, подтверждается весьма любопытным фактом.

В 1913 году "Одесский вестник" — орган губернского отдела Союза русского народа опубликовал следующее стихотворение:

389

ПРИВЕТ СОЮЗУ РУССКОГО НАРОДА В ДЕНЬ СЕМИЛЕТИЯ ЕГО

Привет тебе, привет,
Привет, Союз родимый,
Ты твердою рукой
Поток неудержимый,
Поток народных смут
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба

Сынам твоим бесстрашным,
Но твердо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал...
Взошла для нас заря.
Колени преклоняя
И в любящей душе
Молитву сотворяя:
Храни Господь
Россию и царя.

Стихи были подписаны пятнадцатилетним гимназистом Валентином Катаевым.

Но это еще не все. Полтора годами раньше тринадцатилетний подросток (!) напечатал в том же издании стихотворение, в котором были такие строки:

И племя Иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внемлет
И чтит лишь законы свои.

Так что ж! Неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнет,
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?

За такие взгляды выдающегося публициста Михаила Осиповича Меньшикова чекисты расстреляли на Валдае в 1918 году без суда и следствия. Валентин Катаев, видимо, понимал, что он в годы революционного террора также мог быть удостоен той же участи, и почти всю жизнь скрывал эту тайну своей судьбы, либеральничал, воспитывал аксеновых и гладилиных, ездил по миру с Эстер, юдофильствовал, а в своей рабочей келье на втором этаже переделкинской дачи с мстительным наслаждением сочинял поистине судьбоносную повесть "Уже написан Вертер".

В начале 90-х годов в одном из московских издательств вышел однотомник Катаева, в котором из сакраментальной

390

повести тихо и подло то ли наследниками, то ли редакторами были выброшены все "юдофобские" цитаты, приведенные мной выше. Мародеры все-таки взяли реванш и надругались над последней волей Валюна. Но ведь что написано пером — не вырубишь топором, и "рукописи не горят".

Жаль, что я не собрался два года тому назад, к столетию "Валюна", написать эти страницы. Юбилей его был по достоинству отмечен лишь публикациями Евтушенко, Вознесенского, Гладилина. Патриотическая пресса презрительно промолчала.

...Я только напоследок хочу вспомнить, что когда собрался со стихами уходить из его переделкинского дома, то он сказал "подождите", нашел в кипе машинописных страничек одну с коротеньким стихотворением и, заметно волнуясь, прочитал его вслух:

Каждый день, вырываясь из леса,
Как любовник в назначенный час,
Поезд с белой табличкой "Одесса"
Пробегает шумя мимо нас.

Пыль за ним поднимается душно.
Стонут рельсы, от счастья звеня,
И глядят ему вслед равнодушно
Все прохожие, кроме меня.

— Вот это стихотворение обязательно напечатайте! — каким-то особенно проникновенным голосом произнес Катаев. Может быть, в эти минуты он вспомнил себя юного, двадцатилетнего, похожего на юнкера Диму, расстрелянного чекистом Наумом Бесстрашным. А прообразом Наума Бесстрашного Катаеву послужил, конечно же, человек, сыгравший роковую роль в судьбе Есенина — Яков Блюмкин. Недаром в конце повести Валентин Катаев рисует сцену, взятую из реальной судьбы Блюмкина: Наум Бесстрашный провозит из Турции в Москву письмо Троцкого Радеку. Но письмо это попадает в руки Сталину, и Наум Бесстрашный, пытаясь спасти свою жизнь, ползает по полу, обнимая и целуя сталинские сапоги. Более потрясающей сцены, возвеличивающей Сталина, в нашей литературе я не знаю...

Наверное, великий Валюня ценил Сталина и многому учился у него. Терпению и умению ждать своего часа, потому он и сумел обмануть "юдофилов". Коварно и блестяще. Можно сказать, по-сталински.

391

Третьего марта 1988 года мы выступали в Московском инженерно-физическом институте, может быть, самом знаменитом техническом вузе Москвы. Зал был переполнен студентами. Записки нам — авторскому активу журнала "Наш современник" были самые разные: глупые, умные, оскорбительные, восторженные, не было только спокойных или равнодушных. Все они свидетельствовали о том, что противостояние в обществе вот-вот достигнет своего пика.

Вопрос: Недавно В. Коротич выступал в Риге, где несколько раз клятвенно заверял: "Мы доведем до конца нашу перестройку в этой стране". Что это — наглость или реальная расстановка сил?

Мой ответ: И то и другое.

Вопрос: Юлиан Семенов привел цифры — 12 миллионов заключенных и 20 миллионов ссыльных на момент смерти Сталина. Вы согласны?

Мой ответ: Юлиану Семенову не жалко наших людей. Он может назвать цифру и тридцать миллионов, и пятьдесят...

Вопрос: Ну хоть вы-то не из "Памяти"? С остальными ясно. Ответьте громко. У нас гласность.

Мой ответ: Записка анонимная. Если у нас гласность — ну хоть бы подписались. Членского билета "Памяти" у меня нету. С его вождями я не знаком. Но беспамятным дебилом быть не хочу и вам не советую.

Моя статья "Все начиналось с ярлыков", проводящая параллель кровавой русофобии двадцатых—тридцатых годов с русофобией конца восьмидесятых (сентябрь 1988 года), вызвала ярость всей демократической прессы и бурные отклики читателей журнала. Приведу несколько из них, чтобы показать, каковы были настроения людей в это роковое время.

"Вы затронули очень важную и щепетильную сторону культа личности. Сейчас распространены публикации, в которых своеобразно реабилитируется та многочисленная группа людей, стоявших у власти. Ведь это они кормили тигренка, а когда он вырос, стали подсовывать ему своих друзей-соратников.

С. Павлович, рабочий, Алма-Ата "

"Спасибо за Есенина, за истину тех лет. Ваша статья, как удар в переносицу, разбила не только лики прошлых и

392

настоящих угодников, но и кривое зеркало официального мнения по многим вопросам.

С. Медведев, Татарская АССР, г. Бугульма "

"Какую злоеющую роль в судьбах народных крестьянских поэтов сыграли многие деятели культуры, в том числе известные писатели и поэты, которые своим авторитетом подпирали беззакония и расправу над своими соратниками по перу! Разве не отголоском периода навеивания ярлыков является тот факт, что сегодня страницы многих периодических изданий полны разногласиями, личных выпадов, оскорблений. В истории нам нужна правда, а не домыслы, которыми, например, изобилуют пьесы драматурга Шатрова "Брестский мир " и "Дальше, дальше, дальше ".

К. Хапов, г. Ростов-на-Дону".

"Почему памятник только жертвам сталинских репрессий? А что с жертвами репрессий двадцатых годов? Что они, не люди? Неужели их память недостойна увековечивания? Надо или общий памятник всем жертвам революции и репрессий, или отдельные памятники — жертвы Сталина, жертвы Троцкого, жертвы Дзержинского, жертвы Свердлова, жертвы Ягоды, жертвы Бермана и т. д.

Однако создается впечатление, что такой ход событий кому-то невыгоден. Они быстро выдали информацию по 37-му году, создают мемориал, вершат гражданский суд над Сталиным, чтобы вывести из-под суда своих духовных отцов и дедов.

И. В. Мартынов, г. Минск".

"Ведь, действительно, черт возьми, и Бухарин и подобные ему, а также мастера слова — Светлов, Багрицкий и другие прямо или косвенно имели отношение к чудовищному кровопролитию: либо помыли руки в крови, либо пальчики замочили. Эх-ма! Слов нет... Боюсь перейти на непечатные слова и раздумья... Тошно от этой правды, но она сейчас нужнее, чем хлеб. Оскотинились. Да и мудрено было бы не оскотиниться с такой литературной, телевизионной и эстрадной кормежкой. А журнал Ваш, чувствую, сожрут: слишком силы неравные!

Всего доброго

Васильев А. А., г. Москва".

393

Еще несколько писем об исторической драме тех лет.

От Е. Г-вой, специалиста по античной филологии, автора нескольких книг, вышедших в серии ЖЗЛ, датированное ноябрем 1990 года:

"Из двадцати лет пребывания в Академии я вынесла убеждение, что судьба способного русского человека, не скрывающего своих патриотических и антикапиталистических убеждений, предрешена заранее. Но Бог вывел меня на Юрия Ивановича Селезнева. Он ободрил, поддержал меня. Светлая вечная память ему и царствие небесное. Казалось бы, дело наладилось. Я опубликовала в ЖЗЛ биографию Еврипида и Эпикура, сдала биографию Плутарха, но грянула перестройка...

Я просыпаюсь каждое утро в ужасе: рушится наше государство, я вижу воочию некоторых из тех, кто его разрушает, — и ничего не могу сделать. Если бы не дитя, я бы эмигрировала или, может быть, отравилась бы. Я не могу видеть гибели Отечества, бессильная чем-нибудь помочь, и не могу жить вечно "под колпаком", под которым сейчас оказалось большинство патриотической интеллигенции.

Помогите мне, поддержите меня морально. Мне хотелось бы, чтобы Вы полчаса поговорили со мною, может быть, это вернет мне надежду и веру в

наше общее будущее.

Р. С. Мое письмо носит сугубо личный характер. Публикация его равносильна моей гибели "

А вот письмо с Украины, откуда в прежние времена я получал (даже из сел!) столько милых, добрых, сердечных посланий.

"...Если бы Вы слушали республиканское радио, то ужаснулись бы — все об отделении нас от России. Ни одного журналиста нет, который сказал бы, что это противоестественно.

Где, в какой стране могло такое случиться? Я и мои близкие пережили голод, войну, два брата погибли, защищая всю нашу державу, а теперь один брат живет в Курске, другие родственники в Сибири — значит, за границей. Что же это такое? За что на старости лет?! По какому праву? Может, это покажется Вам смешным, но надежда какая-то есть на Вас, на Распутина, на Шафаревича, что-то предпринять Вы должны, не молчите. Вы лучшие всех понимаете, насколько это страшно — отделить нас от всего родного. Такая обида берет

394

за русский, украинский народ, за белорусов... От кого отделиться? Пусть антихристы отделяются! Если можете — поддержите морально и действительно... Простите за беспокойство.

Изотова Екатерина Евгеньевна и многие другие.

22.09.92, г. Днепрпетровск "

Весной 1990 года я был приглашен на встречу деятелей культуры с президентом и генсеком М. С. Горбачевым. Встреча произвела на меня удручающее впечатление. Разруха, как пожар, охватывала страну, а писатели и актеры жаловались высшей власти на то, что мало получают, что государство чересчур много забирает себе из того, что должно принадлежать им.

Об этом, к примеру, скорбел Петр Проскурин, а Алексей Баталов пугал собравшихся русским бунтом, "бессмысленным и беспощадным".

Сам Горбачев развернул перед нами совершенно убогую и косноязычную программу "перехода к рынку" и будущего рыночного благополучия... Собственно, с этого я и начал свое выступление, которое многим в зале, да и самому Горбачеву, было, как говорится, против шерсти.

Вот текст моей речи в несколько сокращенном виде:

"По случайному совпадению со мной оказался блокнот, в котором год тому назад я записывал некоторые отрывки из выступления Горбачева в узком кругу перед руководителями журналов, газет и других средств массовой информации... Вот отрывки из прошлогодней моей почти стенографической записи:

"Нас толкают с левых позиций не туда ", "Рынок! Но это же Польше предлагает валютный фонд! Боливии предлагают! Надо же знать народ. Семьдесят лет не зря же мы жили. Нельзя же безответственно теоретизировать "

"Левая фраза, столь привлекательная по форме, срывающая аплодисменты, оборачивается огромными человеческими трагедиями, трагедией социализма "

"Что нам предлагают нового? Возвращение капиталистической собственности? Возвращение в капитализм? Но это оке нищета философии "

"Проходил демократический форум в Ленинграде. Его

395

программа — частная собственность, ликвидация монополии партии, конфедерация — по всем позициям все против перестройки "

"Кое-кому хочется ломать народ через колено, кто-то рвется к власти, пытается реализовать свои политические амбиции..."

Год тому назад я мысленно аплодировал этим мыслям генсека, а сейчас с

горечью думаю: и башмаков еще не износили — а где эта твердая определенная воля? Где слово президента, столь нужное народу, растерявшемуся перед раскрытой пастью голода, нищеты, свирепого рынка?

Молчание. Или даже переход на деле на совершенно другие, противоположные позиции.

Я внимательно прочитал недавно подписанные Горбачевым Парижские соглашения. Сложные документы. Не так просто понять все их политические глубины. Одно место особенно озадачило меня — то, где говорится об "обязательном демократическом устройстве" государств, подписавших историческую хартию.

Ну а если, допустим, нынешний Молдавский парламент заявит, что приднестровское и гагаузское движение опасно для молдавской демократии — то не означает ли это, что содружество 134 государств под эгидой ООН не пошлет свое объединенное воинство для усмирения инакомыслящих? А если в нашем обществе вызреет монархическая идея или образуется военное положение? Так что, на мой взгляд, перед тем, как соглашаться на "обязательность демократии", наверное, надо было бы нашему лидеру получить благословение на то как минимум Верховного Совета...

Мы здесь много говорим о бедственном положении творческой интеллигенции. Уезжают. Впадают в панику. Утекают мозги... Да, конечно, обидно. Но сегодня наша жизнь, с ее разрухой, злобой, неустроенностью, такова, что на родине удержать художника может лишь чувство патриотизма. На мой взгляд; и несвоевременно и даже стыдно нам сейчас бороться с государством за свои, что ни говорите, кастовые денежные интересы в то время, когда 40 млн граждан нашей страны живут за чертой бедности. Сегодня мы все, за исключением баловней судьбы, жуликов и организованной мафии, живем по объективным законам и возможностям нашего общества. В Америке и конгрессмен и рабочий зарабатывают больше нашего парламентария и нашего рабочего. Так что будем по одежке протягивать ножки. Но должна же существовать система нравственных приори-

396

тетов! А то слушаю по радио вздохи и плачи по поводу того, что "Виртуозы Москвы" уехали из нашей страны, и думаю: ну, уехали, заключив хорошие контракты. С имуществом, с дорогими государственными инструментами, уехали, потому что им, по их понятиям, мало платят... Так в чем же вы, журналисты, обвиняете общество и государство? В чем? В том, что бедное общество не может "виртуозам" платить по их мастерству? И мы охаем и плачем, в то время когда по нашей стране криком кричит горе выброшенных из своих гнезд шестисот тысяч русских беженцев... Их палатки в полкилометре от этого зала, а средства массовой информации льют слезы по "Виртуозам Москвы".

А происходит такая подмена приоритетов все потому, что в последние годы многие газеты, журналы, телевизионные комментаторы изо всех сил разрушали и оплевывали патриотическую идею нашей истории и нашей жизни.

С горечью вспоминаю, как радовались идеологи так называемой демократической прессы тому, что многие кандидаты от патриотического блока в Российский парламент потерпели поражение на выборах. Как торжествовали, как смаковали на разные лады их поражение... И в голову никому из них не пришло, что патриотическая идея всегда спасала нас в самые трагические времена истории. Я убежден и ныне, что без патриотической воли все экономические, государственные и политические реформы у нас провалятся. Без патриотической энергии перестройка будет загублена. Так что, оплевывая патриотизм, мы, я имею в виду многих сидящих в этом зале, загоняем себя в

тупик.

Что оке мы приобрели в результате последних лет перестройки? Самое главное, что у всех на устах, — это "свобода и гласность".

Но я вспоминаю слова великого Есенина, который, наверное, любил свободу сильнее и искреннее, нежели мы все, вместе взятые, сидящие в этом зале.

Помните, как в 1923 году, он, потрясенный всем, что увидел за годы голода, разрухи и гражданской войны, с ужасом выдохнул:

*Еще закон не отвердел,
страна шумит, как непогода,
хлестнула дерзко за предел
нас отравившая свобода.*

Да, мы сегодня отравлены такой оке черной свободой кровопролития, хищничества, свободой разгула преступных

397

страстей. Все мы помним слова Чехова о том, что нам надо по капле выдавливать из себя раба. Да, надо. Но сегодня нам кроме этого надо уже ведрами вычерпывать из своих жил чернуху отравившей нас свободы...

И еще два слова. Алексей Баталов вспомнил слова Пушкина о "русском бунте, бессмысленном и беспощадном". Но это ведь цитирование Пушкина на школьном уровне. Не в русский народ были направлены стрелы пушкинского сарказма, потому что великий патриот России и мудрец Александр Пушкин так продолжил свои размышления: "Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка". Я все время вспоминал эти слова, когда слышал призывы экстремистов на массовых митингах в Лужниках, на Красной и Манежной площадях...

Пушкин призывал нас к патриотической ответственности. Так будем достойны этого призыва... "

Хлопали мне с осторожностью, глядели на Горбачева, а тот сидел в президиуме, поджав губы, держа руки на столе, с каменным выражением лица, похожий на Муссолини.

На встречу с Горбачевым я был приглашен уже как главный редактор. В то время, кстати, главных редакторов журналов утверждали на Политбюро ЦК КПСС, и мои друзья Василий Белов, Валентин Распутин, состоявший в декоративном президентском совете, потратили немало сил, чтобы убедить генсека не возражать против моего назначения.

Впрочем, время уже было смутное и безответственное.

В августе 1989 года Сергей Васильевич Викулов окончательно решил: "Приходи в мой кабинет и принимай журнал, а в ЦК рано или поздно утвердят. Никуда они не денутся".

Мы так и поступили. Несколько позже состоялось-таки заседание Политбюро, на котором, как мне рассказывали партийные чиновники, А. Н. Яковлев был против моего утверждения, но Горбачев будто бы сказал ему:

— Александр Николаевич! Мы пошли тебе навстречу — передали "Огонек" Коротичу, а "Знамя" Бакланову. Ну давай бросим кость русским писателям.

Задним числом — через месяц-полтора после того, как я взял "Наш современник" в свои руки, меня пригласил к себе безликий партийный функционер, секретарь ЦК по идеологии В. Медведев, для того, чтобы с важным видом сообщить, что мое утверждение состоялось. Заодно он попытался и повоспитывать меня. Перед ним лежал номер журнала "Кубань", в

398

котором было какое-то мое интервью, где я касался русско-еврейского вопроса.

— То, что Вы могли себе позволить как частное лицо, то не должны позволять как главный редактор, — и поглядел на меня строгим и совершенно пустым взглядом. Но я уже понимал всю формальность и этого разговора и этого якобы назначения. Мы уже были предоставлены сами себе. А Горбачев с Яковлевым и Медведевым морально готовились к тому, чтобы сдать и страну и партию.

В эти же дни в моем кабинете раздался телефонный звонок.

— Звонят из приемной Лигачева. Егор Кузьмич сейчас будет говорить с Вами.

Лигачев говорил энергично и напористо:

— Станислав Юрьевич! Поздравляю Вас с утверждением в должности. Надеемся, что журнал будет вести литературную политику в интересах партии и народа. Если будут какие-либо трудности — обращайтесь ко мне лично.

Но глядя на то, как разворачиваются события, я понимал, что все эти утверждения в должности, звонки, уверения в поддержке безнадежно запоздали.

Россия не успевала создать и организовать свою национальную силу для сопротивления и мировой закулисе и своим собственным разрушителям и для правильных отношений со своими собственными, сбитыми с толку и лишенными инстинкта самосохранения обывателями.

1989—1991 годы были страшными по накалу русофобии, которая вспыхнула, как направленный взрыв, в слоях общества, названного Игорем Шафаревичем "малым народом". Каждый раз в эти дни с тягостным чувством я включал телевизор, спускался к почтовому ящику или шел в редакцию. Какое письмо я получу сегодня? Ну что еще намалевали на наших дверях и окнах ночью? Какую мерзость и какую клевету сегодня я услышу с голубого экрана из уст Александра Любимова или Александра Политковского, Татьяны Митковой или Владимира Молчанова?

А может быть, опять разбито стекло на вывеске "Наш современник"?

В эти дни, когда русская патриотическая мысль, чувство и воля были словно бы оглушены, растеряны, смяты объединенными русофобскими силами нашей "пятой колонны", оставалось только все запоминать, крепить личное мужество и терпеть до лучших времен.

Разбираешь, бывало, читательскую почту и наряду с ободряющими и душевными письмами вдруг прикасаешься к

399

конверту, который источает токи, обжигающие пальцы, слепящие зрение, туманящие разум. Чтобы не быть голословным и чтобы нынешнее молодое поколение читателей не думало, что я все это сочиняю, приведу лишь несколько писем такого рода. Оригиналы я бережно сохраняю, на всякий случай, если наша юриспруденция вдруг обвинит меня в том, что я сам сочинил эти письма, чтобы разжечь очередную межнациональную рознь.

"В союз писателей РСФСР Московская писательская организация Москва 121069 Герцена 53,

Куняеву

Слушай, ты Куняев, недавно в газете "Комсомольская правда" была статья о черносотенной неформальной организации "Память". К слову там был упомянут и недоброй памяти Кожин—ярый черносотенец и погромщик. Так вот, за этой "Памятью" так и маячат тени В. Белова, Шуртакова, Проскурина, всей мерзко смердящей шайки лабазников, лавочников и погромщиков. Защищая Белова, вы Куняев выдаете себя с головой все сволоч извращаете и пытаетесь завуалировать антисемитизм Белова высокими фразами. А на самом деле Белов не что иное как посредственный писаршика и его приверженность черносотенным взглядам ставит его в двусмысленное положение. Хорошую же

вы услугу — черносотенцы делаете революционному процессу — разжигаете антисемитизм усугубляете нац. распри. Только благодаря таким как вы до сих пор в России существует негласная процентная норма и др. виды нац. дискриминации. И страна безнадежно отстала от западной цивилизации. Зарубите себе на своем носу Куняев что настоящие русские писатели-интеллигенты чурались антисемитизма, как дурной болезни а вы с Беловым, Кожинным, Ю. Сергеевым — словом со всеми подонками тянете в сторону мракобесия и фашизма. И тот факт что Вас уже разоблачили в "Комс. правде" и "Известиях" это справедливое вам воздаяние за подлые делишки. И даже если Миша Бриш порождение злокозненной и непристойной фантазии Белова — какое дело Белову до этого. Белова в США уже не пустят. Черносотенцы в Царской России хотя и бились головой об стенку от ненависти к людям евр. нац., но даже они не додумались обвинять людей только за то, что хотят поки-

400

путь страну, где их притесняют. Бьемся об заклад что ваше вонючее кодро будет сдано на корм собакам Булгакова и графа Толстого и назло Вам космополиты будут хорошо жить, пить прекрасное вино на всех континентах и пахнуть французскими духами а ты жри прокисшие щи с тараканами".

Без подписи. Орфография и стиль, как в оригинале.

Подлее всего были обвинения, бросаемые нам "Огоньком", "Литературкой", "Известиями", телевидением и массой других изданий и вещаний, в том, что русские писатели-"патриоты" взывают к "голосу крови", обвиняют в "антипатриотизме" писателей, в жилах которых течет "нерусская кровь", объявляют врагами всех, "у кого кровь смешанная и нечистая", утверждают, будто бы лишь "чистокровность" лежит в основе "русской идеи", словом, скатываются на расистские позиции. Вот цитаты из огоньковских статей тех лет:

"Идея чистоты крови не дает спать спокойно, взывает к действию".

"Обращение к биологическому голосу крови".

"О "рязанском десанте" и чистоте крови".

А "Московская правда" от 16.2.1990 года опубликовала не что-нибудь, а "обращение ученых бюро отделения мировой экономики и международных отношений АН СССР" о том,, что якобы творилось на VI пленуме Союза писателей РСФСР:

"Дело дошло до того, что пленум Союза писателей РСФСР в 1989 году провозгласил теоретическую модель расовой чистоты нашей литературы".

Но надо сказать, что наиболее трезвые еврейские головы еще пытались в начале перестройки понять нас и даже поддерживали наши взгляды.

Свидетельство тому письмо журналиста Марка Виленского, который совершенно иначе воспринял мое выступление на рязанском секретариате 1988 года, нежели оголтелые борзописцы из "Огонька":

"Уважаемый Станислав Юрьевич!

Признаюсь, что я не без раздумий вывел слово "уважаемый". Скажу откровенно—до сегодняшнего дня Вы были одним из наиболее ненавидимых мною людей на земле. Причины — Высоцкий, могила "майора Петрова", Павел Коган с товарищами.

Но сегодня, изучая историю "рязанского десанта", я

401

прочитал в "Лит. России" от 28 октября стенограмму и был изумлен и приятно поражен Вашими мудрыми и правильными словами по еврейскому вопросу.

Ни один из левых либерал-демократических интернационалистов, включая Гранина, Евтушенко, Вознесенского, не сказал этих необходимейших, облегчающих душу и проясняющих ситуацию слов. Вы же, человек из лагеря "заединчиков", подозреваемых (увы, не всегда без оснований) в черносотенстве,

подтвердили, что человек еврейского происхождения может быть фактически русским. Проведенное Вами различие между Шагалом и Левитаном предельно убедительно. Тем самым вы нанесли удар по антисемитизму, за что вам глубочайшее спасибо. Я русский человек, еврей по паспорту, не знающий другого языка, кроме русского, думающий и видящий сны на русском языке, женатый' на русской, пропитанный Чеховым, Пушкиным, Есениным. Если во мне и възграет какой-либо национализм, то только русский, но я его старательно подавляю, оставаясь убежденным интернационалистом. Вы пишете, что когда кто-то "отрицает или не замечает еврейскую национальную стихию со всеми особенностями ее исторического развития, то тем самым ожесточает еврейское сознание". Правильно! Но сознание таких людей, как я, ожесточает прежде всего нежелание признать нас русскими. Перечитываю, глазам своим не веря, чудесные, золотые слова: "Евреи сами устали от такого двусмысленного состояния, и если мы, русские, протянем руку, они скажут "спасибо ". "Спасибо " я Вам и говорю. После сказанного Вами в Рязани, я полагаю, что могу попросить Вас ознакомиться с моей выстраданной рукописью "Легко ли быть евреем, если ты —русский?"

Но агрессивный фланг еврейства не унимался. Жертвенной крови в этот смрадный костер подливал в своих публикациях мелкий писатель, но широко известный идеологический функционер Александр Борщаговский своими кощунствующими причитаниями: "обвиняется кровь, и ничто другое", "недоверие к крови, презрение к крови, ненависть к крови". Он сам хмелел от своих же заклинаний и становился похожим на своего соплеменника, персонажа из замечательного рассказа Исаака Бабеля Нафтулу Герчика, совершавшего в Одессе обряд обрезания плоти иудейским младенцам:

"Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклоченной его

402

бороде. Он выходил к гостям захмелевший... Жена вытирала салфетками кровь с его бороды..."

Вот он, настоящий культ крови, который русскому человеку, озабоченному всю жизнь своей душой, никогда не понять. А все крики о пристальном внимании русских к "проблеме крови", может быть, есть не что иное, как фрейдистский комплекс, о котором хорошо сказано в русской пословице: "с больной головы на здоровую".

Все эти расистские бредни приписывались нам как аксиома, не требующая доказательств. Наши якобы подлинные заявления о том, "что настоящими русскими писателями могут быть только люди с чисто русской кровью", бесцеремонно придумывались и сочинялись досужими клеветниками. Никто из наших хулителей никогда и нигде не привел буквально ни одной такой цитаты из каких-либо наших статей, речей, выступлений, потому что никто из нас никогда не говорил и не писал подобных глупостей.

Но как бы то ни было, в итоге наивные и доверчивые читатели, науськанные огоньковскими и прочими провокаторами, среди которых особенно усердствовали две Ивановых — Татьяна и Наталья, Оскоцкий, Овруцкий, Дейч и прочие, страстно проклинали нас в письмах вот такого содержания:

"Уважаемый т. Куняев! Выписываю "ЛГ" и "Огонек". Дважды столкнулась с Вашей фамилией — речь на пленуме СП и упоминание в статье Н. Ивановой. Этого достаточно (Ст. К.!), чтобы понять, "кто есть кто". Между прочим, судя по Вашей фамилии, себя причислять к "чистопородным русским " Вы не можете. (Я никогда этого не делал! — Ст. К.) И о какой чистокровности нации можно говорить после почти 200-летнего татаро-монгольского ига, засилия

поляков, евреев, немцев. Какие же вы все убогие и жалкие! Конец XX века, земля нафарширована атомным оружием — и рядом мышьявая возня претендентов на чистокровность. Вот произведений Ваших и ваших коллег я что-то не читала и даже не слышала о таких писателях. Если не хватает таланта, то хоть чем-нибудь прославиться? А из-за таких "чистокровных", как Вы, приходится терпеть в адрес русских (неужели русская пишет? — вот горе-то! — Ст. К.) самые нелестные эпитеты: недавно пришлось слышать по телевизору высказывание иностранца: "Я думаю, что русские — и не люди вовсе".

Л. Пащенко,

г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 133, кв. 34":

403

Письмо настолько демонстративное, что я специально привожу даже адрес корреспондентки: поверьте — она не выдумана мною. Одна только мысль, я помню, сверлила мою душу: письмо грамотное... Неужели эта женщина — русская?! Какое вырождение, какой позор, и наш общий и мой личный, что мы вольно или невольно вырастили таких грамотных денационализированных роботов!

Вот чем оборачивались для нас писания дейчей, ивановых и оскоцких. Они знали, что делают. Им надо было провести массируемую психическую атаку на обывательские головы и выиграть время для обеспечения победы "пятой колонны". И они этого добились. По крайней мере, на сегодняшнем этапе истории.

Но как все грубо и несправедливо! Что мы не знали, что ли, что в жилах Пушкина есть капли африканской крови, что Достоевский и Некрасов чуть ли не полуполяки? Что Жуковский — сын турчанки, а фамилии Тургенев и Аксаков — тюркского корня? Что Гоголь малороссиянин? Что Александр Блок по отцовской линии из немцев?

Все это мы знали лучше наших хулителей, и потому те бредни, которые они нам приписывали, естественно, ни произносить, ни писать не могли. Тем более что глянешь на Валентина Распутина или Александра Вампилова — и видишь в разрезе их глаз и цвете лица нечто якутское, бурятское, гуранское. А Вячеслав Шугаев, объявленный по недоразумению в одно время русским антисемитом? Да он же чуть ли не подлинный татарин!

Мой друг Анатолий Передреев однажды на каком-то писательском съезде стоял рядом со мной у Кутафьей башни.

Мы увидели четверых живых классиков, шедших бок о бок вдоль Александровского сада и приближавшихся к нам. Это были Василий Белов, Федор Абрамов, Владимир Личутин и Дмитрий Балашов. Маленькие — каждый метр с кепкой, — коротконогие, скуластые, с рыжеватыми бородами (по крайней мере, трое из четверых)... Кто-то из них был в тулупе, кто-то в сапогах, кто-то в красной деревенской рубахе...

Анатолий Передреев — стройный, высокий красавец, человек южнорусской породы, понимая, что выгодно отличается от них, лукаво толкнул меня в бок:

— И это великие русские писатели?! Да это же вепсы! — И захохотал, довольный своею шуткой.

Да если бы в этой нашей борьбе с борзописцами демократии речь шла всего лишь навсего об отдельной судьбе каждого из нас, о личном достоинстве и личной чести! Нет,

404

сатанинский план был грандиозен: унижить, оскорбить, оклеветать всю русскую историю, всю родословную народа. Этот поистине крестовый (а скорее антихристовый) поход, как всегда, возглавляли "инженеры человеческих душ": Синявский {"Россия-сука!"}, Василий Гроссман {"Россия — тысячелетняя раба

"), Татьяна Щербина (*"Да, да, все русские, в скобках советские люди — шизофреники"*, *"Может быть, все русские — сумасшедшие?"*, *"Россия должна быть уничтожена"*, *"Русские дебилы в национальном отношении"* (Ромуальдас Озолас)... *"Русский народ — народ с искаженным национальным самосознанием"* (Галина Старовойтова).

Им вторили политики, академики, телеведущие, утверждая, что жаждущие крови русские вот-вот начнут еврейские погромы:

"Они назначили погромы на день Святого Георгия в начале мая" ("Вашингтон пост", Виталий Гольданский).

"Пятого мая должны произойти погромы" (Владимир Молчанов — с экрана телевизора).

"Звонят читатели: 'Извините, погромы будут в Москве и Ленинграде или в Киеве тоже? Подскажите, куда вывезти семью?'. 'Нельзя ли передать вам личный архив на сохранение?' 'Стыдно слышать эти робкие вопросы! Стыдно отвечать! И как утешить этих людей, если прокуроры, милиция, горкомы и райкомы... ждут 'фактов'. Безграмотно и безнравственно полагать, что преступление — это факт погрома. Между тем преступление уже свершилось: 'призыв к погрому'". (Из передовой статьи "Литературной газеты" от 7.2.1990 года.) Тираж ее тогда достигал пяти миллионов. Представляете, как заражала она страну трихинами страха, ненависти, истерии, сочиняя в своих недрах жалкие сценарии о каких-то звонках, не соображая даже того, что если такие звонки и были, то несчастные люди, звонившие в "Литгазету", обращались туда, как в некий штаб по организации погромов, как в некий информационный центр, где все обо всем должны знать, поскольку вся информация, все сценарии сочиняются в его недрах.

Бессовестные журналисты тех времен — Юрий Соломонов, Ирина Ришина, Юрий Рост, Нина Катерли — не удосуживались даже сочинить, не то что процитировать, поскольку таких цитат в природе нет: где и когда, какие русские писатели, какая "Память" призывала громить несчастных евреев. И никто, никто не привлек этих провокаторов к ответственности за "разжигание межнациональной розни"!

405

Метаастазы клеветы, разливаясь по системам информационного кровообращения, проникали в провинцию, отравляя русофобским зловонием некогда консервативно-целомудренные страницы провинциальных газет. Моя родная калужская молодежная газета тоже не выдержала и забилась в антирусском эпилептическом припадке: *"Русский характер исторически вырожден. Реанимировать его — значит вновь обрекать страну на отставание"*. Словом, как лесной пожар, пламя "черного интернационала" бушевало и в столицах, и в провинции, и в главных, и во второстепенных, и даже в каких-то научных изданиях. Помню, выписал из какого-то журнала размышления лингвиста С. Болотова: *"Русский мат — едва ли не единственное творение русского духа..."*

Впечатление было таково, что весь тот ураган, то цунами, то восстание таившихся до времени темных сил было при помощи направленного взрыва обрушено на Россию.

Время уважительной полемики — вспомним письма Яна Вассермана! — прошло безвозвратно. Борьба пошла не на жизнь, а на смерть.

Воздух был переполнен трихинами ненависти, клеветы и отчаяния, которые поражали всех без разбора.

Вспоминаю, какую бурю чувств вызвало в моей душе, казалось бы, незначительное событие. В один из осенних дней 90-го года я шел к метро мимо забора из металлических прутьев, окружавшего наш "элитарный" литфондовский

детский сад. У забора стоял мальчик лет пяти, крепко схватившийся ручонками за металлические прутья. Лицо его было серьезным и сосредоточенным. Сжимая прутья и чуть-чуть раскачиваясь, он бормотал что-то, и когда я приблизился к нему, то услышал нечто, от чего у меня дрожь прошла по спине. Мальчик медленно, чуть ли не по слогам с неподвижным лицом повторял одни и те же слова:

— А я — русский... А я — русский...

Входивший тогда в моду писатель Вячеслав Пьецух, словно выродившийся наследник маркиза де Кюстина, упрощал до идиотизма в "Литературной газете" все русофобские формулировки своего пращура в статье, названной в подражание маркизу "Открытие России":

"Талдычат про великую Россию... И что, собственно, в ней великого "; "нашествие Наполеона одолели, однако не одержав ни одной победы "; "В Великую Отечественную войну немцы разгромили Красную армию в две недели "; "за полтора тысячелетия мы так и не удосужились создать систему национального воспитания "; "патриотизм — обман зрения...

406

опиум для народа "; "наши пословицы — ведь тоже чистый срам"; "Россия — страна, не приспособленная для человеческого жилья, как мертвая Антарктида".

И всю эту зловонную смесь ненависти, невежества и высокомерия приходилось слышать, читать, переживать, терпеть... Именно так, грубо и нагло готовилась августовская провокация 1991 года. Но все-таки как внезапно и неожиданно для себя проговаривались русофобы. И хотели бы промолчать, но очень уж не терпелось сказать самое главное, и вылезало оно из всех маскировочных оберток, как шило, которое в мешке не утаишь. Помню, в "Литературной газете" № 2 за 1992 год было опубликовано письмо некоего читателя И. Хорола, восхваляющее Горбачева: *"Прочитал очень интересное интервью А. Н. Яковлева. Конечно, автор прав. Горбачев — великая фигура. Он просто не мог учесть, а тем более изменить биологию своего народа"*. Далее автор сравнивает Горбачева с Дж. Неру, Б. Расселом, А. Эйнштейном, А. Сахаровым и многими "другими великими людьми XX века".

Так вот в чем таилась голубая мечта русофобов: "изменить биологию своего народа". Какой грандиозный, какой фантастический, какой соблазнительный замысел! Ведь до сих пор это не удалось ни Троцкому, ни гитлеровским расистским столпам науки, ни нашим отечественным специалистам по евгенике... *"Изменить биологию народа"* под силу разве что Творцу, создавшему всех нас, черных, белых, желтых, с одной лишь ему ведомой целью... Поистине богоборческую задачу поставила "Литературная газета" в этом письме перед Горбачевым и горько сожалела, что не смог он ее выполнить, силенок не хватило справиться с русским менталитетом, с нашим "извечным рабством", с нашей генетической тягой к авторитаризму... Какая уж тут демократия, если для нее, оказывается, надо *"изменить биологию народа"*!

Я не зря упямянул Троцкого и двадцатые годы. Именно тогда вершился план привить русскому человеку и "американскую деловитость", и стопроцентный атеизм, и беспощадность в классовой борьбе... Так что попытка "изменить биологию" уже была. Ради нее российская история чудовищно извращалась, следуя геббельсовской логике о том, что ложь, чтобы ей поверили, должна быть великой.

Недавно вышла в свет книга серьезного историка Г. Костырченко "В плену у Красного фараона". Автор отнюдь не патриот, как историк он скорее антисталинист, но в большинстве случаев с успехом удерживается на объективной точке исследования после тщательнейшего изучения президентского

архива. Вот что пишет он о так называемой кампании по выселению советских евреев в Сибирь, якобы задуманной Сталиным:

"Л. А. Шатуновская — непосредственная участница описываемых событий... приводит распространенные тогда слухи, что в Сибири уже строились бараки, а также готовились товарные вагоны для ссыльных".

"Отсутствие фактов, подтверждающих эту версию, в комментарии компенсируется публицистическим пафосом, полунамеками, противоречивыми туманными рассуждениями".

Негласный информатор госбезопасности И. В. Нежный, известный театральный деятель тех лет, по словам Костырченко, *"в последующие годы вплоть до своей смерти в начале 70-х годов продолжал широко делиться своей версией о планах Сталина в отношении евреев в начале 1953 года. Может быть, поэтому предположение о готовившемся Сталиным переселении евреев в Сибирь переросло со временем для многих в реальное и вполне доказанное намерение"*.

Кстати, однофамилец (а может быть, и отпрыск?) "информатора" И. Нежного—А. Нежный, продолжая провокаторские традиции предшественника, в годы перестройки много сил потратил на доказательство якобы существующей связи высших иерархов церкви с КГБ. Ни одного документа, ни одного решения, ни одного доказательства о якобы готовившемся и уже подготовленном (на уровне списков, имевшихся у дворников!) переселении всего советского еврейства в сибирские лагеря не найдено ни в одном архиве, и тем не менее историк А. Ваксберг в книге о Лиле Брик пишет в 1998 году: *"13 января 1953 года "Правда" сообщила об аресте "врачей-убийц" и предстоящем суде над "заговорщиками в белых халатах". Это был предпоследний акт задуманной Сталиным кошмарной мистерии. Последним должно было стать линчевание "убийц" и депортация всех евреев в Сибирь, где им предстояло "искупить свою вину перед советским народом". Легендарный советский чекист П. Судоплатов комментировал в своих мемуарах эту ситуацию так: "Если подобный план действительно существовал, то ссылки на него можно было бы легко найти в архивах органов госбезопасности... Я считаю, что речь идет только о слухе..."*

Но вот как кликушествовал в 1990 году о той же исторической ситуации известный советский писатель Александр Евсеевич Рекемчук:

"Увы, документами, свидетельствами подтверждено

(?! — Ст. К.), что 8 марта 1953 года должна была состояться публичная, при стечении десятков тысяч людей, казнь так называемых "врачей-убийц", в основном еврейской национальности. Вслед за этим планировалась высылка евреев из Москвы, Ленинграда, других центров России в концентрационные лагеря на Дальний Восток. Лагеря были подготовлены, виселицы делались, судилище в московском цирке подготовлено, роли распределены" ("Красноярский комсомолец", 23.6.1990г.).

Сколько людей он запугал, сколько душ заставил испытать страх погрома, сколько евреев после прочтения того бреда побежали в иностранные посольства, сколько языков пламени, названного ныне "национальной рознью", вспыхнуло в обывательских душах! И ничего, прошли годы, старый благостный Рекемчук ходит по Москве, издает книги, радуется успехам демократии. В той же статье, кстати, я был назван "идеологом фашистского движения", подписавшим "фашистское письмо 74 русских писателей". А ведь за десять лет до того мы работали с ним вместе секретарями Московской писательской организации, заседали, обедали, иногда выпивали, он клеймил в печати "власовца Солженицына", а иногда, во время приема в Союз писателей новых членов на наших секретариатах, склонялся ко мне и шептал на ухо: "Сегодня мы что-то

много евреев принимаем. Давай вот этих зарежем, проголосуй против, а то слишком заметно будет". Но я если и голосовал против, то лишь тогда, когда видел, что человек бесталанен, и незачем ему числиться в справочнике Союза писателей... Вот кого надо было бы судить за распространение лживых слухов и разжигание межнациональной розни — Ваксберга, Рекемчука, Нежного. Один из них только попался — некто Норинский, который от имени "Памяти" послал в "Знамя" надменное письмо, в котором была угроза расправы с главным редактором Баклановым. Тот с возмущением опубликовал факсимильный текст, но еврейский провокатор Норинский вскоре был пойман с подобными письмами и получил год тюрьмы условно.

Провокационного вранья в те годы было столько, что не было возможности осмыслить, ответить и опровергнуть его.

Помню, как Марк Дейч, опричник и цепной пес демократии, борясь с патриотической прессой, с пеной у рта доказывал на страницах "Огонька", что никакого декрета "О борьбе с антисемитизмом" в 1918 году не было: *"Декрет опять же выдуман"*, кричал он на всю страну, попирая и журналистскую этику, и факты, и историю. Ибо, как вспоминает А. Лу-

409

начарский в книге "Об антисемитизме" (М.—Л., 1929 г.): *"когда тот декрет был написан Я. М. Свердловым и принесен Ленину, Ленин его прочел и красными чернилами своей собственной рукой на этом документе приписал: "Совнарком предписывает всем совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона"*.

Опытный политик Иосиф Сталин был такого же мнения и на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки 12 января 1931 года ответил:

"В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью" (Собр. соч., т. 13, стр. 28). А теперь я немного поиронизирую: вот кто были настоящие борцы с антисемитизмом—Ленин, Сталин, Свердлов! Не то что Кобзон или Сванидзе. Поскольку в ближайшие десятилетия никакого православного государства (когда кругом заказные убийства и работоторговля) мы не построим, то надо бы использовать опыт великих вождей. По всей Москве вместо глупых реклам о колготках, "прочных, как истинные чувства", надо развесить их изречения: "Антисемитам — смертная казнь!.." А мы что делаем? Сталина поносим, Ленина жаждем из Мавзолея выбросить, памятник Свердлову снесли... Ну как тут антисемитизму не поднять голову! Вот Господь нас и наказал появлением Баркашова и Макашова. Немедля надо Новодворской с Боровым постричься и покаяться и цветы к Мавзолею и к могиле Сталина принести. А демократическим властям своим указом восстановить памятник Свердлову во всей красе и величии...

Да, слово "жид" можно поставить вне закона. Давайте окончательно легализуем мат и порнографию, но слово "жид" страшнее любого матерного слова, выжжем каленым железом! Для этого парламенту относительно этого слова надо принять соответствующий закон (такого закона нет). Нам придется изъять из всех общественных библиотек все книги, в коих это слово присутствует: "Повесть временных лет" легендарного Нестора, древнерусские былины об Абраме-Жидовине, изданные недавно тома Даля с толкованием запрещенного слова, многие книги Пушкина, Достоевского, Гоголя, Некрасова, Блока, Есенина... Книги эти должно публично сжечь на площадях (дабы Макашовым неповадно было!), как сжигались во времена Третьего рейха книги Гейне, Гете, Шиллера, Томаса Манна на площадях в Германии. Нам

410

придется переименовать историческое понятие "ересь жидовствующих" в "ересь еврействующих", всемирно известного писателя Андре Жида в Андре Еврея, а легендарный персонаж библейской истории Вечный Жид также отныне в России должен называться Вечным Евреем.

Кстати, в 20-е годы советской власти многие книги Пушкина, Блока, Есенина, а также словарь Даля выходили именно с такими купюрами.

С незапамятных времен народы, борясь друг с другом за место под солнцем, насытили свои верования, свою литературу, свой язык множеством сюжетов, заповедей, мыслей, афоризмов, которые с точки зрения современной убогой юридической мысли всегда в той или иной степени "разжигают национальную рознь".

Книги Ветхого завета полны оскорбительных выпадов против народов, чьи потомки живут и здравствуют и поныне.

Русские былины, песни и пословицы полны сюжетов, которые, при желании, любой нынешний ничтожный юрист может трактовать как антисемитские и антиатарские. "Незванный гость — хуже татарина", "А нехристь, староста-татарин"... Стихи и поэмы великого Шевченко полны чувств и мыслей, уязвляющих национальное достоинство "русских", "москалей", "великороссов". Я уж не говорю о всякого рода эпитетах из сочинений наших гениев: "бежали робкие грузины", "злой чечен ползет на берег", "ко мне постучался презренный еврей"...

Объявить все это вне закона можно, как и начать историю всего человечества с чистого листа, но это не под силу ни нынешнему министру юстиции, ни главе президентской администрации, ни самым умным законодателям, ни Совету безопасности ООН, ни даже НАТО. Отмена всей человеческой истории может случиться лишь после Второго Пришествия... Так что придется нам еще подождать какое-то время.

Однако вернусь к 1989—1990 годам...

Пресса и ТВ все мощнее, все примитивнее и грубее натравливали на Василия Белова, Игоря Шафаревича, Вадима Кожинова, Валентина Распутина, да и на всех нас — а нас было не так уж много! — беснующуюся русофобскую чернь. Науськанные мелкими журналистами вроде какой-нибудь Лосото или Кучкиной, их клеветы однажды ночью

411

подобрались к нашей редакции, разбили вывеску, намалевали на стеклах окон масляной краской шестиугольные звезды, написали на дверях всяческие оскорбления: "Белов — мертвец", "Россия родина свиней", "Все вы с голоду подохнете"... Что нам было делать? Разве что вызвать корреспондента газеты "На боевом посту", чтобы он сфотографировал все эти художества для истории и опубликовал их.

Но в ответ получаем очередное послание, мишенью которого стал другой наш член редколлегии, Игорь Шафаревич:

"Русская свинья шафаревич, тебя презирают, ненавидят и гонят, как проказу все республики. Только трусливый русский ублюдок может не замечать этого. Ублюдок шафаревич, евреи торчат тебе костью в горле по той причине, что примитив — злейший враг разума, а также потому, что все русские свиньи смелы десять на одного. Ублюдок шафаревич, только врожденная русская тупость могла довести страну до ее нынешнего состояния. И только врожденная русская подлость позволяет винить во всем евреев. Ублюдок, шафаревич, то, что русские нация рабов — аксиома и не цепляйся к Гроссману, не шипи, русская свинья.

Впрочем словосочетание "русская свинья" по отношению к такому ублюдку, как ты, оскорбительно для свиньи. Нет в природе твари, сопоставимой по

зловонию, подлости, трусости с ублюдком русской национальности. Ты можешь биться в конвульсиях, мир лишней раз убедится в правоте Гроссмана, профессора из Эстонии Маду и многих других". (Аноним. Стиль и орфография сохранены.)

Да, подумал я, прочитав ту прокламацию, эпоха дискуссий, время Эйдельманов и Вассерманов прошло. Жанр "переписки из двух углов" вырождался на глазах.

В эти же дни я получил письмо не анонимное и с обратным адресом: г. Москва, М. Ботаническая, дом 12, кв. 6. Левиной Р. С.

"Куняев! Бесишься, что мы уезжаем за границу жить? Кто в Америку, а кто в свою страну Израиль, где не будем видеть ни одной русской хари, от которой воняет щами и квасом. И ты осмелился по радио твякать, как пишет Т. Иванова в "Книжном обозрении", № 77 от 23.11.90 года (вот они — провокаторы! — Ст. К.), на евреев, что мы бежим. Не бежим, а уезжаем. Раньше уехали бы, но нужно было, чтобы кто-нибудь вызов сделал. Оттого и сидели здесь, жрали говно вместе с вами. Да это счастье отсюда уехать из этой

412

помойки с русским навозом. А вы подышайте здесь. Захлебнетесь преступностью. Питанием вонючим. Пару Чернобылей надо вам. Мы уезжаем и просим Бога, чтобы он всех вас наказал за нас. Экология, преступность, голод, никакого просвета. Жопу нечем прикрыть скоро вам будет.

Я рассердилась, узнав, что Израиль прислал апельсины, огурцы, помидоры, сухое молоко. Еще чего не хватало! Пусть подышают с голоду. И пробрался же ты (конечно, за взятку) на такую должность. Долго ты собираешься на ней сидеть? Или нанять людей, чтобы тебя кокнули и разбросали части твоего мерзкого тела так, чтобы их никто не нашел? А? Ведь ты деревня, лимитчик, а ведь туда же, где все люди, в журналистику подался. Вот такие вы все. Понаедете из деревень, твякаете на собраниях и выбирают вас в начальники. У нас к твоему сведенью беспокойство, тревога состоит в том, как бы вывезти отсюда побольше серебра, бриллиантов, золота, поменять деньги (а они у нас у всех есть) на доллары и увезти. Вот в чем тревога наша, но все успешно пока удастся. Одно расстройство, что наши евреи повезли с собой навоз — русских жен. Сейчас слава Богу в Израиле спохватились, что пропустили их и не будут давать им гражданства. Или пусть принимают иудейскую веру.

Я бы не разрешила им нашу веру брать. Слишком много чести. Надо было развестись с ними и оставить их здесь. Пусть их берет замуж Ванька — дрэк или Васька — тухэс. Ты понял мою любовь за все к русичам, и тебе частности... А в Америку еще хочешь съездить гнида? Да кто тебя пустит, мразь. Чтоб ты сдох!!! Да сбудется все, что мы тебе желаем".

Я могу понять религиозный фанатизм, расовую ненависть, политическое неприятие, но чтобы добровольно выворачивать свое нутро, чтобы с таким наслаждением гордиться якобы поголовной причастностью своих соплеменников к мошенничеству, воровству и цинизму, чтобы так презирать живущих на одной с ними земле людей?! Ведь, желая уязвить меня, эта женщина изобразила всех евреев последними негодьями, а русских последними дураками. Оболгала два великих народа...

Боже мой, в какой зловонной тьме скиталась ее душа, которую можно только пожалеть за полную безблагодатность жизни. Я даже хотел поехать по адресу, указанному на конверте, но не решился. От мистического ужаса: вдруг приеду в Марьину Рошу, позвону, и мне откроет дверь не человек, а

413

какое-нибудь сатанинское существо из фильмов Хичкока...

Но в то же время получить такое письмо было несбыточной удачей. Публикуя

его сейчас, я чувствую себя свободным от того, чтобы приводить какие-то аргументы об особенностях худшей части еврейства. Но это мне стало понятным не сразу. А тогда, читая подобное, надо было собрать все духовные силы, чтобы не стать антисемитом. Однако было забавно узнать, что соглядатаи следили за каждым нашим шагом. Именно весной 1990 года, когда мы, "группа русских писателей", собирались по приглашению американского посла Мэтлока в Америку, перед самым отъездом я получил то послание.

Я после долгих колебаний все-таки решился опубликовать эти мерзкие письма, чтобы те, кто помоложе меня, поняли, какие силы тьмы противостояли и противостоят русскому человеку. Но одновременно они должны понять, насколько отравлены злобой души этих существ, и если Бог не в силе, а в правде, если наше дело правое, а оно иным быть не может, поскольку вызывает столь низменные чувства у его противников, то победа будет за нами. А побежденных за их "скрежет зубовный", за то, что по их письмам видно, как злоба выела их дотла, до зловонного смрада, исходящего из их чрева, можно только пожалеть.

Ярость, овладевшая в то время самыми худшими фанатиками любого националистического отребья, выплескивалась со столичных улиц и площадей, отравляла тихую жизнь наивной русской провинции. Помню, как-то летом приехал в Калугу и пошел погулять в калужский бор, отдышаться, привести мысли в порядок, немного отвлечься на родине от мутных гражданских страстей. Иду по лесной тропинке, мимо могучих темно-коричневых стволов, слушаю пенье птиц, дышу смолистым воздухом и вдруг вижу стенд, врытый в землю. На нем обычная надпись "Сосна обыкновенная. Основная порода древостоя бора. Произрастает на бедных песчаных почвах. Очень светолюбива. Этой сосне 350 лет. Таких сосен в бору 82". А внизу гвоздем по масляной белой краске процарапано: "Возлюбите Богом избранный народ. Мы умнее вас. Скоро весь мир будет наш. И этот лес тоже. Такова воля Бога". И рядом звезда Давида начертана. Еврейский вызов. А чуть ниже русский ответ: "А не пошли бы вы со своим избранным народом..." — и дальше крепкое русское слово. Вот до каких почвенных уровней докатилась злоба, расколовшая в те годы наше общество.

А угрозы, сыпавшиеся Белову, Проханову, Шафаревичу — их были не десятки, а сотни. Были и телефонные звонки с

414

проклятиями и обещаниями скорой расправы, и даже стихи, а то и поэмы.

Помню, как после публикации в "Комсомолке" стихотворения "Разговор с покинувшим Родину" я получил действительно целую поэму, где обзывался "неофашистским бесом", "экс-поэтом", "педерастом", "бандеровским мессией" и т. д. Поэма заканчивалась на высокой драматической ноте:

И стыдно так за "Комсомолку",
что помогла такому волку —
раз не устроила прополку! —
оттиснуть мерзкие "стишки".
А Стасик — гнусная дешевка,
сработавший эс-эс-листовку
так подло и, конечно, ловко —
побереги свои кишки!

Думаю, что ее автором был один из завсегдаев Центрального Дома литераторов, впоследствии уехавший в Америку...

Боже мой! Какую психическую атаку мы выдержали, какие оскорбления, какую клевету перетерпели и не сошли с ума, не наложили на себя руки, не спились... Всех писем не процитировать, да и нужды нет. Хочу только сказать, что от отчаянья (прямых угроз я не боялся, знал, что это лишь "террор среды",

заказных убийств тогда еще не было) спасали другие письма — дружеские, ободряющие, человеческие.

Помню свою радость, когда зимой 1989 года после тяжелой операции получил письмо от Валентина Распутина, словно бы почувствовавшего, что мне нужно помочь в трудные для меня дни жизни.

"Дорогой Стас!

Как ты поправляешься? Наверное, передавали тебе, что в Ленинграде, куда мы ездили с "Нашим современником", на каждой встрече о тебе спрашивали. Слух, что ты в больнице, среди своего народа распространился быстро, и потому спрашивали не из любопытства.

Ленинград мы не "взяли", как Рязань, никто, кроме местного фонда культуры, знаясь с нами не желал, а фонду удавалось добыть все больше заводские клубы. Но народ туда собирался грамотный, и встречали хорошо, правда, опытному глазу всякий раз можно было рассмотреть ребят-афганцев, готовых утихомирить провокаторов, но до этого кроме одного случая в первый день, когда меня не было, не доходило. Напряжение порой чувствовалось, не без этого; парню,

415

который подвез нас с Володией Крупиным, всю машину исцарапали свастикой. Выбрав часок, сама любезность и радость, вошел я к своим давним приятельницам в букинистический магазин, которые в прежние годы и портрет мой держали вместе с евтушенковским, но прием был холодно-любезным, а Евтушенко висел уже без меня. Но дело не в этом. Меняется и Ленинград. Прочитал сейчас статью Вадима Кожина в 1-м номере "Нашего современника" и вспомнил, каким же простофилей тогда, в 1969 году, был и я. Природа за ночь без книг и радио успевала кое-что внушить заблудшему сыну, но приходил день — и опять все то же давление со всех сторон и обработка действовали еще несколько лет.

Не знаю, выслали ли тебе последний номер "Литературного Иркутска" — на всякий случай высылаю. В следующем даем твою статью. Прекрасная статья! Постоянное сопротивление и давление сделало вас с Вадимом замечательными бойцами и мыслителями со своим архивом и досье. П. В. Палиевский выезжал только по праздникам — и сейчас блещет, но мускулатура не та.

Спасибо за книгу с "Арбатом". Много в ней и кроме "Арбата" хорошего, чего я не знал даже и из 60-х.

Обнимаю тебя. Гале и сыну поклон.

Твой В. Распутин".

Да и другие читатели на рубеже восьмидесятых — девяностых годов не только искали у нас помощи, но нас еще ободряли, как могли, хотя, как я мог судить по их письмам, чувство растерянности и брошенности властью все сильнее и сильнее овладевало душами людей.

"...Признаться, вчера я ожидал нечаянной радости, когда включил в машине приемник — звучали стихи о России, севере — наши, русские, не фальшивые. Кто же это? И вот знакомое — эти строки я читал в "Нашем современнике", однажды прочувствованные, они не забылись, проходных слов здесь нет. Остановился на обочине, слушаю, что ни стихотворенье — открытие и полное созвучие с собственными мыслями, настроениями. Такое испытывал только тогда, когда читал "Бесов" и некоторые дневники Ф. М. Не случайно, думаю, и Вы вспомнили... "Ах, Федор Михалыч"... Но что оке делать, Станислав Юрьевич, — неужели все-таки "с кулаками"? Вот и здесь у Вас раздумье на эту тему: вроде бы надо объединиться перед лицом смертельной опасности, но то ли

416

что-то не дает, то ли удерживают нравственные сомнения ("И вы, дорогой мой,

и вы..." Пока мы взвешиваем, сомневаемся — горловина мешка затягивается.

А. Артеменко" Запись из моего дневника от 13 января 1992 г.

"Каковы достижения демократии за годы перестройки — никому толком не понятно. Гласность — другое дело. Она считается высшим достижением эпохи — все жадно питаются плодами гласности... Но кто эти все — опять же политизированная интеллигенция, творческие натуры, образованные демагоги из всяческих академий общественных наук, инженеры души человеческих.

Им бы еще не хвалить гласность! Представилась возможность вытащить из столов все крамольные размышления, все обиды, претензии, счета, выставить напоказ миру, народу, истории... И неплохо заработать на этом. Да, да! Не стесняйтесь, ребята, признайтесь, тот, кто успел попасть в эпицентр этого круговорота со своими чонкиными, собраниями анекдотов о Сталине, с никому не нужными на Западе бесконечными антитоталитарными эпопеями, с якобы историческими монографиями о Сталине, о Троцком, о Бухарине... Парламентские дискуссии, зарубежные турне, теледебаты, валютные гонорары, сериалы передач по "Свободе", бесконечные интервью — вот сочные плоды гласности для избранных. Плоды, осевшие такими плотными денежными слоями на счетах, что им не грозит никакая инфляция и никакой рынок. Потому-то и можно призывать призрак этого рынка, который бродит по России. Страшен этот призрак народу, не получившему от гласности ничего, кроме отращения к так называемой интеллигенции".

До кровавого октября оставался еще год с лишним. Горюю, что у меня, бросившего тогда все силы на спасение журнала, не осталось их, чтобы последовать советам умного человека, написавшего мне вот это письмо летом 1992 года.

"Я давнишний читатель и почитатель Вашего журнала. Хочу поделиться некоторыми соображениями о нем. Журнал несомненно лидирует в течение последних 3 — 4 лет. Это наиболее солидное и серьезное издание. Другие, традиционно почитаемые публикой, журналы существенно проигрывают

417

"НС". Высокий интеллектуальный уровень, научная корректность стали отличительной чертой журнала. Публикуемая литература великолепна. Прекрасная проза, прекрасная поэзия. Не хочу упоминать конкретные публикации, т. к. для этого пришлось бы просто переписать оглавление. Хваленый интеллектуализм ваших оппонентов изрядно полинял. Полинял хотя бы потому, что у них почти всегда имеется, более или менее искусно скрытая, ложь. Именно "НС" задал в свое время тон в осмыслении событий недавней нашей истории. Начало, пожалуй, было положено В. Кожинным, его статьей "Правда и истина". После Ваших публикаций от детективного (детективского) варианта истории пришлось отказаться. Равно как отказаться от канонизации новых комсвятых. К началу 1990 г. интерес к журналу резко возрос. Среди моих знакомых появилось много подписчиков. Часто можно было видеть журналу пассажиров метро. Однако уже к апрелю 1990 г. я заметил, что журнал читают далеко не все, кто на него подписался. Постепенно он исчез и у пассажиров. Расспросы показали, что в основе этого — страх. Страх быть репрессированным, страх оказаться не с толпой, страх оказаться наедине с жуткой правдой, страх понимания. (Кто-то сказал, что для завершения геноцида достаточно ликвидировать подписчиков "НС", "МГ" и "Дня"). Кроме того, понимание происходящего предполагает в качестве ответа активную позицию, а занять ее не все способны. Ваш журнал во многом содействовал формированию национального самосознания у русских людей, но понявших мало, и рассеяны они настолько, что часто им трудно объединяться. Как китам при низкой численности трудно встретиться в океане для

спаривания. В институте, где я работаю — около 600 сотрудников. На государственно-патриотических позициях стоит только 6—10 человек. Существует четкая поляризация общества. С одной стороны, небольшое количество людей, понимающих, что же произошло с их родиной, с другой стороны — конформистски настроенное большинство, управляемое страхом и желтой прессой. Среди последних много вдохновенных предателей. Ситуацию можно было бы считать безнадежной, если бы не пример наших революционеров начала века. Они показали, на какие чудеса способна грамотная, четкая организация. Ведь властям про них все было известно, осведомителей в их рядах было множество, однако своего революционеры (к сожалению) добились. Этому нам нужно учиться. Мне довелось прочитать интересную бумагу "Катехизис еврея в СССР". Прочитал и позавидовал. До чего

418

же им просто. Всё за них кем-то продумано. Каждый их шаг опекаем. Мы же делаем многое кустарно, в одиночку. При этом мы будем обречены на неуспех, если не станем учитывать опыт врага. И в первую очередь, опыт закрытости, опыт организации. Я понимаю, что трудно вести себя закрыто в своей стране. Однако следует осознать, что в условиях оккупации русским о русском говорить нужно только с русскими. Нужно воспитывать в себе чувство самодостаточности. Мы же все время стараемся кому-то показать, какие мы умные. Я довольно внимательно слежу за патриотической прессой. Опубликовано за последнее время много. Более того, опубликовано практически все, что нужно для понимания происходящего. Тем не менее понять происходящее и произошедшее многим крайне трудно из-за обилия и фрагментарности опубликованного. Ведь мало кто сможет превратиться в книжного червя, а если и превратится, то сможет прийти к самым неожиданным выводам. Почему возникает необходимость в компактном изложении целостного взгляда? Необходимость в резюме? Иначе мы будем топтаться на месте. Я после долгих раздумий пришел к выводу, что "резюме" должно состоять из трех небольших брошюр (по 1—2 авторских листа каждая), которые следует распространять по всей стране. Малый объем сделает их удобными для прочтения и репродуцирования. Условно эти брошюры я назвал бы так: I—История поражения России, II — История жизненных сил России (история выживания), III— Катехизис русского человека (практическое наставление по повседневному бытовому и социально-политическому поведению). В первой брошюре нужно четко рассказать о том, что с нами произошло. Мы побежденная нация, а не нация дураков, сделавших неверный выбор. А это уже не безнадега. Любой народ может оказаться побежденным. Да и кто бы сумел выстоять против всего мира, имея тем более такую 5-ю колонну, как у нас? Об этом нужно сказать ясно, четко и недвусмысленно и, соответственно, сделать выводы для дальнейших действий.

Во второй брошюре следует рассказать, в чем всегда была наша сила, что помогало нам выживать, что делало нас великой державой, что дает нам право говорить: я горжусь тем, что я русский. Нужно рассказать о казаках, староверах и поморах. Особо нужно рассказать о славянофилах. Нужно объяснить, что "славянофильство" — норма, "западничество" — патология, как бы импозантно ни выглядели его представители. Нужно несколькими словами высмеять

419

западничество, показать его ущербность. Талантливо показать.

Третья брошюра должна содержать наставления о том, как вести себя, с тем чтобы объединяться и крепчать, несмотря на все разногласия и противоречия, с тем чтобы жить, не поддаваясь на провокации. В этой

брошюре должны быть обозначены основные ценности и задачи, объединяющие всех. Должно быть сказано, как жить, не обращая внимания на обвинения в фашизме и прочем.

Брошюры эти должны быть написаны в форме утверждений, но не доказательств. Их дух — не полемика, а напор жизни. Ни в коем случае не следует делать одну книгу. Большую книгу многие не прочтут. Прочитав же одну малую книжку, прочтут и две другие. По опыту чиновничьей работы знаю, что понять (или решить) за один раз люди способны только один вопрос. Два вопроса уже нечто неразрешимое, месиво, говорильня.

Выносить на свет Божий эти писания следует после коллективного обсуждения группой экспертов. Эти писания должны быть явлением не столько литературным, сколько политическим. Писаться они должны тайно. Ибо только тайная сила — сила подлинная.

За последнее время я читал много обращений к народу. Практически все они плохи. В них очень много слов, много риторики, много понятного лишь узкому кругу лиц. Такие обращения мало чем отличаются от обычных газетных статей, желания распространять их не возникает. Предлагаемое мною резюме должно быть написано очень сильно. Распространять его в первую очередь следует среди молодежи, чтобы она входила в жизнь через ворота нашего знания, среди военных и среди работников милиции.

Ответьте мне, пожалуйста "

Далее следовали фамилия, имя и адрес, которые, по понятным причинам, я привести не могу, ибо программа, начертанная этим умным русским, еще пригодится нам в будущем.

420

Вместо послесловия

Отзывы читателей

на журнальную публикацию книги

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Только что закончил читать Вашу книгу воспоминаний в "Нашем современнике" (точнее, ее очередные главы в № 7). Переживаю просто бурю чувств. Ваша работа—одна из самых значительных, которые я прочитал за последние годы. Из номера в номер я все больше втягивался в чтение. Оговорюсь, поэзия меня не увлекает и не увлекала. Однако через Вашу книгу прошло осознание того, что, как я понимаю, Вы и проводите красной нитью сквозь повествование: честное, правдивое слово — главный рубеж обороны русского самосознания. Я с Вами согласен. В книге Вы это доказываете блестяще!

Увы, лишь недавно стал задумываться над отношениями между различными нациями, мировоззрениями, хотя занимался самообразованием всю жизнь. Лишь недавно я смог осмысленно сказать о себе: я русский и православный. И вот год за годом, параллельно с Вашим повествованием, я вспоминаю и свою жизнь. Мне есть чем в жизни гордиться, но сколько же приходится каяться!

Восемь лет (с учебой) я служил в войсках специального назначения ГРУ ГШ. Был в Афганистане. Есть два ордена. У нас было мощное и современное оружие, но главным оружием мы не владели. Наши души оказались беззащитны перед либеральной пропагандой. Пишу "наши" и осекаюсь. Надо говорить о себе. Да, да, мне — кадровому разведчику — не хватило прочности! Но ведь мы не знали (я говорю о своих однокашниках и по училищу, и по службе) даже таких простейших понятий, как: державность, соборность, вера и т. д.! Что-то, конечно, приходило интуитивно, какими-то

421

полунамеками, но, возвращенные на интернационализме, "советском" патриотизме,

мы не знали ни основ веры, ни русской истории... Слова теснятся, что об этом говорить. Среди тонн макулатуры, заполонившей книжные прилавки, я лишь недавно разыскал и впервые прочитал книги Митрополита Иоанна, патриотическую периодику...

Мне 36 лет. Из армии ушел сам, хотя документы лежали в академии. В Афганистане пришло понимание нашей "беспочвенности". Мы на самом деле были там "интернационалистами" (хотя в эти идеи на заключительном этапе войны, когда я там был, уже никто не верил. Просто была мужская работа). Афганцы жили в своей культуре, за это я лично их уважал. Было желание по возвращении в Россию что-то сделать для возрождения нашей культуры. "Русской", "православной" — эти слова придут позже. Идеи демократии воспринимал как возможность жить по правде. Сегодня я могу сказать, что интуитивно был православным всегда (в том смысле, что нравственный закон, общинные и государственные интересы для меня всегда были выше личного благополучия и мнения людей). Но я тогда считал это "общечеловеческими ценностями", я думал, что так живут все честные люди во всем мире. Советская пропаганда даже не научила меня, моих сверстников видеть, что есть Запад, что нам, русским, на самом деле противостоит. Наивность и открытость перед иезуитами!

За 9 лет с моей помощью вышло 4 книги по истории того места, где я вырос и живу теперь — в родном районе Тверской области. Два года на свои средства я издаю, с периодичностью один раз в два месяца, краеведческий альманах "Удомельская старина". Был инициатором множества краеведческих мероприятий. Депутат районного Совета. Почти безуспешно и в меньшинстве пытаюсь с группой коллег противостоять чиновничьему произволу. Печатаю в местной прессе статьи по "русскому вопросу". Вокруг немало людей, которые читают патриотическую прессу, немало православных, но "культура жертвы" утеряна во многом, над всем витает протестантский дух стяжательства... Впрочем, все это Вы видите и знаете не хуже меня.

Спасибо всем тем людям, кто в условиях колоссального морального давления выстоял, продолжает стоять в русской вере. Через жертву и самоотречение утвердилось христианство, через веру, жертву, самоотречение утверждается и сегодня русская национальная идея, рано или поздно пытливый ум находит дорогу из сатанинского лабиринта. Военное мужество меркнет перед мужеством духовным, я могу сказать это

422

абсолютно уверенно! Как и первые христиане, мы не должны считать, сколько перед нами врагов. Их все равно больше, чем друзей. Но только "верность до смерти" утвердила христианство, только "верность до смерти" позволяет рассчитывать на победу в титанической борьбе Правды и кривды. А если суждено погибнуть, то погибнуть православным и русским, не побежденным. У меня растут двое парней. Я учу их: не страшно умереть, страшно жить негодяем.

Я не сентиментальный человек. Разведчик — это мой образ жизни до сих пор: в меньшинстве против превосходящих сил, меня это не пугает. Еще раз спасибо Вам. Держитесь! Мы выстоим или умрем не побежденными.

Дмитрий Подушков, г. Удомля Тверской области

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Начиная с января, после прочтения первого номера журнала, а потом и в феврале, и в марте, и в апреле, знакомясь с главами Вашей книги воспоминаний, я всякий раз порывался написать Вам и сказать спасибо за то, что Вы разворошили литературный гадюшник и мужественно, не устранившись клеветы и мести, показали, кто есть кто. Необычность Вашей книги именно в том, что, перестав

цацкаться с "именами", Вы показали их человеческую суть, тем самым изнутри взорвали логово литературной мафии, которая клепала и славу, и деньги, и бесчисленные свои книги, отодвигая в сторону часть более талантливых людей, но честных и скромных.

Теперь уже литературная общественность не по слухам, как прежде, а с Вашей книгой в руках может с полным правом сказать: подлец... оборотень... русофоб...

Мне вспоминается, какой ажиотаж в свое время вызвал катаевский "Алмазный мой венец", хотя имена там были полуспрятаны, а фактики излагались почти любовно. Но все это — алмазная пена. Без Вашей же книги теперь не обойдется ни один историк литературы, исследующий литературный процесс второй половины уходящего века.

Мне почему-то всегда мнилось, что Георгий Васильевич Свиридов — фигура трагическая, как всякий истинный талант в России. Я не ошибся. Вы впрямую не говорите об этом,

423

однако сквозь строки это явственно ощущается. Книгу бы о нем написать Вам.

Одним словом, Вы молодец. Поздравляю Вас и читателей с честной и мужественной книгой. Это — Поступок, не говоря уже о том, что она сделана крепко, совестливо, с болью о России, о литературе русской.

Вит. Сердюк,

г. Иваново

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Мир Вам.

Позвольте поделиться с Вами впечатлениями от прочтения главы из Вашей "Книги воспоминаний и размышлений" "Сучий паспорт", посвященной Евтушенке (думается, такое склонение — норма, кстати, XIX века — тут уместно).

Отрадно, что биография Евтушенки уже при жизни получает должное освещение. Хотя все существенные моменты были прорисованы уже у Солженицына (в "Теленке"), но те штрихи, которые Вы вносите в образ кумира советской молодежи, весьма ценны и, так сказать, "ложатся"...

Но для исторической правды, думается, надо было бы указать одно обстоятельство, у Вас, понятно, опущенное: Евтушенка был нужен советской власти. Его фронда прекрасно вписывалась в общую удушающую атмосферу 60—80-х. Советская власть его "сделала", такие комсомольские поэтические волчата ей как раз были нужны. Конечно, и личная подлость тут тоже много значит, но всемирной популярности одной подлостью все-таки не достигнешь. Да и не подлее он был других — обыкновенный советский писатель... Западу он льстил как некий "символ", вроде бы какой-никакой "борец".

В XIX веке он был бы заурядным стихоплетом в каком-нибудь журнале, а вот XX век — его возвеличил. Если вдуматься, так оно и должно было быть: раз Флоренский — во рву, а Ильин — в изгнании, то, конечно, Евтушенка должен становиться властителем дум.

Печально, но приходится сказать, Станислав Юрьевич, что неприлично то, что Ваши "отношения с Евтушенко в 60-х и даже 70-х годах были вполне приличными". Потому что для людей другого — не советского — воспитания его советчина

424

была неприличной с самого начала. Никаких перерождений мы в нем не видим; ну стал где-то чуть подлее — ну и что? — это ж Евтушенка. Никто из приличных людей никогда никаких иллюзий в отношении его и не питал...

Так что Маугли, Станислав Юрьевич, возрос в Вашем советском зверинце, а уж потом начал охотиться в джунглях капиталистического Запада, а кто там у вас был удавом или тигром — принципиального значения не имеет, сожрали бы любого. Так что начни выписывать сучьи паспорта, то очередь получилась бы внушительная.

В заключение позвольте Вас поблагодарить за толковое исследование о Есенине и пожелать здоровья и помощи Божией.

Обидного сказать не хотел, но высказаться почел своим долгом.

Протоиерей Алексей Сидоренко,

г. Тобольск

* * *

Здравствуйтесь, Станислав Юрьевич!

С удовольствием читаю Ваши воспоминания. Интересно написали Вы об Анатолии Передрееве. Признаюсь, этот материал захватил мое сердце больше, чем все другие, опубликованные во втором номере "Нашего современника" за 1999 г. Честное слово, я не подыгрываю Вам. Я думаю даже, что воспоминания бьют по современному режиму куда действеннее, чем статьи. Ибо они показывают уровень духовной жизни в советское время, и он совершенно несопоставим с бедностью ее в нынешние "демократические" времена. Может, я ошибаюсь, но мне думается, что журналу нужны, вернее, не журналу, а нам, читателям, особенно молодым, рассказы и статьи о том, как по-настоящему прекрасна была советская действительность, несмотря на все негативные стороны жизни в то время. Конечно, без всякой назидательности, а так, как это делаете Вы в своих воспоминаниях.

Геннадий Кузнецов, г. Новокузнецк

425

* * *

Глубокоуважаемый Станислав Юрьевич!

Прочитала главу "Русско-еврейское Бородино". В целом я согласна со всеми Вашими высказываниями. На мой взгляд, еврейская нация в настоящее время переживает свой ренессанс, и есть все основания полагать, что сионизм поставил этот "еврейский ренессанс" на службу своим политическим целям. Русским же необходимо сполна использовать свой дар коллективизма и свое стремление к справедливости и равенству. А это русским может дать только социализм. Ставка народно-патриотических сил на религию мне представляется ошибочной. Ставка на социализм — не есть движение вспять, как все еще представляется многим, а есть лишь законное отвоевывание захваченных у нашего народа социальных позиций и подобна отвоевыванию захваченных гитлеровцами советских территорий.

О. Енишерлова, г. Москва

* * *

Здравствуйтесь, дорогой Станислав Юрьевич!

Хочу Вас поблагодарить за книгу "Поэзия. Судьба. Россия". Ваше детство, юность — как у меня, я с двенадцати лет работала в колхозе, мы еще кормили евреев из Ленинграда. Сталин сказал про них: наглые, в дверь не пускают — в форточку влезут. (Березовского я гнидой зову—Бог им судья...) В Ваших воспоминаниях мне все интересно. Какие были люди! Какое счастье, что Вы знали Рубцова! У меня один его сборник "Подорожники"; и поем мы с дочкой Любочкой (она музыкант) "В горнице моей светло..."; прекрасные стихи, почему их не печатали? Какая у него судьба тяжкая, да и у Шукшина не намного слаще...

Л. Василевских,

г. Севастополь

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Я выписываю Ваш журнал 10 лет и в дальнейшем буду выписывать обязательно. Прочитываю все — от корки до корки. Нравятся многие авторы: Олег Платонов, Александр Казинцев,

426

Игорь Шафаревич и др. Очень люблю Вадима Кожина, его "Загадочные страницы истории XX века". Из современных писателей и поэтов люблю В. Белова, В. Распутина, В. Солоухина, В. Личутина, Ю. Кузнецова, Н. Тряпкина, Г. Горбовского. Очень понравилось Ваше жизнеописание Сергея Есенина, а книга воспоминаний "Поэзия. Судьба. Россия" меня просто восхитила. Замечательно Вы рассказали о Куприне: "Хорошо он знал их племя". Много интересного и нового узнала о Багрицком, о Межирове. Я давно уже поняла, изучая историю, что евреи везде "подставляли" русских людей, таких, например, как С. Перовская, С. Халтурин, Желябов и др. А сами всегда оставались в стороне. Замечательно Вы сказали о Межирове и Астафьеве: "Виктор Астафьев еще может опомниться и раскаться. Александр Межиров — никогда. Он может только сменить кожу". "Растащили Россию на псевдонимы" — это очень метко сказано.

Мы в нашем городе создали клуб "Пушкинский", делаем доклады, иногда пишем статьи в местные газеты. Многие из нас почитатели творчества Николая Рубцова, Сергея Есенина. Собираем литературу об этих поэтах, но, к сожалению, многие издания до наших краев не доходят...

Т. Ф. Цевун (Голева), г. Артем Приморского края

* * *

Станислав Юрьевич!

Читаю Ваше повествование о жизни Вашей и немногих друзей—тоже писателей-патриотов, увидевших врагов России, врагов Христа, сатанинских, умных, лукавых фарисеев с их планами. На сегодня они придумали самолеты недосыгаемые, что бомбы бросают на людей и города Югославии. Весь ум их безумный уходит на обслуживание хитрости, подлости античеловеческой. Антигерои, они Югославию, как связанного Христа, сзади били и смеялись: "прореки, если ты Бог, кто тебя ударил!" Ваше повествование мне лично все более и более раскрывает суть христианства, приближает к тайне России.

Тут "друг еврей" с Украины зашел и, не читая Вас, говорит, что Россия "держалась", пока ею командовали евреи. Вот так...

Борис Бернштейн, Израиль

427

* * *

Станислав Юрьевич!

Читаю Вашу работу "Поэзия. Судьба. Россия", и возникает ассоциация с 1942 годом, когда по швам трещал весь мир: "Впадая в раж, кликушествовал Гитлер. // Поганил небо шершень-"мессершмитт", // Лапландский мох топтали монстры Дитля. // И Роммель рвался к граням пирамид". Мы отстаивали Севастополь и готовились к обороне Сталинграда и Кавказа. А на другом "конце" земного шара, в районе Соломоновых островов, шли жестокие схватки за Гаудалканал (тогда писали Гвадалканал). 8—9 августа 1942 года у о. Саво японский адмирал Микава нанес жестокий урон силам американцев, которые потеряли сразу несколько тяжелых крейсеров. Японцы действовали исключительно напористо. Казалось, им успешно противостоять невозможно.

К октябрю 1942 года в район битв и японцы и американцы подтянули линейные силы. 12—13 ноября произошел ночной бой у о. Гаудалканал. Со стороны японцев — силы вице-адмирала Хироаки Абэ в составе линейных кораблей "Хизэй" и "Кири-sama" и 15 эсминцев, от США — крейсера "Сан-Франциско" (флаг рир-адмирала Дэна Коллэхэна), "Портленд", легкий крейсер

"Хэлинэ", 2 крейсера ПВО и 8 эсминцев.

В ночном бою адмирал Коллэхэн направил свой крейсер сквозь строй японских кораблей и вступил в единоборство с линейным кораблем адмирала Абэ "Хиэй". Это было "безумство храбрых". Против шести 356-миллиметровых орудий японского линкора "Сан-Франциско" выставил девять калибра 203 мм. Против снарядов массой в 635 кг — снаряды по 118 кг. Тогда у нас писали: "Адмирал Каллаган прошел сквозь строй японских кораблей, поражая их своей артиллерией..." В "Хиэй" попало 85 снарядов, и днем 13 ноября он был добит авиацией и открыл кингстоны.

Ваш подвиг сродни подвигу адмирала Коллэхэна. Осветив сражения на литфронте, раскрыв роль пачкунов типа Мориц в борьбе против русских писателей, Вы показали себя истинным героем. Хвала и Слава Вам, Поэт-паладин!

П. Чаплинский,

ст. Платнировская Краснодарского края

Содержание

НА БЕРЕГАХ ОКИ И ВОЛГИ.....3	
Пишите воспоминания! Детство. Родословная. Семья. Деревня Лихуны и Карамзинская больница. Довоенное время. Жизнь в эвакуации. Пышугская библиотека и Георгиевская церковь. Детские страсти. Записки советского врача	
НА ЗАКАТЕ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ.....57	
Школа сталинских времен. Университет. Студенты и профессора. Похороны вождя. Раздвоенность мировоззрения. "Права человека" и ход истории. Оттепель. Ее герои и жертвы. Путевка в жизнь	
"ЗА ДОБЛЕСТЬ В ТРУДЕ И ЗА ЧЕСТНОСТЬ"86	
Люди права и люди долга. Путь на Восток. Я — журналист районного масштаба. Две правды. Первая выволочка в райкоме КПСС. Воздух воли и юности в краю ГУЛАГа. Иркутская богема. Возвращение на Запад	
"ПРОЩАЙ, МОЙ БЕЗНАДЕЖНЫЙ ДРУГ"108	
Анатолий Передреев в Братске. Встреча с ним в Москве. Разговоры с Михаилом Светловым и Николаем Асеевым. Журнал "Знамя" начала 60-х годов. Литературное еврейство и псевдонимы. Знакомство с Ильей Сельвинским. Цереушник в нашем кругу. Визит к Ахматовой. Владимир Соколов и Андрей Битов в салоне Вадима Кожинова. Последние годы жизни Анатолия Передреева	
429	
ОБРАЗ ПРЕКРАСНОГО МИРА"148	
Наше знакомство с Николаем Рубцовым. Его письма ко мне. Открытие памятника в Тотье. Переписка с поклонницей Рубцова Нифонтовной. Драка в Доме литераторов. Рубцов прощен при помощи Слуцкого и Яшина. Слуцкий о Рубцове. Сегодняшние попытки оболгать Рубцова и его друзей. Мои письма Рубцову, найденные через 36 лет	
НАШ ПЕРВЫЙ БУНТ186	
Русские патриоты и диссиденты. Еврейские откровения последних лет. Мои дневники семидесятых годов. Подготовка к дискуссии "Классика и мы". Мое выступление с трибуны. Жребий брошен. Зал и ораторы. Публичные схватки на сцене. Отзывы и легенды мировой прессы и дискуссия. ЦК и КГБ в ужасе. Меня изгоняют в отпуск	
"Я ВЫЧИТАЛ У ЭНГЕЛЬСА, Я РАЗУЗНАЛ У МАРКСА" .. .226	
Первая встреча с Борисом Слуцким. Слуцкий открывает мне Москву поэтов и художников. Слуцкий — певец социализма. Раздвоенность Слуцкого. Русско-еврейский вопрос в его жизни. Банальная драма искреннего атеиста. Бессилие правового мышления. Похороны Слуцкого и моя речь над его гробом	
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК СТЕПАН ФАРКОВ.....246	

Вячеслав Шугаев и Александр Вампилов. Письма Шугаева ко мне. Жизнь в зимовье на Нижней Тунгуске. Ночные беседы со Степаном Романычем. "Репрессия потом пошла". С ружьем и собаками по тайге. Степан Фарков узник Маутхаузена. Добываю первого соболя. Ербогачёнские судьбы. Любовные страсти таежного села. Письма Степана Романыча. Смерть ястреба-тетеревятника.

РУССКО-ЕВРЕЙСКОЕ БОРОДИНО.....285

Провокация "Метрополя" и мое письмо в ЦК КПСС. Русский и еврейский фланг в советской культуре. Наши кровные шабесгои. На ковре у Альберта Беляева. Чаковский воспитывает меня. Мифы о государственном антисемитизме. Моя "эмиграция". Простодушный народ и коварная элита. Мой "биологический" патриотизм. Судьба Мишани
430

"А КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, КАК ТАЙНА...".....343

Предчувствие катастрофы. Раскол в читательском мире. Мои бескорыстные читатели, фанатики Владимира Высоцкого. Моя полемика с Яном Вассерманом. Валентин Катаев двуликий Янус — юдофил и черносотенец. Осуждение повести Катаева еврейской средой. Наша встреча с Михаилом Горбачевым. Мое выступление. Девятый вал русско-еврейской полемики. Клевета и ложь о якобы готовящихся погромах. Властолюбцы идут ва-банк. Развязка 1991 года. Поиски русской идеи

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.....421

СОДЕРЖАНИЕ.....429

Станислав Юрьевич Куняев

ПОЭЗИЯ. СУДЬБА. РОССИЯ

Книга 1

Русский человек

Редактор *Г.М.Гусев*

Художественный редактор *М.Г.Акколаева*

Корректоры *С.А.Артамонова, С.Н.Извекова*

Операторы *Е.Я.Закирова, Ю.Г.Бобкова*

Подписано в печать 20.12.2000. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура

Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 22,68+вкл.

Тираж 3000. Заказ № 425

ННОК «Редакция журнала «Наш современник», 103750, Москва, Цветной бульвар, 32.

Отпечатано в полном соответствии с качеством

предоставленных диапозитивов в ГУП «Облиздат», 248600, г.Калуга, Старый Торг, 5.

Станислав Куняев

Поэзия. Судьба, Россия

Книга 2

«...Есть еще океан»

"НАШ СОВРЕМЕННОК"

Москва

2001

ББК 63.3(2)-3(2Рос-Рус) К91

Куняев С.Ю.

К91 Поэзия. Судьба. Россия: Кн. 2. «...Есть еще океан». — М.: Наш современник, 2001. — 512 с, ил.

ISBN 5-901483-04-9 (т.2.)

ISBN 5-901483-04-9

ББК 63.3(2)-3(2Рос-Рус)

Двухтомник русского поэта Станислава Куняева объемлет более шестидесяти лет сегодняшней истории России.

На его страницах читатели встретятся со многими знаменитыми людьми эпохи, вместе с которыми прожил свою жизнь автор «Воспоминаний и размышлений». Среди них поэты — Николай Рубцов, Борис Слуцкий, Анатолий Передреев, Евгений Евтушенко, Александр Межиров, композитор Георгий Свиридов, историк и критик Вадим Кожинов, прозаики Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов и другие...

Но «Поэзия. Судьба. Россия» — книга не только и не столько об «элите», сколько о тайнах русской судьбы с ее героическими взлетами и трагическими падениями.

Книга обильно насыщена письмами, дневниками, фотографиями, впервые публикуемыми из личного архива автора.

ISBN 5-901483-04-9 (т. 2.)

ISBN 5-901483-04-9

Куняев С.Ю., 2001

Терновый венец

**Записка Ярослава Смелякова. Великие стихи великой эпохи.
Жертвоприношение и самопожертвование. Изгой социализма.
Запретная еврейская тема у Смелякова. Смеляков и Солженицын**

*Ежели поэты врут, больше
жить не можно.*

Я. Смеляков

Перебирая свой архив, я нашел недавно четвертушку бумаги, на которой было несколько строк: "На днях бюро секции поэтов приняло в Союз писателей Станислава Куняева. Он человек одаренный, а в его книге "Землепроходцы" есть немало хороших современных стихотворений. Но, как мы говорили ему на бюро, у него нередко бывают формалистические игрушки, легкомысленная игра в слова. Когда эта игра идет вокруг незначительных тем, она еще более-менее терпима. А в данном стихотворении о Кубе она выглядит совершенно неуместно и погубила стихотворение. Не буду приводить цитат, так как для этого надо было бы разбирать почти все стихотворение целиком. Печатать стихи решительно нельзя. ,

Я. Смеляков".

Стихи мои были о кубинской революции, о лозунге "Родина или смерть". Из отзыва видно, что я не ходил в его любимцах. Что было чистой правдой.

Он, до последнего вздоха преданный эпохе социализма, истово верующий в ее

историческое величие, никогда ни на

3

йоту не сомневавшийся в ее правоте, умер 27 ноября 1972 года, в день моего рождения.

Нет, не прост был этот белорус, впервые арестованный "за моральное разложение" в конце 1934 года. Тогда при обыске в его квартире была найдена книга Гитлера "Моя борьба". А потом — финский плен, а после вызволения из плена подневольная работа на тульских шахтах, в 1951 году еще один арест и еще три года лагерной жизни в Инте. Но ему повезло больше, нежели его друзьям — Борису Корнилову и Павлу Васильеву: где они похоронены — не знает никто. Вроде бы проклинать должен был поэт это время, но вспоминаю, как его жена Татьяна Стрешнева на смеляковской даче в Переделкино незадолго до смерти поэта с ужасом и восторгом рассказывала мне:

— Я иногда слышу, как он во сне бредит, разговаривает. Так вы не поверите: однажды прислушалась и поняла, что он с кем-то все спорит, все советскую власть отстаивает!

Впрочем, я это понял гораздо раньше, когда прочитал его некогда знаменитые и крамольные для нынешнего времени стихи 1947 года:

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.

Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения,
домны стоят за моею спиной.

Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Стихи не о выполнении каких-то хозяйственных планов, не о достижении успехов в личной судьбе, это — о строительстве небывалой в истории человечества цивилизации.

Конечно, Смеляков понимал, что ее созидание требует непомерных жертв, и главный вопрос, мучивший его всю жизнь, был таков: что определяло эти жертвы — принуждение или добрая воля? Если принуждение — то великая цивилизация строится на песке и рано или поздно ее домны и Башни Терпения пошатнутся. Если жертвы добровольны и над ними мерцает венчик священного, религиозного в полном смысле слова пламени, тогда они ни за что не канут в небытие и забвение...

4

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.

Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.

В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санюлота
и черный венок моряка.

Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.

.....
Такими на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегатов,
молчащие лица труда.
(1940)

Но такими ли они были, эти лица, на самом деле? Ведь о том же времени и о тех же людях Андрей Платонов пишет свой "Котлован", где эти лица "стираются о революцию" и выглядят совершенно иначе. Но Смелякову я верю больше. В его стихотворенье нет ни одного фальшивого звука, никакого литературного штукарства, оно совершенно и самодостаточно, а если вспомнить еще две его строфы, не вошедшие в канонический текст, то глубина понимания поэтом народного самопожертвования в эпоху первой пятилетки покажется просто пророческой. Откуда возникла делегатка в нимбе красной косынки? Конечно же, из крестьянской избы.

Лишь как-то обиженно жалась
и таяла в области рта
ослабшая смутная жалость,
крестьянской избы доброта.

Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы,
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы.

И опять ни одного лживого слова. Всё — правда. Правда самопожертвования...

5

Когда наемные лакеи нынешней идеологической перестройки кричат о десятках миллионов крестьян, якобы ставших лагерной пылью, я перечитываю Смелякова и верю ему, говорящему, что крестьянское сословие в 30-е годы не легло в вечную мерзлоту, а стало в своей численной основе летчиками, рабочими, итээровцами, врачами, студентами, машинистами, рабфаковцами, партийными работниками, поэтами, солдатами новой цивилизации.

У моей калужской бабки, крестьянки, было четверо детей. Сын стал летчиком первого призыва, одна дочь врачом, другая — диспетчером железной дороги, третья — швейей и потом директором швейной фабрики. Читаешь, бывало, некрологи 70—80-х годов — хоронят академика, военачальника, секретаря обкома, народного артиста, известного писателя — и видишь, что все они — вчерашние крестьянские дети... Об этом трудном, но неизбежном для народного будущего превращении крестьянства в другие сословия Смеляков размышлял всю жизнь. Всю жизнь он жаждал точно определить, из какого материала создан жертвенный нимб, окаймляющий лики "делегатов" и "делегатов", лики чернорабочих социалистической цивилизации.

Чтоб ей вперед неодолимой быть,
готовилась крестьянская Россия
на голову льняную возложить
большой венок тяжелой индустрии.

Строки из предсмертного стихотворения 1972 года, демонстративно названного "Сотрудницы ЦСУ" — то есть Центрального Статистического Управления. Одна из аббре-

виатур грозного времени...

Я их узнал мальчишеской порой,
Когда, ничуть над жизнью не печалюсь,
они с моею старшею сестрой
по-девичьи восторженно общались.

Женские судьбы вчерашних крестьянских дочерей особенно трогали душу подростка, благоговевшего перед их наивным, почти монашеским аскетизмом.

Идя из школы вечером назад,
я предвкушал с блаженною отрадой,
как в комнатухе нашей шелестят
моих богинь убогие наряды.

6

Но я тайком приглядывался сам,
я наблюдал, как властно и устало
причастность к государственным делам
на лицах их невольно проступала.

Будущий поэт, отрок, школьник был счастлив тем,

что с женщинами этими делил
высокие гражданские заботы

и что в шкафах статистики стальных
для грозного строительства хранится
среди миллионных чисел остальных
его судьбы и жизни единица.

И опять в который раз поэт на склоне жизни требовал от судьбы ответа: чего больше было в "грозном строительстве" — подневольного жертвоприношения или добровольного самопожертвования. Нет, он не тешил себя риторикой лозунгов и социальными иллюзиями, он трезво, как сотрудницы ЦСУ, умел считать все победы и все утраты, он знал невероятную цену, заплаченную народом за воплощение небывалой мечты, он видел, как ложатся в ее фундамент лозунги, люди, машины...

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.

Свинчены голоса.
Словно распад сознания —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.

Градусники разбиты:
цифирки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.
Мертвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеется,
не запоет солдат.

Вихрем песка ночного
будку не занесет.

7

Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.
Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки...

Великое стихотворенье эпохи!.. Эпоха родила нескольких замечательных поэтов: Заболоцкого, Твардовского, Мартынова, Слуцкого, Павла Васильева. Но Ярослав Смеляков отличался от них всех какой-то особой, совершенно истовой, почти религиозной верой в правоту возникающей на глазах новой жизни. Его поэтический пафос был по своей природе и цельности родственен пафосу древнегреческих поэтов, заложивших основы героического и трагического ощущения человеческой истории, с ее дохристианскими понятиями рока, личной судьбы и античного хора. В его взгляде на жизнь не было ни раздвоенности Маяковского, ни покаянных метаний Твардовского, ни иронии Заболоцкого, ни мировоззренческого надлома Бориса Слуцкого. Рядом с ними— уже в шестидесятые и семидесятые годы — будь они кто старше, кто моложе его, он казался каким-то не желающим сомневаться, эволюционировать и пересматривать свои взгляды "мамонтом пятилеток". Но что поразительно! В то же время, когда и Твардовский, и Ахматова, и Заболоцкий, и Мандельштам, и Пастернак кто из "страха иудейска", кто искренне создавали Сталину славословия космического размаха, Ярослав Смеляков, восхищавшийся героикой сталинской эпохи, посвятил вождю лишь одно стихотворение, да и то после смерти Сталина, да и то не назвав его даже по имени. А стихотворенье особенное, смеляковское, где вождь очеловечен особым образом.

На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.

Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамен
и нет скорбящих изваяний,

ни обелиска, ни креста,
ни караульного солдата —
лишь только голая плита
и две решающие даты,

8

да чья-то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.
(1964)

Вот так попрощался Смеляков со Сталиным.

К российской героической трагедии XX века он, как никто другой, прикасался

бережно и целомудренно. Вот почему он останется в нашей памяти единственным и потому изумительным поэтом, подлинным русским Дон-Кихотом народного социализма, впрочем, хорошо знавшим цену, которую время потребовало от людей за осуществление их идеалов. Поэтом "не от мира сего" Смелякова не назовешь.

Строительство новой жизни по напряжению, по вовлечению в него десятков миллионов людей, по степени риска, по цене исторических ставок было деянием, которое сродни разве что великой войне. А кто, какой историк скажет о войне масштаба 1812 или 1941 года: подневольно ли в такого рода событиях приносятся в жертву миллионы людских судеб, или они живут стихией добровольного самоограничения и самопожертвования? Естественно, что в такие времена над людским выбором властвует и та и другая сила, и принудительная мощь государства, и то, что называется альтруизмом, героизмом, аскетизмом.

И все-таки в конце концов именно свободная воля решает исход великих войн и строительства. Не мысли о штрафбате и не страх перед заградотрядами заставлял солдата цепляться за каждый клочок сталинградского берега, как бы ни тщился Виктор Астафьев доказать обратное. Мой отец погиб голодной смертью в Ленинграде, но сейчас, перечитывая его последние письма, я понимаю, что он был человеком свободной воли. Смеляков знал о таинственном законе добровольного самопожертвования, когда размышлял о судьбе своего поколения:

Шумел снежок над позднею Москвой,
гудел народ, прощаясь на вокзале,
в тот час, когда в одежке боевой
мои друзья на север уезжали.

Как хочется, как долго можно жить,
как ветер жизни тянет и тревожит!
Как снег валится!
Но никто не сможет,
ничто не сможет их остановить...

9

Грань между принесением в жертву государством своих сыновей и дочерей и добровольным самопожертвованием зыбка и подвижна. Да, множество несогласных с жестокой дисциплиной и скоростью "грозного строительства" томилось в лагерях великой страны, но десятки миллионов созидали ее, не щадя живота своего, понимая суровую истину слов вождя: "Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут". И чуть было не смяли.

За несколько месяцев до смерти в стихотворении "Банкет на Урале" Ярослав Смеляков в последний раз безоговорочно поставил точку и благословил добровольную всенародную жертву, вспомнив о том, что первый в его жизни банкет случился в середине тридцатых годов — "в снегах промышленных Урала".

Я знал, что надо жить смелей,
но сам сидел не так, как дома,
среди седых богатырей
победных домн Наркомтяжпрома.

Их осеняя красоту,
на сильных лбах, блестящих тяжко,
свою оставила черту
полувоенная фуражка.

И преднамеренность одна

незримо в них существовала,
как словно марка чугуна
в структуре черного металла.

Пей чарку мутную до дна,
жми на гуляш с нещадной силой,
раз нормы славы и вина
сама эпоха утвердила.

Барельефы этих богатырей, отлитые словно бы из каслинского чугуна, не менее величественны, нежели мраморные статуи богов и героев Эллады. А по своей ли, по государственной ли воле вершили они подвиги, поэт различать не хочет, ибо понимает, что обе силы — и внешняя и внутренняя — двигали ими... Недаром же он, трижды попадавший на круги лагерного ада, ни в одном своем стихотворенье ни разу нигде не проклял ни эпоху, ни свою судьбу, ни Сталина, умело использовавшего для строительства оба могучих рычага истории: вдохновение и принуждение. А ведь в шестидесятые годы рядом со Смеляковым уже писали, уже издавались и

10

Солженицын, и Юрий Домбровский, и Варлам Шаламов. Но как ни старалось поэтическое окружение Смелякова — Евтушенко, Межиров, Коржавин и другие искренние или фальшивые певцы революции и социализма добиться от Ярослава осуждения эпохи первых пятилеток, старый лагерник не пошел на самоубийственный шаг и не предал ни своего призвания, ни своей судьбы. А если и прикасался к "высоковольтным проводам" времени, то с какой-то своей осторожной человечностью.

Когда встречаются этапы
вдоль по дороге снеговой,
овчарки рвутся с жарким храпом
и злее бегают конвой.

.....
И на ходу колонне встречной,
идушей в свой тюремный дом,
один вопрос тот самый вечный,
сорвавши голос, задаем.

Он прозвучал нестройным гулом
в краю морозной синевы:
Кто из Смоленска? Кто из Тулы?
Кто из Орла? Кто из Москвы?

И слышим выкрик деревенский,
и ловим отклик городской,
что есть и тульский и смоленский,
есть из поселка под Москвой.

Ах, вроде счастья выше нету —
сквозь индевелые штыки
услышать хриплые ответы,
что есть и будут земляки.

Шагай, этап, быстрее, шибко,
забыв о собственном конце,
с полубезумною улыбкой
на успокоенном лице.

(1963)

А к евтушенковско-межировским крикам о тоталитаризме и культе личности Смеляков относился с плохо скрытой брезгливостью. Всем, с нетерпением ожидавшим от него после XX съезда партии мазохистского осуждения истории, проклятий тоталитарному режиму, солженицынского, говоря словами Блока, "публицистического разгильдяйства", он неожиданно ответил публикацией стихотворенья "Петр и Алексей".

11

Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно белеют щеки,
и рука лежит на столе.

Та, что миловала и карала,
управляла державой всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.

Как похож его "строитель чудотворный" на богатырей из Наркомтяжпрома, на Тараса Бульбу, приговорившего к смерти изменника — сына Андрея, на Иосифа Сталина, отчеканившего: "я солдат на генералов не меняю", когда ему предложили обменять попавшего в плен сына Якова на фельдмаршала Паулюса.

День в чертогах, а год в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, перстнях, ожогах
императорская рука.

Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись пред нею,
замер слабостный Алексей.

Читаешь и словно бы видишь, как от столкновения мощных и противоречивых чувств из разгневанных очей Петра искры летят, как от стального лезвия, соприкоснувшегося с точильным камнем.

Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты.

Нет, не в петровской гордыне тут дело, не в сверхчеловеческом тщеславии. Все серьезней: Алексей — это угроза делу Петра, создаваемой его волей новой жизни, будущему России.

Не начетчики и кликуши,
подвывающие в ночи, —
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.

Что происходит в этой сцене? Кто и чем жертвует? Кто идет на самопожертвование? И то и другое происходит

12

одновременно. Ибо Алексей — плоть от плоти государевой, он его наследник, его продолжение, и, отправляя сына на казнь, Петр как бы жертвует кровной частицей себя самого... В это мгновенье талант Смелякова взмывает до вершин мировой поэзии, где в

разреженном горнем воздухе витают героические души протопопа Аввакума, эсхилловской Антигоны, гоголевского Тараса, пушкинского Медного Всадника:

Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и улыбка моя и руки
неумело повторены.

Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело—
самодержцем российским быть.

И в это мгновенье человеческой слабости лик Петра становится похожим на лик крестьянки-работницы, пожертвовавшей льняным венком ради "стального венца индустрии", женщины, подавляющей свою жалость, которая все равно проступает в почти окаменевших от напряжения чертах:

Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы,
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы.

По всем портретам и скульптурам видно, что у Петра, человека великой воли, был небольшой подбородок... Но главный трагический парадокс стихотворенья в том, что поэт жалеет не сына, не жертву, а Петра-жреца за его страшное отцовское решение и за его отцовскую муку.

Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.

Молча скачет державный гений по земле из конца в конец. Тусклый венчик его мучений. Императорский твой венец.

Опять и опять в который раз Смеляков не может отделаться от искушения разгадать — какой же венец окаймляет головы

13

его героев, и есть ли в нимбах, осеняющих лики, отблеск святости... А потому столь навязчиво и постоянно возникает в его поэзии образ венка: "императорский твой венец", "тусклый", почти терновый "венчик его мучений", "красное пламя косынки", венок из цветущего льна на голове крестьянки, "красный колпак санкюлота", вдавленная морщина от "полувоенной фуражки" на сильном лбу богатыря из Наркомтяжпрома, "черный венок моряка", "большой венок тяжелой индустрии"...

Великий русский философ нашей эпохи Алексей Федорович Лосев, сам, как и Смеляков, познавший в 30-е годы вкус лагерной баланды, размышляя о том, что такое в философском смысле понятие "жертва", писал в одной из своих работ на исходе 1941 года:

"Я многие годы провел в заточении, гонении, удушении: и я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и с ее катастрофами есть жертва, жертва и жертва. Наша философия должна быть философией Родины и жертвы, а не какой-то там отвлеченной, головной и никому не нужной "теорией

познания" или "учением о бытии или материи ".

В самом понятии и названии "жертва " слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое. Это потому, что рождает нас не просто "бытие", не просто "материя", не просто "действительность " и "жизнь " — все это нечеловечно, надчеловечно, безлично и отвлеченно, — а рождает нас Родина, та мать и та семья, которые уже сами по себе достойны быть, достойны существования, которые уже сами по себе есть нечто великое и светлое, нечто святое и чистое. Веления этой Матери Родины непререкаемы. Жертвы для этой Матери Родины неотвратимы. Бессмысленна жертва какой-то безличной и слепой стихии рода. Но это и не есть жертва. Это просто бессмыслица, ненужная и бестолковая суматоха рождений и смертей, скука и суета вселенской, но в то же время бессмысленной животной утробы. Жертва же в честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственное только и осмысливает жизнь ".

Окружение Смелякова 50—60-х годов не зря относилось к нему и с подобострастием и с тщательно скрытым недоверием. Он тоже понимал, с кем имеет дело, знал сплоченную силу

14

этих людей, помнил о том, как был повязан их путами в атмосфере чекистско-еврейского бриковского салона его кумир Маяковский, помнил, что духовные отцы тех, кто сейчас крутится возле него, затравили Павла Васильева за так называемый антисемитизм и русский шовинизм, до поры до времени молчал или был осторожен в разговорах на эту тему, но, как честный летописец эпохи, не мог не написать двух необходимых для него стихотворений, которые в полном виде были опубликованы лишь после его смерти.

ЖИДОВКА

Прокламация и забастовка.
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она...

В 1987 году демократы из "Нового мира" впервые опубликовали это стихотворение. Но они, всю жизнь, со времен Твардовского, воевавшие против цензуры, не смогли "проглотить" название и первую строфу: стихотворение назвали "Курсистка", и первую строфу чья-то трусливая рука переделала таким образом:

Казематы жандармского сыска,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала курсистка
Комиссаркой гражданской войны.

Конечно, понять новомировских "курсисток" можно... "Ну хотя бы поэт "еврейкой" назвал свою героиню. Ведь написал же он дружеские стихи Антокольскому: "Здравствуй, Павел Григорьевич, древнерусский еврей!" А тут — "жидовка", невыносимо, недопустимо, в таком виде печатать нельзя!"

Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штучка

На оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти.

15

Никому никаких снисхождений
Никогда у нее не найти.

.....
Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд,
И тебя самоё под конвоем
По советской земле повезут...

Две женщины. Одна — русская работница ("прямые черты делегатов, молчащие лица труда"), все умеющая мать и жена, обутая в мужские ботинки, одетая в армейское белье, — и другая — профессиональная революционерка, фанатичная чекистка в кожанке с револьвером на боку, не умеющая "ни стирать, ни рожать", а только допрашивать и расстреливать... Два враждебных друг другу лица одной революции... Какой из них был Смелякову дороже и роднее — говорить излишне. После смерти Смелякова это одно из лучших его стихотворений по воле составителей и издателей не вошло даже в самую полную его книгу — однотомник, изданный в 1979 году "Большой библиотекой поэта". Настолько оно было страшным своей исторической правдой так называемым "детям XX съезда партии". Впрочем, как и стихотворение о смерти Маяковского — о еврейских дамочках полусвета, о "лилях" и "осях", о "брехобриках", о "проститутках с осиным станом", которые, "по ночам собираясь, пили золотистую кровь поэта". Какой шабаш поднялся после его публикации! Как же! Смеляков замахнулся на святая святых — на нашу касту! Симонов бегал в ЦК и требовал наказания виновных, утверждал, что стихи написаны Ярославом Смеляковым в невменяемом состоянии, что автор сам был против их публикации, что они были опубликованы помимо его воли. Борис Слуцкий звонил вдове поэта Татьяне Стрешневой и угрожал, что она не получит больше ни строчки переводов, что все "порядочные люди отшатнутся от нее", что копейки больше нигде не заработает... Хорошо еще, что у Вадима Кузнецова, опубликовавшего стихотворение в альманахе "Поэзия", сохранилась верстка стихотворения, завизированная Смеляковым. А сам поэт к тому времени был уже недоступен для гнева ничего не забывших и ничему не научившихся поклонников бриковского салона — он уже спал вечным сном под каменной плитой Новодевичьего кладбища.

О драматичной истории этого стихотворения так вспоминал в одной из книг Николай Старшинов:

"После выхода в альманахе "Поэзия" стихотворение не было ни разу опубликовано ни в одном издании. А с самим

16

этим номером альманаха произошла непонятная история. Он мгновенно исчез с полок книжных магазинов. А поэт и прозаик Виталий Коржиков рассказал мне даже такое:

— Подошел я несколько дней назад к книжному магазину, который находится поблизости от моего дома. Смотрю: подъехала к нему легковая машина. Из нее вышли несколько молодых людей. Они по-быстрому забежали в магазин, вынесли из него с десяток пачек каких-то книг. Я услышал их разговор: "Сейчас отъедем за город и сожжем..." Я зашел в магазин и поинтересовался у продавца: что за книги вынесли сейчас молодые ребята? А он мне: "Да это альманах "Поэзия"..

Вот какой властью еще в начале 70-х годов обладал бриковский клан в литературе и политике!

Я в этой статье вспоминаю, конечно же, лучшие, "искрящиеся", истинные стихи Смелякова. Но "амортизация сердца и души" частенько настигала и его. В этом состоянии он написал множество стихов о Ленине, о комсомоле, о советской власти, о дружбе

народов, чреватых многословием и политической риторикой. Сейчас они кажутся (да и раньше тоже казались) наивными, плакатными, нарочито повествовательными. Они не искрились, эти слова, с них сыпалась металлическая пыль, смешанная с крупными точильного камня. Но даже в стихотвореньях, написанных поэтом с усталой искренностью, не было самого страшного для поэзии изъяна: истерического лицемерия, которым были отмечены деяния популярных стихотворцев, заискивавших перед Ярославом и пытавшихся делать имя и карьеру, сочиняя многометровые поэмы о Ленине и Революции. Кто сейчас их помнит, эти полотна диссидентского соцреализма и их авторов: Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, Коротича, Олжаса Сулейменова? Целая Лениниана, которую нынешним ее зодчим, конечно, хотелось бы вырвать из своих книг, забыть, стереть из памяти историков. Ныне ее авторы, когда-то лебезившие перед Смеляковым, глумятся надо всем, что было свято для него. Он же и в те времена держал их на почтительном от себя расстоянии, поскольку верил в одну истину:

Ежели поэты врут,
больше жить не можно.

И не случайно, что Ярослав Васильевич в середине шестидесятых потянулся к новым поэтам.

Помню вечер в Доме журналиста. Выступали Анатолий Передреев и Белла Ахмадулина. Смеляков представлял их публике. Фамилия "Передреев" на рукописной афише в фойе

17

была безжалостно переврана — "Переведреев" или что-то в этом роде. Открывая вечер, Смеляков не мог не сказать об этом.

— Внизу висит афиша, — с негодованием произнес он. — на ней изуродована фамилия поэта. Он — Анатолий Пе-ре-дре-ев! Пусть будет стыдно тем, кто переврал его фамилию. Скоро ее будут знать тысячи наших читателей. Это предсказываю вам я, Ярослав Смеляков!

Но будем смотреть правде в глаза: время сломало и опрокинуло многие устои смеляковского мировоззрения. Он верил, что Союз народов создан уже навсегда, что "дело прочно, когда под ним струится кровь", кровь самопожертвования. Он любил ездить на Кавказ и в Среднюю Азию, он любил Кайсына Кулиева и Давида Кугультинова и за талант, и за невзгоды, которые они перенесли вместе со своими народами. Он верил, что все эти кровавые противоречия — в прошлом.

Мы позабыть никак не в силах,
ни старший брат, ни младший брат,
о том, что здесь в больших могилах,
на склонах гор чужих и милых
сыны российские лежат.

Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.

Я бродил по этим тропам Гиссара и Каратегина, не отдавая себе отчета в том, что лишь тридцать лет тому назад буденновские конники сходились здесь грудь на грудь с басмачами-душманами. Однажды, возвращаясь из геологического маршрута по каменистой тропе, выходящей над кипящим голубым потоком, я увидел под тутовым деревом холмик из камней, над которым свисали с зеленых веток разноцветные тряпичные ленты.

—Что это? — спросил я у сопровождавшего меня местного таджика. Он внимательно

посмотрел мне в глаза и не сразу, но ответил:

— Известный басмач тут похоронен. Из нашего рода. Так что "на склонах гор чужих и милых" были зарыты и те и другие. И однако я с естественным спокойствием во время геологических маршрутов забредал в самые отдаленные кишлаки, где по-русски кое-как можно было объясниться лишь с чайханщиком, присаживался к чабанскому костру попить чаю

18

с чабанами — потомками басмачей-душманов. Мы улыбались друг другу, в глазах моих собеседников не было ни затаенной злобы, ни коварства, только любопытство и радушие.

— Кибитка Москва? — Москва!

— Баранчук бар? — бар!

— Кизинка бар? — йок!

(Дом в Москве? — В Москве! — Сын есть? — Есть. — Дочь есть? — Нет.)

Я прощался с этими темнолицыми белозубыми людьми, мы жали друг другу руки, не подозревая, что через тридцать лет их соплеменники будут отрезать головы русским солдатам на разгромленных заставах расчлененной страны. Но в те времена мир Средней Азии еще жил общим укладом, столь дорогим сердцу Ярослава Смелякова.

Правда, он предчувствовал, что после его смерти история может быть переписана, кое-какие опасения жили в его душе.

Мне говорят и шепотом и громко,
что после нас, учены и умны,
напишут doskonaльные потомки
историю моей родной страны.

Не нужен мне тот будущий историк,
который ни за что ведь не поймет,
как был он сладок и насколько горек
действительный, а не архивный мед.

Смеляков как будто бы предвидел появление различных волкогонных, антоновых-овсеенков, александров яковлевых, но такого количества грязи, лжи и клеветы, которое выльется на его поколение и на историю отечества, он предвидеть не мог. Хотя и предупреждал их от наглого легкомыслия и тщеславного амикошонства, когда создал в своем воображении сцену, как якобы однажды он подошел в Кремле к креслу Иоанна Грозного в его царственной спальне:

И я тогда, как все поэты,
мгновенно безрассудно смел,
по хулиганству в кресло это
как бы играючи присел.

Но тут же из него сухая,
как туча, пыль времен пошла,
и молния веков, блистая,
меня презрительно прожгла.

19

Я сразу умер и очнулся
в опочивальне этой там,
как будто сдуру прикоснулся
к высоковольтным проводам.

Урока мне хватило слишком,
не описать, не объяснить.
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?

Над кем решился подшутить?

А нынешние — не просто играючи, не просто шутя, не по безрассудной смелости, а по глумливому расчету, за большие деньги, за карьеру и льготы, с напряженными от страха и ренегатской ненависти лицами, хватаются за высоковольтные провода истории, корчатся, гримасничают, лгут до пены на губах. Им никогда не понять душу истинного поэта русского социализма; они жаждут заглушить его голос — "чугунный голос, нежный голос мой", стереть с лица земли его "заводы и домны", закрыть его шахты, разрушить его монументы, вывернуть с насыпи шпалы его железных дорог, осквернить его мавзолей. Мародеры истории... Впрочем, пусть они не забывают о судьбе еще одного мародера — Исаака Бабеля, который после октября 1917 года приехал в Зимний дворец, зашел в царские покои, примерил на себя халат Александра III, отыскал спальню и завалился в кровать вдовствующей императрицы. Все было на самом деле, и возмездье настигло его через 20 лет—в 1937 году... Да, видимо, можно разрушить материальную часть цивилизации Ярослава Смелякова. Но духовный мир, мир памяти, мир его героев и героинь с нимбами, венками, кумачовыми косынками, "венчиками мучений" живет по своим неподвластным для разрушителей законам. "В нем было бессмертное что-то..." Поэт знал об этой тайне бессмертия, когда, протягивая нить советской истории в глубь веков, писал:

Над клубящейся пылью вселенной,
над путями величья и зла,
как десницу, Василий Блаженный
тихо поднял свои купола.

Современная юность России
тут встречается с Русью отцов,
мерно движутся танки большие
по невысохшей крови стрельцов...

Написано в год восьмисотлетия Москвы.

А еще он чувствовал и завещал нам нелегкое бремя памяти

20

обо всем русском крестном пути и знал, что сквозь всю пелену грядущего глума будут все-таки проступать как бы начертанные тусклым пламенем его слова, которые он оставил на соловьевской истории России:

История не терпит многословья,
трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя.

За полгода до смерти он, которого считали соперником Александра Твардовского, защитил честь своего собрата по поэзии от Солженицына, опубликовав в "Нью-Йорк таймс" следующее письмо:

"Твардовский — человек и поэт

Я только что прочитал статью А. И. Солженицына "Печаль по Твардовскому", опубликованную в Вашей газете (12 февраля).

Мы, читатели и друзья этого выдающегося поэта, тоже скорбим над его могилой, но по-другому — без политической истерики, без нелепого желания обратить к собственной выгоде даже смерть знаменитого писателя, признанного своим народом и правительством.

Уверен, что Твардовского огорчила и возмутила бы похоронная патетика этого выступления Солженицына, что он бы воспринял это выступление как попытку посмертной политической дискредитации. Автор статьи стремится представить Твардовского противником не только правительства, но и нашей армии. В слепом запале он не замечает, что сам себе противоречит, когда пишет о том, что на гроб поэта были возложены венки от советских военнослужащих. Или он считает, что венки возлагали втайне от командиров и заодно с ним, Солженицыным?

Было бы очень кстати напомнить читателям о том, что незадолго до смерти поэта Воениздат выпустил в свет одному Богу ведомо какое по счету издание "Василия Тёркина". Во время последнего съезда писателей Российской Федерации "Тёркиным" торговали в книжных киосках рядом с Колонным залом, и я видел, как Твардовский весело спустился со сцены, где сидел Президиум Съезда, купить несколько книг, чтобы их раздарить.

Немного позже издательство "Советский писатель" выпустило двухтомник Твардовского, и я с радостью написал о поэте, по просьбе газеты "Известия", большую, исполненную

21

признательности статью. Не так давно в издательстве "Художественная литература" вышло полное собрание сочинений Александра Твардовского, честь, выпавшая очень немногим писателям. В прошлом году ему в третий раз вручили Государственную премию. Разве это похоже на травлю? Солженицыну до смерти хочется превратить этого широкоплечего, умного и веселого человека в затравленного страдальца и причислить его, как и самого себя — именно, как самого себя, — к так называемым мученикам.

Я не хочу, чтобы у иностранных читателей сложилось с моих слов представление о моем старшем товарище как о счастливце с безоблачной биографией. Подобно всем большим писателям, он прожил жизнь трудную и деятельную; были у него свои огорчения, были ошибки, свои радости и свои иллюзии. Но он не разделял, да и не мог разделять иллюзии Солженицына о том, что в один прекрасный день советская власть рухнет и новая молодежь построит матренин мир на ее дымящихся руинах. Твардовский был олицетворением нашей социальной системы.

Современная советская поэзия берет лучшие стихи и поэмы Александра Твардовского за образец и будет, как и народ, всегда любить и почитать это имя.

Ярослав Смеляков

Москва,

3 марта 1972 г."

Как сказал сам Твардовский, "тут не убавить — не прибавить"...

В 1997 году молодой поэт Михаил Молчанов опубликовал в журнале "Наш современник" стихотворение о Смелякове, которое заканчивалось так:

При нем пленялись реки.

Он свято верил в труд.

Теперь его вовеки

У нас не издадут.

Неправда. У "них" не издадут. "Они" не издадут. Издадут "у нас". Издадим "мы".

Небольшую книжечку, тридцать-сорок стихотворений, но таких, у которых вечная жизнь.

г. Калуга,

7—8 ноября 1997 г.

22

"И пропал казак..."

Проза Виктора Астафьева в зимовье. В гостях у деда Степана на Тунгуске. Я, Астафьев и журнал "Наш современник". Разрыв

Астафьева с журналом. Ельцинизм Виктора Петровича. Его тридцать сребреников. Окончательное помрачение. Печальный юбилей. Переписка с Эйдельманом

Над западным берегом Тунгуски по извилистому хребту тянется черная кромка леса, а из нее, словно кусок застывшего желтого пламени, торчит кривой месяц. Мороз к вечеру становится все гуще. Крупные звезды усыпали темное и чистое небо, недалеко на озере глухо ухает лед, оседая под собственной тяжестью. Где-то под хребтом Карун и Музгар облаивают то ли белку, то ли соболя.

Дед приподнимает голову: "До утра держать будут, утром надо бежать, Славка!" Но к утру собаки уже оказались возле зимовья — не выдержали мороза, и мы все четверо побрели на реку трясти сети, ставить крючья, блеснить из-под льда хариусов. Карун и Музгар, широкогрудые, крепконогие лайки, крутятся возле нас, надеясь на хозяйскую щедрость. Дед бросает им подъязка. Музгар, который был ближе, потянулся к пляшущей на льду рыбешке, но Карун нахально оттеснил его плечом и схрумкал добычу.

— А что, Музгар Каруна боится?

— Нет, ён с ним не занимается!

Я не сразу понял, что значит "не занимается". Оказалось, что Музгар просто не хочет связываться с Каруном — куска у него никогда не отберет, не гавкнет, не укусит, поскольку Карун рос при Музгаре щенком, и Музгар до сих пор относится к

23

Каруну как к щенку — великодушно и снисходительно, хотя молодой кобель уже вымахал с медвежонка-пестуна и стал в груди, пожалуй что, пошире своего воспитателя.

Последняя сеть медленно уползала, влекомая течением, под лед. Дед разогнулся, передохнул, огляделся по сторонам.

— Однако заморочило! К вечеру снежок должен пойти. Завтра надо лоушки смотреть, соболь бегать будет по пороше...

Я понимаю, что "заморочило" — значит, небо затянуло к перемене погоды. Вообще, дед говорит так, что о смысле многих слов я могу только догадываться. А между прочим, мне кровен язык калужских деревень, жил я в эвакуации в костромском краю, работал в Сибири, всегда старался чутко слушать, как говорят люди. Но начнет что-то рассказывать дед — то и дело приходится переспрашивать.

— Взял я норило...

— А что это такое?

— Ну, жердь, которой невод подо льдом за тетиву протягиваешь... Налима-то надо варить, пока не выбыгал. — И, заметив мой вопрошающий взгляд, дед поясняет: — Ну, пока не усох... а из конопки красна ткали. — Оказывается, что "красна" — это домотканые цветные половики...

Но какой живой, какой дикий, какой молодой еще, зеленый, незатвердевший язык! Какие удивительные — вроде бы случайные, неустойчивые, но прекрасные формы вдруг являет он! Рассказывает мне дед о старом рецидивисте, убившем единственного сына у матери, и вдруг фраза: "Мать сиротой сделал..." Как жаль, что я, русский человек, не взял от деревни — слишком мало в ней жил — груды этого сырого, текучего, подвижного богатства! Светлой завистью завидую писателям земли русской — Залыгину, Астафьеву, Белову, Распутину, Личутину: владеют они безо всяких словарей и магнитофонов этим языком, столь многоликим, что диву даешься, как русские люди на бесконечных российских просторах умудрились, говоря на десятках своих диалектов и наречий, осознать себя одним народом, выгнать из всего этого бродящего сусла, словно семидесятиградусную самогонку, кристальную литературную речь, уходящую тем не менее корнями в эту почву, в ее супеси, суглинки, черноземы...

А Виктор Астафьев, повесть которого "Последний поклон" в затертой мягкой обложке "Роман-газеты" я обнаружил среди кучи газет и журналов в углу дедовского зимовья, не стал бы, наверно, переспрашивать моего старика о смысле того или иного слова: его

Енисей не так уж далеко от Угрюм-реки, поскольку встречаются они где-то возле Верхней Туры; навер-

24

няка его предки с пращурами Степана Романыча сталкивались где-нибудь на речных переправах либо таежных тропах, взаимно переселялись по рекам и волокам из одной деревни в другую, неся за собой слова и обычаи; наверняка где-то скрещивались их пути, когда отправлялись они в соседние починки, хутора да выселки за будущими женами.

"Снеговые кипуны, те и вовсе засохли, едва шевелились в мокрых, плесенью берущихся камнях, прерывисто падали с яра в Енисей, где вода тоже шла на убыль... По виске — так красиво зовется у нас обсыхающая после водополя протока, будто для креста сложенная щепотью, припоздалая всходила осока, копытень на обмысках с листом торопился, и всякий цвет, всякая травка хотела занять скорее свое место на земле, отгореть в цвету, успокоиться семенем". Вот каким языком пишет о своей земле Астафьев в "Последнем поклоне". Сколько в этой книге беспощадной и всепрощающей памяти, сколько неприглядной правды, сколько закоулков, задворков, глухих углов жизни освещено в ней невеликими, но истинными огоньками добра и сострадания!

Суетный дед Павел, Мюхрютка-лярва, жестокие и несчастные детдомовцы, шепутной ловелас дядя Вася, вьедливая бабушка из Сисима — да не счесть всех родных, близких и далеких людей, населяющих повесть, живущих в ней, голодающих, обозленных, отходчивых сердцем, добрых, прелюбодействующих, просто зачинающих детей и просто уходящих из жизни... И в конце концов, с замирающим сердцем понимаешь, что имя тому океану, то великому, то тихому, то мутному, то светлому, одно — народ...

А если вспомнить Акимку и его мать, прижившую столько детей от столько отцов, — но это уже в другой книге Астафьева — "Царь-рыба"! Книга другая, но мысль одна и та же: настоящее Добро, вечное и не поддающееся никакой ржавчине, рождается в темном и горячем чреве жизни, растет бок о бок со всякими страстями, со всякими искушениями и безобразиями. Но возникло оно в этой же унавоженной земле, но удобрено тем же навозом, что и вся жизнь. А коль так, коль не из головы выпросталось, коль укрепилось, словно травинка на северном ветру, и корни пустило вглубь аж до мерзлоты, коль на наших скупых соках семя выросло, — то не умрет, не сгниет, не зачахнет, как зачахло бы здесь какое-нибудь чистопородное комнатное растение... А другого, более красивого, более чистого, более требовательного к почве добра нам не надо. Не выживет оно здесь, вымерзнет на морозах, сгниет на дождях-сеногноях, высохнет на ветрах-суховеях, и

25

останется от попытки насадить его только разочарование за напрасные усилия да за то, что попытки эти душу людскую зря растревожили. Лучше синицу в руки, чем журавля в небе...

Среди многих волнующих сцен из "Последнего поклона" есть одна, особенно будоражащая душу, когда больной и голодный подросток-фээзушник притаился к тетке, к бабушке, к маленьким племянникам, и они, сами прозрачные от забот и недоедания, делят с ним последнюю кружку молока.

"Взяв под мышки Капу, я посадил ее поближе к себе и, глянув в кружку, сказал:

— О-о, как много! Давай вместе!

Девочка помотала головой, пропищала, слабо защищаясь: —Я уже пила... кусала... пасибо...

Слово "пасибо" переломилось у нее пополам. Я поднес кружку к ее рту, и Капа припала к посудине, глотнула раз, другой, сперва жадно и звучно, потом заторможенной, медленней; с большим трудом преодолев себя, девочка не оттолкнула, а отвела руками кружку, чтобы не расплескать молоко.

— Пасибо! Я кусала. Это тебе..."

Добро, которое исходит и которое, видимо, всегда будет исходить из этого существа, — высшей пробы: добро самопожертвования. В прошлые времена, да и в любые памятные нам тяжелые дни тот, кто имел душевную силу делать добро, был, конечно, незаурядным

человеком. Добро стоило слишком дорого, было своего рода душевной роскошью, которую мог себе позволить лишь от природы богатый душой человек. Такое добро росло в человеке медленно, как редкое дерево в поле. Но если уж выросло, то отличалось алмазной крепостью. Оно было фактом личного подвига, личного мужества, личным уделом каждого; за него человек и на смерть мог пойти. Но как много этого материала способно было в прошлом накопить человечество?.. Не зря, наверное, в новое время пришло оно к убеждению, что добро, как хлеб, которого на душу населения нужно во много раз больше, естественным путем не вырастишь. Удобрения нужны, конвейер нужен, государственный присмотр для производства добра необходим: Чтобы на всех хватило...

Но вот что при этом смущает: добро безличное, казенное, без которого нынче не прожить человеку, после того как попользуется он им, вроде бы и досаду одновременно с гарантированным благополучием приносит, как магазинные чеки, на которых машина одновременно с ценой пробивает слова: "Благодарим за покупку". А все потому, что получаешь

26

его от имени громадного существа — то ли общества, то ли государства, то ли министерства, и не хватает при этом получении слов, которые, может быть, дороже самого блага, слов, без которых становится оно пресным и душу не насыщающим. Ну, хотя бы таких слов, которые бабушка Катерина Петровна говорит внуку: "Ягодки-то разделите, да с молочком, — раздался руководящий голос бабушки. — Вот и ладно, вот и переночуете, завтра в лавке по карточкам хлеб получите, да разом-то не съедайте! Обо мне не убивайтесь. Я пропитаюсь. Сами-то, сами-то держитесь..."

Вот о чем размышляю, глядя в окно избы на Тунгуску, закованную в лед и уже занесенную сверкающим от зимнего солнца снегом, на котором кое-где тянутся длинные языки черных промоин. Мы с дедом только что вернулись с рыбалки с дальнего таежного озера, где, объединившись с мужиками из соседнего зимовья, добывали на зиму карасей. С утра слепило солнце, отражаясь от озерного льда, а мы тяжелыми пешнями продолбили лунки по обоим берегам озера, погрузили стометровый таежный невод в большую прорубь и стали протаскивать оба его крыла подо льдом так, чтобы исполинским объятием двух крыл — речником и береговиком — невод схватил чуть ли не все озеро. Способу этому сотни лет. Крылья невода протаскивают подо льдом за веревку, привязанную к еловому шесту — "норилу". Норило скользит подо льдом, осторожно направляясь от одной лунки к другой рогулькой из березы. За норило привязана веревка, которая тянет крыло невода до той поры, пока на противоположном конце озера оба норила не выплывут в главную прорубь, называемую иорданью... Поставив невод, мы собрались на берегу, утоптали снег, разожгли костерок, сварили чай, перекусили и лишь потом пошли к иордани, чтобы завершить дело, — по трое мужиков с каждой стороны стали медленно вытягивать на лед невод до тех пор, пока мотня не подошла к иордани вплотную, и закипела вода от серебряного живого месива... Карасей аж дотемна выгребали сачком на лед, где они, покрываясь изморозью, вскоре образовали груды, тускло засверкавшую под сиянием громадной луны, выкатившейся из-за леса...

* * *

Мой старик привалился на постель отдохнуть, а его жена Дуся, вертлявая и неутомимая, вытирая от избытка чувств маленькие глазки, хриплым голосом жалуется на жизнь:

— Мать-то моя замужем была то ли за поляком, то ли за хохлом. Мы ведь на хуторе жили. Девятнадцать детей мать

27

родила, а отец, паскуда, царство ему небесное, стал ко вдове на соседний починок бегать... Вернется — мать ему слово, а ён ее вожжами. Она не промолчит — второе слово, ён — за волосы... Невтерпеж ей стало — нашла она в сарае отраву на лисиц, выпила, да едва

успела до порога добечь... Когда мы вернулись с пожни, глядим, она лежит на пороге, а Кешка маленький, грудной ишшо, подполз к ней и титьку сосет.

Хлопнула дверь, клубы пара ворвались в горницу, вслед за ними вошла пожилая женщина, седая, глаза с косинкой, лицо смугловатое, видно, что с примесью эвенкийской крови.

Дуся захлопотала.

— Садись, Нюра, выпей рюмочку, у меня гость дорогой... Это Степкина сестра сродная — отец у них один, а матеря разные. А Степан-то мой пьет! — вдруг ни с того ни с сего прослезилась она. — Смотри, как набуздалься, спит, а ночью колобродить станет. Ты бы, Нюра, поговорила с ним, ить не молодой уже братик твой.

Нюра степенно разоблачилась, сняла с головы шерстяной платок.

— Ты жена, ты и говори! А сейчас идти нам надо, сорок дней, али ты забыла?

Дуся действительно забыла, что сегодня поминальный день по племяннику, которого на охоте вроде бы случайно застрелил из мелкашки не кто-нибудь, а отчим.

— Какой случайно! — махнул рукой дед, когда я его спросил, в чем дело.—Давно он зуб на пасынка точил, а теперь ничего не докажешь...

Но я задумался о другом. У деда, у Нюры, у Дуси — куда ни глянь в этом таежном поселке, в соседних, еще не вымерших деревнях — сплошная родова: сестры, братья, племянники, тетки, сродственники. Расплодилась она за сотни лет, пока росли и крепили эти поселения, заложенные лихими предками, Бог знает как пробравшимися сюда по северным рекам из новгородских, архангельских и вологодских земель. И столько накопилось к нашему веку этой родовой вокруг Тунгуски, что людей, неродственных друг другу, в деревнях почти и не было.

И опять вспомнилось, как Виктор Астафьев, уже после войны, воротившись на берега Енисея, встречает случайно незаконнорожденного сына своего любимого дяди Васи, которого он сам схоронил после боя в приднепровском лесу: "Род наш продолжался на земле. С обрубленными корнями, развеванный по ветру, он цеплялся за сучок живого дерева и прививался к нему, падал семенем на почву и восходил на ней колосом. Если заносило семя на камень либо на асфальт, оно

28

раскалывало твердь, доставало корешком землю, укреплялось в ней и прорастало из нее".

А рядом с такой высокой патетической струной Астафьев не стесняется дать и некоторые забавные подробности того, как возник на земле его дальний "сродственник": "Флотоходец этот, как скоро выяснилось, был результатом предвоенной дяди Васиной поездки на курсы повышения квалификации лесобракеров..."

Дед заворочался на постели, закряхтел, свесил жилистые старческие ноги в армейских кальсонах и застонал:

— Дуся, бражки налей!

Дуся, словно полдня ждавшая этой просьбы, раскрасневшаяся от гнева и бражки, выскочила из-за плиты:

—Что, старый, отоспался! Бражки те захотелось! Ох, дала бы я те бражки, когда бы не гость! Он ить, Славка, — вдруг запричитала она безо всякого перехода, — жись мне заел! Бабам спуску не давал, все в командировках по своему ветеринарному делу. Знала я эти командировки! У него ведь дочка есть в Киренске набеганна! — выкрикнула она, как мне показалось, с притворным гневом, поднося деду стакан.

— Как набеганна?

— А так, что старый черт бегал-бегал по командировкам, да и дочку набегал!

Мы все присели к столу, на котором уже дымилась горячая картошка, тускло сверкали малосольные сижки, возвышалась груда расколотки — крепких, как камень, наломанных хариусов, которые тают во рту, холодя зубы и обжигая нёбо от перца и соли...

Мы выпили по граненой стопочке закрашенного жженым сахаром спирта, и дед с бабкой, радостно перебивая друг друга, рассказали мне про киренскую набеганную дочку.

— Поехали мы с Дусей в Киренск к сестре Лизе — она сына женила. Ну, приехали,

потолковали о том о сем, Лиза и говорит:

— А ты дочку свою поглядеть хошь? Она как раз замуж на днях выходит...

Дуся с причитаньями прерывает неторопливый дедовский рассказ:

— Ох, знала я, что есь у него дочка набеганна! Говорила: давай, Степан, удочерим! Была бы сейчас дочка у меня! А он, ирод, все скрывался: нету у меня никакой набеганной дочки. Все не признавался! А мне ить люди добрые рассказали!

Дед привычно обрывает старуху.

— Хватит болтать! Дай поговорить с человеком!.. Ну, я и

29

спрашиваю Лизавету: каку дочку-то? — "А от Агафьи". — "Ну, говорю, поглядеть я не против". На другой день приходят — на свадьбу приглашают. Прихожу, смотрю—дочка Настя. Все говорят: "Степан, вылитый ты!" А я и сам вижу! Подходит ко мне, кланяется, говорит: "Здравствуйте, тата! Прошу за стол", — и стопочку мне подносит! А я Дусе шепчу: "Соболя-то я Лизе привез, давай его сюда, а Лизе в другой раз добуду!" Она Володьке шепнула—своему братенику, тот бегом к Лизину дому, и вот я встаю петухом, — тут дед поднялся из-за стола, подошел к двери, повернулся боком, — из-за спины соболя вынимаю — черного, баргузинского! — Дед нагнулся, демонстрируя, как небрежно провел шкуркой драгоценного зверька над полом, словно встряхивая его, чтобы мех засветился, — и даю ей в обе руки. "От отца тебе, — говорю, — свадебный подарок! А тебе, Агафья, — и мужу ее Ивану кланяюсь, — низкий поклон, что дочку мою вырастили!" Настя аж прослезилась...

Тут Иван и отвечает мне: "Кровь-то никуда не денешь!"

Как все это похоже на встречи, признания, неожиданные объятия кружимых по свету людей из астафьевского "Последнего поклона", когда они вдруг сталкиваются друг с другом, словно случайные щепки в мутном половодье, и вдруг пронзает их одна мысль — "а ведь мы — родные...".

"Стоптав грядку с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу, обнялись и заплакали. Миша что-то говорил мне, и хотя я худо слышал, почти ничего не мог разобрать из-за слез, душивших меня, все же распознал: хоть и не все, далеко не все, но наши живы, и бабушка, слава богу, тоже живая". Немало слез льется в повести Астафьева, но это всегда слезы, облегчающие душу, освобождающие ее от закаменелости, от крупниц бесчеловечности и себялюбия, которые, особенно в тяжкие годы, неизбежно в ней оседают...

Вот так вошла в мою жизнь проза Виктора Астафьева. Было это аж тридцать лет тому назад. Много с той поры по таежным вискам воды утекло. Пора подбивать бабки, пока мы еще в здравом уме и в твердой памяти.

Много позже я почувствовал себя обязанным помочь Виктору Петровичу, когда свора еврейских журналистов набросилась на него, как шавки на медведя, после его разборки с Натаном Эйдельманом.

Напомню тем, кто забыл или уже не знает этой истории, что после повести Астафьева "Печальный детектив" и рассказа "Ловля пескарей в Грузии" литературовед Эйдельман отправил писателю письмо, в котором обвинил его в антисемитизме, в

30

глумлении над грузинами и монголами и в прочих великодержавных замашках. Астафьев не стерпел и ответил "пушкинисту" резким письмом. Тогда Эйдельман, действуя как профессиональный провокатор, написал Астафьеву второе, еще более оскорбительное, послание и пустил частную переписку по белу свету, а вскоре опубликовал ее за рубежом.

Переписка Астафьева с Эйдельманом была в те годы, как бы сейчас сказали, знаковым явлением и ходила по рукам с приложением еще одного письма, авторство которого молва приписывала Владимиру Солоухину.

Я спросил однажды у Владимира Алексеевича впрямую: не он ли автор? Солоухин лукаво заулыбался, но предположение мое не подтвердил. До сих пор неизвестно, кто подвел итог знаменитой переписке, ныне опубликованной. Но поскольку анонимное,

якобы солоухинское, письмо не публиковалось, то я привожу его текст. Все-таки неподцензурный и актуальный для нашего времени документ эпохи.

"Н. Я. Эйдельману

Виктор Астафьев не счел нужным подробно отвечать на ваше провокационное письмо, хотя ответил он вам прекрасно. Вам этого показалось мало, и вы решили и дальше мусолить свой вонючий "еврейский вопрос". Но кто такой вы перед Астафьевым? Теперь вы взялись распространять эту спровоцированную вами переписку. Что ж, для личной славы у евреев все средства хороши. Так вот, я отвечу более подробно за Астафьева. Да только, думаю, что это письмо вы обнародовать не захотите. А жаль...

Вы упрекаете писателя Астафьева за то, что он нелюбезно написал о торгашах-грузинах, варварах-монголах и т. д., хотя о тех и других в русской литературе было написано много чего, в том числе и у Пушкина. Вам, как "пушкиноведа", это должно быть доподлинно известно. Но цитаты в еврейском литературоведении для доказательства каких-либо доводов всегда извлекаются те, которые более удобны...

"В наш век при наших обстоятельствах только сами грузины и могут о себе так писать..." — говорите вы. А коли так, кто, хочу я вас спросить, дал вам право судить и унижать русский народ? Уж судите в таком случае свой — еврейский! Да только у вас на это духу не хватит: кишка тонка, да и сионистские лидеры вам этого не позволят.

С каким наслаждением вы цитируете Пушкина и Толстого, когда они горько говорят о России и о русском

31

народе. В том их и сила. Чьи писатели еще на такое способны? Что-то не знаю я ничего похожего ни у грузинских, ни у еврейских писателей.

В истории литературы были примеры осуждения писателями другого народа. Тарас Шевченко и Леся Украинка терпеть не могли "москалей", но то хоть было понятно, они болели за свою родину и они были великими писателями. А, скажите мне, отчего еврей Гейне в своих стихах и статьях жутко поносил немцев? Прочтите современную Юнну Мориц, дышащую презрением ко всему русскому. Ваши соплеменники оскорбляли более всех того, на чьей земле они жили. И, наверное, вам не надо уточнять, что о евреях думают палестинцы?

Лично вас заело у Астафьева не изображение спекулянтов-грузин (хотя они — действительность нынешней России, ведь они у нас торгуют, нас грабят). Кто же, как не русский писатель, должен об этом сказать? Но плевать вам на грузин! Вас оскорбило слово "еврейчата" из "Печального детектива". Вот тут-то вы и ухватились за "несчастных" грузин, чтобы отомстить писателю, выразить свое, видите ли, возмущение. Без вас тут никак не могло обойтись. Ругают грузин, а евреи тут как тут. Издалека чувствуют, где жареным пахнет. Из любого скандала они стараются для себя пользу выудить, на любой проблеме мечтают нажиться. И такой у них обиженный вид, как будто это их "торгашами" обозвали!.. Грузины уже давно успокоились, а евреи все галдят и воду в ступе толкут. Да только все это понапрасну. Авторитет Астафьева в русском сознании настолько высок, что никакие евреи и грузины с ним уже ничего не сделают. Правильно вам ответил Астафьев, что "кроме злобы ничего вы в себе не носите". Вы уже и на Белова рычите и набрасываетесь, как свора дворняг, на его роман "Все впереди". Но и с ним вы ничего не в силах сделать в своей дикой злобе. Уж слишком высоко наши писатели над вами стоят. Есть произведения, которые, как жгучая статья в газете, не являются шедеврами литературы и искусства (не для того создаются), но они открывают людям глаза, сильно влияют на общественное мнение. "Все впереди" — именно такой роман, он не что иное, как роман-поступок, к тому же напечатанный с большими сокращениями (редакционными, естественно). И не случайно он называется "Все впереди". А впереди предстоит очищение России от жидовского засилья. Татаро-монгольское иго длилось 300 лет на Руси. И казалось, что ему не будет конца. Придет

конец и жидовскому игу в России.

32

Вы, как и другие псы от литературы, это четко почувствовали в романе Василия Белова и страшно испугались. Уже написаны разносные рецензии на роман. Да только русский народ ваших рецензий не читает. Он читает Белова, Астафьева, Распутина, Абрамова и многих других истинно русских писателей, радеющих за Россию, а не за ваш преступный иудо-масонский космополитизм.

Что же касается вас как "литератора" и "специалиста по русской литературе", то я наслышан о вашей литературной нечистоплотности и более того — плагиаторстве. Так что не вам обращаться с претензиями к такому человеку и писателю, как Виктор Астафьев.

Теперь об уточнениях по конкретным фактам вашего письма. Лично руководил расстрелом и стрелял в царя еврей, действительно большевик и махровый сионист Яков Юровский. Вы это знаете лучше меня. Как знаете и то, что большевик — не значит нееврей. Общее руководство в Екатеринбурге осуществлял Шая Голощекин, тоже яркий сионист, председателем местного совета был Белобородое (Вайсбарт). "Еврейчата" заменены на "вейчата" в отдельном издании "Печального детектива" именно вашей жидовской цензурой. Астафьев в Грузии не был "иностранцем", т. к. живем мы в одном государстве.

Вы притворяетесь наивным, говоря, что "сионисты преследовали... совсем иные цели — создание отдельного еврейского государства в Палестине". Это же детский лепет, который смешно слушать! На кого вы рассчитываете? Школьники и те рассмеются над вами. Уж кому-кому, а вам лучше других известно, что цель сионизма — власть над всем человечеством, над всем миром и превращение России в одну из "провинций" сионистского "Великого Востока", еврейский "рай земной" в Палестине давно создан, но что-то вы туда не торопитесь...

В любой стране любовь к родине вы называете шовинизмом и стремитесь притупить национальное самосознание народов. Вам в какой-то мере удалось это сделать в США, вы были близки к этому в России... Не дотянули. Народ наш вовремя проснулся.

Во Франции вышла книга под названием "Иудаизм и дух восстания", в ней, в частности, говорится о вечном духе восстания, которым всецело проникнуто еврейство, который придает еврейству страшную разрушительную силу, но в то же время не позволяет ему когда-нибудь успокоиться и заняться созидательным творчеством и устроить свое

33

прочное еврейское государство. Это последнее обстоятельство — лучшее обоснование надежды на то, что при всех своих успехах сионизм в конце концов все же потерпит поражение и не овладеет миром.

Вы спровоцировали эту переписку, теперь не жалуйтесь, что русские люди вам начнут отвечать".

Далее следовал домашний адрес Натана Эйдельмана*.

Защищая правоту Астафьева, да и просто историческую истину, я в те дни написал большую статью, но опубликовать ее не смог. Вот отрывок из нее:

"В начале первого своего письма Астафьеву Эйдельман писал о себе и своем отце: "Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор, 1930 г. рождения, еврей, москвич; отец в 1910 году исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу, затем — журналист (писал о театре)..."

Остановимся пока на этом. Изучая кровавую эпоху тридцатых годов, историю Беломорканала, читая речи больших и малых идеологов эпохи, я вдруг стал наталкиваться в прессе того времени на фамилию журналиста Эйдельмана, который иногда подписывался прозрачным псевдонимом Э. Дельман. О чем же он писал? О театре? Нет, не только...

Вот передо мной "Литературная газета" от 1 мая 1937 года. Восхваление громадного концентрационного лагеря, руководимого Л. Коганом, С. Фириным, Я. Раппопортом и Н. Френкелем, где, оказывается, можно не только хорошо жить и перевоспитываться, но, как утверждает борец с антисемитизмом Я. Эйдельман, где заключенным (а их там полегло костями более 70 тысяч) можно еще было вдохновенно и свободно заниматься искусством и литературой, поскольку они воспевали "вдохновенный, всепобеждающий труд, черты которого они впервые постигли на строительстве канала..." Листаю подшивку "Литературной газеты" дальше, вот еще одна статья "Певец пролетарской ненависти" ("ЛГ", № 33, 1937 г.).

Цитирую:

"Высшая мораль революции в том, чтобы враги народа, подло предающие его интересы, были начисто уничтожены..."

"Только на днях вся страна с яростью и гневом узнала о преступлениях подлейшей банды долго маскировавшихся

* Совсем недавно я узнал, что автором этого письма был поэт Валерий Хатюшин.

34

шпионов, фашистских наемников — Тухачевского, Уборевича, Корка и других мерзавцев". Да-а, хорош был искусствовед-папа, писавший, по словам сына, "о театре", — оказывается, он любил не только сцену МХАТа, но куда больше кровавые зрелища тридцатых годов!

Это далеко не все. Театровед Я. Эйдельман под псевдонимом "Дельман" освещал в "ЛГ" того времени сфабрикованный судебный процесс против выдающегося русского поэта Павла Васильева, который начался после клеветнического письма в газету "Правда" от 24 мая 1935 года, где Васильев обвинялся в "фашизме", "антисемитизме", "хулиганстве", "шовинизме" и т. д.

Поддерживая все эти клеветнические формулировки, Эйдельман-старший закончил свой донос следующей страстной филиппикой:

"Лжете, Павел Васильев! Нагло клеветаете на советскую литературную общественность, которая мужественно борется за новый социалистический тип писателя, которая вышвырнула вас из своих рядов именно из-за ваших волчьих повадок, несовместимых с высоким званием советского писателя. Вам не удастся прикрыть свою уголовную сущность громкими фразами. Вам не удастся скамью подсудимых превратить в пьедестал для монумента самому себе. Вы разоблачены до конца"*.

Вот такую эволюцию прошел театровед в штатском. От гимназиста, давшего пощечину антисемиту, до крупного идеологического погромщика и провокатора, раздувавшего репрессивное пламя тридцатых годов. Кстати, если за пощечину антисемиту-учителю Эйдельман-старший был всего лишь исключен из гимназии, то Павел Васильев за такую же пощечину (о ирония судьбы!) Джеку Моисеевичу Алтаузену, которую он отвесил, защищая честь женщины, получил полтора года тюрьмы, куда ушел под улюлюканье Эйдельмана-старшего.

Времена проходят, а приемы, методы и, главное, цели провокаций остаются прежними. Яблочко от яблони недалеко падает. Театровед Эйдельман-старший травил выдающегося русского поэта Павла Васильева, пушкинист Эйдельман-младший, продолжая семейные традиции, тоже постарался найти себе крупную мишень — выдающегося русского писа-

* Эйдельман-старший обличал также в 30-е годы замечательного русского поэта и прозаика Сергея Клычкова в статье-доносе "Куда идет Клычков?" ("ЛГ", 22 января 1934 г.)

35

теля Виктора Астафьева... Если не посадить, так хоть облить грязью".

Я написал Виктору Петровичу о своих изысканиях и о том, что не таким уж кротким театральным критиком был Эйдельман-старший, каким попытался изобразить его сынок. В ответ получил письмо с просьбой:

"А ксерокопию с деяний Эйдельмана-старшего непременно пришли. Жиды до се успокоиться не могут, все им кажется, что они всех перелукавили и могут уже торжествовать, танцуя на трупе русского мужика. Не думай, что это исключение нам такое, чем лишь бы лягнуть слабого и недужного, греков, например, они ненавидят еще больше нас, У арабов, и американцев так же, только перед американцами пока "смирно" стоят, но дождутся — и за это "смирно" отблагодарят их".

...А вся заваруха с грузинами началась в 1986 году на VIII Всесоюзном (последнем!) писательском съезде. Наши грузины, уже подогретые известной им перепиской, обидевшись на Виктора Петровича за его саркастический рассказ о грузинских нравах, всей делегацией покинули зал и с каменными лицами уселись в фойе. Мой друг Шота Нишнианидзе, не читавший рассказа, но из солидарности тоже хлопнувший дверью, подошел ко мне:

— Стасык! У тебя есть журнал этот? Дай почитать!

Мы подошли к братьям Чиладзе, и я попробовал пошутить:

— Вы что, как грузинские меньшевики партийный съезд покидаете?

Но никто, кроме ироничного Отара, на шутку не отозвался.

— Стасык! — сказал мне Отар. — Не надо русским в наши грузинские дела лезть, разбирайтесь в своих...

А в это время с трибуны Дворца съездов слышался голос Валентина Распутина, который говорил, что мы живем хотя и в отдельных квартирах, но в одном доме и каждый из нас может говорить о неблагополучии на любом этаже, ибо дом-то один на всех...

Мне на съезде слова не дали, Верченко и Марков знали, что я могу наговорить лишнего, но текст небольшого выступления, написанный прямо в зале после лакейской речи Гавриила Троепольского, сохранился в моем блокноте.

Вот он. Собственно, это и не текст, а так, небольшая реплика:

"Употребил Виктор Астафьев слово "еврейчата" в "Печальном детективе" — что началось! Как будто это слово

36

принципиально отличается, допустим, от слов "татарчата" или "киргизята". Уже Эйдельман распространяет свою провокационную переписку, уже критик Е. Старикова в "Воп. литературы" пишет, что после Освенцима на эту тему и говорить нельзя. Упрек тем более бестактный по отношению к Астафьеву, что он — один из лучших писателей нашего времени — освобождал Польшу и спасал из фашистских лагерей смерти людей всех национальностей, в том числе и евреев.

Стыдно указывать Белову и Астафьеву, о чем им можно писать, о чем нельзя. Неловко видеть, как старик Троепольский извинялся за Астафьева перед грузинскими товарищами, неловко за газету "Московские новости", назвавшую Белова за повесть "Все впереди" "человеконенавистником". Когда я на эту тему заговорил с одним из идеологических работников, он мне сказал: "да не обращайтесь внимания, это ведь газета элитарная, для иностранцев". Значит, в глазах иностранцев шельмовать Белова можно. Хороша логика!"

В конце 80-х и в начале 90-х годов литературная жизнь еще кипела, мы с Астафьевым встречались на журнальных вечерах и писательских собраниях. Он вел себя по-русски бесстрашно, размашисто, дерзко. Помню его выступление на симпозиуме советских и японских писателей осенью 1989 года в Иркутске:

"Вот уже третий человек выступает и каждый ставит вопрос о "Памяти". Вопрос этот очень прост и очень сложен. Я ничего об этой "Памяти" не знаю сверх того, что знаете вы, то есть читал то же, что и вы. Мне знакомы несколько человек из Новосибирска, которые имеют какое-то отношение к "Памяти". Это люди глубоко порядочные, это люди с учеными степенями, которые, наверное, не всем зазря даются. Во всяком случае, те двое, которых я знаю, эти степени заработали, их почитают в обществе. И вдруг я читаю в газете, что одного из них называют проходимцем, с чужих слов все это. И вот я думаю: да когда же это кончится? Шельмование этого общества

идет на уровне все того же тридцать седьмого года, то есть, как говорил тогда следователь: "Здесь вопросы задаю я, а ты не имеешь права задавать". Так и с "Памятью" обращаются — их поносят во всех газетах, во всех журналах, но вы хоть читали о том, что они говорят, что у них за программа? Что они делают-то? Вы ничего не знаете, вы должны верить, как моя тетка говорит, "жюльнаристам"...

37

Я думаю, что партия, которая поощряет травлю "Памяти", а поощрение, конечно, исходит от ЦК, не надо тут этого замалчивать, ведь иначе бы они не нагтели так — "Неделя", "Огонек" вдруг такими храбрыми стали (кто их редактирует? чьи они органы?), — так вот, ЦК, который сеет ветер, если только загонит "Память" в подполье, — пожнет бурю, уверяю вас.

И если хотите знать мою позицию в этой буре, если она грянет, — я буду с "Памятью"! Я, беспартийный Астафьев, участвовавший в Отечественной войне и получивший три ранения, боевую медаль и орден, — буду с ней. Я буду за правду! За народ!"

Такие смелые и дерзкие выступления привлекали к Виктору Петровичу и читателей и писателей. Любое его интервью, любая речь обсуждалась, зачитывалась, распространялась. Да и было за что восхищаться им. Помню, как тогдашняя демократическая пресса встретила в штыки повесть Василия Белова "Все впереди". Проклинали ее и глумились над нею на каждом шагу. Однако Астафьев прислал в "Литературную Россию" из Красноярска статью своего ученика, студента Литинститута Валерия Щелегова с одобрением, в то время много значившим: "Посылаю статью, содержание которой полностью соответствует моему отношению к роману Василия Белова "Все впереди". Статья Щелегова заканчивалась словами: "Роман "Все впереди" встал на защиту человеческих идеалов в один ряд с "Пожаром", "Печальным детективом" и "Плахой".

Мы посылали друг другу книги, иногда переписывались, были рады редким встречам. Однажды в Москве он пришел ко мне в гости с Анатолием Заболоцким, а я, будучи в Красноярске, заехал к нему в Овсянку. Даже общие утраты, когда они случались, сближали нас.

"Дорогой Станислав!

Какая приятная неожиданность (он получил мою книгу. — Ст. К.). Спасибо. Поздравляю тебя с Новым годом. Здоровья. Работы по сердцу. Поменьше горя. Смерть Толи (Передреева. — Ст. К.) и меня потрясла. Я ж его знал! Как рано! Я заставляю себя работать. Если закончу все в намеченный срок, то во второй половине января буду в Москве с книгой, надо повидаться".

"Спасибо, Станислав, за книги, за добрые слова! К сожалению, у нас нет весны и будет ли лето? Легкие мои

38

скрипят, а Марья Семеновна едва живая, поэтому в Вологду не могли поехать, а так хотелось и дети со внуками нас так ждут. Всего тебе доброго. Держитесь все вместе, иначе задавят нас поодиночке. Обнимаю

В. Астафьев.

Май 1987 года".

** * **

Однако на рубеже девяностых с Виктором Петровичем исподволь стали происходить поначалу необъяснимые перемены.

Весной 1990 года, через несколько месяцев после своего прихода в "Наш современник" я неожиданно получил из Красноярска неприятно поразившее меня письмо.

"Дорогой Станислав!

Еще осенью узнав, что Евгений Иванович Носов, мой друг и брат, выходит из редколлегии "Нашего современника", решил выйти и я, но сам оке Евгений Иванович просил этого пока не делать, чтоб не получилось подобие демонстрации "массового

выхода". Сейчас, когда дела у журнала идут более или менее нормально, растет тираж; внимание к журналу, торчат моей фамилии в журнале ни к чему. Я перехожу в журнал, более соответствующий моему возрасту, и к редактору, с которым меня связывает давняя взаимная симпатия, — в "Новый мир "..."

В те времена короткого и предсмертного расцвета журнальной жизни, когда число наших подписчиков увеличилось с 270 тысяч почти до полумиллиона, а "Новый мир" вообще подобрался к трехмиллионному тиражу, уход из редколлегии Астафьева, одно имя которого привлекало читателей, был, конечно, ударом по "Нашему современнику". Но думаю, что дело здесь было не в Залыгине, а в том, что я ввел в редколлегию журнала нескольких близких мне людей (В. Кожина, И. Шафаревича, Ю. Кузнецова, В. Бондаренко, А. Проханова), к творчеству и направлению мыслей которых Виктор Петрович, чувствующий, что "демократы" одолевают, начал относиться с осторожностью.

Вскоре в еженедельнике "Аргументы и факты" Астафьев сказал нечто резкое и несправедливое по поводу "Нашего

39

современника": "Я все время мягко и прямо говорю "Нашему современнику": ребята, не делайте из второй половины журнала подворотню... Быть может, с этого и началось у меня охлаждение к журналу".

Но я был не согласен ни с его решением, ни с его упреками и, как мог, пытался отговорить Астафьева от разрыва с нами.

Из моего письма весной 1990 года.

"Дорогой Виктор Петрович!

... "Новый мир" фактически разрушен. По-моему, у редакции даже есть план не выпускать последние три номера за прошлый год, а сделать их под одной обложкой и в виде своеобразного дайджеста. Может быть, продолжишь сотрудничество с нами? Я ведь мотаюсь по бумажным комбинатам, пью водку с коммерческими и генеральными директорами, выступаю до хрипоты во Дворцах культуры бумажников, и только поэтому мы пока с бумагой... И вовремя выходим. Так что пообещай нам для подписки что-либо на вторую половину года, либо на начало 1991-го. Что хочешь — роман, повесть, рассказ, мемуары: нам пора анонсировать наши планы, и без Виктора Астафьева все эти анонсы и авансы будут неполноценными. Ты же знаешь, Виктор Петрович, что я тебя считаю и всегда считал самым значительным писателем со времен, как прочитал "Царь-рыбу" и "Последний поклон", я сам писал об этом, сам безо всякой дипломатии защищал твое имя после яростной кампании против тебя, развязанной Эйдельманом и прочими... Так что забудем о всяких "подворотнях" и сплотимся перед грядущими суровыми временами.

Твой Станислав".

Ответ Астафьева был неутешительным, подтверждающим мою догадку о том, что ни новое направление журнала, ни новые люди ему не по душе.

"Дело совсем не в тебе, а в том, что я тебе уже писал, пришли в журнал другие люди, незнакомые мне, да и далекие во многом... Я не бываю в журнале годами, фамилию мою держать "для тонуса" не надо... Снимите мою фамилию с того номера, который сейчас сдается в производство. Я хочу дописать роман. Только на эту работу остались еще небольшие силы, а на "борьбу" уж нет сил, да и не за что бороться-то, спохватилась п... когда ночь прошла.

Сейчас все кругом "борются", а надо бы работать.

40

Может, и пригожусь еще русской литературе. Я оке не Евтушенко, чтоб быть гвоздем в каждой бочке... "

Однако в начале 1990 года он, памятуя о своей борьбе с Эйдельманом, еще взбрыкивал и еще находил в себе силы для борьбы с демократическими демагогами. Так,

в ответ на предложение печататься в "Огоньке" он ответил Коротичу: "Я в желтой прессе брезгую печататься", а редактор "Огонька" в интервью киевской газете "Комсомольское знамя" (от 10.1.1990 г.), заявил об Астафьеве: "Больно уж он кокетничает, увлекается, игрой в правдолюбие. Он мог быть гораздо интереснее, если бы не слишком шовинистическая нотка. Недавно, например, мы получили от него письмо. "Из еврейства, — написал он, — вы скатываетесь в жидовство..."

В очередной раз мы встретились с Виктором Петровичем на VII съезде писателей России.

— Виктор Петрович! — набросился я на него с места в карьер.—В этом году журнал опубликовал обращение к народу патриарха Тихона, несколько самых ярких речей Столыпина, главы из "Народной монархии" Ивана Солоневича, две прекрасных статьи Валентина Распутина, "Шестую монархию" Игоря Шафаревича о власти желтой прессы, изумительное исследование Юрия Борода "Нужен ли православным протестантский капитализм?" А Ксения Мяло — размышления о немцах Поволжья — в защиту русских! Мы засыпаны благодарными письмами после этой статьи! Как же можно после этого говорить о том, что наша публицистика — "подворотня"?

Съезд проходил в театре Советской Армии. Он был бурным. Выборы начальства — тяжелыми и шумными. Благодаря поддержке делегатов из провинции председателем Союза писателей России был избран Бондарев. Я выступал и тоже был за него, памятуя два его ставших крылатыми изречения на партийных форумах — о сравнении перестройки с самолетом, поднявшимся в воздух, но не знающим, где ему нужно приземлиться, и об украденном демократами у народа "фонаре гласности".

При всех многих личных недостатках Юрия Васильевича — надо отдать ему должное — он раньше многих других понял, в какую пропасть мы катимся...

Астафьев же в те дни относился к Бондареву всего лишь навсего как к литературному генералу и был раздражен ходом съезда. Мы оба сидели в президиуме, и вскоре я получил от него в ответ на свои упреки злую записку:

41

"Станислав! Подворотня сзади этих статей. Жаль, что тебя не было вчера на выступлении, которое вел Викулов, ты бы воочию увидел и услышал действие этой подворотни. Я после вечера в Колонном зале хорошо подумал, прежде чем иметь с вами дело. В. Астафьев".

А в Колонном зале, как мне потом рассказали очевидцы, произошло то, что и должно было произойти. Сергей Викулов, Владимир Бушин, Анатолий Буйлов да многие другие писатели в своих речах кто как мог высмеяли, осудили, не приняли разруху, мародерство, кощунство демократической революции, к ходу которой Астафьев уже относился иначе.

Как я понял позднее, причины его развода с журналом лежали в сфере, недоступной для нашего влияния. Осенью 1990 года в Риме состоялась встреча писателей Советского Союза с писателями-диссидентами, живущими на Западе. Думаю, что эта тщательно продуманная и дорогостоящая акция была спроектирована в кабинете А. Н. Яковлева, а параллельно, может быть, и в западных спецслужбах.

Цель, которую она преследовала, была подлой: расколоть ряды патриотической интеллигенции, получить от нее одобрение на развал "империи" и, естественно же, скомпрометировать известные всему народу имена Астафьева, Залыгина, Солоухина, Крупина в глазах русских патриотов.

К сожалению, ни один из них не разгадал этот замысел, и все они попались в коварную ловушку, когда вместе с такими русофобами, как Иосиф Бродский, Анатолий Стреляный, Эрнст Неизвестный, Григорий Бакланов, Владимир Буковский, подписали позорное "Римское обращение".

В глумливой радости "обращения" по поводу того, что "заканчивается существование одной из величайших империй в истории человечества", что этот процесс "уже необратим", в наспех замаскированной лжи о том, что будущая история невозможна "без полной и окончательной ликвидации тоталитарной системы и без высвобождения

возможностей национально-исторического творчества народов теперешнего СССР", в провокаторских предложениях о том, что "основой решения национального вопроса в СССР, как и во всем мире, является реальное право на самоопределение путем референдума," уже просматривалась программа августовского переворота, лживых референдумов о суверенитете, беловежское расчленение державы. Я должен быть справедлив и потому свидетельствую, что точнее всех нас смысл зловещего римского фарса разгадала Татьяна Михайловна Глушкова. Ее

42

выступление на VII съезде писателей России, уязвившее Астафьева и Крупина, было блистательным.

Вот центральный отрывок из ее речи:

"Не могу умолчать: меня глубоко покорило так называемое "Римское обращение", которое странным образом среди совершенно ничтожных личностей (вроде Е. Аверина, редактора "Книжного обозрения" и бывшего помощника Гришина) подписали четыре известных русских писателя: В. Астафьев, С. Залыгин, В. Крупин, В. Солоухин. И дело не только в том, что они почему-то взялись под русским небом, при шумном ликовании "всеевропейской" и заокеанской прессы решать проблемы "гражданской войны" или "гражданского мира" в нашей стране, решать "национальные вопросы в СССР". Дело в том, прежде всего, что написали (или подписали) они вкупе и братском содружестве с эмигрантами "третьей волны", ибо "Римское обращение" демонстрирует такое отношение к нашей стране, которое до сих пор было свойственно только ее врагам, только клеветникам и злопыхателям России. "...Заканчивается существование одной из величайших империй в истории человечества", — пишут наши российские "римляне".

Видно, нетвердо помнят они эту самую "историю человечества". Ибо как можно назвать нашу страну и м п е р и е й? Разве нашим писателям неизвестно, что империя непременно предполагает ГОСПОДСТВО определенной нации, одной из наций, объединенных в империи?

Чье оке имперское господство они подразумевают? Конечно же, русское! ТАК и только ТАК понимается это на Западе, да и среди здешних сепаратистов.

Я вынуждена напомнить этим русским патриотам, что честно и грамотно мыслившие люди даже относительно царской России не выражались столь спекулятивно. "Россия — не просто государство, но целый особый мир, особый государственный и культурный мир, а вовсе не попросту "величайшая из империй в истории человечества", — писали и разъясняли национально-государственный феномен нашей страны и Ф. Тютчев, и Н. Данилевский, и К. Леонтьев, и Ф. Достоевский.

И да будет стыдно тем, кто клеветает на русский народ, намекая с прозрачностью на имперское господство русских над другими нациями в СССР!

Я не удивлюсь, если кто-нибудь из этих "тихих" подпевал крушения "русской империи" будет вскоре выдвинут на какую-нибудь Нобелевскую премию. И уж во всяком случае станет

43

желанным гостем в любой "прогрессивной" стране Запада, враждебной нам, нашей суверенности".

Вот что вывело из себя Астафьева на съезде, вот что он имел в виду, когда писал мне в записке ("Я после вечеров в Колонном зале и вчерашнего"), вот что он имел в виду, когда со злобой выдавил из себя: "подворотня"! Словом, чуяла кошка, чье мясо съела...

Хотя к концу 1990 года он еще не превратился в того приближенного к власти корыстного старика, который предстал перед нами через два-три года. В беседе, опубликованной сразу же после римской встречи, он высказывался осторожно, поскольку, видимо, еще не решил, на чью сторону ему окончательно перейти. Коммунисты еще не были побеждены, до августа 1991 года оставалось восемь месяцев, и Астафьев не торопился. Он одновременно был как бы и за расчленение "империи", и за ее сохранение:

"Что касается меня лично, хоть как называй — шовинист, альтруист, я за то,

чтобы дать России пожить самостоятельно "; и тут же: "Друг без друга, без железнодорожных, водных, воздушных, родственных, наконец, связей мы не научены жить и просто не сумеем ".

Роман "Прокляты и убиты" еще не был написан, телевидение еще было под государственным контролем, и Виктор Петрович еще по-советски осуждал всяческую вседозволенность: *"Очень много матерщинников появилось открытых. Считается тоже новаторством. Очень много скабрёзников "*.

Я не поверил в те дни версии, будто бы в Риме Астафьев был куплен обещанием Нобелевской премии. Но дальнейшее развитие событий все убедительнее подтверждало догадку Глушковой.

На том же съезде, после какого-то очередного резкого обсуждения во время перекура я получил от него еще одну многозначительную записку:

"Станислав! Я очень тебе советую внимательно перечитать все свои выступления последних лет и немного подумать над тем, кто ты есть? Виктор Астафьев".

Мои выступления последних лет были о помоечной массовой культуре, о Высоцком, о судьбах крестьянских поэтов, о еврейско-чекистском терроре первых лет революции, о клеветнических выпадах демократической прессы против русских писателей, о диссидентстве и русофобии. Естественно, полагая, что такого рода взгляды близки ему, я в перерыве подошел к Астафьеву и начал разговор о его переписке с Эйдельманом. Он резко оборвал меня:

44

— А сейчас, Станислав, я такие письма, может быть, уже не стал бы писать!

Я замолчал и отошел от него...

Однако сор из избы выносить не хотелось, жалко было прежних своих чувств и слов, и на литературных встречах 91-го и даже 92-го года, когда мы еще собирали сотни и даже тысячи человек в залах Москвы, Ленинграда, Новосибирска, читателям, спрашивавшим о том, что за черная кошка пробежала между Астафьевым и журналом, я отвечал уклончиво, не веря до конца в то, что его в Риме "купили".

Вот что писала по этому поводу демократическая газета "Литератор", издававшаяся в Ленинграде, где мы выступили в декабре 1991 года.

"На вопрос, почему из редколлегии "НС" вышел Астафьев, ответил Станислав Куняев. По его версии, "Виктор Петрович человек очень капризный и гордыни у него не меньше, чем у Льва Николаевича Толстого, который в свое время громил и церковь, и государство и даже заслужил то, что Ленин написал о нем статью как о "зеркале русской революции ". Желание Астафьева стать превыше всего можно назвать синдромом Льва Толстого". "Не надо так пошло!" — выкрикнул кто-то из зала. На что Куняев, не моргнув глазом, тут же признался в любви к писателю Астафьеву, заявив, что лучше него никто не пишет ".

Мои друзья по-разному разгадывали загадку Астафьева. Что случилось? Почему? Но на такие мои вопросы Василий Белов отворачивался, скрипел зубами, досадливо махал рукой.. Валентин Курбатов размышлял о сложности и противоречивости писательского таланта. Кто-то из друзей бормотал: "Да нет, это все случайное, наносное, он еще опомнится, вернется к нам". И лишь помор Личутин, сверля собеседника маленькими глазками-буравчиками, был неизменно беспощаден:

—Я ему, когда еще только прочитал "Царь-рыбу", однажды прямо сказал: "Виктор Петрович, а за что Вы так не любите русский народ?"

Валентин Распутин, для которого разрыв с Астафьевым был, наверное, куда мучительнее, чем для Личутина, однажды с трудом, как бы нехотя, высказал такую мысль:

— Он же детдомовец, шпана, а в ихней среде жестокости много. Они слабого, как правило, добивают. Вот советская власть ослабела, и Астафьев, как бы обидевшийся на нее за то, что она его оставила, бросился добивать ее по законам детдомовской стаи...

45

Обида отпрыска из раскулаченной семьи? Психология детдомовского люмпена?

Соблазн Нобелевской премии? Застарелый комплекс неполноценности? ("Как человек долго унижаемый я был всегда в себе не уверен и писателем себя почувствовал, пожалуй, только на Высших литературных курсах, в 1961 г." — из интервью 1999 г.) А может быть, все обстоит куда проще и куда банальнее?

При советской власти, увенчанный всеми мыслимыми орденами и премиями, трех- и четырехтомниками, баснословными гонорарами и обкомовскими квартирами, "кавалер Гертруды" Виктор Петрович с удовлетворением держался за неё родимую... и не то чтобы покушался на её основы — но и нас молодых одёргивал, чтобы излишне не вольнодумствовали. Да и, честно говоря, сам эту власть и уважал и побаивался.

Помню, как в середине 80-х годов в Иркутске проходили литературные вечера "Нашего современника", тогда еще возглавляемого Сергеем Васильевичем Викуловым. В Большом зале Дома политпросвещения, переполненном народом, выступали Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Алесь Адамович... Мы все сидели на сцене.

—Что будешь читать? — спросил Астафьев, повернувшись ко мне.

— Начну с "Коней НКВД", — сказал я.

— Ты что?! Я тебе не советую. Смотри, в первом ряду сколько начальства сидит, вон с краю двое из местной Лубянки...

Но, как только советская власть закачалась, Виктор Петрович закручинился: на кого в случае её крушения надеяться, от кого получать ордена, премии и прочие льготы, к которым он так привык. И первую ставку Астафьев сделал на новую возникающую силу русских националистов. Отсюда и отчаянная храбрость в переписке с Эйдельманом, и перепалка с грузинами и, наконец, прямая поддержка "Памяти", растущей тогда, как на дрожжах.

Но вскоре стало ясно писателю, что не на ту лошадку поставил, что никогда русским националистам не властвовать в России, и пришлось Виктору Петровичу давать задний ход и начиная с 1989 года постепенно разыгрывать еврейско-демократическую карту. Уж эти-то его поддержку оценят, они особенно щедро награждают бывших врагов — перебежчиков и ренегатов. Эту историческую истину Астафьев понял вовремя, хотя и несколько позже, нежели Василь Быков, Юрий Черниченко или какой-нибудь Анатолий Приставкин. И не просчитался.

46

Перед самым августовским переворотом в июле девяносто первого в "Советской России" было опубликовано обращение, вошедшее в историю под названием "Слово к народу". Виктор Астафьев немедля дал интервью телевизионной программе "Вести", с яростью обрушившись на обращение и его авторов, несмотря на то, что среди людей, подписавших "разоблачаемое" им обращение, числились два писателя, которые, как он сам сказал, "были моими товарищами". Астафьев в своем интервью впал в настоящее неистовство: "Лицемерие, которое в общем-то свет не видел... обращаются с грязными руками... они, вчерашние коммунисты, разоряли, унижали, расстреливали... старая коммунистическая демагогия... не верьте ни единому слову... это голый обман. Коммунисты, компартия наша на ладан дышит... Попытка защитить тонущий корабль"; "наглость от имени народа говорить. От имени народа может говорить избранный народом президент. Это "Слово" рассчитано на темную силу, которая есть в любом государстве"; "я не хочу сейчас давать оценку поступку Бондарева и Распутина, пусть это останется на их совести".

Он даже не подумал о том, что лишь меньшая часть деятелей культуры, подписавших "Слово к народу", — коммунисты, что Распутин и Проханов в компартии никогда не состояли.

Забавно было и то, что "Комсомолка", перепечатывая телеинтервью Виктора Астафьева, выбросила из его текста одну фразу, в которой он называл "черносотенцами" тех, против кого он выступал. Ну как тут было не вспомнить Эйдельмана и его отца, который был исключен из гимназии за пощечину "учителю-черносотенцу"! О ирония судьбы! Выступив против "Слова к народу", Виктор Петрович Астафьев как бы

побратался со своим недавним врагом... Ну кто бы мог предвидеть такое оборотничество?

Ребята из "Комсомолки", видимо, сообразив, что Астафьев, заклеив "черносотенство", ставит себя в ложное положение, убрали эту фразу из газетного текста, но слова о том, что Валентин Распутин "ставит подписи под самыми черными документами", остались.

— А что особенного? — пожал плечами один из известных писателей. — В русской истории такое предательство дело не редкое. Разве казаки не были заодно с польской шляхтой в 1612 году? А разве русские бояре не присягали на верность королю Владиславу и Лжедмитрию? А вспомним Власова... Все хотят быть с победителями!

В своем первом после "августовского переворота" интер-

47

вью Виктор Астафьев, возвратившийся в те дни из Шотландии, заявил на всю страну: "Я не сомневался, что при другом исходе (если бы победило ГКЧП. — Ст. К.) меня бы взяли уже в Шереметьево".

Вот так вот, ни больше, ни меньше...

А дальше все уже покатило словно бы под горку. От выступления к выступлению слова и мысли Астафьева становились все более жесткими, он с каким-то сладострастием пинал побежденных, не щадил и бывших друзей по "деревенской литературе". Его именем, как тараном, как в свое время именем Солженицына, демократическая пресса разрушала устои прежней жизни. Рвение его хорошо поощрялось новой властью, даже более щедро, нежели властью советской. То и дело он возникал на телевидении, откуда совершенно исчезли Распутин, Белов, Бондарев, Михаил Алексеев, Петр Проскурин. Все чаще и чаще его фамилия мелькала в числе лауреатов, получивших государственные и президентские премии, и всевозможные "триумфы", и "букеры", и "антибукеры", и "тэффи", и ордена нового режима.

Весна 1993 года. Широкошумный референдум "да-да-нет-да", кое-как выиграв который Ельцин принял окончательное решение о разгоне Верховного Совета. Именно тогда, во время референдума, кремлевская власть поняла, что надо опираться на популярных людей, чьи слова действуют на сердца и умы. Ну как же тут было Ельцину обойтись без Астафьева! И Астафьев, давно "уставший от борьбы," нашел силы для нескольких энергичных заявлений, стал, как Евтушенко, "гвоздем в каждой бочке".

"Ничего другого не остается, как идти и голосовать за президента Ельцина — в нем пока единственная надежда на мир в России".

"Есть люди, в первую голову воспрянувшие коммунисты, готовые на любую кровь, на любые жертвы, лишь бы вернуть себе власть".

"Почему оке не судят разнузданных воинствующих молодчиков — Зюганова, Проханова, ущербного умом депутата Михаила Астафьева, да и Эдичку Лимонова тоже".

Судебных процессов в преддверии референдума хотелось Виктору Петровичу. Задолго до "Письма 43-х" кроважидных своих коллег — творческих интеллигентов, он упрекал президента в мягкотелости, в нерешительности, по-отечески журил его, называя "мямлей", и запугивал читателей "Литературной газеты" картиной будущего коммунистического мятежа: *"Если президент и его правительство будут и дальше*

48

действовать уговорами, увещеваниями, анкетами, восторжествует самая оголтелая, самая темная сила. И заговорит она пулеметами, танками, колючей проволокой".

В октябре 1993 года пророчества Астафьева наконец-то сбылись. "Темная сила" действительно восторжествовала. Но колючая проволока — "спираль Бруно", — была растянута в центре столицы по приказу Ерина, а не Проханова, танки и бронетранспортеры расстреливали сотни русских людей по воле Ельцина и его опричников, а не по воле Зюганова и Лимонова. Убитые похоронены неизвестно где, как в сталинские времена, а некогда любимый мною писатель Виктор Петрович Астафьев угодничеством перед кровавой властью опозорил свои седины в канун своего

семидесятилетия... Двойной позор и двойное поражение России.

Ярость настолько помрачила разум Виктора Петровича, что он в упор не видел, как разворовывают Россию Березовский, Гусинский, Чубайс и прочие приватизаторы, как сотни миллиардов долларов уплывают из России, но зато с пеной у рта приводил фантастические цифры из бульварной пропагандистской брошюры "Золото партии" — сколько золотых рублей якобы украли в свое время у народа Ленин, Дзержинский и даже Андрей Жданов.

"Товарищ Жданов толкнул за рубеж 400 тысяч фунтов стерлингов..." И это при Сталине, который не разрешил однажды Кирову лететь из Крыма в Москву на самолете (только на поезде!), дабы не тратить лишних народных денег!

Через несколько месяцев, когда сатанинский план ельцинского режима закончился кровопролитием 3—4 октября, когда Василий Белов и я, находясь где-то рядом с ним, укрывались от пуль спецназа в Останкино, когда на другой день танковые пушки наемников, которым Гайдар заплатил фантастические гонорары за расстрел парламента, послали первые снаряды в окна Верховного Совета, наш детдомовец по телефону (!) из Красноярска передал в "Литгазету" проклятия несчетным жертвам октябрьской бойни.

Его истерические крики можно было сравнить в те дни только с садистской радостью какой-нибудь Новодворской:

"Большевицкие стервятники все же пустили еще раз кровь русскому народу".

"Созреть для кровавых дел им помогли разъезжавшие по стране вожди и моралисты Аксютин, Анпилов, Стерлигов, Андреева, человек с ликом и хватками Чичикова по фамилии Зюганов".

...Ельцин победил, премии и награды еще гуще посыпались

49

на седую голову Виктора Петровича, и, конечно же, когда начались роковые и грязные выборы 1996 года, пришлось ему их отрабатывать. "Гарант Конституции" уже не мог обойтись без Астафьева, окончательно влившегося в команду "имиджмейкеров" — в компанию к Пугачевой, Хазанову, Зиновию Гердту, Марку Захарову и прочим, протянувшим свои лапки к чубайсовской коробке из-под ксерокса.

Дело с выборами пахло керосином, и всенародно избранный, чувствуя шаткость своего положения, прилетел аж в Овсянку на Енисей. Узнав, что к нему едет президент, Виктор Петрович от возбуждения наговорил много лишнего о русском народе, пристыдил его, желая доказать, что недостойн этот народ такого внимательного к нуждам людей президента:

"Привыкший кланяться бригадиру или мастеру в цехе, чтобы наряд "лучше закрыл", лебезя перед теми, от кого зависит прибавка к зарплате, очередность на квартиру и в детский садик, добавка к пайке, продление отпуска на неделю, прирезка огорода на сотки, он, этот... трудяга, получил, наконец-то, возможность ораторствовать, материть власти, обличать "режим", да и просто пошуметь прилюдно".

"Разгула вольности, дармового хлеба хочется".

"В радость себе живут те люди, которые не боятся труда, надеются на свои руки, на свою голову, обрабатывают участки земли и приучают детей вместе с ними работать..."

"Работать, работать! Все блага в мире и богатства в богатых государствах созданы вечным неустанным трудом. Они там и пишут: "мы сделаем", "мы вырастим", "мы построим". А у нас бездельники: "нам дайте", "нам сделайте", "нам постройте".

И это о народе, который в муках построил все, что приватизировано пятью процентами нынешних хозяев жизни, ставшими баснословно богатыми за какие-нибудь 2—3 года! Вот и сказали бы им, Виктор Петрович, что надо работать, а не воровать.

Писатель требовал от трижды во время "реформ" обобранного до нитки народа, чтобы он заново наработывал национальное богатство, свои сбережения, нормальные пенсии. И это в то время, когда миллионы безработных, то есть не имеющих возможности найти работу, уже погружались в безнадежное отчаяние. Поистине ни стыда, ни совести. И как

тут не вспомнить слова Владимира Личутина: "Виктор Петрович, за что Вы так не любите русский народ?"

В той же "Литературке" обалдевший от визита президента

50

писатель сочинил целую сказку рождественскую, как Ельцин в Овсянке "подарил ребятам компьютерный класс, дал наставление хорошо учиться", как обещал пенсионерам, инвалидам и вдовам "бесплатный проезд на пригородном транспорте", как Ельцин сетовал, "что человеку с чисто русской речью и народной музыке почти нет места на экране", как "когда мы садили возле библиотеки рябинку, запел "Ой рябина кудрявая..." И народ наш деревенский, голосистый подпевал ему..."

Вот такая "мыльная опера" вышла летом 1996 года из-под пера автора "Царь-рыбы".

Но за это наш неудавшийся нобелевский лауреат получил от президента аж целых два миллиарда рублей на издание 15-томного (!) собрания своих сочинений.

У Алексея Толстого было десять томов. У Леонида Леонова восемь, у Шолохова — шесть, у крупнейших функционеров советской эпохи — Маркова, Чаковского, Симонова—меньше десяти... Матерый человечище все-таки наш Виктор Петрович!

Всю свою переписку, все интервью, все чуть ли не черновики мобилизовал, но пятнадцать томов все-таки наскреб. Рекорд поставил. Правда, недавно пожаловался, что финансирование то ли задержалось, то ли прекратилось на 11-м или 12-м томе. Ну что делать, если положение в стране такое, что у президента даже на своих клеветов средств не хватает!

Но больше всего, я помню, меня потрясло то, что писатель в очередной раз требовал от народа, чтобы тот только работал и не смел "бегать по митингам". *"Оставьте это занятие политикам — они для того и существуют, чтобы за нас говорить, таким вот образом высвобождая нас и наше время для полезного труда"*.

"Работай, быдло, не смей думать, не лезь в политику, не смей протестовать, когда тебя берут за горло" — вот ведь что, в сущности, проповедовал слуга режима, даже не понимая того, что он говорит. Словно бы русские люди — это негры из Южной Африки во времена государства белых, или колумбийские крестьяне, или несчастные курды, не имеющие своего отечества.

После очередной победы Ельцина общество все-таки за последние два-три года как-то протрезвело, люди поняли, что наломали дров по глупости своей да по доверчивости, на глазах умнеть начали.

Но с Виктором Петровичем происходит нечто обратное. То ли от предчувствия греха лжи, в который он впал, то ли это возрастное, но читаешь все, что он говорит в последние год-

51

полтора, и другого слова, кроме как "деградация," на ум не приходит.

"Великая Отечественная война не была обусловлена какой-то исторической неизбежностью. Это была схватка двух страшных авантюристов Гитлера и Сталина, которые настроили свои народы соответствующим образом... Ведь человечество, напуганное первой мировой войной, и не собиралось воевать".

(В. П. в своем маразме даже забыл, что вторая мировая началась задолго до 22 июня 1941 года, человечество начало воевать несколькими годами раньше.)

"Я думаю, что все наши сегодняшние беды — это последствия войны. Тов. Сталин и его подручные бросили нас в этот котел... Конечно, Сталин — это никакой не полководец! Это ничтожнейший человек".

"Если бы немцы не напали на нас, то через год-полтора мы бы напали на них и, кстати говоря, тоже получили бы в рыло". "Мы сразу ввязались в "холодную войну" и света не видели". Ну да, это Сталин в Москве, а не Черчилль в Фултоне объявил о начале "холодной войны"... Вся эта паранойя — историческая и психологическая — была опубликована в майском номере "Аргументов и фактов" за 1998 год, приуроченном к очередному Дню Победы, как будто, сидя в Овсянке, читает Виктор Петрович только

бывшего "грушника" — перебежчика Резуна-Суворова да начальника ПУРа Волкоконова и даже не подозревает о том, что "дранг нах Остен" начался еще на Чудском озере.

А то с каким-то старческим слабоумием вдруг начнет восхищаться тем, что жизнь стала лучше, потому что люди, которых он видит на кладбище на Радуницу, одеты в кожаные куртки и, поминая близких, пьют хорошие напитки, вместо всяческой дряни, какую пили в советские времена. Но жизнь жестоко шутит с нами. Я подумал об этом, когда 6 июня 1999 года красноярский губернатор Лебедь, выступая по телевидению и сетуя на разгул преступности в крае, вдруг сказал, что дело дошло до того, что на Красноярском кладбище с могилы, где похоронена дочь Астафьева, воры сняли какие-то украшения из цветного металла.

И ведь не вспомнит несчастный писатель о том, что десятки тысяч людей умирают от поддельной водки и что нередко в кожаной куртке можно увидеть бомжа, копающегося в помойке. Понимание жизни на уровне президентского, если вспомнить, что президент в доказательство того, что жизнь стала лучше, однажды привел тот факт, что на каждом углу можно купить

52

"как его? — "Киви"!.." Словом, с кем поведешься, от того и наберешься.

В самое последнее время, что ни скажет Виктор Петрович из Овсянки, все нелепость какая-то получается. То придумает, что немцы шли к нам с добром, поскольку на бляхах солдатских ремней у них были выгравированы слова "Готт мит унс" — "с нами Бог", то вдруг взбредет ему в голову, что Володя Бондаренко "видите ли борец! А за что борец-то? За русский народ?! Ни больше ни меньше, являясь при этом ярко выраженным украинским националистом".

А ведь была когда-то за душой Богонида, где дышала трудная жизнь, где зачинали и рожали детей, ели из одного котла дымящуюся артельную уху... Небось там сейчас сплошная червоточина, провалившиеся кровли, вырванные окна, забытые могилы.

Недавно в редакцию журнала пришло письмо от читателя, в прошлом детдомовца, у которого во время голодовок 1921—1933 года умерло семеро старших братьев и сестер, были сосланы как кулаки в ссылку братья матери с семьями. Письмо, обращенное к Астафьеву, заканчивалось так:

"Сейчас наша Родина стала колонией сионистов и США. И в этом есть и доля Вашей вины. Вы перешли на сторону потомков тех, кто приказал раскулачить Вашу семью и миллионы других русских семей. Значит, Вы предали свою семью, свое прошлое. Я же, ненавидя сионистов-большевиков и их потомков сионистов-демократов, состою в русской КПРФ. вместе с русскими патриотами А. М. Макашовым и В. И. Илюхиным".

Вот ответ Виктору Астафьеву от нынешнего русского человека. Прочитаешь такое и поневоле вспомнишь любимого астафьевского писателя Гоголя: "И пропал казак", или "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?". Впрочем, помогли. Орден к семидесятилетию дали. А потом и еще один — к семидесятипятилетию. С благодарностью принял...

P. S. Когда эта глава уже была набрана, мне в руки попала книга: "Виктор Петрович Астафьев. Жизнь и творчество. Библиографический указатель". Издана к его 75-летию Российской Государственной библиотекой. В содержании — книги юбиляра, изданные на русском и других языках, собрания сочинений, все публикации в периодической печати и даже в коллективных сборниках, книги для детей, статьи о литературе, перечень всех наград и премий, список интервью и бесед с ним, переписка с писателями и читателями, вручение

53

астафьевских премий, статьи и рецензии о его творчестве, Астафьев на TV, в театре, в кино, в изобразительном искусстве, на почтовых открытках, рассказы и стихи, посвященные Астафьеву... Всего не перечислить! Одних только авторов, так или иначе соприкоснувшихся с юбиляром, в именном алфавитном указателе около полутора тысяч! Но есть маленькая неувязка: нет среди них одного — Натана Эйдельмана. Не было у них никакой переписки. Не знакома эта фамилия Виктору Петровичу. Вот так поправили угол

зрения нашему "зрячему посоху". Но ведь "что написано пером", подумал я и решил-таки в виде приложения опубликовать нижеследующие несколько страниц. Тем более, что в Советском Союзе они печатались лишь однажды — в рижском журнале "Даугава" в 1990 году, и новое поколение читателей уже не знает легендарного апокрифа 80-х, да и из старого не все читали переписку, ходившую по рукам.

*Н. Эйдельман — В. Астафьеву
Уважаемый Виктор Петрович!*

Прочитав все или почти все Ваши труды, хотел бы высказаться, но прежде представляюсь.

Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор (член СП), 1930 года рождения, еврей, москвич; отец в 1910-м исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу, затем журналист (писал о театре), участник 1-ой и Отечественной войн, в 1950—55 сидел в лагере; мать — учительница, сам автор письма окончил МГУ, работал много лет в музее, школе; специалист по русской истории XVIII— XIX веков (Павел I, Пушкин, декабристы, Герцен).

Ряд пунктов приведенной "анкеты" Вам, мягко говоря, не близок, да ведь читателей не выбирают.

Теперь же позволю себе высказать несколько суждений о писателе Астафьеве.

Ему, думаю, принадлежат лучшие за многие десятилетия описания природы ("Царь-рыба"); в "Правде" он сказал о войне, как никто не говорил. Главное же — писатель честен, не циничен, печален, его боль за Россию — настоящая и сильная; картины гибели, распада, бездуховности — самые беспощадные.

Не скрывает Астафьев и наиболее ненавистных, тех, кого прямо или косвенно считает виноватыми...

Это интеллигенты-дармоеды, "туристы", те, кто орут "по-басурмански", москвичи, восклицающие "вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене", наконец, — инородцы.

54

На это скажут, что Астафьев отнюдь не ласкает и своих, русских крестьян, городских обывателей.

Так, да не так!

Как доходит дело до "корня зла", обязательно все же появляется зловецкий гражданин Гога Герцев (имя и фамилия более чем сомнительны: похоже на Герцен, Гога после подвергается осмеянию в связи с Грузией). Страшна жизнь и душа героев "Царь-рыбы", но уж Гога куда хуже всех пьяниц и убийц вместе взятых, ибо от него вся беда...

Или по-другому: голод, распад, беда, а тут: "было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барственности? Или на курсах он был один, а в Грузии другой, похожий на того всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами, жадный, безграмотный, из тех, кого в России уничтожительно зовут "копеечная душа", везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немых рук залоснившись, везде он швыряет деньги, но дома усчитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восемь лет отроду, втиснутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек" (рассказ "Ловля пещарей в Грузии", журнал "Наши современники", 1986, № 5, стр. 125).

Слова, мною подчеркнутые, несут большую нагрузку: всем надоели кавказские торгаши, "копеечные души", то есть, иначе говоря, у всех у нас этого нет — только у них: за счет бедных ("доверчивых"! северян жиреет отвратительный Гогия (почему Гогия, а не Гоги?).

Сила ненавидящего слова так велика, что у читателей не должно возникнуть сомнений: именно эти немногие грузины (хорошо известно, что торгует меньше 1% народа) — в них особое зло и, пожалуй, если б не они, то доверчивый северный народ ел много отнюдь не подгнивших фруктов и не испытывал недостатка в прекрасных цветах.

"Но ведь тут много правды, — воскликнет иной простак, — есть на свете такие Гоги, и Астафьев не против грузинского народа, что хорошо видно из всего рассказа о пескарях в Грузии",

55

Разумеется не против; но вдруг забыл (такому мастеру непростительно), что крупница правды, использованная для ложной цели, в ложном контексте — это уже кривда, и, может быть, худшая.

В наш век, при наших обстоятельствах, только сами грузины и могут о себе так писать или еще жестче (да, кстати, и пишут — их литература, их театр, искусство, кино не хуже российского); подобное же лирическое отступление, написанное русским пером, — та самая ложка дегтя, которую не уравновесят целые бочки русско-грузинского застольного меда.

Пушкин сказал: "Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, и если иностранец разделит со мной это чувство"; стоит задуматься, — кто же презирает, кто же иностранец?

Однако продолжим. Почему-то многие толкуют о "грузинских обидах" по поводу цитированного рассказа; а ведь в нем же находится одна из самых дурных, безнравственных страниц нашей словесности: "По дикому своему обычаю, монголы в православных церквях устраивали конюшни. И этот дивный и суровый храм (Гелати) они тоже решили осквернить, загнали в него мохнатых коней, развели костры и стали жрать недожаренную кровавую конину, обдирая лошадей здесь же в храме, и пьяные от кровавого разгула, они и посваливались раскосыми мордами в вонючее конское дерьмо, еще не зная, что свидетели на земле для вечности строят и храмы вечные" (там же, с. 133).

Что тут скажешь?

Удивляюсь молчанию казахов, бурятов. И, кстати бы, вспомнить тут других монголоидов — калмыков, крымских татар — как их в 1944 году из родных домов, степей, гор, "раскосыми мордами в дерьмо"...

Чего тут рассуждать? — Расистские строки. Сказать по правде, такой текст, вставленный в рассказ о благородной красоте христианского храма Гелати, выглядит не меньшим кощунством, чем описанные в нем надругательства.

170 лет назад монархист, горячий патриот-государственник Николай Михайлович Карамзин, совершенно не думавший о чувствах монголов и других "инородцев", иначе описывал Батыево нашествие; перечислив ужасы завоевания (растоптанные конями дети, изнасилованные девушки, свободные люди рабами у варваров, "живые завидуют спокойствию мертвых"), — ярко обрисовав все это, историк-писатель, мы угадываем, задумался о том, что в сущности

56

нет дурных народов, а есть трагические обстоятельства, — и прибавил удивительно честную фразу: "Россия испытала все бедствия, претерпленные Римской империей..., когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собой только в силе". Карамзин, горюющий о страшном несчастье, постигшем его Родину, даже тут опасается изменить своему обычному широкому взгляду на вещи, высокой объективности: весь ужас татарского бедствия сравнивает он с набегами на Рим "северных варваров", среди которых важнейшую роль играли древние славяне, прямые предки тех, кого громит и грабит Батый.

Мало этого примера, вот еще один! Вы, Виктор Петрович, конечно, помните строки из "Хаджи Мурата", где описывается городская деревня, разрушенная русской армией:

"Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так, что воды нельзя было брать из него. Также была загажена мечеть... Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми, и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".

Сильно писал Лев Николаевич Толстой. Ну, а если бы вообразить эти строки, написанные горцем, грузином, "иностранцем"?

С грустью приходится констатировать, что в наши дни меняется понятие народного писателя: в прошлом — это прежде всего выразитель высоких идей, стремлений, ведущий народ за собой; ныне это может быть и глашатай народной злобы, предрассудков, не поднимающий людей, а спускающийся вместе с ними.

На этом фоне уже не пустяк фраза повести "Печальный детектив", что герой в пединституте изучает лермонтовские переводы с немецкого вместе с "десятком еврейчат". Любопытно было бы только понять, — к чему они в рассказе, если ни до, ни после больше не появляются? К тому же может быть, что вот-де в городе развивается страшный, печальный детектив, а десяток инородцев (отчего десяток: видимо, все в пединституте сконцентрировались? Как видно, конкурс для них особенно благоприятен?) — эти люди заняты

57

своей ненужной деятельностью? Или тут обычная астафьевская злая ирония литературоведения: вот-де "еврейчата" доказывают, что Лермонтов портил немецкую словесность, ну а сами-то хороши?..

Итак, интеллигенты, москвичи, туристы, толстые Гоги, Гоги Герцевы, косомордые, еврейчата, наконец дамы и господа из литфондовских домов: на них обрушивается ливень злобы, презрения и отрицания. Как ни на кого другого: они хуже всех...

А если всерьез, то Вам, Виктор Петрович, замечу, как читатель, как специалист по русской истории: Вы (да и не Вы один!) нарушаете, вернее — очень сильно хотите нарушить, да не всегда удается — собственный дар мешает нарушить — главный закон российской мысли и российской словесности. Закон, завоеванный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего для всех сторонних объяснений **винить себя**, брать на себя; помнить, что нельзя освободить народ внешне больше, чем он свободен изнутри (любимое Львом Толстым изречение Герцена). Что касается всех личных, общественных, народных несчастий, то чем сильнее и страшнее они, тем в большей степени их первоисточники находятся изнутри, а не снаружи. Только подобный нравственный подход ведет к истинному, высокому мастерству. Иной взгляд — самоубийство для художника, ибо обрекает его на злое бесплодие.

Простите за резкие слова, но Вы сами, своими сочинениями, учите подходить без прикрас...

С уважением

Н. Эйдельман 24 августа 1986 г.

В. П. Астафьев — Н. Я. Эйдельману

"Не напоивши, не накормивши, добра не сделавши — врага не наживешь" —

русская пословица.

Натан Яковлевич!

Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо.

Кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа, но говорить и писать одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге, совсем другое дело.

58

У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги. Возрождаясь, мы можем прийти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не навязанном "эсперанто", тонко названном "литературным языком". В своих шовинистических устремлениях мы можем прийти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже "приберем" к рукам, и, о, ужас! О, кошмар! Сами прокомментируем "дневники" Достоевского.

Нынче летом умерла под Загорском тетушка моей жены, бывшая нам вместо матери, и перед смертью сказала мне, услышав о комедии, разыгранной грузинами на съезде: "Не отвечай на зло злом, оно и не прибавится"...

Последую ее совету и на Ваше черное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшее гноем еврейского, высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже "трунения"), не отвечу злом, хотя мог бы, кстати, привести цитаты и в первую очередь из Стасова, насчет клопа, укуса которого не смертелен, но...

Лучше я разрешу Ваше недоумение и недоумение московских евреев по поводу слова "еврейчата", откуда, мол, оно взялось, мы его слыхом не слыхивали?! "...этот Куликовский был из числа тех поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил себе в собственность, между ними было и несколько жиденят..." (Эйдельман, "История и современность в художественном сознании поэта", с. 339).

На этом я и кончу, пожалуй, хотя цитировать мог бы многое. Полагаю, что память у меня не хуже Вашей, а вот глаз, зрячий, один, оттого и пишу на клетчатой бумаге, по возможности, кратко.

Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите? Какой груз зла и ненависти клубится в Вашем чреве? Хорошо хоть фамилией своей подписываетесь, а не продаете своего отца. А то вон не менее, чем Вы, злой, но совершенно ссученный атеист — Иосиф Аронович Кривелев и фамилию украл, и ворованной моралью-падалью питается. Жрет со стола лжи и глазки невинно закатывает, считая всех вокруг людьми беспечными и лживыми.

Пожелаю и Вам того же, что пожелала дочь нашего последнего царя, стихи которой были вложены в "Евангелие" —

59

"Господь, прости нашим врагам, Господь! прими их в объятия!". И она, и сестры ее, и братец, обезноживший окончательно в ссылке, и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый, махровый сионист Юрковский.

Так что Вам в минуты утишения души стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юрковского и иже с ним, маялись по велению "Высшего судии", а не по развязности одного Ежова.

Как видите, мы, русские, еще не потеряли памяти и мы все еще народ большой и нас все еще мало убить, но надо и повалить...

За сим кланяюсь. И просвети Вашу душу все милостивейший Бог!

14 сентября 1986 г. с. Овсянка

За почерк прощения не прошу — война виновата.

Н. Эйдельман — В. Астафьеву

Виктор Петрович, желая оскорбить — удручили. В диких снах не мог вообразить в одном из "властителей дум" столь примитивного, животного шовинизма, столь элементарного невежества. Дело не в том, что расстрелом царской фамилии (давно установлено, что большая часть исполнителей были екатеринбургские рабочие) руководил не "сионист Юрковский", а "большевик Юровский" (сионисты преследовали, как Вам очевидно неизвестно, совсем иные цели — создание отдельного еврейского

государства в Палестине); дело не в том, что ничтожный Кривелев носит, представьте, собственную фамилию (как и множество столь же несимпатичных "воинствующих безбожников" разных национальностей); дело даже не в логике "Майн Кампф" о наследственном национальном грехе (хотя, если мой отец сидел за грех "Юровского", тогда Ваши личные беды, выходит, — плата за раздел Польши, уничтожение инородцев, еврейские погромы и прочее). Наконец, дело не в том, что Вы оказались неспособным прочесть мое письмо, ибо не ответили ни на одну его строку (филологического запроса о происхождении слова "еврейчата" я не делал; да Вы, кстати, ведь заменили его в отдельном издании на "вейчата": неужели цензуры забоялись?).

60

Главное: найти в моем письме много зла можно было лишь в цитатах, ваших бывших цитатах, Виктор Петрович, — может быть, обознавшись, на них и обрушились?

Несколько раз елейно толкуя о христианском добре, — Вы постоянно выступаете неистовым — "око за око" — ветхозаветным иудеем.

Подобный тип мышления и чувствования — уже есть ответ о причинах русских и российских бед: "нельзя освободить народ внешне более, нежели он свободен изнутри".

Спор наш (если это спор) разрешится очень просто: если сможете еще писать хорошо, лучше, сохранив в неприкосновенности нынешний строй мыслей — тогда Ваша правда! Но ведь не сможете, последуете примеру Белова, одолевшего-таки злобностью дар свой и научившегося писать вполне бездарную прозу (см. его роман "Все впереди" — "Наш современник", 1986, №7—8).

Прощайте, говорить, к сожалению, не о чем.

Главный Вам ответ — собственный текст, копию которого, — чтоб не забыли! — возвращаю.

Н. Эйдельман 28 сентября 1986 г.

Вот как у нас шалят: то "Уже написан "Вертер" издадут с купюрами, то астафьевскую биографию подправят...

Но теперь уникальный библиографический указатель, составленный при жизни юбиляра В. П. Астафьева очередным Эйдельманом, взявшим себе на этот раз псевдоним Т. Брикман, кажется, полон...

"В угоду черни буйной"

"Россия, спаси!" Нагорный Карабах 1971 года. Паруйр Севак и Левон Бабаевич. По маршруту Мандельштама. Любовь Осипа к Сергею. Галина Старовойтова и карабахская резня. На берегах Оки и Арагвы. По следам маршала Антонеску. Львов 1963 года. Споры хохла с москалем. "Пусть антихристы отделяются". Мицкевич — вождь черни. Мои литовские друзья. Чайханщик Изатулло и пламенная Гульрухсор. Предсказание Дондока Улзытуева. Мой первый бунт. Советский солдат Суюнбай. Советские переводы и русская идея. "Народы — суть мысли Божий"

Открыл я как-то сборник архивных документов "Под стягом России" и услышал рвущиеся с его страниц вопли, прошения, клятвы, обещания, жалобы, которые два-три века тому назад неслись через всю Россию от южных ее рубежей к царской Москве, а позднее — на северо-запад к императорскому Петербургу...

Целовали крест, клали ладони на Коран, принимали присягу, ставили тамгу на пергаменте, толпились в приемных царей и императоров, клялись на вечные времена, присылали драгоценные дары, отправляли на север своих сыновей, шли на все — лишь бы русский солдат пришел в их земли, лишь бы императорский наместник прибыл в Эривань и Тифлис, лишь бы караваны российских купцов потянулись на юг...

62

Из послания армянских патриархов Исаяи и Нерсеса императору Петру I с просьбой принять армянский народ под покровительство России:

"Ныне пришло турецкого войска множество и многие города побрали, а именно: Теврис, Нагшиван, Эриван, Тифлис, и намерены придти в Генжу и к нам, о чем с великими слезами просим учинить нам как наискорое вспоможение хотя морем на нашу сторону, а о хлебе и прочем чтоб оные воинские люди не сумневались, токмо б повелеть им придти в провинции Карабахскую и Шемаханскую вскорости, а ежели не будут, то по сущей истине турки поберут все месяца в три и христиан всех побьют и погубят, а мы иной надежды кроме В. В. не имеем...

22 февраля 1725 г"

...Мы помахали рукой Аширу, когда он приостановил лошадей на перевале и оглянулся, чтобы попрощаться с нами. Через волнующиеся от бодрящего ветра зеленые травы Карабахского нагорья он привел нас на озеро Кара-Гёль, а сам отправился обратно в горную деревушку Ахметли. Путь его пройдет по альпийским лугам, через ручьи, заросшие буйной осокой, мимо овечьих стад, нагулявших жир и шерсть на единственных в мире травах, мимо сизых пепелищ, оставленных чабанами. Ветер, все время колеблющий траву, да темные облака над головой будут сопровождать его, как сопровождали они во все времена на этой благословенной земле полчища Чингиса и Тимура, Баязета и шаха Аббаса...

Мы огляделись — перед нами лежал овальный кусок небесной сини, заключенный в оправу из глыб красного вулканического туфа. Из века в век вешние воды точили себе удобные русла, сбегая с темно-вишневых вершин к озеру. Русла постепенно заполнялись плодородной почвой, и сейчас, когда недавно растаяли снега и полая вода по распадкам, сошла с каменной гряды, следы высохших потоков были обозначены лентами альпийских цветов. Три реки — белая, желтая и синяя, обрамленные зелеными травами, впадали в озеро и, отражаясь в его глади, уходили в глубину, так что было даже непонятно, может, они, наоборот, выходят из глубин Кара-Гёля на землю, подымаются между скал к небу и растворяются в его синеве.

Два орла, почти не шевеля крылами, медленно парили над озером на воздушных течениях... Но мы приехали сюда не только затем, чтобы любоваться красотами мира. Игорь Печенев уже

63

развязывал рюкзак, хитро поглядывая на меня, доставал заветные блесны, налаживал спиннинг.

— Давай по пятьдесят бросков — чтобы душу отвести! А палатку разбить успеем...

Мы встали недалеко друг от друга на берегу, усыпанном круглой белой галькой величиной с хорошую картошку, и блесны засвистели в воздухе. Где-то там, в темных глубинах озера, гуляла царская рыба ишхан, озерная форель, которую надо было поймать. Блесна, как пуля, вылетает из спиннинга, я улавливаю мгновение, когда она метров за пятьдесят от берега приближается к поверхности воды, в момент падения делаю плавную подсечку и начинаю медленно наматывать на барабан леску... Но что это? Удар по блесне!.. Чуть-чуть медленнее! Рыба промахнулась! Еще один оборот катушки! Еще... Удар! И тяжелая живая сила, сделав несколько рывков, от которых удилице сгибается в дугу, начинает уходить в глубину.

Дальше я знаю все, что будет. Рыба начнет уставать, я буду выбирать леску. Когда она почувствует, что неведомая мощь тянет ее к берегу — форель соберется с силами и как пружина вылетит из воды, тряска оскаленной пастью, пытаюсь освободиться от тройника. Тут главное не дать ей рвануть, в одну секунду сделать связь между рыбой и тобой неосязаемой. Одна свеча! Другая! Третья уже пониже. А четвертую она сделать не успевает — пока рыба взлетала из воды и снова плюхалась в нее, я успел подмотать леску, и форель уже на мелком месте; вот она ложится на бок — теперь можно спокойно выводить ее на прибрежную гальку.

Темная, глянцевая спина, платиновые бока, украшенные крестообразными алыми и

черными отметинами, мощный подрагивающий хвост с бледно-розовым опереньем, кремовые плавники, мелкочешуйчатое белое брюхо, жаберные крышки отливают перламутровым блеском, мощные челюсти образуют огромный рот. Она тяжело дышит, высунув язык, усеянный рядами мелких зубов, и ее черные блестящие глаза с ненавистью глядят на меня... Алая струйка медленно сочится из-под жаберной крышки и, застывая, тянется по белому брюху. Рыба вздрагивает раз, другой, начинает засыпать. Ее радужные краски быстро блекнут.

— Есть! — кричу я, показывая другу свою добычу, которую с трудом держу на вытянутой руке. Но он не слышит меня: его спиннинг согнут в дугу — он ждет с секунды на секунду, что и его рыба на алых плавниках вот-вот взлетит над озером.

Когда мы сошлись и стали разглядывать улов — несколько холодных увесистых и уже отвердевших форелей — над

64

нашими головами вдруг раздался звук автомобильного клаксона.

Мы оглянулись. По зеленому склону к озеру спускались двое мужчин. Они подошли к нам, поглядели на форелей, лежащих на белой гальке, и пожилой армянин с впалыми щеками, с усиками, в синем френче и в галифе на плохом русском языке спросил нас:

— Па-а-чиму рибу ловишь?

На голове у него была темно-синяя, под цвет френча, запыленная фуражка с околышем, на ногах, несмотря на жару, мягкие сапоги с галошами. Словом — руководящий работник районного масштаба.

Наши пространные объяснения, что мы, московские писатели, изучаем жизнь карабахских горцев, явно не удовлетворили его. А когда он узнал, что мы добрались до озера с азербайджанской стороны, то насупился еще больше.

— Кто ишхан разрешил ловить? Кто им разрешил, Сурен! — Он оглянулся на шофера, стоявшего поодаль с монтировкой в руках. На всякий случай. В горах все бывает.

— Нас азербайджанские друзья сюда привели, отдохнуть... Да пойдете лучше чаю попьем, поговорим! Кстати, вы бы представились нам! — попытался наладить дипломатические отношения с явно ответственным человеком мой напарник.

— Звать меня Левон Бабаевич. Я человек в этом районе по охране природы, животного мира и рыбы...

Левон Бабаевич суровым голосом разъяснил нам, что в Кара-Гёле форель ловить запрещено, что хотя мы и приехали со стороны Азербайджана, но рыбу ловили, когда он подъехал на своем "газике", на армянском берегу; словом, надо составить акт на пять пойманных форелей, поскольку мы являемся фактически браконьерами, и он обязан нас отвезти в райцентр за шестьдесят километров, чтобы мы заплатили штраф...

Мы дружно запричитали:

— Дорогой Левон Бабаевич... да мы же не знали, что озеро заповедное... отдохнем два дня и ни разу больше к озеру не подойдем, разве что умыться... не лучше ли нам выпить бутылочку коньяку, а закусывать будем колбасой или рыбными консервами...

Но Левон Бабаевич, наслаждаясь своей властью, был неумолим, и лишь когда я пробормотал, что у меня не только среди азербайджанских, но и среди армянских поэтов есть друзья, в его лице появилась какая-то теплинка.

— А кто друзья ваши из армянских поэтов?

65

— Ох, Левон Бабаевич, — жалобно проговорил я, — много у меня в Ереване друзей, а самый лучший — погиб недавно: Паруйр Севак... Слышали?

— Вы знали Паруйра?

— Не только знал, но и стихи его переводил. Даже одно, как помнится, о форели, за которую вы нас сегодня увезете в Горис и оштрафуете.

Я действительно знал Паруйра. Познакомился с ним — тогда еще молодым, курчавоволосым, большеглазым и крупногубым человеком. Он попросил меня перевести несколько стихотворений для его первой московской книги.

— А как же вы перевели — когда армянского не знаете? — заинтересованно спросил Левон Бабаевич.

— А так вот. Мы садились рядом с Паруйром, он русский язык знал, говорил мне, что у него значит это слово, эта строчка... Я обдумывал его слова; а потом уже из них складывал русские стихи.

Левон Бабаевич недоверчиво посмотрел на меня:

— А помните какие-нибудь стихи Севака, которые вы переводили?

Я перехватил умоляющий взгляд напарника. Ну вспомни! вспомни что-нибудь! сочини! придумай! — прочитал я в его глазах.

— Было у Паруйра, помнится, одно стихотворение вот об этой форели... Как же оно начиналось? — Откуда-то из глубины сознания — переводил-то все-таки двенадцать лет назад! — у меня всплыла строка:

Даже рыбы севанские
кармрахайт и бахтак...

Я сделал еще одно усилие, увидев преображающееся лицо Левона Бабаевича:

...носят пятнышки красные
на упругих боках.

И свершилось маленькое чудо: медленно, как буксующая машина, берущая глинистый подъем, я стал выволакивать из памяти строчку за строчкой:

Эти пятнышки-родинки,
словно память о времени,
словно память о пролитой
крови Армении.

66

Я читал по слогам, боясь сбиться, а Левон Бабаевич уже глядел мне в рот и словно бы просил взглядом: ну, давай дальше, молодец! Друг великого Паруйра!

Рыбы бьют плавниками,
а вода глубока,
а водица веками
моет рыбам бока.

"Неважная строфа, — мелькнуло у меня в голове. — Почему "водица"? — Для размера!" Но я сразу же отбросил все побочные размышления, понимая, что уже вспомнил стихотворение, которое никогда не читал вслух и не знал наизусть, и что последнюю строфу нужно произнести с особенным пафосом:

Разрушаются скалы,
в небе птицы парят,
только родинки-капли
все горят и горят!

Над нашими головами парили орлы. Красные скалы, полуразрушенные временем, окаймляли озеро. По глубоким морщинам темного лица Левона Бабаевича текли две слезы. В его глазах отражались сияющие контуры снежных хребтов. Шофер отложил монтировку на траву. И мы поняли, что атаки не будет.

Левон Бабаевич волосатым кулаком утер слезу, закашлялся, протянул руки и расцеловал меня, взмокшего от напряжения.

— Ловите рыбу. Я разрешаю. Одна просьба — возвращайтесь в Москву не через

Азербайджан, а через Армению, через Горис, через мой дом... Гостями сердечными будете! Когда за вами машину прислать — скажите...

Но нам надо было возвращаться тем же путем, каким мы сюда приехали. Огорченный Левон Бабаевич, бескорыстный любитель родной поэзии, нарушивший ради этой любви служебные инструкции, на прощанье обнял браконьеров; мы выкурили с ним по сигарете и проводили этого прекрасного человека до машины. "Газик" развернулся и по едва заметным колеям, медленно покачиваясь на неровностях почвы, укрытых травой, пополз от озера к горизонту...

Через двадцать лет на этих просторах началась война. Она готовилась исподволь. И азербайджанские, и армянские пастухи, приходившие к нам вечерами погреться у костра, просили, чтобы в следующий раз, если мы приедем на Кара-Гель, то привезли бы для них только одно: патроны.

67

Но к нам, русским, карабахские армяне и карабахские азербайджанцы относились с глубочайшим восточным радушием, с легендарным гостеприимством, с почти религиозным пиететом, словно бы чувствуя некой глубинной частью души, что не властуй на этих просторах русская державная воля, они навсегда бы погрузились в пучину племенных страстей, чреватых кровной мезьей, пепелищами, перерезанными глотками, обугленной человечинной.

Когда мы въехали в цветущую, солнечную Шушу, в которой особняки из розового и желтого туфа утопали в гранатовых садах, в зарослях винограда и тутовника, я вспомнил стихи Осипа Мандельштама о страшной разгромленной и обезлюженной Шуше, которую поэт увидел в 1930 году, о "хищном городе Шуше", где на развалинах домов еще высыхала кровь резни и погромов, прокатившихся в эпоху развала Российской империи, в годы гражданской войны, словом, во времена русского безвластия и "национальных суверенитетов" по Карабахскому нагорью. Только во время взаимной резни 1920 года в Шуше погибло почти тридцать тысяч человек.

Надежда Яковлевна Мандельштам так писала в своих воспоминаниях о путешествии с Осипом Эмильевичем по Карабаху:

"Нам уже случалось видеть деревни, брошенные жителями, состоящие из нескольких полуразрушенных домов, но в этом городе, когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы и резни была до ужаса наглядной. Мы прошли по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов без крыш, без окон, без дверей. В вырезы окон видны пустые комнаты, изредка обрывки обоев, полуразрушенные печки, иногда остатки сломанной мебели. Дома из знаменитого розового туфа, двухэтажные. Все перегородки сломаны, и сквозь эти остовы всюду сквозит синее небо. Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами. Если кто и уцелел, то бежал из этого города смерти. На всех нагорных улицах мы не встретили ни одного человека".

Жаль только, что Надежда Мандельштам, с которой я встречался в Пскове в 1962 году и слушал ее рассуждения о необходимости демократических сдвигов в обществе, не вспомнила о том, что в молодости и она баловалась революционными идеями, и она была за права человека, за смену монархического мироустройства на другое, более прогрессивное... Но когда в результате этой муравьиной работы рухнула Российская империя, то каждая из карабахских семей

68

тут же воспользовалась правом резать и жечь иноплеменного соседа...

Выехали они из Шуши тогда лишь при помощи советской власти ("наутро не без труда получили билеты на автобус через обком"), которая только лишь начинала налаживать жизнь в полумертвом городе...

И вот через сорок лет после их путешествия мы шли по спокойной, благоустроенной, многолюдной Шуше. Где-то на улице познакомились с журналистом из местного радио рыжеватым смуглолицым Максимом, который тут же привел нас на веранду своего дома. Мы сидели на веранде, слаженной из гладкого коричневого дерева, вдыхали сухой

благодатный воздух, стекающий с окрестных гор, пили душистую тутовую водку, закусывали фиолетовым инжиром, белой брынзой и алыми гранатами. Наши ноздри щекотали запахи горных лекарственных трав, свисавших пучками со стен веранды. А всего лишь сутки тому назад мы ужинали в азербайджанском селе Ахметли, и председатель колхоза Ашир угощал нас курицей, фаршированной изюмом, и шашлыком из ягненка.

И не хотелось думать о том, что всего лишь полвека тому назад мужчины из рода Ашира схватывались на улицах Шуши во взаимной кровавой резне с мужчинами из рода Максима...

Мы выпили за дружбу народов, и я начал читать нашему новому другу стихи Мандельштама о фаэтонщике, который вез поэта и его жену по пустынным улицам Шуши:

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах захоронен.
И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

— А? Каково! — кричал я, захмелевший от тутовой водки,,; своим собеседникам. — Как сказал Осип Эмильевич о фаэтонщике? — "словно розу или жабу он берег свое лицо" — Ничего это вам не напоминает? А Есенина забыли:

69

Дар поэта — ласкать и корябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черной жабой
Я хотел на земле повенчать.

— Так вот: роза и жаба — это неизбежное родство тьмы и света. "Страхи, соприродные душе", — сказал Осип. А мог бы сказать и "страсти" — высокие и низкие, подземные и небесные! Да и вообще Есенин — тайная и глубочайшая любовь Мандельштама, о чем никто не догадывается.

Написал Осип Эмильевич "Сорок тысяч мертвых окон", или в стихах про Москву: "Ей некогда, она сегодня в няньках. Все мечется. На сорок тысяч люлек она одна — и пряжа на руках"... Мистическая цифра "Сорок тысяч", как бы печать жизни и смерти! Откуда она у Мандельштама? Никто не знает, что он, написав эти строки, как бы тайно перемигнулся с Есениным. У Есенина, помните, в стихах о повальном первомайском пьянстве рабочих в окрестностях Баку на той же азербайджанской земле:

Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть, как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили то ж.

А в "Пугачеве" — из монолога о разгромленном войске, помните? "Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы. Сорок тысяч нас было, сорок тысяч, и все сорок тысяч за

Волгой легли, как один". То ли однажды в юности Есенин запоем прочитал "Гамлета", и слова "...как сорок тысяч братьев любить не могут" поразили его и навсегда легли в его цепкую память? А может быть, это отголосок слов Фортинбраса из того же "Гамлета" о том, что идут полки "сорок тысяч", "готовых лечь в могилу, как в постель"? И Осип Эмильевич, видимо, почувствовал магическую силу этого цифрового заклинания. Да к тому же, я думаю, что в душе обоих поэтов не смолкала зловещая народная песня недавно прошедшей гражданской войны: "Как на черный ерик, как на черный ерик, ехали казаки — сорок тысяч лошадей. И покрылся берег..."

...Обессилевший от красноречия, тутовой водки и вечернего зноя, я обнял рыжеволосого Максима и на прощанье пробормотал: "Сорок тысяч мертвых окон..." Именно есенинские "сорок", а не "тридцать", как сказано в воспоминаниях его жены...

70

* * *

Напророчил Осип Эмильевич... В 1992 году в окнах туфовых особняков Шуши и Степанакерта опять же отразилось мертвенное чумное сияние карабахского неба.

Но войны могло не быть, если бы поэты и политики не раздули вражду в сердцах человеческих. Я всегда любил переводить стихи, в которых трепетала какая-то глубокая сущность национального бытия, но выраженная в картинах, в образах, в мелодии, в религиозном чувстве. Таковыми были для меня стихи Севака, прочитанные Левону Бабаевичу. Стихи же, где национальное чувство существовало в восклицаниях, в лозунгах, в патриотической риторике, никогда не нравились мне, и я всегда отказывался переводить их.

Однажды популярнейший в 60-е годы поэт Армении Ованес Шираз пригласил меня на свой вечер в Ереванский оперный театр. Народу в театре было битком. Мои знакомые армяне закатывали глаза, крутили головами, разводили руками, давая понять, что сегодня Шираз, "вай-вай!", прочитает нечто необыкновенное.

Толстый седовласый Шираз вышел на сцену и, яростно жестикулируя, стал читать стихотворение, каждая строфа которого заканчивалась словом "Арарат!" и вызывала бурю восторгов. Оказывается, все стихотворение в сущности и состояло из многократно повторявшейся одной строчки, которая по-русски звучала очень просто:

Ты наш Арарат!

Но Арарат был турецким, и я отказался переводить стихи поэта Карапетяна, назвавшего себя звучным именем Ованес Шираз...

Галина Старовойтова использовала незаживающую армянскую боль, когда, чтобы ее избрали депутатом Верховного Совета СССР первого созыва, на уличных митингах в Ереване кричала подобно Ширазу: "Армяне! Карабах — ваша земля!" Она с демонической страстью раздувала пламя вражды, смертное дыхание которой в конце концов испепелило и ее самоё.

Евгений Евтушенко написал на смерть Галины Старовойтовой стихотворение "Контрольный выстрел":

"Мы, женщины, не начинаем войн..." —
сказала в речи — может, роковой

71

та женщина, как на передовой,
как депутат всех вдов, на всю страну
и получила от мужчин войну.

Стихотворение фальшивое, ибо нынешние войны, разрушившие "всю страну", начинались на площадях Баку, Еревана, Тбилиси, такими ораторшами, как Старовойтова.

Политолог и специалист по Кавказу профессор В. Печенев в одной из

опубликованных в 1999 году статей писал: "Сегодня известно (во всяком случае многие депутаты бывшего Верховного Совета РСФСР любят об этом рассказывать), что руку к свержению партократа Завгаева приложили не только Бурбулис и Старовойтова, но и сам Руслан Хасбулатов. 7—8 октября 1991 года штурмовики Дудаева захватили Верховный Совет в Грозном, избили и выбросили из окна Председателя Грозненского горисполкома, русского, низложили Верховный Совет республики и начали готовить ее к войне"...

Вот так-то, Евгений Александрович. А Вы пишете, что "женщины не начинают войн".

Именно женщиной в борьбу была вброшена страшная мысль: армянская земля там, где живут армяне... Началось изгнание азербайджанцев из Карабаха. Азербайджанцы поняли: если там, где живут армяне — Армения, значит нельзя, чтобы они жили за ее пределами, и ответили резней в Сумгаите и Баку. А что же русские? Русских на этой земле представляла Галина Старовойтова, земля ей пухом, так же, как всем армянам и азербайджанцам, погибшим на карабахской бойне.

Но тогда, в 1971 году, Игорь Шкляревский проснулся с температурой в нашей палатке на берегу Кара-Гёля, и мы испугались, что у него аппендицит. Я пошел пешком километров за десять в деревню договориться о том, чтобы нас поскорее вывезли с озера.

Я заблудился в паутине горных тропинок и, время от времени встречая одинокого крестьянина на лошади либо чабана со стадом, без опасения, не понимая, кто из них армянин, кто азербайджанец, подходил и расспрашивал, как мне добраться до деревни, где есть телефон.

Горцы, как правило, плохо знали русский язык, переговоры шли трудно, но все искупалось радушием, улыбками, традиционным приглашением в гости. Никакого страха оттого, что я, русский, один брожу по легендарному плоскогорью, что со мной может что-то случиться, я не испытывал.

Тоже самое случилось с нами через год в Чечне, куда мы втроем — я, Игорь Печенев и мой сын Сергей — приехали на озеро Кизиной Ам, в самое сердце Чечни, где в 1996-м и ⁷²

1999 году шли страшные бои. Но в те времена, когда Сергей почувствовал себя плохо, мы на "Жигулях" по горным дорогам бесстрашно исколесили все окрестности в поисках врачей, которых мы находили в сельских больницах...

Везде мы встречали участие, радушие, готовность придти на помощь. И это на земле, куда лишь пятнадцать лет тому назад вернулся народ, выселенный в 1944 году Сталиным в Среднюю Азию!

Так что не надо сегодня переписывать историю и лгать, что никакой дружбы народов не было и в помине.

...Из письма ко мне армянского поэта Размика Давояна от 27.09.86 г.:

"Спасибо за книгу "Пространство и время", где поселились твоя и моя родина. Я недавно был в Вологде, чтобы посмотреть в прозрачные незамутненные глаза России, и за очень короткое время успел увидеть многое.

Стихи Рубцова камнем лежат на душе и слезами каплют из глаз.

Посылаю тебе книгу Киракосяна".

Книга Киракосяна была о геноциде 1915 года, о том, как было вырезано чуть ли не полтора миллиона соплеменников Давояна. И Россия, ослабевшая из-за войны и приближающейся революции, не смогла помочь им, взятым некогда, во времена Александра I, под защиту русских штыков. Но потомки католикосов и патриархов, посылавших слезные прошения императору, в наше время забыли об этом. Они, открыв рот, слушали Старовойтову и по ночам стреляли в спины русским солдатам, несшим патрульную службу на темных улицах Еревана, Шуши и Степанакерта.

* * *

1783, июль 24/ августа 4.

*Договор о признании царем Картлинским
и Кахетинским Ираклием II покровительства
и верховной власти России.*

"От давнего времени Всероссийская империя по единоверию с грузинскими народами служила защитой, помощью и убежищем тем народам и светлейшим владетелям их против угнетений, коим они от соседей своих подвержены были..."

73

Его светлость царь Картлинский и Кахетинский именем своим, наследников и преемников своих... объявляет перед лицом всего света, что он не признает над собой и преемниками иного самодержавия, кроме верховной власти и покровительства ее императорского величества. Сей договор делается на вечные времена".

Георгиевский трактат

...Село Константинове встретило нас, грузинских и русских поэтов, хмурой октябрьской погодой. Шли юбилейные торжества в честь Бараташвили. Может быть, впервые на земле этого села, "которое лишь тем и знаменито, что здесь когда-то баба родила скандального российского пиита", собралось столько литераторов. В благоговейном молчании делегация выслушала лекцию экскурсовода, потом одни пошли в сад к есенинскому овину, а те, кто помоложе, несмотря на пронизывающий ветер, спустились мимо церкви по крутому склону к Оке.

— Какой прекрасный вид! — восхитился кто-то из гостей.

А вид был обычный. В России много таких деревень, стоящих на высоком берегу реки; а за рекой — левобережье, заливной луг, еще дальше — темная зубчатая полоска леса. Вечный среднерусский пейзаж.

Синее небо, цветная дуга,
Тихо степные бегут берега,
Тянется дым, у малиновых сел
Свадьба ворон облегла частокол...

(Совсем недавно, прижатый к каменной стене страхом высоты и восторгом, я стоял в арке средневекового грузинского города Вардзии, вырубленного в отвесной горе. Передо мной расстилалась уходящая в голубую дымку долина, где-то внизу под ногами далеко-далеко шумела река...)

Во время обеда в деревянной константиновской школе звучали тосты, в искусстве произношения которых мы неумело соперничали с грузинскими друзьями, артист Иван Русинов к месту вспомнил стихотворение Есенина "Поэтам Грузии". А потом поэты Грузии запели свои древние народные песни. Закрыв глаза, хриплым тенором выдохнул первое слово Джансуг Чарквиани, и Отар Чиладзе вступил вторым голосом, и тут же рядом с ними возник профиль его старшего брата Тамаза.

Знаменитое грузинское многоголосье, которое можно

74

слушать часами: "Гимн солнцу", "Гимн очагу", "Песня о черной ласточке". Звуки то сплетались, то расплетались, то становились воинственными, то нежными. Как удалось народу сохранить их чуть ли не тысячу лет? Из рода в род, из семьи в семью, из века в век переходили их слова и мелодии. Первое, что слышал слабым ухом ребенок, в честь рождения которого начинался пир в городе или в деревне, в семье князя или крестьянина, была старинная грузинская песня. Так объясняли мне секрет этого бессмертия мои грузинские друзья.

Я вышел на улицу, что-то бормоча. Постепенно из бормотанья выплыли несколько строчек, которые потом через какое-то время стали стихотворением.

Над равниной плывут журавли,
Улетают в горячие дали.
Вам спасибо, что вы сберегли,
Нам спасибо, что мы растеряли.
Но зато на просторах полей,
На своей бесконечной равнине

Полюбили свободу потерь
И терпенье, что пуще гордыни.

Над чахлыми тополями неслись тяжелые тучи, начинался дождь. У школьного крыльца толпились женщины, прислушиваясь к звукам неслыханного доселе в Константинове хора. Среди потемневших деревенских изб и разукрашенных масляной краской разноцветных домиков в центре села сиял магазин — куб из стекла и бетона. Со столба на площади неслась современная песенка о парюходах, расставаниях и встречах. А вокруг простирались холодные поля, поредевшие леса, осенние болота, — словом, просторы, поглотившие навсегда и безвозвратно за много веков столько русских песен, что лучше об этом и не вспоминать.

Но как же случилось, что закончилась вся эта история с песнями, плясками, тостами тем, что пришли "батано Гамсахурдия" и "батано Шеварднадзе"? Неужели я во сне видел Мцхету и серебряный извилистый стык Арагвы и Куры, над которым высится мрачный монастырь Джвари? Неужто мне пригрезились пенье в Константинове, праздники в Алазанской долине, шум воды, темное небо с крупными звездами, костры на берегу, вокруг которых веселятся и танцуют объятые то светом, то тенями люди? Я подхожу к ним и вдохновенно читаю из поэмы "Судьбы Грузии" Николо Бараташвили сцену о том, как царь Ираклий Второй после кровопролитного разорения Грузии войсками персидского шаха размышляет со своим советником Соломоном, как спасти родину:

75

Требуется некий перелом.
Надо дать грузинам отдышаться.
Только у России под крылом
Можно будет с персами сквитаться.
Лишь под покровительством у ней
Кончатся гоненья и обиды
И за упокой родных теней
Будут совершаться панихиды.

Братья Чиладзе бросаются ко мне, обнимают, кричат: "Стасык! Вахтангури! Гамарджвеба!", пьют за мое здоровье, за дружбу поэтов, за вечный союз между Грузией и Россией, завещанный нам Екатериной Великой, царем Кахетинским Ираклием, Николозом Бараташвили, Петром Багратионом, Ермоловым, Грибоедовым, Пушкиным... Льются струи вина, льются отсветы пламени на наши лица, льются из уст моих грузинских друзей в ответ мне стихи Сергея Есенина.

Поэты Грузии,
Я нынче вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час
Свидетельствует вещий знак:
Поэт поэту есть кунак...

И, конечно, как было не вспомнить в тот вечер великую лермонтовскую поэму "Мцыри", в которой русский гений в том же 1839 (!) году сказал чуть ли не те же самые слова, что и Бараташвили. "Мцыри" начинается с описания разрушенного монастыря, где сторож

Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год

Вручил России свой народ.

И Божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасая врагов
За гранью дружеских штыков.

А как уютно было в домах грузинских евреев Эммануила Фейгина, Гии Маргвелашвили, Шуры Цыбулевского, Миши Лохвицкого. Они, усвоив все законы грузинского гостеприимства, крепко сдабривали их добродушной иронией, предупредительностью, интеллектуальностью разговоров.

76

В загородных духанах, изображенных на картинах легендарного примитивиста Пиросмани, куда меня привозил то Резо Амашукели, то Джансуг Чарквиани, то седовласый, похожий на громадную тыкву Карло Каладзе, я, чувствуя свою власть над застольем, вставал и молодым звенящим голосом читал только что написанное признание в любви к Грузии, к поэзии, к жизни, твердо веруя, что продолжаю путь к грузинской душе, начатый Пушкиным, Лермонтовым, Есениным.

Давно не доверяющий словам,
звучащим патетично и обманно,
я поднимал доверчиво стакан,
учился говорить высокопарно.

Высокопарно... Высоко парить!..
Забывтый смысл я постигаю снова,
учись красноречиво говорить
и как вино продегустируй слово.

А север пьет, словами дорожа,
там хмурятся, свою судьбу поведав...
На юге тосты ходят не спеша
и азбукою служат для поэтов.

Не торопись, спокойно постигай
искусство говорить неделовито,
не суетись и смутно понимай,
что так в горах рождается лавина,

которая смешает все подряд,
а смешивать вино небезопасно
в стране, где птицы высоко парят
и люди говорят высокопарно.

А наутро меня осторожно будили поэты, и мы шли из гостиницы, где останавливались в свое время Есенин с Маяковским, по утреннему холодку вдоль Куры в хинкальную, где радушный хозяин "с круглыми плечами" ставил перед каждым из нас стопку виноградной водки, миску пахнущего чесноком разваристого хаши — требушиной похлебки, подернутой пленкой желтого жира, и тарелку свежей зелени.

Нет, недаром эта земля притягивала к себе Пушкина и Грибоедова, Есенина и Заболоцкого, Пастернака и Антокольского.

Недаром именно грузины сражались за Россию, как за свою родину, в 1812 году, всего лишь через тридцать лет после выбора царя Ираклия.

77

Генералы Багратион, Иашвили, Панчулидзе — а сколько вместе с ними офицеров! —

пали смертью храбрых в сражениях с наполеоновскими оккупантами...

Из письма Симона Чиковани от 11.11.65 г.:

"Дорогой Станислав! Получил переводы, они у Вас получились прекрасно. Мне особенно понравился "Кахетинский цикл". Я приношу глубокую благодарность за Ваш вдохновенный труд".

Чиковани, друг Пастернака и Заболоцкого, был "классиком", и мне, конечно же, льстило такое признание.

Из письма ко мне Аиды Беставашвили, переводчицы и составителя книги стихотворений Георгия Леонидзе:

"Впечатление от переводов Леонидзе очень сильное. "Есенин ", "Ниноцминда " и "Солнце Грузии " великолепны, а остальные четыре — задумалась, как бы определить их, и тоже решила, что великолепны, но только по-другому, по-эмоциональному.

Большой привет от Марики Чиковани. Она готовит для тебя много подстрочников (посмертных и чудесных) стихов Симона..."

Все это было. А как можно забыть утро, когда в окружную военную газету, где я был на сборах, вошел, заполнив собою казенный коридор, Гурам Гвердцители с Гурамом

Асатиани:

— Стасик! В Ереване открылась выставка великого художника Фалька. Поехали посмотрим. Машина ждет тебя у подъезда.

И мы помчались за сотни километров через хребты и долины в столицу Армении, посмотрели не только выставку Фалька, но побывали в гостях у тогда еще живого Сарьяна, и в мастерской Минаса, стены которой были увешаны огненными полотнами.

А какая веселая драка была у нас с Аксеновым в Тбилиси, кажется, на юбилее Николоза Бараташвили.

Как-то с утра грузинские поэты подъехали к нам в гостиницу и уговорили "поправить головы" — съесть по горячей миске хаши и выпить по стаканчику чачи. Мы спустились на первый этаж в ресторан, который был еще закрыт. Но для желанных гостей... Словом, вскоре мы сидели

78

в громадном пустом зале и подымали тосты друг за друга.

Но Василий Аксенов, сидевший напротив меня, быстро захмелел и совсем некстати, вспомнив московскую жизнь, начал ругать моего друга Анатолия Передреева, имя которого почему-то возникло за столом. И что поэт раздутый, и что пьяница и хам, и антисемит... и вообще, — вдруг, распалив себя до предела, заключил Василий Павлович, — вы все любимцы черносотенного ЦК — и Передреев, и Кожин, и Фирсов! Все вы там днюете и ночуете!

Увидев, что грузинские поэты внимательно слушают его речь и что-то мотают себе на ус, я сразу отрезвел и перебил Аксенова:

— Знаешь, Вася! Ни Передреев, ни я в ЦК дорогу не знаем. Но я допускаю, что если Володя Фирсов идет к Суслову с парадного входа, то в это же время Евтушенко или ты с черного хода от Суслова выходите!

Взбешенный Аксенов перегнулся через стол и попытался влить мне пощечину. Но я был трезвее — успел уклониться, а мой ответный удар оказался более точным.

Падая со стола, зазвенели тарелки и бокалы. Соображая, что завтрак окончен и что надо избежать окончательного и крупного скандала, я рывком поднялся из-за стола и пошел через зал к выходу. Аксенов, вырвавшись из волосатых рук грузинских друзей, бросился за мной вдогонку. Я уже был у входной двери и мог бы уйти, чтобы избежать скандала, но на нас глядели ошеломленные грузинские поэты, и я понял, что сегодня же весь город узнает, что Станислав Куняев убежал от Аксенова! Я развернулся спиной к стене ресторана, обитой коричневым дерматином, и тут же мне пришлось, как боксеру, уклониться от аксеновского кулака раз-другой, одновременно отвечая ему своими мгновенно припомнившимися приемами уличной драки. Когда подбежавшие грузинские друзья разняли нас, синяков и ссадин на его лице было все-таки больше, чем на моем.

Вечером нам обоим нужно было выступать в драматическом театре. Дабы спасти положение, жена Окуджавы Оля по просьбе Булата позвала нас к себе и умело при помощи крема и пудры заштукатурила все повреждения на наших лицах.

...Когда мы прилетели с Васей в Москву, то тут же во Внуково двинулись в буфет, взяли бутылку коньяку и долго изливали друг другу душу, мирились, обнимались... Но, конечно же, трещина между нами с того тбилисского утра постепенно становилась все шире и шире.

79

* * *

И, однако, была закавыка, над которой мне не хотелось глубоко задумываться, но которая всегда царапала душу.

Национальное чувство в стихах грузинских поэтов любого поколения — от Георгия Леонидзе до Резо Амашукели — было всегда очень сильным и резко выраженным. Меня, как я уже писал, влекло к ним гораздо сильнее, нежели к другим, жившим в сфере массовой культуры или расхожего "общесоветского" мировоззрения. Поэтому, к примеру, когда я подружился с Шота Нишнианидзе, вникнул в его стихи и начал переводить их, то одновременно с радостью постижения глубины его творчества во мне время от времени появлялись сомнения: а не таят ли в себе стихи такого национального чувства некой разрушительной силы?

Помню, с каким увлечением я осваивал стихотворение о сельском учителе-стихотворце и поклоннике Важа Пшавела, который учил в горной деревне крестьянских детей грузинскому языку.

Дух арагвинцев... Высший завет —
Клятва Родине... Верность обетам.
Говорил неудачник-поэт: "
Цель учения именно в этом,
Чтобы все-таки вырастить вас,
Чтобы знали: одна в целом свете
Есть отчизна — и этот наказ
Не забудьте, волчата Алгети!"
Мой учитель! От счастья дрожа,
Я твоим завереньям поверил.
Ты вручил меня в руки Важа,
Словно птенчика буре доверил.
.....
А когда, пораженный стрелой,
Как олень, убегая от смерти,
Ты споткнешься — в тот миг над тобой
Разнесется тоскующий вой
Поседевших волчат из Алгети...

Даже название села — Алгети казалось мне чрезвычайно поэтичным, хотя потом оказалось, что это заурядная грузинская деревня, которая для Грузии значит не больше, чем для России Корекозово или Доможирово, что под Калугой.

Да, трагедия жизни заключалась в том, что чем талантливее, чем "национальнее" были стихи, которые я переводил — будь то грузин Шота Нишнианидзе, бурят Дондок Улзьпуев

80

или литовец Альфа Малдонис, — тем опаснее были они для нашей великой советской цивилизации. И чем вдохновеннее я переводил их на русский язык, тем неизбежнее я сам становился невольным соучастником грядущей нашей смуты.

Одно у меня есть оправдание — каждая такого рода переведенная мною книга была

нашей общей радостью на унылом фоне изданий, состряпанных русскоязычными ремесленниками из переводческого клана.

Когда в Москве решено было издавать книгу Нишнианидзе "Черная ласточка" и я узнал, что строчкогон и бездарный рифмоплет Александр Глезер обхаживает издательских работников, чтобы получить эту рукопись для перевода, я встретился с ним и сказал ему со всей русской прямоотой:

— Нишнианидзе тебе не по зубам. "Черную ласточку" буду переводить я. А тебе ведь все равно кого портить...

Немало воды утекло с той поры. Выбросил я из сердца и памяти многие встречи и разговоры минувших дней. Но летом 1999 года вдруг вошел в мой редакторский кабинет один из грузинских поэтов, которого я с трудом, но вспомнил.

— Батоно Станислав! — сказал он мне, раскрывая объятя. — Вы издаете лучший журнал в России, Вы написали изумительную книгу о Есенине. У меня есть стихотворение, Вам посвященное, есть статья о Вашем творчестве. Вот они! — и он протянул мне несколько листочков с грузинской вязью.

...Я растрогался. Ну, конечно же, выпили. И мои ребята ради такого гостя сбегали не просто за водкой, а за фантастически дорогой бутылкой настоящего "Киндзмараули"...

На прощанье поэт заверил меня, что по его возвращении в Грузию он начнет переводить и печатать в лучшем грузинском журнале книгу о Есенине и что осенью организует в Тбилиси вечер "Нашего современника", на который придут все мои друзья шестидесятых годов... Во время нашего горячего прощанья он между делом попросил в долг на две недели полтора или двести долларов, чтобы заплатить за жизнь в переделкинском Доме творчества. В редакции были деньги, и я, конечно же, с радостью вручил ему две зелененькие бумажки... Он ушел и до сих пор не возвратился. И в Тбилиси мы не съездили. И "Есенин" остался не переведенным. Но я не жалею ни о чем. Я еще раз убедился в том, насколько талантлива нация, возглавляемая батоно Шеварднадзе, и насколько артистичны грузинские поэты. И этот худощавый, эlegantный человек с печальными большими глазами, с застенчивой улыбкой и с волнующими душу интонациями при словах "батоно Станислав..."

81

...Недавно мне приснилась одна из грузинских рек — то ли Кура, то ли Алазань. Будто бы я с удочкой вышел на берег половить форель и вдруг слышу — с противоположного берега кто-то окликает меня: "Стасык!" Смотрю, там несколько человек — Отар, Шота, Резо, Мухран и еще кто-то. Но идут они не к реке — а в глубь берега, удаляются в еще густой утренний туман и растворяются в нем, как тени... Хотел было я отозваться, да язык как будто пристал к гортани, а они сделали еще шаг, другой и растворились в белом мареве, словно бы Лету или Стикс переплыли...

"Все мы, пребывающие в Молдавии, от несносного ига доведены до крайнего разорения и находимся в великом несчастье. Вседневно из крепостей сюда приходят турки и, насилуем отнимая именья, убивают поселян наших... Пшеницу, рождающуюся на нашей земле, отымают с насилуем и отправляют в Константинополь и в другие крепости. Поборы бараньим и коровьим маслом, дровами сверх определенных податей совершенно изнуряют нас.

Зло день ото дня умножается, и отечество наше от горести и притеснения погибает.

Не имея другого защитника, паки прибегаем к В. И. В., слезно прося: дабы высочайшей милостью нас и ныне не оставить, но щедротами и высоким своим покровом защитит и спасти несчастную землю нашу...

Прошение знатного молдавского боярства, логофетов и духовенства императору Александру I, 1802 г. январь 24 "

Молдавских поэтов я знал хуже, нежели грузинских. Хотя с Грегоре Виеру был знаком, сидел у него в гостях как-то вместе со Станиславом Рассадиным, и невдомек мне было, что через несколько лет этот щупленький тихий детский поэт будет кричать на

площадях: "Убирайтесь в свою Сибирь!", "Уходите с нашей земли", "Жос!"

В 1989 году он напечатал в кишиневской газете "Литература ши арта" насквозь демагогическое стихотворение о русском человеке, якобы угнетающем и оскорбляющем его, Виеру, то ли молдаванина, то ли румына, постоянным напоминанием о своих заслугах.

Эй, русский, — я устал
Непрерывно слушать тебя, говорящего,

82

Что я был освобожден,
Что благодаря твоей помощи
Я живу в грандиозное время...
Ты поешь из-под березы
И бьешь себя кулаком в грудь —

.....
Мол, ты сражался и имеешь право
Но мы, остальные, что делали?
Белорус и армянин,
Латыш и американец,
Румын и поляк...

Особенно примечательны в этом перечне образ бездельника русского, "поющего под березой", и упоминание "сражавшихся румын", несколько сот тысяч которых, уверенных в непобедимости фашистского вермахта, бросились в июне 1941 года на Восток. А заканчивалась эта националистическая агитка таким обращением к русскому человеку, который "без других" — "латыша, американца, румына, поляка" —

по-немецки сейчас бы говорил
и выпрашивал бы кириллицу,
язык, песню, школу,
собственный храм и свое же дерево...

Поистине бесстыдству деятелей типа Виеру в те времена предела не было.

Буйная чернь, возбужденная стихами Виеру, криками теоретика соцреализма Михаила Чимпоя о том, что якобы в Тирасполе "жгут книги молдавских классиков", а также истерическими речами поэтессы Леониды Лари и писателя Иона Ходырко, осквернила памятник Пушкина, забила насмерть русского юношу Дмитрия Матюшина за то, что он громко говорил в центре Кишинева по-русски, а еще через два года те, кто окончательно захмелеют от истерики своих литературных вождей, бросятся на Бендеры, где многие из них найдут свою бесславную гибель, как их предшественники из "железных легионов" Антонеску.

Несколько строчек из письма, недавно полученного от одного из давних кишиневских знакомых, близкого к литературному миру.

"Русские смещены со всех должностей".

"Мне многие из молдаван сочувствовали, помогали. Но называть их фамилии — значит предавать людей".

"Ал. Бродский много шумел, помогал народному фронту, потом уехал в Израиль".

83

"Андрей Лупан выступал против сноса памятника Ленину. Умер коммунистом — единственный из всей писательской парторганизации".

"Многие молдаване работают в России, здесь безработица страшная... На площади Великого Национального собрания сейчас митинги протеста пенсионеров, безработных, учителей— интернационал бедных. Там нет вражды".

"Мы теперь не видимся годами и не дружим. О каких-то совместных действиях нет и

речи. Каждый спасается, как может. И все..."

"Ребята талантливые, которых мы издавали — спиваются, кончают с собой, уезжают в Россию".

"Детские садики для русских детей практически закрыты (ссылкой на отсутствие финансирования), русские школы (их осталось в Кишиневе 32 из 120) на грани закрытия. В вузах нет групп с русским языком, русский драматический театр им. А. П. Чехова—уже давно "нерусский"... Так что общая картина будущего русских в Кишиневе ясна".

"Мы еще барахтаемся".

"Грегоре Виеру и Леонида Лари живут в Румынии..."

* * *

"И приговорили в раде, что им от крестьянской веры не отступить: буде на них ляхи наступят, а их мочи не будет и им бить челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси, чтоб государь их пожалевал, велел принять под свою государскую руку".

Из отписки казацкой рады в Корсуни, 28 сентября 1632 г.

"Просим: изволь Ваше царское величество нас, верных слуг и подданных своих, имати и от всех неприятелей боронити".

Из письма Б. Хмельницкого царю Алексею Михайловичу, январь 1654 года

...Львов, где в 60-е годы я дважды побывал на военной переподготовке, был прекрасен. Я жил в казармах Стрыйского парка. Каштаны шумели ясными теплыми осенними днями, листва желтыми реками колыхалась и плыла по аллеям парка. Бронзовый Адам Мицкевич глядел свысока на площадь, на знаменитый оперный театр, на футбольную биржу, где разбитной львовский народ делал свои ставки, бил по рукам, обмывал выигрыши.

84

Вместе со мной военную переподготовку во Львове проходили Андрей Вознесенский и Владимир Костров.

Вознесенский жил в одной из роскошных гостиниц, пользовался вниманием и заботами местной интеллигенции, особенно за то, что в стихах сопоставлял свою судьбу с судьбою Тараса Шевченко, насильно отданного в солдаты, которого время от времени держиморды-командиры прогоняют сквозь строй шпицрутенгов.

...Львов, где судьба свела меня с поэтом и геологом Эрнстом Портнягиным, ставшим преданным моим другом вплоть до своей смерти... Львов, где я с наслаждением переводил стихи "националиста" Мыколы Петренко, круглолицего, рано полысевшего, проведенного юность свою на каторжных работах в Германии.

Его печальные воловьи глаза смотрели на меня с упреком: он никак не мог убедить своего русского друга в том, что Тарас Шевченко как поэт больше Пушкина. Мы пили с ним горилку и закусывали салом в его тихой квартире возле Стрыйского парка.

Со стены на меня глядела посмертная маска великого Тараса. Да и сам Петренко был похож на него — такой же круглолицый, лысоватый, лобастый, с шевченковскими грустно повисшими к подбородку усами.

Когда я хотел подразнить или чуть-чуть поставить его на место, я нарочно равнодушным голосом заводил речь о том, что да, Шевченко великий украинский поэт, но повести свои, и дневники, и даже некоторые поэмы он писал на русском языке. Мыкола слушал меня со страдальческим выражением лица, которое как бы говорило: да не может быть того! А если и так, то знать я того не хочу!.. Его воловьи глаза в такие минуты наполнялись слезами. А я еще щадил его, не напоминая бедному, что и полтавский мудрец Григорий Сковорода писал свои труды не на языке Ивана Драча, что "Кобзарь" и "Гайдамаки", а также книги И. Котляревского, Е. Гребенки и Г. Основьяненко впервые увидели свет не в Киеве и Львове, а в "имперском" Петербурге и "порфиноносной" Москве, куда 600 лет тому назад уроженец Волыни святитель Петр перенес из Киева митрополичий престол.

А о Гоголе я уже и не вспоминал. Он для "захидника" Мыколы уже в те времена был сплошной незаживающей раной — с его Тарасом Бульбой, устами которого было сказано о "русском товариществе".

А когда я выходил из себя, поскольку Мыкола не желал в упор видеть очевидного, то жестко говорил ему:

— Перечитай дневники Тараса. Кого он там чаще других

85

вспоминал? Не Кулиша и Костомарова, а Гоголя, Лермонтова, Пушкина да Тютчева! И сослали его в солдаты не за стихи и поэмы, а за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве, тайной киевской организации, похожей на кружок Петрашевского. Федора Михайловича ведь тоже сослали, да не в солдаты, а на каторгу! Царь еще великодушно поступил, потому что тремя годами раньше Шевченко написал поэму "Сон", где оскорбил не только помазанника Божьего, но и его супругу. Вот читай, как царь по залам

прохаживается важно
с тощей, тонконогой,
словно высохший опенок,
царицей убогой.

Она у Шевченко и "голенастая, как цапля" и "трясет головою". Словом, поиздевался поэт над женщиной, страдающей нервной болезнью. Это — благородно? Поэма по рукам ходила по всему Петербургу. Император ее знал, конечно, но даже пальцем не пошевелил, чтобы хоть как-то приструнить хама!

Жаль, что я в то время не знал воспоминаний малоросса Г. П. Данилевского о разговорах с Гоголем. Однажды речь зашла о Шевченко, и Гоголь как бы возразил Тарасу на его выпады против императорской четы:

"— Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, — продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь на нее спиной. — Нетленная поэзия правды, добра и красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная побрякушка и не раздражающий личными намеками и счетами рыночный памфлет. Поэзия — голос пророка... Ее стих должен врачевать наши сомненья, возвышать нас, поучая вечным истинам любви к ближнему и прощения врагам. Это труба пречистого архангела...

Я знаю и люблю Шевченко, как земляка и даровитого художника. Мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские давно выкинутые жваки".

У Мыколы текли слезы. Он ничего не мог сказать, кроме как:

— Давай лучше выпьем за гениального Тараса!

— Гениального? — взвивался я.

— От молдаванина до финна на всех наречьях все молчит! — торжественно декламировал Мыкола, указуя пальцем в потолок.

86

— А ты помнишь нашего Пушкина, который, как ты говоришь, не дорос до Шевченко, как бы в ответ Тарасу он говорил другое:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня
всяк сущий в ней язык...

Я вскакивал, подбегал к книжным полкам, над которыми висела гипсовая маска кобзаря, хватал томик Пушкина, лихорадочно листал страницы.

— Твой Шевченко — замечательный национальный поэт, соглашусь, но он чем-то

похож на Радищева, о котором Пушкин вот что пишет: "Он истинный представитель полупросвещения..."

— А "Гайдамаки"! — в ярости кричал Петренко. Историю гайдамаков я представлял плохо. Но ни он, ни я

тогда, к сожалению, не знали размышлений на эту тему историка В. О. Ключевского: "И казаку и хлопам легко было растолковать, что церковная уния — это союз ляхского короля, пана и ксендза и их общего агента жида против русского Бога, которого обязан защищать каждый русский... Так казачество получило знамя, лицевая сторона которого призывала к борьбе за веру православную и за народ русский, обратная — к истреблению и изгнанию панов и шляхты из Украины".

Кстати, эти слова Ключевского я прочитал много позже в статье галичанина доктора В. Ю. Яворского, сына известного западноукраинского политика и культурного деятеля. Они были приведены в журнале "Свободное слово Карпатской Руси", издаваемого в Америке (1977 г.).

Мы с Володей Костровым в ту золотую осень 1965 года то коротали время в окружной армейской газете, то читали стихи студентам университета, то позировали скульптору Александру Флиту. Мы уютно устраивались в его светлой мастерской в центре города, а пока мирные потомки "жидов-арендаторов", скульптор и его жена Мина, священнодействовали с глиной или гипсом над нашими головами, потягивали красное вино, предусмотрительно запасенное Флитом для "натурщиков", и придирчиво наблюдали за работой супружеской пары. Не исключено, что сейчас наши головы стоят где-нибудь в одном из музеев Израиля.

А иногда мы собирались в старинном львовском доме, в профессорской квартире Эрнста Портнягина, где он читал нам свои стихи о Львове, полные восхищения и негодования:

87

Все смешалось в сознании детском
в этом городе прифронтовом,
полувражеском, полусоветском,
в чистом, светлом, стреляющем, злом...

Неужели я уже никогда в жизни не пройду по отполированной веками львовской брусчатке, не опущусь в винный подвальчик на улице "25-го жовтня", не постою возле бронзового Мицкевича, не обнимусь с "захидником" Мыколой, не позвоню по телефону Грише Глазову и его жене Донаре? Да и чего звонить? Наверняка они уехали либо в Америку, либо на родину предков. Ведь жить на Западной Украине, аура которой насыщена именами и деяниями Степана Бандеры или Романа Шухевича, советским евреям в годы очередной смуты стало небезопасно.

Вот отрывки из двух писем, полученных мною с Украины в 1991—1992 годах:

"Если бы Вы слушали республиканское радио, то ужаснулись бы — все об отделении нас от России! Ни одного журналиста нет, который сказал бы, что это противоестественно: резать наши души на части. Ведь был оке наш референдум, но им наплевать! Где, в какой стране могло такое случиться? Все объединяются, а мы — врозь! Ведь лучше поменять руководителей, чем расчлнить такую страну! Я и мои близкие пережили голод, войну, два брата погибли, защищая всю нашу державу, а теперь один живет в Курске, а другие родственники в Западной Сибири — значит, за границей! Что это такое? За что на старости лет? По какому праву?"

Только и слышишь по радио эмиссаров из США и Канады, как лучше и скорее отойти от России. Куда оке нам обращаться? Может, это покажется Вам смешным, но надежда какая-то есть на Вас, Станислав Юрьевич, на Распутина, на Шафаревича. Что-то предпринять Вы должны, не молчите! Вы лучше всех понимаете, насколько это страшно — отделить нас от всего родного, заветного. Такая обида берет за русских, украинцев, белорусов, что они не понимают всего ужаса так называемого "суверенитета"

"! От кого отделяться?! Пусть антихристы отделяются! Если возможно, ответьте мне, поддержите морально...

*Искренне уважающая Вас
Изотова Екатерина Евгеньевна
и многие другие.
22.09.91 г.,
г. Днепрпетровск,
проспект Кирова, 84, кв. 51".*

88

Но что мы могли сделать в сентябре девяносто первого? Оклеветанные, смятые пропагандой, убитые предательством Кремля и Старой площади.

Гласностью в это время руководила успевавшая митинговать не только в Армении, но и на Украине Галина Старовойтова—советник Ельцина по национальной политике. В газете "Литературная Украина" она неистовствовала открытым текстом, вещая о том, что образование СССР явилось причиной "убийств миллионов людей пулей, голодом и холодом, прихода фашизма к власти в Германии, развязывания мировой войны и, наконец, Чернобыля".

Второе письмо я получил с Украины, из Киева, в сентябре девяносто второго, почти через год после беловежского расчленения:

"Я уже и не помню, сколько лет храню вырезку из газеты "Комсомольская правда " с Вашим стихотворением "Разговор с покинувшим Родину". Наверное, лет двадцать, а то и больше...

А сколько раз я прибегала к его помощи, не счесть!

Никогда не пойму ни умом, ни сердцем, как можно целому народу — евреям — подняться и в минуту беды покинуть Родину. Мой дед прятал евреев от Петлюры, мама — от немцев, а они бросили их внучку-дочку в минуту беды, когда страна нуждается в каждом из нас.

Когда 90% евреев нашего института стали собираться на "историческую Родину" (только потом мы поняли, что многие из них использовали Израиль в качестве трамплина...), я отпечатала и поместила Ваше стихотворение на стенде. Они срывают, а я снова вывешиваю. Потом мне пригрозили по телефону, а я снова:

*Для тебя территория, а для меня —
это Родина, сукин ты сын...*

А сейчас на Украине (кстати, кто-то приказал говорить и писать: "в Украине"...) гуляет необандеровщина. Теперь не из учебников истории, а наяву мы узнали, что это такое. Например, в прокуратуре г. Киева открыто "Дело " в связи с нападением оуновцев на меня и еще двух женщин во время распространения нами газет, призывающих славян жить в мире и дружбе.

Боже, какая же дикая, патологическая ненависть к русскому человеку пышет из украинских средств массовой информации! Только сегодня утром по радио, извините, "жрали" И. Касатонова... А в новых учебниках истории

89

Украины Великую Отечественную войну теперь называют... Советско-Германской войной.

16 сентября с. г. мы, коммунисты Киева, выходим на пикет к Верховному Совету Украины с протестом против реабилитации бандюг из ОУН-УПА и назначения им пенсий как ветеранам "национально-освободительной войны"...

На прощание говорю: "Дорогой "Наш современник", держись, выживи, без тебя мы задохнемся..."

*С уважением Галина Петровна Савченко.
02.09.92, г.Киев".*

К письму было приложено обращение киевских коммунистов к президенту. Вот несколько отрывков из него:

"С глубоким возмущением воспринимаем широкую кампанию по реабилитации действий ОУН-УПА, "торжества" по случаю которой начались 8 августа с. г. в Киеве собранием "героев" УПА в лучшем здании города Дворце "Украина" и продолжались 9 августа бандеровским шабашем на пл. Богдана Хмельницкого. "Торжества" пройдут по всей Украине и закончатся 30 августа во Львове.

В то время, когда боевики ОУН-УПА топчут сапожищами святую землю Крещатика, живы еще люди — свидетели черных злодеяний бандеровцев, которые рубили топорами не только взрослых, а и детей, сжигали живьем, вырезали на живых людях полосы и звезды, уничтожали целые семьи только за то, что они были в колхозах или в комсомоле. Не щадили и земляков, исполняя наказания своих идейных вождей:

"В период замешательства и хаоса можно позволить себе ликвидировать польские, московские и еврейские элементы: руководителей — уничтожать, евреев — изолировать, вышвыривать из учреждений; НАША ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАШНОЙ!"

(Степан Бандера. Инструкция "Борьба и деятельность ОУН во время войны");

"Украинская повстанческая армия должна действовать так, чтобы все, кто признал Советскую власть, были уничтожены. Я повторяю: не запугивать, а уничтожать! Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пускай из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего ужасного в этом нет..."

(Из "Инструкции" главнокомандующего УПА Тараса Чупринки, он же—Роман Шухевич, капитан СС, август 1944 года)".

90

Да, такое не могло присниться Александру Сергеевичу в самом страшном сне. И все-таки, как ни крути, а у нас ведь все от Пушкина. Недаром мы с Мыколой Петренко так часто спорили о нем. "Пушкин — наше все". И даже памятник великому Мицкевичу, которым я любовался, гуляя по Львову, всегда вызывал в моей памяти строки: "Когда народы, распри позабыв..." Лишь много позже я понял глубокий смысл и пророческие откровения этого пушкинского стихотворения:

Он между нами жил
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши.
С ним Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта...

Ну чем не советская картина моих русских отношений с Симоном Чиковани, с Паруйром Севаком, с Альфой Малдонисом, с Рыгором Бородулиным?!

Но Пушкин смотрел глубже, чем мы.

Когда мы, русские поэты, были оглушены криками, буйством, демагогией, воцарившейся на площадях Тбилиси и Еревана, Кишинева и Киева, Минска и Вильнюса в конце восьмидесятых — начале 90-х годов, где поэты Бозор Собир и Рыгор Бородулин, Визма Белшевица и Юстинас Марцинкявичус, Грегоре Виеру и Дмитро Павлычко с пеной на губах требовали разрушения "империи", я понял тогда: Пушкин как бы предвидел все, поскольку так закончил свой отрывок об историческом типе такого поэта:

...Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. Боже! освяти
В нем сердце правдою Твоей и миром,
И возврати ему...

И это о великом Мицкевиче! Что уж говорить о наших современниках, невеликих, слабодушных, услужливых... В те дни я пытался много писать. Статьи, нигде не

91

печатанные, речи, нигде не произнесенные, до сих пор хранятся в моем архиве. Нахожу. Листаю. Перечитываю. Странички, написанные осенью 1989 года.

"Да, литературное братство рухнуло. Все наши друзья из Литвы, Грузии, Таджикистана, Армении, Грузии предали Россию и великую русскую литературу и пошли за Ландсбергисом, Гамсахурдией, Дудаевым, Снегуром... А ведь получали за свой интернационализм Ленинские премии, ордена, звания, гонорары... Собрания сочинений издавали на русском языке Межелайтис и Марцинкявичюс, Абашидзе и Мумин Каноат, Иван Драч и Иван Чобану... Миллионы раз цитировались в 60—70-е годы строки Межелайтиса: "Я — человек, я коммунист"... Боже мой, как же можно так перекраиваться, так меняться, так притворяться и не заболеть шизофренией от раздвоенности сознания, не попасть в психушку? Да Бог с ними—всеми, с кем я встречался тридцать лет на наших литературных декадах, съездах, юбилеях, я вычеркнул их из памяти, вырвал с кровью из своего русского сердца. За исключением очень немногих — Бориса Олейника, Суюнбая Эралиева, Гранта Матевосяна... Очень немногие мои друзья по литературе избегли националистического угара, не отравились русофобией, бушующей вокруг них, и спасли честь своих народов и своих культур. Мир еще вспомнит об этом, когда пелена антирусского сумасшествия спадет с людских глаз".

"Я хочу обратиться к Эдуардасу Межелайтису, к Альфе Малдонису, к Альгису Балтакису...

Мы же люди культуры, наш долг — в трудные исторические моменты находить в себе мужество и говорить правду—толпе, массам, и не побоюсь этого слова, — народу... И широкие народные массы могут быть увлекаемы несправедливыми и опасными страстями. И тут человеку культуры должно проявить высшее мужество и сказать свое успокаивающее Слово... Я понимаю, что на такое в трудной обстановке надо решиться... Но кто же это сделает, если не мы, кто исправит ошибки и преступления политиков, дипломатов, юристов, прокуроров, работников НКВД, военачальников... Они—люди тоталитарных ведомств, мы — люди широкого гуманистического образа мыслей... Нам сейчас молчать нельзя.

То же самое я хотел сказать своим друзьям из Грузии — Ираклию и Григолу Абашидзе, братьям Чиладзе, Шота Нишнианидзе... Я жил у вас, переводил ваши стихи, мы изливали друг другу души в долгих разговорах, любовались красотой мира... Это длилось десятилетиями! Неужели

92

несколько месяцев словесной гражданской войны воспалили наши души так, что нам нечего сказать друг другу? Не верю! Я знаю, что и в Литве, и в Грузии для того, чтобы сейчас сказать доброе слово о России, нужно мужество. Надо его найти.

Подумайте, ведь вы предаете не империю, не Россию. Вы предаете заветы и клятвы Ираклия Второго, гениальную поэму Бараташвили "Судьбы Грузии", вы предаете пролитую кровь предков, предаете Искру и Кочубея, Богдана Хмельницкого и Слово Корсунской Казацкой Рады, надежды и деяния своих бояр и логофетов, топчете молитвы и завещания своих патриархов Исаяи и Нерсеса... Не может того быть, чтобы история не отплатила вам за такое предательство".

Написать написал я эти слова еще в начале 1990 года и даже хотел разослать их по адресам моих бывших друзей или напечатать в журнале, но руки сами собой почему-то опустились... Не было уже веры в то, что они поймут меня. Слишком уж далеко многие из них зашли "в угоду черни буйной"...

* * *

Ну хорошо. Армяне, грузины, украинцы, молдаване, заламывая руки, в достопамятные времена падали на колени перед российским престолом с одним только воплем на устах: "Спасите! Спасите чад и домочадцев наших, очаги наши, веру христианскую нашу от турок и персов, от татар крымских и ляхов. Даем клятву верности России на вечные времена..."

Но прибалты? Литовцы, латыши, эстонцы. Вера у них западная. Кто католики, кто протестанты. Язык не славянский, тяготения иные: кто к шведам тянется, кто к немцам, кто к полякам. Соединились они с нами, мягко говоря, не добровольно. Им-то какой резон был дружить с Россией?

Все так. Но ведь получал же я из Литвы письма от того же Межелайтиса (уже в 1987 году!), в которых он писал:

"Дружба поэтов и дружба людей. В этом наша сила и будущее в перспективе всего человечества. Иного пути в наш сложный век нету. Спасибо за прекрасную книгу, спасибо, что

вспомнили меня "

Но ведь писал же мне Альфонсас Малдонис, которого я также переводил, письма с искренними словами благодарности:

"Переводы просмотрел. Рад. Большое спасибо тебе. Первый раз мои стихи переведены так, как надо. Ты здорово поработал. Я остаюсь в большом долгу. Завтра уезжаю на Украину — декада. Может быть, и ты там будешь?

Твой Альфа "

93

А когда в 60-е годы приезжал в Вильнюс, останавливался в центре города в уютной гостинице "Паланга", разве не получал я чуть ли не ежедневные приглашения в гости в литовские семьи? То к Малдонису, то к Межелайтису, то к Жукаускасу...

А когда я оставался в иные дни в гостинице почитать, поработать, отдохнуть, то вечером в мой номер обязательно стучался художник Стасис Красаускас. Он возникал в проеме двери — двухметровый, подтянутый, литовский Аполлон с тщательно уложенным пробором шоколадных волос на голове, безукоризненно одетый в тройку:

— Тезка! Столик заказан. Одевайся!

Ну кто заставлял этого знаменитого на всю республику художника и чемпиона Литвы по плаванию проводить время со мной, молодым, еще малоизвестным русским поэтом? Я ведь не переводил его произведений на русский язык, никакой деловой корысти в наших отношениях не было. Просто воздух был такой в мире, насыщенный радушием и любознательностью.

Старый город, древний город.
Тусклый свет, негромкий дождь.
Ничего, что я не молод,
в этом городе я гость.
Здесь живут мои друзья,
молчаливые поэты,
и поэтому нельзя
не любить Литву за это.

Эта жизнь кончилась тем, что летом 1989 года я получил из Вильнюса от одного из своих читателей письмо:

"Лига Свободы Литвы в Нагорном парке (мы его теперь зовем Нагорный Карабах)

сожгла советский флаг и чучело в форме сержанта с маленькими флажками союзных республик. Лозунг: "Оккупанты! Вас ждет матушка Россия!" 14 июня президент Буш выступил в связи с Днем Свободы Прибалтики и выразил удовлетворение процессами, которые в ней протекают. Он, понимаешь ли, доволен".

К письму был приложен плакат с фотографиями, изображающими политический шабаш в литовском "Нагорном Карабахе", и негодующим текстом: "Вчера ты был мигрантом, инородцем, сегодня ты оккупант, тебе грозят вторым Нюрнбергом... Это уже было в Сумгаите, в Фергане... Обыкновенный фашизм. Защищай свои права гражданина Советского Союза, защищай права своих детей. Если ты промолчишь — тебя раздавят".

94

Но не эти патриоты Союза влияли на трагический ход событий. 16 января 1991 года в ответ на трусливую и неумелую попытку Москвы дать отпор литовским националистам (история с телецентром) в "Литературной газете" были опубликованы зловещие слова Джорджа Буша: "События, подобные происходящим сейчас в прибалтийских государствах, угрожают отбросить назад или, может быть, даже повернуть вспять процесс реформ, который столь важен для мира и создания нового международного порядка" (разрядка моя. — С. К.). В том же номере "Литгазеты" мыслям американского президента угодливо вторили наши вчерашние интернационалисты Давид Кугультинов, Федор Бурлацкий, Тенгиз Буачидзе, Ростислав Братунь, Янис Петерс.

* * *

Басмаческое движение было окончательно подавлено властью Москвы лишь к середине 30-х годов. А всего лишь через 30 лет я, бродивший с Эрнстом Портнягиным в геологических маршрутах по самым глухим урочищам Тянь-Шаня, без страха мог подойти к темнолицым чабанам, попить чаю у костра, перемолвиться двумя-тремя словами, улыбнуться, пригласить их в наш палаточный лагерь.

Однажды в урочище Чош я увидел возле тропы чью-то могилу-мазар, увешанную цветными матерчатыми лентами, и спросил нашего проводника Гафура, кто здесь похоронен. Он ответил мне с печальным спокойствием: "Один знакомый басмач, убитый в тридцать втором году. Из нашего рода..."

...Мы разбили свой геологический лагерь в южном Таджикистане и после двух недель трудных маршрутов решили отдохнуть и отправились на лошадях поглядеть высокогорный кишлак Гелен.

Горные склоны вокруг Гелена были разрезаны ровными полосами, словно разлинованы. Это — система древних арыков, дожившая до наших времен. Местные жители говорили, что кишлаку восемьсот лет, — может быть, и больше. Чайханщик Изатулло, который не раз заворачивал на ишаке к нам в лагерь передохнуть по пути из райцентра и осушить пиалу-другую чаю, клялся, что через сай, где мы поставили палатки, проходили войска Александра Македонского. Действительно, где же им было еще идти? Другой дороги и нет просто.

— А откуда же у нас рыжие дети? — доказывал он свою

95

гипотезу. — Конечно, какие-то греки, которым воевать надоело, остались в нашем кишлаке. Вот от них и пошли рыжеголовые геленцы!

Дети самого Изатулло — черноголовые, любопытные, глазастые. Они частенько проезжали мимо нас на длинноухих замшевых ишачках—кто с вязанкой дров, кто с охажкой сена... Даже самые маленькие, пяти-шести лет, работали с утра до вечера: все чего-то собирали и, как муравьи, тащили в кишлак. — Летом работать много надо! — говорил Изатулло. — Дров на зиму запастись, сена... Зима наступит — никуда не вылезешь. Полгода сидим в кишлаке, полгода кушать надо. Свадьбы играем. Мужчины—кто охотится, кто ножи делает — печакки таджикские. — Он показал свой нож с богато инкрустированной ручкой.—А женщины шерсть прядут да вышивают... Из-за поворота показался Гелен. Он висел на склоне хребта, словно громадный кус надломленных пчелиных сот. Его глинобитные дома с плоскими крышами, с высокими дувалами под

вечерним солнцем отливали медовым цветом. Кое-где по линии арыков из этой пчелиной архитектуры возносились к небу зеленые пирамидальные тополя.

Седой краснощекий Изатулло встретил нас, как дорогих гостей, пригласил в чайхану, поставил перед каждым по две пиалы — одна с красным горячим чаем, другая с густыми овечьими сливками.

— Может быть, гости хотят телевизор? Изатулло, желая модернизировать чайхану, привез его на ишаке. Сорок километров... Целые сутки добирался до кишлака, осторожно, не торопясь, чтобы не повредить механизм. Однако горы мешают. Ничего не видно. Только волны бегают по экрану. Но все равно люди чаще стали заходить в чайхану. Глядишь, и попросят включить. Хоть и не видно ничего, а все равно интересно. Но мы отказались смотреть телевизор. Лучше поговорить. Один за другим в чайхану сошлись местные учителя. Их здесь много—двадцать человек. В Гелене из тысячи шестисот жителей—тысяча голов детей! У одного Изатулло восемь человек... В центре кишлака, окруженный пирамидальными тополями, стоял памятник геленцам, погибшим в борьбе с басмачами. Нам захотелось водки, и мы спросили ее у чайханщика. Он принес бутылку и стопки. Мы разлили водку, предложили учителям — те вежливо отказались. Предложили Изатулло. Он тоже мотнул головой:

— Я выпиваю раз в году. Но сильно выпиваю, как русские, —
Девятого мая. Бывает, что и не помню, где и кто со мной

96

разговаривает. А когда меня ругают: "Изатулло, ну зачем ты пьешь? У тебя восемь человек детей! Ты мусульманин, Изатулло! Ты коммунист, Изатулло!" — я вспоминаю, что из моего кишлака в сорок первом году ушли на фронт сорок семь человек, моих друзей, а вернулся я один. И тогда я говорю тому, кто меня ругает: "А пошел ты..." — Изатулло с яростью произнес крепкое русское слово.

Где он сейчас, этот Изатулло? На чьей стороне он был во время гражданской войны 1991 года? Не сложил ли голову, и за кого? За моджахедов или за советскую власть?

А может быть, сидит в цветном грязном халате где-нибудь на московской улице, с ребенком на руках, и просит подать ему монету в темную ладонь. Недавно я встретил одного такого нищего из Курган-Тюбе. Спросил его, почему он приехал в Россию. Нищий таджик ответил коротко: "Все грабят: моджахеды — грабят, правительственная армия приходит — грабит. Куда деваться от голодной смерти? Только в Россию..."

То же самое в начале 90-х мне говорили турки-месхетинцы, которых погромили и сожгли в Ферганской долине и которых не пустила на землю пращуров, где когда-то они жили, демократическая Грузия. Я тогда даже стихотворение написал и о них, несчастных, и об их последней надежде — оклеветанной России.

Шовинистическая Русь,
Не убивайся и не трусь:
Покамест турки и абхазцы
Стремятся под твое крыло —
Тебе не надобно бояться,
Что ты — есть мировое зло.
Гляди, как подползает пламя
К извилинам твоих границ...
Терпи и стой, чтоб воля злая,
Вся выгорев, склонилась ниц.

...Долина прорыва (геологический термин) вывела нас на зеленый луг, посреди которого сверкало небольшое озеро. Отвесные скалы окружали его, придавая этому уголку загадочный и угрюмый вид. Две глинобитных хибары на берегу, корявая ветла. Пепелища. Закопченные казаны и чайники. В хибарах запах тлена, пыли и грязных лоскутных одеял... Здесь давно никого не было. Это — святое место. Хаус Мордан. Возле

большого камня на берегу озера — груда козлиных рогов, остатки шкур, застарелый запах крови. Чуть поодаль — ограда из камней. Я бросил на нее взгляд и вздрогнул: из камней насыпи в центре ограды торчали две палки, к

97

которым были привязаны кисти рук. Подойдя поближе, я понял, что эти кисти вырезаны из ржавого кровельного железа... Языческий культ огнепоклонников, каким-то чудом сохранившийся в горном краю.

Камень... Вода... Пепел... Истлевшая кровь... Могила... Аскетические и простые приметы, связующие древние времена с сегодняшним днем. Видимо, здесь когда-то собирались из местных деревень служители культа — только какого? Даже не мусульманского, а более древнего. О чем они здесь говорили и с какими заклинаниями опрокидывали на землю баранов, загибая им головы и поднося к бараньим гортаням острый нож, — о том никто, наверное, толком не знает.

Мне стало не по себе от запаха полусгнивших одеял, тлена, ржавых кистей, привязанных к палкам...

К вечеру мы возвращались в лагерь другой дорогой—через крохотный кишлак Чош. Всего несколько глинобитных хижин с хозяйственными постройками. Каждое хозяйство окружено плетнями из хвороста. Восемь месяцев в году люди живут отрезанные от всего мира снегами, лежащими на перевалах. Возле калитки на траве сидели два таджика. Молодой и старый. Проезжая мимо них, мы, не слезая с лошадей, прижали руки к груди и хором произнесли: "Салам!". Они ответили нам тем же приветствием, но тут же мы услышали за нашими спинами их горячий спор, переходящий в ссору.

Я спросил студента из Душанбе, проходившего в нашей партии практику, о чем они так громко кричат.

—Плохо понимаю, язык у них какой-то странный. Но вроде вот из-за чего спорят. Вы не заметили девочку за плетнем — она нас разглядывала? Так вот, один — ее отец, а другой — жених. Жених говорит, что не имеет она права глядеть на других мужчин, потому что она—его невеста. А отец отвечает, что имеет, потому что не весь еще калым жених выплатил ему. ...Я оглянулся: девочка стояла на крыше сарая. Она была в красных цветных шароварах, в тубетеечке, ее черные волосы были заплетены в десятки мелких сверкающих косичек. Она с любопытством, вращая глазенками, глядела нам вслед, не слушая мужчин, продолжавших свой спор.

И это общество, в котором рядом друг с другом жила семья советского солдата Изатулло и семья чуть ли не из каменного века, где чеченцы разделены на тейпы, где торгуют людьми и танцуют на своих сборищах древний ритуальный танец, — академик Андрей Сахаров с Горбачевым и Елена Боннэр с Галиной Старовойтовой хотели заставить жить в "правовом"

98

"демократическом", "рыночном" пространстве Европы?! Слабоумные...

Писатель Фазиль Искандер в одном из интервью с некоторым смущением признался как бы от имени "честных" соратников-демократов: "Мы не ожидали, что смена общественной формации приведет к крови..." Чего в этом признании больше — глупости или наивности, — сказать трудно. Они, "инженеры душ человеческих", мыслители и творцы, гуманисты и "прорабы перестройки", видите ли, "не ожидали". А чего же вы ожидали, господа? Вы что, не знаете вечную и непреложную истину истории: то, что создается и укрепляется кровью, то и разрушается только той же силой, той же теплокровной энергией. Все, что создано при помощи жертв и жертвоприношений, разрушается точно такими же путями. При какой температуре рождается атомное ядро — лишь при той же оно может быть разъято и разрушено. Иного не дано. Это как бы отражение в человеческой истории вечного природного закона сохранения материи и энергии или освобождения материи и энергии того же рода и качества, которые были заложены во время рождения либо кристалла, либо государства, либо социального строя...

Не только трудом и духом, но и кровью спланивалась на протяжении веков

Российская империя, но отворили ей жилы в 1917 году, и потоки впитавшейся в ее фундамент крови омыли нашу грешную землю от Бреста до Владивостока...

Кровью была спаяна Югославская Федерация, а ныне ее куски дрейфуют, сталкиваются и отторгаются друг от друга в бушующих кровавых потоках. Железом и кровью было достигнуто невольное мирное единство Северного Кавказа, и вот уже несколько лет на наших глазах оно размывается горячей соленой влагой.

Вечный простой закон, понятный любому человеку, хоть немного думающему о последствиях своих слов и поступков... Любому, но не нашим прорабам духа и мародерам перестройки. Вольным или невольным провокаторам эпохи. "Мы не ожидали", — с недоумением пожимают они плечами, когда до них доходит, что за годы столь желанных для них перемен на просторах страны насильственной смертью погибло почти триста тысяч людей, что по России бродят миллионы беженцев, что мы недосчитались за эти годы нескольких миллионов неродившихся детишек...

А горы Тянь-Шаня и Памира, где шестьдесят с лишним лет тому назад ручьями лилась кровь басмачей-моджахедов? В отместку за разрушение порядка, покоящегося и на их костях,

99

таджикская сухая земля сегодня впитала в себя кровь чуть ли не ста тысяч своих заблудших сограждан. И писатели тоже были творцами и соавторами всенародной трагедии. Помню, когда с геологами я бродил по тропам Тянь-Шаня в шестидесятые годы, то не раз встречался в тенистом саду Союза писателей в Душанбе с тихим, застенчивым молодым человеком — поэтом Бозором Собиром, проникновенным лириком. Я переводил его стихи, в которых таял умиротворяющий зной осени в Рамидском ущелье, тянулись к холодному небу дымки чабанских костров, шумели желтогривые памирские реки. Потом мы не раз встречались в Москве, в Дубултах, в Пицунде... И вдруг в 1990 году я с ужасом узнаю, что мой Бозор стал одним из уличных вождей националистической черни, выходит на митинги, произносит речи и пишет о том, чтобы русские пьяницы убирались с его земли, а свои дома и квартиры отдали бы угнетенным и обездоленным таджикам. А рядом с ним в первых рядах возбудителей народного гнева носится, как фурия, бывшая любимица таджикского партийного и комсомольского истеблишмента поэтесса Гульрухсор Сафиева. Черноволосая Гуля. И тоже призывает изгнать русских с древней земли фарси. А чем же все это кончилось? Таджикская оппозиция терпит поражение, и проигравшие свою гражданскую войну Бозор Собир и Гуля ищут спасение и прибежище в России, которую они так страстно проклинали в 1990 году... Где-то и сейчас болтаются в Москве в заслуженной ими роли политических эмигрантов.

В краю, где синева лилась
в мои глаза с хребтов Гиссара,
там нынче разгулялась власть
кровапролиться и пожара.

Без страха я бродил в ночи
по кишлакам Каратегина
и засыпал под шум арчи
и под молитву муэдзина.

Империя! Я твой певец,
не первый, но и не последний.
Я видел, как тяжел венец
твоей судьбы тысячелетней.

Твоя мистическая власть,
твои шоссе, твои проселки —
во мне...

Когда ты взорвалась,
то — в душу все твои осколки!

100

Сожмись, чтоб не иссякла кровь,
чтобы свернулась от зажима...
Клиническая смерть? — И вновь
заводится твоя пружина.

Стихи 1991 года, в которых еще теплились какие-то мои
иллюзии.

* * *

Ей-Богу, с нашими российскими тюркоязычными, угро-финскими, монгольскими, поволжскими народами и племенами нам в роковые годы перестройки было уживаться как-то легче, понятнее, надежнее, нежели с народами, некогда имевшими свою государственность, затем потерявшими ее и все-таки мечтавшими о ней, сохранившись "за гранью дружеских штыков". Помню, как Шота Нишнианидзе однажды сказал мне с печалью, что были времена, когда великая Грузия во времена царицы Тамары была в Закавказье похожа на тигра, а сейчас она всего лишь навсегда котенок... Нет, вирус государственности и независимости, однажды попавший в кровь нации, бессмертен.

Другое дело племенное сознание. Мой друг охотник Степан Фарков, живущий в таежном эвенкийском селении, так выражал его сущность, размышляя о своем соседе: "Ну ён русский, хотя и мать у него эвенка..."

В 1958 году Ярослав Смеляков прочитал подстрочные переводы стихотворений студента Литературного института Дондока Улзытуева и впал в такой восторг, что серьезно решил напечатать эти подстрочники, так сказать, в "натуральном виде", настолько они "сочились" и дышали поэзией. Правда, в конце концов "Пятнадцать песен" все-таки были переведены поэтом Евтушенко и увидели свет в журнале "Дружба народов". Таким блистательным был дебют Дондока Улзытуева в Москве...

К югу от Улан-Удэ в окруженье бескрайних бурятских степей и плавных холмистых возвышений, на берегу небольшой речушки стоит древний бурятский улус Шибертуй. Здесь прошли детство и юность поэта, здесь до сих пор живут его родные.

А когда я бродил босиком
по крутым берегам Шибертуя,
и за радугой бегал бегом,
и свистел, подражая синицам,
молчаливый старик Шойсорон
повстречал мою мать и промолвил:
— Либо станет сказителем он,
либо просто чудным человеком.

101

Я перевел за годы нашей дружбы три книги его стихотворений. И это всегда была радостная работа.

...Мы прощались ветреной осенней ночью на рокошущем аэродроме Шереметьево. Ветер трепал черные волосы Дондока, хлопал полами плаща... Объявили посадку.

—Я жду тебя,—сказал он мне.—Будем ходить по Бурятии пешком, от улуса до улуса. Никаких машин. В крайнем случае на лошадях. Спасибо за книгу!

Много раз приглашал он меня в Бурятию. Много раз собирался я приехать к нему. В его степи. В его Шибертуй. Чтобы понять, откуда взялся поэт, который может петь, как птица, и рассуждать, как философ, одновременно. Даже в маленьком восьмистишии:

Там, где раскинул Хилок берега,
тянется к небу гора Хайранга.
С другом, навеки живущим во мне,

ныне встречаюсь только во сне.
Вижу — как трубка, дымится гора,
вижу улыбку твою, как вчера.
Вижу сквозь дымку улыбку твою,
истину в близких чертах узнаю...

Через какое-то время после его отъезда я получил из Улан-Удэ письмо:

"Мой дорогой европеец!

Уже несколько дней сижу на берегу. Много раз проштудировал книгу Керама "Боги, гробницы, ученые", которую ты подарил мне прошлой осенью. Книга заворожила меня, взбудоражила всю душу, без того беспокойную. В детстве я копался в могильных курганах и находил разные штуки, которые мать повелевала выбрасывать вон. А сейчас я понял, что выбрасывал бусы из драгоценных камней, драгоценные украшения, не только ценности вообще, но и ценности археологические..."

Много раз сидя у меня на кухне за бутылкой вина, под традиционным буддийским знаком, оберегающим дом от сглаза и от злых духов (знак этот Дондок начертил на стене во время одного из застолий), мы вели жаркие споры о прошлом и будущем наших народов, о судьбах России и Азии, о кровной и духовной связи, сложившейся между нами в незапамятные времена... Как хорошо говорил Дондок обо всем этом, с каким напряжением и вдохновением глядел в книгу истории, читая, а порой угадывая, что в ней написано! Но продолжу его письмо.

102

"...Под таинственными холмами моей земли лежат бесчисленные богатства. Ведь буряты — пришельцы на этой земле. Некогда на ее просторах процветала великая цивилизация какого-то народа, который в период ледников ушел неизвестно куда, может быть, на юг, может быть, к берегам Тихого океана и дальше на бесчисленные острова. Кто знает, те ацтеки, или тельтеки, или майя — может быть, это потомки тех, кто благоденствовал некогда на теплой земле Сибири?..."

Да не прочтут пристрастно и ревниво ученые-историки эти отрывки из письма, потому что если все и не так в свете науки, то кроме ее света есть свет поэзии и той любви к земле и человечеству, который живет в словах Дондока Улзытуева.

"...Зачем ты занимался спортом? Зачем читал книгу Керама? Может быть, ты готовился выкопать и открыть неизвестную поныне цивилизацию, а может быть, тебе угодно было найти и вытащить на свет божий могилы Чингисидов?..."

Не раз он говорил мне о том, что у бурят есть обычай бросать в речные воды статуи золотых и серебряных божков, словно для того, чтобы доказать, что не материальные символы, не предметы жизни и быта связаны с человеческой сущностью, а нечто непреходящее, что запечатлется навеки в песнях, мифах, легендах и живет даже тогда, когда и народы и цивилизации рассыпаются в прах под напором времени. А когда я спросил его, почему никому неизвестно, где же эти могилы, почему остались только предания и имена, он ответил мне приблизительно так:

— Чингис, уверивший своих подданных в том, что он сын неба, должен был сделать все, чтобы люди поверили, что после смерти он взят на небеса, а потому и нельзя было ему оставить свою могилу на земле... Культ личности на самой последней ступени, отвергающий земное поклонение — пантеоны, гробницы, мавзолеи! Как он это сделал? Как ему удалось истребить после своей смерти всех, кто мог знать, где его могила, — остается только гадать!.. А может, они сознательно забыли, где его могила, чтобы никого из живущих на земле не охватила жажда повторить кровавые деяния Чингиса? Как ты думаешь, мой русский брат?

"...О! И вдруг является чужеземец из страны, которая лежит в многих днях пути отсюда, и направляется прямо к нужному месту. Он берет палку и проводит линию: одну — сюда, другую — туда. "Здесь, — говорит он, — находится дворец, а там ворота", — и показывает нам то, что всю жизнь лежало у нас под ногами. "Откуда

узнал ты об этом —

103

из книг? С помощью волшебства или тебе помогли твои пророки? Ответь мне, о белый человек из страны теней. Открой мне секрет твоей мудрости!"

Вот какими словами—то серьезными, то шутивными умел он беседовать с прошлым и будущим!

Послание заканчивалось так: *"Жду тебя, бледнолицый брат мой, жду не дождусь, когда ты появишься в этих краях. Ведь недаром ты носишь фамилию баев, о великий Кунихан. Берите заступы и мудрые приборы, белую бумагу и пишущее чудо и снизойдите на обетованную землю моих предков! Кстати, где моя книга под названием "Большой перевал"? Не забывай об операции "С"..."*

Твой Дондок сын Улзытуев".

Однажды я сказал ему:

— Дондок—ты замечательный поэт, ты себе цену знаешь, и я знаю ее. Но подумай — зачем беречь драгоценности в земле? Надо, чтобы люди знали о твоей родине, о ее прошлом и настоящем, о ее месте в семье человеческой. Ты один из тех, кто может познакомить мир с бурятской душой. Но учти, что мы живем в двадцатом веке, во время печатного слова, радио, телевидения, в эпоху массовой культуры. Не пустить ли нам твою поэзию на ее мельницу? Давай сделаем тебе прививку благородного честолюбия и начнем погоню за славой. — Прекрасно! — воскликнул мой друг. — Надо уходить от степного одиночества и мне. Заключаем союз, а операцию по добыче славы зашифруем под кодом: операция "С"!..

Все мы сделали правильно: убедили друг друга во всем, составили планы, договорились, где, что и когда издавать (конечно, в большой степени все это было шутовой игрой!), да время распорядилось, как всегда, не по-нашему, а по-своему. От степного одиночества поэт ушел. От личного человеческого ему уйти не удалось...

Передо мною лежат несколько светло-зеленых школьных тетрадей, в которых Дондок записывал свои мысли и стихи, когда последние годы жил в старом домике в поселке Боярском, слушая шум ветра, роют байкальских волн да перестуки редких поездов как напоминание о том, что время не стоит на месте. На первой странице тетради перечисление предметов, которые почему-то и как-то волновали его. Целый столбик слов, обозначающих что-то жизненно важное и необходимое для человека: "печь", "окна", "пол", "потолок", "лось", "звезды", "хлеб", "цветы", "снега", "третья встреча", "вино", "прощанье"... Зачем

104

ему нужно было их перечислять? Чуть пониже — две скрещенных компасных стрелки, в окружности — указания стран света. Рядом в квадрате, нарисованном чернилами, названия четырех ветров: "баргузин", "сарма", "култук", "шелоник".

Слова эти — словно бы вехи, затеси на деревьях, которые делает таежный охотник, чтобы не сбиться в тайге с дороги, чтобы вернуться обратно — к дому, к родным, к жизни, к истине.

Дальше мелким почерком с исправлениями, зачеркнутыми словами и фразами идет текст подстрочного перевода:

Сын бескрайних степей и дремлющих курганов,
я шел всю жизнь к другому простору, Байкалу.
Долог был путь — обошел города и горы,
через море слов и снов пришел к тебе, море.

В черновиках этих стихотворений я вижу, как Дондок всей своей творческой волей хочет вечные мысли соединить с жизнью, не дать им разрушить все земное, что связано со словами "дом", "хлеб", "цветы"...

"Под звездами с Байкалом наедине я говорю на их языке. Большая Медведица —

Семеро старцев, сколько вам лет? Сколько лет эти звезды в небе гадают о твоих судьбах, Байкал?" Но задавать такие вопросы — дело нелегкое для души человеческой, потому что не ответит она на них, а только охладает от бессилия и потеряет вкус к огню, к хлебу, к теплой земле, потому и бежит мысль Дондока по школьной тетрадке в линейку обратно к земным очагам и человеческим ценностям: "Избушка на берегу обрыва. От ветров и дождей почерневшие кедровые бревна. Полсотни лет тому назад ее срубил и поставил молодой обходчик с Урала..."

Так я и не побывал в этой избушке. А жаль... *"Мэндэ, мой широкоглазый!*

В последнее время я хотел написать что-то вроде "Великого сеятеля земли" М. Алексеева или "Мой Дагестан" Гамзатова. Очень отрадно, что не пытался все это излить в стихах; тогда — о Будда, от моего "Я" не осталось бы ничего, кроме глупой толстой оболочки навряд ли истертого баллона без камеры. Когда выйдет книжка, вышли несколько экземпляров срочно. Во время светлейшего писательского съезда держи себя загадочно, будто знаешь нечто такое, чего никто из них не знает. Надо бы немного еще напечатать стишки в центральных изданиях, продолжая операцию "С". Подстрочники будут. Готовься к лету.

Дондок".

105

Помню его рассказ о том, как буряты шли через тайгу в Петербург к Петру Великому на берега Последнего Моря — так они с незапамятных времен называли Балтику; как вела их сквозь тайгу знаменитая шаманка, и когда от голода и невзгод она умерла на полпути, то превратилась в птицу и продолжала, летя впереди, указывать путь своим соплеменникам. "Она была из рода Улзытэ", — закончил он. Слушая его, не хотелось разбираться в том, где правда, а где легенда, потому что все объединялось воедино его поэтическим даром.

Как-то он привез в Москву свою мать — маленькую сухонькую старушку — и сразу повел ее в Мавзолей.

— Ты знаешь, — сказал он мне, — она поглядела на Ленина и говорит: "Я сразу его узнала!"

Однажды на каком-то литературном празднике мы с Дондоком очутились рядом за столом. Проходило оно под открытым небом за сколоченными из свежих досок длинными столами в одной из бурятских деревень. После нескольких тостов буряты, зная, что Дондок ведет свою родословную от древнего шаманского рода, предложили ему погадать на бараньей лопатке.

Дондок, вглядываясь в линии, начерченные природой на кости, стал медленно предсказывать будущее:

— Дожди будут падать на ваши луга вовремя, и тепло вовремя будет приходить к вам... Стада ваши будут хорошо размножаться. Мужчины будут сильными, а женщины верными своим мужьям...

После каждой его фразы прокатывался гул одобрения.

— Дети ваши будут здоровыми, а семьи — многолюдными. Когда под радостные возгласы он закончил ритуальный обряд гадания, я потихоньку спросил его:

— Дондок, ты действительно умеешь гадать или наговорил от фонаря все, что пришло в голову?

Он повернул ко мне свое широкое лицо с улыбающимся ртом и грустными узкими глазами.

— Я действительно умею гадать. Бабка научила. Только, — он еще более сузил глаза, словно скрывая от меня их выражение, — как говорит баранья лопатка, многое из того, что я здесь вещал, случится наоборот.

Несколько раз я слышал от него мрачные и тревожные предсказания относительно будущего:

— Конец века, — говорил он еще в начале семидесятых, — будет отмечен яростными взрывами национализма, — и задумывался, впадая в длительное молчание.

В 1996 году Бурятия скромно отметила 60-летие со дня рождения Дондока.

106

Обещали пригласить на праздник и меня. Но не получилось. У целой республики не хватило денег, чтобы оплатить мне билет на самолет от Москвы до Улан-Удэ... Сбылось предсказание поэта, что "многое случится наоборот".

Ты умер, мой милый язычник
с монгольским строением глаз.
Крапива и тысячелистник
толкуют с тобою сейчас.

Ты вовремя, мой евразиец,
растаял в туманной дали,
ты счастлив не зная — что с Россией,
последней надеждой земли.

Раздумывая о глубочайших и древнейших взаимоотношениях русского народа с тюркскими племенами, живущими за Великим Уральским хребтом, я написал в 1977 году весьма либеральное стихотворение "Всесоюзная перепись".

На Тунгуске перепись идет,
и тунгус, что записался русским,
малой каплей влился в мой народ,
оставаясь зернышком тунгусским.

Русь моя! рождаемость низка,
но, как чудо, что в тебе исконно,
нынче ненца, завтра комяка
ты в свое усыновляешь лоно.

Испокон ведется на Руси:
власть грешит, а каяться народу,
потому, калмык, меня прости
за свою былую несвободу.

Лес рубили, сыпалась щепка,
иссякал запас добра и сердца,
потому горчит моя судьба
горечью изгнанника чеченца.

На Тунгуске перепись идет,
и тунгус, что русским записался,
в многокровный русский мой народ
влился, но самим собой остался.

Коль посылно платят за добро,
то как племя, думаю, не сгинут,
и еще достоинство одно:
никогда отчизну не покинут.

107

Словом, будь "всяк сущий в ней язык"!
Но, коль не хватает русской плоти,
выручает "друг степей калмык", —
изучите перепись — поймете!

Стихотворение было напечатано в "Литературной газете". Реакция одного из

проницательных читателей оказалась моментальной.

"Уважаемая редакция!

В 21-м номере газеты за этот год была опубликована подборка стихов поэта С. Куняева, чтение которых вызвало у меня, мягко говоря, недоумение. Стихотворение, которое послужило основной причиной появления этого письма, называется "Всесоюзная перепись" и посвящено тому факту, что при переписи тунгусы и ненцы записываются русскими.

Сложный и неоднозначный факт, который может и должен стать предметом исследований ученых-социологов, у поэта вызывает восторг. И далее он объясняет — почему. "Русь моя, рождаемость низка!" Вот, оказывается, в чем дело. То, что происходит снижение рождаемости среди украинцев, белорусов, прибалтийцев и многих других народов нашей страны, его нисколько не волнует. Также не придает он значения и таким фактам, как национальный характер, национальные традиции, национальная культура и т. п. Главное — количество! Следующее четверостишие начинается так:

*Испокон ведется на Руси:
власть грешит, а каяться народу...*

Вряд ли правомерно под одну черту подводить деятельность властей от древней Руси до наших дней. А, по С. Куняеву, получается именно так. Далее следует:

*Коль посильно платят за добро,
то как племя, думаю, не сгинут,
и еще достоинство одно:
никогда отчизну не покинут.*

Значит, если ты молдаванин, узбек, латыш или представитель любой другой нации или народности, населяющей нашу страну, никакой гарантии в этом вопросе нет. Если ты в паспорте русский, тогда все в порядке. Не знаю, чего здесь больше: умысла или недомыслия. Хочу спросить С. Куняева: из кого же состояли полтора миллиона

108

эмигрантов, которые покинули страну после Октябрьской революции, или десятки тысяч предателей и пособников оккупантов, которые бежали из страны с гитлеровской армией? Разве среди них не было русских? Решать сложную демографическую ситуацию таким примитивным и странным способом, который предлагает С. Куняев, вряд ли возможно. В заключение хочу сказать: одно дело, когда такого рода поэтическая продукция, прямо скажем, с националистическим душком, появляется в каком-то поэтическом сборнике, выходящем тиражом несколько десятков тысяч экземпляров, и совсем другое, когда она публикуется на страницах издания, имеющего десятки миллионов читателей. Не имея в виду поучать редакцию, что ей следует печатать, а что нет, позволю себе высказать сожаление, что на страницах столь уважаемого и любимого мною издания появились такого рода стихи.

С уважением

*Наймарк Эммануил Аронович, 46 лет,
заместитель начальника
лаборатории одного из московских НИИ".*

Вот каких крупных демагогов в должностях зав и замзавлабов, будущих вождей перестройки (старовойтовых, шахраев, бурбулисов), вырастило наше время в недрах всяческих НИИ уже к середине 70-х годов. Ответил я ему холодно и резко:

"Уважаемый Эммануил Аронович!

Смысл последнего стихотворения в том, что понятие "русский" не только кровное, но и духовное. Ибо "Россия" — это не просто страна, но целый мир.

Вы требуете от меня, чтобы я изучил, как обстоят дела у прибалтов, белорусов и т.

д. Но я себе такой задачи не ставлю: нельзя объять необъятное, и поэт пишет лишь о том, что близко ему и его сердцу. Вы неправильно толкуете мои строки: "И еще достоинство одно: никогда отчизну не покинут".

Не покинут они не потому, что записались русскими, а потому, что остались своей частью тунгусами, эвенками, то есть Ваша попытка здесь ухватить меня за великорусский шовинизм — неудачна. Наоборот, я здесь приветствую их "чукотский" или "эвенкийский" прирожденный патриотизм, который никогда не отпустит их с родины и которого нет, допустим, у евреев, у той их части, что добывается массового выезда и т. д.

109

Здесь, по-моему, тунгусы и эвенки — выгодно отличаются от них, и мое сердце и чувства с ними. А то, что они записались русскими — это лишь дополнительная помощь этому патриотизму.

Что же касается полутора миллионов эмигрантов эпохи гражданской войны, русских, о которых Вы пишете, ну что тут сказать? Надо отличать все-таки действия и решения человека, покидающего родину, потому что ему грозит смерть в застенках еврейского ЧК, от инженерушки, уезжающего в погоне за более высоким уровнем комфорта.

До свидания. Ст. Куняев"

Но многое из нашей национальной жизни к тому времени уже было искажено настолько, что я чувствовал — добром такое положение не кончится, поскольку отравленные семена "интернационализма по Наймарку" давали все-таки свои уродливые всходы.

В 1988 году "Литературная Россия" напечатала размышления якутского писателя Софрона Данилова о наших национальных делах. Данилов был озадачен тем, что слишком рьяно взбивается пена вокруг национального вопроса, и вспоминал о том, что на фронте никто этой проблемой не болел, никто не интересовался, кто есть кто по национальности. Через сорок пять лет оставшиеся в живых фронтовые друзья встретились на берегу Лены.

"Когда говорил о себе участник войны, политработник и геолог Алеша Крамаренко, его закадычный друг Вася Колмогоров удивленно воскликнул:

— Да ты, оказывается, украинец. А я-то думал, ты просто Алеша Комар.

Не один он, Вася, видимо, так думал. Мы, дети разных народов и народностей, жили одной дружной семьей... И вот во время той встречи на берегу Лены с благодарностью подумалось: как хорошо, что нам до войны не вдолбили, кто какой национальности, и мы до сих пор остались друг для друга просто Васями, Алешами, Толями и Мишами!"

Я с горечью прочитал эти строки. Как могло случиться, что "закадычный друг" лишь на старости лет узнал об Алеше Крамаренко, что он украинец? Это же не интернационализм, а полное равнодушие к якобы близкому человеку. Подобная точка зрения "вдалбливалась" нам массовой прессой и выдавалась за вершину межнациональных отношений! Примеры чаще

110

всего брались из фронтового и лагерного быта, там, мол, люди не думают, кто есть кто. Но ведь это экстремальные, лишенные полноты и богатства жизни условия! Если ты не знаешь, что твой друг украинец, значит, не знаешь и того, что ему дороги Шевченко и украинская песня, значит, ты от невнимания к национальности и узбеку-мусульманину можешь предложить свинину или иронически отнестись к обряду намаза. В сущности, от непонимания того, что представляет из себя мусульманин-афганец, мы и зашли в тупик в Афганистане с нашей упрощенно понятой идеей "интернационализма". Вместо богатого, сложного, созданного культурой, религией, историей "национального человека" вокруг нас бродили безликие Васи, Алеши, Толи, Миши... Вот к какому интернационализму привела нас попытка тотальной денационализации страны, с кровавыми, а в данном случае с бескровными и, что самое страшное, с добровольными жертвами. И, однако, читая дальше размышления Софрона Данилова, я заметил в них одно живое

обнадеживающее противоречие. Приветствуя и воспевая "казарменный интернационализм", якутский писатель одновременно жаловался на то, что "у нас десятилетиями культивировалось пренебрежительное отношение к родному краю. Для обличения тех, кто хоть с малейшей привязанностью высказывался о родном аласе, колхозе и районе, было выдуманно уничижительное словосочетание "аласный патриотизм". А вот что писал Данилов о языке: "Приехавшие погостить летом из города в деревню юноша и девушка разговаривают со своим дедушкой или бабушкой через переводчика".

Читаешь и думаешь: как будто две ветви выросли из одного мэрия; одна ветвь—сухая, бесплодная, обескровленная, другая— живое, кровное чувство. В одном человеке, не знающем, как свести концы с концами. Но самое драматическое место в размышлениях Данилова таково. Он горестно недоумевал, почему его внук говорит деду: "Я не хочу быть якутом..." И тут горестное чувство пронзает сердце писателя. Однако все логично: круг сверхчеловеческого возмездия, которое приходит к нам, по мысли Блока, в лице наших потомков, замкнулся. Ты не хотел знать, что твой закадычный друг украинец, а твой внук не хочет быть якутом. Подобный взгляд в наше время усиленно пропагандируется "интернационалистами" то как призыв вычеркнуть из паспорта графу "национальность", то как предложение воспитывать детей так, чтобы они вообще никакого понятия о национальности не имели.

Чтобы показать, насколько мои выступления о сложностях

111

национальной жизни встречались в штыки представителями "малого народа", но одобрялись северо-кавказской и тюркоязычной интеллигенцией, приведу еще несколько примеров из писем, полученных мною в те годы.

В 1987 году я выступал на пленуме Союза писателей СССР и сказал, в общем-то, простые истины о том, что каждый народ, каждое племя имеет право заботиться о жизни и развитии своего языка, что дети каждого народа должны начинать познание мира с познания своей культуры, и что называть такое положение дел "национализмом" — бюрократическая глупость. Словом, я сказал все то, о чем думал, когда читал горькие сетования на судьбу якута Софрона Данилова.

В ответ на мое выступление неожиданно для меня самого посыпалась гора писем. Больше всего из Казахстана, который в 1986 году был первый потрясен алма-атинским бунтом.

"Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

Я Ваша духовная сестра, хотя бы по проблеме тех, кто "в русском одеянии " (я их называю "советскими гражданами ").

Благодарю Вас за яркое, искреннее выступление на пленуме! Стихи в "Литгазете" очень по мне (стихи, вызвавшие раздражение Наймарка. — Ст. К.).

Хотелось бы мне многое рассказать Вам и о наших проблемах, но пока молчу.

Шлю Вам свои книги, чтобы Вы имели представление о моем творчестве.

Искренне — Фариза Унгарсынова "

"Дорогой Станислав!

Я очень доволен Вашим выступлением на пленуме правления Союза писателей СССР. Благодарю за откровенность и честность в оценке взглядов к проблемам русского языка. Я родился, вырос и получил среднее образование в отдаленном казахском ауле. Даже после окончания казахского отделения факультета журналистики в г. Алма-Ате я на русском свободно не говорил. Но моя цель обеими языками овладеть, знать их до тонкостей, мыслить, говорить и писать и на казахском и на русском.

Без русской культуры не было бы Абая Кунанбаева, Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина. Само слово "советский народ " для меня имеет особое значение. Я в своих даже самых обыкновенных статьях это слово никогда не писал хладнокровно.

112

Работаю заведующим отдела пропаганды Актюбинской областной газеты.

С уважением Серик Жолдыбаев. 31.V.1987 г."

"Дорогой Станислав Юрьевич!

У меня недавно умер дядя (мамин родной брат). Поминки в наших горах—это очень тяжёлая обязанность. По суровым законам гор они отнимают не меньше сил, чем свадебное торжество.

Я была в горах, поэтому не смогла Вас поздравить с присуждением Государственной премии РСФСР. Она Вами давно заслужена. Я очень рада за Вас!

И вот, прочитав очередное нападение на Вас Е. Евтушенко, решила, хотя и с опозданием, поздравить Вас и сказать, что это Ваша большая победа — в такой обстановке стать лауреатом. Вы очень мужественный человек, такие примеры очень нужны сегодня и мне. У нас есть пословица: "На бесплодное дерево камни не летят".

Летят они и на меня день и ночь. Поэтому Чингисхану дагестанской литературы (речь о Расуле Гамзатове. — Ст. К.) удалось и во время перестройки преподнести себя жертвой прошлого.

Если бы Вы могли себе представить, что у нас здесь творится. Ежегодно уже в течение 25 лет от всего издательского гонорара он получает тут 70%. Каждый год у него на авторском языке выходит по 3 книги объемом 15 авторских листов, 8 авторских листов и по 30 авторских листов произведений переизданных, не говоря о Москве. Ужас, когда же наконец у нас в Дагестане установят в этом вопросе Советскую власть..."

Письмо было от известной поэтессы Фазу Алиевой.

В культурно-издательской политике советского государства было два как бы взаимно исключаящих перегиба.

С одной стороны, ветер бюрократического казенного интернационализма естественным образом выветривал и разрушал жизнь языка и систему национальных школ, ассимиляционные процессы заходили столь далеко, что порождали глухой отпор и сопротивление национальных сил так называемой русификации. С другой — центральная власть, чувствуя этот свой интернационалистический первородный грех, бросала громадные средства и силы на всяческого рода

113

декады, юбилеи, а также на демонстративно чрезмерное количество изданий (особенно на русском языке) известных и малоизвестных, а подчас и вообще никому не нужных писателей и поэтов, как бы демонстрируя на искусственной почве другого языка расцвет национальных литератур...

О том, как все это происходило, свидетельствует моя запись из дневника от 20 мая 1974 года:

"В конце апреля был в Таджикистане. Участвовал в нашем всеобщем советско-литературном разврате. Банкеты. Сидение за столами президиума, черные "Волги", дети с тюльпанами вдоль дорог, вой карнаев (медных гигантских труб), хлеб-соль, орехи, колхозники, снятые с полевых работ... Два шута—Кулиев и Кугультдинов плясали, пели, паясничали, целовали ручки партийным дамам". Несколькими годами раньше во время одного из таких шумных и крайне расточительных торжеств я написал желчное стихотворение:

*За банкетом банкет. Три часа
коллектив набивает желудки.
Речи. Тосты. Тяжелые шутки.
Опостылевшие голоса.
В результате казенных щедрот
багровеют тяжелые лица,
раздвигается вширь поясница,
глохнет совесть, жиреет живот.
Даровая еда, как всегда,
вызывает желанье отдачи —
появляется что-то собачье
в благодарных движениях рта,*

оседают ферменты в крови...
Лишь один, чем-то родственный волку,
ест с ухмылкой, твердит поговорку,
смотрит в лес, как его ни корми.
(1966)

Впрочем каждая эпоха расточительна по-своему. Те банкеты хотя бы проходили на фоне мирной и стабильной жизни, а нынешние — куда более богатые! — это же пиры "во время чумы".

Беда была еще и в том, что эта неестественная стабильность достигалась часто за счет всяческого ущемления русских писателей. Сейчас я склоняюсь к мысли о том, что это была хотя и уродливая, но неизбежная плата за существующее положение вещей, но в 1973 году я, желая сдвинуть политику наших издательств "в русскую сторону", проделал колоссальную работу — изучил соотношение поэтических книг, изданных виднейшими поэтами — русскими и национальными —

114

за послевоенные четверть века. Картина выяснилась поучительная. У Расула Гамзатова за эти 25 лет (с 1958-го по 1973 год) вышло в свет 76 книг, из них на русском — 52. У Эдуардаса Межелайтиса — 65, на русском — 25. У белоруса Максима Танка — 53 книги, на русском — 24, у молдаванина Эмилиана Букова — 56 книг, на русском — 29 и т. д.

У каждого из этих так называемых классиков на русском языке к 1973 году вышло изданий в 2—3 раза больше, нежели у Ярослава Смелякова, Леонида Мартынова, Сергея Маркова, которые были значительно старше своих поэтических собратьев из республик. Что уж было говорить о ровесниках!

Сообразив, что здесь позиции "национальных классиков" и стоявшего за ними мощного еврейского переводческого клана весьма уязвимы, я сочинил письмо в отдел культуры ЦК КПСС, где привел почти анекдотические примеры вопиющей диспропорции.

"Подумать только, — писал я в этом письме. — У Сильвы Капутикян вышло 57 книг. Ее переводили такие известные русские поэты, как Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Владимир Соколов, Владимир Корнилов—в общей сложности издавшие все четверо 25 стихотворных сборников. А у Сильвы на русском вышло целых 30! Разве это нормально?"

"У чеченской поэтессы Раисы Ахматовой на русском языке вышло куда больше изданий, нежели у ее всемирно известной однофамилицы".

"У талантливых русских поэтов, которым сегодня от 30 до 40 лет—у Николая Рубцова—5 книг, у Анатолия Передреева— 3 книги, у Олега Чухонцева—ни одной, у Глеба Горбовского — 5 книг, а в то же время (беру поэтов того же поколения) у украинца М. Сынгаевского —13 книг, у белоруса Г. Бородулина— 13 книг, у абхаза К. Ломиа— 13 книг. Разве это справедливо?"

"А какой вздор пишет наша "Литературная газета", когда пытается уверить читателя, что "сегодня С. Вургун и М. Турсун-заде, Р. Гамзатов и Э. Межелайтис оказывают на стихию русского стиха не меньшее влияние, чем Е. Боратынский и А. Фет".

Из литературного дневника. Запись от 15.01.1971.

"Сегодня Семен Липкин в ответ на мои слова о том, что я не хочу заниматься переводами таджикской поэзии, потому что мне это неинтересно, заявил: "А где что интересно? Нигде ничего, в том числе и в первой среди равных. Конечно, какое ему дело до Рубцова, Соколова, Шкляревского, до меня в конце концов. Все, что они ценят во мне — так это

115

интеллигентность и терпимость. А стоило мне в нескольких стихотворениях повторить слово "Родина", как лицо у того же Кронгауза вытянулось. Я же это все помню".

Несколько страниц моего письма были посвящены издательскому беспределу, который насаждался строчкогнонами-переводчиками типа Я. Хелемского, А. Кронгауза, А.

Глезера, А. Наумова, Е. Николаевской, Н. Гребнева, А. Шацкова, Ю. Нейман и прочими русскоязычными ремесленниками, чьими муравьиными усилиями народные и государственные средства перекачивались в баснословные гонорары, становились сотнями тонн бумаги, превращенной в рифмованную макулатуру.

В сущности, это письмо 1973 года было первой моей попыткой вмешаться в большую идеологию. Власти поняли, что я нашел слабое место в нашей национальной политике. В ответ на письмо последовал звонок из отдела культуры ЦК КПСС. Я был приглашен на беседу к Альберту Беляеву (именно тогда я впервые переступил порог этого заведения). Беляев разговаривал со мной уважительно, осторожно, внимательно. Приглядывался. Изучал. Намекал на то, что по существу я прав, но никаких резких изменений в этой практике быть не должно.

Расстались мы вежливо и даже почти радушно. Беляев, видимо, оценил мой государственный подход к делу, но он, наверное, и не подозревал, что в отстаивании русских позиций я на этом не остановлюсь. До дискуссии "Классика и мы", до моего письма по поводу "Метрополя" оставалось всего-то 4—5 лет...

* * *

Кроме православных народов Грузии, Армении, Украины, Молдавии были и другие, вошедшие в Россию в XIX веке при разных исторических обстоятельствах. Иные из них страдали от внешних опасностей, другие — от собственных междоусобиц, и наиболее пронизательные из правителей не без основания надеялись, что эти междоусобицы будут подавлены волей русской власти.

"Мятежи, происходящие в западной части Китая, кои покорены за 75 лет китайцами и населены магометанами, киргизами и частью Большой орды, доходят до ожесточения. Ополчение магометан, ревнующих свергнуть с себя иго Китая, простирается до ста тысяч человек".

Ив. Вельяминов, губернатор Западной Сибири, вице-канцлеру К. Нессельроде

116

"Примете меня под императорский покров свой и будете защищать от соседних врагов моих — киргизцев. Истребите оружием вашим все делаемые киргизцами баранты (угоны скота. — Ст. К.), чтоб в моей власти у находящихся теперь народов господствовало бы спокойство, тишина, законные права и порядки".

Из прошения Казахского султана

старшего жуза Суюка Аблейханова

императору Александру I

о принятии его в подданство России

Вот и до киргизов постепенно дошло мое повествование. И в их землях много раз мне пришлось побывать. Где-то сейчас, может быть в столице, а может быть в своем аиле на просторах Таласа, доживает век мой друг фронтовик Суюнбай Эралиев. Ему уже под восемьдесят. Вместе с ним мы путешествовали по берегам Иссык-Куля, по горным дорогам Таласа. Я жадно вглядывался в незнакомую мне жизнь ослепительного киргизского Тянь-Шаня, стихи в те годы сочинялись легко и вдохновенно, но одновременно в них, независимо от моей воли, каким-то образом появлялись мрачные предчувствия...

Я увидел их с краю базара
в азиатском горячем краю.
Два слепца — неразлучная пара —
начинали программу свою.

Представители странного люда, —
он с гармошкой, кричащей навзрыд,
два слепца... Занесло их откуда?
И она под гармошку хрипит.

Ржали лошади. Солнце палило.
Полукругом толпился народ:
"Муж оставил...", "Жена изменила..."
" "Злая мачеха жить не дает..."

Не спеша кое-как подавали,
потому что киргизы вокруг
то ли плохо слова понимали,
то ли слушать стоять недосуг.

Видно, людям хотелось покоя,
видно, им надоела беда...
Словом, слышалось в этом такое
вымирающее навсегда.

117

И слезились глаза от сиянья
голубой иссык-кульской воды,
от сверкающих гребней Тянь-Шаня,
от отчаянья и красоты.

Таким я увидел русское горе еще в 1964 году на берегу Иссык-Куля, в центре Азии.

Я, как мог, выразил смутную тревогу о русской судьбе, слишком далеко оторвавшейся от своей пуповины. В одном ошибся: предположил, что горе, бедность, сиротство в чужом краю — все это "вымирающее навсегда".

Никто из нас и подумать не мог, что доживет до погромов и резни в Ошской долине, до изгнания русских врачей и учителей из киргизских городов и поселков. Но ведь это же он, Суюнбай, фронтовик, 1922 года рождения, писал стихи о русском учителе Тимофее, приехавшем из Саратова в киргизское село Арал, а я перевел его на русский язык.

С киргизской песней знался Тимофей,
душевно пел киргизские мелодии.
Он уважаем был деревней всей
за то, что прижился на новой родине.

Он сына на киргизке поженил,
а дочь его ушла в семью киргизскую,
и с той поры, конечно, весь аил
стал для него роднёю самой близкою.

Ну не во сне же все это происходило, а в жизни... В 1992 году, в год семидесятилетия Суюнбая, я послал ему письмо, в котором еще теплились последние наивные надежды на возрождение нашего литературного братства.

"Дорогой мой друг!

Протягиваю тебе руку через всю нашу несчастную разоренную страну, через пространства, насыщенные запахом крови невинных людей, через все границы и суверенитеты, через унижения и соблазны, витающие в воздухе густым маревом...

Не за такую жизнь ты, солдат Великой Отечественной, ныне оболганной, как и все святое, проливал свою кровь на полях Украины и России, не о такой расчлененной и полумертвой Державе думал ты, разговаривая в окопах с латышом Петерсонисом, или с рязанцем Яшкой, или с казаком Минбаем — подлинными героями твоих стихотворений... Не о таком будущем думал ты, когда тебя после тяжелейших ранений

118

возвращали к жизни руки сначала русской, а потом грузинской сестры милосердия...

Я вспоминаю наши встречи и разговоры на горячих берегах Иссык-Куля, в Таласской

долине — родном твоём гнездовье, в Москве и в Пскове... Да не счесть всех наших встреч за тридцать лет дружбы, начиная с того дня, когда мы встретились и ты пригласил меня в Киргизию на праздники великого Токтогула... Сколько воды утекло с тех пор!.. И кто мог подумать, что мы доживем до такого черного дня, когда будем жить в разных государствах! Но вопреки всему напряжем нашу волю, распахнем сердца и докажем людям, что пока мы живы — есть нечто более сильное и властное, чем замыслы честолюбцев, митинговые вопли обманутой черни, проекты властителей мира относительно нашей родины... Есть наша дружба, есть наша поэтическая переключка — и пока живы эти чувства, жива надежда на то, что еще вернуться лучшие времена и мы еще обнимемся и слушаем новые стихи, которые мы напишем, сопротивляясь расчленяющей нас силе. Да, мы слабые смертные люди. Но души наши бессмертны и живут в наших стихах.

*Прекрасны вечера в аиле,
когда из синеватой мглы
выходит месяц в юной силе,
вонзаясь в краешек скалы...*

Помню, как на твоей родине мы любовались этим серебряным месяцем.

Знаю, как тяжело тебе сегодня, старый солдат. Ты, один из лучших поэтов своей земли, никогда не гнался за званиями, наградами, орденами, премиями, должностями... Ты беззлобно и спокойно смотрел на братьев, зараженных тщеславием, и с достоинством крестьянина и солдата продолжал свое дело. А я, когда переводил твои стихи на русский язык, радовался на тебя: не разменивает свою душу на мелочи мой друг!

Выстоял ты и дождал до своего серьезного юбилея. Много ли теперь надо поэту? И много и мало. Но главное — остаться верным в наше подлое время самому себе и всему лучшему, что есть в народе. Самое время настало — в тот отрезок жизни, когда твоя голова стала белой, как тянь-шаньская вершина, опереться на выработанные всей жизнью терпенье и мудрость, на любовь к истине и сказать самые главные слова, чтобы они стали завещанием грядущим поколениям твоего племени.

Твой русский брат

119

Но это письмо уже было посланием в прошлое...

* * *

Я никогда не переводил только ради денег. Дело в том, что после первых же моих переводческих опытов меня буквально завалили знакомствами, звонками, предложениями приехать куда моей душе было угодно—в Тбилиси, в Ереван, во Фрунзе, познакомиться с местными поэтами или переводить покойных классиков — Лахути, Токтогула, Галактиона Табидзе, жить на всем готовом в местных Домах творчества или на правительственных дачах. Но нельзя было покупаться на эти соблазны и хвататься, как всяческие корыстные дельцы и рифмоплеты, за любую конъюнктурную, многострочную и высокооплачиваемую работу (когда переводились книги местных секретарей и литературных генералов вроде Мирзо Турсун-заде, Иосифа Нонешвили, Эмилиана Букова). Ведь рядом со мной переводами занимались Леонид Мартынов, Ярослав Смеляков, Александр Межиров, Юрий Кузнецов, Анатолий Передреев. Работать без вдохновения и удовольствия от работы я себе не позволял. Более того, я сам искал и находил молодых малоизвестных поэтов из республик (Дондока Улзытуева, Мушни Ласуриа, Шамиля Махмудова), пусть менее выгодных в смысле денег, изданий и связей для переводчика, но работа над стихами которых не иссушала сердце и собственное творчество. Мне всегда казались смешными жалобы переводчика Арсения Тарковского: "Ах, восточные переводы, как болит от вас голова". Голова может заболеть только от нелюбимой и неблагодарной работы, а я за такую не брался. В середине 70-х годов мне в руки попала поэма Николая Гуссовского, написанная латынью в начале шестнадцатого

века. Автора считают своим и литовцы, и поляки, и белорусы. Поэма настолько восхитила меня, что я не пожалел ни сил, ни времени, чтобы перевести ее на русский язык просто ради удовольствия, не заручившись ничьим согласием на ее издание. Но оказалось, что в те прагматические времена рассказ о жизни и охоте в беловежских лесах оказался никому не нужным. Все центральные издательства отказались от издания. Четверть века поэма пролежала в моем архиве, и лишь в 1998 году "Песня о зубре" наконец-то увидела свет в другой стране — в Белоруссии. До сих пор я помню наизусть отрывки из нее, как и наиболее дорогие для меня стихотворения из многих переведенных мною книг. Впрочем, их — а переводами я занимался всего лишь лет десять — было не так уж много. Но мой добросовестный подход к делу всегда находил благодарное признание.

120

Я говорю не о почетных званиях, грамотах и наградах: книги моих избранных переводов за это десятилетие были изданы на русском языке в Грузии, Киргизии, Таджикистане, Абхазии. Многие мои "соавторы" из республик стали моими настоящими друзьями.

Некоторые остались ими до сих пор. Среди них абхазский поэт Мушни Ласуриа, который четверть века тому назад писал мне: "Ты для меня больше, чем друг, в Москве ты очень часто заменял мне Родину, то есть был для меня тем миром, в котором я чувствовал тепло, доброту, улыбку и человечность". Иных (только деловых) отношений я просто не признавал...

...Сто с лишним лет назад Достоевский в своей пророческой речи о Пушкине назвал русского человека всечеловеком, а русскую идею — Всечеловечностью. Он обошелся без слова "интернационализм" и нашел родное нам определение этого сложнейшего миропонимания. И когда я переводил талантливого поэта из какой-либо республики, то я как бы работал на "всечеловечность", стараясь нащупать сердцевину национального бытия — грузинского, бурятского, татарского. Переводя Дондока Улзытуева, я погружался в мир кочевых дымов, плавных забайкальских холмов, степных запахов травы Ая Ганга, которая на поверку оборачивалась всего-навсего обыкновенной польнью... Но слово "Ая Ганга" звучало для меня как заветный символ бурятской души, рожденной на просторах, где пасутся отары овец и гуляют на вольной воле табуны лошадей.

Литературное познание мира обычно сливалось для меня в одно целое с моим образом жизни, когда в течение четырех лет, с 1968-го по 1971 год, я бродил с геологами по высокогорным тропам, глядел на голубые, сверкающие стремнины — Ягноба, Хонако, Кафирнигана, где плескалась форель, куда со звоном срывались истертые подковы моих лошадей, где я на скалистых прижимах встречался с таджикскими детишками, погоняющими осликов, нагруженных охапками хвороста.

Здесь синие реки гремят
в сверкающих мрамором руслах
и смуглые дети глядят
внимательным взором на русских...

Но я тоже внимательно вглядывался в их лица. Народы, по словам отца Сергея Булгакова, "суть мысли Божий", а что может быть привлекательней желания попытаться познать мысль Творца...

121

Поэты, впавшие в "националистическую ересь", на мой взгляд, просто не выдержали испытания русской всечеловечностью и оказались недостойны жить в русском языке. Их национальная сущность была моим соблазном, но я пытался овладеть ею, чтобы сделать свой вклад в "русскую идею", чтобы по этому мостику, мной сооруженному, и они смогли войти в нее... У большинства не хватило воли и бесстрашия сделать этот шаг. Но что их винить за слабость? Может быть, их разрыв с Россией более естественен, чем нам это кажется? Может быть, окаймляющие Россию народы почувствовали, что не под силу им

русский крестный путь, неподъемна тяжесть, которую она предложила нести всем миром?

Нет, не деньги и даже не славу (если считать по высшему счету) зарабатывал я переводами.

Скорее всего, выполнял часть программы, заложенной в мое существо русской историей и русской метафизикой. Задача, которую поставила перед "цивилизованным" и нецивилизованным миром Россия, равновелика цели, которую ставил перед собой Спаситель.

Но даже он уже при жизни, удрученный несовершенством людей, попечалился, что "царство мое не от мира сего", что человечество, может статься, будет недостойно Нового завета. Может быть, что оно оказалось недостойным и России с ее русской идеей. Потому и раздались вопли: "Хотим суверенитета!" с тех окраин, откуда 2—3 столетия назад неслось: "Россия, спаси..." Христос Спаситель, Россия спасительница...

Кое-кто из моих собратьев по перу прозрел за эти годы. Из недавно опубликованного интервью Гранта Матевосяна: "...самая большая потеря — это потеря гражданином Армении статуса человека Империи. Потеря имперской, в лучшем смысле этого слова, поддержки и имперского начала, носителем которого всегда была Россия... берусь утверждать, что армяне, начиная с 70-х годов прошлого века и до наших дней, — это более высокие, более могущественные и, как это ни парадоксально, более свободные армяне, чем те, которых освободили ныне от "имперского ига". Ведь это в 70-е годы прошлого века под крылом России вызрела и вновь состоялась армянская государственность. В армянской культуре появилась целая плеяда выдающихся людей. В прозе, поэзии, в историографии — всюду и везде, даже в политических партиях, эти люди были. И так могло быть "всегда и вечно"... Поэтому повторю: самая большая потеря — это потеря нами гражданства Великой Державы".

122

Опомнились, да поздно. История уже покатила вспять, ко временам младотурков и шаха Аббаса. Не дай Бог, Турция еще раз напомнит Армении, что может ей стоить отступничество от России, а что такое нынешние турки, хорошо знают киприоты-греки и несчастные курды.

У поэта Юрия Кузнецова есть пророческое стихотворение о судьбе русской идеи, написанное им четверть века тому назад.

Отдайте Гамлета славянам! —
Кричал прохожий человек.
Глухое эхо за туманом
Переходило в дождь и снег.
Но я невольно обернулся
На прозвучавшие слова,
Как будто Гамлет шевельнулся
В душе, не помнящей родства.
И приглушенные рыданья
Дошли, как кровь из-под земли: —
Зачем вам старые преданья,
Когда вы бездну перешли?

Зачем Грант Матевосян плачет об империи? Зачем я вспоминаю о поэтических сновидениях молодости, в то время когда душа сжимается, словно пораженная неземным холодом, от окончательной мысли: "Зачем нам старые преданья, когда мы бездну перешли"?

В 1979 году делегация писателей — Серо Ханзадян из Армении, Азиза Джафарова из Азербайджана и я — приехали в Ирак. Ирак с его легендарным Вавилоном и угрюмой Хатрой, с руинами Ниневии и сказочным Багдадом поразил меня своим восточным величием. Я смотрел, а глаза не насыщались красотой, я думал, а мысли не могли проникнуть в тайну древнейших пластов истории. Но мои попутчики всю неделю, пока

мы путешествовали по стране с юга на север и обратно, своими гортанными голосами спорили только об одном: кому принадлежит Карабах... В конце концов мне это надоело. Возле высеченных из камня дворцов Петры я попросил остановить машину и сказал им: "Зачем вы сюда приехали? Спорить о своем Карабахе? Мне надоело слышать каждый день: "Карабах!" "Карабах!" Я, как руководитель делегации, не могу вам этого запретить, но, как русский человек, слушать — не хочу. А если будете продолжать — то, вернувшись в Москву, напишу в отчете, что вы оба душевно больны". Вместо этого, вернувшись в Россию, я написал стихотворение, как я сейчас понимаю, о сущности русской идеи.

123

Два сына двух древних народов
такой завели разговор
о дикости древних походов,
что вспыхнул меж ними раздор.

Сначала я слышал упреки,
в которых, как корни во мгле,
едва шевелились истоки
извечного зла на земле.

Но мягкие интеллигенты
воззвали, как духов из тьмы,
такие дела и легенды,
что враз помутились умы.

Как будто овечью отару
один у другого угнал,
как будто к резне и пожару
вот-вот разнесется сигнал.

Куда там! Не то что любовью
дышали разверстые рты,
а ржавым железом, и кровью,
и яростью до хрипоты.

Что было здесь правдой? Что ложью?
Уже не понять никому.
Но некая истина дрожью
прошла по лицу моему.

Я вспомнил про русскую долю,
которая мне суждена —
смирять озверевшую волю,
коль кровопролитна она.

Очнитесь! Я старую рану
не стану при всех растравлять
и, как ни печально, не стану
свой счет никому предъявлять.

Мы павших своих не считали,
мы кровную месть не блюли
и, может, поэтому стали
последней надеждой земли.

"Последней надежды земли" для вас больше нет. Так что можете жечь дома, угонять овечьи отары, резать друг другу глотки. Россия больше не вмешивается в ваши древние

распри.

"В нашей дружбе и волчьей и нежной..."

Ах, люблю я поэтов — забавный народ.

С. Есенин

Мое пятидесятилетие. Юноша из Могилева. Наши костры на берегах Сожа. Мать и сын. Минское окружение Игоря. Веселые шестидесятые. Письма, посвящения, клятвы. Обыкновенная история по Гончарову. Воспоминание в рифму

В ноябре 1982 года мне исполнилось пятьдесят лет. Все уважающие себя люди в таких случаях устраивали в Доме литераторов в Большом или Малом зале юбилейный вечер (залы давались бесплатно!), куда приглашались почитатели, друзья и знакомые. Не последним делом на такого рода торжествах был, конечно, состав выступающих со сцены: они, помимо юбиляра, служили дополнительной приманкой для любителей литературы.

"Ну кого же вставить в афишу? — размышлял я. — Без начальства не обойтись. Позвоню Егору Исаеву, Саше Михайлову, они борозды не испортят. Несколько друзей — поэтов и критиков: Вадима Кожина, Таню Глушкову, Анатолия Передреева, Юру Кузнецова... Ну и, конечно же, Игорька... За двадцать лет нашей дружбы он не раз посылал к моим дням рождения вдохновенные стихотворные эпистолы".

Помню, как из Эссентуков, где он лечил на водах свою язву, к моему сорокалетию в Москву пришла телеграмма:

125

"Еще веселый и не слабый,
в семье задумчивых стихов
надежной ты достоин славы —
так бей же в сорок сороков.

Поздравляю. Целую. Игорь Шкляревский "

А за два года до этого, когда я лежал с простудой в тбилисской гостинице и безрадостно встречал свой 38-й день рождения, меня поддержало его дружеское телеграфное четверостишие:

"Поздравляю, грустно обнимаю,
потому что каждый день и час,
словно ветер золотую стаю,
в бесконечность провожают нас.

Твой Шкляра "

Он щедро в течение двух десятилетий дарил мне свои экспромты, в которых порой встречались серьезные мысли и чувства.

В нашей дружбе и волчьей и нежной
было досыта боли кромешной,
и любовь, и отвага, и риск,
но никто не сбивался на визг.

Было в горле от горечи сухо,
но достоинство светлого духа
сохранили, зубами скрипя...
Что — любовь? — уважаю тебя!

Написано, видимо, уже в середине семидесятых годов.

А вот фотография: Игорь на берегу Сожа с громадной щукой и надпись: "Любимому другу Станиславу, где мы, там и удача". Сож. Июнь 1971 г.

И еще одна. Рыбак в позе победителя, со спиннингом, с крупной семгой в подсачеке на порожистой карельской реке: "Другу лучшему мою первую семгу. Порог "Собачья пасть". Шкляра".

"Ну, конечно же, Игорька надо в афишу!" — решил я тогда, осенью 1982 года. Впрочем, сомнения были. Наши отношения из-за каких-то мелочей иногда разлаживались, но пятьдесят лет — все-таки не шутка! Нет, без него мой юбилей — не юбилей, как и без Передреева и Кожина. Главное, чтобы он в конце ноября был в Москве.

Вечером я позвонил ему и сказал, что очень прошу в конце ноября быть в Москве и выступить на вечере. В ответ вдруг услышал нечто странное:

126

— Друг, давай встретимся завтра, мне надо обо всем этом поговорить с тобой серьезно.

Мы встретились на улице Воровского возле монумента Льву Николаевичу Толстому, Игорь щелкнул зажигалкой, затянулся и сделал какое-то почти физическое усилие, от которого желваки напряглись на его лице:

— Знаешь, я обдумал твое предложение. Я не буду выступать на твоём вечере. Но в трудную минуту я всегда помогу тебе. Только тайно, а не открыто.

Я изумленно поглядел ему в глаза, как бы желая удостовериться, что это — не обмолвка, хотел сказать, что двадцать лет все-таки так легко из жизни не вычеркнешь, что я всегда помогал ему открыто, а порой демонстративно, но вдруг понял, что все напрасно, повернулся и пошел к железным воротам, оставив его наедине с Толстым...

А начиналось все — именно двадцать лет тому назад — совершенно замечательно.

* * *

В 1962 году мы впервые встретились, по-моему, в журнале "Смена". Провинциальный, бедно одетый в затертую курточку и несвежую рубашку, в какой-то заячьей облезлой шапке, юноша подарил мне тоненькую безвкусно оформленную книжечку с дерзким названием "Я иду"... И надпись на титульном листе сделал размашистую и вдохновенную: "Станислав! Люблю тебя и стихи твои. Еще много хотел написать, но ты и так все поймешь. Игорь Шкляревский. 1962 г".

Свежая была книга. Утренняя. Осенняя. Чистая... Ее героями были форели и птицы, заливные луга и весенние заморозки...

Как и положено в таком возрасте, была в книге и яростная жажда самоутверждения, время от времени неожиданно отступающая перед способностью молодого поэта впасть в созерцательное оцепенение, когда он вдруг, как нечто самое важное, замечал:

и паутину у сосны,
и одинокую сороку,
и тельце высохшей осы,
и опустевшую дорогу.

Мы понравились друг другу, договорились встретиться, когда он вернется из поездки на Дальний Восток—на Сахалин, на Южные Курилы. Подобно своему тогдашнему кумиру

127

Артуру Рембо, решившему въехать в Париж через провинцию, Шкляревский с юношеской непосредственностью рассчитывал вернуться победителем в Москву через Охотское море. И обязательно с новой книгой, да такой, какую не в силах написать ни Евтушенко, ни Рождественский, ни Володя Цыбин. Через два-три месяца он действительно привез с окраины страны рукопись, которую позже счастливо назвал

"Фортуна", с вольными, романтическими стихами, навеянными не только воспоминаниями о "Пьяном корабле" Артюра Рембо, но и жизнью на рыбацком сейнере, о смытом за его борт матросе:

Лежал я на дне океана,
окутанный длинной травой,
и мертвое солнце вставало
над мертвой моей головой.

Медузы ко мне подплывали
и крабы светились во мгле,
а люди еще вспоминали,
о том, что я жил на земле.

Что был я матросом толковым,
свободу и женщин любил,
работал на флоте торговом,
надежным товарищем был.

Лишь только однажды забылся,
задумался, глядя в туман,
расслабился и поплатился,
и смыло меня в океан.

О как он звенит и хохочет,
в стеклянные бьет поплавки,
ласкает, зовет и бормочет,
прощает земные грехи.

Земные печали смывает
и учит себя забывать,
но слабостей нам не прощает,
ошибок не хочет прощать!

Вскоре я получил письмо из Могилева, в котором мой молодой друг приглашал меня на свою родину.

"6 июля 1966 г.

Мое воображение, незамутненное мелкими страданиями, рисует мне такие изумительные мгновения нашей жизни на берегу реки Сож, что я жду твоего появления, как в детстве праздника, ибо есть такие радости, которые одному узнать

128

и оценить не под силу. Там, где я рыбачу, правый берег весь в соснах, лес стоит стеною у самой воды, а на левом берегу долина в дубах и обрыв, заросший черной смородиной, которую можно собирать ведрами. Зная твое железное здоровье, уверен, что твоя разодранная пасть (я выздоравливал после операции. — Ст. К.) через неделю-полторы начнет работать с веселым хрустом, как машина, перемалывая все и вся... "

Жизнь на Соже до сих пор вспоминается, а иногда и снится мне. Деревня Александровка — на высоком берегу реки, темные белорусские хаты, обрывистый склон к воде... Тетка Соня, у которой мы ночуем, ужинаем бульбой со свиным салом, запиваем крестьянский ужин молоком, разводит в чугуне болтушку для поросенка, а сама пытается нас о судьбе несчастного негра Поля Робсона, про которого она недавно услышала по радио.

— Заусим яму в Америке жить не дают! — жалко ей, встающей в пять часов утра и засыпающей в полночь, всю жизнь проработавшей в "колгоспе", угнетенного негра-миллионера... Игорь уходил на сеновал, где писал стихи о деревенской жизни:

Руки болять! Ноги болять!
Клевер скосили. Жито поспело.
Жито собрали. Сад убирать.
Глянeshь, а греча уже покраснела.
Гречу убрали. Лен колотить. Лен посушили. Сено возить.
Сено сметали. Бульбу копать.
Бульбу вскопали. Хряка смолить.
Клюкву мочить. Дрова пилить.
Ульи снимать. Сад утеплять.
Руки болять! Ноги болять!

Каждое утро мы вставали и, зябко ёжась, входили в летящую с реки пелену тумана, садились в холодную лодку, брякали заиндевелой цепью, стучали влажными тяжелыми веслами, подымались вверх к семейству темно-зеленых дубов, к глинистому берегу, под которым в глубоких промоинах у самого дна стояли тяжелые красноперые, крупночешуйчатые язи, и с замирающими от предчувствия удачи сердцами разматывали удочки, под шум осенних берез.

* * *

Игорю

На рассвете холодная дрожь
вдруг встряхнет полусонное тело,
вздогнешь радостно — и не поймешь,

129

дождь прошел или жизнь пролетела.
А вокруг осыпались леса,
и деньки становились короче.
Выйдешь в рощу — кружится листва,
глянешь в небо — а там синева
сквозь просветы в осинової роще.

И на этот разгул сентября
мы глядели с тобой чуть не плача,
и за это меня и тебя
бескорыстно любила удача.
Рыба шла и на деньги везло,
в пьяных драках спасались случайно,
и в руке не дрожало весло
и гитара звенела печально.
Мой простуженный голос хрипел,
что туманное утро настало,
а в то время, покамест я пел,
с легким звоном листва облетала.

А когда рыбалка надоедала, то брали у тетки Сони плетеные ивовые корзинки и отправлялись в дубовые рощи и березовые перелески, где дышали грибной сыростью, то и дело срезая под самый корень крепкие боровики с кофейными шляпками, оранжевые рыжики, темно-коричневые подберезовики... Однажды в березовой роще кто-то из нас наткнулся на старый, грубо сколоченный и уже ветхий крест над безымянной могилой. Вечером за ужином мы спросили тетку Соню, чья это могила.

— Та в сорок первом годзе, наши отступили, а мы, дзеуки, у лес пошли по ягоды, глядзим, а там хлопчик—красноармеец лежить. А немцы в деревню уже вошли, ну мы яго и закопали в лесу, и крест поставили.

В тихой деревне над Сожем
Добрые люди живут.

В этой деревне я прожил
Много счастливых минут.
В роще над Сожем траншеи
Черной водою полны,
Не было в мире страшнее
Нашей великой войны.

Сколько морозов и ливней минуло!
Сколько ночей! ...
Не было крови обильней,
не было слез солоней.
Не было праведней славы...
Над потемневшей водой

130

Никнут привядшие травы,
Кружится лист золотой.
И озаренный закатом,
Врезан в березовый лес
Над неизвестным солдатом
Черный от времени крест.

Это мое стихотворение 1965 года.

Отправляясь к Игорю на рыбалку, я обычно доезжал до Минска или до Орши, а потом на такси — времена были вольные, не рыночные! — добирался до Могилева, иногда он встречал меня на оршанском перроне. Потом вспоминал:

Еду на станцию, друга встречаю.
В соснах фонариком путь освещаю.
Сердце сожмется от жалости вдруг:
Осень придет — и уедет мой друг.

День-другой мы чиним снасти, добываем леску, крючки, копаем червей, налаживаем поплавки и грузила, читаем друг другу стихи, шляемся по городу.

Его мать — седая тихая женщина Ксения Александровна — кормила нас скромными обедами, отец, Иван Иванович, внедрял в наши легкомысленные головы политические новости, почерпнутые из газет, а я с недоумением, а порой и возмущением постоянно осаживал неожиданные приступы несправедливого гнева, которые вдруг охватывали Игоря во время разговоров с отцом и матерью. Дело доходило до того, что я порой не выдерживал:

— Игорь! Или едем сейчас же на рыбалку, или я возвращаюсь в Москву, слышать, как ты кричишь на мать и отца, я больше не могу!

Он хмурился, засовывал в рот сигарету, плотно закрывал дверь комнаты, в которой мы жили, но молчал, ничего не объяснял мне, не оправдывался...

Его отец и мать были сельскими учителями из поселка Бельниччи, после войны переехавшие в Могилев. Они трепетали перед ним, как родители Базарова перед своим сыном. Обстановка в маленькой двухкомнатной квартире была аскетическая, почти убогая, деревянные полы скрипели, самодельные стулья разваливались, и я чувствовал, как мой молодой друг стыдится этой естественной бедности.

Постепенно я узнал о причинах его гневных вспышек в разговорах с матерью и отцом. Сначала из стихов.

131

"Год 52-й играет на трубе. Поет над головой в сиротской синеве", "Я о детдомовце забыл", "Остриженные все под ноль", "Плачут сиротские горны", "Там вечерами хор детдомовцев поет", "Стоит монастырь за Днепром. Веселый советский детдом", "Словно я убежал из приюта"...

Случилось так, что, когда родился его младший брат и заболел отец, Ксения Александровна вынуждена была на какое-то время отдать Игоря в послевоенный интернат. Ребенок стал как бы сиротой при живых, родителей. Что он там, тщедушный, болезненный подросток, пережил — одному Богу известно, но когда я все это уяснил, мне стал понятен жалостливый, неизменно виноватый взгляд матери на взрослого, почти тридцатилетнего мужчину, ее покорное молчание в ответ на приступы порой почти беспричинной ярости и даже оскорблений, слетавших с его уст... Она выслушивала их, не возражая, трясла головой, брела на кухню, дрожащими руками двигала кастрюли, звенела посудой, потом робко высовывала голову, предлагая нам чего-нибудь поесть или попить чаю. Иногда он сменял гнев на милость, говорил ей что-то ласковое, и отблески грустного счастья начинали светиться в ее влажных виноватых глазах.

* * *

Так случилось, что и меня и несколько позже Игоря в Москве радушно принял и взял под опеку на первых наших шагах в литературе Борис Абрамович Слуцкий. Мы часто встречались с ним, одалживались деньгами, иногда добродушно подшучивали над мэтром, а когда он заболел тяжелой психической болезнью, навещали его в больнице и, однако, каждый по-своему, постепенно отдалялись от него. Мое отдаление от Слуцкого было связано с ростом во мне русского понимания жизни, истории, литературы, у Шкляревского же причины были иные... Хотя он стал со временем ближе Слуцкому, нежели я. Может быть, потому, что жена Слуцкого Татьяна была, как и Шкляревский, родом из Могилёва (по-моему, она и фамилию носила Могилевская), а может быть, и по каким-то другим причинам. Ведь молодость Игоря, когда он переехал из провинциального Могилёва в Минск, прошла в окружении русифицированной еврейской интеллигенции. Ближайшими его минскими друзьями были литераторы Наум Кислик, Валентин Тарас, Григорий Березкин, Михаил Шульман, художник Борис Заборов, поэт Рыгор Бородулин. Будучи много раз в Минске, я всегда видел, как естественно и вольготно Игорю в их окружении, где его принимали всегда

132

как близкого человека и единомышленника. Приезжая к нему и возвращаясь от него через Минск, я часто встречался с ними. Встречи были веселыми, шумными, чаще всего застольными. Восходящая звезда белорусской поэзии Рыгор Бородулин, ныне один из столпов белорусского националистического Народного фронта, в те времена воспевал Брестскую крепость, подвиги партизан, славил дружбу народов, "ільчовы думы", Крупскую и село Шушенское, бил челом Дивногорску и Енисею. Нас с Игорем всегда встречал с распростертыми объятьями, угощал "Беловежской", провожал до вокзала или аэропорта. В один из вечеров подарил мне на прощанье свою книгу "Неруш" с заливчатской дарственной надписью: "Дорогой Стасик! Я твердо знаю — ты чистый классик. А друг твой Шкляревский Игорь — полосатый поэтический тигорь! Без вас мы — степи без дождя, хунвэйбины без вождя! Рыгор. Минск. 1.Ш.67". Но все было гораздо сложнее, чем показалось однажды молодому поэту Петру Пинице, который у меня дома в подпитии, желая уязвить Шкляревского, обратился к нему со словами: "ну а ты, Лева из Могилёва", за что был тут же нашими дружными усилиями изгнан из квартиры в московскую ночь.

Я бы не вспомнил об этом эпизоде, если бы случайно не прочитал книгу "Москва златоглавая", изданную в Америке, поэта Давида Шраера-Петрова, давнего знакомого Игоря еще по Белоруссии.

Шраер, в частности, рассуждая о том, какая кровь течет в жилах того или иного поэта, пишет: "Еще сложнее с Игорем Шкляревским. Я до сих пор не знаю, кто он такой". Но к предположениям и гипотезам Шраера трудно относиться серьезно, поскольку он всегда был несколько "сдвинут" на еврейском вопросе и считал, что если кто из поэтов и талантлив, то только благодаря примеси еврейской крови. Он даже меня поэтому считает в своей книге полукровкой по материнской линии, не удосужившись из высокомерия даже выяснить, что моя мать родилась в крестьянской семье из калужской деревни Лихуны.

"27.5.1967.

Стас!

Я весь день борюсь со сном и скукой. Писать не могу, читать рад бы, да нечего. Детективы надоели. Хоть бы кто-нибудь из современников хорошую книгу написал. А если и появляется книга, например, "Фортуна", то ее или замалчивают, или рецензируют, ничего не понимая.

Прочел в 10 номере рецензию Абрамыча, я его люблю и

133

уважаю, но он совершенно не понял мой мир. Природа, свобода слов и чувств, мысль во плоти, в чешуе, в росе, в порыве — для него это не мысль, ему надо рассуждение, то есть голая формула, нужны философские потуги и намеки, так их мать. Все эти намеки — не дело. Истинный поэт хрен пожил на все рассуждения о добре и зле, пусть сосноры смещают исторические планы при помощи древнерусских словечек и современных общественно-политических новостей и сплетен. Ну, сука, я разозлился страшно и Абрамычу напишу, он уже не понимает, кто что значит и кто что может. А все оттого, что не понимает самого пронзительного — пространство и жизнь, костер и ледяное небо.

Жаль, что нету человека, который мог бы ему ответить. Тебе нельзя, а кто еще есть? Какой-нибудь правый дурак все дело испортит, а левые дальше подначек поэзию не понимают. "Рядовые гаденьши" не осияют, вот ё-моё! Весело живем — сначала надо написать, а потом еще и объяснить. Помнишь, в лесу мы об этом с тобой говорили. Ну вот, немного успокоился, если в письме найдешь "нескладуху", не обращай внимания, пишу по горячим следам рецензии Слуцкого.

Обнимаю — Шкляра".

* * *

В течение двадцати лет нашей дружбы мы не раз побывали с ним не только на его Могилевщине, на берегах чистойшей в те времена, а ныне отравленной Чернобылем реки Сож, но и на северных реках Мегре и Сояне. Золотице, в Грузии и на озере Кара-Гель в Нагорном Карабахе, и на моей родной Угре.

Я привозил к нему на Сож своего маленького сына Сергея, был надежным защитником во всех наших уличных драках, которые, как правило, начинались из-за него.

В нашем московском доме он в те годы всегда находил приют, отлеживался во время недугов, моя жена Галя кормила и опекала его, как будто он был моим младшим братом.

А мы строили планы, как ему, студенту второго или третьего курса Литинститута, прорваться в большую литературу. Летом 1965 года Ярослав Смеляков, главный редактор особо престижного и высокогонорарного издания "День поэзии", поручил мне составлять альманах. Этим шансом надо было воспользоваться во что бы то ни стало. Мы с Игорем выбрали 15—20 его лучших стихотворений и, улучив в Доме литераторов момент, когда Смеляков был в хорошем расположении духа, я подsunул ему подборку.

134

— Кто автор? — скрипучим голосом спросил Смеляков, полистав стихи.

— Молодой поэт из Минска! Да вот, кстати, за дальним столиком — кофе пьет...

Позвать?

— Позови! — приказал Смеляков. Игорь как на крыльях подлетел к нам.

— Белорус? — внимательно взглядываясь в него, с напускной строгостью спросил Смеляков.

— Белорус, Ярослав Васильевич, белорус, — радостно подтвердил Игорек. — Вот в документе написано! — он протянул Смелякову паспорт.

— Я тоже белорус! — добродушно сказал мэтр и обратился ко мне: — Стихи хорошие. Надо напечатать большую подборку. Если места не будет, выброси сам из сборника кого не жалко!

Громадная подборка стихотворений Игоря вскоре вышла, к радости любителей поэзии и к зависти коллег по цеху, и вся литературная Москва заговорила о новом поэтическом

таланте.

Но не все наши авантюры по добыче "славы и денег" заканчивались столь успешно. В том же году, получив гонорар за "День поэзии", мы шумно попрасидновали удачу в Доме литераторов, а вечером возвращались ко мне домой. Жена была в отъезде, сын у бабушки, и мы, предоставленные самим себе, куролесили от души. Однако в те же дни произошли и неприятные события. За какую-то драку в общаге Литинститута его ректор Владимир Федорович Пименов отчислил на время моего друга из числа студентов...

— Погоди, Игорек, не расстраивайся,—успокаивал я его. — Меня Пименов пообещал взять в число преподавателей, осенью я буду вхож к нему, и мы все уладим.

Но на нашу беду вечером, когда мы приехали ко мне домой на ночевку, мы перед сном стали читать вслух недавно напечатанный в журнале "Москва" роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", и когда дошли до сцены, в которой нечистая сила избивает несчастного Варенуху в сортире, то впали в восторг и неистовый хохот до изнеможения. Когда успокоились, кому-то из нас (кажется, мне) пришла в голову мысль:

— Давай Пименову пошлем телеграмму в ялтинский Дом творчества (мы знали, что он отдыхает там).

Дурное дело нехитрое. Через несколько минут я уже диктовал по телефону:

"Ялта Дом творчества писателей Пименову. Немедленно восстановите поэта Шкляревского Литинституте. Противном случае Вас ожидает участь Варенухи. Смотрите журнал "Москва" страница такая-то. Доктор Воланд".

135

Ну, поохотали от души, заснули и забыли о своей хмельной шутке.

Но в сентябре, через месяц, в моей квартире раздался телефонный звонок.

— Станислав Юрьевич, ректор Института Владимир Федорович Пименов просит вас подъехать к нему завтра в 12 часов дня.

Ну, слава Богу, — облегченно вздохнул я, — наконец-то буду вести поэтический семинар в Литинституте! — Почему-то в то время мне очень хотелось учить студентов стихосложению.

На следующий день в костюме, в белой рубашке и при галстукe я, улыбаясь, вошел в кабинет Пименова.

— Здравствуйте, Владимир Федорович! — Но старик буркнул в ответ что-то нечленораздельное, выдвинул ящик стола, молча покопался в нем, нашел какую-то бумажку и с угрюмым лицом протянул ее мне:

— Эта телеграмма послана с вашего квартирного телефона. В суд на вас за угрозу физической расправы подавать не буду, но естественно, что ни о каком преподавании в институте и речи быть не может, и о восстановлении Шкляревского тоже.

Я прочитал злополучную телеграмму и сразу все понял. Отпираться было бесполезно, но я нашел путь к достойному отступлению:

— Владимир Федорович! Когда Бунин с Куприным, крепко выпивши, послали царю Николаю Второму телеграмму о том, что они объявляют Одессу вольным городом, — он просто направил им ответ: "Пейте, но закусывайте"...

Однако ни один мускул на лице ректора не дрогнул, и я понял, что надо уходить. На прощанье успел задать глупый вопрос:

— А как вы узнали, что телеграмма послана с моего квартирного телефона?

Пименов мрачно улыбнулся и похвастался:

— Прежде чем стать ректором, я работал в разных учреждениях и на разных работах.

Игорь тянулся ко мне, словно отрок, обделенный в свое время родительской заботой, как мальчик, испытавший немало унижений во время детдомовского отрочества, как хрупкий человек, которому всю жизнь не хватало дружеской заботы и мужской поддержки.

Я чувствовал, с каким пристрастием, с какой ревностью он восхищался моей двужильной выносливостью, непри-

136

хотливостью, уверенностью в себе... Недавно копался в папках и нашел его фотографию с надписью:

*"За веселую нашу дорогу
сквозь отчаянье, холод и мрак.
За твою золотую тревогу,
ясный разум и твердый кулак.*

Люблю тебя. Твой Игорь "

В первые годы дружбы я со снисходительным добродушием относился к его сверхъестественной мнительности, боязни заразиться от рукопожатий, от плохо вымытых вилок и ложек в столовых общепита, от невыносимого болезненного внимания к каждому своему чиху, к горечи во рту, к прыщику на щеке, к малейшей боли под ложечкой. Даже дверь в туалет он, как правило, открывал ногой, а если рукой, то предварительно оборачивая ее в полу пиджака.

— Эх, друг, — с завистью как-то раз признался он мне. — Знаешь, почему Юлий Цезарь покорил варваров германцев? Потому что, когда римские легионы однажды попали в окружение и страдали от голода, он был способен есть прогорклое, испорченное масло! — Он размышлял о Цезаре и печально глядел, как я уплетаю сало, только что поставленное на стол теткой Соней, нарезанное ее темными от работы и, честно говоря, не особенно тщательно вымытыми руками...

При двадцатикилометровом переходе через тайгу и болота от озера Елдома до Сояны мы не раз падали от усталости на рюкзаки, и чтобы освежить рот, подчиняясь какому-то природному инстинкту, я часто принимался жевать неведомые мне побеги трав, листовничную смолу, клейкие листочки различных кустарников. Это и восхищало и ужасало его.

Друг ел траву!
Хрустели корни.
Жевал то стебель, то листок,
То сплевывал лиловый сок.
Так горечь сплевывают кони.

Я жевал траву, а Игорь, затягиваясь сигаретой, спокойно цедил сквозь зубы нашему третьему спутнику, тащившему на себе кроме своего рюкзака рюкзак моего друга, в ответ на его недовольное ворчание:

— Ты пойми, что несешь вещи лучшего поэта России. Это для тебя большая честь!

Они начинали ругаться под низким северным небом, а я, слушая их обоих, хохотал от души.

137

Но, как бы то ни было, мой друг смотрел на меня с завистью и восхищением, потому что сам не мог есть это сало и боялся отравиться этими травами, после рукопожатий с неприятными людьми обтирал руки носовым платком. Он, выросший на послевоенной улице, никогда не мог докурить за кем-нибудь половинку сигареты, что было для всех нас обычным товарищеским ритуалом.

Как он мечтал избавиться от всех этих комплексов, как мечтал быть сильным и здоровым, прочным и в то же время ощущал, что это невозможно и что у него есть лишь один путь, чтобы уменьшить количество своих непрерывных страданий — добиться известности, богатства, успеха, почитания, отгородиться стеной благополучия от убогого образа жизни, принесшего ему столько унижений. "Тот, кто в детстве настрадался, — в юности свое возьмет", — часто повторял он и время от времени изливал свою душу в письмах, избавляясь хотя бы таким образом от одиночества, возвращенного в душе во время

жуткой детдомовской жизни.

"Я страдаю от язвы, а тут еще грипп навалился, в комнате жарко, старые обои трещат и отклеиваются, и сам я расклеиваюсь и трещу.

Одна радость — мысленные разговоры с разными нашими знакомыми и чтение писем Лермонтова, писем и записок Пушкина, прочел его историю Петра и историю Пугачевского бунта — почти все в 5-м и 6-м томах... " А леса совсем еще зеленые, в полях светло, грустно, друг, если бы ты знал, как мне тяжело. Обнимаю тебя нежно. Не прощаюсь. Пиши мне. С трудом поддерживаю бодрость духа... "

"В Александровке у меня появились друзья, родители Лёньки, светлые люди, сплю у них на сеновале, пью молоко, ем супы и кисели, у деда покупаю мед... Кислик и Заборов нагрянут — покажу им класс. Приезжай скорее, ягод до черта, воздух такой, что можно тысячу лет жить, приезжай, друг".

Через двадцать лет весь этот рай был накрыт чернобыльским облаком.

Больше всего он любил рассказывать о своих мифических успехах на ринге и перечитывать Александра Дюма и часто повторять чью-то мысль, кажется, Гёте, о том, что образование к избранным приходит во сне. Впрочем, читая его письма, я начинал верить Гёте, хотя иногда его похвалы мне казались не то чтобы неискренними или льстивыми, скорее уж чересчур экзальтированными. Однако сейчас на склоне жизни я должен

138

признаться, что во многом он был нужен мне не меньше, чем я ему. Дело в том, что к тому времени, закрученный бытом, обремененный семьей, необходимостью постоянного заработка, московской борьбой за самоутверждение в литературном мире, я вдруг начинал сознавать, что задыхаюсь, что мне не хватает кислорода, что я теряю многие из природных связей с рекой, лесом, вольной жизнью, которой жил в послевоенное время. Знакомство с Игорем помогло мне вернуться к родному для меня образу мыслей и чувств, черты которого уже начинали стираться в моем мироощущении.

"Здравствуй, друг!

Через шестьсот сырых расхлябанных верст посылаю тебе несколько слов. Держись, родной, и люби себя, потому что ты один из самых умных людей в России и поэт не меньше Баратынского... И вот ведь, что интересно, в частностях ты проигрываешь иногда Соколову или мне, во всяком случае, в частностях ты нам больше проигрываешь, но в целом ты, сука, выигрываешь! В этом твоя тягучая сила, твоя золотая тяга, твоя длинная терпкая тоска и еще что-то.

Кстати, перелистал я Белинского, вот у кого "проколы" — один за другим, а иногда просто глухота. Что касается Писарева, то он довел меня до раздражения сразу несколькими страницами. Игра его ума для юношей и дерзость запланированная тоже для филологов второго курса пединститута. Читаю "Божественную комедию", вдруг откладываю, начинаю читать Блока — он совсем исключил мастерство из поэзии, он выше и беззащитнее, потом читаю Сельвинского — где мастерство, там еще ничего, "тигр, ленивый, как знамя", а где душа обнажена — там скука, слабость, глупость. Вот так я тасую, тасую века и поэтов и незаметно крепнет чувство собственного достоинства, особенно после чтения таких, как Ахмадулина. Кроме жеманства, ничего своего, все остальное из Пастернака... Живу плохо, потому что одиноко и язва болит..."

Ну разве не было наслаждением читать такое его письмо, в котором был он весь — с капризами, недугами, взлетами духа, тщеславием, прозрениями, стоицизмом, бесконечным эгоизмом, полной откровенностью, неизбывным ребячеством, неожиданными глубинами мысли, звериной остротой взгляда, мелочностью природы и несомненным талантом.

"Я медленно восстанавливаю силы, выпущенные хирургом-стоматологом вместе с тазом крови и гноя, час сорок минут разрывали мою пасть, резали опухоль на надкостнице,

139

выламывали зуб, щипцы в рот не пролезали, врачи вспотели, я моргал, пока не отключился... Дали нашатыря.

Утром я проснулся и со всей реальностью ощутил то, что раньше воспринимал только одной стороной своей души — физические страдания Пушкина после дуэли, когда он лежит на снегу. Багрицкий, сука, написал слащавую х...ю:

*И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег...*

Все эти мои физические страдания и чтение "Войны и мира" сделали свое дело — что-то изменилось во мне, и, как я понял, навсегда. В двух словах об этом не скажешь, но если раньше мгновения моей жизни были мгновениями встречи осени, женщины, друга, смерти, то теперь это прощание с другом, осенью, женщиной и самим собой, которого я люблю, и если Гегелю не понятна сияющая бездна и совесть (Канту. — Ст. К.), то мне лишь одно — смерть.

Дня три назад решил попрощаться с природой, обвязал пасть и уехал на "москвиче" в Александровку с юным ординарцем Лихой, который ловит каждое мое слово, боксирует, лучше меня владеет веслом, не трус и умен. Ночевали мы в пустом недостроенном доме деда Павлюка, окна еще без стекол, и всю ночь как раз там, где горел наш прошлогодний костер, кричали дикие гуси. Душа разрывалась! Арина с ведрами прошла и говорит: "Гуси кричат". Я чуть не разрыдался. А на плесе нашем пусто и мертво. Ни поклевочки... Да, у меня двустволка. Ночью я и Лиха бьем лампочки на обрыве, где Никольский собор, но на рыбалку не беру — все из-за этой надкостницы и боли. Жалко убивать птиц.

Обнимаю тебя.

Игорь.

16 сентября 1966 г. "

И еще отрывок из письма, полученного мною в далеком узбекском городке Шахрисабзе, куда я в то время прикочевал в геологическую экспедицию с Эрнстом Портнягиным:

"В конце августа жду в Александрова, грибов будет очень много, земля звенит, а ночи стали холоднее, дело к осени. Вот и еще одно лето косыми лучами скользнуло по нашим лицам, уже немолодым. Привези какую-нибудь хрустальную друзу. Никогда я не был на Памире. 1968 г. "

140

* * *

Летом 1971 года мы, трое заядлых рыбаков и путешественников (третьим был организатор поездки Игорь Печенев), добрались до озера Кара-Гель — дорога была трудная: на поезде, потом на машинах, потом по Карабахскому бездорожью на лошадях. Шкляревский растряс все свои болячки и на берегу озера, где мы поставили палатку и ловили форель, усилием воли продержался несколько дней, а потом свалился с резами в животе. Не дай Бог аппендицит! Глядя на его желтое лицо, впавшие щеки, на мокрые от жара жидкие пряди волос, прилипших ко лбу, я понял, что мне нужно по запутанным тропам легендарного нагорья выйти к какой-нибудь крупной деревне, где есть телефон, и дозвониться до азербайджанского селения Ахметли, откуда нас доставили на лошадях к озеру, чтобы, пока ему не стало совсем плохо, за ним прислали лошадей.

Целый день с утра до вечера я шел на восток, выпытывая у редких, плохо говорящих по-русски пастухов дорогу, сбивался с маршрута и снова находил его, опускался без сил на траву, жадно пил воду из ручьев, заставлял себя подняться, думая лишь о том, каково там ему на берегу озера... Но нет худа без добра. Обошлись мы без аппендицита, и в итоге родилась поэма "Карабахская хроника".

Но я забыл сказать, что вдруг
мой опаленный солнцем друг

свалился с приступом во чреве.

Если же собрать все мои стихи, посвященные ему, а также те, в которых он так или иначе присутствует, и его стихи, где присутствую я, то получится если не роман в стихах, то целая небольшая книга, замешенная на дружбе, ревности, преданности, разочаровании, клятвах, разрывах...

Однажды в порыве ревности он даже допустил непростительную ошибку: звериная пронизательность на мгновение покинула его — и он принял мои стихи, в которых я прощался с Анатолием Передреевым, на свой счет:

Прощай, мой безнадежный друг,
нам незачем вести беседу,
ты вожжи выпустил из рук,
и понесло тебя по свету.

Каково же было мое горькое удивление, когда в книге "Неназванная сила", которую Игорь подарил мне с подписью

141

"Дорогому Станиславу, автору гениальной "Карабахской хроники", я вдруг прочитал:

"И понесло тебя по свету", —
перечитал я строчку эту
и с горечью подумал вдруг:
чему ж ты радуешься, друг?
Зачем придумываешь мне
напасти? Их и так немало.
Теперь я одинок вдвойне
у Белорусского вокзала.

На Белорусском вокзале я обычно провожал его в Могилев, сажал в поезд, обнимал на прощанье.

Я переживал наши размолвки по-своему, но не меньше, чем он. Время от времени воскрешал в памяти безоблачные картины молодой жизни, листая его книги, перечитывал стихи, и это заживляло раны и ссадины от его же мелких пакостей, случайных предательств, недостойных его таланта интриг.

Люблю протяжный стон гусей,
березы желтое отрепье
и поздней осени твоей
угрюмое великолепье!

Люблю, когда прозрачный лед
звенит, расколотый о сваи,
и с крыльев золото течет
на деревянные сараи.

А ночью ветер ледяной
солону кружит во вселенной,
и не поймешь, где звук живой,
где только отзвук незабвенный.

В такую ночь уже нельзя
всю душу выболтать растениям,
надежды, женщины, друзья —
все подвергается сомненьям.

Но ты — моя святая дрожь!
Где шум лесов, где вздох народа?
Где слезы матери, где дождь?
Где Родина, и где природа?

Нет, недооценивали его стихи Кожинов и Соколов, а я любил — вот почему на два десятка лет он и притулился ко мне, вот почему и открывался мне в письмах таким, каким его не знал никто, — пронизательным эгоистом, отчаявшимся волчонком, ранимым сверхчеловеком, наивным мизантропом.

142

"Здравствуй, друг!

Это письмо ты получишь как раз в день рожденья. Я давно тайно подозреваю, что мир был задуман мудрее, но случился какой-то просчет, и лучшие люди этой земли обречены на ту же участь, что и ничтожества.

Мы не получаем за свои бескорыстные страдания ни одного десятилетия сверх, даже "северную надбавку" время не выделяет нам, наоборот, урезает отпущенное.

"Лицом к лицу лица не увидать", нас еще оценят те, кто понимает, "где поза, а где свобода и полет". Только не видать этих ценителей, оглядываюсь — не вообще, а вот сейчас, в Ессентуках — какая грусть!

Доступные уродки и жалкие подобию мужчин сосредоточенно шаманствуют в буфете; ужас, как берегут себя, и на кой хрен? Для чего? Для каких грядущих светлых поколений? Для каких высших замыслов? Для себя, и только. Стадные инстинкты — жить подольше и получше; что бы ни случилось, стряхивают с себя, как собака воду, в крайнем случае, реагируют периферийной нервной системой, и уж точно не центральной. Забывают мгновенно все, что мешает им быть счастливыми, этот мотылек с тяжелым задом, когда хочет сказать "череп", то говорит "труп", очень любит иностранные слова и тайно, сука, обожает песни Рождественского. Друг, люди очень изменились, вторая жизнь — надежда темных, никто в нее не верит, никто не боится пакостить.

В санатории даже лечатся "втихаря", один другому не говорит, что поглощает кислородные коктейли или бегают на нарзанские ванны, вынашивают в своих больных печенках тайное злорадство: я лучше лечусь, я быстрее поправлюсь. Мерзость. И чем пристальней я смотрю на них, тем дороже мне ты и еще два-три человека. Недостатков, кстати, и у тебя до хрена! Но разве это по нынешним временам недостатки?.. Да это просто достоинства! И вообще у поэтов нет ни достоинств, ни недостатков. Ты все маслята, сыроежки, обабки и волнушки вовремя из корзины выбросил и набрел на боровую рощу. И берешь белые, благородные — молча, вдали от жалких ликований неразборчивых заготовителей. Мне это легко говорить, потому что дружба здесь ни при чем. Мы друг в друге не ошиблись, и слава Богу!

Поздравляю тебя и целую.

Твой Игорь

24.11.72".

143

Годы, борьба за выживание и успех, болезни, неудачная женитьба с каждым годом все беспощаднее ломали его хрупкую натуру. И я, погрязший в своих драмах и поисках собственного пути, уже все меньше мог поддерживать и спасти его. Разве что пониманием. Болезненное презрение к людям, нарастающая с каждым годом замкнутость, одинокая гордыня ("И нет в творении творца". — И. Ш.) и какой-то тупиковый биологический материализм все глубже и глубже отдаляли его от меня.

Он порошки и капли пьет —
не спирт и не коньяк.
А если руку обдерет,

мрачнеет, как маньяк.

Что делать! Не его вина,
а возраст и недуг...
Но вспоминаю времена —
был дерзок юный дух.

Как любо-дорого смотреть
мне было на него,
когда он стоя пил за смерть,
как Блок или Рембо.

Смущались, слыша эту речь,
отважные друзья.
"Конечно... что себя беречь,
Но пить за смерть? — нельзя..."

Вольно смеяться над судьбой,
но будь готов тогда
к тому, что и она с тобой
пошутит иногда.

Сначала я думал, что дело только в особенностях судьбы, душевного склада и различного рода комплексов, но все, видимо, было гораздо банальнее.

Жизнь ломает нас — и каждого по-своему.

Когда он написал свои лучшие стихи, которые, кроме меня, может быть, по-настоящему не оценил никто, когда увидел, что к нему не пришла слава, на крыльях которой можно было летать, держаться на воздушных потоках, жить полной жизнью, то начал склонять голову перед силой обстоятельств. Это мало кто заметил, разве что я да еще покойный Передреев. Он начал осторожно и скрытно приспособливаться к жизни, не то чтобы делать карьеру, нет. Для такого пути Игорь был слишком умен. Нет, он стал завязывать связи с нужными людьми такого склада и положения, которых в юности либо не замечал, либо при встрече с ними смотрел сквозь них.

144

До меня впервые это дошло, когда я увидел, как он дарит Сергею Михалкову однотомику своих стихотворений. Михалков по-барски обедал в ресторане Дома литераторов, а Игорь, наклонившись к нему, подписывал книгу, что-то говорил, с проникновенными просительными интонациями, пока "дядя Степа" для приличия держал книгу в руках, нетерпеливо ожидая, когда же этот молодой поэт даст ему спокойно съесть судака по-польски.

А потом вышла книжница Шкляревского "Поэзия—львица с гривой", где среди размышлений о "Слове о полку Игореве", о Лермонтове и Блоке, о Пушкине и Есенине были умело "вмонтированы" главы, посвященные переводам жены Михалкова Натальи Кончаловской, эссе о творчестве последнего заведующего Отделом культуры ЦК КПСС крохотного стихотворца Юрия Воронова, и что уж совсем было прискорбно для меня — "Письмо Сергею Бобкову" — маленькому, ныне прочно забытому модернисту 70—80-х годов. Плохо было то, что Сергей Бобков был сыном известного начальника из КГБ Филиппа Бобкова, ведавшего "работой с творческой интеллигенцией", скверно было то, что за дружбу с его сыном в те годы шла борьба между русскими и еврейскими литературными кругами, между Анатолием Ивановым и Михаилом Шатровым, Олегом Шестинским и Евгением Сидоровым. Все писали о Бобкове-сыне. Но хуже всего было то, что так, как написал Игорь, не додумался написать никто:

"Прочел твою "Судьбу..." Пронзительные и точные стихи... В твоей книге есть широко раскинутый невод... И не сухой! В этом ты—Сергей Бобков — и от города, и от

поля, и с князем Игорем, и с Голиафом..."

Это был верный путь к фортунам, к квартирам, государственным премиям, привилегированным заграничным командировкам. Борьба за поэзию и чистую славу заканчивалась. Началась нешуточная борьба за существование на высшем уровне, за успех, за возможность время от времени попадать в чиновничьи кабинеты не только к Георгию Маркову, но и к своим всемогущим цековским землякам — Василию Филимоновичу Шауро и Михаилу Васильевичу Зимянину. Зачем при таких крупных ставках ему старый друг в придачу с дискуссией "Классика и мы", с его письмом в ЦК по поводу "Метрополя", с поисками какого-то русского пути? А куда девать помимо отношений с кланами Бобковых и Михалковых всю минскую ауру? А столь желанные связи с покровителями со Старой площади? Нет, на этой судьбоносной развилке надо сделать окончательный выбор, прислушаться к своему инстинкту

145

самосохранения, тем более что поводов для разрыва накопилось за двадцать лет более чем достаточно... Вот и пришли мы к тому, с чего я начал: "Я не буду на твоём пятидесятилетии, но всегда смогу помочь тебе тайно..." Впрочем, справедливости ради надо сказать, что когда я в машине возле площади Восстания вслух прочитал ему свою статью о Багрицком, то он, помолчав, сказал: "Гениально. Но это никогда не будет напечатано. Дай прочитать ее мне домой". И вскоре ответил письмом.

"Дорогой друг!

Я дважды прочитал твою статью, сегодня для нашей поэтической жизни это переливание крови. С удовольствием пишу тебе, потому что никто меня за язык не тянет, статья живая, слова — веские, мысли беспристрастные! "Все свершается всерьез".

Целую, твой Игорь "

Но жить-то надо!

А тут еще незадолго до моего юбилея трагически погибает в 1977 году в Таджикистане поэт и геолог Эрик Портнягин, который посмертно добавил холода в пламя нашей тлеющей дружбы. В середине 70-х годов, он, хорошо знавший Игоря, написал о нем жестокое стихотворение:

Ворвался ты в большие города,
талантливый, ото всего свободный,
от совести лечила слобода,
от благородства жребий беспородный.

Там на базаре воля и разбой,
там подворотня с честью не знакома.
Из малого местечка вынес боль
и хилость из голодного детдома.

Прекрасен был твой искренний рассказ
о рыболовных, пригородных далях,
увидел много одаренный глаз,
открыл свою поэзию в деталях.

Их отдавая, старилась душа,
поправшая величие и жалость,
на праздник честолюбия спеша,
без мысли и потомства иссушалась.

На все есть цены, даже на друзей,
они растут... не сомневаясь долго,
ты продаешь их. В юности твоей
тебя не зря учила барахолка.

Не Бог весть какие стихи. Честные, жестокие, но прямолинейные, дидактические, однако Портнягин незадолго до смерти составил сборник и отнес его в издательство "Современник". После его гибели хлопоты по изданию книги взял на себя я. Написал к сборнику предисловие, и книга вышла со стихотворением, обращенным к Шкляревскому, в 1980 году. Может быть, это было последней каплей в наших отношениях с Игорем, и мне пришлось, после его обещания помогать мне "тайно", развязать узелок, завязывавшийся двадцать лет.

"20 октября 1982 года.

Милый Игорек!

Считай, что о твоём участии в моём юбилее разговора у нас не было. Я, правда, думал, что он тебе не менее нужен, чем мне. В сущности, предлагая тебе выступить, я больше думал не о себе, а о тебе. Хотелось хоть в какой-то степени сохранить тебя. Ты или не понял, в чем дело, или тебе сейчас это не нужно. Как бы то ни было — жизнь окончательно все прояснила. Забудем этот разговор. Прошу тебя ничего для меня не делать, ни перед кем меня не защищать и не оправдывать. Мне этой подпольной помощи не нужно. Вредить ты мне не будешь — в это я верю. И того хватит. Я — не человек интриги. Мне нужно, чтобы все было ясно, прямо, открыто.

Что же касается стихотворения Эрика Портнягина — то спорил бы с ним, а не со мной. Покойный наш друг сам оставил это стихотворение в рукописи, не боясь последствий. Почему я должен был нарушать его волю, не зная до конца ваших отношений и не зная всего, что дало Эрнсту повод для написания этих стихов?

Я пришел к окончательному выводу, что отношения наши настолько изжили себя, что продолжать их просто нелепо. Мы взаимно стали неинтересными и ненужными друг другу. Откажемся от формулы "мы со Стасиком", и я со своей стороны обязуюсь не произносить "мы с Игорем". Решение это созревало во мне не просто. Во многом тому способствовала смерть Эрика, после которой я как-то вдруг его глазами посмотрел на тебя. Обойдемся без лишних разговоров, тем более что каждый из нас уверен в своей правоте.

Прощай. Станислав".

В своей недавно (1997 г.) вышедшей новой книге Игорь Шкляревский, обычно всегда избегавший шагов и поступков, которые могли быть истолкованы как политические или

147

идеологические, сделал ряд "знаковых" посвящений. Посвятил стихи известному демократу Юрию Карякину, главному редактору "Московского комсомольца" Павлу Гусеву, "совести русской культуры" Дмитрию Сергеевичу Лихачеву.

* * *

Однажды в 1972-м или 1973 году Игорь приехал из Минска восторженный и возбужденный.

— Друг! Фортуна улыбнулась нам. Я разыскал в Минске средневековую поэму "Песня об охоте на зубров в беловежских лесах". Автор Микола Гуссовский — могилевский лесничий. Всё в масть! Вещь гениальная. Давай на пару срочно переведем ее. Написана поэма на латыни. Подстрочник я уже заказал. Мировая слава — гарантирована. И гроши такие, что нам никогда не снились! Поэма не слабее "Слова о полку...!"

Он рисовал столь увлекательные перспективы, что мы помчались на Белорусский вокзал и утром в Минске в подробностях обсуждали великий проект, обещавший нам славу и деньги. Правда, дело оказалось не столь простым, поскольку поэму уже начал переводить на белорусскую мову Иосиф Семяжон, подстрочный перевод которому с латыни сделал Семен Порецкий, и делиться со своим земляком и каким-то приезжим москалем мировой славой, а тем более деньгами они явно не желали. Однако остановить Игоря было невозможно.

Через свою белорусскую агентуру он каким-то полулегальным образом достал на время подстрочник поэмы, снял с него копию, и мы, торжествующие, бросились обратно в

Москву, чтобы засесть за работу.

Однако в несчастливый день, видимо, эта великолепная идея пришла в голову моему другу.

Поэма действительно замечательная, полная шума лесов, звона оружия, воинских и охотничьих страстей, созданная на латыни в начале XVI века, — в нашем вдохновенном переводе, к сожалению, не привлекла внимания ни одного столичного журнала и ни одного центрального издательства.

Разочарованию Игоря не было предела.

— Суки! — стучал он кулаком по столу. — Им бы все издавать Роберта Рождественского да Ваську Федорова! Где справедливость? Нет правды на земле!

Судьба "Песни о зубре", или "Корриды в Беловежье" — как мы ее называли, долго не давала ему покоя.

148

"Друг! Я еще раз наслаждался чтением "Корриды". Надо показать ее начальству "Новогомира" и отнести в Гослит. Вероятно, я залягу с аппендицитом, надо его вырезать, хожу скорчившись. Если есть время, займись пока нашим делом один. Новостей нет. Хвораю. Ну вот и все, если не писать о главном — в Могилёве ранняя, теплая, бурная весна, лед на реке чернеет, в воздухе стоит запах сырых деревьев, а ночью всё звенит.

Обнимаю тебя. Игорь "

Так и пролежала "Песня о зубре" четверть века у нас в столах до нашего окончательного разрыва и до нашей старости. Несколько лет тому назад я перечитал ее, пожалел о затраченном вдохновении, и поскольку издавать перевод под двумя фамилиями было нелепо, взял и доперевел Игореву половину поэмы.

Полностью в моем переводе она наконец-то в 1998 году была издана не где-нибудь, а на родине Игоря в Белоруссии, где и положено ей быть изданной. Мне кажется, что Игорь тоже сделал свой вариант полного перевода. По крайней мере он пишет об этом в книге "Поэзия — львица с гривой". Но ни больших денег, ни славы не получилось ни у меня, ни у него. Правда, как бы продолжая осуществление авантюрного замысла, он в 1985 году вдохновенно пересказал "Слово о полку Игореве", заработав наконец-то деньги и славу. И совершенно заслуженно. В "Песне о зубре" есть строки, которые сейчас, когда я пишу эту главу, невольно вспомнились мне:

Ставлю ловушки для сердца, для памяти — сети,
Но невозможно поймать убежавшее время!
Коли ушло и погисло, то пусть погибает.
Мы не всеильны. Судьбе не навяжешь законов.

* * *

Конечно, любимым его поэтом был Лермонтов.

Земные взоры Пушкина и Блока
Устремлены с надеждой в небеса,
А Лермонтова черные глаза
С небес на землю смотрят одиноко.

Велик соблазн походить на Лермонтова сиротством при живых родителях, одиночеством, внешностью, капризами, презрением к роду людскому, словами "облитыми горечью и злостью", и полным нежеланием понимать чужую душу — особенно женскую... Но если кого он и любил "безумно,

149

безнадежно", то свою первую жену, с которой познакомился при мне на Новом Арбате, которую я сватал ему, смутно понимая, что ничего из этой затеи путного не получится,

потому что все выглядело крайне смешным: и знакомство, и сватовство, и свадьба, и тем более семейная жизнь. Одно утешение, что у Лермонтова все было бы точно так же. Одни стихи только получились не смешными, можно сказать, с лермонтовским клеймом:

Два облака белых плывут по лазури,
Стоит ослепительный зной.
Ну вот мы и встретились после разлуки!
Невечной разлуки земной...

Над жизнью, в которой мы прочно забыты,
Над синим холодным Днепром,
Над кладбищем, где мы не рядом зарыты,
Сегодня мы рядом плывем.

Два облака белых... Одно розовеет,
Над миром приветствуя день.
Другое опять отдалиться не смеет,
Лежит на нем первого тень.

Нам встретится дым! И о юности милой
Ты вспомнишь и нежно взгрустнешь.
Я ливень пролью над твоею могилой...
А ты над моей не прольешь.

Ты первой иссякнешь в пылающем небе,
Рванусь за тобою, звеня!
Но в клевере, в глине, в полыни и в хлебе
Ты разве дождешься меня?

Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
А может, и не было вовсе разлуки,
Невечной разлуки земной?

Нет, Передреев был неправ, упорствуя в своем неприятии Игоря: "Ну что ты в нем нашел? Он же такой маленький..." Поэт, пишущий такие стихи и такие письма, конечно же, не годился для семейной жизни:

"А еще в Могилеве я понял, что в этом мире нигде и никогда не бывало обоюдной любви. Дело это личное, сугубо одностороннее и полезное только до поры. Еще одна ошибка всей мировой литературы: женщина в ней нарисована существом более тонким, нежным и незащищенным, чем мужчина. Увы, все наоборот. Они на все смотрят трезвее и жопу детям вытирают, когда мы сочиняем элегии. Но

150

тратиться на них стоит, — дело верное, ведь мы гроши проживаем, а они вкладывают в недвижимость, которую можно опять превратить в гроши. И вообще не мы их, а они нас охмуряют, но так как мы тоньше и умнее, они предоставили нам делать это за них — охмуряться!

... "Жалуются на равнодушие русских женщин к нашей поэзии, полагая тому причиной незнание отечественного языка: но какая же дама не поймет стихов Жуковского, Вяземского или Боратынского? Дело в том, что женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самой раздражительной, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не достигая души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму. Вслушайтесь в их литературные суждения, и Вы удивитесь кривизне и даже грубости их

понятия... Исключения редки". А. С. Пушкин (Отрывки из писем, 1827 г.) Рука моя чуть не вывела 19... такой-то год, потому что как свое писал... "

* * *

Однажды я уезжал от него на такси в Минск. Вместе со мной в машине сидели трое: выпивший отец семейства лет тридцати пяти, а с ним жена и дочь. У отца семейства был стриженный короткий ежик, маленькие в глубоких глазницах глаза и лицо, воспаленное от солнца и отпускового хмеля. На полдороге он вдруг начал декламировать стихи:

Выткнулся на озере
алый свет зари...

А когда проезжали какой-то поселок, то потребовал остановить машину: решил встать в очередь за бочковым пивом. Но я был раздражен на пьяного человека и на шофера, который посадил его, и сказал:

— Я опаздываю на самолет...

Шофер машину не остановил: "Для меня закон, как пассажиры скажут".

На его лице появилось удовлетворение: мол, получил, алкаш! А вслух он добавил:

— Выпивши, какой вы начальник! Простой смертный...

— А ты бессмертный?! — возмутился отец семейства. —

151

Хорошие вы люди, далеко пойдете... — Он помолчал минуту, другую и снова запел:

Чтоб всю ночь, весь день мой сон лелея,
о любви мне сладкий голос пел.
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
темный дуб склонялся и шумел.

Жена не выдержала:

— Толя, перестань, неудобно...

А мне вдруг стало стыдно: хорошему человеку — Есенина поет! Лермонтова! — пива не дали выпить. И шофер сразу стал неприятен...

— Замолчи, дура! — Голос у него был хриплый, но приятный. И обратился к шоферу: — Что, петь запрещено?

— Почему — если вы дома! — Шофер, аккуратный блондин при галстукке, в куртке под замшу... — если вы дома выпили — то пожалуйста! — (благопристойный, стандартный сукин сын.) — А здесь, в машине, люди каждый в своих мыслях, может, кому и неприятно.

— Люди, ну да, конечно! — пробормотал голубоглазый. А шофер продолжал философствовать:

— У каждого своя судьба...

Отец семейства с отчаянием махнул рукой:

— Да нет, не о том мысль моя... Боимся друг друга. Природу не любим. Вот Пушкина помнишь? "И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом"... Пушкин любил природу, и Есенин любил... Вот к чему я говорю!

А я вспомнил о темном дубе, под которым спал последние несколько дней... Он склонялся и шумел над нами, когда мы с другом усталые входили в его тень и падали на свежее сено...

Спали, как мертвые... Друг однажды заснул с сигаретой в зубах и прижег нижнюю губу... Небосвод... Какое звездное небо полыхало над нами!.. Дуб пушкинский, дуб лермонтовский... Темный дуб... А какое звездное небо сверкало по ночам, поворачиваясь вокруг Полярной звезды! Как там Кант сказал? Есть два чуда — совесть во мне и звездное небо надо мной...

— Совесть потеряли! — раздался голос голубоглазого, словно бы он прочитал мои

мысли... — Не по-лермонтовски живете, не по-есенински!

На самолет я действительно чуть не опоздал. Расставались мы в Минском аэропорту. Я сказал его жене:

— Интересный человек ваш муж. Она покраснела. Застеснялась:

— Ну что вы, мне так неудобно было!

152

* * *

Сейчас Игорь, как и все мы, доживает жизнь. Тихо, осторожно, незаметно. Славы уже не будет. Успеха уже не нужно. Деньги есть. Славу заменили премии, время от времени втихаря выдаваемые в долларах демократическими фондами, выросшими как опухоли на развалинах жизни. Детдомовская бедность и молодое высокое честолюбие давно в прошлом. Словом, он добился того, чего хотел. "Тот, кто в детстве настрадался — в старости свое возьмет".

Все было так. Шумел зеленый дуб.
Вставало солнце над прибрежным лугом.
В густой тени дремал мой юный друг,
тот человек, что был мне лучшим другом.
Он почернел и вымотался весь
от ранних зорь, от золотого плена,
от страсти жить, от жажды пить и есть
так изнемог, что навзничь рухнул в сено.
А шум листвы и птичья щебетня
твердили нам, что наступило лето...
В его губах дымилась сигарета,
он спал как мертвый... Капелька огня
достигла рта.
Он вскрикнул.
В два прыжка
слетел с обрыва и, как зверь, губами
припал к струе, и чистая вода
слизнула боль и остудила пламя.
Вся наша жизнь шумела в лад с рекой,
совсем иными были наши лица...
Добычей, смехом, родиной, тоской —
мы всем готовы были поделиться.
Он был здоров и молод.
Потому глядел на мир так весело и юно...
Вот почему, вперяя взгляд во тьму,
я думаю печально и угрюмо:
неужто честь, отвага и душа
всего лишь результат избытка силы.
Но только плоть достигнет рубежа,
когда земные радости немилы,
как проступают в лицевых костях
отчаянья и замкнутости знаки.
Не дай мне Бог!
На старых тополях,
справляя свадьбу, раскричались птицы.
Опять весна. До самой синей тьмы
над гнездами хлопочет птичья стая,
и я внимаю шелесту листвы,
как по страницам жизнь свою листая.
(1975)

153

"Коммунисты, назад!"

Обаятельный Шурик-лгун. Наша эпистолярная дуэль. Увлечение и охлаждение. Неизбежность разрыва. Ночь у Татьяны Глушковой. Тайны еврейского менталитета

В конце шестидесятых годов в Доме литераторов постоянно пьянствовала шумная парочка: маленький — полтора метра с кепкой — детский писатель Юрий Коринец, человек с бугристым смуглым лицом, ежиком волос и стоящими торчком усиками, и громадный, расхристанный, похожий на бабелевского биндюжника, старый лагерник Юрий Домбровский... Терять им было нечего, замечательный писатель Домбровский отсидел семнадцать лет, Коринец вырос в казахстанской ссылке, — и махнувшие рукой на всякие условности советской литературной жизни друзья постоянно напивались и вели себя как душе было угодно...

В узком проходе, соединяющем пестрый зал с дубовым, величественно идут двое — впереди маленький Коринец с тарелкой, на которой закуска, а за ним, покачиваясь, мохнатый, словно снежный человек, с волосами чуть не до плеч, в расстегнутой до брючного ремня рубашке, с двумя фужерами водки в обеих руках, Юрий Домбровский. Навстречу им со стороны дубового зала появляется трезвый Межиров. Завидев его — благополучного вылощенного поэта, официально названного надеждой советской поэзии в тех же самых статьях и докладах 1947 года, которые выбрасывали из литературной жизни Зощенко и Ахматову, и, конечно же, не любя его, умного дельца и одного из влиятельнейших "боссов" переводческого клана, автора знаменитого стихотворенья "Коммунисты, впе-

154
ред", — два бесстрашных литературных бомжа, не сговариваясь, рывкнули в два пропитых голоса: "Коммунисты, назад!"...

Александра Петровича как ветром сдуло, он шарахнулся куда-то за дощатую перегородку, отделявшую коридорчик от кухни, и затаился в ожидании, пока отчаянная пара, забыв о нем, не усядется где-нибудь в дубовом зале, к ужасу метрдотеля Антонины Ивановны...

С Межировым я познакомился в один из сентябрьских вечеров 1961 года в Коктебеле. Мы сидели на веранде его номера, глядели на синюю полоску залива, нас овеял сухой жаркий ветер, льющийся с черных громад Карадага... Межиров вздымал вверх подбородок, становясь чуть-чуть похожим на Осипа Мандельштама, имитируя искреннее самозабвение, и читал мне стихи:

Прилетела, сердце рая,
Телеграмма из села. Прощай,
Дуня, моя няня,
Ты жила и не жила.

Стихи были о России, о крестьянке Дуне, которая вынырнула в двадцатые годы маленького еврейчонка Сашу... Сверхзадачей стихов, талантливо и вдохновенно написанных, как я теперь понимаю, была цель — доказать, что и скромная интеллигентская еврейская семья, и выброшенная из деревни ураганом коллективизации молодая крестьянка Дуня жили одной жизнью, ели один хлеб, терпели одни и те же тяготы.

Все, что знала и умела,
Няня делала бегом,
И в семье негромкой нашей,
В годы ранние мои,
Пробавлялась той же кашей,

Что и каждый член семьи.

Межиров в этот период "болел русскостью", стремился убедить себя и других в том, что он:

...русский плоть от плоти*
по жизни, по словам,
когда стихи прочтете —
понятней станет вам.

* Через 50 лет переехавший в Америку Межиров уже иначе писал о своем происхождении: "Даже если не по крови, а по слову состою и прописан в русском слове за особенность свою".

155

Проницательный, улавливавший в стихах любую фальшь, Анатолий Передреев, прочитав поэму о няне, которой, кстати, автор чрезвычайно гордился, обратил внимание на заключительные слова:

Родина моя Россия,
Няня, Дуня, Евдокия —

и холодно заметил:

— Россия — няня? Ну, слава Богу, что еще не домработница...

Его слова прозвучали с неожиданной и жестокой прямоотой. Но в те годы я еще не задумывался о всех сложностях русско-еврейского вопроса и надолго забыл реплику Передреева. Вспомнилась она мне много позже, когда я вчитался в стихи Межирова о своих родителях:

Их предки в эпохе былой,
Из дальнего края нагрянув,
Со связками бомб под полой
Встречали кареты тиранов.
И шли на крутой эшафот,
Оставив полжизни в подполье, —
Недаром в потомках живет
Способность не плакать от боли.

Ну как же я раньше не понимал, что он из племени профессиональных революционеров, нагрянувших из дальнего края в революционную эпоху то ли конца XIX, то ли начала XX века на обессиленную Россию! Скорее всего, что из местечка Межиров, что в Галиции, — я как-то разглядывал карту и наткнулся на это слово — отсюда и псевдоним, так же, как Шкловский — от Шклова, Могилевский — Могилева, Слуцкий — Слуцка, Львовский — Львова, Минский — Минска... ("Всю Россию на псевдонимы растащили", — мрачно шутил Палиевский.) Но зачем тогда было выдумывать: "был русский плоть от плоти"? Зачем разыгрывать этот театр? Ломать эту то ли трагикомедию, то ли мелодраму?

Как я понял позднее, приписывая своим предкам подвиги террористического самопожертвования, Межиров и тут самозабвенно мистифицировал читателя. Исполнителями террористических актов конца XIX — начала XX века, как правило, были обманутые русские люди: Софья Перовская, Желябов, Морозов, Халтурин, Каракозов — или поляки. Предки же Межирова могли быть идейными вдохновителями, организаторами террористических кружков, иногда вождями-

156

провокаторами вроде Евно Азефа, часто изготовителями бомб и взрывных устройств... На эшафот же, выполнив их планы и указания, чаще всего шли другие.

Впрочем, и Межиров, и другие близкие ему по духу шестидесятники чуть ли не до

первых лет перестройки оставались верны заветам революционных "предков", эмигрантов, "нагрянувших" в Россию "из дальних краев".

Уже в начале 80-х годов Александр Петрович еще раз поклялся в преданности представителям этой породы Смилге и Радеку, написав стихи, посвященные ихнему клану:

...Но сегодня Саня Радек,
Таша Смилга снятся мне...
Слава комиссарам красным,
Чей тернистый путь был прям...
Слава дочкам их прекрасным,
Их бессмертным дочерям.

Стихи органически вписывались в кровавое романтическое полотно, на котором красовались окуджавские "комиссары в пыльных шлемах", евтушенковский Якир, протягивавший в будущее "гранитную руку" из прошлого, где в дымке времени "маячила на пороге" целая когорта комиссаров — Левинсон из "Разгрома", Коган из "Думы про Опанаса", Штокман из "Тихого Дона", Чекистов-Лейбман из "Страны негодяев".

Впрочем, эти мысли сложились у меня гораздо позже, через несколько лет, а в тот коктейбельский знойный вечер я с восхищением выслушал талантливо написанную, легко льющуюся поэму о няне, а Межиров, видя мой восторг, пригласил меня, начинающего бильярдиста, в бильярдную и с расчетливостью профессионала за несколько партий облегчил содержание моего кошелька наполовину.

Однако я не был на него в обиде. Мне нравился его артистический характер, его то восторженный, то скептический ум, его легкая, изящная манера письма, его демонстративное поклонение искусству. Увлеченный такими свойствами его натуры, я в 1965 году даже сочинил восторженную рецензию о его поэзии под названием "Она в другом участвует бою", — имелось в виду, что не в житейском, не в общественном, политическом, а в высоком, в том, о котором думал Пушкин, когда писал: "Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв". Я, уставший к тому времени от постоянного комиссарского надзора Слуцкого, с готовностью прислонился к Александру Петровичу и даже стишок о нем написал: "Не жесток он и не желчен, просто знает про войну, мой товарищ

157

любит женщин, Блока, Библию, весну. Все прекрасно понимает, что не надо понимать, от познания погибает и не хочет погибать".

Справедливости ради надо сказать, что на первых порах моей московской жизни и он был внимателен ко мне, с его помощью я наладил связи с грузинскими и литовскими поэтами, стал получать заказы на переводы их книг, начал зарабатывать деньги. Но тем не менее, выпивая с ним, или играя в бильярд, или размышляя о стихах Мандельштама, я всегда чувствовал на себе с его стороны какое-то особо пристальное внимание. Как будто бы он не забывал никогда, что, несмотря на наши дружеские отношения, за мной нужен глаз да глаз, что я не останюсь на этом рубеже пиетета и почтения. Поэтому его письма ко мне всегда были осторожны, предельно аккуратны и почти неуязвимы для комментариев в том случае, если отношения в будущем могли бы испортиться.

Из письма А. Межирова от 6.8.65 г. после того, как он прочитал книгу "Метель заходит в город":

"В вас заложено то, что должно воплотиться во множество прекрасных стихов и поэм. Все эти двадцать дней (мы с ним побывали в туристической поездке в Польше. — Ст. К.) я чувствовал, как Ваша кровь единоборствует с холодным расчетом, ясным разумом. Это единоборство надо воплотить в слове, сохранив равенство двух великих сил. Для этого надо любить Передреева и Говорова. Они люди. Надо меньше импровизировать и дольше ждать. Надо освободить душу, а не рифму. Надо

осторожней отрицать — Маяковский великий поэт всех времен и народов"...

Но к тому времени я уже лишь внешне соглашался с его советами. Пафос отрицания и поиска своей истины все более и более овладевал мной, и когда Межиров узнал, что я написал статью "Упорствующий до предела" о творчестве его друга Винокурова, которое я счел куда более ходульным, театральным и рациональным, нежели тогда было принято считать, он бросил на карту все свое влияние, лишь бы не допустить публикации этой статьи. Он звонил, настаивал, канючил, предупреждал. Он как будто бы предчувствовал, что с этого поворотного момента начнется мое окончательное охлаждение и к Слуцкому, и к Самойлову, и к нему, взявшему на себя роль моего учителя и покровителя. Статью о Винокурове я все же опубликовал. В журнале "Наш современник". В 1966 году...

158

Подводя сейчас какие-то предварительные итоги литературной жизни 60—90-х годов, надо сказать, что Александр Межиров обнаружил за это время удивительные способности к перемене своей сущности, своего "альтер эго", способности, столь свойственные породе людей, нагрянувших в свое время на Россию "из дальнего края". Он был куда более гибок и толерантен, нежели комиссар и государственный Борис Слуцкий, более сложен и загадочен, нежели прямодушный и наивный Наум Коржавин, более политизирован и социален, нежели эстет Давид Самойлов. Сначала он — один из любимейших учеников Антокольского (кстати, известного не только стихами о Пушкине, не только поэмой "Сын", но и книгой "Ненависть" — 1937 г., — воспевавшей репрессии так называемого "большого террора"), известнейший из молодых советских поэтов, куда более популярный после войны, нежели Сергей Орлов или Сергей Наровчатов, автор "знакового", как говорят сегодня, стихотворенья "Коммунисты, вперед!" Именно оно обеспечило ему официальное признание, популярность и бытовое благополучие в первое послевоенное десятилетие...

Вторая его ипостась, дополняющая коммунистическую, — "русская национальная", умелая мистификация, отчаянная попытка стать "русским плоть от плоти". Ради нее он шел на многое, увлекался Константином Леонтьевым, даже мне (спасибо ему тем не менее!) со странной улыбкой передавал 8—9-й тома русского историософа, с наслаждением погружался в мысли "разочарованного славянофила", носился по Москве с книгами полузабытого и полузапрещенного в те годы юдофоба Розанова... В стихах же тех лет со скромным достоинством он писал:

Две книги у меня. Одна
"Дорога далека". Война.
Подстрочники. Потеря друга
Плюс полублоковская вьюга.

"Полублоковская вьюга", помню, и трогала, и забавляла нас с Передреевым и Кожинным. Эту роль своеобразного еврейско-русского "почвенника" Александр Межиров играл сколько мог — талантливо и изощренно, до тех пор, пока судьба сегодня не определила ему его третью личину — разочарованного еврейского либерала, Однажды, когда мы проходили неподалеку от Кремля, он с характерным для него поэтическим завыванием вдохновенно прочитал стихи Осипа Мандельштама о кремлевских соборах:

159

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь,
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь —

и с какой-то истовой провокаторской страстью вдруг спросил меня: — А верите ли вы, Станислав, что рано или поздно в

Успенском соборе возобновятся богослужения?

В ответ я прочитал ему стихотворенье не о возрожденном богослужении, а о неизбежном, как я считал, историческом возмездии всем разрушителям храмов, "нагрязнувшим" "из дальнего края"...

Реставрировать церкви не надо,
пусть стоят, как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада
в наготе и разрухе своей.

Пусть ветшают. Недаром веками
в средиземноморской стороне
белый мрамор — античные камни —
что ни век возрастает в цене.

Реставрация трупов. Побелка.
Подмалевка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем.

Для чего? Чтоб заезжим туристам
не смущал любознательный взор
в стольном граде иль во поле чистом
обезглавленный темный собор?!

Все равно на просторах раздольных
ни единый из нас не поймет,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поет.

Межиров все сразу понял, резко повернул тему разговора, и я так и не успел напомнить ему его мрачные и по-своему кощунственные стихи о Троице-Сергиевой лавре, описанной им как некое зловещее, почти разбойничье гнездо:

Там в окладах жемчуг крупен,
У монаха лик преступен,

160

Искажен гримасой рот...
В дымке Троица Святая,
А под ней воронья стая
Раскружилась и орет.

Я понял, о чем он думал в ту минуту—о моем выступлении на дискуссии "Классика и мы", где я отважился вслух сказать не только о любви Осипа Мандельштама к России, но и о революционной ненависти к ней и ее истории поэтов карательно-чекистского склада наподобие Эдуарда Багрицкого. В эту секунду мы как бы прочитали мысли друг друга.

— Станислав! — с неожиданной резкостью, почти с угрозой остановил он меня, по моему, возле стелы с именами великих революционеров всех времен и народов, что в Александровском саду, — неужели Вы не понимаете, что дело большевиков, как бы о нем сейчас ни думали, великое дело и рано или поздно мир в очередной раз, но обратится к их правде...

Он со страхом понимал, что такие люди, как я, хотят сделать советскую действительность более русской, настолько, насколько это позволит история, и в его

глазах мерцала зловещая растерянность. В слово "большевики" он и я вкладывали совершенно разные смыслы.

Вечерело... Тонкая полоса кровавого заката загоралась над Москвой-рекой, над бассейном, пар от которого подымался, словно образуя колышущиеся призрачные очертания храма Христа Спасителя... Мы с Межировым знали, что недавно в бассейне было обнаружено тело поэта Владимира Львова, чьи строки: "Мои друзья расстреляны, мертвы и непокорны, и серыми шинелями затоплены платформы" — в те годы были широко известны в узких кругах. Скорее всего, что ему стало плохо во время плавания, а незаметно утонуть в адском облаке густого пара, смешанного со слепящим светом прожекторов, было легче легкого. Но злые языки распространяли по Москве слухи о том, что это возмездие иудею, чьи соплеменники разрушили храм Христа Спасителя и специально, чтобы надругаться над православными, построили на святом месте гигантскую купель для кощунственного плотского омовения.

Именно в это время Межиров написал мне письмо, в котором предпринял титанические усилия, чтобы не дать мне уйти из-под его влияния:

"Вы знаете, что я не хочу разрыва и душой болею, думая о внутренних изменениях наших отношений. После получения "Рукописи" перечитывал Ваши книги, из которых она

161

составлена. Находил любимые стихи, радовался. Все же заметил и совсем иное: дарственные надписи — от сыновье-влюбленных, до последних, почти надменных, во всяком случае, почти отчужденных. И вдруг подумал, что в наших беседах с некоторых пор часто мелькают эвфемизмы. Хочу написать без них.

Сами по себе слова Достоевского (в одной из бесед я в доказательство своей правоты вспомнил какие-то слова Достоевского. — Ст. К.), конечно, прекрасны и в чьих-то похвалах не нуждаются. Но любой самый средний западник более прав в вопросе о Константинополе и Польше, чем Достоевский, впадающий порой в пошлые стереотипы ("французишки", "жиды"). Истина есть ложь, когда Достоевский начинает говорить от имени народа-Богоносца, то есть... Христа. Существуют свидетельства, что Достоевский ждал конца мира (через десять лет), — значит, не верил в "почвенность". Всякая партия относительно права в борьбе со злом. Страшен дух ненависти в сраженьях за правое дело. Достоевский доходил в борьбе с бесами до бесовщины, до оправдания доноса, до доноса на Тургенева, как Шевцов. И все это там, где Петр разрушил основы понятий о чести, а новые — утверждает Шевцов — из Сергиева города, почти из Лавры. И борьба чистой идеи с "Багрицким" незаметно переходит в кооперативно-квартирно-автогаражную статистику.

Розанов, Мережковский в конце жизни думали и об этом. "Живите", — говорил Розанов. "Семиты создают религии, арийцы их разрушают. Слово "жид" кощунственно над плотью Господа, ибо плоть его оттуда", — писал Мережковский в сороковые годы. Простите мне, Станислав, это напоминание. Все сказанное известно Вам и так. И писал я только ради надежды на действительное "воссоединение людей", на спасение нашей дружбы.

Ваш А. Межиров. Январь 1978 г."

Письмо написано через месяц после дискуссии "Классика и мы"...

Мне не хочется задним числом подробно рассматривать, где в этом письме передержки, где тонкое лукавство, где нарочитое упрощение Достоевского, Петра Великого, Василия Розанова. Скажу только о том, что странно было читать в письме высокое слово "честь", поскольку все, кто близко знал

162

Межирова в те годы, считали его не просто мистификатором, но изощренным интриганом, светским сплетником и просто лжецом. "Шурик-лгун" — под этим прозвищем он был известен всей литературной Москве — и еврейской и "антисемитской".

Помню, когда я читал упрощенные до идиотизма размышления Межирова о Достоевском, то с горькой улыбкой вспоминал его же рассказ об одном профессоре,

который преподавал ему литературу в стенах Литинститута в конце сороковых годов.

"Профессор, когда размышляя о Толстом, время от времени повторял: — Ну, в этом вопросе старикашка заблуждался!

И однажды я на семинаре, набравшись храбрости, — продолжал Межиров, — поднял руку, встал и озадачил профессора: "Объясните нам, как может так случиться, что Толстой заблуждался, а вам, профессор, все на свете ясно?"

Ах, Александр Петрович, Александр Петрович! Как же так, старикашка "Достоевский заблуждался", а вам, средненькому русско-еврейскому поэту, ясны все "заблуждения" гениального русского провидца! И не стыдно?

Письма наши друг к другу в конце 70-х годов с упреками и объяснениями становились все жестче и жестче и, объективно говоря, отражали раскол, окончательно оформлявшийся в русско-еврейских отношениях. В некотором смысле наша переписка затрагивала многое из того, что в середине 80-х вспыхнуло в эпистолярной войне между Виктором Астафьевым и Натаном Эйдельманом.

"Вы за последние годы ничего не поняли и ничему не научились, — писал я Межинову. — Мне жаль книг, подаренных Вам. Я ошибся, говоря о том, что Вы любите русскую поэзию. Это не любовь, скорее ревность или даже зависть. Не набивайтесь ко мне в учителя. Вы всегда в лучшем случае были лишь посредником и маркитантом, предлагающим свои услуги".

Межиров не оставался в долгу. В ответном письме осенью 1980 года он негодовал, осуждал, клялся, становился в благородную позу.

"Станислав! Вы ответили мне злобной площадной руганью. Я не хотел обидеть Вас. Значит, обидела правда. Когда-то Вы подарили мне книги с надписями "с любовью", "одному из немногих близких". Я мог бы вернуть их Вам, но не

163

сделаю этого. Я прожил жизнь и умру в России. На миру да в надежде и смерть красна".

Но судьба не дала ему до конца сыграть непосильную для него роль русского человека. Последние годы его жизни в нашей стране были постыдны, смешны и унижительны. Сначала он чуть не тронулся умом оттого, что от его дочери ушел муж, молодой поэт, которого я хорошо знал. Еврейское чадолубие Александра Пинхусовича ударило ему в голову, как хмель. Он прибежал ко мне, в Московскую писательскую организацию, где я работал секретарем и где стоял правительственный телефон "вертушка", умоляя меня позвонить начальникам из Спорткомитета СССР, где работал его зять, чтобы те подействовали на молодого человека, дабы он вернулся к постылой жене. Я с брезгливостью выслушивал его, звонил, но, естественно, какой-то из начальников спорта поднял меня на смех.

Потом, когда из этого плана ничего не вышло, Межиров помчался в Тбилиси. Отец его зятя работал завкафедрой в каком-то грузинском институте. Межиров добился свидания с Шеварднадзе, умолял его подействовать на бедного отца, чтобы тот, в свою очередь, заставил сына воротиться к межировской дочке. Надо отдать должное Шеварднадзе, который выслушал шизофренические монологи Межинова и, вспомнив, что он, Шеварднадзе, все-таки грузин, сказал по-сталински:

— Пусть молодые поэты спят с теми женщинами, с которыми им хочется спать...

Окончательно наши отношения испортились после одного ночного разговора. Как-то раз в полночь мне позвонила Татьяна Глушкова:

— Волк, — сказала она, чрезвычайно волнуясь, — Вы должны немедленно приехать ко мне. У меня сидит Лангуста (так она звала Межинова. — Ст. К.) и ведет всякие гнусные речи, запугивает, шантажирует... У меня нет сил возражать ему.

Помогите...

Через полчаса я вошел в квартиру Татьяны Михайловны... Разъехались мы только на рассвете. Словно посланцы двух потусторонних сил, мы сражались с ним за ее душу, а Татьяна, еще колебавшаяся, стоит ли ей прибавиться к русскому стану, ждала исхода поединка. О чем только не было переговорено в эту роковую ночь. О ветхозаветном

израильском Боге возмездия, об Аммоне, Мордохе и Эсфири, о десяти заповедях, о русскости и еврействе Мандельштама, о еврейском чадолубии и о русском разгильдяйстве, об антисемитизме Розанова и

164

юдофильстве Владимира Соловьева, о том, кому из нас должно каяться, а кому принимать покаяние. Словно еврейский ангел смерти Малхамовес, Александр Петрович кружил над душой несчастной Татьяны, а я то крестным знаменем, то стихами Есенина, то меловой чертой, то просто крепким русским словом отгонял его и с удовлетворением наблюдал, как его атаки становились все более неуверенными. А Татьяна всю ночь сидела почти молча и непрерывно курила, не зная, в чьи руки — русские или еврейские — попадет ее судьба.

К рассвету крылья нашего Малхамовеса окончательно отяжелели и сникли, он допил последнюю рюмку, докурил последнюю сигарету, мы попрощались со спасенной для русского дела хозяйкой, сели в его автомобиль и поехали домой. Всю дорогу молчали, лишь когда я выходил из машины, серый от усталости Межиров произнес:

— Не радуйтесь... Она и от вас тоже когда-нибудь уйдет, как сегодня ушла от меня...

Из моего дневника от 8 января 1978 г.

"Говорили о доносе Гофмана, о Гофмане младшем и вообще об отце и сыне. Межиров, как за последний якорь спасения, хватался за Библию: "Откройте пророка Иону — там все сказано!" (когда я призвал "га к раскаянию"). На другой день я, "открыл Иону" — а там о раскаянии ни слова.

В ответ на мое предложение поглядеть, как по-разному относились к своему народу Пушкин, Гёте и Гейне, залепетал что-то невразумительное об "исторических обстоятельствах".

Утром он позвонил опять: — Глушкова — а она одна из лучших, говорит: "У всех евреев есть машины, а у меня нет". Станислав! Я люблю Сергея Маркова и не люблю Сергея Острового! Станислав! Ну кто правит бал? Ганичев, Лесючевский, Осипов — где же евреи? где? Петр Первый, Станислав, делал тоже самое, что Багрицкий.

...Он взвизгивал, искал сочувствия, вымогал уступки, добивался льгот и послаблений, а когда я к этому остался холоден, вернулся в накатанную колею и стал симулировать погромные настроения.

— Что же остается? Депортация?

Я отвечал: не впадайте в панику. Русский народ ужился с семьюдесятью языками, и с евреями уживется, если они откажутся от своего высокомерия, от претензий на то, чтобы быть новым русским дворянством, и покаются за все злодеяния своих революционных отцов".

165

А в начале 80-х годов Александр Петрович, не раз употребивший в письмах ко мне слова "честь" и "благородство", будучи за рулем, сбил глубокой ночью в зимней Москве актера Юрия Гребенщикова из театра им. Станиславского. По иронии судьбы произошло это в январе, когда в компании актеров, где был Гребенщиков, и в каком-то дружеском кругу, где был Межиров, поминали Высоцкого в его день рождения.

А Высоцкий был кумиром Александра Петровича, я помню, как в начале 60-х годов немолодой уже Межиров буквально носился по всей Москве с записями песен Высоцкого и в любом доме, куда он приезжал, тут же включал магнитофон, заставлял всех слушать "Охоту на волков", "Их было восемь", "Я "Як"-истребитель", вздымал очи небу и бормотал: "Гениальный мальчик, гениальный".

Но в ту роковую ночь он оттащил еще живого товарища Высоцкого в кусты (несчастный актер после этого целый месяц пролежал в коме и умер) и подло сбежал с места преступления, потом спрятал машину в укромном месте... Словом, сплошной позор. На его беду одна старая женщина, страдавшая бессонницей, увидела все происшедшее из окна, запомнила номер машины. Бесчестного и трусливого "фронтовичка" вскоре разыскали. Милиция в те годы еще работала толково. Пользуясь своими связями и

деньгами, ревнитель "воссоединения людей" замял дело. Но, видимо, страшась будущего возмездия, понимая, что невозможно жить в России с такой репутацией, принял решение уехать в Америку ...Врет, что покинул родину от страха перед погромами. Уезжали расчетливо, не торопясь, как и положено у людей его племени. Сначала отправили дочку с внучкой, обжили небольшой семейный плацдарм, потом уехал Межиров — глава семьи, и после всех—его жена Леля, завершившая все дела по продаже квартир, дач, гаражей и прочих атрибутов, о которых с такой иронией писал Александр Петрович в одном из писем ко мне ("Борьба чистой идеи с "Багрицким" незаметно переходит в кооперативно-квартирно-автогаражную статистику"). На деле же в "кооперативно-квартирно-автогаражную статистику" перешла межировская "полублоковская вьюга". "Дорога далека" — так называлась его первая книга 1947 года... Напророчил. До Америки довела Межирова его далекая дорога. Впрочем, может быть, не из Восточной Европы "нагрянули" в Россию его предки, а из Америки?

Вспомним, что после февральской революции в Россию для окончательного ее покорения прибыл корабль

166

"американских революционеров", укомплектованный самим Львом Троцким. Знаменитый американский публицист Джон Рид, похороненный в Кремлевской стене, однажды с удивлением встретил в Моссовете той эпохи одного такого "нагрянувшего из дальнего края" пассажира с этого корабля, который в Нью-Йорке работал часовщиком, а тут сразу стал комиссаром и крупным чиновником, и описал эту встречу в книге "Десять дней, которые потрясли мир": "Через зал шел человек в потрепанной солдатской шинели и в шапке... Я узнал Мельничанского, с которым мне приходилось встречаться в Байоне (штат Нью-Джерси). В те времена он был часовщиком и звался Джоржем Мельчером". Видимо, вот такие "мельничанские" и были предками Александра Пинхусовича.

Однажды, году в 84-м или 85-м, заикаясь от хорошо разыгранного волнения, Александр Петрович обратился ко мне в поисках сочувствия:

— Станислав! Вы же читали огоньковские статьи Андрея Мальгина. Вы понимаете, что этот бесстрашный юноша бросил вызов многим сильным мира сего: Михаилу Алексею, Бондареву, Проскурину! Он же на амбразуру ложится! Да они же его затравят и убьют, как Лермонтова!..

Литературная судьба этого "Лермонтова" сложилась в годы ' перестройки вполне естественным образом. Он стал главным редактором журнала "Столица" в эпоху идеолога взяточничества Гавриила Попова, за заслуги в борьбе с красно-коричневой опасностью, видимо, фантастически разбогател, потому что Сергей Есин в своих дневниках, опубликованных в "Нашем современнике" в 2000 году, так пишет об этом "идеалисте" рыночной демократии:

"Вечером за мной заехал и повез на дачу Андрей Мальгин. Я уже традиционно смотрю его новую дачу — третью — и по этим крохам представляемой мне действительности изучаю новую жизнь...

В "мерседесе" нет шума, потому что в окнах сильнейшие стеклопакеты. Машина не покатится с горки, потому что включится один из восьми ее компьютеров и включит тормоза. При парковке компьютер не даст коснуться другой машины... На первом конном заводе у Андрея стоит своя лошадь, на которой ездит его ребенок, поэтому новую его дачу не описываю... Андрей Мальгин решил строить у себя на последнем этаже дома зал-библиотеку в два этажа..."

Жаль, что Александр Петрович Межиров не увидел всего, что увидел Есин. Как бы он порадовался за бескорыстного, бесстрашного юношу, боровшегося в восьмидесятые годы

с

167

литературными генералами Алексеевым, Бондаревым, Проскуриным...

Беседуя с тем же Сергеем Есиным, я узнал, что когда Межиров уехал в Америку, то литературное окружение, ему близкое, целых два года держало Сергея Есина, ректора

Литературного института в напряжении: "Межиров уехал не навсегда, он вот-вот вернется, поэтому отчислить его из штата преподавателей нельзя, неудобно..."

И целых два года жена Межирова Леля аккуратно приходила в кассу Литинститута в труднейшие времена, в начале девяностых — и ежемесячно получала "заработную плату" за своего мужа... Словом, "русский плоть от плоти" Александр Пейсахович до конца-таки сумел попользоваться последними благами советской родины. ("...Родина моя Россия, Няня, Дуня, Евдокия".)

Ну как тут не вспомнить строчки из "Василия Теркина": "Ну не подлый ли народ!" — правда, это у Твардовского сказано о немцах...

Сейчас Межиров доживает свой век в каком-то нью-йоркском пригороде, по слухам, подрабатывает на жизнь бильярдной игрой, даже стишки еще какие-то пописывает, в которых борется с национализмом Николая Тряпкина и, естественно, с "антисемитизмом", и какие-то книжонки издает. Вот уж воистину, человек, сменивший не только кожу, но и душу.

Если бы он не дрогнул в последний момент, не уехал, сыграл бы свою роль до конца, я бы не стал писать этих страниц. Но он сорвался, погубил пьесу, не доиграл, обнаружил, что слова "был русским плоть от плоти по жизни, по словам" — остались поэтической фальшивкой. Так же, как и его роковая и неосторожная фраза из последнего письма: "Я прожил жизнь и умру в России". Умрет он в Америке. В России умру я. А значит, в нашем историческом споре я прав.

Впрочем, даже сейчас, когда мне почти все ясно в этом споре, я не рискую все-таки сделать окончательный вывод о глубинных причинах его отъезда. Ведь евреи люди не только скрытные и таинственные, но их драма заключается в том, что они, по крайней мере большинство из них, сами себя не знают или знают не до конца, и знание самих себя к ним приходит в течение всей жизни.

Вот актер Михаил Козаков в своих мемуарах "Третий звонок" излагает любопытные откровения:

"Один замечательный актер старшего поколения той самой пресловутой национальности, фронтовик, прошедший Отечественную, часто говорил: "Запомни, Миша! Мы здесь, в

168

России, в гостях. Запомни: в гостях. И перестань чему-либо удивляться". Я возражал: "И это говоришь ты, фронтовик? Актер, которого любят миллионы?!" — "Да, все это так, Миша, и все-таки мы в гостях".

Признаться, я так не думал, по крайней мере тогда, лет пятнадцать назад, когда впервые услышал от него эту фразу. А вот сравнительно недавно задумался ("Знамя", 1996, № 6).

Может быть, и Александр Межиров задумался о том же, как задумался некогда историк литературы Михаил Гершензон.

В 1920 году в "Переписке из двух углов" он писал: "Я живу подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим туземцами и сам их люблю и радуюсь их радостью, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины, о ее иной весне, о запахе ее цветов и говоре ее женщин. Где моя родина? Я не увижу ее, умру на чужбине".

И это писал абсолютно ассимилированный еврей, исследователь творчества Пушкина и Чаадаева, Огарева и Ивана Киреевского, автор книг "История молодой России", "Грибоедовская Москва", "Мудрость Пушкина". Тот же самый мотив я нашел в книге современного поэта Михаила Синельникова, изданной в 80-е годы: "И слову не внемлют, и ждут меня, помнят упрямо в отеческих землях, в зеленых шатрах Авраама".

Примеров такого "состояния души" можно приводить много — из стихов С. Липкина, Ю. Мориц, Я. Вассермана, который прислал мне такие стихи:

Я лишен национальной спеси,
Рос от той проблемы вдалеке.

Так случилось — ни стихов, ни песен
На родном не слышал языке.

Но бывает — будто издалече
Слышу я гортанный, древний крик,
Бронзою мерцает семисвечье,
И в ермолке горбится старик.

Со всеми с ними я спорил, встречался, переписывался в прежние времена, пока не понял, что напрасно трачу время и чувства. Меня всегда останавливало от окончательного разрыва с людьми подобного склада то, что в другом крыле ассимилированного еврейства такая способность соплеменников к перевоплощению, к перемене души и родины, к вечному поиску судьбы нередко оценивалась иначе.

Вот как отвечал на этот религиозно-исторический вопрос русскоязычный поэт Оскар Хавкин:

169

Богом проклятый род — ты как птица,
Что ж на месте тебе не сидится!
Ты бросаешь и землю и дом,
Вырываешь приросшие корни,
Ищешь мир, где вольней и просторней,
Чтоб ничто не мешало кругом.

И решенем, жестоким и скорым,
Покидаешь и друга, с которым
Ты и горе, и радость делил...
Все, что было вам дорого с детства,

Все, что было вам отчим наследством, —
Отряхнул от себя и забыл.
Пусть ты будешь и сыт, и доволен
Новым домом, и небом, и полем,
Только знай — ты не прежний, не тот, —
Час пробьет, снова все ты разрушишь,
Сменишь кожу, и чувства, и душу...
Чтобы в новый пуститься полет.

Опасные и непредсказуемые особенности еврейского менталитета в том, что он автоматически, инстинктивно, стихийно изменяется в зависимости от изменения жизненных обстоятельств.

В русской среде еврей становится русским, в советской эпохе — советским, но попади он в окружение соплеменников — сразу же из состояния анабиоза в нем оживают еврейские гены, и, забывая всю свою прошлую жизнь, он начинает чувствовать себя евреем. Как Протей, он меняется на ваших глазах, не испытывая никакой особенной драмы, слома, угрызений совести, боли, линьки души или убеждений. Это — "человек-толпа", род пойкилотермного организма, у которого температура тела всегда равна температуре окружающей среды.

Думаете, не был искренен Даниил Гранин, принимавший 15 лет тому назад премию имени Гейне и радовавшийся от всей души тому, что его "чествовали как писателя в свободной, идущей по пути социализма Германской Демократической Республике..."

С той же искренностью и естественностью тот же Гранин сегодня издевается над социализмом.

С той же искренностью и естественностью Александр Галич одновременно сочинял советские комсомольские и антисоветские лагерные песни, а на вопрос Юрия Андреева в 1967 году "Как же так можно?" — с улыбкой ответил: "Так ведь жить-то надо!"

Даже творчество "лучших и талантливейших" из них отмечено этой уникальной особенностью.

170

Вы помните величественное и несомненно искреннее прославление Ленина Борисом Пастернаком в поэме "Высокая болезнь", созданной к 10-летию Великого Октября?

Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял течением мыслей
И только потому страной...
Он был, как выпад на рапире.

Но ведь тот же несравненный Борис Леонидович всего лишь за несколько лет до "Высокой болезни" нарисовал совсем другой образ вождя всемирного пролетариата, сидящего в немецком plombированном вагоне на пути в Россию:

Он. — "С Богом, — кинул, сев;
и стал горланить, — к черту —
Отчизну увидав, — черт с ней, чего глядеть!
Мы у себя, эй жги, здесь Русь да будет стерта!
Еще не все сплылось; лей рельсы из людей,
Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!
Покуда целы мы, покуда держит ось.
Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.
Здесь так знакомо все, дави, стесненья брось!"

Эти, увы, косноязычные стихи, рисующие Ленина как патологического русофоба, тщательно и не зря скрывались публикаторами Пастернака вплоть до перестройки, до 1989 года... Да не смутит читателя то, что я в один ряд ставлю посредственного беллетриста Гранина и талантливого поэта Пастернака. Я ведь говорю лишь о том, чем они похожи друг на друга — их способностью приспособливаться к историческим обстоятельствам. Ведь не случайно же, что создателями фильма "Ленин в 1918 году" были сценарист А. Каплер, режиссер М. Ромм, оператор Б. Волчек.

Вот что писал журнал "Огонек" о Ромме, будущем создателе киносбестселлера "Обыкновенный фашизм": "Он говорил в те годы, что совершенно по-другому поставил бы теперь оба ленинских фильма, и сдержанно оценивал свой новый монтажный вариант (после XX съезда КПСС Ромм выбросил из фильмов шестьсот тридцать метров "культы", все эпизоды со Сталиным Ромм безболезненно вырезал в 1956 году)".

Видите, как все просто, вырезал — и все. Не то что в литературе, где "что написано пером — не вырубить топором". А киноплёнка, да еще под рукой такого мастера, все стерпит. ("Не вырезал" только из своей судьбы все ордена, звания, гонорары и премии, полученные за эпохальный фильм.) Вполне

171

закономерно и то, что первые камни в фундамент сталинской всемирной славы с формулировками "вождь всех народов", "вождь всемирного пролетариата", "лучший друг детей" и: т. д. вложили своими статьями, речами и целыми книгами еще на рубеже 20—30-х годов самые яркие пропагандистские умы той эпохи — Карл Радек, Михаил Кольцов-Фридлянд, Емельян Ярославский-Губельман. Обижаться на них за это так же бессмысленно, как обижаться на изменение погоды. В этой способности и безболезненной для себя смене образа мыслей и убеждений их органическая суть, как писал их же Хазанов: "Замечательная особенность нашего земляка состоит в том, что он всегда действует в соответствии с обстоятельствами".

А потому Виктор Астафьев еще может опомниться и р а с к а я т ь с я. Александр Межиров — никогда. Он может только сменить кожу...

Сучий паспорт

Знакомство с Евгением Евтушенко. Поездки в Швецию, в Калугу, на Вологодчину, в Грузию. Начало разлада. Вражда. Августовский рубеж 1991 года. Мемуары сталиниста и ренегата. Ласковое теля, сосущее всех маток. Презрение и патриотов и диссидентов. Конец его эпохи

Видит Бог — наши отношения с Евтушенко в 60-х и даже 70-х годах были вполне приличными. Вместе с ним мы как-то побывали на таежном Бобришном угоре — на могиле Александра Яшина, бродили по берегам северной лесной реки Юг, на обратном пути заехали в Кирилло-Белозерский монастырь, фотографировались возле могучих кирпичных стен, а в Вологде сидели в гостях у покойного ныне Виктора Коротаева. В те времена он казался мне талантливым русским парнем с авантюрной жилкой, с большим, но еще неотвратительным тщеславием, с нимбом фортуны, колеблющимся над его светловолосой головой... Взгляд только настораживал: расчетливый, холодноватый, прибалтийский. Раздражала разве что естественная, природная, неистребимая пошлость его чувств и мыслей — о стихах, о политике, о женщинах, о чем угодно. Но не такой уж это роковой недостаток, особенно в молодости. Да и кто знал, что подобное свойство его натуры с годами будет укореняться в ней все глубже и прочнее?

А какие памятные вечера были у нас в Грузии, когда в загородном духане в обнимку с братьями Чиладзе — Тамазом и Отаром, возбужденные высокопарной дружеской патетикой,

173

стихами и красным вином, мы подымались до немислимых изошренных высот застольного красноречия, осушая друг за друга, за Грузию, за Россию бокалы пурпурного "Оджалеси", и после каждого тоста по обычаю тбилисских кинто разбивали вдребезги тарелку, чистая стопка которых была предусмотрительно принесена официантом и поставлена на краешек стола...

Познакомились мы с ним еще в 1956 году, когда к нам, филологам, на Моховую вдохновенный Павел Антокольский, руководивший нашим литературным объединением, привез его, длинного, худого, белобрысого, и юную, румяную Беллу Ахмадулину. Оба они уже были популярны в студенческой среде, которая благосклонно в Круглой аудитории слушала стихи — и наши и наших гостей. Я читал свое стихотворение "Марш-бросок", которое до сих пор включаю в книги. Так сказать, на фоне приезжих знаменитостей в грязь лицом не ударил.

Помню радостное впечатление от его стихов в 1958 году, когда я работал в тайшетской районной газете "Сталинский путь". Кажется, мне попал в руки журнал с поэмой "Станция Зима" и "Литературная газета" со стихами. Одно мне понравилось особенно — о партизанских могилах и о том, что автор, с которым я знаком по вечеру на филфаке, жил во время войны в Сибири, что его родина — станция Зима, где-то рядом с Тайшетом, всего лишь несколько сот километров восточнее, что именно о своей жизни в этих краях он писал в уже знаменитом тогда стихотворении "Свадьбы":

Дорогой зимней, снежною,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село,

походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу, плясун прославленный,
в гудящую избу.

Я сам тогда соразмерял свои поэтические опыты с опытами моих ровесников, естественно, каждый их успех был дорог мне. Приедешь из дальнего таежного лесопункта или колхоза в свою замороженную однокомнатную избушку, натопишь печь, развернешь газеты, раскроешь журналы — и чувствуешь себя счастливым, и начинается пиршество духа...

В шестидесятые годы я еще не был столь суров и ожесточенно требователен к своим современникам, историческая

174

трагедия, в которой мы сегодня живем, еще не просматривалась на горизонте, а всякого рода частные разногласия, — да, они были, но чтобы из-за них отворачиваться друг от друга, не видеть в упор, презирать, обличать? О том, что такое время наступит, я даже и подумать не мог.

Однажды я гостил летом в Калуге у матушки, возвращался с рыбалки — обросший щетиной, в резиновых сапогах, в телогрейке, и вдруг увидел возле нашего дома странную пеструю толпу, какие-то фанерные декорации, грузовик, на котором стояла киноаппаратура... Шла съемка фильма о Циолковском, в котором, естественно, главную роль играл Женя Евтушенко. В парике, с бородой, в длиннополой шляпе и в плаще, он изображал человека, похороны которого я смутно помнил. А может быть, это была годовщина его смерти, году в 1936-м... Калужане толпами шли в Загородный Суд, в осеннем небе над крутым откосом, сбегавшим к черному бору, кружил тупоносый дирижабль, из которого, как разноцветные куклы, высыпались парашютисты... Об этом обо всем я рассказывал ему вечером в гостинице, где мы выпили по рюмке и где он познакомил меня со своей женой-англичанкой, приехавшей с ним на съемки в мой родной город. Наши литературные пристрастия и симпатии к тому времени уже окончательно сложились, но это обстоятельство не мешало нам вполне радушно относиться друг к другу.

"В 1962 году, — как вспоминает сам Е. Е., — Булат, Роберт, я и Станислав Куняев собирались ехать с женами в туристическую Поездку в Швецию, но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации — бывший генерал КГБ Ильин и сообщил, что Булата где-то "наверху" вычеркнули из списка. Мы единодушно, и Куняев в том числе, заявили, что без Булата никуда не поедем. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу..." (Из книги "Волчий паспорт", М., 1998 г.) Все правда. В те времена и шантаж такого рода воспринимался нами, как веселая и почти безопасная игра. Все правда, но тем не менее прожитая жизнь и пути, выбранные нами, развели нас окончательно и навсегда. Да так и должно было случиться после всяческих диссидентских демонстраций и процессов, после дискуссии "Классика и мы", после моего письма в ЦК КПСС, после его стихов о "русских коалах", после моих статей — о культуре Высоцкого, о поэзии Окуджавы и Багрицкого, после его письма в августе 1991 года о необходимости закрытия Союза писателей России. В последние двадцать лет — с конца семидесятых — он замечал каждый мой

175

рискованный шаг, как в свое время КГБ отслеживал его шаги. Впрочем, он не стремился уязвить меня лично. Его цель была в том, чтобы, пользуясь своей бешеной популярностью, оттеснить русское патриотическое сопротивление, которое с конца семидесятых годов стало поперек дороги силам, постепенно начавшим разрушение страны. Вот всего лишь несколько фраз обо мне из его статей и выступлений последних 10—15 лет:

"Присуждение государственной премии РСФСР им. Горького С. Куняеву как критику-публицисту у меня вызвало чувство возмущенного недоумения. Признаться, я не верил, что ему могут присудить эту премию, которая носит имя человека, плакавшего, когда он слушал чужие стихи... Я возражаю против решения".

"Неплохо бы Куняеву помнить, что зависть подобна лисенку, который был спрятан

за пазуху обуянным гордыней спартанцем и в конце концов выел ему внутренности".

"Шовинистическое оплевывание таких дорогих для нас поэтов, как Багрицкий, Светлов, а заодно издевательство над целой плеядой погибших на войне поэтов..."

"Он написал письмо в ЦК, жалуясь на засилье евреев и прочих меньшинств в издательствах, приписал поклонникам Высоцкого, что они якобы растоптали могилу некоего полковника Петрова, выступил против песен Окуджавы, поддержал ГКЧП..."

"Мне не нравится — и очень серьезно не нравится его точка зрения на национальный вопрос".

И это лишь малая часть всяческого рода выпадов, шпилек, осуждений. Так что я имею моральное право раз в жизни ответить ему сразу на все обвинения, тем более что предлог есть — вышла книга мемуаров "Волчий паспорт", подводющая итог его шумной публичной судьбы. И я не откажу себе в удовольствии сказать все, что думаю и о жизни и о книге. Он всю жизнь считал, будто я завидую ему и другим популярным поэтам. Наивный человек. Как будто у людей нет других, более серьезных причин для отторжения, нежели зависть! Ну вспомнить бы ему, как двадцать лет тому назад, когда мы были с ним на родине Яшина, между нами вдруг вспыхнуло пламя взаимной неприязни.

Мы сидели большой и шумной компанией московских и вологодских литераторов в гостинице городка Никольска — только что вернулись с родины Яшина из деревни Блудново и продолжили свое праздничное общение в двухэтажном деревянном доме, в большой комнате со скрипучими полами.

176

Стояло раннее лето, и в распахнутые окна ветерок, дующий с реки Юг, вносил в комнату сладкие запахи отцветающей черемухи. Настроение у всех было превосходное.

Но все испортил мой тезка критик Станислав Лесневский. Он встал со стаканом в руке и предложил здравицу в честь "знаменитого, великого русского национального поэта Евгения Евтушенко". Слова Лесневского покорили всех — все-таки Вологодчина, родина Николая Клюева, Александра Яшина, Николая Рубцова. Бестактно...

Взглянув на улыбающегося Евтушенко, принявшего как должное грубую экзальтированную лесть, я решил вернуть своего тезку на грешную землю.

— Да, я готов выпить за знаменитого, может быть, даже за великого, но за русского национального — никогда. Ты уж извини меня, Женя.

— А кто же он такой, по-твоему? — сорвался на провокаторский визг Станислав Стефанович Лесневский. — Если не русский, то еврейский что ли?

— Может быть, никакой, а может быть, и еврейский. Вам лучше знать, — ответил я.

В состоянии истерики Лесневский выскочил из комнаты. Вслед за ним ушел и "великий" поэт.

— Станислав! — с мягким упреком обратился ко мне вологодский писатель Александр Грязев, — неудобно как-то. Может быть, позвать Лесневского обратно?

— Обойдется! — отрезал я. — Еще сам извиняться придется...

Лесневского мы нашли лишь к вечеру, спящего тяжелым похмельным сном в зарослях черемухи на берегу реки. А по возвращении в Москву я вскоре получил от него письмо.

"Дорогой тезка! Высоко ценя тебя, как поэта, литератора и деятеля, я чувствую себя крайне виноватым перед тобой за свою невыдержанность в приснопамятный день. Прими, пожалуйста, мои искренние извинения. От души желаю тебе блага, здоровья и удачи во всем задуманном.

Твой Ст. Лесневский".

Однако буду справедлив: популярность Евтушенко в 60—70-е годы была фантастической. Но его отношения со своими поклонниками были таковы, что завидовать ему было и глупо и смешно. Он, как наиболее расчетливые звезды "маскульта", знал цену своему поклоннику и невысоко ставил его обожание, понимая, видимо, примитивность взаимоотношений. Однажды, после большого поэтического концерта, Олег

177

Чухонцев, Евгений Евтушенко, только что отработавший часа три на эстраде, и автор этих

строк очутились в кафе за столиком. К нам тут же подлетел поклонник. Вернее, не к нам, а к нему.

— Подпишите! — задыхаясь от удачи, он протянул своему Кумиру его же книгу.

Кумир, не прерывая разговора с нами, вытащил авторучку — и не то чтобы спросить поклонника, как того зовут или что-нибудь другое, — повернулся к нему лишь настолько, чтобы не промахнуться золотым пером "Паркера" мимо обложки, и коряво черкнул на ней что-то отдаленно похожее на свою фамилию.

— Молодой человек, — обратился я к поклоннику, — вот, — я показал на истинного, но малопопулярного поэта Чухонцева, — возьмите и у него автограф, он тоже пишет стихи и — замечательные...

Почитатель поглядел на меня как на ненормального:

— Какой еще поэт? Вот он — поэт! А этого вашего я не знаю, да и знать не хочу...

Мы рассмеялись, и, когда поклонник гордо удалился, я сказал Кумиру:

— Ты бы хоть именем поинтересовался, написал бы два слова, а то неудобно как-то!

Тут уже Кумир посмотрел на меня как на ненормального:

— Да ты что? С него и автографа за глаза будет! Им больше ничего не надо, я этот народ знаю, уж поверь мне...

В чем, в чем, а в этом ему действительно можно было верить...

Я не придаю большого значения тому, что в 1987 году Евтушенко выступил против присуждения мне Государственной премии. Премия — это пустяки. Насильно, как говорится, мил не будешь. Вот противостояние, возникшее к августу 1991 года, было делом серьезным.

Через несколько дней после августовской провокации в Союз писателей России пришла толпа — некий 267-й "батальон нац. гвардии". На второй этаж из нее поднялись трое шпанят-хунвейбинов с бумагой, подписанной префектом Центрального округа Музыкантским, о том, что наш Союз закрывается, как организация, "идеологически обеспечившая путч". Я тогда разорвал эту бумагу напополам и бросил обрывки к ногам хунвейбинов. Именно тогда мы узнали, откуда ветер дует: оказывается, не кто-нибудь, а Евтушенко в эти подлые дни отправил за своей подписью письмо Гавриилу Попову с требованием закрыть "бондаревско-прохановский" Союз писателей. Сам автор письма уже восседал в бывшем

178

кабинете Георгия Маркова на улице Воровского. Незадолго до этого он и его соратники — Черниченко, Адамович, Нуйкин, Савельев выгнали старых секретарей из кабинетов (якобы за связь с ГКЧП), плюхнулись в их теплые кресла и вцепились в правительственные телефоны-вертушки.

Памятуя о наших некогда неплохих отношениях и не до конца веря, что поэт Евтушенко мог написать Гавриилу Попову такой донос, я вскочил в машину и помчался с Комсомольского проспекта на Воровского.

Евгений, сидевший в кабинете один, поднял на меня свои холодные глаза.

— Женя! Как бы мы ни враждовали, но так опускаться! Ведь в нашем Союзе Распутин, Белов, Юрий Кузнецов, которых ты не можешь не ценить. Зачем вы возрождаете чекистские нравы? Одумайтесь!

Он с каменным лицом и ледяным взором поджал и без того тонкие губы:

— Стасик! Хочу сказать тебе откровенно: не ошибись, сделай правильный выбор, иначе история сомнет тебя. Не становитесь поперек дороги. Ты что, не понимаешь — время переломилось. Извини, больше разговаривать не могу. Мне надо ехать...

Мы вышли во двор усадьбы Ростовых, где у дверей Союза стоял его черный "мерседес". Я шел за ним, еще не потеряв последней глупой надежды в чем-то переубедить его... Но он уже открывал сверкающую дверцу лимузина, и тут, как на грех, когда он уже сел в кресло, натянулась пола его пиджака и одна из роскошных золотистых пуговиц отлетела и покатила под машину. Раздосадованный поэт, чертыхаясь, присел на корточки и стал искать пуговицу, чуть ли не ползая по асфальту.

При виде его согнувшейся озабоченной фигуры я вдруг понял, что зря приехал к нему и зря начал этот пустой разговор. Пуговицы он так и не нашел — терпения не хватило, и, наверное, мое присутствие раздражало его, — выпрямился, отряхнул брюки на коленях, сел с несколько перекошенным от такой неожиданной неудачи лицом за руль, молча закрыл стекло, включил зажигание, нажал на газ, и "мерседес" с мягким шумом рванулся, огибая согбенную статую Льва Толстого — молчаливого свидетеля нашего короткого разговора. Я тупо и растерянно взглянул на асфальт, где стояла машина, увидел золотистую пуговицу, пнул ее ногой так, что она отлетела в траву, и вспомнил строки из своего стихотворенья, написанного в 1987 году.

179

Ах, Федор Михалыч,
Ты видишь, как бесы
Уже оседлали свои "мерседесы",
Чтоб в бешеной гонке
И в ярости лютой
Рвануться за славою и за валютой...

К сожалению, полемические обстоятельства заставляют меня снова возвращаться памятью к августовским событиям 1991 года.

В ночь с 19-го на 20-е меня разбудил телефонный звонок. Звонила корреспондентка "Независимой газеты" Юлия Горячева. Она спросила о моем отношении к ГКЧП. Я ответил, что понимаю и поддерживаю людей, сопротивляющихся горбачевщине, что согласен на все ограничения свободы слова ради сохранения государства.

С тем же вопросом той же ночью ко мне обратились из радиостанции "Свобода", и я ответил им приблизительно теми же словами.

Через три месяца в интервью для "Независимой газеты" я сказал следующее: "Если бы мне предложили подписать "Слово к народу", считающееся идеологическим обеспечением действий ГКЧП, я не сомневаясь подписал бы его".

Я бы не стал так подробно вспоминать о прошлых событиях, если бы не очередные лживые воспоминания Евгения Евтушенко, который таким образом изображает в "Комсомолке" (3.8.2000) мой вышеописанный приезд к нему:

"После неудавшегося путча ко мне в кабинет секретаря Союза писателей пришел Станислав Куняев... У него тряслись руки от страха и он почти шептал: "Женя, ты же помнишь, мы с тобой дружили". Это был самый отвратительный момент в моей жизни, когда я увидел человека, который боится..."

Ах ты, жалкий сочинитель... Да я на глазах десятков людей разорвал бумажку префекта, спровоцированную твоим письмом к Гавриилу Попову, и при этом руки у меня не тряслись. Открытым текстом выразил свою поддержку ГКЧП, и голос у меня не дрожал... С чего бы мне перед тобой "лепетать" и просить о помощи, ну кто тебе из людей, знающих меня, поверит? Не ври и перестань во всех своих интервью вспоминать о своей популярности в мире, о своих 92-х поездках в разные страны, о десятках книг, переведенных на разные языки, о бешеной своей известности в Европе и Америке, о том, что твои стихи были нарасхват у читателей всей земли, и даже, как ты пишешь, "спасали их от решения уйти из жизни".

Ты же знаешь, как издавались эти книги, но никогда об

180

этом не напишешь. Я помогу тебе. У меня в руках письмо секретаря посольства СССР в Нидерландах А. Лопушинского. В Союз писателей и ВОАП от 5.11.82 г. Лопушинский пишет:

"В сов. посольство обратился директор прогрессивного нидерландского издательства "Амбобукен" Вим Хазеу с просьбой оказать содействие в издании перевода на нидерландский язык романа Е. Е. Евтушенко "Ягодные места". Учитывая то, что расходы на уплату авторских прав и переводческую работу в значительной степени повлияют на

себестоимость голландского издания романа и продажную цену книги, издательство считает, что она таким образом не дойдет до широкого читателя в Нидерландах. По предварительным оценкам цена каждой книги составит 30—35 голландских гульденов, что превышает среднюю цену на книги подобного объема (20 гульденов).

В этой связи издательство предлагает посольству субсидировать перевод книги суммой от 5-ти до 10 тысяч гульденов".

Вы понимаете, дорогой читатель, что книга Евтушенко фактически издавалась за советские народные деньги, за которые же его приглашали на презентацию и из которых же ему выплачивали гонорар?

Вот как устраивались в советские времена эти борцы с привилегиями.

А заканчивалось письмо так:

"В случае, если с нашей стороны будет проявлена заинтересованность, просим ориентировать сов. посольство относительно дальнейших переговоров с издательством "Амбобукен", в том числе для издания в Нидерландах не только художественной литературы, но и общественно-политических работ мемуаров советских руководителей и т. д."

Вот так-то! Просто не мог жить голландский читатель без книг Евтушенко, мемуаров Брежнева, выступлений Юрия Андропова... И все эти сочинения издавались за наши же деньги.

* * *

Однако он был прав в том, что время сломалось. Пора подводить итоги. Книжные развалы забиты воспоминаниями. Кого тут только нет! В глянцевах блестящих обложках Юрий Нагибин рядом с Эльдаром Рязановым, Нонна Мордюкова улыбается Андрею Вознесенскому, Михаил Козаков подмигивает Анатолию Рыбакову. Чекисты, политики, кумиры эстрады... А в серии "Мой XX век" готовятся к выходу в свет

181

Григорий Бакланов и Юрий Сенкевич... Ну как было Евгению Евтушенко отставать от них? Вот и он написал про всю свою жизнь.

"Я писал не чернилами, а молоком волчицы, спасавшей меня от шакалов. Не случайно я был исключен из школы с безнадежной характеристикой — с "волчьим паспортом". Не случайно на меня всегда бросались, чужой мой вольный волчий запах, две собачьи категории людей, ущербно ненавидящие меня — болонки и сторожевые овчарки (профессиональные снобы и профессиональные "патриоты")... Шестидесятники— это Маугли социалистических джунглей".

Вот такой патетической тирадой начинается эта весьма любопытная книга. "Болонки" — это, как я понимаю, литераторы типа Иосифа Бродского, Александра Зиновьева, Натальи Горбаневской, которые на дух не переносили нашего "вольного зверя", всегда считая, что от него тянет не "волчьим" запахом, а пованивает коридорами большой идеологии и КГБ, стукачеством и карьеризмом. А "овчарки" и "профессиональные патриоты" — это, видимо, люди моей судьбы.

Однако надо кое-что добавить к самохарактеристике нашего Маугли. Хотя он и волчонок, но дрессировке начал поддаваться уже в юности. Более того, напросился на щедрую зоопарковскую кормежку сам, когда чуть ли не в отроческом возрасте воспел величие усатого Шер-хана в своей первой книжечке "Разведчики грядущего", изданной аж в 1952 году.

Я знаю, вождю бесконечно близки
мысли народа нашего.

Я верю, здесь расцветут цветы,
сады наполнятся светом,
ведь об этом мечтаем я и ты,
значит, думает Сталин об этом.

Я знаю: грядущее видя вокруг,
склоняется этой ночью
самый мой лучший на свете друг
в Кремле над столом рабочим.

"Я верю", "Я знаю"... Но этих личных чувств ему было недостаточно. Не только сам Маугли, но и северные люди эвенки, по его мнению, тоже были полны такого рода обожанием:

Слушали и знали оленеводы эвенки:
это отец их Сталин им счастье вручил навеки.

182

Я верю, я знаю, что эти строки никогда не истлеют и не забудутся, поскольку история идет по спирали и культ Сталина возвращается в нашу жизнь в какой-то новой ипостаси. А потому не рано ли разболтал волчоньш, что его совратили и, как он признается в своих мемуарах, нечаянно сделали сталинистом, несколько подпортив волчий запах, исходивший от него, его старшие друзья-поэты. Николай Тарасов, которого я тоже неплохо знал, однажды, оказывается, позвонил ему и сказал: *"Женя, главный редактор в панике. Обнаружилось, что в Ваших стихах нет ни одного слова о Сталине... чтоб не мучить Вас, я сам за Вас написал четыре строчки. — Ладно, валяйте, — весело сказал я. Вскоре я очень хорошо усвоил: чтобы стихи прошли, в них должны быть строчки о Сталине"*.

Кроме Николая Тарасова, "инъекцию сталинизма" нашему вольному зверьку сделал еще один поэт-ветеринар.

"В 1950 году литконсультант газеты "Труд" Лев Озеров вписал в мое стихотворение... следующие строки: "знаем, верим (Ах, вот откуда эти "я верю", "я знаю"! — С. К.) — будет сделано здание, которое будет поставлено, то, что строилось нашим Лениным, то, что строится нашим Сталиным".

Словом, все случилось, как в знаменитой песне Высоцкого: "И на троих звали меня дяди".

Лев Адольфович Озеров был человеком тихим и поэтом никудышным. Возможно, что, напрягши все свои способности, он сочинил и бескорыстно подарил Е. Е. лучшие четыре строчки из своего забытого ныне творчества. Тому бы благодарить услужливого старика-еврея, а не нет — до сих пор недоволен. Поистине, ни одно благодеяние не остается безнаказанным.

Вот так старшие друзья-поэты превращали вольнолюбивого волчонка в сторожевую дворняжку сталинской эпохи. Но вот что совсем забавно: оказывается, наш сталиненьш-Маугли уже в тринадцать лет узнал, каков негодяй этот самый Шер-хан.

"Родная сестра отца "тетя Ра" была первым человеком на земле, сказавшим мне, что Сталин убийца".

Случилось это, по словам несмышленища, аж в 1945 году, когда *"тринадцатилетний племянник"* читал ей *"свои тошнотворно искренние стихи о Сталине"*. Ну совсем голова кругом идет! Так кто же автор бессмертных строчек (Тарасов? Озеров? Евтушенко?) из книжицы, за которую, в сущности, нашего собачоношша, как он вспоминает, "приняли в литинститут без аттестата зрелости и почти одновременно в

183

Союз писателей, в обоих случаях сочтя достаточным основанием мою книгу" (Ну попробовали бы не принять, прочитав: "Он думает обо мне"... "самый мой лучший на свете друг"!).

Но несмотря на уроки тети Ра наивный оборотень еще не раз попадал в тоталитарные и даже антисемитские капканы и волчьи ямы. Несмотря на то, что он *"впервые слово "жид" услышал в Москве"*, несмотря на то, что *"трижды видел на сцене великого Михоэлса"*, *"влюбился в него"* и даже был на похоронах и чувствовал, что *"Михоэлса убили"*,

"несмотря на брезгливость с детства к антисемитизму... " И вдруг: "Я все же поверил тому, что врачи хотели отравить нашего родного товарища Сталина, и написал на эту тему стихи ". Вот каков! Написал да еще прочитал вслух не кому-нибудь, а еврейской семье Барласов: "Никто из убийц не будет забыт, они не уйдут не ответивши. Пусть Горький другими был убит, убили, мне кажется, эти же ". О святая простота! Так вот из нашего дикого волчонка время лепило послушную, виляющую хвостиком псинку.

Но когда "великий вождь всех времен и народов" почил в Бозе, наш охвостьш, почувствовавший, что лишается "покровителя", обратился к великой тени другого основоположника. Сам он вспоминает об этом с искренней образностью, достойной восхищения:

"Я принадлежу к тем шестидесятникам, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина. (Ну как не вспомнить слова самозванца из великой трагедии: "Тень Ленина меня усыновила, Евгением из гроба нарекла"? — С. К.) Но как мы могли узнать, раздобыть архивные материалы об ином, неизвестном нам Ленине, которые пылились за семью замками? " И это пишет расчетливый и вольнолюбивый дикий звереныш, обводивший, по собственному признанию, вокруг пальца таких дрессировщиков, как Хрущев, Андропов, Крючков, Ильичев, Зимянин, Фурцева, Демичев! Я уж не говорю о всякого рода мелких сошках вроде крупных кагэбешников, секретарей ЦК комсомола, руководителей Союза писателей, всяческих послдов, высших начальников советской цензуры... Да через него Роберт Кеннеди передавал советскому руководству сведения о том, что имена Даниэля и Синявского были выданы нашему КГБ американскими спецслужбами, чтобы шум от международного скандала, который неизбежно должен был разразиться во время суда над ними, несколько отвлек мировое общественное мнение от американских бомбежек Вьетнама... Вот какие

184

поручения и на каком уровне выполнял выкормыш отечественного тоталитаризма! Вот каков наш волчоныш, по его собственному признанию, и "целе- и нецелесообразный"!

Вроде бы должно было у него хватать всяческой информации о том, что такое советская власть, кто такой Ленин, поскольку гибрид волка и собаки был неглупым и весьма эрудированным, любознательным книгочеем. Весь мир он изездил. За тридцать лет, начиная с 1959 года, по собственному его признанию: *"Я побывал в 94 странах и мои стихи переведены на 72 языка "* (на большее количество языков были переведены только труды его бывшего кумира Ленина). Какое грамотное дитя "социалистических джунглей" — все безошибочно посчитало! Его библиотека собиралась во время этих путешествий. В 1972 году возвращался он из очередной Европы или Америки:

"Я вез книги Троицкого, Бухарина, Бердяева, Шестова, Набокова; Алданова, Гумилева, Мандельштама, "Окаянные дни" Бунина, "Несвоевременные мысли" Горького..." "Согласно описи, я привез 124 нелегальные книги", "...семьдесят два тома лучшего журнала эмиграции "Современные записки"...

Отобрали, конечно, у книголюба на границе таможенники это богатство, опись составили, однако не подозревали, бедные, с каким матерым человечеством имеют дело. Поскольку у него всегда был при себе личный телефон шефа Лубянки Андропова, то наш букинист тут же призвал на помощь своих лубянских покровителей-дрессировщиков. Все книги до одной ему были возвращены. Представляете, что в этих книгах было написано про советскую власть и про Ленина, призрак которого в это время помогал ему бороться "с призраком Сталина "? Особенно у Бунина в "Окаянных днях", у Горького в "Несвоевременных мыслях", в трудах высланных Ильичом из страны философов и ученых — Бердяева, Булгакова, Шестова? Но наш Маугли настолько верил в торжество и справедливость советской власти, что и после 1972 года, прочитав всю эту литературу, переиздавал во всяческого рода томах, двухтомниках, собраниях сочинений все свои афоризмы, похожие на клятвы Павки Корчагина: *"Погибну смертью храбрых за марксизм "*, *"Не умрет вовеки Ленин и коммуна не умрет "*, *"Считайте меня коммунистом "*, *"Коммунизм для меня самый высший интим "* (я со смехом вспоминаю эту строчку, когда

сейчас вижу секс-шопы с вывесками "интим"). После окончательного укомплектования в 1972 году с помощью Андропова своей уникальной библиотеки, аж до 1988 года

185

вольнолюбивый книголюб, разочарованный в усатом Шер-хане, продолжал по ночам скулить, глядя на Луну, на поверхности которой он смутно различал очертания профиля настоящего справедливого вождя и хозяина: *'Люблю тебя, отечество мое, за твоего Ульянова Володю, за будущих Ульяновых твоих'* (из поэмы "Казанский университет", написанной к столетию Ленина. —С. К.). Скулил он и о всех его соратниках, оплакивал Бухарина — *"крестьянский заступник, одно из октябрьских светил"*, о его семье — *"отобрали у Ани ее годовалого Юру"*; мечтал о памятнике невинно убиенному Ионе: *"Якир с пьедестала протянет гранитную руку стране"* (1987 г.), о времени, когда *"продолжится революция и продолжится наш комиссарский род"* (1988 г.). Это лишь потом, оказывается, в разгар горбачевской перестройки, прочитав маленький самиздатский конспект всем известных ленинских цитат, составленный несчастным Веничкой Ерофеевым, наш библиофил наконец-то понял, что из себя на самом деле представлял Ильич. Удивительно, как это талантливый пьяница Веничка Ерофеев, ни разу в жизни не выезжавший ни в одну страну из Малаховки, смог научить чему-то коллекционера, который побывал в 92 странах, волоча из каждой ящиками антисоветскую и антиленинскую литературу! Однако якобы только тогда и пришло к нему прозрение:

"Небольшой сборничек цитат из Ленина, составленный Венедиктом Ерофеевым под названием "Моя Лениниана", поверг меня в глубокую депрессию, сильно поколебал меня в моих прежних самых искренних убеждениях".

Вот так-то: тетя Ра открыла ему глаза на Сталина, а Веничка на Ленина. Нервы к этому времени у волчатки действительно были изношены, да и как было не впасть в депрессию, ежели до 1988 года он находился в полном неведении о том, что Якир "рассказывал" Дон, что Блюхер подписывал смертный приговор Якиру. Однако в период между Любовями к Сталину и к Ленину чувственное дитя джунглей успело завести короткий, но бурный роман с Никитой Хрущевым: *"Меня глубоко тронули, заставили задуматься слова Никиты Сергеевича о том, что у нас не может быть мирного сосуществования в области идеологии... если мы забудем, что должны бороться неустанно, каждодневно за окончательную победу идей ленинизма, выстрадавших нашим народом, —мы совершим предательство"*.

Представляете себе его состояние в конце 80-х, когда кумиры начали рушиться на глазах? И не только наши, отечественные... Уж как он боготворил Фиделя (*"И вдохновенный, как Моцарт,*

186

Кастро"), но пришлось отречься и от него: началась перестройка, отношения с Кубой испортились, надо было сочинять стихи об очередном хозяине — Горбачеве: *"Как он прорвался к власти сквозь ячейки всех кадровых сетей, их кадр — не чей-то?! Его вело, всю совесть изгрызя: "Так дальше жить нельзя!"*). Однако, к несчастью для нашего хищника, только было прирученного Горбачевым, коварный и сильный Ельцин начал побеждать не менее коварного, но более слабого своего конкурента, и волчушок, понюхав воздух, инстинктивно понял, что без стихов о Ельцине ему не обойтись. Стихи сочинились как раз вовремя — 20 августа 1991 года на митинге у Белого Дома, где надо было подтвердить свою преданность новому хозяину, чтобы припасть к новой кормушке. Довольный тем, что он успевает прочитать стишок в самый нужный исторический момент, *"дитя социалистических джунглей"*, наученное дрессировкой и горьким историческим опытом, однако, засомневалось: стоит ли упоминать в стихе фамилию нового хозяина. Он разом вспомнил (память у него была неплохая — *"я не пью водку, потому что она убивает память"*), как прокальвался со Сталиным, с Хрущевым, с Лениным, с Фиделем, с Горбачевым: *"Опасно упоминать в стихах живых политиков, даже если в данный момент истории они вызывают восхищение... Не надо слова "Ельцин" в этом стихотворении... Откуда ты знаешь, каким он станет потом? Но я резко*

осадила себя. Стоп-стоп, Женя. Хватит отравлять себя подозрениями... Я не вычеркнул фамилии... "

Да, гены есть гены, черного кобеля не отмоешь добела. Ох, лучше бы уж пил!

К сожалению, жизнь — штука длинная, если считать ее количеством имен, мундиров и сапог, прославленных и облизанных в стихах и в прозе. Привычка иметь кумира и хозяина — вторая натура, она и подвела любимца публики в очередной раз, утвердив за ним славу певца и фанатика демократии и доблестного защитника Белого дома. Впрочем, он совершенно искренне уверяет нас, что во все времена его *"придворность была не больше, чем придворность Пушкина"*. Вот таков он у нас, "невольник чести".

Однако в августовские дни 1991 года бесстрашный подкидыш, *"вскормленный молоком волчицы"*, испытал самый настоящий собачий страх весьма подлого свойства, затрепетал, ну, просто как шакал Табаки, спрятавшись от волков-гэкачепистов за очередного полосатого Шер-хана: *"Неужели снова будут ГУЛАГ, психушка, цензура? "* *"Неужели посадят? Неужели я исчезну, как исчез в 1937 году мой дедушка?"*

187

Перетрусивший волчонок очень испугался за волчиху-маму, *"которая в одно прекрасное утро теперь сможет прочитать в продаваемых ею газетах, что ее сын расстрелян, как враг народа"*. Чувство страха жило в волчьей душе на протяжении всей жизни, и он искренне признавался в этом: *"На своей шкуре я испытал этот страх в 1957 году"* (когда его впервые вербовали в КГБ). *"Этот ненавидимый мной страх вернулся ко мне в 1962 году"* (когда Хрущев распекал интеллигенцию), *"и утром 19 августа 1991 года... я был выброшен за шкуру бесцеремонной бандитской рукой истории в страх сегодняшнего Акакия Акакиевича"*. *"Этот проклятый рабский страх все равно жил и живет во мне"*. Все правильно. Так и должно быть. Чует существо "из социалистических джунглей", чье мясо съело.

Волки, как известно, плохо обучаются и почти не поддаются дрессировке. Помните, у Высоцкого: "Мы, волчата, сосали волчицу и всосали: нельзя на флажки". А наш хоть и боялся, но обучился всему: и перепрыгивать через флажки, и проползать под ними, и бегать по всей планете с флажками в обеих лапах. Именно это свойство заставляет меня предположить, что в его жилах гораздо больше собачьей крови, нежели волчьей. А может быть, он всего лишь навсего помесь либеральной болонки и тоталитарной овчарки? Словно способный цирковой пудель, смышлениш обучался тому, как надо поступать в сложных обстоятельствах, у кого угодно — даже у своих соперников и недругов.

В одной из глав книги вольнолюбивый полукровок вспоминает, как недоумевал и возмущался Пастернак, когда *"Ваня Харабаров и Юра Панкратов пришли к Пастернаку и попросили, чтобы он разрешил им подписать письмо, осуждающее "Доктора Живаго", их вынуждали сделать это в Литературном институте..."*

Возмутившись своими сокурсниками по Литинституту, автор "Волчьего паспорта" тем не менее запомнил их простодушный порыв и намотал на ус их опыт. Он написал стихотворенья "Ограда" на смерть Пастернака, но чтобы напечатать его, испросил у вдовы Луговского *"милостивое разрешение временно перепосвятить мои стихи о Пастернаке Луговскому"* (во каков сучонок! — "Волчий паспорт", страница 226 — для тех, кто не верит этому). Ну как им не восхищаться?! Восславил Сталина, проклял Сталина, заклеил еврейских врачей-отравителей, а в "Бабьем яре" — антисемитов, посвятил стихи Пастернаку, потом перепосвятил Луговскому... Ну какому чистопородному зверю под силу такие превращения, такие мутации?

188

...Отдельные главы "Волчьего паспорта" посвящены Александру Галичу, Александру Солженицыну, крупному кагэбешнику Филиппу Бобкову, секретарю ЦК КПСС Михаилу Зиянину, с которым автор постоянно встречался в 60—80-е годы. Но я не хочу касаться этих глав и имен. Лучше предоставлю слово Александру Зиновьеву, который четверть века тому назад в своей книге "Зияющие высоты" написал несколько веселых страничек о марьинорощинском мутанте и персонажах его будущих мемуаров. Евтушенко у Зиновьева

выведен, правда, под какой-то несерьезной кличкой "Распашонка", в то время как Галич именуется Певцом, Солженицын Правдецом, Бобков — Сотрудником, а Зимянин — Заведующим, Андропов проходит под кликухой "Сам". Все они живут в государстве Ибании и говорят на ибанском языке. Итак, слово Александру Зиновьеву.

"Что Вы скажете о поэзии Певца, спросил Журналист у Распашонки. Поэзия непереводаема, сказал Распашонка. Меня, например, невозможно перевести даже на ибанский язык. А на каком же языке Вы говорите, удивился Журналист. Каждый крупный поэт имеет свой голос и свой язык. Попридержи свой язык, сказал Начальник. А не то останешься без голоса. Собирайся-ка в Америку. Вот тебе задание: покажешь всему миру, что и у нас в Ибанске полная свобода творчества. Только с тряпками поосторожнее. Знай меру. А то сигналы поступали. Не больше десяти шуб, понял.

Приехав в Америку, Распашонка прочитал стихи.

*Не боюсь никого,
Ни царей, ни богов.
Я боюсь одного —
Боюсь острых углов.
Где бы я ни шагал,
Где бы ни выступал,
Во весь голос взывал:
Обожаю овал!*

Как он смел, кричали американцы! И как талантлив! Ах, уж эти ибанцы! Они вечно что-нибудь выдадут такое! Мы так уже не можем. Мы зажрались. Как видите, я здесь, сказал Распашонка журналистам. А я, как известно, самый интеллектуальный интеллектуал Ибанска. Когда я собрался ехать сюда, мой друг Правдец сказал мне: пропой, друг Распашонка, им всю правду про нас, а то у них превратное представление.

А ведь в самом деле смел, сказал Учитель. Цари и боги — это вам не какие-то пустячки вроде Органов. Тут ба-а-а-льшое мужество нужно. Сослуживец, завидовавший мировой

189

славе Распашонки, сказал, что это вишное стихотворение надо исправить так:

*Где бы я ни стучал,
Чей бы зад ни лобзал,
С умиленьем мычал:
Обожаю овал!*

Вернувшись из Америки, Распашонка по просьбе Сотрудника написал обстоятельную докладную записку о творчестве Певца. Для Самого, сказал Сотрудник. Так что будь объективен. И Распашонка написал, что с точки зрения современной поэзии Певец есть весьма посредственный поэт, но как гражданин заслуживает уважения, и он, Распашонка, верит в его искренность и ручается за него... Граждан у нас и без всяких там певцов навалом, сказал Заместитель номер один, а посредственные поэты нам не нужны. Посадить! Либерально настроенный Заведующий предложил более гуманную меру: выгнать его в шею! Зачем нам держать плохих поэтов? У нас хороших сколько угодно!

И я смог бы написать что-нибудь такое, за что меня взяли бы за шиворот, говорит Распашонка. А смысл какой? Сейчас меня читают миллионы. И я так или иначе влияю на умы. В особенности — на молодежь... А сделай я что-нибудь политически скандальное, меня начисто выметут из ибанской истории. Двадцать лет труда пойдет прахом. Конечно, сказал Учитель. А надолго ли ты собираешься застрять в ибанской истории? В официальной? А стоит ли официальная ибанская история того, чтобы в ней застревать? А расчет на место в истории оборачивается, в конечном счете, тряпками,

дачами, мелким тщеславием, упоминанием в газете, стишком в журналчике, сидением в президиуме. Ты на что намекаешь, возмущился Распашонка. Погоди, сказал Учитель. Учти! Ибанская история капризна. Она сейчас нуждается в видимости подлинности. Пройдет немного времени, и тебя из нее выкинут, а Правдеча впишут обратно. Торопись, тебя могут обойти! Распашонка побледнел и побежал писать пасквиль на ибанскую действительность. Пасквиль получился острый, и его с радостью напечатали в Газете... Молодому поэту Распашонке, любимцу молодежи и органов, за это дали сначала по шее, а потом дачу!"

Об этой же способности к адаптации нашего биогибрида беспощадно написала в своих мемуарах не "либеральная

190

болонка" и не "патриотическая овчарка", а настоящая, если говорить языком Киплинга, "пантера Багира" — Галина Вишневская:

"Быстро научился он угождать на любой вкус, держать нос по ветру и, как никто, всегда хорошо чуял, когда нужно согнуться до земли, а когда можно и выпрямиться... Так и шарахало его с тех пор из стороны в сторону — от "Бабьего яра" до "Братской ГЭС" или того хлеце "КамАЗа", который без отвращения читать невозможно — так разит подхалимажем... "

Однажды она сама прямо прорычала ему в лицо:

"Вы подарили Славе несколько книжечек Ваших стихов. Я их прочла, и знаете, что меня потрясло до глубины души? Ваше гражданское перерождение, Ваша неискренность, если не сказать вранье, Ваше бессовестное отношение к своему народу "

Да, крепко царапнула своими стальными когтями пантера Багира нашего Кабыздошку. Так что не только "либеральные болонки" и "патриотические овчарки" на дух не принимали его, но, что обиднее, — презирали крупные и независимые особи — Вишневская, Зиновьев, Вл. Максимов.

Но если отвлечься от вишневской ярости и зиновьевской иронии, то надо признать, что в книге "Волчий паспорт" есть немало занимательного: рассказы о любовных приключениях в самых разных краях земного шара, о своих четырех женах, со всяческими пикантными подробностями их интимной жизни, темперамента, телосложения, цвета кожи, с откровениями о том, чем они болели, у кого из них где и в какой части тела была то ли киста, то ли опухоль, кто из них когда и с какими последствиями делал от него аборт, какая из них и почему отказывала нашему герою в выполнении супружеских обязанностей, как и по чьей вине родился у него психически неполноценный ребенок. Я, честно говоря, читая эти страницы, думал, что эти жены, о личной жизни которых автор написал столь откровенно, давно померли. Ан оказалось, что нет, еще живы и, видимо, читают эти уникальные страницы о себе. Вот образец одной из таких весьма высокохудожественных и вдохновенных страничек: *"В ее жилах скакала необъезженная татарская кровь и величаво всплескивала итальянская, как медленная вода венецианских каналов, качающаяся на себе золотые решетчатые окна постепенно погружающихся, словно Атлантида, аристократических палаццо... "* Да эта штука посильнее, чем "Девушка и смерть" Максима Горького, не говоря уже о "Фаусте" Гете.

191

Очень подробно исследовав всю свою родословную аж с XVIII века, автор убедился, что в его жилах нет ни капли еврейской крови. Так что нашим патриотам, много лет склоняющим его настоящую фамилию "Гангнус", придется эту кампанию прекратить. Почему не взял отцовскую фамилию? Вы что, не понимаете, что с такой фамилией невозможно было и во сне мечтать о всемирной известности... А она так и манила его всю жизнь! Ради нее он угождал кому угодно: евреям, русским, партийным вождям, космополитам, патриотам, кагэбешникам, диссидентам, американцам, кубинцам!

В конце книги Е. Е. выказывает трогательную преданность своим поделщикам по перестройке, с которыми он помогал Горбачеву и Ельцину разваливать великую державу:

Мы сами не добрее, чем Чека,
нас мучают ли тени ночью поздней
Коротича, отшвырнутого в Бостон,
и преданного нами Собчака.

Бедный серенький фантазер! То ему призрак Сталина являлся, а потом его вытеснил "призрак Ленина", теперь приходят по ночам тени Собчака и Коротича, пока еще не из ГУЛАГа, а всего лишь навсегда из Бостона и Парижа.

* * *

Кончилась эпоха демократического хмеля. Скончалась. Смердит. Наступило похмелье. Очень тяжелое. Е. Е. боролся якобы за то, чтобы наши лесорубы во время отпусков отдыхали на Гаваях (роман "Ягодные места"), чтобы в наших магазинах лежало множество сортов колбасы. Помнится, как в 1989 году он описал фантастическую сцену, будто бы советская девушка упала в обморок, увидев в ГДР витрину с десятками колбасных сортов. *"Девушка была из алтайского колхоза, работала на комбайне, на тракторе, на заработки не жаловалась. Девушку премировали за трудовые успехи поездкой в ГДР"*. Выдумал, конечно, все про обморок, но что лучшие колхозники и рабочие ездили за границу по профсоюзным путевкам — правда. Я сам не раз встречал их в странах Восточной Европы, на улицах Праги, Берлина, Белграда. И никто в обмороки не падал...

А теперь в голодные обмороки падают учителя и офицеры, шахтеры и лесорубы, вымирающие от недоедания и холода в брошенных северных поселках. Не то что до ГДР или Гаваев — до Красноярска и Архангельска добраться не могут. По улицам

192

родной нашему Маугли станции Зима бродят тени его земляков, пропадающих от безденежья и безработицы, в моей родной Калуге, где мы когда-то встретились с ним на съемках кинофильма, мои земляки с утра становятся в очереди за молоком (из цистерн подешевле), за костями (они все-таки в пять раз дешевле мяса). Мне стыдно в этом же магазине рядом с ними покупать колбасу и глядеть на их измученные лица. Пусть этот баловень судьбы, выкормыш "социалистических джунглей", этот сволочоныш, столько сил положивший для разрушения нашей жизни и воцарения ельцинской эпохи, пожинает плоды своих деяний — глядит на старух с протянутыми для подаяния ладонями, на мужчин, копающихся в помойках, на подростков с остекленевшими от наркотиков зрачками и мечтает только об одном, чтобы мы пожалели шакалов из его стаи — Собчака и Коротича...

"Волчий паспорт"? Да какой там волчий — сучий...

Жизнь и смерть в небесных горах

Счастливые годы дружбы с Эрнстом Портнягным. Паром через Каспий. Под черным небом Каракумов. Русские люди в Средней Азии. Первые маршруты. Заболоцкий и Пушкин о сотворении мира. Поэзия и геология. Тяньшаньские грезы. Товарищ Быков и товарищ Юсупов. Предчувствие вечной разлуки. Эпистолярный роман. Попытка вернуться в прошлое

На стене моей квартиры среди книжных полок висит любительская фотография. Два молодых человека, положив руки на плечи друг другу, едут на лошадях по долине реки Каниз. На горизонте в голубой дымке тают горы — отроги Гиссарского хребта. А лошади шагают рядом, так что их вытянутые шеи соприкасаются и нежно трутся одна о другую. Долина — цветет. Громадные лисьи хвосты, мощные медвежьи дудки, зеленые ворохи ядовитой, но прекрасной юган-травы тянутся к холодному сверкающему небу справа и слева от тропинки, по которой медленным шагом едут два всадника. Один из них я. Другой — Эрнст. Я — на белой лошади. Эрнст — на черной.

Он, нелепо погибший в своем последнем маршруте, во время своего, как он считал, последнего полевого сезона, был

194

одним из самых ярких людей, с которыми мне посчастливилось пройти бок о бок часть жизни.

Он умел блистательно делать все, за что брался: объезжал лошадей, читал по-французски лекции в Гренобльском университете, в двадцать три года железной рукой диктовал свою волю геологической вольнице в дебрях амурской тайги, выкладывался в многочасовых маршрутах по ледникам и горным тропам Памира, по первому зову приходил на помощь другу, попавшему в беду... Словно бы предчувствуя сроки своей жизни, Эрнст торопил время, брал его словно лошадь в шенкеля, чтобы успеть сделать все, что возможно. Будучи уже известным геологом, он разделил сердце между двумя стихиями — наукой и поэзией. Но с каждым годом поэзия занимала в этом сердце все большее и большее место. И не только две талантливые книги, выпущенные им, были подтверждением тому. Уважение, которое образовалось в нашем кругу вокруг его личности, тоже что-нибудь да стоило. Он одновременно был ученым, поэтом, рабочим, интеллигентом — да всего не перечислишь. Родина и любовь, дружба и работа: "бремя страстей человеческих" и бремя человеческого долга, который каждый из нас несет добровольно, — вот чем была наполнена его жизнь.

Первой юношеской любовью Портнягина, которой он оставался верен до конца, стал Таджикистан. Он говорил о реках, хребтах и кишлаках Гиссара или Тянь-Шаня с таким чувством, словно родился и вырос на этой земле. Местные люди, уроженцы Оби-Гарма и Пенджикента, Джиргиталья и Рамида знали и любили веселого человека Эрнста Портнягина. Им было приятно, что русский геолог и поэт из года в год приезжает работать в их края, что жизнь его навсегда связана с землей их предков. Подъезжая в Душанбе на стареньком "газике" к развилке двух дорог, одна из которых вела к Союзу писателей Таджикистана, а другая к Геологическому управлению, Эрнст иногда шутил: "Вот эта развилка и есть моя судьба..."

Спасибо уральской породе
За первопроходческий путь,
За свойство — в далеком народе
Открыть его добрую суть.
И как бы судьба ни сложилась
В мельканье просторов и стран —
Душа отовсюду стремилась
В край юности — Таджикистан.

195

Вот что я прочитал в черновиках, найденных после гибели Эрнста в командирской палатке...

"Спасибо уральской породе", — не случайная фраза. В последние годы тяга к малой родине — Зауралью, где прошли его детские годы, приобрела характер ностальгии. Он только и думал о том, когда вырвется из круга дел и забот на уральскую землю. После первого посещения ее Эрнст целыми днями рассказывал мне о родных, с которыми встретился в Свердловске и в родовых деревнях—Кобылино и Стариково, о лесах и озерах Зауралья, о семейных преданиях, о долгожданном и всепоглощающем чувстве родины, овладевшем его душой.

— На следующий год, летом обязательно поедем вместе, все тебе покажу! И до озера Портнягино на Таймыре доберемся... Ведь мой предок имя ему дал!..

Но я так и не смог поехать вместе с ним, а он, вернувшись, прочитал мне чуть ли не целую книгу новых стихотворений. В одном из них было сказано, что в последний миг земной жизни ему вспомнятся "отмытые холодом звезды Урала".

Вот оно, обновление духа,

Вот одно, перед чем я в долгу.
Я вошел в эти двери без стука,
Я — родной в пятистенном доме.

На его стихи, казавшиеся мне порой несовершенными, после смерти вдруг легла тень подлинной значительности.

В моей памяти его облик останется неизменным: на черной лошади, с чуть небрежной молодцеватой посадкой — одно плечо немного скошено вперед, бородатый, кареглазый, с широкой улыбкой, в линиялой штормовке — а вокруг снеговые хребты, орлиная чета над ними, да сурки свистят на зеленых склонах, да шумит в мраморном ложе ледяная вода Ягноба.

Как сама вечность...

В этих воспоминаниях о нем и нашей жизни, написанных в доперестроечное время, я сегодня не изменил ни строчки. Я не хочу подлаживаться к нынешним фальсификаторам и переписчикам истории. Я хочу, чтобы мои страницы были честным свидетельством, голосом из нашего времени, из той жизни, когда мы все были сыновьями и гражданами одной великой державы. Все, о чем я пишу, было и прошло. Но я дерзаю воскресить прошлое.

196

* * *

Лето 1967 года. Западный ветер кружит над Каспием, срывает пену с гребешков, и ноздреватая пена, превращаясь в стелющиеся нити белой пряжи, со свистом летит над зеленой пучиной, как поземка.

Паром "Советский Азербайджан" медленно ползет от Баку к Красноводску. В его громадном железной чреве, устланном рельсами, лежащими в бетонных подушках, — целый железнодорожный состав, десятки автомашин и автобусов, груды контейнеров, словом, вся та материальная мощь, которая как по сообщающимся сосудам перетекает по земле из густонаселенных городов в еще существующие пустыни, леса, горы.

Уже много раз казалось мне, что я насытился пространством, что нет ничего лучшего, как сидеть дома, читать хорошие книги, встречаться с друзьями, растить сына, а выпадет счастливое мгновение — и самому что-то написать... ан нет, проходит год-полтора, и снова "охота к перемене мест" начинает смущать душу.

Пучина каспийская глухо
О плиты бетонные бьет.
И древнее слово "разлука",
Как в юности, спать не дает...
Нет, я еще все-таки молод,
Как прежде, желанна земля,
Поскольку жара или холод
Равно хороши для меня.

...И этот солдат непутевый,
И этот безумный старик.

Внизу шумит плохо различимое в тумане море, вдали в белесом рассвете мерцает обозначенная электрическими огнями подкова Красноводска. Мы подплываем к восточному берегу Каспия, и пассажиры медленно скопляются на палубе — посмотреть, куда же они прибыли.

А вот и "безумный старик"... Сутулый, почти двухметрового роста человек в старой фетровой шляпе с грязными подтеками, в порыжевших от старости яловых сапогах, седобородый, желтоглазый. Вчера, запахнувшись в рваный кашемировый плащ, он собрал вокруг себя толпу любопытных, открыл фанерный чемодан и, достав затрепанную библию, медленно и громко начал читать: "Прелюбодеи и прелюбо-

дейцы! Не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу..." Я заметил его еще на пристани в Баку. Он стоял на пирсе с чемоданом в руке, на крышке которого белой масляной краской были выведены слова: "Мир божий на земле и разоружение". А на потертой кирзовой сумке — еще лозунг: "Свобода народу. Земля крестьянам". Должно быть, из арсенала партии эсеров.

Глядя на него, я вспомнил калужских юродивых— немого Славку, припадочного Порфишу; как мы гонялись за ними по еще зеленым незаасфальтированным улицам Калуги, как дразнили этих убогих и, весело визжа, бросались в бегство, когда блаженный Порфиша с красными глазами и перекошенным ртом бросался за нами в погоню, как за назойливой мошкаррой. Юродивые или блаженные были как бы последним осколком не России, а—Руси. Культ блаженных, мистический страх перед их словом, жалость к ним и мысль о том, что они ближе к святости — всего лишь несколько десятилетий назад выветрились из народного сознания. До революции в Калуге, насчитывавшей 70 тысяч жителей, было тридцать восемь церквей. При каждой из них кормились свои немые, припадочные, калеки. Еще Пушкин, как само собой разумеющееся, вкладывает слово истины и правды в уста человека не от мира сего, который произносит приговор царю-убийце: "Не буду, Борис, за тебя молиться. Богородица не велит!"

Вот какие мысли пронеслись в моей голове, пока я смотрел на его сторбленную спину, на грязную седую бороду, под которой болтались и тяжело звенели несколько серебряных и медных крестов.

А старик, не теряя времени даром, уже заговорил с пафосом проповедника, клеймя пороки современного мира:

— Нет правды! Ложь-победительница опутала нас!

Лжефашисты...

Народ, безмолвствуя, смотрел на него по-разному: кто враждебно, кто с брезгливым любопытством, кто равнодушно. А молодой солдат, так картинно и хмельно прощавшийся на бакинском пирсе с невестой, ослабившись, спросил:

— Дед! А кто такие лжефашисты? — Старик сразу как будто бы на землю с небес спустился, полез в карман изношенных милицейских брюк и достал старые кировские часы.

— В Тбилиси пошел починить к греку. Заплатил два рубля. Утром починил, а к вечеру стали. Прихожу к греку опять, а он

198

говорит: "Не знаю, не помню ни тебя, ни часов!" Шпионы и лжефашисты! Ложь-победительница!

Людам скоро наскучила эта проповедь. Один за другим они стали расходиться. Старик печально огляделся и, обратившись ко мне, последнему его слушателю, вдруг задал совершенно нормальный вопрос:

— А вы на палубе или в каюте?

Не помню, что я ему ответил, думая о том, шизофреник он, или просто мелкий проходимец, или не от мира сего человек, или и то, и другое, и третье... Что гонит его по свету? Зачем ему нужно в Среднюю Азию, где почти нету церквей русских, возле которых еще может прокормиться этот один из последних юродивых?

* * *

Красноводск встретил нас зябким ветром. До полуденной жары было еще далеко, и город с пустынными чистыми улицами, домами из белого ракушечника и красноватого теплого камня, с палисадниками, наполненными мальвой, был похож на Гурзуф или Феодосию.

Мы выгрузились на набережную. Редкие прохожие останавливались возле нашего "газика", иронически поглядывая, как мы пытаемся втиснуть в небольшую машину необъятное количество геологического имущества: рюкзаков, спальников, палаток,

вьючных сум, молотков и прочего барахла. А путь наш лежал через Каракумы от Красноводска до Ашхабада.

Споря и соглашаясь, мы постепенно увязывали тюки, укладывали продукты, когда к нам подошел светловолосый юноша в больших темных очках с обожженным лицом, розовым от шрамов. Он держал в руке воблу, и ему очень хотелось поговорить с нами.

— Далеко собрались, ребята?

Портнягин, не любивший разговаривать во время авральных работ на посторонние темы, пробурчал что-то негостеприимное. Юноша вздохнул, не надеясь на продолжение разговора. А когда я с удовольствием разогнул спину и отошел от "газика", он как-то сразу за двумя сигаретами рассказал мне о своей судьбе военного летчика.

Два месяца назад на ученьях он взлетел на реактивном истребителе и, когда вышел на заданную высоту, почувствовал, что кабина наполняется дымом. Через минуту, когда в кабине уже плескались языки пламени, принял приказ с земли — садиться

199

на аварийную полосу. Но плексиглас скафандра начал плавиться, и в последнюю секунду летчик рванул рычаг катапульты. Нашли его в песках, лежащим без сознания с обгоревшим лицом и руками...

Мы шли с ним по приморской улице, и он, покалеченное дитя своего времени, жаловался мне, что его хотят демобилизовать, а он еще не налетался.

— На комиссию предлагают...

Солнце поднималось из пустыни, и с каждой минутой все явственней ощущалось дыханье горячих пространств, лежащих рядом с городом.

— А лет-то сколько тебе?

— Двадцать четыре.

В черных очках, прикрывающих половину спекшегося лица, в цветной тенниске, джинсах и сандалиях, он был совсем мальчиком, худым, белобрысым.

Взлет... Короткое замыкание... Пожар... Госпиталь... Демобилизация...

Мы вернулись к машине, где, недовольные моим отсутствием, ребята уже закончили погрузку и, рассевшись прямо на бортике тротуара, пили пиво.

Юноша протянул Портнягину воблу.

— Вот вам к пиву, геологи. Вы на земле, а я на небе.

Хорошее дело земля.

* * *

— Вот и пустыня, — сказал Эрнст.

Я крутил головой, но не видел ни желтых барханов, ни песчаных бурь, ни зеленых оазисов, ни голубых миражей. Вокруг машины простиралось ровное, как паркетный пол, пространство, словно выложенное крупными глиняными плитками. Это был знаменитый такыр, растрескавшееся от солнца плато. Кое-где серая полынь, тусклый блеск солонцов, а на горизонте черная линия Копетдага. Но кто радовался этой дороге — так наш шофер Миша Громов. Он почувствовал, что нет ГАИ, нет встречного движения, нет запрещающих знаков, сигналов, поворотов, а есть только идеальная поверхность такыра. Третья скорость! Полный газ и стрелка спидометра, дрожащая на цифре 90!

Все, что видит поэт, может показаться ему или удивительным, или никаким... Я думаю об этом, глядя из машины на однообразные пространства такыра, на редкие юрты, возле которых с удивлением в глазах стоят черноголовые малыши в цветастых одеждах. Возле юрт лежат линияющие верблюды с

200

клочковатыми боками и так же, как дети, провожают громадными и печальными глазами навсегда непонятное для них гремящее железное существо.

Возле каждой юрты дымится тандыр — глиняная печь для приготовления лепешек. Над тандыром хлопочет женщина в неизменном красном, почти огненном, платье. А где-то рядом, у края такыра, начинается асфальтовая или бетонная дорога первой категории, и горьковатый дымок почти библейского очага соседствует с отблесками ракетодромного

пламени.

А я под шум колес, под храп утомленных товарищей думаю о том, что для поэта не имеет никакого значения, роскошный или убогий мир окружает его. Потому что в любом случае его долг одухотворить и сцементировать своим дыханием весь этот обильный или бедный беспорядок, это мельканье людей, земель, телеграфных столбов, скромных очагов и поворачивающихся, как настороженные уши, локаторов. И если твою душу мучит немота и неизреченность, значит, в тебе самом еще не затеплился тот огонек, который тускло или ярко, но осветит внешний мир и даст тень каждому предмету и явлению...

Все спят. Шофер курит сигарету за сигаретой. Машина мчится за пучком света, исходящего из фар. А справа и слева — тьма кромешная. Только крупные звезды над головой.

Каждый раз, когда я гляжу в звездное небо, я думаю, что давно уже надо узнать имена и место созвездий, чтобы, глядя на них, повторять прекрасные слова: "Стрелец", "Скорпион", "Овен"... Каждый раз мне доставляет истинную радость найти Большую Медведицу, ухватиться глазом за две крайних звезды по прямой, протянуть через них пять отрезков, — и тогда взгляд обнаружит Полярную звезду — ось нашей Вселенной. Там — север.

А звезды над Каракумами ярче и крупнее, чем в России.

* * *

Как ни старался Миша, к вечеру нам стало ясно, что до районного центра Кызыл-Арвата мы не доедем — мгла в пустыне опускается мгновенно, на такыре сотни следов и ни одной накатанной дороги. Видимо, вторую ночь нам придется заночевать в пустыне... Так бы и вышло, если бы мы не встретились в каком-то поселке возле бензозаправки с начальником 5-го дорожного участка Жуковым. Он предложил нам, чтобы не заблудиться, держаться за его "газиком". Нашему Михаилу пришлось крутить баранку не жалея ни себя, ни нас, чтобы не отстать от человека, знающего это бездорожье как свои пять пальцев.

201

В Кызыл-Арват мы приехали поздно ночью и остановились у двухэтажного дома с палисадником.

— Здесь и спать ляжете, — сказал хозяин, показывая на палисадник. — Умывайтесь — и прошу отужинать.

Мы устроились в уютной кухне за столом, накрытым в этот поздний час чем бог послал. Кто-то из наших львовян вытащил из сумы пару бутылок украинского первача, и языки, несмотря на усталость и ночь, развязались весьма скоро. Жуков, которого я не рассмотрел в темноте, оказался крепким двадцативосьмилетним человеком — архангельским мужиком, "с небольшой, но ухватистой силой". Он сам добился своего положения. Он гордился своими дорогами, своей квартирой, палисадником, водопроводом, возможностью принять и угостить случайных знакомых. Немного захмелев, он страстно заговорил о главном деле своей жизни — о работе.

— Конечно, плохо мы еще строим дороги. Бетонку или асфальт настоящий только во сне видим! Всё как в семье натягиваем: что купить — пальто или телевизор? Так и мы. Проложить пятьдесят километров бетонки или триста битумного покрытия? Подумаешь, подумаешь и скажешь: не до жиру — быть бы живу! Техники не хватает! Привезут щебенку — навалим на дорогу, тут бы и битумную смесь класть, а ее нет. Или укладчик сломался. А машины идут, гравий разбивают! Пока смеси дождешься — снова полотно ровней, лишние деньги выбрасывай!

Он пригорюнился, словно эти деньги его собственные. Самогона становилось все меньше, разговор — все оживленнее. В конце концов дошли и до стихов. В ответ на мои стихи начальник участка прочитал свои, которые он писал еще в автодорожном техникуме. Потом, конечно же, дошли до Есенина и, пугая полуночную южную тишину, запели: "Ты жива еще, моя старушка..." и "Вечер черные брови насопил". А когда под всеобщее одобрение я подарил Жукову свою книгу, ему пришла в голову авантюрная

мысль:

— Хочу к юбилею закончить дорогу Кызыл-Арват—нужно мне позарез сорок тысяч тонн битумной смеси!

Он говорил с такой страстью, что я видел: любит Жуков свои дороги и свою чернобитумную смесь и будет любить, пока хватит у него энергии, чтобы избороздить пустыню тонкими красными линиями, обозначающими на картах автомобильные шоссе..

А начальник пятого дорожного участка продолжал, веруя в могущество писательского слова:

— Будете в Ашхабаде — умоляю, зайдите к замминистра

202

Шутову. Он хороший человек—из рабочих. Попросите у него для меня сорок тысяч тонн смеси!

Я расслабился и дал слово зайти к Шутову. Да и кто бы отказался на моем месте?

Через два дня я сидел в кабинете замминистра... Бедный Жуков! Энергичный начальник пятого участка! Я постарался выполнить твою просьбу. Как дипломат, я начал разговор издали. Хочет, мол, московский писатель отразить трудовые будни строителей дорог...

Замминистра поднял седые брови, нависшие над красным от ветра и солнца лицом, и тут же предложил мне:

— Добре! Поезжайте в хорошее место — Барса-Гельмес. По-туркменски — "пойдешь — не вернешься". Есть там люди. В сплошных песках работают, в вагончиках живут...

Я робко попытался перехватить инициативу: по дороге от Красноводска видел я образцовое дорожное хозяйство, где начальником Жуков — молодой, энергичный специалист! Показалось мне, что о нем вот хорошо бы написать...

Брови у замминистра задержались.

— Ну, нашли чего, Кызыл-Арват—курорт! Жуков бойкий, можно и его поднять... но часто делает не то, что нужно. Не по закону действует! Власть превышает!

И тут я совершил роковую ошибку: сказал, что нужно тебе, Жуков, сорок тысяч тонн смеси и тогда можно будет всерьез написать о трудовых победах пятого дорожного участка.

Шутов, прошедший всю суровую школу служебной лестницы снизу доверху, сразу раскрыл все наши карты:

— Ясно... Напел вам Жуков. Поезжайте-ка в Барса-Гельмес, а с Жуковым я поговорю...

И если поговорил — то поверьте мне, что я сделал все, что мог. Просто мы переоценили возможности прессы и недооценили проницательности заместителя министра, недаром же он из рабочих.

* * *

Делового строителя дорог Жукова я еще не раз вспоминал в скитаниях по Средней Азии, чаще всего думая о судьбе русского человека на Востоке...

наш "газик" перед тем, как выкатиться из душного Шахрисабза, пристал на окраине города к чайхане, откуда Местный люд выносил в тяжелых кружках мутноватое, но, видимо, холодное, а потому прекрасное шахрисабзское пиво...

203

— На дорожку! По паре кружек!

"Газик", подымая пыль, съехал на обочину, и мы, загорелые, в рубахах, узлами завязанных на мускулистых животах, ввалились в чайхану, с грохотом сдвинули два столика на алюминиевых ножках и загремели пивными кружками.

— Командир! — раздался хриплый голос за спиной Портнягина. — Командир, угости пивом!

Я поднял глаза. Перед нами стоял человек с выгоревшими до белизны волосами, с лицом, должно быть, навсегда и не только от солнца приобретшим кирпичный цвет. В глазах у него зияли тоска и жажда... Ну, словом, это был настоящий "самарский" — так в Средней Азии со времен поволжского голода, когда в "Ташкент, город хлебный", в сытую

Азию хлынул, спасаясь от голодной смерти, поволжский люд, стали называть всякого, кто не прижился на чужбине, не нашел своего места под новым солнцем, кто оказался выброшенным из родного лона, оторванным от отчей земли, и кто поэтому опустил плечи, не выдержав нужды, одиночества, чуждого ему быта. Много ли надо человеку, чтобы пасть духом, сдаться на милость судьбы? Вот так и появилось с той поры в Средней Азии слово "самарский", звучащее как "никчемный", "пропащий"...

Он и стоял перед нами — в заношенной майке, в сандалиях на босу ногу, в линялых спортивных шароварах.

— Командир! Угости пивом...

"Самарские" не раз встречались нам на азиатских тропках, и потому Эрнст досадливо отмахнулся: отойди, мол, друг, дай спокойно посидеть... Однако "самарский", видимо, был телепатом, а иначе он бы не сообразил, как найти путь к сердцу командира.

— Угостите пивом, ребята, а я вам Есенина стихи почитаю...

— А что ты знаешь? — встрепенулся Эрнст.

— Что пожелаете—хоть "Письмо к матери", хоть "Черного человека"... — "Самарский" оперся на гнутую спинку ширпотребовского стула:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль...

Минут через пять он уже по-хозяйски сидел за столом и, осушая очередную кружку, излагал сказочную историю судьбы, в которой присутствовал и генерал Ватутин, и прави-

204

тельствующие награды, которые его не нашли в госпиталях, и уголовник Петя Римский, и всенародно известная после войны киноактриса, из-за которой, собственно, и сломалась его молодая жизнь...

А я глядел в его выцветшие желтые глаза и думал... О чем же?..

О том, как легко русский человек сходится с другими народами, как охотно роднится с ними, принимая в свою жизнь их быт, нравы, обычаи. Может быть, потому, что громадные азийские просторы лесов и пустынь государственной волей освоить было невозможно — а где государство, там больше насилия, железа, крови, диктата, — русский человек сумел сам распространиться на восток мягко и естественно, ужиться и с якутом, и с бурятом, и с киргизом. Помнится, как на Тунгуске дед Роман Фарков, в смуглоте и разрезе глаз которого были явственны приметы какого-то сибирского племени, размышляя о своем годке-соседе, обмолвился: "Да ён, хоть у него мать эвенка, наш, Преображенский, русский..."

Не надеясь на государство, русский человек искал, как ему по своему рассудку ужиться с племенами Востока, и сумел сделать это за несколько столетий ладно, прочно, естественно. "Ён русский, только мать у него эвенка"... Впрочем, дело не только в том, что "уживание" было как бы частной задачей человека. Американцы тоже осваивали Дикий Запад во времена, когда отдельные семьи, частные отряды энергичных авантюристов, словом, различных представителей народа и общества, без особой поддержки государства — скорее оно шло за ними — с кольтами и винчестерами двинулись к Тихому океану, предавая на своем пути огню и мечу индейцев и бизонов. Так что дело в национальном складе, в натуре народной. Культ и ореол хищной романтики над лихими головами шерифов, ковбоев, конквистадоров у нас не сложился, хотя осваивали мы просторы несравненно большие... Русские и Восток — с одной стороны, американцы и Дикий Запад, англичане и Индия, французы и Африка — с другой. Вот два пути рождения многонациональных общин человеческих. Не потому ли от избытка насилия, законов и крови индейцы существуют в нынешней жизни Америки как миф? Не потому ли развалилась Британская империя? Не потому ли арабская Африка выгнала французов обратно за море в Европу? А русский человек, начав несколько веков тому назад

незаметную работу по созданию величайшего в мире государства с семьюдесятью семью народами, достиг в мировой истории невиданного...

205

Однажды вечером в каком-то райцентре Зеравшанской долины я вдруг услышал слова незнакомой мне песни, сложенной, видимо, во времена этой исторической работы. Пелась песня протяжно, с долгими вздохами и выдохами — словом, по-народному:

Эх, не дое-е-ехал я до до-о-ому-у-у!
Затерялся-а где-то в кишлаке-е-е!

Разве мог деловой англичанин затеряться, раствориться где-нибудь в негритянской деревне или энергичный американец в индейской общине? А русский человек не только смог, но даже песню об этом сложил...

Вот о чем думалось мне за кружкой пива в чайхане на окраине Шахрисабза. И еще о том, насколько необъятна слава Есенина, который может владеть сердцами самых разных людей — и рафинированного столичного интеллигента, и волевого дорожника Жукова, и неизвестного, не до конца истрепанного жизнью "самарского"...

* * *

Я сопровождаю от Мары до Ашхабада нашу технику — две автомашины и всякую хурду-мурду. Ребята поехали пассажирским поездом. Синь. Жара. Раскаленная железная платформа. Станционные тупики, на которых часами ждет своей очереди наш товарняк. От солнца я спасаюсь, залезая под "газик". На ходу — еще терпимо. Я взял с собой ящик местного пива. Обматываю пиво в мокрую тряпку, выставляю на встречный ветер — и оно как-никак охлаждается. Сбиваю с бутылки о борт платформы железную пробку и глотаю желтое, пузырящееся, вылетающее из бутылки пиво... Все-таки легче.

Рядом с моей платформой — еще одна. На ней трясутся два змеелова. Два русских человека, в жизни не ловившие змей. Только по воле судьбы занявшиеся этим странным делом.

Илья — толстый, уже пожилой мужик родом из Смоленщины. Всю жизнь он враждовал с колхозным начальством, работать в деревне не хотел, был настоящим "летуном", вербовался каждый год то шурфы долбить в Якутию, то рыбу ловить на Сахалин, то шабашничать куда-нибудь на Север. А прошлой осенью новый председатель колхоза, человек крайних действий, приказал отобрать у Ильи, как у бесполезного

206

элемента, приусадебный участок. Всю зиму Илья сомневался: а может, зажить оседлой жизнью да помириться с колхозом! Но как только пригрело апрельское солнце — вспомнил, что лежит у него за бабкиной иконой письмецо от случайного друга из города Фрунзе, в котором друг пишет, что есть еще на этой земле калымное дело — ловля змей в каракумских песках... И через три дня Илья уже дышал жарким воздухом, смешанным с духом железнодорожной гари.

Напарником Илье в пустыню дали бывшего московского таксиста Андрея. Во время мартовского гололеда не вывернул он баранку у трех вокзалов и разбил вдребезги новую машину. Все бы ничего, да экспертиза подтвердила состояние легкого опьянения... И подался Андрей на заработки в Каракумы.

Полтора месяца два неудачника на "газоне" бороздили пустыню. Где ловить этих проклятых змей — кобру, за которую платят четвертной, и песчаную эфу, чья голова оценена в тридцатку, они знали очень плохо и возвращались во Фрунзе с двумя щитомордниками да несколькими пятирублевыми гадюками. Но чем была набита деревянная клетка в их "газоне" — так это степными черепахи.

Проснешься утром где-то на станции и грустно думаешь, что пока твой состав будут переформировывать и с грохотом гонять по путям, отцепляя и прицепляя платформы, — пройдет несколько часов под беспощадным солнцем. А Илья с Андрюшей в это время заняты делом. Накладывают в мешок черепах и становятся в ряд с бабами, торгующими

яблоками да виноградом. Со свистом прибывает на станцию экспресс "Москва—Ашхабад—Ташкент"... Эйркондишен... Ресторан... Мягкие вагоны... Пассажиры высыпают на перрон. Кто к орехам, кто к винограду, кто к помидорам... А большинство к моим змееловам, печально держащим в руках древнейших животных земли, молчаливо шевелящих когтистыми лапками.

— Сколько стоит?

— Рубль!

Ну как же не купить за рубль такое чудо? Свисток электровоза, лязг буферов... Пассажиры с черепахами несутся к вагонам, а Илья с Андрюшей к единственному на станции раскаленному от зноя ларьку и берут бутылку "Московской" ашхабадского разлива.

— Где ты, геолог? Иди, согреемся! — слышится с платформы...

207

* * *

К вечеру я проснулся с легкой головной болью от грохота и лязга—товарняк медленно одолевал пустыню. Мои машины поскрипывали и пытались прокатиться по платформе, но их удерживали проволочные связки и чурки, забитые под колеса. В голове, как продолжение сна, теснились звонкие строки:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Мимо проплывали барханы. Кое-где над ними возникали и тут же пропадали песчаные смерчи. Вдали светилась саксауловая роща — искривленные зноем и жаждой жизни деревца без единого листика... Нет, не растет в пустыне анчар. Нет такого дерева здесь — есть песчаная акация с многометровыми корнями, ищущими в глубине влагу, есть тяжелое дерево саксаул — его древесина тонет в воде и горит, словно каменный уголь, оставляя после себя серебристую золу; есть полынь... Анчара—нет. Это дерево рождено гением Пушкина.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Школьные учебники уродовали мой вкус, уныло утверждая, что стихотворение "Анчар" образец "вольнлюбивой лирики" Пушкина, что анчар — это отвратительное самовластье... Или нет, не анчар, а тот князь, который посылает бедного слугу к анчару за ядовитым зельем.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Игра мировых сил, величие власти и страстей, притягательность добра и зла, их извечная борьба, составляющая содержание жизни, наслаждение царственным жестом... Все это несколько больше, чем "вольнлюбивые мотивы".

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног

Разве не напоминает эта смерть сумасшествие бедного Евгения, загнанного "кумиром на бронзовом коне"?

* * *

Три дня подряд шли дожди. Как ни толково выбирали мы место для лагеря, к вечеру третьего дня мутные ручьи стали подбираться к палаткам. Пришлось окапываться, чтобы нас не залило. Обычно синяя, со сверкающими гребнями белой пены, Майхура превратилась в ревущий мутный поток, по дну которого с грохотом катятся каменные глыбы. Ночью проснулись от оглушительного треска, выскочили из спальников, откинули полог... Уж не землетрясение ли? Или, может быть, отломилась часть вершины Сангинавишта и покатила в ущелье Вардзоба? Но это всего-навсего была гроза. Голубые ножи, распарывая черное небо, взлетали над хребтом Османтала, мертвенным светом высвечивая снеговую линию, — и тут же погружались в кромешную мглу, а вслед за вспышками следовали удары грома, от которых сотрясалась палатка и гранитные глыбы срывались с размокших от трехдневного дождя древних палеозойских склонов.

Жутко и весело было дышать воздухом, в котором скопилось столько электричества, и мне почудилось, будто я вижу во тьме голубой венчик, пляшущий над головой Эрнста.

Однако он был озабочен.

— Не дай бог, сель пойдет! Раздавит — и не поймешь, в чем дело... Из палатки выскочить не успеем. А на улице дежурить под таким ливнем—тоже глупо... Ладно, друг, пошли в палатку. Оденемся на всякий случай, а в спальники залезать не будем...

Эрнст зажег свечу, стоящую у нас в головах на плоском камне, достал походную пикетажку, чего-то забормотал. Тень его со всклокоченными волосами закачалась на полотне. А я свернулся калачиком — и погрузился в дрему...

Эрнст сочиняет стихи. Два года тому назад он пришел ко мне во львовскую гостиницу "Интурист". Я в тот вечер был недоволен собой и потому мрачно начал "вещать":

— Да у тебя профессиональная болезнь геологов — жажда рифмовать и неистребимая любовь к Гумилеву. Зачем тебе это? Ты человек бывалый, но одного не знаешь, какая это отравка! Сколько людей я видел, искалеченных ею, сколько сломанных судеб... И за что? За слова, за рифмы, за любовь к искусству, которая съедает тебя как ржавчина, ничего не обещая взамен... Разве что одиночество, потому что человек, признавший над

209

собой власть искусства, — не принадлежит себе. Потому-то его жизненные связи с близкими ненадежны, что не хозяин он сам себе. Не он управляет судьбой, а судьба им!

Эрнст слушал меня молча и жадно. В конце длинного разговора спросил: "А не поздно в тридцать лет все начать сначала?" Я понял, что решение принято им, и полюбил его за это.

Стихи он писал с каждым годом все лучше и лучше, все больше правды и свободы обретали его слова, все значительней и серьезней становились суждения о поэзии. Я хвалил его — но сдержанно: он уже заслуживал большего.

Ничего, не сломается, говорил мне какой-то педагогический инстинкт. Человек с характером и талантом. Коль решился в зрелом возрасте переломить судьбу, то лучше на первых порах недохвалить, пусть набирает запас прочности. Главное — самому в себя поверить, а не с чьих-то слов...

...Гроза чуть-чуть утихла, и я заснул под шум дождя, барабанящего в полог. Мне снится мой первый маршрут, в который мы ходили с Эрнстом неделю тому назад. Нам нужно выйти на коренные обнажения по ту сторону хребта. Идем медленно — с непривычки и дышится тяжело, но хочется к тому же не торопясь насладиться простором, по-новому открывающимся с каждого возвышения.

Семенов-Тянь-Шанский, один из первых исследователей Высокой Азии, писал: "Ни одна из вершин, как бы она ни была трудна, не бывает неблагоприятной. Она ответит путнику за его пот и слезы фантастическим простором, открывающимся с ее высоты, и

вернет человеку чувство достоинства и величия".

Мы с остановками поднимаемся сначала по тропе вдоль Майхуры, потом берем круче, проходим полосу горных трав и выходим на снежник. Всю долгую зиму на склоне горных распадков — в Средней Азии их называют саями — падает снег, а летом его полуледяные спрессованные кристаллические массы, дымясь от зноя и давая пищу сотням талых ручьев, медленно оседают. Это снежники. В длину они могут достигать нескольких километров, в толщину — десятков метров сцементированного снега и льда. От ледников отличаются тем, что неподвижны. Цвет поверхности снежника зависит от окружающих его горных пород: буро-розовые подтеки образует красная известковая пыль или слои, насыщенные окислами железа; грязно-зеленые оттенки дает сланцевая крошка; угольные шлейфы на слепящем фирне — следы черных известняков. Идешь по хрустящей зернистой массе и слышишь, как где-то глубоко под тобой на дне сая грохочет река, пропилившая русло в ледяной толще. А там, где снежники разрезаны в поперечном

210

сечении, взору предстает льдистый свод, словно виадук, опирающийся о стены террасы, а из-под основания виадука, как поезд из туннеля, вылетает дышащий холодом бешеный поток... Такой снежник, образующий арочный мост над рекой, называется по-местному "тарма". В жаркие дни с ее источенного зноем свода сыплются блистающие капли ледяного душа.

Солнце жжет обнаженные спины. А снизу тянет холодом, свежестью — там, в глубинах, вечная мерзлота. Снежник усеян камнями — черные камни с матовой поверхностью прогреваются сильнее, чем снег, и постепенно погружаются в него, образуя глубокие стаканы, а светлые плоские сланцевые плиты или куски сверкающего на изломах мрамора отражают солнечные лучи, снег вокруг них тает быстрее, и они возвышаются как фантастические грибы на ножках, образуя нам "столы" и "стулья" для отдыха и обеда во время маршрутов.

На снегу кое-где лежат куски дерна, из которых выглядывают эдельвейсы и примула. А там, где снежный покров смыкается с зеленой террасой, сквозь почти истаявший тонкий слой рыхлого снега пробиваются мясистые, изогнутые, как бивни, нежные побеги щавеля и лисьих хвостов. Они долго ждали своего часа и наконец розовыми фонтанчиками брызнули из почвы, насыщенной влагой и семенами. Они растут на глазах. Им надо наверстать потерянное время и за короткое, усеченное для них лето созреть и уронить в землю свое потомство.

Чуть выше начинаются непроходимые заросли медвежьей дудки — вдвое выше человеческого роста, пахучей, похожей на кусты гигантского укропа, юган-травы; охапки белого и желтого шиповника, колеблющиеся как облака; фиолетовые соцветья альпийского горошка... А из затвердевшего селевого потока, разломав грязевую корку, торчат венчики белого ириса. Там, где почва помягче, алеют пионы. Рядом я нахожу странное растение: сочный упругий стебель, увенчанный мохнатым фиолетовым шаром величиной с кулак. Нюхаю, разглядываю, пробую на язык — да это же дикий лук! А в тенистых влажных местах мелькают желтые звездочки болотных фиалок. Цветы высокогорья благоухают, особенно после дождя, так что голова идет кругом. В них много эфирных масел, и прошлогодние, шуршащие на ветру сухие стебли эфирносов, если поднести к ним спичку, вспыхивают как порох.

Сурочий свист стоит над этой зеленой волей, и, словно бы прислушиваясь к нему, на белом фоне гиссарских вечных снегов в слепящей синеве, скользя на потоках горячего и холодного воздуха, медленно кружатся орлы...

211

Сквозь сон я слышу, как Эрик тушит сигарету, закуривает снова, достает из-под спальника ножницы, обрезает нагар со свечи...

— Друг, ты спишь?

— Да так, дремлю. Сон только что снился, как мы с тобой ходили в маршрут...

— Я стихотворенье написал. Вот послушай...

Как забыт и как снова глубок
Сон у края глубокой стремнины,
Где судьбой управляет Ягноб,
Безразличный к законам равнины.
Слишком воздух насыщен грозой,
Слишком дороги сны молодые,
Слишком рано архангел трубой
Призывает нас в дали иные.

Он читает, а я радуюсь за него—в стихотворенье есть воздух, свобода, ощущение судьбы.

Я обнимаю кудлатую голову тридцатипятилетнего бородатого ребенка, пропахшего табачным дымом, лицо которого обожжено солнцем Гиссара и душа поражена высокой болезнью.

— Молодец, Эра! Стихи настоящие! Только прошу об одном — какую бы ты книгу ни написал — не бросай геологии. Я буду бродить с тобой всю жизнь!

Он радостно смеется.

— Что ты! Как ее бросишь. Наступает весна — и покоя себе не нахожу. Все просится в горы — и тело, и душа. Это в крови — двадцатый сезон в поле! Вся молодость прошла в маршрутах... Ну что, поспим до рассвета? Авось селя не будет. Да будет — так от судьбы не уйдешь...

Мы гасим свечу и слушаем равномерный шум дождя.

* * *

Позавтракав, ребята уходят в маршруты, а я остаюсь за повара. Тушенка надоела, макароны с хлопковым маслом в рот не лезут, надо порадовать друзей, когда вернутся к ужину, жареной картошкой, луку побольше навалить, салат из последних помидоров нарезать, алычи набрать для компота, сварить целое эмалированное ведро — и в ледяную воду, ох как он пьется, когда, разморенные жарой, работой и дорогой, в рубашках, загрубевших от соли, мы возвращаемся к лагерю: зараз по три-четыре кружки с холодной кислинкой!

212

Я набрал в кастрюлю картошки и побрел к реке. Наклонившись над водой, вдруг увидел, что на песке в заводи лежит, поблескивая, тонкая полоска золотистого песка. Осторожно, стараясь не замутить воду, зачерпнул полоску железной эмалированной миской. Вода все равно помутнела, и золотистый песок в тарелке оказался смешанным с обычным песком и всякой дрянью. Я взболтал смесь, слил мутную воду из тарелки — концентрация золотистого вещества стала на глазах погуще... Сердце мое радостно екнуло: тяжелая порода, не смывается, неужели золото? Я знал по разговорам, что в здешних реках оно бывает, но чтобы вот так найти золотоносную струю случайно, рядом с лагерем?! Ох и будет сюрприз моим ребятам, когда они вернутся из маршрутов!

Работая железной миской, как лотком, я стал промывать песок, ползая по берегу взад-вперед, ссыпая отмытое золото в кружку. Солнце жгло мои плечи и голову, время катилось к вечеру, тени удлинились, но я лихорадочно работал, ничего не замечая, от восторга позабыв и о жареной картошке, и о салате, и о компоте из алычи...

Очнулся я только тогда, когда услышал на тропинке голоса. Возвращаются! Ну сейчас я им покажу!

Опытный Портнягин заглянул в кружку, потом остановил взор на холодном очаге и понял все сразу. "Золото мыл?" Я радостно кивнул головой. "Типичная ошибка студента-первокурсника на полевой практике! Желтая слюда!.. Ну да ладно, на первый раз прощается... Давай варить макароны..."

Я засыпал, а голова у меня — видимо, оттого, что целый день работал, склонившись над бегущей водой, — кружилась, и во сне я до утра работал лотком, мыл золото, не

какую-то желтую слюду, а настоящее, принесенное рекой из мощных рудных жил с вершин Гиссара...

* * *

С утра у нас неувязка. Маршрут задерживается. Гнедой мерин Шарабан стоит невеселый. Конюх-таджик говорит, что мерин второй день ничего не ест. Эрнст понимает толк в лошадях. Он умеет подойти к лошади, погладить ее, потрепать по холке, что-то сказать, а когда надо — и прикрикнуть, и животные быстро проникаются послушанием. Ездит он как настоящий горец, с киргизской посадкой — плечо немного вперед; лошади доверяют его командам—легко понимая, чего он хочет от них. Он научил меня в прижимах — там, где тропа

213

одной стороной лепится к отвесной скале, а с другой бушует река, — или на узких тропах, где лучше не смотреть по сторонам, потому что закружится голова, когда ты увидишь глубоко под собой серебряную ленту потока, — доверять лошадям, не брать их в шенкеля, не работать уздой; животное само сообразит, куда, на какой надежный кусочек земли поставить копыто. А в сумерках лошадь куда лучше человека чувствует край тропы, кромку обрыва, препятствие... Однажды моя чалая кобыла, которую я, торопясь к лагерю, жестко послал вперед, скользнула на повороте по отполированному гладкому камню, и я с ужасом почувствовал, что ее задние ноги повисли над пропастью и что мы лишь чудом держимся на краю осыпи. Тело ее задрожало, словно бы отзываясь на дрожь мелких камней, сыпавшихся из-под копыт.

"Ну, милая, выноси!" — молча взмолился я, понимая, что не смогу разом выдернуть ноги в трикони из стремян и что я не должен ничего делать, кроме как не мешать ей. Я склонился к ее потной холке и, отпустив узду, обнял лошадиную шею, перенеся центр тяжести немного вперед... Кобыла за два-три мгновения, показавшихся мне бесконечными, нащупала наилучшее положение своему мускулистому телу, ее грудные мышцы и сухожилия напряглись — и она, тяжело дыша, усилием одних передних ног вытянула себя и меня на тропу... Похолодев, я услышал, как с ее заднего копыта со скрежетом слетела подкова и, звеня о камни, понеслась, набирая скорость, в синюю реку Кафандар...

Весь этот сезон я работал с ней. Я привык к тому, что она— моя лошадь, и что-то сердечное было в этом чувстве собственности. У нее был жеребенок— тонконогий, большеголовый. Я брал с собой в маршруты несколько лишних кусков сахара и на привалах подкармливал и мать, и сына. На каждой остановке жеребенок подлезал под кобылу и жадно присасывался к ее маленькому вымени. Мне жалко лишать его радости, я жду, не погоняю лошадь, отстаю от ребят, и каждый раз приходится догонять их. Жеребенок обычно убежал по тропам вперед, но возле опасных мест всегда ожидал мать, подзывая ее тревожным ржаньем. А она ржаньем успокаивала его. Вообще когда они теряли друг друга из виду — то время от времени перекликались...

Однако гнедой мерин Шарабан стоял невеселый. Эрнст подошел к нему, погладил холку. Наклонился — потребовал поднять ногу. Шарабан послушался. Все четыре копыта были здоровыми. Может быть, наелся ядовитой юган-травы? У нас был такой случай, когда мы всю ночь гоняли начавшую биться

214

в конвульсиях кобылу — конюх недосмотрел за ней, и она полдня паслась в роскошных зарослях этой травы, похожей на гигантские кусты укропа... Да нет, последние два дня Шарабан не отлучался от лагеря. Тогда Эрнст взял мерина за морду и рукой попытался открыть ему пасть. Шарабан, к нашему удивлению, сам охотно распахнул ее.

— Ну, конечно, пиявки...

Мы заглянули в пасть Шарабану. Эрнст отвернул ему язык. Под языком чернели клубки извивающихся червей. Оказывается, в некоторых застойных лужах и водоемах живут мелкие горные пиявки. И когда лошадь пьет воду—то личинки их остаются во рту, со временем начинают жить и размножаться на нёбе и под языком, и лошадь перестает

есть. Эрнсту было это знакомо.

— Путы на ноги Шарабану! Плоскогубцы мне! Спирт из палатки! — скомандовал он и, засучив рукава, принялся за операцию. Мы держали Шарабана за седло и подпругу, но он и сам стоял спокойно, тяжело работая боками, пока Эрнст выгребал у него из пасти комки членистоногих, разбухших от темной крови. Они тут же лопались, и руки у Эрнста были окровавлены по локоть. У Шарабана, из его громадных, отливающих нефтяной пленкой глаз, текли слезы, но он, благодарный, терпел боль, переминаясь с ноги на ногу. Наконец полость рта была очищена, смазана спиртом, Шарабан сразу же повеселел, напился ледяной воды из Кафирнигана и потянул свою волосатую губу к зеленой траве.

— По коням! — кричит Эрнст. — По маршрутам! Перед тем как сесть в седла, мы рассматриваем топонимы.

Это приятное занятие. Отрадно видеть, что зеленые альпийские луга, коричневые возвышения, голубые ленточки рек и ручьев — все отмечено на бумаге, кем-то уже изучено. Обозначены высоты хребтов и цифры на голубых полосках рек — скорость их течения. Даже отдельная горная арча — видимо, старая и могучая—удостоилась чести быть нанесенной на карту. Даже развалины древнего кишлака... Интересно, сохранились ли они еще? Изучение топонимов рождает в душе какое-то надежное чувство: это не просто бумага — а карта, на которой все точно, надежно, и если уж указано озеро, то, когда мы перевалим хребет — оно конечно же там и будет.

* * *

После двух месяцев изнурительного поля мы скатываемся с гор в Душанбе, на базу. Мишаня Громов, вцепившись в баранку, гонит наш потрепанный "газик" по пыльному

215

серпантину вдоль мутного Вахша. В машину неведомо как — на палатки, вьючные сумы, ящики с образцами — буквально втиснуты аж под самый тент наши коричневые тела. Жми, Мишаня! В город — с его шумными базарами, с роскошными алыми арбузами, с грудями помидоров, с шашлыками, с газированной водой! В город — с его гомоном, многолюдьем, соблазнами, разноцветными женщинами! В город — с его почтамтом, где в окошке с надписью "до востребования" лежат для каждого из нас груды писем — от родных и друзей! В город — с его прохладными арками, с шелестящими листвою бульварами, с искрящимися фонтанами! В город — с его... банями!

И мы с Эриком пошли в баню, чтобы выйти оттуда — блистая отмытыми до позолоты атлетическими телами, благоухая после бритья и компресса самым дорогим одеколоном, в белых рубашках с индийскими агатовыми запонками, в наглаженных парусиновых брюках и в желтых сандалиях...

От пара, от горячей воды, от радости возвращения, от избытка кислорода в низине — наши головы пошли кругом.

— Эра, лови! — Я выплескиваю на него шайку ледяной воды! Он, поджарый, мускулистый, с животом, расчерченным на квадраты, с торсом, вылепленным из мышц, сухожилий и связок — ни единой капли городского жира, заливается дионисийским смехом. Бородатый и захмелевший, как сатир с древнегреческой вазы... Мы идем в парную, хлещем друг друга вениками, трем свои задубелые шкуры мочалками — и хохочем, хохочем! Я бросаю шайку под кран, открываю воду — не соображаю, что из крана льется крутой кипяток. Эрнст кричит мне что-то смешное, я захожусь смехом... и опрокидываю воду на стопу. Через несколько секунд мы молча наблюдаем, как кожа на моей драгоценной легкоатлетической ноге сморщивается, словно бумага, и начинает сползать, обнажая розовое мясо... Вот тебе и пир плоти! А через два дня, за которые мы хотели успеть насладиться всеми благами цивилизации, надо выкатываться снова в поле.

Грустные, сидим на базе и молча тянем домашнее вино — угощение нашей хозяйки Натальи Сергеевны. Она намазала мою ногу каким-то зельем от ожогов и успокаивает меня, что недели через две "новая кожа нарстет, ишшо лучше прежней". Наталья Сергеевна вообще философски относится к жизни.

— И что ты грустишь! Хужей бывает. Вот пока вы там по горам лазили, сосед наш

себя из ружья застрелил. Вчера пошла его поминать, а батюшка велел из поминанья имя-

то
216

вычеркнуть. Сам на себя руки наложил — все равно помин не дойдет. В милиции работал, Алексеем звали. А хоронили тихо, в штатском, как негодного элемента... Я покойников не боюсь. Обмываю... И ни один никто не снился. А вот Алексея третьего дня видела. Словно бы пришел, а я виноград собираю. Он и говорит: "Дай, кума, винограду". Я бросаю ему, а все мимо рук. Так и ушел без ягодки. Значит, правильно батюшка сказал, что помин не дойдет...

Наталья Сергеевна вообще профессор по всем делам, касающимся похоронного ритуала, загробной жизни; сама она поет на клиросе в местной церкви, отец настоятель иногда заходит к ней чайку попить, а то и винца домашнего попробовать. Дом у нее полная чаша. А ведь были времена — лучше не вспоминать. Однако Наталья Сергеевна вспоминает всё: хорошее и плохое — видно, вся нынешняя жизнь ее питается одними воспоминаниями.

— Первый-то муж мой с одной деревни, с-под Саратова. Когда голод начался в тридцать втором году, мы сюда и побегай. Так ён тут быстро спился. В кибитке жили, спали на полу, детей трое. Однажды привел таджика-железнодорожника, бутылку принесли, сели, он мне и шепчет: "Ты с него двести рублей проси!" А я говорю: "Креста на тебе нет! Телом моим, вишь ты, начал торговать!" Он на меня с кулаками, а таджик тот и спрашивает: "А вы, гражданка, кто ему будете?" Я говорю: "Жана!" А он: "Какая ты мне жена!" Ну, таджик смутился: "Извините, гражданка, я не думал". И за порог. А мой-то бить меня: "Ты что от двести рублей отказалась!" Ну, война началась — слава Богу, взяли его сразу. Прислал письмо, мол, ранен под Новочеркасском. А потом пропал без вести. Видно, где-то лупанули. Ну и хорошо, чтобы такой никому не достался. Как-то приходит ко мне Маруся-соседка: "Твой благоверный снился мне: говорит, мол, чтой-то Наталья свечку на меня жалеет..." Ну, пошла в церковь, в помин его записала, свечку за рубль купила. Пусть успокоится. А то будет по ночам тревожить, будто в жизни я от него мало натерпелась...

Наталья Сергеевна замолчала, а губы сами чего-то шепчут, а пальцы шевелятся, словно она все продолжает какие-то споры, седая, с гладко зачесанными волосами, грузная, в стеганой безрукавке, очень похожая на мою родную бабку Дарью Захарьевну. Мы сидим во дворе ее дома за дощатым самодельным столом. Над нашими головами густая зеленая крыша из ветвей виноградной лозы, в которой шебуршат, склевывая ягоды, азиатские скворцы — майнушки. В редких просветах между листьями, ветвями и тяжелыми гроздьями

217

сизого винограда кое-где на черном небе остро поблескивают ранние звезды. Этот дом, и этот виноградник, и маленькие цементные арыки для полива, и беседка со столом и лавками — все дело рук ее второго и тоже покойного мужа Петра Савельича.

— Стал ко мне свататься Петр Савельич. А я, как ирод-то мой пропал без вести, так думаю, лет десять замуж не пойду, пока детей не выращу. Ну, сестра меня уговорила: "Смотри, мужчина тверезый, самостоятельный..."

Пришел он свататься. Давай, мол, распишемся, детей я усыновлю, дом построим, а ты свою кибитку продай. А я ему отвечаю: "Ну, Николай пропал вроде без вести, а никак придет? Ить он все-таки отец детям?" Тогда Петр Савельич и говорит: "Давай сделаем все, как я думаю. Коль Николай вернется, то отдадим ему полдома. А ты живи тогда, как сердце тебе подскажет, хоть с им, хоть со мной..."

Наталья Сергеевна поднимает с колен тяжелые опухшие руки с выпуклыми венами, чтобы налить нам из графинчика по стакану мутноватого терпкого вина, которое еще в прошлом году перед самой смертью успел заготовить Петр Савельич.

— А мы ведь с им семнадцать лет как брат с сестрой жили! — И, перехватив мой недоумевающий взгляд, Наталья Сергеевна бесстрастно продолжает: — Ему внучка как-то

родинку скovyрнула под глазом, загноилась. То пройдет — то снова нарывает. К врачам пошли. Говорят, рак. И моего Савельича под рентген. Три раза облучали. С той поры он как мушщина и стал инвалидом. А я-то не понимаю ничего. Смотрю, сестра к нему ходит, уколы масляные делает, болезненные. Я у нее спрашиваю: "Зина, ты от чего деда колешь?" — а она говорит: "Ты сама его спроси..." Затопили мы баню, моемся, тут я деда и спрашиваю: "Дедуль, а от чего тебя колют?" Заплакал мой дед и все мне рассказал. "Я, — говорит, — Наташ, вешаться хотел..." А я ему и отвечаю: "Дурак ты, дедка! Если бы ты от дурной болести мужскую способность потерял—дело другое. У нас, не забывай, трое детей — на кого мы их оставим..." А перед операцией пришла я к нему. Сижу, плачу. "Петр, — спрашиваю, — ну как же мне жить?" А он и говорит: "Крыша над головой у тебя есть, пенсия, хоть маленькая, — есть, было бы тебе лет пятьдесят, я бы сказал: найди себе старичка. Так ведь ты седьмой десяток разменяла... А потому живи как живется". Думала, что раньше его помру: я же старше. Все ему говорила: "Ты гроб мне материей не обивай, шушелью да лачком пройдишь, и хватит, обойдусь..." А он мне так всегда отвечал: "Нет, мать, ты меня раньше на горку проводишь".

218

Вчера приснился. Смотрю, стоит в дверях — и ко мне, ко мне на кровать садится. "Наташ, говорит, подвинься". А я ему: "Да куда же ты лезешь, ты же помер..." Смотрю — снова в двери и уходит, как бы тает, и — пропал. Они, мертвые, недолго ходят — полгода, от силы год. А весной соседку Евдокию еще живую во сне видела. Стоит она будто с Петром Савельичем рядом. А я им венки плету да в подоле ношу. А Петр Савельич меня хвалит — мол, молодец, Наташа, на сто рублей мы уж твоих венков продали... Проснулась и думаю: сон не к добру, со мной что-то случится или с Евдокией. Вроде она ближе к Петру Савельичу стояла, чем я. Ну а через неделю ее в больницу положили — муж избил, сотрясение мозга сделал да четыре ребра сломал да позвонок, да на ляжках мясо от костей отошло. Пять ден всего пожила. Мать ее навестила, а Дуся ей ни слова не сказала, только пальцем под глазом провела: мол, помру — плакать не надо... Всю ночь плелось: как глаза закрою, одни упокойники снятся. Да много их. Ждут, наверно...

— Наталья Сергеевна, — желая увести старуху от невеселых мыслей, я попытался поменять разговор, — а внуки-то как живут?

— Письмо недавно получила, сейчас покажу. — Старуха тяжело поднялась и пошла в дом. Я знаю, что у нее две внучки в Германии — старший сын Костя женился после войны на поволжской немке, которая лет пять назад разыскала где-то под Штутгартом своих родственников, развелась с пьяницей мужем и уехала, видимо, навсегда и увезла с собою двух бабкиных любимых внучек,

— Во, гляди-ка, фотографию Светлана прислала, замуж вышла.

Я гляжу на цветные фотографии — как из кирпичи выходит разноцветная веселая толпа молодежи, невеста в белом платье, жених — блондин, скуластый красавец, настоящий Зигфрид в черном костюме, а вот он крупным планом с невестой, белокурый, голубоглазый, и она — круглолицая, с чуть-чуть раскосым, как у бабки, разрезом глаз, с такими же гладкими, блестящими волосами, счастливая, породистая, румяная.

На обороте фотографии дарственная надпись: "Дарагой бабушки от Светланы и Фрица в день когда свадьба". Грамоту уже маленько забыла...

— А отец-то ее как — пишет дочерям?

— Да какие ему дочери. Звонят недавно с вырезвителя: бабушка, у вас сын или внук есть? Ну, думаю, нечистая сила, есть, говорю. "Так мы его привезти можем?" — "Ну, привозите". — "А денежки у тебя есть, бабка?" — "Скоко надоть?"

219

"Да двадцать пять рублей!" А ен недавно мне аккуратно четвертной дал на харчи. "Есть, — говорю, — везите". Привезли моего Костю... Хоть бы женился. Да разве его теперь женишь! — Наталья Сергеевна сокрушенно машет рукой...

Когда мы выезжали в поле, я, как пострадавший, сидел на командирском месте,

вытянув вперед закутанную белыми бинтами ногу.

На высоте, где в воздухе почти нет болезнетворных бактерий, нога заживает быстро. На третий день я уже снял бинты, но в маршруты ходить еще не могу и работаю кухонным мужиком под началом поварахи Евдокии.

Мы сидим у костра и чистим картошку. Скоро ребята возвратятся к ужину. Вечереет. От становища исходят запахи дыма, баранины, лекарственных трав — Евдокия сушит их на зиму. На склонах сая, куда ни глянь, растут шелковица, алыча и дикий виноград, из которых мы каждый день варим по ведру компота.

Коричневые склоны, покрытые лессовыми подтеками, к вечеру источают ровное тепло, накопленное за день, словно истопленные громадные печи.

Начистить на восемь мужиков картошки — дело нудное, и Евдокия начинает мне рассказывать про свою жизнь.

Она женщина славная, но потрепанная жизнью. Маленькая, худая, скуластая. Всегда в темном платочке и выцветшем жакете. Муж у нее совершил недавно аварию — дали пять лет, и чтобы свести кое-как концы с концами, она нанялась к нам поварахой подзаработать на жизнь. Все-таки полевые да высокогорные... Мы уже привыкли к тому, что каждое утро она барабанит палкой по пустому ведру и кричит: "Подъем! Кушать! Вставайте, окаянные!" А сегодня она разговорилась, и я узнал, что наша Евдокия чуть ли не девчонкой прошла всю войну от первого до последнего дня.

— Сначала работала в пункте питания. А потом перевели на прожектор, да не просто перевели, а с "губы"! Да, и на "губе" сидела, — перехватив мой вопросительный взгляд, продолжает она. — Комвзвода табуреткой ударила! Под Наро-Фоминском жду комиссию, стол белой скатертью накрыла, а он ввалился, на скатерти насвинячил, да еще и лапать меня полез... Пьяный! Я ему так заехала, что со стула повалился. На "губу" меня упек! А ночью сам не справился с обстановкой. Приехал генерал Бескровный (до сих пор боюсь!). "Где комсорг?" — На "губе". — "За что?" Вызывают меня. Я рапортую, как и что. Ну, взводного в штрафную, а меня — на прожектор. Первым номером. Луч на немецкие самолеты наводила... да ты слушай, слушай, а про картошку-то не забывай!

220

Второй день мы с надеждой поворачиваем уши к вершинам хребта, откуда за нами должен прилететь вертолет. Время от времени в синем пространстве раздается гул моторов, но ухо Евдокии Дмитриевны, со времен войны научившееся различать марки самолетов, по звуку безошибочно определяет: это местная "аннушка", это "Як-40"...

А между тем вчера приходили чабаны и принесли тревожные вести. Километрах в пятнадцати выше по течению в русло реки рухнула тарма, громадная масса спрессованного снега, под которым протекала река. Вода, конечно, пробивается сквозь завал, но часть ее накапливается за этой плотиной. И накопилось уже много. Чем шайтан не шутит, — еще день-другой — прорвет вода плотину, и тогда вздувшийся поток за десять минут докатится до нашего лагеря. А мы стоим на пологом месте. Если ночью хлынет — то будут большие неприятности... Поплывут наши шмотки, палатки, пикетажки, кружки, ложки в Кафирниган.

Евдокия заохала, уложила паспорт, трудовую книжку и деньги в целлофановый мешочек и уговаривает нас ночевать на склоне. Портнягин шутит: "Кто в Бога верует, тот не пропадет!" Повараха ворчит, обижаясь на него за суетное упоминание о Боге.

Но на всякий случай глубокой ночью мы встаем, чтобы посмотреть, каков уровень воды. Из-за черной двуглавой вершины Кызылычмека выплывает белая луна — и все вокруг преобразается. Засверкали мощные листья конского щавеля, заблестели камни в реке, дрожащий свет луны смешался с черно-глянцевыми струями ревущего, как поезд, потока.

В эти часы взоры миллионов людей были прикованы к мертвому спутнику Земли: по ее поверхности бродили американские астронавты. Случись что с ними — весь мир захлебнется от радиоволн, газетных заголовков, речей и соболезнований. А если нас накроет паводок — ни одна собака не узнает... Обидно как-то.

Мы приглядываемся к реке, видим, что уровень воды не подымается, и, успокоенные, залезаем в палатку досыпать. Утром нас будит ликующий крик Евдокии:

— Вставайте, окаянные! Вертолет!

* * *

Сегодня камеральный день. Мы разложили на траве образцы пород, сортируем их, наклеиваем на камни кусочки пластыря с обозначением маршрутов, укладываем в

221

маленькие полотняные мешочки, потом во вьючные ящики.

Наша тематическая партия каждый год отправляется в поле, чтобы зимой в лабораториях можно было определить по остаткам древней фауны и флоры возраст пород. С определением их возраста и состава постепенно год за годом на геологической карте Тянь-Шаня наши маленькие маршруты обозначат очертания гигантского глубинного разлома, всколыхнувшего Гиссарский хребет в давние геологические эпохи.

Лагерь разбит на берегу реки Хонако. Две тысячи метров над уровнем моря. Вокруг невысокие желтые горы, кое-где поросшие арчой. Вдоль реки кусты темного можжевельника, тугая, миндального дерева; кое-где семьями растут березы, мало похожие на своих среднерусских родственниц. Потому что каменистая почва, горный воздух, вечнохолодные воды, омывающие круглый год корни, изменили их привычный облик. По несколько корявых — видимо, скрученных ветрами, снегами и каменными осыпями — стволов растут из каждого корневища: а кора у них тонкая, как папиросная бумага, бледно-желтого цвета, свисающая нежными клочьями...

Однообразная камеральная работа утомила нас, и Эрнст начинает популярно рассказывать мне и нашему радисту Грузинкину о том, как образуются горы.

— Спроси об этом несведущего человека—что он скажет? Какая-то сила сморщила поверхность Земли — так ведь? А скорее всего, было по-другому. Сила, конечно, была, но выдавливала она не хребты, собранные в гармонику, а округлую выпуклость... Ну, к примеру, помнишь, после войны из резины клеили футбольные камеры? Так, бывало, когда надуваешь ее, там, где резина потоньше, — вдруг вздувается пузырь... А потом миллионы лет — работа воздуха, воды, солнца... Более слабые породы разрушаются, на поверхности пузыря образуются морщины, в морщинах каждую весну начинают бушевать реки. Каменные глыбы во время половодья углубляют русла... И так продолжается миллионы лет!

Грузинкин, открыв рот, слушает популярную лекцию, а я заползаю в палатку и разыскиваю в рюкзаке томик Заболоцкого:

— Эрик, а вот послушай, как поэты представляют себе горообразование:

В огне и буре плавала Сибирь,
Европа двигала свое большое тело,
И солнце, как огромный нетопырь,
Сквозь желтый пар таинственно глядело.

222

И вдруг, подобно льдинам в ледоход,
Материки столкнулись. В небосвод
Метнулся камень, образуя скалы;
Расплавы звонких руд вонзились в интервалы
И трещины пород...

И мой друг, кандидат геолого-минералогических наук, и радист Грузинкин, ни разу в жизни не слышавший о Заболоцком, отложили мешочки с образцами и слушают меня, открыв рты. А мой голос крепнет, и, впадая в актерский пафос, я начинаю декламировать:

...подземные пары,
Как змеи, извивались меж камнями,
Пустоты скал наполнили огнями

Чудесных самоцветов. Все дары
Блистательной таблицы элементов
Здесь улеглись для наших инструментов
И затвердели. Так возник Урал.

Эрнст взволнован. Он не знал этих стихов Заболоцкого.

— Какая смелость! "Расплавы звонких руд вонзились в интервалы" — да это же картина образования интрузий! Он что — геологию изучал?

Я сказал, что, может быть, и работал Николай Алексеевич в геологических партиях, но не по своей воле и не больше чем простым рабочим.

— Но ведь как точно все изображено! Да я на лекциях своих буду пользоваться этими стихами. Ну конечно же, друг, поэзия на один порядок выше науки!

Я — не спорю. Я рад за поэзию, что она не подвела. Мы снова садимся завязывать мешочки. Солнце стоит прямо над головами. Предметы почти не отбрасывают теней. Наши темные, уже, казалось бы, лишённые лишней влаги тела постепенно начинают блестеть.

— Грузинкин! Да сними ты рубаху, чего паришься! Радист стаскивает рубаху. На груди у него от одной подмышки до другой выколот силуэт военного корабля с клубами дыма, уходящего к плечу через левую ключицу.

— А это что такое, Толя?

— Кто же тебе такую красоту изобразил?

— Да один мой матрос. Был я старшиной второй статьи при орудии на спардеке. Уговорил я его: сделай наколку. Он большой мастер был! Ну, колоть начали в двенадцать. До четырех я терпел. Осталось пустяки — только дым и флаг. "Не могу, — говорю, — перекурить надо!" А он мне отвечает, что,

223

мол, надо кончать дело без перерыва. Иначе — не выдержишь... А курить — нет мочи как охота. "Перекурим! — я ему приказываю. — Вытерплю. Грудь все равно задубела". Перекурили. Снова начинаем. Я лег. Он садится на грудь — и за работу. А дверь не закрыли. Хлоп — входит командир. "Что такое?" Пятнадцать суток строгого. Горячее — раз в неделю. Ему — двадцать суток простого... Мы с Эрнстом хохочем.

— Ну Грузинкин, ну артист!

— А названия у корабля почему нет?

— А названия и не было. Корабль-то военный. Номер был. Но если бы номер выколот — так не пятнадцать суток, а трибунал!

Грузинкин рассказывает спокойно, деловито, поглядывает на грудь, через которую плывет двухтрубный современный крейсер. Скосив глаза, он показывает пальцем на левый сосок:

— Мое орудие как раз вот тут было, на спардеке... — Мы катаемся по траве от хохота, а со стороны кухни уже подает голос Евдокия:

— Мальчики! Обедать!

В палатке на высоте две тысячи метров сны снятся совсем другие, нежели в домашней постели, то ли от горного воздуха, плывущего над землей, то ли от духа горных трав-эфироносков, то ли от прекрасной, развинтившей все тело, каждую косточку и каждую жилочку усталости, которая к утру обернется упругой походкой, свежестью и способностью к работе. Сны резкие, яркие, которые долго помнятся после пробуждения. Но перед сном надо выкурить из палатки мокреца. Разводим дымокур, ломаем сучья турая, потом сухие арчовые ветки, источающие смолистый дух, а сверху наваливаем охалку растения, похожего на нашу белену, от которого исходит едкий белесоватый сок, которым местные люди травят в реках форель. Я засыпаю, а шофер Миша Громов, страстно желающий рассказать мне о своей службе в армии, не замечает, что мои глаза закрылись, что я уже слышу его голос из туманного далека:

— Армия моя родная! Я такой: пять раз одно дело сделаю, а пойму до конца — всю

машину разберу по винтикам...

Мишаня живет в Ашхабаде, куда приехал из Подмосковья. Женился. Родил сына. Посадил две грядки огурцов — на каждую грядку поставил по чучелу. Сложил цементную "бассейку", в которой, пошевеливая плавниками, важно ходят семь сазанчиков. По вечерам в тенистом дворе раздается голос его жены Анюты: "Миша! Иди Юрку укладывать, я замучилась!"

224

...Снится Ирина. Конечно, это было в Калуге. Будто бы я прихожу вечером в наш старый дом, открываю дверь — меня встречают растерянные мать и жена. Я захожу и вижу Иру, толстую, румяную, с глазами-щелочками, с гладкими, зачесанными назад волосами. Жена удивленно смотрит на нас, а мы пытаемся поцеловаться, но и во сне у нас ничего не получается — что-то детское, неуклюжее; Ира собирается уходить, и я хочу проводить ее, а сам думаю о том, что мы с ней пойдем по темным калужским улицам и там я где-нибудь поцелую ее, но тут же с ужасом вспоминаю, что ел лук и рот мой пахнет луком. Судорожно бросаюсь к нашему алюминиевому умывальнику и к всеобщему недоумению начинаю чистить зубы... Боже мой, ведь все это было четверть века тому назад! В горах вообще чаще, чем обычно, снятся женщины...

Светло-коричневые склоны, арча, дикий виноград, ежевика. В ноздри бьет усилившийся к вечеру запах горной полыни...

Повариха соседней геологической партии — яркие накрашенные губы, черные брови, синие глаза. В легком ситцевом халатике. Она сидела под тентом и аккуратно резала лук. А когда мы подошли, нежнейшим голосом предложила: "Мальчики, а не хотите ли холодного какао!" Мы, обалдев от счастья, пили холодное какао, говорили ей комплименты, за что вскоре были награждены горячими пирожками с повидлом... Потом мы закурили, и она закурила с такой грацией, что кто-то из нас не выдержал: "Мы вас украдем..." Она захохотала, демонстрируя белые зубы, и не без умысла поведала нам, что прошлой ночью какой-то дикий зверь с наружной стороны палатки ткнул ее в бок...

Долина Коняска. Голубая дымка над хребтами. Табуны лошадей в зеленых зарослях. Зброшенный полуразвалившийся кишлак. Тропа, угадываемая по медвежьему следу.

Целый день, пока я продвигался вдоль реки по ущелью, передо мной все время летела, то садясь на камни, то бесшумно поднимаясь в воздух, какая-то крупная черная птица.

Я вдруг почувствовал, что зыбкое равновесие жизни и смерти во мне нарушилось в сторону жизни. Я ощущаю себя здоровым и спокойным существом, инстинктивно сторонюсь всего, что может вывести меня из этого состояния в другое, плодотворное, но разрушительное и тревожное.

...К утру мне явился Николай Рубцов, худой, лысый, плохо одетый. В каких-то коридорах издательских или журнальных мы встретились.

"Коля! Ты живой?" — изумленно спросил его я. "Да вроде

225

бы живой", — застеснявшись и помолчав, тихо ответил Коля. "А где же ты был до сих пор?" — "Жил в деревне Карасевке..." — "Так ты и выпить можешь?" — "Могу, но лучше не надо..." В руках у него была стеклянная книга: Берне в переводах Маршака.

Бормочу названия рек, гор, хребтов и вслушиваюсь в звуки: Чильдухтар, Туполанг, Кызылычмек, Ривалаяйлак, Гурт-куйлюк... Всё звучное, сочное, многогласное, цокающее...

Утро. Короткая прохлада. Над палаткой щебечут сизоворонки, в пожелтевших горных берегах шуршит ветер, в двух шагах от палатки шумит река. Обрывки снов тают в сознании... Пора просыпаться... Скорее в ледяную воду — и в путь.

Не доезжая Оби-Гарма, мы свернули на грунтовку и через час-полтора вышли на берег реки Хомарово, несущей прозрачные ледяные воды с Каратегинского хребта, чей гребень просвечивался тонкой снежной полоской сквозь толщу осеннего воздуха.

Голубая вода несла вдоль берегов узкие желтые листья ивняка, от хребта тянуло холодом, наступала пора последних маршрутов.

Но не успели мы разгрузить машину и поставить палатки, как на берегу появились два

человека на лошадях.

— Кто такие? Зачем приехали?

— Геологи; работать здесь будем.

— Нельзя работать...

— Почему?

— Заповедник! Тут товарищ Ибрагимов отдыхает и охотится.

— А кто такой товарищ Ибрагимов? Егеря-таджики из Оби-Гармского лесхоза изумились: как, мы не знаем товарища Ибрагимова? А еще из Москвы! Нет, сейчас же собирайтесь и уезжайте, откуда приехали!.. В бесплодных разговорах о всякого рода правах мы провели часа два, покамест я не сказал, что поеду в районный центр и попытаюсь все утрясти с местным начальством.

Ребята остались разбивать лагерь. Мишаня, чертыхаясь, завел "газик", и мы поползли обратно к Оби-Гарму.

Директор лесхоза, толстый человек в синем френче, в галифе, в цветной тубетейке и полотняных сапогах, оказался несговорчивым.

— Нэ магу я пустить вас в запаведник! Ты панимаишь! Из Москвы?.. Ну и что! Москва далэко, а товарищ Ибрагимов близко! Он балшой чэловэк! Атдыхаит тут. Ахотитца... Как я магу вас в запаведник пустить? Вот тэлэфон, звани товарищу

226

Ибрагимову... Нэт, иди на почту, закажи междугородний разговор. Разрешит товарищ Ибрагимов в запаведнике работать — пусть телеграмму дадут на мое имя, заверенную официально...

Чертыхаясь, я вышел на улицу, послонялся по пыльной площади, зашел на почту, где узнал, что междугородная связь повреждена. И, совсем обалдев от полуденной жары, стекшейся со всех сторон к Оби-Гарму, вдруг заметил на обширном деревянном строении вывеску "Райисполком". Я прошелся по прохладным коридорам и поглядел на таблички инструкторов, завотделов, заместителей и, прочитав на одной из дверей простую фамилию "Быков", постучался...

Быков, широкоплечий крупноголовый человек, внимательно и устало выслушал меня.

— Да, конечно, дело не простое, но сейчас чего-нибудь придумаем. — Он набрал номер телефона. — Юсупов? Здравствуй, зайти ко мне, пожалуйста, разговор есть!

Через полминуты дверь отворилась и директор лесхоза Юсупов с необычной для такого тяжелого тела грацией, кланяясь и улыбаясь, вошел в кабинет.

— Садись, Юсупов!

— Благодарю, товарищ Быков, я постою!

— Да нет, ты уж садись, разговор у нас долгий. Юсупов вежливо и бесшумно присел на краешек стула, с опаской поглядывая на меня.

Быков покопался в бумагах, что-то переложил из одного ящика в другой, сделал довольно длинную запись в календаре и, внезапно подняв лицо от стола, резко спросил:

— Ты кроликов государству почему до сих пор не сдал? Юсупов встрепенулся было встать, но Быков взглядом оставил его на стуле.

— Тавариш Быков, — неожиданным для такого крупного тела жалостным и высоким голосом заверещал Юсупов, — падеж у кроликов! Эпидемия! Падохла многа, как план выполнишь?

— Ну конечно, развели антисанитарию! А нам теперь ломай голову, чем детдомовцев кормить...

— Тавариш Быков...

— Ну ладно, ладно, — досадливо отмахнулся Быков, — ты об этом еще на райисполкоме докладывать будешь...

Он опять погрузился в бумаги, вызвал секретаршу и передал ей конверт — словом, вроде бы отвлекся от Юсупова, который вытащил из синих галифе с вытертыми добела швами носовой платок и убрал пот со лба. Быков опять поднял голову:

227

— У тебя, товарищ Юсупов, какие-нибудь вопросы есть ко мне?

— Никаких, товарищ Быков, вопросов нет, никаких.

— Ну, тогда до свидания!

Юсупов облегченно вздохнул и заторопился к двери, но не успел дойти до нее.

— Погоди, товарищ Юсупов... А что у тебя со строительством дома для рабочих?

— Рабочих рук нэ хватает, товарищ Быков, — опять заголосил директор лесхоза еще жалостней, чем в первый раз. — Страительных матерьялов нэ хватает, цэмэнта...

— То-то у твоего заместителя цементные дорожки во дворе появились... Может быть, ты сообщишь, откуда, из какого цемента?

— Товарищ Быков, спасибо, что сказали! Все проверю, вам доложу, — скороговоркой забормотал Юсупов.

— Ну хорошо, иди работай! — Быков откинулся на спинку стула, давая понять, что разговор на сегодня окончен. Юсупов встал и задом начал медленно пятиться к двери, комкая платок в руках. Но когда он самой тяжелой частью тела уже отворял дверь и в последний раз кивнул головой, перед тем как пропасть в коридоре, Быков вдруг, словно бы вспомнив что-то, энергично поманил его ладонью обратно в кабинет. Юсупов на полусогнутых ногах подошел к столу, но сесть уже не решился.

— Люцерну скосил?

— Скасыл, товарищ Быков, скасыл! — оживился Юсупов.

Но радость его была недолгой.

— А почему не полили, перед тем как скосить? Что, тебя учить надо, как люцерну косить⁷

Убитый горем Юсупов уже ничего не отвечал и даже не вытирал пот, блестящий на его темном круглом лице. Он только тяжело дышал и умоляюще смотрел на Быкова.

— Ну хорошо, иди, товарищ Юсупов, придется о тебе вопрос все-таки ставить. Не хотелось, а придется...

Юсупов тяжело вздохнул и в третий раз потащился к двери, но когда он переступил порог, безжалостный Быков в третий раз окликнул его:

— Юсупов!

Тот обернулся, но к столу уже не пошел, видно, сил у него не было.

— Ты почему людям работать не даешь?! — Быков кивнул в мою сторону.

— Так ведь, дарагой товарищ Быков! Сами знаете... Запавэдник... Товарищ Ибрагимов... Ахотитца... Атдыхает... А

228

вдруг товарищи фарэль паймают или кабана убьют? Кто отвэчать будит?

— Как кто?—удивился Быков. — Конечно, ты! Ну-ка пиши записку своим егерям, чтобы не мешали работать товарищам геологам. Вот тебе бумага, вот чернила...

Трясущейся рукой бедный товарищ Юсупов нацарапал несколько слов, передал мне бумажку и умоляюще посмотрел на Быкова.

— Можно идти, товарищ Быков?

— Можно, товарищ Юсупов!

Когда за директором лесхоза захлопнулась дверь, Быков печально улыбнулся и развел руками:

— Видите, как трудно работать! Ну, слава богу, у вас все в порядке! Поезжайте заниматься своей съемкой. Будет время, я к вам загляну на чай...

Я поблагодарил его, развернул записку с несколькими корявыми словами и спросил у Быкова на прощанье:

— А скажите мне, что хоть наш товарищ Юсупов здесь написал?

Быков поглядел в записку и расхохотался

— Ну, конечно, он не поверил, что вы работать приехали, и дал такое распоряжение своим егерям: "Пусть дорогие гости хорошо отдыхают!.." Что делать, привычка!

* * *

Я — коллектор Портнягина. Мы ходим с ним в маршруты— в одной связке. Мои

обязанности — подготовиться с вечера к маршруту. Проверить снаряжение — тяжелые геологические ботинки с зубцами — "трикони", геологические молотки, положить в рюкзак пикетажные книжки, пластырь, мешочки для образцов; не забыть котелок для чая, заварку, две кружки, хлеб, соль, сахар, огурцы, помидоры. Все должно быть с вечера уложено, пригнуто, затянуто. Из лагеря уходим рано, чтобы успеть до жары выйти на маршрутные отметки — а порой это километров за пять от лагеря, да еще превышение километр-полтора—и начать по утренней прохладе работу. Эрнст ходит в маршруте легко. Четко замеряет углы залегания пород, записывает их характеристики, а я в это время выбиваю из обнажений образцы, обколачиваю грани, наклеиваю на свежий излом кусочек пластыря, пишу на нем номер маршрута.

К полудню килограммов пятнадцать камней уже оттягивают мои плечи... А еще маршрутить километра три,

229

покамест выйдем на берег Сардай Мианы. Фляга чая, взятая в маршрут, уже выпита во время первого перекура. Пот заливает глаза. Рубаха пропиталась солью — чувствуешь спиной, как она задубела... И нет большего наслаждения, чем услышать в эти минуты бульканье родника! Эрнст пьет расчетливее, скупее и подсмеивается над моей ненасытностью:

— Ты знаешь, как Александр Македонский создал свою гвардию? В каком-то походе на Восток его войско одолевало пустыню и чуть не обезумело от жажды. Из последних сил вышли к воде. Солдаты бросили щиты, мечи, копья и, оттесняя друг друга, рванулись в реку, падали в нее, пили, пускали пузыри, кричали... Словом, вели себя, как... ты. Только немногие из них переждали, пока все стадо напьется, отложили оружие, сняли бронзовые шлемы, умыли руки, лицо и лишь после этого с достоинством утолили жажду. Вот из них-то Александр и сформировал гвардию. Кстати, он напился последним...

Я восторгаюсь, мне нравится рассказ, но у очередного ручья виновато оглядываюсь на Эрнста, сбрасываю с плеч рюкзак и припадаю к влаге потрескавшимся ртом.

Высокогорная вода! Холодная, снежная, ледяная, прозрачная, разламывающая зубы, синяя, обжигающая, сладчайшая, пенящаяся, летящая серебряными нитями водопадов, журчащая в мраморных трещинах, — я пил ее везде, где бы ни встречал. Уже не хотелось, но от одного взгляда на эту воду жажда вновь вспыхивала в горле. Я знал, что много пить нельзя, что потом будет тяжело идти, но глаза — жаждали. Я каждый раз с сожаленьем уходил от ручья—все равно всю не выпьешь! Но встречался следующий ручей, и я останавливался, снимал с затекшей спины груз и не торопясь выбирал удобное место, опускался на колени или ложился всем телом на влажную траву, на холодные камни, на отполированную яшмовую глыбу, погружая сначала воспаленные губы, а потом все лицо в освежающую струю, и, хмелея, начинал пить медленными маленькими глотками. Потом делал большой глоток, потом, чтобы не утолить жажду чересчур быстро, втягивал влагу сквозь зубы, пробовал ее вкус на язык и с сожалением отправлял в горле. Напившись досыта, я любил посидеть рядом с водой, слушая ее искрящийся шум, ощущая прохладу, исходящую от нее. В эти минуты, глядя на красные, белые и зеленые камни, светящиеся на дне, я чувствовал связь синего холода и воздушной свежести со своей судьбой, с присутствием в душе и в теле вечно молодой силы. Только боги и звери достойны пить эту воду.

230

К середине дня мы вышли к водопаду. Крутизна двухсотметрового плато, сложенного из коричневых пластов мезокайнозоя, была такова, что поток не скатывался по обрыву, а от верхнего края его и до глубокой выдолбленной чаши на уровне нашей тропы сверкающим жгутом висел в воздухе. Сердце заныло: а что там наверху — ручей, или громадное озеро, или какой-нибудь затерянный мир, где еще не ступала нога человека?

— Эрик? Подыдемся!

— А зачем?

— Да посмотреть, что там...

Он улыбается улыбкой человека, прошедшего через такие детские искушения:

— Я тебе, чтобы не тратить полдня на подъем, скажу: там то же, что и здесь...

Уже четвертый час пополудни. Эрнст делает последнюю запись в пикетажке, и мы выходим на каменную осыпь, внизу голубой лентой вьется Сардай Миена.

— Что-то старею, друг! — грустно усмехается Эрик. — Бывало, такой маршрут я за полдня делал. Один делал, без коллектора. Сколько можно маршрутить? Сорок лет скоро! А все по горам прыгаю... Ну, поехали к реке, чаю сварим, да ты, глядишь, и форелью накормишь начальника. Пошли! Голеностоп держи плотнее!

Мы прыгаем с тропы в "живую" сланцевую осыпь, и она, медленно шурша, начинает ползти по склону, а вместе с ней, удерживая равновесие и перенося центр тяжести с одной ноги на другую, мы скачем вниз, опережая мощную шевелящуюся массу.

— Эрик! — в восторге кричу я. — Сма-а-три!

Эхо скачет по скалам к вершинам хребтов, обложенных розоватой дымкой.

На берегу с наслаждением сбрасываем рюкзаки, расшнуровываем тяжелые трикони и спускаем намятые, черные от сланцевой пыли ноги в ледяную синюю воду.

Пока Эрнст разводит костер в тени столетнего орехового дерева, я налаживаю удочку...

Ловля форели — нечто среднее между рыбалкой и охотой. Осторожно, чтобы не спугнуть рыб, прячась между кустами и камнями, я подхожу к берегу. Небольшой водопад, kloчочущий, чуть выше меня, впадает в глубокий базальтовый бассейн. На корточках подползаю к воде, переворачиваю камень — ага! Вот он, букаш, любимое блюдо форели. Беру самого крупного, нанизываю на крючок. Делаю бесшумный

231

взмах удилицем—гибкий фибергласе легко посылает грузило и наживку под водопад. Мерными движениями, чтобы не зацепить грузило за камни, начинаю подтягивать леску к себе... Удар! Я знаю, что в эту секунду хищница с разгона схватила букаша вместе с крючком и рванулась обратно под камень. В ту же секунду я рву удилице на себя — форель не язь и не плотва: чуть замешкаешься — и она, разрывая себе рот, сорвется с крючка, — ее надо сразу выдергивать из воды, пока не опомнилась. Фиберглассовый конец сгибается в крутую дугу, в следующее мгновение кончик распрямляется, выбрасывая из синей стремнины что-то трепещущее и разноцветное, рыба с глухим шмяканьем ударяется о гранитную стенку за спиной, слетает с крючка на тропу и, отпрыгнув от нее, летит обратно к воде! Вслед за ней, словно доставая безнадежный мяч на волейбольной площадке, летит мое тело — я падаю на все локти и колени, пытаюсь прижать собой этот извивающийся упругий и холодный кусок жизни! Вырвалась?! Нет! Вот она! Держу! Все... Можно передохнуть и разглядеть свою добычу.

...Золотистый чай заваривается в котелке. Ореховые ветви уже прогорели. Я разгребаю угли ровным слоем, кладу по обе стороны кострища два ряда камней, на них — параллельно друг другу несколько сырых веток и на ветки осторожно укладываю одна к другой четыре крупных форели, натертых солью. Через две минуты они начинают томиться, дергаться от жара, как живые, их спинки снизу покрываются коричневой корочкой, я переворачиваю рыбу, сок с нее каплет на угли, и аромат благоуханных испарений щекочет наши ноздри.

Я обрываю с ореха несколько крупных листьев, кладу на них огурцы, помидоры, хлеб — и на два подогретых листа отдельно — царскую рыбу, испеченную в собственном соку. — Обед готов, начальник!

Портнягин ест с жадностью, чмокая и постанывая от удовольствия. А я смакую форель не торопясь, чтобы не испортить себе впечатление от рыбалки; вспоминаю, как я подсек ее, как она рванула леску, соблюдаю достоинство добытчика и веду себя как гвардеец Александра Македонского. Словом, роли наши — поменялись.

А потом по кружке золотого чая! Да по сигарете! И развалиться на мягкой траве, разбросать по траве руки и ноги, бессмысленно глядя в бездонное небо. Так и заснули мы на земле. Я — в рваной красной футболке, Эрнст в линялой выношенной штормовке, оба

в заплатах джинсах, босые, счастливые, и проснулись на вечерней прохладе.

Заходящее

232

солнце уже очертило длинные синие тени от нашего ореха. Костер догорел. Угли покрылись серым пеплом, и только еле заметная струйка дыма уходила в потемневшее небо...

Но почему во всех моих стихотворениях, где хоть как-то присутствует его образ, закладывалась мысль о смерти или предчувствие ее?

...Расстаемся с ним у истоков Ягноба: часть партии отправляется к югу, мы с Валентином Павловым на лошадях к северу. Склоняюсь над топографической основой, уточняем место, где встретимся через несколько дней — в устье Каниза...

Помню, что я начал писать это стихотворение в седле, когда ехал к устью по долине, заросшей сочными травами, в которых бродили табуны необъезженных трехлеток. Справа и слева, постепенно уходя к небу и тая в рассеянной утренней дымке, виднелись горные складки. Стихи сами собой слагались под мерный шаг лошади, под ее шумное дыханье, под скрип седла:

Где встретимся? В устье Каниза.

Там, в матовом свете луны,

Склоняясь над травами низко,

Разгуливают табуны.

.....

Где встретимся? Слушай, не много ль

Таких расставаний и встреч?

Смотри, как потупился тополь,

Услышав столь дерзкую речь!

Еще бы! Есть высшие цели

И планы на этой земле.

Сегодня на водоразделе,

А завтра на смертной постели,

В наполненной звездами мгле.

Он жил так широко — так безжалостно и щедро раздавая себя друзьям, работе, женщинам, науке, поэзии, что тревожно становилось на душе, глядя на эту щедрость. Словно бы человек чувствовал, что недолго жить ему на этом свете, что не много у него времени, как у того розового стебля, пробившего от нетерпения снег, чтобы успеть за короткое высокогорное лето совершить все, что предназначено природой... Да еще и цыганка однажды в поезде, когда он ехал к себе, на родину своих прадедов в Зауралье, в холодном ночном тамбуре, куда он вышел покурить, нагадала, что проживет он сорок лет. У Заболоцкого сказано: "ведь каждое сердце предчувствует час, когда оно канет на дно"... Предчувствия, исходящие от него, становились как бы и моими прозрениями:

233

Мой друг! Под проливным дождем,

Под синим азиатским зноем,

Мы начинаем наш подъем,

Необходимый нам обоим.

От временных привалов дым

Летит и в поднебесье тает

И над твоим виском седым

Как венчик голубой витает.

Послушай, в мире высоты

Немного проку исподлобья

Глядеть, как будто ищешь ты

Хороший камень для надгробья...

Стихи написаны после маршрута, когда мы, опьянев от высоты, от дыхания вечных снегов, от ощущения силы и вольности, вдруг начали, весело кощунствуя, выбирать себе среди глыб красного гранита, белого мрамора и черного базальта надгробные камни.

Он всегда тревожился за меня, когда я уходил в маршруты без него, или когда отправлялся вдоль рек и распадков за форелью, или на охоту за куропатками. Я иногда не рассчитывал время и возвращался в темноте. Хорошо еще, если луна, повиснув на краю черной скалы, озаряла мою тропу, а вдали, отражая ее мертвый свет, сияла призрачная гряда снеговых вершин Гиссара. Не раз, возвращаясь в лагерь, я по огоньку сигареты угадывал: Эрнст вышел на тропу—встречает своего неопытного друга.

К опасной работе приучен давно,
Я знаю: привычка надежней отваги.
За друга тревожусь. В долине темно,
Луна задыхается в облачной вате.

А я задыхаюсь в табачном дыму:
Неужто в потемках он сбился с дороги?
Курю и гляжу в непроглядную тьму
И скоро отряд подниму по тревоге.

Других не найти — он единственный друг.
Храните поэта, Небесные горы.
Он первый заметил, как сузился круг,
Такой необъятный в недавние годы.

* * *

В день твоей смерти я жил на берегу северной реки Мегры. Вечером, вернувшись после неудачной охоты к нашей палатке,

234

я залез в спальник и от усталости сразу заснул под шум мелкого осеннего дождя. Но внезапно глубокой ночью ни с того ни с сего проснулся и, пока приходил в себя, сделал попытку избавиться от тяжелого чувства, навеянного сном, приснившимся мне, видимо, перед самым пробуждением. Со временем я забываю почти все свои сны. Но этот помню. Мне снилось, что я встречаю в каком-то многолюдном и ослепительном аэропорту самолет, на котором прилетает мой сын. Но вдруг по ожидающей самолет толпе, словно ветер, проносится глухая весть о том, что самолет разбился. Люди начинают вполголоса переговариваться, что-то бормотать, шушукаться, волноваться. Тревога в зале ожидания нарастает, и вдруг по радио раздается нежный женский голос, называющий мою фамилию и вслед за этим говорящий, что "ваш сын погиб во время воздушной катастрофы при изящнейших обстоятельствах". Страхивая с себя наваждение, я попытался заснуть снова, но сосущая боль не оставляла душу. Я вылез из палатки. Предраассветный ветер разогнал тучи. Дождь перестал. В черном небе чуть ли не прямо над головой сверкала Полярная звезда. В темноте под обрывом шумела река. Из-под полога время от времени доносился скулеж собаки, которой тоже снились какие-то сны. А в это время твое, уже холодное, тело лежало, укрытое брезентом, за несколько тысяч километров от меня на берегу горной речки... Может быть, когда ты упал на галечный берег, прижимая руки к груди, развороченной зарядом картечи, видения прошедшей жизни на прощанье пронеслись перед тобой, всё ускоряя свой бег, чтобы в конце концов слиться в сплошное крутящееся пятно. Может быть, в какую-то секунду перед твоим внутренним взором промелькнул и мой лик, чтобы навсегда исчезнуть. Может быть, ты сделал слабое усилие что-то сказать мне, но был уже не властен этого сделать... Может быть, я, находящийся на другом краю земли, проснулся именно в эти минуты... Может быть...

Кто знает? В известном смысле я вырастил тебя и потому сон о сыне был сном о тебе.

Наши тропы, костры, пепелища, сборы, лошади, маршруты, реки, стихи, женщины, — всё, все, всё, словно бы со свистом втянутое гигантским сквозняком, черным ветром, вырвавшимся из-под взревевшего лайнера, понеслось черт-те знает куда, в какую-то дыру, в туннель, в темное пространство, и ты делаешь последние усилия устоять на ногах, а волосы, плащ, одежда, руки уже тянутся вслед за вихрем, всасывающим тебя в громадную воронку.

235

Наша последняя с ним стоянка была в устье Хонако. Река вошла в обычное русло. Там, где летом шумели потоки, в их пересохшем ложе, занесенном плодородным илом, разноцветной галькой и семенами растений, — горели алые острова дикого мака.

* * *

Из писем Эрнста Портнягина любимой женщине.

Я долго сомневался: стоит ли публиковать? Но прочитал их несколько раз и подумал: без этих писем облик его будет недорисован, а к тому же нынешнему молодому поколению небесполезно будет прочитать их. Вдруг кто-нибудь и вспомнит после чтения пушкинские строки "да, он любил, как в наши лета уже не любят..."

"21.12.75

Ты знаешь, моя милая, розы, которые я тебе подарил, до сих пор стоят в вазе с надписью: "За нашу победу!" — и ни один лепесток с них не облетел. Мне даже начинает казаться, что это знаменье, и я смотрю на них с суеверным ужасом и восторгом... Давно я не предавался такому эпистолярному разгулу — то ли виной твои письма, отчаянные, открытые и прекрасные — по два письма подряд! — это заставило бы содрогнуться всех, кто меня знает, — не по-портнягински!

С трудом прихожу в себя после хворобы, не помню, чтобы в последние годы меня так сбивало с ног. Работы — тьма! И я в нее погружаюсь. Неприятности одна за другой.

В здешний обком и университет пришло письмо из ЦК КПУ с тщательной хулой поэмы о Федорове (великорусский шовинизм и антиукраинские настроения). Да тут еще в Югославии является рецензия на ту поэму, где меня именуют "панславистом" и "русским националистом". В понедельник сражение на идеологической комиссии — вызван для ответа.

Детка моя милая, солнышко мое ненаглядное, пойми меня правильно — дороже тебя из женщин у меня, наверно, сейчас никого нет! Видишь, какие слова исторгнул я из своей груди! Чего ты хочешь, радость моя, чтобы я, седой, лысый старый

236

сатир и бродяга, думал только о себе? Если бы это было так, я бы тебя давно сгреб в охапку и никуда бы не выпустил. Но я никогда не был смешным и не смогу быть.

Я — русский дворянин, как это ни странно звучит в наш демократический век. Ведь понятия о чести и достоинстве у меня болезненно живут в крови. Я счастлив тем, что твоя, может быть, первая серьезная любовь — это я. Ты счастлива тем, что любишь меня. Зачем это омрачать и губить. Ведь если у тебя это пройдет, ты сможешь еще (дай-то Бог!) от этого излечиться, а для меня это будет последняя трагедия.

Моя нежность глубже, ибо она печальней и радостней, чем твоя, вдвое или втрое. Так отличается кипение в пучинах от пара на поверхности. Пиши еще. Пиши как можно чаще.

Целую, целую...

Твой Э. П."

"12.12.76

Слушай, милая, когда ты отвыкнешь от таких слов, как "уродство", "гад", "ужасный" и т. п. ? Впечатление от твоих писем таково, будто ты живешь в каком-то фильме ужасов — все и вся преувеличено до крайности... Мир нужно любить — такова наша, литераторов, судьба — и людей тоже. Ты должна относиться к ним как царица и богиня, то есть прощая, но не приближая к себе. Все мещане злы, ибо самодовольны и высокомерны. Помни об этом. Ты ведь у меня добрее и мудрее, а ты теряешь чувство

юмора — вместо веселого и трагического взгляда на окружение у тебя вырабатывается издевательски-унылый.

Даже если кто-то говорит правду обо мне — какое его собачье дело. Жалко: собаку обидел! А я их очень люблю, и лошадей, и тебя.

Мой отец — прекрасный наездник и лошадиник — объяснял маме в любви и говорил: "Ты знаешь, какие у тебя красивые ноги? Ну как, ну как у... лошади". Он за это схлопотал, но не понял, за что. Ибо это у него было высшим мерилом красоты. И у меня тоже. Наследственность.

Обязательно прочти альманах "Поэзия", № 15, 1975 г. Там любопытная рецензия на Андрея Вознесенского. Какой-то мальчишка разнес его основательно. В еврейско-либеральных кругах паника. Катаев лезет на стенку. Ведь Андрюша рупор "свободы" (а по совместительству и ЦК, но чернь этого не знает).

Твой вопрос: человек ли я, очень уместен. Я сам нередко его задаю. Вероятно, нет. Я поэт, стареющий, но цельный, полюбивший на закате сумбурную деваху. Я существо ²³⁷ решительное, но кроме дурного глаза в жизни боюсь одного — быть или стать смешным.

Я должен быть уверен в твоей (не знаю даже, как это назвать — задумался) жертвенности, что ли, или в умении понимать меня всегда, везде и во всем... И верности (как это ни банально!) до гроба! Представь себе: через десять лет мне 50, а тебе 30. Вдумайся в эти цифры. Сможешь ли, сможешь ли, сможешь ли! Ибо спутница поэта — это подвиг самозабвенный. Довела все-таки такого мужика до крика!

Твой. Целую. Э. П. Пиши. Пиши. Пиши. Твои письма прекрасны".

"15.12.75

"Учитесь властвовать собою... "Смирять себя молитвой и постом..."

Все оттуда же: от Бога!

Ну что ты, милый мой, сходишь там с ума! Бесишься, психуешь, грызешь себя, обижаешься на какую-то чушь и нечисть! Что это за пизжонство: стакан водки с твоей бедной головкой! Ты извозчик или божий человек поэтесса?! Царица или совинститутка? Любимая Цезаря вне подозрений, а ты забыла? Прокляну!

В моих мыслях не уместается: как ты можешь любить меня и выделять такое. Может быть, я внушаю тебе склонность к пороку? Тогда прискорбно... Твоя любовь должна подвигать тебя на творчество — иначе ты просто баба. Прости меня, любимая, за резкость, но выбираю самые тяжелые слова, чтобы вернуть тебя на стезю горную и истинную. Не могу думать о тебе без волнения, понимаю, что разбудил в тебе прекрасную женщину, радуюсь тому до печенок, но печалюсь, что разлуку так выносишь не крепко, а ведь это спутница любви. Со мной, бродягой, придется привыкнуть к этому. Прости мои сентенции, но я живу в мире напряженном и постоянно требующем предела воли и веры. Урываю свободные минуты для Достоевского и Константина Леонтьева, великого византийца и русопета.

Тоскую по тебе, может быть, сильнее тебя, но не дергаюсь, ибо я мужик и мне нельзя. Очень хочу тебя всю, всю, всю... Вот! Письма мои все сжигай, если к кому-то попадут — не переживу и тебя прибью.

Целую. Люблю. Пиши все время, кстати, чем откровенней, тем лучше, дороже.

Эрнст.

²³⁸

Р. С. В слезах перечитал "Братья Карамазовы", "Подросток". Выше этого в мировой литературе нет ничего. "Пора приниматься за дело, за старинное дело свое"... Также забыла? Эх, ты, сибаритка!"

"Ось Гиссара. 17 июля

Радость моя!

Прилетел вертолет и привез твою нерадостную весточку. Все, что с тобой происходит, конечно, горько и трудно невыносимо. Но ты опять впадаешь в крайности,

как ребенок.

Ты взрослая женщина и, мне бы хотелось верить, достойная и разумная. Я пережил трагедию развода и знаю только одно: чем сдержанней и корректней ведут себя люди при разрыве, тем впоследствии будет легче им всем троим. Тут очень много зависит, конечно, от мужика, но я думаю, что и матушка твоя не даст все это низвести на базарный низменный уровень, на котором идут многие разводы. Тебе ее нужно поддерживать не истеричностью, свойственной, к сожалению, тебе, а твердостью и гордостью женской, ей, конечно, сейчас хуже всех, ты это должна понимать и забудь о своем эгоцентризме. Помни, что она от отчаянья сейчас теряет голову, о чем потом будет жалеть.

Каким бы ни был твой отец, называть его так, как ты называешь, — ты не имеешь никакого права. Ты его плоть от плоти.

Проклиная его, ты унижаешь себя. Они зрелые люди, и мать и отец. Но не забывай о том, что они мужчина и женщина еще достаточно молодые. Не берись быть судьей в этой неразгаданной стихии — отношениях двух миров духовных, сексуальных и т. д. Это бесконечно сложно, и суждения типа "он — негодяй, она — ангел!" и наоборот свойственны мещанскому и крайне ограниченному способу мысли.

Ты хочешь быть художником, поэтессой, посягаешь на высшее понимание судеб и души человеческих — и если это так, то не будь же судьей и прокурором. Помогии матери, но не топчи отца. Отец и мать любили друг друга, и ты их детище. Все, что было, — все прекрасно, все это ваше, только не нужно все это в горячке поспешно затаптывать в грязь...

Акклиматизация в горах была мучительной. Первые четыре дня какой-то удар, едва оклемался. Потом начал маршрутить, вошел в форму, голова прояснилась, скоро, Бог даст, начну писать. Пока вертолет заходит на посадку,

239

дописываю письмо, сейчас он перебросит нас на Ягноб, а мое письмо увезет к тебе. Высокогорье — спасение и возрождение мое. Дай Бог тебе взрослости и разума. Целую.

Твой Эрик".

"Солнышко мое!

Вторую неделю хандрю, потому что не пишу — не пишется. Не пишется потому, что хандрю. Причина и следствие сошлись в одном лице и терзают друг друга. Тот самый "кафар" — "необъяснимая восточная тоска". У меня редко бывают такие депрессии — обычно от усталости. Вероятно, сказалось длительное двухмесячное напряжение — студенты, отчет по глубинам Азии, научные и литературные бои. Ночами бессонница. После Достоевского перечитал рыцарский роман 16 века, потом по-французски Бальзака и еще за ночь какой-то бред про киношников в "Иностранной литературе". Пиши. Твои письма прекрасны, но глуповаты. Ты — лучше их, а я хуже тебя. Люблю.

Твой Э. П."

"21.1.76 г.

"Нам пора обратно ехать в Русь!"

Через 10 дней еду в Москву. И теперь уже не знаю, когда вернусь в Западный Город. Вот уже месяц гоним карту Памиро-Гиссара (глубины). Это — результат моей десятилетней геотектоники. От этой карты зависит судьба всей моей команды (четыре диссертации) — кроме меня, никто сделать не может основного — продумать! Нарисовать! Материалов — гора. Зрение сдает. Кончаем каждый рабочий день в двенадцать ночи. Прихожу, падаю мордой вниз и отключаюсь. Стихи не пишутся — это меня угнетает.

Черпаю силы в том, что прижимаю тебя к груди своей. И целую как никто, никогда, никого... Но что же ты молчишь? Мне начинает казаться, что пропасть между влюбленной девчонкой и любящей женщиной ты не сможешь преодолеть никогда. Быть одной из твоих влюбленностей я не могу и не хочу. Любящая женщина знает о вольном

стрелке все, все понимает и принимает. Решенья у нее свои собственные и судьба тоже. Она пишет письма, звонит и ничего не может забыть. Она одна, она может быть навеки.

Влюбленная девочка готова на все в какое-то мгновение. Она пишет на стене "Я люблю Портнягина" (на наших невымытых стенах эта надпись уцелела до сих пор), терзается

240

еще неделю, а потом, "стиснув зубы", все забывает и на первое слово якобы возлюбленного недовольным тоном отвечает — вопрошая: "Что случилось!" Она папенькина дочка. (Это прекрасно, когда есть понимающие и помогающие родители. Я с юности был этого лишен. Все решал и делал сам.) Ведь все, что было и есть у нас, — это только и только наше. Ну, зачем мне говорить о наших отношениях с твоим умным батей? Ведь ты, зная мой характер, могла бы сообразить, что такой разговор может погубить все. Я начинаю думать, что ты просто этого хочешь...

Мое мнение о твоих последних стихах не изменилось: лучше, чем все, что до этого. Постарайся вытянуть всю книжку на такой уровень. Беспощадность в нашем деле нужнее, нежели сопливое "все хорошо". От первой книги в твоей судьбе зависит очень многое.

Все. Целую.

Твой Эрик".

"Львов. 14 октября

Радость моя!

После твоего звонка я, как и во всех разговорах с тобой, тебя не слышал, не слышал ни сердца твоего биения, ни биения души. Ты словно немеешь и каменеешь, хихикаешь или молчишь.

Я очень суров с тобой при встречах — что подделаешь! Во-первых, это мой бродяжий характер, а во-вторых, я хочу, чтобы ты точно знала, с кем имеешь дело: мужик довольно угрюмый. Не хочу создавать иллюзий — только в открытую, только правду. Даже беспощадную.

А правда в том, что мне 40, а тебе двадцать, чтобы у нас что-то могло выйти. Твоя влюбленность — а это именно она, не спорь! — должна стать любовью единственной, верной, страстной и жертвенной. А в твоей зыбкой и неустоявшейся душе все еще может измениться, причем за короткий срок.

Человек я очень гордый, никакого кокетства твоего провинциального не принимаю и не понимаю. Пойми, что я не тот, кого можно этим увлечь: слишком искушен. Признаний наслушался от баб, в том числе и от твоих ровесниц. Только чистота и высокая любовь (я не боюсь этих слов) меня еще могут задеть за живое.

К тебе я отношусь очень нежно. То, что происходит у нас с тобой, прекрасно и неповторимо. Не могу вспоминать о тебе без волнения. Мне иногда кажется, что все это было возможно лишь в "золотом" веке. Боже, как редко я в своей жизни пишу письма и как это трудно! Теперь самое главное.

241

"Служенье муз не терпит суеты". Ты много суетишься. Стихи твои пока очень слабы по форме. Они разваливаются на слова и строки. Для поэтессы ты безобразно мало читаешь. Если ты думаешь, что у тебя впереди много времени, ты глубоко заблуждаешься. Все нужно делать сейчас! Разболтанность и лень могут быть допустимы лишь после очень напряженной работы. Иначе ничего не выйдет. И тогда моя вера в тебя напрасна! Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока, Заболоцкого, Ахматову нужно читать не один раз, а всю жизнь. Так же как и русскую прозу.

Перешли мне готовую рукопись. По возможности отредактирую. Обнимаю.

Эрнст".

* * *

Ровно через пять лет после его гибели, чтобы избавиться наконец-то от постоянно

сочащейся печали о нем, чтобы заживить ее и сделать просто далеким воспоминанием о далеком, почти сказочном молодом времени, я, возродив прошлые геологические знакомства, приехал на берег Хомарово, где когда-то стояли наши палатки. Место нашего тогдашнего лагеря я, конечно, не нашел, потому что несколько мощных весенних паводков с Каратегинских хребтов нанесли в долину столько обкатанной гальки, да и сама река столько раз поменяла свое подвижное русло и столько новых ивовых рощ на ее берегах! Словом, столько воды утекло...

Я приехал проститься с тобой —
Страшно вымолвить слово — навеки,
Потому что нельзя, чтобы боль
Слишком долго жила в человеке.

Я люблю эту теплую дрожь,
Что в пространстве под вечер струится,
Но ты видишь, серебряный ковш
Над хребтами бесшумно кренится!

Видишь сам — побелели хребты,
Предвещая ненастье и стужу,
Я не знаю, что чувствуешь ты,
Но прошу: отпусти мою душу,

Чтобы воспоминанья не жгли,
А бесшумно и медленно плыли,
Поднимаясь от влажной земли
К звездной стуже, к искрящейся пыли.

242

Вечером одиннадцатого сентября, в пятилетнюю годовщину его смерти, я оставался один в нашем лагере — к восьми часам вечера еще никто не вернулся из маршрутов. Я достал бутылку водки, зажег в палатке свечу, разлил бутылку на две кружки, выпил залпом свою долю и заснул до утра крепким сном без сновидений. Утром проснулся с легкостью в душе и в теле, собрал снасти и решил уйти по реке как можно дальше, потому что к середине сентября форель уже уходит к подножию хребтов на нерест.

...Возвращался я уже затемно — не рассчитал время — с целым мешком рыбы, охлаждающим спину. Тропа была вроде бы широкая, но луна еще не выкатилась из-за горы, и потому идти приходилось почти наугад, осторожно ощупывая ногами каждый камень: в темноте да на узких прижимах ведь все может случиться. Однако я был как никогда уверен в себе, да и какая-то ночная птица постоянно летела впереди меня, присаживаясь на тропу, со свистом поднимаясь в воздух, когда я подходил близко к ней, словно бы указывая мне дорогу в кромешной горной тьме. Когда я проходил мимо спящей чабанской отары, почуяв ноздрями овечий запах и услышав шумное дыхание овец, я тут же с тоской подумал: "Ну держись, сейчас собаки порвут тебе шкуру!" И они действительно вырвались с отвратительным лаем откуда-то из тьмы, покружились в нескольких метрах рядом со мной, но, вопреки своим привычкам, не решились пустить в дело зубы и, глухо ворча, вскоре побежали обратно к овцам. Окончательно измотанный от ночной ходьбы, я увидел наконец-то вдаль огонек и подумал, что это наш лагерь. Но вышел к кишлаку, который был километра за два в стороне, повернул обратно и кое-как по контурам речного берега, чуть-чуть засветившимся от восходящей луны, угадал, где стоят наши палатки. "Спят, обормоты, — подумал я. — Хотя бы кто догадался "летучую мышь" на столе оставить для ориентира. Ведь знают, что не все еще вернулись. А Эрнст, бывало, не дождавшись меня, выходил в сумерках на тропу, и я издалека видел нервно плавающий во тьме огонек его сигареты..."

Ночью я проснулся — может быть, оттого, что почувствовал на своих веках свет от

костра, пробившийся сквозь желтую ткань палатки. Я вылез из спальника. Вокруг костра сидело несколько человек, которым тоже не спалось. Геолог Пашка Хоботов, громадный, как медведь, вологодский мужик, заросший гривой сивых волос, грея у костра руки, медленно читал вслух;

243

Стояла зима.
Дул ветер из степи,
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма...

Пламя высвечивало из тьмы его большую голову, лицо девушки-практикантки, уронившей подбородок на колена, черную фигуру таджика-конюха, очертанья близко подступивших к лагерю горных берез, за которыми находился древний мазар, обнесенный изгородью с шестом посередине, увенчанным витыми рогами архара. А Пашка Хоботов, протянувши руки к пламени, словно бы обращаясь к нему, читал, погрузившись во тьму, в свет, в самого себя:

Его согревало дыханье вола..
1978—82

"Да сгинет тьма!"

Моя скандальная статья о массовой культуре и Высоцком. Террор среды. Письмо от Георгия Свиридова. Переписка и разговоры с ним. Его дословные монологи. Свиридов о русофобии, о продажности массовой культуры, о человечестве, о сильных мира сего. Похороны великого композитора

Помню, как в мае 1982 года я лихорадочно засобирався в дорогу. Мне все чаще стала сниться таежная река, впадающая в Белое море, ее зеленые острова, окаймленные золотыми лентами кувшинок, рокошующие пороги с гладкими, влажными валунами, серебряная рыба, выпрыгивающая из черной воды, белесоватые ночи, когда особенно тревожат душу звонкие голоса лебедей с безымянного озера.

Но за несколько дней до отъезда раздался звонок из "Литературной газеты":

— Станислав Юрьевич, приглашаем вас выступить со статьей в дискуссии о массовости и народности культуры.

Проклятая тема давно мучила меня и, отложив на несколько дней сборы, я сел к столу и написал все, что пожелал — о Пушкине, о нашем телевидении, о Моцарте, о вульгарной экранизации классики, об Аркадии Райкине, о Федоре Достоевском, о братьях Стругацких, о Владимире Высоцком и т. д.

Когда я вернулся из поездки на Север, в редакции "Лит. газеты" меня ждал мешок писем, негодующих и восторженных, проклинающих и одобряющих... Поскольку я не пощадил в своей статье многих кумиров массовой культуры, то "террор среды", обрушившийся на мою голову, носил тотальный характер. Я понял, что замахнулся на "святая святых"

245

современного упрощенного человека. И тем более долгожданным и дорогим было для меня каждое умное и серьезное письмо, выражавшее понимание и поддержку. Одно из таких писем было подписано: "Ваш Георгий Свиридов". После него мы познакомились, и наши, смею сказать, дружеские отношения продлились более пятнадцати лет, вплоть до смерти великого русского композитора.

"3.09.1982 г.

Дорогой товарищ!

Не имея чести быть знакомым с Вами лично, хочу позжать Вам руку и поблагодарить за Вашу замечательную статью. Эпиграф статьи выбран Вами изумительно верно!"

Как я понимаю, речь идет о сохранении крупных духовных ценностей, без которых жизнь теряет смысл. И дело не только в тех или иных именах литературного обихода.

Я давно Вас знаю, люблю и ценю Ваше строгое слово. Читал прекрасную подборку стихов в газете "Советская Россия", журнальные и хрестоматийные публикации. Читал Ваши воспоминания о Н. Рубцове в журнале "Север". К сожалению, сборника Ваших стихотворений у меня нет (правда, я не коллекционер поэзии). Четыре ваши строки сидят у меня в голове прочно, как будто это я сам их сочинил:

Синий холод осеннего неба
Столько раз растворялся в крови,
Не оставил в ней места для гнева,
Лишь для горечи и для любви.

Это, знаете ли, мне очень близко! Дай Вам Бог здоровья и сил для Вашего достойного дела.

С большим уважением Г. Свиридов, Москва".

В ответ я послал Георгию Васильевичу сборник стихотворений и вскоре получил от него еще одно письмо.

"10.12.1982 г.

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Спасибо за новую книгу, спасибо за ту, присланную прошлый раз, и за великолепно подобранную В. Кожинным маленькую антологию современной лирики. Она (книга)

** "Ты уснешь надолго, Моцарт!" (А. Пушкин)*

246

открыла мне глаза на существование целой плеяды прекрасных подлинных русских поэтов. Там есть новые для меня имена, например, Казанцев, Балашов, Чухонцев, и у каждого из участников сборника есть настоящие стихи. В моем понимании это — подлинная поэзия, берущая свои заветы из первых рук. Живу я одиноко. Друзей у меня немного. В своей профессиональной среде я — пария, чужой человек. От этого мне особенно дорого то, близкое, что я вижу вокруг. Ваш "Путь" со мной в больнице, я его перечитываю: много мысли, но не рассудочной, а от восприятия мира — сердцем. "Реставрировать церкви не надо" — изумительно. Мне только непонятно, отчего Вы заменили "ни единый из них" на "ни единый из нас"? Из нас кто-нибудь да поймет. Надо в это верить!

"Чего нам не хватало на просторе", "А где дурачки городские"... все это прекрасно и трагично. Прекрасно также о "цыганском" пении. Знаете ли Вы, что это "цыганско-русское"? В Европе цыгане поют по-другому, и вообще меньше поют, хотя там поэты тоже воспевали их внутреннюю свободу — Ленау или Мериме. Но это — другое!

И лирика Ваша — хороша... Все это мне близко очень.

Жалею, что не мог быть на Вашем вечере, жена многое мне передавала из того, что видела и слышала, но это только возбудило мое любопытство. Лишь самолично присутствуя в зале, можешь ощутить напряжение, вызываемое поэзией столь жгуче современной, как Ваша. Хотелось бы мне также увидеть Кожинова; посмотреть, что это за человек, хоть внешне. Он меня поражает. Какая глубина и целеустремленность!

После Нового года, даст Бог, буду дома.

Может быть, навестите меня?

Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.

Г. Свиридов".

К этому письму следует сделать необходимое пояснение.

В одной из моих книжек Свиридову чрезвычайно понравилось стихотворение "Реставрировать церкви не надо". Поскольку он в своих письмах дважды пишет о нем, подробно разбирая отдельные строки, я должен еще раз (оно приводится в главе об А.

Межирове) его процитировать, дабы читатель понял, что волновало в этом стихотворении Свиридова.

Реставрировать церкви не надо —
пусть стоят, как свидетели дней,
247 как вместилища тьмы и смрада,
в наготе и в разрухе своей.

Пусть ветшают...
Недаром с веками
в средиземноморской стороне
белый мрамор — античные камни —
что ни век возрастает в цене.

Штукатурка. Покраска. Побелка.
Подмалевка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем.

Для чего? Чтоб заезжим туристам
не смущал любознательный взор
в стольном граде иль во поле чистом
обезглавленный темный собор?

Все равно на просторах раздольных
ни единый из нас не поймет,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поет!
(1975)

В первом варианте стихотворения, который был прочитан Свиридовым, третья от конца строчка у меня читалась так: "ни единый из них не поймет..." Но потом мне стало казаться, что в этом есть какая-то внутренняя нечестность, какая-то попытка скрыть и нашу собственную вину за все происшедшее с Россией в XX веке. С большими колебаниями, но я все-таки исправил строчку, взяв часть исторической вины самоубийственного кощунства и беспамятства наших отцов и дедов — на себя: "Ни единый из нас не поймет..." Но когда Георгий Васильевич получил от меня очередную книгу моих стихотворений, в которой я, перепечатавая некоторые главные стихи своей жизни, оставил и "Реставрировать церкви не надо" с исправленным словом, он чутьем пристрастного и внимательного читателя сразу понял все: зачем и почему я исправил одно слово на другое. И написал об этом короткое, но чрезвычайно важное и для него и для меня примечание.

А потом, в письме от 3 декабря 1983 года, снова вернулся к этому стихотворению и даже предложил добавить одну букву в одном слове. И с железной логикой обосновал необходимость такого изменения. Но об этом чуть дальше.

Я посылал Георгию Васильевичу новые книги, он иногда звонил мне, приглашал на дачу в Академический городок, где снимал на лето жилье у вдовы одного известного академика.

248

Мне было всегда горько смотреть на то, что крупнейший русский композитор не имеет средств для того, чтобы жить на собственной загородной даче в соответствии со своими привычками и характером. Но он не придавал этому особенного значения. Он встречал меня возле крыльца, дача находилась в самом глухом углу поселка, вокруг нее росли высокие сосны, кусты дикой малины и смородины. Мы бродили с Георгием Васильевичем по заросшим лесной травой дорожкам, глядели на мерцающие нити

осенней паутины, скользящей в воздухе, на низкое небо, уже чреватое осенним холодом, и разговаривали о Чайковском, о Шостаковиче, о Бахе...

Свиридов на прогулки надевал теплое ратиновое пальто, подшитые валенки — в последние годы он плохо переносил холода — и, похожий на вельможу екатерининских времен в изгнании, показывал, словно свои владения, самые глухие уголки не принадлежащей ему усадьбы... Иногда он резко менял течение разговора, и после скупых жалоб на то, что у него в столах лежат духовные сочинения, которые он не может издать, да и исполнять их некому! — он вдруг начинал пристрастно спрашивать меня о сегодняшнем времени, о поэтах моего поколения, о критиках, о друзьях, о хулителях и ненавистниках русского искусства...

— Вы Кожина обязательно как-нибудь ко мне приведите, очень мне интересен этот человек... А Юрия Селезнева знали? Да? Замечательный был человек, независимый, штучный! А с Костровым дружите? А чьи стихи посоветуете мне почитать? Юрия Кузнецова? Откуда он, сколько ему лет?

Современность, какая бы она ни была, привлекала его чрезвычайно, не меньше, чем великое прошлое.

Я привез к Георгию Васильевичу Вадима Кожина, потом как-то был у него в гостях с Валентином Распутиным, познакомился в его доме с Евгением Светлановым, с Николаем Мининым, с Владиславом Чернушенко.

Он был чрезвычайно разговорчив в новых знакомствах и одновременно жаждал общения и встреч с новыми людьми России. Как будто хотел поделиться с нами всеми своими горестными и тайными думами о ее судьбе, всем своим жизненным опытом, всем, чем жил он, великий отшельник нашего времени, опекаемый ангелом-хранителем Эльзой Густавовной, изредка звонившей мне и требовательно просившей: — Приезжайте, Юре надо поговорить...

Я понимал, что в нем накопилась усталость от работы, от одиночества, от независимости, от усилий, с которыми он сохранял чувство собственного достоинства и чести: "Я очень

249

одинок. В музыкальной жизни пахнет псиной, мафией, интригами. Опереточный Хренников, порнографический Петров, правда, есть и Гаврилин — настоящий талант. Русская современная жизнь слышна в его музыке — и драма, и раёк, и улица. Мне завидуют, меня не любят и не понимают". Иногда мне казалось, что он выбрал меня, чтобы я потом рассказал — после него, как жилось ему в его молчанье и в его почти монашеском обетном, аскетическом подвижничестве последних лет жизни. Я посылаю ему новые книги, и не только свои, он, получив их, почти всегда отвечал мне благодарственными письмами, в которых размышлял и о поэзии Николая Рубцова, и об Андрее Вознесенском, и о Федоре Абрамове...

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

"Я ведь недаром люблю литературу, поэзию, слово. Вот с Вами встречаюсь, с Распутиным, Клюева перечитываю — гигантский поэт! С монументальным народным, христианским ощущением жизни!

Все дело в том, что музыка сегодня не та, что была в прошлые века. Религиозный дух оставляет ее, отделяется от нее, она как бы эмансипируется. И сегодня она может жить только в союзе со словом. А это ведь—совместная жизнь слова и музыки—издавна присуще русской культуре. Наша народная музыка — это пение, как для русских, так и для белорусов с украинцами. Наши народные песни, целый пласт! Наши былины были немыслимы без мелодического исполнения, "Слово о полку" так же исполнялось, как песенный речитатив, я уж не говорю о наших молитвах, о церковных песнопениях. А народные песни? Целая сокровищница, которую мы забыли, загубили, разбазарили за последние десятилетия. Я пытался создать в современной музыкальной жизни

своеобразную антологию русской песни, но музыкальная среда, верхушечно-чиновничья композиторская братия отвергла эту мысль. Да уж если так относиться к великой русской народной песенной культуре, то что говорить о фольклоре других народов? Северных, сибирских, дальневосточных. А ведь в их ритуальных песнях такое слияние с природой, такое древнее представление о мироздании, такое наивное и мудрое детское восприятие мира! И однако современная музыка, даже плохая, даже примитивная в худшем смысле слова, даже неприятная многим из нас, — все равно отражает время, его страсти, его эгоизм, его атеизм, его движение к концу света. А потому она, эта музыка, достойна внимания и изучения. Так что вам, литераторам,

250

хочешь не хочешь — надо слушать эту музыку, анализировать ее, понимать, разгадывать, чем она близка и понятна душе сегодняшнего одичавшего от цивилизации человека. В Америке есть большая музыка. Американские "чувственные псалмы", в которых выразились чувство и темперамент "черных", замечательны. Там есть поворот к национальному, к "реакционному", как пишут всегда "прогрессивные" еврейские музыкальные критики".

"24.07.1983 г.

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Посылаю Вам забытые у нас фотографии и стихотворения. Как мне пришло в голову (к сожалению — поздно, ибо русский человек крепок, как известно, задним умом!), стихи предназначались для прочтения, но я не был столь догадлив и не попросил Вас почитать, по своей непривычке к общению с поэтами. Но я надеюсь, мы как-нибудь устроим литературно-музыкальное "суаре" и тогда — все станет на свои места! Мне было очень хорошо беседовать с Вами и Кожинным, которого я видел впервые, и тоже, надеюсь, не в последний раз (дай Бог).

Сообщите мне, будете ли Вы в Москве — август и первую половину сентября. Может понадобится встретиться по делу небольшому.

Рыба Ваша произвела ошеломляющее впечатление, я съел ее — один, никому не дал ни кусочка, подобного лакомства мне не доводилось пробовать, хотя я — человек избалованный.

Привет Галине Васильевне.

Крепко жму Вашу руку.

Г. Свиридов".

Сюжет с рыбой возник в письме после того, как я, вернувшись из архангельской тайги с рыбалки и охоты, угостил Свиридовых семгой и хариусом, которых и поймал, и засалил собственноручно.

"3 декабря 1983 г.

Дорогой Станислав Юрьевич,

спасибо за "огоньковскую" книжечку "По белому свету". Получил с большой радостью. Бандероль была послана по неточному адресу, но в нашем почт. отд. меня знают и доставили в сохранности куда надо. Стихи Ваши, собранные в ударный кулак, производят на меня большое впечатление.

251

Мне нравятся Ваша страсть и напор, мужество и умение смотреть на трагическое строго, сурово, без дряблости, сентимента или любования тяжелой стороной жизни. Например, стихи про юродивого. Да многое я бы Вам мог написать, поверьте — я человек с большими требованиями! Стихи Ваши действуют на меня неотразимо. Но критика, который заглянул бы в их глубину, еще не нашлось! И это не упрек Кожинному, который Вас любит, просто тут нужен другой особый глаз для смотрения. Мне не кажется (я позволю себе судить, любя Вас!), что крупная форма, например "Поэма", явится итогом Вашего пути. Большие, заранее заданные формы не производят на меня теперь впечатления, наоборот, предельно миниатюрная, сжатая как прессом форма —

очень действенна. См. напр, потрясающую книгу покойного Ф. А. Абрамова — "Трава-мурава", это грандиозно по силе, эпично — несмотря на то, что рассказы иногда — короче лирического стихотворения. Эпос. Автор не вылезает на первый план со своими "самовыраженческими" чувствами. Воздействует лишь сама правда жизни, но написанная минимумом максимально точных и выразительных слов. И в поэзии я ценю более — сжатое, спрессованное. Большую же форму вижу — как ряд спрессованных (каждую саму по себе) миниатюр, точно со смыслом выстроенных в ряд.

* * *

После всего этого "научообразия", которое меня почему-то сегодня одолело, скажу Вам, что читаю стихи Ваши (хорошо уже мне знакомые!) со слезами на глазах. Это без всякой гиперболы.

Одно из любимых моих стихотворений "Реставрировать церкви не надо"... Вы переделывали его. Теперь оно обрело стройную прекрасную форму! Но я хочу быть похожим на того сапожника, который правильно "в обуви ошибку указал", а потом начал говорить: "Мне кажется, лицо немного криво" и т. д. Пушкин хорошо это изобразил, и я этому изображению следую, а именно: "Штукатурка. Покраска. Побелка". Эти три слова напоминают как бы вывеску нашей мастерской, где производят подобные работы. И в этом (в их грубом бытовизме) есть недостаток, отвлекающий от возвышенной речи стиха. Это просто перечень работ. Не смейтесь надо мной! Я говорю это потому, что стихи эти мне особенно близки. Подобная же мысль мне давно и часто приходила в голову, когда я смотрел на разрушенные церкви, похожие на

252

живого человека, с которого сняли кожу, такой это у меня вызвало образ.

Так вот: не сердитесь на меня. "Штукатурка. Подкраска. Побелка. Подмалевка" и т. д.

"Подкрасить" разрушенную церковь, как подкрашивается продажная женищина. Но покрасить — бытовое дело. А "подкрасить", то есть нанести некий фальшивый тон на то, что внутри уже разрушено, убито и т. д. Другой смысл, более, мне кажется, глубокий возникает от этой одной буквы.

Только не сердитесь, пожалуйста! Я желаю Вам хорошего Нового года — здоровья и возможности трудиться над любимым делом, благополучия и мира в доме. Сердечный привет Вашей жене!

Я нахожусь в больнице, тоскую, естественно.

Не показывайте моих замечаний никому; это должно быть между нами, замечать Вам в стихотворном деле дает мне право только моя большая любовь к Вашим стихам.

Крепко жму Вашу руку. Г. Свиридов".

* * *

"Русские хоры — и народные и церковные — это чудо! Живое, теплое, трепетное многоголосье! Разве с ним может сравниться западноевропейский орган — это же механический Бог!" О русской хоровой стихии он размышлял постоянно.

Но чаще всего в разговоре о музыке Георгий Васильевич вспоминал Мусоргского: "В его музыке слышится грохот разрушающихся царств". Мусоргского он ценил как композитора, слышавшего тайные, материковые сдвиги человеческой истории, для чего нужно кроме музыкального гения великое личное мужество. Часто вспоминал и музыку Римского-Корсакова. Помнится, как он рассказывал о возобновленной в 1984 году постановке оперы "Сказание о граде Китеже".

— Написана опера в 1902 году. При Советской власти ни разу не ставилась. Пытался поставить Голованов в 30-е годы, его смяли, затоптали, даже термин ввели — "головановщина". А Светланов сделал грандиозную постановку! — Свиридов был восхищен и оперой, и постановкой. С особым чувством он, как бы говоря о современной русской жизни, передавал свое впечатление от образа спившегося негодного русского человечки, который провел захватчиков ордынцев по неведомым им тропам к таинственному граду Китежу...

— Пьяница, готовый продать все самое родное, самое заветное, "вор", как говаривали в старину, русский средневековый люмпен. А сколько их в нашей жизни, — сокрушался Свиридов и вспоминал поджигателей-архаровцев из повестей Валентина Распутина "Пожар" и "Прощание с Матерой"...—Я без слез не могу слушать, когда в финале оперы звучит вопрос: а что же дальше будет на Руси? — и герой поет: "Вижу церкви без маковок, дворцы без князей..."

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

"Самый великий наш композитор — конечно же, Мусоргский. Совершенно новый для всего мирового музыкального искусства язык, обогащенный мощным религиозным чувством, да еще в ту эпоху, когда оно уже начало выветриваться из мировой жизни, да и из русской тоже. И вдруг—"Хованщина"! Это же не просто опера, это молитва, это разговор с Богом. Так могли мыслить и чувствовать разве что только Достоевский и Толстой.

Великие ученики и последователи Мусоргского — Римский-Корсаков в "Сказании о граде Китеже" и Рахманинов во "Всенощной" и "Литургии" продолжили религиозное, православное понимание мироустройства. Но первым в России его выразил Мусоргский. Его сочинения — это настоящее религиозное искусство, но на оперной сцене. Его речитативы не сравнить с речитативами Верди. У Верди речитативы непевучие, механические. У Мусоргского же речитатив — это голос священнослужителя, произносящего Божественные, великие по своему значению слова, которые две тысячи лет произносятся в христианских храмах. В этих словах есть и простота, и детскость, и глубина удивительная. Ведь Христос сказал: "Будьте как дети". И недаром же у Мусоргского есть гениальное сочинение о детях — "Детская". Душа ребенка — чистая, простая, вопрошающая, живет в этой музыке. А способностью проникнуть в душу человеческую Мусоргский ближе всего к Достоевскому. Он не признавал оперной европейской музыкальной условности в изображении человека. Его оперные люди по сравнению с людьми Вагнера, Верди, Гуно — совершенно живые, стихийные, загадочные, бесконечные, как у Достоевского. А у западных композиторов их герои — это как бы герои Дюма, в лучшем случае Шиллера или Вальтера Скотта. Нет, у него не романтизм, не приукрашивание мира, не упрощение его, а стихийное выражение жизни со всей ее сложностью и бесконечностью.

254

Словом, русское ее ощущение. Потом это назвали музыкальным реализмом. Но простейший быт, при всей своей тяге к реализму, он в музыку не впускал. Потому и не получилась его попытка с речитативом к гоголевской "Женитьбе". Слишком содержание ее ничтожно, ничтожно настолько, что Гоголь сам поражался этой ничтожности, пошлости жизни, обыденности. Мусоргский же — композитор трагических страстей, на которых стоит и зиждется жизнь. Он единственный настоящий композитор-трагик. Его "Борис Годунов" куда ближе к древнегреческим античным трагедиям с их хорами, нежели к легкому и изящному европейскому оперному искусству. "Борис Годунов", "Хованщина" — это музыка крушения царств, это музыкальное пророчество грядущих революций. И одновременно это апология русского православия. Звон колокольный гудит в его операх! Звон великой трагедии, потому что народ, теряющий веру, — гибнет. А сохранивший или возродивший ее — доживет до торжества христианства. Вот что такое Модест Петрович Мусоргский. Потомок Рюриковичей. Умер в богадельне. Его травил либералы — Тургенев, Салтыков-Щедрин. Один лишь журнал "Гражданин" (реакционнейший!) поместил некролог со словами: "Умер великий композитор..." Но насколько был силен в идеях — настолько был слаб в оркестровке, она у него на уровне XVIII века. За это его ругали, и правильно. И еще настоящая литургическая музыка у нас, конечно, Рахманинов. Не Чайковский, не Бортнянский. У них чувство религиозно-сентиментальное. Не более

того.

Кабалевский? А что вы о нем спрашиваете? Слабенький композитор. Такой круглый весь, неоригинальный. Несколько неплохих мелодий есть, правда".

"Дорогой Станислав Юрьевич,

пишу по делу. Месяца два с половиной назад появилась идея сделать передачу Ваших стихов по радио (вместе с музыкой!). Идея была близка к осуществлению, но обнаружили трудности, и дело — стало! Причин тут несколько: 1. Подборка стихов оказалась не так удачной (делал ее не я!). 2. Само Ваше имя, да еще в целой передаче (на час времени), вызвало у кого-то из лит. сотрудников Радио, очевидно, протест либо боязнь, причем не боязнь даже начальства (хотя цензура исключительно строга!), а боязнь и литературные, людей, с которыми этот литотдел завязан "мертвым узлом". Но это — Бог с ним, не хочу лезть в подробности.

Что надо сделать? 1. Вам — отобрать примерно 20 сти-

255

хов (из "огоньковской" книжки, известных, и прибавить к ним что-то по желанию). Пойдет из них 15 (больше не входит). Остальное место должны занять: вступительное слово Свиридова (ибо передача — музыкально-литературная!), такое слово мной уже было произнесено и записано, но я его немного доделаю (слово недлинное), и музыка Чайковского П. И. и Рахманинова С. В. — компания почетная! Музыка (в отрывках) уже мной подобрана, но ее также надо пересмотреть в связи с переменной текстов.

Прошу Вас отнестись со всей серьезностью к этому делу, оно может дать высокий художественный результат. Имелось в виду пригласить чтецом Юрия Яковлева, хорошего артиста, но пару-другую стихов могли бы прочесть и Вы. Желание сделать такую передачу есть и у моих музыкальных друзей по Радио и у меня. А теперь, когда поставлен препон, это надо постараться сделать особенно. Выберите время и постарайтесь исполнить мою просьбу. Я думаю, у Вас это не вызовет возражения? А мы будем "толкать" этот "вопрос". Правда (говорю Вам по секрету!), я почувствовал, что помимо общих цензурных строгостей к слову на Радио (что м. б. и естественно!) "завязанность" с "литгруппировками" там тоже есть! Но мы будем стараться преодолеть этот барьер.

М. б. нам это и удастся.

В нашей музыкальной жизни дело ведь обстоит м. б. и еще хуже: вся музыка находится в сфере влияния "преступного синдиката", стоящего во главе Союза композиторов и творящего пагубное дело для нашей культуры, в первую очередь русской. Но надо жить, делать то, в чем убежден и без чего жизнь теряет смысл.

Крепко жму Вашу руку. Жду письма.

Г. Свиридов.

19/1—84 г."

.. Свиридов еще не конца представлял себе, насколько силен в литературном мире свой "преступный синдикат", творящий то же пагубное дело для русской литературы. Я предчувствовал, что едва ли что-нибудь может получиться из его затеи с передачей на радио. "Хотя, — сомневался я, — знаменитое имя Свиридова — как они смогут с ним не считаться?" А они просто "заматывали" его идею, чинили ей всякие мелкие препоны, понимая, что рано или поздно он махнет от усталости на все рукой и отстанет от них.

256

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

"Консерватории — это унификация музыкальной жизни, своеобразная борьба цивилизации с музыкальной стихией, живущей в недрах любого народа. В Европе до середины XIX века не было никаких консерваторий.

Первая была создана в Германии сыном крупного еврейского банкира Мендельсоном Бартольди, замечательным композитором. С переходом на консерваторское образование наша церковная музыка стала оттесняться на обочину музыкальной жизни. Началась

европеизация русской музыки, которую энергично поддерживали приехавшие в Россию братья Рубинштейны. Их нашли менеджеры Мендельсона, которые искали по всей Европе способных молодых музыкантов, чтобы обучить их в лейпцигской консерватории, а потом распределить, говоря современным языком, по разным странам в разные национальные консерватории. Но великие немецкие композиторы не приняли этих музыкальных новшеств. Ни один из них в консерваториях не учился: ни Шуман, ни Вебер, ни Лист, ни тем более Вагнер, ни Шуберт, ни Брамс. А ведь это не случайно! Лист вообще презирал унифицированное консерваторское образование, и когда встречал бездарного молодого музыканта, то иронизировал: "А Вам, молодой человек, надо обязательно поступить в консерваторию!" Антон Рубинштейн стал монополистом вкусов, определял репертуар, замалчивал Мусоргского. Когда Репин рисовал "Могучую кучку", ему все приходилось согласовывать с Рубинштейном, а тот ему прямо сказал: "Ну, а Мусоргский-то зачем?" Однако музыкальных критиков европейские консерватории вскоре после создания их сети наплодили к концу XIX века очень много! Поэтому у Листа было два ругательных слова: "музыкальный критик" и "консерватория". Правда, русскую консерваторию спасло появление Петра Ильича Чайковского, который вскоре перерос Рубинштейна и стал представлять русскую музыку не только в Европе, но и в Америке. Да и наша "Могучая кучка" — Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Кюи, ну и, конечно же, Мусоргский — созрела как непрофессиональная среда. Стравинский — явление незаурядное. Именно он проложил в русской музыке путь к чистому модерну, гиперболизировал форму, сознательно лишил музыку духовного начала. Но на этом пути он сделал немало открытий. И, однако, я знаю, что крупнейший композитор XX века — Рахманинов. Его "Всенощная" изумительна! За 2 месяца я прочитал более 6000 тысяч страниц партитуры

257

Рахманинова, Мусоргского, Римского-Корсакова, даже глаза заболели! Учился сопрягать оркестр с голосом. Но есть у Рахманинова и слабости — сентиментальность".

"21 февраля 1984 г.

Дорогой Станислав Юрьевич,

подборку стихотворений получил, навел справки на радио. Будем стараться сделать передачу, хотя это оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Время идет — жизнь меняется! Но я не опускаю рук и не теряю надежды. Теперь у меня — трудное время. Живу я скверно, болею, жизнь как-то быстро вдруг пошла под откос: дел много, помощи нет, живу в чужом углу, на старости лет это неудобно, неуютно. Работа моя — стала. Уже пошел четвертый год, как я ничего нового не могу сделать, быт разлезся по швам. Грустно мне очень, и не знаю, как поправить дело. Книги, посланные Вами, получил. "День поэзии" произвел своеобразное впечатление, думается, он в известной степени отражает состояние нынешнего духа стихотворцев. Читал и критическую заметочку т-те Друниной (весьма, надо сказать, противной особы). Заметочка эта — хорошая реклама!

Ваши стихи мне близки, поэтому понравились. Они современные, по лирическому движению, но не добавляют ничего нового в Ваш облик, каким он у меня сложился. Любя Вас — позволю себе говорить откровенно, в этом ведь нет ничего обидного?

Книга воспоминаний о Рубцове произвела сильное и очень, надо сказать, гнетущее впечатление. Если нашей поэзии еще суждено существовать как "Русской поэзии", в ее главном, коренном качестве, то Рубцов должен остаться в ее истории со своими стихами и своей страшной судьбой. Много, конечно, роднит его с Есениным, но тот был еще человеком здоровой, неотравленной крови, погибал более натужно, форсил, красиво хулиганил в стихах, а этот шел на дно уже безропотно...

Одинокая, бесприютная душа, потонувшая в северном необъятном мраке. Его стихами говорит послевоенная, разоренная Россия, Россия детдомов, общежитий, казармы или кубрика и кабака, но не старого кабака, общего (как у Некрасова или Есенина), а кабака уже "домашнего" (в каждой квартире, в каждом жилом углу). И, наконец, могила с "шикарным" казенным надгробием от Союза писателей.

Ужасом веет от этой книжки! Вы с ним были дружны. Это меня не удивляет. Вы очень дополняете Рубцова в том смысле,

258

что совсем (как я понимаю) непохожи на него и вместе с тем несете нечто общее. Желаю Вам бодрости и вдохновения. Пусть будут рассказы! Но я жду и Ваших стихов. Ваше страстное мужество мне по душе! А я его как-то потерял... Крепко жму Вашу руку.

P.S. В музыке у нас появилось прекрасное произведение: "Перезвоны " Валерия Гаврилина. Грандиозная штука для хора, идет целый вечер.

Vale. Г. Свиридов".

Георгий Васильевич вспомнил о Ю. Друниной лишь потому, что поэтесса, прочитав в "Дне поэзии" мое короткое стихотворение:

Надо сигарету в зубы сунуть
и на мировую смуту плюнуть,
а иначе душу съест печаль,
только жаль тебя, моя подруга,
только жаль беспомощного внука,
только красоты и жизни жаль —

отзывалась о нем в статье, опубликованной в 1984 году в газете "Правда", как о стихотворении, полном пессимизма и упадничества.

"Дорогой Станислав Юрьевич — с Новым годом, и да минуют нас беды и несчастья! Пусть будет свет и хоть немного радости.

Галине Васильевне — счастье, здоровье и сохранение ее прелести на долгие годы. Очень хочу Вас видеть! Немножечко могу писать. Какое это счастье! Радиопередача — будет!

Любящий Вас Г. Свиридов".

Но все произошло, как и должно было произойти. Никакой передачи, подготовленной им, не состоялось. Мне было жаль его энтузиазма, времени и сил, потраченных на безнадежное дело. Когда стало ясно, что передачи не будет, я во время одной из наших встреч вспомнил о том, что Шостакович написал музыку на стихи Евтушенко "Бабий Яр", и несмотря на сопротивление чиновников от идеологии, оратория была-таки исполнена в Большом консерваторском зале. Свиридов нахмурился: "Значит, мировая антреприза, которой было нужно это исполнение, сильнее партийной идеологии, а мы с Вами — слабее..."

259

Впрочем, о Шостаковиче он всегда говорил, как об одном из своих учителей, без горячих чувств и восторгов, но с уважением. В отличие от Евтушенко, при упоминании о котором его лицо принимало брезгливое выражение.

— А Вы не бойтесь, — сказал он, обращаясь при мне к Кожинскому, — так открыто и резко писать о Вознесенском? Он же входит в мировую антрепризу. — И видя, что мы не совсем понимаем, о чем он говорит, Свиридов пояснил:

— Это давняя традиция дельцов от искусства — держать в своих руках организацию приглашений за рубеж, гастролей, рекламы, системы международных премий, гонораров, создания "звезд", подавления инакомыслия в творческой среде. Система эта создавалась в двадцатые—тридцатые годы, у нас мировая антреприза была представлена салоном Лили Брик с ее мужем Осипом, с окружением из художников, критиков, журналистов, импресарио... Этот салон был связан с салоном Эльзы Триоле и Луи Арагона в Париже, ведь Эльза Триоле — родная сестра Лили Брик, а девичья фамилия у обеих сестричек — Каган; через американского дельца Соломона Юрока наши представители мировой антрепризы устраивали гастроли угодных им людей в Америке... А после Лили Брик связи ее салона во многом унаследовала Майя Плисецкая, недаром же Вознесенский хвалу ей вознес в стихах...

О, Вы не знаете! Возможности этих салонов, образующих сеть мировой антрепризы, могущественны, и те, кто это сознают и подчиняются ее законам, обречены на успех! Я, помню, спросил композитора Щедрина, когда узнал, что он женится на Плисецкой: "Родион, зачем тебе это нужно?" Он ответил мне: "Я сейчас известный композитор, а после женитьбы на Плисецкой стану композитором знаменитым..."

— А как Вы относитесь, Георгий Васильевич, к Плисецкой-балерине?

Свиридов пожал плечами: "Как к ней относиться?"

Техничка..."

Через несколько лет, когда в комиссии Совмина по Российским государственным премиям обсуждался вопрос: присуждать ее или нет Станиславу Куняеву за книгу "Огонь, мерцающий в сосуде", самым яростным противником выступил Родион Щедрин, хотя было странно, что человек из музыкального мира столь решительно взял на себя смелость судить о книге критики и публицистики. Особенно раздражала Щедрина моя оценка творчества Владимира Высоцкого. Из чего я заключил, что фигура популярного барда тоже находилась под опекой мировой антрепризы.

260

А недавно хоронили Альфреда Шнитке. "Последнего великого композитора XX века", "гения", как говорили с телеэкрана Андрей Вознесенский, Юрий Любимов, Виктор Ерофеев — "люди близкого круга", как назвал их Юрий Кузнецов. О Свиридове никто из них и не вспомнил... А зачем? Свиридов, в отличие от Шнитке (о котором только и могли сказать, что он написал музыку к 60 (!) кинофильмам, да намекали, что последняя его симфония не зря называется "9-й" — почти бетховенская судьба!), не входил в круг "творящих", охваченных мировой антрепризой.

"16/X-85 г.

Дорогой Станислав Юрьевич!

Получил Ваше письмо. Сердечно Вам соболезную, дорогой друг, и призываю Вас к мужеству (Георгий Васильевич узнал о смерти моей матери. — С. К.).

Звоню Вам каждый день, телефон не отвечает, либо Вы в отъезде?

Хотел бы теперь же повидать Вас, есть у меня эта возможность, с 21 октября на квартире будет у нас человек (три дня в неделю), как бы для секретарских обязанностей, звоните или дайте знать телеграммой или открыткой, когда можно Вас застать.

Жизнь у меня довольно хлопотливая, дел очень много в связи с концертами будущего сезона, выходом книг и пр. Приходится много репетировать, немножко сочинил и нового, но главная работа моя — увы! — стоит, и это меня прямо-таки тревожит. Мои друзья рассказывали мне о впечатлении от Вашей полемической статьи в журнале "Наш современник", там же, говорят, была и хорошая статья М. Любомудрова о театре, которую обругали в "Правде" и "Сов. культуре", но я ничего этого не читал по занятости своей работой и болезни глаз. Теперь глаза немного стали лучше, хотя болезнь осталась, конечно (болезнь моя главная верно называется — старость, куда от нее денешься). Особенно хороших новостей нет, кроме того, что произведение В. Гаврилина "Перезвоны", кажется, будет удостоено Гос. премии (среди кучи говна, в том числе и литературного). На меня ужасное впечатление произвели случайно попавшиеся на глаза стихи Вознесенского в "Лит. газете", где он называет Христа — собакой. Есть ли управа на этого супернегодяя? И непонятно, зачем это печатают! Ведь такие стихи только отталкивают людей от власти, которая как бы поощряет хулиганство этого духовного

261

сифилитика. Жаль кончать письмо на этой поганой ноте. Но — да сгинет Тьма!

Дайте о себе знать, хочу Вас видеть и потолковать хочется.

Г. Свиридов".

Я подарил Свиридову "Избранное" Николая Клюева, составленное мной и моим сыном Сергеем. Свиридов даже разволновался. Оказывается, поэзию Николая Клюева он ценил не менее, а может быть и более, нежели Сергея Есенина. Он видел в ней нечто

свойственное только русской и очень древней поэтической традиции: монументальную мощь, сравнимую в музыке разве что с мощью Мусоргского, и какое-то присутствие общенародного, еще не расщепленного XX веком, еще не "атомизированного" сознания. И религиозное ощущение Клюевым смысла человеческой истории и мировой жизни Свиридову казалось более цельным и значительным, нежели религиозное чувство Сергея Есенина, куда более раздробленное, личностное и противоречивое.

— А о Горьком не говорите ничего плохого, — твердо сказал он мне, когда я поделился с ним мыслями о том, что Горький не любил и не знал русского крестьянства, а потому не желал спасать в тридцатые годы ни Николая Клюева, ни Павла Васильева, ни Сергея Клычкова...

— Все гораздо сложнее, все не совсем так, — горячо возразил мне Свиридов. — Я помню те времена! До Первого съезда писателей, до 1934 года русским людям в литературе, в музыке, в живописи не то чтобы жить и работать — дышать тяжело было! Все они были оттеснены, запуганы, оклеветаны всяческими авербахами, бескиными, лелевичами, идеологами РАППа, ЛЕФа, конструктивистами... А приехал Горький, и как бы хозяин появился, крупнейший по тем временам русский писатель... Конечно, сразу все ему поправить не удалось, но даже мы, музыканты, почувствовали, как после 1934 года жизнь стала к нам, людям русской культуры, поворачиваться лучшей стороной... И все же, во время войны в эвакуации, когда на каком-то плакате я встретил слова "Россия, Родина, русский", у меня слезы потекли из глаз...

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

"Так называемое буржуазное искусство существует. Это не миф. Что такое вырождение европейской оперы? Это есть приспособление жанра к вкусам буржуазной публики.

262

Благодаря деньгам и способностям Мейербера (он был сыном еврейского банкира) во Франции расцвело в XIX веке творчество Оффенбаха, Обера, Галеви с их музыкальной и исторической легковесностью. Никакого проникновения в глубины национального характера европейских народов в этом буржуазном музыкальном мире не было, именно тогда началась полная дегероизация музыкальной жизни, буржуазное искусство Парижа и Вены бросило тогда вызов еще могучему немецкому музыкальному романтизму. Эта традиция в разных вариантах и сейчас правит бал в так называемом оперном европейском жанре. Недавно в России был музыкальный фестиваль. Один западный композитор-миллионер привез на фестиваль оперетку про Иисуса Христа. Как Вы думаете, где она сейчас ставится? В старом оперном венском театре, где играли Шуберта, Моцарта, а сейчас в его стенах идет оперетка-спектакль, которая называется "Кошки". Европа сегодня повторяет азы венской школы, в которой изначала выхолащивалась национальная природа музыки. А мы, к сожалению, после полутора веков успешного все-таки противостояния европеизации русского мелоса (вспомним "Могучую кучку", Рахманинова, даже Прокофьева) впадаем в еще более пошлую американизацию русского мелоса".

"30.12.1983 г.

Дорогой Станислав Юрьевич, спасибо за память, за привет! Он — дорог мне, как и Вы сами. С Новым годом! И желаю Вам бодрости душевной, глубокого размышления и покоя, для осознания того из жизни, что в наших силах осознать. И вперед, не торопясь — за работу. В ее плодах сконцентрирована вся энергия творческого бытия, иначе она растекается бесцельно почти, ибо не обретает формы. Привет жене Вашей и всей Вашей семье здоровья и благополучия.

Эльза Вам кланяется.

Г. Свиридов".

Приближалось девяностопятилетие со дня рождения Сергея Есенина. Мне было поручено Союзом писателей вместе с Прокушевым и Валентином Сорокиным руководить

работой юбилейной комиссии. Свиридов, которому в ту осень исполнилось семьдесят лет, тут же откликнулся письмом.

263

"Дорогой Станислав Юрьевич! Поздравляю Вас с юбилеем Октября. Прочел свое имя в списке Есенинской комиссии и обрадовался тому, что Вы ее возглавляете. Имейте в виду, что теперь нужно и можно кое-что сделать, например, организация в Москве Музея и установка памятника поэту в центре города, там, где он жил, в воспетых им переулках. Но для этой цели нужно, чтобы комиссия действовала, то есть действовало бы прежде всего ее ядро. И надо поощрять исследовательскую деятельность есениноведения, которое очень популярно, но не так идет в глубину. Но это все при встрече. Обстановка жизни какая-то напряженная, тревожная, а в музыке — мрачная, кладбищенская. Злобные силы пока "перестроили" ряды и укрепили свою деспотию. Но это уже в порядке вещей.

Дайте о себе знать. Жму руку.

Г. Свиридов".

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

"Есть в мире сообщества людей, объединенных идеей владычества над миром. Они берут под свое крыло творцов, обладающих большим или малым талантом, действуют на их честолюбие, подчиняют своим целям, указывая им, что исполнять, что петь, что писать, изображая свою волю, как мировую, существует настоящий свод правил о том, как делать знаменитым художника, композитора, поэта. Иногда делают "знаменитость" буквально из ничего.

Наше время вообще характерно небывалой, неслыханной ранее концентрацией власти в руках совершенно заурядных людей. В их руках находятся целые страны, их власть чудовищна. В руках этих клерков, бюрократов, ничтожных марионеток, избранных ареопагом мировой финансовой власти, и бомбы, и смертоносные бактерии, и газеты, и медицина, и, наконец, вода, воздух, хлеб... Недиктаторской власти теперь вообще нет. Она лишь чуть-чуть замаскирована театральным механизмом выборов, "свободой" абсолютно несвободной печати. Все эти марионетки — ставленники концерна богачей — отравлены ядом властолюбия. За "место в истории" — мать родную продадут, народ предадут, от Бога откажутся".

264

* * *

В последние годы жизни Свиридова мы встречались реже. Он подолгу болел, а я был занят журнальными заботами и политической борьбой, да и жизнь сама настолько быстро и катастрофически разрушалась на глазах, что следовать прежним привычкам, устоям не было ни сил, ни времени.

Редким и ярким праздником в эту мерзкую эпоху было лишь его восьмидесятилетие, когда мы с Валентином Распутиным приехали к Свиридовым на дачу, поздравили его, посидели, поговорили и распрощались до встречи в консерватории, где в декабре 1995-го Москва справляла его юбилей... К сожалению, из всех моих писем к нему у меня сохранилась лишь копия одного, написанного, видимо, в 1992-м или 1993 году.

"Дорогой Георгий Васильевич!

Где Вы? Что делаете? Как живете? Простите, ради Бога, меня за молчанье — я на последнем издыхании от физических и душевных перегрузок, но о Вас вспоминаю часто, чуть ли не каждый день. Наши беседы у Вас на даче, на Грузинской... Можно ли было предположить, что времена станут еще хуже, еще подлей, еще безнадежней. Все силы уходят на борьбу за существование журнала, на оборону от клеветы и глумления. Да думаю, что Вы сами многое знаете. Очень бы хотелось осуществить мою давнюю мечту — сделать для журнала беседу с Вами на самые вольные темы — о музыке, о литературе, о России, словом, обо всем, что Ваша душа пожелает. Возможно ли это? А

собеседника — выберите себе сами, любого близкого Вам писателя, искусствоведа, критика. Думаю, что Вы не представляете, сколь важно будет именно сегодня Ваше слово. Вы же очень давно нигде ничего не печатали — никаких статей, никаких интервью не давали, насколько я помню. Но, конечно, все зависит от Вашего здоровья. Дай Бог Вам силы и бодрости в наше время, обессиливающее всех. Я по себе это чувствую. Как Эльза Густавовна? Передайте ей мой сердечный привет.

Ваши Ст. Куняев".

Поздравление писателей и вообще деятелей культуры с юбилеями — хлопотное и рискованное дело для журнала. Всех не упомнишь, да и незачем, а обид и претензий много. Почему о том-то вспомнили, а обо мне нет? Почему одного поздравили

265

с пятидесятилетием, а про шестидесятилетие другого забыли... Но тем не менее, поскольку хочешь не хочешь история подводит в конце века итоги советской эпохи, в которой мы все жили, в последние годы "Наш современник" чаще, чем в прежние времена, отмечал писательские юбилеи, печатал хвалебные слова товарищей в адрес того или иного юбиляра, помещал их портреты, иногда сегодняшние, печальные, а иногда те, на которых они изображены в расцвете лет, молодые, известные, почитаемые. Надо хоть как-то приободрить людей в трудное время! И, однако, ни один из них не прислал в журнал ничего хотя бы похожего на те слова, которые в начале 1996 года мы получили от великого русского человека и подлинного интеллигента Георгия Васильевича Свиридова.

"Дорогой Станислав Юрьевич!

В номере 12 "Нашего современника" за прошлый год помещена заметка В. Г. Распутина по поводу моего 80-летия. Сердечно благодарю Вас и в Вашем лице редколлегия журнала, оказавшую мне столь высокую честь.

С глубоким уважением Г. Свиридов.

3 февраля 1996 г.,

Москва "

** * **

Мы хоронили его в лютой мороз перед Крещеньем. Легкий ветер струил поземку по дорожкам Новодевичьего кладбища — великого имперского пантеона, между черными гранитными стелами и застывшими на свежих могилах, словно изваянными из белого молочного стекла, гладиолусами. Рядом с Эльзой Густавовной стояла сестра Свиридова, как две капли воды похожая на покойного, племянник Александр Сергеевич, дирижер Владимир Федосеев, русские литераторы—Валентин Распутин, Владимир Крупин, Юрий Кузнецов... Порывы ледящего январского ветра задували огоньки свечей, прикрытых замерзшими ладонями...

"О время! о бедное дитя!"

Русские в Австралии. Фантастические судьбы соотечественников. "Старые контрпропагандисты". Америка изучает нас. Визги русскоязычной шантрапы. Встреча с родными безработными. Русское и еврейское диссидентство. Томас Вулф и Леонид Бородин — мои спутники. Американские крестьяне. Питирим Сорокин против "Конгресса русских американцев". Письма Нины Виноградовой и Надежды Ковтуненко. В путях прекраснородушной риторики. Олег Михайлов как зеркало советской горбачевщины

1

После концерта нас повезли в какой-то частный дом на окраину Мельбурна, где в просторном гараже — поскольку гостей набралось столько, что больше нигде они не разместились бы — был накрыт немудреный, но обильный стол. Во дворе на мангалах шипели шашлыки, в гараже хозяйничали женщины — активистки Русского Дома, каждого из нас быстро окружили соотечественники, и начались разговоры, расспросы, тосты...

Рядом со мной сидели мать с дочерью. Мария Шиклуна родилась и выросла в Китае, а

дочь ее — была уже австралийкой, но обе чудесно говорили по-русски и, что мне уже показалось совершенным чудом, оставались "русскими душою".

— Как изгнали нас с Китая, — рассказывала Мария, — куда деваться? Ну, бабушка говорит: "Бог не выдаст, свинья

267

не съест", — поехали в Австралию. Первое время мучились, бедовали. Я и уборщицей была, и пирожками торговала, потом жизнь наладилась...

— А мама и стихи, и песни пишет и поет их сама! — вмешалась в наш разговор дочка.

— Спойте что-нибудь, Мария!

Обстановка в гараже была шумная, непринужденная, и упрасивать Шиклуну долго не пришлось...

Видимо, очень волнуясь — все-таки с нами были солисты и Большого театра, и Киевского оперного! — Мария поднялась и, закрыв глаза, начала песню.

Я в тебе, Россия, не родилась,
я в тебе, Россия, не росла.
Лишь от деда с бабушкой слыхала,
что Россия мать им была.
Там, где детство ихне проходило
в полной вере, радости любви,
но взыграли вихри боевые,
унесли от матери земли...

Бледное скуластое лицо Марии похорошело, голос — грудное природное контральто — лился естественно и с таким чувством, что мы все замерли, у мужчин посуровели лица, а некоторые женщины вытащили из сумочек платочки...

А Мария вся жила своей песней—по-русски самозабвенно, и голос ее, сильный и чистый, был в таком ладу с простыми словами, что я сам почувствовал себя частицей этой великой сверхчеловеческой драмы, которая называется — разлука с родиной.

Россия, Россия далекая,
в каком-то чудесном краю,
тебя я не знаю, не ведаю,

словами дедов люблю. Разная бывает эмиграция. По ненависти, по убеждению, по гордыне, но чувство, жившее в этой женщине и в этой песне, было другим. Оно выражало частицу народного чувства, бесхитростного и недоумевающего, переданного Марии ее, может быть, неграмотными предками, которых "вихри боевые унесли от матери земли". Ничего интеллигентски рефлексирующего, никакой экзальтации, никаких упреков не было ни в мелодии, ни в словах — только боль и любовь:

Брал меня мой бабушка на руки,
говорил такие мне слова:

268

— Помни, помни, внучка дорогая:
Русь святая мать мне была.

Сбереги в душе любовь и правду,
сбереги навеки русску честь,
сбереги ты русские обряды,
что Россия не смогла сберечь...

Когда Мария допела последнюю ноту и открыла глаза, — все бросились к ней с поздравлениями и объятиями, а она — счастливая, похорошевшая, сама пораженная тем, что произошло, всплакнула от переживаний.

Ее дочь Татьяна, пока мать приходила в себя, рассказала о том, как родилась песня.

— Мы с мамой в прошлом году путешествовали на советском теплоходе "Лермонтов", и так нам все понравилось: и теплоход, и люди, матросы — такие все веселые, дружелюбные, надежные. И вдруг в этом году известие: "Лермонтов" затонул!" Ну, мы сразу разузнали, что виноват новозеландский лоцман, а русские моряки вели себя героически, ни один пассажир не пропал, не пострадал, и так мы разволновались, что я говорю маме: сочини песню про Россию. Мама и сочинила...

* * *

В том же 1987 году в моем номере сиднейской гостиницы раздался телефонный звонок.

— Мне надо обязательно повидаться с вами. Поговорить.

Вечером мы встречаемся и разговариваем до утра.

— Хорли Владимир Владимирович... Вообще-то настоящая моя фамилия Хороще, но никто ее здесь не выговорит... Я из Харькова. Генеральский сын. Отец командовал резервами танкового тыла. В тридцать седьмом году арестовали. Нас с матерью из генеральского дома выселили. Первые дни жили в подъезде, потом скитались по городу. Из института меня исключили... Я к прокурору. Ну, тут другое поветрие пошло, что, мол, сын за отца не отвечает, восстановили. Закончил я электротехнический институт — и война... Попал в окружение под Киевом — пошел по лагерям... Что в лагерях самое страшное — унижают так, чтобы человек ни о чем, кроме куска хлеба, не думал. Бросят кусок хлеба — куча мала, а немцы да полицаи смеются... Кашу, помню, на этапе раздавали. А котелка нет. Я в кепку. Отвлекся на миг — ни кепки, ни каши. "Братцы!" А в ответ матюги: "Смотреть надо!"

269

Худой, подвижный старик, в свитере, нервничает, хрустит пальцами, речь сбивчивая, перепрыгивает с одной мысли на другую, хочет рассказать мне за один час всю свою жизнь...

— А Хорольский лагерь? — братская могила. Там сорок тысяч лежат. Весной немцы собрали священников, поставили кресты, приказали отпевать — с кадилом! Оркестр из заключенных прислали...

А когда мы слышали самолеты советские, одни кричали: "Наши!", а другие: "Какие наши? Это коммунисты!" Много было раскулаченных... Помню, жили мы в кошаре — сахарную свеклу копали. Седьмого ноября приходит в кошару немецкий офицер и говорит: "Радуйтесь, Москва и Ленинград взяты". Кое-кто закричал: "Ура!" А когда немец ушел, мы их избили...

В Холме как-то в баню нас повели. Какая там баня — не успеешь вымыться — тебя палками гонят. Скорее! В предбаннике груда одежды. Одевайтесь! Елдашам специально немецкую форму привезли, те отказались ее надевать, вызвали солдат. В приклады елдашей... По-всякому было.

Привезли нас на каменоломни возле Кельна. Камни на гипс перемальвать. Но это уже после Сталинграда. Маленько лучше кормить стали. Дробили камень — и на вагонетку... Норма в день — семь вагонеток. Я с немцем работал, с антифашистом, ему было семьдесят четыре года. Он меня так учил: "Спешить нельзя. Надо потихоньку. Перекуривай, чуть только можно — отдыхай. Медленно работай... Все равно Германия войну не выиграет..."

А когда мы уже канонаду слышали, он говорит: "Надо хоть прутьями железными вооружаться, эсэсовцы придут — сопротивляться будем". Загнали нас в штольню — но не успели. Утром слышим — танки идут, выскочили мы — немцы бегут по полю, от американских танков...

Пошел я к американцам на кухню, поваром работал до сорок седьмого года недалеко от Лимберга. А сам все думаю: "Возвращаться или нет?" Отец репрессирован, сам — в плену прожил. А слухи все хуже и хуже: к немцам пленным советские относятся лучше, чем к остарбайтерам.. Как с врагами обращаются. А у меня мотоцикл уже был. Сели мы с

товарищем — и в Лимберг. Там украинцы были и русские, убежавшие из Берлина. Посмотрим, как за ними приедут, как их брать будут. Чего нам поперек батьки в пекло соваться... Приехали в наш лагерь американские грузовики, а лагерь был в шестиэтажном доме. Ликвидировать! Американцы, они, так же как и советские, крушить все любят. Все полетело из окон — столы, вещи, все, что я нажил за два года — все пропало! И стал я

270

снова нищим перемещенным лицом. Торговал на черном рынке сигаретами, консервами. Накопил 500 тысяч марок, оккупационные деньги поменял, доказать надо было, что марки твои, тобой заработанные. Продуктов накопил года на два. А все чувствовал себя неполноценным человеком. Когда вас столько лет унижают — надолго остается. Чувствую — не могу в Германии жить, немцев ненавижу. И в Россию боюсь возвращаться. Куда ехать — в Америку? В Аргентину? Пошел по консульствам... В австралийском мне и говорят: шахтеры нужны... Ну и получил визу в Австралию. Повезло мне. Как приехал — устроился помощником повара в отель. Поваром был югослав. Я ему говорю: возьмишь — половина зарплаты тебе. А тоже непросто: халат, ножи — все свое надо иметь. Потом опять повезло — стал преподавать русский язык. Сижу среди преподавателей и себе не верю, что я, бывший доходяга, — Владимир Владимирович закашлялся, достал носовой платок, вытер глаза, — из мертвых воскрес, человеком себя почувствовал!

Ну, я вижу, что вы уже торопитесь. Простите меня. Поговорить захотелось. И жена с утра твердила — поди, выговорись. Мне ведь ничего не надо. Душу отвести — и хватит. За то, что приехали — спасибо. За стихи спасибо. Жена хотела со мной прийти — да приболела. Одни мы здесь. Никого нет у нас. Поддерживаем друг друга...

Наш автобус отъезжает от гостиницы, и я смотрю, как Владимир Хороще, бывший харьковский студент, сын советского генерала — худенький старичок в очках, в толстом свитере, болтающемся на иссохшем старческом теле, — глядит вслед автобусу, вытирая платком слезящиеся глаза...

* * *

Чубатый скуластый мужик, чем-то похожий на Гришку Мелехова из кинофильма "Тихий Дон", Александр Лизогубов, продававший билеты на наш концерт в Аделаиде, привез нас поужинать к себе домой.

По дороге рассказывал кое-что из своей жизни.

— В шестьдесят втором году Мао Цзэдун всех русских из Китая стал выгонять. Куда нам ехать? Австралия принимает. Кое-кто, правда, в Союз вернулся. Без копейки денег, без вещей — все китайцы отобрали: дома, скот, магазины, если кто имел, посадили нас на самолеты — и на Зеленый континент.

Трудно пришлось в первое время. В Китае-то мы хорошо обжились... А здесь — кто куда. Больше на черные работы. В

271

глубь континента — дороги строить, рудники. Женщины — кто в уборщицы, кто пирожки печь. Несколько лет себя не жалели.

Он крутит баранку своего "форда" медвежьими ладонями — каждая чуть ли не в два раза больше моей, — и я верю, что они себя не жалели.

— А потом денег заработали, кто землю купил — фермерами стали, а мы в город вернулись. Артель сколотили — дома строим. В артели только свои — братовья, племянники, ну а я вроде бы как бригадир. Мое дело — выгодные подряды найти, материалами артель обеспечить — но при нужде и каменщиком, и плотником, и сантехником, и столяром могу... Вот, кстати, мой домик, сам я его проектировал, сам и строил...

Дом у Саши двухэтажный. Шесть комнат вверху, шесть внизу. Бар. Биллиард. Гараж. Отопление газовое, вмонтированное в стены. Три машины — одна полуфургон для перевозки стройматериалов, другая семейная дешевая для хозяйственных повседневных нужд, третья — праздничный выезд — "форд", на котором мы едем...

Витая деревянная лестница из какого-то красивого желтого дерева ведет на второй этаж. В гостевом зале нас возле накрытого человека на двадцать стола встречает хозяйка...

Немало я поездил по белому свету, но честно скажу — ни в одной стране я не видел, чтобы простой рабочий человек жил так, как Александр Лизогубов и его братья — у каждого в сущности такие же особняки. Но ведь он не просто благополучный рабочий или заурядный потребитель. У него большая библиотека, он выписывает газеты и журналы, в том числе из России, он болеет за то, чтобы его трое детей, которые, кстати, учатся в русских школах, выросли в любви к России, чтобы они читали русские книги... Его интересует политика, экономика, религия...

— Я был в секте старообрядцев, с молоком матери этот дух впитал. А потом надоело. Вышел. Стал изучать все религии—ведь религии нужны великим государствам. Знаю христианство, буддизм, иудаизм... Иначе не поймешь, что в мире творится. Я не социалист. Но я понимаю, что такое еврейские международные банки и что такое национальные долги и кто на них живет. Даже мы — Австралия — богатейшая страна — и то в долгах, девяносто миллиардов задолжали. Я знаю, почему плачу с каждого заработанного доллара налог — сорок девять центов — и кто живет на эти деньги; я знаю, почему плачу за рубашку двадцать долларов, а красная цена ей семь...

Ссорят нас с вами эти силы. Если бы не они — мы давно

272

бы поняли друг друга. Вытесняйте их из своей жизни. Если прямо бороться трудно — идите рядом, и плечом, плечом их — на обочину. Они уже многие страны подмяли, поглядите на наш австралийский флаг — и там вписана звезда Давида...

Я слушал этого сорокалетнего крепкого мужика, уверенного в себе, и, ей-Богу, было радостно за русского человека, за то, что не пропал, укоренился, заставил уважать себя на новой земле, и за то, что, укоренившись, остался русским.

Словно бы прочитав мои мысли, Саша помрачнел:

— Не у всех хватило сил, чтобы выжить; кто спился, кто жизнь самоубийством кончил. Недавно один в гараж зашел, заперся, сел в машину и мотор включил. А перед этим незадолго в Россию съездил. И у меня были минуты отчаянья. Однажды так плохо стало, что напился. Просыпаюсь — не понимаю, где я, что со мной.

За столом у Саши рядом со мной присел элегантный старик, в синем костюме, в белой рубашке с отложным воротничком.

— Позвольте представиться — поэт Михаил Волин. Вы мои стихи знать должны, ибо пел некоторые из них Александр Вертинский.

Мы заговорили о Блоке, о Есенине, об Ахматовой.

Михаил Волин показал несколько иную грань русского характера, обработанного жизнью за границей. Он говорил на чистом русском языке, тонко комментировал многие строки моих стихов, демонстрируя безукоризненный вкус и своеобразное эстетство в духе Михаила Кузмина. Он не волновался, как многие эмигранты, разговаривая о России. Он подчеркивал свою культурную независимость и, видимо, гордился своим спокойствием.

— Я как-то отошел от квасного патриотизма. Стал вроде бы гражданином мира...

И все-таки в этих нарочито спокойных словах, произнесенных с тонкой улыбкой, я расслышал глубоко запрятанную горечь, которую должен скрывать интеллигентный и владеющий собой человек...

* * *

Женщина преклонных лет, бывшая советская актриса из провинциального смоленского театра.

— Пришли немцы, говорят, что, мол, открывайте театр. А где я возьму актеров? — А поищите в лагере, среди военнопленных.

273

Я и вытасила оттуда человек сорок. Ну, мы начали репетиции, пьесы ставили. Кое-кто из моих актеров скрылся — кто в партизаны убежал, кто линию фронта перешел... А когда немцы отступили — и мне пришлось уходить. Ну как же — работала на немцев! И

ничего не объяснить... А что сейчас скажешь? Все равно работала на немцев.

...Мои блокноты десятилетней давности переполнены записями, исповедями, судьбами русских людей, заброшенных в Австралию. Кого только я не встречал там в самих что ни на есть неожиданных местах.

В Старческом доме в полусотне верст от Сиднея в русской богадельне доживал свою жизнь среди книг и дореволюционных фотографий Владимир Афанасьев — родной внук великого русского собирателя сказок Афанасьева.

В маленьком провинциальном городе Кайтоне я обедал у Георгия Коринфского — племянника весьма популярного на рубеже веков поэта Аполлона Коринфского. Мой хозяин перед войной учился в ИФЛИ с Наровчатовым и Симоновым, хорошо помнил их — юных, красивых. А в Кайтоне жил с молодой женой-полькой, воспитывал пятерых детей, занимался историей и доказывал мне, что на дворе у нас не 1991-й, а 2000 год, что каким-то образом со дня сотворения мира прошло не 5500, а 5509 лет. Одновременно он писал множество исследований о временах древней Руси и стихи, уже тогда проклинающие Бориса Ельцина.

В маленьком игрушечном поселке на берегу океана в громадном доме, срубленном из эвкалиптовых, источающих пряный запах стволов, я встретился с бывшим танкистом из Запорожья — Виктором, со странной для русского человека фамилией — Америков. Под шум моря в просторном, словно корабль, поскрипывающем от напора океанского ветра доме, пока жена по-быстрому накрывала стол, он рассказывал мне историю своей жизни.

— Бой под Ельней, плен, работа в Германии. Там и познакомился с Дусей, — показывает на сухонькую старушку, которая ставит на стол креветки и мидии... — Она нас в лагере навещала, подкармливала...

Дуся, закончив застольные хлопоты, подходит к нам и показывает пожелтевшие листочки с плохо различимыми полустертыми карандашными строчками. Это благодарные письма от лагерных пленных, написанные ими для нее в конце войны.

Виктор живет тем, что ремонтирует телевизоры, но вечерами, чтобы избавиться от тоски, выходит к базальтовым

274

скалам, облепленным зелеными водорослями. Волны моря, набегающие с юга, с грохотом разбиваются о черные вулканические камни. Америкову хотелось бы глядеть на север, в сторону России, но за влажной соленой дымкой, прямо по направлению к южному полюсу, лежит сказочная Тасмания.

В Мельбурне несколько дней мы с женой жили в тихом доме милой русской женщины Натальи Ивановны, которую молоденькой девушкой немцы из Донецка угнали на работы в Германию.

Двор был полон запахами цветущих магнолий, по ночам я просыпался от шума — под окнами по гляцевым засохшим листьям тропических деревьев носились опоссумы... Наталья Ивановна кормила нас ужинами и знакомила с книгами из своей библиотеки. Однажды она показала мне неизвестный в России роман Жюль Верна "Nector Servada", в котором великий фантаст описывал жизнь в космосе на далекой планете землян различных национальностей. Одним из главных героев романа был еврей, который забрал всю торговлю на планете в свои руки и нещадно обирал русских, немцев, французов. А когда они бунтовали и возмущались, то произносил яростные монологи, один из которых мне дословно перевела Наталья Ивановна:

"О небо! Вы обкрадываете меня, лишаете меня моих прав и привилегий. Монополия на рынок принадлежит мне — это традиция, это мое право, это моя привилегия. Рынок принадлежит мне!" Ну как тут было не вспомнить недавний разговор с Александром Лизогубовым!

* * *

Литературный вечер в Аделаиде... Мы с актерами выглядываем время от времени из артистической в зал, который быстро наполняется, слышим обрывки речи на самых разных языках — английском, украинском, русском, литовском, эстонском... Велика и

разноречива наша эмиграция. Во время выступления я внимательно следил за тем, как зал реагирует на мои стихи... Стихи о родине, об Оке, о России... Все хорошо — аплодисменты, внезапный, стихийный сердечный отклик...

Попробую-ка стихи о войне... Начал читать и почувствовал отторжение от себя нескольких стариков, плотной маленькой кучкой сидевших недалеко от сцены.

275

Опять разгулялись витии.
Шумит мировая орда:
Россия! Россию! России!
Но где же вы были, когда,
от Вены и до Амстердама,
Европу, как тряпку, кроя,
дивизии Гудериана
утюжили ваши поля...

При словах "а где же вы были, когда" я просто физически ощутил, как напряглись лица у этих семидесятилетних мужчин. Кто знает, о чем они подумали и вспомнили в это мгновение? О плене? О лагерях? О сломанной жизни? А может, кто-то и о том, что у него руки замараны русской кровью? Все может быть. Во всяком случае, когда я закончил стихи:

Недаром вошли как основа
в синодик гуманных торжеств
и проповедь графа Толстого
и Жукова маршалский жезл, —

то у них, до того аплодировавших, высохшие старческие руки не поднялись для аплодисментов. Но большинство зала—женщины, люди моего возраста и молодежь хлопала чистосердечно и самозабвенно, и аплодисменты обтекали маленький угрюмый островок из нескольких доживающих свою жизнь на чужбине людей...

А после концерта, когда мы вышли на улицу, окруженные толпой, просившей автографы, задававшей вопросы, приглашавшей в гости, ко мне вдруг протиснулся один из "обитателей островка" и просто сказал: "Спасибо за стихи о калужской земле, я Ваш земляк, из-под Перемышля..." Мы отошли в сторону, и началась короткая, но страстная исповедь о жизни: служба в армии перед войной, война, плен, лагеря, послевоенная Германия, Австралия... Два двоюродных брата до сих пор живут на калужской земле: один в самой Калуге, другой — в Перемышле... Что-то давно не пишут. Если будет возможность — разыщите, скажите, что жив-здоров... Почему сам до сих пор не навестил Родину? Да вот по разным причинам... А впрочем, в течение двух последних дней, пока мы перелетали по Австралии из города в город, я написал под впечатлением от этой встречи стихотворение, в котором все, пожалуй, сказано точнее и полнее:

Я говорю ему: "Решись
и навести свою отчизну.
На ней шумит живая жизнь,
О прошлом хватит править тризну".

276

Он отвечает: "Ваша власть
изгнаннику не будет рада".
Я говорю: "Слова не трать,
земля ни в чем не виновата!"

В ответ: "Мой брат бывал в плену,
бежал и вновь прошел войну,
вернулся — и ему награда:

в вагоны — и на Колыму.

Мне больно за родного брата".
Я снова говорю ему:
"Сибирь ни в чем не виновата!"

Я говорю: "Ты мой земляк,
ты помнишь синь Оки и Жиздры"
Он говорит: "В родных полях
живет лишь эхо прошлой жизни!"

Но эта жизнь давно прошла.
Я видел слишком много зла..."

Я говорю: "Тернистый путь
лежит за вашими плечами.
Я мог бы в чем-то упрекнуть
и вас, но умножать печали
нам незачем: и гнев и гной —
все превратилось в перегной!
Пора пахать другое поле.
Довольно ржавый меч точить.
Душа Руси кровоточить
устала — мы достойны доли
иной!.."

В ответ: "Ну коли так,
коль понял жизнь мою, земляк,
Стряхнем обиды и печали.
Ты передай поклон Оке,
земле, которую во сне
я вижу южными ночами!"

Когда я прочитал эти стихи через три дня в Сиднее в переполненном зале на пятьсот человек — то впервые почувствовал, что такое настоящий успех. Люди встали и рукоплескали несколько минут, потом, как сказали мне, от переживаний одной женщине стало плохо, вызвали врача... А в перерыве я был окружен толпой поклонников и поклонниц, какой никогда у меня не было и не будет на родине. Одна женщина со слезами на глазах сказала: "Если бы такие стихи можно было у вас опубликовать лет десять—пятнадцать назад, я без колебаний вернулась бы на родину. А сейчас уже поздно. Слишком стара стала..."

Из исповеди худого крупного человека, который в свои
277
шестьдесят лет не утратил мускулистой ширококостной стати, знающей, что такое тяжкий физический труд:

— Жили в Дальнем. Отец—советский гражданин, работал на КВЖД. Когда разгромили японцев и пришли наши, то отца и меня посадили. Меня отправили в норильские лагеря. Выпустили через десять лет, в пятьдесят шестом году. От обиды советского гражданства брат не стал. Жил в Казахстане. Женился на вдове с тремя детьми. Детей воспитал в строгости. Но вскоре умерла жена. Дети выросли и разъехались. Остался один. А обида все не проходила. Два раза попросил путевку на курорт — поправить здоровье, подорванное в Норильске, — отказали. Махнул на все рукой и уехал к сестре в Австралию. А сестра оказалась такой антисоветчицей, что плюнул — и подался на черные работы в австралийскую пустыню: рудники, дороги... Мучился от климата и одиночества. Заработал какие-то деньги. Вернулся в город. Отношения с эмиграцией не

сложились: и антисоветчики есть, и русофобы — особенно из среды последней, еврейской эмиграции. А я за Россию — какая бы там власть ни была. Западная жизнь — красивое яблочко, а изнутри гнилое. Вернусь, все равно вернусь! Чего бы это мне ни стоило! Лишь бы разрешили, лишь бы приняли... Не хочу здесь, в этом раю жизнь свою доживать, хочу напоследок русским воздухом надыхаться!..

В конце разговора он вдруг включил транзистор, судорожно оглядел гостиничный номер и перешел на шепот:

— Они — цэрэушники, сколько раз пытались вербовать меня. Я все их пароли за эти годы разгадал...

Где он теперь, этот русский человек, Иван Иванович Гуменюк, который в 1987 году с презрением отозвался об одном литераторе-эмигранте, выступавшем по Сиднейскому русскому радио:

— Да он же антисоветчик! Вы слышали, как он заявил: "Ленинград?—Такого города нет, есть Петроград!" — И перед тем как расстаться, печально добавил: — Зрение портится. Хочу в Москву приехать в глазной институт. Пока не пускают, но я все равно вернусь в Россию.

* * *

А "харбинские русские" Буровниковы-Максимовы, семейство, с которым я дружу уже более десяти лет, живущее в Сиднее. Они, в сущности, спасли мою жену Галю, когда она внезапно тяжело заболела во время нашего путешествия по Австралии...

278

Вере Николаевне Буровниковой при расставании я подарил на память маленькое стихотворение:

Русская женщина в жарком Сиднее
перекрестила меня на прощанье...
Возле куста австралийской сирени
мы постояли в глубоком молчанье.

Мы помолчали о чем? Не о том ли,
что повстречались случайно на свете,
что не бывало горестней доли
той, что извели русские дети.

А по существу это стихотворение обо всех русских, проживших жизнь вне России.

Мои добрые знакомые — поэты Игорь Смольянинов и Анатолий Карель. От них я до сих пор получаю письма из далекого Мельбурна. Супруги Беликовы из Аргентины, которые еще в 1990 году привезли в журнал книги русского подвижника Бориса Башилова, живущего в Австралии; обрусевший художник литовец Владас Мешкенас, мечтающий заработать денег и перевезти в Россию прах его любимой жены Евдокии Киприановны, русской женщины...

Если отвлечься от политических страстей, от споров о советскости, о Власове и Сталине, то в конечном счете поражаешься одному — жажде русского человека — где бы он ни был, в каких бы обстоятельствах ни находился — жить какой-то сверхъестественной духовной, по сравнению с другими землянами, жизнью.

Наша духовная пассионарность феноменальна. Где бы они ни жили — везде русские люди сочиняли стихи и романы, создавали театры, писали картины, собирали домашние музеи, строили церкви. И в этом смысле русская пассионарность не уступает еврейской. Они любили далекую Россию, может быть, даже более истово, нежели мы...

Видимо, разлука с родиной и предчувствие того, что им придется упокоиться не на родной земле, а на чужбине, придавало их чувству особенно экзальтированный и страстный оттенок. На сиднейском русском кладбище я увидел могилу. Над ней стоит черное гранитное надгробие, на котором высечены слова, тронувшие меня чуть ли не до

слез:

"Да здравствует Великая, Единая, Неделимая Россия! Мою любовь к тебе, дорогая Родина, я уношу с собой в могилу. Русская молодежь! Не забывайте православную Веру, Русскую Культуру и Русские обычаи наших предков. Они понадобятся Вам всегда и особенно, если Бог даст вам возможность вернуться на Родину. Аркадий Домачук".

279

— А ведь всего-то навсего был торговец рыбой! Мы его по Китаю знали, — со вздохом сказала Вера Николаевна Буровникова, сопровождавшая меня в прогулке по кладбищу.

А в последние годы происходит то, что должно было произойти. Некоторые из них возвращаются в Россию, чтобы навсегда остаться в ней. Возвратился в Москву из Америки поэт Иван Буркин с женой; собирается поселиться в Шамардинском монастыре мой земляк девяностопятилетний калужанин Игорь Леонидович Новосильцев, принял постриг в Донском монастыре бывший священник власовской армии Александр Киселев, дочь которого Милица Александровна как-то была в "Нашем современнике" и горько упрекала нас в том, что мы опубликовали повесть Юлия Квицинского, по ее убеждению, порочащую генерала Власова...

Мне всегда тяжело вести такие разговоры. Но что делать? А им разве легко сознавать, что после крушения советской цивилизации в клочья и навсегда разорвана "белая" идея о "великой и неделимой России"!.. А разве легко им глядеть на нынешнюю карту родины, где словно из окровавленной туши вырвана грудь — Украина, отсечено подбрюшье — Кавказ, Казахстан и Средняя Азия!.. Не мучает ли их совесть, гнездящаяся в тайных глубинах души, видимых только Господу Богу, что вольно или невольно они всей своей непримиримостью способствовали такому трагическому исходу?

Иногда мне хочется поехать в Донской монастырь к седовласому старцу Александру Киселеву и тихо спросить его: "Отче, Вы хотели этого? За кем русская правда — за Андреем Власовым или за Георгием Жуковым?"

А может быть, ничего не надо спрашивать, а просто взять "Бориса Годунова" (у нас ведь все от Пушкина!) и прочитать сцену, где разговаривают два русских отступника, ведущих польские войска на Москву, — сын Курбского и самозванный сын Иоанна Грозного, а на самом деле русский человек из народа Гришка Отрепьев. Молодой Курбский счастлив, он человек боярской элиты, мстит режиму за своего изгнанного и "репрессированного" отца — и этим похож то ли на Василия Аксенова, то ли на Булата Окуджаву. Но человек не из номенклатуры, не из "элиты", а из народного слоя Гришка Отрепьев чувствует все происходящее глубже и трагичнее: "Кровь русская, о Курбский, потечет!", — печалится он. Вот и течет она до сих пор и будет течь еще долго, пока "русские бояре" пытаются заставить народ поклониться теньям Андрея Курбского, Андрея Власова, Андрея Сахарова... Имя какое-то нарицательное и роковое, если вспомнить красавца предателя

280

Андря Бульбу или дезертира Андрея Гуського из распутинской повести "Живи и помни" или перелистать полупорнографический журнал под названием "Андрей". Ей-Богу, представить себе, чтобы на его обложке стояло "Иван" или "Петр", невысказано. Слишком просты и незамысловаты они по сравнению с "Андреем" — изысканным и достаточно редким именем для простонародной среды. Словно бы враг рода человеческого все силы свои бросил на то, чтобы опорочить в русском сознании святое для Руси имя Андрея Первозванного.

2

В 1990 году американцы, видимо, решившие всерьез поглядеть, что из себя представляет "патриотическая элита", пригласили группу известных писателей, публицистов и редакторов на целый месяц в Америку...

Приглашение это было необычным потому, что до сих пор в Северную Америку, да и в крупнейшие страны Европы наша иностранная комиссия посылала, как правило, узкую

группу одних и тех же писателей, выражавших интересы еврейско-либерального крыла русской литературы.

Как формировались делегации в Америку, Канаду, Францию, Англию, Западную Германию, видно хотя бы из документов, которые принес мне в 1991-м году после развала Союза писателей один из работников ликвидированной тогда иностранной комиссии. Первый документ — это письмо тогдашнего посла СССР в Канаде небезызвестного ренегата Александра Николаевича Яковлева в Союз писателей. Выдержки из письма Яковлева от 1 ноября 1982 года. "Выступление поэта Андрея Вознесенского на международном фестивале Харборфронт в Торонто было успешным и полезным. По существу направление А. Вознесенского в этом году на фестивале закрыло его для антисоветских эмигрантских писателей. (Во какой борец с антисоветизмом! — Ст. К.). В беседах с советскими представителями организатор фестиваля Грэг Гэтенби высказал заинтересованность в приезде советского поэта на очередной фестиваль 1983 г. Считаю целесообразным предусмотреть в планах Союза советских писателей направление советского поэта на фестиваль 1983 г. Кроме того, представляется полезным передать Г. Гэтенби приглашение посетить Советский Союз, желательно для участия в одном из литературных мероприятий, проводимых в СССР. Конкретные соображения на этот счет имеются у поэта А. Вознесенского"...

281

А вот выдержка из отчета другого крупного путешественника по западному миру Виталия Коротича от 29 октября. 1982 года, которое также проливает свет на то, как формировались делегации в Америку. Коротич встретился с влиятельным американским литератором Гаррисом Солсбери, который "подтвердил, что Университет штата Калифорния на будущий год имеет деньги для проведения большой (примерно по десять участников с каждой стороны) встречи писателей СССР и США. Солсбери подчеркнул, что они готовятся к этой встрече, как чрезвычайно важной, но едва ли не ультимативно потребовал, чтобы американская сторона могла влиять на состав советской группы участников, добиваясь того, чтобы в советской делегации были люди, достаточно хорошо известные в США".

Конечно, никакой Николай Рубцов или Анатолий Передреев и мечтать не могли, чтобы посмотреть мир. Настоящими невыездыми (в том смысле, что их никогда не включали ни в какие зарубежные делегации) были русские — Дмитрий Балашов, Николай Тряпкин, Виктор Лихоносов, Федор Сухов, Владимир Крупин, Глеб Горбовский, Виктор Коротаяев, Сергей Семанов, Татьяна Глушкова, Петр Краснов, Валентин Курбатов да и многие другие. Талантливые, умные русские поэты, прозаики, критики. Особенно живущие в провинции. Но зато представителям "еврейского крыла" советской литературы, как свидетельствуют документы, представлялись для путешествий по миру за народные деньги неограниченные возможности.

Вот еще несколько документов из архива иностранной комиссии: "Посольство поблагодарило за хорошую работу участников делегации, находящейся в Париже, советских драматургов Г. Горина, Э. Радзинского, В. Славкина, Л. Зорина, В. Туровского".

Из телекса на имя Р. Рождественского:

"Приглашаем В. Коротича — главного редактора журнала "Огонек" на Второй международной салон книги и прессы в Женеве. Были бы рады, если бы В. Коротича будет сопровождать переводчица из комиссии Р. Генкина".

Вот так и жила в те времена международная компания маркитантов. Они приглашали к себе наших гориных и коротичей, а мы в благодарность принимали то и дело их соплеменников из Старого и Нового света — Г. Солсбери, Ф. Саган, Лию Сегал, племянницу Шолома Алейхема и т. д.

Многие заявления и ходатайства представителей "выездного народа" восхищают изощренностью аргументации, красотами стиля и смелостью запросов.

282

Из заявления М. Сагаловича, мужа некогда популярной, а ныне заслуженно забытой

писательницы Галины Николаевой (Волянской):

"Сейчас я работаю над биографическим романом о Галине Евгеньевне Николаевой, чье творчество, как показало время, глубоко корреспондирует с проблемами, которые решает после XXVII съезда КПСС наш народ во всех областях жизни.

Последние годы жизни тяжело больная писательница по советам врачей в осенние и зимние месяцы проживала во Франции (Париж, Ницца, Канны, Анжиб, Монте-Карло, Биот) и в Италии (Рим, Венеция, Неаполь, Сорренто, остров Капри). До сих пор живы люди, окружавшие ее вниманием в чужих краях. Для написания глав, относящихся к этому периоду ее жизни (и в экстремальных условиях моя покойная жена плодотворно работала), мне необходимо поехать в названные страны, что позволит правдиво воссоздать все памятные места... 18 августа 1986 г. "

Конечно же, на заявлении положительные резолюции Маркова, Верченко, Р. Рождественского...

"В секретариат Союза писателей СССР

Уважаемые товарищи!

В 1979 г. по инициативе главного редактора журнала "Русский язык" д-ра Мунира Сендича 25 американских университетов пригласили меня для выступлений о советской литературе, с уклоном в малую прозу, которой я и сам занимаюсь. Итоги подвел журнал "Русский язык", посвятив Вашему коллеге более половины XXXIII номера; здесь были и развернутые отзывы университетов о моих выступлениях — более чем лестные. В свое время я передал номер журнала вместе с письмом-отчетом Георгию Мокеевичу Маркову.

Путевой дневник я опубликовал в "Нашем современнике" (отрывки в "Новом времени", "Литературной России", по радио и телевидению). Материал получил хорошую оценку партийной печати (статья в "Правде", тов. Черноуцан поблагодарил меня от лица Отдела культуры). Несмотря на сильную критическую струю, этот дневник вышел отдельным изданием в США (книжка у меня есть).

Но, пожалуй, самой примечательной оценкой поездки явилось новое приглашение, присланное профессором Сендичем от лица четырнадцати университетов — ныне их число приблизилось к тридцати.

Мне не хочется витийствовать по этому поводу. Скажу

283

просто: советскому писателю в нынешнее трудное, тревожное время дается возможность два месяца хорошо говорить о его Родине, народе, культуре и литературе в стране, где сейчас говорится столько плохого и вздорного. Как старый контрпропагандист (год служил во время войны в системе 7 отдела политслужбы Советской Армии) я думаю, что такой возможностью следует воспользоваться. Надеюсь, что и секретариат Союза писателей согласится с этим. Полагаю, что принесу пользу нашему общему делу. С уважением —

Юрий Нагибин

1 марта 1982 г. "

Перестройка набирала темпы, советский народ "решал во всех областях жизни проблемы", а любители путешествий заваливали иностранную комиссию шедеврами эпистолярного жанра.

"В июне 1987 г. было принято решение о моей поездке во Францию сроком на год. Поездка мне необходима прежде всего для ознакомления с важными материалами о Пушкине, декабристах и их окружении, которые, как мне известно, за последнее время выявлены в парижских архивах, но ожидают своего исследователя (! — Ст. К.).

Знакомство с этими документами имеют для меня особое значение в связи с работой над двумя договорными книгами...

Н. Эйдельман 8 марта 1988 г. "

От литературоведа Михаила Эпштейна:

"У меня возникла насущная необходимость обсудить ряд теоретических проблем с видными современными литераторами и мыслителями Франции... кроме того в связи с

работой над темой "литературный и живописный образ "мне необходимо побывать в ряде парижских музеев, выставляющих новейшие образцы концептуального искусства.

В связи с вышесказанным прошу Вас предоставить мне командировку во Францию "

От члена СП СССР Самария Великовского: "Прошу направить меня в творческую командировку во Францию сроком на два месяца... для встреч в редакциях таких

²⁸⁴

органов французской левой печати, как "Революсьон ", "Либерасьон", "Деба", "Комментер", "Пуэн деля Роз "и др. и бесед с деятелями французской культуры ради пополнения материалов, предназначенных для моих очерков о состоянии умов и гражданских самоопределениях французской интеллигенции сегодня.

8.2.1988 г."

А вот этот шедевр Леонида Израилевича Лиходеева-Лидеса стоит того, чтобы его процитировать целиком.

"В ИНОСТРАННУЮ КОМИССИЮ СП СССР

По договору с журналом "Дружба народов" я работаю над романом о Николае Бухарине и его времени. Рукопись должна быть представлена в сентябре сего года.

Одним из ключевых моментов жизни Бухарина является период его пребывания в Париже после написания им проекта Конституции, которую вскорости назовут "сталинской ".

Говорят, Сталин сам предложил Бухарину "прокатиться ".

Почему он "выпустил " Бухарина после убийства Кирова и накануне процессов Каменева и Зиновьева?

Роковые взаимоотношения вероломного Сталина с прямодушным Бухариным представляют собою тяжчайшую драму нашего века, драму, которая в определенной мере дает разгадку восхождению Сталина к чудовищной власти, о которой говорил и от которой предостерегал умирающий Ленин.

Известна странная привязанность Сталина к Бухарину, к "Бухарчику", как он его называл. Возможно, это была та самая ситуация привязанности палача к жертве.

Возможно, Сталину было нужно, чтобы "Бухарчик" остался на Западе вместе с семьей. Это дало бы Сталину возможность держать Бухарина в постоянном страхе, поскольку руки Сталина все удлинялись и Бухарин не мог не знать об этом. Но главное— Сталину совершенно необходимо было, чтобы Бухарин, которого он вскорости сделает главою правотроцкистского блока, "бежал, спасая свою шкуру от гнева народа, и бежал к своему хозяину Троцкому". Сталин был весьма примитивен в построении своих пропагандистских схем. Бегство Бухарина дало бы ему возможность воочию доказать некое единство этих двух необъединяемых и разномыслящих лидеров и оказаться в желательной для

²⁸⁵

Сталина роли доверчивого и обманутого благородного вождя. Кроме того, это дало бы Сталину возможность еще раз подчеркнуть свою прозорливую настороженность к Бухарину (цитат для этого было предостаточно), прозорливую настороженность, отвергнутую Каменевым, Зиновьевым, Пятаковым и вообще старыми вождями, готовящими "ликвидацию советской власти ".

Сталину нужно было, чтобы Бухарин не вернулся.

Для Сталина "спасение собственной шкуры" казалось важнейшим фактором человеческого поведения. Он презирал людей.

Однако для Бухарина важнейшим фактором человеческого поведения были совсем другие мотивы. Революционная преданность его социализму, как строю цивилизованных кооператоров, надежда окоротить власть Сталина оказались сильнее личных мотивов. Бухарин был очень органичен в своих поступках. В романе я пытаюсь проследить именно эту черту его характера. Трагические парижские дни дают, как мне кажется, немало

объяснений решению Бухарину вернуться на верную смерть.

Я прошу Комиссию предоставить мне командировку в Париж на 10—12 дней для ознакомления с деталями и реалиями, совершенно необходимыми для достоверности романа. Прошу Комиссию ускорить свое решение, учитывая сжатые сроки, в которые я поставлен работой.

С уважением —

Л. Лиходеев,

14 марта 1988 г."

И подобных заявлений от всякого рода эпштейнов, сагаловичей и эйдельманов — десятки, если не сотни.

Пушкину, чтобы написать свои великие "Маленькие трагедии", не нужно было писать заявление Николаю I, чтобы его за казенный счет послали в Испанию, Англию и Францию, а вот наши "старые контрпропагандисты" не могли, видите ли, создавать свою нетленку, не побывав на берегах Гудзона, на Елисейских полях, в Монте-Карло.

Но причины нашего приглашения в Америку были иными. Думаю, что американцам надо было узнать наши убеждения, нашу мировоззренческую оснащенность, поглядеть, способны ли мы на всяческого рода компромиссы и уступки, изучить весь спектр наших патриотических убеждений — от монархических

286

до коммунистических... Словом, как я понимаю, уже тогда в Америке складывался план грядущего разрушения Советского Союза, который начал осуществляться в августе 1991 года, и американскому истеблишменту вкупе со спецслужбами надо было уяснить, кто в какой степени будет им противостоять, есть ли у нас и за нами общественные и политические силы и надо ли с ними считаться... Поездка готовилась на весьма высоком уровне: помимо Союза писателей, в подготовке принимали участие работники посольства США. С одним из них, Фишером, я постоянно встречался у Вадима Кожинова. Фишер все время консультировался с моим другом о том, кого пригласить в Америку, уговаривал его самого поехать, но тот, не любящий путешествовать по миру, отказался... Я никогда не восхищался Америкой, даже в студенческой молодости, когда такое поветрие возникло, не был, как говорил о себе Василий Аксенов, "штатником", ее джазовая экспансия — на что были падки в 50-е годы молодые люди — всегда оставалась для меня чуждой. Я и сейчас с раздражением, а порой просто с негодованием отношусь к тому, что половина эфирного времени российского радио заполнена безвкусными и примитивными американскими шлягерами. Они вколачиваются в наши уши и в наше сознание в таком количестве, что поневоле начинаешь думать: нас хотят приучить к осознанию того, что Россия всего-навсего лишь один из штатов Америки. Даже в обзорах спортивных событий дикторы и телеведущие навязывают нам совершенно абсурдную российскому человеку информацию о том, с каким счетом баскетболисты Лос-Анджелеса выиграли у своих соперников из Нью-Джерси и сколько штрафного времени хоккеисты Буффало отсидели на скамейке во время матча с "Пингвинами" из Питсбурга.

Из американской культуры я ценил лишь плеяду замечательных американских прозаиков 20—50-х годов: Эрнста Хэмингуэя, Уильяма Фолкнера, Джона Стейнбека, Торнтона Уайльдера, Скотта Фицджеральда, Томаса Вулфа. Книги об Америке последнего я ставил особенно высоко, и одну из них — роман "Домой возврата нет" — взял с собой в дальнюю дорогу. И не зря. Великий американец не раз помог мне разобраться в особенностях американского менталитета. Уже сидя в самолете, я, листая роман, наткнулся на его размышления об "элите" свободного мира: *"Эти люди создали мир, в котором все ценности были ложны и мнимы, однако же, околдованные роковыми иллюзиями, они воображали себя самыми пронциательными, самыми трезвыми и практичными людьми на свете. Они считали себя вовсе не игроками, одержимыми*

287

азартом обманчивых биржевых спекуляций, но блестящими вершителями великих дел и не сомневались, что ежедневно и ежесекундно "ощущают, как бьется пульс страны".

когда, оглядываясь по сторонам, они всюду видели неисчислимые проявления несправедливости, мошенничества и своекорыстия, то твердо верили, что это неизбежно, что "уж так устроен мир".

Ну чем не характеристика российского демократического истеблишмента начала 90-х?

В творчестве великих американцев, как мне казалось, Америка нащупывала путь гуманистического развития своей цивилизации. Но, увы, усилия этих талантов, многому, кстати, научившихся у русских классиков, оказались недостаточными. Несколькими десятками блистательных романов им не удалось поколебать хищный прагматический уклад американского общества. Сопrotивляясь ему в течение нескольких десятилетий, эти своеобразные американские диссиденты все-таки потерпели поражение и ушли с исторической сцены, окончательно проиграв схватку за душу Америки Голливуду, телевидению, Фрэнку Синатре, Майклу Джексону, Чаку Норрису, словом, шоу-бизнесу, подчинившему себе сегодня всех и вся. Никогда больше не будет в Америке писателей такой величины, как Фолкнер или Вулф, гениев американской провинции... А поэзия американского континента всегда казалась мне вообще поверхностной, экзальтированно-материалистической, даже в своих самых знаменитых образцах, если вспомнить Уитмена, или пораженной дешевым мистицизмом, как у Эдгара По. Об остальных-то и вспоминать нечего. С детских лет я, правда, любил только "Песнь о Гайавате" в бунинском переводе, поскольку жизнь в этой поэме была похожа на жизнь сибирской северной деревни и никакого, собственно, отношения к жизни Соединенных Штатов не имела.

...Вот о чем я думал апрельским утром девяностого года, складывая свой чемодан и перелистывая программу нашего пребывания в Америке. Нет, надо все-таки своими глазами поглядеть на этого монстра, не только поглядеть, но и руками пощупать. К тому же у нас в это время на каждом шагу в газетах, журналах, на телеэкране царило какое-то сумасшествие: все славил американскую демократию, убеждали друг друга, что нам всему надо учиться у них — дружелюбных, улыбочивых, энергичных..

К Нью-Йорку мы подлетали вечером, и пока наш "Боинг" приближался к земле, я со странной смесью восхищения и тревоги вглядывался в эту словно бы грудку пылающего

288

каменного угля, с пробивающимися из огненного чрева языками то синего, то оранжевого, то белого пламени, протянувшуюся на десятки километров вдоль побережья и чуть ли не до горизонта в глубину материка...

На другой же день мы почувствовали, что действительно приземлились на раскаленную почву.

Ряд американских изданий, выливших на нас поток клеветы устами и своих журналистов, и бывших наших функционеров советской печати — Резника, Когана, Ремника, Гольданского и др., объявил нас "нацистами", "фашистами", "националистами"... Причем они для подъема "большой волны" не гнушались ни мелкой ложью, ни прямой клеветой, ни грубой дезинформацией.

Так, Семен Резник в первой же встретившей нас в Америке статье "Десант нацистов в Вашингтоне" сознательно извратил даже состав нашей делегации, заявив, что ее возглавляет член президентского совета Валентин Распутин — "антизападник и антисемит", что в составе группы член редколлегии "Литгазеты" Светлана Селиванова, которая старается в своей газете "проводить нацистскую линию", что вместе с нами в Америку приехала народный депутат Евдокия Гаер, которая борется "против рыночной экономики и за "равноправие" русского народа, якобы угнетаемого евреями и другими инородцами"... Мы ахнули, прочитав эту стряпню, потому что Распутина с нами не было и Евдокии Гаер тоже. А уж изображать кроткую нанайку, с обожанием во время I съезда народных депутатов смотревшую на академика Сахарова, русской националисткой — ничего смешнее нельзя было придумать, глупее этого, разве что, было утверждение Резника о том, что "Литгазета" усилиями Селивановой "проводит нацистскую линию" (это при редакторе А. Б. Чаковском!)... Словом, все это было бы смешно, когда бы не было так

нагло и глупо. И, однако, статья Резника определила весь лживый тон американской прессы — крупнейших газет Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско... "Эта статья стала своеобразной "шпиргалкой" для всех журналов, занимающихся этим вопросом", — писала газета "People"... А на одной из пресс-конференций я даже съязвил, что американская пресса, освещающая наш визит, похожа на наш ТАСС худших времен, когда ТАССовские материалы, одинаково освещающие события, обязаны были печатать все газеты—от центральных до районных... "Вашингтон пост" опустила до того, что в статье Вадима Когана опубликовала заведомую ложь, будто бы я, главный редактор "Нашего современника", в шестом номере журнала за 1989 год

289

опубликовал "постыдные "Протоколы сионских мудрецов"... "Любой читатель, — сказал я на пресс-конференции, — может взять этот журнал и прочитать там мою статью "Палка о двух концах", в которой есть лишь одна фраза о том, что "Протоколы" — "плод тщательного анализа всей политической истории человечества", что эта книга "создана незаурядными умами, злыми анонимными демонами политической мысли своего времени"... А тут на всю Америку заявлено, что "Наш современник" опубликовал их! Ну как после этого можно было серьезно относиться к американской демократической прессе! Вот эта ее способность по-геббельсовски безнаказанно лгать и не извиняться, монополюбно обрабатывая общественное мнение,—и есть основной признак идеологического информационного тоталитаризма".

Правда, во время нашего посещения Верховного Суда его сотрудники успокаивали нас, говоря, что мы можем подать в суд на клеветников, и, видимо, у нас есть шансы выиграть процесс, и тогда газетных лжецов могут подвергнуть большому штрафу, но для этого нужно время, большие деньги и хорошие адвокаты...

У нас не было ни того, ни другого, ни третьего, и мы удовлетворились тем, что на встречах с нормальными американцами из их уст (а они тоже были возмущены этой травлей) мы часто слышали: "Не обращайте внимания: во-первых, взгляды ваших противников не отражают мнения Америки, а во-вторых, так уж принято в нашей прессе, что "хорошие новости не интересны", и потому каждый газетчик хочет обязательно скандала любой ценой, не гнушаясь ничем..."

Чтобы завершить эту неблагодарную тему, процитирую короткое письмо, которое я получил из Америки уже по возвращении в Москву:

"Я с большим интересом следил за Вашей поездкой по Соединенным Штатам. Сожалею, что она была омрачена "вечно преследуемыми". Прилагаю статью из последнего номера "еврейского вашингтонского еженедельника", где сказано, кого вам надо благодарить за все неприятности. Это некий "русский" Семен Резник, один из тех, кто хочет представить американской публике свое видение истории и чего угодно. Радуйтесь, что Россия отделалась от него..."

Однако радости было мало. Изо дня в день "Новое русское слово" публиковало одну прокламацию за другой: "Память" — это новые нацисты! Когда Станислав Куняев приехал в Нью-Йорк — лишь одна организация протестовала. Когда правительство США пыталось закрыть границы для советских

290

евреев, лишь одна организация высказала протест". "Советские писатели-националисты Распутин и Куняев будут выступать в Нью-Йорке. Призываем всех присоединиться к протесту против растущей волны антисемитизма в СССР. Демонстрация протеста состоится в среду 9 мая в 7 часов вечера по адресу..." (Тут же давался адрес нашего отеля!)

"Россия 1990 — Германия 1933? Хоральная синагога в Москве разрисована свастиками. Избиение евреев в Ленинграде. Все это произошло в течение последних недель! Ни слова об этом не было сказано ни в одной американской газете! Для того, чтобы спасти евреев в России, надо заявить о себе в полный голос! Когда русский нацист Куняев прибыл в Нью-Йорк, наша группа устроила ему такой прием, что он запомнит его

на всю жизнь!"

...А прием был устроен весьма смешной. Пришли мы в какую-то организацию, а у дверей встречает нас пожилой лысый функционер, с выпученными глазами, похожий на актера Михаила Козакова. Увидев нас, он поворачивается лицом к стене, раскидывает руки, раздвигает ноги и, словно ишак, грубым голосом через каждые десять—пятнадцать секунд отрабатывая свой небольшой гонорар, начинает завывая, с акцентом произносить одно и то же слово: "Па-м-ь-ять!" Ну разве такое забудешь!

В Америке, если глядеть на поверхность правовой жизни, наказываются поступки, действия, а не слова и пропагандистская шумиха... Крайне показательна история, о которой нам рассказали в Верховном Суде. В одном из маленьких американских городков Скоки штата Иллинойс американские антисемиты, протестуя против "еврейского засилья" в их штате, решили пройти с соответствующими лозунгами по улицам города. Городские власти запретили им это. Устроители демонстрации подали протест в Верховный Суд, и тот разрешил им провести шествие. Кстати, права "демонстрантов" демонстративно защищал адвокат еврей.

Однако это по закону, ибо лицемерное фарисейство американской жизни постигается не сразу. Во всяком обществе есть, кроме закона, свод сложившихся обычаев, правил и внеюрисдикционной, но достаточно жесткой системы отношений. И этот свод правил бывает порой гораздо более влиятелен, нежели правовой фасад. Известный в Америке противник сионизма Альфред Лилиенталь (еврей по национальности) по этому поводу так сказал в одном из своих интервью:

"В Соединенных Штатах ситуация такова, когда просто нет свободы дискуссий по вопросу о сионизме. Люди боятся. Не

291

обязательна даже прямая угроза со стороны сионистов. Когда вы об этом говорите, то вы уже знаете, что угроза существует. Сионисты шантажируют и элементарно затыкают рот каждому, кто хотел бы наладить свободный и открытый диалог об их деятельности. При этом о христианах тотчас же утверждают, что они антисемиты, а о нас, евреях, чьи взгляды схожи с моими, заявляют, что мы ненавидим собственную принадлежность к еврейству..."

С фарисейством "антитоталитарной" и "свободной" американской демократии мне пришлось столкнуться при весьма забавных обстоятельствах...

На другой день после нашего прибытия в Вашингтон, ранним апрельским утром я вышел в спортивном костюме и кроссовках из гостиницы и, вдыхая всей грудью свежий воздух самой свободной в мире страны, побежал к зеленым лужайкам Белого дома. На почтительном расстоянии от него я увидел несколько спальных мешков на дощатых помостах. В них спали бездомные люди, американские бомжи, весь скарб которых умещался в сумке или картонной коробке и которых впоследствии я встречал лежащих, как громадные коконы, в скверах, на лавочках, газонах Нью-Йорка, Питтсбурга, Сан-Франциско. Вопреки мнению покойного актера Зиновия Гердта, заявившего однажды в печати: "В Америке есть богатые и бедные, но нищих и бездомных нет".

Подбежав к двум таким коконам, я, разминая плечевой пояс, стал разглядывать какие-то плакаты, стоявшие у их изголовий. Между тем из маленьких отверстий в спальных мешках высунулись руки и синей струйкой потянулись сигаретные дымки. Затем одна из рук выползла на свет с банкой пива, а потом тишину утра огласили слова, по которым я понял, что в спальниках находятся мои соотечественники. На плакатах, стоявших у их изголовий, как я с трудом разобрал, были изложены на ломаном английском языке протесты против ущемления прав человека в благословенной Америке.

Но вот из отверстий в спальниках вылетели пустые пивные банки и за ними высунулись две взлохмаченные головы...

— Привет соотечественникам! — весело крикнул я, продолжая разминку.

— Привет, привет, а ты откуда?

Вылезли, еще раз закурили, разговорились. Один из них, бывший механик торгового

флота из Одессы, сошел на берег и остался в Штатах по доброй воле. Свободу захотел посмотреть! Другой, весь украшенный российскими татуировками, не стал особенно распространяться о своем прошлом. Как бы то ни

292

было, два русских невозвращенца встретились, подружились и начали новую жизнь на американской земле. Для начала через какую-то фирму по трудоустройству нашли работу. Однако спустя несколько месяцев выяснили, что в стране правовой рыночной экономики им платят гораздо меньше, чем стоит их труд, ибо немалая часть заработка уходит на содержание фирмы, подыскивающей для работодателей таких вот бедолаг-иммигрантов. Они, возмущенные, пришли к своим посредникам, устроили шумный русский скандал. Дело дошло до полиции. Судить не судили, но в участке несколько дней продержали и с работы выгнали. Друзья поняли, что на Атлантическом побережье им правды не найти, и завербовались на Аляску — валить лес... Там они тоже начали борьбу за какую-то социальную справедливость, опять дело дошло до полиции, опять их выгнали с работы, а еще, после одного-двух подобных случаев борьбы за права человека, их фамилии попали, как они говорят сами, в компьютер.

— Это что?

— А это хуже любого КГБ!

Информация о тебе, о твоих привычках, послужном списке, характере, о твоих конфликтах с хозяевами закладывается в компьютерную сеть, и когда ты, допустим, пытаешься поступить на работу, то хозяева, прежде чем принять тебя, знакомятся с этой компьютерной характеристикой.

— Мы этого не знали — ткнешься куда-нибудь, а нам от ворот поворот. В другом месте то же самое. Не сразу догадались, что теперь в Америке нам ничего не светит, словно мы какие-нибудь пуэрториканцы. Вот и пришли к Белому дому, плакаты нарисовали и живем здесь целый месяц.

— А пиво и сигареты?

— Ну, подработать везде можно. Где машину разгрузим, где общественный туалет вымоем.

Оба уже вылезли из спальников — жилистые, худые, загорелые, с ключьями пуха в крепких нечесаных волосах...

— А ты кто?

— Я писатель!

— Ну вот и напиши, как русским людям в Америке живется!

Осенью этого года ко мне в редакцию зашел весьма модный в конце восьмидесятых годов кинорежиссер Александр Аскольдов, с которым я когда-то учился на филологическом факультете МГУ. Разговор у нас зашел о спецслужбах.

— Да что сравнивать! — усмехнулся он. — Я уже много лет живу на Западе и знаю, что ЦРУ похлеще бывшего КГБ. В

293

Америке встретил своего давнего товарища, работавшего на радиостанции "Свобода". Обнялись, обрадовались... Когда увидимся? А он смущается, глаза отводит и говорит:

— Телефона и адреса дать не могу. Моя жена работает в Военно-морском ведомстве США. Мы подписку давали, что не имеем права без разрешения встречаться с иностранцами.

О циничном тоталитаризме западной демократии и бесцеремонности ее спецслужб свидетельствовало объявление, открыто напечатанное в дни нашего путешествия по Америке в русскоязычной газете "Новое русское слово":

"Федеральное бюро расследования снова обращается к русскоязычной общественности США и новоприбывшим эмигрантам из СССР с призывом помочь своей новой стране.

Многочисленные функции и обязанности ФБР по соблюдению законности в США включают сферу контрразведки. На протяжении многих лет эмигранты из СССР

оказывали содействие ФБР в его контрразведывательной деятельности. Некоторые эмигранты обладают непосредственной информацией о методах и деятельности КГБ в СССР и за его пределами, в особенности в США.

ФБР просит лиц, располагающих вышеупомянутой информацией, сообщить об этом в ближайшее отделение бюро.

Тем лицам, которые проживают в пределах города Нью-Йорка, в ФБР следует звонить по новому номеру телефона: (212) 335-2700, добавочный 3037, или обращаться по адресу: 26 Федерал-Плаза. Нью-Йорк, Нью-Йорк 10278.

Вся полученная информация будет содержаться в строгом секрете.

Федеральное бюро расследования Министерства юстиции США".

Наше КГБ вербовало сотрудников секретно, тайно, а тут через газету предлагают: "Стучите, доносите, помогайте!"

Вот и началось по всей прессе доноительство на русских писателей, приехавших в Америку.

"Русские националисты исповедуют фашизм".

"За счет американских налогоплательщиков восемь махровых шовинистов совершают путешествие с одного берега Америки на другой".

"Приглашение этих лиц выглядит так же, как, допустим,

294

выглядело бы приглашение группы куклусклановцев для обсуждения этнического многообразия на американском Юге".

"Русские националисты всех оттенков стремятся слиться в одну сплоченную группу. Их объединяет тоска по "сильному кулаку", ненависть к евреям и панический страх перед демократией..."

Я читал всю эту злобную галиматью и понимал, насколько права русская женщина Нина Бахтина, письмо от которой я получил в номере вашингтонской гостиницы недели через две после того, как мы ступили на американскую землю.

Нина приехала в Америку из России еще в середине 70-х годов, хорошо разобралась в американской жизни и в нравах третьей эмиграции, и ее письмо открыло мне глаза на многое, чего мы не успевали понять и осмыслить:

"Вы должны знать, что вас пригласили сюда с заранее сложившимися предубеждениями и даже ненавистью. Исходит это от сионистов. Они хотят добиться статуса беженцев для советских евреев, на этом собрать и получить большие деньги. В залах, где вы выступаете, постоянно присутствуют группы евреев, цель которых — заставить вас выйти из рамок приличия, в которых вы должны находиться, будучи в гостях..."

Они также хотят знать, насколько вы их серьезные противники и смогут ли они, поборов русских, стать единственными хозяевами на русской земле... Евреи пытаются дать вам тест на стойкость духа и твердость мышления. Не раз уже в "Новом русском слове" назывались даты сфабрикованных погромов. Последняя была намечена на 5 мая с. г. "Новое русское слово" писало, что уже сформированы еврейские оборонительные отряды, чтобы дать отпор погромщикам. Когда-то они кричали о погромах в Германии. Гитлер посадил их на пароход и отправил в Америку, но только почему-то их здесь не приняли и отправили обратно. Кому-то было это не выгодно, а может, для того, чтобы потом кричать о "шести миллионах".

К тем, кто оскорбляет вас, относитесь, как к психически больным людям. Они без бранных слов не могут.

Ни в коем случае нельзя дать им чувствовать нашу слабость в чем-то. Они только и ищут наши болевые точки. Помните — они верят только в деньги и силу".

Верят только в деньги...

Об этом нам напомнили на второй или третий день нашего визита в Америку, когда делегация была приглашена в какой-то нью-йоркский финансовый центр. В уютном полутемном

зале, спроектированном и по интерьеру и по размерам для узкого круга людей, серьезные, лощеные специалисты прочитали нам не то чтобы несколько лекций, а скорее, несколько правил, на которых зиждется со дня основания финансовая мощь Америки. Главным правилом было, по их словам, благоговейное, почти религиозное отношение к доллару, как к иконе. Голос человека, рассказывавшего о том, что изображено на долларе — и всевидящее ветхозаветное око ревнивого Господа Израиля, и вершина пирамиды, олицетворяющая власть над миром, и лики пророков золотого тельца — Джексона, Франклина, Гамильтона, — подрагивал от волнения — он читал нам не лекцию, а произносил проповедь, служил своеобразную литургию, зачитывал наизусть священное писание...

Ну, конечно, я, как всегда, не удержался и испортил впечатление от этой "песни песней" в честь золотого тельца, когда попросил слово и сказал нечто совершенно бестактное, вроде того, что в России никогда деньгам не поклонялись и, видимо, никогда не будут, а потому нам такого рода изыскания чужды и ничего дать не могут...

Однако на уровне абсолютно бытовых отношений в американской жизни я не раз убеждался в том, что жрец и толкователь из масонского клуба знал, что говорил.

В городе Феникс, когда мы собирались из гостиницы ехать в аэропорт, укладывая чемоданы и выбрасывая в мусорную корзину ненужные, накопившиеся в дорожной сумке бумаги, я случайно выбросил авиабилеты от Феникса до какого-то города, куда мы вылетали. Я это обнаружил в аэропорту перед посадкой... Все уже пошло к самолету, а мы с переводчицей Татьяной Ретивовой все выясняли отношения с администрацией аэропорта. Я горячился:

— Ведь билеты были заранее заказаны на мою фамилию, посмотрите в компьютере — там все должно быть, вот мой паспорт, никто по этому билету, кроме меня, полететь не сможет, так что вы вполне можете пропустить меня на посадку. Вот, кстати, компьютер и мое место выдает на экране!..

Но строгий, худой администратор был неумолим. Аргументы его были железными и абсолютно непонятными для меня.

— Вы потеряли билеты, а это значит, что вы потеряли деньги! — Тут он начинал волноваться и негодовать, не в силах объяснить мне, что потеря денег — своего рода нарушение высших моральных и религиозных догм общества. Больше всего, как я теперь понимаю, его возмущали мои легкомысленные оправдания происшедшего: "Ну потерял и что

296

такого! Все равно же — я в компьютере, а значит, можно посадить меня и без билета..." Такие речи, в его сознании, были издевательством над высшими ценностями жизни, над здравым смыслом, над верой в сверхчеловеческую силу денег...

Пришлось мне второй раз брать билет и снова заплатить двести долларов. Когда аэропортовский администратор добился этого, на его лице выразилось полное удовлетворение, как будто он принудил грешника к раскаянию и спас его заблудшую душу.

Свидетелем нашей мировоззренческой схватки был Леонид Бородин, с которым бок о бок я прожил целый месяц нашего путешествия.

— Станислав Юрьевич! — сказал он мне. — Ты их не переубедишь. Они не понимают, о чем ты говоришь, да не просто говоришь, а богохульствуешь...

Вся наша восьмерка для проживания в гостиницах была разделена на пары, и мы с Бородиным как-то, не сговариваясь, выбрали друг друга. Мне сразу же понравился этот подтянутый, сдержанный, немногословный человек.

О Бородине в еврейском альманахе "Панорама" было написано так:

"При Брежнев он был диссидентом и подвергался репрессиям. Его русский национализм всегда носил не просталинский, как у Кожина или Куняева, а антисталинский характер. Однако можно думать, что эти различия остались в прошлом: в

годы гласности и перестройки русские националисты всех оттенков стремятся слиться в одну сплоченную группу..."

Однажды на обеде у священника Виктора Потапова мы встретились с нашим "бывшим" журналистом, носившим комическое имя — Гарри Табачник. Весь вечер он жаловался нам на государственный антисемитизм, от которого "страдал в Союзе". В руках у Гарри была его книга под названием "За вашу свободу, сэр!" Мы с Бородиным посмотрели на обратную сторону обложки. Под портретом Гарри Табачника было несколько абзацев из его биографии: "Работал корреспондентом радиостанции "Маяк". Писал и сам читал у микрофона свои передачи об интересных людях, литературе, музыке, искусстве. Вел интервью со многими знаменитостями, среди которых были и маршал Жуков, и Ю. Гагарин..."

"Печатался во многих московских газетах и журналах, включая "Юность", "Огонек", "Молодой колхозник", "Вокруг света"..."

"Страну изъездил от залива Посьет до Минска, от Петрозаводска до Ашхабада".

297

"Закончил факультет журналистики Московского университета, юридический институт, аспирантуру факультета журналистики. Получил степень".

И все это при махровом государственном антисемитизме!

— Забавный народ! — сказал Бородин, глядя на Табачника, который тут же понял, что в своих жалобах на жизнь хватил лишку, и стушевался, растворившись в толпе гостей. А об известном еврейском диссиденте Алике Гинзбурге, с которым они сидели в молдавских лагерях, Бородин отозвался холодно и отчужденно:

— Ему это для биографии было нужно!

Мы только что опубликовали в "Нашем современнике" замечательную повесть Леонида "Третья правда", после которой читающая Россия узнала Бородина как писателя. Он был благодарен мне за это, но благодарность свою высказывал ободряющей улыбкой в минуты жарких дискуссий с нашими оппонентами, доброжелательной шуткой по поводу моего утреннего похмелья, скупой похвалой в адрес Распутина, Кожинова или Белова.

Два лагерных срока, выпавших на его жизнь, научили Бородина быстро и точно оценивать людей, он хорошо изучил типы и характеры диссидентов, в том числе и из еврейской среды, и понимал, как с ними надо разговаривать.

Зная его судьбу, они несколько придерживали языки и не решались при нем нагло и демонстративно расписывать свои страдания во время жизни в Союзе.

К своей радости, я обнаружил в нем во время нашего путешествия немало ребяческого, искреннего, открытого притяжения жизни, неожиданного в человеке столь трудной судьбы.

Когда мы приехали в штат Колорадо и разместились в гостинице, то Леонид Иванович вдруг сверкнул по-детски оживившимися глазами и заговорщически обратился ко мне:

— Тут рядом Большой каньон — одно из чудес света! Пошли поглядим!

Мы вышли к Большому каньону, громадная расщелина которого разрезала земную кору. Его берега, сложенные из каких-то красных, фиолетовых, бурых отложений, заросших цветущими кустарниками, сужаясь, устремлялись вниз и соединялись на головокружительной глубине сверкающим швом легендарной реки Колорадо.

— А может быть, попробовать быстро спуститься к реке, в нашем распоряжении есть два часа, успеем! — с горящими от восторга глазами обратился Бородин ко мне, и я едва

едва

298

отговорил его от этой авантюры. Мы бы и к вечеру не вернулись оттуда!

А само русло каньона, разрывающее поверхность земли, его лоно, берега и края, терялось на горизонте в утренней голубой дымке, в бесконечности.

Я поглядел на лицо своего спутника и увидел на нем столь редкое для людей такого склада выражение счастья.

Наверное, такое же выражение он увидел на моем лице, когда по возвращении в Россию мы прощались на аэровокзале, и он сказал мне:

— Если бы мне пришлось сидеть еще один срок и дали бы право выбора, с кем сидеть, — я бы выбрал в напарники вас, Станислав Юрьевич...

...Люди такого склада не меняются с возрастом. Недавно один мой друг рассказал мне, как несколько русских литераторов неожиданно для Бородина на "круглом столе" в журнале "Москва", не сговариваясь, каждый по-своему стали размышлять о том, что борьба с советской цивилизацией неизбежно должна была повлечь за собой разрушение России.

— Так неужели я два срока зря отсидел? — вспыхнул вдруг Леонид Иванович...

По вечерам, оставаясь в гостинице, мы с любопытством и отвращением смотрели рекламные клипы, живописно показывающие, как жареные цыплята летят в рот тучным американкам, широко разевающим рты и становящимся похожими на идиоток. Леонид Иванович, постаревший юноша, революционер-заговорщик, страстно затягивался сигаретой, впадины его щек во время затяжек нервно подергивались, легкой походкой человека, вечно сражающегося с призраком коммунизма, он прохаживался взад-вперед по гостиничному номеру, саркастически комментируя телесериалы, в которых обязательная парочка полицейских — негр и белый — самоотверженно, рука об руку боролись с наркодельцами и маньяками.

А на другой день священник Сесиль Вильяме рассказывал нам о настоящей жизни, и после его рассказа мы понимали, что голливудские мифы о "дружбе черных и белых" похлеще наших "Кубанских казаков".

— Мы в нашей церкви, — говорил темнокожий пастырь, — пытаемся вырвать черных детей из бедности, спасти от наркотиков и неизбежных тюрем, словом, от новейшего геноцида. Мы уже не думаем о спасении души — лишь бы накормить, обучить, дать хоть какую-то профессию.

А ровно через год после нашего посещения Америки по

299

Лос-Анджелесу прокатилась волна погромов. В ответ на полицейскую жестокость и судебную несправедливость черные разгромили центр города... Разграбленные и сожженные магазины, несколько десятков убитых, сотни раненых — таков был итог схватки, во время которой белая звериная морда Америки сцепилась с не менее жестокой и не менее расистской черной.

Вскоре по возвращении на родину я получил из Рима письмо соратника Бородина по политическому процессу Евгения Вагина, которого я однажды мягко упрекнул в том, что он, борющийся за свободу России от коммунизма, не возвращается на "освобожденную" родину. Вагин отвечал мне:

"В конце своего письма Вы пишете о "странности" того, что часть из нас (впрочем, не столь уж и значительная количественно), которые "боролись, страдали, сидели", находимся за границей сейчас, когда появилась возможность "работать и бороться на родине". Я вспомнил Л. И. Бородина (с которым нас когда-то связывала одна судьба): представляя недавно в "Лит. России" очерк В. Осипова, он с содроганием признается: "...я даже (!) допустил мысль об эмиграции". Но я-то помню наше с ним прощание — и ведь были уверены, что навсегда, — если и возникли у него такие мысли, он гнал их от себя... Я смотрел на вещи несколько иначе; и сейчас моя позиция еще далека от "возвращенческой". Смущает меня и то, сколь многочисленная "шпана" — не только литературная, но и политическая, роем устремилась обратно, в "страну" (как они называют нашу родину), где естественно смыкаются со шпаной местной, типа Коротича. Представляю, между тем, что ожидает русского изгнанника, вернувшегося к родным осинам..."

В последние годы патриот Евгений Вагин, православный человек, работал на радио "Ватикан". Какой бесславный конец судьбы, некогда начинавшейся так дерзко и самоотверженно...

...По красноватой плодородной почве штата Аризона, где расположен Большой каньон, мы доехали на машине до резервации племени хоппи.

Председатель племени на вопрос, является ли он вождем, отрицательно покачал головой.

— Я был всего лишь навсегда преподавателем школы, но меня выбрали главой администрации обычным способом. А вождь-престолонаследник — совсем другое. Он должен быть духовным наставником, он у нас пока ребенок, и его надо еще многому научить.

Мы сели в машины и через час-полтора подъехали с нашим

300

хозяином к индейскому селению. Глядя на него, я вспомнил иллюстрацию к повести Конан Дойла "Затерянный мир". На красноватой полупустынной равнине, словно гигантская шкатулка, возвышалось каменное плато. Один склон шкатулки был более-менее пологим, и по нему наш автобус не без труда въехал на ее поверхность, заполненную сложенными из серого песчаника домами, узкими лабиринтами улиц.

— Некоторым домам, в которых здесь живут люди хоппи, более тысячи лет! — сказал сопровождавший нас Феррен Секакуку.

Плато, конечно же, издревле было священным местом. Я вышел из машины и огляделся. Ветер, свистевший над вершиной плато, пронизывал одежду, вдоль заборов, сложенных из грубо отесанного камня, с мертвенным звоном перекатывались пустые жестяные банки из-под пива, улицы, несмотря на полуденное время, были пустыми.

— Женщины сейчас занимаются хозяйством и детьми, — сказал Феррен. — А мужчины? У них мужской ритуал — у нас есть и женские и детские ритуалы. Мужчины сегодня сидят в укромном месте — в подземном храме и поклоняются духу дождя. Вождь — мальчик — находится вместе с ними. Там у них горят масляные светильники — электричества в поселке нет... Мы не жалуемся, хоппи — самое мирное из всех индейских племен, мы приняли политику белого человека... Он не вмешивается в нашу религию, в наши отношения с духами. У нас самоуправление. Власти штата не могут править нашей жизнью, но и мы не можем уходить из нашей резервации...

А что? Если не опомнимся, то наше великое племя русских через несколько поколений, глядишь, и будет жить, как индейцы племени хоппи. Наследники Чубайса лишат нас электричества, нам будет запрещено покидать наши резервации, но зато отправлять православные ритуалы не в катакомбных церквях, а в новых, возведенных сегодня, и древних, намоленных, нам при новом мировом порядке, конечно же, будет великодушно разрешено.

* * *

Поездка наша по Америке продолжилась в атмосфере любопытства и ненависти, дружелюбия и провокаций.

Из "Нового русского слова" от 11 мая 1990 года: *"В интервью с корреспондентом "НРС" 28-летний Леви, который характеризует себя как "бухгалтер и отчасти революционер", заявил: "Пока евреи не могут ходить в безопасности по улицам Ленинграда, русские нацисты не будут ходить в безопасности по улицам Нью-Йорка!"*

Вчера утром Леви и четверо членов Организации защиты евреев попытались, по его словам, сорвать встречу делегации писателей и представителей Национальной конференции христиан и евреев. Пятеро демонстрантов с лозунгами "Куняев — нацист", "Нацистов — вон!" и "Евреи не должны встречаться с нацистами" поднялись на 11-й этаж здания, где проходила встреча, и сделали попытку прорваться в конференц-зал, но были остановлены дверью из толстого стекла. Как говорит Леви, во время этого инцидента демонстранты ударили кого-то по лицу, хотя пострадавший оказался не одним из русских писателей, а американцем. Леви замечает на это, что "двуличные американцы, якшающиеся с нацистами", еще хуже последних.

"У вас большой список врагов", — заметил автор этих строк. "Да, он растет не по

дням, а по часам", — засмеялся Леви.

Но Бог с ними, этими, как писала мне в письме Нина Бахтина, "больными людьми". Что говорить о них, если в "Лос-Анджелес тайме" от 4 мая 1990 года мы прочитали слова раввина Ицхака Гинзбурга, защищавшего четырех убийц палестинской девушки в одной из арабских деревень: **"Должно признать, — писал Гинзбург, — что еврейская кровь и кровь неевреев имеют разную цену"**. Эти слова я вспоминал в самых разных, вполне цивилизованных и респектабельных еврейских аудиториях, где нам пришлось побывать — в еврейском этническом центре в Питсбурге, на кафедрах различных провинциальных университетов при встречах с профессорами и преподавателями, в казенных офисах министерств и радиостанции "Свобода". Там все было хоть порой и напряженно, но вежливо, прилично, цивилизованно. И, однако, снова в суть такого рода встреч, визитов и разговоров мне помогал вникнуть великий американец Томас Вулф.

В его романе Джейк Абрамсон в кругу своих племянниц рассуждает об английской кухне, издеваясь над капустой, рыбой и безвкусными соусами:

"— Такая еда годится только для несчастных христиан.

Это упоминание об иноплеменниках, в котором сквозила пренебрежительная усмешка, как-то по-особенному соединило всех троих, и внезапно они предстали в новом свете. На губах старика играла чуть заметная умная и холодная улыбка, женщины веселились безмерно, и все они отлично понимали друг друга. И теперь видно было, что они по-настоящему

302

заодно — дети древнего, одаренного, всезнающего племени, — и со стороны отчужденно, с насмешливым презрением глядят на темных и невежественных людей иной, низшей породы, не причастных к их познаниям, не отмеченных той же печатью. И тотчас оно миновало — мгновенье, в котором сказалась их извечная обособленность. На лицах женщин теперь светилась лишь спокойная улыбка, все трое вновь принадлежали всему миру".

Поистине, читая это, поверишь, что "еврейская кровь и кровь неевреев имеют разную цену".

Для них. Но не для нас.

* * *

Во глубине Америки, на ферме штата Иллинойс, куда нас на несколько дней отправили наши хозяева, я вставал рано и по утрам под одобрительными взглядами Глена и Кэт в спортивном костюме и новеньких американских кроссовках выходил из дома и, вдыхая свежайший воздух, насыщенный запахами травы и молодых кукурузных полей, начинал медленный бег по равнине, разглядывая приметы жизни и раздумывая о феномене Америки.

Зеленые пространства, тянущиеся до горизонта, были разрезаны аккуратными дорожками, посыпанными галькой. Справа от меня лежали поля под парами, слева — посеvy кукурузы.

Олень выскочил из небольшой рощи, увидел меня, но не испугался, а медленно покрутил плюшевой головой и ушел обратно в заросли. Вскоре я перебежал по мостику через чистый ручей, поглядел в воду и заметил форелей, стоящих в прозрачной воде головами против течения и подрагивающих хвостами.

Время от времени я спугивал дроздов и чибисов, вылетающих из травы. Через каждые два-три километра в некотором отдалении от главной дороги стояли фермы с постройками...

Влага, тепло, тишина окружали меня. Когда я приблизился к зарослям каштанов и грецких орехов, из гнезда выскочила белка и зацокала язычком, негодуя на чужеземца, нарушившего ее покой... А где же находят последнее успокоение американские крестьяне? Ведь не может же быть земли без кладбища?

Пока я вскользь думал об этом, то незаметно для себя вбежал по гравийной дорожке в зеленое чистое пространство, отличающееся от лугов и пастбищ только тем, что на нем в

шахматном порядке были расставлены прямоугольные и

303

квадратные стелы из серого гранита. На них я увидел выбитые надписи:

"Блейк — 1831—1900", "Кларк 1842—1910", "Джон — 1856—1919"... Никаких там сантиментов вроде "Любимому мужу от скорбящей жены и детей" или "Зачем ты нас так рано покинул?" Кладбище чистое, безо всяких православных излишеств, без оград, без европейских изысков с каменными бордюриками и цветниками, без склонившихся к надгробию ангелов, без самодельных стихотворений и переведенных на фарфор фотографий, каких так много на надгробных камнях Пятницкого кладбища в моей родной Калуге.

Трава, гранитные прямоугольники, похожие на противотанковые надолбы, фамилии и даты. Все рационально, упрощенно, деловито, аккуратно до последнего предела.

Вечером во время ужина Глен и Катя рассказывали мне и Светлане Селивановой о своей жизни. Богатый дом, двести гектаров земли, целый гараж сельхозмашин и автомобилей. В время уборки урожая к ним приезжает отец Глена помочь — не просто так, а за плату. У двоих сыновей детская комната с компьютерами. Когда же я спросил у них, в какой стране они были в последний раз (ведь люди не бедные!), Глен грустно махнул рукой: "Какой туризм! всю жизнь сидим на земле. Даже в Канаде не был, нет времени".

...По вечерам в маленькой уютной комнатке, отведенной для меня четой американских крестьян, я перед сном продолжал чтение романа "Домой возврата нет" и поражался тому, насколько громадна, разнообразна и противоречива Америка. Ну разве Катя и Глен могли себе представить жизнь американской элиты в преддверии Великой депрессии, жизнь элиты, столь похожую на нынешнюю безумную жизнь правящей верхушки ельцинской России:

"Очутившись у дверей своих небоскребов, они взлетали на лифтах в облака, где помещались их конторы. Там они покупали, продавали, заключали сделки в атмосфере, насыщенной безумием. Безумием дышало все вокруг, весь день напролет, и они сами это чувствовали. О да, они прекрасно это замечали. Но вслух об этом не говорилось. Такова уж была одна из особенностей того времени, что люди видели и ощущали безумие везде и во всем, но никогда о нем не упоминали, никогда не признавались в нем даже самим себе".

* * *

От всех "еврейских кошмаров" у нас была отрада и отдохновение: трогательные встречи с "русскими

304

американцами", седовласыми опрятными стариками и старухами, еще помнящими свое детство в старой России, революцию и гражданскую войну, галлиполийские лагеря и сербские скаутские школы и довоенные бульвары Парижа... В их жилищах, обязательно украшенных портретами последнего императора и императрицы с цесаревичем и великими князьями, а также ликами генералов, предавших монархию, мы садились за столы, пили смирновскую водку, закусывали красным украинским борщом, дымящимися сибирскими пельменями, читали стихи, потом хозяева, как правило, вели нас в свои библиотеки, где мы жадно тянулись к стеллажам, листали книги Ивана Солоневича, Ивана Ильина, Льва Тихомирова...

На прощание хозяева щедро предлагали нам взять с собой в Россию любые книги, которые нам пришлись по душе.

Со стариками, помнящими времена гражданской войны, нам было, как ни странно, легче найти общий язык, нежели с эмигрантами, поклонившимся знаменам Власова.

Мы были готовы к тому, чтобы воспринимать Октябрьскую революцию во многом как революцию антирусскую, и мы и они прекрасно знали роль еврейской партийной и чекистской верхушки в репрессиях, гонениях на церковь, в разрушении культуры. Здесь наши взгляды на антирусскую сущность государства и власти в ленинскую эпоху почти совпадали, что позволяло нам искренне и откровенно вести вольные беседы и радоваться

друг другу, как это умеют русские люди...

Однако кое в чем наши взгляды на советскую историю расходились коренным образом. Именно в Америке в одном из гостеприимных русских домов мне подарили книгу воспоминаний социолога Питирима Сорокина, которую я захлеб прочитал чуть ли не в тот же день.

Питирим Сорокин был непримиримым врагом Ленина и советской власти, воевал с нею с оружием в руках, был приговорен к смерти, потом выслан за границу, последние годы жил в Америке. Вот уж настоящий враг социализма! И однако он, умный человек и реалист, так рассуждал в начале 1960 годов о природе революций. По Сорокину, всякая великая революция проходит три фазы:

"Первая из них — короткая — отмечена радостью освобождения от тирании старого режима и большими ожиданиями реформ, которые обещает каждая революция. Эта начальная стадия лучезарна, правительство гуманное и мягкое, полиция умеренна..." (Вспоминаем керенщину и горбачевщину.) Дальше Сорокин пишет:

305

"Короткая увертюра обычно сменяется второй, деструктивной фазой. Великая революция теперь превращается в яростный вихрь, сметающий на своем пути все без разбора. Он безжалостно разрушает не только отжившие институты общества, но и вполне жизнеспособные заодно с первыми, уничтожает не только исчерпывающую себя элиту, но и множество людей и социальных групп, способных к созидательной работе". (Да, это так, если вспомнить уничтожение казачества, чиновничества, духовенства и высылки интеллигенции, — все это в первые годы Октябрьской революции... А чем лучше нынешняя экономическая эмиграция из страны научной элиты, превращение в рыночную пыль высококвалифицированных кадров нашей промышленности — военной, космической, угольной, металлообрабатывающей? А если вспомнить беженцев из бывших республик, превратившихся в миллионы люмпенов? Формы расчеловечивания разные — результаты похожи...) Но самое интересное то, что Сорокин пишет о третьей фазе:

"Если ураганная фаза не полностью превращает нацию в руины (это очень важно! — Ст. К.), то революция постепенно начинает строить новый социальный и культурный порядок... Этот порядок создается на основе не только новых революционных идеалов, но включает восстановленные, наиболее жизнеспособные дореволюционные общественные институты, ценности, образы жизни, временно порушенные на второй стадии революции, но которые выжили и вновь утвердились независимо от желания новой власти... Грубо говоря, с конца двадцатых годов русская революция начала входить в свою конструктивную фазу, которая в настоящее время находится в полном развитии. Советская внутренняя и внешняя политика сейчас более конструктивна и созидательна, чем политика многих западных и восточных стран. Весьма жаль, что эта важная перемена все еще не замечается политиками и правящей элитой этих государств". Написано в 60-м году...

Но, к сожалению, "эта важная перемена" не замечалась не только "правлящими элитами" западных государств, но и многими русскими патриотами, живущими на Западе.

Достаточно только сказать, что, когда мы были в Америке, Конгресс русских американцев сочинил декларацию, в которой обращался к американской государственной элите с просьбой объявить 7 ноября "Днем скорби и непримиримости".

"Мы, как и прежде, обращаемся к Президенту и Государственному секретарю Соединенных Штатов с просьбой

306

прекратить практику поздравления населения Советского Союза с Днем революции...

Мы просим штатных губернаторов и мэров городов издать соответствующие прокламации с выражением скорби по всем жертвам коммунизма и с пожеланиями населению Советского Союза обрести долгожданную свободу от тоталитарного гнета..."

Боже мой! Какая ненависть, какая непримиримость через 70 с лишним лет после революции, через сорок пять лет после 9 Мая еще обуревала души этих людей! Эта

ненависть к Советскому государству застилала им глаза на те формы мирового зла, которые вечно рождала западная цивилизация, возникшая в конкурентной борьбе всех против всех. Вы за свободную конкуренцию во всех сферах жизни? Тогда признайте, что в 30-е годы все политические лидеры партийной оппозиции оказались неконкурентоспособны рядом со Сталиным, все европейские народы оказались неконкурентоспособны в сравнении с фашистской Германией. (В конце концов, война— высшая и самая напряженная и драматическая форма конкуренции.)

Теория о неконкурентоспособности тех или иных народов сегодня ведет к новому витку расистского мышления и оправдывает любые преступления — истребление цивилизации майя и ацтеков испанскими грабителями, уничтожение северных индейцев англосаксонскими негодьями, я уж не говорю о десятках миллионов негров, перевезенных насильно из Африки в Северную Америку, косточки и рабский труд которых легли в фундамент американского благополучия, о сотнях миллионов вьетнамцев, китайцев, индусов, малайцев, филиппинцев, мексиканцев, арабов и прочих неконкурентоспособных землян, сведенных с лица планеты более конкурентоспособными англичанами, французами, бельгийцами, голландцами, японцами, испанцами, евреями.

В конце концов и сомнительную цифру — шесть миллионов евреев — можно представить себе, как свидетельство того, что в 30-е годы и в годы 2-й мировой войны жертвы Холокоста не выдержали конкуренции с белокуроыми бестиями. Нынешние счетоводы до сих пор на лживых счетах и зараженных вирусом демагогии компьютерах считают, во сколько десятков миллионов обошлось русскому народу и народам России строительство советской цивилизации за 70 лет... Посчитали бы лучше, во сколько сотен миллионов настоящих, а не мифических жизней обошлось для человечества строительство капитализма и "демократии" за несколько веков

307

кровавого наступления на "неконкурентоспособные" народы! Первой великой колониальной империей, установившей законы и традиции мирового грабежа — то кровавого, то бюрократически военного — была, конечно, империя Римская. И хищные европейские народы, возникшие на ее обломках, ее бывшие провинции, унаследовавшие железную хватку Рима, сохранили волю к колонизации всего неевропейского мира и пронесли гены "Рах Романа" до поры великих географических открытий, до времен Колумба и Кука, и как подобает возмужавшим и окрепшим после Реформации и религиозных войн хищникам, на несколько веков разделили между собой беззащитные "неконкурентоспособные" миры Африки, Южной Азии, арабского мира, океанических архипелагов, Южной Америки, где сначала железом и кровью, а потом торговлей и водкой, опиумом и деньгами установили свое господство, принявшее ныне изощренные формы банковского господства над миром. Только один из европейских народов к XIX веку остался без своего куска добычи — самый сильный, самый жестокий, самый государственно и биологически молодой — немецкий народ, не успевший сложиться из-за религиозных войн в одно государственное целое. Но когда его старшие и более удачливые собратья увидели, что он возмужал, то они пришли в ужас оттого, что возник конкурент небывалых способностей и гигантского колониального аппетита, и стали нашептывать ему на ухо: "Зачем тебе Африка, арабский Восток, далекий Китай и недоступная Индия? У тебя под боком куда большие богатства—необъятная Россия с ее лесами и золотом, черноземом и нефтью, с ее крестьянским "неконкурентоспособным", разбросанным на тысячи километров народом. Мы, англичане, французы, испанцы, поляки, итальянцы, бельгийцы, шведы, австрийцы, не смогли завоевать ее, сил не хватило ни тевтонским магистрам, ни норманнам, ни варягам, ни Карлу XII, ни Сигизмунду I, ни даже великому Бонапарту с его "двунадесятиязыковой" армией, ни Тройственному союзу... Даже мощь Ватикана оказалась бессильной против России, огородившейся бастионом православия. Так слушайте нас, самые сильные, самые молодые наши европейские братья германцы: как когда-то ваши легионы разрушили Римскую империю, так сегодня ваша историческая миссия поработить Россию! Вы — передовой отряд Запада, вы его спецназ, и мы завещаем

вам рано или поздно, независимо от наших внутренних распрей, завоевать для себя и для всей Европы эту могучую, неизвестно какими судьбами возникшую на краю Ойкумены варварскую страну!.."

308

Вот суть, сердцевина тайного вопля, который слышится последние триста лет европейской истории из-под груза шелестящих хартий и договоров, из вальяжных речей меттернихов и дизраэли, чемберленов и пуанкаре, черчиллей и де голлей, розенбергов и бжезинских. Этого никогда не слышали участники и историки власовского движения, до сих пор верящие, что Гитлер всего лишь "метил в коммунизм", да промахнулся. Попал в Россию.

Жертвы? Да, они были исполинскими. Но независимости без жертв не бывает. А Россия свою независимость могла построить лишь при полной монолитности общества, при абсолютной, в несколько раз превышающей норму, мобилизации сил. Но попробуй добейся этого единства без жертв. Ведь на любую, даже самую справедливую и освободительную войну лишь малая часть народа может пойти добровольно. Остальных призывает и доставляет на борьбу железная длань государства.

Вот и сегодня цивилизованные европейские пираты, пользуясь тем, что их оружие столь же убийственное и совершенное, как ружья и пулеметы их предков, уничтожавших вооруженных луками и ножами северных и южных индейцев, сводят с лица земли менее конкурентных иракцев, ливийцев, сербов... Да, да, русские американцы, — сербов, которые приняли вас или ваших отцов и дедов, обогрели, вырастили после исхода из России...

Сербия для многих из вас—я вспоминаю благороднейшего старика Игоря Леонидовича Новосильцева! — вторая родина. Но что-то я не слышал во время бомбежек американскими летчиками вашей Сербии, чтобы вы сочинили послание протеста президенту США, губернаторам, мэрам городов...

Впрочем, не буду упрекать облыжно всех русских, с которыми мы встречались в Америке. Мои упреки адресованы лишь привилегированной политизированной элите, а многие простые русские люди во время встреч с нами мыслили куда более терпимо и здраво, нежели "вожди" эмиграции, а порой и нас учили уму-разуму.

Вот несколько записок, полученных нами из залов Вашингтона и Сан-Франциско.

"Дорогие писатели! Не преуменьшайте благородства русских на Родине. Мы слышали, что вы за сепаратизм, то есть за отделение от России Украины и Беларуси. Этого не может быть, развейте этот навет!"

"Почему русские поддерживают Ельцина, который выступает за расчленение страны? Почему русские кричат

309

"свободу Литве"? Неужели русские заинтересованы в распаде Великой России? "

"Разговаривала с вашими туристами. Многие не знают, что Прибалтика входила в состав России до 1917 года. Поскольку Прибалтика аннулировала договор 1940 года, то почему тогда не аннулирован Брест-Литовский договор, который был вынужден? "

Эти записки были написаны в мае 1990 года, их писали немолодые люди, и надо отдать им должное — их патриотизм в известной степени был исторически глубже нашего. Ведь мы, ничтоже сумняшеся, уже заявляли, что с Прибалтикой, видимо, придется расстаться, что Закавказье — это тяжелая гиря на ногах России, что достаточно нам будет в грядущем обновленном Союзе России, Украины, Белоруссии и Казахстана, словом, несли этот геополитический умозрительный бред, почерпнутый в основном из брошюры Солженицына "Как нам обустроить Россию". В ответ наши собеседники молчали, хмурились, покачивали головами...

А. вскоре по возвращении в Союз я получил из США письмо от нашей соотечественницы, которая слышала нас на одной из встреч в Нью-Йорке.

"Была на собрании, где все вы выступали. Должна сказать, что многие были разочарованы. Оказывается, ваши представители не прочь, чтобы советская страна

была расчленена, чтобы республики отошли. Удивляюсь, как могут об этом даже думать российские патриоты?

Сколько крови пролили наши предки, собирая отечество, отстаивая его от врагов и интервентов. А теперь вы сами этого хотите...

До Горбачева русское советское общество было морально здоровым. Не было проституции, не было наркомании. Ученики в школах были замечательными. Дикарская музыка с пошлыми кривляниями запрещалась. И правильно. Запреты нужны, особенно для молодежи. Все это погибло с приходом Горбачева. Он сам помог Западу развернуть общество. После страшных войн — Гражданской и Второй отечественной — общество оставалось самым высокоморальным в мире. Какая была замечательная молодежь! Я же помню те времена!

Немцы не могли поверить, что все остовцы-девушки были девственницами. Какие были герои во время войны! Голод и холод ту молодежь сломить не могли. А теперь в мирное время ее разложили за несколько лет.

В некоторых ваших выступлениях идеализируется монархия. Живя в России до войны, я симпатизировала

310

монархии. Но, поселившись в Штатах, многое прочтала о ней. И пришла к выводу: революции не быть не могло.

Почему были побеждены белые в гражданскую войну, да когда еще им помогала Европа? Потому что народ не хотел монархии. А вы ее сейчас захотели. Так кто же виновен в революции, не те ли, из-за кого миллионы русских солдат погибли в Первую мировую?

Отменили крепостное право в 1861 году, и лишь в 1910-м Столыпин решил провести земельную реформу. Не могли разрешить аграрного вопроса за 50 лет!

Кто-то из вашей делегации сказал: "Историю народа не писали после 1917 года". Неправда! Я училась на историческом факультете и свидетельствую — в общих чертах история преподавалась правильно. Кроме окончательных выводов. (Я не говорю об истории 30-х годов.) Да и вообще истории объективно точной нет ни в одной стране. Я интересовалась, живя за границей, польской и немецкой историей. В них искажений преднамеренных куда больше, чем было у нас. Недавно прочла книгу "History of the Russian civil war" W. Bruce Lincoln. Автор — антикоммунист. Но он описывает, как вела себя во время гражданской войны белая армия. Неудивительно, что они не победили. Народ не поддерживал их. Автор пишет об этом с сожалением, ибо он хотел бы, чтобы они победили... Извините за длинное письмо и ошибки. Я ведь училась на украинском языке, я украинка, но не сепаратистка. Я хочу, чтобы была Великая Россия. Надежда Ковтуненко. 2.7.1990 г." Вот какие советы давала русская патриотка нашим монархистам — Святославу Рыбасу, Олегу Михайлову, Виктору Лихоносову, Павлу Горелову да и всем нам, живущим в Советском Союзе, видевшим изъяны и пороки советского образа жизни, но в упор закрывавшим глаза на достижения ее великой цивилизации.

Поистине — "большое видится на расстоянии". Да, мы не "прогнулись" перед сворой еврейских журналистов, но в разговорах с русскими людьми вели себя растерянно, непоследовательно и порой желали понравиться им, забывая многое или умалчивая о многом, о чем мы не должны были ни забывать, ни молчать. Но как хотелось почувствовать себя одним народом с ними! Как не хотелось омрачать их радость и огорчать наших гостеприимных соотечественников!

Впрочем, многое зависело от того, с кем из русских людей приходилось нам встречаться за рубежом. Повторялась обычная, старая как мир история. Эмиграция тоже была как бы разделена на "элиту" и "народ". Простые, рядовые, обычные

311

русские люди вроде Надежды Ковтуненко, Марии Шиклуны, Владимира Хороще, Николая Немытченко, Натальи Евангелисты, Ивана Гуменюка, Александра Лизогубова понимали историю и жизнь куда естественней, терпимей, нежели Родзянки, Будзиловичи,

Гагарины, Шаховские, Трубецкие, Волконские... и другие представители любой эмигрантской знати — либерально-масонской, монархической, власовской, церковной. Последние были более ангажированы, более тесно связаны с властями и высшим чиновничеством тех стран, где они проживали, со спецслужбами, с департаментами, с радиостанциями, с газетами и журналами, с деньгами, с идеологией "свободного мира".

До сих пор "непримиримые" историки из высшего слоя русской эмиграции никак не могут спокойно и объективно осознать антирусскую суть власовской идеологии и власовского движения. В краткой справке о "жизни и гибели генерала Андрея Андреевича Власова" председатель Конгресса русских американцев до сих пор клеймит большевиков, "отдавших немцам половину России и заключивших с ними позорный Брестский мир"...

(Как будто не те же большевики вскоре вернули все, что было отдано, обратно, а к 1946 году восстановили "единую и неделимую" в прежних ее границах.)

При этом Будзилович стыдливо умалчивает о том, "что Власов не был противником отделения прибалтийских государств от России, так же как и кавказских и среднеазиатских республик, "что программа Власова предусматривает национальное освобождение всех народов СССР и при желании их полное отделение от Российской империи" (газета "Русская жизнь", издающаяся в Америке, от 5.12.1998).

Так кто же был разрушителем, а кто собирателем "единой и неделимой" — большевики или Власов, которым, по словам того же Будзиловича, "был создан Комитет освобождения народов России (КОНР), на равных заключивший с Германией договор о совместных действиях против СССР". Конечно, ельцинизм, окончательно разрушивший "единую и неделимую", был обязан объявить Власова своим предшественником. Однако узник сталинских лагерей Иван Солоневич так писал в послевоенные годы о Власове: "Ни Власову, ни его движению я не сочувствовал никогда. Это обреченное движение. Из него ничего не выйдет и ничего выйти не может. То, что я пишу... будет для власовцев неприятно, вся эта эпопея была сплошной политической ошибкой".

312

* * *

"Америка — свободная страна", — первое, что мы услышали из уст одного из руководителей сан-францисской общины В. Гранитова. Думает ли он, как мне помнится, выросший в Сербии, сейчас так же, как 10 лет тому назад?

Русские люди, свободные от идеологических шор, думали об Америке и России иначе, в отличие от "эмигрантской знати", считающей Америку "самой свободной страной".

В течение нескольких лет — с 1991-го по 1995-й — я переписывался с подписчицей "Нашего современника" русской женщиной Ниной Виноградовой, 50 лет живущей в одном из маленьких городов американского Юга. Отдельные заметки из ее писем всегда были интересны для меня.

"Американцы не знают ни Майн Рида, ни Твена, ни Купера. О Кервуде и других писателях никогда не слышали. В школах учили 15—20 лет назад "Крестный " Поццо, а теперь только о Холокосте и СПИДе "

"Посылаю Вам вырезку из сегодняшней нью-йоркской газеты. "Коммунистка " жжет фото Ельцина ". Я этому не верю. Кошерная газета врет. Они называют русских, которые не хотят разврата, воровства, расчленения, голода, засилия нерусских — коммунистами. Но я этого не хочу! Это так оке, как здесь порядочные, моральные враги педерастии называются "нацистами "

"Надо, чтобы Ваш журнал читали русские дома. Здесь настоящих русских почти нет. К сожалению, русские здесь 98 процентов читают "Новое русское слово " и повторяют его русофобию и ложь. Но кто они? Дети и внуки масонско-либеральной интеллигенции, которая сделала февральскую революцию, дала "права" "Богом избранному народу", съела, как термит, Русскую монархию и бросила остатки сионистам.

Эти потомки никогда не осуждали своих отцов и дедов. В "Конгрессе русских

американцев" их гнездо. Я к нему не принадлежу, так как не считаю себя "американкой", а русской, случайно попавшей в Америку".

"Меня убивает настроение русских в Вашей стране — обожают США! Не за что! Не в еде и джинсах дело. Убийства, аморальность, читать нечего, смотреть — тоже. Я была 4 раза в кино за 12 лет. Оперу закрыли — только рок. Цензура — страшная..."

"Банки и чеки в США — это паутина, которая опутала всех нас, гоев. Теперь еще везде эти компьютеры, которые всю информацию собирают, хранят и употребляют против граждан.

313

Каждый раз, когда выдаешь чек, компьютер знает, кому и за что. В магазинах даже спрашивают адрес. Я не даю!"

"Эмигранты умирают. За январь к нам в библиотеку, где я работаю волонтером в русском отделе уже 13 лет, внуки умерших пожертвовали 140 книг. Умерло трое стариков. Один застрелился. Старики умирают не от старости, а с горя, я в этом уверена. Мы все надеялись, что хоть умрем на Русской земле".

"Мы ведь шабры. Мои корни нижегородские, как и Ваши. Все Виноградовы, начиная от отца, родом из городишки Сергача. "Сергач — славный городочек, много в нем цветет садов. На реке стоит Сергачке, смотрит задом к селу Ачки". Я страшно горжусь, что я нижегородская, как Минин..."

А вот к характеристике западного общества отрывок из еще одного письма, правда, не из Америки, а из Парижа, от известного в эмиграции журналиста и писателя Вл. Рудинского. Я познакомился с ним и с его другом, бывшим казаком Сергеем Слюсаревым, в 1990 году во время поездки во Францию.

"Умер наш общий знакомый Сергей Степанович Слюсарев. Фактически от голода. Он получал мизерную, совершенно недостаточную пенсию.

В Париже Вам никто не помешает умереть с голоду, умирают, бывает, и французы. Как-то раз в газетах писали, что умерла мать с тремя детьми, запершись в комнате. Никто, конечно, помочь и не подумал. Зато когда другая, тоже с голодными детьми, украла в большом магазине кусок мяса, — ее засудили надолго в тюрьму. Частная собственность священна и неприкосновенна! Такова Западная демократия, а вы ее так боготворите...

Впрочем, недавно с триумфом оправдали и отпустили на волю мерзавца, изнасиловавшего семилетнюю девочку, но имевшего влиятельных родственников и потому первоклассных адвокатов (некоего Романа). А родных жертвы и даже жандармов, выполнявших свой долг, на суде строго отчитали, аж с угрозами... В теперешнем мире сплошное безумие, впрочем, теперь у Вас тоже, с чем и поздравляю! 27.04.1994 г. "

Парадоксальнее всего то, что Рудинский всю жизнь послевоенную в своих писаниях оставался ярким антисоветчиком, а теперь причитает, что, мол, у Вас теперь тоже "сплошное безумие".

...Во время путешествия по Америке нами и нашими хозяевами произносились потоки восторженных, искренних и

314

сентиментальных слов, признаний во взаимной любви и симпатии, клятв о том, что мы вместе будем возрождать грядущую Россию...

"Скоро упадут последние баррикады, которые были созданы искусственно и так долго разделяли нас, и любой русский человек, по своему усмотрению, сможет в любое время ездить из России в Америку, из Сан-Франциско в Россию", — так говорил мой покойный товарищ Эрнст Сафонов. Картина в его воображении рисовалась аналогичная той, которую представляли себе Троцкий и Луначарский после победы мировой революции и которую живописали в своих поэмах великие поэты революционной эпохи Есенин и Маяковский.

Все эти речи сдабривались рукопожатиями, объятиями, улыбками, стопками смирновской водки, грудями домашних пельменей на громадных блюдах, все это повторялось в Русских центрах, в частных особняках, в номерах наших гостиниц, куда, как правило, провожали нас все жаждущие продолжить радостную эйфорию общения...

Мы еще не прочитали книги Ивана Солоневича "Великая фальшивка февраля", еще не задумались о том, что многие из тех, с кем мы обнимаемся и обмениваемся визитными карточками и тостами, бывшие офицеры и солдаты власовской армии, мы еще не подозревали, что рано или поздно они потребуют от нас проклясть победу в Великой Отечественной, отречься от крови, пролитой нашими отцами и старшими братьями, и склонить голову перед лживым мифом о том, что Советский Союз победил Германию лишь потому, что Сталин забросал телами солдат жерла немецких орудий и гусеницы "тигров".

Монархист Олег Николаевич Михайлов клялся нашим соотечественникам: "Господа! Мы создаем общество "Россия" по связям с русскими, подлинно русскими людьми зарубежья. Мы предполагаем осенью созвать Всемирный Собор, куда хотим пригласить всех русских людей, включая и Владимира Кирилловича! С нами Бог, господа!"

Это состояние, эта эйфория была, конечно же, сродни той, которую испытывала русская либеральная интеллигенция во время "бархатной" и "бескровной" февральской революции, когда все — вплоть до Великого князя — украсили себя красными бантами и обнимались, приветствуя свободу и демократию...

Из газетного отчета сан-францисской "Русской жизни" от 5 мая 1990 года:

315

"После молитвы вновь вспыхнули горячие разговоры, вопросы, ответы. Публика шумела, все были взволнованы встречей, ощущением единения, причастности всех присутствующих к великой культуре. Но вот слово взял Николай Николаевич Петлин — и публика в зале смолкла.

— Я хочу сказать, что такого момента — встречи с нашими русскими соотечественниками, тем более — представителями литературы, мы такого момента ждали всю жизнь. Семьдесят лет у нас не было никакой связи, диалога с нашим народом. Мы жили в разных мирах, мы знали, как страдал, как был уничтожен, угнетен наш русский народ, но мы не могли помочь ему, мы не могли связаться с нашими людьми. Мы не могли с ними поговорить, сидя за столом, как это происходит в данный момент. Нет слов, чтобы выразить глубину нашего чувства", русского чувства. На пороге громадных событий, которые происходят в России, в тот момент, когда мы чувствуем и знаем, что русский народ просыпается, что он осознал, понял — кто он, люди вернулись к своим историческим корням и уверены в том, что будущее России будет светлым. Россия будет свободной страной, основанной на принципах справедливости и взаимоуважения". Вот какой прекраснотушной риторикой заполнялись многие наши встречи с соотечественниками в Америке, и, как это ни печально, ответные наши чувства были не самыми трезвыми. Когда Олег Михайлов в доме богатого русского человека Алексея Ермакова с талантом и вдохновением после нескольких рюмок стал своим красивым баритоном исполнять советские песни о Сталине — "От края до края", "Артиллеристы, Сталин дал приказ", "В бой за родину, в бой за Сталина", — это было не просто веселым хулиганством. Бывшие власовцы и старики из первой эмиграции встретили его артистическое кощунство с восторгом и бурными аплодисментами... Они почувствовали в этот момент некую свою историческую правоту в противостоянии "совдепии" "коммунистам", "Сталину"... Да, да, ему. Имя, которое несколько десятков лет тому назад повергало их души в мистический ужас, ныне на их глазах высмеивалось и умалялось не кем-нибудь, а представителями той державы и той эпохи, с которой они вели борьбу не на жизнь, а на смерть...

"Наше дело правое", — можно было прочитать на их старческих вдохновенных лицах...

"Человечество, смеясь, прощается со своим прошлым" — этот коварный тезис Маркса

всегда вызывал во мне сопротивление. Когда в университете мы проходили античную

316

литературу, то я с брезгливостью читал Аристофана, высмеивавшего героическую эпоху Эсхила и Софокла.

Самой антирусской и глумливой книгой русской классики XIX века для меня была "История одного города" Салтыкова-Щедрина. О литературных мародерах нашего времени — Войновиче, Искандере, Жванецком и вспоминать-то не хочется.

— Господа! — завершил наше сан-францисское застолье Олег Михайлов. — Когда в нашей армии политическое воспитание будет заменено чтением молитв, когда место политруков займут полковые и ротные священники, то Россия будет непобедима! — он лихо опрокинул рюмку, утер рукавом новенького твидового пиджака, только что подаренного ему Ермаковым, губы и, к восторгу русских американцев, выбросил руку вперед: — Слава России!

Точно такую же сцену через десять лет (летом 1999 года) я увидел во время встречи художника Ильи Глазунова с молодежью. Тот же возглас, та же вскинутая длань. Только Илья Сергеевич заявил, что русские войска будут непобедимы, если в каждой воинской части кроме православного священника солдат будут еще "окормлять" и "раввин и мулла..."

С Олегом Николаевичем Михайловым я приятельствовал с начала 60-х годов.

До сих пор помню впечатление, которое произвела на меня его блистательная статья об "одесской школе" советской литературы.

При наших встречах он нередко с удовольствием артистически юродствовал:

— Я, братец, только что из Переделкино. Помыл спинку Мише Алексеву, на очереди Юрий Бондарев, за ним Ваня Стаднюк (так он говорил о своих статьях или даже монографиях, посвященных творчеству вышеупомянутых писателей).

— Жить-то, братец, надо! — как бы оправдываясь, разводил руками Олег Николаевич. Он не был фанатичным крамольником, скорее, главным свойством его талантливой природы было то, что выражено в народной поговорке: "Ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца". Вот он и заливался как соловей на наших встречах и пресс-конференциях, то сообщая о том, что советская власть вот-вот рухнет: "достаточно было народу пошевелить бровью, я говорю о забастовке шахтеров, как земля содрогнулась", то, к восторгу высшего слоя русских американцев, живущих в "свободном мире" и потому никогда не желавших касаться опасного еврейского вопроса, заявлял: "Главным дьяволом был не еврей, а Ленин". Кстати, наше трехчасовое словесное сражение с еврейскими журналистами

317

в Кеннановском центре, опубликованное аж на шести полосах (!) в трех номерах русскоязычной газеты "Новое русское слово", было озаглавлено именно этой Михайловской сакраментальной фразой.

В предпоследний день нашего пребывания в Америке я был приглашен на разговор в "Нью-Йорк тайме". Наш переводчик Николай придавал очень большое значение этому визиту.

— В "Нью-Йорк тайме" обещали подвести итоги вашей поездки, объективно рассказать о ее результатах, защитить вас от клеветы и нападок... Так что будьте внимательны в разговоре с сотрудниками...

Но все произошло не так, как предполагал наш русский друг. Меня встретили трое или четверо вылощенных, прекрасно одетых и мрачно настроенных высокопоставленных журналистов, похожих то ли на Александра Чаковского, то ли на Александра Кривицкого, и устроили мне на прощанье чуть ли не перекрестный допрос все на ту же тему: "антисемитизм", "погромы", "русский национализм".

Положение осложнялось тем, что я был один, без своих товарищей, все-таки вместе нам всегда было легче отбиваться, но тут, сообразив, что надеяться не на кого, я, закусив удила, пошел в контратаку и наговорил много такого, отчего у моих собеседников глаза

загорелись зловещими огоньками, их ноздри от возбуждения, вызванного нашим спором, стали хищно подрагивать, и вскоре, перекинувшись двумя-тремя словами друг с другом, они заявили мне, что наша пресс-конференция закончена.

Чертыхаясь и упрекая переводчика Колю за то, что он настроил меня на совсем иной тон разговора, я выбежал из роскошного подъезда на улицу.

Вечером, дочитывая в гостинице все тот же роман Томаса Вулфа, я понял, с людьми какого склада мне пришлось разговаривать в "Нью-Йорк тайме".

В одной из лучших сцен романа Вулф изобразил, как перед Великой депрессией писатели и актеры встречаются в доме их общего мецената, пьют, влюбляются, острят, прожигают жизнь. В центре внимания беспутная, хмельная красавица англосаксонского происхождения, окруженная похотливыми стариками (Сусанна и старцы!). Писатель Хук Стивен смотрит на нее и с печалью думает:

"Бедное дитя! Наша жизнь такая короткая, мимолетная, преходящая, оба мы отпрыски младшей ветви человечества. А посмотри на этих! Он огляделся: вокруг надменной усмешкой кривятся губы, раздуваются чувственно вырезанные ноздри.

318

Да, эти — более древней закваски, эти не дряхлеют, вечно возрождаются, вечно дерзают, но мудро остерегаются пламени... они-то не сгинут! О, время! О бедное дитя!"

Я вошел в вестибюль гостиницы, огляделся, увидел в углу толстого человека с одутловатым лицом, который при моем появлении торопливо поднялся с кресла и пошел ко мне навстречу. "Борис Парамонов!" — с досадой подумал я. Этот журналист с радиостанции "Голос Америки" постоянно надоедал мне по телефону, упрашивая, чтобы я дал интервью. Но я, не желая иметь с ним дело, постоянно отказывал ему.

— Станислав Юрьевич! — жалким голосом произнес Парамонов.

— Нет, нет, извините, я уже все Вам сказал, никаких интервью, — холодно отрезал я. — Вы много выдумываете и лжете в своих передачах.

— Стасик, милый! — вдруг раздался за моей спиной родной, рокошущий голос. Я оглянулся. Возле лифта стояли два красавца.

Паша Горелов, талантливый молодой человек, в недавнем прошлом боксер, которого за выправку и статью я звал "юнкером"... На его крепкое плечо опирался другой наш пожилой бонвиван, седовласый, хмельной и, наверное, потому трогательный и артистичный Олег Михайлов.

— Стасик! — он не просто протянул, а выбросил навстречу мне каким-то изысканным движением свои руки... — Нам пора в Россию! А мы почему-то еще здесь... Спиритус Морти — неотступно преследует меня. Я не могу заснуть! Посиди со мной вечером, друг мой!

Леонид Бородин, стоявший в вестибюле с неизменной сигаретой в сурово сжатых устах, с безгловым отвращением глядел на замечательную сцену. "И это — надежда России!" — было начертано на его скорбном, аскетическом лице.

— Олег Николаевич! Пойдемте в номер, пойдемте! — юнкер Паша Горелов ловко и твердо затолкал прослезившегося Олега в лифт и, не дав ему произнести больше ни слова, нажал кнопку....

Я только что и успел погладить на седую шевелюру Олега, уронившего в отчаянье свою голову на мое плечо, и прошептать вслед за Томасом Вулфом: "О время! О бедное дитя!"

"Отойди от меня, сатана!"

Мое сопротивление "перестройке". 19 августа 1991 года. Захват Евтушенко и К⁰ кабинетов Большого Союза., Маразм победителей. Женщины Великой Криминальной. Схватка на Комсомольском проспекте. Нашла коса на камень. Зализываю раны на берегах Метры. Облава. Русскоязычные наследники культуры, "цестные еврейки и прочая шволочь" (А. Чехов). Мы

Надо сказать, что мы, поколение русских литераторов, вошедших в писательскую среду в начале шестидесятых, серьезнее и точнее ощущали все опасности, надвигающиеся уже в то время на нашу жизнь, нежели поколение наших отцов и старших братьев.

Все они, по-своему незаурядные и популярные, а иные и талантливые писатели, Герои Соцтруда, лауреаты, формально обладавшие большой властью, на деле были людьми осторожными, расчетливыми, чересчур бережливыми по отношению к себе и своему литературному имени, чересчур зависимыми и от воли каждого идеологического чиновника той эпохи, и от привычек ко "льготам и привилегиям", которыми они пользовались за верную службу...

Во многих делах они шли на сомнительные компромиссы с властью, трепетно оберегая свои репутации, собрания сочинений и гонорары, иногда поступаясь в судьбоносные минуты и национальными интересами, и честью, и правдой...

Помню, как они "сдали" идеологам из ЦК Юрия Селезнева. Один Проскурин разве что на секретариате пытался защитить его...

320

В отличие от многих своих литературных соратников, я, сделавший ставку в своей судьбе на независимость, старался никогда ничего ни у кого не просить. Я понимал, что писатель, если он хочет обладать свободой выбора, не должен "продавать душу" ни государству, ни литературным чиновникам. А потому, когда мне понадобилась квартира, я заработал денег и купил кооперативное жилье, появилась нужда в даче — поехал по Подмосковию, нашел и приобрел деревенскую избу.

Но зато я всегда имел право с брезгливой усмешкой глядеть на Межирова, Шкляревского, Преловского, часами сидящих перед кабинетами Маркова, Михалкова, Селихова, дабы получить квартирку либо дачку в Переделкино, урвать лишнее изданию либо престижную командировочку в "капстрану".

А мне было интересней съездить туда, куда никто не жаждал ехать: в Афганистан, либо на Кубу, либо на съезд палестинских писателей... Даже своим любимым поэтам я не позволял вторгаться в сферу моей независимости. Помню, как послал куда подальше Ярослава Смелякова, который с хамской бесцеремонностью попытался учить меня уму-разуму. А со Слуцким у нас вышла настоящая ссора, когда он за мою жесткую статью о творчестве Окуджавы начал было воспитывать меня, что я, мол, "борюсь не с теми, с кем следует".

Помню, как я буквально заставил секретариат Союза писателей России в 1990 году выслушать прочитанную вслух мою статью "Обслуживающий персонал" об Александре Яковлеве, только что введенном Горбачевым в Политбюро. По тем временам статья была предельно резкой и стала откровением для наших литературных генералов. Под одобрительный их ропот по моей подсказке было принято решение опубликовать ее в "Литературной России", что было бы чувствительным ударом для "архитектора перестройки". Статью набрали, и я со дня на день ожидал ее выхода в свет.

Но, увы, время шло, а статья в газете не появлялась. Эрнст Сафонов — честный, но послушный человек — при встрече со мной отводил глаза и лишь спустя года полтора признался, что ему позвонил Юрий Бондарев и отсоветовал печатать... И это Бондарев — самый смелый из писателей военного поколения, произнесший незадолго до этого знаменитые фразы об "украденном фонаре гласности" и о самолете, поднявшемся во время перестройки с аэродрома без обозначения маршрута и места посадки. Видимо, он еще надеялся на какие-то разумные соглашения с властью, на чем я уже поставил крест.

Произносить на съездах и пленумах эффектные фразы в

321

то время было легче, нежели организовать сопротивление высокопоставленным ренегатам.

Ореол популярности, тепличный климат государственного внимания и лести в

условиях перестроечного дискомфорта часто "выбивал из седла" наших русских советских классиков. Я помню, каким ударом для Бондарева было то, что его, постоянного депутата многих созывов Верховного Совета СССР, вдруг в 1990-м не выбрали в высший орган власти... Да где?! На Сталинградской земле, его, автора бессмертных повестей "Горячий снег" и "Батальоны просят огня"... Его, знаменитого фронтовика, променяли на какого-то мальчишку-демагога, молокососа, комсомольского работника! Как тогда торжествовал "Огонек", смакуя поражение русского писателя. Конечно, никто сейчас и не помнит фамилию бондаревского конкурента, и никто знать не знает, куда он делся, но и Бондарев тогда сам был виноват в происшедшем. Он, понадеявшись на свое имя, в той избирательной кампании не вышел в народ, не убедил людей в своей правоте, не понял, что эпоха бесстыдной демагогии требует полного напряжения сил, чтобы не проиграть евтушенкам и коротичам, ставшим нардепами и властителями дум последнего съезда Советов... Их агрессивная наглость, помноженная на энергию нового поколения политиков типа Бурбулиса, Гайдара, Шахрая, Собчака (ну не имена, а клички собачьи!), тогда восторжествовала над здоровым консерватизмом, привычкой к дисциплине, растерянностью и политической робостью многих казавшихся сильными и влиятельными русских людей. К тому же крыша у нашего избирателя-обывателя к 1991 году от ежедневного мощного промывания мозгов поехала окончательно. Я понял это в один из своих приездов в Калугу, в тот страшный год... Мой старый калужский товарищ задрал небритый седой подбородок так, что напряглась морщинистая, исхудавшая шея, и в несколько глотков засосал полстакана домашнего дурного самогона, осторожно поставил стакан на липкую клеенку и, выдержав долгую паузу, ни с того ни с сего произнес, как бы продолжая с кем-то невидимый давний спор: — Нет, что ни говори, а Сталин — тиран! Я смотрел на него — худого, старого, одетого в какую-то рванину. Один ботинок лопнул, и сквозь трещину торчат грязные скособоченные пальцы — носков почему-то нету. Смотрел и думал о том, что всего лишь несколько лет тому назад он был весьма преуспевающим инженером на своем заводе, но началась смута, он заразился ее вирусом, бросился в политические споры, демократические тусовки и даже не

322

понял, как случилось, что его завод начал медленно разваливаться, — и в один прекрасный день мой правдоискатель очутился за воротами проходной... Вот тогда-то я впервые с ним, уже безработным, попытался поговорить о тайных целях перестройки. Он молча и недоверчиво слушал, а когда я закончил, то ни с того ни с сего выпалил:

— Нет, что ни говори, а Сталин — тиран!

Его жена, властная, практичная женщина, отправила его, почти старика, на заработки в Карелию — строить дороги. Целый год он мучился там в общаге бок о бок с бомжами и вчерашними зеками, не выдержал, сбежал и сейчас сидел на дачном хозяйстве, в щелястом деревенском домике, окучивал картошку, кормил кур, гнал самогонку... И когда я говорил ему: посмотри на себя в зеркало — как ты, вчерашний инженер, опустился, перестал бриться, в чем ты ходишь, тебе даже не с кем здесь поговорить, живешь, как батрак на выселках, о такой ли жизни ты мечтал на старости лет, — когда я говорил ему это, он недоверчиво слушал, его "компьютер" медленно обобщал все сказанное мною, — и вдруг выдавал нечто такое, что заталкивалось во все клеточки его существа в последние годы:

— Нет, что бы ты ни говорил, а Сталин — тиран!

И довольный, он ухмылялся, словно бы в очередной раз победил меня в тяжелейшем споре.

Когда таких несчастных роботов в нашем государстве стало большинство, демократическая власть пошла ва-банк.

Из дневника тех времен

Удручает непреходимая пошлость нынешней политической и идеологической жизни. На экране Шеварднадзе. Мямлит на ломаном русском языке нечто общечеловеческое; что, мол, готов способствовать демократическим реформам где угодно, куда бы ни

пригласили: в Тбилиси, в ООН, в любой американский университет, в фонд имени Горбачева, произносит слова "цивилизованный мир", "рыночные отношения", а я вспоминаю запись из дневника Александра Блока, который в голодном Петрограде 1918 года приходит в свою вымерзшую квартиру, слышит за стеной громкий голос какого-то благополучного дельца, проникающий с нечеловеческой энергией пошлости сквозь стену, и несчастный, уже предчувствующий свою гибель великий поэт шепчет в мировое пространство: "Отойди от меня, Сатана! отойди от меня, буржуа. Только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше

323

я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, Сатана".

Выхожу на улицу. Голодные орды великих стариков и старух, победителей фашизма, уныло толятся у магазина, в Карабахе только что рухнул на землю и сгорел вертолет с детьми и женщинами, у моего знакомого взломали дверь в квартиру и унесли все, что попало под руку, но Александр Яковлев, только что вслед за Шеварднадзе возникший на экране, опять вальяжно размышлял про общечеловеческие ценности. А вслед за ним даже астрологи — вроде бы по звездам читающие судьбу земли — толкуют о том, что завтрашний день будет благоприятным для коммерческих сделок лишь до обеда... "Звездное небо работает на "Менатеп" и "Экскарамбус"!".. Отойди от меня, Сатана!

Неужели народу не понятно, что "демократические свободы" для населения неизбежно связаны с резней в Карабахе, с обугленными телами в Фергане, с растерзанными русскими юношами в Андижане. "Порвалась цепь великая"... На одном конце цепи освободившаяся мафия и продавшаяся ей так называемая творческая интеллигенция, пьющая из хрустальных фужеров на сходках предпринимателей шампанское, а на другом — обугленные тела с перерезанными глотками, без принесения в жертву которых не было бы возможности вещать по Российскому телевидению дурными голосами: "Рэмбо! Вас раздевают, но мы Вас оденем!!"

* * *

...19 августа в Калуге меня разбудил телефонный звонок моего друга Алексея Золотина.

— Станислав! В Москве переворот... Горбачев отстранен от власти... Говорят, по болезни...

Я умылся, прыгнул в машину и помчался в Москву. После Малоярославца вклинился в танковую колонну (лишь бы случайно не раздавили!). Я махал рукой из машины танкистам, по пояс торчавшим из люков, они улыбались, жестикулировали и тоже что-то кричали мне. На душе было и радостно (неужели кончается горбачевское гнилое время?!) и тревожно... Зачем такая громада стальных чудовищ?

Знают ли они, зачем движутся в Москву? Все чаще и чаще на шоссе встречались заглушенные танки и бэтээры, съехавшие в кюветы, выползающие на шоссе с помощью других машин. На душе от этой неразберихи по мере приближения к столице становилось все надсаднее.

324

20 августа 1991 года собрался секретариат Союза писателей СССР. Он стал последним секретариатом, поскольку на него явился человек из окружения Янаева — поэт Сергей Бобков и потребовал, чтобы писательская верхушка поддержала ГКЧП...

Сергей Бобков был сыном Филиппа Денисовича Бобкова, одного из самых влиятельных чиновников КГБ, со времен Андропова ведавшего отделом по "работе с интеллигенцией", первого заместителя министра КГБ.

Стыдно было смотреть, как этого бездарного стихотворца-авангардиста, носившего на себе все признаки физического вырождения — узкогрудого и мутноглазого, соперничая друг с другом, обхаживали вожди и лидеры двух номенклатурных кланов — русского и еврейского.

С одной стороны в поисках пути к сердцу Бобкова-старшего под его сынка подбивал клинья крупный функционер московского литературного еврейства — драматург Михаил

Шатров. Он даже свой революционный этюд "Синие кони на красной траве" написал в соавторстве с Бобковым-младшим.

Однако наши русские умельцы тоже не дремали: в середине восьмидесятых годов Сережа Бобков вдруг стал человеком, близким Анатолию Иванову и Владимиру Фирсову, книги его одна за другой начали выходить в главном комсомольском издательстве, фамилия сразу появилась в списке редакционных коллегий "Молодой гвардии" и русско-болгарского журнала "Дружба". И вообще о нем начали заговаривать как о крупном явлении русской поэзии то Игорь Шкляревский, то Олег Шестинский, то Егор Исаев... Об этих страницах нашей литературной жизни можно вспоминать лишь со стыдом, особенно отдавая себе отчет в том, что Филипп Бобков ныне один из главных советников Гусинского в Мост-банке, а имя его сына-литератора, "как струйка дыма", навсегда растаяло в постперестроечном воздухе.

Тем не менее 20 августа умудренные жизнью секретари Большого Союза — Сергей Михалков, Феликс Кузнецов, Николай Горбачев, Юрий Грибов не клюнули на провокацию Бобкова-младшего. Опытные функционеры, как им показалось, нашли выход из щекотливого положения. Они заявили эмиссару Янаева, что ситуация с ГКЧП еще не ясна и надо какое-то время подождать, присмотреться к событиям, словом, не торопиться...

Однако дело было сделано. "Малая провокация", заключающаяся в том, что троянский жеребенок проник в кабинет Маркова и вел какие-никакие, но все-таки переговоры с писа-

325
тельским ареопагом, была зафиксирована апрелевцами, жаждущими власти.

23 августа они (Евтушенко, Черниченко, Бакланов, Евг. Сидоров, Адамович, Карякин, Оскоцкий, Ананьев и другие, ну и, конечно же, соавтор Сергея Бобкова Михаил Шатров!) съехались на ул. Воровского и постановили:

"Рабочий секретариат СП СССР в течение длительного времени поддерживал антидемократические тенденции в Союзе писателей и в дни переворота 20 августа вел недопустимые переговоры на своем заседании с С. Бобковым — представителем главы заговора Янаева — и не выразил в этот решающий момент своего осуждения действий хунты". (Формулировки по своему фарисейству и демагогии достойны того, чтобы остаться в истории!)

Далее литературные ренегаты, захватившие коридоры власти, естественно, приняли решение "отстранить от работы секретарей Союза писателей С. Колова и Н. Горбачева за недостойное поведение во время путча", а "секретарям правления СП СССР Ю. Грибову, Ф. Кузнецову, Ю. Верченко предложить подать в отставку за их двусмысленное (! — С. К.) поведение".

Второй пункт постановления был также замечателен по накалу чекистской злобы и литературной зависти, которыми дышала каждая буква эпохального документа: "Расценить публикацию "Слова к народу", подписанного Ю. Бондаревым, В. Распутиным, А. Прохановым, как идейное обеспечение антигосударственного заговора и потребовать подать в отставку с постов секретарей правления СП СССР и СП РСФСР".

Третий пункт был доносом и одновременно малограмотным заверением в своей лакейской преданности новому нарождающемуся режиму:

"Расценить идейную направленность газеты "День", "Литературная Россия" и журналов "Наш современник" и "Молодая гвардия", как проповедь национальной розни, как призыв к антидемократическим действиям..."

Тут же временщики "в связи с чрезвычайными обстоятельствами" ввели в секретариат А. Рыбакова, Ю. Карякина, А. Нуйкина, А. Приставкина, ну и, конечно же, Виктора Астафьева, с радостью принявшего почетное предложение. Наконец-то осуществилась мечта его жизни и он стал литературным генералом!

С садизмом победителей они зафиксировали слабодушие и жалкую жажду самосохранения у некоторых членов прежнего секретариата, дезертировавших или сдавшихся на их милость:

"Удовлетворить просьбу Ю. Грибова об освобождении его от обязанностей секретаря правления СП СССР", "принять к сведению заявления секретарей СП СССР гг. Суровцева Ю. П. и Скворцова К. В. в том, что они не присутствовали на заседании рабочего секретариата СП СССР 20 августа 1991 г. и факт переговоров с представителем Янаева С. Бобковым осуждают", "осудить бегство от столь ответственного секретариата С. Колова, Н. Горбачева и считать их выбывшими из секретариата"...

Снисходительно отнеслись лишь к одному Михалкову. Дело в том, что в это время шла подготовка к 9-му съезду писателей, но для захвата власти и имущества надо было сломать жизнь Союза и его структуру, похоронить съезд, чему и помог "дядя Степа": "поддержавший эту идею С. Михалков добровольно сложил с себя обязанности председателя Оргкомитета по подготовке 9-го съезда", — с удовлетворением отметила услужливость Михалкова евтушенковская хунта...

Дни могучей организации, созданной по воле Иосифа Сталина и Максима Горького, были сочтены.

Из дневника тех времен

"Эмигрируют лучшие умы, уезжает техническая, культурная, научная элита, утекают мозги!.." Эти панические комментарии то и дело вспыхивают на страницах самых разных газет. Чаще всего "элита, мозги, ум, честь и совесть" населения идентифицируются с еврейской эмиграцией, журналистские перья посылают проклятья обществу, выталкивающему своих "наиболее талантливых и образованных сыновей", которые вместо того, чтобы внести решающий вклад в возрождение отечества, едут черт-те знает куда продавать свои знания и свой гений за доллары, марки, фунты стерлингов.

Одновременно эти же органы печати и эти же журналистские перья клеймят наше государство, нашу систему и русский народ — которые вечно притесняли евреев, не давали им развиваться, ограничивали их возможности и таланты.

Однако, если журналистские перья правы в обоих случаях — и "насчет утечки мозгов", и на счет всякого рода "притеснений и ограничений", то дело заходит в тупик. Как же при традиционном русском государственном, имперском, а потом сталинском, а потом бюрократически брежневском государственном антисемитизме, при якобы жесточайших

327

ограничениях по приему в вузы, при бдительных кадровиках, "бывших кэзэбэшниках", не спускавших глаз с пресловутого пятого пункта, — как при всем этом сформировался мощнейший слой технической, научной, культурной и управленческой элиты, целый океан мозгов, настолько громадный и масштабный, что их нынешняя утечка становится чуть ли не катастрофой во всех областях знания? Дорогие мои коллеги из "Огонька", "Московских новостей", "Литературной газеты", объясните мне, как случилось, что если еврейская интеллигенция эмигрирует, то страна, как вы утверждаете, останется без специалистов чуть ли не во всех областях современного цивилизованного производства? Я-то, наивный человек, читая ваши размышления о том, что бедному еврейскому мальчику из интеллигентной семьи было в сталинские или брежневские времена получить высшее образование столь же трудно, как верблюду пролезть в игольное ушко, а потом столь же трудно устроиться на работу, одно время поверил в то, что они были забиты и подвержены такой же дискриминации, как индейцы в XIX веке в США, или как пуэрториканцы сегодня, или как темнокожие в ЮАР, или, в лучшем случае, как осетины в независимой Грузии... Ан вдруг вы же сами мне объяснили, что ваши угнетенные — это океан мозгов! Так ответьте мне прямо: "мозги" уезжают или несчастные, вымирающие от бедности люди второго сорта, не получившие ни знаний, ни дипломов, ни научных званий, забитые, оттесненные могущественными антисемитскими силами на задворки жизни? Достал я недавно коллективную фотографию нашего первого курса филологического факультета Московского университета. 1951 год. Как раз в период

между двумя сильными "кампаниями против евреев" — борьбой с космополитизмом (1949 год) и "делом врачей" (1953 год). Ну, думаю, может, "Огонек" действительно прав, уж в такое-то зверское время государственный антисемитизм достиг, видимо, высшей точки, и, наверное, прием евреев в университет был сведен до нуля. Гляжу на фотографию: молодые красивые лица в овальных рамочках, под каждым изображением — фамилия. Читаю: Владимир Блаунштейн, Сергей Будковский, Леонид Кацев, Арон Подольский, Фаня Малкина, Даль Орлов... Так и насчитал из двухсот двадцати первокурсников — около сорока еврейских юношей и девушек... Двадцать процентов! 1951 год.

Вот вам и государственный антисемитизм в разгар сталинизма.

328

По приезду в Москву из Калуги в ночь с 19-го на 20 августа меня разбудил телефонный звонок.

— Станислав Юрьевич! Вам звонит корреспондент "Независимой газеты" Юлия Горячева. Извините за позднее время, но нам хотелось бы знать, как Вы относитесь к тому, что указом ГКЧП закрывается ряд газет и тем самым ограничивается свобода слова, насколько Вы находите действия ГКЧП конституционными? — Чертыхнувшись про себя, я взглянул на часы: была половина третьего ночи. Конечно, если бы меня разбудил мужской голос, я бы послал интервьюера куда подальше, но голос был женский, молодой, привлекательный...

— Знаете, Юля, я хочу видеть свою родину единой, неделимой и независимой, я хочу, чтобы наша жизнь была надежной и прочной, как в прежние времена. Горбачевская смута разрушила устойчивость жизни. Ее надо вернуть или, по крайней мере, остановить сползание к окончательной разрухе. Счастье Родины—говоря высоким слогом—для меня дороже, чем свобода печати или даже свобода творчества. Если ради борьбы с горбачевщиной моя свобода будет в чем-то ограничена — я приму это как должное. А что касается "конституционности", то действия ГКЧП не менее конституционны или антиконституционны, нежели указ Ельцина о департизации. Он так же ущемляет мою свободу...

С тем же вопросом той же ночью ко мне обратились из радиостанции "Свобода", и я ответил им приблизительно теми же словами...

В течение нескольких последующих дней после "подавления путча" яростные шавки демократической прессы, сладострастно урча, обглаживали мои откровения, демонстративно злорадствовали: "Наконец-то, мол, проговорился", "пойман за руку", "вот они, его подлинные тоталитарные взгляды"...

Но через три месяца, за несколько дней до Беловежской катастрофы, в самый разгар охоты на ведьм в большом интервью, данном той же "Независимой газете" и той же Юле Горячевой, я еще раз, стиснув зубы, подтвердил, что убеждений своих, несмотря ни на что, — не меняю:

"...если бы мне предложили подписать "Слово к народу", считающееся идеологическим обеспечением действий ГКЧП, я не сомневаясь подписал бы его... Не думаю, чтобы Валентин Распутин был глупее мальчиков, шедших защищать Белый дом".

"Это была попытка спасти Союз от хаоса, анархии, развала. А если смотреть глубже — то произошло столкновение двух

329

сил в высшем эшелоне власти — национал-государственников с космополитической, компрадорской кастой".

И еще один отрывок из того же интервью:

"Слова об "идеологическом обеспечении" путча провокационны и демагогичны. С тем же успехом Сахаров, который выступал за отделение Карабаха, "идеологически обеспечивал" карабахскую резню. Собчак, который заключением своей комиссии способствовал приходу Гамсахурдии к власти, "идеологически обеспечивал" сегодняшнюю тиранию в Грузии, Шеварднадзе, который выработал униженные

условия исхода наших войск из ГДР, "идеологически обеспечил" недовольство армии против нынешней государственной власти".

Так думал не один я. Мой друг Александр Проханов в те же дни высказался в интервью "Комсомолки" не менее прямо и резко:

"Если выбирать между свободой и государственной идеей — то все мы отречемся от личной свободы. Пропади она пропадом, эта свобода: либо невыход иных газет — либо спасенное государство!"

В моем архиве сохранились краткие информации ТАСС тех дней. Некоторые из них весьма любопытны.

"22 августа. Заявление Высшего Совета Либерально-демократической партии от 19 августа 1991 года, в котором было заявлено о полной поддержке Высшим Советом перехода всех полномочий власти в руки ГКЧП, рассмотрено Министерством юстиции СССР. В этой связи председатель ЛДП Владимир Жириновский был приглашен в Минюст. Министр юстиции СССР Сергей Лущиков вынес Высшему Совету ЛДП предупреждение".

Забавно, что когда Жириновский днем 19 августа рискнул появиться у Белого дома, то, увидев его, с утра поддерживавшего ГКЧП, возбужденная толпа с криками "фашист!" обратила будущего непримиримого борца с коммунистами и советской властью в позорное бегство. Но ЛДП не закрыли, справедливо рассчитав, что Жириновский теперь "на крючке" и еще пригодится режиму в будущем. Попытались закрыть компартию, которая, ошеломленная предательством Горбачева, ничем по существу не поддержала ГКЧП. Самое большое ее преступление в эти дни состояло в том, что, по словам Гавриила Попова, в ходе путча (цитирую тассовцев): "аппарат московской организации компартии занимался антиконституционной деятельностью, отказавшись осудить заговорщиков". (Ситуа-

330

ция, как мы видим, в горьком была такой же, как и в Союзе писателей.)

Мэр призвал создать комиссию, "которая должна решить вопрос о лишении депутатской неприкосновенности, привлечении к уголовной ответственности, а возможно, и немедленном аресте виновных, так как сейчас ими уничтожаются компрометирующие их документы".

Тассовка по Ленинграду сообщила, что на своей пресс-конференции 22 августа мэр города Собчак подчеркнул, что "в нынешней ситуации необходимо ускорение процессов приватизации и разгосударствления собственности". Собчак, надо сказать, уже глядел орлиным алчным взором далеко вперед, и его соратник, тогда еще никому не известный Чубайс, уже, видимо, разрабатывал экономический план "великой криминальной революции".

На второй день после возвращения из Калуги я решил все-таки сходить к Белому дому, чтобы поглядеть своими глазами на вакханалию победившей демократии. Оставив дураков, демагогов и прекраснодушных демократов митинговать на площади Свободы, ее подлинные творцы расхватывали кабинеты, министерские портфели, ордена, звания, должности.

Гавриил Попов даже предложил дать Ельцину звание Героя Советского Союза. Сам Ельцин, как пишет в воспоминаниях Коржаков, войдя в Кремль со своим помощником Львом Сухановым, в ответ на восторженное восклицание Суханова "смотрите, Борис Николаевич! Какой мы кабинет отхватили!" — деловито уточнил:

— Да не только кабинет — смотри, какую мы отхватили страну.

За несколько дней демократическая номенклатура отхватила все, к чему стремилась годами, а может быть, и десятилетиями.

Маршалу Ахромееву невыносимо было глядеть на этот шабаш. Он не был замешан в заговоре против Горбачева, имя его нигде не фигурировало, но честный служака понял, что случилось, и написал, перед тем как наложить на себя руки: "Рушится все, чему я отдал всю свою жизнь..."

На сороковой день после его смерти, когда родные и друзья пришли на Троекуровское кладбище, то увидели посреди разрытой и оскверненной могилы тело маршала, выброшенное из гроба. Маршалский мундир, в котором его похоронили, был украден.

Вот так начиналась историческая жизнь нового режима — мародерством и расправой руками наемных киллеров с мерт-

331

вым Героем Советского Союза, солдатом Великой Отечественной...

На площади Свободы, видимо, только что наступила передышка в стихии непрерывного митинга, на котором, как мне рассказали, выступали среди прочих и Елена Боннэр, и Геннадий Хазанов. Возбужденная их речами толпа шумела, выпивала, брэнчала на гитарах, пела демократический гимн на слова Окуджавы "Возьмемся за руки, друзья", слушала рок-музыку. Под ногами то и дело хрустели жестяные банки из-под пива, несколько молодых жизнерадостных мародеров в обнимку раскачивались и весело кощунствовали:

— Забил заряд я в тушку Пуго! — Видимо, только что узнали о самоубийстве (или убийстве?) министра МВД Советского Союза Б. К. Пуго, человека присяги и долга... Несчастный Борис Карлович, бедный Михаил Юрьевич! Я аж сплюнул на асфальт площади Свободы от брезгливости и отвращения.

Какой-то ряженный солдат в бронежилете, надетом на голое тело, вздымая к небу руки, орал:

— Я горжусь тем, что я, простой солдат, стоял здесь, на этой площади, рядом с президентом России, где выступали такие великие люди, как Боннэр, Ельцин и Хазанов!

...С Еленой Боннэр я был знаком чуть ли не с середины 60-х годов. В то время я увлекался игрой в "пирамиду" и часто пропадал в нашей клубной бильярдной. Заглядывал туда и поэт Семен Сорин, которого, как правило, сопровождала немолодая, черноволосая, похожая на ворону женщина. Пока Семен, изгибаясь над зеленым сукном своим длинным телом, спасал или проигрывал очередную партию, его подруга, сидя в прокуренной бильярдной, терпеливо ждала окончания игры. Иногда мы с ней выходили в соседний зал скоротать время за чашкой кофе и в болтовне о всяческих пустяках.

Ленка Боннэр... Все, в том числе и я, запанибратски называли ее именно так. В конце концов то ли она сообразила, что выпивоха и бильярдист Сеня не подходит для желанной роли мужа, то ли вообще разочаровалась в поэтах (до войны она была женой сына Эдуарда Багрицкого Всеволода), но через какое-то время исчезла. Я забыл бы о ней навсегда, если бы лет через десять мне не попала в руки книга антисоветчика и советолога Ричарда Пайпса с демонстративным названием — "Русские". В книге было множество фотографий всяческих диссидентов в различных позах и компаниях (русских, кстати, среди них почти что не было) — и вдруг я набрел на фотографию, где был изображен академик Сахаров в кругу семьи и

332

друзей. О Сахарове в те годы я уже что-то слышал по "голосам", но, взглядевшись в лицо жены, стоявшей рядом с ним, ахнул: "Да это же Ленка Боннэр! Так, значит, она, исчезнув из бильярдной, рассталась с литературной средой ради среды научной!" Эх, Семен, Семен, вел бы ты себя в те бильярдные годы более разумно и ответственно,—глядишь, и у Сахарова судьба сложилась бы иначе, а может быть, и держава не развалилась бы...

Из дневника тех времен

Не думал я, что на свете есть силы, которые могут проиграть меня, как крепостного в карты. А именно так и проиграли. Старая государственно-коммунистическая бюрократия проиграла меня новой бюрократии — космополитически международной. Горбачев, Яковлев, Буш и Тэтчер оказались более ловкими игроками, нежели Язов и Крючков. А я попал из огня да в полымя.

Настоящий заговор и настоящий военный переворот были совершены в Тбилиси.

Именно на дымном кровавом фоне горящего Дома Правительства, на фоне круглосуточного его расстрела в упор из танков и орудий, на фоне десятков погибших и сотен раненых стала очевидна фарсовая изнанка августовского путча со всеми его главными действующими лицами. Бедный Гамсахурдиа, я бы посочувствовал тебе, если бы не воспоминание о том, что в апреле 1990 года ты фактически выиграл борьбу за власть только потому, что комиссия Собчака и средства массовой информации сфабриковали подлую ложь о шестнадцати мирных гражданах Грузии, "искромсанных саперными лопатками"... А ведь их раздавила обезумевшая и не владеющая собой толпа... Ты ведь это знал, Звиад Гамсахурдиа, но такая ложь была выгодна и, более того, необходима тебе... Армия и Россия были оклеветаны с головы до ног. Но, видимо, все-таки есть Божий Суд. Режим, утвердившийся на великой лжи, оказался непрочным, а потому ты заслужил такой юридически сомнительный, но по существу справедливый конец своей карьеры. Более удачливый и более расчетливый соперник смахнул тебя с исторической сцены и даже спасибо тебе не сказал за то, что ты проложил ему дорогу к власти.

* * *

Зимой 1991 года, собираясь засесть за работу над книгой о Есенине, я написал несколько писем в КГБ. Суть их состояла в

333

том, что мне необходимо ознакомиться с несколькими десятками уголовных дел, заведенных в свое время на родных, друзей, поэтических соратников, литературных и политических врагов поэта, репрессированных, расстрелянных и отсидевших свои сроки в 20—30-е годы. Дело Алексея Ганина, Николая Клюева, Сергея Клычкова, Якова Блюмкина, сына поэта Юрия, сестры Екатерины, жены Зинаиды Райх... Знал я также, что и на самого Сергея Есенина в те годы были заведены дела, которых в глаза не видел ни один исследователь творчества поэта. Несколько месяцев я терпеливо ждал ответа на свои запросы, но, потеряв терпение, приехал в Союз писателей, сел за "вертушку" и позвонил в секретариат шефа КГБ Крючкова.

— Можно мне поговорить с кем-нибудь из помощников Владимира Александровича?

— А в чем дело, и кто со мной разговаривает?

Я рассказал, в чем дело, представился и в ответ услышал:

— С вами говорит Крючков. Я распоряжусь, и вы на днях получите разрешение работать в наших архивах.

Спасибо Крючкову. Наконец-то в просторном зале для заседаний на длинном столе полковник Сергей Федорович Васильев, интеллигентный и знающий дело, разложил передо мной груды папок, ко многим из которых не прикасалась рука ни одного историка литературы.

Месяца два мы с сыном, которого, видя невероятный объем работы, я взял себе в помощники и соавторы, приезжали в архив, листали папки с грифами "Совершенно секретно", делали выписки, но понимая, что переписать от руки две или три тысячи нужных нам страниц невозможно, оставляли в делах закладки, договорившись с Васильевым, что по окончании работы нам сделают ксерокопии страниц, необходимых для будущей книги о Есенине.

Но тут грянул август 1991 года. Приехав на Лубянку, мы не обнаружили на площади аскетическую чугунную фигуру легендарного Феликса, а еще через несколько дней любезный полковник со смущенной улыбкой сказал мне:

— Станислав Юрьевич! В вашем распоряжении осталась всего неделя. Мы вынуждены сдать дела обратно в архив. Перепишите за эти дни все, что возможно, архивы вновь будут заперты, и, видимо, надолго.

Мы с сыном впали в отчаянье, но потом выход все же нашли. На другой день принесли с собой магнитофон и всю оставшуюся неделю с утра до вечера надиктовывали драматические истории из уникальных дел ЧК-ОГПУ-НКВД на пленку.

334

Всего получилось около тридцати кассет разного объема — 40 или 45 часов записанного в скоростном режиме текста. Последнее дело было закрыто — и на другой день захлопнулись свободно открытые доселе двери архивов.

"Весна демократии" отцвела за какие-то две недели.

В дни работы на Лубянке мы волей-неволей обживали ее, забегали в буфеты перекусить, шли по коридорам в курилку, заходили в кабинеты к Васильеву и его сослуживцам. Атмосфера в грозном некогда комитете была чрезвычайно любопытной. Всякого рода новые чиновники, журналисты, иностранные корреспонденты вели себя там, как подлинные хозяева, надменно, а порой и скандально обращались с вежливыми и тактичными офицерами КГБ.

Помню, как уходили офицерские головы в плечи, когда они сопровождали по своим апартаментам по-хозяйски надменную Беллу Куркову, бесчинствовавшую в ту эпоху на телевидении в "Пятом колесе", либо какую-нибудь, говоря словами Лермонтова, "жидовку младую", похожую на Евгению Альбац.

Вообще женщины августовской революции — прелюбопытнейшая тема. Глядя на них, невозможно было не вспомнить великую мысль Достоевского о том, что "красота спасет мир". С каким прокурорским апломбом появлялись в те годы на экране Куркова или ее демократические соратницы — Валерия Новодворская, Елена Боннэр, Ирина Хакамада, Алла Гербер, Марина Салье, Галина Старовойтова—одна другой интереснее.

Видимо, не случайно образы женщин Великой криминальной революции как бы подчеркивали всю ее антирусскую и безобразную пошлость. Символами Великой Октябрьской все-таки были иные женские лица, если вспомнить Ларису Рейснер, Инессу Арманд, Александру Коллонтай. Недаром Борис Леонидович Пастернак в поэме "Девятьсот пятый год" так очертил такое женское лицо той революции:

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть,
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождах, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

335

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груди огнив,
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянье ищешь в ходьбе,
Ты бежишь не одних толстосумов:
Все ничтожное мерзко тебе.

Это, конечно, лицо эсерки и террористки, но с каким вдохновением Борис Леонидович обессмертил ее в своей революционной поэме! А стихотворение Ярослава Смелякова, который словно бы кистью Петрова-Водкина изобразил свой, более народный, нежели у Пастернака, но не менее величественный женский лик революции:

Сносились мужские ботинки,
Армейское вышло белье,
Но красное пламя косынки
Всегда освещало ее.
Любила она, как отвагу,
Как средство от всех неудач,
Кусочек октябрьского флага —
Осеннего вихря кумач.

Да, у той революции были великие поэты, и не только поэты: и композиторы, и прозаики, и скульпторы, и художники, если вспомнить Мухину, Булгакова, Коненкова, Шолохова, Шостаковича, Петрова-Водкина. В этом смысле ельцинская революция столь же бесплодна, как и гитлеровская. Впрочем, августовскую революцию пытались увековечить в стихах, но поскольку не нашлось у них ни Блока с Есениным и ни Маяковского с Пастернаком, то журнал "Новый мир" в одном из осенних номеров 1991 года напечатал стихи некой Анны Наль, сделавшей попытку превратить фарс в высокую трагедию:

Белый дом в баррикадном
Терновом венце,
336 и накатом
в предместьях
поверх головы
катакомбное "Эхо Москвы".
Девять суток вослед
поминальный пикет
из туннеля — на свет,
как преграда убийцам.
И Давида звезда (! — С. К.) —
словно в пепле гнезда
шестикрылая птица.

Словом, вылутился под косноязычную радость новомировской местечковой музы с благословения главного редактора Сергея Залыгина чудовищный шестикрылый птеродактиль. Эх, Сергей Павлович, Сергей Павлович, большой русский писатель...

* * *

Через неделю после грязных трех дней августа начался чрезвычайный пленум писателей России. Мы заседали на Комсомольском проспекте, когда в здание Союза буквально ворвалась группа юнцов и потребовала к себе "начальство". Вышедшему к ним тогдашнему оргсекретарю СП РСФСР Геннадию Гусеву было сказано буквально следующее: "Мы — 267-й батальон московской национальной гвардии (?! — С. К.)". Затем двери зала распахнулись, и трое политических шпаненков, посланных из префектуры Центрального округа с бумагой за подписью префекта Музыкантского, заявили о том, что Союз писателей России как бы закрывается. Юрий Бондарев тут же

бросился к правительственной вертушке звонить в префектуру. Дозвонился. Музыкантский иезуитски согласился с ним, что юридических оснований для закрытия Союза писателей нет, но "есть общественное мнение, что некоторые российские писатели идеологически подготовили выступления путчистов".

Несколько позже мы узнали, чье это было "общественное мнение". Оказалось, что Евгений Евтушенко, захвативший власть в Большом Союзе на Воровского, тут же настроил мэру Москвы Гавриилу Попову донос, в котором Бондарев, Распутин и Проханов, подписавшие "Слово к народу", назывались "государственными преступниками", заодно потребовав закрытия нашего Союза. А за услугу властям попросил отдать писательский дом на Комсомольском новому секретариату во главе с ним, с Евтушенко.

У самозванных "национал-гвардейцев" оказалась и печать СП СССР, которую надлежало "приложить" к бумажным

337

пломбам на дверях нашего здания. Забавно, что среди пришедших забирать для Евтушенко наш дом был даже какой-то бездарный стихотворец, игравший роль полицейского с особым рвением.

Президиум, где заседали Бондарев, Феликс Кузнецов, Петр Проскурин, Василий Белов, в первые секунды оцепенел, потом в зале начался шум, писатели были разгневаны и растеряны, вскочили со стульев, курили, спорили, кричали, не зная, что делать. Юрий Васильевич Бондарев был тверд и немногословен:

— Я отсюда уйду только в наручниках!

— Не уйдем, — воззвал к народу Геннадий Гусев. — Если нас арестуют — пойдем под арест!

Я подошел к "чекистской" троице.

— Покажите мне документы, удостоверяющие вашу личность! — Демократический отморозок по фамилии Харчев с неохотой, но все-таки протянул мне ксерокопированную бумажку, на которой типографским способом было отпечатано:

"Следственный комитет

по антиконституционной деятельности

Мандат

По предъявлении сего мандата тов. (ф. и. о) предоставляется право участвовать в рассмотрении антиконституционной деятельности граждан, их причастности к государственному перевороту.

А. Бабушкин "

— А теперь покажите-ка мне документ, по которому вы хотите опечатать наш дом.

Я взял в руки послание префекта, прочитал его вслух:

"30.08.91. № 31. О взятии под охрану здания Союза писателей РСФСР.

Учитывая имеющиеся данные об идеологическом обеспечении путча и прямой поддержке руководителями Союза писателей РСФСР действий контрреволюционных антиконституционных сил в период с 19-го по 21 августа 1991 г. и учитывая постановления Союза писателей СССР и Московского отделения Союза писателей, временно до выяснения степени участия в подготовке и проведении путча приостановить деятельность правления Союза писателей РСФСР и опечатать помещение. Комендантом здания назначить тов. Дуськина.

А. И. Музыкантский "

338

Холодная ярость, всегда помогавшая мне справляться в уличных драках с более сильными соперниками и никогда не позволявшая отступить или сдаваться во время литературных рукопашных схваток во враждебных аудиториях, овладела мной. И в приступе справедливого и безотчетного гнева я совершил некое движение. Через секунду разорванный пополам листок трепыхался на паркете.

Дуськин и Харчев остолбенели. Вечный гений компромисса Феликс Кузнецов в

отчаянье всплеснул руками и бросился ко мне:

— Стасик, что ты наделал!

Но Василий Белов, оказавшийся расторопнее всех, наклонился, подобрал обе смятые половинки документа и помчался на проходящее в этот день заседание Верховного Совета, где, с трудом пробившись к микрофону, зачитал полицейское распоряжение Музыкантского и обратился к депутатам с просьбой защитить Союз писателей. Его партизанский рейд подействовал, но депутатам было уже не до нас. Силы, разрушавшие державу, выходили на финишную прямую. До конца жизни великого государства оставалось три месяца. А на бумажке Музыкантского, факсимильно воспроизведенной "Литературной Россией" в сентябре 1991 года, так и остался черный зигзаг, располовинивший ее сверху донизу...

В эту ночь и в несколько последующих мы, забаррикадировавшись, не покидали наш Дом писателей России и не позволили захватить его. Не хочу, как некоторые мемуаристы, героизировать эту осаду. Нас не собирались брать штурмом — просто припугнули, но мы не испугались. Если бы члены КПСС в своих обкомах и райкомах поступили бы, как писатели, то возможно, что история державы пошла бы по другому пути.

Из дневника тех времен

Да и коммунисты хороши. "Мы не виноваты! Не замешаны ни в чем! Конституцию не нарушали!" — скулят нынешние ивашки и дзасоховы. Да лучше вы были бы во всем виноваты, лучше, если бы вы сидели в Матросской Тишине или Петропавловской крепости! Да лучше, чтобы вы были рядом с Варенниковым, [Лениным и Баклановым или с авторами воззвания "Слово к народу"!.. Хоть было бы за что предстать перед судом... А то ни за что — и судят! Вот в чем позор...

Нашли чем гордиться: ни в чем не участвовали. Тьфу! Нет бы с гордостью сказать: мы сделали все, чтобы спасти

339

страну от гибели, позора и разложения. Но у нас, преданных кликой Горбачева, не хватило сил... Судите нас, победители. Мы сядем в ваши тюрьмы и лагеря, но завтрашняя история оправдает нас, и завтрашние русские люди склонят свои головы перед нами, побежденными коварством!

А ведь ваши генетические предшественники, какими бы авантюристами по сравнению с вами они ни были, заслуживают куда большего уважения. В безвыходном положении они с яростью кричали: "Есть такая партия!" — и брали ответственность на себя за кровь, за будущее государства, за все великие потрясения, превращая судебные процессы в победоносные пропагандистские шоу... А вы в звездный час (он мог бы быть вашим) прошептали: "Нет такой партии! Ни к чему не причастны! Ни в чем не виноваты!"

Как в сказке — "крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились". Конечно, на этом фоне и Ельцин глядится чуть ли не героем...

Да, с гордостью признайтесь, что рождалась партия, как подпольная организация фанатиков, готовых идти на эшафоты, в тюрьмы и ссылки за свои убеждения.

Гражданская война украсила чело партии кровавым и героическим венком. Индустриализация, коллективизация, Отечественная война — эпоха предельного риска, поиска, самопожертвования и жертвоприношений. Целина, двадцатипятидесятники, аскетизм, партийный долг — вечное неконституционное напряжение всех сил, вечное чрезвычайное положение... А вы забыли от страха свою историю, сложили лапки и бормочете, что мы, мол, самые что ни на есть послушные холопы Конституции.

Когда шел XXVIII съезд КПСС и небольшая, лучшая часть съезда заподозрила Горбачева в целенаправленном разрушении партии и державы, генсек, понимая, что он еще не до конца разрушил организацию, пошел на риск — и с актерским возмущением (не доверяют, мол!) заявил, что готов подать в отставку.

Тут законопослушный съезд дрогнул: ну как мы без генсека, без отца родного, без "социалистического выбора", и все дружно бросились уговаривать Михаила Сергеевича не делать этого.

Когда я увидел эту сцену, то вспомнил о том, что северные таежные охотники, чтобы не кормить старых, уже не работающих охотничьих собак, — пристреливают их, отслуживших службу. Дряхлая собака тянется к хозяину, с

340

которым она охотилась всю жизнь, пытается лизнуть ему руку, а он уже поднимает свою двустволку...

Жалко мне было эту партию, которая когда-то подымала своих солдат на смерть и победу возгласом "Коммунисты, вперед!" — а в дни своего последнего съезда в последний раз попыталась неуклюже лизнуть руку замыслившего убийство хозяина...

Эх, законопослушники... не виноватые ни в чем, ничего не замышлявшие. Да воздастся вам по вере вашей.

* * *

31 августа на последнем пленуме Союза писателей СССР в Центральном Доме литераторов мы встретились лицом к лицу с нашими жалкими врагами — евтушенковским "спецназом", захватившим власть в особняке Ростовых. Я сознательно по истечении многих лет подчеркиваю — "жалкими", потому как ну кто они такие — Владимир Савельев, Юрий Черниченко, Валентин Оскоцкий, Анатолий Приставкин, Юрий Карякин, Михаил Шатров, Евгений Сидоров, Андрей Нуйкин? Ну, сейчас страсти поулеглись, живем мы словно бы в разных государствах, они не читают нас, мы не читаем их (хотя у них и читать-то нечего). Слава Богу, история оформила наш развод навсегда. Но я хочу спросить самого себя, своих друзей, которые еще помнят прежние времена, читателей, которые тоже еще не забыли эти фамилии: вы что-нибудь помните из написанного целым десятком литераторов, которых я перечислил несколькими строчками выше? Бесплодные, бесталанные, "безъяичные", как сказал бы Василий Васильевич Розанов, они всю свою жизнь были обречены со скрежетом зубовым завидовать таланту и заслуженной славе Валентина Распутина, Василия Белова, Юрия Бондарева, Юрия Кузнецова, Вадима Кожинова... Так что окончательный раскол между нами — развод между литературой и пустотой — был неизбежен. Он и произошел, когда после нескольких жестоких словесных схваток делегация Союза писателей России ушла из зала, оставив их наедине с их вечными комплексами вечной неполноценности.

Но, по правде говоря, и мы себя чувствовали скверно. В полной надсаде и растерянности, не зная, что нам делать, на кого опереться, где найти сочувствие, поддержку, а может быть, и помощь, ночью 31 августа мы с Володей Бондаренко поехали в гостиницу "Россия".

341

Дело в том, что в дни августовского переворота в Москве проходил Всемирный русский конгресс, куда съехались многие русские люди — старики из первой эмиграции либо их дети, бывшие власовцы и энтээсовцы, дипийцы, о судьбах которых не раз писал Володя, а главное, многие из них были читателями, поклонниками и даже авторами "Нашего современника" и газеты "День". Мы полагали, что, симпатизируя нашим изданиям, зная и любя творчество Валентина Распутина и Василия Белова, Владимира Солоухина и митрополита Иоанна Санкт-Петербургского, Игоря Шафаревича и Леонида Бородин, эти люди помогут нам связаться с газетами, журналами, радиостанциями Запада, чтобы рассказать о первых русофобских шагах нового режима, увидевшего в русских писателях-патриотах одну из главных опасностей для идеологов и практиков августовского переворота.

Наивные люди! Загнанные в угол, мы невольно закрыли глаза на то, что наши зарубежные соплеменники с восторгом встретили "Преображенскую революцию", что "кричали женщины "ура!" и в воздух чепчики бросали". Никому из них и в голову не пришло, что она, эта революция — начало расчленения "великого и неделимого"

государства, за идею которого умирали их отцы и деды.

В номере одного из лидеров НТС Романа Редлиха нас встретили с плохо скрытым высокомерием и начали поучать, как побежденных:

— Поздно вы, патриоты, спохватились! Надо было раньше возглавить восстание против коммунистов!

Номер выглядел роскошно, блистал зеркалами, шелковой обивкой кресел, красным деревом, хозяин с хозяйкой были, несмотря на наш поздний визит, одеты изысканно — он в костюме с иголки, в галстук с золотой заколкой, выбритый, благоухающий дорогим одеколоном, его жена в европейском вечернем туалете, сверкающая кольцами, серьгами.

А тут мы после бессонной ночи на Комсомольском, небритые, в измятых куртках, в изношенных кроссовках, с отчаянием в глазах.

Нет, мы не туда попали, здесь нас не поймут... Отец Александр Киселев, духовник власовской армии, благообразный, аскетического обличья старик с белой бородой, вышел на наш стук в коридор.

— Тише, тише, чада, матушка спит...

Мы отошли в конец коридора к громадному окну, из которого как на ладони был виден собор Василия Блаженного, Спасская башня, брусчатка Васильевского спуска.

342

Слушая наши негодующие и сбивчивые речи, отец Александр молчал, тербил бороду, опускал глаза. На прощанье сказал:

— Оставьте надежду на Запад. Он не поймет вас и ничем вам, русским патриотам, не поможет. Да храни вас Господь! — и осенил нас крестным знаменем.

* * *

К осени 1991 года давление на очаги патриотического сопротивления достигло предела. Опричники и особисты демократии отслеживали каждый наш шаг, разглядывали в лупу каждую статью, каждое стихотворение, публичное выступление, включали все механизмы своей пропагандистской машины, чтобы подавить, обескровить, измотать...

Борьба эта, впрочем, длилась всегда, но особенно бесчестные формы она приняла после августа. Но довести до отчаяния им меня не удавалось, поскольку каждый раз, доходя до предела усталости, я уезжал на пару недель в беломорскую или североуральскую тайгу на охоту и на рыбалку, а возвращался похудевший, надышавшийся таежным воздухом, облученный незакатным северным солнцем, как будто заново рожденный для борьбы.

— Что они могут сделать со мной, эти изможденные от злости демократические крысенята, сидящие в кабинетах, в телестудиях, в приемных своих крестных отцов, когда меня сама мать сыра земля насыщает здоровьем?!

Однако я не знал всей меры их коварства, когда осенью 1991 года высадился из Ан-2 на берег Белого моря в поселке Ручьи. А добираться мне надо было до устья Мегры — на восток еще верст тридцать. Море штормило, и я не мог выехать на моторке. Пришлось полегче одеться и пешком идти вдоль берега. Береговая дуга гигантским изгибом уходила к востоку, и лишь где-то далеко-далеко в дымке на горизонте чуть брезжили очертания мыса; не верилось, что туда можно дойти к вечеру.

Я шел не торопясь то по высокому берегу, круто обрывавшемуся к морю, то по накатному плотному песку, откуда утром сошла большая вода. Каждые час-полтора останавливался в пустых рыбацких избушках — кипятил кружку крепкого чаю, отдыхал, глядя с берега на белую шипящую кромку прибоя, на косяки гусей, которые уже тянулись в синем небе с Канина Носа к югу, на громадные глыбы берега, рухнувшие вниз, оттого что море в конце концов подмыло их.

Вот так и надо упорно, размеренно, рассчитывая силы, идти

343

к цели, не боясь ничего. Пускай она так далеко, что кажется, и дойти до нее невозможно. А ты иди. Видишь: очертания мыса уже темнее, он уже не плавает в тумане, уже видно, что он вырастает из земли... Только не сбейся с шага, не нарушай ритма дыхания, не

сбавляя шага, расслабляйся на ходу и береги себя, чтобы всегда прибавить ходу, если понадобится...

Часа через четыре я дошел до Вазицы. Передо мной шумела река, поуже Мегры, но перейти которую было невозможно. Я поднялся чуть выше по течению, увязал обрывками металлического троса в плот три сухих бревна и, пихаясь шестом, начал переправу. Чуть-чуть не доплыл до берега — развалился мой плот, и я с броднями, полными ледяной воды, вылез на песок, снял сапоги, вылил воду, выжал шерстяные носки, попил пригоршней воды из реки и пошел дальше. До Мегры я добрался лишь к вечеру, когда солнце за спиной прикоснулось алым краем к морю. Мыс, который издали казался мне висящим в воздухе, стоял передо мной, как черная гора. От усталости хотелось спать, и в ожидании какой-нибудь попутной рыбацкой лодки я прилег на песок.

Устье. Шум впадающей в море реки. Ветер поет в пустых проржавевших бочках из-под солярки. На откосах черного мыса языки первого снега. Из-под них к морю тянутся ниточки ручейков. На песке бревна, щепы, сучья, куски дерева — все сухое, серебристое, серое, изглаженное волнами, песком, ветром.

Рядом со мной стремительно, с ровным шумом река вливается в море, словно время стекает в бесконечную жизнь, в вечность.

...На Мегре меня уже ждали, мы поставили палатку, развернули спальники, натаскали дров, развели костер и выпили по первой за последние крупницы счастья, еще доступные нам...

Однако вода была высокая, что ни день, шли дожди, и в первые несколько дней мы едва-едва добывали себе на уху...

Холодным солнечным утром мы вылезли из спальных мешков, искупались в ледяной воде, позавтракали кашей с тушенкой и пошли к берегу, к нашей байдарке. Тропинка петляла среди зарослей желтолистого низкорослого березняка, и когда мы уже выходили к реке — вдруг из прибрежных кустов, как по команде, поднялись три человека и пошли к нам навстречу, на головах у них были фуражки инспекторов рыбнадзора.

К счастью, ни одной пойманной семги у нас не было, лишь под пологом палатки в целлофановом мешке инспекторы обнаружили трех подсолненных харьюзков да двух щучек.

Один из инспекторов — Эдуард — был давно знаком мне,

344

я даже не раз выпивал с ним в Архангельске, и, улучив минуту, отвел его в сторону:

— Эдуард! Ну зачем все эти протоколы, засады, санкции?.. Ты же нас знаешь, еще неделю отдышимся — и домой. У нас же ни сетей, ни моторов, одна байдарка да спиннинги.

— Станислав Юрьевич! Я человек подневольный. Нам приказ из Москвы пришел — поймать тебя, целый план наш новый начальник выработал. Специальный вертолет заказали. Чтобы не спугнуть вас, мы на озерах высадились и сплавились на лодке, бесшумно, просматриваем каждый километр берега. Целую неделю плывем. Дело-то серьезное, а мы люди подчиненные... Кто-то из Москвы на вас стукнул.

Бригадир группы захвата составил протокол, я расписался, что готов заплатить штраф за двух шурят и трех хариусов, допили с ребятами на прощанье последнюю бутылку, проводили их до резиновой надувной лодки и распрощались...

Вроде бы пустяковое дело. Но когда я вернулся в Москву и в один из осенних дней (27 октября) включил информационную программу, то ушам не поверил, услышав, как Юрий Ростов по попцовским "Вестям" докладывает всей стране, что главный редактор "Нашего современника" "ставил на реке Мегра сети на семгу и был пойман с поличным".

Через час, в 21.00, во "Времени" то же сообщение повторил Александр Гурнов: "Ловили семгу сетями..." Дальше началась целая вакханалия в столичной и провинциальной прессе. "Северный комсомолец" от 26.10.91: "Наши ребята к Куняеву приглядывались уж давно... На этот раз решили действовать наверняка. Правда, семги на этот раз не оказалось. Наложили штраф 69 руб. 90 копеек".

"Литгазета", 30.10.91: "Главный редактор журнала "Наш современник" проводил незаконный лов рыбы..."

"Губернский вестник" (Самара), 8.11.91: "Известные русские шовинисты — главный редактор "Нашего современника" Станислав Куняев, его сын Сергей и писатель Игорь Печенев были пойманы на том, что ловили семгу... Борцам за русскую державность и природу захотелось семужки. Если судьбы не будут столь же беспринципными, как "русские патриоты", нашим литераторам придется сменить писательское поприще на физический труд в местах заключения".

Ленинградская "Смена", 29.10.91: "Лидеры СП РСФСР уже не первый год браконьерствуют на мезеньских реках. Проводником их был уроженец здешних мест, тоже писатель, Владимир Личутин, без труда получавший в обкоме КПСС лицензии на отлов семги".

345

(Личутина с нами вообще не было, а порога архангельского обкома КПСС, да еще за лицензиями "на отлов семги", он в жизни не переступал.)

А одна из провинциальных газет придумала такое: что Куняев и компания "ловили осетров, и рыбы туши выбрасывали", — не понимая того, что осетры в архангельских реках не водятся.

В кампанию тут же подключились демократы из моей родной Калуги. Они, правда, уже писали в молодежной газете не о сетях, а о том, как в послевоенное время на яченском лугу "юный Станислав гонялся с лопатой за лягушками и с наслаждением рубил их в куски, если успевал догнать".

"Утку" о "сетях и семге" передала из Мюнхена "Свобода", два или три раза с комментариями на ту же тему выступило российское радио, "Комсомолка" тоже не преминула отметить.

Словом, технология массированной клеветы и одновременной, как по приказу, мобилизации всех СМИ отработывалась еще до появления в нашей жизни Сванидзе, Доренко, Киселева.

Я даже ельцинскому Геббельсу Олегу Попцову позвонил и пристыдил его:

— Олег! Я понимаю, что мы враги, но нельзя же так бессовестно врать!

Попцов, с которым раньше мы вместе работали в Союзе писателей, оправдывался тем, что не может проследить за всеми передачами, обещал разобраться.

Я понимал, в чем дело. У "Нашего современника" тогда был гигантский тираж — более 300 тысяч, и читали его несколько миллионов. Шла подписная кампания — и демократам во что бы то ни стало надо было унизить и оболгать главного редактора в глазах читателей.

Однако они добились совершенно противоположного результата. Письма в мою поддержку посыпались в редакцию со всех сторон России. Вот одно из них, которое очень понравилось мне по стилю.

"Искренне уважаемый С. Ю. Куняев (к сожалению, не знаю Ваше отчество). Я решила написать Вам о том, что написала в передачу "Вести". Вот что я им написала:

Да вы что?! Совсем обабились!!! Так не врут даже женщины, а вот именно бабы. Базарные! У Куняева промысел что ли рыбный, чтобы на всю страну говорить? Это что — 150 миллиардов матерого мошенника Фильшина, с которым

346

вы умильно разговариваете на телевиденье? Или Т. Заславская с погубленными с ее помощью деревнями? Или Илья Заславский с его квартирными махинациями?

Да будьте вы прокляты, русофобы!

Вы думаете, измените наше отношение к истинным защитникам русского народа? Вы думаете, мы изменим отношение к захваченным вами радио, телевидению, передачи которых в основном настолько чужды, враждебны, даже противоестественны каждой русской душе, что никакие "русские шапки" (русские названия и пр.) не обманут нас.

Этот ведущий (забыла его фамилию), у него еще рот, будто прорезанный осокой,

Куняева почему-то назвал Сергеем. Забрехались, запутались, помню, как вы, такие живчики, лающие какой-то агрессивной скороговоркой, смельчаки в базарно-безопасных масштабах, захлебывающиеся от сознания своего, дорвались. — Как вы клеветали на Талькова ("во время перестрелки", "из-за выхода на сцену"). Из-за выхода на сцену не убивают.

Неужели вас женщины любят? Баб? Мелких базарных вруш?

P.S. Даже если что-то там случилось (допустим) во время рыбалки — это так все смешотворно по сравнению с тем кромешным и оголтелым русофобством, которое так и прет изо всех щелей, даже когда вы маскируетесь.

Да воздастся вам по заслугам!

Запомните это "

Впрочем, моя шкура и мои нервы в то время уже научились переносить даже такое массивированное давление.

В течение нескольких доавгустовских лет "Наш современник" и его главный редактор были постоянными мишенями издевательства, клеветы и насмешек центрального телевидения. Особенно часто безнаказанно изгалялись над нами Любимов и Политковский из "Взгляда", сатирик Александр Иванов, ведавший программой "Вокруг смеха", да и комментаторы даже из информационных программ от них не отставали. Доходило до смешного. Так, незадолго до сюжета с браконьерством Татьяна Миткова в программе "Ночные новости" сообщила, что жители Москвы протестуют против того, что ресторан "Якорь" переносится с улицы Горького в Трехпрудный переулок, что инициаторы этого переноса русские писатели, "любящие рестораны", и вдруг ни с того ни с сего Миткова заявила, что в Моссовете есть на этот счет письменное ходатайство писателей, инициатором которого был

347

главный редактор "Нашего современника" Станислав Куняев. Конечно, никакого такого письма русские писатели не писали, я даже в этом пресловутом "Якоре" ни разу не бывал. Но что было делать? Судиться с этой целлулоидной лгуньей?

* * *

Широкий лес. Высокий песчаный берег. Обрыв, заросший брусникой, ягелем, мелким березняком. Внизу черно-синяя река, разделенная на два рукава островом с песчаными отмелями. Остров огибают две шумящие струи — сливаются и единым потоком текут дальше на Север. Там море. Высоко надо мной кружит коршун — он, наверное, видит море. Над морем облака сияют особым сияньем, розовым, колеблющимся, — видимо, от потоков воздуха, что исходят от морского лона. Я сижу на обрыве, не в силах сдвинуться с места. Может быть, это самое красивое место в мире... Запах привядшей травы, дикой смородины, бурых зарослей иван-чая, буйно взошедшего на пепелищах и гарях от лесных пожаров...

Однако пора сплывать. Лодка готова. Все уложено. Что остается? Опустить на колени и неожиданно для себя, почувствовав слезы на глазах, неловко ткнуться лицом в эту землю, пока в умиротворенной памяти, то уходя из нее на мгновение, то вновь возвращаясь, живут строчки Николая Рубцова:

Я воздавал своей земле
Почти молитвенным обрядом...

Неловко прикладываю лицо и губы к жесткой траве, к замуравелой тропинке, к песчаной почве, в ноздри ударяет дух земного чрева, брусничного листа, привядшей хвои...

Почти молитвенным обрядом...

А Мегра шумит, растворяя в Белом море свою черную воду, и слышится в ее шуме

неизбежное, вечное, жестокое: "Попрощался — и хватит, от жизни и от борьбы не убежишь, пора тебе в дорогу..."

* * *

Помню, как в середине 70-х годов я увидел в каком-то зарубежном издании исповедь литератора Б. Хазанова, эмигрировавшего куда-то в Европу. Он изливал печаль об утрате России в таких словах:

348

"Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы ее наследники, пусть скудные и полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских".

В начале девяностых, когда накал русофобии на страницах демократической прессы стал чуть ли не обязательным признаком хорошего тона и достиг пика, заявления такого рода о языке посыпались как град:

"Многие из тех, что нынче объявили себя российскими патриотами, в знании какого-нибудь языка вообще не нуждаются. Я знал патриота, который слово "Россия" писал через одно "с", зато слово "Русь" через два. У патриотов грамота не в чести". Это из статьи В. Войновича "Заговор патриотов", дважды прочитанной им в 1990 году по "Свободе", а потом перепечатанной во многих российских газетах.

Валентин Распутин, Василий Белов, Игорь Шафаревич — вот главные мишени статьи Войновича, сердцевинный пафос которой он выразил в следующих словах: "Между прочим, слово "патриот" я употребляю только в негативном смысле, потому что позитивного смысла оно вообще не имеет... Это чувство, как правильно сказал, кажется, Б. Окуджава, доступно и кошке".

Честно говоря, читая такое, я всегда приходил в ярость. А потом подумал: стоит ли обращать внимание на хамство всяческих хазановых — тем более что его настоящая фамилия Файбисович? Однако в 1991 году, когда я приехал в Нижний Новгород, чтобы провести литературный вечер журнала, мне пришлось поневоле вспомнить о "наследниках рухнувшей культуры". Нижегородская земля дорога мне хотя бы потому, что здесь до революции работали врачами мой дед с бабушкой, что имя деда увековечено на фасадах двух знаменитых нижегородских больниц. Тем более я был уязвлен, когда прочитал в местной газете "Ленинская смена" интервью с актером Зиновием Гердтом, посетившим Нижний Новгород приблизительно в одно и то же время со мной. Очередной "наследник", подобно Хазанову, также ратовал за чистоту и величие русского языка: "Я думаю, ну что такое этот Куняев и весь этот "Наш современник"... Бондарев, Куняев, Проскурин и Алексеев... А как они разговаривают по-русски? Какая темная безграмотная речь. Я когда что-то читаю куняевское, то думаю: "Господи, хоть бы создали какую-то межпланетную комиссию, очень независимую, по русскому языку. И дали бы нам диктант и изложение. Куняеву и мне. И я посмотрел бы, где был бы

349

этот Куняев". Словом, я получил вызов на поединок от тогда еще живого Зиновия Гердта. Но поскольку противника, перед тем как согласиться на дуэль, надо все-таки знать, мне пришлось тщательно прочитать его громадное, чуть ли не на газетную полосу, интервью. Русский язык Зямы, как и следовало ожидать, был весьма своеобразен. Вот как наш отличник рассуждал о декабристах: *"Понимаете, им было отвратительно что-то есть, зная, что народ живет худо"* ("есть" в смысле питаться. — С. К.).

Очень печалился наш отличник-грамотей о том, что зритель плохо знает все его актерские возможности: *"Я должен сломать стереотип восприятия меня как комика. С этим покончено, хотя внутри обязательно должно быть смешно"*.

Не всеми ролями, которые ему предлагались в те времена, он был доволен: *"Вот недавно я снимался в пустой роли, не совсем пустой, конечно, там есть вещи, куда можно приложить душевные усилия"*. И т. д. и т. п. Не удержусь, впрочем, от соблазна процитировать еще один отрывок из интервью киноактера, полный красоты, стиля и темперамента: *"Борис Николаевич умен, абсолютно совестлив (это безусловно),*

обаятелен... Я однажды провел час в его обществе и влюбился в этого человека. А главное — у него есть колоссальный козырь! Я хочу, чтобы весь народ этой огромной трехсотмиллионной страны увидел его жену. Залюбят Ельцина, просто падут ниц перед этой немыслимой потрясающей женщиной... "После этого стоит ли удивляться, что похороны Зиновия Гердта и сопутствующие им траурные дни, организованные телевидением, проходили так, как будто мы прощались с величайшим русским актером двадцатого века.

А я, прочитав интервью-исповедь Зиновия в нижегородской газете, с печалью подумал: куда мне состязаться в знании русского языка с ним! К тому же и корреспондент по фамилии Кропман (тоже, видимо, "наследник"), бравший интервью у актера, с пиететом писал в своем маленьком предисловии: "Зиновий Гердт. Добрые умные глаза, изысканно красивая речь".

В третий раз я столкнулся с блистательными изысками в русской речи, вышедшими из-под пера еще одного наследника (ох, сколько наследили!) русской культуры Марка Розовского. Он опубликовал летом 1993 года в русскоязычной газете "Новое русское слово", которая выходит в Нью-Йорке, сочинение, озаглавленное им "Письмо в газету "Зафтра". Вот его текст:

"В связи с тем, что русский язык нуждается в реформе русского языка предлагаю слово "карова" писать через "ю", а

350

букву "г" отменить вообще как недостойную русского языка по причине ее нехорошего запаха. Во всем виноваты цыгане и евреи которым русский язык не великий не могучий. А они его не уважают пусть уважают в свой Израиль и там говорят на своем родном языке а наш язык оставьте нам чтобы мы могли на нем писать разговаривать.

Мы есть патриоты России и не дадим всяким жидом и масонам. Мы им врежем чтобы знали и не могли. А они хатят апоганить и опарочить нашу культуру и историю но мы будем на страже бить им по роже.

Русская должна принадлежать только русским и то много сейчас развелось лицов кавказской национальности и других чужаков на нашу голову. Русскому языку нада помоч. А кто ему поможд если не мы. Кто ишчто им будет хронить в нашем обществе память о языке Пушкина и Достоевского, Толстого и Тургеньева, Гоголя и Проханова, а не этих Патернюка и Ианделштурма, Булдакова и Плутонова.

Постоянный читатель вашей газеты —

(Подпись неразборчива) Ну вот, а еще за грека себя выдавал!

Володя Бондаренко через газету "Завтра" ответил тогда театральному режиссеру и актеру Розовскому (что-то все время именно людей театра тянет затевать дискуссии о языке), но чересчур раздраженно и серьезно. А надо было, на мой взгляд, просто продолжить лингвистические изыски Марка несколькими чеховскими пассажами, исполненными в том же стиле. Я даже подозреваю, что Розовский, как театральный человек, хорошо знающий наследие Чехова, сочиняя "письмо в газету "Зафтра", вольно или невольно пытался переплюнуть своего кумира Антона Павловича. Ну посмотрите сами, как слабо по сравнению с Розовским писал Чехов в 1887 году, осуждая антисуворолинскую кампанию в прессе: "Но никто так не шипит, как фармацевты, цестные еврейчики и прочая шволочь".

А вот поглядите, каким беспомощным (не то что у Розовского!) стилем написано письмо братьев Чеховых сестре, в котором Ал. Чехов как бы выпендривается и в то же время просит рекомендацию в журнал "Курьер" г неким Коновицером:

"Я послал бы и сам, но они мне, как Седого (псевдоним Ал. Чехова)... не жнають и могут пожнакомить моево

351

рукопись з/подпольного корзина. А ежели Вы пошлете и скажете, кто такова Седой, тогда я введу в "Курьер" ни через кухню, и чирез параднава дверь, как будто из банкирского контора".

Однако невозможно выдерживать постоянно столь изощренную стилистику, и Чехов, уступая в этом отношении Хазанову, Гердту и Розовскому, частенько переходит в своих "песнях" на более примитивный и безыскусный язык:

"На такой же точно желтой бумаге, как у Ваш пишет ко мне один очень недоедливый шмуль, и его письма я читаю не тотчас, а погодя денька три и Ваше письмо я отложил в сторону, подумав, что это от шмуля".

А вот Антон Павлович как бы упрекает Володю Бондаренко, вступившего в полемику с Розовским, да и меня заодно, за то, что выясняю отношения с покойным Зиновием ("Зямой", как называли его ласково в народе) Гердтом:

"Не печатай, пожалуйста, опровержения в газетах... опровергать газетчиков все равно, что дергать черта за хвост... и шмули, особенно одесские, нарочно будут задирать тебя, чтобы ты только присылал им опровержения".

А напоследок из письма Чехова к Щеглову:

"Засядьте писать повесть или пьесу из русской жизни, да и вообще нашей жизни, которая дается только один раз и тратить которую на обличение шмулей, право, нет расчета".

Спасибо Антону Павловичу за науку...

Из дневника тех времен (1991 г.)

В декабре получил письмо от своего однокурсника Виктора Старостина. Работает учителем в Тульской области. Филфак МГУ вместе кончали, литературу преподает, мои стихи любит. Пишет в письме: "читал ученикам твои "Русские сны ". Какая сердечная боль в главе о внуках! Читал вслух и сам чуть не разревелся... Через литературу пытаюсь объяснить детям то, что сейчас происходит в обществе. Куда пришли? К чему идем? Дело не только и не столько в пустых полках магазинов. Меня страшит другое—пустые души. У меня трое внуков, и они лишены даже того, что естественно было в детстве их пап и мам... Скоро Новый год, но жаль, что нет шампанского, впервые такое. На КПСС надели намордник. Да, это победа. Но рабская психология в крови людей. По-прежнему всего боятся. Сегодня Ельцин, а если завтра Лигачев? "

352

Бедный Виктор! недавно он помер, так и не поняв коварства времени, поймавшего его в капкан. Сам же писал о том, что его внуки лишены всего, что имели их отцы и матери в 50— 60-х годах, когда на КПСС еще не "надели намордник". Бедный запутавшийся русский человек! Почему даже на склоне жизни ему не стало ясно, что мы, люди из простонародья, дети учителей, врачей, служащих и даже уборщиц, могли достойно существовать и учиться в лучшем вузе страны — в Московском университете — лишь потому, что были защищены от всех мировых рыночных ветров "железным занавесом" советской власти?..

* * *

В конце страшного года, в сумрачном декабре, я, раздавленный расчленением страны, уговорил Сашу Проханова хоть на несколько дней уехать в Заволжье, в Арзамасский уезд, в глухие русско-мордовские леса, где в начале века работали земскими врачами в Карамзинской больнице мои дед с бабкой и где на берегу холодного, чистого Сатиса протекала в молитвенном подвиге жизнь преподобного Серафима Саровского...

Морозной ночью мы добрались до больницы, где нас встретила хлебосольная семья земских врачей — Олег Михайлович Бахарев с женой Мариной Владимировной.

Мы обнялись, расцеловались, сели за стол, поужинали, за разговором отмякли душой, а наутро Олег Михайлович предложил нам поехать не в Дивеево и не в Саров, а в лесную глушь. Часа два или три сряду наш "газик" пробивался сквозь заснеженные, заросшие березняком и осинником дороги. Тихий снегопад струился с небес, склоненные над лесными дорогами деревья время от времени не выдерживали снежной тяжести, с глухим шумом выпрямлялись, снег сухой шелестящей тучей осыпал меня и Александра, в

очередной раз толкавших забуксовавшую машину. Сороки, негодуя на то, что мы нарушили их покой, с верещаньем кружились над нашими головами, а красногрудые снегири, молча и степенно покачиваясь на кустах жимолости, разглядывали неожиданных пришельцев.

— А вот и Дальняя Пустынька наконец-то! — с облегчением сказал Олег Михайлович. — Я, грешным делом, сомневался, думал, что заблудились...

В Дальней Пустыньке протекли несколько лет одинокого затворничества русского народного Святого. Здесь он отмаливал у Бога грехи мира сего, здесь совершал подвиг смирения и

353

аскетической жизни. Небольшая поляна посреди соснового бора, легкий дощатый навес над головою. Когда-то здесь, видимо, стоял шалаш или крохотная землянка... На почве лежат два плоских камня с углублениями, оставшимися от колен святого Серафима: сотни ночей и дней простоял он в молитвах на этих гладких, отполированных глыбах песчаника.

Саша вытащил две свечи — поставил их на камни, Олег Михайлович достал спички, свечи вспыхнули, но под легким ветром, несущим над землей снежинки, заколебались, затрепетали — и вдруг погасли. Мы с Александром огорченно и молча переглянулись, но, словно бы в укор нашему сомнению, порыв ветра тут же затих, и язычки пламени сами по себе снова возникли над желтыми восковыми свечами... "Отойди от меня, Сатана!"

"Я воздавал своей земле почти молитвенным обрядом".

"Да воздастся нам по вере нашей".

Воздух поражения

Открытие памятника Достоевскому 1 октября 1993 года. Кто бесы? — спор с Юрием Карякиным. Ночь со 2 на 3 октября. Москва рекламная. День рождения Есенина. О событиях в Останкино моими глазами. Непроизнесенное слово. Михаил Барсуков во время октябрьской бойни. Он же через полтора года. Размышления о русских шабесгоях. Опозорившиеся писатели: Окуджава, Нагибин, Черниченко. Защитники "демократии от Куняева". Воспоминания о Городне. Знакомство с будущим Патриархом. Великодушные гаишников. Карьера ренегата

—Действуйте, Борис Николаевич!

М. Чудакова

Первое октября 1993 года. Поздняя, но еще золотая осень, Синее чистое небо. Желтые березы, липы, клены — любимые есенинские деревья — нехотя роняют листья на еще теплую рязанскую землю... Сотни людей на поляне неподалеку от села Даровое. Открытие памятника Федору Михайловичу Достоевскому в его родовом имении...

А в покинутой нами Москве кипят страсти — противостояние Кремля и Белого дома достигло предела. О, если бы это была схватка двух кланов в борьбе за власть! — Нет, дело пострашнее и посерьезнее: за каждым из этих властных кланов так или иначе стоят надежды, страхи, воля, корысть, гнев, жажда справедливости и возмездия не то чтобы

355

миллионов граждан! И если вспыхнет война—то и называться она будет гражданской...

Однако меня приглашают выступать. Я оглядел поляну, разноцветную толпу, оглянулся на своих писателей и собратьев, и недругов, вдохнул полной грудью холодный, настоящий на привядшей листве осенний воздух и, словно бы почувствовав еще раз горячую волну людского раздора, долетевшую от Москвы до рязанской земли, поднялся на трибуну:

— Поистине в роковые дни мы открываем памятник Достоевскому: бесы правят бал в сердце России — Москве, и в сердце Москвы — Кремле. Святое место! Но именно туда

их тянет, поближе к святости!

Я сделал паузу, поднял глаза и увидел пылающее гневом лицо Юрия Карякина, вспомнил, что некогда он написал любопытную книгу о Достоевском, и втиснул свои мысли в единственно возможное в эти дни русло:

— Достоевский проклял бесов революции, но лишь после того, как прошел через социалистические соблазны. Соблазны же капитализма, рынка и демократической антихристианской власти денег для него были настолько ничтожны и омерзительны, что он в них никогда даже и не впадал. Тайна Достоевского — это тайна русской народной души, русской истории, русского Бога, которых всегда страшился и ненавидел Запад. И тот, кто сегодня пытается подчинить Россию западной рыночной воле, — тот враг Достоевского и слуга Великого Инквизитора.

Ах, Федор Михалыч, ты видишь, как бесы
уже оседлали свои "мерседесы",
чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой
рвануться за славою и за валютой!

...Я сходил с трибуны, а навстречу мне с горящими глазами уже рвался Юрий Карякин. Он стал выкрикивать в толпу слова о том, что я не прав, что настоящие бесы сидят не в Кремле, а в Белом доме, но мне все это уже было неинтересно, потому что я и говорил, и думал о чем-то другом... Когда Карякин сошел с трибуны — мы оказались рядом, и каждый из нас сказал друг другу еще несколько "ласковых" слов.

Послу шумного и многолюдного банкета мы возвращались на "Икарусе" по ночному шоссе в Москву, без обычного в подобных случаях бестолкового веселья, скорее угрюмо и почти молча. Завтрашний день по всем предчувствиям не сулил никому из нас ничего хорошего.

356

Из литературного дневника тех времен:

"Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет"... Тысячи раз слышал я эту гордую патриотическую наивную похвальбу! Да, наша история доказала, что так оно и есть на самом деле. Ну а если не с мечом? Если с деньгами, с дипломатией, с хитростью и коварством, приемы которых отработаны в веках? А если с лестью, с гуманитарной помощью, с кредитами, с долговой удавкой, с тайными соглашениями?.. Если с советниками, которых Россия перевидала неисчислимые множества, начиная от жидовствующих проповедников до петровских немцев, от Бирона и маркиза де Кюстина до нынешних протестантских ораторов и Джеффри Сакса? Богаты приемы и возможности мировой закулисы, а мы все талдычим: "Иду на вы", "Вот ежели с мечом, то дело серьезное, а без меча нам не страшно!"... И хвалится в стихах поэт Феликс Чуев, "что обмануть нас можно, но победить нельзя!" А разве обман, дипломатические ловушки, непосильные долги, международное ростовщичество не есть победа над нами? Может быть, хватит уповать на князя Святослава и князя Александра Невского и пора бы не только за меч, но и за ум братья, а то так и останемся храбрыми, доверчивыми, наивными и обманутыми аборигенами в холодном и жестоком мире грядущей мировой истории?"

* * *

Вечером второго октября я вышел из краснопресненского метро и пошел по мокрой, холодной брусчатке к тыльной стороне Белого дома... Я подошел к зловеще поблескивающей паутине "спирали Бруно", окружившей молчаливое здание. Возле прохода сквозь проволоку толпились мордатые омовцы, в бушлатах, бронежилетах и тяжелых ботинках, с автоматами наперевес.

— К Белому дому нельзя! Не нужны мне ваши документы, я и смотреть их не буду! — отрезал старший из них в ответ на мою просьбу.

— Я представитель Конституционного собрания! — раздался чей-то голос у меня за

спиной. — Чинить мне препятствия вы не имеете права!

Я оглянулся. За мной стоял высокий худой человек в очках, в легком светлом плаще, он поеживался от холодного ветра и протягивал омовцу какое-то удостоверение. "Да это же Олег Румянцев!" — взглядевшись в него, сообразил я.

357

— Мне приказано внутрь заграждения не пропускать! — отрезал омовец.

— Ну вот, Олег Александрович! — обратился я к Румянцеву. — Где она, ваша Конституция?

Румянцев беспомощно и демонстративно развел руками, и мы, повернувшись, отправились обратно к метро...

Но спускаться в чрево метрополитена мне расхотелось, и я решил добраться до дома через "Белорусскую" и "Динамо" пешком.

Я шел по пустынным, притихшим в ожидании близкой беды улицам и вглядывался в Москву, за два года ставшую чужой и непонятной. Я остановился, рассматривая рекламные щиты, вчитывался в тексты, пытаюсь понять время, врасплох окружившее меня, раздумывал, делал какие-то записи в блокноте, фиксируя все язвы и метастазы новой эпохи...

Всякий общественный строй волей, верой, коллективным разумом вырабатывает свою идеологию. Она живет в речах и книгах, выявляется в действиях и поведении политиков. Но политики имеют дело с массами, и для них правящая элита всегда стряпает выжимки, концентраты, сгустки из своих политических программ и своего мировоззрения.

Помните лозунги советской эпохи? "Мир народам! Земля — крестьянам! Фабрики — рабочим!", или "Пятилетку в четыре года!", или "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!"

Они, эти лозунги и клише, были в свое время необходимы и полны живого биения общественной крови.

Потом их сменили казенные, лишённые энергии формулы, от которых никому не было ни холодно ни жарко: "Экономика должна быть экономной", "Народ и партия едины", "Храните деньги в сберегательной кассе".

Сегодняшнее время также тужится сочинить свои идеологемы.

Это даже не плакат, а скорее громадный экран: путана с томным взглядом предлагает новому русскому: "Поедем в Сохо!" Для широкого читателя поясним, что Сохо — это известный злачными местами, игорными и прочими сомнительными домами район Лондона...

А что стоит перл философско-рыночного агитпропа возле стадиона "Динамо": "Если хочешь быть счастливым — будь им", — нарисованы мужчина с женщиной, в руках у мужчины пачка каких-то американских сигарет. Но рекламируются не только сигареты, рекламируется идея, что в этом мире все

358

зависит от тебя самого. Текст по холодному цинизму напоминает изречения, висевшие в Освенциме: "Труд делает человека свободным". Вершина рыночно-демократической идеологии. А как целенаправленно и подло на уличных и площадных стендах и на телеэкранах выхолащивается священный смысл высоких ("сакральных") слов и понятий. Обратите внимание: чуть ли не в любой рекламе есть хотя бы одно высокое и близкое душе любого человека слово: "Колготки Сан-Пелегрино прочные, как истинные чувства". "Магги — вкус к творчеству", "Страсть, как люблю казино Шатильон"... "новая эра напитков". Ну "эра" — и ничуть не меньше! У Белорусского передо мной возник Илья Муромец, распрямивший на фоне ночного неба мощные плечи, раскинувший крепкие руки лишь для того, чтобы произнести: "Б о г а т ы р с к и й шоколад, а цена все та же!" Слово "богатырский" осквернено, выпотрошено, использовано на потребу. Все, как в повести Шукшина "До третьих петухов", когда черти, осадившие монастырь, предлагают монахам такие условия мира: "А вы вместо ликов своих святых — наши рожи на иконах

намалюйте, и кланяйтесь им, и молитесь!"

Случайностей в этой коварной системе выхолащивания высокого смысла слов нет. "Это для мужественных мужчин, сильных духом" — три сакральных слова ради рекламы какого-то паршивого одеколона.

А как не повезло слову "совершенство"! Передо мной на металлических опорах щит, на котором изображены сначала обезьяна, потом питекантроп, потом современный человек в обнимку с бутылкой какого-то немецкого пива, и все украшено надписью: "Путь к совершенств у".

Поистине, в такого рода сюжетах дьявол хихикает и потирает руки, видя, как со свистом выходит дух святости из слов, который копился в них всю историю человечества, поскольку власти денег могли противостоять лишь святость, мужество, самоотверженность. Но этого мало. С особенным рвением мелкие бесы, ненавидящие все величественное, сводят счеты с советской историей.

Вот он — у часового завода—громадный квадрат; на фоне синего неба летят куриные тушки, а над их вереницей строка из гимна авиаторов 30-х годов: "Все выше, все выше и выше стремим мы полет наших птиц".

А такой шедевр вам не встречался? — Бритоголовый молодой толстячок с накачанными бицепсами в спортивной форме. "30 часов в сутки спорт" — и дальше фраза, в которой выплеснулась вся лакейская ненависть торгашей к героям:

359

"Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Плевков в роман "Как закалялась сталь". Мародеры и импотенты издеваются над эпохой Чкалова, Водопьянова, Стаханова, Николая Островского...

Да, чтобы понять, что случилось с Россией, надо, сосредоточившись, пройти по пустынной ночной Москве. "Рабочий и колхозница" — поддерживавшие некогда, как атланты, равновесие мировой жизни, ныне вздымают на своих мускулистых руках какую-то ничтожную пачку сигарет. Скульптура гениальной Мухиной, словно огненный сгусток расплавленного металла, вырвавшийся из жерла Магнитки и Кузбасса и застывший в холодном воздухе вечности!

А что дальше? Поскольку на водочных этикетках, на сигаретных пачках и в рекламных клипах давно уже мелькают лики Пушкина и Чайковского, Есенина и Гагарина — людей с духовным ореолом, — то остается только ждать, что скоро в рыночно-рекламный обиход враг рода человеческого внедрит лики Спасителя, Богородицы, Николая Угодника.

А как подло-продуманно оскорбляется женское естество рекламой пресловутых прокладок. Дело тут даже не в прямом натуралистическом комментарии к интимнейшим сторонам жизни женской природы. Если бы только это!..

Раз в месяц, согласно таинственным законам естества и лунного календаря, разработанного и утвержденного Создателем, женщина готовится к мистическому акту зачатия жизни. Се — тяжелый подвиг, требующий внутренней собранности, почти молитвенной сосредоточенности, целомудренной самоуглубленности... А на экранах ТВ — подобное состояние изображается как пустяковый, досадный и почти постыдный недуг, вроде инфекции или насморка, мешающего прыгать, танцевать, "оттягиваться"... Это и есть десакрализация самых что ни на есть священных для всех народов и религий глубин жизни. Расстреливать людей за то, что они не желают жить под властью тотальной "рыночной тирании"?! А Иисус Христос, который за всю свою земную жизнь, глядя на различные грехи, пороки и слабости людские, лишь однажды испытал чувство ярости: когда столкнулся с рыночным чудовищем, вторгшимся даже в храмы. И тогда он "начал выгонять продающих и покупающих в храме"; и "столы меновщиков (обменные пункты. — Ст. К.) опрокинул", "и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех"... (Евангелие от Иоанна 2, 21.)

Поистине — "вначале было слово", и потому сатанинский рынок в первую очередь пытается уничтожить его святость.

...Вот о чем я думал, когда брел по Москве сквозь строй

360

рыночного агитпропа в холодную, пустую, чреватую бедой ночь второго октября 1993 года.

А осенью 1999 года—ровно через шесть лет—я убедился, насколько за эти годы жизнь приблизилась к апокалипсису, когда увидел на Зубовской площади — над фасадом десятиэтажного жилого дома — необъятный, занимающий полнеба стенд, который мог бы украшать какую-нибудь центральную площадь Содома или Гоморры: громадная рожа декольтированного существа, украшенная дебильной улыбкой, выпученные глаза, вывалившийся язык и текст: "Оргия гуманизма в гостинице Редиссон-Славянская. Ежедневно с 24 часов. Дети до 16 лет не допускаются"...

Ну как тут не возненавидеть "гуманизм", вместе с "мужеством", "совершенством", "богатырством" и "творчеством"!

В октябре 93-го на берегу Москвы-реки был расстрелян не просто парламент...

* * *

Третьего октября в шесть часов вечера я на своей машине подъехал к телевизионному центру "Останкино".

В восемнадцать тридцать в передаче "Русский дом" должен был начаться наш разговор с ведущим Александром Круговым и поэтессой Ниной Карташевой о Сергее Есенине, разговор, приуроченный ко дню рождения поэта — четвертому октября.

Я вышел из машины, проверил, со мной ли несколько четвертушек бумаги — мои размышления о Есенине, которые я обдумывал последние два дня и очень дорожил ими, считая, что сделал некоторые открытия, и двинулся к центральному входу... Мелькнула беглая мысль: почему-то перед центральным входом нет машин — обычно тут бывает трудно припарковаться. На ходу отметив подобную странность, я толкнул вертящуюся стеклянную дверь и попытался войти в вестибюль. Но не тут-то было. Два человека в пятнистой форме с автоматами на груди перегородили мне дорогу:

— Телецентр закрыт!

— Как закрыт? У меня через полчаса передача, меня ждет Александр Кругов.

—Ничего не знаем. Все сотрудники отпущены уже в 4 часа. Бюро пропусков закрыто. Уходите. Только поворачивайте сразу налево. А то, если пойдете направо, вас могут обстрелять...

Совершенно ошеломленный, я вышел из вестибюля и огляделся: пустынная площадь, лишь возле углового входа, близкого к концертному залу, стояла небольшая толпа —

361

несколько десятков человек — и слушала какого-то оратора. От нечего делать я подошел к кучке людей, сгрудившихся на ступеньках наглухо закрытого бокового вестибюля. Человек с мегафоном что-то говорил о преступлениях режима, о фашиствующем ОМОНе, рядом, вдоль стены, сливаясь с серым камнем, стояла цепочка солдат, к которым время от времени подходили женщины и уговаривали солдатиков-дзержинцев не ввязываться в борьбу с народом. Солдаты молчали, слушали, не спорили.

— Да здравствует наша народная армия, которая никогда не станет стрелять в народ! — провозгласил человек с мегафоном — Ура-а!!! — его возглас подхватили люди, стоящие на ступенях. Солдаты молча и растерянно переглядывались, крутили головами, явно чувствуя себя не в своей тарелке...

— Читайте списки палачей России! — раздался голос у меня за спиной. Я оглянулся: желтоволосый паренек в замызганной голубой куртке торговал какими-то тощенькими брошюрками.

— Что у тебя?

— Списки палачей России 1919—1939 годов.

Я перелистал брошюрку с фамильными списками ЦК, Комиссариата иностранных дел, ЧК, ОГПУ, НКВД... Ягода, Агранов, Френкель, Гамарник, Берман, Фриновский, Якир...

— Спасибо, я все это знаю.

— Все знать невозможно!

Паренек отвернулся от меня и замахал брошюрой:

— Читайте списки палачей России!

А между тем народ стал прибывать со стороны ВДНХ, как вода во время половодья. Повалили сразу толпами, какие-то автобусы подъезжали с людьми — возбужденными, разгоряченными, только что, как я потом выяснил, прошедшими горячий путь от Крымского моста к мэрии и Белому дому.

— Мэрия наша!

— Белый дом освобожден!

— Блокада прорвана!

— Ура баркашовцам!

Я оглядывал снующих взад-вперед людей—в куртках, в сапогах, в телогрейках, безоружных (лишь у некоторых, вновь прибывших на автобусе и пытавшихся ровным строем войти в ворота перед вестибюлем, были щиты, видимо отобранные у омовцев). Но на лица было радостно смотреть — живые, возбужденные, одухотворенные, с горящими от победного восторга глазами.

— Мэрию взяли — даешь Останкино!

"Вот так же пугачевцы взяли Белогорскую крепость и закричали: "Даешь Оренбург!"

— подумалось мне.

362

Неожиданно в клубящейся толпе я столкнулся лицом к лицу с журналистом, когда-то работавшим в Останкино:

— И чего они шумят, кругами ходят? Если брать Останкино, то надо брать вон то маленькое здание, где технические службы. А тут делать нечего...

— Ну, скажи им об этом!

—А кому сказать-то? — он поглядел на меня выпученными глазами. — Я только что от мэрии! Ну, баркашовцы молодцы, бесстрашные ребята. Заместителя Лужкова Брагинского захватили, главного мафиози!

Чтобы унять волнение, мы отошли в сторону, закурили.

—А где твоя машина? — спросил он. Я показал ему на моего одинокого "жигуленка", стоявшего перед центральным входом.

— Слушай, дело серьезное, тут кровью пахнет, ты бы его отогнал куда-нибудь в переулок.

Я послушал его, отогнал машину в торец техцентра и вернулся обратно. Интересно, чем все-таки все закончится. История на глазах творится!

...Холодный осенний закат освещал волнующуюся и все увеличивающуюся толпу, не знающую, что ей делать дальше, и какое-то внутреннее напряжение от этого незнания нарастало в воздухе с каждой минутой. Время от времени некие авторитетные лидеры, стоявшие на ступеньках возле микрофона, выбегали на проезжую часть и из-под ладони вглядывались в приближающиеся машины и автобусы:

— Наши едут или не наши?

Машины приближались, и вздох облегчения вырывался из глоток:

— Наши!

Вдруг меня осенила мысль: а почему бы не пробиться к мегафону и не прочитать две странички из моих размышлений о Есенине? Ведь в них идет речь об освобождении России, а это освобождение вершится сейчас на моих глазах. К тому же не худо напомнить мятущейся толпе о том, что завтра день рождения ее великого поэта. Подавши плечо вперед, я стал протискиваться по ступенькам к человеку с мегафоном, но через несколько шагов уперся в плотную людскую массу.

— Куда лезешь?

— Я слово хочу сказать!

— Какое слово, кто ты такой?

— Я редактор журнала "Наш современник", должен был выступить сегодня по телевидению, у меня есть небольшое слово о Есенине...

— Ну, мы Есенина уважаем и ваш журнал тоже, но разве

363

не видите, что творится? Народное восстание, конец оккупационному режиму! Вот возьмем Останкино, тогда и расскажешь о Есенине... А сейчас смотри, народ к техцентру двинулся, пошли!

Мы перетекли через дорогу и расположились возле бордюра, обрамлявшего подземный переход. Вечерело. Осенние сумерки наваливались на Москву, лишь алая полоса заката со стороны Ботанического сада освещала море людей, отсвечивалась в стеклянных стенах техцентра, где на втором этаже можно было видеть сквозь щели в шторах какое-то движение, перемещение фигур, не предвещавшее всем стоявшим внизу ничего хорошего.

— Какая сволочь Ельцин! — выругался кто-то за моим плечом. — До чего довел народ — до бунта. Ну, теперь все рухнет... Анархия... Пугачевщина!

Я оглянулся. Трое молодых людей, упакованных в дорожные модные пальто и кожаные куртки, стояли за мной и нервно всматривались в стеклянную громаду телецентра. Один из них узнал меня:

— Здравствуйте, а мы из "Коммерсант Дейли". Ну, скажите честно, если вы придете к власти, вы наше издание не закроете?

— Ну что вы, — как можно радушнее улыбнулся я. — Вот у нас-то и будет настоящая демократия!

...А людское половодье все прибывало и разливалось все шире, захватив широкий тротуар и проезжую часть перед телецентром. Резкий октябрьский ветер трепал в наступающих сумерках и красные, и черно-золотые монархические флаги, московские гавроши, как галки, торчали на деревьях, вглядываясь в группу людей, пытающихся пройти через центральный вестибюль в осажденное здание.

— Макашов приехал, Макашов! — зашелестело в толпе, и как будто в ответ на этот шелест мелькание теней на втором этаже стало более быстрым и лихорадочным.

Я обратился к "дейликоммерсантам":

— Давайте-ка, ребята, поближе к бордюру, в крайнем случае, когда что-либо начнется, укроемся.

— А начнется? — со страхом спросил меня один из них.

— Конечно же, начнется...

И как бы в подтверждение моих слов из сумерек, раздвигая толпу, словно громадный звероящер, выполз то ли "КрАЗ", то ли "КамАЗ", развернулся и уставился своим рылом в застекленную дверь центрального входа. У меня сжалось сердце: идиоты, неужели будут таранить двери? Ведь для того чтобы войти в вестибюль, достаточно взять длинные водо-

364

проводные трубы, которые грудой были навалены на тротуаре вдоль всего застекленного первого этажа, выбить стекла, и через пять минут хоть сто, хоть тысяча человек гуляла бы по коридорам и аппаратным техцентра. Но кому-то захотелось эффектного зрелища, которое потом сотни раз тиражировалось на экране!

Почти уже в полной темноте металлический звероящер подполз к входу, чуть разогнался и с ревом ударил в стеклянную дверь своим тупым рылом. Зазвенели стекла, толпа взвыла от ужаса и восторга. Звероящер дал задний ход и опять с разгона попытался въехать в вестибюль, но его высокая кабина не пролезала под перекрытие, и машина, вонзив рыло в дверной проем, застряла. Водитель, видимо, ошалев от ярости, снова включил задний ход, снова разогнался вперед, пытаясь протиснуть машину в чрево здания, и снова она загрохотала, застонала, заскрежетала и не пролезла под бетонное перекрытие первого этажа. Во тьме ревел на холостом ходу мотор, с криками колыхались туда-сюда людские массы, звенели стекла, и мы, как оглушенные, смотрели на эту отчаянную попытку взять бастион четвертой власти в конце двадцатого века пугачевским

нахрапом... "КрАЗ" снова дал задний ход, и вдруг от вестибюля донеслись угрожающие крики:

— Отойдите! Отойдите от дверей как можно дальше!

Толпа, видимо, узрев что-то недоступное моему взору, — мы все-таки стояли метрах в пятидесяти от входа — подалась, и вдруг меня ослепил блеск пламени и оглушил грохот.

"Гранатомет!" — мелькнуло у меня в сознании, и в следующий миг над нашими головами раздались автоматные очереди со второго этажа, оттуда, где все время мелькали какие-то тени. Гильзы звонко зацокали о бетонные плиты, и мы рухнули за спасительный гранитный бордюр, прижимаясь друг к другу... Когда через несколько минут стрельба ослабла, я поднял голову, увидел в темноте лежащих, встающих, шевелящихся, начинающих передвигаться людей и сам короткими перебежками, почти на четвереньках, выбрался, как мне показалось, в "мертвую", непростреливаемую зону в направлении цоколя и побежал к моей одиноко стоявшей машине. Несколько автомобилей, возле которых я поставил свой, уже на тротуаре не было...

По дороге я вдруг заметил лежащего за фонарным бетонным столбом паренька в голубой куртке, рядом с ним валялись разбросанные, шевелящиеся от ветра брошюры. Одну из них, наклонившись, я схватил на память об этом дне: "Списки

365

палачей России 1919—1939 годов". 3-го и 4 октября эти списки щедро пополнились...

Вечером, возбужденно и судорожно рассказывая дома обо всем, что видел, я вдруг нащупал в кармане и эту брошюру и мои несколько листочков-четвертушек—записей о Сергее Есенине, которые мне не удалось прочитать ни на "Русском доме", ни на улице... Вот они, эти странички. Не пропадать же им.

Если бы сегодня Сергей Есенин поглядел на нашу воровскую приватизацию, на нашу Москву, облепленную вульгарными иностранными ярлыками, на наше пошлейшее рекламно-телевизионное безобразие, поглядел бы на псов-рыцарей, защищающих режим на Пресне со щитами, касками и дубинками, он, конечно, повторил бы свою бессмертную строчку: "В своей стране я словно иностранец " и снова бы вспомнил: "Страна негодяев"... Иностранцем можно быть только в стране негодяев. Я думаю о сегодняшнем противостоянии сил и вспоминаю отрывки из мемуаров Галины Бениславской. Во время работы над "Страной негодяев " однажды ночью хмельной Есенин сказал ей: "Это им не простится. За меня отомстят. Пусть лучше не трогают. Посадят — пусть сажают. Еще хуже будет. Мы злые, когда нас озлобят. Лучше не трожь. Не надо ". Слова, записанные Галиной Бениславской в одну из московских роковых ночей 1924 года. В этих словах — пророчество. Троцкий, Ягода, Зиновьев, Свердлов, Агранов... Действительно, Есенин жил в стране негодяев. А что, сейчас в стране Чубайса, Гайдара, Бурбулиса — лучше? Но меня могут спросить: если Есенин думая о России как о стране негодяев, чувствовал себя то иностранцем, то пасынком, то как оке это совмещается с его признаниями в любви к Родине, с желанием быть гражданином в "великих штатах СССР"? И вообще, советский или антисоветский поэт Сергей Александрович Есенин? В приговорах 1937 года, вынесенных его друзьям, он проходит как поэт "антисоветский ". Из дела Петра Орешина: "Материалами следствия установлено, что еще в 1923 году обвиняемый Орешин являлся участником антисоветской группы реакционных поэтов С. Есенина, С. Клычкова, Н. Клюева, вместе с которыми в 1923 году за активные антисоветские действия привлекался к уголовной ответственности". В сущности, антисоветским поэтом объявил Сергея Есенина главный идеолог эпохи 20-х годов Николай Бухарин в "Злых заметках". Да и сам поэт не раз давал к тому прямые поводы: "Перестая понимать, к какой революции я принадлежал " (1923 г.), или "какую-то хреновину

366

в сем мире большевики нарочно завели "... Да примеров много! Но можно и возразить: как же так! Есенин не раз признавался в любви к революции и книги свои называл "Русь советская ", "Страна советская", клялся в том, что "отдам всю душу октябрю и маю... "

Да. При желании можно доказать, что Пушкин — поэт свободы, а можно доказать и другое, что Пушкин — поэт империи. Можно убедительно изобразить Есенина и певцом советской власти и, если очень захочет, — стихийным противником коммунистического режима. И то, и другое будет справедливым. Все дело в двойственной природе нашей революции. Есенин, так же как Блок и Клюев, как легендарный казак Миронов или Нестор Махно, принял революцию как надежду на возрождение и расцвет России, как выход России к народовластию, к русской народной демократии, идущей на смену бюрократическому имперскому государству. Говоря современным языком, он был "национал-патриотом". Вспомним "Анну Снегину". Ее герои Прон Оглоблин, Лабутя — люди с большими изъянами, комбедовцы, голытьба, своего рода деревенские шариковы, и все же они куда ближе и роднее Есенину, чем комиссар Чекистов из "Страны негодяев" или Карл Маркс, которого "ни при какой погоде" Есенин, по собственному признанию, "не читал". А его земляки — вожди низов, деревенской черни, родственные Хлопуше, — люди русского народовластия. Но это народовластие чаще всего сосредотачивалось не где-нибудь, а именно в Советах и объективно противостояло интернационально-масонскому криминальному братству партийной и чекистской верхушки, которая в борьбе за власть оказалась куда более подготовленной и изоциренной, нежели русские национал-патриоты. И Прона Оглоблина, и Лабутю, и Замарашкина, и Номаха гораздо естественнее можно представить себе в антоновских дружинах, нежели в кремлевских кабинетах. Есть много свидетельств того, что Есенин, как никто другой, ощущал борьбу двух этих сил, волею судьбы запряженных в одну систему, но и в ней продолжавших бороться друг с другом.

Противостояние еврейского функционера Чекистова-Лейбмана и русского революционера-технократа Рассветова из "Страны негодяев", в голоса которых вливается голос поэта, четко обозначает борьбу национального и космополитического в недрах реокима той эпохи:

*Еще не изжит вопрос,
Кто ляжет в борьбе из нас.*

367

*Честолюбивый росс
Отчизны своей не продаст.
Интернациональный дух
Прет его на рожон.
Мужик, если гневен не вслух,
То завтра придет с ножом...*

Это мысли то ли Есенина, то ли Рассветова... Но все продолжается, как было в начале 20-х годов. Снова, но в другом обличье, "интернациональный дух", на этот раз не коммунистический, а буржуазный, "прет на русский рожон"...

Есенин понимал антирусскую природу верхушки большевистской компартии (она обрусела лишь через двадцать лет после сталинских чисток), когда писал в стихотворении о Ленине: "Ведь собранная с разных стран, вся партия — его матросы"...

Так что советский или антисоветский поэт Есенин — решайте сами. Русское движение к демократии и к народовластию он принимал. Антирусскую деятельность всемирного интернационала — "граждан из Веймара" — отвергал с брезгливостью и ужасом. Но драма поэта была в том, что и та, и другая силы жили под вывеской одной идеологии и одного режима. И Есенину в конечном счете оставалось одно — поставить свое призвание выше всех политических пристрастий. Что он и сделал: "Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам..."

А потому он и великий русский поэт.

* * *

Пятого октября ко мне в редакцию пришел пожилой человек, небритый, с землистым

лицом и безумным взглядом.

— Вы знаете, что вчера творилось в Останкино? На моих глазах две женщины, хорошо одетые, прогуливались в роще за прудом с собачками... Дорогими, породистыми... Бэтээры начали стрельбу по деревьям, под которые убегали от телецентра люди. Одну женщину с собачкой ранило в плечо, а другой пуля разбила голову. И я видел, как собачка-такса бегала вокруг мертвой хозяйки и скулила!

В тот же день в газете "Известия" было опубликовано позорное письмо 42-х писателей, озаглавленное так: "Писатели требуют от правительства решительных действий". Судить, сажать, закрывать газеты, арестовывать. Ну, с Черниченко и Оскоцкого взятки гладки, они поистине бешеные. Но каково

368

было читать, что это письмо подписали Ахмадулина, Левитанский, Кушнер, Таня Бек... Тонкие лирики, сердцеvedы, поклонники Мандельштама. Помнится, что Мандельштаму очень нравились строчки Есенина: "не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам". Да и сам Осип Эмильевич исповедовался эпохе: "не волк я по крови своей"; "чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе". А этим, якобы любящим Мандельштама, нашим поэтам хочется "решительных действий", они жаждут увидеть "кровавые кости в колесе", они "волки" по своей крови, до сих пор носившие для маскировки овечьи шкурки. Впрочем, Кушнер иногда проговаривался и раньше: "Дымок от папиросы да ветреный канал, чтоб злые наши слезы никто не увидел".

Немного времени прошло, а из этого списка призывавших к репрессиям многих уже нет с нами: Адамовича, Анфиногенова, Ал. Иванова, Нагибина, Лихачева (да, да, "совести" русской литературы! — Ст. К.), Савельева, Окуджавы, Разгона, Рождественского, Селюнина, Левитанского, Дудина, Иодковского... Они жаждали людского суда над своими коллегами, а все случилось иначе. Поистине вспомнишь вещие слова русского поэта: "Но есть, есть Божий суд"...

Из литературного дневника тех дней:

"Раздавите гадину!" — заклинал с пеной у рта один из сорока двух подписантов, Юрий Черниченко, компанию молодых ребят, встретившихся ему на вечерней московской улице в кровавые октябрьские дни. Тут же рядом с Черниченко каким-то образом оказался телеоператор, записавший на пленку каннибальские призывы летописца брежневской эпохи. Откуда молодым людям было знать, что перед ними брызжет слюной не просто рассерженный пожилой человек, а один из главных певцов целины, автор киносценария о косноязычном генсеке, придворный журналист одного из самых могущественнейших и криминальных секретарей обкомов КПСС — краснодарского князька Медунова? Если он под "гадиной" подразумевал коммунистическую партию, то надо признаться, что он очень хорошо обслуживал ее в свое время. Но дело уже не в политическом лакействе, а в позорном невежестве писателя. Забыл он, должно быть (а может, и никогда не знал), что призыв идеолога кровавой французской революции Вольтера "Раздавите гадину" относился к католической церкви Франции и что этим призывом воспользовались палачи якобинцы. Воплощая в жизнь безумный

369

лозунг Вольтера, они жгли и грабили по всей Франции монастыри и церкви, вспарывали животы провинциальным священникам, топили их в Сене и Луаре сотнями, насильовали монахинь и справляли атеистические шабаши по всей несчастной стране, предвосхищая деяния нашего антицерковного чекиста Губельмана-Ярославского, который тоже призывал "раздавить гадину" — русскую православную церковь.

Если бы молодые люди, перед коими у ночного костра на московской улице выступал Черниченко, знали, чем закончился призыв "Раздавите гадину" во Франции, — они бы отшатнулись в ужасе от полуночного агитатора, как от зачумленного. А именно таким он остался на телевизионной пленке: сумасшедшие, выкатившиеся из орбит глаза с кровавыми отблесками в них ночного пламени, лысый, сверкающий от бликов, потный,

крупный, почти ленинский череп, искаженное, перекошенное от ярости и страха лицо, оскаленный рот с кариесными зубами, из которого несетя утробное "Раздавите-е!!".

...Возле стадиона "Авангард", что на Красной Пресне, стоит Крест, окруженный временной оградой, у Креста горят свечи, лежат цветы, шевелятся под ветром траурные ленты... На стене стадиона имена погибших, стихи, проклятья палачам, фотографии погибших и пропавших без вести. На том месте, где стоит Крест, погиб в октябрьские дни украинский священник. Когда из бронетранспортера лихие таманцы полоснули по толпе свинцом, отец Виктор бросился навстречу машине в священническом одеянии с крестом, поднятым над головой. Он надеялся, что стрелок, сидящий за пулеметом, прекратит стрельбу. Но молодой палач нажал на гашетку, и отца Виктора прошла свинцовая очередь, он упал, и стальная громада переехала бездыханное тело. Вот так буквально исполнилось требование писателя и члена Государственной Думы Юрия Черниченко: раздавили...

* * *

В 1995 году слуги и пропагандисты ельцинского режима, чтобы оправдать октябрьское кровопролитие, издали громадную семисотстраничную книгу "Москва. Осень-93. Хроника противостояния".

Я, как очевидец останкинских событий, первым же делом перелистал страницы, их касающиеся, и сразу понял: книга эта замешена не только на крови, но и на лжи.

370

"К 19.00 подъехали несколько десятков грузовиков с вооруженными защитниками Белого дома... Они были вооружены автоматами" (стр. 381).

Ложь. Свидетельствую: кое-кто был вооружен омовскими щитами и дубинками, отобранными у защитников мэрии. Автоматов ни у кого не было.

"Один из боевиков Макашова произвел выстрел из гранатомета по ГТЦ..." (стр. 383).

"Два оглушительных взрыва прогремело возле самых дверей, и сразу же с обеих сторон заговорили автоматы" (стр. 385).

"Прорезав толпу, два "Урала" стали попеременно таранить стеклянный холл здания" (стр. 384).

Ложь и в большом и в малом.

До сих пор неизвестно, что за провокатор ("боевик Макашова"!) произвел единственный выстрел из гранатомета; автоматы заговорили лишь с одной стороны — со второго этажа телецентра, где, словно бы ожидая гранатометного сигнала, сидели наизготовку спецназовцы из "Витязя"; и "Уралов" было не два, а один...

Я понимаю, каков был заказ составителям и авторам этого сборника: убедить общество, что в Останкино был настоящий многочасовой бой с могучими, до зубов вооруженными "профессионалами-боевиками", а не просто хладнокровный расстрел безоружной толпы.

"Выйдя на "переговоры", нападавшие открыли огонь из-под белого флага" (стр. 388).

"Около семи вечера Александр Шашков, готовивший выпуск "Вестей", сообщил, что начался обстрел здания телецентра, вокруг вооруженные гранатометами боевики, разбиты окна концертного зала" (стр. 389).

"А вокруг шел бой" (стр. 392).

Все неправда. Однако, чтобы выдать ложь за правду, дополнительно к профессиональному лгуну Шашкову приводится мнение "профессионала".

"Из докладной записки зам. командующего внутренними войсками МВД России генерал-лейтенанта П. В. Голубца (стр. 405—415):

"Мятежники готовятся к штурму... Они убрали отсюда безоружных людей, на площади остались одни боевики".

"О том, что действуют профессионалы, я понял сразу: по выбору объекта, интенсивности огня и настойчивости штурма". (А на стр. 384 читаем нечто противоположное: "По их осанке и оснащению было видно — непрофессионалы" — совсем запутались в своей мелкой лжи!)

"Нами были отбиты три атаки. Поймите, состоялась не просто короткая перестрелка, а три атаки". (Свидетельствую: не то что трех атак — даже "короткой перестрелки" не было. — Ст. К.)

"Тремя выстрелами из гранатометов (на стр. 385—сказано, что было два, на самом же деле один. —Ст. К.) был дан сигнал для начала штурма".

А вот как излагает генерал историю гибели французского журналиста Ивана Скопана, который оказался "в толпе штурмующих" (да, я видел, как он упал, когда "витязи" осыпали толпу автоматными очередями), а потом, когда его, раненого, выносили с площади, откуда-то раздалась прицельная очередь, по поводу которой Голубец "профессионально" заключает: "Мятежники его добились". Вот вам и "честь имею"! Получил орден "За личное мужество". Еще бы, так расписать героизм частей, которыми он командовал: "...мужество наших ребят, которые два с лишним часа выдержали жестокий огневой бой" (стр. 413).

"Под огнем лежали два часа. И просто чудом не были поражены, ведь огонь был сумасшедшим. Как эти люди остались целы, это просто счастье. Бог спас" (стр. 415).

Еще бы не чудо: в окрестностях телецентра осталось лежать более сорока трупов. Но как "хорошо подготовленные профессионалы, вооруженные автоматами и гранатометами", не нанесли никакого урона спецназовцам и бэтээровцам, которые расправлялись с ними, как с цыплятами?!. Эх, генерал, генерал, "три атаки" отбил, звездочку очередную получил на погоны, орден "За личное мужество"... Да за такую ложь — погоны срывать надо!

В заключение хочу только добавить, что эта книга, вышедшая двумя изданиями (тираж 100 тысяч), была за баснословные гонорары составлена несколькими журналистами и одним известным литератором Валентином Оскоцким. А чего холуям было осторожничать, когда их пахан Ельцин, не стесняясь, лгал в "Записках президента" (стр. 381, 130) о том, что "боевики, в арсенале которых были гранатометы, бронетранспортеры", "захватили два этажа телецентра "Останкино" и Дом звукозаписи и радиовещания на улице Качалова".

...На другой день был сыгран последний акт российской трагедии — расстрелян парламент.

Министр МВД Ерин "за мужество и героизм" получил звание **Героя** Российской Федерации, генералы Грачев и Кобец — ордена "За личное мужество", но ближе всех в эти роковые

дни к Ельцину были, наряду с Гайдаром и Лужковым, его верные опричники Коржаков и Барсуков.

Через три года после октябрьской трагедии я приехал по приглашению тульского губернатора Василия Стародубцева на Куликово поле. После наших выступлений перед многотысячной толпой по знаку губернатора его свита и гости двинулись в направлении небольшой рощицы на краю поля, вошли в нее и очутились возле громадной армейской палатки, внутри которой на простых, вкопанных в землю дощатых столах стояла водка, хлеб, колбаса и огурцы. Продрогшие на поле под порывами сентябрьского ветра мы стоя (ни стульев, ни лавок в палатке не было) выпили из пластмассовых стаканчиков за защитников России всех времен, и вдруг представитель президента по Тульской области предложил тост за здоровье своего хозяина. Многие демонстративно отодвинули пластмассовые стаканы, а я, обратившись к своему соседу — рыжеусому человеку средних лет, сказал:

— Наверное, здесь есть местный фээсбэшник, и представитель президента, зная это, поднял лакейский тост, чтобы в Москве о нем доложили...

Рыжеусый усмехнулся:

— Да, вы правы, и местный фээсбэшник здесь — это я. — И не дав мне времени удивиться, видимо, для того, чтобы показать, каких он убеждений, добавил:

— Видите рядом со Стародубцевым генерала и полковника? Так вот эти суки из Тульской ВДВ Белый дом Ельцину помогали расстреливать...

Из литературного дневника тех времен:

Свежий номер еженедельника "Литературные новости" открывается горестной и сногшибательной сенсацией: над портретом Булата Окуджавы напечатан следующий абзац: "40 миллионов погибших — вот страшный вывод совместной российско-американской комиссии по оценке потерь в Великой Отечественной войне. Соотношение с потерями врага 10:1. Вот цена победы".

Поскольку официальная цифра немецких потерь, всех — и военных, и среди мирного населения, и умерших от ран и бомбежек, — общепринятая в Европе, приблизительно равна 8 миллионам, то по логике "Литературных новостей" (десять к одному) мы должны потерять не сорок миллионов, господа журналисты, а восемьдесят. То есть ровно половину населения тогдашнего Советского Союза.... И не стыдно вам врать-то? Ну хотя бы бывшие фронтовики, члены редколлегии, тот же

373

Окуджава или Нагибин, пристыдили своих присяжных борзописцев. Ну хотя бы Артем Анфиногенов, который на этой же полосе объявлен "честным летописцем фронтового братства", сказал своим молодым мерзавцам: "Ребята, побойтесь Бога. Мы и так понесли тяжелейшие потери — двадцать с лишним миллионов... Неужели вам этого мало? Неужели вы так ненавидите Россию и победоносный Советский Союз, что со сладострастным садизмом хотите, чтобы погибших было не двадцать миллионов, а сорок или, еще лучше, — восемьдесят?!"

Стыдно, господа! Но вам ведь, как говорит народная поговорка, "хоть ... в глаза — все божья роса!"

Недавно праздновали юбилей Окуджавы — бесчисленные передачи, затмившие День Победы, радио с утра до вечера гоняло окуджавские песенки, газеты пестрели его портретами, а я глядел на все это и думал: "Нет, все-таки талантливый человек! Как умеет перевоплощаться! Когда нужен был патриотический шлягер, когда за патриотизм хорошо платили — написал знаменитую песню к фильму "Белорусский вокзал": "А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим". Помню, как со слезой пел ее покойный Евгений Леонов... А когда мода на патриотизм прошла, когда за "антипатриотизм" стали платить большие, тот же Окуджава быстро сформулировал, что патриотизм, мол, никчемное чувство, что "чувство патриотизма есть даже у кошки", и потому незачем гордиться этой модой.

А кровавая бойня третьего—четвертого октября? В сущности, она была гражданской войной в миниатюре. А ведь тот же Окуджава когда-то пел знаменитые строки: "Я все равно паду на той, на той единственной гражданской...". Вспоминал я эти строки в часы октябрьской бойни и думал: "Где Окуджава? В ряду головорезов Ерина, а может быть, рядом с Руцким и Хасбулатовым? Вроде звездный час его наступил, гражданская война, обещал пасть на ней, последний шанс: не упустил бы"... Ан нет! Недооценил я талант поэта, способность его гениальную к перевоплощению. Посмотрел он на все происходящее по телевизору и заявил на всю страну, что для него эта трагедия была как захватывающий душу детектив и что он с нетерпением ждал развязки, чем это кончится...

Нет, что ни говори, удивительно талантливый человек!

374

* * *

В книге "Москва. Осень-93" есть много исторических фотографий. В одну из них я вглядывался особенно пристально. Ночь с 3-го на 4 октября, брусчатая площадь перед собором Ивана Великого. Над землей плотный слой мрака, который по мере восхождения к небу рассеивается, и на небесном фоне, словно бы вырастая из тьмы, восстает знаменитая колокольня.

На переднем плане вертолет и три мужские фигуры, лица которых высвечены фотовспышками: Ельцин, Коржаков и Барсуков, породистые мрачные мужики в плащах и костюмах с иголки, в модных галстуках, сверкающих ботинках...

Их лица, выступающие из мрака, предельно сосредоточены. Еще бы! Решалась судьба каждого из них. К вечеру следующего дня Коржаков и Барсуков пришли доложить Ельцину об окончательной победе над парламентом и его защитниками. А у президента уже шло пиршество: "Торжество в честь победы началось задолго до победы... Мы с Мишей Барсуковым умылись: вода была черная от копоти, ружейного масла и пыли... Гулять начали с четырех часов, когда мы самую неприятную работу делали" (А. Коржаков. "Борис Ельцин: от рассвета до заката", М., 1997, стр. 198—199).

М. Барсуков, удостоверившись, что спецподразделения "Альфа" и "Вымпел" не желают штурмовать парламент, вел себя особенно подло:

"Тактика у Барсукова была простая: пытаться подтянуть их как можно ближе к зданию, к боевым действиям. Почувствовав порох, гарь, окунувшись в водоворот выстрелов, автоматных очередей, они пойдут и дальше вперед" (Б. Ельцин. "Записки президента", стр. 11—12).

...Через полтора года, весной 1995-го, в необъятном зале за громадным полированным столом человек двадцать русских писателей встретились с Михаилом Барсуковым.

Барсуков — во главе стола на председательском месте под портретом Ельцина. Над входом в кабинет висел портрет Феликса. Держинский и Ельцин глядели в глаза друг другу, и Феликс с иезуитской тонкой усмешкой как бы говорил Борису:

— Зачем памятник снес? Ведомство, созданное мною, тебе понадобилось... А памятником в угоду черни пожертвовал? И не стыдно?

Отвлекшись от этого безмолвного разговора, я вслушался в слова Барсукова:

—Новолипецкий металлургический комбинат стоит 3,5 млрд долларов. Акции его скуплены за 50 миллионов, за 3 процента истинной стоимости! Коллектив завода вначале владел 51 про-

375

центом акций, сейчас у него всего лишь 3 процента. Мы вынуждены были начать операцию в Чечне, поскольку шел захват чеченской мафией Краснодарского и Ставропольского края, туапсинского нефтяного терминала, сорок восемь миллионов тонн нефти ежегодно пропадало в Чечне... План создания Великой Ичкерии—не химера. Чеченские беженцы — составная часть этого плана. Двести тысяч чеченцев перебрались в Дагестан, они выживают с родных мест аварцев и кумыков. Под Волгодонском их живет двадцать тысяч, под Волгоградом — более тридцати. Идет ползучее завоевание России, вытеснение русских со Ставрополя, из Краснодарщины. А в Москве что творится? Чеченский рейнджер Ходжа Нухаев контролирует семь казино! Сколько денег через эти казино идет на вооружение Чечни — даже мы не знаем (напоминаю: все это произносилось открытым текстом в кабинете шефа службы госбезопасности. — С. К.).

Я, озадаченный, оглядел своих товарищей, все сидели, не понимая, почему министр госбезопасности столь рискованно, откровенно и серьезно докладывает нам, писателям, факты и цифры, о которых он должен бы информировать президента, премьер-министра, Совет Безопасности.

Зачем мы ему? С какой целью? Как будто бы он у нас просит понимания и помощи? Да еще полтора года назад, во время октябрьского восстания, он вместе с Гайдаром и Чубайсом прижимался к Ельцину, а сейчас говорит почти как Зюганов или даже Анпилов... Что случилось?

А Барсуков продолжал:

— Экономическая политика приватизации — главная причина чеченской войны. Поглядите на карту — вам не страшно чувствовать, как сжимается вокруг России южный мусульманский пояс — Чечня, Абхазия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Турция? Целостность России — сегодня на карте...

В стране процветает региональный финансовый эгоизм, разрывающий ее. На юге

России средняя зарплата 128 тысяч рублей, а в Тюменском крае у нефтяников и газовиков — 5 миллионов. Там работают вахтовики, среди которых многие не являются гражданами России. Деньги, заработанные ими, уходят из России. Но главные каналы бегства денег за рубежи России — это наши коммерческие банки. Их сейчас — две тысячи шестьсот, полторы тысячи из них — банки типа "Чара". Они неизбежно должны лопнуть, западный капитал захватит их, и Россия будет банкротом. Никакого контроля за вывозом денег через эти банки, которые в основном находятся в руках еврейской финансовой мафии, нет...

376

Я ушам своим не верил: руководитель службы безопасности сознательно бросает вызов — и кому? Еврейской финансовой мафии! На это можно решиться лишь в двух случаях: если в государстве созрели все условия для ее свержения и внутреннего переворота или... если ты проиграл в тайной схватке с нею, завтра тебя вышвырнут из кабинета, а ты на прощанье принял решение так хлопнуть дверью, чтобы весь мир услышал! Или от полной русской самонадеянности...

А Барсуков уже совсем закусил удила:

— В МВД у нас сегодня два с половиной миллиона человек, в армии меньше двух, денег не хватает ни тем, ни другим. Долг перед армией — десять триллионов. Почему? Да потому, что налоги собираются всего лишь на сорок три процента. Разгосударствление жизни — вот главная причина наступившей катастрофы. Записки нашего ведомства о ее причинах и методах борьбы с нею, которые мы посылаем в правительство, возвращаются назад... Думаете, мне легко наблюдать все это? — голос Барсукова задрожал, неожиданная драматическая нота личной боли появилась в нем. — Я же из крестьянской семьи, из липецкого села, я сам до двадцати лет косу из рук не выпускал, приезжаю на родину, вижу — все хозяйство на боку лежит. А Запад? Он радуется. Еврейские деньги разрушили Советский Союз, и надежды на западную помощь — нам надо давно зарыть. Клинтон — наполовину еврей, его преемник Альберт Гор — еврей в чистом виде... А наших воров надо сажать! — и, словно бы продолжая заочный спор с кем-то, добавил: — Но Чубайса оставьте мне...

Я обвел взглядом кабинет Барсукова. Чуть поодаль от него спокойно сидели два генерала, слушая все, что говорит начальник, как само собой разумеющееся. У дверей помощник — бравый офицер, который и приглашал всех нас на встречу с министром. Перехватив мой взгляд, он подмигнул мне. Мы с ним знакомы по архивным делам, когда с сыном писали книгу о Есенине...

...Через год общими усилиями Березовского, Гусинского, Чубайса и еврейских банкиров Барсуков вместе с Коржаковым были вышвырнуты из своих кабинетов и лишены всякой власти... Особую роль тарана при этой операции сыграл русский человек Александр Лебедь. Вот так и идет наша история: руками русских усмиряется русский бунт 3—4 октября 1993 года, а через три года русские Грачев, Барсуков и Коржаков русскими руками Лебеда изгоняются из власти. Жалкие пешки! У Барсукова перед концом карьеры то ли пелена с глаз спала, то ли совесть проснулась, чему свидетелями были мы, русские

377

писатели. Спыхватился Михаил Иванович, да поздно. Использовали его, а когда что-то понял и взбунтовался, выпустили на телеэкран Чубайса, Лебеда да энтэвэшника-энкавэдэшника Евгения Киселева — и "ату его!"

Плохо читали в школе Барсуков с Коржаковым "Тараса Бульбу". Там о русском предательстве наперед до конца света все сказано. О породистом красавце Андрее: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"; "И пропал казак!" О хитром Мосии Шило, который в плену, чтобы войти в доверие к туркам, отказался от веры православной, "вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой предаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом". Не в бровь, а в глаз многим сегодняшним ренегатам русским! А разве можно

забыть вещие слова Гоголя — его прозрение самых темных глубин русской души, непонятной для рационального западного человека:

"Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства, и проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело".

Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься... Начал было каяться Михаил Барсуков. Анатолий Куликов — министр МВД, замаранный кровью 93-го, через два года собрался с духом и отверг попытку Кремля втянуть его в очередное преступление. Вывернул наизнанку всю грязную подноготную жизни своего хозяина "верный Личарда" Александр Коржаков. Тоже хотя и уродливое, но своеобразное покаяние. Где-то на дачах, в охотничьих домиках, в саунах, в номерах фешенебельных гостиниц, в губернаторских особняках с безотчетным ужасом ждут пробуждения совести "последние, — говоря словами Тараса Бульбы, — подлюки" — генералы Ерин, Грачев, Лебедь. И те, кто поменьше калибром — Полторанин, Шумейко, Черномырдин.

Задумаешься, перечитывая Гоголя, над грядущими судьбами нынешних, живущих в силе и власти, русских (о евреях — что говорить, с них спрос, как с Янкеля), сидящих в Кремле, в Белом доме, на Лубянке, и мороз по коже — нет-нет да и пробежит...

Днем 4 октября 1993 года я не выходил на улицу. Не мог оторваться от экрана, на котором кумулятивные снаряды влетали в окна Белого дома, охваченного смрадным пламенем

378

и чернеющего на глазах. Когда все было кончено, я достал бутылку коньяка, подаренного мне год тому назад к шестидесятилетию Леонидом Бородиным, выпил ее в два приема и погрузился в тяжелый сон...

Через несколько дней в редакции, обдумав очередной ноябрьский номер журнала, мы поняли, что, поскольку введена цензура, он, судя по его содержанию, может не увидеть света. В это время лишать читателей журнала ой как не хотелось.

— Гена, — попросил я своего заместителя, — у нас ведь сейчас есть главный цензор, защитник "свободы печати" Михаил Лесин. Созвонись с ним, поговори...

Гусев дозвонился до Лесина, приехал к нему, и тот с циничной прямотой ответил ему:

— Сколько у вас тираж? Сорок тысяч? Это не страшно. Печатайте, что хотите. Вот если бы миллион — мы бы вас помотали так, что мало не покажется...

Из литературного дневника тех времен:

Одним из самых оголтелых писателей-демократов, призывавших в октябре "всенародно избранного" к "решиительным мерам", история запомнит Юрия Нагибина. Он подписал позорное письмо 42-х, он заявил, что "брезгливое неучастие в политике — это такая же низость, какой в прежние годы было участие". Он и после расстрела не раз одобрил все содеянное властью. Его "Воспоминания", вышедшие вскоре после 93-го года, прояснили мне все, что произошло с ним.

"Новая семья сильно русифицировала меня. Я научился не пить, а осаживаться водкой, научился опохмеляться так основательно, что это нередко переходило в новую пьянку... Были важные открытия. Одно из них: пьяный русский человек не отвечает за свое поведение во хмелю... Один пукнул в лицо домработнице, помогавшей ему надеть ботинки; другой кончил на единственное выходное платье нашей приятельницы, когда та ему позволила ночью прилечь к ней на диван; третий наблевал в ванну, потому что в уборной блевал другой гость; кто-то вынул член за столом и пытался всучить мало-знакомой соседке; сестра тещи обмочилась во время пляски..."

Это из воспоминаний о своих близких. И написано не Юзиком Алешковским, не Виктором Ерофеевым, даже не Эдиком Лимоновым, а певцом русской природы, тонким лириком пришивинско-паустовской школы, беллетристом, издавшим к 1984 году семьдесят книг рассказов и повестей, написавшим множество пьес и сценариев, в том

числе к фильмам "Чайковский", "Председатель".

379

Человек, воспевающий в фильме "Председатель" подвиг послевоенного крестьянства, в новом времени, потребовавшем новых песен, стал пробавляться заявлениями о том, что знаменитая трактористка Паша Ангелина была лесбиянкой. Но Бог с ней, с Ангелиной. Выворачивая всю интимную изнанку жизни, мемуарист, вспоминая сексуальные возможности близкой ему женщины, пишет: "Мы занимались любовью там, где нас застало желание: в подворотнях, подъездах, на снежном сугробе, на угольной куче, на крыше, на дереве, в реке, в машине, в лесу, на лугу, в городском саду, где всегда играет духовой оркестр, просто на улице, у водосточной трубы... И каково же было мое потрясение, когда оказалось, что она еврейка".

В мемуарах Нагибина похотливость щедро смешана с политикой и с пресловутым еврейским вопросом. Бедный автор! В каких сумасшедших комплексах — сексуальных, национальных, политических — протекла его долгая жизнь! "Мы гуляем по улицам Кохмы, и слово "жид" преследует меня. Жид! Жид! Жид! — кричат прохожие, уличные мальчишки, собаки с потными грязными языками, козы в огородах, шальные кусты акаций, рослые вязы, кирпичные стены Ясюнинской фабрики, где служит отец. Конечно, никто не кричит, но что мне до этого, если это слово кричит во м н е..." (типичная паранойя! — Ст. К.). А "потные грязные языки" у собак — невероятно! Но, возможно, художник слова хочет дать понять, что это русские собаки.

На протяжении своих мемуаров автор долго, тщательно, мучительно выясняет, кто оке он на самом деле — еврей или русский. То внутренний голос кричит ему, что он "жид", и страдания Юрия Марковича становятся невыносимыми. То, выяснив, что его отец-еврей, возможно, и не настоящий отец, а настоящий отец русский, автор впадает в другую шизофреническую фазу и стонет: "Боже мой, почему я не могу быть евреем, как все"... Словом, причин для раздвоения личности и впадения в маразм у Нагибина сколько угодно.

Десятки книг написал беллетрист в свое время, прославляя нашу армию-победительницу, в том числе и солдат, защитивших от немецкого агрессора Москву, и вдруг на старости лет он заявляет: "Вскоре подъем, испытанный оставшимся в Москве населением в связи со скорым приходом немцев и окончанием войны — никто же не сомневался, что за сдачей столицы последует капитуляция, — сменился томлением и неуверенностью. Втихаря ругали Гитлера, расплескавшего весь наступательный пыл у стен Москвы..."

380

Многие оставшиеся в городе ждали немцев, но боялись признаться друг другу в этом и потому городили несусветную чушь, чтобы объяснить, почему не эвакуировались..."

Нет, такого еще не было в нашей военной мемуаристике! Счастье автора, что ополченцы, погибшие под Москвой, не смогут прочитать эти мародерские откровения.

Мемуары Нагибина — богатый материал для психиатра и психоаналитика. Только специалисты смогут установить, на чем свихнулся человек — то ли на русско-еврейском вопросе; то ли на осознании того, что по большому счету никакого писателя Нагибина не существует, есть удачливый, ловкий беллетрист и драмодел; то ли на ненависти к России; то ли — и это скорее всего — душевное заболевание автора имеет под собой сексуально-патологическую почву.

Вокруг Есенина в Америке крутился в свое время беллетрист подобного оке масштаба по фамилии Рындзюк (еврей), издавший на Западе книгу "Записки мерзавца", в которой вывернул наружу все свое вонючее нутро. Мемуары Нагибина, хотя и называются скромно "Тьма в конце туннеля", очень похожи на откровения Рындзюка.

Вот такого рода психопаты требовали в дни октябрьских событий расправы над писателями-патриотами.

...Начал я эту главу встречей с Юрием Карякиным у памятника Достоевскому на

рязанской земле и заканчивать приходится так же, вспоминая его.

Зимой девяносто третьего в Москву приехал Андрей Синявский, осудивший в широко известном по тем временам письме вместе с Владимиром Максимовым и Петром Егидесом октябрьскую бойню.

"Литературка" пригласила к себе Синявского, и Юрий Карякин с Мариэттой Чудаковой стали воспитывать бывшего диссидента.

Чудакова, незадолго до октябрьских событий на "встрече Ельцина с интеллигенцией" призывавшая его "действовать решительно" ("Мы ждем от вас решительности", "не нужно бояться социального взрыва", "нужен прорыв!", "Действуйте, Борис Николаевич!" — "ЛГ" 22 сентября 1993 г.), на этот раз с пеной у рта доказывала Синявскому, что расстрел парламента был необходим ("применение силы в октябрьской ситуации было неизбежно"), Карякин покорно вторил демократической фурии и убеждал Синявского поддержать письмо 42-х "сторонников решительных мер": "Мы не должны позволять себе ссориться сегодня".

381

Синявский, зажатый в угол, защищался как мог: "Призывы интеллигенции к президенту формально ничем не отличаются от известного афоризма "Добро должно быть с кулаками" — по Куняеву". Услышав мою фамилию, Чудакова истерично взвизгнула: "В октябре защищали, в сущности, демократию от Куняева!" ("Литературная газета", 2.03.1994 г.)

Кто-кто, а Синявский знал, как Александр Сергеевич в "Скупом рыцаре" изобразил сатанинскую силу Золотого тельца, да и Карякин мог бы вспомнить, что Настасья Филипповна бросила в камин пачку ассигнаций на глазах у несчастного Ганечки, который повредился умом, почти как Германн в "Пиковой даме".

А гневный Блок, презиравший рыночную Европу:

Ты пышных Медичей тревожишь,
Ты топчешь лилии свои,
Но воскресить себя не можешь
В пыли торговой толчеи!

Да и Марина Цветаева была их родной сестрой по русской музе, когда клеймила все "демократические и рыночные ценности" в пророческих стихотворениях "Хвала богатым", "Стол", "Читатели газет"...

Сергей Есенин, Владислав Ходасевич, Осип Мандельштам — каждый по-своему опрокидывали "столы меновщиков" и выгоняли "продающих и покупающих в храме".

А русский народ был с ними, поскольку жил согласно своим пословицам и поговоркам: "От трудов праведных не наживешь палат каменных", "В аду не быть — богатства не нажить", "Богатому черти деньги куют", "Не жили богато — нечего начинать".

Поистине, у страха глаза велики. Преувеличила Чудакова мое участие в трагедии. В ней я был всего лишь навсего негодующим, печальщимся и пристрастным свидетелем и летописцем. А защищали вы "демократию, рыночную экономику и свободу слова" в октябре 1993-го не от меня, а от Пушкина, Достоевского, Есенина, от русского народа и от всей русской истории.

Поздней осенью я уехал в Калугу, к реке, к бору, к родовому погосту, к родным стенам. Отлежаться и прийти в себя.

Зябко трепещут ивы
в береговом ветру...
Господи, дай мне силы
перемолоть беду.

382

Лавры уничиженья
я не хочу стяжать,
воздухом пораженья
я не могу дышать.
* * *

И еще один сюжет, связанный с октябрём 1993 года. Правда, его интрига завязывалась гораздо раньше, лет за десять до нашего поражения. Однако начну излагать все по порядку.

Я нередко вижу этого молодящегося, лощеного чиновника на телеэкране, встречаю его фамилию в газетных репортажах об открытии выставок и фестивалей, а однажды столкнулся с ним в фойе консерватории, на концерте, посвященном памяти Георгия Васильевича Свиридова. Наши взоры на мгновение встретились, но мы тут же сделали вид, что незнакомы друг с другом. Хотя познакомились еще при советской власти на освящении церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что уже шесть с лишним веков стоит в селе Городня на высоком берегу Волги.

Мои друзья, художники Алексей Артемьев и Искра Бочкова, которые расписывали церковь, пригласили меня на торжественную церемонию освящения. Конечно, с согласия настоятеля храма отца Алексея Злобина...

— Церковь старинная! В ней еще при Дмитриии Донском молебны служили по пути на Куликово поле. Митрополит Таллинский на освящение приедет, Володя Солоухин обещал, они друзья с отцом Алексеем. Отец Алексей тебя ждет и стихи твои любит!

— Да у меня как раз двадцать седьмого ноября день рождения.

— Ну и что? Там отпразднуем! — простодушно обрадовался Алексей Артемьев.— Даже хорошо—в день обновления храма!

Алеша с Искрой уехали в Городню днем раньше, а мы с художником Сергеем Харламовым отправились в Тверскую землю на моей машине утром двадцать седьмого ноября.

В Городне все началось по-церковному торжественно и по-домашнему тепло: и сверкающий благолепием храм, и встреча со знакомыми и незнакомыми русскими людьми — священниками, художниками, семинаристами, местными прихожанами, и необычное для меня застолье в просторной горнице отца Алексея. Вдоль стен горницы стояли ряды столов, художники с писателями устроились поближе к дверям, чтобы легче было выйти, перекурить, а напротив по диагонали, в красном углу под иконами разместились вокруг митрополита Тал-

383

линского Алексия епископы и духовенство тверской епархии. Однако рядом с митрополитом занял место молодой человек в модных очках с тонкой оправой, в дорогом костюме, с внешностью и манерами комсомольского работника брежневской эпохи. В соседней же комнате устроились человек двадцать то ли иподьяконов, то ли семинаристов, — помню только, что они были из Троице-Сергиевой лавры. Вели они себя в меру шумно и весело, в то время как в нашей горнице царило чинное спокойствие и иерархический порядок. Но вскоре после первых возлияний за отца Алексея, за матушку Любу, за реставраторов-художников, за местное начальство и в наших стенах то тут, то там стали возникать очаги непринужденного общения, постепенно размывшие атмосферу первоначальной чинности.

Вот тут-то я и решил, как мне помнится—по просьбе Искры и Лешы, прочитать одно стихотворенье, приличествующее празднику, встал, естественно, со стопкой в руке, и обратился к иерархам, сидевшим в белых подризниках в красном углу:

— Мне было необычно легко и радостно на сегодняшней службе, — сказал я. — Дай Бог здоровья всем, кто замыслил и завершил это святое дело. Я вот вспоминаю мою Калугу. В ней до революции было сорок церквей. Писатель Сергеев-Ценский в романе "Севастопольская страда" описывал, как в Севастополе праздновали во время его обороны в 1855-м какую-то небольшую победу, и заметил, что по этому поводу "колокольный звон

стоял как в Калуге на Пасху". А сейчас что в моем родном городе? Всего лишь две действующие церкви, остальные либо снесены, либо превращены в склады, в кинотеатры, в спортзалы. Приезжаю на родину, брожу по улицам, смотрю на каменные скелеты, на обесчещенные без крестов купола — и горько до слез... Слава Богу, что на Вашей тверской земле дела обстоят лучше. А стихотворенье о моих калужских храмах я написал давно, почти двадцать лет тому назад, в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году...

Церковь около обкома
приютилась незаконно,
словно каменный скелет,
кладка выложена крепко
ладною рукою предка —
простоит немало лет.

Переделали под клуб —
ничего не получилось,
то ли там не веселилось,
то ли был завклубом глуп

384

Перестроили под склад —
кто-то вдруг проворовался,
на процессе объяснялся:
"Дети. Трудности. Оклад..."

Выход вроде бы нашли —
сделали спортзал, но было
в зале холодно и сыро,
результаты не росли.

Плюнули, и с этих пор
камни выстроились в позу —
атеистам не на пользу,
верующим не в укор.

Только древняя старуха,
глядя на гробницу духа,
шепчет чьи-то имена,
помнит, как сияло золото,
как с причастья шла когда-то
красной девицей она...

Тишина во время моего чтения стояла полная, я, чувствуя, как меня слушают, некоторые строки произносил чуть ли не полупшепотом, еще внимательнее заставляя гостей вслушиваться в каждое слово. Закончив чтение, под бурные восторги слушателей я выпил и хотел было сесть, но увидел, как митрополит Алексей поднял бокал с шампанским и пригласил меня жестом подойти к нему. Кто-то из сидевших рядом тут же снова наполнил мою стопку, я пересек горницу и почтительно склонил голову перед митрополитом, который поздравил меня со стихами, сказал какие-то одобрительные слова и даже пригубил, чокнувшись со мной, глоток шампанского.

Но когда я воротился на свое место, то неожиданно для всех сосед митрополита, молодой человек в очках с золотой оправой, с искусно подвитыми в парикмахерской кудрями, встал во весь рост под иконами:

— Я вот послушал стихи поэта и не согласен с ним. Партия и правительство везде заботятся об интересах верующих, все храмы, если даже они и не действуют, охраняются государством. Во всех областях есть люди, ответственные за соблюдение норм

религиозной жизни... Так что наш поэт либо плохо знает то, о чем пишет, либо клеветает на советскую действительность...

Кровь бросилась мне в лицо. Я приподнялся было, чтобы ответить прилизанному демагогу, но почувствовал на своих плечах ладони матушки Любы, шептавшей мне на ухо:

— Станислав Юрьевич, дорогой, промолчите, мы так

385

зависим от этого человека. Он у нас в области большой начальник, не отвечайте ему, Бог терпел и нам велел... А тут еще подоспел отец Алексей:

— Станислав, митрополит спрашивает — напечатаны ли где-нибудь эти стихи. Если напечатаны — подари ему книжку!

Ну как мне было не внять их душевным увещаниям! Я сел, налил себе очередную стопку, с молчаливым презрением прослушал речь своего коллеги — поэта Алексея Маркова, который ни с того ни с сего, видимо перепугавшись, решил обнародовать свою лояльность властям и заявил, что он не разделяет моих взглядов и что он вообще из "другой команды"...

Словом, Алеша опростоволосился, но это уже не особенно расстроило меня. У входа в гостиницу стоял оживленный шум. Я поднял глаза и увидел нескольких молодых бородатых иподьяконов-семинаристов, которые всяческими одобрительными знаками приглашали меня выйти в коридор. Я вышел, и они чуть ли не на руках затащили меня в свою компанию, заседавшую в соседней по коридору комнате:

— Станислав Юрьевич, читайте нам стихи!

После каждого стихотворенья подвыпившие молодцы в двадцать луженых глоток пели мне "многая лета", да так, что крыша у дома чуть ли не приподымалась, а в главной горнице вздрагивали иконы, висевшие в красном углу над головой партийно-советского функционера из города Калинина. Словом, компенсацию за свой моральный ущерб я получил многократную: и с семинаристами многожды чокнулся и, когда в доме появился однокашник отца Алексея по учебе, уже весьма известный в те годы Александр Мень, я и с ним познакомился и даже по самонадеянности своей ввязался с прославленным проповедником в какие-то богословские споры...

Однако часам к трем ночи гости начали расходиться, хозяева валились с ног от усталости, и до меня дошло, что надо уезжать в Москву. Адреналина в крови было хоть отбавляй, на меня всегда во время предельного возбуждения алкоголь почти не действует, и я, как ни уговаривала нас чета Злобиных переночевать, решил вместе с друзьями-художниками возвращаться в Москву.

Мы сели в машину, и она ринулась в сырую ночь, разрезая фарами тьму и освещая дорогу, усыпанную желтыми листьями, плавающими в мокроснежной слякоти...

Я вроде бы достаточно быстро отрезвел, и все было бы хорошо, если бы километров через семьдесят на полдороге к Москве на каком-то шоссейном перекрестке не совершил

386

мелкого нарушения. Сотрудник с жезлом возник передо мною как из-под земли. К своему ужасу, я почувствовал, что у меня почти нет сил, чтобы выйти из машины. Бдительный сержант заподозрил неладное, открыл дверцу машины, помог мне вылезти. Мы побрели через дорогу к его скворечнику, куда надо было подыматься по многоступенчатой металлической лестнице. В скворечнике было светло и даже уютно. За стеклами шумели листья, сыпался мокрый снег, а сержант и его напарник стали определять степень моего опьянения. Когда я дунул в ихнюю трубку, то с отчаяньем увидел, что в прозрачном сосуде, куда вошло мое отравленное дыхание, образовались завитки черного дыма, которые, как я читал, должны были быть всего лишь навсего светло-зелеными.

Гаишники покачали головами и, заглядывая в мои права и техпаспорт, начали составлять протокол. Они не торопились, до утра было еще далеко, на шоссе в такую непогоду не было никакого движения, и ребята откровенно скучали. Я попытался воспользоваться этим обстоятельством.

— А рассказать вам, как все произошло? — в отчаянье начал я свою исповедь, понимая, что никуда отсюда уже не уеду и что придется мне и моим друзьям коротать время в машине до утра, а потом кое-как добираться до Москвы, и что водительских прав я лишусь — и надолго. Отчаянье придало мне вдохновения, и я весьма живописно, кое-что приукрашивая, рассказал им, как был на обновлении церкви, как прочитал стихотворенье, за что был привлечен митрополитом (которого, правда, я тогда, оговорившись, назвал патриархом!), с которым не посмел не выпить, как был оскорблен советским чиновником, как в мою честь несколько раз хор иподьяконов исполнял "многая лета"... И все это в день своего собственного рождения!

— Ну как после всего, что произошло, ребята, я мог остаться трезвым как стеклышко? — картинно разводя руками, оправдывался я.

— А какое стихотворенье ты прочитал? — спросил меня сержант. Градус вдохновенья в моей душе моментально поднялся, и я продекламировал в милицейском скворешнике "Церковь около обкома" с таким чувством, которого не испытывал никогда.

Ребята переглянулись и задали мне тот же вопрос, что и митрополит:

— А оно напечатано?

И тут, словно молния, меня осенило — вот он шанс на спасение!

387

— Ну, конечно же напечатано! Книжка у меня в бардачке! Сейчас принесу!

На совершенно трезвых ногах я скатился по мокрой железной лесенке, подбежал к машине, вытащил из бардачка тощенькую книжицу и как на крыльях взлетел в скворешник.

— Смотрите! Напечатано! Только одно слово цензура заставила переделать — "Церковь возле гастронома"!

— Ну дари, подписывай!

Сержант протянул мне шариковую ручку, а пока я писал что-то размашистое и сентиментальное, он на моих глазах демонстративно разорвал уже составленный протокол и протянул мне права и техпаспорт.

— Держи, поэт! Езжай осторожно, дорога скользкая! Впереди еще один наш пост. Мы туда позвоним, чтобы тебя не задерживали, не беспокойся. А когда переедешь в Московскую область — то молись, чтобы пронесло. На московской земле нашей власти нету. С днем рождения!

До Москвы мы доехали благополучно.

Лет через десять после этой ночи я, уже главный редактор "Нашего современника", вместе с Распутиным и Крупиным удостоился приема у Святейшего Патриарха Всея Руси Алексия II, бывшего митрополита Таллинского. Мы готовили пасхальный номер журнала, который собирались открыть словом Патриарха к верующим читателям нашим.

После душевной и довольно длительной беседы мы стали прощаться с Патриархом, и я осторожно напомнил ему:

— А мы, Ваше Святейшество, встречались в прежние времена в день обновления храма в Городне.

Алексий II внимательно посмотрел на меня и спокойно, но строго произнес:

— Да, я помню...

Что же касается лощеного чиновника, о котором одна из центральных газет в 1991 году писала, что он нечист на руку и замешан в грязных делах, связанных с хищением икон в Тверской губернии, то он, естественно, превратился из напыщенного партийного идеолога в ярого демократа, был замечен Ельциным, который сделал его начальником Останкинского телецентра, и сыграл весьма подлую роль в проведении кровавой октябрьской провокации 1993 года. Честный английский журналист, заведующий корпунктом английской газеты "Гардиан" в Москве Джонатан Стил так писал о нем в своей газете 13 ноября 1993 года:

"Председатель телецентра Вячеслав Брагин, выдвиженец Ельцина, приказал прекратить передачу новостей из Остан-

кино. Они возобновились позже вечером, но из другого телецентра. Этот перерыв в передачах имел целью раздувание несуществующей опасности атаки Останкино в глазах россиян, которые следили дома за развитием событий. А последовавшие за этим репортажи контролируемого правительством радио и телевидения давали извращенную картину того, что происходило, словно бы сражение за Останкино с непредсказуемым результатом длилось многие часы..."

В роковые дни 3—4 октября 1993 года все главные действующие лица того далекого и светлого праздничного вечера в Городне были словно бы некой сверхчеловеческой волей задвинуты в эпицентр исторической катастрофы. И каждый из них занимался своим делом.

Вячеслав Брагин осуществлял сценарий останкинского кровавого спектакля.

Я, приехавший на телецентр, чтобы выступить в "Русском доме" в день рождения Сергея Есенина, когда началась стрельба, укрылся за каменным бордюром и с ужасом глядел, как вокруг мечутся и падают люди, как звенят и поскакивают на бетонных плитах автоматные гильзы, летящие со второго этажа.

Отец Алексей Злобин, депутат Верховного Совета России, на другой день, как и положено русскому православному священнику, причащал, крестил и исповедовал мужественных смертников Белого дома в коридорах, наполненных дымом и кровавым смрадом.

Патриарх в эти роковые сутки молился за Россию, раздумывая о том, кто первый пролил русскую кровь на камни Москвы и кого предать анафеме...

Мне остается лишь добавить, что Брагин ныне (1998 г.) является заместителем министра культуры Российской Федерации. Четверо министров сменилось при нем.

Министры приходят и уходят, а такие, как он, остаются несменяемыми ренегатами всех режимов, вечными талейранами, фуше, яковлевыми.

Бывали хуже времена, но не было подлей.

Нижегородский отшельник

Федор Сухов — редкий вид русского человека. Его первое письмо ко мне. Судьба провинциального поэта. Неизвестное стихотворение Николая Клюева. Моя многострадальная книга. Поддержка нижегородского отшельника. Спор об ифлийцах. Солдат, проклявший войну

Вначале 80-х годов я несколько раз побывал в Нижнем Новгороде — тогдашнем Горьком. Дело в том, что местные краеведы решили открыть на здании больницы, где когда-то работал врачом мой дед Аркадий Николаевич Куняев, памятную доску в его честь. Я приезжал в Нижний, копался в областном архиве, расспрашивал о судьбе деда и бабушки, Натальи Алексеевны, которая тоже работала врачом в той же больнице, у их сына — моего дядьки Николая Аркадьевича, составлял текст надписи на мраморной доске, договаривался с местным начальством о дне торжественного открытия. Вскоре памятная доска была изготовлена, собрались к больнице старейшие медицинские работники города, помнившие деда и бабуку, умерших от тифа во время гражданской войны (больница их в то время была тифозным лазаретом), я приспустил с доски традиционное покрывало, произнес несколько слов благодарности городу и после небольшого банкета в гостинице уехал в Москву. А через какое-то время получил из Нижнего Новгорода письмо, написанное красивым, ровным почерком. Оно было от поэта Федора Сухова.

Он воплощал в себе редкую разновидность русского человека, очерченную в литературе нашей, может быть, полнее всего Иваном Сергеевичем Тургеневым.

Помните Касьяна из Красивой Мечи, Калиныча, Яшку Турка — персонажей "Записок

охотника", одной из самых

390

любимых моих книг. Все они — хрупкие, поэтические, созерцательные натуры, сторонящиеся борьбы и крови, певцы и знахари, отшельники и сказочники. Они помнят названия русских трав и лечебные их свойства, умеют заговаривать кровь, восхищаются голосами лесных и полевых пташек, их трелями, пересвистами, чириканьем, наслаждаются перезвонами русской народной речи, живут, как Божьи легкокрылые создания, в ее стихии и потому, может быть, сухонькие, даже тщедушные, артистичные от природы, до старости сохраняют в своем облике нечто вечно отроческое... Да и похож он был тонким очертанием впалого худого лица, мерцающими птичьими глазами, хохолком, свисающим со лба, острым подбородком, легкой, словно бы чуть-чуть прыгающей походкой на какую-то диковинную птицу, опирающуюся во время ходьбы на легкий самодельный посох.

И вот именно человеку такого склада, как говорится, не от мира сего, в июне 1941 года Россия в минуту смертельной опасности вложила в руки оружие.

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, —
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.

А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело.
Собирались косить клевера.
Рожь от жаркого солнышка млела.

Поспевала высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овес, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.

Заиграла, запела гармонь,
Все сказала своими ладами,
И платок с голубою каймой
Мне уже на прощанье подарен.

В отдалении гром громыхнул,
Весь закат был в зловещем пожаре...
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали...

391

Лучше всех много лет тому назад об этом замечательном стихотворении написал Вадим Кожинов:

"В чем тайна этого стихотворения? Именно в том, что перед нами не "картина", а цельное огромное переживание. Родина, народ провожают своего сына на войну. И отдельные лица уже неразличимы. Есть стихия Родины, в которой все слилось. Но если взглядеться, угадываешь и все слагаемые этой стихии: "губы мои задрожали", и "ничего б не случилось со мной, если б я невзначай разрыдался..." Сквозь это видишь идущую рядом плачущую мать и скорбное лицо отца. А вот и голос друга — гармонь, которая "Все сказала своими ладами". И девушка, ибо, конечно, именно она подарила "платок с

голубую каймой". И, наконец, рожь, пшеница — то богатство, то добро и красота, в которые веками укладывались и труд и любовь односельчан, так что это как бы уже живые существа, кланяющиеся в ноги уходящему молодому хозяину.

Мальчишка—а возраст героя отчетливо выражается в этих "вдруг задрожавших губах" — прощается с Родиной, уходит в зловещий пожар войны. Что ж, может, слаб и боязлив он, если и готов невзначай разрыдаться? Герой не сияет на прощание показной белозубой улыбкой. Он по-русски откровенен и открыт и не соблюдает "форму". Но совершенно ясно: больше уже не дрогнут ни губы его, ни рука. Здесь, на пороге родного дома, он уже заранее как бы пережил и преодолел страх смерти, "попрощался сам с собою".

Ко всему сказанному мне разве что хотелось бы добавить, что все-таки такие люди рождаются в народе не для войны, а "для вдохновенья, для звуков сладких и молитв". Федор Сухов из Красного Оселка, тургеневский Касьян из Красивой (Красной!) Мечи. Даже имена их деревень родственны друг другу-

"Дорогой Станислав!

Спасибо за свет. По всей вероятности, тебе неизвестно, как давно, как пристально я слежу за твоим светом, среди моих книг есть и твои книги, даже те, которые вышли за хребтом Кавказа, в Грузии.

Когда бываю в Нижнем, проходя по набережной, гляжу на памятную дорку, которую (как мне говорили) благодаря твоим стараниям прикрепили к стене спецбольницы во славу твоих дедичей и отчичей. Да святится их имя, их дело в памяти народной!

Что касается поэтов фронтового поколения, мне думается, у поэтов нет возраста, поэт всегда во времени,

392

нельзя, например, назвать Есенина поэтом первой мировой войны или революционной, как и дореволюционной эпохи, то же самое можно сказать про Пастернака, поэтому у меня с тобой много может быть общего, несмотря на разницу в годах. (В этом выразилось несогласие с тем, что я, послав ему книгу своих стихов, называл его в дарственной надписи поэтом фронтового поколения. — Ст. К.). Впрочем, ладно, я плохой теоретик, мне хочется только одного: ухватить за пятку уходящий день, запечатлеть его в каких-то словах, звуках. На большее я не рассчитываю. Вот сколько лет я хожу-брожу по местам своего появления на свет, казалось бы, все известно, все знакомо, но вчера я узрел такое местечко, которое меня убило своей красотой, своей необычностью. Ах, как хорошо, что я еще могу что-то зреть, что-то видеть.

Знаешь, изо всех стихов Твардовского мне больше всего по душе, по нутру одно стихотворение, никем не замеченное.

Как после мартовских метелей.

Свежи, прозрачны и легки,

В апреле —

Вдруг порозовели

По-вербному березняки.

Весенним заморозком чутким

Подсушен и взбодрен лесок,

Еще одни, вторые сутки,

И под корой проснется сок.

И зимний пень березовый

Нальется пеной розовой.

Кланяюсь тебе нашей приволжской вербой, ее умиленной слезой.

Федор Сухов.

24 марта 1983 г.,

с. Красный Оселок".

Письмо было неожиданно личным, сердечным, доверительным, "неожиданно"

потому, что до сего времени мы с Федором Григорьевичем Суховым случайно раз, другой встречались то ли в Доме литераторов, то ли в Доме творчества и ни о чем всерьез поговорить не успели. А тут такие слова, как будто мы давно знакомы, и даже засохшая веточка вербы приколота к письму, как прямое свидетельство того, что письмо написано в конце марта, и как живое дополнение к чудному стихотворению Твардовского.

С той поры и началась наша переписка, закончившаяся только после смерти Федора Сухова. Следующее письмо было

393

как бы благодарностью его за то, что я написал в издательство "Современник" рецензию, в которой настаивал на скорейшем издании его книги.

"Дорогой Станислав!

Давным-давно послал тебе письмо, в котором я оповещал тебя, что мой знакомый, бывший директор средней школы города Первомайски, ныне краевед-пенсионер Ключев Николай Федорович, просил у меня твой адрес. Он хотел уведомить тебя о построенной твоим дедом больнице в бывшем Ташине (ныне Первомайске), или (лучше) в нынешнем Ташине (бывшем Первомайске). Не знаю, получил ли ты это письмо или нет. И еще. Послал тебе свою книгу "Подзвиль". Тоже не знаю, получил ты ее или нет. А я вот получил твою рецензию из издательства "Современник" на мою рукопись. Благодарен тебе за преувеличенно-высокий отзыв. Меня слезы прошибли, я ведь до сих пор в черном теле пребываю. К сожалению, издательство не может издать мою книгу, оно перешло на издание только новинок. Ничего, переживем. И еще. Ты меня считаешь поэтом войны, себя я таковым не считаю. Если я действительно поэт, то поэт наших российских пажитей, поэт своего Красного Оселка, ибо "более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла".

Дорогой Станислав, может, махнешь в наши нижегородские пределы, в которых пребывали не забытые нижегородцами твои родичи.

А у меня в Красном Оселке уже поют соловьи, поют оттого, чтобы согреться, холодно, да и голодно в сельской местности, впрочем, сам я довольствуюсь ромашками-кашками, всякой съедобной и несъедобной травкой, поэтому продовольственная программа меня особо не волнует, вернее, она меня не довольствует, я ее не ем. Шучу! Что же, можно и пошутить от радости, ты действительно утешил меня.

Кланяюсь тебе нашей Волгой, моим Красным Оселком.

Федор Сухов.

3 (день Пасхи) 1986 г.,

с. Красный Оселок".

Повторюсь, что поводом для этого письма была внутренняя рецензия на рукопись Федора Сухова, которую я написал для издательства "Современник". Рукопись восхитила меня. Что же касается сообщения Сухова о больнице, якобы построенной моим дедом в Ташино, то здесь Федор что-то напутал. До

394

перевода в Нижний Новгород дед с бабкой в 1905—1912 годах работали в земской карамзинской больнице в поселке Рогожка, что неподалеку от Дивеевского монастыря и Арзамаса-16.

Кстати, и на той больнице в начале 90-х годов была открыта памятная доска, увековечившая имя деда.

А письма Федора Сухова я всегда получал с особым волнением. В них встречались и короткие, но точные оценки поэтов России, и краткие, но выразительные картины родной природы и деревенской жизни, и живые подробности жизни собственной. Угадывалось по письмам, что одиноко ему было в эти годы на родине, не с кем было поговорить душевно и откровенно. Власть тогдашнюю он не любил, да и она его не жаловала, в круг официально признанных поэтов, в привилегированную фронтовую обойму попасть не стремился, потому и жил замкнуто и, найдя во мне сочувствие и понимание, время от времени отводил душу в письмах. Иногда обращался со мной на "ты", а иногда вдруг, от

природной деликатности, что ли, переходил на "вы".

"Дорогой Станислав Юрьевич!

В Ялте приобрел Вашу книгу "Пространство и время". Ваши книги у меня и до этого были, я их читал и хорошо знаю Вашу поэзию. Но так уж бывает, только по последней Вашей книге почувствовал (ощупал), как мы с Вами близки. И эта близость радует, приятно знать, что ты не одинок. Я всю жизнь искал какой-то близости, в свое время восхищался Н. Тряпкиным, М. Исаковским, А. Твардовским, А. Прокофьевым... Мне кажется, наша поэзия утратила ту образность, начало которой так блистательно являли Н. Клюев, С. Есенин, утрачена музыка, без которой не мыслили А. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Цветаева.

Мне близка Ваша музыка, Ваша словесная весомость.

Был бы очень рад увидеть Вас в наших нижегородских пределах. Кланяюсь Вам последней улыбкой нашего русского лета.

Федор Сухов.

16 октября 1986 г.,

с. Кр. Оселок".

К листку был подколот высохший, пожелтевший цветок луговой фиалки... А еще стихотворение Федора Сухова, написанное также от руки. Стихотворение — доверительное, очень личное, а по тем временам и крамольное.

395

Обезглавлены колокольни,
Наземь сброшены колокола...
Кони, кони, каурые кони,
Больше нет ни двора, ни кола.

Да и нету коней-то. Нету.
Ни телеги нет, ни дуги.
Возвышая глаза свои к небу,
На свои возвращаюсь круги.

Я к тебе возвращаюсь, о Господи,
Сына блудного не отринь!
Упаси от дьявольской гордости
На свет вышедшую полынь.

Лебеду мою к давней истине
Через гати свои проведи.
Знаю — выживет, выстоит
Только тот, кто идет впереди;

Кладет свою душу,
Умирает за други своя,
В холод майскую, в майскую стужу
Своего прибодрит соловья.

Отогреет дыханье яблонь
На рассветной студеной заре, —
Только доброе семя прозябнет,
А недоброе сгинет в земле.

2 мая 1986 г.

Возможно, что стихи ("на свет вышедшую полынь") написаны и под впечатлением от Чернобыля... Не знаю, успел ли Федор Сухов опубликовать их. Кажется, что нет.

Поводом для следующего письма послужило то, что мы с сыном издали в 1986 году в

Архангельске самую полную по тем временам книгу стихотворений и поэм Николая Клюева, и я, зная, как любит поэзию Клюева Федор Сухов, сразу же послал книгу ему в Нижний Новгород.

"Дорогой Станислав!

Мое ретивое замерло от неожиданного подарка. Если бы ты знал, какую радость доставил мне...

Начало января 1942 года, наша 14-я противотанковая бригада была переброшена из-под Воронежа под Сторожевое, мой взвод противотанковых ружей занял позиции в самом селе. Была оттепель. В брошенных и разбитых домах беспризорно валялось всякое барахло. В одном разбитом доме с листа дореволюционного журнала жалобно глянули на меня сточенные подтаявшим снегом стихотворные строки.

396

Черны проталины навозом,
Капустной прелью тянет с гряд,
Ушли метелицы с морозом,
Оставив марту снежный плат.

И за неделю март-портняжка
Из плата выкроил зипун,
Наделал дыр, где подзапашка,
На воротник нашил галун.

Кому останется обнова?..
Трухлявы кочки, в поле сырь,
И на заре в глуши еловой,
Как ангелок, поет снегирь.

Капели реже, тропки суше,,
Ручьи скатилися в долок...
Глядь, на пригорке лен кукушкин
Вздувает синий огонек.

Тогда-то я испытал великое блаженство от первого знакомства с поэзией Николая Клюева. Раньше я знал (из автобиографии С. А. Есенина) только фамилию этого поэта. Беспризорно кричащие, вернее, плачущие строки навсегда нашли приют в моей памяти. После войны в Москве в букинистическом магазине я приобрел два сборника Н. А. Клюева "Сосен перезвон" и "Избяные песни", сборники эти когда-то принадлежали Пясту. Потом стали попадаться стихи Н. И. Тряпкина, стихи эти я воспринимал, как продолжение той поэзии, родоначальником которой был олонецкий чудодей...

В 1974 году попал я в Малеевку, в Дом творчества, ко мне часто заходил Н. И. Тряпкин, много говорили об олонецком чародее. Как-то сами собой сложились строки, которые я посылаю тебе (и твоему сыну) как благодарение за великую радость. Кстати, у меня есть стихотворение Н. А. Клюева, которое не входило ни в одно его издание. Будь здоров, жду тебя в нижегородские пределы.

Федор Сухов.

21 марта 1987 г.,

Н. Новгород (б. Горький) "

(до возвращения Горькому исторического имени оставалось еще несколько лет)...

А вот и стихотворение Ф. Сухова, написанное под впечатлением от чтения книги, изданной нами:

397

*Станиславу Куняеву,
Сергею Куняеву с благодарностью.
Федор Сухов.
21.03 87, Н. Новгород.*

ПОВЕСТВУЕТ СИВЕРКО

Осыпается, падает под ноги
Золотое убранство осинника.
О каком-то неведомом подвиге
Голосит набегающий сиверко.

Повествует о сказочной Ладоге,
О былинном кручинится витязе,
Что играл не на гусях — на радуге,
Что всего себя песнями высветлил.

Перезвонами утренней сосенки
Упивался олонецкий гудошник,
Колобродил по клюквенной просеке
Баско, зная все глобочки тутошны.

Все промоины, все перемоины
Ведал он да по всей по округине,
Что была, как невеста, помолвлена,
Со своим уговорена суженым.

Ну а суженый тешился песнями,
Душу клал не на гусли — на радугу,
Золотыми волшебными перстнями
Одарял и Онегу и Ладогу.

И тогда-то пошла хороводиться,
В пляс пустилась просторная улица,
Из озерного хрупкого хвороста
Воскрылила залетная утица.

Приподнялся и селезень. На полночь,
На Полярное глянул сияние.
Ядовитой росой окапнулась
Волчьей сыти глубокая ямина.

Пала на пожни белая изморозь,
Свинцовая, угрюмилось озеро,
Там, где дикая, гиблая измененность
Каменеючи обезголосила.

Сгиб безвестно олонецкий гудошник,
Отходил он по клюквенной просеке;
Только здравствуют иволги тутошни
С перезвонами утренней сосенки.

Сентябрь 1974 г. Малеевка

398

В последние годы жизни Федор Сухов ревниво и пристрастно читал книги поэтов моего поколения, искал единомышленников по русскому слову и русскому чувству... В 1986 году, за год с лишним до смерти Анатолия Передреева, была издана его последняя прижизненная книга "Стихотворения"... Федор сразу же прочитал ее.

"Дорогой Станислав!

Рад твоей весточке. Благодарю за память. Жду в наши нижегородские пределы. Недавно приобрел новую книгу Анатолия Передреева, какой замечательный, по-русски чистый, редкий в наше время действительно талантливый поэт! Жаль, что он так мало

пишет. Впрочем, мал золотник, да дорог. Я сейчас сижу в Нижнем, зима больно в этом году сердитая... Ну, ладно. До встречи.

Федор С.

28 января 1987 г.,

Н. Новгород (б. Горький) "

Весной 1987 года я опубликовал в "Новом мире", где доселе никогда не печатался, несколько стихотворений...

"Дорогой Станислав!

Радостно воспринял твою подборку в "ИМ". Мне думается, что ты шагаешь через самого себя и приближаешься к тому искомому слову, которое давно утрачено нашими стихотворцами. Радостно встретил доброе слово о Н. Тряпкине. Пожалуй, он единственный, кто верен тому же слову, по крайней мере, он наш патриарх. Думаю, ты меня хорошо понимаешь.

Кланяюсь твоей супруге последней улыбкой нашего красного лета.

Федор Сухов.,

30 августа 1987 г.

с. Кр. Оселок "

В прорезь на бумаге, как традиционный привет от Федора, был вставлен "цветок засохший, безуханный..."

"Дорогой Станислав!

Посылаю, возможно, неизвестное тебе стихотворение Н. А. Клюева. Рад был встрече в ЦДЛ. К сожалению, мало поговорили. Но о Клюеве успели. Он действительно великий поэт, родоначальник той новой поэзии, которая дала нашей

399

словесности С. Есенина, П. Васильева, М. Исаковского, Н. Тряпкина, А. Прокофьева. На образности Клюева (возможно, через Есенина) развилась поэтика А. Веселого, М. Шолохова, не чужд этой поэтики был и А. Чапыгин и многие другие прозаики.

Кланяюсь нашим небом, его зорями.

Федор С.

27 июня 1987 г.,

с. Кр. Оселок "

В Доме литераторов мы в радостной суматошности проговорили целый вечер. И Передреев был с нами. Федор, в отличие от своих молодых друзей, пил водочку осторожно, уважительно, небольшими глоточками, как птица. Его лицо, прорезанное морщинами, постепенно разглаживалось, тонкая улыбка к юнцу вечера все чаще высвечивала глубоко запавший рот. Чистый Калиныч.

Вопреки обыкновению, в прорезь на письме были вставлены не один, а два цветка — фиолетовый и розовый, и приложено стихотворение Клюева "Не качнутся под бегом лосиным", датированное 1927 годом и стоящее особняком в его творчестве. Стихи о строительстве советской цивилизации.

* * *

Не качнутся под бегом лосиным
Приозерные берега,
Не стучат по застывшим осинам
Завитые олени рога.
И мелькает повадка медвежья,
Поднимая упрямые лбы,
По крутым большакам Заонежья
Телеграфные встали столбы.

На болотное это пространство
Город жаркие руки простер,
Вышки дымные электростанций
Озаряют несметный простор.

Грохнут волны в тяжелом разбеге,
Перекличку ведут облака.
Пароходы бегут по Онеге,
Колыхая тугие бока.

К шумной пристани по откосам,
Где высокая гнется трава,
Носят девушки смуглым матросам
Прионежских грибов кузова.

400

О страна, — в синевростном дыме
Ты в грядущее строишь мосты,
Завитыми и золотыми
Проводами опутана ты.
(1927)

В конце 1987 года я послал Ф. Сухову свою книгу критики и публицистики... Ответ из Красного Оселка не заставил себя ждать.

"Дорогой Станислав!

Был в Нижнем, увидел присланный тобой "Огонь, мерцающий в сосуде". Рад, что твой огонь выдвинут на соискание премии имени А. М. Горького.

Я погрелся у твоего огня, стало теплее на душе. Думаю, что ты совершаешь великое дело, — Клюев, Есенин, Васильев истинно народные поэты, пожалуй, только они вобрали в себя дух русского человека, его поэтические воззрения, вовремя — среди воя и свиста заговорил ты о В. Высоцком (твою статью о нем я читал раньше). Короче — будь самим собой. Жду новых встреч.

Федор Сухов.

11 ноября 1987 г.,

с. Кр. Оселок".

В 1987 году была выдвинута на соискание Государственной премии моя многострадальная книга "Огонь, мерцающий в сосуде". Я не зря называю ее многострадальной, в ее основе лежала книга статей "Свободная стихия", изданная в том же издательстве несколькими годами раньше. Даже дружески настроенные ко мне работники издательства Евгений Лебедев, Александр Байгушев и Валентин Сорокин, читая многие главы, общие для обеих книг, в свое время хватались за головы, наперебой предлагали мне такие-то абзацы снять, такие-то страницы переделать, особенно смущал их еврейский вопрос. Я понимал их и не осуждал. Ведь они отвечали за судьбу целого издательства. Но и своего детища было жалко.

В конце концов верстка "Свободной стихии" попала на чтение к самому директору издательства Николаю Шундику, который находился в больнице, но тем не менее решил лично заняться скандальной книгой. Из больницы я получил письмо Шундика на двенадцати страницах. По существу, он предлагал мне начать работу под рукописью чуть ли не сначала.

401

"В книге оказался ряд таких мест, которые ставят ее под сокрушительный удар".

"Очень неосмотрительно цитировать Лермонтова, писавшего в личном письме: "А их (горцев) 600 осталось на месте, кажется, хорошо". Это надо убрать... Цитата звучит нынче страшно".

"Твои размышления о внутреннем рабстве двусмысленно проецируются на наши дни. На подразумеваемое нами "сегодняшнее". Причем понимай его как хочешь — и как сионистское рабство можно прочесть, а можно прочесть еще и пострашнее".

"На стр. 266 герой говорит: "Взяли в плен 250 человек (это про эсэсовцев), тут же на путях и расстреляли, некогда с имя было возиться". А вот "Немецкая волна" найдет

время повозиться, целую передачу построит. Зачем это нам?"

Я вспоминаю все обстоятельства этой давней истории лишь потому, чтобы нынешние молодые писатели воочию убедились в том, сколько лишних сил, воли, терпения приходилось тратить нам в свое время, чтобы донести до читателей свои заветные чувства и мысли. Николаю Шундику я ответил страстным посланием.

"Дорогой Николай Елисеевич!

Горестно мне писать это письмо Вам — но другого выхода у меня нет. Вы сделали немало замечаний по верстке моей книги и предлагаете, чтобы я их учел... Если бы Вы знали, как я сдавал эту книгу! Полгода непрерывной работы по замечаниям и предложениям Лебедева, Карелина, Байгушева, Сорокина. При всем при том, что рецензенты и все работники издательства с восторгом отзывались о книге в целом... Одну статью о Багрицком я переделывал четыре раза (!), потому что и Карелин, и Байгушев, и Сорокин гарантировали, что после очередной доработки она все-таки останется в рукописи. Но в последний период ее прочитали Вы, и я, буквально скрепя сердце, пошел навстречу Вашему пожеланию и убрал статью из книги, хотя, на мой взгляд, она необходимо должна была там остаться. — Ну, подумал я тогда, — наконец-то книга сдана и мои мытарства кончились... Однако они начинаются снова. Зачем же тогда была проведена вся эта громадная редакторская работа? Почему же Вы не доверяете своим работникам? Давайте тогда, если Вы хотите редактировать мою книгу, начнем все сначала, с первоначальных вариантов глав — потому что не со всеми сокращениями и правками я был согласен, — может быть.

402

Вы к иным страницам подойдете более объективно, чем мои редактора! Вы же прекрасно знаете, Николай Елисеевич, что каждый лишний читающий редактор — это очередная правка. Не может быть такого, чтобы в книге все было бесспорно и чтобы редактор на сто процентов был согласен с автором. Я известный поэт, автор четырнадцати поэтических книг, двадцать лет работаю в поэзии и критике. Как все писатели, особенно в жанре этой книги, я имею право на субъективные оценки, на свое понимание поэтического творчества того или иного поэта... Прошу Вас проявить широту и оставить мне эту возможность. Я сам отвечаю за свою книгу, в первую очередь и как поэт, и как член партии, и как секретарь правления Московской писательской организации. Конечно, за книгу отвечаете и Вы, но коль по главным идейным параметрам она прочна — то всякого рода эстетические оценки — их можно принимать широко. Измучился я с этой книгой, Николай Елисеевич. Она — плоть и кровь моя. Не режьте по живому. Я человек не слабый. С недругами бороться умею. Но хуже нет отстаивать себя в спорах с единомышленниками... Руки опускаются. И это в то время, когда нам, как никогда, нужны широта по отношению друг к другу, желание понять друг друга, терпимость к разного рода оттенкам наших взглядов... Ведь мы каждый по-своему боремся и утверждаем значительность и жизнеспособность русской советской литературы, и главная наша беда в этом деле — разобщенность, а главная задача — единство, единство и еще раз оно.

Карелин, Сорокин и Байгушев берут всю ответственность за книгу на себя, поскольку Вы в больнице... Зачем Вам подменять их всех, когда я с ними столько работал, что рукопись трижды (!) пришлось перепечатывать. Я шел на очень многие уступки.

Прошу Вас по-человечески подписать книгу, чтобы мы все облегченно вздохнули. Прошу у Вас понимания и поддержки. Если ее не будет — в таком искромсанном виде я книгу издавать не стану. Слишком она мне дорога.

Выздоровливайте скорее.

Ваш Ст. Куняев "

Но как бы то ни было, книга "Огонь, мерцающий в сосуде" вышла, и я был рад тому, что меня выдвинули на премию имени Горького. Мне исполнилось к тому времени уже пятьдесят пять лет, ни одна из моих книг не выдвигалась до сих пор ни на какую премию, и я, естественно, очень волновался. Как

оказалось, не зря. Либеральный террор и диктатура среды тут же показали свои когти. Родион Щедрин несколько раз брал слово на заседании комитета по премиям, устраивал истерику: как можно присуждать премию человеку, "поднявшему руку" на самого Высоцкого! Евгений Евтушенко опубликовал открытое письмо во всемогущественной тогда "Литературной газете", в котором обвинял меня в "зависти" и "сальеризме". Было от чего опустить руки, но вдруг — получаю письмо, написанное знакомым изящным почерком, из далекого уголка нижегородской земли:

"Дорогой Станислав!

Прочитал недостойное не токмо литератора, но просто-напросто порядочного человека письмо Евтушенко. Показал свои клыки серый волк, думаю, ты не убоился, и все же считаю нужным как-то тебя оградить от обнаженных клыков, от ядовитой слюны.

Я мог бы сочинить какой-то ответ, но мне неловко, серый волк упоминает твою статью, в которой я как-то присутствую, может, лучше сочинить коллективный ответ, будет более весомо, и напечатать его в "Литературной России". Безоговорочно ставлю свою подпись. Жду весточки. Держись, крепись.

С приветом

Федор Сухов.

17 января 1988 г."

Дальнейший сюжет нескольких писем Федора Сухова связан с откликами на мою статью "Ради жизни на земле", опубликованную в 1987 году журналом "Молодая гвардия". Главная мысль статьи была в том, что поэзия о Великой Отечественной войне — разная, один ее пласт брал исток в понимании войны как продолжения всемирной революции, рисовал ее контуры в романтически-книжных тонах, а другой ощущал войну как тяжкую народную страду, как великое несчастье, как национально-патриотическое бытие России.

Героями первого пласта — "романтиками войны" были, в основном, поэты, вышедшие из русского еврейства, второго — коренные, почвенные русские люди. Какой поднялся хай! Какие проклятия посыпались на мою голову с перьев О. Кучкиной, Е. Евтушенко, А. Туркова, Л. Лазарева и других... Но один из тех, кто выступил в мою защиту, был Федор Сухов, возмущившийся статьей Л. Лазарева-Шинделя, опубликованной в "Знамени". Однако ответ Сухова Лазареву тогдашний

404

редактор "Литературной России" Колосов публиковать отказался, о чем я узнал из очередного письма моего нижегородского отшельника, которого я вольно или невольно, но втянул-таки в свою национально-идеологическую борьбу.

"Дорогой Станислав!

Читай для ознакомления мое послание редактору "Литературной России". Мне непонятно, почему ее редактор так враждебно воспринял твою статью. А статья твоя — смелая и вне всякого сомнения справедливая. Жаль, что нет такого органа печати, чтоб как-то усмирить разбушевавшихся "романтиков". Кланяюсь.

Федор Сухов.

2 марта 1988 г.,

с. Кр. Оселок.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

"Хочу просто предупредить читателей, что в статье "Ради жизни на земле" нельзя принимать на веру ни одного факта, ни одной цитаты, ни одного утверждения", — это заклинание из статьи Л. Лазарева, напечатанной в журнале "Знамя", это-то заклинание и заставило меня выступить с данным письмом. Дело в том, что автор статьи "Ради жизни на земле" Станислав Куняев приводит (цитирует) строки из моих стихов. Сразу же заявляю, приводимые (цитируемые) строки не искажены, даны в том виде, в каком

они напечатаны в моих книгах, верно расставлены даже знаки препинания. Возможно, Л. Лазарев сомневается в достоверности моих строк, тогда как быть со строками А. Твардовского, С. Орлова, А. Прасолова, В. Кочеткова? Неужели и им нельзя доверять?! Да и не только им, но и "выданным", "перетолкованным" Куняевым до полной неузнаваемости "цитатам из стихов К. Симонова, Б. Слуцкого, А. Межирова. Не знаю, как можно перетолковывать "до полной неузнаваемости" "выданные с мясом, с хрустом" (какой живодер!) отдельные строки, но мне хочется сказать несколько слов о стихотворении Б. Слуцкого "Как делать стихи". "Это единственный случай, — пишет Л. Лазарев, — когда Куняев полностью цитирует критикуемое стихотворение".

Стих встает, как солдат.
Нет, он как политрук,
что обязан возглавить бросок,
отрывая от двух обмороженных рук
землю всю. Глину всю. Весь песок.

405

Стих встает,
а слова, как солдаты, лежат,
как славяне и как елдаши,
вспоминая про избы, про жен, про лошади,
он-то встал, а кругом ни души!
И тогда политрук...
Впрочем, что же я вам говорю,
стих хватает наган,
бьет слова рукояткой по головам,
сапогами бьет слова по ногам,
и слова из словесных окопов встают,
выползают из-под словаря.
И в атаку бегут, и при этом поют,
мироздание все матеря.
И, хватаясь, перечеркнутые, за живот,
умирают, смиренны и тихи...
Вот как роту поднимают в атаку, и вот
как слагают стихи.

"Политрук Слуцкого стремится к своей цели любой ценой, а — "славяне и елдаши" для него всего лишь винтики войны", — так пишет Станислав Куняев об этом стихотворении. Следует сказать, Л. Лазарев отказывает Станиславу Куняеву в праве прикасаться к тому, что сказано о войне тем же Б. Слуцким. Отдавая должное ныне покойному поэту, я все же разделяю точку зрения Станислава Куняева, больше того, как старый окопник, как не раз и не два поднимавшийся и поднимавший своих бойцов в атаку, считаю, что полностью процитированное стихотворение искажает действительную картину боевой обстановки. Хорошо известно, что в атаку первыми поднимаются рядовые бойцы (так предписывает боевой устав пехоты), а ежели их кто-то поднимает, так это командир, командир отделения, командир взвода, командир роты. Я нисколько не умаляю роли политрука, часто он увлекал за собой роту или батальон, но пока жив командир, он и только он командует той же ротой, тем же батальоном. Считаю кощунством пренебрежение к рядовому бойцу, "славяне, елдаши" (?!), они, в сущности, везли весь воз войны, они на своем хребте несли минометные плиты, противотанковые ружья, станковые пулеметы, они рыли траншеи, блиндажи (по всей вероятности, и Б. Слуцкому). Не случайно маршал Г. К. Жуков посвятил свои мемуары — советскому солдату, советскому бойцу. Брат под защиту надуманное, явно неудачное стихотворение вроде бы нет никакой надобности, но ведь на него (вполне справедливо) покусился — кто? Станислав Куняев — да это преступно, аморально. Но ведь всякий знает, когда бывает мороз, земля, глина, тем более

песок не налипают на руки, поэтому не надо их отрывать от двух (конечно, от двух) обмороженных рук, обе руки обморожены, тогда как же можно оторвать ту оке землю, ту же глину, тот оке песок?

Странно читать письмо Юлии Друниной (напечатанное в там оке "Знамени").

"Неужели журнал "Знамя", название которого говорит само за себя, не защитит детей сорок первого года", — взывает Юлия Друнина.

Спрашивается, кто нападает на "детей сорок первого года"? Тот же Станислав Куняев везде отдает должное тем, кто пал за Родину даже "на той войне незначимой", задача статьи Станислава Куняева, как мне представляется, в том, чтоб расширить суженный до пяти-шести имен круг поэтов-фронтовиков. Мне не раз приходилось выступать перед школьниками, в их представлении Павел Коган, Михаил Кульчицкий — поэты-герои, они пали за Родину, они писали удивительные стихи. Отдаю должное поэтам-героям, склоняю голову и перед Павлом Коганом и перед Михаилом Кульчицким, но рядом с ними есть и другие имена. Вряд ли той оке Юлии Друниной (я уже не говорю о школьниках) известен Иван Рогов, чудесный поэт-нижегородец, который погиб как рядовой боец, боец переднего края.

Наш читатель хорошо знает Б. Слуцкого, Д. Самойлова, А. Межирова, но плохо знает А. Недогонова, а уж А. Недогонов знал, что такое война... А часто ли попадают в поле зрения (того оке Л. Лазарева) такие поэты-окопники, как В. Кочетков, В. Федотов, В. Жуков, А. Николаев...

И еще. И это-то, пожалуй, самое главное: в статье Станислава Куняева — неприятие войны как таковой. Нет, не уничтожение врага — сосуществование, всеобщий мир и взаимопонимание — вот что самое главное в жизни и в искусстве.

"Эту страшную и радостную книгу написал Анри Барбюс, человек, лично переживший весь ужас войны, все ее безумие. Это не парадная книга гениального Льва Толстого", — писал А. М. Горький в своем предисловии (к русскому изданию) к книге "Огонь". Можно подумать, что знаменитый пролетарский писатель допустил бестактность к гениальному Л. Н. Толстому, к его роману "Война и мир", но ужас войны, впервые явленный А. Барбюсом, настолько велик, что самые блистательные страницы гениального романа не могут скрасить всех тех ужасов, которые ежедневно, ежечасно являла всемирная бойня.

"В ней нет изображений, романтизирующих войну, раскрашивающих ее грязно-кровавый ужас во все цвета радуги", —

407

справедливо утверждал А. М. Горький, имея в виду роман "Огонь". Насколько известно, А. М. Горький не был на войне, но никто ему никогда не отказывал говорить об ужасах войны. На каком же основании запрещают Станиславу Куняеву сказать свое слово, и — не о войне — о стихах, написанных о войне?

Против романтизации войны и выступил Станислав Куняев, так почему же поднялся такой переполох?

"Неужели кому-то действительно непонятно, что на войне уничтожение врага было как раз "делом" самым главным и самым "высоким", — вещает Юлия Друнина. Невольно вспоминается поговорка из времен древнего Рима: труп врага хорошо пахнет... Юлия Друнина жаждет крови, крови жаждет Е. Евтушенко, Л. Лазарев, А. Турков, и в то же время все они говорят о мире, о милосердии.

Хочется закончить свое письмо рифмованными строчками, которые сложились много лет назад.

Навеки неизбывна, дорога,
Печалит душу всякая утрата.
Не хвастайся, что убивал врага, —
Ты убивал обманутого брата.

Ты сам не раз обманывался, сам
К пьянящему прикладывался зелью,
Ты падал, чтоб подняться к небесам,
Ты поднимался, чтоб упасть на землю.

А на земле такая коловерть,
А на земле такая завируха!
Своей косою размахивает смерть,
Все сенокосит алчная старуха.

Подкошенная падает трава,
Повсюду кровенеет земляника,
И васильков земная синева
От галочьего замирает крика.

А тут еще и ворон леденит,
Гортанным криком холодит гвоздику.
Забывтый холмик между двух раки
Тревожит полуночную дроздику.

Навеки неизбывна, дорога,
Печалит душу всякая утрата.
Не хвастайся, что убивал врага, —
Ты убивал обманутого брата.

Федор Сухов.
6 февраля 1988 г.,
с. Красный Оселок ".

408

Нет, это писал не пацифист, — подумалось мне, когда я прочитал стихотворение. — Это написано русским православным человеком, похожим на Платона Каратаева. Но не пацифистом в европейском смысле слова. Я окончательно понял это, когда много позже прочитал размышления философа Николая Бердяева о природе войны:

"Война лишь выявила и проецировала на материальном плане наши старые насилия и убийства, нашу ненависть и вражду. В глубинах жизни есть темный иррациональный источник. Из него рождаются глубочайшие трагические противоречия. И человечество, не просветившее в себе божественным светом этой темной древней стихии, неизбежно проходит через крестный ужас войны. В войне есть имманентное искупление древней вины. В отвлеченных желаниях пацифизма избежать войны, оставляя человечество в прежнем состоянии, есть что-то дурное. Это желание сбросить с себя ответственность".

Солдат Федор Сухов сбрасывать с себя ответственность не желал.

"Дорогой Станислав!

По всей вероятности, ты получил копию моего письма в редакцию "Литературной России", письмо получилось пространным. Иначе нельзя, после истерики "Знамени " надо что-то сказать. Не могу судить, как у меня получилось, но я всей сутью стою на твоей стороне, больше того, ты затронул такую тему, которая в наше время приобретает первостепенное значение.

Я понимаю поднятую истерику, но ведь нельзя отдавать на откуп священные страницы истории нашего Российского государства людям, которые бредили всемирной революцией в угоду всемирному сионизму. Все эти эренбурги, симоновы, полевые, все они — преступники, ты знаешь стихотворение Симонова "Убей его ", а "Гренада " Светлова:

*Я хату покинул,
Пошел воевать,*

*Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.*

Впрочем, мы-то знаем, как они воевали. На передовой их не было. На передовой не был и Слуцкий, он расстреливал тех славян и елдашей, которые везли всю тяжесть войны.

Боюсь, что мое письмо не напечатают, возможно, ты

409

что-то сможешь сделать. Это нужно всем нам, и не столько нам, сколько нашим детям и внукам.

Федор Сухов.

17 февраля 1988 г., с. Кр. Оселок "

Погорячился Федор, называя "преступниками" Эренбурга, Толстого, Симонова. И по отношению к Слуцкому Сухов был несправедлив. Слуцкий — не расстреливал, будучи военным юристом, он скорее всего лишь выносил приговоры. Но я помню, как это письмо укрепило меня в месяцы оголтелой травли со стороны "романтиков-ифлийцев" и их младших братьев. Сам Федор Сухов, русский человек, командир противотанковой батареи, прошедший всю войну, понял и поддержал меня! Уж его-то военный опыт был не меньше, нежели опыт всех военных юристов, всех корреспондентов фронтовых газет, всех политруков, всех межировых, слущких, Лазаревых и т. д. На должности командира противотанковой батареи люди оставались живыми не более двух-трех месяцев... А он всю войну прошел. Письмо Сухова в мою защиту трусливый редактор "Литературной России" Михаил Колосов не напечатал...

"Дорогой Станислав!

Редактор "ЛР" возвратил мне письмо. Доводы его мне кажутся неубедительными. Уверен—непоколебимо — в твоей правоте, хотел написать об этом личное послание М. Колосову, но надо выступить где-то печатно, ты знаешь: у меня нет связей с печатными органами, возможно, ты (или кто-то из близких тебе людей) что-нибудь предпримете. Для этого посылаю первый экземпляр письма, который мне вернули.

Всего тебе доброго.

Федор С.

А М. Колосову я все же напишу..."

На оборотной стороне письма от руки написан неоконченный ответ М. Колосову:

"Уважаемый Михаил Макарович!

Получил возвращенное Вами письмо. Не так часто я утруждаю редакторов тех или иных изданий своими письмами, не было такого случая, чтоб я принимал участие в каком-то споре, в какой-то полемике. Провинциал, пятая спица в колеснице, но так случилось — не удержался, возмутился

410

печатными выступлениями против Станислава Куняева Е. Евтушенко, Ю. Друниной, Л. Лазарева, Туркова. Дошло до того, что Евтушенко отказывает своему собрату по перу в какой-либо добропорядочности. Я знаю Станислава Куняева как поэта, как литературоведа, как составителя и комментатора такой книжки, как "О Русь, взмахни крылами", сборника стихов и поэм Н. А. Клюева. Мне представляется, что его творчество — заметное явление в нашей российской словесности, так почему оке..."

Письмо обрывается на этой фразе, и я не знаю, дописал ли его Сухов, отослал ли, но, конечно же, конъюнктурщик М. Колосов ни за что не стал бы из-за "провинциала" Сухова ссориться с мощным московским кланом лазаревых, евтушенок, турковых и других функционеров еврейского крыла советской литературы. А следующее письмо написано после того, как Федор Сухов прочитал мою статью "Пища? Лекарство? Отрава?", опубликованную в "Нашем современнике" и вызвавшую яростные вопли в стане тех же

Лазаревых, рассадиных, мальгиных и прочих мелких и крупных "прорабов" начавшейся тогда перестройки.

"Дорогой Станислав!

Прочитал и перечитал твою статью в "Нашем современнике". Мне думается, что ты являешь миру воистине самую ужасную картину нашего недавнего бытия, для меня давно ведомо, что наша страна оказалась жертвой международного заговора под соблазнительной вывескою вселенского благоденствия... Но то удивительно, что в минуты пробуждения самосознания нашей русской нации начинают оживляться действия паразитирующих весьма ловких деятелей от литературы, их разоблачение — самая насущная задача нашего времени, надо воочию показать, кто они, эти "прорабы перестройки", не случайно они и Высоцкого подняли, чтоб заглушить голос народной беды, народного самосознания пьяным криком, то же делает и небезызвестная А. Пугачева.

Думаю, ты и без меня всё это понимаешь, мне же хочется только поблагодарить тебя, сказать тебе, что ты делаешь очень нужное дело, ты как раз на самом передке той борьбы, без которой русский народ не обретет своего национального самосознания, не восстановит свою духовность и свою культуру. Низкий поклон тебе.

Федор Сухов.

18 октября 1988 г.,

с. Кр. Оселок".

411

В 1988 году я вошел в редколлегию журнала "Наш современник". Благодаря этому получил возможность влиять на политику журнала, на то, чтобы в нем чаще публиковались Владимир Личутин, Игорь Шафаревич, Юрий Кузнецов, Татьяна Глушкова, Вадим Кожинов и, конечно же, Федор Сухов...

"Дорогой Станислав!

Благодарен тебе за содействие прохождению моих строк в "Нашем современнике". Беспокоюсь о твоём здоровье, о твоём молчанье...

Часто беру в руки твои книги, дышу запахами нашей русской земли, ты чувствуешь ее большое дыхание. В наше время это особенно необходимо, ибо явно ощутимы наскоки чужеземной конницы, ее атаки.

При случае передай Вадиму Кожинову мое почтение, мое удивление его преданностью искомой правде, правде пашен великомученицы Руси.

Кланяюсь твоей супруге, твоим внукам.

Федор С.

26 марта 1989 г.,

с. Кр. Оселок".

В августе 1989 года я стал главным редактором журнала "Наш современник" и в одном из интервью назвал имя Сухова в числе тех, кого мне особенно хочется напечатать.

"Дорогой Станислав!

Слушал тебя по радио, теперь узнал как должностное лицо. Впрочем, должность, я думаю, не мешает твоему вдохновению поэтическому, польстил ты упоминанием моей фамилии, польстил потому, что я не очень-то избалован каким-то вниманием. Впрочем, я привык к траве забвения, и какое-либо упоминание мне кажется неправдоподобным.

Я был три года на передовой, был противотанкистом, было невыносимо, и мне — могу уверенно заявить — помогло то, за что ты ратуешь—любовь к своей родине... В сущности, эта любовь помогла нам выстоять.

Возможно, ты найдешь время ознакомиться с моей "Ивицей" (так поименована моя проза, моя боль, моя любовь), правда, вещь пространная (700 страниц на машинке). Даже боязно с такой ношей к кому-то стучаться. Закончилось красное лето,

412

осталась от него заря, кланяюсь тебе закатной зарей нашего русского лета.

Федор С.

14 сентября 1989 г., с. Кр. Оселок ".

К письму были прикреплены два цветка луговой герани... Прозу Федора Сухова я напечатать не смог, слишком велика была рукопись для журнала, напечатал несколько подборок его о родине, о природе, о пути к вере отцов и дедов. Этими стихами истинный поэт, "Божья дудка" Федор Сухов прощался с Родиной, с жизнью, с Волгой, со своим Красным Оселком...

"Дорогой Станислав!

Лежу в больнице, созданной твоим сородичем, благодарно чту его, земно кланяюсь его незабвенной памяти. Благодарю и тебя, я получил от Г. Касмынина уведомление, что в девятой книжке "Нашего современника" появятся моих 150 строк.

"Наш современник", как мне кажется, стал весомей, заметно приободрилась поэзия, добротны стихи Нины Карташевой...

Кланяюсь тебе Волгой, Нижним Новгородом, ждем тебя в нижегородские пределы. Федор Сухов. 20 июля, Н. Новгород ".

Это было его последнее письмо ко мне...

"Прогулки с Мандельштамом"

Появление в "Нашем современнике" Аркадия Львова. Неожиданное предложение. Осип Мандельштам в моей жизни. Не нужен ему "иудейский хаос". Евреям мы Осипа не отдадим

Время от времени по радиостанциям "Голос Америки" и "Свобода" выступает бывший советский, русско-еврейский, а ныне русско-еврейский американский, живущий в Штатах писатель Аркадий Львов.

Он ведет, как правило, передачи о культурной и литературной жизни, они гораздо объективнее передач Юреннена, Вайля и Гениса, и потому слушать их можно без раздражения, а иногда и с интересом.

А я тем более слушаю их с интересом, поскольку знаком с Аркадием Львовым. Несколько лет тому назад он появился в "Нашем современнике", представился, подарил мне книги своей прозы и предложил себя в авторы журнала.

— У меня есть две книги — о Мандельштаме и Пастернаке, — сказал Львов, — в которых я убедительно доказываю, что по своему генезису, по глубинной духовной сути они никакие не русские, а еврейские писатели. По пониманию жизни, по мышлению, по своей онтологической сущности... Ну а то, что писали на русском языке, что из того? Власть духа сильнее, чем власть языка.

Он зачастил в журнал, приходя, как правило, с бутылкой хорошей водки и закуской, мы садились с ним в моем кабинете, спорили, размышляли, находили в каких-то вопросах

414
взаимопонимание, а в каких-то расходились окончательно. Меня подкупала искренность наших разговоров, да и сам облик высокого, крупного, жизнерадостного одесского еврея, словно бы сошедшего со страниц одесских рассказов Бабея, был мне во многом симпатичен. В конце концов я, прочитав его книгу о Мандельштаме под названием "Желтое и черное", решил напечатать ее, но, как сказал Львову, обязательно со своим предисловием и со своими размышлениями о творчестве Осипа Эмильевича. Мой собеседник чрезвычайно обрадовался моему решению.

— Вы, Станислав, даже не предполагаете, какой это будет прорыв в журнальной жизни к пласту читателей, отстраненных от "Нашего современника". Я ведь в своей работе персты в раны вкладываю. Меня многие еврейские интеллигенты за эту книгу антисемитом объявили.

— Ну совсем интересный поворот у нас получается, — подумал я и вскоре написал свое вступление к "Желтому и черному", где вспомнил многие обстоятельства своей

собственной жизни в шестидесятые годы...

Вот эти несколько страниц из февральского номера "Нашего современника" за 1994 год.

"В 1961 году Александр Межиров с заговорщическим видом сунул мне в руки убористо напечатанную через один интервал тетрадку со стихами Осипа Мандельштама...

Я медленно вчитывался в рукопись, многого не понимая, кое о чем смутно догадываясь, но тем не менее несколько стихотворений запомнились сразу. Их хотелось бормотать, пробовать на вкус, на звук, цитировать: "Есть женщины сырой земле родные...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Золотистого меда струя..."

Борис Слуцкий недовольно фыркал в усы: "Многие считают Мандельштама крупнейшим поэтом двадцатого века. Это ерунда. Не верьте им. Ходасевич крупнее..."

Анатолий Передреев укорял меня: "Ну сравни у Блока — "Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все равно", или у Есенина: "А когда ночью светит месяц, когда светит черт знает как, я иду, головою свесясь, переулком в знакомый кабаk" — а! Как сказано?! А у Мандельштама в той же ситуации что? — "И дрожа от желтого тумана, я спустился в маленький подвал, я нигде такого ресторана и такого сброда не видал" — ...На все глядит со стороны, как свидетель. Ну, разве это русский поэт?!"

415

Я соглашался с Передреевым, но все равно любил повторять: "Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины"... В "Илиаду" и в "Одиссею" я влюбился еще в дошкольном возрасте, видимо, еще при жизни Осипа Мандельштама... Ахилл и Патрокл были героями моего детства.

И потому, когда мой куратор по отделу поэзии журнала "Знамя", где я тогда работал, спросил: "А что, молодой человек, мы будем печатать в ближайшем номере?" — я предложил: "Давайте-ка я съезжу в Псков, где живет вдова Мандельштама, и привезу его стихи". Сучков поднял на меня "удивленные брови", задумался — и согласился.

В Пскове, как помнится, жилистая, седовласая властная старуха целый день рассказывала мне о судьбе поэта, читала стихи, кормила яичницей, что-то настойчиво вталкивала в мою голову о секуляризованном обществе, о культуре, которую надо освободить то ли от государства, то ли от православия, словом, от любой силы, похожей на идеологию.

Из Пскова я вернулся как раз в те дни, когда Хрущев разгромил выставку абстракционистов в Манеже. Не придавая значения этому событию, на ближайшей редколлегии журнала я доложил главному редактору Вадиму Кожевникову: задание выполнено, стихи Мандельштама привезены и надо поставить их в номер. Кожевников изменился в лице и устался на Сучкова:

"Борис Леонтьевич, вы слышите? Какое задание? Какой еще Мандельштам? Как вам это нравится?" И тут Сучков казенным голосом произнес: "Да наш поэт не понимает, в какое время мы живем, самостоятельностью занимается!"

Я обомлел: как же так, мы же договаривались и вдруг такое предательство! — но перехватив умоляющий взгляд Сучкова — "мол, не выдавай!" — и вспомнив, что за его спиной десять лет тюремной жизни, я промямлил, что, мол, если не время, то можно и подождать... Стихи, конечно же, не были напечатаны. Но Мандельштама в своем молодом славянофильском кругу мы читать продолжали, несмотря на реплику одного из авторитетнейших наших мыслителей, что его поэзия — это "всего-навсего жидовский нарост на Тютчеве".

Приязнь к поэзии Мандельштама сыграла не последнюю роль в дальнейшем, когда в 1977 году я вышел на трибуну во время знаменитой дискуссии "Классика и мы" и, порой под аплодисменты, порой под негодующие вопли, противопоставил неоклассика и гуманиста Осипа Мандельштама апологету коммунистической русофобии и революционного палачества — Эдуарду Багрицкому. Острота ситуации заключалась в том, что и Багрицкий и Мандельштам — евреи, а еврейский вопрос на

416

дискуссии вдруг взорвался и оглушил всех партийных идеологов того времени, начиная от секретаря ЦК КПСС Михаила Зимянина, кончая каким-нибудь мелким идеологическим официантом типа Валентина Оскоцкого или Петра Николаева. Конечно, тут же сверху донизу по всей лестнице был отдан приказ со Старой площади "не поднимать волну", не "сталкивать поэтов", "не уничтожать одно имя другим", "не муссировать национальный вопрос" и т. д. В серии статей, написанных после дискуссии, все "еврейские совки" вроде Сарнова или Рассадина стали дружно талдычить, что в культуре главное — это язык, что и Мандельштам, и Багрицкий, и Пастернак—это все русские советские поэты, отличаются друг от друга только "творческой манерой", словом, "роковые вопросы" были погребены под толстым слоем словесной пошлости, изрыгнутой персоналом, обслуживавшим официальную идеологию...

Но если бы все было так просто! Как бы я ни утверждал во время дискуссии, что Мандельштам продолжает русскую гуманистическую традицию XIX века, со временем мне все яснее становилось, что это — весьма поверхностное заключение, что мир неоклассика гораздо глубже, противоречивее, темнее и даже чужероднее русскому менталитету, нежели это казалось мне на первых порах. Тем более что сам Мандельштам вводил меня в подобное искушение, когда кокетливо признавался: "Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями". И вот уже в середине 80-х годов в одной из статей я вынужден был написать следующее: "Путь интенсивного и слишком быстрого принятия традиции, путь прививки к ней был не прост и чреват разными осложнениями. Когда я читаю стихи и прозу Мандельштама, впечатление у меня такое, что в каждую клеточку его духовного мира культура, традиция, стихия гуманизма, рожденная XIX веком, были втиснуты давлением времени в последние секунды его. Бремя великой культуры слишком значительно, чтобы за такой короткий срок, "едва обретя язык" (по словам того же Мандельштама), новое поколение могло безболезненно усвоить все белки иного духовного организма... Недаром Ю. Тынянов в свое время заметил о стихах Мандельштама: "Его работа — это работа почти чужеземца над литературным языком".

А потому, когда в 1990 году в Америке я попал в мировой этнографический центр, где каждая комнатка как бы олицетво-

417

ряла отдельную страну и была оформлена символами, присущими данной народности, я не особенно удивился, увидев в комнатке с вывеской "Израиль" книги Мандельштама, Пастернака и Бродского. Разве что пожал плечами и сказал хозяевам экспозиции, что все-таки "чересчур", надо бы изъятие этих имен из русской культуры обосновать более убедительно... И вот время подобных обоснований наступило.

Исследование еврейского русскоязычного писателя Аркадия Львова вроде бы ставит все точки над "и" и развязывает все узлы в эпохальной загадке. В сущности, автор ("один из виднейших писателей евреев, пишущих на русском языке", как сказано о нем на обложке книги) нарушает последние оставшиеся в русско-еврейском вопросе "табу", даже те, о существовании которых русские умы и не подозревали. Многие из его толкований стихов, строчек, идей, снов поэта неожиданны и глубоки в первую очередь потому, что это пишет еврей, обладающий литературным талантом и интеллектуальной дерзостью. Я думаю, что порой он в припадке откровенности выбалтывает нам такие глубины и тайны еврейского духа, в которые, честно говоря, неудобно да и страшновато заглядывать православному русскому человеку.

Да и неловко — словно в замочную скважину. Подобное бесстрашие в истории бывало свойственно многим еврейским интеллектуалам, начиная от ветхозаветных пророков, кончая Спинозой, Уриэлем Акостой или дедом поэта Ходасевича Яковом Брафманом, с его знаменитой в свое время книгой о тайнах кагала. Откровения Львова кажутся настолько интимными, настолько носят они религиозно-племенной, казалось бы, не должный открываться чужому взору характер, что, понимая свое щекотливое

положение, Аркадий Львов для того, чтобы преодолеть внутреннее табу, живущее в еврейской душе, часто впадает в нарочито легкомысленную, одесскую, хохмаческую манеру разговора, что и позволило мне назвать свое предисловие к его работе "Прогулки с Мандельштамом".

Ну посудите сами: "еврей, который чуть ли не всю жизнь ломал перед собою и перед миром эллина"; или "у маленького Оси нюх был, как у собаки; он различал миллионы запахов и по запаху мог взять любой след. И будьте спокойны, нос его длинный — даже по еврейской мерке длинный, никогда не ошибался" (автор, конечно, знает книгу В. Розанова "Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови"). Или еще красноречивый пример: "Ах, сорванец, ах, шалун, ах, жиденок — пардон, это не мое: проходил Ося в те времена среди петербургских поэтов под кличкой "Зинаидин жиденок" (не

418

надо говорить "пардон", Аркадий Львович, это и Ваше, а не только "Зинаидино"); или: "маленький Ося сделался русским империалистом", а вот еще: "Ну, как Вам нравится этот бывший иудей с тоской библейского Иосифа", и т. д. и т. п.

Словом, читая книгу, где автор на каждой странице именуется Осипа Эмильевича Мандельштама "Осей", вспоминаешь одесскую песенку "А Саша Пушкин тоже одессит", конечно же, вспоминаешь Абрама Терца, у которого "Россия-сука", а Саша Пушкин "паркетный шаркун", ну чем не брат "сорванцу", "шалуну", "жиденку" Осе! Словом, "Желтое и черное" и "Прогулки с Пушкиным" как бы книги-близнецы, но все-таки надо оговориться, что под ерничеством и амикошонством Аркадия Львова скрываются куда более глубокие толкования и чувства, нежели в иронических пассажах Синявского, от которых явно пахнет интеллектуальным мародерством...

Еще один упрек автору: в книге есть несколько исторических мифов, противоречащих фактам. Так, например, вспоминая стихи Мандельштама о Сталине, Львов пишет: "Кто на Руси, кроме еврея Мандельштама, который, как последний трус, бежал в Александрове, на Суздальской земле, от потешного бычка одногодка, отважился сочинить да пустить в люди такой стих? Никого не назвать, ибо никого не было".

Но тут я хочу вступить за честь русской почвенной литературы. Да помилуйте, Аркадий Львович, Вы хорошо знаете жизнь и поэзию Осипа Эмильевича, но гораздо хуже историю всей литературы тех лет. Мандельштам прочитал стихи о "кремлевском горце" в узкой дружеской компании единомышленников и единоплеменников, пришедших в ужас от дерзости поэта. И кто-то в конце концов из них не выдержал и от страха "стукнул" куда надо. Остальные, кто не стукнул, тряслись в ожидании ареста. А в это время или даже чуть раньше русские поэты, бывшие друзья Есенина, — Сергей Клычков, Николай Клюев, Петр Орешин, Василий Наседкин — на всех углах поливали последними словами вождя народов. То в ресторане Дома Герцена, то просто на улице среди случайных людей, не стесняясь, кричали о том, что Сталин тиран, что кругом еврейское засилье, "что Каганович сволочь"; Николай Клюев в разных домах читал совершенно антисоветский цикл "Разруха" и "Погорельщину". Павел Васильев — двадцатидвухлетний мальчишка (в то же время) написал убийственную и оскорбительную эпиграмму на Джугашвили и, не таясь, читал ее где угодно по первой просьбе своих друзей и поклонников. Так что русские поэты в начале тридцатых годов вели себя куда как более вызывающе и дерзко, нежели

419

Осип Эмильевич. Обо всем этом я узнал, прочитав их уголовные дела, хранящиеся в архивах ЧК—ОГПУ—НКВД...

Я понимаю, что для многих читателей "Нашего современника" публикация "Желтого и черного" будет неожиданна. Может быть, даже кто-то осудит нас и скажет: зачем в русском журнале обсуждать еврейские дела? Ну, а мне, думаете, не жаль избавляться от своих юношеских увлечений и от своих иллюзий, отдавая окончательно и бесповоротно Осипа Мандельштама в чужие руки? Но что делать! Русско-еврейский вопрос, видимо,

будет в ближайшем будущем разрешаться только на пути потерь, утрат и разочарований.

"Когда погребают эпоху—надгробный псалом не звучит"... А потому и звучат вместо него одесские хохмы и панибратские ужимки, в которых доселе русский поэт предстает евреем, всю жизнь ломавшим "перед собою и миром эллина". Можно добавить "и русского". Но не хочется.

Да и развязность эта напускная, порой несколько вульгарная, все-таки, кажется мне, кое-где прикрывает собою ни с того ни с сего внезапно набегающую на глаза слезу. Так что не только мне одному тяжело прощаться с эпохой. Жалко мне навсегда расставаться с Вами, Осип Эмильевич. Тащит Вас обратно в "иудейский хаос" Аркадий Львович, как еврейский ангел смерти Малхамовэс. Нет у меня сил удержать Вас в Русском лоне, и кружатся надо мной только обрывки строчек, словно бы после взрыва плывущие в воздухе:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
где сосна до звезды достает...

Сам Анатолий Передреев восхищался и повторял: "где сосна до звезды достает" — как этот маленький еврей мог так почувствовать космическое величие России?

А может быть, строчка, плывущая в воздухе, совсем не про Енисей, а про Кремлевские соборы:

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.

Вспоминается Александр Межиров, декламирующий мне это стихотворение на Тверском бульваре и вкрадчиво спра-

420

шивающий: "Станислав, как вы думаете, а возобновятся ли когда-нибудь службы в Успенском соборе?" Нет, умные все-таки люди наши русские евреи!..

Но ежели Вы, Аркадий Львович, определенно и окончательно хотите зачислить Осипа Эмильевича "по еврейскому менталитету", то зачем Вам тогда заканчивать книгу словами: "27 декабря 1938 года не стало Осипа Мандельштама. Закатилось солнце русской поэзии"? Если следовать неумолимой логике Вашей мысли, то надо бы Вам написать точнее. Ну хотя бы "солнце русскоязычной поэзии", или "солнце русско-советской поэзии", или "солнце еврейской поэзии, созданной на русском языке". К тому же "солнце русской поэзии" у нас одно, а все остальные — звезды, метеориты, спутники, кометы... Из размышлений Ваших все-таки следует, что Осип Эмильевич, скорее всего, просиял, как "незаконная комета" на русском поэтическом небосклоне. Возьмите, Аркадий Львович, эту незаконную комету, заприте ее в свою комнатку, мне ведь все равно останется до конца жизни несколько строчек, ну хотя бы из "Батюшкова":

Так подымай удивленные брови,
Ты горожанин и внук горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.

Прощайте, Осип Эмильевич... Впрочем, последнее слово по справедливости, конечно

же, должно принадлежать не Аркадию Львову и не мне, а Вам, ибо Вы лучше нас сознавали свое невеликое, но прочное место в отечественной литературе: "Последнее время я становлюсь понятен решительно всем... Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе" (из письма к Ю. Тынянову от 20 января 1937 года).

Так что не усидит Осип Эмильевич в маленькой еврейской этнографической комнатухе. Особенно сейчас, когда многие его строки 30-х годов обретают новую жизнь. Ну, например, "как подкову кует за указом указ"; "власть отвратительна, как руки брадобрея", "и вокруг него сброд тонкошеих вождей", "умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи"...

А может быть, все-таки не столько Осип Манделъштам "наплыл на русскую поэзию", сколько она "наплыла" на него, преобразовав, насколько это возможно, иудейский хаос в ⁴²¹ частичку того теплого и человеческого душевного мира, который мы называем "русским космосом".

Да о какой комнатухе может идти речь, Осип Эмильевич, когда плоть Ваша растворилась в российской земле, душа унеслась в наше небо, а стихи пополнили океан русской поэзии. Земля, небо, океан, а там всего-навсего какая-то племенная комнатуха...

Все, Александр Сердцевич,
Заверчено давно...
Брось, Александр Скерцевич,
Чего там, все равно...

Все заверчено, завинчено, закончено давно, дорогой Александр Львович. Так что оставим Осипа Эмильевича в России. Тем более что он сам завещал, чтобы "улица Манделъштама" возникла только на русской земле...

Напрасно пытаются забрать Вас у меня, Осип Эмильевич. Когда Россия была центром мира, то и Вы были русским поэтом. А когда Россия стала провинцией, то упаковывают Вас и увозят от Москвы и Петербурга, от сосны, которая "до звезды достает", в комнатку детройтского этнографического музея, возвращают то ли в "иудейский хаос", от которого Вы, по собственному признанию, "бежали", то ли в Иерусалим под Стену Плача... Словом, из поэта, рожденного в великой России, превращают Вас в какой-то племенной тотем. Обидно, Осип Эмильевич, после русских просторов, снегов и небес, укрывших Ваши останки, снова завернуться в черно-желтый талес. Обидно. А что делать? История-то кончается, и перед ее концом суетливые потомки наши пытаются расставить все и вся по местам, как посуду в буфете...

Октябрь 1993"

Р. С. После этой публикации Аркадий Львов приезжал в Россию, но больше в журнал "Наш современник", к сожалению, не заходил.

Волк и муравей

От любви до ненависти один шаг. Татьяна Глушкова жжет корабли. Ее письма ко мне на рубеже 70-х — 80-х годов. Сказка о рыбаке и рыбке. Речь Татьяны на моем юбилее. Прощание с иллюзиями

"Что ты, баба, белены объелась?"

В августе 1989 года я стал главным редактором журнала "Наш современник", начал думать о том, как обновить редколлегия, а через несколько дней получил от Татьяны Михайловны Глушковой просительное и одновременно требовательное письмо, в котором

она предлагала себя в члены редколлегии журнала: *"украшение редколлегии громкими именами, чтобы в итоге равноправно соседствовали Шафаревич и Стрелкова при паническом недопущении мысли ввести хоть под конец жизни в редколлегию столь добросовестного ко всякой чужой работе (и не менее Ирины Ивановны известного всем человека) означает для меня..."* — далее шло всяческое осуждение нового главного редактора. А я ни за что не хотел вводить Глушкову в редколлегию, невзирая на *"известность"*, *"добросовестность"* и наивный шантаж (*"под конец жизни"*). Я слишком хорошо знал ее характер и хорошо помнил, как однажды по моей и Кожинаова просьбе Анатолий Передреев в 1981 году ввел *"известную"* и *"добросовестную"* в редколлегию "Дня поэзии". Через месяц-полтора моему другу пришлось со страшным скандалом порвать с *"добросовестной"* за капризы, склочный характер и мелкое интриганство. Глушкова бросилась с жалобой в секцию

423

поэтов к Цыбину, но там лишь посмеялись над ее истерическими претензиями руководить Передреевым. Вот почему я, прочитав письмо Глушковой, подумал: "Печататься — пожалуйста: статьи, стихи, "круглые столы", хоть два, хоть три раза в год, но чтобы в редколлегию с такой феноменальной способностью ссорить всех со всеми — ни за что!"

Глушкова не забыла о моем отказе, и, хотя постоянно печаталась в журнале, наши отношения постепенно ухудшались. Предлоги находились всегда. Особенно добивалась Глушкова, чтобы на страницах "Нашего современника" ей дали свести счеты с членом редколлегии Вадимом Кожинным. Последнее было давней многолетней "пламенной страстью" нашей *"добросовестной ко всякой чужой работе"* критикессы. Известность и влияние Кожинаова не давали ей покоя всю жизнь. Впервые ее ревнивая неприязнь к нему выплеснулась в статье "Талант—имя собирательное" ("Вопросы литературы", 1976, № 9), где она писала о *"философской кустарщине"* его стиля, о *"небескорыстности самого мышления"*, о попытках *"насильственного отъединения "духа" от "тела"* в его работах и т. д.

В этой же статье *"добросовестная"* противопоставляла Кожиннову куда более тонких и умных критиков: *"есть критики, обладающие чувством родного языка и далее изяществом в изложении мыслей"* (я отнесла бы сюда хотя бы Л. Аннинского. А. Урбана, И. Роднянскую и др. ". К другим *"обладающим чувством родного языка"* отнесен Бен Сарнов, которому *"добросовестная"* спела в этой статье вдохновенный гимн: *"взыскательное отношение к понятию талант", "горьковская нетерпимость к проявлениям мещанского духа в литературе"*. Статьи Бена Сарнова Глушкова характеризовала как *"глубоко последовательные"*, *"далекие от вкусовщины"*, а поиски его *"плодотворными"*, *"серьезными"* и *"органическими"*...

Так что кумирами Глушковой в 1976 году были Сарнов, Урбан, Аннинский, Роднянская... Конечно, в те времена Кожиннов, писавший о Белове, Рубцове, Юрии Кузнецове, Передрееве, Юрии Селезневе, был чужд ей. Однако к концу 70-х годов Глушкова совершила дрейф, уплыла из объятий Сарнова и Роднянской в "патриотический лагерь". Именно это обстоятельство позволило В. Кожиннову напомнить Т. Глушковой в одном из совместных критических разговоров ("Наш современник", 1993, №4) о ее "неофитстве". Тут-то обиженная потребовала, чтобы ей дали свести счеты с Кожинновым именно на страницах "Нашего современника". Я отказал ей в этой при-

424

хоти. Наступил конец отношений, а за ним началась эра бесконечных статей и интервью Глушковой в "Русском соборе" и в "Молодой гвардии" против Кожинаова, Шафаревича, Бородина, Казинцева, Распутина, против "Нашего современника" вообще. Это был залп — в пяти номерах за год! Общим объемом 12—14 листов. За такой монументальный труд *"добросовестная"* была удостоена от меня звания "кожиноведки". Последнее переполнило чашу ее ярости, и в шестом номере "Молодой гвардии" за 1995 год ее статья уже была в основном посвящена мне. Я стал у нее *"адвокатом измены"*, *"партрасстригой"*, *"человеком средним"*, *"достаточно ординарным"*, *"державопевцем"*,

"лжекоммунистом", "известным стихотворцем" и т. д. Она цитирует строки из моих стихотворений двадцатилетней давности для того, чтобы объявить их "сухими" и "холодными", говорит о "несуществующих на деле талантах и заслугах". Вспоминая о том, как в 1977—1980 годах я был одним из рабочих секретарей Московской писательской организации, она придает этой скромной должности (с которой меня за три года работы дважды "изгоняли" в полугодовые отпуска: сначала за участие в дискуссии "Классика и мы", а потом за письмо в ЦК о засилье еврейства в высших идеологических сферах) поистине глобальное значение. От меня, по ее словам, в те годы *"зависело и распределение жилплощади, и творческие командировки, и включение в зарубежные поездки, и выдвижение на премии и награды, зависели и раздача литфондовой дачной недвижимости, зависели и поощрения, и осуждения на публично-писательском, на идеологическом уровне, зависел, наконец, и прием в Союз, и исключение из Союза писателей... Этой, даже и набившей оскомину, властью активно пользовался Адвокат Измены долгие годы. И самой по себе властью вершить чужие судьбы, и всеми — несчетными — практическими благами для носителя власти, которые из этой власти вытекали. Совершенно бесконтрольными, множащимися в душную пору застоя, на его тучной для избранных социальной почве...*" (Наверное, "добросовестная" спутала меня с Анатолием Ивановым — с гл. редактором "Молодой гвардии", где она все это опубликовала. Ведь именно в "эпоху застоя" последний стал Героем Соц. Труда, кавалером орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и других, лауреатом всех Государственных премий плюс премии КГБ СССР, автором громадных эпоей и киноэпоей о судьбах секретарей обкомов и райкомов, бессменным секретарем Союза писателей СССР и РСФСР и т.д.)

425

Все те, кто помнит меня в те годы, посмеются над попытками Глушковой сделать из Куняева какого-то партийно-бюрократического монстра, объединившего в своих руках власть Маркова, Михалкова, Ф. Кузнецова, Верченко и А. Иванова, вместе взятых.

Если и были в моих руках некоторая власть и влияние, то я тратил их на помощь молодым русским писателям и поэтам, поскольку считал необходимым своим долгом поддержать новое поколение литераторов, которое было бы глубже, нежели мы, укоренено в национальной почве. За пятнадцать—семнадцать лет, начиная с середины 60-х годов, я помог издать книги, как правило, со своими предисловиями, а после этого вступить в Союз писателей Эрнсту Портнягину из Львова, Владимиру Урусову с Владимирщины, Валерию Самарину из Рязани, Олегу Кочеткову из Коломны, Николаю Колмогорову из Кемерово, Евгению Соннову из Волгограда, Сереже Алиханову из Тбилиси, Анатолию Иванену из Ленинграда, Геннадию Ступину из Подмоскovie и многим, многим другим.

Мое прирожденное свойство учительствовать, вести изнурительную переписку и с читателями и с писателями, воспитывать, выводить в люди, воплощаясь в этой помощи, приносило мне глубокое удовлетворение. А если вспомнить о моих калужских земляках литераторах, то чуть ли не каждому второму из них я или книгу помог издать, или в Союз писателей вступить, или жильем обзавестись. На меня, я помню, произвели глубокое впечатление слова Розанова из его книги "Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови", которую я прочитал в середине 60-х годов:

"А я хочу быть русским" — вот наш девиз. Для этого я "по-московски" буду изучать и наблюдать, чтобы прежде всего познать их и обо всем в них догадаться: без всякой науки познания мы будем всегда бессильны. Но затем в долгой работе жизни, в десятилетиях борьбы жизненной, — везде я буду "наблюдать русского человека" и вот ему родному, — помогай работой, дачей, умной книгой, дачей заработка, указанием пути. Будем пахать свои цветочки и свои поля, и хорошо обработанная своя земляца выбросит чужие и враждебные тернии".

Да, в отношениях с Татьяной Михайловной я руководствовался этим идеалистическим розановским девизом, так что зря она в припадке вдохновенного

кликушества в молодогвардейской статье сочиняет всякого рода глупости. Ну, к примеру, объявляет, что за 22 года работы, с 1960 по 1982 год, я издал 29 книг. Сообщаю, что в это

число "добросо-

426
вестная" включила 12 книг национальных поэтов, в которых я участвовал как переводчик, порой всего лишь несколькими переводами. Прекрасно знает она и то, что двухкомнатную кооперативную квартиру в Москве я построил за свои деньги (а не получил, как она, даром от государства), что на свои же средства построил и загородную в писательском кооперативе, где живут небогатые писатели, в основном пенсионеры, ветераны, писательские вдовы. Богатые писатели живут в Переделкине, на Николиной горе, в Абрамцево.

Представляю себе, как горько усмехнутся мои соседи по дачному кооперативу, живущие в таких же скромных квартирах,— Викулов, Бушин, Гулыга — когда узнают из писаний Глушковой, что они владельцы собственности *"в ближайшем престижнейшем Подмосковье, стоимость которой теперь исчисляется миллиардами и отменяет для удачливого владельца настоятельную необходимость в социализме"* ("МГ", № 6, 1995 г.).

Хороши "миллиардеры", живущие на пенсию, едва сводящие концы с концами! Сочиняет она и тогда, когда утверждает, что мое лауреатское звание влияло на издания моих книг. Лауреатом премии России я стал лишь в 1987 году, после чего издал всего две книги, одну из которых (в 1992 году) за свой счет. Что говорить уже о мелкой, но не менее злостной оттого лжи, когда *"добросовестная"* пишет, что я за счет государства побывал в творческих командировках по всему земному шару *"от Швеции до Африки, от Италии до Австралии, от Болгарии до Монголии..."*.

Сообщаю *"добросовестной"*, следившей за мною всю жизнь, о неточностях в ее досье: в Швеции был в туристической поездке в 1966 году за свой счет. В Австралии в 1991 году по приглашению и за счет своих русских знакомых в Сиднее. В Монголии не был вообще...

Но "пуще прежнего старуха вздурилась", когда она вознегодовала, что Станислав Куняев охотился и рыбачил *"в закрытых" "спецугодьях"* — *охотничьих и рыболовных, в тех заказниках, где "наслись" обреченные спецбраконьерству "голодающей" номенклатуры звери..."*. Сама знает, что я охотился и рыбачил не в "спецугодьях", а в таких труднодоступных и безлюдных местах, куда ни одна "номенклатурная" единица никогда не совалась из-за того, что таежные условия жизни не для этих людей.

Не стоило бы и замечать эту явную истерически нагнетаемую изысками стиля ложь, если бы не одно обстоятельство. В сочинениях *"добросовестной" "кожиноведки"* речь идет не

427

только и не столько о сегодняшнем дне и о "Нашем современнике" вместе с его редактором, но в основном о событиях и стихах пятнадцати-двадцатилетней давности, а именно в те годы у меня с ней была дружеская переписка, из которой явствует, как та, прежняя, Татьяна Михайловна Глушкова ("Муравей" — как ласково и уменьшительно называла она себя в письмах) относилась к творчеству и секретарской деятельности "Волка" (Станислава Куняева)... Цитирую из писем "Муравья" "Волку".

* * *

"Ужель та самая Татьяна?"

А. Пушкин

"20.12.76 г. Я читаю (прочла) Ваши статьи — с наслаждением, и у меня множество мыслей о них, как печатных, так и (мыслей) непечатных... Статья о Винокурове столь блестяща, что даже если бы Вы были и неправы, она сама по себе есть правота,— и невозможно удержаться: не написать о ней.

В этой рукописи есть вещи прелестной верности, неподкупного ума. Так прекрасно, прекрасно о "дичке" Ходасевича: это словно бы Вы у меня во сне "украли"!"

"Окт. 1977 г. По телефону про Ваши стихи в "Лит.газете" я хотела сказать нечто

хорошее (как и про 80 процентов книги "В сентябре и в апреле"), а получилось у меня черт знает что. Хотя одна строчка "Тысячелистник цветет..." способна неделю уже вертеться в моем туманном сознании, вызывая то состояние отрадного созерцания воспоминательного и бесконечно длящегося, на которое ушла и уходит у меня, кажется, вся бездеятельная жизнь... Когда наступит конец света, мы, должно быть, не встретимся. Но за Вас может предстательствовать тысячелистник, например,— а что успею я за оставшиеся дни? "

"Окт. 1977 г. Хорошо бы, чтобы Вы — меня кое-когда дальней тенью защищали — не потому, что я того стою, а только потому, что как будто некому".

"17 февр. 1978 г. Не надо бы мне бывать в Союзе и в Домах Творчества, и, конечно, то, что я стала бывать, с декабря начиная, связано с Вами... Я очень боюсь, что все эти люди поссорят Вас со мной, а меня с Вами. Это было бы очень печально мне, хотя я, конечно же, меньше всего думаю о выгоде от Вашего секретарства... В самом деле, все забываю об этой должности, хотя все мне напоминают об этом".

428

"14. II. 78 г. Если выйдет Ваша книга, то ведь я должна буду написать про нее... Я напишу лучше, чем все! Т. е. — постараюсь. П. ч. так надо и хочу".

"6.4.78 г. Стасик, я очень рада, что Вы написали про Блока, и очень хочу прочесть... Я очень рада, что Вы написали там столько всего.

Я защищаю — всегда — Вашу строчку о Пентагоне очень спокойно: мол, а почему — надо любить, в частности, и пентагонских?.. Ну, такая буря начинается всякий раз!.. (Я не могу описать гранич моего одиночества. Приезжайте)".

(Речь идет о моей стихотворной строчке: "не о евреях в Пентагоне".)

Дек. 1978 г. (письмо из больницы). "Без копирки я пишу только Вам — в Москве, а все прочее я пишу с копиркой... Ни в коем случае не думайте, что Вы должны спешно читать мою рукопись. Наоборот! Чем позже, тем лучше". (Речь здесь и ниже идет о статье Глушковой, которую не хотел публиковать гл. ред. журнала "Лит. обозрение". Лавлинский и на которого я по ее просьбе должен был подействовать своим "секретарским" авторитетом)... "Вот, кстати, что надо еще сказать Лавлинскому, когда он развякается насчет объема статьи; помимо всего (невозможности и бессмысленности больших сокращений), слишком изменились обстоятельства вообще: если поначалу предполагалось, что я выступлю в № 12, т.е. в том же году, то теперь, поскольку речь не ранее, чем о № 3,— после моей той публикации минует больше года,— и что страшного — дать мне еще 20 страниц?!

Волк-волчище, пожалуйста, постарайтесь!!! Позвоните, пожалуйста, Лавлинскому. Я волнуюсь, что он уже прочел и скомандовал сокращать... Очень ненавижу больницу. В палате еще три человека, и они галдят... В жизни я такого сока не нюхала. На редкость хорошо и вкусно. Если Вы, Волк, раз в неделю будете угощать меня стаканом такого сока, то мой бессмертный организм скоро так укрепится, что сможет пить водку... А когда я выйду на волю, к Старому Новому году, Вы познакомьте меня с Ф. Кузнецовым — пусть даст мне жилье, а то через два месяца у меня будет 5 язв и я помру в бесславье". (Лавлинского я во всем убедил, с Ф. Кузнецовым поговорил, и Глушкова, видимо, в подсознании помня это — права, когда обвиняет меня в том, что я "рекомендовал произведения в издательства" и от меня зависело "распределение жилплощади". Действительно, за три года секретарства мне пришлось не раз рекомендовать ее статьи и книги в журналы и издательства и один раз заняться "жил-

429

площадью". Я, помнится, надоедал всем — Ю. Верченко, Г. Маркову, Ф. Кузнецову, чтобы Глушковой дали квартиру получше той, где она жила и где у нее были чрезвычайно скверные соседи.)

29 января 1979 г. "Здравствуйте, Волк-волчище, серый хвостиче, лапа когтистая, пасть зубастая, глаза узкие, вой громкий. Пишет Вам подданный труженик-муравей, который поздравляет Вас с Крещеньем и пребывает в верности и печали. Хочет сказать,

что Вы очень ценный в лесу Волк. Если бы не Вы, то Муравей куда меньше понимал бы все, даже то, что и не прямо касается известных Вам и совершенно лишних в лесу зверей". (Как славно мы жили в те годы — бывало, напишешь внутреннюю рецензию на книгу "Муравья", чтобы она издалась, получишь от нее дружеские послания — одно за другим, а когда книга выйдет — драгоценный экземпляр в подарок с дарственной надписью: "Дорогому Волку (Серому, Белому и Красному кардиналу этой книжки) от благодарного Муравья 5 июля 1981 г. Т. Глушкова"). Иногда я уговаривал ее отнести рукопись в издательство, гарантировал помощь; она кокетливо торговалась:

Февр. 1979 г. "Ладно, издаст Муравей книжку критики. Пусть она будет на Волчьей совести. Снесет через пару месяцев груды чернильной макулатуры в "Вепсятник" (издательство "Современник". — Ст. К.). Пусть Волк не заставляет издать это все непременно в 80-м году, а если Муравей не успеет, то пусть в 1981... У Муравья будет 30 листов и он начнет скулить, что сократить не может".

25.2.1979 г. "Муравей перечел Волчий стишок про коней: нашел — и прочел. Очень хороший стишок про то, как Волк был маленький". (Речь идет о моем стихотворении "Кони НКВД". — Ст. К.)

"26.1.80 г. Я искренне благодарна Вам за Ваши хлопоты последних дней. И я чувствую себя виноватой, что они, такие -большие, не увенчались успехом. Я очень благодарна". (Речь идет о какой-то моей неудавшейся попытке включить "Муравья" в делегацию для поездки за границу.)

"18.7.80 г. Перечитала свою рецензию на Вас и подумала: она очень хвалительная (но вообще она мне понравилась)... Я теперь волковед. Можно сказать, заложен теперь камень в науку — волковедение. Все-таки, Волк, я Вас люблю... "

"12.5.1982 г. Все в Вашей статье хорошо (речь идет о моей статье "От великого до смешного", направленной против массовой культуры и идолопоклонства перед Высоцким. — Ст. К.). Мы должны победить — силой ярости, яростного

430

ума!.. Обнимаю Вас и поручаю Вам все перья и крылья. Пусть Ваша статья выйдет, и следите, пожалуйста, за каждым словом, за каждым этапом публикации! Тут Вы, Волк, как Пересвет: один за всех должны биться и победить! Ваш верный Муравей".

У "волковеда" также было немало "врагов", и частенько она просила "Волка" защитить ее от них.

"26.4.1982 г. Чем дальше идет время, тем больше сомнений и тревог вызывает у меня поведение В. Лазарева.

Совершенно доверяясь Вам, Вашему чувству справедливости, я прошу Вас по мере возможности содействовать мне в защите моих прав по тем вопросам, которые я сейчас затрагиваю перед Вами".

Еще за два года до окончательной развязки "Муравей" все-таки много помнил:

"20—25 мая 1993 года. Я, конечно, очень благодарна Вам за помощь, хлопоты во время больничных мытарств. Потому что, конечно же, было бы еще хуже, чем было: тут нет слов. И в этом определенном смысле, понимается — не до жиру! Благодарю — действительно (и молилась за Вас, как умела), и, только, может быть, не так слепо благодарю, как сама бы хотела". (Речь идет о помощи в самое трудное время деньгами, транспортом, лекарствами, прочими заботами.)

Что все это означает рядом с нынешней бранью, клеветой, ненавистью? Оборотничество? Больное тщеславие? Неуемная жажда того, чтобы все окружающие "были у нее на послышках"? Неужели слова, мысли и чувства этих писем были продиктованы всего лишь навсего расчетливой корыстью, возможностью использовать мое мелкое служебное положение в своих интересах? Или это — раздвоение личности — случай медицинский? Или "женская логика"? Или помрачение совести до полного беспамятства? Я же не тянул "трудолюбивого Муравья" за язык, не просил признаваться, что, мол, только Вам "пишу без копирки"! Я же не заставлял добросовестную "волковедку" уже в 1993 году сделать мне на книге избранных стихотворений надпись:

"Дорогому Волку от бессмертного Муравья с благодарностью, не выразимой "здесьними" словами, с любовью — и с Новым годом!" Именно в это время "бессмертный Муравей" постоянно печатался в "Нашем современнике", собирался с силами, чтобы через полтора года выразить *"здесьними словами"* всю свою желчь, копившуюся в душе... Я смутно догадываюсь о том, что произошло. Чувство благодарности для некоторых натур невыносимо. Жить с ним десятилетиями — мука мученическая. Жить и постоянно

431

ощущать, что ты, принадлежащая к сонму "бессмертных", кому-то чем-то обязана?! Лучше всего от чувства, невыносимого для подобных натур, освободиться и лучше всего с большим скандалом, с истерикой, с клеветой, чтобы не было пути назад! Ни за что! Выблевать все, что накопилось, со всеми "здесьними словами" — "партрасстрига", "адвокат измены" и т. д. Так должно было быть. Так и случилось.

* * *

На этом можно было бы поставить точку. Но читатель вправе задуматься: письма, дарственные надписи на книгах — все это может быть эмоционально преувеличенным, тем более что пишет женщина, это дело — личное, а вот на людях в общественном мнении ведь "Муравей" никогда таких слов не произносил и так "Волка" не возвеличивал? Увы, произносилось все это и на людях и печаталось для всеобщего прочтения. Со странным чувством некоторой гордости за свое творчество перечитал недавно статью "волковед" "Образ поэта — образ критика" ("Лит. обозрение", 1980, № 8). Сегодня наша "кожиноведка" издевается над Кожинным, который когда-то в статье о моих стихах писал: "поэт в соответствии с коренной традицией отечественной поэзии (традицией, которую со всей четкостью определили Пушкин и Боратынский, Тютчев и Некрасов, Блок и Есенин) видит свою цель" — и комментирует: "так на все лады перепаживались великие могилы", "разбойно высвистывались святые тени в эскорт нашему поэту-гражданину". И снова ярость довела ее до жалкого беспамьяства, ибо в те достопамятные времена, когда Кожин писал эти слова, "волковедка" сочиняла тому же Станиславу Куняеву куда более страстные дифирамбы: "Дух Есенина воистину витает над несхожими по внешней теме разделами книги", она слышала на ее страницах "дыхание Аксакова", задумывалась "о глубокой традиционности многих размышлений поэта, разумея под традицией высшие идеалы общечеловеческой по значению русской культуры"... Неужели все это писалось той же рукой о моей книге "Свободная стихия"? Умри, "волковед", лучше не напишешь! Как и такое: "эта проза свежестью языка, приближенностью к народному взгляду на жизнь, естественностью самоощущения человека в природе и в традиционном, требующем выносливости и мужества труде напоминает нынешнюю деревенскую, то есть лучшую нашу прозу..."

Да, все это написано пером и той же рукой, что и ныне-

432

шние слова о том же поэте, чье творчество пронизано "высокомерием к народу"... Вчера речь Ст. Куняева для Глушковой была "явственно неординарна", сегодня она пишет о нем, как об "ординарном, но попавшем на видное место". Вчера она с придыханием восхищалась: "замечательная глава о творчестве Николая Заболоцкого — пример глубокого литературоведения, которое, как известно из истории литературы, чаще всего оказывается под силу именно поэтам, ибо они прямо причастны тайнам творчества..." Сегодня "причастный тайнам творчества" для нее лишь "известный стихотворец"... Сегодня она комментирует мои строчки из тайных, рыбацких, охотничьих стихов — "рыба шла, и на деньги везло" или "но груз добычи на плечах", как мещанскую стяжательскую страсть, чуждую идеалам социализма. Вчера эти же картины вызывали у "волковедки" совсем другие чувства и слова о поэте, пишущем о "красоте родины, как открывается она путешественнику, геологу, охотнику, рыболову, озабоченному не столько "уловом", сколько непосредственным постижением жизни, природы и многоликого-современного человека, который одновременно древен и прекрасен..."

А заканчивая перечитывать знаменательную статью 1980» года, я разволновался до предела. Оказывается в моей книге "Свободная стихия" свобода *"трактруется как правдивость, повышенная ответственность, близость к народно-этическому идеалу"*, что моя книга, по мнению тогдашней Глушковой, относится *"к числу лучших, наиболее живых и плодотворных книг, посвященных творчеству, какими за последние годы мы располагаем"*. Возможно, что Ваша статья, Татьяна Михайловна, убедила в 1987 году членов комитета по Российским Государственным премиям присудить мне ее за эту самую книгу! Помню, что присуждение вызвало возмущенный вопль Евтушенко. А Вы-то что сейчас возмущаетесь по поводу моего лауреатства? Сами меня на этот пьедестал подсадили...

Помнится, была в разгар перестроечных лет такая критикесса — Ваша тезка — Татьяна Иванова. В годы перестройки на страницах "Огонька" она яростно "поливала" викуловский журнал "Наш современник". Но мало кто помнит, что до этого она, сотрудничая в том же журнале, восхищалась стихами Викулова, писала о том, что у него *"каждая буква дышит патриотизмом"*. Перечитываю статьи и письма Глушковой и со скорбью думаю о том, что тип человека, меняющего свои взгляды, одинаков во всех литературных лагерях.

433

А все-таки статья "Образ поэта — образ критика" - хороша! Умри, "бессмертный Муравей", лучше не напишешь!

* * *

А кто ее, прошу простить меня за стиль, тянул за язык, когда на моем юбилейном вечере в декабре 1982 года она произнесла целую речь! Не могу отказать себе в удовольствии процитировать это вдохновенное сочинение.

"Мне кажется, что на сегодняшнем вечере все было празднично. Праздничными были приветствия поэтов, праздничным было выступление Александра Михайлова, праздничным было выступление друзей из Киргизии. По-моему, Куняеву подарили не просто халат, а ханский халат необыкновенного цвета. И мне кажется, что даже то, что возникал некоторый спор — это тоже празднично. Это означает, что поэт, которого мы сегодня чествуем—живой,, абсолютно живой, интересный поэт. Люди не могут удержаться от непосредственного проявления своих мнений. Мне тоже, наверно, придется высказать некоторые суждения, которые, может быть, будут противоречить суждениям, высказанным здесь. Я прежде всего хочу сказать о задаче поэта. У поэзии, по-моему, не бывает простых и сложных задач. Задачи поэзии в общем-то равноценны. Просто каждое время выдвигает в первую очередь ту или иную из них. И вот уже следующему этапу развития литературы кажется, что те задачи были легкими, а вот сегодня новые поэты решают более сложные внешние задачи. Это, конечно, не так. Если подумать внимательно и, так сказать, исторично, станет совершенно ясно, что задачи, которые ставил перед собой Станислав Куняев, были, да, собственно, и есть, очень важные, очень серьезные. Не зря, неспроста на этом вечере чуть ли не с самого первого выступления зазвучал разговор о добре. Не всегда у нас на вечерах так встает вопрос, то есть самый жизненно важный вопрос. И далеко не всегда он так живо обсуждается. С поправками, с разноречиями. Лев Аннинский, конечно, написал очень интересную речь. И Вадим Валерианович Кожин дополнил к ней что-то свое опять-таки на эту тему. Знаменитая строчка "Добро должно быть с кулаками", мне кажется, сегодня не должна вызывать столько первоначальных по своему характеру споров. Потому что каждый поймет, если задуматься, что у добра нет никакого окончательного образца, тем более это

434

касается добра, исповедуемого поэзией. Все мы помним, какие парадоксальные уроки давала нам на этот счет великая русская литература. Ну, например, Алеша Карамазов на вопрос Ивана, как же поступить с генералом, который собаками затравил мальчика, он, этот светлейший, добрейший Алеша Карамазов прошептал: "расстрелять!". Вот

вам прямая угроза, прямая сила, и в этом, конечно, звучит не голос благодати, с которой Лев Аннинский пытался сравнить добро. Речь идет не о благодати самоуспокоенной, так сказать самогармоничной, голос добра в данном случае являет свой весьма суровый вид. "Добро с кулаками" — это проблема отношения добра и силы. Я считаю, что заслуга Станислава Куняева как раз в том и состоит, что он в лучших своих стихах не противопоставляет добро и силу, добро и правду, красоту и силу.

Вижу заслугу Куняева, что он в своих стихах выступает за возможность союза добра и силы. Можно ему ошибаться в какой-то конкретной силе, как в носительнице и защитнице добра, но он абсолютно прав, когда говорит нам, что добро должно быть сильным, что сила может быть доброй, и не раз в нашей истории мы имели примеры вполне гармоничного сочетания силы с добром. Государственная жилка или даже страсть Станислава Куняева, о которой мы тоже думаем, когда читаем его стихи, состоит в том, что он видит в государстве силу созидательную. Он считает, что государство может быть не противоположным творческой личности, а поскольку это так, то да будет оно сильным.

Куняев не считает, что поэт это изгой. Он — собеседник государства. Глубокий, серьезный и в то же время всецело ответственный в каждом своем слове. И вот, когда я думаю об уроках, которые дает сегодня молодым и немолодым поэтам работа Станислава Куняева, мне кажется, что он в свое время нашел в себе силы настолько резко пойти против течения и настолько ясно обозначить свой путь, что нам теперь кажется, что мы бы это сейчас сделали бы легко сами. Вот я хочу напомнить, например, такую вещь. Я не буду подробно характеризовать стиль той эпохи. Но напомню, что тогда в моде была такая вещь, как глобальность. Полагалось говорить непременно с точки зрения всего человечества. Претендовать на понимание всех народов, всех рас, населяющих землю. А вот Станислав Куняев в один прекрасный момент верным инстинктом понял, что следует выбрать как раз узость. На фоне глобальности:

435

Эти кручи и эти поля
и грачей сумасшедшая стая,
и дорога... Ну, словом, земля
не какая-нибудь, а родная.

Неожиданно сузился мир,
так внезапно, что я растерялся.
Неожиданно сузился мир,
а недавно еще расширялся

И вот выбрать узость, решиться на это на фоне прогрессивной надменной планетарности означало не только вспомнить малую родину — как у нас говорят — калужскую приокскую землю, не только Россию, которая русскому поэту всегда дороже всего, — тут уж с нами ничего не сделаешь, вспомнить об узости, это означало сузить фон и границы самого своего понимания вещей, потому что, как говорил историк Ключевский, есть вещи, понимать которых не должен даже самый умный человек.

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вытряхнуть, совесть отринуть,
все забыть: и любовь и войну.

Все, что было отмечено сердцем,
ни за что не подвластно уму.
Кто-то скажет, а Курбский, а Герцен?
Все едино, я вас не пойму.

*Я люблю эту кровную участь...
от которой сжмается грудь.*

Вот так обозначился путь Станислава Куняева в безусловную сторону поэзии. Путь к России, к простоте народного чувства. Это не было легко. И в этом большая его заслуга. Это один из уроков Станислава Куняева, как я это вижу. И я хочу закончить тем, что это была плодотворная участь. И именно погрузившись в нее, он потом обрел право говорить о народе, который даже и не граничит с нами на карте мира. Я говорю о его интереснейшем и во многом прекрасном цикле "Восточная дуга". Я прочту из этого цикла только несколько слов.

*Тяжелое Мертвое море
пропитано солью насквозь,
В него палестинское горе
соленой струею влилось.*

436

*Здесь наземь упала косынка,
когда у себя за спиной
оставив свой дом, палестинка
застыла, как столп соляной.
Здесь выжжены мирные нивы
на этом и том берегу,
И только плакучие ивы
цветут, как на русском лугу.*

Вот и здесь он заговорил не от имени каких-то землян, не с Марсом разговор, а с современным фашизмом, вполне земным. А заговорил он от имени русского луга. Только такие голоса и бывают слышны земле. А закончить я хочу тем, что я ни в коем случае не желала бы Станиславу Куняеву боли, новой боли или продолжения боли. Я не хотела бы ему желать никакой боли сверх той, что и так всегда есть в груди русского поэта. Я не хотела бы желать ему и попросту отстрадать свой путь, потому что это значило бы не выполнить ни одной из задач поэта. Это значило бы попросту уйти от ответственности. Умыть руки. Пусть и слезами, которым, как знаем мы, Москва не верит.

Считаю, что не следует лелеять пресловутую больную совесть. Любить и нежить ее, дабы она никогда не выздоровела. Я считаю, и Куняев прекрасно это показывает в лучших своих стихах, что совесть имеет право быть здоровой. Должна уметь быть здоровой. Мы никогда не научимся равнодушию к чужим страданиям.

*И новая тяжесть опять
ложится на русскую совесть —*

писал Станислав Куняев, который прав в этом. Равнодушию мы не научимся. И все-таки совесть должна уметь быть здоровой, чтобы пособлять так же и самому своему носителю в его собственном горе, если таковое случится. Я считаю, что болезнь, нескончаемая болезнь отнюдь не является залогом чистоты. Чистоты совести, я имею в виду. Так считать могут только никогда не болевшие люди. И поэтому я хочу пожелать Станиславу Куняеву здоровья, спокойствия, уверенности в своем пути. В сохранении того высокого здравого смысла, того возвышенно простого взгляда на вещи, утратив который можно ли остаться, как говорил поэт о своей родине, "последней надеждой земли".

Декабрь 1982

437

Р. С. А впрочем, в такое подлое время, когда люди мечутся, не зная на что опереться,

подобные превращения — дело обычное. Столько страстного ума отдать вчерашней дружбе, а сегодня, когда время обжигает наши лица—вдруг отшатнуться, с ужасом заподозрив в потемневших чертах (на деле или в воспаленном воображении — неважно!) отблески измены...

Можно только пожалеть наши мятущиеся души, отражающие русскую трагедию, отравленные воздухом ненависти, розни и раскола. Пожалеть и вспомнить: "Не судите — да не судимы будете..."

В такие времена Белинский пишет письмо Гоголю, Ключев отшатывается от Есенина, Гиппиус не подает руки Блоку...

Россия и "люди Запада"

Самая главная книга перестройки. Маркиз де Кюстин и Александр Пушкин. История книги русофоба-маркиза. Ответ Лермонтова французам. Вечные агенты влияния и их хозяева. Предсмертное сочинение Владимира Солоухина. Истина о красных и белых. Порочность русской интеллигенции. Вечно дряхлеющая власовщина. А в коммунизм ли метили? Неожиданные отклики на сочинение Солоухина. Юлий Квицинский подливает масла в огонь. Иван Солоневич и Владимир Нилов на моей стороне. Споры об изменах. Судьба Ирины Владимировны Римской-Корсаковой и Анны Ахматовой. "Не учите нас, как любить родину". Русские люди на калужском базаре. Народ, не желающий упрощаться. Николай Рубцов и Уильям Фолкнер. Обращение к молодым писателям

I

"Пушкин — это наше все".

Аполлон Григорьев

Как Вы думаете, дорогой читатель, какая идеологическая книга в эпоху перестройки издавалась чаще всего, чтобы содействовать искоренению русско-советского "менталитета", оправданию всего преступного, что сегодня делается с Россией? Нет, не мемуары Александра Николаевича Яковлева, и не сочинения перебежчика из ГРУ Резуна-Суворова, и даже не

439

волкогонские сочинения. Несколько изданий за последние несколько лет удостоился другой антирусский шедевр, некоторые отрывки из которого я сейчас приведу.

"Когда я думаю о тайных жестокостях, происходящих в этом обширнейшем государстве, я испытываю неопишное отвращение и мечтаю лишь о том, чтобы поскорее отсюда уехать".

"Я часто повторяю себе: здесь все нужно разрушить и заново создать народ".

"Когда я захожу в какой-нибудь дом, кусты роз и гортензий кажутся мне не такими, какими они бывают в других местах. Мне чудится, что они покрыты кровью".

"Вся Россия—та же тюрьма и тюрьма тем более страшная, что она велика и что так трудно достигнуть и перейти ее границы".

"Вообразите полудикий народ, которого милитаризовали и вымуштровали,— и вы поймете, в каком положении находится русский народ".

"Здесь можно двигаться, можно дышать не иначе как с царского разрешения или приказа... Кажется, тень смерти нависла над всей этой частью земного шара"...

И такие сгустки ненависти — на каждой странице этой по-своему уникальной книги. Кто же пишет? На первый взгляд — конечно же, революционер, какой-нибудь доморощенный Герцен или Бакунин, террорист-народоволец польско-еврейского происхождения или один из фанатиков, делавших революцию 1917 года. Нет, это пишет добропорядочный французский аристократ, роялист, сторонник монархического правления, маркиз Астольф де Кюстин, в книге "Николаевская Россия в 1839 году". Книга

была издана впервые во Франции в 1843 году, за десять последующих лет много раз переиздавалась во всей Европе на французском, английском, немецком, шведском и прочих языках. Общий ее тираж по тем временам был громаден, более 200 тысяч. И когда за десять лет она обработала умы и души миллионов европейских обывателей и их правительственных элит, когда вся читающая Европа пришла к выводу, что такая Россия недостойна существования, то армада англо-французско-турецких армий и кораблей появилась в Черном море и началась Крымская война, в которой Европа брала реванш у России за разгром своего кумира Наполеона и за свое освобождение от его тирании. Прозорливец Пушкин, предвидя появление кюстинов, писал двенадцатью годами раньше, точно угадывая истоки низменной европейской ненависти к нам:

440

И ненавидите вы нас...
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, пред кем дрожали вы?..
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

При петербургском дворе Кюстина приняли с распростертыми объятиями. Все-таки роялист, чьи отец и дед были казнены на гильотине революционерами-якобинцами. Уж этот-то поймет и оценит великий смысл российского самодержавия! Наивные люди. Они не понимали того, что и монархисты, и революционеры, и демократы Европы мазаны одним мирром, одним низменным страхом, одной лакейской дрожью перед Россией. Что они все — люди Запада. Об этом Кюстин сказал прямо и недвусмысленно. Так же, как немецкие рабочие во время Гитлера были с фашистским Западом, а не с "пролетарской Россией", так же и аристократ Кюстин за сто лет раньше был в одном стане с "революционерами" всех наций. Лишь бы против России. Он даже в любви к декабристам объяснился: *"Мы, люди Запада, революционеры и роялисты, видим в русском государственном преступнике невинную жертву абсолютизма"*. Ну прямо-таки говорил, как Ленин или как Троцкий с Луначарским, а не как французский консерватор и аристократ!

Да если бы только о политике или о государственном или общественном устройстве речь шла в этом памфлете! Нет, тут все на каком-то генетическом иррациональном уровне, на неземном. Как будто не человек арийской расы и христианин приехал к нам, а какой-нибудь гость из межпланетного пространства, с Марса или Сатурна, существо внечеловеческой, не белковой, а углеродной или просто inferнальной цивилизации. Вот что он, к примеру, пишет о русских женщинах:

"Их внешность, рост, все в них лишено малейшей грации", "Не видно было ни одного красивого женского лица", "Ни одна из них не показалась мне красивой, а большинство отличается исключительным безобразием и отталкивающей нечистоплотностью". Они для него *"идолы"* и *"ведьмы в засаленных капотах, в стоптанных туфлях, шлепающих на каждом шагу..."*

Не будем вспоминать о том, что у многих понимающих толк в красоте людей Запада (Пикассо, Ромен Роллан, Вальтер

441

Шубарт, Фернан Леже, Сальвадор Дали) жены были русскими. Женофобство Кюстина, наверное, будет понятно, если вспомнить, что есть немало свидетельств, доказывающих то, что он был педерастом, как и Дантес с Геккерном (везло же николаевской России на французских аристократах!)*. Но ведь его ненависть в книге настолько тотальна, что объемлет все: русскую природу, русскую песню, русскую историографию, русскую литературу, русскую архитектуру, русскую церковь.

"Вчера я перечел несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили мое мнение о нем... Он заимствовал свои краски у новой европейской школы... Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом".

"Мертвое уныние равнины без конца и без края. Ничего грандиозного, ничего величественного".

"Русский народ, говорят, очень музыкален, но до сих пор я еще ничего достойного внимания не слышал, а певучая беседа, которую вел в ту ночь кучер со своими лошадьми, звучала похоронно, речитатив без ритма..."

"Все православные церкви похожи одна на другую. Живопись низменно византийского стиля, то есть неестественная, безжизненная и поэтому однообразная".

О Москве: город "без памятников архитектуры, то есть без единого произведения искусства", "Кремль — сердце этого чудовища", "Кремль есть создание существа сверхчеловеческого, но в то же время и человеконенавистнического", "сатанинский памятник зодчества", "Кремль, который не удалось взорвать Наполеону"...

Ах, вот где собака зарыта! Как жаль французскому аристократу, что революционер Наполеон не стер с лица земли Россию, что не превратил в прах ее святыни, что не вытряхнул из русских храмов, подобно троцкистским эмиссарам, чудотворное золото и серебро усыпальниц!

"Рака с мощами Сергия ослепляет невероятной пышностью. Она из позолоченного серебра великолепной отделки. Ее осеняет серебряный балдахин... Французам досталась бы здесь хорошая добыча", — плотоядно Сожалеет о несбывшихся возможностях маркиз. Но зато он задним числом берет военный реванш за Наполеона, уничижительно отзываясь о его победителях — русских казаках, которые, по Кюстину, якобы "при малейшей возможности избежать опасности улепetyвают, как мародеры". Француз — он и есть француз.

* См. журнал "Звезда", № 9, 1995 г.

442

А что касается размышлений Кюстина о Кремле, то как они совпадают с мыслями и чувствами на ту же тему демократического публициста Олега Мороза, опубликованными в одном из номеров "Литгазеты" за 1996 год.

"Имперская сущность государства, называемого ныне Российской Федерацией, сохранилась во всей первозданности. Должно быть, она вмурована в сами кирпичи Кремлевской стены, замазана в Царь-колокол и Царь-пушку".

Думаю, что и Мороз жалеет о том, что Наполеон не взорвал в свое время Кремль вместе с его "имперской сущностью".

Многие великие люди прошлого века отозвались о книге Кюстина с презрением. Федор Иванович Тютчев назвал ее "доказательством умственного бесстыдства и духовного растреления". Жуковский в письме к Вяземскому написал: "Если этот лицемерный болтун выдаст новое издание своего четырехтомного пасквиля ...ответ ему должен быть просто печатная пощечина в ожидании пощечины материальной", Вяземский в письме к А. И. Тургеневу восклицал: "Хорош Ваш Кюстин. Эта история похожа на историю Геккерена с Дантесом". То есть полна клеветы, лжи и провокаций...

Один только Герцен, который, по словам Достоевского, "родился эмигрантом", приветствовал антирусскую эпопею. Но Герцен был человек другого склада, нежели Жуковский, Тютчев, Пушкин. Понятие чести у него было полностью разрушено. Вспомним хотя бы, что Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, пытавшегося ухаживать за его женой, а Герцен, когда немецкий еврей — поэт Гервег—соблазнил его жену, вздыхал, плакал, переживал и чуть ли не соглашался на позорную жизнь втроем. Западники они и есть западники...

Многие годы я неторопливо разгадываю "историческую основу" лермонтовского стихотворения о родине. Конечно же, его можно понимать, как некий ключ к спорам между славянофилами, западниками и идеологами официальной государственности. Но

лишь внимательно прочитав маркиза де Кюстина, я предположил, что лермонтовская "Родина", может быть, является косвенным или даже прямым откликом Михаила Юрьевича на сочинение французского литератора.

В своих чувствах к государству, к верховной власти, к официальной идеологии Лермонтов все-таки в чем-то мог понять маркиза:

Ни слава, купленная кровью,
ни полный гордого доверия покой,
ни темной старины заветные преданья
не шевелят во мне отрадного мечтанья.

443

Не то чтобы Лермонтову был страшен и враждебен (как Кюстину) этот мир имперского и государственного величия, нет, его атрибуты просто "не шевелят" в нем "отрадного мечтанья", он холоден к ним, они не вдохновляют его. (Хотя и это не полная правда, если вспомнить "Бородино", "Спор" или даже "Валерик").

Но вот уже в чем поручик и маркиз совершенно враждебны друг другу, так это в отношении к народной жизни, к мистическим пространствам России, к ее природным стихиям, сформировавшим русскую натуру. Вот здесь у Лермонтова начинается спор с Кюстином буквально по каждому пункту. Все, что Лермонтов любит "за что не знает сам", вызывает у маркиза ужас, а порой и ненависть, порожденную этим ужасом. Лермонтов чуть ли не буквально теми же словами, что и Кюстин, рисует величие русской жизни, но одухотворяет ее одним словом "люблю", которое в коротком тексте повторяется четыре (!) раза:

Но я люблю — за что не знаю сам? —
ее степей холодное молчанье,
ее лесов безбрежных колыханье,
разливы рек ее, подобные морям...

Может быть, я пристрастен, но мне эти строки кажутся прямым ответом на ужас, испытанный Кюстином перед нашими половодьями, перед безмерностью русской жизни: *"От рек веет тоской, как от неба, которое отражается в их тусклой глади. Они катят свои свинцовые воды в песчаных берегах... Зима и смерть, чудится вам, бессмысленно парят над этой страной"*.

В России, как считал маркиз, *"нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга безграничными пустыми пространствами, причем почтовый тракт уничтожает поэзию степей, оставляя только мертвое уныние равнины без конца и без края"*.

Очевидно, что это впечатление путешественника, едущего на перекладных в кибитке или в карете.

Михаил Лермонтов тоже глядит на русские пустынные равнины и проселки и всматривается в них, "насколько хватает глаз"; но на той же фактуре у него рождаются совершенно противоположные чувства:

Проселочным путем люблю скакать в телеге
и, взором медленным пронзая ночи тень,
встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
дрожащие огни печальных деревень.

444

Маркиз де Кюстин удивляется, глядя на подвыпивших туземцев, веселящихся совсем не так, как французы или немцы:

"Вот что характеризует добродушие русского народа: напившись, мужики становятся чувствительным и вместо того, чтобы угощать друг друга тумаклами, по

обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются. Любопытная и странная нация! Они заслуживают лучшей участи".

Лермонтов тоже не проходит мимо этой хотя и колоритной, но и весьма обычной для русской деревенской жизни картины.

И в праздник вечером росистым
смотреть до полночи готов
на пляску с топотом и свистом
под говор пьяных мужичков.

Говоря о разнице восприятия свободы в России и Европе, философ Николай Бердяев писал (правда, не о французах, а о немцах, но все равно о европейцах): "Немец чувствует себя свободным лишь в казарме. На вольном воздухе он ощущает давление хаотической необходимости. В понимании свободы мы никогда с немцами не договоримся".

Символично то, что первый перевод мемуаров Кюстина на русский язык с восторженным предисловием состоялся в 1930 году, во времена, когда интернационалисты-русофобы с наслаждением разрушали основы русской культуры, религии, истории. Когда Пушкин, Тютчев и Достоевский считались реакционерами, когда разрушались и закрывались православные храмы, когда "История государства Российского" Карамзина считалась апологией крепостничества и имперского обскурантизма. Кстати, Кюстин был точно такого же мнения о ней, как и ярославские, покровские, Луначарские, Яковлевы. О великом историке он писал абсолютно в их стиле:

"Если бы русские знали все, что может внимательный читатель извлечь из книги этого льстеца-историка, которого они так прославляют и к которому иностранцы относятся с величайшим недоверием из-за его придворной лести, они должны были бы возненавидеть его и умолять царя запретить чтение всех русских историков с Карамзиным во главе..." Вот так. Кюстин хотел ни больше ни меньше запретить всю русскую историю, что, собственно, и сделали русофобы-революционеры 20-х годов. Запретить Пушкина, посвятившего "Бориса Годунова" светлой памяти Карамзина, запретить

445

Тютчева, осудившего декабристский бунт, запретить Глинку, сочинившего оперу "Жизнь за царя".

Итак, впервые Кюстин был издан в качестве пособия по истории России в 1930 году. Это понятно, почему. Но что сейчас заставило нынешних демократов пулеметной очередью выпустить подряд несколько изданий этого вульгарного памфлета? Да все то же самое: ненависть к России, многократно увеличенная с той поры. Однако опасный симптом содержится в том, что общественное мнение благодаря этим усилиям обрабатывается с не меньшей силой, что и перед нашествием трех держав в 1854 году. Ярость при формировании в России и в мире антирусского мнения сегодня возрастает до предела. В газете "Вашингтон пост" от 22 октября 1996 года напечатаны размышления о том, что и к нынешней России нужно относиться как к империи, в которую включены многие "оккупированные" территории. Она по-прежнему "устрашающа в своих размерах", по-прежнему "трудно найти в мире более злых, кровожадных, лживых варваров, чем русские", которые "запятнали себя самыми варварскими преступлениями в истории человечества". "Массовые убийства" и истребление наций—вот русская суть! Не советская, не коммунистическая, а именно русская суть. "Мир это должен понять"; "Они должны искупить свою вину".

Поистине благословим судьбу, что у нас есть еще стратегические ракеты дальнего действия. Иначе эта ярость давно бы уже сумела материализоваться в той или иной форме, как она материализовалась когда-то во время нашествия "цивилизованного мира" на Крым. А цитаты из "Вашингтон пост" выглядят как плагиат из сочинения Кюстина. Однако движение НАТО к границам России можно сравнить с подходом к берегам Крыма

англо-французско-турецкой армады.

Но все-таки издание этой книги полезно для русских людей. И вот почему. Она откровенно раскрывает чувства и планы западных элит по отношению к любой России — самодержавной, советской, постсоветской. Эта книга проясняет спекулятивную и жалкую попытку многих российских СМИ высмеять "теорию заговора" против России. Да если бы только заговор! Заговор — детский лепет по сравнению с многовековой ненавистью, вечно тлеющей в груди западного идеологического обывателя, ненавистью, которая в критические моменты истории вспыхивает зловещим пожаром.

У всех уже в зубах навязла печально знаменитая цитата из Аллена Даллеса, из его размышлений, легших в основу после-

446

военной доктрины США по отношению к России: "Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые... Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и своих союзников в самой России... Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания... Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением... Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них... космополитов".

Сказано с адским спокойствием и уверенностью в успехе своего чудовищного плана. Но, как бы ни было обидно для идеологов Запада, стоит все-таки отметить, что Даллес был не оригинален. Думаю, что Даллес хорошо был знаком с сочинением Кюстина и своими словами пересказал одну из страниц его книги. Эту страницу стоит вспомнить еще хотя бы потому, чтобы освежить в нашей короткой памяти гулявшие по страницам демократической и патриотической прессы споры о так называемых "агентах влияния", всяческих вчерашних и сегодняшних яковлевых, арбатовых, бурлацких, козыревых, батуриных и прочих им подобных. Кюстин, размышляя о коварстве Наполеона, понимает проблему "агентов влияния" таким образом:

"Прозорливый итальянец видел опасность, грозящую революционизированной Европе со стороны растущей мощи русского колосса, и, желая ослабить страшного врага, он прибегнул к силе идей. Воспользовавшись своей дружбой с императором Александром и врожденной склонностью последнего к либеральным установлениям, он послал в Петербург, под предлогом желания помочь осуществлению планов молодого монарха, целую плеяду политических работников — нечто вроде переодетой армии, которая должна была тайком расчистить путь для наших солдат. Эти искусные интриганы получили задание втереться в администрацию, завладеть прежде всего народным образованием и заронить в умы молодежи идеи, противные политическому символу веры страны, вернее, ее правительству. Таким образом великий полководец, наследник французской революции и враг свободы всего мира, издавдала посеял в России семена раздора и волнений, ибо единство самодержавного государства казалось ему опасным оружием в руках русского милитаризма. С той эпохи и зародились тайные общества, сильно возросшие

447

после того, как русская армия побывала во Франции, и участились сношения русских с Европой. Россия пожинает теперь плоды глубоких политических замыслов противника, которого она будто бы сокрушила. Незаметному влиянию этих застрельщиков наших армий, а также их детей, учеников и последователей я приписываю в значительной степени рост революционных идей, наблюдающийся в русском обществе и даже в войсках, и те заговоры, которые до сих пор разбивались о силу существующего правительства".

Круг замкнулся. От Кюстина до Троцкого и Чубайса. В прошлом веке, после обработки книгой Кюстина европейских мозгов, армада кораблей подползла к Севастополю. Сегодня — НАТО ползет к границам России после нескольких изданий того же Кюстина. Но нет худа без добра. Научимся извлекать что-нибудь полезное из всех клеветнических и пышущих ненавистью к нам сочинений, в которых иногда враги России в состоянии полной невменяемости пробалтывают то, о чем следовало бы молчать.

Когда-то, в середине 60-х годов, вся либерально-диссидентская интеллигенция захлебывалась от восторга, комментируя слова Пушкина, которые вынес Товстоногов на театральный занавес БДТ: "Чорт догадал меня родиться в России с душою и с талантом". Перемигиваясь, хихикали, шептались: "Ай да Пушкин, ай да молодец! Какую свечу вставил в задницу режиму, на Запад рвался. Он такой же, как мы". А о том и не задумывались, что это были личные его жалобы в личном письме к молодой жене. Чего не напишешь любимой женщине, жалуясь на свою судьбу — судьбу русского поэта!

Но лучше бы диссидентура 60-х годов почаще вспоминала другие пушкинские слова, 1834 года, из неоконченной статьи, очень близкой по духу его знаменитому письму Чаадаеву. В этом отрывке есть мысль, подытожившая пушкинское отношение к Западу и ко всем будущим маркизам де кюстинам: **"Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна"**.

Похоже, что в нашем журнале складывается некая печальная, но значительная традиция: незадолго до смерти выдающийся публицист Иван Васильев прислал нам свою последнюю повесть "Крестьянский сын", Борис Можжевель передал журналу как прозаическое завещание роман "Изгой", а на исходе жизни

448

Владимир Алексеевич Солоухин позвонил мне и сказал, что закончил книгу размышлений о встречах с русскими эмигрантами в основном "первой волны", размышлений о судьбах потомков некогда славных русских родов, — рукопись называется "Чаша". "Понимаешь, чаша бытия", — своим окающим голосом добавил он в конце разговора. Я прочитал, не во всем согласился с автором, приготовился к разговору, желая кое-что уточнить, в чем-то переубедить Солоухина, позвонил ему в больницу, чтобы договориться о встрече, но было уже поздно. Крестьянский аристократ, русский патриот, всемирно известный писатель уже умирал. Но мы успели дать ему обещание, что "Чаша" будет напечатана в журнале. И, однако, все сомнения, которыми я хотел поделиться с Владимиром Алексеевичем, пришлось изложить в этих комментариях к "Чаше".

Владимир Солоухин, которому посчастливилось с середины 60-х годов довольно часто бывать за границей без особого контроля над ним, был свободен и смел в выборе своих знакомств и как поэт страстно и самозабвенно, поэтически-восторженно составил свои впечатления о русских женщинах из известных аристократических фамилий, об артистах, о писателях, малоизвестных в то время в Советской России, о героях Белого сопротивления времен гражданской войны.

Когда, вселяя тень надежды,
наперевес неся штыки,
как бы в сияющих одеждах
шли Белой гвардии полки...

Стихотворение печаталось в нашем журнале осенью 1989 года. Помню, как я просил Владимира Алексеевича подумать над строчкой "сияющие одежды": ведь не святыми же они были! Но поэт не хотел становиться историком... Словом, он влюбился в этот призрачный мир с той же пристрастностью и восторгом, с каким воспела Марина Цветаева в книге "Лебединый стан" героев-рыцарей Белой идеи ("Молодость. Доблесть. Вандея. Дон")... Но есть поэзия, и есть история. А для историка, каковым Солоухин никогда и не пытался стать, эмиграция всегда была сложным и противоречивым явлением. Поэт же воспринимал историю в очищенном виде — без интриг, грязи, корысти и неизбежного эгоизма, личного и словесного, присущего всем ее персонажам. Да к тому же и воспоминания людей, с которыми встречался Солоухин, конечно же, были очищены от всякой временной накипи и хранили в себе все самое идеальное, самое возвышенное, самое святое из всего, что было

449

в их памяти. Впрочем, это вполне понятно и естественно. Я тоже не раз встречался с

феноменом такого рода.

Но нельзя забывать о том, что даже и в эмигрантской среде бывали трезвые и объективные исключения из мемуаров и исследований такого рода. Жаль только, что мы поздно познакомились с ними. Вспомним о том, как стойко держится миф о благородстве, чистоте, самоотверженности вождей Белого движения — Корнилове, Деникине, Врангеле, Рузском в постсоветской беллетристике, в каких "сияющих одеждах" действуют они в произведениях Рыбаса и Лихоносова, во многих кинофильмах и стихах перестроечной эпохи. Но открываешь книгу эмигранта князя И. Д. Жевахова, человека, близкого к царскому двору, заместителя обер-прокурора Священного Синода, непримиримого борца с "еврейским большевизмом", и со странным чувством разочарования читаешь: "Изменники и предатели, генерал-адъютанты Рузский и Корнилов, оба вышедшие из народа, крестьянские дети, взысканные милостями Государя, зазнавшиеся хамы, предавшие своего Царя, погибли позорной смертью. Первый был зарублен шашками в Пятигорске и полуживым зарыт в могилу, предварительно им вырытую; второй был разорван на клочки бомбой... Центральным местом революции был не Распутин, как думали и продолжают думать наивные люди, а преступное революционное прошлое мировой общественности, оторванной от церкви, безверной, невежественной в понимании государственных задач, горделивой в своей самонадеянности" (написано в эмиграции, в 1927 году).

Романтический человек, Владимир Алексеевич Солоухин, продолжая непорочную мифологию Белого движения, пишет:

"С военной точки зрения Белая гвардия была разбита, побеждена, но духовно она победила. И чем больше будет проходить десятилетий, тем очевиднее будет становиться этот факт. Спасти Россию Белой гвардии не удалось, но честь России она спасла".

Но вот свидетельства митрополита Вениамина, члена Поместного Собора 1917—1918 годов, главы военного духовенства в Русской Армии генерала Врангеля, выдающегося иерарха Русской православной Церкви, прошедшего более четверти века в эмиграции.

В 1994 году вышла его книга "На рубеже двух эпох". Объективный свидетель времени, продолжающий столь драгоценную, очищенную от злобы дня традицию воспоминаний, идеалом которой является пушкинский Пимен-летописец, митрополит Вениамин в этой книге касается самых разных

450

сторон и причин разрастания революции в России. Со спокойной и печальной честностью пишет он и о том, как вырождалась монархическая идея в России в начале века, и его глубокая мысль далеко уходит от честного, но пылкого романтического монархизма неофита Владимира Алексеевича Солоухина, имевшего, кстати, мужество в семидесятые годы в стенах парткома на упрек: "зачем он носит на руке перстень с изображением "Николашки" — с достоинством ответить: "Не Николашки, а Их Императорского Величества Николая Александровича!" Так вот, вспоминая о юбилейных торжествах 1913 года в честь трехсотлетия Дома Романовых, митрополит Вениамин пишет: "Всюду были отданы приказы устраивать торжества. Заготовлены особые романовские кругленькие медали на Георгиевской треугольной ленточке. Но воодушевления у народа не было. А уж про интеллигентный класс и говорить нечего. Церковь тоже лишь официально принимала участие в некоторых торжествах..." Размышляя со скорбью обо всем, что он видел на этих официальных празднествах, митрополит Вениамин делает вывод, страшный даже для нынешних апологетов монархии: "промелькнула мысль: идея царя тут мертва... если бы я был в то время на месте царя, то меня охватил бы страх: это было не торжество, а поминки".

Вспоминая же о гражданской войне и о поражении Белого движения, беспристрастный свидетель эпохи объясняет это не "красным террором", не мощной организаторской волей Ленина и Троцкого, а в первую очередь тем, что у белых не было этой войне идеи, которая бы давала силы и цементировала их. "Единая и неделимая?" — спрашивает митрополит Вениамин, — и отвечает: "Ведь и большевики могли бороться и

боролись, и успели за "единую, великую, неделимую страну".

За какой строй, вопрошает он, боролись белые? "Монархия с династией Романовых? И об этом не говорилось, скорее этого опасались". А как иначе могли военные вожди Белого движения — генералы Алексеев, Рузский, Корнилов и другие — относиться к монархической идее? Ведь они же способствовали в феврале 1917 года крушению монархической власти и передаче государственного руля в руки масонско-демократической олигархии, проложив пути, по которым пошли их наследники — генералы Шапошников, Кобец, Грачев, Лебедь в эпоху 1991-го. Более того, генерал Врангель лично запретил главе своего военного духовенства митрополиту Вениамину печатать в газете "Святая Русь" монархические статьи. "Россия — не

451

романовская вотчина", — с этими самоубийственными для Белого дела словами Врангель ушел в эмиграцию.

Что же касается идеологии православия, то генерал Кутепов в присутствии Врангеля рассказывал митрополиту Вениамину:

"Когда был обсужден вопрос о целях войны, дошли до веры. По старому обычаю говорилось: "за веру, царя и отечество". Хотели включить первую формулу и теперь, но генерал Деникин, как "честный солдат", запротестовал, заявив, что это было бы ложью, фальшивой пропагандой, на самом деле этого нет в движении". А если еще вспомнить, как митрополит Вениамин сокрушается, описывая сцены, в которых белые офицеры открыто признаются ему, что они безбожники, и бравируют этим, сцены, в которых он ужасается, что тринадцати-четырнадцатилетние подростки-юнкера в Белой гвардии пересыпают свою речь площадной бранью, поминая и Бога и Божью Матерь и всех святых: "Я ушам своим не верил. Добровольцы, белые — и такое богохульство! Боже, неужели прав Рябушинский? "Мы белые большевики, мы погибнем!"

В конце концов владыка Вениамин честно признается в том, что у белых "почти не было руководящих идей", что "история народных стомиллионных масс тогда была красная, революционная, а идти против стихии таких колоссальных исторических штормов было бесполезно и губительно для меньшинства".

Так что, читая мемуары Владимира Алексеевича, придерживающегося иной точки зрения, что большевики победили лишь благодаря жесточайшему террору, еврейской воле в высших эшелонах власти и сверхчеловеческой организованности, читателю, видимо, надо было бы в уме держать также мысли, выводы и наблюдения об эпохе ее непосредственного участника митрополита Вениамина. Да что говорить, если даже Великий Князь Александр Михайлович Романов, двадцать ближайших родственников которого были расстреляны большевиками в середине 20-х годов, находясь в эмиграции в Париже, вынужден был признать, что "на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи" ("Великий Князь Александр Михайлович". М., 1991., с. 265).

Не меньшие разночтения между поэзией и историей начинаются тогда, когда Владимир Солоухин восхищается творчеством и судьбами культурной интеллигенции начала

452

двадцатого века, значительная часть которой ушла в эмиграцию, интеллигенции, по его словам, "образованной, талантливой, жертвенной, многосторонне развитой; которая, продолжая традиции XIX века, явила миру чудеса просвещенности, искусства, гуманизма, красоты и духовного богатства". Все это так. Но характеристика Солоухина мне кажется недостаточной. Несколько раз в своей рукописи он возвращается к спискам имен, среди которых Ф. Шаляпин, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Бердяев, Г. Струве, М. Цветаева, Н. Рерих, А. Аверченко, Саша Черный, А. Куприн, К. Бальмонт, И. Северянин, С. Булгаков, А. Павлова и многие, многие другие. Иногда к этому перечню он прибавляет имена Н. Клюева, С. Есенина, С. Клычкова, А. Блока и даже Льва Толстого, как бы

духовно близкие всем блистательным именам эмиграции. Однако историку трудно закрыть глаза на то, что многие из этих людей своим талантом, волей, судьбой подтачивали устои столь милой сердцу покойного поэта дореволюционной России. Каждый по-своему. Шаляпин в годы революции 1905 года под бури аплодисментов исполнял "Дубинушку", бывшую чуть ли не гимном прогрессивной части общества. Сергей Клычков вообще сражался на баррикадах против самодержавия. Саша Черный и Александр Аверченко высмеивали всё и вся, начиная от династии Романовых до рядового полицейского. Булгаков, Бердяев и Струве разрабатывали марксистскую доктрину. Куприн в своем "Поединке" разлагал армейский менталитет, Клюев проклинал монархию и официальную церковь, Мережковский и Гиппиус варили свой сектантско-сатанинский культурный бульон, в которой барахтались молодые поэты, прозаики, философы той эпохи... О Льве Толстом, по-своему сокрушавшем и монархию и религию и отлученном от веры с амвонов, и говорить нечего. И все они, все поголовно, были своеобразными антихристианами: кто атеистом, кто богоборцем, кто идолопоклонником, кто сатанистом, кто в лучшем случае сектантом отнюдь не православного толка, все они боролись с самоотверженным охранительным черносотенством — это было признаком принадлежности к "порядочному обществу", — брезгливо, а то и с ненавистью относились к любой попытке укрепления государственности. Словом, готовили своими руками крушение жизни и свою будущую судьбу в эмиграции и внешней и внутренней. А если уж говорить о Блоке, то как выкинешь из памяти его язвительные характеристики императора-миротворца Александра III, его уничижительные строки об "охранителе" Победоносцеве ("Победоносцев над Россией простер совиные крыла"), его

453

жалящие удары по телу "единой и неделимой" ("Не так же ли тебя, Варшава, столица гордых поляков, дремать принудила орава военных русских пошляков?"). Какая уж тут "единая и неделимая", какой патриотизм, какие "православие, самодержавие, народность", какие "за веру, царя и отечество"... Одна самоубийственная прогрессивная, либерально-ядовитая похлебка, которой объедались до тех пор, пока не наступило возмездие. Кстати, все, что чуть выше цитировалось из Блока — это именно из поэмы с тем же названием. Конечно, протестантизм, как мировоззрение, неизбежен и естественен во все времена в любых обществах и при любых режимах. Он — одно из условий развития личности и движения истории. Но когда права человека (читай права протестанта) объявляются священными, когда диссидентство объявляет свои интересы высшей ценностью, когда его эгоистическая воля вступает в противоречие с законами естественного народного развития, тогда, как правило, общество, зараженное таким недугом, начинает с головокружительной быстротой двигаться к революционным катастрофам, в пламени которых первыми сгорают (или уходят в эмиграцию) идеологи и практики, жаждавшие для себя скорых и кардинальных перемен в жизни страны.

"Императорское правительство честно и благородно, насколько умело и могло, отбивало подкопы и атаки революционеров и стремилось предотвратить гибель России, — пишет в своих воспоминаниях князь И. Д. Жевахов. — Кто же виноват, что глупое общество с писателями во главе не понимало положение вещей и поддерживало не правительство, а революционеров".

Князь Жевахов иронизирует над Буниным и Шмелевым, изумлявшимся в эмиграции, почему европейское общественное мнение в упор не видит страданий русского народа в первое десятилетие Советской власти: "Бедные писатели! — они не понимают в чем дело. Они забывают, что так называемое общественное мнение создается газетами, что 95% европейских газет принадлежит жидам и что, следовательно, от жидов зависит, пропустить или не пропустить на столбцы газет чей бы то ни было голос". (Жевахов И. Д. Воспоминания. М., 1993. Т. 2, с. 315.)

В связи с размышлениями над книгой Жевахова и над судьбами эмиграции я вспоминаю о том, как несколько лет назад в "Наш современник" зашла супружеская пара. Почтенные, немолодые, образованные люди. Русские эмигранты из Аргентины. Они

оставили в редакции редчайший экземпляр издания никому в то время неизвестной книги
454

неизвестного и почти забытого даже в русской эмигрантской среде некоего Бориса Башилова, которая называлась по-научному просто — "История русского масонства". И попросили сделать все возможное, чтобы издать ее.

Мы прочитали, издали, потом допечатали дополнительные тиражи, и постепенно эта книга за последние годы вошла в сознание русской патриотической интеллигенции. Теперь Башилова в России знают лучше, нежели в колониях русской эмиграции, и на то есть причины. Когда в следующие приезды в Россию наших аргентинских друзей мы стали расспрашивать у них о судьбе автора, они не сразу, осторожно, не торопясь, рассказали нам, что он из "второй волны", что его настоящая фамилия Юркевич, что он был в 30-е годы известным журналистом в городе Курске, что сначала в послевоенные годы, попав из Европы в Аргентину, он писал исторические исследования по русскому XVI—XVIII веку, занимался беллетристикой, много печатался. Но потом стал издавать и популяризировать главный труд своей жизни, смысл которого был в том, что начиная с петровских времен в культурной и правительственной элите России шла непрерывная борьба между западным антирусским масонским началом и национальной волей, что, будучи разгромленными в эпоху Николая I, масонские силы переформировались и стали орденом либерально-демократической интеллигенции — так назвал их Башилов. Именно после этой книги ему был закрыт доступ во все эмигрантские газеты и журналы, и он, нищенствуя, перебиваясь кое-как книжной торговлей, на последнем дыханье дописывал свой труд, закончил его в нищете и забвении и умер чуть ли не голодной смертью, выброшенный из среды эмиграции, как своеобразный диссидент, инакомыслящий, пошедший поперек всех любимых и непререкаемых мифов об "исторической миссии русской эмиграции".

Мне кажется, что Владимир Солоухин вращался в русских домах Европы и Америки, где не знали, а если и знали, то не любили Башилова и старались не вспоминать и не рассказывать о нем. И это обстоятельство не могло не сказаться на книге "Чаша".

Когда Владимир Алексеевич с восхищением приводит в "Чаше" список именитых фамилий с надгробий парижского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа — Толстых, Сперанских, Муравьевых, Пестелей, Оболенских, Вяземских, Гагариных, Кочубеев и других, то мне опять вспоминается Борис Башилов, аскет и подвижник, с его доказательными и жесткими оценками дворянских и боярских родословных, из которых

455

выходили и декабристы, и просвещенные масоны, и "агенты влияния", будущие революционеры и нигилисты, убежденные западники, поколениями подтачивавшие государственные и народные основы русской жизни. Как это ни прискорбно, но перечни фамилий на страницах Башилова и Солоухина, историка и поэта, во многом совпадают...

Я вспоминаю свои встречи с людьми первой и второй "волн" эмиграции, их гостеприимство, их русскую душевность, но одновременно и понятную мне нетерпимость в спорах о судьбах России.

Однажды в одном из австралийских университетов, в среде русских преподавателей и студентов я прочитал вслух знаменитое стихотворение Ахматовой "Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам...", думая, что стихи взволнуют моих слушателей и введут разговор в сложное многогранное русло. Но вдруг одна из женщин яростно бросила мне в лицо обвинение Анне Ахматовой в том, что она чуть ли не большевичка и прислужница режима, предательница России. Ахматовой, которая писала о своей судьбе: "муж в могиле, сын в тюрьме — помолитесь обо мне"! Она осудила Ахматову только потому, что Анна Андреевна в начале двадцатых годов сделала как русская женщина свой патриотический выбор:

Но вечно жалок мне изгнанник,

Как осужденный, как больной,
Темна твоя дорога, странник,
Польнью пахнет хлеб чужой.

Я изумился и буквально потерял дар речи. Вот она, фанатичная обоюдоострая нетерпимость, ее застарелое эхо! Мы были уверены в том, что все, кто эмигрировал,— предатели России. Они — в том, что предатели все, кто остался... Было это уже в 1991 году. Вот какие страсти еще недавно бушевали в эмигрантских русских душах.

А сколько было споров о власовской трагедии и о Власове! Именно эта темная страница истории до сих пор разделяет наше и эмигрантское понимание Великой Отечественной войны.

— Так кто мы, власовцы — герои или предатели? — вопрошал меня один из власовских ветеранов.

— Да просто пылинки истории, несчастные люди, сбитые с ног ее ураганом, — отвечал я ему.

Не буду много рассуждать на власовскую тему, приведу лишь несколько слов из размышлений узника сталинских концлагерей Ивана Лукьяновича Солоневича, человека,

чье

456

легендарное имя дорого и для тех русских из "второй волны" эмиграции, кто ради освобождения России от коммунистов сделал ставку на союз с Гитлером. Солоневич в своей работе "Великая фальшивка февраля", цитируя размышления Петра Струве о постоянных германских планах разрушения России, добавляет от своего имени: "Это было написано за двадцать лет до германо-советской войны, в которой "теоретические проекты разрушения России" (слова П. Струве. — Ст. К.) приняли окончательно звериный характер. Но еще и сейчас, и после этой войны, находятся русские и даже "национальные" публицисты, которые проливают слезы по нюрнбергским висельникам... и все еще мечтают то ли о генерале Эйхгорне, то ли о Партай Геноссе Кохе. Кого Бог захочет погубить — отнимет разум".

Да, в эмиграции существовал целый архипелаг блистательной русской культуры, отчаливший в разные времена от родного материка. Но в то же время эмиграция всегда дело тяжелое и разрушающее национальную основу человека. Да и душевную тоже. Александр Герцен, проживший в эмиграции полжизни, писал, подводя итоги своего печального опыта: "Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтобы не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к этому отчуждение от неэмигрантов, что-то озлобленное, подозреваемое, исключительно ревнивое, то новый упрямый Израиль будет совершенно понятен"...

Вспоминаю встречи, настороженные взгляды, подозрения. Эмигранты—особенно власовцы—о судьбах своих рассказывали неохотно, о прошлой жизни в России лучше не спрашивать, во всех нас видели кагэбэшников... и это через 30—40 лет после 1945 года. Эмиграция всегда, следуя естественным законам, вырождается, хиреет, теряет в детях и внуках свою русскость, неизбежный акцент приобретают отпрыски самых что ни на есть ее знатных фамилий, вплоть до особ с царской кровью. Но дело не только в этом. В чужом англо-саксонском, иудео-протестантском мире русским людям приходилось жить, выходя из родной церкви и родного дома, по законам этого мира, приходилось приспособливаться к диктату демократических, рыночных, масонских, индивидуалистических ценностей Запада.

— Не пойму, что вам там в России надо, — озадачил меня в одном русском зарубежном доме его хозяин.—Работайте честно и налоги вовремя платите. Вот и вся наука современной жизни!

457

Я поглядел на него и подумал: "Совсем ты забыл, что такое Россия и что такое натура

русского человека". В Америке, во Франции, в Австралии — повсюду, где я бывал в русских домах, — везде видел, что они не менее нас, советских, несвободны в своем общественном поведении, в словах, чувствах, поступках. Не раз разговоры заходили на еврейско-масонские темы. Собеседники осторожно давали понять, что понимают проблему. Они показывали мне масонские клубы на улицах своих городов, знакомили с русскими людьми, которые, чтобы сделать политическую карьеру, в той или иной степени связывались с масонскими кругами или становились масонами. А если потом порывали с ними, то их карьеры вскоре рушились. Но разговоры на эти темы шли лишь в очень узком окружении родных и близких, никогда — на общественных встречах, и часто меня осторожно, но настойчиво предупреждали, чтобы в широкой аудитории я не затрагивал этой темы. Разве что в письмах после августовского переворота 1991 года их свидетельства стали подробнее и откровенней. Но при этом меня всегда озадачивало одно обстоятельство: удивляясь, как мы жили и как можем жить в "страшном" и "тоталитарном" мире социализма, негодуя и осуждая его, мои собеседники тем не менее порой с негодованием отзывались о реальном мире, в котором жили, но даже в мыслях не допускали, что в нем можно хоть что-то изменить.

Из письма русской женщины, подписчицы нашего журнала, живущей во Флориде: *"У нас сильная эпидемия гриппа. Я пока здорова. Сижу дома. Убийства даже на Рождество не прекращаются. Убивают детей, насилуют, убивают на дорогах. Если кто перегонит — убивают. Этому учат ТВ и Голливуд. Израиль продает оружие Китаю для захвата Сибири. Он может все. У него атомное оружие с 60-го года. А Северную Корею шантажируют"*.

Но то, что можно позволить себе в личном письме, ни в одной американской аудитории никто не позволит себе никогда. Сразу потеряешь или работу, или репутацию. Еще один отрывок из письма русского человека, живущего в Америке и радостно приветствовавшего падение Советской власти: *"Сейчас в США уничтожают христианство. На ТВ рождественские фильмы, которым 50 лет. Сегодня Голливуд их не делает. Президент, его баба и патлатая дочь зажгли елку в Белом Доме на первый день Хануки — 9 декабря. 50 процентов населения не умеет читать. Мозги забиты еврейской пропагандой, деньги и секс вместо Бога"*.

Может быть, что из-за условий такого террора среды русские эмигранты всех возрастов, волн и поколений не

458

осмелились сказать ни одного слова (по крайней мере я не слышал), ни коллективного, ни личного, в защиту разрываемой на части Югославии или униженной и растоптанной "мировым сообществом" сербской православной цивилизации. А ведь для многих из них, для их дедов, отцов и матерей Югославия, и особенно ее сербские земли, стала после изгнания из России второй родиной, обогревшей и приютившей беженцев. Промолчали. Не осмелились. Поскольку давно уже живут по закону так называемого "цивилизованного мира" и вольно или невольно становятся его естественной и покорной частью.

В Америке давно существует "Конгресс русских американцев" — почтенное объединение выходцев из России. Когда американский конгресс 6—8 июля 1958 года принял "Закон о порабощенных нациях", предусматривавший не только борьбу с коммунизмом, но—главное! — и расчленение России, закон, в котором черным по белому было прописано, что все народы СССР и России — татары, чеченцы, украинцы, и даже казаки, независимо от того, в какие века, добровольно или нет они вошли в состав нашей империи, — сегодня они все поддерживаются Америкой в борьбе за независимость, русские американцы оказались в ложном положении. Всех националистов — украинских, белорусских, прибалтийских, северокавказских — десятилетиями лелеяла Америка. Только русским националистам с их мечтами о "великой и неделимой" всегда плевала в душу. Попытался было "Конгресс русских американцев" робко вякать о том, что "Закон о порабощенных нациях" несправедлив, что бороться надо с коммунизмом, а не с Россией. Но их быстро поставили на свое место потомки людей, загнавших северо-индейские

племена в резервации, отрезавших у Мексики Техас и Калифорнию. Эмигрант Александр Зиновьев несколько лет тому назад "открыл Америку", когда сформулировал то, что произошло за годы перестройки: "Метили в коммунизм, а попали в Россию". И все заплодировали его проницательности, восхитились... А чего восхищаться было? В "Законе о поработанных нациях" эта мишень была открыто определена уже сорок лет тому назад. Вот и Чечня уже отваливается по этому плану, а к нам все приезжают потомки Волынских, Щербатовых, Апраксиных, Небольсиных, Романовых. Выступают на телевидении, на соборах, симпозиумах, конференциях, учат нас, как нам жить дальше, наблюдают, как разваливается Россия, и полные впечатлений возвращаются обратно в свой свободный мир, о котором один из наших русских читателей, живущий за океаном, пишет так:

459

"На русских каждый день атака в ТВ и прессе. Они — "русская мафия". Защитить нас некому. Здешние русские организации боятся открыть рот. И таким образом русские имеют репутацию гангстеров-убийц.

К вам полетел Солженицын. Ну и что он может сделать? Он жил здесь и за русских тоже не заступался".

...Но мы, в разговоре об эмиграции, далеко ушли от солоухинской "Чашы". Не подумали бы только читатели, что я чуть ли не политический противник Солоухина. Мы оба — русские люди, и перед этим обстоятельством меркли все наши частные разногласия. Для меня он всегда был крупным, талантливым, "штучным", как любит говорить композитор Георгий Васильевич Свиридов, человеком, которого я всегда ценил и уважал.

Несмотря на все мои сомнения, дополнения, и даже несогласия, высказанные выше, истины ради должен сказать, что в "Чаше" есть многие страницы новые и неожиданные для поэта и для его читателей. Размышления о деятельности Иосифа Сталина, замечательный рассказ о жизни Александра Вертинского с неизвестными доселе документами, жесткая, ироническая, но справедливая переоценка Солоухиным имен Вознесенского, Евтушенко, Бродского, Ростроповича. Много интересного для себя найдет читатель в солоухинских портретах Ивана Бунина, прозаика Ильи Сургучева, Надежды Плевицкой, певца Николая Гедды. А если дотошные читатели в чем-то будут не согласны с Владимиром Алексеевичем, где-то найдут преувеличения, противоречия, эмоциональные перехлесты в содержимом его "Чашы", то очень прошу не забывать, что Солоухин по природе был не историком, а поэтом. "А у поэтов, — как сказал Есенин, — свой закон".

20 мая 1997 г., г. Калуга.

3

Сегодня, на рубеже 3-го рокового тысячелетия мы понимаем, что руководящая прослойка Советского Союза оказалась не в силах противостоять катастрофе, потому что была не монолитна и состояла из двух скрытно враждующих лагерей — русского национального и прозападного русофобского.

Но тем же самым недугом раздвоения страдала и до сих пор болеет русская эмиграция всех волн и всех времен.

Как бы мне хотелось раз и навсегда объясниться и с

460

"прозападной" частью русской эмиграции, в частности, с кругом постоянных авторов газеты "Наша страна", которая со времен Ивана Солоневича вот уже несколько десятилетий издается в Аргентине.

"Наша страна" внимательно следит за всеми публикациями журнала, особенно теми, которые касаются эмиграции. Не могла она, естественно, и пройти мимо напечатанной нами в 1997 году книги воспоминаний Владимира Солоухина "Чаша". Некий Е. Фокин (возможно, что это один из псевдонимов В. Рудинского, который до сих пор из-за неизжитого страха перед КГБ печатается в "Нашей стране" под множеством разных

псевдонимов) в одном из номеров газеты причитает с возмущением: *"Национал-большевики препарируют на свой лад последнюю рукопись Владимира Солоухина", "Могила Владимира Солоухина осквернена", "...совершенно очевидно, что они исказили рукопись, следуя многолетним традициям советской цензуры, тщась выдать Солоухина за своего..."* Желтая злобная газетенка. Мы не можем писать о ней иначе, потому что клевета и домыслы автора за пределами. Авторы "Нашей страны" подозревают редакцию журнала в воровстве, подлоге, фальсификации. Автор статьи, прочитав страницы неприемлемых для него размышлений Солоухина о Сталине, о Вертинском, о лживости поэзии Андрея Вознесенского, буквально заходит в истерическом припадке: *"Это было вписано в текст после его смерти!", "Накануне смерти он был кем-то "изолирован" от родственников", "...уже после смерти писателя кем-то жульнически влиты чужеродные, в мировоззрение Владимира Алексеевича не вписывающиеся, слова и мысли", "Тесно окруженный в последние дни своей жизни витающими над ним, как коришуны, в предвкушении добычи коллегами-писателями типа Куняева — Солоухин в предсмертных раковых муках действительно мог добровольно передать им свою последнюю рукопись для напечатания, не в силах осознать, одурманенный болеутоляющими средствами, что они это издание будут препарировать на свой лад "... "А может, эти коришуны просто забрали рукопись у уже лежащего в полусознательном состоянии писателя?"*

Что сказать об этих мелодраматических картинах: автор то ли детективов начитался, то ли американских фильмов посмотрелся. То ли козни КГБ до сих пор мерещатся ему... Пожалеть только можно газетку и его, страдающего, видимо, манией преследования и шизофренической подозрительностью.

Впрочем, репутация "Нашей страны" как газеты лживой

461

давным-давно сложилась у разумной патриотической части русской эмиграции. Недавно редакция журнала познакомилась с книгой статей блестящего русского публициста-патриота Владимира Нилова, живущего в Америке. Вот уже несколько десятилетий он противостоит, как объективный историк и журналист, прозападному крылу русской эмиграции, захватившему после смерти знаменитого Ивана Солоневича газету "Наша страна" в свои руки. Владимир Нилов еще в 80-х годах, отвечая авторам этой газеты Рудинскому, Пирожковой, Павлову и другим "борцам с коммунизмом" и апологетам Власова, называл их "полицаями и квислингами", которые поддерживают американский закон "86-90"* о расчленении нашего государства: *"Перестаньте обманывать эмиграцию, что вы, русские люди, боретесь с коммунизмом... Предстаньте в своем натуральном виде заклятых врагов России русского происхождения" ("Свободное слово Руси", № 7—8, 1984 г.).*

"Сейчас не осталось никаких тайн о намерениях или деяниях Третьего рейха: никто не может отговориться незнанием. Жалеть об упущенной немцами победе, зная, что немцы готовили русскому народу, могут только люди без чести и совести. Это не русские люди, а рудинские..." (там же).

"Не к лицу "Нашей стране" быть в одной стае с гонителями, с унтерпришибеевыми от антикоммунизма. "Наша страна" при Иване Солоневиче была органом мысли. Как могли наследники такого публициста довести газету до уровня пасквильного листка!" ("Свободное слово Руси", № 7, 1981 г.).

Написано двадцать лет назад, но прозападные борзописцы из "Нашей страны", как Бурбоны, "ничего не забыли и ничему не научились".

В своей книге Владимир Нилов убедительно показывает, в какую маразматическую русофобию впадали иные "русские патриоты", прошедшие власовскую школу, когда в эпоху "холодной войны" одобряли страшные проекты американской военной и политической элиты возможных атомных бомбардировок крупнейших жизненных центров нашей родины.

Отношение к Власову, власовскому движению и так называемой Русской освободительной армии — еще одна страница, разделяющая эмиграцию.

* Закон, принятый американским конгрессом в 1959 году, но которому СССР и Россия должны быть расчленены на несколько десятков государственных образований.

462

В 1997 году мы опубликовали в значительной степени документальную работу профессионального дипломата, историка и писателя, ныне посла России в Норвегии Юлия Квицинского — "Власов. История одного предательства".

Квицинский, блестящий дипломат 60—80-х годов, успешно, не в пример "демократическим" мидовцам, отстаивавший интересы нашего государства в спорах с представителем США Полом Нитце о судьбах взаимного разоружения, об ОСВ-1 и ОСВ-2, несколько лет тому назад пришел к нам в редакцию и поделился своими планами. Он задумал написать трилогию о трех крупнейших предательствах в мировой истории — о предательстве Иуды, Власова и одного из ближайших сподвижников Горбачева, выведенного под именем Тыковлева (псевдоним весьма прозрачен).

Две части этой трилогии мы уже опубликовали, в том числе и из тех соображений, что наше государство разваливается и гибнет благодаря массивному культу и воспеванию измены, ренегатства, предательства... Чьими книгами и мемуарами были завалены книжные полки, чьи имена прославлялись и вколачивались в головы растерявшихся русских людей? Вспомним, кому доставались посты, лавры, гонорары, премии, награды за последние, страшные для России годы? Партийный ренегат Александр Яковлев, генерал КГБ Калугин, сбежавшие в свое время на Запад "грушники" Резун-Суворов и Олег Гордиевский, перевертыши от культуры Михаил Ульянов и Марк Захаров... А кого только из перебежчиков 30-х годов не издавали и не славили в наше время? Тут и Федор Раскольников, и чекист Лев Фельдбин-Орлов, и его коллега Вальтер Кривицкий (он же Самуил Гинзберг). Всех не перечислить. Но для того, чтобы героизировать и поднять их на пьедестал—надо было в первую очередь оправдать и возвеличить знаковую, ключевую в этом списке фигуру генерала Власова... Политические книги о нем в последнее время буквально завалили наш книжный рынок. И вдруг неожиданный отпор—работа Юлиа Квицинского. Тут же в редакцию посыпались письма из-за рубежа.

Цитирую отрывки:

"От одного названия этой работы совершенно ясно, что именно автор будет стараться доказать: генерал Власов и его сподвижники предатели, шкурники и пьяницы... Эти люди руководились личными интересами, а желанием освободить Родину от обеих диктатур: красной и коричневой " (из письма от бывшего оловца Г. Вербицкого из Америки).

"Материал о Власове звучит злым пасквилем...

463

Атмосферу жертвенности (и обреченности) людей, которые хотели бороться с коммунизмом за национальную и многонациональную Россию (хоть с чертом, но против большевиков), мы прочувствовали в нашем отрочестве очень ярко! В оловских лагерях тех лет тоже мнения разделились очень бурно, вплоть до мордобоя. На нашем долгом жизненном пути мы немало встречали соратников Власова, за редким исключением людей достойных и мужественных, патриотов... "История одного предательства" очень уж напоминает печальной памяти заказанные ЦК партии опусы " (письмо от наших читателей из Аргентины).

Можно понять чувства и страсти этих людей и посочувствовать им, не как героям или предателям, а просто как несчастным, чьи судьбы были смяты и сломаны сверхчеловеческой силой истории... Но одного нельзя понять: неужели они не видят, что Россия гибнет именно от массивных инъекций в умы и сердца идеологии предательства — политического, духовного, военного, международного, религиозного — любого. А Власов — краеугольный камень в основании этой пирамиды... Кстати, наши поклонники и рыцари Власова забыли, что наиболее бесстрашная и трезвая часть эмиграции думала о Власове так же, как автор нашего журнала Ю. Квицинский.

Иван Солоневич: *"Ни Власову, ни его движению я не сочувствовал никогда — не сочувствую и сейчас. Это — обреченное движение. Из него ничего не выйдет и ничего выйти не может..."*

То, что я пишу... будет для власовцев неприятно, вся эта эпопея была сплошной политической ошибкой" ("Наша страна", № 29).

"Русская освободительная армия (РОА), как назвал Власов свои части, не была ни русской, ни освободительной. Как могла эта, одетая в немецкий серо-зеленый мундир, армия быть русской национальной армией, если ее вожаки своим "Манифестом" санкционировали раздел России? Части Власова были попросту русским подразделением в составе немецкого вермахта" (Вл. Нилов. "В борьбе за Россию", стр. 40).

"Массовая сдача армий в первые месяцы войны, потому-де, что народ, одетый в шинели, не хотел воевать — миф. Все немецкие источники сообщают об ожесточенном сопротивлении советских войск с первых же часов войны..." (Вл. Нилов. Там же, стр. 407).

"Власов знал, что его и его армию используют немцы для целей, не имеющих ничего общего с русскими интересами: не

464

от этого ли он беспробудно пил? (Написано за пятнадцать лет до публикации романа Квицинского. — Ст. К.) *Идея освобождения России с помощью заклятых врагов России политически абсурдна и преступна... Настаивать на правоте власовского движения — значит не только оправдывать события сорокалетней давности, но и благословлять нынешнюю и будущую власовщину, теперь-то уж совсем бездумно, то есть благословлять нож:, которым будет прирезана наша родина "* (Он же. "Свободное слово Руси", № 1—2, 1983).

Как в воду глядел еще пятнадцать лет тому назад Вл. Нилов! Так что всем, кому не нравится "Наш современник", не за чем спорить с Квицинским. Он же, по вашему мнению, чуть ли не исполнитель партийного заказа. Поспорьте-ка лучше с Владимиром Ниловым, с Борисом Башиловым, Иваном Солоневичем, которому все было ясно сразу же после войны. А вы до сих пор (жизнь уже прошла!) ничего не поняли. Впрочем, интересно то, что невольно проговариваетесь: в дипийских и остовских лагерях мнения в спорах о Власове *"разделились очень бурно, вплоть до мордобоя"*. Ну, если даже в то время были люди, несогласные с вами, то сейчас, когда история все прояснила, зачем же держаться за обветшалые пропагандистские мифы?

Но вот еще одно письмо, подписанное русскими людьми — Олегом и Татьяной Родзянко, живущими в Америке, видимо, со времен первой волны русского изгнаничества. Они раздосадованы и возмущены моими комментариями к солоухинской "Чаше", они не верят ни мне, ни словам князя Жевахова, ни воспоминаниям митрополита Вениамина (которые, кстати, они не читали) — словом, ничему, что говорится о генералах Белого движения—Рузском, Корнилове, Алексееве, как о людях, изменивших монархии и присяге. *"Предательством, — пишут они, — можно считать сознательное, преднамеренное действие против своего отечества и правителя. А заблуждения, под влиянием духа времени, с намерением (ошибочным) послужить своему народу и стране, таковыми считать нельзя"*.

Такая точка зрения может быть объяснена либо родственными симпатиями к одному из могильщиков российской монархии, активному деятелю 4-й Государственной Думы М. В. Родзянко, либо незнанием многих серьезных исследований о масонской антирусской сути Февральской революции 1917 года... Зря наши корреспонденты спорят с журналом, не лучше ли им перечитать исследование историка В. Кобылина,

465

впервые изданное в 1970 году в Нью-Йорке (его-то надо знать!) под заголовком "Император Николай II и генерал-адъютант М. В. Алексеев". В этом году книга вышла в свет в Санкт-Петербурге под названием "Анатомия измены". Цитирую из нее несколько абзацев:

"Зная о существовании и заговора, и о том, что подготовка его продолжается, генерал Алексеев не сообщил об этом ни судебным властям, как предписывали уголовные законы, ни Государю, как повелевал долг присяги"... Этим он "облегчил Рузскому и его разговор по прямому проводу с тем же Родзянко, и изменнические убеждения Государя о необходимости отречения". "Русский был масоном, и для него присяга не имела никакого значения. Он давал другую присягу".

"...Генерал Алексеев, передавший государю, что он арестован, несет такую же ответственность за смерть императора, как и Временное правительство, Совдеп и Советское правительство".

"Императрица была арестована по распоряжению Временного правительства. Арестовал государыню по распоряжению того же Правительства вновь назначенный командующий Петроградским военным округом генерал Л. Корнилов".

"Этому злу руками генералов был передан Русский православный царь на заклятие".

Приводить факты из этой книги, цитировать ее можно целыми страницами, убеждающими читателя, что последний русский император был предан и генералитетом, и своим собственным монархическим романовским окружением. Именно думая о них, Николай II записал в дневнике: "Измена. Трусость. Обман"... Да и "романтик борьбы с большевизмом" адмирал Колчак, как неумолимо свидетельствуют исторические факты, был прямым ставленником Запада.

С июня 1917 года по ноябрь 1918-го он тайно посещал высший английский политический истеблишмент, его принимал президент США Вильсон (прямо-таки как президент Буш Ельцина!), и лишь после этого Колчак вернулся в Россию в звании ее "Верховного правителя" и, облепленный западными советниками, воюя оружием Антанты (под залог "золотого запаса" царской России!), вступил в борьбу с большевизмом.

А когда Колчак проиграл свою борьбу — то его западные покровители и хозяева, естественно, предали своего "кондотьера" и "наемника" (именно так адмирал называл сам себя в личных письмах).

Да, Алексеев, Корнилов, Рузский, Колчак самоотверженно сражались с большевиками. Но я ведь в своих комментариях

466

к солоухинской "Чаше" обращал внимание на другое, на то, что они изменили в марте 1917 года и своему государю-императору, и воинской присяге, перейдя на сторону масонского Временного правительства. Кстати, в августе 1991 года по тому же пути измены пошли и советские военачальники — Шапошников, Кобец, Грачев, Лебедь... Измена своей исторической судьбе во все времена оборачивается для России гибелью.

Вспомним, кстати знаменитый корниловский марш, гимн Добровольческой армии: "Мы былого не жалеем, Царь нам не кумир, Лишь одну мечту лелеем: Дать России мир. За Россию, за свободу, Если позовут, То корниловцы и в воду, и в огонь пойдут". Нынешние потомки известной фамилии Родзянко приводят в своем письме выдержки, как они пишут, "из письма Бухарина Максиму Горькому", взятые ими из книги Валерия Михайлова "Хроника Великого Джута". Письмо циничное, откровенное, отвратительное в своем русофобском пафосе. В этом я согласен с О. и Т. Родзянко.

Но, процитировав письмо, корреспонденты журнала упрекают главного редактора: "Поскольку С. Куняев ставит на "одну доску" деятелей большевистской революции и русских людей, ушедших в эмиграцию, предполагаем, что он не знаком с такими взглядами большевиков. Не знакомо с ними и большинство простых русских людей, живущих сейчас в России..." Простите меня, господа, но поскольку вы не знакомы с работами о русском масонстве и русской революции Владыки Вениамина и Б. Башилова, В. Кобылина и Ивана Солоневича, я смею сделать заключение, что мы лучше вас знаем историю русской революции и гражданской войны. И письмо Бухарина мы знаем хорошо, потому что публиковали его в журнале "Наш современник" (август 1990 года). И письмо это написано не Горькому, а Илье Британу, бывшему другу Бухарина, депутату Московского Совета, высланному в 1922 году за границу... И письмо это в 1990 году,

когда тираж журнала был 470 тысяч, прочитали миллионы читателей... Так что не надо нас учить. В своих суждениях историки "Нашего современника" стремятся к объективности и независимости — кто бы ни был объектом нашего исследования: Ленин или Бухарин, император Николай II или главнокомандующий Алексеев, генерал Корнилов или генерал Власов...

Слово "измена" в знаменитой дневниковой записи Николая II от 3 марта 1917 года — ключевое слово. Во все смутные времена в России неизбежно возникало противоборство людей измены и людей долга. Курбский — Иван Грозный, Мазепа —

467

Петр Великий, Пестель — Николай I, генерал Алексеев — Николай II, Власов — Иосиф Сталин. Логика борьбы "людей измены" и "людей присяги" в русской истории одна и та же. Курбский воюет подметными письмами с Иваном Грозным так же, как со Сталиным воевали Федор Раскольников и Лев Троцкий.

Мазепа шел на Россию с ее врагом Карлом XII, и этот дуэт предварял союз бандеровцев с Гитлером.

Николай I повесил государственного преступника полковника Пестеля, и, наверное, с теми же чувствами Иосиф Сталин утвердил приговор генералу Власову.

Когда же в России вырождаются люди подобной государственной воли — унижение, расчленение и вымирание становится ее уделом.

Вы помните, господа потомки "масонов февраля", как в 1916 году, видя, что у ее супруга не хватает государственной воли для спасения страны, немка Александра Федоровна произнесла слова, которыми восхитились бы Иоанн Грозный и Петр Первый, Николай I и Иосиф Сталин: "Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши всех... Я бы повесила Трепова за его дурные советы... Спокойно и с чистой совестью передо всей Россией я бы сослала Львова в Сибирь, Милюкова, Гучкова и Поливанова — тоже в Сибирь. Теперь война, и в такое время внутренняя война есть высшая измена. Отчего ты не смотришь на это дело так, я право не могу понять..." (цитирую по книге В. Кобылина "Анатомия измены").

Недаром же эту мудрую женщину в конце концов церковь канонизировала как святую. Видимо, не только за ее мученическую кончину...

Да поймите же, дорогие зарубежные русские, что все наши беды оттого, что у власти сегодня "жадной толпой" сплотились мазепы, пестели, троцкие, керенские, алексеевы, власовы, александры яковлевы. Независимо от их социального происхождения и партийной и национальной принадлежности — это "люди измены"...

Олег и Татьяна Родзянки, вспоминая судьбу Анны Ахматовой, героев прозы Ивана Шмелева, гимназистки Венгржановской из повести В. Катаева "Уже написан "Вертер", считают, что все эти люди должны были быть, по логике истории, прямыми борцами с советским режимом. Для них, по логике авторов письма, власовское движение должно было стать надеждой на избавление от сталинской тирании... Но жизнь опрокидывает все умозрительные схемы.

468

В 1991 году журнал "Наш современник" опубликовал замечательный роман внучки великого композитора Римского-Корсакова Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) "Побежденные". Автобиографический роман о жизни дворянской семьи в первые двадцать лет советской власти, жизни с арестами, страхом, унижением, гибелью родных и близких. Словом, о такой жизни, тяжесть и страдание которой и не снились семьям Родзянко, генерала Алексева, Керенского и прочим, ушедшим в эмиграцию на Запад. И вот что на заключительных страницах романа пишет великая страстотерпица, русская женщина, истинная патриотка, наследница славной фамилии:

"Большевизм... процесс этот самобытен и глубоко органичен. Он слишком значителен, чтобы насильно — вмешательством извне притупить его. Я вынуждена прийти к мысли, что и в нем должны быть черты все того же дорогого мне лица, конечно, страшно искаженные... Но святое тело России все-таки здесь, и я не могу

допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господнюю ризу. В случае войны я... с большевиками! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать эти строчки, но я так прочла в своей душе! Сейчас нет другого правительства, которое могло бы охранить наши границы, а на большую страну неизбежно набрасываются хищники. Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское, одинаково. Я ошиблась в сроках великой битвы, я ошиблась в источнике новой силы. Никакой реставрации, никакой антанты! Россия спасет себя сама, изнутри".

Кстати, предисловие к роману для "Нашего современника" написал Леонид Иванович Бородин, с упоением читавший его в самиздате в начале 70-х и мечтавший опубликовать роман в своем журнале "Москва", о чем говорил мне сам. Неужели он до сих пор считает свою оценку "русского большевизма" более справедливой, нежели та, которую выстрадала Ирина Владимировна Римская-Корсакова?

Римская-Корсакова умерла за год до публикации романа, который вам, господа наши дорогие западные соотечественники, должно обязательно прочитать, так же как и Башилова, и митрополита Вениамина, и Виктора Кобылина.

Родная земля... Таинственная ее связь с душой человеческой.

В 1922 году молодая Анна Ахматова, осознав, что не может покинуть родину, защитилась клятвой:

469

А здесь, в глухом чаду пожара
остаток юности губя,
мы ни единого удара
не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
надменнее и проще нас

Через сорок лет Ахматова, как замороженная, в стихотворении "Родная земля" повторила старую клятву новыми словами:

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

А в наше время, в годы очередной смуты, Валентин Распутин назвал свой рассказ чуть ли не ахматовской строчкой:

"В ту же землю".

Все возвращается на круги своя. Мы тоже за это десятилетие не отклонили от себя "ни единого удара", и опять же не найти никого "бесслезней, надменнее и проще нас", никуда не уехавших и ничего не предавших.

Срок придет, мы ляжем в ту же землю, где лежат наши герои и наши святые...

А потому вас, кого положат в другую, не русскую, землю, я прошу об одном: вы свободны во всех своих мыслях и чувствах, но не осуждайте живущих на своей земле в страшное время и не учите нас, как любить родину.

4

ВЫСШАЯ РАСА

Выступление на совещании молодых писателей России

Если хорошо подумать — можно все-таки догадаться, почему так называемый

цивилизированный мир не любит Россию и боится ее. Нелюбовь родилась задолго до русского коммунизма. Она была при Иване Грозном и при Петре Великом, при Александре Первом и при Николае Втором...

Страх перед военной и материальной мощью? Да, но это не все. Мы терпим поражения то в Крымской войне, то в Японской, то в перестройке; мощь проходит, а неприязнь

470

остается. Мистический ужас перед географическим беспределом? Неприятие чуждого Западу Православия? Да, все это так... Но главная причина в чем-то другом...

Бродил я недавно по калужскому базару и разгадывал эту загадку. И вдруг полуспившийся мужичок с ликом кирпичного цвета, небритый, в засаленной куртяшке, помог мне додумать мои мысли... Он стоял в окружении нескольких помятых жизнью пожилых друзей, они торговали гвоздями, гайками и болтами и ждали, когда откроется палатка, чтобы сдать рюкзак стеклотары, и он, чтобы повеселить душу, играл на аккордеоне... Каждый из компании — поговори с ним — личность, философ, характер — а перед музыкой все люди соборны. Я прислушался... Сначала мой земляк сыграл "Синенький скромный платочек", потом отступил лет на девяносто и довольно сносно и с чувством исполнил вальс "На сопках Маньчжурии", а заодно и какой-то жестокий романс начала века выплеснул в зябкое мартовское утро, а потом вдруг перешагнул на несколько столетий назад и, самозабвенно растягивая мехи, выдохнул из бессмертного ямщицкого репертуара: "Вот мчится тройка почтовая..."

Вот тебе и калужский бомж, в душе которого живут несколько веков культуры и музыки... Видел я в Америке внешне похожих на этого мужика бомжей — все дебилы и все неграмотные. Да, с точки зрения Запада, мы народ нецивилизированный, но я это понятие перевожу, как народ "сложный", "природный", "неупрощенный" и не желающий упрощаться ни за какие коврижки... За это нас и не любят, наша сложность — вечный укор их уступкам перед жизнью. Сложностью можно только гордиться. Вспоминаю, как в августе 1991 года я был на перенесении мощей Серафима Саровского в Дивеевском монастыре. Слезы подступили к горлу, когда я глядел на море народа, пришедшего со всей России к своему заступнику. Это были в основном бедные русские люди — "новых" русских тогда еще не народилось — с землистыми лицами от усталости, от дальнего пути, от недосыпа, плохо одетые, измученные всей многотрудной жизнью. Но если бы вы видели как начинали светиться внутренним светом веры их лица, когда они приближались к раке с мощами Святого, когда падали на колени и целовали крышку раки. И тогда я подумал: "культура — это Бог в душе, а не пиво в банке". А на том же калужском рынке стоит женщина, бедно одетая, торгует петухом - наглым, крупным, с большим алым гребнем и грязным, но могучим хвостом, держит его, как ребенка, на руках и говорит соседке: "Петька у меня хороший, молоденький, девять месяцев ему. В

471

хорошие руки отдать надо. А то утром пришли корейцы, стали торговать Петьку на зарез, а я не отдала... На зарез Петьку моего!.." И поцеловала петуха в гребешок...

Ну разве с таким народом западный рынок построишь? Что делать, если он не желает и не может упроститься вопреки бесчеловечной воле мировой истории! Все западные племена, когда вступили на хищно конкурентный путь своего развития, не без войн и страданий, но весьма решительно выхолостили свое католическое христианство до протестантизма, англиканства, кальвинизма, до чего угодно, лишь бы евангельские постулаты не мешали им богатеть, приобретать колонии, сводить с лица земли первобытно-стихийные, природно-беззащитные народы Америки и Африки... И нас тоже бы ждала та же участь, если бы мы неожиданно для них не стали имперским народом, не создали бы принудительно государственной волей Преображенские полки и демидовские заводы, волжские гидростанции и ядерно-космические центры, такие как Арзамас-16, что рядом с Дивеевской пустыней. И еще больше усложнили себя, свою историю и свое настоящее... "Верхняя Вольта с ракетами", — злобно иронизировала над нами Маргарэт

Тэтчер. Слышите скрежет зубовой и ярость в этой иронии? Вот если бы не было у нас ракет, нас бы действительно превратили на века в Верхнюю Вольту. Но ведь в этом-то и есть величие. Народ, естественно, природный — и вдруг с рукотворной мощью XX века. Чем занимались все великие русские писатели, поэты и философы последних двух веков? Одним и тем же: разгадывали загадку русской души. Все — Пушкин и Гоголь, Достоевский и Тютчев, Толстой и Есенин... Народ настолько сложен и противоречив, настолько не желает расстаться ни с одним чувством, ни с одним предрассудком, ни с одним откровением, явившимся ему в течение тысячелетия, что голову сломишь и сердце иссушишь, пытаюсь понять — куда же он движется, чего он хочет, почему он не желает упроститься и жить как все. А понять душу русского человека ох непросто. Хотя бы потому, что не хочет она оформляться в окончательное состояние, не желает видеть пресловутый конец истории. "Ты меняла свои имена, — писал Ю. Кузнецов про Россию, — но текучей души не меняла". Я вот книгу о Есенине написал. И каким счастливым мучением было сознавать, что Есенин, не как идеальный, а как чрезвычайно непомерный и текучий тип русского человека, вмещал в себя несколько эпох, несколько исторических характеров и разновидностей русской природы: он был и язычником, и православным христианином, и еретиком, и

472

богоборцем, и большевиком, и антисоветчиком, и монархистом, и анархистом, и светлым отроком, и падшим ангелом... И все — в пределах одной человеческой судьбы, одной жизни... Поистине текучая душа...

А советский опыт, с которым наш человек не хочет расставаться, еще больше усложнил русский характер. Ну как им — немцам, американцам, французам — после этого любить нас, если Тютчев и Есенин до конца своего народа не поняли, и Распутин с Личутиным уже измучились и готовы рукой махнуть: да живи ты как хочешь! Ей-Богу, если бы это понятие не было ошельмовано мировым общественным мнением, я бы, думая обо всем этом, назвал русский народ — высшей расой человечества.

Ален Даллес нашел для нас другое, но тоже важное слово: "Самый непокорный в мире народ". В американской гражданской войне между Севером и Югом много похожего на нашу революцию и нашу гражданскую войну. Победившие янки (северные пришлые большевики) раздавили коренных жителей белой Америки, южан, почти как Москва казачество в 1919—21 годах, устроили для побежденных концлагеря, где пленные мерли, как мухи, от недоедания и эпидемий; победители конфисковали у побежденных поместья и усадьбы, земли и имущество, лишили их избирательных прав и в довершение всей мощью пропаганды и новых законов натравили на них вчерашних слуг — негров, захлебнувшихся свободой. Освобожденные негры вели себя по отношению к бывшим хозяевам, как комбеды по отношению к обреченным помещикам и кулакам. Южане в целях самозащиты, спасаясь от насилия негров, за которыми стоял закон, попытались организовать тайное сопротивление, создали Ку-клукс-клан, но северяне всей волей армии и бюрократии беспощадно выкорчевали очаги сопротивления, и Юг сдался. Но никогда больше побежденные, поскольку они тоже были прагматиками, не подымали голову, не загорались жадной реванша и отмщения. Под давлением Севера они упростились, перешли из католичества в протестантизм, ассимилировались и навсегда приняли правила новой исторической игры, не помышляя ни о какой перестройке...

Последняя конвульсия побежденных произошла в 1866 году, когда фанатик южанин застрелил президента янки Линкольна во время театрального представления... В нашей истории этот факт аналогичен покушению Фанни Каплан на Ильича. Однако на том энергия сопротивления Юга иссякла...

Величие и одновременно трагедия русской истории состоит

473

еще и в том, что мы, русские, при всем своем разнообразии, при всем том, что каждый из нас живет и мыслит наособицу вопреки расхожему мнению о нашей "казарменности", — неисправимые идеалисты. Какие бы мы ни были сами по себе грешные, ничтожные и

слабые в своих собственных глазах, но наш государь, наш вождь, наш генсек, наш патриарх должен быть в белых ризах, в ореоле непогрешимости. Эта глубоко народная патриархальная и крайне не современная традиция жива до сих пор... Для нас Владимир Креститель — святой, несмотря на все свои грехи языческой молодости, Петр — Великий, Екатерина — Матушка, Александр — Благословенный, Ленин — вождь всемирного пролетариата, Сталин — отец и учитель... Президент-чиновник у нас, думаю, просто никогда не приживется.

Не отсюда ли в России такое количество святых, что Европе непонятно и странно: зачем это нужно русским? А мы канонизировали их в народном сознании аж в девятнадцатом просвещенном веке и канонизируем в двадцатом...

Но именно это трогательное свойство русской души на крутых поворотах истории служило главной причиной бед, бунтов, революций, разрушения государства... Стоило только революционерам с помощью мировой закулисы внушить какой-то части русского общества, что Государь Николай Первый не помазанник Божий, а пьяница и Николай Кровавый, как государство стало рассыпаться и Россия начала сползать в бездну. Идеалистическое сознание русского человека оказалось беззащитным против такого подлого пропагандистского удара. Как только удалось внедрить в массовое сознание мысль о том, что Сталин не отец родной, а тиран и диктатор, что Ленин не святой человек, а циничный политик и в лучшем случае безжалостный фанатик, как закручинилась и впала в отчаяние русская душа, обманутая в своих лучших надеждах. А в период такого отчаяния и упадка душевных сил с нами можно делать все что угодно.

Западный мир имеет в этом смысле хорошую и надежную прививку от отчаяния. Западные люди прагматики. Они уверены в том, что святых людей нет и быть не должно в нынешнем мире. Потому тирана Бонапарта никогда не вынесут из мавзолея, и рабовладельцы Вашингтон, Джефферсон и Франклин будут мирно покоиться в своих склепах на земле демократической Америки, и фашист Франко будет чтим в ослабевшей духом католической Испании. А мы, как бы мстя истории за то, что она не оправдала наших надежд, будем требовать вынесения из мавзолея Ленина, потерявшего ореол

474

святости, и замещения в душе ленинских мощей святыми мощами новомученика Николая Великого... Без святых мощей — никак жить не можем. Не согласны на упрощение жизни. Не желаем конца истории, как и положено "удерживающему"...

Я размышлял в этой главе о книге маркиза де Кюстина.

Но разве только о французах речь? Немцы, самые близкие наших европейские соседи, всю свою историю воспринимали Россию, как своего извечного врага.

В марте 1848 года берлинская революционная листовка истерически взывала к своим бюргерам: "Русские уже здесь! Смерть русским. Помните ли вы еще казаков на низких лошадях с высокими седлами, увешанными утварью из серебра и золота? Всюду, где они побывали, они оставляли за собой разрушение, вонь и насекомых... эти казаки, башкиры, калмыки, татары горят скотским желанием вновь разграбить Германию и нашу едва рожденную свободу, нашу культуру, наше благосостояние, уничтожить, опустошить наши поля и кладовые, убить наших братьев, обесчестить наших матерей и сестер..."

А вот какими нелюдями выглядели русские в школьном учебнике кайзеровского рейха за 1908 год. "Русским присуща смена настроения от веселья до тоски... Неодолимая суровость природы сделала их неприхотливыми, терпеливыми и раболепными... Русские — это полуазиатские племена... Раболепие, продажность и нечистоплотность — это чисто азиатские черты характера".

Вот так культурные немцы задолго фашистского периода лелеяли и взращивали в своих тевтонских сердцах страх перед Россией, смешанный с ненавистью к ней.

Сейчас, в конце 2-го тысячелетия, эти чувства, конечно, претерпели существенные изменения. Сейчас люди Запада делают все, чтобы ощутить себя единым сверхнародом, "золотым миллиардом" человечества, и грезят, как грезили их средневековые предки о рае, о близком конце истории и о вековечном установлении для них на земле

незыблемого, несокрушимого, защищенного от всех социальных катастроф общества потребления. Венца человеческого развития. Никакого конца света, никакого Страшного суда, никакого второго пришествия, никакого покаяния.

Вечная жизнь на виллах в Майами и на Лазурных берегах, вечная виртуально-телевизионная шоу-жизнь, вечные праздничные выборы президентов, словом, вечный кайф, насту-

475

пивший в результате конца истории, который провозгласил, выполняя социальный заказ "золотого миллиарда", Френсис Фукояма... Наверное, об этом уже мечтал сто лет тому назад господин из Сан-Франциско, живший и померший в рассказе Ивана Бунина. Предполагаю, что подобные радужные картины жили в воображении счастливых до роковой минуты путешественников с легендарного лайнера "Титаник", похожих приятным ощущением полной обеспеченности, безопасности и застрахованности от всех капризов истории на привилегированных пассажиров, которые поднялись во французском аэропорту Орли на трап авиалайнера "Конкорд", что сгорел в воздухе через несколько минут...

Когда Александр Блок узнал о гибели "Титаника", он записал в дневнике простые и страшные слова: "Есть еще океан". И частица этого "океанского" ощущения жизни стихийно или осознанно теплится в каждой живой русской душе.

* * *

Открывали мы недавно в заснеженном вологодском селе Николе музей Николая Михайловича Рубцова, в заново отстроенной из желтых смолистых бревен школе-интернате, где он когда-то учился. Народу собралось в зимний морозный вечер под старый Новый год несколько сотен, видимо, из соседних деревень приехали... На стенках музея фотографии, автографы, документы из истории деревни, книжки Рубцова... Старики и бабки, довольные праздником, озираются, подойдешь к ним, спросишь чего-нибудь про Колю, хитро посмотрят и говорят что-то вроде того, что "да мы-то его знали настоящего... Какой был! А не какой в книжках!". Своя у них правда...

Вспомнил я музей Фолкнера в каком-то южном штате. Дворец из мрамора и красного дерева, газоны, платаны, конюшни, громадные фигурные окна, паркет блистающий, книжные шкафы, письменные столы, камин, бархат, медь. Спросил я у служителя: а народ-то бывает? Да нет, говорит, разве что туристов привезут — русских, либо немцев, либо китайцев... Упрощает Америка свою жизнь. Зачем ей день вчерашний — Фолкнер, Хемингуэй, Томас Вульф... Зато мы живем и спорим с Достоевским, с Есениным, с Розановым, как будто они не померли Бог знает когда, а живут рядом с нами и покоя нам не дают. Вчитываемся, открытия делаем... Упроститься бы, Господи, но как? Как тут отдохнешь душою, когда

476

тот же Вася Белов в Вологде на вечере, посвященном Рубцову, читает его стихи:

Я запомнил как диво
тот лесной хуторок,
задремавший счастливо
меж звериных дорог.

Там в избе деревянной,
без претензий и льгот,
так, без газа, без ванной,
добрый Филя живет.

Филя любит скотину,
ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду.

Мир такой справедливый,
даже нечего крыть...
— Филя, что молчаливый?
— А о чем говорить...

Зал захопал, но Василий Белов погрозил залу пальцем и с тихой горечью сказал: "Нечего хлопать, опять в который раз в истории мы предали доброго Филю..."

Так вот, ежели хотите стать писателями русскими, молодежь, знайте, что обречены вы на всю жизнь заниматься одним и тем же делом: разгадывать загадку русской души — хотя вы все, надеюсь, русские люди, и разгадывать тайну жизни своего народа дело увлекательное! Хотя бы потому, что, как говорил отец Сергей Булгаков, "народы суть мысли Божий"... А самому попытаться разгадать крупнейшую Божью мысль — русскую — разве это не может стать целью жизни? Так что — дерзайте! Соблазн велик! Родина, если поможет ей понять самую себя, вас не забудет.

Март 1996 г., г. Владимир

477

Вместо послесловия

Отзывы читателей на журнальную публикацию книги

Глубокоуважаемый Станислав Юрьевич!

Мне почему-то было трудно решиться на это письмо, вызванное Вашей книгой воспоминаний и размышлений "Поэзия. Судьба. Россия".

Так сложилось, что журнал "Наш современник" вошел в мой духовный обиход давно, но особенно дорог стал в последние годы. К сожалению, выписывать его я пока возможности не имею, но надеюсь на это в недалеком будущем. Читаю обычно в библиотеке, а потом в начале каждого года беру всю предыдущую годовую подписку и перечитываю наиболее полюбившиеся материалы.

Вот теперь снова перечитал Ваши воспоминания. В едином комплексе они воздействуют гораздо сильнее, чем отдельными главами. И снова надолго потерял сон — в буквальном смысле, без преувеличения...

Мучительно сознавать свою принадлежность к тому поколению, которое фактически сдало Россию вражьей нечисти всех оттенков и калибров. Вольно или невольно — теперь неважно.

Как сейчас высветилось все то мелкое и мелочное, гнусное и мерзкое, что вначале вразброс встречалось в нашей жизни, особенно в последние "доперестроечные" годы, но не получало принципиальной оценки, не давало импульсов к борьбе с разноликим злом. Привычное благополучие казалось незыблемым, стабильновечным...

В бессонные часы перелистываю в памяти свои жизненные страницы, вглядываюсь в лица и характеры живых и ушедших родных, друзей, знакомых — все ведь нормальные, в большинстве порядочные люди, с которыми жил, работал, которых уважал, многих любил; каждый из них представлял

478

целый мир — понятный и часто неповторимый. А в целом, в причудливом сочетании и переплетении таких вот и родственных, и чужеродных "миров" заложена пока до конца не понятая причина чудовищного обвала—интеллектуального, нравственного, психофизиологического (ибо в народе не сработал даже спасительный инстинкт самосохранения). Мы не замечали, мирились с кажущимися мелочами, разъедавшими и подтачивающими здоровые жизненные устои, объясняли многие поведенческие искривления невинными человеческими слабостями, слишком многое прощали себе и другим, перестали вникать в высокий смысл слов: "Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь". И не заметили потери общественного иммунитета к тому сатанинскому

злу, которое наплывало с иезуитски-назойливого, тягуче-прилипчивого ядовитого Запада, — его наши писатели, патриоты Земли Русской, справедливо называют чужебесием.

Моя трудовая биография сложилась так, что почти 4 десятилетия прожил в отдаленных лесных поселках с весьма пестрым составом населения, где очень редко попадались представители "избранного народа". Их было много в довоенное и военное время, а потом эта прослойка быстро рассосалась и почти исчезла, за исключением считанных единиц на многие сотни людей. И я никак не предполагал, основываясь на личном опыте, что столь остра в нашей стране проблема жидовского (не еврейского! — это не совсем одно и то же) засилья. Отдельные частности, конечно, видел, но подлинные размеры национальной катастрофы русского народа открылись только в последние годы.

Уверен, что любой нормальный русский человек, раз осознав эту опасность, уже не повернет назад, не поддастся, не позволит купить себя и, что самое главное, будет искать посильные формы и способы борьбы с этим нашествием.

В. Ковалев, г. Пермь

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые...

Это и про нас теперь сказано. Хотя счастье—надо заметить — сомнительное. Но с классиками лучше не спорить.

Замечательно то, что Вы, Станислав, настоящий художник

479

слова русского, и не просто талантливый, а художник глубоко мыслящий и далеко, и глубоко видящий своей мыслью. И не только Ваши мысли, но и чувства Ваши глубокие, настоящие, чистосердечные, как и Ваша поэтическая и прозаическая речь. Это прекрасно и большая редкость даже среди безусловно одаренных поэтов, имеющих свой неповторимый голос. Ваши "Русские сны" — одна из моих настольных книг. В ней мой родной русский литературный язык, мои русские чувства и мои русские мысли. Это даже удивительно! Хотя чему удивляться? Такое же счастливое душевное настроение испытываешь, читая строки Кольцова и Тютчева, Есенина и Бунина, Рубцова и Передреева. Спасибо Вам за Ваш талант и труд!

И еще спасибо за Ваш журнал "Наш современник", в котором живы и чистое русское слово, и по-настоящему патриотическая, высокогражданская позиция.

Ваш творческий труд особенно важен в наше "водоворотное" время, когда "Родные русофобы куда подлей, когда карьеры для витийствуют, отечество хуля"! Эти Ваши точные строки словно отзываются на живой голос Федора Тютчева:

Печати русской доброхоты,
Как всеми вами, господа,
Тошнит ее — но вот беда,
Что дело не дойдет до рвоты.

Федор Иванович может спокойно спать со святыми: дело все-таки дошло до рвоты. Осмелюсь предсказать, что XXI век станет не только веком освобождения от жидовствующих в православии, но и от жидовствующих в русской литературе. Время пришло! Разве не в Библии для них же сказано: "все тайное станет явным"?

Вы посмотрите, как саморазоблачается в последних своих бездарных стихах Гангнус-Евтушенко ("ЛГ", № 1, 2000 г.):

Как Россия разоблачилась!
Если в ней, катящейся вниз,
коммунизма не получилось,
не получится капитализм.

Это же взгляд и слова человека со стороны, глубоко чуждого стране и людям, холодного наблюдателя-иностранца. Позор! Он ведь даже не посмел сказать "Родина моя разоблачилась...", понимая, что читатель просто не поймет, о какой такой своей родине он говорит! Хотя кто, как не он, Евтух, всю свою пройдошистую жизнь надоедливо и занудно отождествлял себя самого с Россией.

480

Извините, Станислав, что отвлекся на это г., — уж больно он яркий пример современного русофоба, когда "карьеру для витийствует, отечество хуля".

Пока писал Вам это письмо, открыл снова книгу "Растерзанные тени" и не смог остановиться, пока второй раз всю не прочитал. Вы правы: действительно, закрыв книгу, невольно умолкаешь, да просто немеешь, оглушенный всем этим сразу — величием, коварством, героизмом и слепотой эпохи, в которой жили они и в которой, увы, продолжаем жить и мы.

Но нельзя, нельзя нам, дорогой Станислав, неметь! Наша сила и наше общее дело в разумном русском Слове, как бы там ни злобствовали наши неразумные шариковы (быдло) и хитрозадые швондеры (жиды).

Справедливость требует называть вещи своими именами. Быдло оно и есть быдло, а жиды — они и есть жиды. Нельзя заменить имя собственное без ущерба речевому смыслу: только осмысленная, внятная речь достойна называться человеческой. Мы с вами лучше многих знаем, что не все русские — быдло, и не все евреи — жиды. Подлецы умышленно смешивают давно устоявшиеся в русской литературной и народной речи имена собственные, хорошо ясные истинно русскому слуху понятия, искажают настоящий русский смысл русских пословиц и поговорок и т. д. и т. п. Например, крылатая приговорка "...и жид удавился" четко всем русским и нерусским говорит о жиде, а не о еврее. И наши гениальные русские писатели, такие как Пушкин, Гоголь, Даль, Лесков, Достоевский, Есенин (всех даже трудно перечислить!), прекрасно знали, где в тексте надо употреблять слово "еврей", а где презренное слово "жид". И не надо нас, простых смертных, путать и считать за дураков! (Я уж не говорю о том, что само слово "жид" нами позаимствовано у евреев. Вспомните библейского "Вечного жид": презренный смысл у него заложили сами евреи. И правильно, кстати, сделали.)

Конечно, Станислав, я не для Вас это объясняю. Такие очевидности Вы не хуже меня знаете. Просто никогда не надо забывать, что если мы говорим для себя, то одновременно (хотим мы этого или не хотим) мы говорим и для вечности. И никто не знает, как слово наше отзовется. Поэтому желательно, чтобы оно было предельно ясно.

Извините, что подписываюсь псевдонимом. Дело не только в том, что я давно равнодушен к хуле и похвале. Просто хорошо знаю подлые методы этих грязных околотитературных критиков.

С уважением Ваш —

Иоанн Кремлевский, г. Москва

481

* * *

Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Читаю Вашу книгу "Поэзия. Судьба. Россия" не отрываясь. Дух захватывает! Такого "суммарного" ответа губителям русского народа еще нигде не было!

Пишу, а самому стыдно. Лет этак десять назад я шпарил публичные лекции на тему "Круг идей в поэзии Евтушенко", пока меня не поставила на место одна москвичка в военном санатории "Эшеры" (Абхазия). Простая баба, но просветила мне мозги, показала подлинное лицо этой "трибунной гориллы" (слова Рождественского).

Вещь Ваша — гимн непобедимости и вечности Русского Дела, Духа. И я представляю "скрежет зубовой", когда они это прочтут. Представляю физиономии Евтушенко, Бакланова и К°. А ведь как они чувствуют вашего брата: Бакланов еще в институте звал В. Бушина "антисемитом". Но и мы не без памяти! Помним всех поименно, кто подписал "расстрельный гимн" в октябре 1993 года — подписи 42-х человек (?). Читая Вас, хочется

перефразировать Хемингуэя: "русского можно убить, но нельзя поработить".

Журналы "Москва", "Наш современник", "Молодая гвардия" у нас зачитывают до дыр. "Знамя", "Новый мир", "Октябрь" и К⁰ Сорос (его фонд) рассылает по библиотекам бесплатно. Но они стоят на полках чистенькие, "неразрезанные", непотребные (в обоих смыслах). Чувствуется, что под предлогом дороговизны подписка на наши журналы сдерживается. В нашу Всеволожскую библиотеку они пошли только со второго полугодия. Газет "Завтра" и "Советская Россия" в библиотеках нет, в киосках есть — нарасхват. Народ пробуждается. Телевизор зовут "ящик Геббельса", Киселева, Сванидзе и К⁰ презирают за их ложь. Но народ верит, что это временно.

Всего Вам доброго.

Иван Илларионович Иванов,

майор в отставке,

г. Всеволожск,

Ленинградская обл.

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Я "открыла" для себя Ваш журнал, а открыв, всерьез заинтересовалась, полюбила его и уже не захотела с ним

482

расставаться. "Наш современник" оказался так созвучен моей душе, моим взглядам. А Ваша книга "Поэзия. Судьба. Россия" явилась настоящим откровением, научила видеть не только то, что на поверхности, но яснее, глубже, что было как бы зашторено, незнаемо.

Огромное Вам спасибо!

Прочитала один номер журнала, захотелось познакомиться и с другими. Это оказалось не просто. В нашем городе в киосках "НС" нет, а в городских библиотеках нет денег на периодику. Только после долгих поисков нашла в одной из библиотек ваш "Современник", но он был постоянно "на руках". Читала его не последовательно, а какой номер могла достать.

С удовольствием читала зарисовки священника Ярослава Шипова "Отказываться не вправо". Благодаря "Современнику" вспомнила и заново полюбила Николая Рубцова. Когда-то давно мне очень нравились его стихи, но потом долго-долго не встречались и позабылись. А теперь вот прочитала, и повеяло на сердце теплой свежей волной. С удовольствием бы купила книгу его стихов, но теперь их не издают. Книжные развалы завалены одним мусором.

В ваш журнал я поверила сразу за его честность и правду, какой бы горькой она ни была. Разделы критики и публицистики показывают то, что мы, простые люди, здесь, на периферии, больно чувствуем, но не совсем понимаем.

Я поняла, что "Наш современник" — это мой журнал, что в его лице я обрела доброго друга.

Т. И. Крылова, г. Конаково, Тверская обл.

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Позвольте выразить Вам сердечную благодарность за раздумья о России и поэзии. Документ огромной силы! Для нас, провинциалов, это откровение, ведь у нас до сих пор шоры на глазах. Великолепны воспоминания о Николае Рубцове. Вы хорошо раскрыли суть характера и поведение Виктора Астафьева. Его двоедушие, ненависть к русскому народу мы замечали еще в Вологде. А нынче он совсем ссучился и скурвился. Грустно все это.

483

"Наш современник" читаем от корки до корки. Все интересно, смело, наступательно, талантливо. Сколько неведомых новых имен в поэтических подборках! Добротная публицистика! Все, что надо для души и сердца. Так держать!

С искренним уважением, ваш читатель и почитатель вологодской журналистики (мне

72 года)

Александр Иванович Сушинов, г. Сокол, Вологодская обл.

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Когда-то я опубликовался у Вас, когда-то мы с Вами знакомились, когда-то, хоть и не часто, мы беседовали-общались с А. Казинцевым, В. Сорокиным, В. Цыбиным, В. Кожинным, М. Лобановым, Г. Касмыниным, Сергеем — Вашим сыном, а потом я выехал в "глубинку", и... много воды утекло с тех добрых, интересных пор. Совсем уж было заскучал здесь.

Но вот грянула Ваша новая работа — исповедь-раздумья, как само Откровение, и — солнца стало больше, а небо — чище! Это — не просто удача, это Ваш — и наш! — огромный успех. Бесконечно рад за Вас. Дабы не многословить, только один пример.

Перенес инсульт наш самарский поэт Борис Соколов. Парализовало половину туловища. Хирел с каждым днем. Мы, друзья его, готовились к самому худшему... И вдруг однажды, при очередном посещении, я буквально не узнаю человека: глаза живые, спина расправлена... И он с улыбкой показывает мне стопку "Нашего современника": "Вот, ребята из Союза занесли первые четыре номера". Представьте, ожил Борис Сергеевич! Так что, Станислав Юрьевич, передаю Вам от имени многих из нас, поэтов и писателей-волжан, великое спасибо за журнал, за Ваш капитальный, предельно искренний и благородный труд. О себе уж не говорю: вновь возвращается вера в себя, в высшую справедливость, хочется жить и работать. Кланяюсь Вам. Прекрасно, что есть еще у нас люди с большим, чутким и честным сердцем.

Леонид Манзуркин, г. Самара

484

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Я решил написать Вам всего несколько строк лишь для того, чтобы выразить вам и Вашим соратникам — Игорю Шафаревичу, Вадиму Кожиннову, Александру Крутову, Н. Леонову, Татьяне Петровой — гордости и красе русского народа, Олегу Анатольевичу Платонову, многим другим русским интеллигентам — свою глубочайшую признательность, преклонение, любовь. Вы, Станислав Юрьевич, возможно, и не помните: я писал Вам письмо лет пять назад (помнится, спрашивал о подробностях "дела Ганина"), и Вы тогда мне собственноручно ответили, чему я был в равной мере удивлен и рад.

С 1995 года я работаю корреспондентом областной газеты "Нижегородская правда" и по мере сил пытаюсь помогать русскому делу, хотя делать это у нас непросто. Откровенно говоря, русских национально мыслящих людей в Нижнем не так много (да и то сказать: мыслящих-то во все времена было мало!), но они есть. Хоть и разных способностей. Вы, вероятно, знаете нашего писателя В. Шамшурина, члена вашего Союза, мы с ним шапочно знакомы.

Написать Вам меня побудило чтение Ваших воспоминаний в "НС". Наткнулся на них случайно в № 7. Потом прочел предыдущие номера. Поразили письма Шафаревичу и Вам — после чего и решил написать.

Дорогие мои! Скольким, вероятно, Вы открыли глаза. ' Спасибо за труд, за мужество Ваше. Стойте скалой! На Вас, светочей, надежда нам, простым русским людям. Русские должны быть едины.

Станислав Александрович Смирнов, г. Нижний Новгород

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич, здравствуйте!

В одном из последних номеров Вашего журнала прочитал Вашу книгу (главы) "Поэзия. Судьба. Россия". Увлёкся и стал читать с начала. Очень интересная, умная, патриотическая книга. Скажу Вам сразу, что мы стоим с Вами на одних позициях.

485

Помню, был 93-й либо 1994 год. Сидели в моей мастерской гости, три женщины и

трое мужчин, мои друзья. Вечер, работал телевизор, и вдруг диктор говорит, что сейчас вы увидите сцену из новой постановки спектакля "Лес" Марка Захарова в "Ленкоме". То, что мы увидели, нас всех потрясло не просто пошлостью и тем паскудством, что позволил себе по отношению к русскому драматургу и к нам, его русским зрителям, "русский" режиссер-"новатор" Марк "Захаров". Что же было на сцене? Выходит Чурикова в роли барыни в широченном платье. За ней выбегает соплячок эдак лет 16 — 17 и тут же ныряет ей под юбку. В течение 5 минут наша "звезда" колышется в такт его подъябочным упражнениям в полном экстазе, приговаривая: "не все сразу".

Я, хозяин дома, не знал, что мне делать от стыда, и друзья мои, особенно дамы. Выключать телевизор тоже было неудобно. Ну, в общем все сразу засобирались и разошлись. Я был ошеломлен паскудством "Маркзахарова" и подумал о том, мог ли русский режиссер позволить себе такое надругательство над Островским? Да никогда! И так во всем — будь то покушение на жизнь русских правителей и чиновников, работа на радио-"волнах", "голосах", "свободах", торговля краденными культурными ценностями России в магазинах Германии.

P.S. Я думаю, что мы, русские, должны быть суровы к себе и правдивы в самооценке. Мы опустились, мы стали ничтожным народом, безразличным и к себе, и к своим соотечественникам, и к родным могилам. И как ту голодную корову в колхозном хлеву, нас надо поднимать с земли ремнями на борьбу за свое спасение, и для этого все средства хороши.

Генрих Макеев, с. Кизомыс, Херсонская обл.

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Ваши публикации о поэзии и судьбе России я всегда жду с нетерпением. Много познавательного нахожу для себя, неизвестного мне ранее. Так в свое время мимо моего внимания прошла поэзия Анатолия Передреева, хотя о нем и много упоминалось, но его книжки в руки мне не попались, а ходить по библиотекам мы давно уже разохотились. Всегда с интересом читаю публикации Вадима Кожина и Олега Платонова. Ваш журнал для писателя, живущего в глухой провинции, без товарищей по духу, как глоток свежего воздуха,

486

как ориентир в море разноречивой информации, как подтверждение своим мыслям и пристрастиям, поддержка единомышленников.

Я полностью разделяю Ваше мнение об Астафьеве, опубликованное в восьмом номере за прошлый год. Помню, еще при перестройке, когда некоторые наши партсекретари собирали подписи против Астафьева в подметных письмах, обвиняя его как кулацкого писателя, я зарекся подписывать какие-либо письма против него и выступать против него. Я считаю его большим российским писателем — наряду с В. Распутиным, Ю. Бондаревым, В. Беловым, Е. Носовым, В. Солоухиным. Его творчество я принимаю, оно близко мне по духу, хотя некоторые произведения, полные чернухи на советскую власть и на Отечественную войну, отвергаю, ибо это не соответствует действительности: ветераны Отечественной тоже не согласны с трактовкой войны того же Виктора Петровича. Еще в конце 1993 года на собрании, выступая в защиту Олега Пащенко, я прямо в глаза Виктору Петровичу заявил, что не разделяю его политические взгляды, что мы уже досыта наисключались в былые годы и, возможно, придет время, когда нам придется снова звать в Союз Олега. Что, возможно, придет время и Виктор Петрович еще созреет и прозреет. Конечно, эти мои слова вызвали легкий смех у его прихлебателей: кто он и кто я по сравнению с ним?

Когда-то я преклонялся перед Петровичем, очень хотелось с ним подружиться. Но по некоторым причинам это не состоялось. А сейчас я благодарю судьбу, что подобная дружба-преклонение обошли меня стороной, ибо слишком бы горько было разочаровываться, если бы пришлось разойтись по тем или иным причинам, как это получилось у него с Олегом, а теперь вот и между вами, когда Вы смело и твердо высказали свою точку зрения о нем и о его поведении в последнее время. Для нас,

сибиряков, Виктор Петрович был кумиром, смелым авторитетным писателем, когда высказал в переписке с Натаном Эйдельманом русскую точку зрения. А потом... А потом он пошел взад-пятки. Почему? Тут можно только догадываться. Или он испугался тайных еврейских угроз, или поддался их лести и у него еще теплится надежда получить Нобелевскую премию или хотя бы буковскую. Тогда, на собрании, я сказал, что, хотя Виктор Петрович и выставил свою кандидатуру на буковскую премию, ее никогда ему не дадут. А он тут же мне и ответил, что он уже снял свою кандидатуру. — И правильно сделали, — сказал я, — ибо Вам все равно никогда премию не дадут.

487

Не знаю, понял ли он смысл сказанного мною. Но, видимо, именно из-за тех ответов на письма недруга-провокатора что-то и сломалось в нем. Ведь критики-евреи сразу же начали применять против него свой излюбленный прием: мол-де, он уже исписался, ничего больше путного уже не напишет (не сглазили ли?), ведь по сути так почти и получилось, роман о войне—это чернуха, неправда. Мне рассказывали фронтовики, проходившие военную подготовку в тех же военных лагерях под Юргой; ничего такого страшного, уркаганного там и не было, были в основном призывники из деревни, и дезертиров-парней не расстреливали на глазах у всех перед строем, а просто отправляли на фронт в штрафные батальоны. А спустя некоторое время те же критики, что уничтожали Петровича, стали льстить ему, в один голос твердить, что он в литературе недостижимая вершина — Монблан, Эверест, он сам по себе выше всех союзов, что и сейчас дает ему повод заявлять, что он ни в каких союзах не состоит. Я сейчас думаю так. Возможно, пройдет какое-то продолжительное время, улягутся политические споры, к чему нас призывают то и дело (но ведь литературы без политики почти не бывает, ведь у каждого писателя есть пристрастие к тому или иному, это непременно отражается в его произведениях), пройдет время — и тогда наше теперешнее неприятие его как политического противника испарится, просто-напросто забудется; он останется только в истории русской литературы, как это произошло когда-то с норвежским писателем Кнудом Гамсуном, во время войны сотрудничавшим с гитлеровцами. Но теперь это забылось, во всяком случае для нас, читателей других стран, а остались его прекрасные чистые романтические произведения, которыми можно наслаждаться. Возможно, и с Виктором Астафьевым когда-нибудь такое же случится.

Ероховец Александр Степанович, г. Красноярск

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

В течение всего прошедшего года я брала в нашей библиотеке Ваш журнал "Наш современник". Конечно, "для пробы" и другие журналы, типа "Знамя", "Новый мир", но это вначале только, потом не стала тратить на них время и зрение. Хочу

488

сказать Вам сердечное спасибо за Ваш писательский и редакторский труд. Особенное спасибо за Ваше повествование "Поэзия. Судьба. Россия". Вчера вечером я читала № 12 "НС", где Вы пишете о днях теперешних, Горбачеве, партии, развале страны. Во всем я с Вами согласна и солидарна. Но хочу чуть добавить о, так сказать, своих событиях того времени в масштабе нашего села.

Я тоже была в КПСС с 1972 года по убеждениям. Но после прихода в 1985 году к власти Горбачева в стране и партии стало твориться что-то невообразимое. "Общечеловеческие ценности" с Запада до того разладили народ и партию, что события 1991 года явились как бы закономерным итогом. наших людей советская власть в последние десятилетия своего существования избаловала настолько, что многие просто как бы опьянели от ожидающей их свободы. И пустые прилавки магазинов, талоны и очереди — все это было заранее заготовлено на наши глупые головы теми людьми, которые теперь называются "новыми русскими".

И у нас были митинги, выходили из партии, никто ее не защищал. Сейчас, после десяти лет "реформ", люди чуть-чуть стали прозревать. И в итоге в нашей области избрали

бывшего первого секретаря обкома (17 лет он у нас работал) Е. К. Лигачева. И баллотировался он от группы избирателей, а не пошел в Думу по списку КПРФ, хотя ему это и предлагали.

Станислав Юрьевич, дорогой Вы человек! Я чувствую, как Вы за все переживаете, как болеете за Россию сегодняшнюю, жалеете ту страну, что была раньше. Побольше Вам сил, здоровья. И всего Вам самого доброго.

Р. И. Сухушина, с. Парабель, Томская обл.

* * *

Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

Все подмывало меня откликнуться на Вашу "Поэзию. Судьбу. Россию", да лень-матушка и некое сомнение удерживало, а вот и не утерпел, прочитав о Федоре Сукове. Хорошо и точно написали о нем. Святой, птичка Божия, но железный в убеждениях.

А про Евтушню, про Евтушню! У меня душа отдыхала, вера крепла, когда читал про этого оборотня: есть Высшие

489

Силы!.. И сочувствовал Вам насчет Шкляревского: тяжело друга терять... За этим Вашим признанием проглядывает лик правдолюбца, живущего по Христу: оставь отца и мать... Большинство людей склонно укреплять благополучие (уладу и удобство тела), а не силу духа, потому они отходят от правдолюбца, а он постепенно остается один, как богатырь с мечом во чистом поле, печально-задумчивый, хотя и победивший... И получается хорошая проза с психологией, четкими пейзажами, широкой географией событий. И вообще даете яркий урок для "сумасшедшего дома", как Лев Толстой справедливо назвал сообщество писателей ("Исповедь").

Сухов был глубоко одиноким в этом сообществе, даже подавал заявление о выходе из СП. Наш тогдашний ответсек В. Леднев (я еще не состоял в СП) чуть ли не обыск устроил у него в квартире, Агашина молчаливо согласилась, что в местном издательстве зарубили уже набранную поэму Сухова "Былина о неизвестном солдате".

Сколько он бедствовал! Доходило до того, что мы с другом и многие другие ребята (не члены СП) приезжали к Сукову (он тогда не пил, но любил, когда при нем выпивают) с водкой, с обильными закусками и за разговорами, за шумом-гамом вроде бы забывали вскрыть консервы, развернуть свертки — старались побольше оставить: дети, а на кухне кусок черствого хлеба и тараканы... Он не принял бы денег и выгнал бы с явно принесенной едой.

А в Красном Оселке!.. В 1971-м написал я о суховском сборнике статью на два подвала в областной мол одежке, захотелось рассказать побольше — о человеке, фронтовике, и я приехал в Оселок, куда он многократно приглашал... В довольно просторной избе с огромной печкой и без единой перегородки жили его мать и младший брат Шурка с женой и младенцем, а Сухов — на задах, в баньке, спал и, по привычке, лежа писал на ржавой кровати, до того крохотной, что ноги просовывал между прутьями коретки на приставленную табуретку... На огороде рвал укроп (огурцы еще не поспели) и ел с хлебом — довольнящий, прищелкивающий пальцами от восторга: какая красота кругом! А она там — редкостная!.. Шурка — ветрогон, Сухов — весь в стихах, а у матери, Марии Ивановны, глубокой старухи, сил нет лазить по кустам, собирать "шипар" (шиповник), чтобы сдать его и получить разрешение на заготовку дров. Замерзать будут зимой! Я написал редактору Горьковской областной партийной газеты Ивану Александровичу Богданову, которого знал по работе в Ульяновске, рассказал о Сукове, укорил (мол, кого-то на волне

490

поднимают, а у вас поэт!..), попросил помочь с дровами. Помогли, даже привезли! А еще и прислали в Оселок журналистов из областного телевидения, выдали очерк о Сукове. А если бы я не приехал и Богданова не знал?..

До последних дней он оставался одиноким в своем непосредственном писательском окружении, резко протестовал, когда нижегородский ответсек (и по виду ловкач) сдал

часть помещений их Дома писателей в аренду:

— Как можно в храм торгашей пускать?! — возмущался Сухов и дошел до разрыва с ответсексом, а тот удумал, стервец, устраниться от похорон, пальцем не шевельнуть.

Завтра хоронить Сухова...

В Оселок (за 120 км) прибыли в сумерки, в ветер с поземкой, но народ не расходился, хотя иззяб. У меня душа разрывалась, когда слышал, как над усопшим Суховым причитали согбенные, в телогрейках, в "плюшках" крестьянки:

— Он ведь на-аш!.. На-аш!..

Большинство старики да старухи. Но, скользя, падая, где и ползком, спустились все же со страшенной кручи к выступу на ней, откуда — неоглядные просторы с Волгой, с ее противоположным берегом в дремучих лесах, рассеченных Керженцем. Там на выступе и похоронили — у одинокой могилы его родителей.

Желаю Вам здоровья, частого вдохновенья!

Иван Маркелов, г. Волгоград

Содержание

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ.....	3
Записка Ярослава Смелякова. Великие стихи великой эпохи. Жертвоприношение и самопожертвование. Изгой социализма. Запретная еврейская тема у Смелякова. Смеляков и Солженицын	
"И ПРОПАЛ КАЗАК...".....	23
Проза Виктора Астафьева в зимовье. В гостях у деда Степана на Тунгуске. Я, Астафьев и журнал "Наш современник". Разрыв Астафьева с журналом. Ельцинизм Виктора Петровича. Его тридцать сребреников. Окончательное помрачение. Печальный юбилей. Переписка с Эйдельманом	
"В УГОДУ ЧЕРНИ БУЙНОЙ".....	62
"Россия, спаси!" Нагорный Карабах 1971 года. Паруйр Севак и Левон Бабаевич. По маршруту Мандельштама. Любовь Осипа к Сергею. Галина Старовойтова и карабахская резня. На берегах Оки и Арагвы. По следам маршала Антонеску. Львов 1963 года. Споры хохла с москалем. "Пусть антихристы отделяются". Мицкевич — вождь черни. Мои литовские друзья. Чайханщик Изатулло и пламенная Гульрухсор. Предсказание Дондока Улзытуева. Мой первый бунт. Советский солдат Суюнбай. Советские переводы и русская идея. "Народы — суть мысли Божий"	
"В НАШЕЙ ДРУЖБЕ И ВОЛЧЬЕЙ И НЕЖНОЙ...".....	125
Мое пятидесятилетие. Юноша из Могилева. Наши костры на берегах Сожа. Мать и сын. Минское окружение Игоря. Веселые шестидесятые. Письма, посвящения, клятвы. Обыкновенная история по Гончарову. Воспоминание в рифму	
492	
"КОММУНИСТЫ, НАЗАД!".....	154
Обаятельный Шурик-лгун. Наша эпистолярная дуэль. Увлечение и охлаждение. Неизбежность разрыва. Ночь у Татьяны Глушковой. Тайны еврейского менталитета	
СУЧИЙ ПАСПОРТ.....	173
Знакомство с Евгением Евтушенко. Поездки в Швецию, в Калугу, на Вологодчину, в Грузию. Начало разлада. Вражда. Августовский рубеж 1991 года. Мемуары сталиниста и ренегата. Ласковое теля, сосущее всех маток. Презрение и патриотов и диссидентов. Конец его эпохи	
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В НЕБЕСНЫХ ГОРАХ.....	194
Счастливые годы дружбы с Эрнстом Портнягиным. Паром через Каспий. Под черным небом Каракумов. Русские люди в Средней Азии. Первые маршруты. Заболоцкий и Пушкин о сотворении мира. Поэзия и геология. Тяньшаньские грезы. Товарищ Быков и товарищ Юсупов. Предчувствие вечной разлуки. Эпистолярный роман. Попытка вернуться в прошлое	
"ДА СГИНЕТ ТЬМА!".....	245
Моя скандальная статья о массовой культуре и Высоцком. Террор среды. Письмо от Георгия Свиридова. Переписка и разговоры с ним. Его дословные монологи. Свиридов о русофобии, о продажности массовой культуры, о человечестве, о сильных мира сего. Похороны великого композитора	

"О ВРЕМЯ! О БЕДНОЕ ДИТЯ!".....267

Русские в Австралии. Фантастические судьбы соотечественников. "Старые контрпропагандисты". Америка изучает нас. Визги русскоязычной шантрапы. Встреча с родными безработными. Русское и еврейское диссидентство. Томас Вулф и Леонид Бородин — мои спутники. Американские крестьяне. Питирим Сорокин против "Конгресса русских американцев". Письма Нины Виноградовой и Надежды Ковтуненко. В путях прекраснотушной риторики. Олег Михайлов как зеркало советской горбачевщины
493

"ОТОЙДИ ОТ МЕНЯ, САТАНА!".....320

Мое сопротивление "перестройке". 19 августа 1991 года. Захват Евтушенко и К° кабинетов Большого Союза. Маразм победителей. Женщины Великой Криминальной. Схватка на Комсомольском проспекте. Нашла коса на камень. Зализываю раны на берегах Мегры. Облава. Русскоязычные наследники культуры, "цестные евречики и прочая шволочь" (А. Чехов). Мы с Прохановым в краю Серафима Саровского

ВОЗДУХ ПОРАЖЕНЬЯ.....355

Открытие памятника Достоевскому 1 октября 1993 года. Кто бесы? — спор с Юрием Карякиным. Ночь со 2 на 3 октября. Москва рекламная. День рождения Есенина. О событиях в Останкино моими глазами. Непроизнесенное слово. Михаил Барсуков во время октябрьской бойни. Он же через полтора года. Размышления о русских шабесгоях. Опозорившиеся писатели: Окуджава, Нагибин, Черниченко. Защитники "демократии от Куняева". Воспоминания о Городне. Знакомство с будущим Патриархом. Великодушные гаишников. Карьера ренегата

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОТШЕЛЬНИК.....390

Федор Сухов — редкий вид русского человека. Его первое письмо ко мне. Судьба провинциального поэта. Неизвестное стихотворение Николая Ключева. Моя многострадальная книга. Поддержка нижегородского отшельника. Спор об ифлийцах. Солдат, проклявший войну

"ПРОГУЛКИ С МАНДЕЛЬШТАМОМ".....414

Появление в "Нашем современнике" Аркадия Львова. Неожиданное предложение. Осип Мандельштам в моей жизни. Не нужен ему "иудейский хаос". Евреям мы Осипа не отдадим

ВОЛК И МУРАВЕЙ.....423

От любви до ненависти один шаг. Татьяны Глушкова жжет корабли. Ее письма ко мне на рубеже 70-х — 80-х годов. Сказка о рыбаке и рыбке. Речь Татьяны на моем юбилее. Прощание с иллюзиями
494

РОССИЯ И "ЛЮДИ ЗАПАДА".....439

Самая главная книга перестройки. Маркиз де Кюстин и Александр Пушкин. История книги русофобамаркиза. Ответ Лермонтова французам. Вечные агенты влияния и их хозяева. Предсмертное сочинение Владимира Солоухина. Истина о красных и белых. Порочность русской интеллигенции. Вечно длящаяся власовщина. А в коммунизм ли метили? Неожиданные отклики на сочинение Солоухина. Юлий Квицинский подливает масла в огонь. Иван Солоневич и Владимир Нилов на моей стороне. Споры об изменах. Судьба Ирины Владимировны Римской-Корсаковой и Анны Ахматовой. "Не учите нас, как любить родину". Русские люди на калужском базаре. Народ, не желающий упрощаться. Николай Рубцов и Уильям Фолкнер. Обращение к молодым писателям

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.....478

Станислав Юрьевич Куняев
ПОЭЗИЯ. СУДЬБА. РОССИЯ
Книга 2
«...Есть еще океан»

Редактор *Г.М.Гусев*
Художественный редактор *М.Г.Акколаева*
Корректоры *С.А.Артамонова, С.Н.Извекова*
Операторы *Е.Я.Закирова, Ю.Г.Бобкова*

Подписано в печать 20.12.2000. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 26,04 + вкл.
Тираж 3000. Заказ № 426

ННОК «Редакция журнала «Наш современник», 103750, Москва, Цветной бульвар, 32.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ГУП «Облиздат», 248600,

г.Калуга, Старый Торг, 5.